# Унесенные ветром

Маргарет Митчелл

## МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ И ЕЕ КНИГА

Взгляните на карту Юга США. Штаты Алабама, Джорджия, Южная Каролина. Внизу — Флорида. «О, Флорида!», то есть цветущая, утопающая в цветах, — вскричал, по преданию, Колумб; слева — Новый Орлеан, куда, если верить литературе, сослали Манон Леско; справа, на побережье — Саванна, где умер пират Флинт — «умер в Саванне от рома» — и кричал «Пиастры! Пиастры!» его жуткий попугай. Вот отсюда и пришла Скарлетт О’Хара, героиня этой книги, покорительница Америки.

В американской литературе XX века нет более живого характера. Проблемы, неразрешенные комплексы, имена — это пожалуйста; но чтобы был человек, который перешагнул за обложку книги и пошел по стране, заставляя трепетать за свою судьбу, — второго такого не отыскать. Тем более что захватывает она неизвестно чем; буквально, по словам английской песни: «если ирландские глаза улыбаются, о, они крадут ваше сердце». Ретт, ее партнер, выражался, может быть, еще точнее: «то были глаза кошки во тьме» — перед прыжком, можно было бы добавить, который она совершала всегда безошибочно.

Книга, в которой она явилась, оказалась тоже непонятно чем притягивающей читателя. То ли это история любви, которой нет подобия — любовь‑война, любовь‑истребление, — где она растет сквозь цинизм, несмотря на вытравливание с обеих сторон; то ли дамский роман, поднявшийся до настоящей литературы, потому что только дама, наверное, могла подсмотреть за своей героиней, как та целует себя в зеркале, множество других более тонких внутренних подробностей; то ли это усадебный роман, как у нас когда‑то, только усадьба эта трещит, горит и исчезает в первой половине романа, будто ее и не было... По знакомым признакам не угадаешь.

Да и сама писательница мало похожа на то, что мы привыкли видеть в Америке. Она, например, не признавала священное паблисити, то есть блеск известности и сыплющиеся оттуда деньги. Она отказалась снять о себе фильм — фильм! — не соглашалась на интервью, на рекламные употребления романа — мыло «Скарлетт» или мужской несессер «Ретт», особо огорчив одну исполнительницу стриптиза, которая требовала назвать свой номер «Унесенные ветром» (подразумевая, видимо, одежды); не позволила сделать из романа мюзикл.

Она вступила в непримиримые отношения с кланом, определявшим литературные ранги Америки. Никому не известная домашняя хозяйка написала книгу, о которой спорили знатоки, возможно ли ее написать, и сошлись, что невозможно. Комбинат из профессоров, издателей, авторитетных критиков, давно предложивший литераторам иное: создавать имя, уступая место друг другу, но и гарантируя каждому положение в истории литературы, творимой на глазах соединенным ударом массовых средств, — этот комбинат, получив вдруг в бестселлеры не очередного кандидата в историю, а литературу, способную зажигать умы и жить в них независимо от мнений, ее не принял. Мнение его выразил критик‑законодатель Де Вото: «Значительно число читателей этой книги, но не она сама». Напрасно урезонивал своих коллег посетивший США Герберт Уэллс. «Боюсь, что эта книга написана лучше, чем иная уважаемая классика». — Голос большого писателя утонул в раздражении профессионалов. Как водится, пошли слухи. Рассказывали, что она списала книгу с дневника своей бабушки, что она заплатила Синклеру Льюису, чтобы тот написал роман...

В самом составе литературы она поддержала то, что считалось примитивным и будто бы преодоленным: чистоту образа, жизнь. Ее девический дневник, полный сомнений в призвании, обнаруживает удивительную зрелость: «Есть писатели и писатели. Истинным писателем рождаются, а не делаются. Писатели по рождению создают своими образами реальных живых людей, в то время как «сделанные» — предлагают набивные чучела, танцующие на веревочках; вот почему я знаю, что я «сделанный писатель»... Позднее в письме другу она высказалась так: «... если история, которую хочешь рассказать, и характеры не выдерживают простоты, что называется, голой прозы, лучше их оставить. Видит бог, я не стилист и не могла бы им быть, если бы и хотела».

Но это было как раз то, в чем у интеллектуальных кругов искать сочувствия было трудно. Молодая американская культура не выдерживала напора модных течений и наук; в литературе начали диктовать свои условия экспериментаторы, авторитеты психоанализа сошли за великих мыслителей и т. д. Доказывать в этой среде, что простая история сама по себе имеет смысл, и более глубокий, чем набор претенциозных суждений, было почти так же бесполезно, как когда‑то объяснять на островах, что стеклянные бусы хуже жемчужин. Здесь требовались, по выражению Де Вото, «философские обертоны». И через сорок лет на родине Митчелл, в Джорджии, критик Флойд Уоткинс, зачисляя ее в «вульгарную литературу», осуждает этот «простой рассказ о событиях» без «философских размышлений»; тот факт, что, как сказала Митчелл, «в моем романе всего четыре ругательства и одно грязное слово», кажется ему фарисейством и отсталостью; ему не нравится ее популярность. «Великая литература может быть иногда популярной, а популярная — великой. Но за немногими известными исключениями, такими, как Библия, а не «Унесенные ветром», величие и популярность скорее противостоят друг другу, чем находятся в союзе». Остается лишь поместить в исключения Сервантеса и Данте, Рабле, Толстого, Чехова, Диккенса, Марка Твена... кого еще? В исключения из американской литературы Маргарет Митчелл так или иначе попадала.

Мы не знаем ничего об ее общении с кем‑либо из писателей, знаменитых в ее время. Она не участвовала ни в каких объединениях, никого, в свою очередь, не поддерживала, не выдвигала. Представители так называемой «южной школы» (Р.‑П. Уоррен, Карсон Маккаллерс, Юдора Уэлти и др.), чрезвычайно предупредительные друг к другу, никогда не упоминают ее имени. То же и Фолкнер, воспитанный негритянкой‑няней, вероятно, похожей на ту, которую читатель встретит в романе (в семье Фолкнеров ее звали «Мамми Калли»), и скакавший на лошади через изгородь своего участка точно так же, как отец Скарлетт Джералд О’Хара, мог бы помянуть ее в своих перечнях «американских писателей»... Мог бы, если бы захотел. Небывалый читательский успех обошелся Митчелл, видно, все‑таки слишком дорого. В литературной среде она осталась навсегда одна.

Но американкой она была. Настоящей, в жилах которой текла американская история: беглые предки из Ирландии со стороны отца, с другой — такие же французы; традиции независимости и веры в собственную силу, готовность рисковать; любимыми стихами ее матери были:

И тот судьбы своей страшится

Иль за душой у него мало,

Кто все поставить не решится,

Когда на то пора настала!

Два деда ее сражались на стороне южан; один получил пулю в висок, случайно не задевшую мозга, другой долго скрывался от победителей‑янки.

Современная Атланта, конечно, ничем не напоминает об этих временах. Фантастический гриб гостиницы «Хайат‑Ридженси»; полированные цоколи страховых компаний; чахлый скверик, обтекаемый потоками машин. Но во времена юности Митчелл здесь еще стояли особняки, похожие на наш дворянский «ампир», сады; жили люди, хорошо знавшие друг друга. Мать показывала ей обгорелые печные трубы и пустыри — следы исчезнувших в войну семейств. Достопримечательностью города была и панорама, рассказывающая о сражении за Атланту и взывающая теперь о финансовой помощи — среди более популярных современных развлечений. Хотя, по словам брата писательницы, г‑на Стивенса Митчелла, Маргарет не любила ее и тогда, может быть, за несколько нарочитый пафос. Девочка росла в атмосфере рассказов о потрясающих событиях недавней эпохи, чему помогало и то, что отец ее был председателем местного исторического общества. Видимо, семейные предания, впечатления юности и привели ее к странной мысли, что она живет в завоеванной стране.

Какими путями было задумано отвоевание, мы не знаем. Характер ее был скрытный, оставлявший снаружи только то, что считал возможным показать. Однажды она рассказала, как отец, будучи мальчишкой, как‑то залез на дерево, чтобы подсмотреть, куда идет старый джентльмен, их родственник. Он увидел, что тот прошагал с полмили по дороге, а потом вдруг свернул на луг, хотя мог бы пройти туда прямо: самая мысль, что кто‑то знает его намерения, была ему ненавистна. «Чем дольше я живу, тем больше верю в наследственность и тем больше чувствую расположение к старому джентльмену».

Биография ее выглядит вполне ординарной. Родилась в 1900 году, средне училась, писала для школьного театра пьесы из жизни экзотических стран, включая Россию, танцевала, ездила верхом. В 1918 году на фронте во Франции погиб ее жених — лейтенант Генри; каждый год в день его смерти она посылала его матери цветы. В 1925 году, вторично выйдя замуж за страхового агента Джона Марша (о первом браке известно лишь то, что Маргарет не расставалась с пистолетом, пока ее супруг не был найден убитым где‑то на Среднем Западе), она оставила работу репортера в местной газете и поселилась с мужем неподалеку от прославленной ею Персиковой улицы. Она повела жизнь типичной провинциальной леди, как себя и называла, с тем лишь отличием, что дом ее был полон каких‑то бумажек, над которыми потешались и гости, и она сама. Это и был роман, создававшийся с 1926 по 1936 год. И только когда он вышел, можно было понять, на что посягнула эта маленькая смелая женщина.

Если европейские писатели, посещавшие Америку, нередко относились к ней, как к переростку, воспитание которого упущено (как, например, Токвиль, Диккенс, Гамсун или Грин); если американцы выдвинули в ответ свой идеал, Гекльберри, которому воспитание не нужно, — лицемерие старой тетушки Европы, а янки еще скажут свое слово при дворе романтического хлама, — то Маргарет Митчелл повернула этот затянувшийся спор в неожиданный вопрос: да янки ли Америка? Никогда еще не подвергался такому сильному сомнению человеческий тип, связанный с этим именем, и его право представлять страну.

Сомнение это не покажется нам странным, если мы вспомним, что произошло в США в результате Гражданской войны 1861–1865 годов.

Восстановим кратко канву событий. В октябре 1859 года Джон Браун с сыновьями захватил арсенал в Харперс‑Ферри, требуя отмены самого вопиющего из зол, существовавших в стране, — рабства. Его гибель покончила с надеждами на мирное урегулирование; оба лагеря мобилизовались. В 1860 году президентом стал убежденный аболиционист Авраам Линкольн; Южные штаты отделились, образовав конфедерацию (1861), и военные действия начались. Перевес был на стороне Севера — примерно двадцать миллионов населения против десяти и сильный промышленный потенциал; однако у Юга были более талантливые генералы и централизованное руководство. Вначале дело шло с переменным успехом; северяне захватили с моря Новый Орлеан и двигались навстречу своим войскам по Миссисипи; семидневный кровавый бой у реки Чикагомини (1862) кончился безрезультатно; южане выиграли несколько важных сражений в приграничных областях и вторглись в Пенсильванию. Но после того как Линкольн провозгласил 1 января 1863 года отмену рабства, наступил перелом. Объединенное командование северными армиями принял генерал Грант — будущий президент; подчиненный ему генерал Шерман быстрым броском взял в сентябре 1864 года Атланту (пожар и паника которой красочно описаны в романе); в апреле 1865 года остатки армий конфедератов сдались.

Передовые силы праздновали победу. Но, как выяснилось, дело свободы продвинулось недалеко. На поверженные пространства пришел строй, о котором сказал поэт: «Знаю, на место цепей крепостных люди придумали много иных». Финансовая аристократия сменила земельную. В стране, лишенной опыта истории, противоречия прогресса сказались с особой остротой: хищничество, спекуляции и циничное ограбление труда расцвели, почти не ведая препятствий. «Лучшие американские авторы, — писал К. Маркс, — открыто провозглашают как неопровержимый факт, что хотя война против рабства и разбила цепи, сковывавшие негров, зато, с другой стороны, она поработила белых производителей». Явились новые хозяева, о которых недвусмысленно сказано в романе: То были «некие Гелерты, побывавшие уже в десятке разных штатов и, судя по всему, поспешно покидавшие каждый, когда выяснялось, в каких мошенничествах они были замешаны; некие Коннингтоны, неплохо нажившиеся в Бюро вольных людей одного отдаленного штата за счет невежественных черных, чьи интересы они, судя по всему, должны были защищать; Дилсы, продававшие сапоги на картонной подошве правительству конфедератов и вынужденные потом провести последний год войны в Европе; Караханы, заложившие основу своего состояния в игорном доме, а теперь рассчитывавшие на более крупный куш, затеяв на бумаге строительство несуществующей железной дороги на деньги штата...» и т. д. Нравы, вводимые ими, быстро сказались на образе жизни страны.

Отсюда пришло то удручающее сочетание дикости и цивилизации, минуя культуру (то есть представление о смысле), которое всегда так останавливало друзей Америки и стало чувствоваться теперь через соприкосновение с нею в прессе, психологии, быту — везде. Здесь родилось то удивительное состояние, когда могучая страна, полная инициативы, богатств и технического совершенства, оказалась столь бедной по части обыкновенных понятий — к чему все это существует и куда движется.

Смысл жизни? Вам ответят: любой смысл для жизни, причем для моей жизни, а если не подходит, к черту его. А чтобы не разодралось в клочья общество, установить правила, как на охоте, да и в любой мафии они существуют; впрочем, тоже не абсолютные, их можно и переходить — но только уж если переломают кости и выбросят, не обижайся: знал, на что шел. Попробуйте возразить этой логике; интересно, сразу ли найдетесь?

Потом ведь это и свобода. Мало ли какие у меня могут быть желания: хотите подавлять их, насиловать — увольте. Скажите такому, что эта свобода помещает вас в рабство, — тому, кто умеет раздробленные желания быстро удовлетворять, потакать им, разжигать их, по своему усмотрению управлять ими; что это — худшее из рабств, потому что исключает самую возможность слышать смысл и делает вас абсолютной пешкой в руках потакателя; скажите — не услышит.

В самом деле, здесь ведь был проведен этот опыт — жить без власти, без правительства — мечта! В Америке была провозглашена эта доктрина, и обобщил ее американский гуманист Генри Торо, сказав, что лучшее правительство то, которое менее всего правит. Чего бы, кажется, лучше. Но свято место пусто не бывает, и на место человека явилось правительство, никакому лицу действительно не принадлежавшее и никакому принципу (наконец!) не подчинявшееся, зато и прибравшее своих подданных как никогда раньше: деньги...

Короче, Маргарет Митчелл имела достаточно оснований протестовать против отождествления Америки с янки и повернуть свой роман к изображению того, о чем сказал, вглядываясь в Новый Свет, неведомый ей Пушкин: «Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)».

Другое дело, что задача, которую писательница себе поставила, была необычайно трудна. Решая ее одиноко, нелегко было избежать ошибок, известных в истории. Америка — это не янки, хорошо, но кто же тогда? Уж не те ли, кого Север беспощадно разорил? Потерянный, не возвращенный уклад, очистившийся в памяти и готовый сойти за реальность... Искушение сильное, и ушла ли от него писательница вполне, сказать трудно. Так, по крайней мере в первом впечатлении, можно было понять заглавие ее книги, взятое из стихотворения Горация в популярном у американцев переложении Эрнста Доусона: «Я забыл многое, Цинара; унесенный ветром, затерялся в толпе аромат этих роз...», и название поместья — Тара (древняя столица ирландских королей), также широко известное по балладе английского романтика Томаса Мура:

Молчит просторный тронный зал,

И двор порос травой:

В чертогах Тары отзвучал

Дух музыки живой.

Так спит гордыня прежних дней.

Умчалась слава прочь,

И арфы звук, что всех нежней,

Не оглашает ночь.

(Перевод А. Голембы.)

Правда, вглядевшись, можно было понять, что писательница не слишком жалует обитателей этих романтических времен. В ее романе они обрисованы такими, какими они, вероятно, и были: запоздалые дворяне, которые в других странах стали отмирать, давая дисциплинированных выходцев‑ученых, писателей, или вырождаться в рантье, а здесь, с щедрой землей и рабами, сложились в барскую вольницу; темпераментная дичь, независимая и безнаказанная. Лучшие из них, как отмечено в романе, сознавали это сами: «Наш образ жизни так же устарел, как феодальная система средних веков». Циничный Ретт высказался еще жестче: «Это порода чисто орнаментальная».

Строчка из баллады Мура «Так спит гордыня прежних дней» тоже звучала недаром. «Дети гордости» — так назвал историк Роберт Мэнсон Майерс свой трехтомник, вышедший в 1972 году, где он собрал переписку одной южной семьи за четырнадцать лет (с 1854 по 1868 г.), то есть до, во время и после Гражданской войны. Если наши издательства заинтересуются когда‑нибудь документальным вариантом описываемых событий, лучшей книги не найти. История преподобного Ч.‑К. Джонса, его жены, детей, тетки, сестер, племянниц и т. д., чуть не полностью совпавшая с романом Митчелл (вплоть до ребенка, рождающегося в заброшенном доме), открыла поразительную картину упорства, способного принимать мир только с высоты, пусть и воображаемой. Слова из «Автобиографии» основателя нации Бенджамина Франклина: «... из наших природных страстей труднее всего, может быть, совладать с гордостью» — подходили к ним как нельзя более.

Сложнее, что сама писательница оказалась несвободной от этих наследственных пристрастий. Так, в ее книге, несомненно, дает о себе знать патерналистский подход к неграм — дружелюбно‑покровительственное отношение, готовность оценить и понять их сколько угодно, но — «на своем месте». Читатель без труда уловит его в том, как она противопоставляет историю своего дядюшки Питера известному дяде Тому Г. Бичер‑Стоу, как рисует кормилицу Мамушку, Большого Сэма и др. Эти ноты у Митчелл сквозят даже намеренно вызывающе, когда, например, она начинает рассказывать, как «в области, давно знаменитой своими добрыми отношениями между рабами и рабовладельцами, начала расти ненависть и подозрительность» (не желая замечать, что если подобные отношения где‑то и существовали, то это значило лишь, что одобряемые ею невольники были не просто по положению, а и по чувствам рабы; не желая знать ничего о том действительном сопротивлении, которое с самого начала все сильнее охватывало негритянское население и принимало самые разные формы, от пассивного притворства до побегов и организованных восстаний, — как у Габриеля и Ната Тернера); или усматривает в нарождавшемся ку‑клукс‑клане защиту белых женщин от насилий. Подобные утверждения, разумеется, никакого сочувствия у прогрессивно мыслящих американцев вызвать не могли; они противоречили основной традиции американской литературы от Марка Твена до Фолкнера. Все это сильно затруднило отношения Митчелл с демократической Америкой, которая одна могла поддержать ее сопротивление чистогану.

Однако судить роман по этим всплескам сословного высокомерия было бы большим упрощением. Мы знаем и великие примеры, — как Толстой в предисловии к «Войне и миру» объявлял, что его не интересуют низшие сословия, а его Николай Ростов одним молодецким ударом усмирял мужицкий бунт. Но именно эпическая правда этой книги подготовила его поворот к «Воскресению», «Не могу молчать» и открытый переход на сторону народа. Неизвестно, куда бы пошла дальше Митчелл, не оборви ее жизнь пьяный таксист (1949 г.). Но ясно, что крушение рабства вытекает из ее романа с очевидностью необратимой. Что касается ее критики неожиданного расизма освободителей — холодного, брезгливо‑отчужденного и куда более последовательного, чем прежняя дикость, — то исторический опыт, к сожалению, ее оправдает. Когда волна негритянского движения в стране заставила заново взглянуть на историю и реальное положение негритянского населения, выводы специалистов ее полностью подтвердили: «Права негров были немедленно выброшены за борт, как только северные политические и экономические лидеры решили, что для защиты своих интересов больше не нуждаются в их голосах».

Одно в книге Митчелл не требовало никаких подтверждений: сама Скарлетт.

Литература отличается от подделок, между прочим, и тем, что читатель чувствует себя в чужой душе, как в собственной. В век разобщения эта черта незаменима. Со Скарлетт добавилось и то, что она попала в положение, близкое в новой Америке многим. Человек без культуры, с сильным и острым умом и бешеной жаждой жизни, на которого обрушились все проблемы, — несоизмеримые с ним и, кажется, непосильные, — стал побеждать их, ничего о них заранее не зная; этот опыт, конечно, притягивал каждого, кому он был по‑своему знаком.

Вопрос был все тот же: как пронести и развить внутренние ценности в мире оголенно‑практического интереса. «Ах, какою леди до кончиков ногтей она станет, когда у нее опять появятся деньги! Тогда она сможет быть доброй и мягкой, какой была Эллин, и будет печься о других и думать о соблюдении приличий... И она будет доброй ко всем несчастным, будет носить корзинки с едой беднякам, суп и желе — больным, и «прогуливать» обделенных судьбой в своей красивой коляске». А пока... пока «она не может вести себя как настоящая леди, не имея денег», и бросила все силы своей богатой натуры на их добывание.

Так сплелся клубок противоречий, неразрывно связавший в ней чистоту и перерождение, идеал и порок, где главное было не потерять дороги, как‑то выбраться. Все соединило в себе и ее имя, удачно найденное в последний момент, прямо в издательстве, в английском звучании которого есть и алый цветок, наподобие нашего горицвета, и болезнь (сохранившееся и в русском названии — скарлатина), и «блудница на звере багряном»...

Не поддавался этот характер и мнениям, в которые его пытались уложить. Напряжение и сила, с какими боролась эта душа против обстоятельств, терпя поражения, падая, часто не понимая смысла происходящего, но не сдаваясь, — не позволяли этого сделать. Напрасно говорил ей Ретт, выдавая желаемое за правду: «Мы оба негодяи». Он — циник по убеждению и точному расчету наперед; она — под давлением необходимости, которую обычно не сознавала до последней минуты, пока не вынуждена была преодолеть ее, выстоять, выжить («выживание» — так определила тему своего романа Митчелл). Ее прыжки навстречу опасности, не предвиденной ею, метания, взлеты и временный мрак составили незабываемую картину души, за которой стали следить затаив дыхание миллионы читателей.

Видя, как приняли ее Скарлетт, писательница растерялась. А попытки репортеров расспросить ее, не списала ли она эту женщину с себя, привели ее в бешенство. «Скарлетт проститутка, я — нет!» «Я старалась описать далеко не восхитительную женщину, о которой можно сказать мало хорошего, и я старалась выдержать ее характер. Я нахожу нелепым и смешным, что мисс О’Хара стала чем‑то вроде национальной героини, я думаю, что это очень скверно — для морального и умственного состояния нации, — если нация способна аплодировать и увлекаться женщиной, которая вела себя подобным образом...»

Но, видимо, было в ней что‑то, чего остановить было уже нельзя. Скарлетт пошла по стране как триумфатор, повергая ниц всякого, кто справедливо угадывал в ней нечто родное, неотделимо американское. Она умела за себя постоять; она, как кошка, выброшенная из окна, всегда поднималась; она находила выход из любых положений. И в своей непосредственности она оказалась сильнее человека, который долго ее искушал, подталкивал к своим целям, даже вынудил стать своей женой, но в конце концов, сломленный, бежал. В романе это поняла одна старая негритянка: «Я говорю вам, мисс Скарлетт все может вынести, что господь пошлет, потому как ей уж много испытаний было послано, а вот мистер Ретт... он ведь никогда ничего не терпел, ежели ему не по нраву, никогда, ничегошеньки».

Трудно поверить, чтобы черта эта не нравилась самой Митчелл. Ее ответ одному из «поколения разочарованных», пожаловавшемуся ей, что «их обманули», говорит о том, что кое‑что она вложила в Скарлетт и от себя:

«Кто это, с какой стати, когда это обещал Вам и Вашему поколению обеспеченность? Вернее, почему это молодежь должна желать обеспеченности? Предоставьте это старым и усталым... Меня изумляет в некоторых юных, как это они, насколько я могу понять, не просто тоскуют по обеспеченности, но уверенно требуют ее, как свое законное право, и становятся горько раздраженными, если его не преподносят им на серебряном блюде. Есть что‑то тревожное для нации, если ее молодые люди взывают к обеспеченности. Юность в прошлом была напористой, желающей и умеющей испробовать свои возможности... Я знаю многое о своей семье, а мои друзья здесь, на Юге, очень хорошо осведомлены о делах своих давно покойных родственников и об их отношении к жизни. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда кто‑либо из этих стародавних ждал обеспеченности или думал, что может ее достичь. Напротив, я уверена, что они ответили бы Вам изумленным взглядом, если бы Вы взялись обсуждать с ними эту тему, а скорее всего, они бы пришли в ярость, как если бы Вы обвинили их в самой низкой трусости».

Со временем, видя нарастающий энтузиазм, писательница постепенно потеплела к своему созданию. На премьере фильма «Унесенные ветром» она уже благодарила за внимание «ко мне и к моей бедной Скарлетт», а когда один незадачливый поклонник обратился к ней за помощью после того, как был отвергнут, нечаянно сравнив предмет своей страсти со Скарлетт, она написала: «Я рада, что вам нравится Скарлетт и что вы считаете ее «решительной и достойной восхищения девушкой»... По мне, она была далеко не восхитительным человеком, поэтому я могу понять реакцию вашей подруги... Но кое‑что говорили о мисс О’Хара и другие. Они говорили, например, что, как бы эгоистична она ни была, у нее была несокрушимая смелость, которая есть часть южного наследия. Они писали, что она заботилась о своих близких, как черных, так и белых, даже если она сама должна была при этом голодать. Это тоже очень достойная южная черта... Другие добавляли, что она к тому же обладала необыкновенной привлекательностью для мужчин. Еще другим она нравилась по причине, вами упомянутой, — за решимость и способность видеть вещи в их последствиях до конца — черта, редкая в любую эпоху».

И было еще одно, может быть, важнейшее. Пусть отпечатались в Скарлетт черты наступившей эпохи, пусть не могла она им противостоять, усваивая худшее. Но помимо эпох, есть нечто проносимое человеком сквозь них, чего он добивается и достичь в них не может, — надежда, реальная в непрерывном усилии ее осуществить. И это усилие Митчелл воплотила в Скарлетт с редкой для новейшей американской литературы настойчивостью. В этом смысле она была сестрой Фолкнера, хотя и непризнанной.

Ушли «унесенные ветром», но остался идеал, неисполнимый сон, который видит Скарлетт, — душа, летящая в белой туманной массе (почти гоголевская струна в тумане); она рвется, кличет мать (опять как гоголевский отчаявшийся герой) — мать как достоинство, честь и правду, которую не отнять, потому что она была и, значит, может где‑то быть, но где? как? — душа не знает.

Оттого‑то многие и увидели в Скарлетт не Север и Юг, а символ бездумно‑прекрасной Америки, за которую борются Север и Юг, силятся поглотить, но не могут. Не дается им беспутное дитя, искалеченное жадностью, но не потерявшее красоты, в том числе и следов красоты внутренней.

Эту красоту удалось удержать и в фильме. Конечно, у продюсера картины Селзника были свои представления, как должны выглядеть аристократы, но без подлинного в главной роли обойтись было нельзя; и тогда была найдена красавица англичанка, воспитанница католических монастырей, Вивиен Ли. Достоевский, считавший, что «красота спасет мир», писал: «Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки». Любопытно, что наблюдение это он сделал на лондонском Хай‑Маркет, то есть в обиталище соответственных жриц, что приближает нас к оценке, которую дала своей героине Митчелл. Одна особенно поразила его: «Черты лица ее были нежны, тонки, что‑то затаенное и грустное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде... Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы несчастных женщин своим развитием: иначе что же значит лицо человеческое?».

У Вивиен Ли было это лицо, «которое что‑нибудь да значит», как бы ни обманывала им ее героиня. И зрители ее приняли безоговорочно. Это была Скарлетт! Хотя в фильме не остается и десятой доли жизни романа, а многое вообще было заглажено красивой картинкой (провинциальные особняки превращены в роскошные палаты), читателям (а именно они заполнили кинозалы) довольно было намека. Премьера состоялась 14 декабря 1939 года в Атланте. Когда Скарлетт застрелила ненавистного грабителя‑янки, зрители чуть не сломали от восторга кинотеатр. По цифрам успеха картина обошла другие и продолжает идти впереди всех после нее созданных в Америке. Когда ее дают по телевидению, страна замирает. Люди следят за своей любимицей и ее ответом судьбе: «О, fiddle‑dee‑dee! ду‑удочки... не поймаешь!»

А за каждой ее победой все слышнее звучит вопрос, как сберечь честь смолоду, на который ответить она не смогла и который последовал за ней повсюду, куда бы ни являлась уже неотразимая, неустрашимая Скарлетт О’Хара. Она пришла и к нам, в новом наряде, которые так любила, в русском языке.

## ЧАСТЬ 1

### ГЛАВА I

Скарлетт О’Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее чар. Очень уж причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери — местной аристократки французского происхождения — и крупные, выразительные черты отца — пышущего здоровьем ирландца. Широкоскулое, с точеным подбородком лицо Скарлетт невольно приковывало к себе взгляд. Особенно глаза — чуть раскосые, светло‑зеленые, прозрачные, в оправе темных ресниц. На белом, как лепесток магнолии, лбу — ах, эта белая кожа, которой так гордятся женщины американского Юга, бережно охраняя ее шляпками, вуалетками и митенками от жаркого солнца Джорджии! — две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали косо вверх — от переносицы к вискам.

Словом, она являла взору очаровательное зрелище, сидя в обществе Стюарта и Брента Тарлтонов в прохладной тени за колоннами просторного крыльца Тары — обширного поместья своего отца. Шел 1861 год, ясный апрельский день клонился к вечеру. Новое зеленое в цветочек платье Скарлетт, на которое пошло двенадцать ярдов муслина, воздушными волнами лежало на обручах кринолина, находясь в полной гармонии с зелеными сафьяновыми туфельками без каблуков, только что привезенными ей отцом из Атланты. Лиф платья как нельзя более выгодно обтягивал безупречную талию, бесспорно самую тонкую в трех графствах штата, и отлично сформировавшийся для шестнадцати лет бюст. Но ни чинно расправленные юбки, ни скромность прически — стянутых тугим узлом и запрятанных в сетку волос, — ни степенно сложенные на коленях маленькие белые ручки не могли ввести в обман: зеленые глаза — беспокойные, яркие (о, сколько в них было своенравия и огня!) — вступали в спор с учтивой светской сдержанностью манер, выдавая подлинную сущность этой натуры. Манеры были результатом неясных наставлений матери и более суровых нахлобучек Мамушки. Глаза дала ей природа.

По обе стороны от нее, небрежно развалившись в креслах, вытянув скрещенные в лодыжках, длинные, в сапогах до колен, мускулистые ноги первоклассных наездников, близнецы смеялись и болтали, солнце било им в лицо сквозь высокие, украшенные лепным орнаментом стекла, заставляя жмуриться. Высокие, крепкотелые и узкобедрые, загорелые, рыжеволосые, девятнадцатилетние, в одинаковых синих куртках и горчичного цвета бриджах, они были неотличимы друг от друга, как две коробочки хлопка.

На зеленом фоне молодой листвы белоснежные кроны цветущих кизиловых деревьев мерцали в косых лучах закатного солнца. Лошади близнецов, крупные животные, золотисто‑гнедые, под стать шевелюрам своих хозяев, стояли у коновязи на подъездной аллее, а у ног лошадей — переругивалась свора поджарых нервных гончих, неизменно сопровождавших Стюарта и Брента во всех их поездках. В некотором отдалении, как оно и подобает аристократу, возлежал, опустив морду на лапы, пятнистый далматский дог и терпеливо ждал, когда молодые люди отправятся домой ужинать.

Близнецы, лошади и гончие были не просто неразлучными товарищами — их роднили более крепкие узы. Молодые, здоровые, ловкие и грациозные, они были под стать друг другу — одинаково жизнерадостны и беззаботны, и юноши не менее горячи, чем их лошади, — горячи, а подчас и опасны, — но при всем том кротки и послушны в руках тех, кто знал, как ими управлять.

И хотя все трое, сидевшие на крыльце, были рождены для привольной жизни плантаторов и с пеленок воспитывались в довольстве и холе, окруженные сонмом слуг, лица их не казались ни безвольными, ни изнеженными. В этих мальчиках чувствовались сила и решительность сельских жителей, привыкших проводить жизнь под открытым небом, не особенно обременяя свои мозги скучными книжными премудростями. Графство Клэйтон в Северной Джорджии было еще молодо, и жизнь там, на взгляд жителей Чарльстона, Саванны и Огасты, пока что не утратила некоторого налета грубости. Более старые и степенные обитатели Юга смотрели сверху вниз на новопоселенцев, но здесь, на севере Джорджии, небольшой пробел по части тонкостей классического образования не ставился никому в вину, если это искупалось хорошей сноровкой в том, что имело подлинную цену. А цену имело уменье вырастить хлопок, хорошо сидеть в седле, метко стрелять, не ударить в грязь лицом в танцах, галантно ухаживать за дамами и оставаться джентльменом даже во хмелю.

Все эти качества были в высшей мере присущи близнецам, которые к тому же широко прославились своей редкой неспособностью усваивать любые знания, почерпнутые из книг. Их родителям принадлежало больше денег, больше лошадей, больше рабов, чем любому другому семейству графства, но по части грамматики близнецы уступали большинству своих небогатых соседей — «голодранцев», как называли белых бедняков на Юге.

Как раз по этой причине Стюарт и Брент и бездельничали в эти апрельские послеполуденные часы на крыльце Тары. Их только что исключили из университета Джорджии — четвертого за последние два года университета, указавшего им на дверь, и их старшие братья, Том и Бойд, возвратились домой вместе с ними, не пожелав оставаться в стенах учебного заведения, где младшие пришлись не ко двору. Стюарт и Брент рассматривали свое последнее исключение из университета как весьма забавную шутку, и Скарлетт, ни разу за весь год — после окончания средней школы, Фейетвиллского пансиона для молодых девиц, — не взявшая по своей воле в руки книги, тоже находила это довольно забавным.

— Вам‑то, я знаю, ни жарко ни холодно, что вас исключили, да и Тому тоже, — сказала она. — А вот как же Бойд? Ему как будто ужасно хочется стать образованным, а вы вытащили его и из Виргинского, и из Алабамского, и из Южно‑Каролинского университетов, а теперь еще и из университета Джорджии. Если и дальше так пойдет, ему никогда не удастся ничего закончить.

— Ну, он прекрасно может изучить право в конторе судьи Пармали в Фейетвилле, — беспечно отвечал Брент. — К тому же наше исключение ничего, в сущности, не меняет. Нам все равно пришлось бы возвратиться домой еще до конца семестра.

— Почему?

— Так ведь война, глупышка! Война должна начаться со дня на день, и не станем же мы корпеть над книгами, когда другие воюют, как ты полагаешь?

— Вы оба прекрасно знаете, что никакой войны не будет, — досадливо отмахнулась Скарлетт. — Все это одни разговоры. Эшли Уилкс и его отец только на прошлой неделе говорили папе, что наши представители в Вашингтоне придут к этому самому... к обоюдоприемлемому соглашению с мистером Линкольном по поводу Конфедерации. Да и вообще янки слишком боятся нас, чтобы решиться с нами воевать. Не будет никакой войны, и мне надоело про нее слушать.

— Как это не будет войны! — возмущенно воскликнули близнецы, словно открыв бессовестный обман.

— Да нет же, прелесть моя, война будет непременно, — сказал Стюарт. — Конечно, янки боятся нас, но после того, как генерал Борегард выбил их позавчера из форта Самтер, им ничего не остается, как сражаться, ведь иначе их ославят трусами на весь свет. Ну, а Конфедерация...

Но Скарлетт нетерпеливо прервала его, сделав скучающую гримасу:

— Если кто‑нибудь из вас еще раз произнесет слово «война», я уйду в дом и захлопну дверь перед вашим носом. Это слово нагоняет на меня тоску... да, и еще вот — «отделение от Союза». Папа говорит о войне с утра до ночи, и все, кто бы к нему ни пришел, только и делают, что вопят: «форт Самтер, права Штатов, Эйби Линкольн!», и я прямо‑таки готова визжать от скуки! Ну, и мальчики тоже ни о чем больше не говорят, да еще о своих драгоценных эскадронах. Этой весной на всех вечерах царила такая тоска, потому что мальчики разучились говорить о чем‑либо другом. Я очень рада, что Джорджия не вздумала отделяться до святок, иначе у нас были бы испорчены все рождественские балы. Если я еще раз услышу про войну, я уйду в дом.

И можно было не сомневаться, что она сдержит слово. Ибо Скарлетт не выносила разговоров, главной темой которых не являлась она сама. Однако плутовка произнесла свои угрозы с улыбкой, — памятуя о том, что от этого у нее заиграют ямочки на щеках, — и, словно бабочка крылышками, взмахнула длинными темными ресницами. Мальчики были очарованы — а только этого она и стремилась достичь — и поспешили принести извинения. Отсутствие интереса к военным делам ничуть не уронило ее в их глазах. По правде говоря, даже наоборот. Война — занятие мужское, а отнюдь не дамское, и в поведении Скарлетт они усмотрели лишь еще одно свидетельство ее безупречной женственности.

Уведя собеседников в сторону от надоевшей темы войны, Скарлетт с увлечением вернулась к их личным делам:

— А что сказала ваша мама, узнав, что вас обоих снова исключили из университета?

Юноши смутились, припомнив, как встретила их мать три месяца назад, когда они, изгнанные из Виргинского университета, возвратились домой.

— Да видишь ли, — сказал Стюарт, — она пока еще не имела возможности ничего сказать. Мы вместе с Томом уехали сегодня из дома рано утром, пока она не встала, и Том засел у Фонтейнов, а мы поскакали сюда.

— А вчера вечером, когда вы явились домой, она тоже ничего не сказала?

— Вчера вечером нам повезло. Как раз перед нашим приездом привели нового жеребца, которого ма купила в прошлом месяце на ярмарке в Кентукки, и дома все было вверх дном. Ах, Скарлетт, какая это великолепная лошадь, ты скажи отцу, чтобы он приехал поглядеть! Это животное еще по дороге едва не вышибло дух из конюха и чуть не насмерть затоптало двух маминых чернокожих, встречавших поезд на станции в Джонсборо. А как раз когда мы приехали, жеребец только что разнес в щепы стойло, едва не убил мамину любимую лошадь Земляничку, и ма стояла в конюшне с целым мешком сахара в руках — пыталась его улестить, и, надо сказать, не без успеха. Чернокожие повисли от страха на стропилах и таращили на ма глаза, а она разговаривала с жеребцом, прямо как с человеком, и он брал сахар у нее из рук. Никто не умеет так обращаться с лошадьми, как ма. Тут она увидела нас и говорит: «Боже милостивый, что это вас опять принесло домой? Это же не дети, а чума египетская!» Но в эту минуту жеребец начал фыркать и лягаться, и ма сказала: «Пошли вон отсюда! Не видите, что ли, — он же нервничает, мой голубок! А с вами я утром потолкую!» Ну, мы легли спать и поутру ускакали пораньше, пока она в нас не вцепилась, а Бойд остался ее умасливать.

— Как вы думаете, она вздует Бойда? — Скарлетт, как и все жители графства, просто не могла освоиться с мыслью, что «крошка» миссис Тарлтон держит в ежовых рукавицах своих великовозрастных сыновей, а по мере надобности и прохаживается по их спинам хлыстом.

Беатриса Тарлтон была женщина деловая и несла на своих плечах не только заботу о большой хлопковой плантации, сотне негров‑рабов и восьми своих отпрысках, но вдобавок еще и управляла самым крупным конным заводом во всем штате. Нрав у нее был горячий, и она легко впадала в ярость от бесчисленных проделок своих четырех сыновей, и если телесные наказания для лошадей или для негров находились в ее владениях под строжайшим запретом, то мальчишкам порка время от времени не могла, по ее мнению, принести вреда.

— Нет, конечно, Бойда она не тронет. С Бойдом ма не особенно крепко расправляется, потому как он самый старший, а ростом не вышел, — сказал Стюарт не без тайной гордости за свои шесть футов два дюйма. — Мы потому и оставили его дома объясниться с ней. Да, черт побери, пора бы уж ма перестать задавать нам трепку! Нам же по девятнадцати, а Тому двадцать один, а она обращается с нами, как с шестилетними.

— Ваша мама поедет завтра на барбекю[[1]](#footnote-1) к Уилксам на этой новой лошади?

— Она поехала бы, да папа сказал, что это опасно, лошадь слишком горяча. Ну и девчонки ей не дадут. Они заявили, что она должна хотя бы раз приехать в гости, как приличествует даме — в экипаже.

— Лишь бы завтра не было дождя, — сказала Скарлетт. — Уже целую неделю почти ни одного дня без дождя. Ничего нет хуже, как испорченное барбекю, когда все переносится в дом и превращается в пикник в четырех стенах.

— Не беспокойся, завтра будет погожий день и жарко, как в июне, — сказал Стюарт. — Погляди, какой закат — я никогда еще, по‑моему, не видал такого красного солнца! Погоду всегда можно предсказать по закату.

Все поглядели туда, где на горизонте над только что вспаханными безбрежными хлопковыми полями Джералда О’Хара пламенел закат. Огненно‑красное солнце опускалось за высокий холмистый берег реки Флинт, и на смену апрельскому теплу со двора уже потянуло душистой прохладой.

Весна рано пришла в этом году — с частыми теплыми дождями и стремительно вскипающей бело‑розовой пеной в кронах кизиловых и персиковых деревьев, осыпавших темные заболоченные поймы рек и склоны далеких холмов бледными звездочками своих цветов. Пахота уже подходила к концу, и багряные закаты окрашивали свежие борозды красной джорджианской глины еще более густым багрянцем. Влажные, вывороченные пласты земли, малиновые на подсыхающих гребнях борозд, лиловато‑пунцовые и бурые в густой тени, лежали, алкая хлопковых зерен посева. Выбеленный известкой кирпичный усадебный дом казался островком среди потревоженного моря вспаханной земли, среди красных, вздыбившихся, серповидных волн, словно бы окаменевших в момент прибоя. Здесь нельзя было увидеть длинных прямых борозд, подобных тем, что радуют глаз на желтых глинистых плантациях плоских пространств Центральной Джорджии или на сочном черноземе прибрежных земель. Холмистые предгорья Северной Джорджии вспахивались зигзагообразно, образуя бесконечное количество спиралей, дабы не дать тяжелой почве сползти на дно реки.

Это была девственная красная земля — кроваво‑алая после дождя, кирпично‑пыльная в засуху, — лучшая в мире для выращивания хлопка. Это был приятный для глаз край белых особняков, мирных пашен и неторопливых, мутно‑желтых рек... И это был край резких контрастов — яркого солнца и глубоких теней. Расчищенные под пашню земли плантаций и тянувшиеся милю за милей хлопковые поля безмятежно покоились, прогретые солнцем, окаймленные нетронутым лесом, темным и прохладным даже в знойный полдень, — сумрачным, таинственным, чуть зловещим, наполненным терпеливым, вековым шорохом в верхушках сосен, похожим на вздох или на угрозу: «Берегись! Берегись! Ты уже зарастало однажды, поле. Мы можем завладеть тобою снова!»

До слуха сидевших на крыльце донесся стук копыт, позвякивание упряжи, смех и перекличка резких негритянских голосов — работники и мулы возвращались с поля. И тут же из дома долетел нежный голос Эллин О’Хара, матери Скарлетт, подзывавшей девчонку‑негритянку, носившую за ней корзиночку с ключами.

— Да, мэм, — прозвучал в ответ тоненький детский голосок, и с черного хода донесся шум шагов, удалявшихся в сторону коптильни, где Эллин ежевечерне по окончании полевых работ раздавала пищу неграм. Затем стал слышен звон посуды и столового серебра: Порк, соединявший в своем лице и лакея и дворецкого усадьбы, начал накрывать на стол к ужину.

Звуки эти напомнили близнецам, что им пора возвращаться домой. Но мысль о встрече с матерью страшила их, и они медлили на крыльце, смутно надеясь, что Скарлетт пригласит их поужинать.

— Послушай, Скарлетт, а как насчет завтрашнего вечера? — сказал Брент. — Мы тоже хотим потанцевать с тобой — ведь мы не виноваты, что ничего не знали ни про барбекю, ни про бал. Надеюсь, ты еще не все танцы расписала?

— Разумеется, все! А откуда мне было знать, что вы прискачете домой? Не могла же я беречь танцы для вас, а потом остаться с носом и подпирать стенку!

— Это ты‑то? — Близнецы оглушительно расхохотались.

— Вот что, малютка, ты должна отдать мне первый вальс, а Стю — последний и за ужином сесть с нами. Мы разместимся на лестничной площадке, как на прошлом балу, и позовем Джинси, чтобы она опять нам погадала.

— Мне не нравится, как она гадает. Вы же слышали — она предсказала, что я выйду замуж за жгучего брюнета с черными усами, а я не люблю брюнетов.

— Ты любишь рыжеволосых, верно, малютка? — ухмыльнулся Брент. — В таком случае пообещай нам все вальсы и ужин.

— Если пообещаешь, мы откроем тебе один секрет, — сказал Стюарт.

— Вот как? — воскликнула Скарлетт, мгновенно, как дитя, загоревшись любопытством.

— Это ты про то, что мы слышали вчера в Атланте, Стю? Но ты помнишь — мы дали слово молчать.

— Ладно уж. В общем, мисс Питти сказала нам кое‑что.

— Мисс — кто?

— Да эта, ты ее знаешь, кузина Эшли Уилкса, которая живет в Атланте, — мисс Питтипэт Гамильтон, тетка Чарлза и Мелани Гамильтонов.

— Конечно, знаю и могу сказать, что более глупой старухи я еще отродясь не встречала.

— Так вот, когда мы вчера в Атланте дожидались своего поезда, она проезжала в коляске мимо вокзала, остановилась поболтать с нами и сказала, что завтра у Уилксов на балу будет оглашена помолвка.

— Ну, это для меня не новость, — разочарованно протянула Скарлетт. — Этот дурачок, Чарли Гамильтон, ее племянник, обручится с Милочкой Уилкс. Всем уже давным‑давно известно, что они должны пожениться, хотя он, мне кажется, не очень‑то к этому рвется.

— Ты считаешь его дурачком? — спросил Брент. — Однако на святках ты позволяла ему вовсю увиваться за тобой,

— А как я могла ему запретить? — Скарлетт небрежно пожала плечами. — Все равно, по‑моему, он ужасная размазня.

— И к тому же это вовсе не его помолвка будет завтра объявлена, а Эшли с мисс Мелани, сестрой Чарлза! — торжествующе выпалил Стюарт.

Скарлетт не изменилась в лице, и только губы у нее слегка побелели. Так бывает, когда удар обрушивается внезапно и человек не успевает охватить сознанием то, что произошло. Столь неподвижно было ее лицо, когда она, не проронив ни слова, смотрела на Стюарта, что он, не будучи от природы слишком прозорлив, решил: это известие, как видно, здорово удивило и заинтриговало ее.

— Мисс Питти сказала нам, что они собирались огласить помолвку только в будущем году, потому как мисс Мелани не особенно крепка здоровьем, но сейчас только и разговора что о войне, и вот оба семейства решили поторопиться со свадьбой. Помолвка будет оглашена завтра за ужином. Видишь, Скарлетт, мы открыли тебе секрет, и ты теперь должна пообещать, что сядешь ужинать с нами.

— Ну конечно, с вами, — машинально пробормотала Скарлетт.

— И обещаешь отдать нам все вальсы?

— Обещаю.

— Ну, ты — прелесть. Воображаю, как все мальчишки взбесятся!

— А пускай себе бесятся, — сказал Брент. — Мы вдвоем легко с ними управимся. Послушай, Скарлетт, посиди с нами и утром, на барбекю.

— Что ты сказал?

Стюарт повторил свою просьбу.

— Ладно.

Близнецы переглянулись — торжествующе, но не без удивления. Для них было непривычно столь легко добиваться знаков расположения этой девушки, хотя они и считали, что она отдает им некоторое предпочтение перед другими. Обычно Скарлетт все же заставляла их упрашивать ее и умолять, водила за нос, не говоря ни «да», ни «нет», высмеивала их, если они начинали дуться, и напускала на себя ледяную холодность, если они пробовали рассердиться. А сейчас она, в сущности, пообещала провести с ними весь завтрашний день — сидеть рядом на барбекю, танцевать с ними все вальсы (а уж они позаботятся, чтобы вальс вытеснил все другие танцы!) и ужинать вместе. Ради этого стоило даже вылететь из университета!

Окрыленные своим неожиданным успехом, близнецы не спешили откланяться и продолжали болтать о предстоящем барбекю, о бале, о Мелани Гамильтон и Эшли Уилксе, отпуская шутки, хохоча, перебивая друг друга и довольно прозрачно намекая, что приближается время ужина. Молчание Скарлетт не сразу дошло до их сознания, а она за все это время не проронила ни слова. Наконец и они ощутили какую‑то перемену. Сияющий вечер словно бы потускнел — только близнецы не могли бы сказать, отчего это произошло. Скарлетт, казалось, совсем их не слушала, хотя ни разу не ответила невпопад. Чувствуя, что происходит нечто непонятное, сбитые с толку, раздосадованные, они пытались еще некоторое время поддерживать разговор, потом поглядели на часы и нехотя поднялись.

Солнце стояло уже совсем низко над свежевспаханным полем, и за рекой черной зубчатой стеной воздвигся высокий лес. Ласточки, выпорхнув из застрех, стрелой проносились над двором, а куры, утки и индюки, одни — важно вышагивая, другие — переваливаясь с боку на бок, потянулись домой с поля.

Стюарт громко крикнул:

— Джимс!

И почти тотчас высокий негр, примерно одного с близнецами возраста, запыхавшись, выбежал из‑за угла дома и бросился к коновязи. Джимс был их личным слугой и вместе с собаками сопровождал их повсюду. Он был неразлучным товарищем их детских игр, а когда им исполнилось десять лет, они получили его в собственность в виде подарка ко дню рождения. Завидя Джимса, гончие поднялись, отряхивая красную пыль, и замерли в ожидании хозяев. Юноши распрощались, пообещав Скарлетт приехать завтра к Уилксам пораньше и ждать ее там. Затем сбежали с крыльца, вскочили в седла и, сопровождаемые Джимсом, пустили лошадей в галоп по кедровой аллее, что‑то крича на прощанье и размахивая шляпами.

За поворотом аллеи, скрывшим из глаз дом, Брент остановил лошадь в тени кизиловых деревьев. Следом за ним остановился и Стюарт. Мальчишка‑негр остановился в некотором отдалении. Лошади, почувствовав ослабевшие поводья, принялись пощипывать нежную весеннюю траву, а терпеливые собаки снова улеглись в мягкую красную пыль, с вожделением поглядывая на круживших в сгущающихся сумерках ласточек. На широком простодушном лице Брента было написано недоумение и легкая обида.

— Послушай, — сказал он. — Не кажется ли тебе, что она могла бы пригласить нас поужинать?

— Я, признаться, тоже этого ждал, да так и не дождался, — отвечал Стюарт. — Что ты скажешь, а?

— Не знаю, что и сказать. Странно как‑то. В конце концов, мы ведь давно не виделись и, как приехали, — прямо к ней. И даже почти ничего еще не успели и рассказать.

— Мне показалось, что она поначалу здорово обрадовалась, увидав нас.

— Да, мне тоже так подумалось.

— А потом вдруг как‑то притихла, словно у нее голова разболелась.

— Да, я заметил, но не придал этому значения. Что это с ней, как ты думаешь?

— Не пойму. Может, мы сказали что‑нибудь такое, что ее рассердило?

На минуту оба погрузились в размышления.

— Ничего такого не могу припомнить. И притом, когда Скарлетт разозлится, это же сразу видно. Она не то что другие девчонки — у нее тут же все вырывается наружу.

— Да, это мне как раз в ней и нравится. Она, когда сердится, не превращается в ледышку и не обливает тебя презрением, а просто выкладывает все начистоту. И все‑таки, видно, мы что‑то не то сказали или сделали — почему она вдруг примолкла и стала какая‑то скучная. Могу поклясться, что она обрадовалась, увидав нас, и, похоже, хотела пригласить поужинать.

— Может, это потому, что нас опять вышвырнули из университета?

— Ну да, черта с два! Не будь идиотом. Она же хохотала как чумовая, когда мы ей об этом рассказывали. Да она не больше нашего уважает всю эту книжную премудрость.

Брент, повернувшись в седле, кликнул своего негра‑грума.

— Джимс!

— Да, сэр!

— Ты слышал наш разговор с мисс Скарлетт?

— Не‑е, сэр, мистер Брент! Вы уж скажете! Да чтоб я стал подслушивать за белыми господами!

— А то нет, черт побери! У вас, черномазых, всегда ушки на макушке! Я же видел, как ты, врунишка, слонялся вокруг крыльца и прятался за жасминовым кустом у стены. Ну‑ка, вспомни, не сказали ли мы чего‑нибудь такого, что могло бы рассердить или обидеть мисс Скарлетт?

После такого призыва к его сообразительности Джимс бросил притворство и сосредоточенно сдвинул черные брови.

— Не‑е, сэр, такого я не заметил, она вроде не сердилась. Она вроде очень обрадовалась, похоже, сильно без вас скучала и, покамест вы не сказали про мистера Эшли и мисс Мелли Гамильтон — про то, что они поженятся, — все щебетала как птичка, а тут вдруг вся съежилась, будто ястреба увидела.

Близнецы переглянулись и кивнули, но на их лицах все еще было написано недоумение.

— Джимс прав, — сказал Стюарт. — Но в чем тут дело, в толк не возьму. Черт подери, она же никогда не интересовалась Эшли — он для нее просто друг. Она нисколько им не увлечена. Во всяком случае, не так, как нами.

Брент утвердительно кивнул.

— А может, ей обидно, что Эшли ничего не сказал ей про завтрашнее оглашение — они же как‑никак друзья детства? Девчонки любят узнавать такие новости первыми — это для них почему‑то важно.

— Может, и так. Да только... ну, что с того, что не сказал? Это ведь держалось от всех в тайне, потому что было задумано как сюрприз. И в конце‑то концов, разве человек не имеет права молчать о своей помолвке? Мы ведь тоже ничего бы не узнали, не проболтайся нам тетушка мисс Мелли. К тому же Скарлетт не могла не знать, что Эшли рано или поздно женится на мисс Мелли. Мы‑то знаем про это давным‑давно. Так уж у них повелось у Гамильтонов и Уилксов: жениться на кузинах. Всем было известно, что Эшли когда‑нибудь женится на мисс Мелли, а Милочка Уилкс выйдет замуж за ее брата Чарлза.

— Ладно, не желаю больше ломать себе над этим голову. Жаль только, что она не пригласила нас поужинать. Признаться, мне страсть как неохота ехать домой и выслушивать маменькины вопли по поводу нашего исключения из университета. А ведь пора бы ей и привыкнуть.

— Будем надеяться, что Бойду уже удалось ее умаслить. Ты же знаешь, как у этого хитреца ловко подвешен язык. Он всегда умеет ее задобрить.

— Да, конечно, но на это ему нужно время. Он будет кружить вокруг да около, пока не заговорит ей зубы и она не сложит оружия и не велит ему приберечь свое красноречие для адвокатской практики. А Бойду небось даже не удалось пока что и подступиться к ма. Бьюсь об заклад, что она все еще в таком упоении от своего нового жеребца, что о нас и думать забыла и вспомнит про наше исключение, только когда сядет ужинать и увидит за столом Бойда. Ну, а к концу ужина она уже распалится вовсю и будет метать громы и молнии. А часам к десяти, и никак не раньше, Бойду удастся втолковать ей, что было бы унизительно для любого из ее сыновей оставаться в учебном заведении, где ректор позволил себе разговаривать с нами в таком тоне. И лишь к полуночи Бойд, наконец, так заморочит ей голову, что она взбесится и будет кричать на него — почему он не пристрелил ректора. Нет, раньше, как к ночи, нам домой лучше не соваться.

Близнецы хмуро поглядели друг на друга. Они, никогда не робевшие ни в драке, ни перед необъезженным скакуном, ни перед разгневанными соседями‑плантаторами, испытывали священный трепет перед беспощадным языком своей рыжеволосой матушки и ее хлыстом, который она без стеснения пускала прогуляться по их задам.

— Знаешь что, — сказал Брент. — Давай поедем к Уилксам. Эшли и барышни будут рады, если мы поужинаем с ними.

Но Стюарт, казалось, смутился.

— Нет, не стоит к ним ехать. У них там небось дым коромыслом — готовятся к завтрашнему барбекю, и притом...

— Ах да, я и забыл, — поспешно перебил его Брент. — Нет, туда мы не поедем.

Они прищелкнули языком, трогая лошадей с места, и некоторое время ехали в полном молчании. Смуглые щеки Стюарта порозовели от смущения. До прошлого лета он усиленно ухаживал за Индией Уилкс с молчаливого одобрения своих и ее родителей и всей округи. Все жители графства полагали, что спокойная, уравновешенная Индия Уилкс может оказать благотворное влияние на этого малого. Во всяком случае, они горячо на нее уповали. И Стюарт мог бы заключить этот брачный союз, но Бренту это было не по душе. Нельзя сказать, чтобы Индия совсем не нравилась Бренту, но он все же находил ее слишком простенькой и скучной и никакими силами не мог заставить себя влюбиться в нее, чтобы составить Стюарту компанию. Впервые за всю жизнь близнецы разошлись во вкусах, и Брента злило, что его брат оказывает внимание девушке, ничем, по его мнению, не примечательной.

А потом, прошлым летом, на политическом митинге в дубовой роще возле Джонсборо внимание обоих внезапно привлекла к себе Скарлетт О’Хара. Они дружили с ней не первый год, и еще со школьных лет она была неизменной участницей всех их детских проказ, так как скакала верхом и лазила по деревьям почти столь же ловко, как они. А теперь, к полному их изумлению, внезапно превратилась в настоящую молодую леди, и притом прелестнейшую из всех живущих на земле.

Они впервые заметили, какие искорки пляшут в ее зеленых глазах, какие ямочки играют на щеках, когда она улыбается, какие у нее изящные ручки и маленькие ножки и какая тонкая талия. Близнецы отпускали шутки, острили, а она заливалась серебристым смехом, и, видя, что она отдает им должное, они лезли из кожи вон.

Это был памятный в их жизни день. Впоследствии, не раз возвращаясь к нему в воспоминаниях, близнецы только диву давались, как это могло случиться, что они столь долго оставались нечувствительными к чарам Скарлетт О’Хара. Они так и не нашли ответа на этот вопрос, а секрет состоял в том, что в тот день Скарлетт сама решила привлечь к себе их внимание. Знать, что кто‑то влюблен не в нее, а в другую девушку, всегда было для Скарлетт сущей мукой, и видеть Стюарта возле Индии Уилкс оказалось для этой маленькой хищницы совершенно непереносимым. Не удовольствовавшись одним Стюартом, она решила заодно пленить и Брента и проделала это с таким искусством, что ошеломила обоих.

Теперь они оба были влюблены в нее по уши, а Индия Уилкс и Летти Манро из имения Отрада, за которой от нечего делать волочился Брент, отступили на задний план. Каково будет оставшемуся с носом, если Скарлетт отдаст предпочтение одному из них, — над этим близнецы не задумывались. Когда придет срок решать, как тут быть, тогда они и решат. А пока что оба были очень довольны гармонией, наступившей в их сердечных делах, ибо ревности не было места в отношениях братьев. Такое положение вещей чрезвычайно возбуждало любопытство соседей и раздражало их мать, недолюбливавшую Скарлетт.

— Поделом вам обоим будет, если эта продувная девчонка надумает заарканить одного из вас, — сказала маменька. — А может, она решит, что двое лучше одного, и тогда вам придется переселиться в Юту, к мормонам... если только они вас примут, в чем я сильно сомневаюсь. Боюсь, что в один прекрасный день вы просто‑напросто напьетесь и перестреляете друг друга из‑за этой двуличной зеленоглазой вертушки. А впрочем, может, оно бы и к лучшему.

С того дня — после митинга — Стюарт в обществе Индии чувствовал себя не в своей тарелке. Ни словом, ни взглядом, ни намеком не дала ему Индия понять, что заметила резкую перемену в его отношении к ней. Она была слишком хорошо для этого воспитана. Но Стюарт не мог избавиться от чувства вины и испытывал поэтому неловкость. Он понимал, что вскружил Индии голову, понимал, что она и сейчас все еще любит его, а он — в глубине души нельзя было в этом не признаться — поступает с ней не по‑джентльменски. Он по‑прежнему восхищался ею и безмерно уважал ее за воспитанность, благородство манер, начитанность и прочие драгоценные качества, коими она обладала. Но, черт подери, она была так бесцветна, так тоскливо‑однообразна по сравнению с яркой, изменчивой, очаровательно‑капризной Скарлетт. С Индией всегда все было ясно, а Скарлетт была полна неожиданностей. Она могла довести своими выходками до бешенства, но в этом и была ее своеобразная прелесть.

— Ну, давай поедем к Кэйду Калверту и поужинаем у него. Скарлетт говорила, что Кэтлин вернулась домой из Чарльстона. Быть может, она знает какие‑нибудь подробности про битву за форт Самтер.

— Это Кэтлин‑то? Держу пари, она не знает даже, что этот форт стоит у входа в гавань, и уж подавно ей не известно, что там было полным‑полно янки, пока мы не выбили их оттуда. У нее на уме одни балы и поклонники, которых она, по‑моему, коллекционирует.

— Ну и что? Ее болтовню все равно забавно слушать. И во всяком случае мы можем переждать там, пока ма не уляжется спать.

— Ладно, черт побери! Я ничего не имею против Кэтлин, она действительно забавная, и всегда интересно послушать, как она рассказывает про Кэро Ротта и всех прочих, кто там в Чарльстоне. Но будь я проклят, если усижу за столом с этой янки — ее мачехой.

— Ну, чего ты так на нее взъелся, Стюарт? Она же полна самых лучших побуждений.

— Я на нее не взъелся — мне ее жалко, а я не люблю людей, которые вызывают во мне жалость. А она уж так хлопочет, так старается, чтобы все было как можно лучше и все чувствовали себя как дома, что непременно сказанет что‑нибудь невпопад. Она действует мне на нервы! И при этом она ведь считает всех нас, южан, дикарями. Она, видите ли, боится южан. Белеет как мел всякий раз при нашем появлении. Ей‑богу, она похожа на испуганную курицу, когда сидит на стуле, прямая как палка, моргает блестящими, круглыми от страха глазами, и так и кажется, что вот‑вот захлопает крыльями и закудахчет, стоит кому‑нибудь пошевелиться.

— Это и неудивительно. Ты же прострелил Кэйду ногу.

— Я был пьян, иначе не стал бы стрелять, — возразил Стюарт. — И Кэйд не держит на меня зла. Да и Кэтлин, и Рейфорд, и мистер Калверт. Одна только эта их мачеха‑северянка подняла крик, что я, дескать, варвар и порядочным людям небезопасно жить среди этих нецивилизованных дикарей‑южан.

— Что ж, она по‑своему права. Она ведь янки, откуда ей набраться хороших манер. И в конце‑то концов, ты же все‑таки стрелял в него, а он ее пасынок.

— Да, черт подери, разве это причина, чтобы оскорблять меня! А когда Тони Фонтейн всадил пулю тебе в ногу, разве ма поднимала вокруг этого шум? А ведь ты ей не пасынок, как‑никак — родной сын. Однако она просто послала за доктором Фонтейном, чтобы он перевязал рану, и спросила — как это Тони угораздило так промахнуться. Верно, он был пьян, сказала она. Помнишь, как взбесился тогда Тони?

И при этом воспоминании оба так и покатились со смеху.

— Да, мать у нас что надо! — с нежностью в голосе заметил Брент. — На нее всегда можно положиться — уж она‑то поступит, как нужно, и не оконфузит тебя в глазах друзей.

— Но похоже, она может здорово оконфузить нас в глазах отца и девчонок, когда мы заявимся сегодня вечером домой, — угрюмо изрек Стюарт. — Знаешь, Брент, сдается мне, ухнула теперь наша поездка в Европу. Ты помнишь, ма сказала: если нас снова вышибут из университета, не видать нам большого турне как своих ушей.

— Ну и черт с ним, верно? Чего мы не видали в Европе? Чем, скажи на милость, могут эти иностранцы похвалиться перед нами, что у них там такое есть, чего нет у нас в Джорджии? Держу пари, что девушки у них не красивее наших и лошади не быстрее, и могу поклясться, что их кукурузному виски далеко до отцовского.

— Эшли Уилкс говорит, что у них потрясающая природа и замечательная музыка. Эшли очень нравится Европа. Он вечно про нее рассказывает.

— Ты же знаешь, что за народ эти Уилксы. Они ведь все прямо помешаны на музыке, на книгах и на красивых пейзажах. Мать говорит — это потому, что их дедушка родом из Виргинии. Она утверждает, что они все там только этим и интересуются.

— Ну и пусть забирают себе все это. А мне дайте резвую лошадь, стакан хорошего вина, порядочную девушку, за которой можно приволокнуться, и не очень порядочную, с которой можно поразвлечься, и забирайте себе вашу Европу, нужна она мне очень... Не пустят нас в это турне — ну и наплевать! Представь себе, что мы сейчас были бы в Европе, а тут, того и гляди, начнется война? Нам бы нипочем не поспеть назад! Чем ехать в Европу, я лучше пойду воевать.

— Да и я, в любую минуту... Слушай, Брент, я знаю, куда нам можно поехать поужинать: дернем‑ка прямо через болота к Эйблу Уиндеру и скажем ему, что мы опять дома, все четверо, и в любую минуту готовы стать под ружье.

— Правильно! — с жаром поддержал его Брент. — И там мы уж наверняка узнаем все последние новости об Эскадроне и что они в конце концов решили насчет цвета мундиров.

— А вдруг они подумают нарядить нас, как зуавов? Будь я проклят, если запишусь тогда в их войско! Я же буду чувствовать себя девчонкой в этих широких красных штанах! Они, ей‑богу, как две капли воды похожи на женские фланелевые панталоны.

— Да вы, никак, собрались ехать к мистеру Уиндеру? — вмешался Джимс. — Что ж, езжайте, только не ждите, что вам там добрый ужин подадут. У них кухарка померла, а новой они еще не купили. Стряпает пока одна негритянка с плантации, и мне тамошние негры сказывали, что такой поганой стряпни не видано нигде во всем белом свете.

— Вот черт! А чего ж они не купят новой поварихи?

— Да откуда у такой нищей белой швали возьмутся деньги покупать себе негров? У них сроду больше четырех рабов не было.

В голосе Джимса звучало нескрываемое презрение. Ведь его хозяевами были Тарлтоны — владельцы сотни негров, и это возвышало его в собственных глазах; подобно многим неграм с крупных плантаций, он смотрел свысока на мелких фермеров, у которых рабов было раз, два, и обчелся.

— Я с тебя сейчас шкуру за эти слова спущу! — вскричал взбешенный Стюарт. — Да как ты смеешь называть Эйбла Уиндера «нищей белой швалью»! Конечно, он беден, но вовсе не шваль, и я, черт побери, не позволю никому, ни черному, ни белому, отзываться о нем дурно. Он — лучший человек в графстве, иначе его не произвели бы в лейтенанты.

— Во‑во, я и сам диву даюсь, — совершенно невозмутимо ответствовал Джимс. — По мне, так им бы надо избрать себе офицеров из тех, кто побогаче, а не какую попало шваль.

— Он не шваль. Ты не равняй его с такой, к примеру, швалью, как Слэттери. Эйбл, правда, не богат. Он не крупный плантатор, просто маленький фермер, и если ребята сочли его достойным чина лейтенанта, не твоего ума дело судить об этом, черномазый. В Эскадроне знают, что делают.

Кавалерийский Эскадрон был создан три месяца назад, в тот самый день, когда Джорджия откололась от Союза Штатов, и сразу же начался призыв волонтеров. Новая войсковая часть еще не получила никакого наименования, но отнюдь не из‑за отсутствия предложений. У каждого было наготове свое, и никто не желал от него отказываться. Точно такие же споры разгорелись и по вопросу о цвете и форме обмундирования. «Клэйтонские тигры», «Пожиратели огня», «Гусары Северной Джорджии», «Зуавы», «Территориальные винтовки» (последнее — невзирая на то, что кавалерию предполагалось вооружить пистолетами, саблями и охотничьими ножами, а вовсе не винтовками), «Клэйтонские драгуны», «Кровавые громовержцы», «Молниеносные и беспощадные» — каждое из этих наименований имело своих приверженцев. А пока вопрос оставался открытым, все называли новое формирование просто Эскадроном, и так оно и просуществовало до самого конца, хотя впоследствии ему и было присвоено некое весьма пышное наименование.

Офицеры избирались самими волонтерами, ибо, кроме некоторых ветеранов Мексиканской и Семинольской кампаний, никто во всем графстве не обладал ни малейшим военным опытом, а подчиняться приказам ветеранов, если они не вызывали к себе личной симпатии и доверия, ни у кого не было охоты. Четверо тарлтонских юношей были всем очень по сердцу, так же как и трое молодых Фонтейнов, но, к общему прискорбию, за них не пожелали голосовать, ибо Тарлтоны легко напивались и были буйны во хмелю, а Фонтейны вообще отличались вспыльчивым нравом и слыли отчаянными головорезами. Эшли Уилксу присвоили звание капитана, поскольку он был лучшим наездником графства, а его хладнокровие и выдержка могли обеспечить некое подобие порядка в рядах Эскадрона. Рейфорд Калверт был назначен старшим лейтенантом, потому что Рейфа любили все, а звание лейтенанта получил Эйбл Уиндер, сын старого траппера и сам владелец небольшой фермы.

Эйбл был огромный здоровяк, старше всех в Эскадроне, не по возрасту добросердечный, не шибко образованный, но умный, смекалистый и весьма галантный в обхождении с дамами. Дух снобизма был Эскадрону чужд. Ведь в его составе насчитывалось немало таких, чьи отцы и дети нажили свое состояние, начав с обработки небольшого фермерского участка. А Эйбл был лучшим стрелком в Эскадроне, непревзойденно метким стрелком — попадал в глаз белке с расстояния в семьдесят пять ярдов — и к тому же знал толк в бивачной жизни: был отличным следопытом, умел разжечь костер под проливным дождем и найти ключевую воду. Эскадрон оценил его по заслугам, он пришелся всем по душе, и его сделали офицером. Он принял оказанную ему честь с достоинством и без излишнего зазнайства — просто как положенное. Однако жены и рабы плантаторов, в отличие от своих мужей и хозяев, не могли забыть, что Эйбл Уиндер выходец из низов.

На первых порах в Эскадрон набирали только сыновей плантаторов, это было подразделение джентльменов, и каждый вступал в него со своим конем, собственным оружием, обмундированием, прочей экипировкой и слугой‑рабом. Но в молодом графстве Клэйтон богатых плантаторов было не так‑то много, и для того чтобы сформировать полноценную войсковую единицу, возникла необходимость набирать волонтеров среди сыновей мелких фермеров, трапперов, охотников за пушным зверем и болотной дичью, а в отдельных редких случаях — даже из числа белых бедняков, если они по личным достоинствам несколько возвышались над своим сословием.

Эти молодые люди, так же как и их богатые соотечественники, горели желанием сразиться с янки, если война все же начнется, — но тут возникал деликатный вопрос денежных расходов. Редко кто из мелких фермеров имел лошадей. Они возделывали свою землю на мулах, да и в этих животных у них не было излишка, — в лучшем случае две‑три пары. Пожертвовать своими мулами для военных нужд они не могли, даже если бы в Эскадроне возникла потребность в мулах, чего, разумеется, никак не могло произойти. А белые бедняки почитали себя на вершине благоденствия, если имели хотя бы одного мула. Что же до охотников и трапперов, то у тех и подавно не было ни лошадей, ни мулов. Они питались тем, что приносил им их клочок земли, или подстреленной дичью, а также за счет простого товарообмена; пятидолларовая бумажка раз в году являлась большой редкостью в их руках, и ни о каких лошадях и мундирах им не приходилось и помышлять. Однако они в своей бедности были столь же непреклонно горды, как плантаторы в своем богатстве, и никогда не приняли бы от богатых соседей никакой подачки, ничего, хотя бы отдаленно смахивающего на милостыню. А посему, дабы сформировать Эскадрон, не уязвляя при этом ничьего самолюбия, отец Скарлетт, Джон Уилкс, Бак Манро, Джим Тарлтон, Хью Калверт и другие, а в сущности, каждый крупный плантатор графства, за исключением одного только Энгуса Макинтоша, выложили денежки на экипировку и лошадей для Эскадрона. В конечном счете каждый плантатор согласился внести деньги на экипировку своих сыновей и еще некоторого количества чужих молодцов, но все это было облечено в такую форму, что менее имущие члены Эскадрона могли получить обмундирование и лошадь без малейшего ущемления своей гордости.

Дважды в неделю Эскадрон собирался в Джонсборо — проходить строевую подготовку и молить бога, чтобы поскорее началась война. Нехватка в лошадях еще была, но те, кто уже сидел в седле, проводили — как это им представлялось — кавалерийские маневры в поле позади здания суда, поднимая облака пыли, надрывая глотки до хрипоты и размахивая саблями времен Войны за независимость, снятыми со стен гостиных или кабинетов. Те же, кто еще не обзавелся конем, сидели на приступочке перед лавкой Булларда, наблюдали за своими гарцующими на лошадях товарищами по оружию, жевали табак и делились слухами. А порой состязались в стрельбе. Особой нужды в обучении этих парней стрельбе не возникало. Большинство южан приобщались к огнестрельному оружию чуть не с колыбели, а повседневная охота на всевозможную дичь сделала каждого из них метким стрелком.

Самые разнообразные виды огнестрельного оружия поступали из домов плантаторов и хижин трапперов всякий раз, как Эскадрон объявлял сбор. Длинноствольные ружья для охоты на белок, бывшие в ходу еще в те годы, когда поселенцы впервые перевалили за Аллеганы; старые, заряжающиеся с дула мушкеты, имевшие на своем счету немало индейских душ во времена освоения Джорджии; кавалерийские пистолеты, сослужившие службу в 1812 году в стычках с индейским племенем семинолов и в Мексиканской войне; дуэльные пистолеты с серебряной насечкой; короткоствольные крупнокалиберные пистолеты; охотничьи двустволки и красивые новые винтовки английской выделки с блестящими отполированными ложами из благородных пород дерева.

Обучение всегда заканчивалось в салунах Джонсборо, и к наступлению ночи вспыхивало столько драк, что офицеры были бессильны уговорить своих сограждан не наносить друг другу увечья — подождать, пока это сделают янки. В одной из таких стычек и всадил Стюарт Тарлтон пулю в Кэйда Калверта, а Тони Фонтейн — в Брента. В те дни, когда формировался Эскадрон, близнецы, только что изгнанные из Виргинского университета, возвратились домой и с воодушевлением завербовались в его ряды. Однако после упомянутой перестрелки, два месяца назад, их матушка снова отправила своих молодцов в университет — на этот раз в Джорджии, — с приказом: оттуда ни шагу. Пребывая там, они, к великому огорчению, пропустили радости и волнения учебных сборов и теперь сочли, что университетским образованием вполне можно пожертвовать ради удовольствия скакать верхом, стрелять и драть глотку в компании приятелей.

— Ладно, поехали к Эйблу, — решил Брент. — Мы можем переправиться через реку вброд во владениях мистера О’Хара, а потом в два счета доберемся туда через фонтейновские луга.

— Только не ждите, что вас там чем‑нибудь накормят, окромя жаркого из опоссума и бобов, — бубнил свое Джимс.

— А ты вообще не получишь ничего, — усмехнулся Стюарт. — Потому как ты сейчас отправишься к ма и скажешь ей, чтоб нас не ждали к ужину.

— Ой, нет, не поеду! — в ужасе вскричал Джимс. — Не поеду, и все! Больно‑то мне надо, чтоб хозяйка с меня заместо вас шкуру спустила! Перво‑наперво она спросит, как это я недоглядел, что вас опять из ученья выперли. А потом я буду виноват, что вы сейчас из дома улизнули и она не может дать вам взбучку. Вот тут она и начнет меня трепать, как утка дождевого червя, и я один стану за все в ответе. Нет уж, ежели вы не возьмете меня с собой к мистеру Уиндеру, я убегу в лес, схоронюсь там на всю ночь, и пущай меня забирает патруль — все лучше, чем попасться хозяйке под горячую руку.

Близнецы негодующе и растерянно поглядели на исполненного решимости чернокожего мальчишку.

— С этого идиота и вправду хватит нарваться на патруль, и тогда ма не успокоится еще неделю. Честное слово, с этими черномазыми одна морока. Иной раз мне кажется, что аболиционисты не так‑то уж и плохо придумали.

— Нечестно, если на то пошло, заставлять Джимса расплачиваться за нас. Придется взять его с собой. Но слушай ты, черномазый негодник, посмей только задирать нос перед тамошними неграми и хвалиться, что у нас жарят цыплят и запекают окорока, в то время как они питаются только кроликами да опоссумами, и я... я пожалуюсь на тебя ма. И мы не возьмем тебя с собой на войну.

— Задирать нос? Чтоб я стал задирать нос перед этими нищими неграми? Нет, сэр, я не так воспитан. Миссис Беатриса научила меня по части хороших манер, почитай что не хуже вас умею.

— Ну, в этом деле она не слишком‑то преуспела — что с нами, что с тобой, — сказал Стюарт. — Ладно, поехали.

Он осадил своего крупного гнедого жеребца, а затем, дав ему шпоры, легко поднял над редкой изгородью из жердей и пустил по вспаханному полю Джералда О’Хара. Брент послал свою лошадь за гнедым жеребцом, а следом за юношами перемахнул через изгородь и Джимс, прильнув к луке и вцепившись в гриву. Джимс не испытывал ни малейшей охоты перепрыгивать через изгороди, но ему приходилось брать и более высокие препятствия, дабы не отставать от своих хозяев.

В сгущавшихся сумерках они поскакали по красным бороздам пашни и, спустившись с холма, уже приближались к реке, когда Брент крикнул брату:

— Послушай, Стю, а ведь, что ни говори, Скарлетт должна была бы пригласить нас поужинать?

— Да я все время об этом думаю, — крикнул в ответ Стюарт. — Ну а почему, как ты полагаешь...

### Глава II

Когда близнецы ускакали и стук копыт замер вдали, Скарлетт, в оцепенении стоявшая на крыльце, повернулась и, словно сомнамбула, направилась обратно к покинутому креслу. Она так старалась ничем не выдать своих чувств, что лицо у нее от напряжения странно онемело, а на губах еще дрожала вымученная улыбка. Она тяжело опустилась в кресло, поджав под себя одну ногу и чувствуя, как сердцу становится тесно в груди от раздиравшего его горя. Она болезненно ощущала его короткие частые толчки и свои странно заледеневшие ладони, и чувство ужасного, непоправимого несчастья овладело всем ее существом. Боль и растерянность были написаны на ее лице — растерянность избалованного ребенка, привыкшего немедленно получать все, чего ни попросит, и теперь впервые столкнувшегося с неведомой еще теневой стороной жизни.

Эшли женится на Мелани Гамильтон!

Нет, это неправда! Близнецы что‑то напутали. Или, как всегда, разыгрывают ее. Не может, не может Эшли любить Мелани. Да и кто полюбит этого бесцветного мышонка! Скарлетт с инстинктивным презрением и сознанием своего превосходства воскресила в памяти тоненькую детскую фигурку Мелани, ее серьезное личико, напоминающее своим овалом сердечко — такое простенькое, что его можно было даже назвать некрасивым. К тому же Эшли не виделся с ней месяцами. После тех танцев в прошлом году в Двенадцати Дубах он был в Атланте не более двух раз. Нет, Эшли не любит Мелани, потому что... — вот тут уж она никак не может ошибаться — потому что он влюблен в нее, в Скарлетт! Он любит ее — это‑то она знает твердо!

Скарлетт услышала, как под тяжелой поступью Мамушки в холле задрожал пол, и, поспешно выпростав из‑под себя ногу, постаралась придать лицу насколько возможно безмятежное выражение. Ни под каким видом нельзя допустить, чтобы Мамушка заподозрила что‑то неладное. Мамушка считала всех О’Хара своей непререкаемой собственностью, принадлежащей ей со всеми потрохами, со всеми мыслями и чувствами, и полагала, что у них не может быть от нее секретов, а потому малейшего намека на какую‑либо тайну достаточно было, чтобы пустить ее по следу — неутомимую и беспощадную, словно гончая. Скарлетт по опыту знала: если только любопытство Мамушки не будет немедленно удовлетворено, она тут же побежит к хозяйке, и тогда, хочешь не хочешь, придется во всем признаваться или придумывать какую‑нибудь более или менее правдоподобную историю.

Мамушка выплыла из холла. Эта пожилая негритянка необъятных размеров с маленькими, умными, как у слона, глазками и черной лоснящейся кожей чистокровной африканки была душой и телом предана семейству О’Хара и являлась главным оплотом хозяйки дома, грозой всех слуг и нередко причиной слез трех хозяйских дочек. Да, кожа у Мамушки была черная, но по части понятия о хороших манерах и чувства собственного достоинства она ничуть не уступала белым господам. Она росла и воспитывалась в спальне Соланж Робийяр, матери Эллин О’Хара, — изящной, невозмутимой, высокомерной француженки, одинаково жестко каравшей как детей своих, так и слуг за малейшее нарушение приличий. Будучи приставлена к Эллин, Мамушка, когда Эллин вышла замуж, прибыла вместе с ней из Саванны в Северную Джорджию. Кого люблю, того уму‑разуму учу — было для Мамушки законом, а поскольку она и любила Скарлетт, и гордилась ею безмерно, то и учить ее уму‑разуму не уставала никогда.

— А где же жентмуны — никак уехали? Как же вы не пригласили их отужинать, мисс Скарлетт? Я уже велела Порку поставить два лишних прибора. Где ваши манеры, мисс?

— Ах, мне так надоело слушать про войну, что я просто была не в состоянии терпеть эту пытку еще и за ужином. А там, глядишь, и папа присоединился бы к ним и ну громить Линкольна.

— Вы ведете себя не лучше любой негритянки с плантации, мисс, и это после всех‑то наших с вашей маменькой трудов! Да еще сидите тут на ветру без шали! Сколько раз я вам толковала и толковала — попомните мое слово, схватите лихорадку, ежели будете сидеть ввечеру с голыми плечами. Марш в дом, мисс Скарлетт!

Скарлетт с деланным безразличием отвернулась от Мамушки, радуясь, что та, озабоченная отсутствием шали, не заметила ее расстроенного лица.

— Не хочу. Я посижу здесь, полюбуюсь на закат. Он так красив. Пожалуйста, Мамушка, принеси мне шаль, а я подожду здесь папу.

— Да вы, похоже, уже простыли — голос‑то какой хриплый, — еще пуще забеспокоилась Мамушка.

— Вовсе нет, — досадливо промолвила Скарлетт. — Принеси мне шаль.

Мамушка заковыляла обратно в холл, и до Скарлетт долетел ее густой голос, звавший одну из горничных, прислуживавших на верхнем этаже.

— Эй, Роза! Сбрось‑ка мне сюда шаль мисс Скарлетт! — Затем последовал еще более громкий возглас: — Вот безмозглое созданье! Ну, чтоб хоть раз был от нее какой‑то прок! Нет, видать, придется самой лезть наверх!

Скарлетт услышала, как застонали ступеньки лестницы, и тихонько поднялась с кресла. Сейчас вернется Мамушка и снова примется отчитывать ее за нарушение правил гостеприимства, а Скарлетт чувствовала, что не в силах выслушивать весь этот вздор, когда сердце у нее рвется на части. Она стояла в нерешительности, раздумывая, куда бы ей укрыться, пока не утихнет немного боль в груди, и тут ее осенила неожиданная мысль, и впереди сразу забрезжил луч надежды. Отец уехал после обеда в Двенадцать Дубов с намерением откупить у них Дилси — жену Порка, его лакея. Дилси была повивальной бабкой в Двенадцати Дубах и старшей над прислугой, и Порк денно и нощно изводил хозяина просьбами откупить Дилси, чтобы они могли жить вместе на одной плантации. Сегодня Джералд, сдавшись на его мольбы, отправился предлагать выкуп за Дилси.

«Ну конечно же, — думала Скарлетт, — если это ужасное известие — правда, то папа уж непременно должен знать. Ему, разумеется, могут ничего и не сказать, но он сам заметит, если там, у Уилксов, происходит что‑то необычное и все чем‑то взволнованы. Мне бы только увидеться с ним с глазу на глаз до ужина, и я все разузнаю — быть может, просто эти паршивцы‑близнецы снова меня разыгрывают».

Джералд с минуты на минуту должен был возвратиться домой. Значит, чтобы увидеть отца без свидетелей, надо перехватить его, когда он будет сворачивать с дороги на подъездную аллею. Скарлетт неслышно спустилась по ступенькам крыльца, оглядываясь через плечо — не следит ли за ней Мамушка из верхних окон. Не обнаружив за колеблемыми ветром занавесками широкого черного лица в белоснежном чепце и укоряющих глаз, Скарлетт решительным жестом подобрала подол своей цветастой зеленой юбки, и ее маленькие ножки в туфлях без каблуков, перехваченные крест‑накрест лентами, быстро замелькали по тропинке, ведущей к подъездной аллее.

Темноголовые кедры, сплетаясь ветвями, превратили длинную, посыпанную гравием аллею в некое подобие сумрачного туннеля. Укрывшись от глаз под надежной защитой их узловатых рук, Скарлетт умерила шаг. Она с трудом переводила дыхание из‑за туго затянутого корсета; бежать она не могла, но шла все же очень быстро. Вскоре она достигла конца подъездной аллеи и вышла на дорогу, но продолжала идти вперед, пока за поворотом высокие деревья не скрыли из виду усадебного дома.

Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она присела на поваленное дерево и стала ждать отца. Он запаздывал, но она была этому даже рада. Есть время успокоиться, отдышаться и встретить его с безмятежным видом, не возбуждая подозрений. Еще минута, и до нее долетит стук подков, и она увидит: вот он бешеным, как всегда, галопом гонит коня вверх по крутому откосу. Но минуты бежали одна за другой, а Джералд не появлялся. В ожидании его она смотрела вниз с холма, и сердце у нее снова заныло.

«Нет, неправда это! — убеждала себя она. — Но почему он не едет?»

Она смотрела на вьющуюся по склону холма дорогу, багрово‑красную после утреннего дождя, и мысленно прослеживала ее всю, вплоть до илистой поймы ленивой реки Флинт, и дальше вверх по холму до Двенадцати Дубов — усадьбы Эшли. Теперь в ее глазах эта дорога имела только одно значение — она вела к Эшли, к красивому дому с белыми колоннами, венчавшему холм наподобие греческого храма.

«Ах, Эшли, Эшли!» — беззвучно воскликнула она, и сердце ее заколотилось еще сильнее.

Холодное, тревожное предчувствие беды, не перестававшее терзать ее с той минуты, как близнецы принесли страшную весть, вдруг ушло куда‑то в глубь сознания, будучи вытеснено уже знакомым лихорадочным жаром, томившим ее на протяжении последних двух лет.

Теперь ей казалось странным, что Эшли, вместе с которым она росла, никогда прежде не привлекал к себе ее внимания. Он появлялся и исчезал, ни на минуту не занимая собой ее мыслей. И так было до того памятного дня, два года назад, когда он, возвратясь домой после своего трехгодичного путешествия по Европе, приехал к ним с визитом, и она полюбила его. Вот так вдруг полюбила, и все!

Она стояла на ступеньках крыльца, а он — в сером костюме из тонкого блестящего сукна, с широким черным галстуком, подчеркивающим белизну его плоеной сорочки, — внезапно появился на подъездной аллее верхом на лошади. Она помнила все до мельчайших деталей: блеск его сапог, камею с головой медузы в булавке, которой был заколот галстук, широкополую панаму, стремительным жестом снятую с головы, как только он увидел ее, Скарлетт. Он спешился, бросил поводья негритенку и стал, глядя на нее; солнце играло в его белокурых волосах, превращая их в серебряный шлем, и его мечтательные серые глаза улыбались ей. Он сказал: «О, вы стали совсем взрослой, Скарлетт!» И, легко взбежав по ступенькам, поцеловал ей руку. Ах, этот голос! Никогда не забыть ей, как забилось ее сердце при звуках этого медлительного, глубокого, певучего, как музыка, голоса. Так забилось, словно она слышала его впервые.

И в этот самый миг в ней вспыхнуло желание. Она захотела, чтобы он принадлежал ей, захотела не рассуждая, так же естественно и просто, как хотела иметь еду, чтобы утолять голод, лошадь, чтобы скакать верхом, мягкую постель, чтобы на ней покоиться.

Два года он сопровождал ее на балы и на теннисные матчи, на рыбную ловлю и на пикники, разъезжал с ней по всей округе, хотя и не столь часто, как братья‑близнецы Тарлтоны или Кэйд Калверт, и не был столь назойлив, как братья Фонтейны, и все же ни одна неделя не проходила без того, чтобы Эшли Уилкс не появился в поместье Тара.

Правда, он никогда не домогался ее любви и в его ясном сером взоре никогда не вспыхивало того пламени, которое она привыкла подмечать в обращенных на нее взглядах других мужчин. И все же... все же... она знала, что он любит ее. Тут она ошибиться не могла. Ей говорил это ее инстинкт — тот, что проницательнее рассудка и мудрее жизненного опыта. Часто она исподтишка ловила на себе его взгляд, в котором не было присущей ему отрешенности, а какая‑то неутоленность и загадочная для нее печаль. Она знала, что Эшли любит ее. Так почему же он молчал? Этого она понять не могла. Впрочем, она многого в нем не понимала.

Он всегда был безупречно внимателен к ней — но как‑то сдержанно, как‑то отчужденно. Никто, казалось, не мог проникнуть в его мысли, а уж Скарлетт и подавно. Эта его сдержанность всех выводила из себя — ведь здесь все привыкли сразу выпаливать первое, что приходило на ум. В любых традиционных развлечениях местной молодежи Эшли никому не уступал ни в чем: он был одинаково ловок и искусен и на охоте, и на балу, и за карточным столом, и в политическом споре, и считался, притом бесспорно, первым наездником графства. Но одна особенность отличала Эшли от всех его сверстников: эти приятные занятия не были смыслом и содержанием его жизни. А в своем увлечении книгами, музыкой и писанием стихов он был совершенно одинок.

О боже, почему же этот красивый белокурый юноша, такой изысканно, но холодно учтивый, такой нестерпимо скучный со своими вечными разглагольствованиями о европейских странах, о книгах, о музыке, о поэзии и прочих совершенно неинтересных вещах, был столь притягателен для нее? Вечер за вечером Скарлетт, просидев с Эшли в сумерках на крыльце допоздна, долго не могла потом сомкнуть глаз и находила успокоение лишь при мысли о том, что в следующий вечер он несомненно сделает ей предложение. Но вот наступал следующий вечер, а за ним еще следующий, и все оставалось по‑прежнему. А сжигавшее ее пламя разгоралось все жарче.

Она любила его и желала, но он был для нее загадкой. Все в жизни представлялось ей непреложным и простым — как ветры, дующие над плантацией, как желтая река, омывающая холм. Все сложное было ей чуждо и непонятно, и такой суждено ей было оставаться до конца дней своих. А сейчас впервые судьба столкнула ее лицом к лицу с натурой несравненно более сложной, чем она.

Ибо Эшли был из рода мечтателей — потомок людей, из поколения в поколение посвящавших свой досуг раздумьям, а не действиям, упивавшихся радужными грезами, не имевшими ничего общего с действительностью. Он жил, довольствуясь своим внутренним миром, еще более прекрасным на его взгляд, чем Джорджия, и лишь нехотя возвращался к реальной действительности. Взирая на людей, он не испытывал к ним ни влечения, ни антипатии. Взирая на жизнь, он не омрачался и не ликовал. Он принимал существующий миропорядок и свое место в нем как нечто данное, раз и навсегда установленное, пожимал плечами и возвращался в другой, лучший мир — к своим книгам и музыке.

Скарлетт не понимала, как мог он, чья душа была для нее потемки, околдовать ее. Окружавший его ореол тайны возбуждал ее любопытство, как дверь, к которой нет ключа. Все, что было в нем загадочного, заставляло ее лишь упорнее тянуться к нему, а его необычная сдержанная обходительность лишь укрепляла ее решимость полностью им завладеть. Она была молода, избалованна, она еще не знала поражений и ни секунды не сомневалась в том, что рано или поздно Эшли попросит ее стать его женой. И вдруг как гром среди ясного неба — эта ужасная весть. Эшли сделал предложение Мелани! Да нет, не может быть!

Как же так! Ведь не далее как на прошлой неделе, когда они в сумерках возвращались верхом с прогулки, он неожиданно произнес: «Мне нужно сказать вам нечто очень важное, Скарлетт, но я просто не знаю, с чего начать».

У нее бешено заколотилось сердце от сладкого предчувствия, и, понимая, что желанный миг наконец настал, она скромно опустила глаза, но тут Эшли прибавил: «Впрочем, нет, не сейчас. Мы уже почти дома, у нас не будет времени на разговор. Ах, какой же я трус, Скарлетт!» И, пришпорив коня, он следом за ней взлетел на холм, к усадьбе.

Сидя на поваленном дереве, Скарлетт вспомнила эти слова, переполнившие ее тогда такой радостью, и внезапно они обрели для нее совсем иной, ужасный смысл. А может быть, он просто хотел сообщить, что обручен с другой?

Господи! Хоть бы папа вернулся! Она не в силах была больше выносить это состояние неизвестности. Снова и снова нетерпеливо вглядывалась она вдаль, но все было напрасно.

Солнце уже закатилось, и багряный край небес поблек, став тускло‑розовым; лазурь над головой постепенно окрашивалась в нежные, зеленовато‑голубые, как яйцо зорянки, тона, и таинственная сумеречная тишь природы неслышно обступала Скарлетт со всех сторон. Призрачный полумрак окутывал землю. Красные борозды пахоты и красная лента дороги, утратив свой зловеще‑кровавый оттенок, превратились в обыкновенную бурую землю. На выгоне, по ту сторону дороги, лошади, коровы и мулы тихо стояли возле изгороди в ожидании, когда их погонят к конюшням, коровникам и к ужину. Их пугал темный силуэт зарослей вдоль реки, и они прядали ушами в сторону Скарлетт, словно радуясь соседству человека.

В этом призрачном полумраке высокие сосны в пойме реки, такие сочно‑зеленые при свете дня, казались совершенно черными на блеклой пастели неба — могучие, величественные гиганты, они стояли сомкнутым строем, преграждая доступ к неспешно бегущей желтой воде. Белые трубы усадьбы Уилксов на том берегу реки, на холме, меркли все больше среди густой темной зелени дубов, и только мерцавшие кое‑где огоньки зажженных к ужину ламп манили на ночлег.

Влажное, теплое дыхание весны, напоенное запахом свежевспаханной земли и молодых, рвущихся к небу побегов, сладко обволакивало Скарлетт.

Весна, закаты, нежно‑зеленая поросль никогда не пробуждали в душе Скарлетт ощущения чуда. Прекрасное было повседневностью, частицей жизни, как воздух, как вода. Ее сознание было восприимчиво к красоте лишь вполне конкретных, осязаемых предметов — породистых лошадей, женских лиц, нарядных одеяний... И все же торжественная тишина этих сумерек, спустившихся на возделанные земли Тары, принесла успокоение ее взбаламученной душе. Она любила эту землю — любила безотчетно и беззаветно, как любила лицо матери, склоненное в молитве при свете лампады.

А Джералда все еще не было видно на безлюдной извилистой дороге. Если сидеть здесь и ждать. Мамушка, без сомнения, отыщет ее и прогонит в дом. Продолжая вглядываться в уходящую во мрак дорогу, она вдруг услышала стук копыт, долетевший от подножия холма со стороны выгона, и увидела разбегающихся в страхе коров и лошадей. Джералд О’Хара возвращался домой напрямик через поля и гнал коня во весь опор.

Он взлетел на холм на своем плотном, длинноногом гунтере, похожий издали на мальчишку, оседлавшего коня себе не по росту. Седые волосы его стлались на скаку по ветру, он стегал лошадь хлыстом и понукал криком.

Забыв на мгновение о снедавшей ее тревоге, Скарлетт с гордостью и нежностью любовалась отцом, ибо что ни говори, а Джералд О’Хара был лихим наездником.

«Стоит ему выпить, и его тут же понесет махать через изгороди, — подумала Скарлетт. — А ведь как раз на этом месте в прошлом году он вылетел из седла и сломал ногу. Хороший вроде бы получил урок. Да еще клятвенно пообещал маме прекратить эти штуки».

Скарлетт не испытывала ни малейшего страха перед отцом. Он был как бы ее сверстником — даже больше, чем сестры, — ведь Джералд, словно мальчишка, любил втайне от жены скакать по полям напрямик, а Скарлетт — тоже большая охотница до всяких эскапад — была его верной союзницей против Мамушки. Она поднялась с дерева — поглядеть, как он будет прыгать.

Высокий жеребец приблизился к ограде и, подобравшись, без малейшего, казалось, усилия взял препятствие под ликующие возгласы седовласого всадника, махавшего в воздухе хлыстом. Не замечая дочери, стоявшей в тени под деревьями, Джералд одобрительно потрепал лошадь по холке и свернул на дорогу.

— Любому коню в округе дашь сто очков, а может, и во всем штате, — гордо поведал он своему жеребцу, и ирландский акцент, от которого ему так и не удалось избавиться за все тридцать девять лет жизни в Америке, отчетливо прозвучал в его речи. Затем он поспешно принялся приглаживать волосы и оправлять мятую, выбившуюся из‑за пояса сорочку и съехавший набок галстук. Скарлетт понимала, что эти прихорашивания нужны для того, чтобы предстать перед женой в таком виде, какой подобает джентльмену, степенно возвратившемуся домой верхом после визита к соседям. И тут же она сообразила, что это дает ей повод начать разговор, не открывая истинной цели своего появления здесь.

Она звонко рассмеялась. Джералд, как она и ожидала, вздрогнул от неожиданности, затем увидел ее и придержал жеребца; вид у него сделался сконфуженный и вместе с тем вызывающий. Он спешился с трудом — поврежденное колено еще давало о себе знать — и, ведя лошадь в поводу, направился к дочери.

— Так‑так, мисс, — сказал он и ущипнул ее за щеку, — вы, значит, взялись шпионить за мной и, совсем как ваша сестрица Сьюлин на прошлой неделе, побежите жаловаться маменьке?

Голос его звучал негодующе и в то же время жалобно, и Скарлетт, желая немного подразнить его, насмешливо прищелкнула языком и потянулась поправить ему галстук. На нее пахнуло крепким запахом виски и более слабым — свежей мяты. И еще пахло жевательным табаком, кожей и лошадьми. Этот с детства любимый запах был всегда связан в ее представлении с отцом, но безотчетно нравился ей и как принадлежность других мужчин.

— Нет, па, я же не ябеда, вроде Сьюлин, — заверила она отца и, отступив на шаг, окинула его оценивающим взглядом, дабы удостовериться, что все в порядке.

Джералд был невысок ростом — чуть больше пяти футов, — но обладал таким массивным торсом и могучей шеей, что сидя производил впечатление крупного мужчины. Этот могучий торс держался на двух коротких, но чрезвычайно крепких ногах, неизменно обутых в сапоги из самой лучшей кожи и столь же неизменно широко расставленных, как у задиристого мальчишки. Низкорослые мужчины обычно кажутся немного смешными, если начинают пыжиться и напускать на себя важность, но бойцовский петух, даже если он мал, всегда пользуется уважением на птичьем дворе, и то же самое можно было сказать о Джералде О’Хара. Ни одному самому отчаянному смельчаку не пришло бы в голову отозваться о Джералде О’Хара как о смешном маленьком коротышке.

Ему уже стукнуло шестьдесят, и его жесткие курчавые волосы выбелила и посеребрила седина, но на лукавом лице этого жизнелюбца еще не обозначилось морщин, а небольшие голубые глаза были по‑прежнему молоды и взгляд юношески безмятежен и тверд, ибо Джералд О’Хара не привык терзать свой мозг отвлеченными проблемами, выходящими за пределы целесообразности прикупа или блефа при игре в покер. И более типичную ирландскую физиономию — широкоскулую, краснощекую, большеротую, курносую и воинственную — не так‑то легко было бы сыскать на всем пространстве его далекой, давно покинутой родины.

А под этой холерической внешностью скрывалось нежнейшее из сердец. Вопли раба, получавшего, быть может, и заслуженную порку, детский плач или жалобное мяуканье котенка были невыносимы для его ушей. Но пуще всего на свете он страшился, как бы эта его слабость не была кем‑нибудь подмечена, и даже не подозревал, что через пять минут знакомства с ним его доброта бросалась в глаза каждому: такое открытие нанесло бы самолюбию Джералда чувствительнейший удар. Ведь ему казалось, что, заслышав громовые раскаты голоса хозяина, все, трясясь от страха, опрометью бросаются исполнять его волю. Он был далек от мысли о том, что только одному голосу — негромкому голосу его жены — повиновалось все в поместье. Это должно было навеки остаться для него тайной, ибо все, начиная с Эллин и кончая самым тупым негритенком, были участниками безмолвного деликатного заговора: хозяин должен считать, что здесь его слово — закон.

А уж Скарлетт бурные вспышки его гнева не пугали и подавно. Она была старшей из детей Джералда, и теперь, когда трое его сыновей лежали в могилах на семейном кладбище и стало очевидно, что он уже не будет иметь наследника, у него мало‑помалу образовалась привычка беседовать со Скарлетт как мужчина с мужчиной, что весьма льстило ее тщеславию, и она полюбила эти беседы. Скарлетт больше походила характером на отца, чем ее сестры — мечтательная, хрупкая Кэррин, в крещении Кэролайн‑Айрин, и изящная Сьюлин, крещенная Сьюзин‑Элинор, чрезвычайно гордившаяся своими аристократическими манерами.

Более того — Джералда и Скарлетт связывали узы взаимного укрывательства. Если Джералд ловил Скарлетт на месте преступления, когда она, ленясь прогуляться полмили до ворот, перелезала через ограду или засиживалась допоздна на ступеньках крыльца с очередным поклонником, он самолично яростно отчитывал ее, но никогда не сообщал об этом ни Эллин, ни Мамушке. Если же Скарлетт видела, что отец, невзирая на данное жене обещание, скачет верхом через изгороди, или ненароком узнавала от местных кумушек подлинную сумму его карточного проигрыша, она, в свою очередь, тоже воздерживалась за ужином от упоминания об этих его провинностях, не в пример Сьюлин, выдававшей его секреты с деланно невинным видом. Джералд и Скарлетт торжественно заверяли друг друга, что все эти мелочи только зря взволновали бы Эллин и посему никакая сила на свете не заставит их ранить ее нежные чувства.

Скарлетт, вглядываясь в смутно различимое в меркнущем свете лицо отца, безотчетно почувствовала себя увереннее от его близости. Его грубоватая простота, исходившая от него жизненная сила находили в ней живой отклик. Будучи от природы совершенно неспособной к самоанализу, она не отдавала себе отчета в том, что те же свойства присущи и ей, несмотря на все усилия Эллин и Мамушки, пытавшихся на протяжении шестнадцати лет перекроить ее на свой лад.

— Ну, теперь у вас вполне благопристойный вид, — сказала она, — и если вы будете держать язык за зубами, никто не заподозрит, что вы опять откалывали свои номера. Хотя, после того как вы в прошлом году сломали ногу, прыгая через эту самую изгородь, мне кажется...

— Не хватало еще, черт побери, чтобы я получал указания от дочери, через что мне дозволено прыгать, — загремел Джералд, снова ущипнув ее за щеку. — Моя шея, надо полагать, это моя шея, и только моя. А вот что вы, мисс, делаете здесь, да еще в таком виде, без шали?

Понимая, что отец пользуется своим излюбленным способом, чтобы увильнуть от неприятного разговора, Скарлетт сказала, беря его под руку:

— Я дожидалась вас. Я же не знала, что вы так задержитесь. Мне хотелось узнать, удалось ли вам купить Дилси.

— Купил, купил. Отвалил за нее больше денег, чем мне по карману. И ее купил и эту ее девчонку, Присей. Джон Уилкс хотел мне их подарить, но Джералд О’Хара никогда не допустит, чтобы про него говорили, будто он способен использовать дружбу в корыстных целях при заключении торговой сделки. Я заставил Джона взять с меня за них три тысячи.

— Боже милостивый, неужели три тысячи, папа! И совершенно ни к чему было покупать еще и Присей!

— Вот как! Оказывается, я уже дожил до того, что мои поступки выносятся теперь на суд моей дочери? — высокопарно изрек Джералд. — Присей — славная девчушка, и посему...

— Я прекрасно ее знаю. Хитрое, глупое создание, — спокойно стояла на своем Скарлетт, нимало не испугавшись взрыва его негодования. — И купили вы ее только потому, что об этом просила Дилси.

Очередной раз уличенный в добром поступке, Джералд как всегда смутился и обескураженно умолк, а Скарлетт откровенно рассмеялась над его бесхитростной ложью.

— Ну и что с того? А какой был бы толк покупать Дилси, если бы она все время убивалась из‑за дочки? Ладно, больше ни одному своему негру не позволю жениться на негритянке с чужой плантации. Слишком дорого обходится. Однако пора, пошли ужинать, малышка.

Сумрак сгущался, последние зеленоватые отблески заката догорели на небе, и в теплом, напоенном весенними ароматами воздухе уже ощущалась ночная прохлада. Но Скарлетт медлила, не зная, как навести разговор на Эшли так, чтобы отец не разгадал ее мыслей. Это было непросто, ибо Скарлетт отнюдь не отличалась изворотливостью ума, и Джералд столь же легко распознавал ее уловки, как она — его, и не проявлял при этом особого такта.

— Как они там все в Двенадцати Дубах?

— Да как обычно. Заезжал Кэйд Калверт, и, покончив насчет Дилси, мы посидели на веранде, выпили пунша. Кэйд только что вернулся из Атланты, а там все очень взволнованы слухами о войне, только и разговору что об этом...

Скарлетт вздохнула. Если Джералд пустится рассуждать о войне и выходе Джорджии из Союза Штатов, этого хватит на целый час. Она прервала его, направив разговор в другое русло:

— А о завтрашнем барбекю разговора не было?

— Говорили, припоминаю. Мисс... постой, как же ее звать‑то, ну, ты знаешь, славная такая малютка, двоюродная сестричка Эшли, та, что была у нас в прошлом году... Вспомнил — мисс Мелани Гамильтон! Она только что приехала из Атланты со своим братом Чарлзом и...

— О, вот как! Уже приехала?..

— Да, да, приехала. Очень милое создание, держится так скромно, как и подобает девушке. Ну, пошли же, чего ты опять стала, твоя маменька хватится нас.

Сердце Скарлетт упало. Она еще питала безрассудную надежду, что какие‑нибудь обстоятельства помешают Мелани Гамильтон покинуть родную Атланту, но похвалы отца, расточаемые всему, что в этой девушке было так чуждо ей самой, заставили ее пойти напролом:

— А Эшли тоже был там?

— И Эшли был. — Джералд выпустил руку дочери и, повернувшись, пытливо на нее поглядел. — За этим ты сюда и пришла? К чему же ходить вокруг да около?

Скарлетт растерялась и с досадой почувствовала, что краснеет.

— Ну, что ж ты молчишь?

Она по‑прежнему не проронила ни звука, сожалея в душе, что отца нельзя схватить за плечи, тряхнуть, заставить замолчать.

— Он был там и очень ласково расспрашивал о тебе, так же как и его сестры, и все выражали надежду, что ты непременно побываешь у них завтра на барбекю. И я, — не без лукавства добавил он, — заверил их, что, конечно, ничто не может тебе помешать. Ну, а теперь выкладывай, что у тебя с Эшли?

— Ничего, — сказала Скарлетт и потянула его за рукав. — Пошли домой, папа.

— Так. Теперь ты заторопилась домой, — промолвил он. — Ну, а я намерен теперь стоять здесь, пока ты мне не объяснишь. Последнее время с тобой, похоже, творится что‑то неладное. Он что, заигрывал с тобой? Может, делал тебе предложение?

— Нет! — отрезала Скарлетт.

— И не сделает, — сказал Джералд.

Скарлетт вспыхнула, но Джералд властным жестом не дал ей заговорить.

— Помолчите, мисс! Сегодня Джон Уилкс сообщил мне под большим секретом, что Эшли женится на мисс Мелани. И завтра будет объявлена их помолвка.

Рука Скарлетт, вцепившаяся в его рукав, безжизненно повисла. Значит, это все‑таки правда!

Боль, словно хищный зверь, вонзила когти в ее сердце. Она перехватила взгляд отца — и уловила в нем и сострадание и досаду: эта проблема была совсем не по его части и он не знал, как к ней подступиться. Любя дочь, он вместе с тем чувствовал себя не в своей тарелке из‑за того, что Скарлетт вынуждала его улаживать ее детские беды. Эллин — та знает, как в таких случаях надлежит поступать. Скарлетт следовало бы обратиться к матери.

— Зачем ты выставляешь себя на посмешище — позоришь и себя и всех нас? — заговорил он, как всегда в минуты волнения повышая голос. — Вешаешься на шею парню, который тебя знать не хочет? А ведь к тебе готов посвататься любой самый видный жених в графстве.

Гнев и оскорбленная гордость заглушили на мгновение боль.

— Я не вешалась ему на шею. Просто эта новость удивила меня.

— А ведь ты врешь! — сказал Джералд и, вглядевшись в ее убитое горем лицо, добавил в порыве доброты и жалости: — Прости меня, доченька. Но ведь ты же еще ребенок, и поклонников у тебя хоть пруд пруди.

— Маме было пятнадцать лет, когда она выходила за вас замуж, а мне уже шестнадцать, — глухо пробормотала Скарлетт.

— Твоя мать другое дело, — сказал Джералд. — Она никогда не была такой вертихвосткой, как ты. Ну, ну, дочка, голову выше! На будущей неделе мы с тобой поедем в Чарльстон к твоей тетушке Евлалии, и ты, как послушаешь, что они там рассказывают про форт Самтер, так тут же и думать перестанешь о своем Эшли.

«Он считает меня ребенком, — подумала Скарлетт. Горе и досада на отца сковали ей язык. — Куплю ей, дескать, новую погремушку, и она забудет, что набила себе на лбу шишку!»

— И нечего смотреть на меня бешеными глазами, — сказал Джералд. — Будь у тебя в голове побольше мозгов, давно могла бы выйти замуж хоть за Брента, хоть за Стюарта Тарлтона. Подумай‑ка над этим, дочка. Выходи замуж за одного из близнецов, и мы с Джимом Тарлтоном соединим наши плантации, а для тебя построим красивый дом как раз посередине, на границе между ними, там, где большая сосновая роща, и...

— Да перестаньте вы разговаривать со мной, как с ребенком! — не выдержала Скарлетт. — Не хочу я ехать ни в какой Чарльстон, и не нужен мне ваш дом, и не желаю я выходить замуж ни за одного из близнецов! Никто мне не нужен, кроме... — Она прикусила язык, но, увы, слишком поздно.

Голос Джералда звучал на этот раз странно спокойно, и слова падали медленно, словно он раздумчиво выбирал их из того запаса, к которому редко приходилось прибегать:

— Никто, значит, тебе не нужен, кроме Эшли, а его‑то ты получить и не можешь. И если бы даже он захотел жениться на тебе, я бы с большой неохотой дал свое согласие, хотя Джон Уилкс и лучший мой друг. — И видя, что его слова поразили Скарлетт, он добавил: — Я хочу видеть мою дочь счастливой, а ты никогда не была бы счастлива с ним.

— О да, да, я была бы счастлива! Очень!

— Нет, дочка, никогда. Чтобы брак был счастливым, муж и жена должны быть из одного теста.

У Скарлетт едва не слетели с языка неосторожные слова: «Но вы же счастливы, хотя совсем не из одного теста с мамой», — однако она вовремя удержалась, понимая, что за подобную наглость может заработать пощечину.

— Уилксы совсем другого сорта люди, не такие, как мы, — продолжал Джералд, все так же медленно подбирая слова. — Да они и ни на кого во всей нашей округе не похожи, я таких, как они, больше и не встречал нигде. Они — странный народ, и это хорошо, что в их роду так повелось — жениться на своих двоюродных сестрах и оставлять, так сказать, все свои странности при себе.

— Да нет же, папа, Эшли вовсе не...

— Придержи язык, котенок! Ничего плохого я про этого малого сказать не хочу, он мне нравится. Я говорю «странный» не в смысле поврежденный в уме. И таких подвигов, как за Калвертами, которые могут просадить на скачках все состояние, или как за Тарлтонами, у которых один‑два пьяницы в каждом поколении, или как за Фонтейнами, которые все отпетые буяны и готовы пристрелить человека за любую безделицу, — таких подвигов за ним, конечно, не водится. Но только это все обычные дела, каждому понятные, и если бог уберег от такого Джералда О’Хара, так это ему просто повезло! И опять же я вовсе не считаю, что Эшли стал бы тебя поколачивать или наставлять тебе рога. Впрочем, это бы еще полбеды, потому что тут ты, может, сумела бы его понять. Но он совсем по‑особому странный человек, и понять его невозможно. Я его люблю, но зарежь меня, если я понимаю хоть половину из того, что он говорит. Ну, скажи мне, доченька, скажи, положа руку на сердце, ты что‑нибудь понимаешь во всей этой галиматье, которую он несет про книжки, музыку, стихи, картины и прочую чепуховину?

— Ах, папа, — нетерпеливо вскричала Скарлетт, — будь я его женой, со мной он стал бы совсем иным!

— Вот оно что, ты так полагаешь? — язвительно промолвил Джералд, бросив на нее испытующий взгляд. — Плохо же ты знаешь мужчин, не говоря уже об Эшли. Ни одна жена на всем свете не сумела еще переделать мужа, и советую тебе зарубить это себе на носу. А уж чтоб переделать кого‑нибудь из Уилксов — да тут сам всемогущий бог тебе не поможет, дочка! Весь род у них такой, такими они были испокон веков. И такими, верно, и останутся. Говорю тебе — это у них в крови. Ты что, не видишь, как они носятся то в Нью‑Йорк, то в Бостон — послушать оперу или поглядеть на какие‑то там масляные полотна. И целыми ящиками заказывают себе у янки французские и немецкие книжки. А потом дни и ночи просиживают за этими книжками или раздумывают бог весть о чем, вместо того чтобы поехать на охоту или составить партию в покер, как подобает настоящим мужчинам.

— Во всем графстве никто лучше не сидит в седле, чем Эшли! — вне себя воскликнула Скарлетт, глубоко задетая тем, что ее любимого заподозрили в недостатке мужественности. — Никто, разве что его отец. И кто, как не Эшли, всего на прошлой неделе выставил вас в Джонсборо на двести долларов в покер?

— Откуда тебе известно, что на двести, — калвертские мальчишки опять распустили язык? — сердито пробормотал Джералд. — Эшли никому не уступит ни в седле, ни за карточным столом — разве я против этого спорю, дочка? Да и во хмелю он крепок — любого из тарлтонских мальчишек свалит под стол. Это все так, да только у него к этому вовсе не лежит душа. Вот почему я говорю, что странный он человек.

Скарлетт молчала. У нее стало еще тяжелее на сердце. Ей нечего было возразить отцу, она понимала, что он прав. Эшли нисколько не тянуло ко всем этим лихим забавам, в которых он принимал участие с таким блеском. Он просто проявлял вежливый интерес к тому, чему другие отдавали душу.

Правильно разгадав причину ее молчания, Джералд потрепал ее по плечу и торжествующе произнес:

— Вот видишь, Скарлетт. Ты сама понимаешь, что я прав. Ну, на что тебе такой муж, как Эшли? У всех у них мозги набекрень, у этих Уилксов. — И помолчав, прибавил вкрадчиво: — А Тарлтонов я просто так помянул, не нравятся — не надо. Они славные парни, но если тебе больше по сердцу Кэйд Калверт, то, по мне, и он хорош. Калверты все — добрый народ, хоть старик и взял себе в жены янки. А когда пробьет мой час... Слушай, детка! Я завещаю Тару тебе и Кэйду...

— Не пойду я за Кэйда, хоть меня озолоти! — со злостью выкрикнула Скарлетт. — И перестаньте же навязывать его мне, слышите! И не нужна мне ваша Тара и ваши дурацкие плантации. К чему все это, если...

Она хотела сказать: «если я не могу иметь того, кого хочу», но Джералд, ужаленный в самое сердце пренебрежением, с каким был отвергнут его великодушный дар — его Тара, которая, не считая, разумеется, Эллин, была ему дороже всего на свете, не дал ей договорить:

— От вас ли я это слышу, Скарлетт О’Хара! По‑вашему, значит, Тара — ничего не стоящий клочок земли?..

Скарлетт упрямо мотнула головой. Она была так несчастна, что ей уже было все равно — отец рассвирепеет, ну и пусть...

— Земля — единственное на свете, что имеет ценность, — воскликнул Джералд, вне себя от возмущения воздев над головой свои короткие руки, словно призывая небо в свидетели, — потому что она — единственное, что вечно, и не мешало бы тебе зарубить себе это на носу! Единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться... и умереть!

— Ах, папа, — презрительно молвила Скарлетт, — вы рассуждаете, как настоящий ирландец!

— А разве я когда‑нибудь этого стыдился? Напротив, я этим горжусь. И вы тоже наполовину ирландка, не забывайте, мисс! А для того, у кого есть хоть капля ирландской крови в жилах, его земля — это то же, что родная мать. И мне сейчас стыдно за тебя. Я предложил тебе в дар прекраснейшую из всех земель, не считая, конечно, графства Мит в Старом Свете, а ты что? Презрительно фыркнула!

Джералд в своем праведном гневе распаялся все больше и больше, но что‑то в потухшем лице Скарлетт заставило его изменить тон:

— Впрочем, ты еще молода. Она еще пробудится в тебе — любовь к своей земле. Иначе и быть не может, ведь ты тоже ирландка. А сейчас ты еще ребенок, и у тебя одни мальчишки на уме. Станешь постарше, сама все поймешь... А пока подумай насчет Кэйда, или одного из близнецов, или кого‑нибудь из сынков Эвана Манро, и ты увидишь, какую шикарную я тебе закачу свадьбу!

— Ах, папа!

Но разговор этот уже донельзя утомил Джералда, и терпение его истощилось — надо же, чтобы все это свалилось именно на его плечи! И особенно досадно было то, что Скарлетт все еще казалась удрученной после того как он предложил ей на выбор лучших женихов графства и Тару в придачу. Джералд привык, чтобы его дары принимались с благодарными поцелуями и аплодисментами.

— Ну, хватит дуться, мисс. Кого ты изберешь себе в мужья — не имеет большого значения, если это будет джентльмен, южанин и человек достойный. А любовь приходит к женщине уже в браке.

— Ах, папа, какие у вас старомодные взгляды!

— И очень правильные, кстати! На что нам вся эта любовная чепуха на новомодный манер, все эти браки по любви, как у слуг или как у янки! Лучшие браки — это те, когда родители сами выбирают супруга для своей дочери. Ну разве может такая глупышка, как ты, разобраться, где хороший человек, а где негодяй? Погляди хоть на Уилксов. Откуда в них такая сила, такое достоинство — у всех, из поколения в поколение? Да потому, что они заключают браки среди своей родни, женятся на двоюродных сестрах — так уж у них заведено.

— Ах, боже мой! — вскричала Скарлетт. Слова отца снова разбередили рану, напомнив ей о неотвратимости предстоящего союза. Джералд беспомощно потоптался на месте, глядя на ее понурую голову.

— Да ты, никак, ревешь? — спросил он, неуклюже взяв ее за подбородок и стараясь запрокинуть ей голову, и сам уже чуть не плача от жалости.

— Нет! — выкрикнула она, резко отстраняясь от него.

— Ты лжешь, и за это я тобой горжусь. Я рад, что в тебе есть гордость, котенок. И завтра на этом барбекю ты должна держаться гордо. Не хватает только, чтобы тебя подняли на смех и по всей округе пошли сплетни, что ты бегаешь за парнем, который никогда не предлагал тебе ничего, кроме дружбы.

«И вовсе это не так, — с грустью думала Скарлетт. — Я для него не просто друг, я же знаю. Я чувствую это. Будь у меня еще хоть немножко времени, я бы заставила его заговорить... Все ведь это только потому, что у этих Уилксов принято жениться на кузинах!»

Джералд взял ее руку и продел под свой локоть.

— А теперь мы пойдем ужинать, и весь этот разговор останется между нами. Я не хочу расстраивать твою мать и тебе не советую. А ну‑ка, давай, дочка, высморкайся.

Скарлетт высморкалась в свой истерзанный носовой платок, и они рука об руку зашагали по темной аллее, а лошадь медленно пошла за ними. Возле дома Скарлетт хотела было снова что‑то сказать, но тут на ступеньках крыльца она различила фигуру матери. Эллин была в шляпе, шали и митенках, а за ее спиной, с лицом мрачнее тучи, держа в руках черную кожаную сумку с бинтами и лекарствами, стояла Мамушка. Эту сумку Эллин О’Хара всегда брала с собой, когда на плантации кто‑нибудь заболевал и она шла оказать больному помощь. В минуты возмущения и без того оттопыренная нижняя губа Мамушки выпячивалась еще дальше, и Скарлетт с одного взгляда поняла: что‑то вызвало неодобрение Мамушки и она вся кипит.

— Мистер О’Хара! — заметив их приближение, окликнула мужа Эллин. Мать Скарлетт принадлежала к тому поколению, которое считало необходимым соблюдать известный декорум в отношениях между супругами, даже после семнадцати лет брака, увенчавшегося появлением на свет шестерых детей. — Мистер О’Хара, у Слэттери беда: Эмми разрешилась от бремени, но ребенок умирает, и его надо окрестить. Мы с Мамушкой хотим пойти туда, поглядеть, чем можно помочь.

В голосе ее звучала вопросительная интонация, словно она испрашивала у Джералда согласия, что, разумеется, было простой формальностью, но чрезвычайно льстило Джералду.

— Час от часу не легче! — сразу вспылил Джералд. — Неужели эта белая рвань не может дать нам спокойно поужинать! А мне как раз не терпится рассказать вам, что говорят в Атланте о войне! Что ж, ступайте, миссис О’Хара, вы же иначе не сомкнете глаз до утра — все будете терзаться, что у кого‑то беда, а вас там не было.

— Да она только голову на подушку и тут же опять вскочит и бежать. То надо какого‑то негра полечить, то кого‑то из этих белых бедняков, будто уже они сами о себе позаботиться не могут! — глухо проворчала Мамушка, спускаясь с крыльца и направляясь к стоявшей в боковой аллее коляске.

— Замени меня за столом, дорогая, — сказала Эллин, и ее обтянутая митенкой рука неясно коснулась щеки Скарлетт.

Немеркнущая магия этого прикосновения, тонкий аромат сухих духов лимонной вербены и легкий шелест шелкового платья, как всегда, трепетом отозвались в сердце Скарлетт, несмотря на душившие ее слезы. В присутствии Эллин у Скарлетт захватывало дух — мать была неким чудом, по странному волшебству обитающим под одной с ней кровлей, неотразимо прекрасным, внушающим благоговейный трепет и неизменно приносящим утешение во всех горестях.

Джералд помог жене сесть в коляску и дал кучеру наставление не гнать лошадей и ехать с осторожностью. Тоби, двадцать лет ходивший за лошадьми Джералда, негодующе скривил губы — хозяин мог бы и не совать нос в его дела. Мамушка восседала рядом с ним, дополняя собой картину нескрываемого африканского недовольства поведением хозяев.

«Если бы мы поменьше помогали этим несчастным Слэттери, — хмуро раздумывал Джералд, — они бы с охотой продали мне свои жалкие несколько акров болотистой низины и освободили бы графство от своего присутствия». Но тут в мозгу у него привычно мелькнула мысль о хорошей шутке, и, повеселев, он сказал:

— Давай‑ка, дочка, скажем Порку, что я решил не покупать Дилси, а вместо этого продал его самого Джону Уилксу.

Бросив поводья болтавшемуся поблизости негритенку, Джералд поднялся на крыльцо. Горести Скарлетт были им уже позабыты, а мысли полны одним: как получше разыграть своего черного лакея. Скарлетт медленно, чувствуя холодную тяжесть в ногах, последовала за отцом. Ее брак с Эшли выглядел бы в конце концов ничуть не более странным, чем союз ее отца с Эллин Робийяр, в супружестве Эллин О’Хара. И в который уж раз она с недоумением спросила себя, как это могло произойти, что ее недалекий, грубоватый папаша ухитрился взять себе в жены такую женщину, как ее мать, ибо двух более несхожих по рождению, воспитанию и образу мыслей людей просто невозможно было себе представить.

### Глава III

Эллин О’Хара исполнилось тридцать два года, она уже была матерью шестерых детей, из коих схоронила троих, и по существовавшим в те времена понятиям считалась женщиной среднего возраста. Она была почти на голову выше своего горячего, вспыльчивого коротышки‑супруга, но спокойная грация движений, приковывая к себе внимание, заставляла забывать про ее высокий рост. Стоячий воротничок черного шелкового платья туго обтягивал округлую, тонкую, чуть смуглую шею. Голова была слегка откинута назад, словно под тяжестью густых темных волос, стянутых на затылке тугим узлом и уложенных в сетку. От своей француженки‑матери, родители которой в 1791 году бежали на Гаити от революции, она унаследовала и эти темные волосы, и темные, с узким разрезом глаза, и иссиня‑черные ресницы; от отца — офицера наполеоновской армии — прямой удлиненный нос и чуть заметную широкоскулость, смягченную нежной линией подбородка и щек. И уж, верно, сама жизнь наградила Эллин и горделивой, без высокомерия, осанкой, и изысканной грацией, и этой меланхоличностью взгляда без малейшей искорки веселья.

Чуть больше блеска в глазах, тепла в улыбке, живости в мелодично‑нежном голосе, звучавшем музыкой в ушах ее близких и слуг, и красота Эллин О’Хара была бы неотразимой. В напевности ее говора была протяжность гласных, характерная для жителей прибрежной Джорджии, и легкий французский акцент. Голос Эллин никогда не повышался до крика — отдавала ли она приказания слугам или пробирала за шалости детей, — но все обитатели Тары повиновались ему беспрекословно и мгновенно, преспокойно игнорируя громы и молнии, которые привык метать ее супруг.

И всегда, с тех пор как помнила себя Скарлетт, ее мать была такой — деятельной и невозмутимой среди всех ежедневных треволнений усадебной жизни; укоряла она или поощряла, голос ее был неизменно мягок и тих, спина пряма и дух несгибаем; она осталась такой даже после потери трех малюток‑сыновей. Скарлетт ни разу не видела, чтобы мать, сидя в кресле, позволила себе откинуться на спинку. И руки у нее всегда были заняты рукодельем, если только она не сидела за обеденным столом, или за усадебными счетоводными книгами, или у постели больного. Иногда (в присутствии гостей) это могла быть изящная вышивка, в другой раз — просто рубашка Джералда или детское платьице, требующее починки. А не то, так она шила одежду для слуг. И шла ли она, шурша платьем, по дому, наблюдая за уборкой, заглядывала ли в кухню или в мастерскую, где шилась одежда для негров, занятых на полевых работах, на пальце у нее всегда блестел золотой наперсток, а по пятам за ней следовала девочка‑негритянка, на которую была возложена обязанность носить за хозяйкой шкатулку розового дерева со швейными принадлежностями и выдергивать из готового шитья наметку.

Скарлетт никогда не видела, чтобы мать теряла самообладание или чтобы ее туалет, независимо от времени суток, не был в безупречном состоянии. Если Эллин О’Хара собиралась на бал, или в гости, или в Джонсборо для присутствия на сессии суда, ее туалет обычно занимал не менее двух часов и требовал услуг двух горничных и Мамушки, но если возникала необходимость действовать быстро, ее молниеносная готовность поражала всех.

Скарлетт в своей спальне, расположенной напротив материнской, с младенчества привыкла слышать на заре легкий торопливый топот босых ног по деревянному полу, тревожный стук в дверь к хозяйке, испуганные, приглушенные голоса, сообщавшие о начавшихся родах, или о чьей‑то болезни, или смерти, приключившейся в одной из беленных известкой хижин. Не раз, подкравшись к своей двери, Скарлетт смотрела в щелку и видела, как мать, аккуратно причесанная, в застегнутом на все пуговицы платье, с медицинской сумкой в одной руке и высоко поднятой свечой в другой, появляется на пороге темной спальни, откуда доносится мерное похрапывание отца.

И на ее детскую душу сразу нисходило успокоение, когда она слышала сочувственный, но твердый шепот матери:

— Тише, не так громко. Вы разбудите мистера О’Хара. Никто не умрет, это не такая опасная болезнь.

Приятно было снова забраться в постель и уснуть, сознавая, что мать ушла туда, в ночь, и, значит, ничего страшного не случится.

А утром, не дождавшись помощи ни от старого доктора Фонтейна, ни от молодого, вызванных куда‑то еще, и проведя у постели роженицы или у смертного одра всю ночь, Эллин О’Хара спускалась, как обычно, в столовую к завтраку. И если под глазами у нее залегли глубокие тени, то голос звучал бодро, как всегда, и ничто не выдавало пережитого напряжения. За величавой женственностью Эллин скрывалась стальная выдержка и воля, державшие в почтительном трепете весь дом — и не только слуг и дочерей, но и самого Джералда, хотя он даже под страхом смерти никогда бы в этом не признался.

Порой, перед отходом ко сну, Скарлетт, поднявшись на цыпочки, чтобы дотянуться до материнской щеки, смотрела на нежный рот Эллин, казавшийся таким беззащитным, на ее тонкую верхнюю губу и невольно спрашивала себя: неужели этот рот тоже когда‑нибудь беспечно улыбался и в ночной тишине шепотом поверял свои девичьи секреты на ухо подружке? Это казалось невообразимым. Для Скарлетт Эллин всегда была такой, как сейчас, — сильной, мудрой опорой для всех, единственным человеком на свете, знающим ответ на все вопросы.

Но, конечно, Скарлетт была не права. Эллин Робийяр из Саванны умела беззаботно улыбаться и заливаться беспричинным смехом, как любая пятнадцатилетняя девчонка этого живописного городка на берегу Атлантики, и, как все девчонки, поверяла по ночам свои секреты подружкам — все секреты, кроме одного. Так было вплоть до того дня, когда некий Джералд О’Хара, двадцатью восемью годами старше Эллин, не вошел в ее жизнь. И случилось это в тот самый год, когда Филипп Робийяр, ее беспутный черноглазый кузен с дерзким взглядом и отчаянными повадками, навсегда покинул город и унес с собой весь молодой жар ее сердца, оставив маленькому кривоногому коротышке ирландцу только восхитительно женственную оболочку.

Но Джералду, который, женившись на Эллин, не помнил себя от счастья, и этого было довольно. И если какая‑то частица ее души была мертва для него, он никогда от этого не страдал. Джералд был достаточно умен, чтобы понимать: если он, небогатый ирландец, без роду, без племени, взял в жены девушку из самого богатого и родовитого семейства на всем побережье, — это почти что равносильно чуду. Ведь он был никто, человек, выбившийся из низов.

Джералд О’Хара эмигрировал из Ирландии в Америку, когда ему едва исполнился двадцать один год. Отъезд был скоропалительным, как случалось не раз и с другими добрыми ирландцами и до него и после. Он уехал без багажа, с двумя шиллингами в кармане, оставшимися после оплаты проезда, и крупной суммой, в которую была оценена его голова, — более крупной, на его взгляд, чем совершенное им нарушение закона. Ни один оранжист, еще не отправленный в ад, не стоил в глазах британского правительства, да и самого сатаны, ста фунтов стерлингов, но если тем не менее правительство приняло так близко к сердцу смерть земельного агента какого‑то английского помещика, давно покинувшего свое поместье, это значило, что Джералду О’Хара надлежало бежать, и притом побыстрее. Правда, он обозвал земельного агента «оранжистским ублюдком», но это, по мнению Джералда, еще не давало тому права оскорбительно насвистывать ему в лицо «Воды Война».

Битва на реке Войн произошла более ста лет тому назад, но для всех О’Хара и любого из их соседей этого промежутка времени как бы не существовало, словно только вчера их мечты и надежды, вместе с их землями и состоянием, были развеяны по ветру в облаках пыли, поднятых копытами коня трусливого Стюарта, бежавшего с поля боя, оставив своих ирландских приверженцев на расправу Вилли Оранскому и его оголтелым наемникам с оранжевыми кокардами.

По этой и многим другим причинам семья Джералда не почла нужным рассматривать трагический исход вышеупомянутой ссоры как нечто заслуживающее серьезного внимания — помимо, разумеется, того, что он мог повлечь за собой серьезные последствия для них. На протяжении многих лет семья О’Хара, подозреваемая в тайных антиправительственных действиях, была на дурном счету у английских констеблей, и Джералд был не первым О’Хара, спешно покинувшим родину под покровом предрассветных сумерек. Он смутно помнил своих двух старших братьев Джеймса и Эндрю, молчаливых юношей, порой неожиданно появлявшихся ночью с какими‑то таинственными поручениями, порой исчезавших на целые недели — к неизбывной тревоге матери — и сбежавших в Америку много лет назад, после того как на скотном дворе О’Хара под полом хлева был обнаружен небольшой склад огнестрельного оружия. Теперь оба они стали преуспевающими торговцами в Саванне («Одному господу известно, что это за город такой», — со вздохом говаривала их мать, вспоминая своих старших отпрысков мужского пола), и молодого Джералда отослали к ним.

Мать наскоро поцеловала его в щеку, жарко прошептав на ухо слова католической молитвы, отец же напутствовал его так: «Помни, из какой ты семьи, и не позволяй никому задирать перед тобой нос». И с этим Джералд покинул родной кров. Пятеро высоченных братцев одарили его на прощанье одобрительно‑покровительственными улыбками, ибо он был в их глазах еще ребенком, да к тому же единственным недомерком в этом племени рослых здоровяков.

Отец и все пять братьев были крепкого сложения и более шести футов росту, а коротышка Джералд в двадцать один год уже знал, что господь бог в своей неизреченной мудрости отпустил ему всего пять футов и четыре с половиной дюйма в длину. Но Джералд никогда не позволял себе на это сетовать и — такой уж у него был характер — отнюдь не считал, что низкий рост может быть для него в чем‑либо помехой. Скорее даже особенности телосложения и сделали его тем, чем он стал, ибо еще на пороге жизни он познал одну истину: маленький человек должен быть крепок, чтобы выжить среди больших. И в этом качестве Джералду отказать было нельзя.

Его рослые братья были немногословными, мрачноватыми парнями. Утрата былого величия их славного рода подспудной злобой жгла их души и прорывалась наружу язвительными шуточками. Будь Джералд таким же здоровенным верзилой, как они, он тоже пошел бы по темному извилистому пути всех О’Хара, примкнув к тайным мятежникам. Но Джералд был горячая голова, «задира и горлопан», по выражению его нежной матушки, чуть что — лез с кулаками, и его буйный нрав каждому мгновенно бросался в глаза. Он держался со своими могучими братьями как маленький, но храбрый бойцовый петух среди крупнопородистых представителей птичьего двора, и братья любили его и добродушно поддразнивали, забавляясь его яростью, а иной раз и поколачивали, чтобы он все же не слишком забывался и знал свое место.

Если запас знаний Джералда, с которым он прибыл в Америку, был весьма скуден, то сам он, вероятно, об этом не подозревал. Да и не придал бы значения, открой ему кто‑нибудь на это глаза. Мать научила его чтению и письму и выработала у него хороший почерк. Арифметика далась ему легко. И на этом его образование оборвалось. Латынь он знал постольку, поскольку мог повторить за священником, что положено повторять во время католической мессы, а его познания по истории ограничивались всевозможными фактами попрания исконных прав Ирландии. Из поэтов он знал только Мура, а по части музыки мог похвалиться недурным знанием старинных ирландских песен. Питая искреннее уважение к людям, получившим хорошее образование, он, однако, ничуть не страдал от недостатка собственного. Да и на что оно ему было в этой новой стране, где самый невежественный ирландец мог стать большим богачом? В стране, где от мужчины требовалась только сила, выносливость и любовь к труду.

Джеймсу и Эндрю, пристроившим его у себя в лавке в Саванне, тоже не приходилось сокрушаться по поводу его необразованности. Его четкий почерк, точность в подсчетах и хорошая торговая сметка вызывали к нему уважение, в то время как вздумай он похвалиться какими‑либо познаниями по части литературы или музыки, его подняли бы на смех. Америка в те годы была еще гостеприимна к ирландцам. Джеймс и Эндрю, поначалу гонявшие фургоны с чужими товарами из Саванны в глубь Джорджии, преуспев, обзавелись собственной торговлей, и Джералд преуспевал вместе с ними.

Американский Юг пришелся ему по вкусу, и мало‑помалу он стал южанином в собственных глазах. Кое в чем Юг и южане оставались для него загадкой, но он со свойственной ему цельностью и широтой натуры принял их такими, как он их понимал, принял их взгляды и обычаи: скачки, покер, дуэльный кодекс, страсть к политике, ненависть к янки. Права Юга, рабство и власть Короля Хлопка, презрение к «белой рвани» — к белым беднякам, не сумевшим выбиться в люди, — и подчеркнуто рыцарское отношение к женщинам. Он даже научился жевать табак. Учиться поглощать виски в неумеренных количествах не хмелея ему не было нужды — он владел этим даром от природы.

И все же Джералд оставался Джералдом. Образ его жизни и взгляды претерпели изменение, но менять свою манеру поведения он не стремился, даже если бы это было ему под силу. Он отдавал должное томной элегантности богатых хлопковых и рисовых плантаторов, приезжавших в Саванну из своих увитых плющом резиденций, гарцевавших по улицам на породистых лошадях, эскортируя экипажи не менее элегантных дам, за которыми катили фургоны с черной челядью. Однако самому Джералду элегантность не давалась, хоть умри. Протяжный ленивый говор приятно ласкал ему слух, но его собственный язык не был для этого приспособлен, и речь Джералда по‑прежнему звучала резко и грубовато. Ему нравилась небрежная грация, с какой богатые южане заключали крупные сделки или ставили на карту раба, плантацию, целое состояние и расплачивались за проигрыш, ни на секунду не теряя хорошего расположения духа, так же легко и беспечно, как швыряли мелкую монетку негритенку. Но Джералд, знавший в жизни нужду, не мог невозмутимо и благодушно относиться к денежным потерям. Они были славный народ, эти южане с прибрежных плантаций — нежноголосые, горячие, забавные в своих непостижимых прихотях; они нравились Джералду. Но молодого ирландца, явившегося сюда из страны холодных влажных ветров, дующих над повитыми туманом топями, не таящими в себе тлетворных миазмов, отличала такая крепкая жизненная хватка, какая и не снилась высокомерным отпрыскам благородных семей из края тропического солнца и малярийных болот.

Он перенимал у них то, что считал для себя полезным, и отбрасывал остальное. Он открыл, что покер и ясная голова во хмелю могут сослужить неплохую службу, и пришел к заключению, что покер — одно из самых полезных изобретений южан. Вот эта его врожденная смекалка в карточных играх и способность легко поглощать золотистое питье и принесла Джералду два самых драгоценных приобретения — его плантацию и его черного лакея. Третьим драгоценным приобретением была его жена, но за нее он мог благодарить лишь непостижимую милость господа бога.

Лакей по имени Порк, ослепительно черный, вышколенный, исполненный чувства собственного достоинства, знающий толк во всех тонкостях портняжного искусства и элегантности, перешел во владение Джералда в результате затянувшейся до утра партии в покер с плантатором с острова Сент‑Саймон, умевшим не менее стойко блефовать, чем Джералд, но проявившим меньшую стойкость по части новоорлеанского рома. И хотя прежний владелец Порка хотел потом откупить его обратно и предлагал двойную цену, Джералд отказался наотрез, ибо обладание первым в его жизни рабом, да к тому же еще «лучшим, черт подери, лакеем на всем побережье», явилось важным шагом на пути к исполнению его заветной мечты — стать и землевладельцем и рабовладельцем.

Он уже давно пришел к решению, что не будет, как Джеймс и Эндрю, всю жизнь заниматься торговлей и просиживать ночи при свечах, подбивая итог под колонками цифр. Не в пример братьям, он остро чувствовал своего рода социальное клеймо на тех, кого именовали здесь «торговым людом». Джералд хотел стать плантатором. Выходец из семьи ирландских арендаторов, некогда владевшей пахотными землями и охотничьими угодьями, он страстно желал насладиться видом зеленеющих акров собственных возделанных полей. Целеустремленно и безоглядно он мечтал о собственном доме, собственной плантации, собственных лошадях, собственных рабах. И здесь, в этой новой стране, не ведающей двух главных опасностей, которые подстерегают землевладельца у него на родине, — налогов, пожирающих весь доход от урожая, и неизбывной угрозы конфискации, — он намерен был воплотить в жизнь свою мечту. Но шли годы, и он понял, по честолюбивые замыслы — одно, а осуществление их — нечто другое. Местная земельная знать оказалась крепостью, проникнуть внутрь которой у него не было никакой надежды.

И тут рука Судьбы и рука карточного игрока преподнесли ему кусок земли, который он впоследствии нарек Тарой, и подвигли его тем самым перебраться с побережья в глубь Северной Джорджии.

Однажды теплой весенней ночью в одном из салунов Саванны до ушей его случайно долетели слова какого‑то незнакомца, заставившие его сразу обратиться в слух. Незнакомец, уроженец Саванны, только что возвратился в родной город после двенадцати лет, проведенных в глубине штата. Он был участником земельной лотереи, организованной штатом с целью поделить на участки обширную территорию Центральной Джорджии, уже очищенной от индейских племен за год до того, как Джералд прибыл в Америку. Человек этот отправился туда и основал плантацию, но дом, который он себе построил, сгорел, «проклятое это место» ему осточертело, и он был бы рад поскорее сбыть его с рук.

Джералд, никогда не расстававшийся с мечтой приобрести собственную плантацию, представился незнакомцу и с возрастающим интересом стал слушать его рассказ о том, что на север штата хлынули переселенцы из обеих Каролин и Виргинии. Джералд уже достаточно давно жил на побережье, чтобы усвоить характерный для местных жителей взгляд на остальную часть штата как на непроходимую лесную чащу, где за каждым деревом прячется индеец. Правда, по делам своих братьев он поднимался на сотню миль вверх по реке Саванне, побывал в Огасте и в старых городах еще дальше к западу. Он знал, что эта часть штата не менее заселена, чем побережье, но по рассказам незнакомца выходило, что его плантация расположена более чем в двухстах пятидесяти милях к северо‑западу от Саванны, немного южнее реки Чаттахучи. Джералд считал, что земли к северу от этой реки еще заселены индейцами племени чероки, и поэтому был очень удивлен, когда незнакомец стал рассказывать, какие на этих новых землях возникли процветающие города и поместья, и посмеялся его вопросу — не тревожат ли их индейцы?

Через час беседа начала увядать, и тогда Джералд, уставив на незнакомца невиннейший взгляд ярко‑голубых глаз и затаив на дне души коварнейший умысел, предложил составить партию в покер. Текли ночные часы, и стаканы бессчетно наполнялись и опустошались, остальные игроки мало‑помалу выходили из игры, и лишь Джералд продолжал сражаться с незнакомцем уже один на один. Незнакомец двинул на середину стола все свои фишки и прикрыл их сверху купчей на плантацию. Джералд тоже двинул все свои фишки, а поверх них бросил бумажник. Тот факт, что содержимое бумажника являлось собственностью фирмы братьев О’Хара, не слишком обременял совесть Джералда, и каяться в своем грехе завтра перед утренней мессой он не собирался. Джералд знал, чего хочет, а в этих случаях он всегда шел к цели напролом. К тому же он крепко верил в свою звезду и в то, что кривая вывезет, а потому даже не задумывался над тем, чем он будет отвечать, если партнер еще повысит ставку.

— Не стану утверждать, будто вам достался в руки клад, а как подумаю, что мне не надо больше платить налогов, так прямо гора с плеч, — сказал обладатель каре в тузах и крикнул, чтобы подали перо и чернила. — Дом сгорел год назад, поля заросли кустарником и молодой сосновой порослью, но, так или иначе, теперь это ваше.

— Никогда не мешай карты с виски, если ты не всосал ирландский самогон с материнским молоком, — наставительно сказал Джералд Порку в то утро, когда лакей помогал ему отойти ко сну.

И слуга, исполненный восхищения своим новым хозяином и уже начавший перенимать его ирландский акцент, ответствовал, как положено, на такой смеси местного наречия с говором графства Мит, что это озадачило бы любого, кроме них двоих.

Илистая река Флинт, молчаливо проложившая себе путь между высокими темными стенами сосен и черных дубов, оплетенных диким виноградом, принимала в свои объятия новоприобретенные владения Джералда, омывая их с двух сторон. Глядя с невысокого холма, где когда‑то стоял дом, на живую темно‑зеленую стену, Джералд испытывал приятное чувство собственничества, словно он сам возвел эту ограду вокруг своих владений. Он стоял на почерневшем каменном фундаменте сгоревшего дома, скользил взглядом по длинной аллее, тянувшейся от дома к проселочной дороге, и про себя чертыхался от радости, слишком глубокой, чтобы он мог выразить ее словами благодарственной молитвы. Эти два ряда величественных деревьев принадлежали ему, и эта заброшенная лужайка, заросшая сорной травой по пояс, и эти еще молоденькие магнолии, осыпанные крупными белыми звездами цветов. Невозделанные поля с порослью кустарников и проклюнувшимися из красной глины молоденькими сосенками, раскинувшиеся во все четыре стороны от этого холма, принадлежали ему, Джералду О’Хара, который, как истинный ирландец, умел пить не хмелея и не боялся, когда надо все поставить на карту.

Закрыв глаза, Джералд вслушивался в тишину этих еще не разбуженных к жизни полей: он знал, что обрел свое гнездо. Здесь, на этом месте, где он стоит, подымутся кирпичные, беленные известкой стены его дома. Там, по ту сторону дороги, возникнет ограда, за которой будет пастись хорошо откормленный скот и чистокровные лошади, а красная земля, покато спускающаяся к влажной пойме реки, засверкает на солнце белым лебяжьим пухом хлопка — акрами хлопка! И слава рода О’Хара заблистает снова!

Одолжив у скептически настроенных братьев денег, забрав свою крохотную долю из их предприятия и раздобыв еще изрядную сумму под залог земли, Джералд получил возможность купить рабов для обработки полей, прибыл в Тару и поселился в четырехкомнатном домике управляющего в холостяцком одиночестве и сладком предвкушении последующего переселения в новый белостенный дом на холме.

Он возделал землю, и посадил хлопок, и занял еще денег у Джеймса и Эндрю, чтобы прикупить еще рабов. Братья О’Хара умели блюсти интересы своего клана и крепко держались друг за друга, как в удаче, так и в нужде, и не столько из родственных чувств, сколько из жестокой необходимости, ибо знали: чтобы выжить в трудные годы, семья должна противостоять судьбе единым фронтом. Они одолжили Джералду денег, и по прошествии нескольких лет он возвратил им эти деньги с лихвой. Плантация расширялась: Джералд акр за акром прикупал соседние участки, и настал день, когда белый дом на холме из мечты превратился в реальность.

Дом был построен рабами: довольно неуклюжее, приземистое строение это глядело окнами на зеленый выгон, сбегавший вниз, к реке, но Джералд не уставал им любоваться, находя, что дом хотя и новый, а от него веет добротной стариной. Древние дубы, еще видавшие пробиравшихся по лесу индейцев, обступали дом со всех сторон, простирая над его кровлей густой зеленый шатер ветвей. На лужайке, очищенной от сорняков, буйно разросся клевер и свинорой, и Джералд следил за тем, чтобы газону оказывался должный уход. Все в Таре — от подъездной кедровой аллеи до белых хижин на участке, отведенном для рабов, — выглядело солидным, прочным, сделанным на века. И всякий раз, когда Джералд возвращался верхом домой и за поворотом дороги его глазам открывалась крыша дома, выглядывавшая из‑за зеленых крон деревьев, сердце его преисполнялось гордостью, словно он видел эту картину впервые.

Это дело его рук — этого крепколобого, задиристого коротышки Джералда!

Со всеми соседями у Джералда сразу установились самые дружеские отношения. Исключение составляли только Макинтоши, чья земля примыкала к его плантации слева, и Слэттери, чьи жалкие три акра тянулись справа — вдоль поймы реки, за которой находились владения Джона Уилкса.

Макинтоши были полукровками, смешанного шотландско‑ирландского происхождения, а вдобавок еще оранжистами, и последнее обстоятельство — будь они даже причислены католической церковью к лику святых — наложило на них в глазах Джералда каинову печать. Правда, они переселились в Джорджию семьдесят лет назад, а до этого их предки жили в Каролине, но тем не менее глава их клана, первым ступивший на американскую землю, прибыл сюда из Ольстера, и для Джералда этого было достаточно.

Это была молчаливая угрюмая семейка, державшаяся замкнуто, особняком: браки они заключали только со своими каролинскими родственниками, и Джералд оказался не единственным человеком в графстве, кому Макинтоши пришлись не по душе, ибо здешние поселенцы — народ общительный и дружелюбный — не отличались терпимостью по отношению к тем, кому этих качеств не хватало. А слухи об аболиционистских симпатиях Макинтошей никак не способствовали их популярности. Правда, старик Энгус за всю жизнь не отпустил еще на волю ни одного раба и совершил неслыханное нарушение приличий, продав часть своих негров заезжим работорговцам, направлявшимся на сахарные плантации Луизианы, но слухи тем не менее продолжали держаться.

— Он аболиционист, это точно, — сказал Джералд Джону Уилксу, — но у оранжиста шотландская скупость всегда возьмет верх над убеждениями.

Несколько иначе обстояло дело со Слэттери. Будучи бедняками, они не могли рассчитывать даже на ту крупицу невольного уважения, которая доставалась на долю угрюмых и независимых Макинтошей. Старик Слэттери, упрямо державшийся за свои несколько акров, несмотря на неоднократные предложения о продаже со стороны Джералда О’Хара и Джона Уилкса, был жалкий, вечно хнычущий неудачник. Жена его, блеклая, неопрятная, болезненного вида женщина, произвела на свет кучу угрюмых, пугливых, как кролики, ребятишек и продолжала регулярно из года в год увеличивать их число. Том Слэттери не имел рабов и вместе с двумя старшими сыновьями судорожно пытался обработать свой хлопковый участок, в то время как его жена с остальными ребятишками возилась в некоем подобии огородика. Но хлопок почему‑то никак не желал уродиться, а овощей с огорода, благодаря плодовитости миссис Слэттери, никогда не хватало, чтобы накормить все рты.

Вид Тома Слэттери, обивающего пороги соседей, выклянчивая хлопковых семян для посева или кусок свиного окорока, «чтобы перебиться», стал уже привычным для глаз. Слэттери, угадывая плохо скрытое за вежливым обхождением презрение, ненавидел соседей со всем пылом своей немощной души; однако самую лютую ненависть вызывали в нем эти «нахальные черномазые — челядь богачей». Черные слуги богатых плантаторов смотрели сверху вниз на «белых голодранцев», и это уязвляло Слэттери, а надежно обеспеченный слугам кусок хлеба порождал в нем зависть. Его собственное существование рядом с этой одетой, обутой, сытой и даже не лишенной ухода в старости или на одре болезни челядью казалось ему еще более жалким. Слуги по большей части бахвалились положением своих господ и своей принадлежностью к хорошему дому, в то время как сам он был окружен презрением.

Том Слэттери мог бы продать свою ферму любому плантатору за тройную против ее истинной стоимости цену. Каждый посчитал бы, что его денежки не пропали даром, ибо Том был у всех как бельмо на глазу, однако сам он не находил нужным сниматься с места, довольствуясь тем, что ему удавалось выручить за тюк хлопка в год или выклянчить у соседей.

Со всеми прочими плантаторами графства Джералд был на дружеской и даже на короткой ноге. Все лица — Уилксов, Калвертов, Тарлтонов, Фонтейнов — расплывались в улыбке, как только возникала на подъездной аллее невысокая фигура на большой белой лошади. Тотчас на стол подавалось виски в высоких стаканах с ложечкой сахара и толчеными листиками мяты на дне. Джералд всем внушал симпатию, и соседям мало‑помалу открылось то, что дети, негры и собаки поняли с первого взгляда: за громоподобным голосом и грубоватыми манерами скрывались отзывчивое сердце и широкая натура, а кошелек Джералда был так же открыт для друзей, как и его душа.

Появление Джералда всегда сопровождалось неистовым лаем собак и радостными криками негритят, кидавшихся ему навстречу, отталкивая друг друга, корча хитрые рожи и улыбаясь во весь рот в ответ на его добродушную брань, причем каждый норовил первым завладеть брошенными им поводьями. Ребятишки плантаторов забирались к нему на колени и, пока он громил на чем свет стоит бесстыдство политиканов‑янки, требовали, чтобы их «покатали». Дочери его приятелей поверяли ему свои сердечные тайны, а сыновья, страшась признаться родителям в карточных долгах, знали, что могут рассчитывать на его дружбу в трудную минуту.

— Как же ты, шалопай эдакий, уже целый месяц не оплачиваешь долга чести! — гремел он. — Почему, черт побери, ты не попросил у меня денег раньше?

Давно привыкнув к его манере изъясняться, никто не был на него в обиде, и молодой человек смущенно улыбался и бормотал в ответ:

— Да видите ли, сэр, мне не хотелось обременять вас этой просьбой, а мой отец...

— Твой отец прекрасный человек, спору нет, но очень уж строг, так что вот, бери, и чтоб больше мы с тобой к этому разговору не возвращались.

Жены плантаторов капитулировали последними. Но после того, как миссис Уилкс, «настоящая, — по словам Джералда, — леди, иной раз просто ни словечка не проронит», сказала как‑то вечером своему мужу, заслышав знакомый стук копыт на аллее: «Язык у него ужасный, но тем не менее он джентльмен», — можно было считать, что Джералд занял подобающее место в обществе.

Сам же он даже не подозревал, что ему понадобилось на это почти десять лет, поскольку попросту не замечал косых взглядов соседей. С той минуты, как его нога ступила на землю Тары, он ни на секунду не усомнился в своей принадлежности к верхам местного общества.

Когда Джералду стукнуло сорок три и он стал еще румянее и смуглее и так раздался в плечах, что имел уже вид завзятого сквайра‑охотника, прямо с обложки цветного иллюстрированного журнала, у него возникло решение: его бесценное поместье и распахнутые настежь сердца и двери местных плантаторов — это еще не все. Ему нужна жена.

Имению настоятельно требовалась хозяйка. Толстой поварихе‑негритянке, переброшенной по необходимости со двора на кухню, никак не удавалось вовремя управиться с обедом, а негритянке‑горничной, снятой с полевых работ, сменить в срок постельное белье и смести с мебели пыль, вследствие чего при появлении гостей в доме поднималась дикая суматоха. На Порка, единственного в Таре вышколенного слугу, было возложено общее наблюдение за челядью, но и он, при попустительстве не привыкшего к упорядоченной жизни Джералда, стал с годами небрежен и ленив. Своими обязанностями лакея он, правда, не пренебрегал, содержал комнату Джералда в порядке и прислуживал за столом умело и с достоинством, как заправский дворецкий, но в остальном предоставлял всему идти своим ходом.

С безошибочным природным инстинктом слуги‑негры очень скоро раскусили нрав хозяина и, зная, что собака, которая громко брешет, кусать не станет, беззастенчиво этим пользовались. Воздух то и дело сотрясали угрозы распродать рабов с торгов или спустить с них шкуру, но с плантаций Тары еще не было продано ни одного раба, и только один получил порку — за то, что любимая лошадь Джералда после целого дня охоты осталась неухоженной.

От строгого взгляда голубых глаз Джералда не укрылось, как хорошо налажено хозяйство у его соседей и как умело управляются со своими слугами аккуратно причесанные, шуршащие шелковыми юбками хозяйки дома. Ну, а то, что они от зари до зари хлопочут то в детской, то на кухне, то в прачечной, то в бельевой, — это ему как‑то не приходило на ум. Он видел только результаты этих хлопот, и они производили на него неотразимое впечатление.

Неотложная необходимость обзавестись женой стала ему окончательно ясна однажды утром, когда он переодевался, чтобы отправиться верхом на заседание суда, и Порк подал ему любимую плоеную рубашку, приведенную в столь плачевное состояние неумелой починкой служанки, что Джералду не оставалось ничего другого, как отдать ее лакею.

— Мистер Джералд, — сказал расстроенному хозяину Порк, благодарно складывая рубашку, — вам нужна супруга. Да такая, у которой в дому полным‑полно слуг.

Джералд не преминул отчитать Порка за нахальство, но в глубине души знал, что тот прав. Джералд хотел иметь жену и детей и понимал, что долго тянуть с этим делом нельзя, иначе будет поздно. Но он не собирался жениться на ком попало, подобно мистеру Калверту, обвенчавшемуся с гувернанткой‑янки, пестовавшей его оставшихся без матери детей. Его жена должна быть леди, благородная леди, с такими же изящными манерами, как и миссис Уилкс, и с таким же уменьем управлять большим хозяйством.

Но на пути к браку вставали два препятствия. Первое: все невесты в графстве были наперечет. И второе, более серьезное: Джералд был чужеземец и в какой‑то мере «пришлый», хотя и обосновался тут десять лет назад. О его семье никому ничего не было известно. Правда, плантаторы Центральной Джорджии не держались столь обособленно и замкнуто, как аристократы побережья, однако и здесь ни одна семья не пожелала бы выдать дочку замуж за человека, дед которого никому не был известен.

Джералд знал, что, несмотря на искреннее к нему расположение всех, кто с ним охотился, выпивал и толковал о политике, ни один из них не просватает за него свою дочь. А ему отнюдь не улыбалось, чтобы пошли слухи о том, что, дескать, такой‑то или такой‑то плантатор должен был, к своему прискорбию, отказать Джералду О’Хара, добивавшемуся руки его дочери. Но, понимая это, он вовсе не чувствовал себя униженным. Чтобы Джералд О’Хара признал кого‑то в чем‑то выше себя — такого еще не бывало, да и быть не могло ни при каких обстоятельствах. Просто в этом графстве были свои чудные обычаи, согласно которым девушек выдавали замуж лишь за тех, чьи семьи прожили на Юге не каких‑то двадцать два года, а много больше, владели землей, рабами и предавались только тем порокам, которые вошли здесь в моду в эти годы.

— Укладывай пожитки. Мы едем в Саванну, — сказал Джералд Порку. — И если там у тебя хоть раз сорвется с языка: «Язви его душу!» или «Дуй его горой!», я тут же продам тебя с торгов. Ты видишь, я сам воздерживаюсь теперь от таких выражений.

Джеймс и Эндрю, думал Джералд, глядишь, что‑нибудь да присоветуют ему по части женитьбы. Быть может, у кого‑нибудь из их приятелей есть дочь на выданье, отвечающая его требованиям, и он составит подходящую для нее партию. Джеймс и Эндрю выслушали его терпеливо, но ничего утешительного предложить не сумели. Родственников, которые могли бы посодействовать сватовству, у них в Саванне не было, так как оба брата прибыли сюда уже женатыми людьми. А дочери их друзей все успели выйти замуж и обзавестись детьми.

— Ты человек небогатый и незнатный, — сказал Джеймс.

— Кое‑какое состояние я себе сделал и сумею прокормить большую семью. А на ком попало я и сам не женюсь.

— Хочешь высоко залететь? — сухо заметил Эндрю.

Все же они сделали для Джералда что могли. Джеймс и Эндрю были уже в преклонных летах и на хорошем счету в Саванне. Друзей у них было много, и они целый месяц возили Джералда из дома в дом на ужины, на танцы, на пикники.

— Есть тут одна, — признался в конце концов Джералд. — Очень она мне приглянулась. Ее, признаться, еще на свете не было, когда я здесь причалил.

— Кто же эта особа?

— Мисс Эллин Робийяр, — с деланной небрежностью отвечал Джералд, ибо взгляд темных миндалевидных глаз этой девушки проник ему в самое сердце. Она очаровала его сразу, несмотря на странное, казалось бы, для пятнадцатилетней девушки отсутствие резвости и молчаливость. И была в ее лице какая‑то затаенная боль, так разбередившая ему душу, что ни к одному живому существу на свете он еще не проявлял столь участливого внимания.

— Да ты же ей в отцы годишься!

— Ну и что, я еще мужчина хоть куда! — воскликнул чрезвычайно задетый этими словами Джералд.

Джеймс спокойно разъяснил ему:

— Послушай, Джерри. Во всей Саванне не сыщется более неподходящей для тебя невесты. Ведь этот Робийяр, ее отец, — он француз, а они все гордые, как сатана. И ее мать — упокой, господи, ее душу — была очень важная дама.

— А мне наплевать, — сказал Джералд. — Мать ее, кстати, уже в могиле, а старику Робийяру я пришелся по душе.

— Как мужчина мужчине — может быть, но только не как зять.

— Да и девушка никогда за тебя не пойдет, — вмешался Эндрю. — Она вот уже год как сохнет по этому повесе, Филиппу Робийяру, ее кузену, хотя вся семья денно и нощно уговаривает ее перестать о нем думать.

— Он уже месяц как уехал в Луизиану, — сказал Джералд.

— Как ты это узнал?

— Узнал, — коротко ответил Джералд, не желая признаваться, что источником этих ценных сведений был Порк, и умолчав также о том, что Филипп уехал лишь по настоянию родителей. — Не думаю, чтобы она так уж была в него влюблена — это у нее пройдет. Какая там может быть любовь в пятнадцать лет.

— Все равно они скорее согласятся выдать ее за этого головореза‑кузена, чем за тебя.

Словом, Джеймс и Эндрю были поражены не менее всех других, когда стало известно, что дочь Пьера Робийяра выходит замуж за этого маленького ирландца из Северной Джорджии. В домах Саванны шептались и судачили по адресу Филиппа Робийяра, отбывшего на Запад, но пересуды пересудами, а толком никто ничего не знал, и для всех оставалось загадкой, почему самая красивая из девочек Робийяр решила выйти замуж за шумного краснолицего ирландца, роста едва‑едва ей по плечо.

Да и сам Джералд не очень‑то хорошо был осведомлен о том, как все это произошло. Он понимал одно: чудо все‑таки свершилось. И впервые в жизни ощутил совершенно несвойственные ему робость и смирение, когда Эллин, очень бледная, очень спокойная, легко прикоснувшись рукой к его руке, произнесла:

— Я согласна стать вашей женой, мистер О’Хара.

Пораженное как громом этой вестью все семейство лишь отчасти прозревало истинную подоплеку случившегося, и только Мамушка знала о том, как Эллин, проплакав всю ночь навзрыд, словно ребенок, наутро с твердостью внезапно повзрослевшей женщины объявила о своем решении.

Исполненная мрачных предчувствий Мамушка передала ей в тот вечер небольшой сверток, присланный из Нового Орлеана, с адресом, написанным незнакомой рукой. Эллин развернула сверток, вскрикнула и выронила из рук медальон со своим портретом на эмали. К медальону были приложены четыре письма Эллин к ее кузену и краткое послание нью‑орлеанского священника, извещавшее о смерти Филиппа Робийяра, последовавшей в результате драки в одном из городских баров.

— Это они заставили его уехать — отец, Полин и Евлалия. Я ненавижу их. Всех ненавижу. Видеть их не могу. Я уеду отсюда. Уеду, чтобы никогда больше их не видеть! Уеду из этого города, где все будет вечно напоминать мне о... о нем!

Ночь уже близилась к рассвету, когда Мамушка, тоже проливавшая горючие слезы, гладя темноволосую головку хозяйки, сделала робкую попытку возразить:

— Бог с вами, голубка! Негоже это!

— Я уже решила! Он хороший, добрый человек! Я выйду за него замуж или приму постриг в чарльстонском монастыре.

Именно эта угроза и вынудила в конце концов растерянного, убитого горем Пьера Робийяра дать согласие на брак. Для убежденного пресвитерианина, хотя и происходившего из католической семьи, брак дочери с Джералдом О’Хара представлялся все же менее страшным, чем принятие ею монашеского обета. Если не считать того, что жених — человек без роду, без племени, во всем остальном он был не так уж плох.

И вот Эллин, теперь уже Эллин О’Хара, покинула Саванну, чтобы никогда сюда более не возвращаться, и в сопровождении своего немолодого мужа, Мамушки и двадцати слуг‑негров прибыла в Тару.

На следующий год родился их первый ребенок, и они окрестили девочку Кэти‑Скарлетт — в честь матери Джералда. Сам Джералд был слегка разочарован, ибо ждал наследника, но тем не менее появление на свет темноголовой малютки доставило ему такую радость, что он выставил бочку рома для всех рабов Тары, да и сам был шумно и безудержно пьян.

Если Эллин в какую‑нибудь горькую минуту и пожалела о своем скоропалительном решении выйти замуж за Джералда, то никто, а тем более Джералд, никогда об этом не узнал. И Джералда прямо распирало от гордости, когда он глядел на свою жену. А Эллин навсегда вычеркнула из памяти маленький приморский городок вместе со всем, что было с ним связано, и, ступив на землю Северной Джорджии, обрела там новую родину.

В памяти остался величавый и горделивый, как плывущий под всеми парусами корабль, дом ее отца — изящное здание во французском колониальном стиле: мягкие, женственно округлые линии, бледно‑розовые оштукатуренные стены, высокий портал, плавно сбегающие вниз широкие ступени парадной лестницы, окаймленные тонким кружевом чугунных перил... Богатый, изысканный и надменный дом.

Здесь, в Северной Джорджии, ее встретил суровый край и закаленные в лишениях люди. Вдали, куда бы ни устремляла она взор с плато, раскинувшегося у подножия Голубого хребта, повсюду были красноватые пологие холмы с массивными выходами гранита и высокие мрачные сосны. Дикой, неукрощенной представлялась ей эта природа после привычной для глаз мягкой красоты прибрежных островов, поросших серым мхом и темно‑зеленой чащей кустарников, после белых лент пляжей, прогретых лучами субтропического солнца, и просторных, плоских песчаных равнин, зеленеющих пальмами и молодой порослью.

Здесь же вслед за жарким летом наступила студеная зима, а в людях бурлила невиданная энергия и сила. Они отличались легким и веселым нравом, были добры, великодушны, любезны и в то же время необычайно упрямы, вспыльчивы и жизнестойки. На побережье мужчины гордились умением не утрачивать самообладания и хороших манер в любых обстоятельствах — будь то поединок или кровная месть, — тогда как здесь все проявляли необузданность и склонность к бешеным выходкам. Жизнь на побережье была окрашена в мягкие, ровные тона. Здесь она бурлила — молодая, неукрощенная, жадная.

Все, кого знала Эллин в Саванне, казалось, были отлиты по одному образцу, столь мало различались их взгляды и привычки, теперь же она столкнулась с разными, непохожими друг на друга людьми. Поселенцы Северной Джорджии перекочевали сюда из самых разных уголков земного шара — из Каролины и Виргинии, из Европы и с далекого Севера — и из других частей Джорджии. Некоторые из них, подобно Джералду, были новопришельцами, искателями счастья. Другие, подобно Эллин, принадлежали к старинным родам, дальние отпрыски которых, не удовлетворенные жизнью на родине, решили обрести рай на чужбине. А немало было и тех, кого занесло в эти края случайным ветром или пригнало извечное беспокойство, бурлившее в крови и унаследованное от отцов‑пионеров.

Весь этот разношерстный люд, с очень несхожим прошлым, вел весьма непринужденный образ жизни, лишенный каких‑либо стеснительных правил, с чем Эллин так никогда и не смогла до конца свыкнуться. На побережье она интуитивно знала, как поведут себя люди в тех или иных обстоятельствах. Как поступит житель Северной Джорджии — предугадать было невозможно.

А Юг в те дни процветал, и это убыстряло темп жизни. Весь мир требовал хлопка, и девственная, плодородная земля графства рождала его в изобилии. Он был ее дыханием, биением ее сердца, его посевы и сборы — пульсацией крови в ее жилах. В бороздах пахоты произрастало богатство, а вместе с ним — самонадеянность и спесь: они росли вместе с зелеными кустами и акрами пушистых белых коробочек. Если хлопок может принести богатство нынешнему поколению, как же приумножат его последующие!

Эта уверенность в завтрашнем дне порождала неуемную жажду жизни, алчную тягу ко всем ее благам, и жители графства со страстью, изумлявшей Эллин, предавались радостям бытия. У них было уже достаточно денег и рабов, чтобы хватило времени и на развлечения, а развлекаться они любили. Дело всегда, по‑видимому, можно было бросить ради охоты, рыбалки или скачек, и не проходило недели, чтобы кто‑нибудь не устроил пикника или не закатил бала.

Эллин так и не сумела, вернее не смогла, до конца слиться с новой жизнью — слишком большая часть ее души осталась в Саванне, — но она отдавала должное этим людям, и со временем их открытость и прямота, свобода от многих условностей и умение ценить человека по его заслугам стали вызывать в ней уважение.

Сама же она заслужила любовь всех соседей в графстве, добрая, но бережливая хозяйка, отличная мать, преданная жена. Разбитое сердце и отказ от личного счастья, не приведя ее в монастырь, дали ей возможность целиком посвятить себя детям, дому и тому человеку, который увез ее из Саванны, увез от всех воспоминаний и ни разу не задал ни одного вопроса.

Когда Скарлетт — здоровой и чрезмерно озорной, по мнению Мамушки, девочке — пошел второй год, у Эллин снова родилась дочь, Сьюзен‑Элинор, сокращенно и навечно переименованная в Сьюлин, а затем настал черед и для Кэррин, записанной в семейных святцах как Кэролайн‑Айрин. После них один за другим на свет появились три мальчика, но все трое умерли, еще не научившись ходить, и были похоронены на семейном кладбище в ста ярдах от дома, под сенью узловатых кедров, под тремя каменными плитами с одинаковой на всех трех надписью: «Джералд О’Хара, младший».

Многое изменилось в Таре с тех пор, как здесь впервые появилась Эллин. Пятнадцатилетняя девочка не убоялась ответственности, налагаемой на нее званием хозяйки большого поместья. По тогдашним понятиям, до брака от девушки требовалось прежде всего быть красивой, приятной в обхождении, иметь хорошие манеры и служить украшением любой гостиной. А вступив в брак, она должна была уметь вести хозяйство и управляться сотней, а то и больше черных и белых слуг.

И Эллин, как всякая девушка из хорошей семьи, была воспитана в этих понятиях, а помимо того, при ней была Мамушка, умевшая вдохнуть энергию в самого непутевого из слуг. И Эллин быстро навела порядок в хозяйстве Джералда, придав поместью на диво элегантный и респектабельный вид.

Господский дом был построен без малейшего представления о каком‑либо архитектурном замысле, а впоследствии к нему, по мере того как в этом возникала нужда, то там, то здесь делались новые пристройки. И все же, невзирая на это, усилиями Эллин дому был придан уютный вид, возместивший отсутствие гармонии. Тенистая, темно‑зеленая кедровая аллея, ведущая от дороги к дому, — обязательная принадлежность каждого плантаторского особняка в Джорджии, — создавала приятный для глаз контраст с яркой зеленью остальных деревьев, окружавших дом. Оплетавшая веранды глициния красиво выделялась на белой известке стен, а курчаво‑розовые кусты мирта возле крыльца и белоснежные цветы магнолий в саду хорошо маскировали угловатые линии дома.

Весной и летом изумрудная зелень клевера и свинороя на газоне становилась слишком притягательной для индюков и белых гусей, коим надлежало держаться в отведенной для них части двора за домом. Предводители их стай то и дело совершали украдкой набеги на запретную зону перед домом, привлекаемые не только зеленью газона, но и сочными бутонами жасмина и пестрыми цинниями цветочных клумб. Дабы воспрепятствовать их вторжению, на крыльце постоянно дежурил маленький черный страж с рваным полотенцем в руках. Сидящая на ступеньках несчастная фигура негритенка была неотъемлемой частью общей картины поместья — несчастен же он был потому, что ему строго‑настрого наказали лишь отпугивать птиц, махая полотенцем, но ни под каким видом не стегать их.

Через руки Эллин прошли десятки маленьких черных мальчишек, которых она обучила этой нехитрой премудрости — первой ответственной обязанности, возлагавшейся на мужскую половину черной детворы в Таре. Потом, когда им исполнялось десять лет, их отдавали в обучение Папаше‑сапожнику, или Эмосу‑плотнику и колесных дел мастеру, или скотнику Филиппу, или погонщику мулов Каффи. Если мальчишка не проявлял способностей ни в одном из этих ремесел, его посылали работать в поле, и он в глазах негров‑слуг терял всякое право на привилегированное положение и попадал в разряд обыкновенных рабов.

Никто не назвал бы жизнь Эллин легкой или счастливой, но легкой жизни она и не ждала, а если на ее долю не выпало счастья, то таков, казалось ей, женский удел. Мир принадлежал мужчинам, и она принимала его таким. Собственность принадлежала мужчине, а женщине — обязанность ею управлять. Честь прослыть рачительным хозяином доставалась мужчине, а женщине полагалось преклоняться перед его умом. Мужчина ревел как бык, если загонял себе под ноготь занозу, а женщина, рожая, должна была глушить в груди стоны, дабы не потревожить покоя мужа. Мужчины были несдержанны на язык и нередко пьяны. Женщины пропускали мимо ушей грубые слова и не позволяли себе укоров, укладывая пьяного мужа в постель. Мужчины не стеснялись в выражениях, могли изливать на жен свое недовольство, женщинам полагалось быть терпеливыми, добрыми и снисходительными.

Полученное Эллин светское воспитание требовало, чтобы женщина среди всех тягот и забот не теряла женственности, и Эллин хотелось воспитать трех своих дочерей настоящими леди. Со средней дочерью она легко добивалась успеха, ибо Сьюлин так хотелось всем нравиться, что она с величайшей готовностью внимала материнским наставлениям, а младшая, Кэррин, была кротка и послушна от природы. Но Скарлетт, плоть от плоти своего отца, усваивала светские манеры с большим трудом.

К вящему негодованию Мамушки, Скарлетт предпочитала играть не со своими тихими сестричками и не с благовоспитанными барышнями Уилкс, а с черными ребятишками с плантации и с соседскими мальчишками, не уступая им в искусстве лазать по деревьям или швырять камнями. Мамушка была не на шутку обескуражена, видя, как у дочери Эллин проявляются такие замашки, и то и дело старалась внушить Скарлетт, что она должна вести себя «как маленькая леди». Однако Эллин оказалась в этом вопросе более терпимой и дальновидной. Она считала, что всему своя пора, товарищи детских игр превратятся со временем в юношей и кавалеров, и Скарлетт поймет, что главная жизненная задача каждой девушки — выйти замуж. Скарлетт просто очень живой ребенок, говорила себе Эллин, она еще успеет постичь науку быть привлекательной для мужчин.

И Скарлетт превзошла все ожидания в достижении той цели, к которой были направлены совместные усилия Эллин и Мамушки. Подрастая, она постигала вышеупомянутую науку в совершенстве, хотя и не слишком преуспевала во всех остальных. Гувернантки менялись одна за другой, после чего Скарлетт на два года была заточена в стенах частного пансиона для молодых девиц в Фейетвилле, и если полученные ею знания были несколько хаотичны, то танцевала она бесспорно лучше всех девушек графства. И она знала цену своей улыбке и игре ямочек на щеках, умела пройтись на цыпочках так, чтобы кринолин соблазнительно заколыхался, и, поглядев в лицо мужчине, быстро опустить затрепетавшие ресницы, как бы невольно выдавая охватившее ее волнение. А превыше всего познала она искусство таить от мужчин острый и наблюдательный ум, маскируя его невинно‑простодушным, как у ребенка, выражением лица.

Мягкие наставления Эллин и неустанные укоры Мамушки сделали все же свое дело, внедрив в нее некоторые качества, безусловно ценные в будущей супруге.

— Ты должна быть мягче, скромнее, моя дорогая, — говорила Эллин дочери. — Нельзя вмешиваться в разговор джентльменов, даже если знаешь, что они не правы и ты лучше осведомлена, чем они. Джентльмены не любят чересчур самостоятельно мыслящих женщин.

— Попомните мое слово: барышни, которые все хмурятся да задирают нос, — «Нет, не хочу!» да «Нет, не желаю!» — всегда засиживаются в старых девах, — мрачно пророчествовала Мамушка. — Молодые леди должны опускать глаза и говорить: «Конечно, сэр, да, сэр, как вы скажете, сэр!»

Они старались сделать из нее по‑настоящему благородную даму, но Скарлетт усваивала лишь внешнюю сторону преподаваемых ей уроков. Внутреннее благородство, коим должна подкрепляться внешняя благопристойность, оставалось для нее недостижимым, да она и не видела нужды его достигать. Достаточно было научиться производить нужное впечатление — воплощенной женственности и хороших манер, — ведь этим завоевывалась популярность, а ни к чему другому Скарлетт и не стремилась. Джералд хвастливо утверждал, что она — первая красавица в пяти графствах, и, надо сказать, утверждал не без оснований, ибо ей уже сделали предложение руки и сердца почти все молодые люди из соседних поместий, а помимо них и кое‑кто еще из таких отдаленных городов, как Атланта и Саванна.

К шестнадцати годам Скарлетт, следуя наставлениям Эллин и Мамушки, приобрела репутацию очаровательного, кроткого, беспечного создания, будучи в действительности своенравна, тщеславна и крайне упряма. От своего отца‑ирландца она унаследовала горячий, вспыльчивый нрав, а от своей великодушной и самоотверженной матери — ничего, кроме внешнего лоска. Эллин никогда не догадывалась о том, в какой мере кротость дочери была показной, ибо в отношениях с матерью Скарлетт всегда проявляла себя с лучшей стороны: она ловко скрывала от Эллин кое‑какие выходки и умела обуздать свой нрав и казаться воплощением кротости, ибо одного укоряющего взгляда матери было достаточно, чтобы пристыдить ее до слез.

И только Мамушка не питала особых иллюзий насчет своей питомицы и была всегда начеку, зная, что природа может взять верх над притворством. Глаз Мамушки был куда более зорок, чем глаз Эллин, и Скарлетт не могла припомнить, чтобы ей хоть раз удалось всерьез ее одурачить.

Само собой разумеется, обе строгие наставницы вовсе не сокрушались по поводу того, что Скарлетт очаровательна и жизнь в ней бьет ключом. Этими качествами женщины‑южанки привыкли даже гордиться. Упрямство и своеволие Скарлетт, унаследованные от Джералда, — вот что повергало Эллин и Мамушку в смущение: а ну как не удастся скрыть от посторонних глаз эти ужасные пороки и они помешают ей сделать хорошую партию! Но Скарлетт, твердо решив про себя, что выйдет замуж за Эшли, и только за Эшли, готова была всегда казаться скромной, уступчивой и беспечной, раз эти качества столь привлекательны в глазах мужчин. Что мужчины находят в них ценного, она не понимала. Знала одно: это способ проверенный и оправдывает себя. Вдумываться в причину этого ей не хотелось, ибо у нее никогда не возникало потребности разобраться во внутренних движениях чьей‑то или хотя бы собственной души. Она просто знала: если она поступит так‑то и так‑то или скажет то‑то и то‑то, мужчины неминуемо отзовутся на это таким‑то или таким‑то весьма для нее лестным образом. Это было как решение простенькой арифметической задачки, а арифметика была единственной наукой, которая еще в школьные годы давалась Скарлетт без труда.

И если она не очень‑то разбиралась в душах мужчин, то еще того меньше — в душах женщин, ибо они и интересовали ее куда меньше. У нее никогда не было закадычной подружки, но она никогда от этого не страдала. Все женщины, включая собственных сестер, были для нее потенциальными врагами, ибо все охотились на одну и ту же дичь — все стремились поймать в свои сети мужчину.

Все женщины. Единственным исключением являлась ее мать.

Эллин О’Хара была не такая, как все. Она казалась Скарлетт почти святой, стоявшей особняком от всего человечества. Когда Скарлетт была ребенком, мать часто представлялась ей в образе пресвятой Девы Марии, но и подрастая, она не захотела отказаться от этого представления. Только Эллин и небеса могли дать ей ощущение незыблемости ее мира. Для Скарлетт мать была воплощением правды, справедливости, нежности, любви и глубочайшей мудрости. И она была настоящая леди.

Скарлетт очень хотелось быть похожей на мать. Беда заключалась лишь в том, что, оставаясь всегда правдивой, честной, справедливой, любящей и готовой на самопожертвование, невозможно наслаждаться всеми радостями жизни и наверняка упустишь очень многое, в первую очередь — поклонников. А жизнь так коротка. Она еще успеет потом, когда выйдет замуж за Эшли и состарится, и у нее будет много свободного времени, стать такой, как Эллин. А пока что...

### Глава IV

В этот вечер за ужином Скарлетт машинально исполняла роль хозяйки, заменяя отсутствующую мать, но мысли ее неотступно возвращались к страшной вести о браке Эшли и Мелани. В отчаянии она молила бога, чтобы Эллин поскорее возвратилась от Слэттери: без нее она чувствовала себя совсем потерянной и одинокой. Что за свинство со стороны этих Слэттери вечно навязываться Эллин со своими нескончаемыми болезнями, в то время как она так нужна ей самой!

На протяжении всего этого унылого ужина громкий голос Джералда бил в ее барабанные перепонки, и минутами ей казалось, что она этого не выдержит. Недавний разговор с дочерью уже вылетел у Джералда из головы, и он теперь произносил длинный монолог о последних сообщениях, поступивших из форта Самтер, подкрепляя свои слова взмахом руки и ударом кулака по столу. У Джералда вошло в привычку разглагольствовать при всеобщем молчании за столом, и обычно Скарлетт, погруженная в свои мысли, попросту его не слушала. Но сегодня, напряженно ожидая, когда наконец подкатит к крыльцу коляска с Эллин, она не могла отгородиться от звуков этого громкого голоса.

Конечно, она не собиралась открывать матери, какая тяжесть лежит у нее на сердце. Ведь Эллин пришла бы в ужас, узнай она, что ее дочь убивается по человеку, помолвленному с другой; ее огорчение было бы беспредельным. Но Скарлетт просто хотелось, чтобы в эти минуты ее первого большого горя мать была рядом. Возле матери она всегда чувствовала себя как‑то надежней; любая беда была не так страшна, когда Эллин рядом.

Заслышав стук копыт по аллее, она вскочила, но тут же снова опустилась на стул: коляска завернула за угол, к заднему крыльцу. Значит, это не Эллин — она бы поднялась по парадной лестнице. С окутанного мраком двора донесся нестройный гомон взволнованных негритянских голосов и заливистый смех. Бросив взгляд в окно, Скарлетт увидела Порка, который только что покинул столовую: он держал в руке смолистый факел, а из повозки спускались на землю какие‑то неразличимые в темноте фигуры. Мягкие, гортанные и звонкие, мелодичные голоса долетали из мрака, сливаясь в радостный, беззаботный гомон. Затем на заднем крыльце и в коридоре, ведущем в холл, послышался шум шагов. Шаги замерли за дверью столовой. С минуту оттуда доносилось перешептывание, после чего на пороге появился Порк: глаза его округлились от радостного волнения, зубы сверкали, он даже позабыл принять свою величественную осанку.

— Мистер Джералд! — провозгласил он, с трудом переводя дыхание от распиравшей его гордости. — Ваша новая служанка прибыла!

— Новая служанка? Я не покупал никаких служанок! — отвечал Джералд, уставив притворно гневный взгляд на своего лакея.

— Да, да, сэр, мистер Джералд, купили! Да, сэр! И она там, за дверью, и очень хочет поговорить с вами! — Порк хихикнул и хрустнул пальцами от волнения.

— Ладно, тащи сюда свою женушку, — сказал Джералд, и Порк, обернувшись, поманил жену, только что прибывшую из Двенадцати Дубов, чтобы стать принадлежностью Тары. Она вступила в столовую, а следом за ней, прижимаясь к матери, полускрытая ее накрахмаленными ситцевыми юбками, появилась двенадцатилетняя дочь.

Дилси была высокая женщина, державшаяся очень прямо. Определить ее возраст было невозможно — тридцать лет, шестьдесят? На спокойном бронзовом лице не было ни морщинки. Перевес индейской крови над негритянской сразу бросался в глаза. Красноватый оттенок кожи, высокий, сдавленный у висков лоб, широкие скулы и нос с горбинкой, неожиданно расплющенный книзу, над толстыми негроидными губами, ясно указывали на смешение двух рас. Держалась Дилси уверенно и с таким чувством собственного достоинства, до которого далеко было даже Мамушке, ибо у Мамушки оно было благоприобретенным, а у Дилси — в крови.

И она не так коверкала слова, как большинство негров, речь ее была правильнее.

— Добрый вечер вам, мисс, и вам, мисс. И вам, мистер Джералд. Извините за беспокойство, да уж больно мне хотелось поблагодарить вас, что вы купили меня и мою дочку. Меня‑то кто хошь купит, а вот что Присей, чтоб мне не тосковать по ней, — таких нет, и я благодарствую вас. Уж я буду стараться служить вам и никогда не позабуду, что вы для меня сделали.

— Хм‑хм... — Джералд откашлялся и пробормотал что‑то невнятное, чрезвычайно смущенный тем, что его так явно уличили в содеянном добре.

Дилси повернулась к Скарлетт, и затаенная улыбка собрала морщинки в уголках ее глаз.

— Мисс Скарлетт, Порк сказывал мне, как вы просили мистера Джералда купить меня. И я хочу отдать вам мою Присей в служанки.

Пошарив позади себя рукой, она вытолкнула вперед дочь — маленькое коричневое создание с тоненькими птичьими ножками и бесчисленным множеством торчащих в разные стороны косичек, аккуратно перевязанных веревочками. У девочки был умный, наблюдательный взгляд, зорко подмечавший все вокруг, и тщательно усвоенное глуповатое выражение лица.

— Спасибо, Дилси, — сказала Скарлетт, — но боюсь, Мамушка станет возражать. Ведь она мне прислуживает с того дня, как я появилась на свет.

— Мамушка‑то уж совсем старенькая, — невозмутимо возразила Дилси с такой уверенностью, которая несомненно привела бы Мамушку в ярость. — Она — хорошая няня, да только ведь вы‑то теперь уже леди и вам нужна умелая горничная, а моя Присей целый год прислуживала мисс Индии. Она и шить может, и не хуже всякой взрослой вас причешет.

Дилси подтолкнула дочь; Присей присела и широко улыбнулась Скарлетт, и та невольно улыбнулась в ответ.

«Шустрая девчонка», — подумала Скарлетт и сказала:

— Ладно, Дилси, спасибо, когда мама вернется, я поговорю с ней.

— И вам спасибо, мэм. Пожелаю вам спокойной ночи, — сказала Дилси и покинула столовую вместе с дочкой, а Порк поспешил за ними. Со стола убрали, и Джералд снова принялся ораторствовать, без всякого, впрочем, успеха у своей аудитории и потому без особого удовольствия для себя. Его грозные предсказания близкой войны и риторические возгласы: «Доколе же Юг будет сносить наглость янки!» — порождали у скучающих слушательниц лишь односложные: «Да, папа» и «Нет, папа». Кэррин, сидя на подушке, брошенной на пол под большой лампой, была погружена в романтическую историю некой девицы, постригшейся в монахини после смерти своего возлюбленного; слезы восторга приятно щекотали ей глаза, и она упоенно воображала себя в белом монашеском чепце. Сьюлин что‑то вышивала — «для своего приданого», как она объяснила, стыдливо хихикнув, — и прикидывала в уме, удастся ли ей на завтрашнем барбекю отбить Стюарта Тарлтона у Скарлетт, очаровав его своей женственной мягкостью и кротостью, которыми Скарлетт не обладала. А Скарлетт была в смятении чувств из‑за Эшли.

Как может папа без конца толковать о форте Самтер и об этих янки, когда у нее сердце рвется на части и он это знает? Будучи еще очень юной, она находила непостижимым, что люди могут быть так эгоистично равнодушны к ее страданиям и в мире все продолжает идти своим путем, в то время как ее сердце разбито.

В душе ее бушевала буря, а все вокруг выглядело таким спокойным, таким безмятежным, и это казалось ей странным. Тяжелый буфет и стол красного дерева, массивное серебро, пестрые лоскутные ковры на натертом до блеска полу — все оставалось на своих местах, словно ничего не произошло. Это была уютная, располагающая к дружеской беседе комната, и обычно Скарлетт любила тихие вечерние часы, которые семья проводила здесь после ужина, но сегодня вид этой комнаты стал ей ненавистен, и если бы не страх перед резким окриком отца, она выскользнула бы за дверь и, стремительно прокравшись через темный холл, наплакалась бы вволю на старой софе в маленьком кабинетике Эллин.

Это была самая любимая комната Скарлетт. Здесь Эллин каждое утро сидела за высоким секретером, проверяя счета и выслушивая доклады Джонаса Уилкерсона, управляющего имением. Здесь нередко собиралось и все семейство: Эллин что‑то записывала в тяжелые гроссбухи, Джералд дремал в старой качалке, дочки примостились на продавленных подушках софы, тоже уже слишком ветхой, чтобы украшать собой парадные покои. И Скарлетт сейчас хотелось только одного: остаться там вдвоем с Эллин и выплакаться, уткнувшись головой ей в колени. Когда же наконец вернется мама?

Но вот на аллее заскрипел гравий под колесами, и негромкий голос Эллин, отпускавшей кучера, донесся в столовую. Взгляды всех устремились к двери. Шурша кринолином, она быстро вошла в комнату — лицо ее было усталым и грустным. Повеяло легким ароматом вербены, навечно, казалось, угнездившимся в складках ее платья, — ароматом, который для Скарлетт был неотторжим от образа матери. Мамушка — хмурая, с недовольно выпяченной нижней губой и кожаной сумкой в руках — следовала за хозяйкой чуть поодаль. Она что‑то нечленораздельно бормотала себе под нос — достаточно тихо, чтобы нельзя было разобрать слов, и достаточно громко, чтобы ее неодобрение не осталось незамеченным.

— Извините, что задержалась, — сказала Эллин, сбрасывая шотландскую шаль со своих усталых плеч на руки Скарлетт, и, проходя, погладила дочь по щеке.

При появлении жены лицо Джералда мгновенно просияло.

— Ну что — окрестили это отродье? — спросил он.

— Да, окрестили бедняжку и оплакали, — сказала Эллин. — Я боялась, что Эмми тоже отдаст богу душу, но, мне кажется, она оправится.

Дочери обратили к ней исполненные любопытства вопрошающие взгляды, а Джералд философически покачал головой:

— Ну, может, это и к лучшему, что он помер, несчастный ублю...

— Ой, как поздно! Пора прочесть молитву, — как бы невзначай перебила его Эллин, и если бы Скарлетт хуже знала мать, она бы даже не заподозрила, что Эллин перебила Джералда намеренно.

А было бы все же любопытно узнать, кто отец ребенка Эмми Слэттери, но Скарлетт понимала, что у матери про это не дознаешься. Сама Скарлетт подозревала, что это Джонас Уилкерсон — она не раз видела, как он прогуливался по вечерам с Эмми. Джонас был янки и холостяк, а должность управляющего, которую он занимал, отрезала ему все пути в дома богатых плантаторов. Он не мог бы посвататься ни к одной из их дочерей и был лишен возможности водить компанию с кем‑либо, кроме таких бедняков, как Слэттери, и им подобных отщепенцев. Вместе с тем по своему образованию он был на голову выше этих Слэттери, и Скарлетт казалось вполне естественным, что он и не подумает жениться на Эмми, хотя частенько гулял с ней в сумерках.

Скарлетт вздохнула — любопытство ее было задето. На глазах у ее матери происходило многое, но она этого как бы не замечала. Эллин умела проходить мимо всего, что противоречило ее понятиям о благопристойности, и старалась научить этому и Скарлетт — впрочем, без особого успеха.

Эллин шагнула к камину, где в маленькой инкрустированной шкатулке, стоявшей на полке, хранились ее четки, но решительный голос Мамушки заставил ее остановиться:

— Мисс Эллин, вам бы надо поесть хоть малость, прежде чем читать молитву.

— Спасибо, Мамушка, я не голодна.

— Я сейчас подам вам ужин, и чтоб вы поели, — с хмурым упрямством заявила Мамушка и возмущенно зашагала на кухню. — Порк! — крикнула она. — Скажи кухарке, чтобы развела огонь. Мисс Эллин вернулась.

В холле заскрипели половицы под тяжелой ступней, и до ушей сидевших в столовой донеслось бормотанье, звучавшее все явственней по мере того, как Мамушка удалялась:

— Твердишь, твердишь — все понапрасну... Не стоят они того, чтобы так для них стараться. Никчемный, неблагодарный народ, хуже нет во всем графстве, чем эта белая рвань. И нечего мисс Эллин утруждать себя. Будь у них голова на плечах, имели бы, как другие, своих ниггеров. Да разве ей втолкуешь...

Воркотня замерла, когда Мамушка скрылась с глаз в крытой галерее, соединявшей холл с кухней. У старой служанки был особый способ доводить до сведения господ свою точку зрения по тому или иному вопросу. Она знала, что достоинство не позволяет белым господам обращать хоть малейшее внимание на воркотню черных слуг, и чтобы не уронить своего достоинства, они должны делать вид, будто ничего не слышат, как бы громко она ни разворчалась, едва ступив на порог. Это спасало ее от возможности получить нагоняй и в то же время позволяло вполне недвусмысленно высказывать свое мнение.

Вошел Порк с тарелками, прибором и салфеткой. Следом за ним, застегивая на ходу белую полотняную куртку, спешил Джек, маленький десятилетний негритенок. Он держал в руке самодельное орудие для отпугивания мух в виде тонкой жерди длиной в два его роста, с привязанными к ней узкими полосками газетной бумаги. У Эллин имелось очень красивое опахало из павлиньих перьев, но им пользовались лишь в особо торжественных случаях и то лишь после небольшой домашней междоусобицы, ибо Порк, кухарка и Мамушка считали, что перья павлина приносят несчастье.

Эллин опустилась на стул, который поспешил пододвинуть ей Джералд, и четыре голоса атаковали ее разом:

— Мама, у меня на бальном платье отпоролись кружева, а я хотела надеть его завтра, когда мы поедем в Двенадцать Дубов. Может быть, ты починишь?

— Мама, новое платье Скарлетт гораздо красивее моего, и вообще я выгляжу ужасно в розовом. Почему бы ей не надеть мое розовое, а я надену ее зеленое. Ей розовый цвет к лицу.

— Мама, можно, я завтра тоже останусь на танцы? Мне ведь уже тринадцать...

— Ну, доложу я вам, миссис О’Хара... Тише вы, трещотки, пока я не надрал вам уши!.. Кэйд Калверт был сегодня утром в Атланте... Вы дадите мне слово сказать или нет?.. И говорит, что все там в страшном волнении и только и разговору что о войне, военных учениях и формировании войсковых частей. И вроде бы, если верить слухам, в Чарльстоне решили не давать больше спуску янки.

Эллин устало улыбнулась, слушая эту разноголосицу, и, как подобает почтительной супруге, первому ответила Джералду.

— Если наиболее достойные люди Чарльстона придерживаются такого мнения, то я полагаю, что и мы не заставим себя ждать и присоединимся к ним, — сказала она, ибо была воспитана в убеждении, что, за исключением Саванны, самая лучшая и самая родовитая часть населения континента сосредоточена в этом маленьком портовом городке, и убеждение это, кстати сказать, полностью разделялось самими чарльстонцами.

— Нет, Кэррин, пока нельзя, моя дорогая. В будущем году ты будешь носить длинные платья и танцевать на балах, и эти розовые щечки еще ярче разрумянятся от удовольствия. Ну, не надувай губок, детка! Ты же можешь поехать на барбекю и даже остаться на ужин, понимаешь? Но никаких балов, пока тебе не сравнялось четырнадцати.

— Принеси мне твое платье, Скарлетт. Я пришью кружева, когда мы встанем из‑за стола.

— Мне не нравится твой тон, Сьюлин. Твое розовое платье очень красиво, и цвет этот ничуть не меньше идет тебе, чем зеленый — Скарлетт. Но я разрешаю тебе надеть завтра мое гранатовое колье.

Сьюлин за спиной матери торжествующе показала Скарлетт нос, ибо та собиралась выпросить колье для себя. Скарлетт в ответ высунула язык. Сьюлин страшно злила Скарлетт своим постоянным хныканьем и эгоизмом и не раз получала бы от Скарлетт затрещину, не будь умиротворяющая рука Эллин всегда начеку.

— А теперь, мистер О’Хара, я хотела бы узнать подробнее, что, по словам мистера Калверта, происходит в Чарльстоне, — сказала Эллин.

Скарлетт прекрасно понимала, что мать нисколько не интересуется ни войной, ни политикой, считая их чисто мужским делом, в которое ни одна умная женщина не должна совать нос. Но Джералд любил порассуждать на эти темы, а Эллин была неизменно внимательна к мужу и готова сделать ему приятное.

Пока Джералд выкладывал свои новости, Мамушка поставила перед хозяйкой прибор, подала золотистые гренки, грудку жареного цыпленка и желтый ямс, от которого поднимался в воздух пар, а из разреза капало растопленное масло. Мамушка ущипнула Джека, и он поспешно принялся за дело — бумажные ленты медленно поплыли вверх и вниз за спиной Эллин. Мамушка стояла возле хозяйки, пристально следя за каждым подцепленным на вилку и отправленным в рот куском, словно вознамерившись силой своего взгляда пропихнуть еду в пищевод, если Эллин вздумает отлынивать. Эллин прилежно поглощала пищу, но Скарлетт видела, что мать от усталости даже не замечает, что она ест. И только непреклонное выражение лица Мамушки заставляло ее не бросать вилку.

Но вот с едой было покончено, и хотя Джералд еще не перестал громить этих жуликов‑янки, требующих освобождения негров и не желающих ни единого пенни заплатить за их свободу, Эллин поднялась из‑за стола.

— Будем читать молитву? — без особого энтузиазма спросил Джералд.

— Да, час поздний. Уже десять бьет. — Часы, немного похрипев, пробили десять. — Кэррин давно пора в постель. Порк, пожалуйста, лампу пониже. Мамушка — мой молитвенник.

Повинуясь сердитому шепоту Мамушки, Джек поставил свое опахало в угол и принялся убирать посуду, а Мамушка извлекла из ящика буфета старенький молитвенник Эллин. Порк, став на цыпочки, немного отпустил цепочку лампы, чтобы свет переместился с потолка на стол. Эллин, расправив юбку, опустилась на колени, положила раскрытый молитвенник на край стола, и сложенные для молитвы руки ее легли поверх молитвенника. Джералд стал на колени рядом с ней, а Скарлетт и Сьюлин заняли свои места по другую сторону стола, подоткнув пышные юбки под колени, чтобы не так больно было стоять на твердом полу. Кэррин из‑за ее маленького роста трудно было дотягиваться до стола, и она стала на колени возле стула, положив руки на сиденье. Эта поза вполне ее устраивала, давая возможность незаметно для материнского глаза вздремнуть во время чтения молитвы.

Шелест и шорохи в холле возвестили о том, что слуги преклонили колени за раскрытыми дверями столовой. Слышно было, как Мамушка громко кряхтит, опускаясь на колени. Порк и коленопреклоненный держался прямо, словно шест проглотил; горничные Роза и Тина опустились на колени очень грациозно, широко раскинув по полу пестрые ситцевые юбки. Лицо кухарки под белоснежной повязкой казалось еще более темным и худым. Джек, у которого уже слипались глаза, все же нашел в себе достаточно соображения, чтобы устроиться подальше от Мамушкиных щипков. Черные глаза слуг выжидательно блестели, так как ежевечерняя молитва вместе с белыми господами всегда была для них главным событием дня. Древние образы литании с их восточной красочностью оставались для них малопонятными, но они задевали какие‑то струны в их душе, заставляя покачиваться в такт, когда они повторяли следом за Эллин: «Помилуй нас, господи!», «Боже, милостив буди к нам, грешным!».

Эллин, закрыв глаза, читала молитву. Голос ее то креп, то замирал, убаюкивая, утешая. В желтом кругу света видны были склоненные головы, когда она произносила благодарственные слова за благополучие своего дома, семьи, слуг.

Помолившись за всех обитателей Тары, за своего отца, мать, сестер, трех своих покойных младенцев и за всех «страдальцев юдоли земной». Эллин, перебирая в длинных пальцах белые четки, начала читать молитву божьей матери — и словно шелест ветра пронесся по комнате, когда губы белых и черных зашевелились, повторяя следом за ней:

— Пресвятая Дева Мария, моли бога за нас, грешных, и ныне, и присно, и во веки веков.

И, как всегда в эти минуты, Скарлетт почувствовала, что к ней приходит успокоение, хотя невыплаканные слезы еще жгли ей глаза. Горечь пережитого разочарования и страх перед завтрашним днем отступили, дав место надежде. Но губы ее лишь машинально повторяли слова молитвы, и не вера в бога принесла ей облегчение, а торжественно‑спокойное лицо матери и ее взор, обращенный к престолу господа, испрашивающий благословения всем дорогим для нее существам. Скарлетт была твердо убеждена, что небеса не могут оставаться глухи к мольбе Эллин, когда она прибегает к ним за помощью.

Голос Эллин умолк, и настала очередь Джералда, а поскольку он никогда не успевал вовремя найти свои четки, то ему пришлось, читая молитву, украдкой загибать пальцы. Под его монотонное чтение Скарлетт невольно отвлеклась, хотя она знала, что ей сейчас надлежит, как учила ее Эллин, углубиться в себя, допросить свою совесть, вспомнить все проступки, совершенные за день, раскаяться в них и испросить у бога прощения, дабы он даровал ей силы никогда их больше не повторять. Но сердце Скарлетт брало верх над ее совестью.

Уронив голову на скрещенные на столе руки, чтобы мать не могла видеть ее лица, она устремилась своими печальными мыслями к Эшли. Как может он думать о женитьбе на Мелани, когда на самом‑то деле любит ее, Скарлетт? И знает, что и она любит его. Как может он по собственной воле делать ее несчастной?

И тут внезапно совершенно новая, ослепительная мысль сверкнула в ее мозгу:

«Да ведь Эшли даже и не подозревает, что я влюблена в него!»

Эта мысль так поразила ее, что она едва не вскрикнула от неожиданности. На мгновение ее мозг словно застыл, а затем заработал с лихорадочной быстротой.

«Откуда ему знать? Я всегда держалась с ним такой недотрогой, изображала из себя такую кисейную барышню... Он, верно, думает, что я не питаю к нему ничего, кроме дружеских чувств. Ну, ясно! Поэтому он и не признался мне до сих пор! Он думает, что его любовь безответна. Вот почему он так странно смотрит на меня порой...»

Ей сразу вспомнилось, как она не раз ловила на себе этот взгляд, когда в серых глазах Эшли, таких непроницаемых обычно, ей вдруг словно бы открывалось что‑то, и она, казалось, читала в них безнадежность и боль.

«Он убивается по мне, думает, что я увлечена Брентом, или, может, Стюартом, или Кэйдом. И, верно, решил, что раз я все равно ему не достанусь, почему бы не пойти навстречу желанию семьи и не жениться на Мелани. А знай он, что я люблю его...»

И воскресшая душа ее, только что погруженная в бездну отчаяния, воспарила на вершину блаженства. Вот и решение этой загадки — почему Эшли так странно ведет себя, почему он молчит! Он ни о чем не догадывается! Тщеславие подхлестнуло желание поверить в то, во что так хотелось верить, желание поверить превратилось в уверенность. Знай Эшли, что она любит его, он был бы у ее ног. Ей нужно только...

«Ах! — подумала она, сжимая пальцами пылающий лоб. — Какая же я была идиотка, как не подумала об этом! Надо найти какой‑то способ открыть ему глаза. Он не женится на ней, если узнает, что я люблю его! Никогда не женится!»

Внезапно она опомнилась, заметив, что Джералд кончил читать молитву и мать смотрит на нее. Перебирая четки, она стала произносить привычные слова, но в голосе ее звучало такое глубокое волнение, что Мамушка от удивления открыла глаза и бросила на нее испытующий взгляд. За ней прочитала молитву Сьюлин, затем Кэррин, но Скарлетт, окрыленная сделанным ею открытием, все еще парила мыслями в облаках...

Конечно, и сейчас еще не поздно! Бывали ведь случаи, когда графство потрясала весть о том, что жених (а иной раз невеста) бежали с кем‑то прямо из‑под венца. А помолвка Эшли пока даже не была объявлена! О нет, еще не поздно!

Если Эшли связан с Мелани не любовными узами, а всего лишь словом, данным бог весть когда, что может помешать ему взять свое слово обратно и жениться на ней, на Скарлетт? Конечно, Эшли так бы поступил, знай он, что она его любит. Значит, надо, чтобы он об этом узнал. Она должна найти способ открыть ему глаза! А тогда...

Перестав повторять респонсорий[[2]](#footnote-2), Скарлетт была сброшена с облаков на землю укоряющим взором матери. Спохватившись, она начала произносить молитвенные слова, украдкой оглядывая комнату. Коленопреклоненные фигуры в мягком свете лампы, покачивающиеся тени в глубине, там, где стояли негры, все знакомые предметы, вызывавшие в ней глухое раздражение час назад, теперь окрасились в радужные тона ее возрожденных надежд, и комната снова показалась ей привлекательной и уютной. Это мгновение, вся эта сцена навсегда останутся в ее памяти!

— Матерь божия, — нараспев произносила Эллин слова молитвы, и, вторя ее мягкому контральто, Скарлетт послушно подхватывала:

— Моли бога о нас.

С самого раннего детства для Скарлетт это были минуты поклонения не столько божьей матери, сколько Эллин, которую она обожествляла. Повторяя древние слова Священного писания, Скарлетт кощунственно видела перед собой сквозь смеженные веки не образ Девы Марии, а обращенное к небесам лицо Эллин, и слова эти — «Исцеление болящих», «Грешников прибежище», «Престол мудрости», «Врата вечного блаженства» — казались ей прекрасными, ибо они сливались для нее с образом матери. Но в этот вечер в приглушенных голосах, в повторяемых шепотом словах респонсория ее взволнованной душе открылась какая‑то новая, необычная красота. И она от всего сердца возблагодарила господа за то, что он указал ей путь из глубины отчаяния... прямо в объятия Эшли.

Прозвучало последнее «аминь», и все — кое‑кто с трудом, Мамушка — с помощью Тины и Розы — поднялись с колен. Порк взял с каминной полки длинный жгут из бумаги, зажег его от лампы и вышел в холл. Там, напротив полукружия лестницы, стоял огромный, не поместившийся в столовой буфет орехового дерева, а на его широкой доске вытянулись в ряд несколько ламп и с десяток свечей в подсвечниках. Порк зажег лампу и три свечи и с важным видом первого камергера двора, провожающего королевскую чету в опочивальню, начал подниматься по лестнице, держа лампу высоко над головой. Эллин под руку с Джералдом следовала за ним, а девочки — каждая со свечой в руке — замыкали шествие.

Скарлетт вошла к себе в спальню, поставила свечу на высокий комод и принялась шарить в платяном шкафу, разыскивая нуждавшееся в починке бальное платье. Перекинув его через руку, она по галерее, окружавшей холл, направилась к спальне родителей. Дверь в спальню была приотворена и прежде, чем Скарлетт успела постучать, до нее долетел тихий, но твердый голос Эллин:

— Мистер О’Хара, вы должны рассчитать Джонаса Уилкерсона.

Джералд мгновенно вскипел:

— А где прикажете мне достать другого управляющего, который не обирал бы меня до последней нитки?

— Он должен быть уволен немедленно, завтра же утром. Большой Сэм хороший надсмотрщик и может заменить Джонаса, пока вы не наймете другого управляющего.

— А, вот оно что! Понятно. Уважаемый Джонас забрюхатил...

— Его надо уволить.

«Так значит, это он — отец ребенка Эмми Слэттери, — подумала Скарлетт. — Прекрасно. Чего еще можно ожидать от янки и от девчонки из такой семьи, как эта белая рвань!»

Скромно выждав за дверью, чтобы дать Джералду время утихомириться, Скарлетт постучалась, вошла и протянула матери платье.

Пока Скарлетт раздевалась и, задув свечу, укладывалась в постель, в голове ее уже полностью созрел план завтрашних действий. План был крайне прост, ибо с унаследованной от Джералда целеустремленностью она ясно видела перед собой только то, чего хотела достичь, и шла к этой цели наикратчайшим путем.

Прежде всего надо быть гордой, как наставлял Джералд. Появиться в Двенадцати Дубах веселой и оживленной как никогда. Ни одна душа не должна заподозрить, что она убита союзом Эшли с Мелани. Она будет кокетничать напропалую со всеми мужчинами подряд. Это, конечно, жестоко по отношению к Эшли, но зато его еще сильнее потянет к ней. Она не оставит без внимания ни одного из возможных претендентов на ее руку, начиная от рыжеусого перестарка Фрэнка Кеннеди, ухажера Сьюлин, и кончая тихим, скромным, застенчивым, как девушка, Чарлзом Гамильтоном, братом Мелани. Все они будут виться вокруг нее, как пчелы вокруг цветка, и, само собой разумеется, Эшли покинет Мелани и присоединится к свите ее поклонников. Тогда она как‑нибудь улучит минутку, чтобы остаться с ним наедине. Она надеялась, что все произойдет именно так, — ведь иначе привести ее план в исполнение будет нелегко. Ну, а уж если Эшли не сделает первого шага, ей просто придется сделать его самой.

А когда они наконец останутся вдвоем, он мысленно все еще будет видеть ее, окруженную роем поклонников, стремящихся добиться ее расположения, и в глазах его снова появится знакомое ей выражение обреченности и боли. И тогда она осчастливит его. Она откроет ему, что для нее, столь для всех желанной, всех на свете желанней он. И когда она сделает ему свое признание, он увидит, как она мила и скромна и сколько в ней других бесценных качеств. Конечно, она сделает это с достоинством, как настоящая леди. Она не собирается бросаться ему на шею с криком: «Я люблю вас!» Это не годится. Впрочем, вопрос о том, в какой форме признаться ему в своем чувстве, не слишком ее тревожил. Она уже бывала в такого рода положениях не раз, сумеет и теперь.

Лежа в постели, вся залитая лунным светом, она мысленно рисовала себе эту сцену. Перед ней возникало изумленное и счастливое лицо Эшли, внимающего ее любовному признанию, и она слышала его голос, произносящий заветные слова: «Я прошу вас стать моей женой».

Конечно, она ответит, что не может принять предложение человека, помолвленного с другой, но он будет настаивать, и она в конце концов уступит. И тогда они примут решение в этот же вечер бежать из дому, добраться до Джонсборо и...

Да, завтра в этот час она, быть может, уже станет миссис Уилкс!

Скарлетт села в постели, обхватив колени руками, и на несколько счастливейших в ее жизни минут почувствовала себя миссис Уилкс, женой Эшли! А потом легкий холодок сомнения закрался в ее сердце. А что, если не получится так, как она задумала? Что, если Эшли не предложит ей бежать с ним? Но она тут же прогнала прочь эту мысль.

«Не стану думать об этом сейчас, — твердо сказала себе она. — Начну думать — только еще больше расстроюсь. Все должно получиться так, как я хочу... если он меня любит. А он любит меня, я это знаю!»

Она закинула голову, и в ее светлых, в темной оправе ресниц глазах сверкнули отблески луны. Эллин не открыла ей одной простой истины: желать — это еще не значит получить. А жизнь еще не научила тому, что победа не всегда достается тем, кто идет напролом. Она лежала в пронизанном лунным сиянием полумраке, и в ней росла уверенность, что все будет хорошо, и она строила смелые планы — как строят их в шестнадцать лет, когда жизнь так прекрасна, что возможность поражения кажется невозможной, а красивое платье в сочетании с нежным цветом лица — залогом победы над судьбой.

### Глава V

Было десять часов утра. На редкость горячее апрельское солнце струило сквозь голубые занавески в спальне Скарлетт золотистый поток лучей. Солнечные блики играли на кремовых стенах, отражались в темно‑красной, как вино, глуби старинной мебели и заставляли пол сверкать точно зеркало там, где их не поглощали пестрые пятна ковров.

Дыхание лета уже чувствовалось в воздухе — первое дуновение зноя, который придет на смену весне, начинавшей мало‑помалу сдавать свои позиции. В теплых струях, проникавших из сада в комнату, был разлит бархатистый аромат молодой листвы, цветов и влажной, свежевспаханной земли. За окнами поражало глаз белоснежное буйство нарциссов, распустившихся по обеим сторонам усыпанной гравием подъездной аллеи, а позади них пышные, округлые, похожие на юбки с кринолином кусты желтого жасмина склоняли до земли свои отягощенные золотыми цветами ветви. Пересмешники и сойки, занятые извечной борьбой за обладание растущей под окном магнолией, затеяли очередную перебранку: крики соек звучали язвительно и резко, голоса пересмешников — жалобно и певуче.

В такое ослепительное утро Скарлетт обычно сразу подбегала к окну и, положив локти на подоконник, впитывала в себя ароматы и звуки Тары. Но сегодня сияние солнца и лазурь небес пробудили в ней только одну мысль: «Слава богу, дождя не будет!» На постели стояла картонная коробка с бережно уложенным в нее светло‑зеленым муаровым платьем с воланами из кремовых кружев, приготовленным для отправки в Двенадцать Дубов, дабы Скарлетт могла сменить там свой туалет перед балом, но она, скользнув по платью взглядом, лишь пожала плечами. Если все пойдет так, как она задумала, это платье не понадобится ей сегодня вечером. Задолго до начала бала они с Эшли будут уже на пути к Джонсборо, к венцу. Сейчас ее волновал совсем другой вопрос: какое платье надеть на барбекю?

Какое платье сделает ее особенно неотразимой в глазах Эшли? С восьми часов утра она примеряла то одно, то другое и теперь стояла расстроенная, подавленная, в кружевных панталонах, корсете и в трех пышных полотняных, отделанных кружевом нижних юбках. А отвергнутые платья пестрыми грудами шелка, оборок и лент громоздились вокруг нее на полу, на постели, на стульях.

Розовое платье из органди с длинным ярко‑красным поясом несомненно было ей к лицу, но она надевала его прошлым летом, когда Мелани приезжала в Двенадцать Дубов, и та, конечно, могла его запомнить. А значит, ничто не помешает ей съязвить на этот счет. Черное бомбазиновое с буфами на рукавах и большим стоячим кружевным воротником выгодно оттеняет ее ослепительную кожу, но нельзя не признаться, что оно ее чуточку старит. Скарлетт озабоченно шагнула к зеркалу и вгляделась в свою шестнадцатилетнюю мордашку, словно боясь увидеть морщины или дряблый подбородок. Но Мелани так юна и свежа — ни в коем случае нельзя казаться возле нее старше своих лет. Сиреневое в полоску муслиновое платье с большими кружевными медальонами и тюлевым воланом красиво, но не в ее стиле. Кэррин с ее тонким профилем и бесцветным личиком выглядела бы в нем недурно, сама же она в этом платье будет похожа на школьницу, а это уж никак не годится — походить на школьницу рядом со спокойной, исполненной достоинства Мелани. Клетчатое платье из зеленой тафты все в мелких оборочках, обшитых по краю зеленой бархатной лентой, шло ей бесподобно, и вообще это было ее любимое платье — когда она его надевала, глаза ее приобретали совсем изумрудный оттенок, — но, увы, спереди на лифе отчетливо виднелось жирное пятно. Конечно, можно было бы замаскировать пятно, приколов брошь, но как знать, может быть, у Мелани очень зоркий глаз. Значит, оставались либо пестрые ситцевые платья, недостаточно нарядные для такого случая, либо бальные платья, либо зеленое муслиновое в цветочек, которое она надевала вчера. Но это было скорее вечернее платье, не слишком подходящее для барбекю, с глубоким вырезом, почти как у бального платья, и крошечными буфами вместо рукавов. И все же она не видела другого выхода, как остановить свой выбор на нем. В конце концов ей не приходится стыдиться своей шеи, плеч и рук, даже если и не очень пристало обнажать их с утра.

Стоя перед зеркалом, она изогнулась в талии, чтобы оглядеть себя сбоку, и не обнаружила в своей фигуре ни малейшего изъяна. Не слишком длинная шея была приятно округлой и соблазнительной, как и руки, да и выглядывавшие из корсета груди были очень милы. Не в пример многим шестнадцатилетним девчонкам, ей никогда не приходилось пришивать крошечные шелковые оборочки к подкладке лифа, чтобы придать фигуре более пышные формы. Ее радовало, что у нее, как у Эллин, тонкие, длинные белые кисти рук и маленькие ступни, и, конечно, ей хотелось бы стать такой же высокой, как Эллин, но, в общем, Скарлетт была вполне довольна своим ростом. Обидно, что платье закрывает ноги, подумала она, приподняв нижние юбки и окидывая взглядом округлые стройные ножки, выглядывавшие из‑под панталон. Что говорить, у нее очень хорошенькие ножки. Даже девочки в фейетвиллском пансионе всегда ими восхищались. И уж конечно, такой тонкой талии, как у нее, нет ни у кого не только в Фейетвилле и Джонсборо, а, пожалуй, и во всех трех графствах, если на то пошло.

Мысль о талии заставила ее вернуться к практическим делам. Мамушка затянула ее корсет в талии до восемнадцати дюймов — для бомбазинового платья, а зеленое муслиновое требует, чтобы было не больше семнадцати. Надо велеть ей затянуть потуже. Скарлетт приотворила дверь, прислушалась: из холла доносилась тяжелая поступь Мамушки. Скарлетт нетерпеливо окликнула ее, зная, что в этот час она может как угодно покрикивать на слуг, потому что Эллин сейчас в коптильне — выдает кухарке продукты.

— Похоже, кому‑то кажется, что у меня за спиной крылья, — проворчала Мамушка, поднимаясь по лестнице. Она с трудом переводила дух, и лицо ее выражало неприкрытую готовность к битве. В больших черных руках покачивался поднос, над которым поднимался пар от двух крупных, политых маслом ямсов, груды гречишных оладий в сиропе и большого куска ветчины, плавающего в подливке. При виде этой ноши легкое раздражение, написанное на лице Скарлетт, сменилось выражением воинственного упрямства. Волнение, связанное с выбором платья, заставило ее забыть установленное Мамушкой железное правило: прежде чем девочки отправятся в гости, их следует так напичкать едой дома, чтобы там они уже не могли проглотить ни кусочка.

— Зря притащила. Я не стану есть. Унеси обратно на кухню.

Мамушка поставила поднос на стол, выпрямилась, уперла руки в бока.

— Нет, мисс, кушать вы будете! Нужно мне больно, чтоб опять трепали языком, как в тот раз: видать, нянька ее дома не покормила! Все скушаете до последнего кусочка!

— Нет, не стану! Поди сюда, затяни мне корсет потуже, я и так опаздываю. Экипаж уже подан — я слышала, как он подъехал.

Теперь Мамушка заговорила вкрадчиво:

— Ну же, мисс Скарлетт, будьте умницей, поешьте немножко. Кэррин и мисс Сьюлин скушали все до капельки.

— Еще бы им не скушать, они же трусливые, как кролики, — презрительно сказала Скарлетт. — А я не стану. Убери поднос! Я прекрасно помню, как я уплела все, что ты притащила, а потом у Калвертов было мороженое, для которого они получили лед из самой Саванны, а я не смогла съесть ни ложечки. А сегодня я буду есть в свое удовольствие все, что захочу.

Такой открытый бунт заставил Мамушку грозно сдвинуть брови. Что положено делать воспитанной барышне и чего не положено, было в ее глазах непререкаемо и так же отличалось одно от другого, как белое от черного. Никакой середины тут быть не могло. Сьюлин и Кэррин были воском в ее мощных руках и внимательно прислушивались к ее наставлениям. А вот внушить Скарлетт, что почти все ее естественные природные наклонности противоречат требованиям хорошего тона, было нелегко. Каждая победа, одержанная Мамушкой над Скарлетт, завоевывалась с великим трудом и с помощью различных коварных уловок, недоступных белому уму.

— Ну, может, вам наплевать, как судачат про вашу семейку, а мне это ни к чему, — ворчала она. — Не больно‑то приятно слушать, когда про вас, мисс Скарлетт, говорят, что у вас воспитание хромает. А уж я ли вам не толковала, что настоящую‑то леди всегда видать по тому, как она ест, — клюнет, словно птичка, и все. Прямо сказать, не по нутру мне это, не допущу я, чтобы вы у господ Уилксов набросились, как ястреб, на еду и начали хватать с тарелок что ни попадя.

— Но ведь мама же — леди, а она ест в гостях, — возразила Скарлетт.

— Вот станете замужней дамой и ешьте себе на здоровье, — решительно заявила Мамушка. — А когда мисс Эллин была, как вы, барышней, она ничего не ела в гостях, и ваша тетушка Полин, и тетушка Евлалия — тоже. И все они вышли замуж. А кто много ест в гостях, тому не видать женихов как своих ушей.

— Неправда! Как раз на том пикнике, когда ты меня не напичкала заранее, потому что была больна, Эшли Уилкс сказал мне, что ему нравится, если у девушки хороший аппетит.

Мамушка зловеще покачала головой.

— Одно дело, что жентмуны говорят, а другое — что у них на уме. Я что‑то не слыхала, чтоб мистер Эшли хотел на вас жениться.

Скарлетт нахмурилась, резкий ответ готов был слететь у нее с языка, но она сдержалась. Слова Мамушки попали в точку, возразить было нечего. Мамушка же, заметив смятенное выражение ее лица, коварно переменила тактику: она взяла поднос и, направляясь к двери, испустила тяжелый вздох.

— Что ж, будь по‑вашему. А я‑то еще говорила кухарке, когда она собирала поднос: «Настоящую леди всегда видать по тому, как она ничего не ест в гостях. Взять, к примеру, сказала я, мисс Мелли Гамильтон, что приезжала в гости к мистеру Эшли... то бишь — к мисс Индии. Никто не ест меньше ее даже среди самых благородных белых леди».

Скарлетт бросила на нее исполненный подозрения взгляд, но широкое лицо Мамушки выражало только искреннее сожаление по поводу того, что Скарлетт далеко до такой настоящей леди, как мисс Мелани Гамильтон.

— Поставь поднос и зашнуруй мне корсет потуже, — с досадой молвила Скарлетт. — Может быть, я перекушу немного потом. Если я поем сейчас, корсет не затянется.

Не подавая виду, что победа осталась за ней. Мамушка поставила поднос.

— А какое платье наденет мой ягненочек?

— А вот это, — сказала Скарлетт, указывая на пену зеленого муслина в цветочек. В мгновение ока Мамушка изготовилась к новой схватке.

— Ну уж нет! Совсем негоже этак обряжаться с утра. Кто это выставляет груди напоказ до обеда, а у этого платья ни воротничка, ни рукавчиков! И веснушки, ей‑же‑ей, опять высыпят. Вы что, позабыли уж, на что стали похожи летом, как посидели в Саванне на бережку, и сколько я на вас за зиму пахтанья извела? Пойду спрошу мисс Эллин, чего она велит вам надеть.

— Если ты скажешь ей хоть слово, прежде чем меня оденешь, я не проглочу ни кусочка, — холодно произнесла Скарлетт. — Потом она уже не пошлет меня переодеваться, времени не хватит.

Мамушка снова вздохнула — на этот раз признавая себя побежденной, и выбрала из двух зол меньшее: пусть уж вырядится в вечернее платье с утра — все лучше, чем уплетать за обе щеки за чужим столом.

— Ухватитесь за что‑нибудь покрепче и втяните живот, — распорядилась она.

Скарлетт послушно выполнила приказ, вцепившись обеими руками в спинку кровати. Мамушка, поднатужившись, затянула шнуровку, и когда тоненькая, зажатая между пластинок из китового уса талия стала еще тоньше, взгляд ее выразил восхищение и гордость.

— Да уж, такой талии, как у моего ягненочка, поискать! — одобрительно промолвила она. — Попробуй затяни так мисс Сьюлин, она тут же — хлоп в обморок!

— Ух! — выдохнула Скарлетт. — Я еще ни разу в жизни не падала в обморок, — с трудом вымолвила она.

— А другой раз не мешает и упасть, — наставительно сказала Мамушка. — Уж больно‑то вы храбрая, мисс Скарлетт. Я давно хотела вам сказать: хорошего мало, ежели вот так‑то, как вы, ничего не пугаться — ни тебе змей, ни мышей, ни чего другого, и не уметь падать в обморок. Дома, понятно, оно ни к чему, а вот ежели на людях... Сколько уж я вам толковала...

— Давай скорей. Не болтай так много. Вот посмотришь: я выйду замуж, даже если не буду взвизгивать и лишаться чувств. Господи, до чего ж туго ты меня зашнуровала! Давай сюда платье.

Мамушка аккуратно расправила двенадцать ярдов зеленого в цветочек муслина поверх торчащих накрахмаленных юбок и принялась застегивать на спине низко вырезанный лиф платья.

— Упаси вас бог скидать шарф али шляпу, ежели солнце станет припекать, — наказывала она. — Не то вернетесь черная, как старуха Слэттери. Ну, теперь поешьте, голубка, только не торопясь. Мало толку, если все пойдет обратно.

Скарлетт покорно присела к столу, исполненная сомнений: сможет ли она дышать, если проглотит хоть кусочек? Мамушка сняла с вешалки большое полотенце, осторожно повязала его Скарлетт на шею и расправила белые складки у нее на коленях. Скарлетт принялась сначала за свою любимую ветчину и, хотя и не без труда, проглотила первый кусок.

— Боже милостивый, поскорее бы уж выйти замуж! — возмущенно заявила она, с отвращением втыкая вилку в ямс. — Просто невыносимо вечно придуриваться и никогда не делать того, что хочешь. Надоело мне притворяться, будто я ем мало, как птичка, надоело степенно выступать, когда хочется побегать, и делать вид, будто у меня кружится голова после тура вальса, когда я легко могу протанцевать двое суток подряд. Надоело восклицать: «Как это изумительно!», слушая всякую ерунду, что несет какой‑нибудь олух, у которого мозгов вдвое меньше, чем у меня, и изображать из себя круглую дуру, чтобы мужчинам было приятно меня просвещать и мнить о себе невесть что... Не могу я больше съесть ни крошки!

— Одну оладушку, пока не простыли, — непреклонно произнесла Мамушка.

— Почему девушка непременно должна казаться дурой, чтобы поймать жениха?

— Да думается мне, это оттого, что жентмуны сами не знают, чего им нужно. Они только думают, что знают. Ну, а чтоб не горевать целый век в старых девах, надо делать так, как они хотят. А жентмунам‑то кажется, что им нужны тихие, маленькие дурочки, у которых и аппетиту и мозгов не больше, чем у птичек. Сдается мне, ни один жентмун не сделает предложения девушке, ежели заметит, что она кое в чем смыслит больше него.

— Значит, для них большая неожиданность, когда они после свадьбы обнаруживают, что их супруги не полные идиотки?

— Ну, тогда уж все равно поздно. Они ведь женились уже. Да, сдается мне, жентмуны догадываются малость, что у их жен есть кой‑что в голове.

— Когда‑нибудь я стану говорить и делать все, что мне вздумается, и плевать я хотела, если это кому‑то придется не по нраву.

— Не бывать этому, — угрюмо сказала Мамушка. — Нет, пока я жива. Ну, ешьте оладьи. Да обмакните их в соус, моя ласточка.

— Не думаю, чтобы все девушки‑янки разыгрывали из себя таких дурочек. Когда в прошлом году мы были в Саратоге, я заметила, что многие из них проявляли здравый смысл, и притом в присутствии мужчин тоже.

Мамушка фыркнула.

— Янки? Да уж, мэм, эти янки говорят все, что им взбредет на ум, только что‑то я не приметила, чтобы к ним много сватались.

— Но ведь рано или поздно они все равно выходят замуж, — возразила Скарлетт. — Янки же не вырастают просто так из‑под земли. Значит, они выходят замуж и рождают детей, и притом их там очень много.

— Мужчины женятся на них ради денег, — убежденно заявила Мамушка.

Скарлетт окунула кусок оладьи в соус и отправила в рот. Может, Мамушка и знает, о чем толкует. Может, в этом и вправду что‑то есть, ведь Эллин в общем‑то говорит то же самое, только выражается по‑другому, более деликатно. Да в сущности, матери всех ее подруг внушают своим дочерям, что они должны казаться беспомощными, беззащитными, кроткими, как голубки, неземными существами. Ведь не зря же было выработано и так прочно внедряется это притворство! Может, она и впрямь вела себя слишком смело? Иной раз она спорила с Эшли и позволяла себе открыто высказывать свое мнение. Что, если это, а также ее пристрастие к далеким прогулкам пешком или верхом оттолкнуло от нее Эшли и заставило обратить внимание на хрупкую Мелани? Быть может, поведи она себя по‑другому... Однако она чувствовала, что перестанет уважать Эшли, если окажется, что он способен попасться на крючок таких обдуманных женских уловок. Ни один мужчина, который настолько глуп, чтобы приходить в восторг от этого жеманства, притворных обмороков и лицемерных «О, какой вы замечательный!», не стоит того, чтобы за него бороться. И тем не менее, по‑видимому, всем мужчинам это нравится.

Если до сих пор она неправильно вела себя с Эшли... Ну что ж, что было, то было, ничего тут не поделаешь. С этого дня она попробует по‑другому, применит более правильную тактику. Но в ее распоряжении всего несколько часов, чтобы заполучить его, и если для этого нужно падать в обморок или делать вид, что падаешь, так она это сумеет. Если жеманством и наивно‑глупым кокетством можно его привлечь, что ж, пожалуйста, она прикинется такой пустоголовой кокеткой, что даст сто очков вперед даже этой безмозглой Кэтлин Калверт. А если понадобится действовать более смело, она готова и к этому. Сегодня или никогда! И, увы, не нашлось человека, который помог бы Скарлетт понять, что все, заложенное в ней от природы, даже ее беспощадная жизненная хватка, куда привлекательнее, чем любая личина, которую она сумеет на себя нацепить. Впрочем, хотя ей и было бы приятно это услышать, она бы все равно не поверила. Да и весь тот мир, плотью от плоти которого она была, тоже не принял бы такого воззрения, ибо простота и непосредственность в женщине никогда не имели большой цены в глазах людей.

Пока коляска, поднимая красную пыль, катилась по дороге к Двенадцати Дубам, Скарлетт, не без некоторых угрызений совести, радовалась тому, что ни Эллин, ни Мамушка не будут присутствовать на барбекю. Не будет никого, чьи чуть заметно приподнятые брови или невольно выпяченная нижняя губа могли бы помешать ей привести в исполнение свой план. Конечно, Сьюлин наябедничает им завтра, но если все осуществится, как задумано, семья будет слишком взволнована ее обручением с Эшли и их бегством, чтобы выражать недовольство ее поведением на барбекю. И Скарлетт радовало, что Эллин была вынуждена остаться дома.

Джералд, с утра подкрепившись бренди, дал Джонасу Уилкерсону расчет, и Эллин осталась дома, чтобы принять у него дела и проверить отчетность. Скарлетт поцеловала мать на прощанье в маленьком кабинетике, где Эллин сидела перед высоким, набитым всяческими бумагами секретером. Джонас Уилкерсон со шляпой в руке и плохо скрытым выражением бешенства на худом смуглом лице стоял перед нею: шутка ли — так бесцеремонно лишить его столь выгодной должности, какой не сыщешь больше во всем графстве! И все из‑за такого пустяка, как маленькая шалость на стороне. Сколько он ни старался вдолбить Джералду — который, впрочем, с ним и не спорил, вполне разделяя его точку зрения, — что отцом ребенка Эмми Слэттери с такой же долей вероятия может оказаться любой другой мужчина, это никак не меняло дела в глазах Эллин. Джонас пылал ненавистью ко всем южанам. Он ненавидел их холодную учтивость и их высокомерное презрение к людям его круга, отчетливо проступавшее сквозь эту учтивость. И с особенной силой ненавидел он Эллин О’Хара, ибо она была олицетворением всего, столь ненавистного ему в южанах.

Мамушка, как главная над всей дворовой челядью, тоже осталась, чтобы помогать Эллин, и на козлах, рядом с Тоби, держа на коленях длинную картонку с бальными платьями, восседала Дилси. Джералд верхом на своем могучем гунтере ехал рядом с коляской, разогретый бренди и очень довольный собой: это неприятное дело с увольнением было позади и управился он с ним неожиданно быстро. Просто предоставил Эллин довести все до конца, ни на секунду даже не подумав о том, каким это будет для нее разочарованием — не побывать на барбекю и не повидаться с друзьями. Был прекрасный весенний день, щебетали птицы, вокруг, лаская взор, расстилались земли Тары, и настроение у Джералда было самое игривое; он чувствовал себя молодым, и серьезные мысли не шли ему на ум. Временами его вдруг прорывало какой‑нибудь веселой ирландской песенкой, вроде «В повозке с верхом откидным» или же меланхолической элегией в честь Роберта Эммета[[3]](#footnote-3) «На чужой стороне пал бесстрашный герой»...

Он был счастлив, с удовольствием предвкушая веселый денек с друзьями, возможность вволю подрать глотку, проклиная янки и призывая на их голову войну, а когда он взглядывал на своих трех прелестных дочек в ярких платьях с кринолинами и с этими крошечными дурацкими зонтиками в руках, сердце его преисполнялось гордостью. Вчерашний разговор со Скарлетт нимало его не тревожил, ибо начисто испарился из его памяти. Он просто думал о том, какая она хорошенькая, и как все будут ему завидовать, и что глаза у нее сегодня кажутся такими ярко‑зелеными, совсем как холмы Ирландии. И ощутив в душе эту поэтическую жилку, он, окончательно возгордившись, осчастливил дочерей громким, хотя и несколько фальшивым исполнением «Увенчав себя зеленым клевером».

Скарлетт поглядывала на него снисходительно‑насмешливым оком, как мать на маленького хвастунишку‑сына. Она знала наперед, что к вечеру он будет мертвецки пьян. Возвращаясь домой в полном мраке, он, как всегда, будет пытаться перемахнуть через все изгороди на пути от Двенадцати Дубов к Таре, а ей останется только полагаться на милость Провидения и на здравый смысл лошади и надеяться, что он не свернет себе шеи. Презрев все мосты на свете, он, разумеется, пустит лошадь вплавь через реку и, возвратясь домой, будет орать во всю глотку, требуя, чтобы Порк уложил его спать в кабинете на диване, а Порк, как всегда в этих случаях, уже будет дожидаться его в холле с зажженной лампой в руке.

Он, конечно, приведет в негодность свой новый серый поплиновый костюм и будет страшно чертыхаться поутру, во всех подробностях описывая Эллин, как лошадь угораздило свалиться в темноте с моста в реку, и эта явная ложь будет принята всеми как должное, хотя никто, разумеется, ей не поверит, а он будет чувствовать себя при этом великим хитрецом.

«Какой же он славный, безответственный, эгоистичный ребенок», — с внезапным приливом нежности подумала Скарлетт. Она чувствовала себя такой приятно взволнованной и счастливой сегодня, что ей хотелось обнять и Джералда, и весь мир. Она была красива и сознавала это. Нежно пригревало солнце, вокруг во всем своем великолепии блистала весна, и Скарлетт знала, что еще до заката Эшли будет у ее ног. Сочно‑красная земля в глубоких, размытых зимними дождями придорожных канавах просвечивала сквозь нежную зеленую поросль куманики. Голые глыбы гранитных валунов, разбросанные по красной глине, уже оплетались стеблями диких роз, а полчища нежно‑лиловых фиалок шли в наступление со всех сторон. Осыпанные белым цветом кизиловые леса на холмах за рекой блистали на солнце, подобно вершинам снежных гор. Бело‑розовое буйство весны увенчало цветами ветви яблонь, а под деревьями, там, куда проникали солнечные лучи, испещренный бликами многоцветный пестрый ковер жимолости отливал пурпурным, оранжевым и алым. Легкий ветерок приносил откуда‑то тонкий аромат цветущих кустарников, и воздух был так насыщен благоуханием, что его пряный привкус, казалось, можно было ощутить на языке.

«До конца жизни я буду помнить, как прекрасен был этот день! — подумала Скарлетт. — И быть может, он станет днем моего венчания с Эшли».

И у нее сладко замерло сердце при мысли о том, что сегодня на закате дня она будет скакать верхом бок о бок с Эшли среди этой зеленой многоцветной красы, спеша в Джонсборо, под венец. Или ночью, при луне. Конечно, потом они сыграют настоящую свадьбу в Атланте, но об этом уж позаботятся Эллин и Джералд. На мгновение ей стало не по себе, когда перед ней вдруг возникло лицо Эллин, побелевшее от ужаса и стыда при вести о том, что ее дочь бежала с чужим женихом, уведя его из‑под венца. Впрочем, Скарлетт не сомневалась, что Эллин простит ее, когда увидит, как она счастлива. И Джералд, конечно, будет рычать и браниться на чем свет стоит. Но какие бы он ни приводил вчера доводы против ее брака с Эшли, в душе‑то он будет рад‑радешенек породниться с Уилксами.

«И вообще, я успею обо всем этом подумать, когда уже стану его женой», — сказала она себе, отгоняя тревогу прочь.

Под этим теплым солнцем, в этот яркий весенний день, когда вдали на холме за рекой уже показались печные трубы Двенадцати Дубов, таким трепетным предвкушением счастья была полна ее душа, что в ней не оставалось места для других чувств.

«Здесь я буду жить весь остаток моих дней, и пятьдесят, а может, и больше весен будут приходить одна на смену другой, и я расскажу моим детям и внукам, как прекрасна была эта весна — прекрасней всех, какие были и будут на земле». И мысль эта переполнила ее такой радостью, что она невольно подхватила припев «Зеленого клевера», заслужив этим шумное одобрение Джералда.

— Чему это ты так радуешься сегодня с утра? — сварливо заметила Сьюлин, которая все еще злилась из‑за того, что зеленое шелковое бальное платье Скарлетт было бы куда больше к лицу ей, чем его законной обладательнице. И почему Скарлетт всегда такая жадная — нипочем не даст поносить ни платья, ни шляпки? И почему мама всегда берет сторону Скарлетт и утверждает, что ей, Сьюлин, не идет зеленый цвет? — Тебе ведь не хуже моего известно, что сегодня будет оглашена помолвка Эшли. Папа мне с утра сказал. А я‑то знаю, что ты уже не первый месяц сохнешь по нему.

— А больше ты ничего не знаешь? — отпарировала Скарлетт и показала ей язык. Она не даст испортить себе настроение в такой день. Интересно, что скажет мисс Сьюлин в это время завтра!

— Это же неправда, Сьюзи! — возразила шокированная ее словами Кэррин. — Скарлетт нравится не он, а Брент.

Смеющиеся зеленые глаза Скарлетт скользнули по лицу младшей сестренки: эта ангельская доброта была для нее просто непостижима. Каждому человеку в доме было известно, что тринадцатилетняя Кэррин отдала свое сердце Бренту Тарлтону, хотя для него она всего‑навсего младшая сестренка Скарлетт, и только. И за спиной Эллин все остальные члены семьи постоянно дразнили ее этим, доводя до слез.

— Я и думать забыла о Бренте, моя дорогая, — заявила Скарлетт, от полноты своего счастья проявляя великодушие. — А он и думать забыл обо мне. Он ждет, когда ты подрастешь.

Круглое личико Кэррин порозовело: радость боролась в ней с недоверием.

— Что ты, Скарлетт! Неужели правда?

— Ты же знаешь, Скарлетт, что говорит мама? Кэррин еще слишком мала, чтобы думать о поклонниках. Зачем ты морочишь ей голову?

— Ну и ступай, наябедничай, мне наплевать. Ты хочешь, чтобы она всегда ходила в малышках, потому что знаешь: через год‑два она, как подрастет, станет красивее тебя.

— Придержи‑ка хоть сегодня свой язык, не то отведаешь у меня хлыста, — предостерег Скарлетт отец. — Тихо мне! Слышите — колеса гремят? Верно, Тарлтоны или Фонтейны.

Они приближались к пересечению с дорогой, спускавшейся по лесистому склону от Мимозы и Прекрасных Холмов, и из‑за высокой, плотной стены деревьев стал отчетливее доноситься стук копыт, скрип колес и веселый гомон женских голосов. Джералд, ехавший чуть впереди, натянул поводья и сделал Тоби знак остановить коляску у перекрестка.

— Это тарлтонские дамы, — сообщил он дочери, и его румяное лицо расцвело в улыбке, так как из всех женщин в округе рыжеволосая миссис Тарлтон пользовалась у него наибольшей симпатией, не считая, разумеется, Эллин. — И небось сама хозяйка на козлах. Да уж, эта женщина умеет править лошадьми! Легкая, как перышко, а крепка, что твоя сыромятная плеть, и чертовски недурна к тому же. Можно только пожалеть, что всем вам, с вашими нежными ручками, далеко до нее, — добавил он, окинув неодобрительным взглядом дочерей. — Кэррин — та вообще боится бедных лошадок, словно диких зверей, у Сью руки делаются как крюки, стоит ей взяться за вожжи, да и ты, моя кошечка...

— Ну, меня‑то по крайней мере еще ни одна лошадь не сбросила! — возмущенно воскликнула Скарлетт. — А миссис Тарлтон на каждой охоте вылетает из седла.

— И, сломав ключицу, держится как настоящий мужчина, — сказал Джералд. — Ни обмороков, ни ахов‑охов. Ладно, хватит, вон она едет.

Приподнявшись на стременах, он снял шляпу и приветственно взмахнул ею над головой, когда коляска Тарлтонов — все девушки в ярких платьях, с развевающимися вуалями, с зонтиками от солнца, миссис Тарлтон, как и предрекал Джералд, на козлах — показалась из‑за поворота. Да для кучера и не хватило бы места: четыре дочки, мать, няня и куча длинных картонок с бальными платьями заполняли всю коляску. К тому же Беатриса Тарлтон с неохотой отдавала вожжи в чужие — будь то белые, будь то черные — руки, если ее собственные не были в лубках. Хрупкая, узкобедрая и такая белокожая, словно ее огненно‑рыжие волосы впитали в себя все краски, отпущенные ей природой, она обладала цветущим здоровьем и неутомимой энергией. Родив восьмерых детей, таких же огненно‑рыжих и жизнестойких, как она сама, миссис Тарлтон, по мнению графства, неплохо сумела их воспитать, дрессируя совершенно так же, как своих любимых жеребят, — строго, любовно и не слишком стесняя их свободу. «Держи в узде, но не превращай в слюнтяев» — таков был ее девиз.

Лошади были ее страстью, и о них она могла говорить не умолкая. Она знала в них толк и умела с ними обходиться не хуже любого мужчины в графстве. Жеребята резвились и на выгоне, и на газоне перед домом, а восемь ее отпрысков носились по всему звеневшему от их криков дому на холме, и в каком бы уголке плантации ни показалась миссис Тарлтон, за ней неизменно следовала целая свита мальчишек, девчонок, жеребят и гончих. Все лошади, а в особенности гнедая кобыла Нелли, обладали, по ее словам, недюжинным умом, и если какие‑либо хлопоты по дому задерживали хозяйку позже установленного для верховой прогулки часа, она говорила, вручая одному из негритят сахарницу:

— Ступай, отнеси Нелли и скажи ей, что я буду, как только управлюсь.

Почти всегда, за редчайшим исключением, она носила амазонку, ибо если не сидела верхом, то в любую минуту готова была вскочить в седло и потому, встав со сна, сразу же приводила себя в боевую готовность. Каждое утро, хоть в ведро, хоть в ненастье, Нелли седлали и прогуливали перед домом, ожидая, когда миссис Тарлтон улучит часок для верховой езды. Но управлять плантацией Прекрасные Холмы было делом нешуточным, урвать свободную минуту тоже не так‑то легко, так что Беатриса Тарлтон, небрежно перекинув шлейф амазонки через руку и сверкая начищенными сапогами, мелькала по дому.

И сегодня в темном шелковом платье с небольшим, не по моде, кринолином она выглядела так, словно и на этот раз надела амазонку, ибо платье было, в сущности, такого же строгого покроя, а маленькая черная шляпка с длинным черным пером, слегка сдвинутая набок над карим смеющимся глазом, казалась точной копией потрепанного старого котелка, в котором миссис Тарлтон обычно выезжала на охоту.

Увидав Джералда, она помахала ему хлыстом и осадила пару своих игривых гнедых лошадок, а четыре девушки, перегнувшись через борт коляски, огласили воздух такими громкими приветственными кликами, что испуганная упряжка затанцевала на месте. Стороннему наблюдателю могло показаться, что Тарлтоны встретились с О’Хара никак не после двухдневной, а по меньшей мере после многолетней разлуки. Это была приветливая, общительная семья, очень расположенная к своим соседям и особенно к девочкам О’Хара. Точнее говоря — Сьюлин и Кэррин. Ни одна девушка во всей округе — разве что за исключением глупышки Кэтлин Калверт — не испытывала симпатии к Скарлетт О’Хара.

Летом пикники и балы устраивались в округе почти каждую неделю, но рыжеволосые Тарлтоны, с их непревзойденной способностью веселиться от души, радовались любому балу и любому пикнику так, словно он был первым в их жизни. Они с трудом разместились в коляске — эти четыре миловидные цветущие девушки в пышных платьях с кринолинами и воланами, никак не вмещавшимися в экипаж и торчавшими над колесами, в больших соломенных шляпах, украшенных розами и завязанных под подбородком черными бархатными лентами, с зонтиками в руках, то и дело приходившими в столкновение из‑за недостатка места. Все оттенки рыжих кудрей выглядывали из‑под шляп: ярко‑рыжие — у Хэтти, светлые, рыжевато‑золотистые — у Камиллы, каштановые, отливающие бронзой — у Рэнды и почти морковно‑красные — у маленькой Бетси.

— Какой прелестный рой бабочек, мэм, — галантно произнес Джералд, поравнявшись с коляской. — Но всем им далеко до их матушки.

Золотисто‑карие глаза миссис Тарлтон насмешливо округлились, но она так задорно закусила нижнюю губу, что это можно было принять за поощрение, и дочки закричали хором, перебивая друг друга:

— Ма, перестань строить глазки мистеру О’Хара, не то мы все расскажем папе!

— Право же, мистер О’Хара, стоит появиться интересному мужчине, вроде вас, как она тут же старается его у нас отбить.

Скарлетт смеялась их шуткам вместе со всеми, но, как всегда, фамильярное обращение тарлтонских барышень со своей матерью шокировало ее. Они держали себя с ней, как с ровней, словно ей тоже было от силы шестнадцать лет. Одна мысль о том, что можно разговаривать в таком тоне с Эллин, казалась Скарлетт кощунственной. И все же... и все же было что‑то необыкновенно притягательное в отношениях, существовавших между миссис Тарлтон и ее дочками: они ведь боготворили мать, хотя и позволяли себе подтрунивать над ней, и критиковать ее, и дразнить. Нет, конечно, — заговорило в Скарлетт тотчас пробудившееся чувство привязанности, — это вовсе не значит, что такая мать, как миссис Тарлтон, кажется ей чем‑то лучше Эллин... Просто забавно было бы пошалить и порезвиться с мамой. Но она устыдилась такой мысли, почувствовав даже в этом какое‑то неуважение к Эллин. Она знала, что ни под одну из этих соломенных шляпок, колыхавшихся там, над коляской, подобные мысли никогда не заползают, и чувство досады и неясного беспокойства охватило ее, как бывало всякий раз, когда она замечала свою несхожесть с другими.

Наделенная от природы живым, но не способным к анализу умом, она все же подсознательно чувствовала, что взбалмошные, как дикие кошки, и своевольные, как необъезженные кобылицы, девочки Тарлтон отличаются вместе с тем какой‑то необычайной цельностью. И отец и мать их были уроженцами Джорджии, Северной Джорджии, прямыми потомками пионеров этого края. Это придавало им уверенность в себе и устойчивость их образу жизни. Они инстинктивно, но так же отчетливо, как Уилксы, знали, к чему стремятся, только стремления их были направлены совсем на другое. Их никогда не раздирали противоречия, так часто терзавшие Скарлетт, в жилах которой кровь сдержанной, утонченной аристократки восточного побережья Атлантики смешалась с кровью жизнелюбивого, смышленого ирландского земледельца. Скарлетт, преклонявшейся перед матерью и обожествлявшей ее, хотелось порой растрепать ей прическу и какой‑нибудь дерзостью вывести ее из себя. И вместе с тем она понимала, что одно несовместимо с другим. Двойственность ее проявлялась также и в том, что ей хотелось казаться своим поклонникам хорошо воспитанной, утонченной молодой леди и в то же время — этаким задорным бесенком, который не прочь позволить поцеловать себя разок‑другой.

— А где же Эллин? — спросила миссис Тарлтон.

— Ей надо уволить нашего управляющего, и она осталась дома, чтобы принять у него отчет. А где сам и мальчики?

— Они уже давно ускакали в Двенадцать Дубов — дегустировать пунш, достаточно ли он, видите ли, крепок. Можно подумать, что до завтрашнего утра у них не хватит на это времени. Придется попросить Джона Уилкса, чтобы он пристроил их куда‑нибудь на ночь, хоть в конюшню. Пять пьяных мужчин в доме — это, знаете ли, тяжеловато для меня. С тремя я еще могу управиться, но уж...

Джералд поспешил переменить предмет разговора. Он чувствовал, как дочки хихикают у него за спиной, вспоминая, в каком состоянии возвратился домой их отец от Уилксов с последнего пикника прошлой осенью.

— А почему вы сегодня не в седле, миссис Тарлтон? Я вас как‑то не привык видеть без вашей Нелли. Вы же настоящая Бавкирия.

— Валькирия — вы, может быть, хотели сказать, мой дорогой неуч! — воскликнула миссис Тарлтон, ловко подражая его ирландскому говору. — Так как на Бавкиду‑то я уж никак не похожа, разумеется. Это была не женщина, а цветочек.

— Ну, Валькирия так Валькирия, какая разница, — ничуть не смутившись своей ошибки, отвечал Джералд. — Я хочу сказать, что когда вы на охоте и гоните собак, так любой мужчина позавидует вашей посадке и вашему голосу.

— Ну, что, мама, получила? — сказала Хэтти. — Сколько раз я тебе говорила, что ты дерешь глотку, как команчи, стоит тебе завидеть лисицу.

— Да ты визжишь еще громче, когда няня моет тебе уши, — не осталась в долгу миссис Тарлтон. — А ведь тебе шестнадцать стукнуло! Ну, а не в седле я потому, что Нелли сегодня утром ожеребилась.

— Вот как! — с неподдельным интересом воскликнул Джералд — страстный, как все ирландцы, лошадник, и у него заблестели глаза, а Скарлетт снова была шокирована, невольно сравнив миссис Тарлтон со своей матерью. Ведь для Эллин кобылы никогда не жеребятся, а коровы не телятся, да, в сущности, и куры едва ли несут яйца. Эллин полностью игнорировала эти факты жизни. Ну, а миссис Тарлтон вовсе не свойственна была такая стыдливость.

— И кто у нее — кобылка?

— Нет, чудесный жеребчик, ноги в два ярда длиной. Непременно приезжайте поглядеть на него, мистер О’Хара. Это настоящий племенной тарлтоновский жеребец. Рыжий, совсем как кудри у нашей Хэтти.

— Да он и вообще вылитая Хэтти, — сказала Камилла и тут же с визгом исчезла в каскаде юбок, панталон и слетевших на сторону шляп, так как Хэтти, удлиненным овалом лица и впрямь напоминавшая лошадку, бросилась на нее, пытаясь ущипнуть.

— Мои девочки так расшалились с утра, что их просто не унять, — сказала миссис Тарлтон. — Это известие о помолвке Эшли с его кузиночкой из Атланты почему‑то привело их в телячий восторг. Как, кстати, ее зовут? Мелани? Славная крошка, но, хоть убей, не могу запомнить ни имени ее, ни лица. Наша кухарка замужем за их дворецким, и он вчера сообщил ей, что помолвка будет оглашена сегодня вечером, ну, а кухарка утром сказала об этом нам. Девчонок это страшно разволновало, хотя совершенно непонятно — почему. Всем давным‑давно было известно, что Эшли женится на ней, если, конечно, не выберет себе в жены какую‑нибудь другую из своих кузин, дочек Бэрра из Мэйкона. А Милочка Уилкс выйдет замуж за брата Мелани — Чарлза. Объясните мне, мистер О’Хара, что им мешает жениться на ком‑нибудь, кроме своих родственников? Потому как...

Скарлетт уже не слышала конца этой со смехом произнесенной фразы. На мгновение солнце, казалось, скрылось за тучей, все вокруг потемнело, и мир утратил краски. Молодая листва приобрела какой‑то зловещий оттенок, кизиловые деревья поблекли, и дикая яблоня, вся в цвету, такая нежно‑розовая минуту назад, уныло поникла. Скарлетт вонзила ногти в обивку сиденья, и зонтик, который она держала над головой, задрожал в ее руке. Одно дело — знать, что Эшли помолвлен, и совсем другое дело — слышать, как кто‑то так небрежно, вскользь, упоминает об этом. Но усилием воли она не позволила себе пасть духом, и снова весело заблистало солнце, возродив к жизни окружающую природу. Она ведь знает, что Эшли любит ее. В этом не может быть сомнения. И она улыбнулась при мысли о том, как изумится миссис Тарлтон, когда оглашение помолвки не состоится, и как еще больше изумится, узнав об их с Эшли тайном побеге, и будет говорить всем, какая это продувная девчонка. Скарлетт сидела и словно ни в чем не бывало слушала про помолвку Мелани, в то время как они с Эшли уже давно... При этой мысли ямочки на ее щеках заиграли, и Хэтти, внимательно следившая, какое впечатление произведут на Скарлетт слова матери, откинулась на спинку сиденья, недоуменно наморщив лоб.

— Нет, что вы ни говорите, мистер О’Хара, — настойчиво продолжала миссис Тарлтон, — а все эти браки между двоюродными братьями и сестрами — совершеннейшая нелепость. Мало того, что Эшли женится на этой малютке Гамильтон, но чтоб еще и Милочка вышла замуж за этого худосочного Чарлза Гамильтона...

— Да если она не выйдет за Чарлза, то так и останется старой девой, — безжалостно сказала Рэнда, исполненная спокойного сознания, что ей‑то уж такая участь никак не грозит. — За ней же никогда никто не ухаживал, кроме него. И он‑то — непохоже, чтобы был в нее влюблен, хоть они и помолвлены. Ты помнишь, Скарлетт, как он приударял за тобой на прошлых рождественских праздниках?

— Придержите свой скверный язык, мисс, — осадила ее мать. — И все же не следует жениться на двоюродных и даже троюродных сестрах. Это приводит к вырождению. Люди не лошади. Можно вывести породу, повязав кобылу с ее братом, если он хороший производитель, или с отцом, но с людьми это дело не пройдет. Экстерьер, может, будет и неплох, но ни силы, ни выносливости не жди. Вы...

— Тут мы с вами, пожалуй, поспорим, мэм. Много ли можете вы назвать мне людей лучше Уилксов? А они заключают внутрисемейные браки с тех пор, как Брайан Бору был еще мальчишкой.

— Вот и пора это прекратить: результаты‑то начинают сказываться. На Эшли это еще не так заметно — он, конечно, чертовски привлекательный малый, хотя, впрочем, и он... Но вы поглядите на этих двух бедных девочек Уилкс — что за бесцветные, малокровные создания! Они славные девчушки, спору нет, но какие же безжизненные! А эта малютка мисс Мелани! Тоненькая, как былиночка, — ветер дунет, и нет ее. И никакого темперамента. И ни малейшего проявления личности. «Да, мэм! Нет, мэм!» Ни слова от нее больше не добьешься. Вы понимаете, что я хочу сказать? В эту семью нужно влить новую кровь — хорошую, сильную кровь для потомства. Такую, как у моих рыжеволосых сорванцов или у вашей Скарлетт. Только не поймите меня неправильно. Уилксы по‑своему очень славные люди, и я их всех люблю, но будем откровенны! Слишком уж они утонченные, они вырождаются. Разве не так? На добром ипподроме в солнечный день они могут показать неплохую резвость, но на трудной дороге я на Уилксов не поставлю. Вырождение обескровило их, лишило стойкости, и случись какая‑нибудь катастрофа, им не выстоять в неравной борьбе. Это изнеженное племя. А мне подавай такую лошадь, которая вынесет меня в любую погоду! И смотрите, как они не похожи на весь здешний народ, — это все результат их родственных союзов. Вечно сидят, уткнувшись в книгу, или бренчат на рояле. Ручаюсь, Эшли всегда предпочтет книгу охоте! Ей‑богу! Хотите, поспорим, мистер О’Хара? И поглядите, какие они все узкоплечие, узкобедрые. Им нужны хорошие производители и женщины с горячей кровью.

— Хм, да, да, — смущенно пробормотал Джералд, до сознания которого вдруг дошло, что этот чрезвычайно интересный и вполне, на его взгляд, приличный разговор, вероятно, показался бы совсем неуместным его жене. Да узнай Эллин, что в присутствии ее дочерей шла беседа на столь откровенную тему, она не оправилась бы от этого потрясения до конца своей жизни. Но миссис Тарлтон, как обычно, не было дела до чужих взглядов, тем более что она уже села на своего любимого конька — выведение хорошей породы. Людей ли, лошадей ли — все едино.

— Поверьте, я знаю, что говорю. У меня тоже есть кузен, который женился на своей кузине, так поглядели бы вы на их детей! Все как один пучеглазые, что твои лягушки, бедные крошки! И когда мои родители вздумали выдать меня за моего троюродного братца, я брыкалась и лягалась, как молодая кобыла. Я сказала: «Нет, мама, это не для меня. Не хочу, чтобы у моих детей были ветры и вздутые животы или костный шпат». Мать лишилась чувств, когда я сказала про ветры, но я стояла насмерть, и бабушка меня поддержала. Она, понимаете, тоже знала толк в лошадях и в выведении породы и заявила, что я права. И помогла мне бежать с мистером Тарлтоном. А теперь поглядите на моих детей! Все здоровые, крепкие, ни одного заморыша или недомерка, хотя в Бойде, правду сказать, только пять футов десять дюймов. А вот Уилксы...

— Да бог с ними, мэм! — торопливо перебил ее Джералд, перехватив растерянный взгляд Кэррин и заметив, с каким жадным любопытством прислушивается к их разговору Сьюлин. Чего доброго, начнут еще приставать к Эллин с глупыми вопросами, и тогда сразу вскроется, какой никудышной оказался он дуэньей. Одна только Скарлетт, — с удовлетворением отметил он про себя, — казалось, витала мыслями где‑то далеко, как и подобает благовоспитанной леди.

Хэтти Тарлтон неожиданно пришла к нему на выручку:

— Ну, поехали же, ма! Сколько мы будем тут стоять! — нетерпеливо воскликнула она. — Я уже совсем испеклась на солнце, просто чувствую, как на шее проступают веснушки.

— Одну минуточку, пока вы не уехали, мэм, — сказал Джералд. — Что вы решили насчет продажи лошадей для нашего Эскадрона? Война может начаться со дня на день, и ребята хотят, чтобы этот вопрос был решен. Это же Эскадрон графства Клэйтон, и, значит, лошади для него тоже должны быть из графства Клэйтон. Но вас, упрямица вы этакая, мы все никак не можем уломать: продайте же нам ваших красавцев.

— Да, может, еще и не будет никакой войны, — старалась выиграть время миссис Тарлтон, сразу позабыв о странных матримониальных обычаях семейства Уилксов.

— Нет, мэм, вы уж не...

— Ма, — снова вмешалась Хэтти, — разве нельзя поговорить с мистером О’Хара о лошадях не здесь, на дороге, а в Двенадцати Дубах?

— В этом‑то все и дело, мисс Хэтти, что нельзя, — сказал Джералд. — Но я задержу вас лишь на минуту. Сейчас мы приедем в Двенадцать Дубов, и все мужчины там, от мала до велика, первым делом спросят про лошадей. А у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу, что столь прелестная благородная дама, как ваша матушка, и вдруг так держится за своих лошадок! Да где же ваш патриотизм, миссис Тарлтон! Или уж Конфедерация пустой для вас звук?

— Ма! — закричала вдруг Бетси, младшая из дочерей. — Рэнда села мне на платье, оно теперь будет все мятое!

— Вытащи его из‑под Рэнды и перестань голосить! А вы, Джералд О’Хара, послушайте, что я вам скажу! — Глаза миссис Тарлтон сверкнули. — Может быть, вы не будете указывать мне мой долг перед Конфедерацией? У меня четверо сыновей стали под ружье, а у вас ни одного, так что, думается мне, Конфедерация для меня не меньше значит, чем для вас. Но мои мальчики могут сами постоять за себя, а мои лошади не могут. Я бы с радостью отдала вам своих лошадей даже бесплатно, если бы знала тех, кто будет сидеть на них в седле, если бы знала, что это джентльмены, понимающие толк в чистокровных скакунах. Да я бы ни минуты тогда не колебалась! Но чтоб мои красавцы попали в руки каких‑то дикарей, каких‑то голодранцев, умеющих обращаться только с мулами? Нет, сэр, этому не бывать! Да меня всю ночь будут мучить кошмары при мысли, что за ними плохо ходят и седлают их, невзирая на нагнеты. И вы могли подумать, что я позволю каким‑то невежественным мужланам скакать на моих красавцах, стегать их хлыстом и раздирать им рот удилами до тех пор, пока их гордый дух не будет сломлен? Господи, да у меня при одной мысли об этом мурашки по спине бегут! Нет, мистер О’Хара, я, конечно, польщена, что вам пришлись по вкусу мои лошадки, но придется вам поехать в Атланту и купить там каких‑нибудь старых одров для ваших деревенских пахарей. Они все равно не заметят разницы.

— Ма, может быть, поедем, наконец? — присоединилась на сей раз и Камилла к хору нетерпеливых голосов. — Ты же прекрасно знаешь, чем это кончится. Ты все равно рано или поздно отдашь им своих любимцев. Когда па и мальчишки прожужжат тебе все уши о том, как у них там в Конфедерации не хватает лошадей, ты заплачешь и отдашь.

Миссис Тарлтон усмехнулась и шевельнула вожжи.

— Никогда этому не бывать, — сказала она и легонько пощекотала лошадь кнутом. Коляска резво покатила по дороге.

— Чудо что за женщина! — сказал Джералд, надел шляпу и вернулся к своему экипажу. — Ну, поехали, Тоби! Я ее еще доконаю и раздобуду‑таки лошадей. Конечно, она права. Права. Если человек не джентльмен, нечего ему лезть в седло. Его место на пашне. Тем более обидно, что из одних только сыновей плантаторов никак не сколотишь в этом графстве Эскадрона. Что ты сказала, котенок?

— Па, будь добр, поезжай либо позади нас, либо впереди. Мы просто задыхаемся, такую ты поднимаешь пыль! — сказала Скарлетт, чувствуя, что она не в силах больше поддерживать разговор. Это отвлекало ее, а ей надо было собраться с мыслями и придать нужное выражение своему лицу, прежде чем коляска подъедет к Двенадцати Дубам. Джералд послушно дал шпоры коню и скрылся в облаках красной пыли, устремясь следом за тарлтоновским экипажем, чтобы продолжить разговор о лошадях.

### Глава VI

Они переправились по мосту на тот берег и стали подниматься в гору. Дом еще не был виден, но Скарлетт заметила голубоватый дымок, лениво стлавшийся над кронами высоких деревьев, и вдохнула аппетитный пряный запах жарящихся на вертеле бараньих и свиных туш и горящих пекановых поленьев.

Ямы для барбекю были вырыты еще с вечера, и в них медленно тлели багрово‑алые поленья, над которыми на длинных вертелах висели туши, и жир с шипением капал на раскаленные угли. Скарлетт знала, что ароматы, приносимые легким ветерком, долетают сюда из старой дубовой рощи за домом. Там, на невысоком пригорке, полого спускавшемся к розарию, Джон Уилкс обычно устраивал свои барбекю. Это было приятное тенистое местечко, куда более уютное, чем то, что облюбовали для своих пикников Калверты. Миссис Калверт не любила приготовленного на вертелах мяса и утверждала, что запах его не выветривается из комнат сутками, и ее гости обычно пеклись на солнце на небольшой открытой лужайке в четверти мили от дома. Но Джон Уилкс, славящийся на весь штат своим гостеприимством, по‑настоящему знал толк в таких вещах.

Длинные столы‑доски, положенные на козлы и покрытые тончайшими полотняными скатертями из уилксовских кладовых, — всегда устанавливались в густой тени. Вдоль столов — простые скамейки без спинок, а для тех, кому скамейки могли оказаться не по вкусу, по всей поляне были разбросаны принесенные из дома стулья, пуфики и подушки. Туши жарились на вертелах в отдалении — так, чтобы дым не обеспокоил гостей, — и там же стояли огромные чугунные котлы, над которыми плавал сочный аромат соусов для мяса и подливки по‑брауншвейгски. Не меньше дюжины негров бегали с подносами туда и сюда, обслуживая гостей. А за амбарами была вырыта еще одна яма, для другого барбекю — там обычно пировала домашняя прислуга, кучера и служанки гостей, наедаясь до отвала кукурузными лепешками, ямсом и свиными рубцами, столь дорогими сердцу каждого негра, а в сезон сбора овощей — и арбузами.

Почуяв вкусный запах свежих свиных шкварок, Скарлетт чуть сморщила носик, теша себя надеждой, что к тому времени, когда мясо будет готово, у нее уже разыграется аппетит. А пока что она была напичкана едой до отвала и притом так затянута в корсет, что ежеминутно боялась, как бы не рыгнуть. Этим можно было погубить все — ведь лишь очень пожилые мужчины и дамы могли себе позволить такое, не упав в глазах общества.

Подъем закончился, и белое здание открылось их глазам во всей гармонии своих безукоризненных пропорций — с высокими колоннами, широкими верандами и плоской кровлей, — горделивое и радушное, как женщина, которая, зная силу своих чар, щедра и приветлива ко всем. Скарлетт любила Двенадцать Дубов за величавую, спокойную красу, любила, казалось ей, сильнее даже, чем отчий дом.

На полукружии широкой подъездной аллеи было уже тесно от экипажей и верховых лошадей. Гости громко приветствовали друг друга, спускаясь на землю из коляски или спрыгивая с седла. Черные слуги, взбудораженные, как всегда, приездом гостей, уводили лошадей на скотный двор, чтобы выпрячь их и расседлать. Тучи ребятишек, белых и черных, носились по свежей зелени газона — кто играл в чехарду, кто в пятнашки, и каждый хвалился перед другими, сколько и чего сможет съесть. Просторный, во всю ширину дома, холл был уже полон гостей, и когда коляска О’Хара остановилась у парадного входа, у Скарлетт зарябило в глазах: девушки в ярких платьях с кринолинами, словно пестрый рой мотыльков, заполняли лестницу, ведущую на второй этаж, — одни поднимались, другие спускались по ней, обняв друг друга за талию, или, перегнувшись через резные перила, со смехом кричали что‑то молодым людям, стоявшим внизу, в холле.

В распахнутые настежь высокие стеклянные двери видны были женщины постарше, в темных платьях, степенно сидевшие в гостиной, обмахиваясь веерами; они вели неспешную беседу о детях, о болезнях, о том, кто, когда и за кого вышел замуж и почему. В холле дворецкий Уилксов Том с серебряным подносом в руках, уставленным высокими бокалами, учтиво улыбаясь и кланяясь, обносил напитками молодых людей в светло‑серых и светло‑коричневых бриджах и тонких с гофрированными манишками рубашках.

Залитая солнцем веранда перед домом была заполнена гостями. Похоже, съехались со всей округи, подумала Скарлетт. Все четверо братьев Тарлтонов вместе с отцом стояли, прислонясь к высоким колоннам: близнецы, Стюарт и Брент, — поодаль, неразлучные как всегда; Бойд и Том — возле отца. Мистер Калверт стоял подле своей жены‑янки, у которой даже теперь, после пятнадцати лет, прожитых в Джорджии, по‑прежнему был какой‑то неприкаянный вид. Ему было неловко за нее, и потому все старались быть с ней как можно любезнее и предупредительнее, и все же никто не мог забыть, что, помимо изначальной, совершенной ею в момент появления на свет ошибки, она была еще и гувернанткой детей мистера Калверта. Сыновья Калверта, Рейфорд и Кэйд, тоже были здесь со своей шальной белокурой сестрицей Кэтлин, уже принявшейся поддразнивать смуглолицего Джо Фонтейна и очаровательную Салли Манро, которую прочили ему в жены. Алекс и Тони Фонтейны что‑то нашептывали в уши Димити Манро, и она то и дело прыскала со смеху. Здесь были и семьи, прибывшие издалека — из Лавджоя, за десять миль отсюда, и из Фейетвилла и Джонсборо, и даже несколько семейств из Атланты и Мэйкона. Толпа гостей, казалось, заполнила дом до отказа, и над ней — то чуть затихая, то усиливаясь — звучал неумолчный гул голосов, пронзительные женские возгласы, смех.

На ступеньках веранды стоял Джон Уилкс, стройный, седовласый, излучая радушие, столь же неизменно теплое, как летнее солнце Джорджии. Рядом с ним Милочка Уилкс, получившая это прозвище из‑за своей неискоренимой привычки ко всем, начиная с отца и кончая последним негром на плантации, обращаться не иначе, как с присовокуплением этого ласкового словечка, вертелась от волнения во все стороны, улыбалась и нервно хихикала, принимая гостей.

Суетливое, неприкрытое стремление Милочки понравиться каждому мужчине, попавшему в поле ее зрения, особенно бросалось в глаза по сравнению с исполненными достоинства манерами ее отца, и у Скарлетт мелькнула мысль, что, пожалуй, в словах миссис Тарлтон есть все же какая‑то доля правды. В этом семействе красота досталась в удел только мужчинам. Густые золотисто‑бронзовые ресницы, так красиво обрамлявшие светло‑серые глаза Джона Уилкса и Эшли, выродились в редкие бесцветные волоски, украшавшие веки Милочки и ее сестры Индии. Это почти полное отсутствие ресниц придавало глазам Милочки какое‑то сходство с кроличьими. А про Индию и говорить нечего, она была просто некрасива, и все тут.

Индии нигде не было видно, но Скарлетт знала, что она скорее всего на кухне — отдает последние распоряжения по хозяйству. «Бедняжка Индия, — подумала Скарлетт, — после смерти матери на нее обрушилось столько дел по дому, что, конечно, где уж ей было поймать жениха; хорошо хоть, что Стюарт Тарлтон подвернулся, а если он находит меня красивее ее, я‑то здесь при чем?»

Джон Уилкс спустился с веранды, чтобы предложить Скарлетт руку. Выходя из коляски, Скарлетт видела, как Сьюлин расцвела улыбкой. «Верно, заприметила среди гостей Фрэнка Кеннеди», — подумала Скарлетт.

«Нет уж, у меня будет жених получше этой старой девы в штанах», — высокомерно решила она, не забыв при этом поблагодарить Джона Уилкса улыбкой.

А Фрэнк Кеннеди уже спешил к коляске, чтобы помочь Сьюлин, и Скарлетт захотелось дать сестре пинка в зад, потому что Сьюлин загораживала ей дорогу. Конечно, у Фрэнка Кеннеди столько земли, как ни у кого в графстве, и очень может быть, что у него доброе сердце, но какое все это имеет значение, когда ему уже стукнуло сорок и у него жидкая рыжеватая бороденка, хилый вид и какая‑то странная, суетливая, как у старой девы, манера держать себя. Тем не менее, вспомнив выработанный ею план действий, Скарлетт подавила в себе чувство брезгливого презрения и одарила Фрэнка такой ослепительной улыбкой, что он на мгновение застыл на месте с протянутой к Сьюлин рукой, обрадовано и оторопело глядя на Скарлетт.

Скарлетт, продолжая мило болтать с Джоном Уилксом, окинула взглядом толпу гостей в надежде увидеть среди них Эшли, но его на веранде не было. Со всех сторон раздались приветствия, а Стюарт и Брент тотчас направились к ней.

Барышни Манро начали ахать и охать, разглядывая ее платье, и вскоре она уже была окружена, и все что‑то восклицали, стараясь перекричать друг друга, и шум все рос и рос. Но где же Эшли? И Мелани? И Чарлз? Она посматривала украдкой по сторонам и старалась незаметно заглянуть в холл, откуда доносились взрывы смеха.

Смеясь, болтая и время от времени бросая взгляд то в сад, то в холл, она заметила, что какой‑то незнакомый мужчина, стоя несколько поодаль от остальных гостей, не сводит с нее глаз и так холодно‑беззастенчиво ее разглядывает, что это невольно заставляло насторожиться. Она испытала странное смешанное чувство: ее женское тщеславие было польщено — ведь она явно привлекла к себе внимание незнакомца, — но к этому примешивалось смущение, так как она вдруг отчетливо осознала, что лиф ее платья вырезан слишком глубоко. Незнакомец был уже не юноша — высокий, атлетически сложенный мужчина на вид лет тридцати пяти, не меньше. Скарлетт подумала, что ни у кого не видела таких широких плеч, такой мускулистой фигуры — пожалуй, даже слишком мускулистой для человека из общества. Когда глаза их встретились, незнакомец улыбнулся, и в его белозубой улыбке под темной ниточкой усов ей почудилось что‑то хищное. Он был смугл, как пират, и в его темных глазах она прочла откровенный вызов, словно его пиратский взгляд видел перед собой судно, которое надо взять на абордаж, или женщину, которой надо овладеть. Взгляд был спокойный и дерзкий, и когда незнакомец насмешливо и нагло улыбнулся ей, у нее перехватило дыхание. Она понимала, что такой взгляд оскорбителен для женщины, и была раздосадована тем, что не чувствовала себя оскорбленной. Она не знала, кто он, но одно было бесспорно: этот высокий лоб, тонкий орлиный нос над крупным ярким ртом, широко расставленные глаза... да, несомненно, в чертах его смуглого лица чувствовалась порода.

Она отвела взгляд, не ответив на его улыбку, и в тот же миг отвернулся и он, услышав, как кто‑то его окликнул:

— Ретт! Ретт Батлер! Идите сюда! Я хочу представить вас самой жестокосердной девушке в Джорджии.

Ретт Батлер? Что‑то знакомое прозвучало в этом имени, что‑то приятно щекочущее любопытство и смутно связанное с чем‑то скандальным, но мысли ее были полны Эшли, и она тотчас выбросила все это из головы.

— Мне надо подняться наверх, поправить прическу, — сказала она Стюарту и Бренту, которые старались оттеснить ее от толпы гостей и увлечь в сторону. — А вы, мальчики, ждите меня здесь и не вздумайте скрыться куда‑нибудь с другой девушкой, не то я рассержусь.

Скарлетт видела, что со Стюартом сегодня не оберешься хлопот, если она вздумает пофлиртовать с кем‑нибудь другим. Он был уже изрядно пьян, и на лице его появилось не раз виденное ею нахальное выражение, не предвещавшее добра: ясно — он будет нарываться на драку. Она немного постояла в холле, поболтала со знакомыми, поздоровалась с Индией, которая появилась наконец из задних комнат, вся встрепанная, с капельками пота на лбу. Бедняжка! Как это ужасно — иметь такие бесцветные волосы и ресницы, такой тяжелый упрямый подбородок, да еще двадцать лет за плечами и перспективу остаться в старых девах в придачу! Интересно, очень ли задело Индию то, что она увела у нее Стюарта? Все говорят, будто она до сих пор любит его, но разве можно знать наверняка, что у этих Уилксов на уме. Во всяком случае, Индия ничем не дала Скарлетт понять, насколько ей это больно, и держала себя с ней совершенно так же, как всегда, — любезно и чуточку отчужденно.

Приветливо поздоровавшись с Индией, Скарлетт стала подниматься по широкой лестнице и услышала, как кто‑то робко ее окликает. Обернувшись, она увидела Чарлза Гамильтона. Это был очень миловидный юноша: небрежные завитки каштановых кудрей над высоким белым лбом и темно‑карие глаза, неясные и чистые, как у шотландской овчарки. Одет он был элегантно — в черный сюртук и горчичного цвета брюки; поверх белой рубашки с плоеной грудью был повязан широкий модный черный галстук. Когда Скарлетт обернулась к нему, щеки его слегка зарделись — Чарлз Гамильтон был всегда застенчив с девушками. И как всех застенчивых мужчин, его особенно влекли к себе живые, задорные девушки, всегда и везде чувствующие себя непринужденно, — такие, как Скарлетт. Обычно она не уделяла ему внимания, ограничиваясь какой‑нибудь вскользь брошенной вежливой фразой, и он был ошеломлен, когда, сияя обворожительной улыбкой, она протянула ему обе руки.

— О, Чарлз Гамильтон, вы убийственно хороши сегодня, мой дорогой. Ручаюсь, вы нарочно приехали из Атланты, чтобы разбить мое бедное сердечко!

Сжимая ее горячие маленькие ручки, глядя в беспокойные зеленые глаза, Чарлз пробормотал что‑то, заикаясь от волнения. Никто еще не обращался к нему с такими речами. Правда, ему случалось слышать, как девушки говорили такое другим мужчинам, однако ему — никогда. Почему‑то все они относились к нему, как к младшему брату — были всегда приветливы с ним, но не давали себе труда хотя бы подразнить его. Ему ужасно хотелось, чтобы девушки шутили и кокетничали с ним, как с другими юношами, зачастую менее красивыми и обладающими меньшими достоинствами, нежели он. Бывало, правда, не часто, что они снисходили и до него, но в этих случаях на него нападала странная немота, он не знал, о чем с ними говорить, не мог подобрать слов, смущался и мучительно страдал. А потом, лежа ночью без сна, перебирал в уме всевозможные галантные шутки и различные подходящие к случаю комплименты. Но ему редко удавалось употребить их, так как девушки обычно после двух‑трех неудачных попыток оставляли его в покое.

И даже с Милочкой, которая знала, что им предстоит пожениться после того, как он будущей осенью вступит во владение своей долей имения, Чарлз был робок и молчалив. Временами у него возникало не слишком окрыляющее ощущение, что ее откровенное кокетство и собственническая манера держаться с ним вовсе не делают ему чести. Она так помешана на мальчишках, думал он, что вела бы себя точно так же с любым, кто дал бы ей для этого повод. Мысль, что Милочка станет его женой, совсем не приводила его в восторг: эта девушка отнюдь не пробуждала в нем тех страстных романтических порывов, которые, если верить его любимым романам, должен испытывать влюбленный жених. Чарлзу всегда рисовалось в мечтах, что его полюбит какая‑нибудь полная жизни, огня и задорного лукавства красотка.

И вот перед ним стоит смеющаяся Скарлетт О’Хара и утверждает, что он разбил ей сердце!

Он мучительно старался придумать что‑нибудь в ответ, и не мог, и был молча благодарен ей за то, что она продолжала болтать, освобождая его от необходимости поддерживать разговор. Это походило на сон или на сказку.

— А теперь ждите меня здесь, потому что я хочу, чтобы на барбекю вы были возле меня. — Тут она, взмахнув темными ресницами, опустила зеленые глаза долу, на щеках ее заиграли ямочки, а с ярких губ слетели совершенно уж непостижимые слова: — И не вздумайте волочиться за другими девушками, не то я стану жутко вас ревновать.

— Не буду, — едва нашел он в себе силы пробормотать, никак не подозревая, что в эту минуту казался ей похожим на теленка, которого ведут на заклание.

Легонько стукнув его сложенным веером по плечу, она отвернулась, и взгляд ее снова задержался на человеке по имени Ретт Батлер, стоявшем позади Чарлза, в стороне от всех. По‑видимому, он слышал их разговор от слова до слова, потому что насмешливо улыбнулся, снова окинув ее взглядом всю, с головы до пят, и притом так нахально, как никто не позволял себе ее разглядывать.

«Пропади ты пропадом! — возмущенно ругнулась про себя Скарлетт, прибегнув к излюбленному выражению Джералда. — Смотрит так, словно... словно я стою перед ним нагишом». И тряхнув локонами, она стала подниматься по лестнице.

В спальне, где все побросали свои накидки и шали, она увидела Кэтлин, которая охорашивалась перед зеркалом и покусывала губы, чтобы они порозовели. К поясу у нее были приколоты розы — в тон ее румяным щечкам, васильковые глаза лихорадочно блестели от возбуждения.

— Кэтлин, кто этот гадкий тип по фамилии Батлер? — спросила Скарлетт, безуспешно стараясь подтянуть край лифа повыше.

— Как, разве ты не знаешь? — Покосившись на дверь в соседнюю комнату, где Дилси и нянька Уилксов чесали языки, она зашептала возбужденно: — Мистер Уилкс, верно, чувствует себя ужасно, принимая его в своем доме, но получилось так, что он гостил у мистера Кеннеди в Джонсборо — что‑то насчет покупки хлопка, и мистеру Кеннеди ничего не оставалось, как взять его с собой. Не мог же он уехать и бросить гостя.

— А чем он, собственно, пришелся не ко двору?

— Дорогая, его же не принимают!

— Ах, вот как!

— Конечно.

Скарлетт, никогда еще не бывавшая под одной крышей с человеком, которого не принимают в обществе, промолчала, стараясь определить свое к нему отношение. Ощущение было волнующее.

— А что он такое натворил?

— Ах, у него совершенно чудовищная репутация. Его зовут Ретт Батлер, он из Чарльстона и принадлежит к одному из лучших семейств города, но никто из его близких с ним даже не разговаривает. Кэро Рэтт рассказывала мне о нем прошлым летом. Он с ней не в родстве, но ей все о нем известно, как, впрочем, и всем другим. Его выгнали из Вест‑Пойнта, можешь себе представить? И за такие проделки, которые просто не для ее ушей. Ну, а потом произошла эта история с девчонкой, на которой он не пожелал жениться.

— Какая история, расскажи!

— Дорогая, да неужто ты ничего не знаешь? Кэро все рассказала мне еще в прошлом году. Ее маму хватил бы удар, узнай она, что Кэро посвящена в эти сплетни. Понимаешь, этот мистер Батлер как‑то раз под вечер повез одну чарльстонскую девицу кататься в кабриолете. Кто эта девица — не говорят, но я кое о чем догадываюсь. Она, конечно, не из очень хорошего общества, иначе не поехала бы с ним кататься в такой поздний час без провожатой. И вообрази, моя дорогая, они пропадали где‑то почти всю ночь, до утра, потом возвратились домой пешком и объяснили, что лошадь понесла, разбила кабриолет, а они заблудились в лесу. И как ты думаешь, что?

— Ничего не думаю, продолжай! — нетерпеливо потребовала Скарлетт, ожидая услышать самое ужасное.

— На следующий день он отказался на ней жениться!

— А‑а, — разочарованно протянула Скарлетт.

— Заявил, мм... что он ее и пальцем не тронул и не понимает, почему должен на ней жениться. Ну, и ее брат, понятно, вызвал его на дуэль, а он сказал, что предпочитает получить пулю в лоб, чем дуру в жены. Словом, они стрелялись, и мистер Батлер ранил брата этой девицы, и тот умер, а мистеру Батлеру пришлось покинуть Чарльстон, и его теперь не принимают в домах! — торжественно и как раз вовремя закончила Кэтлин, так как в дверях уже появилась Дилси — поглядеть, в порядке ли туалет ее госпожи.

— У нее был ребенок? — прошептала Скарлетт на ухо Кэтлин.

Эту мысль Кэтлин отвергла, очень решительно помотав головой.

— Но тем не менее ее репутация погибла, — так же шепотом ответила она.

«Хорошо бы сделать так, чтобы Эшли скомпрометировал меня! — неожиданно мелькнуло у Скарлетт в голове. — Он‑то слишком джентльмен, чтобы не жениться». Но против воли она почувствовала в душе нечто вроде уважения к мистеру Батлеру, оттого что он отказался жениться на дуре.

Скарлетт сидела на высоком пуфике розового дерева в тени старого дуба за домом; кончик зеленой сафьяновой туфельки на два дюйма — ровно настолько, сколько допускали правила приличия, — высовывался из‑под зеленой пены воланов и оборочек. В руке у нее была тарелка с едой, к которой она почти не притронулась; семеро кавалеров окружали ее плотным кольцом. Прием гостей был в самом разгаре, в весеннем воздухе стоял гомон веселых голосов, смех, звон серебра, фарфора, густой, крепкий запах жареного мяса и душистых подливок. Временами легкий ветерок, изменив направление, приносил струйки дыма от длинных, полных углей ям и производил среди дам шутливый переполох, всякий раз сопровождавшийся энергичной работой пальмовых вееров.

Большинство девушек разместились вместе со своими кавалерами на длинных скамейках за столами, но Скарлетт, рассудив, что у каждой девушки только две руки и она может посадить на скамейку только двух кавалеров — по одну руку и по другую, — решила сесть поодаль и собрать вокруг себя столько кавалеров, сколько удастся.

Увитая зеленью беседка была отведена для замужних дам, чьи темные платья чинно оттеняли царившую вокруг пестроту и веселье. Замужние женщины, независимо от возраста, всегда, по обычаю Юга, держались особняком — в стороне от шустроглазых девиц, их поклонников и неумолчного смеха. Все — от бабули Фонтейн, страдавшей отрыжкой и не скрывавшей этого, пользуясь привилегией своего возраста, до семнадцатилетней Элис Манро, носившей своего первого ребенка и подверженной приступам тошноты, — сблизив головы, оживленно обсуждали чьи‑то родословные и делились акушерскими советами, и это придавало таким собраниям познавательный интерес и увлекательность.

Мельком взглянув в их сторону, Скарлетт презрительно подумала, что они похожи на стаю жирных ворон. Жизнь замужней женщины лишена развлечений. У Скарлетт не возникло даже мысли о том, что, выйдя замуж за Эшли, она механически переместится в общество степенных матрон в тусклых шелках и сама в таком же тусклом шелковом платье будет так же степенно восседать в беседках и гостиных, не принимая участия в играх и развлечениях. Подобно большинству своих сверстниц, она не уносилась мечтами дальше алтаря. К тому же в эту минуту она чувствовала себя слишком несчастной, чтобы предаваться отвлеченным рассуждениям.

Опустив глаза в тарелку, она привередливо ковыряла ложечкой воздушный пирог, проделывая это с таким изяществом и полным отсутствием аппетита, что бесспорно заслужила бы одобрение Мамушки. Да, она чувствовала себя глубоко несчастной, невзирая на небывалое изобилие поклонников. По какой‑то непонятной ей причине выработанный накануне ночью план во всем, что касалось Эшли, потерпел полный крах. Ей удалось окружить себя толпой поклонников, но Эшли не было в их числе, и страхи, терзавшие ее вчера, ожили вновь, заставляя сердце то бешено колотиться, то мучительно замирать, а кровь то отливать от щек, то обжигать их румянцем.

Эшли не сделал ни малейшей попытки присоединиться к ее свите; она не имела возможности ни секунды побыть с ним наедине, да, в сущности, после первых приветствий они не перемолвились ни единым словом. Он подошел поздороваться с ней, когда она спустилась в сад за домом, но подошел под руку с Мелани, чья голова едва достигала ему до плеча.

Это было крохотное хрупкое существо, производившее впечатление ребенка, нарядившегося для маскарада в огромный кринолин своей матери: застенчивое, почти испуганное выражение огромных карих глаз еще усиливало эту иллюзию. Пушистая масса курчавых темных волос была безжалостно упрятана на затылке в сетку, а спереди разделена на прямой пробор, так что две гладкие пряди, обрамлявшие лоб, сходились над ним под острым углом, подчеркивали своеобразный овал ее чуточку слишком широкоскулого, чуточку слишком заостренного к подбородку лица, что придавало ему сходство с сердечком. Это застенчивое лицо было по‑своему мило, хотя никто не назвал бы его красивым, к тому же ни одна из обычных женских уловок не была пущена в ход, чтобы сделать его привлекательней. Мелани казалась — да такой она и была — простой, как земля, надежной, как хлеб, чистой, как вода ручья. Но эта миниатюрная, неприметная с виду семнадцатилетняя девочка держалась с таким спокойным достоинством, что выглядела старше своих лет, и было в этом что‑то странно трогательное.

Пышные оборки светло‑серого платья из органди, перетянутого вишневым атласным поясом, скрывали еще по‑детски не оформившуюся фигурку, а желтая шляпа с длинными вишневыми лентами отбрасывала золотистый отблеск на нежное, чуть тронутое загаром лицо. На висках, возле самых глаз, тяжелые подвески с золотой бахромой были пропущены сквозь ячейки стягивавшей волосы сетки, и золотые блики играли в карих глазах, ясных, как гладь лесного озера, когда сквозь воду просвечивает желтизна упавших на дно осенних листьев.

Мелани застенчиво‑ласково улыбнулась Скарлетт и похвалила ее зеленое платье, а Скарлетт едва нашла в себе силы что‑то учтиво проговорить в ответ, так страстно хотелось ей остаться наедине с Эшли. И с этой минуты Эшли сидел на скамеечке у ног Мелани в стороне от остальных и улыбался ей своей тихой мечтательной улыбкой, которую так любила Скарлетт. И в довершение всего улыбка эта зажигала искорки в глазах Мелани, отчего она становилась почти хорошенькой, и даже Скарлетт не могла этого не признать. Когда Мелани смотрела на Эшли, ее простенькое личико светилось таким внутренним огнем, какой порождается только любовью, и если глаза — зеркало души, то Мелани Гамильтон являла тому самый яркий пример.

Скарлетт старалась не глядеть на этих двух и все же не могла удержаться, и всякий раз, посмотрев в их сторону, она удваивала свои старанья казаться веселой, и заливалась смехом, и дразнила своих кавалеров, и отпускала смелые шутки, и в ответ на их комплименты так задорно трясла головой, что серьги у нее в ушах отплясывали какой‑то буйный танец.

— Вздор, вздор! — твердила она и заявляла, что ни один из ее поклонников не говорит ни слова правды, и клялась, что никогда не поверит ни единому слову, сказанному мужчиной. Но Эшли, казалось, просто не замечал ее присутствия. Он видел только Мелани, разговаривал только с ней, сидя на скамеечке и глядя на нее снизу вверх, а Мелани, опустив глаза, смотрела на него и, не таясь, лучилась счастьем оттого, что она — его избранница.

И Скарлетт была несчастна.

Со стороны же все выглядело так, словно на свете не могло быть девушки счастливее ее. Она бесспорно была царицей этого сборища, центром всеобщего внимания. Успех, которым она пользовалась у мужчин, и зависть, снедавшая девушек, в любое другое время доставили бы ей несказанную радость.

Чарлз Гамильтон, окрыленный ее вниманием, занял твердую позицию по правую ее руку, и даже объединенных усилий близнецов оказалось недостаточно, чтобы вытеснить его оттуда. В одной руке он держал веер Скарлетт, в другой — свою тарелку с куском жаркого, к которому он даже не притронулся, и его глаза упорно избегали взгляда готовой расплакаться от обиды Милочки. Кэйд небрежно развалился на траве слева от Скарлетт, время от времени дергая ее за юбку, чтобы привлечь к себе внимание, и бросая испепеляющие взгляды на Стюарта. Он успел обменяться с близнецами довольно грубыми эпитетами, и атмосфера становилась все более накаленной. Фрэнк Кеннеди суетился вокруг Скарлетт, словно наседка вокруг своего единственного цыпленка, и то и дело бегал от дуба к столу и обратно, притаскивая различные деликатесы, будто для этого мало было дюжины сновавших туда и сюда слуг, в результате чего выдержка и хорошее воспитание изменили Сьюлин, и она, не скрывая своего возмущения, в бешенстве смотрела на Скарлетт. У малютки Кэррин глаза были полны слез, ибо, вопреки утренним заверениям Скарлетт, Брент ограничился тем, что воскликнул: «Хэлло, малышка!», дернул ее за ленточку в волосах и перенес все свое внимание на Скарлетт. Обычно он бывал очень внимателен к Кэррин и держался с такой шутливой почтительностью, что она втайне предавалась мечтам о том дне, когда ей позволено будет сделать парадную прическу, надеть длинную юбку и причислить Брента к разряду своих поклонников. А теперь похоже было, что им полностью завладела Скарлетт. Барышни Манро, умело скрывая свою обиду на изменивших им смуглых братьев Фонтейнов, все же были явно раздражены тем, что Тони и Алекс торчат под дубом и всячески норовят протиснуться поближе к Скарлетт, как только кто‑нибудь покинет свой пост возле нее.

Свое возмущение поведением Скарлетт девицы Манро протелеграфировали Хэтти Тарлтон, слегка, но выразительно подняв брови. «Бесстыдница!» — был единодушный молчаливый приговор. Все три юные леди раскрыли как по команде свои кружевные зонтики, заявили, что они уже вполне сыты, спасибо за угощение, и, взяв под руку находившихся поблизости молодых людей, громко прощебетали о своем желании прогуляться к ручью и к оранжерее, полюбоваться розами. Этот стратегический демарш по всем правилам военного искусства не прошел незамеченным ни для одной из присутствующих дам, но не привлек к себе внимания ни одного из мужчин.

Скарлетт усмехнулась, увидев, как под предлогом обозрения предметов, знакомых всем с детских лет, трое мужчин были насильно выведены из‑под огня ее чар, и быстро скосила глаза в сторону Эшли — заметил ли он, что произошло. Но он, закинув голову и играя концом вишневого пояса, смотрел на Мелани и улыбался ей. Сердце Скарлетт болезненно сжалось. Она почувствовала, что с удовольствием вонзила бы свои ноготки в это бледное личико и расцарапала бы его в кровь.

Оторвав взгляд от Мелани, она увидела Ретта Батлера. Он стоял в стороне и разговаривал с Джоном Уилксом. Он, должно быть, наблюдал за ней и, когда их глаза встретились, откровенно рассмеялся ей в лицо. У Скарлетт возникло странное, тягостное ощущение, что этот человек, для которого закрыты двери хороших домов, — единственный из всех присутствующих догадывается о том, что кроется под ее отчаянной напускной веселостью, и забавляется, словно получает от этого какое‑то желчное удовольствие. Она была бы не прочь расцарапать физиономию и ему.

«Скорей бы уж все это кончилось, — подумала Скарлетт. — Когда девчонки подымутся наверх и лягут вздремнуть перед балом, я останусь внизу и подкараулю Эшли. Конечно же, он не мог не заметить, каким я пользуюсь сегодня успехом». И она снова стала утешать себя, снова возрождать в себе надежды. В конце концов Эшли не мог не оказывать внимания Мелани, ведь она же его кузина, а поскольку на нее никто смотреть не хотел, ей бы пришлось просидеть все время одной, не приди он ей на выручку.

Эта мысль помогла ей воспрянуть духом, и она с удвоенным усердием принялась обольщать Чарлза, который не сводил с нее загоревшегося взора своих карих глаз. Это был фантастический, сказочный день в жизни Чарлза, и он, сам еще того не понимая, мгновенно влюбился в Скарлетт по уши. Это новое чувство так захватило его, что образ Милочки растаял где‑то в туманной дали. Милочка была сереньким воробышком, а Скарлетт многоцветной колибри. Она поддразнивала его и поощряла, задавала ему вопросы и отвечала на них сама, так что он казался себе умным и находчивым, хотя не произнес почти ни слова. Видя ее нескрываемый интерес к Чарлзу, остальные юноши были раздосадованы и озадачены, ибо они знали, что он от застенчивости не в силах связать двух слов, и клокотавшее в них раздражение подвергало их вежливость суровому испытанию. Они были просто вне себя; и Скарлетт вполне могла бы насладиться своим триумфом, если бы не мысль об Эшли.

Но вот уже с тарелок исчезли последние кусочки свинины, баранины и цыплят, и Скарлетт пришла к выводу, что пора бы Индии подняться из‑за стола и предложить дамам пройти в дом и отдохнуть. Было уже два часа пополудни, солнце стояло высоко над головой, но Индия, замученная трехдневными приготовлениями к приему гостей, рада была посидеть еще немного в беседке, громко крича что‑то на ухо старому глухому джентльмену из Фейетвилла.

Всех мало‑помалу охватывала ленивая дремота. Негры не спеша убирали со столов. Оживление спадало, смех затихал, и то в одной группе гостей, то в другой разговор понемногу замирал совсем. Все ждали, чтобы хозяева подали знак к окончанию утренней части празднества. Медленнее колыхались в воздухе пальмовые веера, и иные из джентльменов, разморенные жарой и перевариванием неумеренного количества пищи, начинали клевать носом. Барбекю подошел к концу, и всех тянуло на покой, пока солнце было еще в зените.

В этом промежутке между барбекю и балом все обычно бывали безмятежно и миролюбиво настроены. Только молодые люди оставались по‑прежнему неугомонны и полны задора. Переходя с места на место, перебрасываясь фразами, они напоминали красивых породистых жеребцов и порой были не менее опасны. Полуденная истома овладевала всеми, но тлевший в глубине жар в любую секунду грозил дать вспышку, и тогда страсти разгорались мгновенно и кого‑то могли недосчитаться в живых. Все эти люди — мужчины и женщины равно, — такие красивые, такие учтиво любезные, обладали довольно бешеным и не до конца еще укрощенным нравом.

Солнце припекало все сильнее, и Скарлетт — да и не она одна — снова поглядела на Индию. Разговоры замерли совсем, и в наступившей тишине все услышали сердитый голос Джералда — он стоял в отдалении у праздничных столов и пререкался с Джоном Уилксом.

— Да чтоб мне пропасть! Стараться миром уладить дело с янки? После того, как мы выбили этих негодяев из форта Самтер? Миром? Нет, Юг должен с оружием в руках показать, что он не позволит над собой издеваться и что мы не с милостивого соизволения Союза вышли из него, а — по своей воле, и за нами сила!

«О боже! — подумала Скарлетт. — Ну вот, теперь он сел на своего конька, и мы проторчим тут до ночи!»

И в то же мгновение словно искра пробежала по рядам лениво‑апатичных людей и их сонливость как ветром сдуло. Мужчины повскакали со стульев и скамеек и, размахивая руками, старались перекричать друг друга. Исполняя просьбу мистера Уилкса, считавшего, что нельзя заставлять дам скучать, мужчины за все утро не проронили ни слова о войне или о политике. Но вот у Джералда громко вырвалось «форт Самтер», и все мужчины как один забыли предостережения хозяина.

— Само собой разумеется, мы будем драться...

— Янки‑мошенники...

— Мы разобьем их за один месяц...

— Да один южанин стоит двадцати янки...

— Мы их так проучим, они нас долго не забудут...

— Мирным путем? А они‑то разве мирным путем?

— А вы помните, как мистер Линкольн оскорбил наших уполномоченных?

— Ну да — заставил их торчать там неделями и все уверял, что эвакуирует Самтер...

— Они хотят войны?..

— Ну, мы так накормим их войной — будут сыты по горло...

И заглушая весь этот галдеж, гремел зычный голос Джералда.

— Права Юга, черт побери! — снова и снова долетало до Скарлетт. Джералд, в отличие от дочери, наслаждался — он был в своей стихии.

Выход из Союза, война — все эти слова давно набили у Скарлетт оскомину, но сейчас она начинала испытывать к ним даже острую ненависть, потому что для нее они значили только одно — теперь мужчины будут часами торчать там и держать друг перед другом воинственные речи, и ей не удастся завладеть Эшли. И никакой к тому же не будет войны, и все они прекрасно это знают. Им просто нравится ораторствовать и слушать самих себя.

Чарлз Гамильтон не встал, когда все поднялись: новое чувство придало ему смелости, и, оказавшись в какой‑то мере наедине со Скарлетт, он придвинулся к ней ближе и прошептал:

— Мисс О’Хара, я... я уже принял решение: если и в самом деле начнется война, я отправлюсь в Южную Каролину и вступлю в их войска. Говорят, что мистер Уэйд Хэмптон создает там кавалерийский отряд, и я хочу служить под его началом. Он замечательный человек и был лучшим другом моего покойного отца.

«Что, по его мнению, должна я теперь сделать — трижды прокричать ура?» — подумала Скарлетт, так как Чарлз шептал все это с таким заговорщическим видом, словно открывал ей свою самую сокровенную тайну. Не находя слов для ответа, она просто смотрела на него, изумляясь глупости мужчин, которые думают, что такие вещи могут представлять интерес для женщин. Он же решил, что она ошеломлена, но молча одобряет его, и, осмелев еще больше, продолжал скороговоркой:

— Если я так поступлю, вы... вы будете огорчены, мисс О’Хара?

— Я буду каждую ночь орошать слезами мою подушку, — сказала Скарлетт, желая пошутить, но он принял ее слова всерьез и покраснел от удовольствия. Сам поражаясь своей смелости и неожиданной благосклонности Скарлетт, он нащупал ее руку меж складками платья и пожал.

— Вы будете молиться за меня?

«Боже, какой дурак!» — со злостью подумала Скарлетт и украдкой скосила глаза в надежде, что кто‑нибудь избавит ее от продолжения этой беседы.

— Будете?

— Ну как же, конечно, мистер Гамильтон! Трижды переберу четки, отходя ко сну!

Чарлз быстро поглядел по сторонам, почувствовал, как напряглись у него мускулы, и затаил дыхание. Они, в сущности, были одни, и такого случая могло больше не представиться. И даже если судьба будет снова так же к нему благосклонна, в другой раз у него может не хватить духу...

— Мисс О’Хара... Я должен вам что‑то сказать... Я... люблю вас.

— Что? — машинально переспросила Скарлетт, стараясь за группой громко разговаривавших мужчин разглядеть Эшли, все еще сидевшего у ног Мелани.

— О да, люблю! — восторженно прошептал Чарлз, окрыленный тем, что Скарлетт не расхохоталась, не взвизгнула и не упала в обморок, что, по его мнению, обязательно происходит с девушками при подобных обстоятельствах. — Я люблю вас! Вы самая... самая... — И тут впервые в жизни у него вдруг развязался язык: — Вы самая красивая, самая добрая, самая очаровательная девушка на свете! Вы обворожительны, и я люблю вас всем сердцем. Я не смею и помыслить о том, чтобы вы могли полюбить такого, ничем не замечательного человека, как я, но если вы, дорогая мисс О’Хара, подадите мне хоть искру надежды, я сделаю все, чтобы заслужить вашу любовь. Я...

Чарлз умолк, будучи не в состоянии придумать никакого подвига, достаточно трудного, чтобы он мог послужить доказательством глубины его чувства, и сказал просто:

— Я прошу вас стать моей женой.

При слове «женой» Скарлетт показалось, что ее внезапно сбросили с облаков на землю. В эту минуту она в мечтах уже видела себя женой Эшли и потому с плохо скрытым раздражением взглянула на Чарлза. Нужно же, чтобы этот глупый теленок навязывался ей со своими чувствами именно в этот день, когда у нее ум за разум заходит от тревоги! Она взглянула в карие, полные мольбы глаза и не сумела прочесть в них ни первой робкой любви, делавшей их прекрасными, ни преклонения перед нашедшим свое живое воплощение идеалом, ни нежности, ни восторженной надежды на счастье, горевшей как пламя. Для Скарлетт было не внове выслушивать предложения руки и сердца, притом от куда более привлекательных на ее взгляд мужчин, чем этот Чарлз Гамильтон, и у каждого из них хватило бы деликатности не заниматься этим на барбекю, когда голова у нее была забита своими, несравненно более важными проблемами. Она видела перед собой просто двадцатилетнего мальчишку, заливавшегося краской от смущения и выглядевшего крайне глупо. Ее так и подмывало сказать ему, какой у него нелепый вид. Но наставления Эллин невольно сделали свое дело, и она, по привычке скромно опустив глаза, машинально пробормотала подобающие для такого случая слова:

— Мистер Гамильтон, я, разумеется, высоко ценю честь, которою вы оказали мне, прося стать вашей женой, но это такая для меня неожиданность, что, право, я не знаю, что вам ответить.

Это был изящный способ, не задевая самолюбия поклонника, не дать ему сорваться с крючка, и Чарлз проглотил приманку с ретивостью неофита.

— Я готов ждать вечность! Пусть это будет лишь тогда, когда у вас не останется сомнений. О мисс О’Хара, пожалуйста, скажите, могу ли я надеяться!

— Хм, — произнесла Скарлетт, чей острый взгляд приметил, что Эшли не присоединился к мужчинам, чтобы принять участие в разговоре о войне, и все так же продолжает с улыбкой глядеть снизу вверх на Мелани. Если бы этот домогающийся ее руки дурачок помолчал с минуту, может быть, ей удалось бы услышать, о чем они там беседуют. Ей это просто необходимо. Почему с таким интересом смотрит сейчас Эшли на Мелани, что могла она сообщить ему особенного?

Восторженное бормотание Чарлза заглушало их голоса.

— Ах, помолчите! — прошипела Скарлетт, машинально сжав его руку и даже не поглядев на него.

Обиженный, ошеломленный, Чарлз покраснел еще сильнее, но тут он заметил, что взгляд Скарлетт прикован к его сестре, и облегченно вздохнул. Скарлетт, конечно, просто боится, как бы его слова не долетели до чьих‑нибудь ушей. Она, естественно, смущена, ее природная стыдливость задета, и она в ужасе, что их разговор может быть услышан. Мужская гордость взыграла в Чарлзе с небывалой дотоле силой — ведь впервые в жизни он сумел смутить девушку. Ощущение было захватывающим. Он постарался придать лицу выражение небрежного безразличия и украдкой сжал в свою очередь руку Скарлетт, показывая, что он человек светский, все понимает и не в обиде на нее.

А она даже не заметила его пожатия, так как в эту минуту до нее отчетливо долетел нежный голосок Мелани — бесспорно главное орудие ее чар:

— Боюсь, я никак не могу согласиться с вами. Мистер Теккерей — циник. Мне кажется, ему далеко до мистера Диккенса — вот тот уж истинный джентльмен.

«Господи, о какой чепухе она разговаривает с мужчиной! — подумала, едва не фыркнув, Скарлетт, у которой сразу отлегло от сердца. — Да она же просто синий чулок, а ведь общеизвестно, как относятся мужчины к таким девушкам... Чтобы заинтересовать мужчину и удержать его при себе, нужно сначала вести разговор о нем самом, а потом постепенно, незаметно перевести на себя и дальше уже придерживаться этой темы». Скарлетт, несомненно, забеспокоилась бы, скажи Мелани примерно следующее: «Как это замечательно, то, что вы сказали!» или: «Какие необычайные мысли родятся у вас в голове! Мой бедный умишко лопнет от натуги, если я стану думать о таких серьезных вещах!» А Мелани вместо этого, глядя на мужчину у своих ног, разговаривает с таким постным лицом, словно сидит в церкви. Будущее снова предстало перед Скарлетт в розовом свете, и она опять настолько воспряла духом, что глаза ее сияли, а на губах играла радостная улыбка, когда она повернулась, наконец, к Чарлзу. Вдохновленный этим доказательством расположения, он схватил ее веер и с таким усердием принялся им махать, что у нее растрепалась прическа.

— А вашего мнения мы еще не удостоились услышать, — сказал, обращаясь к Эшли, Джим Тарлтон. Он стоял поодаль, в группе громко споривших о чем‑то мужчин, и Эшли, извинившись перед Мелани, встал. «Он самый красивый мужчина здесь», — подумала Скарлетт, любуясь непринужденной грацией его движений и игрой солнца в белокурых волосах. Даже мужчины постарше умолкли, прислушиваясь к его словам.

— Что ж, господа, если Джорджия будет сражаться, я встану под ее знамена. Для чего бы иначе вступил я в эскадрон? — Всякий налет мечтательности исчез из его широко раскрытых серых глаз, уступив место выражению такой решимости, что Скарлетт была поражена. — Но я разделяю надежду отца, что янки не станут вторгаться в нашу жизнь и нам не придется воевать. — Он, улыбаясь, поднял руку, когда братья Фонтейны и Тарлтоны что‑то загалдели наперебой. — Да, да, я знаю, мы подвергались оскорблениям, нас обманывали... но будь мы на месте янки и захоти они выйти из Союза, как бы поступили мы? Да примерно так же. Нам бы это не понравилось.

«Ну конечно, как всегда, — подумала Скарлетт. — Вечно‑то он старается поставить себя на место другого». Она не считала, что в споре каждая сторона может быть по‑своему права. Порой она просто не понимала Эшли.

— Не будем слишком горячиться и очертя голову лезть в драку. Многие бедствия мира проистекали от войн. А потом, когда война кончалась, никто, в сущности, не мог толком объяснить, к чему все это было.

Скарлетт даже фыркнула. Счастье для Эшли, что у него такая неуязвимая репутация — никому даже в голову не придет усомниться в его храбрости, не то он мог бы нарваться на оскорбление. И не успела она это подумать, как шум в группе молодежи, окружавшей Эшли, усилился, послышались гневные возгласы.

В беседке старый глухой джентльмен из Фейетвилла дернул Индию за рукав:

— О чем это они? Что случилось?

— Война! — крикнула Индия, приставив руку к его уху. — Они хотят воевать с янки.

— Война? Вон оно что! — воскликнул старик, нашарил свою палку и так резво вскочил со стула, что удивил всех, знавших его много лет. — Я могу им кое‑что порассказать на этот счет. Я был на войне. — Мистеру Макра нечасто выпадала такая возможность — поговорить о войне — чаще всего женская половина его семейства успевала заткнуть ему рот.

Размахивая палкой и что‑то восклицая, мистер Макра поспешно зашагал к стоявшей поодаль группе мужчин, а поскольку он был глух как пробка и не мог слышать своих оппонентов, те вынуждены были вскоре сложить оружие.

— Эй вы, отчаянные молодые головы, послушайте меня — старика. Не нужна вам эта война. Я‑то воевал и знаю. Участвовал и в Семинольской кампании, был, как дурак, и на Мексиканской войне. Никто из вас не знает, что такое война. Вы думаете, это — скакать верхом на красавце коне, улыбаться девушкам, которые будут бросать вам цветы, и возвратиться домой героем. Так это совсем не то. Да, сэр! Это — ходить не жравши, спать на сырой земле и болеть лихорадкой и воспалением легких. А не лихорадкой, так поносом. Да, сэр, война не щадит кишок — тут тебе и дизентерия, и...

Щеки дам порозовели от смущения. Мистер Макра, подобно бабуле Фонтейн с ее ужасно громкой отрыжкой, был живым напоминанием об ушедшей в прошлое более грубой эпохе, которую все стремились забыть.

— Ступай, уведи оттуда дедушку, — прошипела одна из дочерей старика на ухо стоявшей рядом дочке. — Право же, он день ото дня становится все невыносимей, — шепотом призналась она окружавшим ее раскудахтавшимся матронам. — Вообразите, не далее как сегодня утром он сказал Мэри — а ей всего шестнадцать... — Дальше шепот стал еле слышным, и внучка выскользнула из беседки, чтобы сделать попытку увести мистера Макра обратно на его место, в тень.

Среди всей этой разгуливающей под деревьями толпы — оживленно разговаривающих мужчин и взволнованно улыбающихся девушек — только один человек оставался, казалось, совершенно невозмутимым. Скарлетт снова поглядела на Ретта Батлера: он стоял, прислонясь к дереву, засунув руки в карманы брюк, стоял совсем один — с той минуты, как мистер Уилкс отошел от него, — и не проронил ни слова, в то время как среди мужчин спор разгорался все жарче. По его губам, под тонкими темными усиками скользила едва заметная улыбка, и в темных глазах поблескивала снисходительная усмешка, словно он слушал забавлявшую его похвальбу раззадорившихся ребятишек. «Какая неприятная у него улыбка», — подумалось Скарлетт. Он молча прислушивался к спору, пока Стюарт Тарлтон, рыжий, взлохмаченный, с горящим взором, не выкрикнул в который уже раз:

— Мы разобьем их в один месяц! Что может этот сброд против истинных джентльменов! Да какое там в месяц — в одном сражении.

— Джентльмены, позволено ли мне будет вставить слово? — сказал Ретт Батлер, не изменив позы, не вынув рук из карманов и лениво, на чарльстонский лад растягивая слова.

В голосе его и во взгляде сквозило презрение, замаскированное изысканной вежливостью, которая, в свою очередь, смахивала на издевку.

Все мужчины обернулись к нему и замолчали, преувеличенной любезностью подчеркивая, что он не принадлежит к их кругу.

— Задумывался ли кто‑нибудь из вас, джентльмены, над тем, что к югу от железнодорожной линии Мэйкон — Диксон нет ни одного оружейного завода? Или над тем, как вообще мало литейных заводов на Юге? Так же, как и ткацких фабрик, и шерстопрядильных, и кожевенных предприятий? Задумывались вы над тем, что у нас нет ни одного военного корабля и что флот янки может заблокировать наши гавани за одну неделю, после чего мы не сможем продать за океан ни единого тюка хлопка? Впрочем, само собой разумеется, вы задумывались над этим, джентльмены.

«Да он, кажется, считает наших мальчиков просто кучей идиотов!» — возмущенно подумала Скарлетт, и кровь прилила к ее щекам.

По‑видимому, такая мысль пришла в голову не ей одной, так как кое‑кто из юношей с вызовом поглядел на говорившего. Но Джон Уилкс тут же как бы случайно оказался возле Ретта Батлера, словно желая напомнить всем, что это его гость и к тому же здесь присутствуют дамы.

— Вся беда у нас, южан, в том, что мы мало разъезжаем по свету или мало наблюдений выносим из наших путешествий. Ну, конечно, все вы, джентльмены, много путешествовали. Но что вы видели? Европу, Нью‑Йорк и Филадельфию, и дамы, — он сделал легкий поклон в сторону беседки, — без сомнения, побывали в Саратоге. Вы видели отели и музеи, посещали балы и игорные дома. И возвратились домой, исполненные уверенности в том, что нет на земле места лучше нашего Юга. Что до меня, то я родился в Чарльстоне, но последние несколько лет провел на Севере. — Он усмехнулся, сверкнув белыми зубами, словно давая понять, что ни для кого из присутствующих, конечно, не секрет, почему он больше не живет в Чарльстоне, только ему на это наплевать. — И я видел многое, чего никто из вас не видел. Я видел тысячи иммигрантов, готовых за кусок хлеба и несколько долларов сражаться на стороне янки, я видел заводы, фабрики, верфи, рудники и угольные копи — все то, чего у нас нет. А у нас есть только хлопок, рабы и спесь. Это не мы их, а они нас разобьют в один месяц.

На мгновение воцарилась мертвая тишина. Ретт Батлер достал из кармана тонкий полотняный носовой платок и небрежно смахнул пыль с рукава. Затем зловещий шепот пронесся над толпой гостей, а беседка загудела, как потревоженный улей. И хотя щеки Скарлетт еще пылали от гнева, в практичном уме ее промелькнула мысль, что человек этот прав — слова его не лишены здравого смысла. И в самом деле, она в жизни не видала ни одного завода или хотя бы человека, который бы своими глазами видел завод. Но все равно этот Батлер не джентльмен, он проявил дурное воспитание, позволив себе такое утверждение, да еще на пикнике, где люди собрались, чтобы повеселиться.

Стюарт Тарлтон, сдвинув брови, шагнул вперед, Брент — за ним. Конечно, близнецы слишком хорошо воспитаны — они не затевают драки прямо на барбекю, как бы ни чесались у них кулаки. Тем не менее все дамы были приятно возбуждены — ведь им так редко выпадала удача быть свидетельницами публичной ссоры. Обычно все приходилось узнавать от третьих лиц.

— Сэр, — угрожающе начал Стюарт, — что вы хотели этим сказать?

Ретт ответил вежливо, но в глазах его мелькнула насмешка:

— Я хотел сказать, что Наполеон — вы, вероятно, слышали о нем — заметил как‑то раз: «Бог всегда на стороне более сильной армии!» — И, обращаясь к Джону Уилксу, произнес с почтительностью, в которой не было ничего наигранного: — Вы обещали показать мне вашу библиотеку, сэр. Не слишком ли я злоупотреблю вашей любезностью, если попрошу вас сделать это сейчас? Боюсь, мне скоро придется отбыть в Джонсборо — там у меня маленькое, но неотложное дело.

Повернувшись к остальным гостям, он щелкнул каблуками, отвесил низкий, как в танце, поклон — неожиданно легкий и грациозный для такого атлетически сложенного мужчины и одновременно вызывающий, как пощечина, — и последовал за Джоном Уилксом к дому, высоко неся свою темноволосую голову. До оставшихся на лужайке долетел его раздражающе саркастический смех.

На мгновение наступило растерянное молчание, а затем голоса загудели вновь. Индия устало поднялась со стула возле беседки и направилась к рассвирепевшему Стюарту Тарлтону. Слов Индии Скарлетт не слышала, но то, что она прочла в устремленном на Стюарта взгляде, заставило ее испытать нечто похожее на укор совести. Это был тот же отрешенный от себя взгляд, какой был у Мелани, когда она смотрела на Эшли, только Стюарт этого не видел. Так, значит, Индия любит его! Невольно у Скарлетт мелькнула мысль, что, не начни она тогда, на этом политическом сборище, так отчаянно кокетничать со Стюартом, может быть, он давно женился бы на Индии. Но она тут же успокоилась, сказав себе: не ее вина, если некоторые девушки не умеют удержать возле себя мужчину.

Но вот Стюарт явно принужденно улыбнулся Индии и кивнул. Должно быть, Индия уговорила его оставить мистера Батлера в покое и не затевать ссоры. Под деревьями все пришло в движение, гости поднимались, стряхивая с платья крошки, замужние женщины окликали ребятишек и нянек и собирали под крылышко своих птенцов, дабы отправиться восвояси, а девушки небольшими группками, болтая и смеясь, направились к дому, чтобы там, в верхних комнатах, вволю посплетничать и вздремнуть.

Все дамы покинули тень дубов и беседку, предоставив их в распоряжение мужчин, и только миссис Тарлтон пришлось задержаться — Джералд, мистер Калверт и кто‑то еще хотели получить у нее ответ: даст она лошадей для Эскадрона или нет.

Эшли, задумчиво и чуточку насмешливо улыбаясь, направился туда, где сидели Скарлетт и Чарлз.

— Дерзкий малый, что вы скажете? — заметил он, глядя вслед удалявшемуся Ретту Батлеру. — Ну прямо герцог Борджиа.

Скарлетт постаралась напрячь память, перебирая в уме все знатные семейства графства и даже Атланты и Саванны, но решительно не могла припомнить такой фамилии.

— Кто они? Я таких что‑то не знаю. Он их родственник?

Чарлз как‑то странно посмотрел на нее — недоумевающе и смущенно, но любовь тут же превозмогла все. Любовь подсказала ему, что для девушки достаточно быть красивой, доброй и обаятельной, а образованность может только нанести ущерб ее чарам, и сказал поспешно:

— Борджиа были итальянцами.

— А, иностранцы, — протянула Скарлетт, сразу потеряв к ним всякий интерес.

Она подарила Эшли самую чарующую из своих улыбок, но он почему‑то избегал ее взгляда. Он смотрел на Чарлза с каким‑то странным выражением сочувствия и понимания.

Скарлетт стояла на площадке лестницы и украдкой поглядывала вниз. Холл был пуст. Из спален наверху, то замирая, то вновь набирая силу, доносился неумолчный гул голосов, взрывы смеха, отрывочные восклицания: «Неужели! Не может быть!», «И что же он тогда сказал?» В шести просторных спальнях девушки, скинув платья, расшнуровав корсеты, распустив по плечам волосы, отдыхали — кто на кроватях, кто на кушетках. Обычай спать после обеда неукоснительно соблюдался в этих краях, а в такие дни, когда празднество начиналось с утра и заканчивалось балом, отдых был просто необходим. Полчаса девушки будут болтать и смеяться, а затем придут слуги и закроют ставни, и в теплом полумраке громкая перекличка голосов перейдет в шепот, потом замрет совсем, и только тихий, равномерный звук дыхания будет нарушать тишину.

Убедившись, что Мелани уже улеглась в постель вместе с Милочкой и Хэтти Тарлтон, Скарлетт выскользнула из спальни и стала спускаться в холл. В окно на площадке лестницы ей была видна беседка и фигуры сидевших там мужчин. Все пили вино из высоких бокалов, и Скарлетт знала, что это занятие продлится у них до вечера. Она пригляделась внимательно, но не обнаружила среди них Эшли. И вдруг услышала его голос. Ее надежды оправдались: он был во дворе перед домом — провожал отъезжавших матрон с детьми.

Чувствуя, как колотится у нее сердце, Скарлетт поспешила вниз. А что, если она столкнется с мистером Уилксом? Какую придумать отговорку, как объяснить ему, почему она бродит по дому, а не легла вздремнуть по примеру всех остальных девушек? Делать нечего, придется рискнуть.

Спускаясь по лестнице, она услышала, как слуги под руководством дворецкого выносят из столовой столы и стулья, освобождая место для танцев. Дверь в глубине холла, ведущая в библиотеку, была приотворена, и она бесшумно проскользнула туда. Она подождет здесь, пока Эшли проводит гостей, и окликнет его, когда он будет проходить через холл.

В библиотеке царил полумрак, жалюзи на окнах были спущены. Скарлетт почувствовала себя неуютно среди этих высоких стен, среди смотревших на нее отовсюду темных корешков книг. Будь на то ее воля, совсем другое место выбрала бы она для такого свидания, какое, по ее расчетам, должно было здесь состояться. Вид множества книг всегда нагонял на нее тоску — совершенно так же, впрочем, как и люди, поглощавшие книги в таком количестве. Все, за исключением, конечно, Эшли. Она различала неясные очертания старинной мебели: глубоких кресел с высокой спинкой, с широкими подлокотниками — для рослого мужского племени Уилксов, и низеньких, мягких, обитых бархатом кресел с брошенными перед ними на пол подушками — для дам. Стоявший в дальнем углу комнаты перед камином длинный диван с высокой спинкой — излюбленное место отдыха Эшли — был похож на большое спящее животное.

Скарлетт притворила дверь, оставив небольшую щелку, и замерла, стараясь унять сердцебиение. Она обнаружила, что не может припомнить ни единого слова из того, что еще ночью приготовилась сказать Эшли. То ли все это вылетело у нее из головы, то ли она больше думала тогда о том, что он скажет ей? Теперь она не могла вспомнить ничего и внезапно похолодела от страха. Если бы хоть сердце перестало так бешено колотиться, может быть, она еще чего‑нибудь и придумала бы. Но глухие удары только участились, когда она услышала, как Эшли, еще раз крикнув что‑то на прощание, вошел в холл.

Все мысли исчезли, осталось только одно: она любит его. Любит гордую посадку его белокурой головы, все, все в нем любит, даже блеск его узких черных сапог, и его смех, так часто ставивший ее в тупик, и его загадочную, повергавшую ее в смущение молчаливость. Ах, если бы он просто вошел сейчас сюда, заключил ее в объятия и избавил от необходимости что‑то говорить. Ведь он же любит ее... «Может, если помолиться?..» Она крепко зажмурилась и зашептала скороговоркой:

— Пресвятая матерь божия, владычица...

— Как? Это вы, Скарлетт? — услышала она голос Эшли сквозь бешеный стук сердца, отдававшийся у нее в ушах, и, открыв глаза, замерла в страшной растерянности. Он стоял за притворенной дверью и смотрел на нее; шутливо‑вопросительная улыбка играла на его губах.

— От кого вы тут прячетесь — от Чарлза или от Тарлтонов?

От радости у нее перехватило дыхание. Значит, он заметил, как они все вертелись вокруг нее! Она взглянула в его смеющиеся глаза и снова почувствовала, как он бесконечно дорог ей. А он стоял, не замечая охватившего ее волнения. Она не могла произнести ни слова и молча вцепилась в его рукав, потянув за собой в библиотеку. Удивленный, заинтересованный, он видел, что она вся словно натянутая струна, видел, как странно, лихорадочно блестят в полумраке ее глаза и пылают щеки. Почти бессознательно он притворил за собой дверь и взял ее за руку.

— Что случилось? — спросил он, невольно понизив голос до шепота.

При его прикосновении она задрожала. Вот! Это произойдет сейчас — все будет так, как она мечтала! Беспорядочные мысли кружились в ее мозгу, но ни одна из них не находила выражения в словах. Вся дрожа, она смотрела ему в глаза. Почему он молчит?

— Так что же случилось? — повторил он. — Вы хотите поведать мне какой‑то секрет?

Внезапно она обрела дар речи, и в тот же миг все наставления Эллин улетучились из ее сознания, и ирландская кровь Джералда необузданно заговорила в ней.

— Да, хочу... Я люблю вас.

В воцарившейся на мгновение тишине не слышно было, казалось, даже ее дыхания. И охватившая ее дрожь тут же унялась — счастливая и гордая, она подумала: почему не призналась она ему раньше? Насколько это проще, чем всевозможные женские уловки, которым ее учили! И она посмотрела ему в глаза.

Она прочла в них испуг, недоверие и что‑то еще, другое... Да, такой же взгляд был у Джералда, когда он смотрел на свою любимую лошадь, которую должен был пристрелить, потому что она сломала ногу. Почему вспомнилось ей это сейчас? Что за идиотская мысль! А почему Эшли смотрит на нее так странно и молчит? Но тут лицо его приняло обыденное выражение — он словно бы надел свою привычную маску и улыбнулся.

— Разве вам мало того, что вы покорили здесь сегодня все сердца? — спросил он с прежней ласково‑насмешливой ноткой в голосе. — Вам нужна еще одна, завершающая победа? Но мое сердце всегда принадлежало вам, вы же это знаете. Вы можете терзать его, рвать на части.

Что‑то было не так. Все получалось совсем, совсем не так. Не так, как она это себе представляла. Среди сумбура мыслей, вихрем проносившихся в ее голове, одна мысль приобрела отчетливость, неоспоримость: почему‑то, по какой‑то непонятной причине Эшли ведет себя так, словно думает, что она просто решила пофлиртовать с ним. Но в глубине души он знает, что это не так. Она чувствовала, что он это знает.

— Эшли, Эшли... скажите мне... вы должны сказать... Ах, перестаньте дразнить меня! Ведь ваше сердце принадлежит мне? О, мой дорогой, я люб...

Его рука мягко зажала ей рот. Маска слетела с его лица.

— Вы не должны говорить так, Скарлетт! Не должны! Вы этого не думаете. И вы возненавидите себя за эти слова и меня за то, что я их слушал!

Она тряхнула головой. Почувствовала, как жаркой волной обдало ее всю с головы до пят.

— Никогда, никогда! Я люблю вас, и я знаю, что и вы тоже... Потому что... — Внезапно она умолкла, пораженная глубиной страдания, написанного на его лице. — Эшли, но вы же любите меня, любите, правда?

— Да, — проговорил он глухо. — Да, люблю.

Скажи он, что она ему ненавистна, и даже эти слова, верно, не испугали бы ее так. Она, онемев, вцепилась в его рукав.

— Скарлетт, — сказал он, — расстанемся и забудем навсегда то, что мы сейчас сказали друг другу.

— Нет, — прошептала она, — я не могу. Зачем же так? Разве вы... разве вы не хотите жениться на мне?

— Я женюсь на Мелани, — ответил он.

Как в тумане вспоминала она потом, что сидела на низеньком обитом бархатом кресле, а Эшли — на подушке у ее ног. И он крепко‑крепко сжимал ее руки в своих и говорил что‑то, звучавшее для нее совершенно бессмысленно. Она ощущала странную пустоту в голове, все мысли, владевшие ею минуту назад, куда‑то исчезли, и слова Эшли не проникали в ее сознание — они были как капли дождя, которые скатываются со стекол, не оставляя на них следа. Он говорил с ней, словно отец с обиженным ребенком, но этот быстрый, нежный, полный сострадания шепот падал в пустоту.

Имя Мелани вернуло ее к действительности, и она взглянула в его прозрачно‑серые глаза. В них снова была та отчужденность, которая всегда озадачивала ее, и — как ей показалось — словно бы презрение к самому себе.

— Сегодня отец должен объявить о нашей помолвке. Мы скоро поженимся. Мне следовало сказать это вам, но я думал, что вы уже знаете. Я полагал — это известно всем... не первый год известно. Я никогда не думал, что вы... У вас столько поклонников. Мне казалось, Стюарт...

Жизнь понемногу возвращалась к ней, чувства оживали, и его слова стали проникать в ее сознание.

— Но вы же сейчас, минуту назад, сказали, что любите меня?

Он с силой сжал ее руки в своих горячих ладонях.

— Дорогая, не вынуждайте меня говорить то, что может причинить вам боль.

Но она молчала, и он сказал:

— Ну как могу я заставить вас посмотреть на вещи моими глазами, дорогая? Вы так молоды, так беспечны, вы не знаете, что такое брак.

— Я знаю, что люблю вас.

— Мы с вами слишком разные люди, Скарлетт, а для счастья в браке одной любви недостаточно. Ведь вы же захотите, чтобы мужчина принадлежал вам весь, без остатка — душой и телом, всеми своими помыслами, — иначе вы будете несчастны. А я вам этого дать не могу. Никому не могу я отдать всего себя. И от вас я не могу потребовать того же. И это будет вас оскорблять, и в конце концов вы возненавидите меня... О, как жестоко вы меня возненавидите! Вы возненавидите книги, что я читаю, и музыку, которую я люблю, — ведь они будут отнимать меня у вас. И я... быть может, я...

— Вы любите ее?

— Мы с ней одна плоть и кровь, мы понимаем друг друга с полуслова. Ах, Скарлетт, Скарлетт! Как мне убедить вас, что брак не может принести счастья, если муж и жена совсем разные люди!

Кто‑то уже сказал это однажды: «Чтобы брак был счастливым, муж и жена должны быть из одного теста». Чьи это слова? Они принеслись к ней откуда‑то из дальней дали, словно с тех пор, как она их услышала, протекли столетья. Но все равно она не могла уразуметь их смысл.

— Но вы сказали, что любите меня.

— Я не должен был этого говорить.

Где‑то в глубине ее души медленно разгоралось пламя, и вот гнев вспыхнул, затемнив рассудок.

— Но раз уж у вас хватило низости сказать это...

Лицо Эшли побелело.

— Да, это было низко, потому что я женюсь на Мелани. Я дурно поступил с вами и еще хуже с Мелани. Я не должен был этого говорить, зная наперед, что вы не поймете меня. Как могу я не любить вас с вашей неуемной жаждой жизни, которой я обделен? Вас, умеющую любить и ненавидеть с такой страстью, которая мне недоступна! Вы как огонь, как ветер, как что‑то дикое, и я...

Скарлетт вдруг вспомнила Мелани — ее кроткие карие глаза и мечтательный взгляд, ее хрупкие маленькие ручки в черных кружевных митенках, ее вежливую молчаливость... Ярость закипела в ее крови — все то неистовое, что толкнуло Джералда на убийство, что толкало его предков на преступления, приводившие их в петлю. Ничего не осталось в ней от воспитанных, невозмутимых Робийяров, умевших в холодном спокойствии принимать любые удары судьбы.

— Да бросьте вы мне зубы заговаривать, вы просто трус! Вы боитесь жениться на мне! И со страху женитесь на этой маленькой жалкой дурочке, которая, кроме «да» и «нет», слова произнести не может и нарожает вам таких же трусливых, безъязыких котят, как она сама! И...

— Вы не должны так говорить о Мелани!

— Да пошли вы к черту с вашей Мелани! Кто вы такой — указывать мне, что я должна и чего не должна говорить! Вы трус, вы низкий человек, вы... Вы заставили меня поверить, что женитесь на мне...

— Ну, будьте же справедливы! — взмолился Эшли. — Разве я когда‑нибудь...

Но она не желала быть справедливой, хотя и понимала, что он прав. Его поведение всегда было чисто дружеским, и только, и при мысли об этом ее гнев запылал с удвоенной силой, подогретый уязвленной женской гордостью и самолюбием. Она вешается ему на шею, а он ее знать не хочет! Он предпочел ей эту бесцветную дурочку! Ах, почему она не послушалась наставлений Эллин и Мамушки! Он не должен был даже подозревать о ее чувстве! Пусть бы он никогда‑никогда не узнал об этом — все лучше, чем так сгорать со стыда!

Она вскочила на ноги, сжав кулаки. Он тоже поднялся и стоял, глядя на нее сверху вниз с выражением обреченности и страдания.

— Я буду ненавидеть вас всегда, до самой смерти! Вы низкий, бесчестный... — Она никак не могла припомнить нужное, достаточно оскорбительное слово.

— Скарлетт... поймите...

Он протянул к ней руку, и она с размаху изо всей силы ударила его по лицу. Звук пощечины, нарушивший тишину комнаты, был похож на звонкий удар бича, и внезапно вся ее ярость куда‑то ушла и в сердце закралось отчаяние.

Красное пятно от пощечины отчетливо проступило на его бледном усталом лице. Он молча взял ее безжизненно повисшую руку, поднес к губам и поцеловал. И прежде чем она успела промолвить хоть слово, вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь.

У нее подкосились ноги, и она упала в кресло. Он ушел, и его бледное лицо с красным пятном от пощечины будет преследовать ее до могилы.

Она слышала его затихающие шаги в холле, и чудовищность всего, что она натворила, постепенно все глубже и глубже проникала в ее сознание. Она потеряла его навсегда. Теперь он возненавидит ее и всякий раз, глядя на нее, будет вспоминать, как она навязывалась ему без всякого с его стороны повода.

«Я не лучше Милочки», — внезапно подумала она, припомнив вдруг, как все — а сама она еще пуще других — высмеивали развязное поведение Милочки. Ей живо представилось глупое хихиканье Милочки, повисшей на руке у какого‑нибудь очередного кавалера, припомнились ее неуклюжие ужимки, и она почувствовала, как в ней снова закипает злоба — злоба на себя, на Эшли, на весь мир. Она ненавидела себя и ненавидела всех за свою первую детскую отвергнутую любовь и за свое унижение. В ее чувстве к Эшли немного подлинной нежности сплелось с большой долей тщеславия и самодовольной уверенности в силе своих чар. Она потерпела поражение, но сильнее, чем горечь этого поражения, был страх: что, если она сделалась теперь всеобщим посмешищем? Может быть, она своим поведением так же привлекала к себе внимание, как Милочка? Может быть, все смеются над ней? При этой мысли по спине у нее пробежала дрожь.

Рука ее упала на маленький столик, стоявший возле кресла, пальцы машинально сжали вазу для цветов, на которой резвились два фарфоровых купидона. В комнате было так тихо, что ей захотелось закричать, сделать что‑то, чтобы нарушить эту тишину: ей казалось — еще мгновение, и она сойдет с ума. Она схватила вазу и что было сил запустила ею в камин. Пролетев над диваном, ваза ударилась о мраморную каминную полку и разбилась на мелкие осколки.

— Ну, это уж слишком, — прозвучало из‑за спинки дивана.

От неожиданности и испуга Скарлетт на миг лишилась дара речи и ухватилась за кресло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, а с дивана поднялся Ретт Батлер и отвесил ей преувеличенно почтительный поклон.

— Уже достаточно неприятно, когда твой послеобеденный сон нарушают таким обменом любезностей, какой я вынужден был услышать, но зачем же еще подвергать мою жизнь опасности?

Это было не привидение. Это в самом деле был он. Но боже милостивый, он же все слышал! Призвав на помощь все свое самообладание, Скарлетт постаралась произнести с видом оскорбленного достоинства:

— Сэр, вы должны были оповестить о своем присутствии!

— В самом деле? — Белые зубы сверкнули, темные глаза открыто смеялись над ней. — Но ведь это вы вторглись в мою обитель. Будучи принужден дожидаться мистера Кеннеди и чувствуя, что я, по‑видимому, персона нон‑грата среди собравшихся здесь, я благоразумно освободил их от своей нежелательной особы и удалился сюда, полагая, что тут меня не потревожат. Но, увы! — Он пожал плечами и негромко рассмеялся.

А в ней снова начинало закипать бешенство при мысли о том, что этот грубый, наглый человек мог слышать все — все ее слова, которые она теперь ценой жизни хотела бы вернуть назад.

— Подслушивать... — возмущенно начала она.

— Подслушивая, можно порой узнать немало интересного и поучительного, — ухмыляясь, перебил он ее. — Имея большой опыт по части подслушивания, я...

— Сэр, вы не джентльмен, — отрезала она.

— Очень тонкое наблюдение, — весело заметил он. — Так же, как и вы, мисс, — не леди. — По‑видимому, он находил ее крайне забавной, так как снова негромко рассмеялся. — Разве леди может так поступать и говорить то, что мне довелось здесь услышать? Впрочем, настоящие леди редко, на мой взгляд, бывают привлекательными. Я легко угадываю их мысли, но у них не хватает смелости или недостатка воспитанности сказать то, что они думают. И это временами становится скучным. Но вы, дорогая мисс О’Хара, вы — женщина редкого темперамента, восхитительного темперамента, и я снимаю перед вами шляпу. Я отказываюсь понимать, чем элегантный мистер Уилкс мог обворожить девушку столь пылкого нрава, как вы. Он должен был бы коленопреклоненно благодарить небо за то, что девушка, обладающая такой — как это он изволил выразиться? — «неуемной жаждой жизни», потянулась к нему, а этот малодушный бедняга...

— Да вы не достойны смахнуть пыль с его сапог! — в ярости выкрикнула она.

— А вы будете ненавидеть его до самой смерти! — Он снова опустился на диван, и до нее долетел его смех.

Она убила бы его, если бы могла. Но ей оставалось только уйти, что она и сделала, изо всех сил стараясь сохранить достоинство и с шумом захлопнув за собой тяжелую дверь.

Скарлетт так быстро взлетела вверх по лестнице, что на площадке едва не потеряла сознание. Она стала, ухватившись за перила, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть у нее из груди: боль, гнев, обида раздирали ее душу. Она старалась вздохнуть поглубже, но Мамушка слишком добросовестно затянула на ней корсет. Что будет, если она сейчас лишится чувств и ее найдут здесь, на лестнице? Что все подумают? О, все, что угодно — все они: и Эшли, и этот мерзкий Батлер, и все эти гадкие, завистливые девчонки! Впервые в жизни она пожалела, что не носит с собой нюхательных солей, как другие дамы, но у нее даже флакончика такого не было. Она всегда гордилась тем, что никогда не падает в обморок. Нет, она не допустит себя до этого и сейчас!

Мало‑помалу ощущение дурноты стало проходить. Еще немножко, и она совсем придет в себя, незаметно проскользнет в маленькую гардеробную рядом со спальней Индии, распустит корсет, а потом тихонько прикорнет на кровати подле кого‑нибудь. Она старалась унять сердцебиение и придать своему лицу спокойное выражение, понимая, что, вероятно, у нее сейчас совсем безумный вид. Если кто‑нибудь из девушек не спит, они сразу смекнут: с ней что‑то неладно. А этого нельзя допустить, никто ничего не должен заподозрить.

В большое окно на площадке лестницы ей был виден задний двор и мужчины, отдыхавшие там в креслах под деревьями и в беседке. Как она завидовала им! Какое счастье быть мужчиной и не знать этих страданий, которые выпали ей сейчас на долю!

Чувствуя, как слезы жгут ей глаза, и все еще испытывая легкую дурноту, она вдруг услышала дробный стук копыт по гравию подъездной аллеи и мужской взволнованный голос, громко осведомлявшийся о чем‑то у слуг. Снова послышался звук рассыпающегося под копытами гравия, и Скарлетт увидела всадника, скакавшего по лужайке к группе развалившихся в креслах под деревьями мужчин.

Какой‑то запоздалый гость. Только зачем его конь топчет газон, которым так гордится Индия? Человек этот был ей незнаком, но когда он спешился и схватил за плечо Джона Уилкса, она увидела, что он крайне взволнован и возбужден. Все столпились вокруг него, высокие бокалы с вином и пальмовые веера были забыты на столах и на траве. Даже сюда до нее долетали напряженные, взволнованные, вопрошающие голоса мужчин. Потом над всем этим нестройным гомоном взлетел ликующий, словно на охоте, в гоне, возглас Стюарта Тарлтона:

— Эге‑ге‑гей!

Так Скарлетт, сама о том не подозревая, впервые услышала боевой клич мятежников.

Она видела, как четверо братьев Тарлтонов, а за ними и Фонтейны отделились от группы гостей и бегом устремились к конюшне, крича на ходу:

— Джимс! Эй, Джимс! Седлай, живо!

«У кого‑то пожар», — подумала Скарлетт. Но пожар пожаром, а ей все равно необходимо было улечься в постель, пока ее отсутствие не бросилось в глаза.

Сердце уже билось тише, и она на цыпочках стала подниматься дальше по лестнице. Дом стоял, погруженный в тяжелую жаркую дремоту, словно и он отдыхал, прежде чем во всем блеске восстать вечером от сна в сиянии свечей — под звуки музыки. Скарлетт бесшумно отворила дверь гардеробной, шагнула за порог и замерла, все еще держась за ручку; из неплотно притворенной двери напротив, ведущей в спальню, до нее долетел приглушенный почти до шепота голос Милочки Уилкс:

— Ну, Скарлетт сегодня разошлась вовсю!

Скарлетт почувствовала, как сердце снова сделало бешеный скачок, и она бессознательно прижала руку к груди, словно пытаясь его унять. «Подслушивая, можно порой узнать немало поучительного», — вспомнился ей насмешливый голос. Уйти? Или внезапно появиться перед ними и вогнать Милочку в краску, как она того заслуживает? Но при звуках другого голоса она замерла. Упряжка мулов не сдвинула бы ее теперь с места — она услышала голос Мелани:

— Ах, Милочка, зачем ты так! Не будь злюкой. Скарлетт просто очень живая, жизнерадостная девушка. По‑моему, она очаровательна.

«Только этого не хватало! — подумала Скарлетт, бессознательно вонзая ногти в корсаж. — Теперь еще эта слащавая лицемерка будет за меня заступаться!»

Слышать слова Мелани было тяжелей, чем откровенное злоречие Милочки. Скарлетт не испытывала доверия ни к одной женщине на свете и считала, что все они, кроме ее матери, руководствуются всегда исключительно эгоистическими побуждениями. Мелани знает, что прочно завладела Эшли, и поэтому может позволить себе немножко этакого христианского милосердия. По мнению Скарлетт, это был лишь способ торжествовать победу и одновременно проявлять незлобивость характера. Скарлетт сама не раз прибегала к такой уловке, обсуждая подруг со своими кавалерами, и всякий раз ей удавалось одурачить этих простофиль, заставив их поверить в ее кротость и добросердечие.

— Ну, дорогая, — язвительный голосок Милочки звучал уже громче, — ты, должно быть, слепая!

— Тише, Милочка, — прошипела Салли Манро. — Твой голос разносится по всему дому!

Милочка понизила голос, но не сдалась.

— Да вы же видели, как она кокетничала со всеми мужчинами, которых ей только удавалось подцепить, даже с мистером Кеннеди, а он ухаживает за ее родной сестрой. Это что‑то неслыханное! И она явно заигрывает с Чарлзом. А ведь вы знаете, мы с Чарлзом... — Милочка стыдливо хихикнула.

— Вот как, в самом деле?! — раздались возбужденные восклицания.

— Только никому не говорите, девочки... пока еще не надо!

Заскрипели пружины матраца — кто‑то прыгнул на кровать, чтобы обнять Милочку, кто‑то весело рассмеялся... Мелани негромко прощебетала что‑то о том, как она будет счастлива назвать Милочку своей сестрой.

— Ну, а я так совсем не была бы в восторге, если бы Скарлетт стала моей сестрой. Это самая нахальная девчонка на свете. — Голос Хэтти Тарлтон звучал удрученно. — Но она почти что помолвлена со Стюартом. Брент, правда, уверяет, что Стюарт нужен ей как прошлогодний снег, но ведь Брент сам от нее без ума.

— Если хотите знать, то Скарлетт нужен только один человек, — с таинственной важностью изрекла Милочка. — И этот человек — Эшли!

Перешептывания, восклицания, вопросы за дверью слились в невнятный гул, а Скарлетт похолодела от страха и чувства унижения. Милочка — пустышка, дурочка, совершенная тупица в отношении мужчин — обладала, как видно, инстинктивной проницательностью, когда дело касалось особ ее пола, и Скарлетт этого недооценила. Там, в библиотеке, Эшли и Ретт Батлер ранили ее гордость, уязвили самолюбие, но все это было булавочным уколом по сравнению с тем, что она испытывала сейчас. На мужчин, даже на таких, как этот Батлер, можно положиться — мужчины умеют держать язык за зубами, но язык Милочки, разумеется, сорвется теперь с привязи, как гончая со сворки, и не пробьет еще и шести часов, как она раззвонит ее секрет на всю округу! Джералд прямо как в воду глядел, когда сказал вчера, что не хочет, чтобы вся округа потешалась над его дочерью! И можно себе представить, как они обрадуются! Липкий пот выступил у нее под мышками и заструился по телу.

Спокойный, размеренный, чуть укоризненный голос Мелани на мгновение прорвался сквозь всеобщий гомон:

— Милочка, но ты же сама знаешь, что это неправда. Зачем быть такой злюкой!

— Очень даже правда, Мелли, и если бы ты не старалась изо всех сил видеть в людях только хорошее — даже в тех, в ком хорошего ни на грош, — ты бы сама это заметила. А я рада, что Скарлетт в него втюрилась. Поделом ей. Всю жизнь Скарлетт О’Хара только тем и занималась, что старалась отбить поклонников у всех девушек по очереди и повсюду сеяла рознь... Вы же знаете, что она отбила Стюарта у Индии, хотя он ей вовсе не нужен. А сегодня она пыталась завладеть и мистером Кеннеди, и Эшли, и Чарлзом...

«Я уеду домой! — подумала Скарлетт. — Уеду домой».

Если бы можно было сейчас каким‑нибудь чудом перенестись в Тару, укрыться там, спастись! Очутиться возле Эллин, прижаться к ее юбке, выплакаться, уткнувшись ей в колени, поведать ей все. Она не совладает с собой, если будет слушать еще, — ворвется туда и вцепится Милочке в ее распущенные волосы, выдернет полные пригоршни этих бесцветных волос и плюнет Мелани Гамильтон в лицо — пусть знает, какого она мнения о ее «милосердии». Нет, она и так слишком вульгарно вела себя сегодня, совсем как плебейка, как эта белая рвань, — вот в чем беда!

Она крепко прижала руками юбки, чтобы они не шелестели, и неслышно, как кошка, попятилась назад. «Домой! — думала она, спускаясь по лестнице, спеша через холл, мимо закрытых дверей и тихих безмолвных комнат. — Сейчас же домой!»

Она уже ступила на веранду, когда новая мысль заставила ее замереть на месте: она не может вернуться сейчас домой! Не может так вот взять и убежать! Она должна пройти через это испытание, выдержать злобные выходки всех этих мерзких девчонок, испить до дна и свое унижение, и горечь постигшего ее разочарования. Убежать — значило бы только дать им всем новое против себя оружие.

Скарлетт стукнула кулаком по высокой белой колонне и пожалела, что нет у нее силы Самсона и она не может разрушить этот дом до основания, так, чтобы ни одна душа не уцелела под его развалинами. Но она им еще покажет! Она заставит их пожалеть обо всем. Как это сделать, она еще не знала, но она это сделает. Им еще больнее будет, чем ей.

На миг Эшли — Эшли, предмет ее грез, — был забыт. Сейчас он был для нее не тот высокий мечтательный юноша, которого она любила, а просто неотъемлемая часть всего семейства Уилксов, Двенадцати Дубов, графства Клэйтон — всех, кто сделал ее посмешищем и кого она ненавидела. В шестнадцать лет тщеславие оказалось сильнее любви и вытеснило из ее сердца все, кроме ненависти.

«Я не поеду домой, — подумала она. — Я останусь здесь и заставлю их пожалеть о том, что они тут наговорили. И ничего не скажу маме. Никому не скажу, никогда». Она собралась с духом и повернулась, чтобы возвратиться в дом, подняться по лестнице и зайти в какую‑нибудь другую спальню.

И в эту минуту она увидела Чарлза, входившего в дом с противоположной стороны. Заметив ее, он быстро направился к ней. Волосы у него растрепались, лицо стало пунцовым от волнения.

— Вы слышали, что произошло? — еще издали крикнул он. — Слышали, какую новость привез нам Пол Уилсон? Он только что прискакал из Джонсборо.

Он с трудом перевел дыхание и шагнул к ней. Она молчала и смотрела на него во все глаза.

— Мистер Линкольн поставил под ружье солдат — я имею в виду волонтеров. Семьдесят пять тысяч!

Опять этот мистер Линкольн! Неужели мужчины так‑таки не в состоянии думать ни о чем по‑настоящему важном? И этот дурак, по‑видимому, ждет, что она будет страх как взволнована выкрутасами мистера Линкольна, когда сердце ее разбито, а репутация висит на волоске!

Чарлз смотрел на нее с удивлением. Он заметил, что она бледна как мел, а в ее чуть раскосых зеленых глазах бушует пламя. Такого горящего взора, такого пылающего внутренним жаром девичьего лица ему еще никогда не доводилось видеть.

— Простите мое недомыслие, — произнес он. — Я должен был подготовить вас. Я не подумал о том, как женщины чувствительны. Простите, что я вас так расстроил. Вам дурно? Принести воды?

— Не надо, — сказала Скарлетт и изобразила подобие улыбки.

— Пойдемте, посидим на скамейке, — предложил он и взял ее под локоть.

Она кивнула, и он бережно помог ей спуститься по ступенькам веранды и повел через газон к чугунной скамье под огромным дубом напротив входа в дом. «Какие неясные, хрупкие создания женщины! — думал Чарлз. — При одном упоминании о войне, о жестокости они могут лишиться чувств». Эта мысль усилила в нем сознание собственной мужественности, и он с удвоенной заботливостью усадил Скарлетт на скамью. Ее странный вид поразил его, и вместе с тем ее бледное и какое‑то исступленное лицо было так красиво, что у него жарко забилось сердце. Неужели ее взволновала мысль, что он может уйти на войну? Нет, он слишком много возомнил о себе. Но почему же она так странно смотрит на него? Почему так дрожат ее пальцы, теребя кружевной платочек? И густые темные ресницы трепещут — совсем как в его любимых романах, — словно от смущения и затаенной любви.

Три раза он откашливался, хотел заговорить и не мог. Он опустил глаза — ее пронзительный взгляд, казалось, прожигал его насквозь зеленым огнем, и вместе с тем она смотрела на него, словно бы его не видя.

«Он очень богат, живет в Атланте, родители умерли, никто не будет мне докучать, — пронеслось у нее в голове, и тут же начал созревать план. — Если я сейчас соглашусь стать его женой, то тем самым сразу докажу Эшли, что нисколько он мне не нужен, что я просто дурачилась, хотела вскружить ему голову. А Милочку это, конечно, убьет. Больше ей уже не удастся подцепить себе поклонника, и все умрут со смеху, глядя на нее. И Мелани тоже не очень‑то обрадуется — она ведь так любит брата. И я насолю этим Стю и Бренту...» Почему ей хотелось им насолить, она и сама не очень понимала — может быть, потому, что у них такие противные сестры. «То‑то я утру им всем нос, когда приеду сюда в гости в элегантном ландо с кучей новых туалетов и у меня будет собственный дом. Больше им уж никогда, никогда не удастся посмеяться надо мной».

— Конечно, предстоят бои, — произнес наконец Чарлз после еще двух‑трех неудачных попыток заговорить, — но вы не тревожьтесь, мисс Скарлетт, война закончится в один месяц, услышите, как они взвоют! О да, они взвоют! И я ни за какие блага в мире не хочу остаться от этого в стороне. Боюсь только, что бал сегодня может сорваться, поскольку в Джонсборо назначен сбор Эскадрона. Тарлтоны поехали оповестить всех. Дамы, конечно, будут огорчены.

— О! — проронила Скарлетт, не сумев подыскать ничего более вразумительного, но ее собеседник удовлетворился и этим.

Самообладание начинало возвращаться к ней, мысли прояснялись. Странный холод сковал ее душу, и ей казалось, что отныне уже ничто не согреет ее вновь. Почему бы ей не выйти замуж за этого красивого, пылкого мальчика? Он не хуже других, а ей теперь все равно. Ничто уже никогда не будет ей мило, доживи она хоть до девяноста лет.

— Я только еще никак не могу решить, вступить ли мне в Южно‑Каролинский легион мистера Уэйда Хэмптона или в сторожевое охранение Атланты.

— О! — снова пролепетала она, их глаза встретились, и взмах ее ресниц решил его судьбу.

— Вы согласны ждать меня, мисс Скарлетт? Это было бы неизъяснимым счастьем для меня — знать, что вы ждете моего возвращения домой с победой! — Затаив дыхание, он ожидал ответа, видел, как улыбка шевельнула уголки ее рта, заметил в первый раз тень какой‑то горечи в этой улыбке, и его потянуло прикоснуться губами к ее губам. Ее рука, чуть влажная и липкая от пота, скользнула в его ладонь.

— Я не хочу ждать, — сказала она, и взор ее затуманился.

Он сидел, сжимая ее руку, приоткрыв от изумления рот. Искоса, украдкой наблюдая за ним, Скарлетт холодно подумала, что он похож на удивленного лягушонка. Он что‑то пробормотал, запинаясь, закрыл рот, снова открыл и опять стал пунцовым, как герань.

— Могу ли я этому поверить — вы любите меня?

Она ничего не ответила, просто опустила глаза, и Чарлза охватил восторг, тут же сменившийся невероятным смущением. Наверное, мужчина не должен задавать девушке таких вопросов. И девушке, наверное, не пристало на них отвечать. По свойственной ему робости он еще ни разу не отваживался на такие объяснения и совсем растерялся, не зная, как поступить. Ему хотелось петь, кричать, прыгать по газону, сжать Скарлетт в объятиях, хотелось броситься рассказывать всем, что она любит его. Но он только еще крепче сжал ее руку, отчего кольца больно впились ей в пальцы.

— Мы поженимся сейчас, мисс Скарлетт?

— Угу, — пробормотала она, перебирая складки платья.

— Мы можем сыграть свадьбу в один день с Мел...

— Нет, — быстро сказала она, сердито сверкнув на него глазами.

Чарлз понял, что снова попал впросак. Ну конечно, для каждой девушки свадьба — это большое событие, и она не захочет делить свой триумф с кем‑то еще. Как она добра, что прощает ему все его промахи! Ах, если бы уже стемнело и он под покровом благодатных сумерек мог осмелиться поцеловать ее руку и сказать ей все те слова, что жгли ему язык.

— Когда вы позволите мне поговорить с вашим отцом?

— Чем скорее, тем лучше, — ответила она, думая лишь о том, чтобы он оставил в покое ее руку, прежде чем она будет вынуждена его об этом попросить.

Он вскочил, и ей в первый миг почудилось, что он сейчас запрыгает по газону, как щенок, но чувство достоинства все же возобладало в нем. Он заглянул ей в лицо, его ясные, простодушные глаза сияли. Никто еще не смотрел на нее так, и ей не суждено было еще раз увидеть такой обращенный на нее взгляд другого мужчины, но в своей внутренней отчужденности она подумала только, что глаза у него совсем как у теленка.

— Я пойду и сейчас же разыщу вашего отца, — сказал он, весь лучась улыбкой. — Я не в состоянии откладывать это ни на минуту. Вы не рассердитесь, если я вас покину... дорогая? — Это нежное словечко далось ему с трудом, но единожды совершив такой подвиг, он с наслаждением тут же повторил его снова.

— Нет, — сказала она. — Я подожду вас здесь. Под этим деревом так хорошо и прохладно.

Он пересек газон и скрылся в доме, и она осталась одна под шелестящей кроной дуба. Из конюшен один за другим выезжали всадники; слуги‑негры — тоже верхом — спешили каждый за своим господином. Проскакали мимо братья Манро и прощально помахали ей шляпами, а за ними с гиканьем промчались по аллее Фонтейны и Калверты. Четверо Тарлтонов скакали по газону прямо к ней, и Брент кричал:

— Матушка дает нам своих лошадей! Ого‑го‑го!

Дерн полетел из‑под копыт, юноши умчались, и она снова осталась одна.

Ей казалось, что и белый дом с его устремленными ввысь колоннами тоже отдаляется от нее, надменно и величественно отторгает ее от себя. Он уже никогда не станет ее домом. Эшли никогда не перенесет ее, новобрачную, на руках через этот порог. О, Эшли, Эшли! Что же она натворила! Что‑то шевельнулось на дне души, что‑то, упрятанное глубоко‑глубоко, начинало пробиваться сквозь оскорбленное самолюбие и холодную расчетливость. Скарлетт становилась взрослой, и новое чувство рождалось в ее сердце, чувство более сильное, чем тщеславие и своеволие эгоизма. Она любила Эшли и понимала, что любит его, и никогда еще не был он ей так дорог, как в эту минуту, когда Чарлз исчез за поворотом усыпанной гравием аллеи.

### Глава VII

Минуло две недели, и Скарлетт обвенчалась с Чарлзом, а еще через два месяца стала вдовой. Судьба быстро освободила ее от уз, которыми она так поспешно и бездумно связала себя, но прежние беззаботные дни девичества навсегда остались позади. По пятам за браком пришло вдовство, а за ним — к ее смятению и ужасу — оповестило о своем приближении и материнство.

Впоследствии, вспоминая те апрельские дни 1861 года, Скарлетт обнаружила, что не может восстановить в памяти никаких подробностей. События переплетались, сталкивались, смещались во времени, как в тяжелом сне; они казались нереальными, лишенными смысла. В памяти были провалы, и она знала, что так это и останется навсегда, до самой ее смерти. Особенно смутно припоминались дни, протекшие между ее объяснением с Чарли и свадьбой. Две недели! В мирное время венчание не могло бы последовать за обручением так непостижимо быстро. Потребовался бы пристойный промежуток длиною в год или по меньшей мере в шесть месяцев. Но Юг был уже охвачен пожаром войны, одни события так стремительно сменялись другими, словно их сметал, ревя, ураган, и медленное, размеренное течение времени осталось лишь в воспоминании о былых днях. Эллин, ломая руки, умоляла Скарлетт не спешить со свадьбой, дать себе время подумать. Но Скарлетт — упрямая, насупленная — оставалась глуха к ее мольбам. Она хочет выйти замуж! И как можно быстрее! Через две недели.

Узнав, что свадьба Эшли уже передвинута с осени на первое мая, с тем чтобы он мог присоединиться к Эскадрону, как только начнутся боевые действия, Скарлетт объявила, что ее венчание состоится днем раньше. Эллин возражала, но Чарлз, горя нетерпением отправиться в Южную Каролину и присоединиться к легиону Уэйда Хэмптона, с необычным для него красноречием заклинал ее не откладывать свадьбы, и Джералд стал на сторону жениха и невесты. Его уже охватила лихорадка войны, и, радуясь тому, что Скарлетт делает такую хорошую партию, он не видел причины чинить препоны юным сердцам в такие дни. Эллин, расстроенная, сбитая с толку, в конце концов сложила оружие подобно десяткам других матерей по всему Югу. Их прежний неспешный, праздный мир был перевернут вверх тормашками, и все уговоры, мольбы, молитвы были бессильны перед грозными силами, все сметавшими на своем пути.

Весь Юг был охвачен возбуждением, пьян войной. Все считали, что первый же бой положит конец войне, и молодые люди спешили завербоваться, пока война еще не кончилась, и обвенчаться со своими милыми, после чего можно будет скакать в Виргинию бить янки. Свадьбы играли в графстве дюжинами, и ни у кого уже не оставалось времени погоревать перед разлукой — все были слишком взбудоражены и погружены в хлопоты, чтобы проливать слезы или предаваться тягостным раздумьям. Дамы шили мундиры, вязали носки, скатывали бинты, а мужчины проходили строевую подготовку и упражнялись в стрельбе. Поезда с солдатами ежедневно шли через Джонсборо на север, в сторону Атланты и Виргинии. Одни отряды отборных войск милиции выглядели пестро и весело в голубом, малиновом и зеленом; другая, небольшая часть отрядов была в домотканой одежке и енотовых шапках; третьи были вообще без формы — в суконных сюртуках и тонких полотняных рубашках. И все были недообучены, недовооружены, и все возбужденно, весело кричали и шумели, словно направляясь на пикник. Вид этих вояк повергал в панику юношей графства: они смертельно боялись, что война окончится прежде, чем они попадут в Виргинию, и подготовка к отправке Эскадрона велась усиленным темпом.

И среди всей этой суматохи своим чередом шла подготовка к свадьбе Скарлетт, и не успела она опомниться, как ее уже обрядили в венчальное платье и в фату Эллин, и отец повел дочь под руку по широкой лестнице вниз, в парадные комнаты Тары, где было полным‑полно гостей. Впоследствии ей припоминалось — неотчетливо, словно полузабытый сон, — великое множество горящих свечей в канделябрах и настенных бра, нежное, чуть встревоженное лицо Эллин, ее губы, беззвучно шепчущие молитву, прося счастья для дочери, раскрасневшееся от бренди лицо Джералда, гордого тем, что его дочь подцепила жениха с деньгами и из хорошей семьи, да к тому же еще старинного рода... и лицо Эшли, стоявшего возле лестницы под руку с Мелани.

Увидев выражение его лица, она подумала: «Все это, верно, сон. Этого не может быть. Это страшный сон. Сейчас я проснусь, и сон кончится. Нет, нельзя думать об этом, не то я закричу на весь полный людей дом. Я не должна думать об этом сейчас. Я обо всем подумаю потом, когда найду в себе силы это выдержать... Когда не буду видеть его глаз».

Как во сне она прошла мимо расступившихся, улыбающихся гостей, как во сне взглянула в раскрасневшееся лицо Чарлза, услышала его запинающийся голос и свои слова, звучавшие так ясно, так холодно‑спокойно. А потом были поздравления, и поцелуи, и тосты, и танцы — все как во сне. Даже прикосновение губ Эшли к ее щеке, даже нежный шепот Мелани: «Теперь мы по‑настоящему породнились, стали сестрами», — все, казалось, было нереально. Даже всеобщий переполох, вызванный обмороком тетушки Чарлза мисс Питтипэт Гамильтон — толстой чувствительной старой дамы — все было похоже на страшный сон.

Но когда отзвучали тосты и отгремела бальная музыка, когда начала заниматься заря и все гости из Атланты улеглись спать: кто здесь, в доме, — на кроватях, на кушетках, на циновках, брошенных на пол, кто — в домике управляющего, а все соседи отправились домой отдохнуть перед предстоявшей на следующий день свадьбой в Двенадцати Дубах, — тогда сон внезапно оборвался, разлетелся на мелкие осколки, как хрупкое стекло, не устояв перед вторжением реальности, принявшей облик зардевшегося от смущения Чарлза, появившегося в ночной рубашке из гардеробной и старательно избегавшего ее испуганного взгляда, устремленного на него поверх натянутой до подбородка простыни.

Конечно, она знала, что супружеские пары спят в одной постели, но эта сторона брака никогда не занимала ее мыслей. Это казалось само собой разумеющимся, если речь шла о ее матери и отце, но к ней самой словно бы не имело отношения. И только теперь, впервые после злополучного барбекю, до ее сознания дошло, на что она себя обрекла. Позволить этому чужому юноше, за которого она, в сущности, совсем не хотела выходить замуж, лечь к ней в постель в то время, как душу ее раздирали мучительные сожаления о слишком поспешно принятом решении и дикая тоска по навеки потерянному для нее Эшли, — нет, это было уже выше ее сил. Когда он нерешительно приблизился к постели, она хрипло, торопливо прошептала:

— Я закричу, если вы сделаете еще шаг. Я закричу! Закричу на весь дом! Убирайтесь отсюда! Не смейте прикасаться ко мне!

И Чарлз Гамильтон провел свою первую брачную ночь в большом кресле в углу спальни, не чувствуя себя, впрочем, чрезмерно несчастным, ибо понимал или ему казалось, что он понимает скромность и целомудрие своей невесты. Он готов был бы ждать, пока ее боязнь не пройдет, если бы... если бы не... И стараясь поудобнее устроиться в кресле, он тяжело вздыхал — ведь скоро ему предстояло идти воевать.

Если ее собственная свадьба была подобна страшному сну, то свадьба Эшли стала для нее еще более тяжким испытанием. Она стояла в своем яблочно‑зеленом, сшитом специально для второго дня свадьбы платье в гостиной Двенадцати Дубов среди жаркого сияния сотен свечей в точно такой же толпе гостей, как накануне, и видела расцветавшее от счастья простенькое личико Мелани Гамильтон, отныне Мелани Уилкс, видела, как оно, преображаясь, становится красивым. И она думала о том, что теперь Эшли ушел от нее навсегда. Ее Эшли. Нет, уже не ее. Да и был ли он когда‑нибудь ее? Все спуталось у нее в мозгу — она так устала, так истерзана. Он ведь сказал, что любит ее, но что‑то их разлучило. Что же? Если бы она могла припомнить... Она вышла замуж за Чарлза и заставила всех сплетниц округи прикусить языки, но какое это имело теперь значение? Когда‑то это казалось ей очень важным, а сейчас утратило всякую цену в ее глазах. Единственное, что было важно, — это Эшли. А он теперь потерян для нее, и она замужем за человеком, которого не только не любит, хуже того — презирает.

Ах, какие муки сожалений испытывала она! Ей не раз доводилось слышать поговорку: «Жабу готов проглотить, лишь бы другим насолить», но только теперь до нее полностью дошел смысл этих слов. Потому что к отчаянному желанию снова стать свободной от Чарлза, от брачных уз, стать незамужней девчонкой, вернуться под надежный отчий кров примешивалось мучительное сознание, что ей некого винить, кроме себя самой. Эллин пыталась удержать ее от этого шага, а она ее не послушалась.

Как в тумане, протанцевала она всю ночь, ночь свадьбы Эшли, до утра, смеялась, улыбалась, машинально произносила какие‑то слова и, без особых на то оснований, удивлялась глупости окружающих, видевших в ней только счастливую молодую супругу и не понимавших, что сердце ее разбито. Да, слава богу, они ничего не понимали!

В эту ночь, после того как Мамушка помогла ей раздеться и удалилась и Чарлз стыдливо появился из гардеробной, полный опасений, не придется ли ему и вторую брачную ночь провести в жестком, набитом конским волосом кресле, она внезапно разрыдалась. Она плакала, и Чарлз, наконец, лег рядом с ней и попытался ее утешить, а она все плакала, беззвучно, пока не иссякли слезы, а потом заснула, тихонько всхлипывая, на его плече.

Не будь войны, всю следующую неделю новобрачные разъезжали бы по графству, отдавая визиты, всю неделю бы шли балы и устраивались пикники в честь двух молодых пар, после чего они отправились бы в свадебное путешествие в Саратогу или Уайт Салфор. Не будь войны, Скарлетт сшили бы новые платья для приемов в ее честь на третий, четвертый и пятый день — у Фонтейнов, Калвертов и Тарлтонов. Но шла война, и не было ни приемов, ни свадебных путешествий. Через неделю после венчания Чарлз уехал, чтобы присоединиться к полковнику Уэйду Хэмптону, а две недели спустя отбыл и Эшли с Эскадроном, оставив всех родных и друзей горевать и ждать.

За эти две недели Скарлетт ни разу не виделась с Эшли наедине, не обмолвилась с ним ни единым словом с глазу на глаз. Даже в страшную минуту прощанья, когда он завернул в Тару по дороге на станцию, они ни на секунду не оставались вдвоем. Мелани, в шляпке и шали, еще более сдержанная, уравновешенная в своей новой роли замужней женщины, держала его под руку, и все обитатели усадьбы — как белые, так и черные — высыпали во двор проводить мистера Эшли на войну.

Мелани сказала:

— Ты должен поцеловать Скарлетт, Эшли. Она стала мне сестрой теперь. — И Эшли наклонился к ней и прикоснулся холодными губами к ее щеке. Лицо у него было замкнутое, напряженное. Поцелуй этот не доставил Скарлетт радости — ведь Эшли поцеловал ее по подсказке Мелани, и сердце ее было полно угрюмой злобы. Мелани же, прощаясь, чуть не задушила ее в объятиях.

— Непременно, непременно приезжайте в Атланту проведать меня и тетушку Питтипэт! О дорогая, мы так хотим, чтобы вы приехали! Мы хотим поближе узнать жену нашего Чарли!

Прошло пять недель. От Чарлза из Южной Каролины летели письма, полные любви, планов на будущее по окончании войны, стремления совершать подвиги на поле боя в честь Скарлетт и пылкого преклонения перед своим полковым командиром Уэйдом Хэмптоном. А на седьмой неделе пришла телеграмма от самого полковника Хэмптона и следом за телеграммой — письмо с выражением почтительного соболезнования и добрых пожеланий. Чарлза не стало. Полковник известил бы о его болезни раньше, но Чарлз считал ее пустяковой и не хотел попусту тревожить близких. Судьба обманула незадачливого мальчика, не подарив ему ни любви, которую, как ему казалось, он завоевал, ни воинских подвигов на полях сражений. Он умер бесславно и быстро от кори, осложнившейся пневмонией, не успев покинуть лагеря в Южной Каролине, не успев встретиться в бою ни с одним янки.

В положенный срок появился на свет сын Чарлза, и, следуя моде того времени, его нарекли по имени командира его покойного отца — Уэйдом Хэмптоном Гамильтоном. Скарлетт, открыв, что она беременна, рыдала от отчаяния и призывала к себе смерть. Но носила она ребенка, не испытывая никаких неудобств, роды протекли на диво легко, и оправилась она после них так быстро, что вызвала тайное неодобрение Мамушки: благородным дамам положено, мол, мучиться дольше. К ребенку Скарлетт не чувствовала особой привязанности, хотя и умела это скрывать. Она не хотела ребенка, всем своим существом восставала против его появления на свет, и, когда он все‑таки появился, ей как‑то не верилось, что он — частица ее самой.

Хотя физически она и оправилась после родов в непозволительно короткий срок, душа ее была больна и потрясена, дух сломлен, и усилия всех обитателей поместья не могли возродить ее к жизни. Эллин ходила хмурая, тень заботы постоянно омрачала теперь ее чело, а Джералд бранился и сквернословил пуще прежнего и привозил Скарлетт бесполезные подарки из Джонсборо. Даже старый доктор Фонтейн был озадачен: его настойка из серы, трав и черной патоки не помогала Скарлетт воспрянуть духом. Он поведал Эллин свою догадку: сердце Скарлетт разбито, и от этого она то раздражается по пустякам, то впадает в апатию. Но Скарлетт, пожелай она признаться в этом, могла бы сказать им, что состояние ее объясняется совсем иными и куда более сложными причинами: смертельной скукой и обузой материнства, а главное — исчезновением из ее жизни Эшли. Вот что ее угнетало.

Острая, убийственная скука никогда не покидала ее. После отбытия Эскадрона во всем графстве прекратились всякие развлечения и празднества. Все интересные молодые люди уехали на войну: все четверо братьев Тарлтонов, оба брата Калверты, Фонтейны, Манро, да и в Джонсборо, и в Фейетвилле, и в Лавджое не осталось молодых привлекательных мужчин. Никого, кроме пожилых людей, калек и женщин, проводивших время за вязаньем и шитьем или старавшихся вырастить для армии больше хлопка, больше кукурузы, больше овец, свиней, коров. Единственным мужчиной, появлявшимся на горизонте Скарлетт, был не слишком молодой уже обожатель Сьюлин, командир интендантского отряда Фрэнк Кеннеди, приезжавший раз в месяц собрать поставки для армии. Среди его интендантов не на кого было посмотреть, а робкие ухаживания Фрэнка за Сьюлин приводили Скарлетт в такое раздражение, что ей стоило немало труда держаться с ним учтиво. Скорей бы уж они со Сьюлин довели это дело до конца!

Впрочем, если бы даже среди интендантов нашлись интересные мужчины, для нее ничего бы от этого не изменилось. Она была вдова, и сердце ее умерло и погребено в могиле. По крайней мере, так полагали все и ждали, что соответственно этому она и будет себя вести. Это бесило Скарлетт, ибо, какие бы она ни прилагала старания, ей не удавалось воскресить в памяти образ Чарлза — вспоминался лишь томный взгляд его телячьих глаз в то мгновение, когда он понял, что она согласна стать его женой. И даже это воспоминание тускнело с каждым днем. Тем не менее положение вдовы обязывало ее быть осмотрительной в своих поступках. Девичьи развлечения теперь не для нее. Она должна держаться степенно, с достоинством. Эллин настойчиво и пространно внушала ей это, после того как застала ее раз в саду с лейтенантом из отряда Фрэнка Кеннеди. Он качал Скарлетт на качелях, и она заливалась хохотом. Эллин, очень расстроенная, постаралась втолковать ей, как легко молодая вдова может дать пищу для пересудов. Вдова должна вести себя еще строже, чем замужняя дама.

«Господи, замужние женщины и так лишены всяких развлечений! — думала Скарлетт, послушно внимая мягким укорам матери. — А вдова, значит, должна просто заживо уложить себя в могилу».

Вдова обязана носить омерзительное черное платье без единой ленточки, тесемочки, кусочка кружев, — даже цветок не должен его оживлять, даже украшения, — разве что траурная брошь из оникса или колье, сплетенное из волос усопшего. Черная креповая вуаль должна непременно ниспадать с чепца до колен, и только после трех лет вдовства она может быть укорочена до плеч. Вдова ни в коем случае не должна оживленно болтать или громко смеяться. Она может позволить себе улыбнуться, но лишь печальной, трагической улыбкой. И что ужаснее всего, вдова не может проявлять ни малейшего интереса к обществу мужчин. А если кто‑нибудь из джентльменов окажется столь невоспитан, что проявит к ней интерес, с достоинством и к месту упомянутое имя покойного супруга должно немедленно превратить наглеца в соляной столб. «Конечно, — мрачно думала Скарлетт, — бывает все же, что вдовы выходят замуж вторично — чаще всего уже превратившись в жилистых старух, но одному только богу известно, как им это удается под неусыпным оком добрых соседей. И притом на них женится обычно какой‑нибудь доведенный до отчаяния вдовец с большой плантацией и дюжиной ребятишек».

Брак сам по себе был достаточно тяжким испытанием, но вдовство означало, что жизнь кончена навсегда! Как глупо рассуждают те, кто говорит, что маленький Уэйд Хэмптон должен служить для нее огромным утешением теперь, когда Чарлза не стало. Как нелепо их утверждение, что у нее появилась цель жизни! Все в один голос кричат, как это прекрасно, что он оставил ей залог своей любви. Она, конечно, не пытается поколебать их иллюзий. Но сколь же все они далеки от истины! Уэйд меньше всего занимает ее мысли, и порой она даже с трудом вспоминает о том, что он — ее сын.

Каждое утро в полудреме, предшествующей пробуждению, она снова была прежней Скарлетт О’Хара, и солнце играло в зелени магнолии за ее окном, и пересмешники свиристели, и аппетитный запах жареной грудинки щекотал ей ноздри. И она снова была молода и беззаботна. А потом раздавался жалобный крик крошечного проголодавшегося существа, и всякий раз в первый миг было только удивление, и мелькала мысль: «Что это — у нас в доме ребенок?» И тут же она спохватывалась: «Да это же мой сын!» И внезапное возвращение к действительности было тягостным.

А затем — Эшли! О, каждый миг снова Эшли, Эшли! Впервые в жизни она возненавидела Тару, возненавидела длинную красную дорогу, ведущую с холма к реке, возненавидела красные поля с прозеленью хлопка. Каждая пядь земли, каждое дерево и каждый ручей, каждая тропинка и верховая тропа напоминали ей о нем. Он принадлежал другой женщине и ушел на войну, но его призрак все еще незримо бродил в сумерках по дорогам, и мечтательные серые глаза улыбались ей из затененного угла веранды. И если на дороге, ведущей от Двенадцати Дубов вдоль реки, раздавался стук подков, сердце ее сладко замирало на миг — Эшли!

Она возненавидела теперь и Двенадцать Дубов, которые когда‑то так любила. Она и ненавидела эту усадьбу, и против воли стремилась туда, чтобы услышать, как Джон Уилкс и его дочки говорят об Эшли, как они читают вслух его письма из Виргинии. Ей было больно, но она не могла не слушать. Ей претили чопорность Индии и глупая болтовня Милочки, и она знала, что они ее тоже терпеть не могут, но не ездить к ним было выше ее сил. И всякий раз, вернувшись из Двенадцати Дубов, она угрюмо бросалась на постель и отказывалась спуститься к ужину.

Именно эти отказы от пищи больше всего беспокоили Эллин и Мамушку. Последняя появлялась в ее комнате с подносом, уставленным соблазнительными яствами, вкрадчиво давая понять, что теперь, став вдовой, она может есть сколько ее душеньке угодно. Но у Скарлетт не было аппетита.

Доктор Фонтейн с сумрачным видом сказал однажды Эллин, что есть примеры, когда от безутешной скорби женщины начинали чахнуть и сходили в могилу, — Эллин побледнела: та же мысль глодала и ее.

— Что же нам делать, доктор?

— Перемена обстановки была бы для нее лучшим лекарством, — сказал доктор, больше всего озабоченный тем, чтобы сбыть с рук трудную пациентку. И вот Скарлетт вместе с младенцем отправилась, хотя и без особой охоты, навестить своих родственников О’Хара и Робийяров в Саванне, а затем сестер Эллин — Полин и Евлалию — в Чарльстоне. Но совершенно неожиданно для Эллин, ожидавшей ее на месяц позже, она без всяких объяснений возвратилась домой. В Саванне Скарлетт был оказан самый радушный прием, но какая скука сидеть смирненько с этими стариками — Джеймсом и Эндрю и их женами — и слушать, как они вспоминают былое, которое ничуть не интересовало Скарлетт! То же повторилось и у Робийяров, а Чарльстон, по мнению Скарлетт, был омерзителен.

Тетушка Полин и ее супруг, маленький, хрупкий, церемонно‑вежливый старичок с отсутствующим взглядом, бродивший мыслями где‑то в прошлом веке, жили на плантации еще более уединенной, чем Тара, на берегу реки. До ближайшего поместья было добрых двадцать миль сумрачными дорогами, через пустынные дубовые рощи, заросли кипариса и болота. При взгляде на виргинские дубы, оплетенные серой бахромой мха, Скарлетт пробирала дрожь: они пробуждали в ней воспоминания об ирландских духах, бродящих в мерцающем сером тумане, о которых часто рассказывал ей в детстве Джералд. Заняться здесь было совершенно нечем, и целыми днями она вязала, а вечерами слушала, как дядюшка Кэри читал вслух нравоучительные творения Булвер‑Литтона.

В Чарльстоне, в большом доме тетушки Евлалии, скрытом от глаз за высокой оградой и садом, было так же тоскливо. Скарлетт, привыкшей к свободным просторам полей и пологих красных холмов, все время казалось, что она в тюрьме. Жили здесь не столь замкнуто, как у тетушки Полин, но Скарлетт не нравились посещавшие этот дом люди — их чопорность, приверженность традициям, подчеркнутая кастовость. В их глазах она была плодом мезальянса. Все они дивились про себя, как одна из Робийяров могла выйти замуж за пришлого ирландца, и Скарлетт угадывала их мысли. Она чувствовала, что тетушка Евлалия постоянно просит для нее снисхождения за ее спиной. Это ее бесило, так как она не больше дорожила родовитостью, чем ее отец. Она гордилась Джералдом, сумевшим выбиться в люди без посторонней помощи, исключительно благодаря своей ирландской сметке.

К тому же чарльстонцы приписывали себе слишком большие заслуги в овладении фортом Самтер! Боже милостивый, неужели эти тупицы не понимали: если бы даже у них хватило ума не стрелять, рано или поздно выстрелил бы какой‑нибудь другой идиот, и война все равно бы началась. Даже их тягучая речь казалась ей, привыкшей к быстрому, живому говору Северной Джорджии, жеманной. Порой она боялась, что заткнет уши и завизжит, если еще раз услышит «паалмы» — вместо «пальмы» или «маа» и «паа» — вместо «ма» и «па». Все это ее так раздражало, что во время одного официального визита она, к вящему огорчению тетушки Евлалии, заговорила с провинциальным ирландским акцентом, ловко имитируя произношение Джералда. После этого она вернулась домой. Лучше терзаться думами об Эшли, чем терзать свои уши чарльстонской речью.

Эллин, дни и ночи проводившая в трудах, стараясь поднять доходность имения на благо Конфедерации, пришла в ужас, когда ее старшая дочь — худая, бледная, злоязычная — возвратилась домой. Ночь за ночью, лежа рядом с безмятежно похрапывающим Джералдом, Эллин вспоминала, как сама пережила когда‑то невозвратимую утрату, и ломала себе голову, пытаясь придумать, чем облегчить страдания дочери. Тетушка Чарлза, мисс Питтипэт Гамильтон, уже не раз писала ей, настойчиво прося отпустить Скарлетт погостить у них в Атланте, и теперь Эллин впервые всерьез задумалась над этим предложением.

Тетушка и Мелани жили одни в большом доме, «без всякой мужской опеки теперь, когда не стало нашего дорогого Чарлза», писала мисс Питтипэт. «Конечно, есть еще мой брат Генри, но он не живет под одним с нами кровом. Вероятно, Скарлетт поведала Вам о Генри. Деликатность не позволяет мне более подробно касаться этой темы в письме. А нам с Мелани будет много легче и спокойней, если Скарлетт приедет погостить у нас. Одиноким женщинам втроем лучше, чем вдвоем. И может быть, дорогая Скарлетт найдет для себя утешение в горе, как делает это Мелани, ухаживая за нашими храбрыми мальчиками в здешнем госпитале, ну, и конечно, и Мелани и я жаждем увидеть ее драгоценного малютку...»

Словом, вдовьи одеянья Скарлетт снова были собраны в дорогу, и она отбыла в Атланту с Уэйдом Хэмптоном, его нянькой Присей, сотней конфедератских долларов от Джералда и кучей наставлений, как ей надлежит себя вести, от Мамушки и Эллин. Не очень‑то хотелось Скарлетт ехать в Атланту. Тетушка Питти в ее представлении была на редкость глупой старухой, и Скарлетт претила мысль о том, чтобы жить под одной крышей с женой Эшли. Но оставаться дома, где воспоминания обступали ее со всех сторон, стало для нее невыносимо, и она готова была бежать куда глаза глядят.

## Часть 2

### Глава VIII

Майским утром 1862 года поезд уносил Скарлетт на север. При всей своей неприязни к Мелани и мисс Питтипэт, Скарлетт не без любопытства думала о переменах, которые могли произойти в Атланте с прошлой, еще довоенной, зимы, когда она последний раз побывала там, и о том, что как‑никак этот город не может быть столь же невыносимо скучен, как Чарльстон или Саванна.

Атланта с детства интересовала Скарлетт больше других городов потому, что, по словам Джералда, этот город был ее ровесником. Джералд, как обычно, слегка погрешил против истины ради красного словца, и Скарлетт с годами это поняла, — но так или иначе, Атланта все равно была лишь на девять лет старше ее и, следовательно, необычайно молода по сравнению с другими городами. Саванна и Чарльстон были старые, почтенные города — один приближался к концу своего второго столетия, другой уже шагнул в третье, и в глазах Скарлетт они были городами‑бабушками, мирно греющими на солнце свои старые кости, обмахиваясь веерами. Атланта же принадлежала к одному с ней поколению — молодой, своевольный, необузданный город, под стать ей самой.

А ее ровесником Джералд сделал этот город потому, что свое последнее крещение Атланта получила в один год со Скарлетт. За девять лет до этого город сначала назывался Терминус, потом Мартасвилл и только в год рождения Скарлетт был переименован в Атланту.

Когда Джералд прибыл в Северную Джорджию, Атланты не было еще и в помине, не было даже крошечного поселка — сплошная дичь и глушь. Но уже в следующем, 1836 году штат утвердил проект прокладки железной дороги на северо‑запад — через только что очищенную от индейцев чероки территорию. Конечный пункт этой дороги — штат Теннесси на Западе — был уже четко обозначен, но откуда она должна была взять свое начало в Джорджии, никто толком не знал, пока годом позже некий безымянный строитель не воткнул палку в красную глину, обозначив исходную южную точку дороги и место будущего города Атланты, поначалу названного просто Терминус, то есть конечная станция.

В те годы в Северной Джорджии еще не проложили железных дорог, да и вообще они были тогда редкостью. Но незадолго до того года, когда Джералд сочетался браком с Эллин, крошечная фактория в двадцати пяти милях к северу от Тары превратилась в деревушку, и полотно будущей железной дороги медленно поползло от нее на север. А потом началась эра повсеместной прокладки железных дорог. От старого города Огасты потянулась через штат другая дорога — на запад, на пересечение с новой дорогой на Теннесси. Из другого старого города — Саванны — началось строительство третьей железной дороги — сначала до Мэйкона, в Центральной Джорджии, а затем на север, через графство, где поселился Джералд, до Атланты, для соединения с двумя упомянутыми выше дорогами, что обеспечивало Саваннской гавани связь с западными территориями. А потом из этого железнодорожного узла, из молодого города Атланты, была проложена четвертая железная дорога — на юго‑запад до Монтгомери и Мобайла.

Рожденный железными дорогами город рос и развивался вместе с ними. Когда все четыре железнодорожные линии были завершены, Атланта обрела прямую связь с западом, с югом и с побережьем, а через Огасту — с севером и востоком. Оказавшись на пересечении всех путей, маленькая деревушка расцвела.

За короткий промежуток времени — Скарлетт тогда исполнилось семнадцать лет — на том месте, где в красную глину была воткнута палка, вырос преуспевающий городок Атланта, насчитывавший десять тысяч жителей и приковывавший к себе внимание всего штата. Более старые и более степенные города, взирая на кипучий молодой город, чувствовали себя в положении курицы, неожиданно высидевшей гусенка. Почему Атланта приобретала столь отличный от всех других городов Джорджии облик? Почему она так быстро росла? В конце концов она же ничем особенным похвалиться не могла, если не считать железных дорог и кучки весьма предприимчивых людей.

Ничего не скажешь, первые поселенцы, обосновавшиеся в Терминусе, переименованном затем в Мартасвилл, а позже в Атланту, бесспорно, были людьми предприимчивыми. Деятельные, энергичные, они стекались из ранее освоенных областей Джорджии, да и из других отдаленных штатов в этот разраставшийся вокруг железнодорожного узла городок. Они приезжали сюда, исполненные веры в будущее. И строили свои склады и магазины по обочинам пяти красных раскисших дорог, пересекавшихся позади вокзала. Они воздвигали добротные дома на Уайтхолле, и на улице Вашингтона, и вдоль подножия высокого холма, где мокасины многих поколений индейцев протоптали путь, именуемый Персиковой тропой. Они гордились своим городом, гордились его быстрым ростом и собой, ибо это благодаря их усилиям он рос. Старые города могли давать Атланте какие угодно прозвища. Атланта не придавала этому значения.

Атланта привлекала Скарлетт именно тем, что заставляло Саванну, Огасту и Мэйкон относиться к этому городу с презрением. В Атланте, как и в ней самой, старое причудливо переплелось с новым, и в этом единоборстве старое нередко уступало своеволию и силе нового. А сверх того, некоторую роль играли в этом и чисто личные причины — Скарлетт увлекала мысль о том, что этот город родился или, во всяком случае, был крещен одновременно с ней.

Ночь, проведенная в дороге, была ветреной и дождливой, но когда поезд прибыл в Атланту, жаркое солнце уже храбро взялось за работу и трудилось вовсю, стараясь высушить улицы, превратившиеся в потоки и водовороты грязи. Глинистая площадь перед вокзалом, вдоль и поперек изрытая колесами и копытами, представляла собой жидкое месиво, наподобие тех луж, в которых любят поваляться свиньи, и несколько повозок уже увязло в этом месиве по самые ступицы. Сквозь сутолоку и грязь беспрерывной вереницей тянулись через площадь армейские фургоны и санитарные кареты, выгружая из вагонов боеприпасы и раненых, мулы тонули в этой жиже, возницы чертыхались, фонтаны грязи летели из‑под колес.

Скарлетт стояла на нижней подножке вагона — бледная и очаровательная в своем черном траурном платье с траурным крепом почти до пят. Она не решалась ступить на землю, боясь испачкать туфли и подол платья; оглядываясь по сторонам, ища глазами среди всех этих громыхающих повозок, колясок и карет пухленькое розовощекое личико мисс Питтипэт, она увидела, что к ней, с видом важным и величественным, направляется, шлепая по лужам, худой старый седовласый негр со шляпой в руке.

— А это, сдается мне, мисс Скарлетт? А я Питер — кучер мисс Питтипэт. Стойте, не лезьте в такую грязь! — сердито остановил он Скарлетт, которая, подобрав юбки, уже готова была спрыгнуть с подножки. — Вы, глядишь, не лучше мисс Питти, она что твое дитя малое — завсегда ноги промачивает. Давайте‑ка я вас снесу.

Он поднял Скарлетт на руки — поднял легко, невзирая на свой возраст и хилый вид, — и, заметив Присей, стоявшую на площадке вагона с ребенком на руках, спросил:

— А эта девчушка — ваша нянька, что ли? Молода еще, чтобы нянчить единственного сыночка мистера Чарлза — вот что я вам скажу, мисс Скарлетт. Ну, да об этом опосля. Ступай за мной, да смотри ребенка‑то не урони!

Скарлетт кротко выслушала нелестный отзыв о своем выборе няньки, высказанный весьма безапелляционным тоном, и столь же кротко позволила старику негру подхватить себя на руки. Пока он нес ее через площадь к коляске, а Присей, надув губы, шлепала за ним по лужам, ей припомнилось, что рассказывал Чарлз про «дядюшку Питера»:

«Всю Мексиканскую кампанию он проделал бок о бок с отцом, выхаживал его, когда отец был ранен, короче говоря, спас ему жизнь. Он же, в сущности, и вырастил нас с Мелани, ведь мы остались совсем крошками после смерти отца и матери. Тетя Питти в то время рассорилась с дядей Генри, своим братом, переехала жить к нам и взяла на себя заботы о нас. Только она совершенно беспомощное создание, этакий славный добрый большой ребенок, и дядюшка Питер так к ней и относится — как к ребенку. Даже для спасения собственной жизни она ни по какому, самому простому вопросу не в состоянии принять самостоятельного решения, так что дядюшка Питер должен все решать за нее. Это он, когда мне сравнялось пятнадцать лет, решил, что надо увеличить сумму, отпускаемую на мои карманные расходы, и он же настоял, чтобы я заканчивал свое образование в Гарварде, в то время как дядя Генри хотел, чтобы я окончил местный университет. И когда Мелани подросла, тот же дядюшка Питер решал, можно ли уже позволить ей делать прическу и выезжать в свет. По его слову тетя Питти должна оставаться дома и не ездить с визитами, если он находит, что на дворе слишком холодно или слишком сыро, и он же указывает ей, когда нужно надеть шаль... Он самый умный, сметливый негр из всех, каких мне доводилось видеть, и самый преданный. Беда лишь в том, что все мы трое, со всеми потрохами, находимся в его безраздельной личной собственности, и он это превосходно понимает».

Слова Чарлза нашли подтверждение, как только дядюшка Питер влез на козлы и взял в руки кнут.

— Мисс Питти крепко расстроилась, что не поехала вас встретить. Боится, вы, может, не поймете, но я сказал ей, чтоб не ехала: они с мисс Мелли только в грязи выпачкаются и новые платья себе испортят. Ну, а я сам все вам растолкую. Мисс Скарлетт, вы бы взяли ребеночка‑то на руки. Как бы эта пигалица его не уронила.

Скарлетт покосилась на Присей и вздохнула. Присей, конечно, была не лучшей из нянек. Недавнее превращение из тощей девчонки в короткой юбке, с тугими, торчащими в разные стороны косичками, в солидную особу в длинном ситцевом платье и белом накрахмаленном тюрбане приводило ее в состояние радостного возбуждения. Она никак не могла бы достичь столь высокого положения в столь раннюю пору жизни, если бы не война с ее неотложными запросами. Интендантская служба предъявляла свои требования к поставкам с Тары, и Эллин просто не могла обойтись без Мамушки или Дилси, или даже Розы или Тины. Присей еще ни разу в жизни не удалялась от Тары и Двенадцати Дубов больше чем на милю, и путешествие в поезде да еще в непривычном высоком звании няньки оказалось почти непосильным испытанием для ее бедного маленького умишка. Двадцатимильный переезд от Джонсборо до Атланты так ее взбудоражил, что Скарлетт пришлось все время самой держать ребенка на руках. Теперь же зрелище никогда не виданного скопления домов и людей окончательно деморализовало Присей. Она подпрыгивала на сиденье и вертелась во все стороны, так при этом подбрасывая ребенка, что он стал жалобно хныкать.

А Скарлетт с тоской вспоминала старые пухлые руки Мамушки, которой стоило только прикоснуться к ребенку, чтобы он тотчас затих. Но Мамушка осталась в Таре, и тут уж ничего нельзя было поделать. А брать маленького Уэйда к себе на руки не имело смысла. У нее на руках он будет орать ничуть не меньше, чем у Присей, да еще станет хвататься за ленты и стягивать с нее чепец и, конечно, помнет ей платье. И Скарлетт сделала вид, что не расслышала слов дядюшки Питера.

«Может быть, я со временем и научусь обращаться с детьми, — с досадой думала Скарлетт, трясясь в коляске, с трудом выбиравшейся из привокзальной грязи. — Но все равно мне никогда не доставит удовольствия сюсюкать над ними». И видя, что личико ребенка совсем побагровело от крика, она сказала раздраженно:

— Дай ему соску с сахаром, Присей, она у тебя в кармане. Сделай что‑нибудь, уйми ребенка. Он, понятно, голоден, но я же сейчас ничем не могу помочь.

Присей достала сахар, завернутый в марлю, который сунула ей утром на дорогу Мамушка, и ребенок затих, а Скарлетт стала поглядывать по сторонам, и ее настроение немного поднялось. Когда дядюшке Питеру удалось наконец выволочь коляску из глинистых рытвин и выбраться на Персиковую улицу, она почувствовала, что любопытство впервые за многие месяцы снова пробуждается в ней. Как вырос город! Всего лишь год с небольшим назад была она здесь в последний раз, и казалось просто непостижимым, что маленькая Атланта могла так перемениться за столь короткий срок.

Весь прошедший год Скарлетт была так погружена в свои несчастья, а постоянные разговоры о войне так ей прискучили, что она оставалась в неведении тех коренных перемен, которые начали совершаться в Атланте, лишь только прогремели первые выстрелы. Железные дороги, сделавшие Атланту центром пересечения всех торговых путей в мирное время, приобрели в дни войны важное стратегическое значение. Расположенный вдали от района боевых действий, город этот с его железнодорожным узлом стал связующим звеном между двумя армиями Конфедерации — армией Виргинии и армией Теннесси и Запада. И через ту же Атланту шли пути, соединявшие обе эти армии с глубинным Югом, откуда они черпали все необходимое для фронта. А теперь, отвечая нуждам войны, Атланта становилась и промышленным центром, и военно‑санитарной базой, и главным арсеналом, и складом продовольствия, поступавшего для сражавшихся армий Юга.

Скарлетт глядела во все глаза, тщетно ища приметы того маленького городка, который был ей так хорошо знаком. Его не стало. Представший ее взору город был похож на младенца, в одну ночь превратившегося в огромного шумного неуклюжего детину.

Атланта гудела, как растревоженный улей, гордая сознанием своего значения для Конфедерации. И день, и ночь здесь шла работа — сельскохозяйственный край стремительно превращался в индустриальный. До войны южнее Мэриленда почти не было ни хлопкопрядильных, ни шерстомотальных фабрик, ни арсеналов, ни заводов — обстоятельство, коим всегда гордились южане. Юг поставлял государственных деятелей и солдат, плантаторов и врачей, адвокатов и поэтов, но уж никак не инженеров или механиков. Эти низменные профессии были уделом янки. Но теперь, когда военные корабли северян блокировали порты конфедератов и лишь ничтожное количество грузов могло просочиться сюда из Европы, Юг начал предпринимать отчаянные попытки самостоятельно производить боевую технику. Север мог со всех концов мира получать боеприпасы и подкрепление — тысячи ирландцев и немцев, привлеченные щедрыми посулами, пополняли ряды армии северян. Юг мог рассчитывать только на себя.

В Атланте механические мастерские упорно и кропотливо перестраивали станки на производство боевой техники — кропотливо, ибо на Юге почти не было для этого образцов и чуть ли не каждый винтик и каждую шестеренку приходилось изготовлять по чертежам, доставляемым, минуя блокаду, из Англии. Немало чужеземных лиц можно было теперь встретить на улицах Атланты, и жители, чье внимание год назад сразу привлекал к себе даже легкий акцент уроженцев Запада, перестали подмечать непривычную для их слуха речь европейцев, проникавших в город через блокированные порты, чтобы делать станки и производить снаряжение для армии конфедератов. Все это были умелые люди, без которых Конфедерация не получила бы своих пистолетов, винтовок, пушек и пороха.

Казалось, можно было слышать, как пульсирует сердце города, как оно неустанно, день и ночь гонит по железнодорожным артериям военное снаряжение к двум сражавшимся армиям. В любое время суток ревели гудки паровозов: прибывали одни поезда, отбывали другие. Сажа из вознесшихся над городом фабричных труб оседала на белые стены домов. Всю ночь пылали горны, и удары молотов еще долго продолжали громыхать, в то время как жители уже покоились в своих постелях. Там, где год назад тянулись пустыри, теперь работали мастерские, изготовляя седла, упряжь, подковы; оружейные заводы производили винтовки и пушки; прокатные и литейные цеха — рельсы и товарные вагоны, которые должны были заменить те, что были уничтожены северянами. А на множестве различных предприятий выпускались пуговицы, шпоры, хомуты, палатки, уздечки, пистолеты и сабли. Литейные уже начинали ощущать нехватку металла, поскольку рудокопы ушли сражаться на фронт и алабамские рудники почти бездействовали, а ввоз через блокированные порты стал почти невозможен. В Атланте уже не осталось чугунных оград, чугунных решеток, чугунных ворот и даже чугунных статуй на газонах — все было отправлено в плавильни.

А вдоль Персиковой улицы и по всем прилегающим переулкам протянулись различные военные управления: интендантское, связи, почтовое, железнодорожное, главное управление военной полиции... и всюду, куда ни глянь, в глаза бросались военные мундиры. В пригородах расположились ремонтные службы с большими загонами для лошадей и мулов, а на окраинных улицах — госпитали. Слушая дядюшку Питера, Скарлетт начинала понимать, что Атланта стала городом раненых: здесь были общие госпитали, инфекционные госпитали, госпитали для выздоравливающих, — всех не перечесть. И каждый день продолжали прибывать поезда с новыми партиями раненых и больных.

От прежнего тихого городка не осталось и следа, и новый, быстро разраставшийся город шумел и бурлил с невиданной энергией. У Скарлетт, привыкшей к неспешному, ленивому течению сельской жизни и к тишине, просто дух захватывало от всей этой суматохи, но она пришлась ей по вкусу. Кипучая атмосфера Атланты приятно волновала и бодрила, и сердце Скарлетт учащенно забилось, словно ей передалось лихорадочное биение пульса города.

Пока коляска медленно пробиралась по грязным колдобинам главной улицы города, Скарлетт с интересом разглядывала новые здания и новые лица. В толпе на тротуарах мелькали мундиры с нашивками, указывавшими на принадлежность к различным родам войск и различные звания. Узкая улица была сплошь запружена повозками, колясками, кабриолетами, санитарными и армейскими фургонами; мулы с трудом волокли их по разбитым колеям, возницы отчаянно чертыхались. Вестовые в серой форменной одежде носились, разбрызгивая грязь, из одной воинской части в другую, доставляя приказы и депеши; раненые ковыляли на костылях — нередко в сопровождении двух заботливых дам; с учебного плаца, где новобранцев в спешном порядке обучали строевой службе, доносилась дробь барабана, звуки горна, выкрики команды, и у Скарлетт перехватило дыхание, когда она — впервые в жизни — увидела воочию мундиры северян: дядюшка Питер, указав кнутом на группу мрачного вида людей в синих мундирах, шагавших в направлении вокзала в сопровождении отряда конфедератов с винтовками наперевес, сказал, что их ведут, чтобы погрузить в вагоны и отправить в лагерь для военнопленных.

«О! — мысленно воскликнула Скарлетт, впервые со дня памятного барбекю ощутив подлинную радость. — Кажется, мне здесь понравится. Жизнь тут бьет ключом, и все так интересно!»

А жизнь в городе действительно била ключом, и отнюдь не все стороны этой жизни были доступны взору Скарлетт: десятки новых салунов открывались один за другим; следом за войсками в город хлынули толпы проституток, и бордели процветали — к ужасу благочестивых горожан. Все гостиницы, пансионы и частные дома были забиты до отказа приезжими: к раненым, находившимся на излечении в переполненных госпиталях Атланты, родственники стекались отовсюду. Каждую неделю устраивались балы, приемы, благотворительные базары и бесчисленные свадьбы на скорую руку, на военный лад; отпущенные на побывку женихи венчались в светло‑серых с золотыми галунами мундирах, невесты — в пышных подвенечных уборах, прорвавших блокаду наряду с шампанским, пенившимся в бокалах, когда поднимались тосты в честь новобрачных; в церквах в проходах между скамьями повсюду торчали сабли, и за венчаньями следовали прощанья и слезы. Всю ночь темные, обсаженные деревьями улицы гудели от топота танцующих ног, а из окон неслись звуки фортепьяно, и мужественные голоса воинов‑отпускников, сплетаясь с нежными сопрано, выводили меланхолические напевы: «Горнисты в горн трубят» и «Письмо твое пришло, увы, так поздно», увлажняя слезами волнения юные глаза, еще не познавшие всей глубины истинного горя.

Коляска, увязая в жидкой грязи, катилась по улице, а у Скарлетт, не иссякая ни на мгновение, слетали с языка вопросы, и дядюшка Питер, гордый своей осведомленностью, отвечал на них, тыча то туда, то сюда кнутом.

— Вон там — это арсенал. Да, мэм, у них там винтовки и всякое такое прочее. Нет, мэм, это не лавки, это конторы тех, кто прорывает блокаду. Как, мэм, да неужто вы ничего не знаете про это? Это конторы чужеземцев — они покупают у нас хлопок и везут его морем из Чарльстона и Уилмингтона, а нам привозят порох. Нет, мэм, не знаю я, кто они такие. Мисс Питти говорит — они вроде бы англичане, да только никто ни слова не понимает, что они лопочут. Да, мэм, большой дым, от этой копоти у мисс Питти совсем пропали ее шелковые занавески. Это все от прокатных и литейных цехов. А уж шуму‑то от них по ночам — мочи нет! Никому спать не дают! Нет, мэм, смотреть — смотрите, а останавливаться я не могу. Пообещал мисс Питти привезти вас прямехонько домой... Мисс Скарлетт, поклонитесь‑ка. Это мисс Мерриуэзер и мисс Элсинг здороваются с вами.

Скарлетт смутно припомнила двух вышеназванных дам: они приезжали на ее свадьбу из Атланты... Кажется, это закадычные подруги мисс Питтипэт. Она поспешно обернулась в ту сторону, куда указывал кнут дядюшки Питера, и поклонилась. Дамы сидели в коляске перед мануфактурным магазином. Хозяин и два приказчика стояли перед ними на тротуаре, держа в руках рулоны хлопчатобумажных тканей. Миссис Мерриуэзер была высокая тучная дама, так исступленно затянутая в корсет, что, казалось, ее бюст, выпирая из корсажа, устремляется вперед, словно нос корабля. Ее черные с проседью волосы обрамляла бахрома безупречно каштановых искусственных локонов, упорно не желавших гармонировать с природным цветом волос, а круглое румяное лицо было хоть и добродушным, но и властным. Миссис Элсинг, худощавая, хрупкая, со следами былой красоты и годами несколько моложе своей спутницы, сохраняла остатки увядающей свежести и горделивую осанку покорительницы сердец.

Обе эти дамы, вкупе с третьей — миссис Уайтинг, были столпами светского общества Атланты. Они безраздельно управляли тремя церквами в своих приходах — их клиром, певчими и прихожанами. Они устраивали благотворительные базары, председательствовали в швейных кружках, руководили устройством балов и пикников. Им было точно известно, кто составил удачную партию и кто — нет, кто предается тайному пьянству, кто должен родить и когда. Они были непререкаемыми знатоками всех родословных, если речь шла о лицах, имевших какой‑то вес в Джорджии, Южной Каролине и Виргинии, а все прочие штаты в расчет не принимали, ибо, по твердому убеждению этих дам, всякий, кто был хоть кем‑то, не мог быть выходцем ни из какого другого штата, кроме вышеупомянутых трех. Они точно знали, что прилично и что нет, и никогда не упускали случая заявить об этом во всеуслышание: миссис Мерриуэзер — громко и внятно, миссис Элсинг — изысканно‑певучим замирающим голоском, миссис Уайтинг — трагическим шепотом, дающим представление о том, как ей тяжело говорить о подобных вещах. Все три дамы ненавидели друг друга и друг другу не доверяли с не меньшей искренностью и острой неприязнью, чем первый римский триумвират, и это, по‑видимому, и служило основой их нерасторжимого союза.

— Я сказала Питти, что вы непременно должны быть в моем госпитале, — крикнула миссис Мерриуэзер, сияя улыбкой. — Не вздумайте что‑нибудь пообещать миссис Мид или миссис Уайтинг!

— Ни за что, — отвечала Скарлетт, не имея ни малейшего представления о том, что подразумевает под этим миссис Мерриуэзер, но чувствуя, как у нее потеплело на сердце, оттого что ее так радушно приветствуют и она кому‑то нужна. — Я надеюсь, мы скоро увидимся.

Коляска потащилась дальше, но тут же стала, давая дорогу двум дамам, пробиравшимся через улицу, прыгая с камня на камень, с полными бинтов корзинами в руках. В эту минуту внимание Скарлетт привлекла к себе чья‑то яркая, необычно яркая для улицы одежда: на тротуаре, завернувшись в пеструю кашемировую шаль с бахромою до пят, стояла высокая красивая женщина с нагловатым лицом и копной ненатурально рыжих волос. Скарлетт еще никогда не видела женщины, которая бы так явно «что‑то делала со своими волосами», и она уставилась на нее как зачарованная.

— Дядюшка Питер, кто это? — шепотом спросила она.

— Не знаю.

— Знаешь, знаешь. Я же вижу, что знаешь. Кто она?

— Ее зовут Красотка Уотлинг, — сказал дядюшка Питер, презрительно оттопырив нижнюю губу.

Скарлетт не преминула отметить про себя, что он не прибавил к имени ни «мисс», ни «миссис».

— А кто она такая?

— Мисс Скарлетт, — угрюмо произнес дядюшка Питер и вытянул кнутом никак этого не ожидавшую лошадь, — мисс Питти совсем будет не по нраву, что вы все спрашиваете про то, о чем вам вовсе не надобно спрашивать. Теперь в этом городе столько всякого непотребного народу, что о нем и говорить‑то негоже.

«Боже милостивый! — подумала Скарлетт, сразу прикусив язык. — Должно быть, это падшая женщина!»

Еще ни разу в жизни не доводилось ей видеть женщин такого сорта, и она чуть не свернула себе шею, разглядывая эту особу, пока та не затерялась в толпе.

Лавки и новые, возникшие за войну здания стали теперь попадаться все реже и реже, а между ними лежали пустыри. Наконец деловая часть города осталась позади и вдали показались жилые кварталы. Скарлетт мгновенно узнавала их, как старых друзей: вот солидный величественный дом Лейденов; вот белые колонны и зеленые жалюзи Боннеллов; вот красный кирпичный, насупившийся за невысокой дощатой оградой дом в грегорианском стиле — это особняк Маклюров. Теперь они продвигались вперед еще медленнее, так как со всех крылечек, из всех палисадников, со всех дорожек к Скарлетт неслись приветствия. Кое‑кого из хозяек этих домов она немного знала, других припоминала очень смутно, по большей же части они были ей незнакомы. Тетя Питтипэт явно оповестила всех о ее приезде. Малютку Уэйда приходилось время от времени приподымать повыше, чтобы те дамы, которые рискнули, несмотря на грязь, приблизиться к коляске, могли громко выразить свое восхищение. И все они утверждали, что Скарлетт должна присоединиться именно к их вязальным и швейным кружкам и госпитальным комитетам и ни к каким другим, а она беспечно раздавала обещания направо и налево.

Когда коляска проезжала мимо покосившегося тесового домика, выкрашенного в зеленую краску, маленькая негритянка, стоявшая на крылечке, крикнула:

— Эй, она приехала! — И доктор Мид со своей супругой и тринадцатилетним Филом появились из дома, чтобы ее приветствовать. Скарлетт припомнила, что они тоже были у нее на свадьбе. Миссис Мид взобралась на камень, возле которого приезжавшие останавливали лошадей, чтоб удобнее было сойти, и, вытянув шею, разглядывала ребенка, а доктор Мид прошлепал по грязи к самой коляске. Это был высокий, худой мужчина с остроконечной седоватой бородкой. Одежда болталась на его тощей фигуре, словно наброшенная на плечи только что пронесшимся ураганом. Он был кладезем мудрости в глазах всей Атланты и ее надежным оплотом, и потому нет ничего удивительного, если такого же мнения о себе отчасти придерживался и сам. Но невзирая на его напыщенные манеры и привычку изрекать свои суждения тоном оракула, доктор был добрейшей душою в городе.

Поздоровавшись со Скарлетт, ткнув Уэйда пальцем в живот и похвалив его, доктор тут же заявил, что тетушка Питтипэт дала клятвенное обещание: Скарлетт будет скатывать бинты и работать в госпитале, в комитете у миссис Мид, и только у миссис Мид.

— О господи, что же мне делать! Я уже надавала обещаний нескольким десяткам дам! — воскликнула Скарлетт.

— В том числе, конечно, и миссис Мерриуэзер! — возмущенно вскричала миссис Мид. — Чтоб ей пусто было! Она, должно быть, днюет и ночует на вокзале!

— Я пообещала, потому что просто не имела представления, о чем она говорит, — призналась Скарлетт. — А что, кстати, это за комитеты?

Доктор и его супруга были, казалось, слегка шокированы проявленным Скарлетт невежеством.

— Ну, понятно, вы ведь были погребены у себя на плантации, откуда же вам знать, — поспешила найти для нее извинение миссис Мид. — У нас созданы комитеты сестер милосердия для обслуживания разных госпиталей по разным дням. Мы ухаживаем за ранеными, помогаем докторам, готовим перевязочный материал и одежду, а когда раненые поправляются настолько, что могут покинуть госпиталь, мы берем их к себе домой до полного выздоровления, после чего они возвращаются в армию. И мы заботимся о семьях раненых, поскольку некоторые из них терпят просто ужасную нужду. Наш комитет создан при том госпитале, где работает доктор Мид, и все в один голос утверждают, что доктор поистине творит чудеса...

— Хватит, хватит, миссис Мид, — ласково прервал ее супруг. — Нечего меня перед всеми расхваливать. Вы вот не пустили меня на фронт, а то, что я здесь делаю, это все пустяки.

— Не пустила? — возмущенно вскричала супруга. — Я не пустила? Это же город вас не отпустил, и вы это прекрасно знаете. Понимаете, Скарлетт, когда людям стало известно, что он намерен отбыть в Виргинию в качестве военного врача, все дамы в городе подписали петицию, умоляя его остаться здесь. Само собой понятно, что город не может обойтись без него.

— Ну будет, будет, — миссис Мид, — повторил доктор, явно польщенный ее похвалами. — Что ж, пожалуй, хватит пока и одного сына на фронте.

— А на будущий год пойду на войну я! — воскликнул Фил, подпрыгивая на месте от волнения. — Барабанщиком! Я уже учусь бить в барабан. Хотите послушать? Сейчас побегу, принесу барабан!

— Нет, не сейчас, — сказала миссис Мид и притянула сына к себе. Глубокое душевное волнение отразилось на ее лице. — Не на будущий год, дорогой. Еще через годик, может быть.

— Но война же тогда кончится! — обиженно закричал Фил, выскальзывая из материнских объятий. — А ты обещала!

Взгляды родителей встретились, и Скарлетт прочла все в их глазах. Дарси Мид сражался в Виргинии, и трепетная любовь родителей была устремлена на младшего, оставшегося с ними сына.

Дядюшка Питер откашлялся.

— Мисс Питти была страх в каком волнении, когда я уезжал. Надо ехать домой, она и так уж, небось, лежит в обмороке.

— До свидания. Я наведаюсь к вам после обеда! — крикнула миссис Мид. — И передайте от меня Питти: если она не отдаст вас в мой комитет, ей еще не раз придется падать в обморок.

Коляска, раскачиваясь из стороны в сторону в скользких глинистых колеях, потащилась дальше, а Скарлетт, улыбаясь, откинулась на подушки. Впервые за много месяцев у нее посветлело на душе. Атланта с ее шумной уличной толпой, с ее неистовостью, спешкой, подспудным напряжением возбуждала в ней приятное волнение — она была ей куда милее пустынной плантации в окрестностях Чарльстона, где ночное безмолвие нарушали лишь крики аллигаторов, милее и самого Чарльстона, дремлющего в тени своих садов за высокими оградами, милее Саванны с ее широкими, обсаженными пальмами улицами и мутной рекой. И — пока что, быть может, милее даже Тары, дорогой ее сердцу Тары.

Этот город с узкими грязными улочками, раскинувшийся среди пологих красных холмов, чем‑то таинственно влек ее к себе; в нем крылась какая‑то глубокая первозданная сила, находившая отклик в ее душе, где под тонкой оболочкой привитых усилиями Мамушки и Эллин понятий оставалось живо то, что было сродни этой силе. Здесь она внезапно почувствовала себя в своей стихии — здесь, а не среди спокойного величия старых городов, распластавшихся на равнине у желтых рек.

Теперь дома отстояли друг от друга все дальше и дальше, и вот, высунувшись из коляски, Скарлетт увидела красные кирпичные стены и шиферную крышу дома мисс Питтипэт. Дом стоял на отшибе, на северной окраине города. За ним Персиковая улица, сужаясь, превращалась в тропу, вьющуюся между высоченными деревьями, и скрывалась из глаз в тихой чаще леса. Аккуратная деревянная ограда сияла свежей белой краской, а цветник перед входом золотился желтыми звездочками последних в этом сезоне жонкилей. На крыльце стояли две женщины в черных платьях, а позади них огромная мулатка, скрестив под передником руки, расплывалась широченной белозубой улыбкой. Толстушка мисс Питтипэт переминалась от волнения на своих маленьких ножках, прижав руку к пышной груди, дабы унять биение растревоженного сердца. Скарлетт поглядела на стоявшую рядом с ней Мелани и с мгновенно вспыхнувшим чувством неприязни поняла: вот она — ложка дегтя в бочке меда Атланты: эта хрупкая фигурка в траурном платье, с гривой непокорных темных кудрей, безжалостно стянутых в степенный тугой узел, с радостной приветливой улыбкой на нежном широкоскулом личике с острым подбородком.

Когда кому‑нибудь из южан припадала охота собрать пожитки и отправиться за двадцать миль проведать родных или друзей, визит этот редко продолжался менее четырех‑пяти недель, а иной раз затягивался и дольше. Южане с равным энтузиазмом ездили в гости и принимали гостей у себя, и не было ничего из ряда вон выходящего, если, заглянув на Рождество, родственники задерживались до июля. Нередко случалось также, что и новобрачные, заехав с обычным визитом, заживались у радушных хозяев до появления на свет своего второго ребенка. И столь же часто бывало, что какой‑нибудь престарелый дядюшка или тетушка, завернув в воскресенье отобедать, много лет спустя отправлялся из этого же дома на погост, так и не удосужившись убраться восвояси. Гости никого не утруждали, ибо дома были вместительны, в челяди недостатка не ощущалось, а прокормить несколько лишних ртов в этом краю изобилия не составляло труда. Во всех домах постоянно было полно гостей разного возраста и пола: приезжали с визитом новобрачные; приезжали молодые матери — похвалиться своим новорожденным; приезжали выздоравливающие — окрепнуть после болезни; приезжали удрученные горем молодые девушки, усланные родителями из дома, дабы уберечь их от нежелательного брака, и молодые девушки, достигшие критического возраста и еще не обручившиеся и отправленные к родственникам в надежде, что с их помощью и на новом месте удастся поймать подходящего жениха. Гости вносили разнообразие, оживляли неспешное течение жизни Юга, и им всегда оказывали радушный прием.

Так и Скарлетт приехала в Атланту, не имея ни малейшего представления о том, как долго она здесь пробудет. Если ей покажется тут так же скучно, как в Саванне и Чарльстоне, она возвратится домой через месяц. Если понравится, она будет тут жить, сколько поживется. Однако не успела она приехать, как тетушка Питти и Мелани повели на нее атаку, стараясь убедить ее обосноваться у них навечно. Все и всяческие аргументы были пущены в ход. Они хотят, чтобы она жила с ними, потому что они ее любят. Они очень одиноки, и по ночам им бывает ужасно страшно в этом большом доме, а Скарлетт такая храбрая, и с ней они ничего не будут бояться. Она такая очаровательная, сумеет развеять их печаль. Теперь, после смерти Чарлза, ее место и место его сына — здесь, с родней усопшего. К тому же, согласно завещанию Чарлза, половина дома принадлежит ей. И наконец, Конфедерации дорога каждая пара рук, чтобы шить, вязать, скатывать бинты и ухаживать за ранеными.

Дядюшка Чарлза, старый холостяк Генри Гамильтон, живший в отеле «Атланта» возле вокзала, также имел с ней серьезную беседу на этот счет. Дядюшка Генри — маленький, гневливый джентльмен с округлым брюшком, розовым личиком и длинной гривой седых волос — отличался свирепой нетерпимостью к тому, что он называл женским сюсюканьем и ломаньем. По этой причине он почти не общался со своей сестрой мисс Питтипэт. С детства они отличались резким несходством характеров, окончательный же разрыв произошел у них из‑за несогласия дядюшки Генри с тем, как тетушка Питти воспитывала их племянника Чарлза. «Делает какую‑то слюнявую девчонку из сына солдата!» — возмущался дядюшка Генри. И несколько лет назад он позволил себе так оскорбительно высказаться по адресу тетушки Питти, что она теперь говорила о нем только приглушенным шепотом и с такими таинственными умолчаниями, что непосвященному человеку могло показаться, будто речь идет не о честном старом юристе, а по меньшей мере о потенциальном убийце. Оскорбление было нанесено в тот день, когда тетушка Питти пожелала изъять пятьсот долларов из доходов от своей недвижимости, опеку над которой осуществлял дядюшка Генри, дабы вложить эти деньги в несуществующие золотые рудники. Дядюшка наотрез отказался выдать ей эту сумму и сгоряча заявил, что у тетушки не больше здравого смысла, чем у блохи, и у него через пять минут пребывания в ее обществе делаются нервные колики. С того дня тетя Питти встречалась с дядей Генри только раз в месяц на деловой почве: дядюшка Питер отвозил ее в контору, где она получала у дяди Генри деньги на ведение хозяйства, и всякий раз после этих коротких визитов — вся в слезах и с флаконом нюхательных солей в руке — укладывалась в постель на весь остаток дня. Мелани и Чарлз, находившиеся в наилучших отношениях со своим дядей, предлагали тетушке избавить ее от этого тяжкого испытания, но она, упрямо сжав свой детский ротик, решительно мотала головой и отказывалась наотрез. Она должна до конца нести свой крест, ниспосланный ей в лице дядюшки Генри. Чарлз и Мелани пришли к заключению, что эта периодическая нервная встряска — единственная в ее спокойной упорядоченной жизни — приносит ей глубокое удовлетворение.

Дядюшке Генри Скарлетт с первого взгляда пришлась по душе, ибо, сказал он, несмотря на все ее глупые ужимки, сразу видно, что у нее есть крупица здравого смысла в голове. Дядя был доверенным лицом и вел дела не только тети Питти и Мелани, но ведал и той частью имущества, которая досталась Скарлетт в наследство от Чарлза. Для Скарлетт это было неожиданным и приятным сюрпризом: оказывается, она состоятельная молодая вдова — ведь Чарлз завещал ей вместе с половиной дома еще и землю и кое‑какую собственность в городе. А стоимость доставшихся ей в наследство амбаров и товарных складов, разместившихся вдоль железнодорожного полотна за вокзалом, возросла за время войны втрое. Вот тут‑то, делая обстоятельный доклад о состоянии ее недвижимой собственности, дядюшка Генри и предложил ей избрать местом постоянного жительства Атланту.

— Достигнув совершеннолетия, Уэйд Хэмптон станет богатым человеком, — сказал дядя Генри. — Атланта растет, и через двадцать лет недвижимое имущество мальчика будет стоить в десять раз больше, чем теперь. Было бы только разумно, чтобы он жил там, где находится его собственность, дабы иметь возможность самому управлять ею, да и имуществом Питти и Мелани тоже. Вскоре он останется единственным мужским представителем рода Гамильтонов, поскольку мне ведь не жить вечно.

Дядюшка Питер просто с самого начала считал само собой разумеющимся, что Скарлетт приехала в Атланту, чтобы обосноваться здесь навсегда. У него как‑то не укладывалось в голове, что единственный сын Чарлза будет воспитываться где‑то далеко и он не сможет следить за его воспитанием. Скарлетт выслушивала все эти доводы с улыбкой, но не отвечала ничего. Она не хотела связывать себя какими‑либо обещаниями, еще не будучи уверенной в том, понравится ли ей жизнь в Атланте и постоянное общение с ее новыми родственниками. К тому же она понимала, что Джералд и Эллин наверняка воспротивятся этому. И кроме того — теперь, вдали от Тары, в ней уже пробуждалась мучительная тоска по дому — по красным, вспаханным полям, и по зеленым всходам хлопка, и по благоуханной тишине вечерних сумерек. Впервые она начинала смутно прозревать, что имел в виду Джералд, говоря о любви к этой земле, которая у нее в крови.

Поэтому она пока что ловко уклонялась от окончательного ответа, не раскрывая, как долго намерена погостить, и понемногу входя в жизнь красного кирпичного дома на тихом краю Персиковой улицы.

Ближе знакомясь с родственниками Чарлза, приглядываясь к дому, в котором он вырос, Скарлетт стала мало‑помалу лучше понимать этого юношу, который так стремительно, за такой короткий срок успел сделать ее своей женой, матерью своего сына и вдовой. Теперь ей открылось, откуда была в нем эта застенчивость, это простодушие, эта мечтательность. Если даже Чарлз и унаследовал что‑то от того сурового, вспыльчивого, бесстрашного воина, каким был его отец, то изнеживающая, женственная атмосфера дома, где он рос, заглушила в нем еще в детстве наследственные черты характера. Он был глубоко привязан к тете Питти, так и оставшейся до старости ребенком, и необычайно горячо любил Мелани, а обе они были на редкость добры и на редкость не от мира сего.

Тетушку при крещении — это произошло шестьдесят лет тому назад — нарекли Сарой Джейн Гамильтон, но уже давно, с того самого дня, когда обожавший ее отец, заслышав быстрый легкий топот маленьких ножек, внезапно придумал ей прозвище, никто и никогда не звал ее иначе, как Питтипэт. С этого второго крещения прошло много лет, внешность тетушки претерпела роковые изменения, и прозвище стало казаться несколько неуместным. Маленькие ножки тети Питтипэт несли теперь слишком грузное для них тело, и разве что склонность к бездумному и несколько ребячливому лепету могла порой воскресить в памяти забытый образ живой шаловливой девчушки. Тетя Питтипэт была теперь кругленькая, розовощекая, сереброволосая дама, страдающая легкой одышкой из‑за слишком туго затянутого корсета, ее маленькие ножки, втиснутые в чрезмерно тесные туфельки, с трудом могли покрыть расстояние свыше одного квартала. При самомалейшем волнении сердце тетушки Питти начинало болезненно трепетать, и она бесстыдно ему потакала, позволяя себе лишаться чувств при каждом удобном и неудобном случае. Всем и каждому было известно, что обмороки тетушки — не более как маленькие дамские притворства, но, любя ее, все предпочитали об этом умалчивать. Да, все любили тетушку и баловали, как ребенка, но никто не принимал ее всерьез — никто, кроме дядюшки Генри.

Самым излюбленным занятием тетушки было почесать язычок; она любила это даже больше, чем вкусно покушать, и могла часами добродушно и безобидно обсуждать чужие дела. Не будучи в состоянии запомнить ни одного имени, ни одной даты или названия места, она постоянно путала действующих лиц одной разыгравшейся в Атланте драмы с действующими лицами другой, что, впрочем, никого не вводило в заблуждение, так как никто не был настолько глуп, чтобы принимать ее слова на веру. К тому же ей никогда и не рассказывали ничего по‑настоящему скандального или неприличного, так как, невзирая на ее шестидесятилетний возраст, все считали своим долгом оберегать целомудрие этой старой девы, и благодаря молчаливому сговору ее добрых друзей она так и осталась на всю жизнь невинным, избалованным старым ребенком.

Мелани во многих отношениях походила на свою тетку. Она была так же скромна, так же застенчива, так же заливалась краской, однако при всем том вовсе не лишена здравого смысла. «Да, конечно, на свой лад», — невольно признавала в глубине души Скарлетт. Лицо Мелани, как и лицо тетушки Питти, было невинно и безоблачно, словно лицо ребенка, встречавшего в жизни лишь доброту и правдивость, искренность и любовь. Лицо ребенка, ни разу еще не столкнувшегося ни с жестокостью, ни со злом и не сумевшего бы распознать их при встрече. Мелани была счастлива, и ей хотелось, чтобы все вокруг тоже были счастливы или хотя бы довольны своей судьбой. Поэтому она стремилась видеть в человеке только лучшие его стороны и всегда доброжелательно отзывалась о людях. В любом, самом тупом из слуг она обнаруживала черты преданности и доброты, искупавшие в ее глазах тупость; в любой, самой уродливой и несимпатичной из знакомых девиц открывала благородство характера или приятное обхождение и о любом мужчине, сколь бы он ни был незначителен или скучен, старалась судить не по бросающимся в глаза недостаткам, а по скрытым в нем, быть может, достоинствам.

За эти искренние и непосредственные порывы ее великодушного сердца все любили Мелани и невольно тянулись к ней, ибо кто может остаться нечувствительным к чарам такого существа, умеющего открыть в других положительные черты характера, о коих сам их обладатель даже и не подозревает? И у Мелани было больше подруг, чем у любой другой женщины в городе, а также больше друзей‑мужчин, хотя и меньше, чем у других девушек поклонников, так как она была лишена самоуверенности и эгоизма, играющих немалую роль в деле покорения мужских сердец.

Правила хорошего тона предписывали всем девушкам‑южанкам стремиться к тому, чтобы окружающие чувствовали себя легко, свободно и приятно в их обществе, и Мелани всего лишь следовала общим канонам. Этот установленный женщинами неписаный кодекс поведения и придавал привлекательность обществу южан. Женщины Юга понимали, что тот край, где мужчины довольны жизнью, привыкли не встречать возражений и могут преспокойно тешить свое тщеславие, имеет все основания стать для женщин весьма приятным местом обитания.

И от колыбели до могилы женщины прилагали все усилия к тому, чтобы мужчины были довольны собой, а довольные собой мужчины щедро вознаграждали за это женщин своим поклонением и галантностью. В сущности, они от всей души были готовы одарить женщин всеми сокровищами мира, за исключением ума, которого никак не желали за ними признавать.

Скарлетт умела быть столь же обходительной, как Мелани, но не бессознательно, а с хорошо отработанным мастерством, со знанием дела. Разница между ними заключалась в том, что Мелани говорила приятные, лестные слова, просто желая доставить людям хоть мимолетную радость, Скарлетт же всегда преследовала при этом какую‑то свою цель.

От двух самых близких ему женщин Чарлз не мог почерпнуть знания жизни со всеми теневыми ее сторонами — ничего, что помогло бы закалить его волю, и дом, в котором он жил и мужал, был похож на теплое, мягкое птичье гнездышко. Тихая, старомодно‑чинная атмосфера этого дома ничем не напоминала Тару. Скарлетт не хватало здесь многого: мужского запаха — бренди, табака, фиксатуара; резких голосов и случайно слетавших с уст крепких словечек; ружей, бакенбард, седел, уздечек, путающихся под ногами гончих собак. Непривычно было не слышать перебранки слуг за спиной у Эллин; извечных перепалок Мамушки с Порком; пререканий Розы с Тиной; грозных окриков Джералда; не хватало и собственных ядовитых пикировок со Сьюлин. Не приходилось удивляться, что Чарлз, выросший в этом доме, был робок и застенчив, как пансионерка. Здесь не повышали голоса, не приходили в состояние ажитации; все учтиво прислушивались к чужим мнениям, и в конечном счете черный седой властный автократ правил из своей кухни всем и вся. Скарлетт, рассчитывавшая стать сама себе хозяйкой, вырвавшись из‑под Мамушкиной опеки, обнаружила, к своему огорчению, что дядюшка Питер придерживается еще более суровых понятий о том, как должна вести себя молодая дама, а тем более — вдова мистера Чарлза.

Тем не менее в атмосфере этого дома Скарлетт мало‑помалу снова возрождалась к жизни, и незаметно для нее самой к ней возвращалась прежняя жизнерадостность. Ей едва минуло семнадцать лет, она обладала превосходным здоровьем и несокрушимой энергией, а родня Чарлза всячески старалась сделать ее жизнь приятной, и если это не всегда им удавалось, не их была в том вина. У Скарлетт и сейчас еще при упоминании имени Эшли больно сжималось сердце, но тут уж изменить что‑нибудь никто был не властен. А это имя так часто слетало с губ Мелани! Между тем Мелани и тетушка Питти без устали изобретали всевозможные способы развеять ее печаль, которую они, естественно, приписывали совсем другим причинам. Всячески стараясь развлечь Скарлетт, они не давали воли своему горю. Они проявляли бесконечную заботу о ее питании, настаивали, чтобы она всякий раз вздремнула после обеда, а потом поехала покататься в коляске. Они безудержно восхищались ею — ее живым нравом, ее прелестной фигурой, ее белой кожей, ее маленькими ручками и ножками — и не только неустанно твердили ей об этом, но тут же, в подкрепление своих слов, принимались обнимать ее, целовать, душить в объятиях.

Скарлетт принимала их ласки без особого восторга, но расточаемые ей комплименты согревали душу. Дома она никогда не слышала по своему адресу так много приятных слов. Мамушка, собственно, только и делала, что старалась искоренить ее тщеславие. Малютка Уэйд уже не был для нее теперь докукой, так как все население дома — как белое, так и черное (и даже соседи) — боготворило ребенка, и право подержать его на руках непрерывно отвоевывалось с боем. А больше всех обожала его Мелани. Она находила его восхитительным даже в те минуты, когда он заливался неистовым ревом, и восклицала:

— Сокровище мое! Ах, как бы я хотела, чтобы ты был моим сыном!

Порой Скарлетт становилось нелегко скрывать свои чувства, ибо она по‑прежнему считала тетушку Питти невыносимо глупой старухой, а бессвязный лепет и пустословие этой дамы нестерпимо действовали ей на нервы. Мелани же возбуждала в ней чувство ревности и неприязнь, которые становились все острее. Порой, когда Мелани, сияя от любви и гордости, принималась говорить об Эшли или читать вслух его письма, Скарлетт вынуждена была внезапно встать и покинуть комнату. Однако при всем том она находила жизнь здесь довольно сносной. Атланта предоставляла ей больше разнообразия, чем Чарльстон, или Саванна, или Тара, а новые, совсем непривычные для нее обязанности, налагаемые войной, не оставляли времени для размышлений и тоски. И все же порой, потушив свечу и зарывшись головой в подушки, она тяжело вздыхала и думала:

«О, если бы Эшли не был женат! Почему должна я возиться с ранеными в этом чертовом госпитале! Ах, если бы я могла завести себе поклонника!»

К уходу за ранеными она мгновенно возымела неодолимое отвращение, однако ей приходилось скрепя сердце делать это, поскольку обеим дамам — и миссис Мид и миссис Мерриуэзер — удалось заполучить ее в свои комитеты и четыре раза в неделю она в грубом переднике, закрывавшем платье от шеи до полу, повязанная косынкой, отправлялась по утрам в душный, смрадный госпиталь. Все женщины Атланты, и молодые и старые, работали в госпиталях и отдавались этому делу с таким жаром, что казались Скарлетт просто фанатичками. Они, естественно, предполагали и в ней такой же патриотический пыл и были бы потрясены до глубины души, обнаружив, как мало, в сущности, было ей дела до войны. Если бы ни на минуту не покидавшая ее мучительная мысль, что Эшли может быть убит, — война для нее попросту не существовала бы, и в госпитале она продолжала работать лишь потому, что не знала, как от этого отвертеться.

Ничего романтического она в своей работе, разумеется, не видела. Стоны, вопли, бред, удушливый запах и смерть — вот что обнаружила в госпитале Скарлетт. И грязных, бородатых, обовшивевших, издававших зловоние мужчин, с такими отвратительными ранами на теле, что при виде их у всякого нормального человека все нутро выворачивало наизнанку. Госпитали смердели от гангрены — эта вонь ударяла Скарлетт в нос еще прежде, чем она успевала ступить на порог. Сладковатый, тошнотворный запах впитывался в кожу рук, в волосы и мучил ее даже во сне. Мухи, москиты, комары с жужжанием, писком, гудением тучами вились над больничными койками, доводя раненых до бессильных всхлипываний вперемежку с бранью, и Скарлетт, расчесывая свои искусанные руки и обмахиваясь листом пальмы с таким ожесточением, что у нее начинало ломить плечо, мысленно посылала всех раненых в преисподнюю.

А скромница из скромниц, застенчивая Мелани, казалось, не страдала ни от вони, ни от вида ран или обнаженных тел, что крайне удивляло Скарлетт. Порой, держа таз с инструментами, в то время как доктор Мид ампутировал гангренозную конечность, Мелани становилась белее мела. И однажды Скарлетт видела, как Мелани после одной из таких операций тихонько ушла в перевязочную и ее стошнило в полотенце. Но в присутствии раненых она всегда была весела, спокойна и полна сочувствия, и в госпитале ее называли не иначе, как «ангел милосердия». Скарлетт была бы не прочь заслужить такое прозвище тоже, но для этого ей пришлось бы прикасаться к кишащему насекомыми белью раненых, лезть в глотку к потерявшему сознание, проверяя, не застрял ли там кусок жевательного табака, от чего больной может задохнуться, бинтовать культи и чистить от мушиных личинок гноящиеся раны. Нет, уход за ранеными — это не для нее!

Кое с чем можно было бы примириться, если хотя бы она могла пустить в ход свои чары, ухаживая за выздоравливающими воинами, так как многие были из хороших семей и не лишены привлекательности, однако ее вдовье положение делало это невозможным. Уход за идущими на поправку был возложен на молодых девушек, которые не допускались в палаты к тяжелораненым, дабы какое‑либо неподобающее зрелище не предстало там ненароком их девственным очам. Не имея, таким образом, перед собой препон, поставленных брачными узами или вдовством, они свободно совершали сокрушительные набеги на выздоравливающих, и даже совсем не отличавшиеся красотой девицы — хмуро отмечала про себя Скарлетт — без труда находили себе суженых.

Если не считать общества раненых или тяжелобольных, Скарлетт жила в окружении одних только женщин, и это страшно ее раздражало, ибо она не испытывала ни любви, ни доверия к особам одного с нею пола — ничего, кроме скуки. Тем не менее трижды в неделю в послеобеденные часы она должна была посещать швейный кружок и скатывать бинты в комитетах, возглавляемых приятельницами Мелани. Все девушки, с которыми она там встречалась, хорошо знали Чарлза и были очень добры и внимательны к ней — особенно Фэнни Элсинг и Мейбелл Мерриуэзер, дочери вдовствующих дам‑патронесс. Но вместе с тем в их отношении проскальзывала чрезмерная почтительность, словно она была женщиной преклонных лет, чей век уже прожит, а их неумолчная болтовня о нарядах и кавалерах пробуждала в ней зависть и досаду за свое вдовство, лишавшее ее всех удовольствий. Господи! Да она же в тысячу раз привлекательней, чем Фэнни или Мейбелл! Как чудовищно несправедливо устроена жизнь! Как это ни глупо, но все почему‑то считают, что она должна заживо похоронить себя в могиле вместе с Чарлзом, когда она вовсе к этому не стремится. Когда она всеми помыслами в Виргинии, с Эшли!

И все же, несмотря на все эти досады и огорчения, Атланта ей нравилась. И недели бежали за неделями, а она и не помышляла об отъезде.

### Глава IX

Как‑то летним утром Скарлетт, сидя у окна своей спальни, мрачно наблюдала за вереницей повозок и следовавших за ними колясок, переполненных молодыми жизнерадостными девушками, дамами постарше и мужчинами в военной форме. Все это двигалось по Персиковой дороге, направляясь в поля и леса за декоративной зеленью для предстоявшего в этот вечер благотворительного базара в пользу госпиталей. Под густым навесом ветвей, пронизанных лучами солнца, красная дорога казалась пятнистой от мерцающих бликов и теней, а копыта животных поднимали в воздух маленькие красные облачка пыли. В первой повозке сидело четверо здоровенных негров с топорами — на них была возложена обязанность нарубить побольше веток вечнозеленых деревьев, очистив их от лиан, а в глубине повозки виднелась груда огромных, покрытых салфетками корзин со снедью, дубовых лукошек с посудой и дюжина дынь. Двое негров, вооружившись — один банджо, другой губной гармошкой, — с жаром наяривали собственный вариант популярной песни: «Хочешь жизнь не зря прожить, в кавалерию ступай». Следом за ними двигалась праздничная процессия экипажей: девушки все были в пестрых летних платьях, в шляпах и митенках, с маленькими зонтиками в руках для защиты от солнца; дамы более почтенного возраста восседали довольные, безмятежно улыбающиеся; выздоравливающие воины, отпущенные из госпиталей, сидели в тесных колясках между стройными девушками и дородными матронами, продолжавшими хлопотливо окружать их заботой; смех, шутки, перекличка голосов, летящих от одного экипажа к другому; офицеры, сопровождавшие дам верхом, заставляли лошадей идти вровень с колясками. Скрипели колеса, звенели шпоры, блестели на солнце галуны, колыхались веера, покачивались зонтики, пели негры... Все ехали по Персиковой дороге за город на сбор зелени, на пикник с дынями. «Все, — угрюмо думала Скарлетт, — кроме меня».

Проезжая мимо, они приветливо кричали ей что‑то и махали рукой, и она по мере сил старалась любезно отвечать на приветствия, но это было нелегко. Где‑то в груди маленьким злым зверьком зашевелилась боль, подкатила к горлу, сжалась комком и притаилась, чтобы, того и гляди, раствориться в слезах. Все едут на пикник — все, кроме нее. А вечером все пойдут на благотворительный базар и на бал — все, кроме нее. Кроме нее, и кроме Мелли, и тетушки Питти, и еще двух‑трех таких же невезучих, которые тоже в трауре. Но для Мелли и Питти это словно бы и не имело значения. У них как будто ни на секунду не возникало желания идти туда. А вот у Скарлетт возникло. Ей захотелось, мучительно захотелось попасть на этот базар.

Это же в конце концов просто несправедливо! Она трудилась не покладая рук, она сделала вдвое больше, чем любая другая девушка в городе, для подготовки к этому базару. Она вязала носки и детские чепчики, шали и шарфы, и плела ярды кружев, и расписывала фарфоровые туалетные коробочки и флаконы. И вышила с полдюжины диванных подушек, украсив их флагом Конфедерации. Звезды, правду сказать, получились чуточку кривоваты, и одни с шестью и даже семью зубцами, а другие почти круглые, как блин, но общее впечатление было превосходно. Вчера она до полного изнеможения работала в старой пыльной казарме, украшая розовыми, желтыми, зелеными кисейными драпировками выстроенные вдоль стен киоски. Это была поистине тяжелая работа, да еще под наблюдением дам из комитета — словом, ничего веселого. Да и вообще она не получала никакого удовольствия от общения с миссис Мерриуэзер, миссис Элсинг и миссис Уайтинг, которые пытались распоряжаться ею, словно какой‑нибудь негритянкой. И к тому же без конца похвалялись успехами своих дочек. В довершение всех бед она до пузырей обожгла себе пальцы, помогая тете Питти и кухарке печь слоеные пирожки для лотереи.

А теперь, наработавшись как негр на плантации, она, видите ли, должна скромно отойти в тень, именно в ту минуту, когда для всех начинается веселье! Как несправедливо обошлась с ней судьба, сделав ее вдовой с маленьким ребенком, плач которого доносится из соседней комнаты, и лишив всех удовольствий и развлечений! Всего лишь год назад она танцевала на балах, носила яркие платья, а не эти траурные одеяния, и никогда не имела меньше трех женихов сразу. Ведь ей же всего семнадцать лет, и она еще не успела натанцеваться вволю. Нет, это несправедливо! Жизнь проходила мимо — по длинной летней, тенистой дороге, в мелькании серых мундиров и цветастых платьев, под звон банджо и шпор. Она старалась обуздать себя и не слишком призывно улыбаться и махать рукой знакомым мужчинам — тем, которых выхаживала в госпитале, — но ямочки на щеках играли помимо ее воли, да и как бы могла она изобразить убитую горем вдову, когда все это сплошное притворство.

Улыбкам и поклонам был внезапно положен конец — тетушка Питти, как всегда слегка запыхавшаяся после подъема по лестнице, вошла в комнату и, не говоря худого слова, оттащила ее от окна.

— Душенька! Да вы никак рехнулись! Махать рукой мужчинам из окна своей спальни! Право же, Скарлетт, вы меня изумляете! Что бы сказала ваша матушка!

— Они же не знают, что это моя спальня.

— Но они могут догадаться, и это ничуть не лучше. Вы не должны делать таких вещей, душенька. Про вас начнут говорить, скажут, что вы слишком нескромно себя ведете... И к тому же миссис Мерриуэзер известно, что это окна вашей спальни.

— И конечно, старая хрычовка не преминет оповестить об этом всех мужчин.

— Душенька, как не совестно! Долли Мерриуэзер — моя лучшая подруга!

— Все равно она старая хрычовка... Ах, тетя Питти, простите меня, ну не надо, не плачьте! Я позабыла, что это окно моей спальни, я больше не буду! Мне... мне просто очень хотелось поглядеть, как они едут. Мне бы так хотелось поехать с ними.

— Душенька!

— Да, да, хотелось бы. Мне надоело сидеть тут взаперти.

— Скарлетт, пообещайте мне, что вы никогда не повторите больше таких слов. Все будут думать, что у вас нет ни малейшего уважения к памяти бедного покойного Чарли...

— Ох, тетя Питти, ну, пожалуйста, не плачьте!

— Боже мой, теперь я и вас довела до слез, — всхлипнула тетушка Питтипэт и с чувством облегчения полезла в карман юбки за носовым платком.

Твердый комок, стоявший у Скарлетт в горле, уступил наконец место слезам, и она заплакала — громко, навзрыд, но не по бедному Чарли, как полагала тетушка Питтипэт, а по затихавшему вдали смеху и скрипу колес. Встревоженная Мелани с гребенкой в руке вбежала, шелестя юбками, в комнату. Ее темные волосы, обычно всегда аккуратно уложенные в сетку, пышным облаком маленьких своевольных кудряшек рассыпались по плечам.

— Дорогие! Что случилось?

— Чарли! — сладко всхлипнула тетушка Питтипэт, упоенно отдаваясь своему горю и припадая головой к плечу Мелани.

— О! — воскликнула Мелани, и губы ее задрожали при упоминании имени покойного брата. — Мужайтесь, моя дорогая! О, Скарлетт, не плачь!

Скарлетт же, упав ничком на кровать, рыдала в голос, оплакивая свою впустую проходящую молодость, лишенную уготованных этому возрасту развлечений. Она рыдала, как дитя, привыкшее слезами добиваться всего, чего ни пожелает, но понимающее вместе с тем, что на сей раз слезами не поможешь, и потому рыдающее уже от негодования и отчаяния. Уткнувшись головой в подушку, она со злости колотила ногами по стеганому одеялу.

— Лучше бы я умерла! — самозабвенно всхлипывала она.

Перед лицом такого бездонного горя необременительные слезы Питтипэт высохли, а Мелани бросилась утешать сноху.

— Дорогая, не плачь! Вспомни, как тебя любил Чарлз! Пусть это послужит тебе утешением! Подумай о своем драгоценном малютке!

Чувство обездоленности оттого, что она лишена теперь всех доступных другим утех, раздражение оттого, что никто ее не понимает, сковали, по счастью, Скарлетт язык, иначе, с унаследованной от Джералда привычкой не стесняться в выражениях, она выложила бы напрямик все, что накопилось у нее на сердце. Мелани погладила ее по плечу, а тетя Питти заковыляла к окну, чтобы опустить жалюзи.

— Не надо! — яростно вскричала вдруг Скарлетт, поднимая от подушки красное, опухшее от слез лицо. — Не опускайте! Я еще не умерла, хоть лучше бы мне умереть! О пожалуйста, уйдите, оставьте меня одну!

Она снова уткнулась головой в подушку, и, шепотом посовещавшись друг с другом, обе дамы на цыпочках удалились. Скарлетт слышала, как Мелани, понизив голос, говорила тете Питтипэт, когда они спускались с лестницы:

— Тетя Питти, прошу вас, не надо при ней упоминать о Чарлзе. Вы же знаете, как тяжело это на нее всегда действует. У бедняжки делается такое странное выражение лица — мне кажется, она каждый раз с трудом удерживается от слез. Мы не должны усугублять ее горе.

В бессильной ярости Скарлетт снова заколотила ногами по одеялу, ища и не находя достаточно крепких слов, чтобы выразить душившую ее злобу.

— Пропади все пропадом! — выкрикнула она наконец и почувствовала некоторое облегчение. И как только Мелани может так спокойно сидеть дома, не снимать траура по брату и отказываться от всяких развлечений — ей же всего восемнадцать лет? Мелани словно не замечает, что жизнь проносится мимо под звон банджо и шпор. Или это ее не трогает?

«Да просто она бесчувственная деревяшка, — думала Скарлетт, дубася кулаком по подушке. — У нее никогда не было столько поклонников, как у меня, ей и терять нечего. К тому же... к тому же у нее есть Эшли, а у меня... у меня — никого!» И разбередив еще сильнее свои раны такими мыслями, она снова залилась слезами.

В угрюмом ожесточении просидела она в спальне до обеда, и зрелище возвращавшихся с пикника повозок, нагруженных сосновыми ветками, вьющимися растениями и папоротником, отнюдь не помогло развеять ее тоску. У всех был усталый, но счастливый вид, и все снова улыбались и махали ей, и она уныло отвечала на их приветствия. Жизнь ничего не сулила впереди, и жить дальше явно не имело смысла.

Избавление пришло с самой неожиданной стороны: когда после обеда все улеглись вздремнуть, к дому подъехала коляска с миссис Мерриуэзер и миссис Элсинг. Пораженные таким неурочным визитом, Мелани, Скарлетт и тетушка Питтипэт вскочили с кроватей, поспешно зашнуровали свои корсажи, пригладили волосы и спустились в гостиную.

— У миссис Боннелл дети заболели корью, — заявила с порога миссис Мерриуэзер, всем своим видом давая понять, что считает миссис Боннелл целиком ответственной за то, что это случилось.

— А барышень Маклюр вызвали в Виргинию, — сообщила миссис Элсинг умирающим голосом, томно обмахиваясь веером и, в свою очередь, давая понять, что это, как в общем и все прочее, мало ее интересует. — Даллас Маклюр ранен.

— Какое несчастье — в один голос воскликнули хозяйки дома. — Бедный Даллас!..

— Да нет, легко, в плечо, — сухо уточнила миссис Мерриуэзер. — Но надо же, чтобы это случилось именно сейчас! Девочки уезжают на Север, чтобы доставить его домой. Однако, бог мне свидетель, у нас нет времени сидеть тут и чесать языком. Нам надо ехать развешивать зелень. Питти, вы и Мелани нужны нам сегодня вечером, чтобы занять место миссис Боннелл и девочек Маклюр.

— Но, Долли, это же невозможно!

— Не говорите мне, пожалуйста, «невозможно», Питтипэт Гамильтон! — воинственно заявила миссис Мерриуэзер. — Вы должны приглядывать за неграми, которые будут разносить прохладительные напитки. Вместо миссис Боннелл. А Мелли будет сидеть в киоске девочек Маклюр.

— Но мы же не можем — еще не прошло и года, как бедный Чарли...

— Я разделяю ваши чувства, но нет жертвы, которую нельзя было бы принести во имя нашего Дела, — нежно пропела миссис Элсинг, отметая все возражения.

— Конечно, мы рады помочь, но разве вы не можете посадить в киоск какую‑нибудь молоденькую хорошенькую девушку?

Миссис Мерриуэзер фыркнула, издав трубный звук:

— Нечто непостижимое творится с молодыми девицами в наши дни. У них нет ни малейшего чувства долга. У всех девушек находятся какие‑то отговорки, чтобы не сидеть в киосках. Я, разумеется, вижу их насквозь! Они просто боятся, что это помешает им флиртовать с офицерами, только и всего. Да и новые платья не будут видны за прилавком. Как бы я хотела, чтобы этот контрабандист... как его?

— Капитан Батлер, — подсказала миссис Элсинг.

— Чтобы он привозил побольше медикаментов и поменьше кринолинов и кружев. Если я увижу сегодня хоть одно новое платье, это значит, что он привез их десятка два! Капитан Батлер! Я уже слышать не могу этого имени. Словом, Питти, у меня нет времени препираться с вами. Вы должны прийти, и точка. Все вас поймут. К тому же никто вас и не увидит в задней комнате, и Мелли тоже не будет слишком бросаться в глаза. Киоск этих бедняжек, девочек Маклюр, находится в самой глубине, и он не слишком хорошо разукрашен, так что никто и не обратит на вас внимания.

— Мне кажется, мы непременно должны пойти и помочь, — сказала вдруг Скарлетт, изо всех сил стараясь скрыть, как она этого жаждет, и придать лицу спокойное, серьезное выражение. — Уж такую‑то малость мы можем сделать для госпиталя.

Ни одна из приехавших дам ни разу не упомянула ее имени, и они, резко обернувшись, воззрились на нее. Как бы остро ни нуждались они в помощи, им даже в голову не приходило просить вдову, меньше года носящую траур, принять участие в столь многолюдном сборище. Скарлетт ответила на их молчаливое изумление детски простодушным взглядом широко раскрытых невинных глаз.

— Мне кажется, мы все трое должны помочь чем можем. Я посижу с Мелли в киоске. По‑моему, это как‑то лучше для нас обеих, если мы будем вместе, а не порознь. Тебе не кажется, что так лучше, Мелли?

— Право... — беспомощно пробормотала Мелли. Мысль о том, чтобы, еще не сняв траура, появиться в публичном собрании, была для нее столь дикой, что она растерялась.

— Скарлетт права, — поспешила заявить миссис Мерриуэзер, заметив колебания Мелани. Она встала, оправила кринолин. — Вы обе... все вы должны прийти помочь. И пожалуйста, Питти, не пытайтесь снова пускать в ход свои отговорки. Подумайте лучше о том, как госпиталь нуждается в деньгах для новых коек и медикаментов. И я знаю, Чарлзу было бы приятно, что вы помогаете Делу, за которое он отдал жизнь.

— Ну хорошо, — беспомощно пробормотала тетушка Питтипэт, как всегда пасуя перед более сильным, чем у нее, характером. — Если вы считаете, что люди не осудят...

«Какое счастье, просто не верится! Просто не верится!» — пело в душе у Скарлетт, когда она незаметно скользнула в задрапированный розовой и желтой кисеей киоск, предназначавшийся для барышень Маклюр. И все‑таки она здесь! После целого года траура, уединения, приглушенных голосов, сводящей с ума скуки, она — на вечере, самом большом вечере, какой когда‑либо устраивался в Атланте! Она снова видит множество людей, огни, слышит музыку, может полюбоваться на красивые наряды, кружева, ленты — все, что этот пресловутый капитан Батлер привез, прорвавшись сквозь блокаду, из своего последнего плавания.

Она опустилась на один из маленьких табуретов за прилавком и окинула взглядом длинный зал, который до этого вечера был всего лишь безобразной голой учебной казармой. Как должны были потрудиться сегодня дамы, чтобы сделать его таким нарядным! Теперь он выглядел прелестно. Сюда, подумалось ей, собрали, должно быть, все подсвечники и канделябры со всей Атланты — серебряные, с дюжиной тонких, изогнутых консолей, фарфоровые, с очаровательными фигурками, украшающими основание, старинные бронзовые шандалы, строгие и величественные, с множеством свечей всех цветов и размеров, благоухающих восковницей. Свечи стояли на длинных, декорированных цветами столах, и на пирамидах для винтовок, вытянувшихся вдоль всех стен, и на прилавках киосков, и даже на подоконниках распахнутых настежь окон, где теплый летний ветерок колебал, не задувая, их пламя.

Огромная безобразная лампа, подвешенная к потолку на заржавленных цепях в центре зала, совершенно преобразилась с помощью плюща и дикого винограда, начинавшего уже слегка съеживаться от жары. Сосновые ветви, развешанные по стенам, источали приятный аромат, а по углам зала из них было образовано нечто вроде уютных беседок для отдыха почтенных матрон и дуэний. Все стены, окна, все затянутые разноцветной кисеей киоски украсились гирляндами плюща, дикого винограда и сассапарили — длинные гибкие плети падали каскадом. И повсюду среди этой зелени на красно‑синих флагах и флажках сверкали звезды Конфедерации.

Подмостки для музыкантов были оформлены с особенным вкусом. Звездчатые флажки и растения в горшках и кадках почти скрывали их от глаз, и Скарлетт без труда догадалась, что все эти герани, колеусы, водосборы, олеандры и бегонии были принесены сюда из разных домов, со всех концов города. Даже четыре сокровища миссис Элсинг, ее четыре каучуконоса, заняли почетное место по углам подмостков.

С убранством же противоположного конца зала дамы так постарались, что превзошли самих себя. Здесь на стене висели огромные портреты — президента Конфедерации Дэвиса и вице‑президента Стефенса, уроженца Джорджии, прозванного Маленьким Алексом. Над портретами был водружен гигантский флаг, а перед ними на длинных столах красовались трофеи, собранные со всех садов города: груды белых, желтых и алых роз, декоративные папоротники; горделивые, похожие на шпаги золотистые гладиолусы, ворохи многоцветных настурций и прямые, упругие стебли шток‑роз, высоко вздымающие свои пунцовые и палевые головки. И среди этого буйства цветов торжественно, как на алтаре, горели свечи. Два лица, глядевшие сверху в зал, были столь разительно несхожи, что казалось странным, как могли эти два человека одновременно оказаться во главе столь торжественного сборища: Дэвис — с его тонким, твердо сжатым надменным ртом, впалыми щеками и холодными глазами аскета, и Стефенс — с горящим взором темных, глубоко посаженных глаз; лицо человека, познавшего лишь болезни и утраты и восторжествовавшего над ними благодаря крепости духа и природному чувству юмора. Два всеми любимых лица.

Почтенные дамы, представительницы комитета, на плечи коих была возложена ответственность за проведение базара, торжественно, как флагманские суда, проплыли по залу, направляя запоздавших молодых дам и смеющихся девушек к их киоскам, и скрылись за дверями задних комнат, где готовились прохладительные напитки и закуски. Тетушка Питти поспешила следом за ними.

Музыканты поднялись на подмостки и принялись настраивать свои скрипки, подкручивая колки и пиликая смычками с торжественно‑сосредоточенным видом, — их черные, сверкающие белозубыми улыбками лица уже лоснились от пота. Старик Леви, кучер миссис Мерриуэзер, руководивший оркестром на всех благотворительных базарах, балах и свадьбах еще с тех времен, когда Атланта звалась Мартасвиллом, постучал смычком, прося внимания. Гостей пока собралось мало — в основном только дамы‑распорядительницы, — но все взоры обратились к нему. И тут скрипки, контрабасы, аккордеоны, банджо и трещотки медленно, протяжно заиграли «Лорену» — медленно, потому что время для танцев пока не настало: танцы начнутся, когда из киосков исчезнут товары. Скарлетт почувствовала, как забилось у нее сердце при нежных меланхолических звуках вальса.

Уплывает за годом год, Лорена!

Травы увядают, снег идет,

Солнце покидает небосвод, Лорена...

Раз‑два‑три, раз‑два‑три, наклон вправо, влево, раз‑два‑три, раз‑два‑три, поворот‑поворот... Какой изумительный вальс! Слегка раскинув руки, полузакрыв глаза, она покачивалась в такт томной, завораживающей музыке. Печальная повесть трагической любви Лорены находила отклик в ее растревоженной душе, и к горлу подступал комок.

Внезапно, словно пробужденная к жизни музыкой вальса, залитая лунным светом, напоенная теплыми ароматами, улица за окнами наполнилась топотом копыт, скрипом колес, смехом, голосами, негромкой перебранкой кучеров‑негров, отвоевывавших себе место для экипажа. Радостные, беззаботные звуки перенеслись на лестницу; звонкие голоса девушек сплетались с басовитыми голосами их спутников: девушки восторженными восклицаниями приветствовали своих подруг, расставшись с ними не далее как после полудня.

И ожил зал. Девушки — в ярких платьях, с огромными кринолинами, из‑под которых выглядывали кружевные панталончики, — словно стая пестрых бабочек, разлетелись во все концы зала. Обнаженные хрупкие белые плечики, нежные округлые очертания грудей, чуть прикрытых кружевными рюшами; кружевные мантильи, небрежно наброшенные на полусогнутые руки, веера — разрисованные или расшитые стеклярусом, веера из лебяжьих перьев, из павлиньих перьев, подвешенные к запястьям на тоненьких бархатных ленточках; темные, гладко зачесанные вверх над ушами волосы, стянутые на затылке тугим, тяжелым, уложенным в сетку узлом, кокетливо‑горделиво оттягивающим голову назад; пушистые массы золотистых, танцующих надо лбом, ниспадающих на шею локонов в обрамлении золотых подвесок, танцующих с локонами в лад; шелк, кружева, тесьма, ленты — все контрабандное и от этого еще более драгоценное; все наряды, все украшения — предмет особой гордости, выставляемый напоказ как живое свидетельство того, что контрабандисты и девушки утерли нос янки.

Разумеется, не все цветы города были в знак уважения и преданности принесены к портретам вождей Конфедерации. Самые нежные и самые душистые украшали девушек: чайные розы, прикрепленные к волосам над ухом; бутоны роз и веточки жасмина, сплетенные венком, придерживали каскады кудрей; букетики цветов стыдливо выглядывали из‑за атласных кушаков. Всем этим цветам суждено было еще до исхода ночи перекочевать в качестве драгоценных сувениров в нагрудные кармашки серых мундиров.

О, сколько мундиров мелькало в этой толпе и сколько знакомых мужчин было облачено в эти мундиры — мужчин, которых Скарлетт видела на госпитальных койках или на плацу, встречала на улицах. И как великолепны были эти мундиры, с начищенными до блеска пуговицами, с ослепительным золотом галунов на обшлагах и на воротнике! И как красиво оттеняли серое сукно мундиров красные, желтые и синие лампасы на брюках, указывающие на род войск! Концы пунцовых и золотых кушаков развевались, ножны сабель сверкали и звенели, ударяясь о блестящие ботфорты, и звон их сливался со звоном шпор.

«Какие красавцы!» — думала Скарлетт, глядя, как мужчины издали взмахом руки приветствуют друг друга или склоняются над рукой какой‑нибудь почтенной дамы, и сердце ее переполнялось гордостью. Все они казались такими юными, несмотря на свои пышные рыжеватые усы или темные каштановые и черные бороды, и такими красивыми и беспечными, несмотря на забинтованные руки в лубках и белые марлевые повязки на голове, резко оттенявшие их загорелые, обветренные лица. Кое‑кто был даже на костылях, и какой гордостью сияли глаза сопровождавших их девушек, старавшихся приладиться к подпрыгивающим движениям своих кавалеров! Особенно ярким, многоцветным пятном, затмевавшим все наряды дам, выделялся в толпе зуав из Луизианы. Маленький, смуглолицый, улыбающийся, с рукой в лубке на черной шелковой перевязи, в широких, белых в синюю полоску шароварах, кремовых гетрах и коротком, плотно обтягивающем торс красном мундире — он был похож не то на заморскую тропическую птицу, не то на обезьянку. Его звали Рене Пикар, и он был главным претендентом на руку Мейбелл Мерриуэзер. Да, похоже, сегодня сюда прибыли все раненые из госпиталей — во всяком случае, все, кто мог ходить, а также все, приехавшие с фронта на побывку или отпущенные по болезни, и все железнодорожные и почтовые служащие, и весь персонал госпиталей, и все, кто работал в интендантской службе от Атланты до Мэйкона. Как довольны будут дамы‑патронессы! Госпитали огребут кучу денег сегодня.

С улицы донеслись дробь барабанов, топот ног, громкие восторженные крики кучеров. Затрубили в горн, и чей‑то сочный бас отдал команду: «Вольно!» И вот уже офицеры внутреннего охранения и милиции, все в парадных мундирах, поднялись по узкой лестнице и появились в зале, раскланиваясь, отдавая честь, пожимая руки. Юношам из войск внутреннего охранения война казалась увлекательной игрой, и они уповали на то, что ровно через год, если военные действия к тому времени еще продлятся, они тоже отправятся в Виргинию, а седобородые старцы, которым в эту минуту хотелось бы вернуть свою юность, молодцевато вышагивали в мундирах внутреннего охранения, озаренные светом славы своих сражающихся на фронте сыновей. В мундирах же милиции были в основном мужчины средних лет и постарше, но попадались и годные по возрасту для отправки на фронт — эти чувствовали себя не так непринужденно, как юноши и старики, ибо люди уже начали перешептываться на их счет, удивляясь, почему они не становятся под знамена генерала Ли.

Но как же зал вместит всю эту толпу! Еще минуту назад он казался таким большим и просторным, а сейчас был уже забит до отказа, и воздух теплой летней ночи стал душен от запаха одеколона, сухих духов, помады для волос, благоухания цветов, горящих ароматных свечей и легкого привкуса пыли от множества ног, топчущих старый дощатый пол казармы. В шуме и гуле голосов тонули все слова, а старик Леви, словно подхваченный всеобщим радостным возбуждением, вдруг оборвал на полутакте «Лорену», яростно прошелся смычком по струнам, и оркестр что было мочи грянул «Голубой заветный флаг».

Сотни голосов подхватили мелодию и слились в восторженном, ликующем гимне. Горнист из внутреннего охранения, вскочив на подмостки, затрубил в лад с оркестром, и когда серебристые звуки горна призывно поплыли над поющей толпой, холодок восторга пробежал у людей по спинам, и обнаженные плечи женщин покрылись от волнения мурашками.

Ура! Ура! Ура!

Да здравствует Юг и его Права!

Взвейся выше, флаг голубой

С одной заповедной звездой!

Запели второй куплет, и Скарлетт, громко певшая вместе со всеми, услышала за своей спиной высокое нежное сопрано Мелани, такое же пронзительно‑чистое, как звуки горна. Обернувшись, она увидела, что Мелани стоит, закрыв глаза, прижав руки к груди, и на ресницах у нее блестят слезинки. Когда музыка смолкла, она заговорщически улыбнулась Скарлетт и со смущенной гримаской приложила платочек к глазам.

— Я так счастлива, — шепнула она, — так горжусь нашими солдатами, что просто не могу удержаться от слез.

Глаза ее горели жгучим, почти фанатичным огнем, и озаренное их сиянием некрасивое личико стало на миг прекрасным.

И у всех женщин были такие же взволнованные лица, и слезы гордости блестели на их щеках — и на свежих, румяных, и на увядавших, морщинистых, — и губы улыбались, и глубоким волнением горели глаза, когда музыка смолкла и они повернулись к своим мужчинам — мужьям, возлюбленным, сыновьям. И все женщины, даже самые некрасивые, были ослепительно хороши в эту минуту, озаренные верой в своих любимых и любящих и стократно воздающие им любовью за любовь.

Да, они любили своих мужчин, верили в них и готовы были верить до последнего вздоха. Разве может беда постучаться к ним в дверь, когда между ними и янки незыблемой стеной стоят эти серые мундиры? Ведь никогда, казалось им, с самого сотворения мира ни одна страна еще не растила таких сыновей — таких бесстрашных, таких беззаветно преданных делу, таких изысканно‑галантных, таких нежных! И как могут они не одержать сокрушительной победы, когда борются за правое, справедливое дело. И это Правое Дело не менее дорого им, женщинам, чем их мужья, отцы и сыновья; они служат ему своим трудом, они отдали ему и сердца свои, и помыслы, и упования, и отдадут, если потребуется, и мужей, и сыновей, и отцов, и будут так же гордо нести свою утрату, как мужчины несут свое боевое знамя.

В эти дни сердца их были преисполнены преданности и гордости до краев: Конфедерация — в зените своей славы, и победа близка! Несокрушимый Джексон триумфально движется по долине Миссисипи, и янки посрамлены в семидневном сражении под Ричмондом! Да и как могло быть иначе, когда во главе стоят такие люди, как Ли и Джексон? Еще одна победа, и янки на коленях возопиют о мире, а воины‑южане возвратятся домой, и радости и поцелуям не будет конца! Еще одна победа, и войне конец!

Конечно, чьи‑то места за семейным столом опустеют навеки, и чьи‑то дети никогда не увидят своих отцов, и на пустынных берегах виргинских рек и в безмолвных горных ущельях Теннесси останутся безымянные могилы, но кто скажет, что эти люди слишком дорогой ценой заплатили за Правое Дело? А если дамам приходится обходиться без нарядных туалетов, если чай и сахар стали редкостью, это может служить лишь предметом шуток, не более. К тому же отважным контрабандистам нет‑нет да и удавалось провозить все это под самым носом у разъяренных янки, и обладание столь желанными предметами доставляло особое удовольствие. Но скоро Рафаэль Семмс и военно‑морской флот Конфедерации дадут жару канонеркам северян и откроют доступ в порты. Да и Англия окажет Конфедерации военную помощь — ведь английские фабрики бездействуют из‑за отсутствия южного хлопка. И, конечно, английская знать не может не симпатизировать южанам, как всякая знать — людям своего круга, и не может не испытывать неприязни к янки, поклоняющимся доллару.

И женщины шелестели шелковыми юбками, и заливались смехом, и, глядя на своих мужчин, испытывали гордость и любовный трепет, вдвойне сладостный и жгучий перед лицом опасности, а быть может, даже смерти.

Сердце Скарлетт тоже в первые минуты билось радостно и учащенно оттого, что она снова оказалась на балу среди такого многолюдного сборища, но ее радость вскоре потухла, когда, окидывая взглядом толпу, она заметила одухотворенное выражение на лицах окружающих. Все сияли, всех переполнял патриотический восторг, и только одна она не испытывала таких чувств. Ее приподнятое настроение сменилось подавленностью и смутной тревогой. И вот уже зал утратил свое великолепие в ее глазах и наряды женщин — свой блеск, а их безраздельная преданность Конфедерации и безудержный восторг, озарявший их лица, показались ей просто... да просто смешными!

У нее даже слегка приоткрылся от удивления рот, когда, заглянув себе в душу, она неожиданно поняла, что не испытывает ни той гордости, которой полны эти женщины, ни их готовности пожертвовать всем ради Правого Дела. И прежде чем в объятом страхом уме ее успела промелькнуть мысль: «Нет, нет, нельзя так думать! Это дурно, это грешно», она уже знала, что это их пресловутое Правое Дело для нее — пустой звук и ей до смерти надоело слушать, как все без конца исступленно толкуют об одном и том же с таким фанатичным блеском в глазах. Правое Дело не представлялось ей священным, а война — чем‑то возвышенным. Для нее это было нечто досадно вторгшееся в жизнь, стоившее много денег, бессмысленно сеявшее смерть и делавшее труднодоступным то, что услаждает бытие. Она поняла, что устала от бесконечного вязания, скатывания бинтов и щипания корпии, от которой у нее загрубели пальцы. И, боже, как надоел ей госпиталь! Она устала, она погибала от тоски, от тошнотворного запаха гноящихся ран, от вечных стонов раненых, от страшной печати отрешенности на осунувшихся лицах умирающих.

Она украдкой оглянулась по сторонам, словно боялась, что кто‑нибудь может прочесть на ее лице эти кощунственные мысли. Ну почему, почему не способна она испытывать тех чувств, которые испытывают другие женщины! Они так искренне, так самозабвенно преданы этому своему Правому Делу. Они действительно верят в то, что делают и говорят. И если кто‑нибудь заподозрит, что она... Нет, никто никогда не должен об этом узнать! Пусть она не испытывает ни воодушевления, ни гордости, которыми они полны, придется притворяться, что и она обуреваема такими же чувствами. Она сыграет свою роль вдовы офицера‑конфедерата, навеки отрекшейся от всех радостей жизни, но мужественно несущей свой крест, ибо смерть ее мужа — лишь ничтожная жертва в борьбе за Правое Дело.

Но почему она не такая, как все, как эти любящие, преданные женщины? Почему никого и ничто не способна она так бескорыстно, так самозабвенно любить? Эти мысли породили в ней чувство одиночества, которого она дотоле не испытывала. Сначала она хотела отмахнуться от них, заглушить их в душе, но обманывать себя — удел натур слабых, и ей это было несвойственно. И пока вокруг шумел базар и они с Мелани поджидали покупателей, в уме ее творилась лихорадочная работа: она старалась найти оправдание своим чувствам — задача, которая еще никогда не была для нее неразрешимой.

Все эти женщины, с их вечными разглагольствованиями о патриотизме и преданности Правому Делу — просто истеричные дуры. Да и мужчины не лучше — тоже только и знают, что кричать о Правах Юга и главных задачах. И только у нее одной, у Скарлетт О’Хара Гамильтон, есть голова на плечах, не лишенная крепкого ирландского здравого смысла. Она не позволит делать из себя идиотку, готовую пожертвовать всем ради пресловутого Дела, но она и не настолько глупа, чтобы выставлять напоказ свои истинные чувства. У нее хватит смекалки на то, чтобы действовать сообразно обстоятельствам, и никто никогда не узнает, что у нее на душе. Как бы поразились все, кто толчется на этом базаре, узнай они, что она сейчас думает! Да они все попадали бы в обморок, если бы она вдруг влезла сейчас на подмостки и заявила во всеуслышанье, что пора положить конец этой войне, чтобы все, кто там воюет на фронте, могли вернуться домой и заняться своим хлопком, и снова задавать балы, и покупать дамам красивые бледно‑зеленые платья.

Так, внутренне самооправдавшись, она немного воспрянула духом, но вид зала все же по‑прежнему был ей неприятен. Киоск барышень Маклюр был, как и говорила миссис Мерриуэзер, расположен не на виду, покупатели подходили к нему не часто, и Скарлетт не оставалось ничего другого, как с завистью глазеть на веселящуюся толпу. Ее угрюмость не укрылась от Мелани, но, приписав ее скорби о покойном муже, она не пыталась развлечь Скарлетт беседой. От нечего делать она перекладывала товары на прилавке, стараясь придать им более заманчивый вид, в то время как Скарлетт сидела, мрачно глядя в зал. Все теперь казалось ей здесь безвкусным — даже цветы перед портретами мистера Стефенса и мистера Дэвиса.

«Устроили какой‑то алтарь! — фыркнула она про себя. — Только что не молятся на них, словно это бог‑отец и бог‑сын!» И тут же, испугавшись своих кощунственных мыслей, начала было поспешно креститься украдкой, испрашивая себе прощение, как вдруг рука ее застыла на полдороге.

«Но ведь это же в самом деле так, — вступила она в спор с собственной совестью. — Все поклоняются им, точно святым, а они самые обыкновенные люди, да к тому же еще вон какие безобразные.

Конечно, мистер Стефенс не виноват в том, что он так нехорош собой — он же больной от рождения, но мистер Дэвис...» Она всмотрелась в тонкие черты горделивого, точеного, как на камеях, лица. Больше всего ее раздражала его козлиная бородка. Мужчины должны быть либо гладко выбритыми и с усами, либо с пышной бородой.

«Видно, он не может отрастить ничего, кроме этого клочка волос», — подумала она, не разглядев в холодном обремененном заботой о судьбах молодой нации лице ни острой проницательности, ни ума.

Она так сияла от радости поначалу, очутившись среди этой пестрой толпы, а теперь ее оживление угасло. Оказалось, что просто находиться здесь — этого еще недостаточно. Она лишь присутствовала на благотворительном базаре, но не стала частью его. Никто не обращал на нее внимания, и она была единственной молодой незамужней женщиной без кавалера. А она всю жизнь привыкла быть в центре внимания. Несправедливо это! Ей было всего семнадцать лет, и ее ноги сами собой постукивали по полу, рвались пуститься в пляс. Ей было всего семнадцать лет, и ее муж покоился на Оклендском кладбище, а ее ребенок — спал в колыбельке под присмотром челяди тетушки Питтипэт, и, по мнению всех, ей надлежало быть довольной своей участью. Ни у кого из присутствующих здесь женщин или девушек не было такой тонкой талии, такой белоснежной шейки, таких маленьких ножек, но все это пропадало даром, словно она уже лежала рядом с Чарлзом в могиле, под надгробной плитой с надписью: «Горячо любимая супруга...»

Она не может быть ни с молоденькими девушками, которые танцуют и кокетничают, ни с замужними женщинами, которые сидят в сторонке и судачат о тех, кто танцует и кокетничает. Но она слишком молода для того, чтобы быть вдовой. Ведь вдовы — это такие старые‑престарые старухи, у которых уже не может возникнуть желания ни танцевать, ни кокетничать, ни быть предметом поклонения мужчин. Нет, это несправедливо, что в семнадцать лет она должна сидеть здесь, чопорно поджав губы — образец вдовьей благопристойности и чувства собственного достоинства, — и опускать глаза долу и умерять свой голос, когда мужчины — а тем более привлекательные мужчины — подходят к ее киоску.

Все девушки Атланты были окружены плотным кольцом кавалеров. Даже самые некрасивые держались, как писаные красавицы. И что еще обиднее — все были в таких нарядных, таких прелестных платьях!

А она, словно ворона, сидела в этом душном, черном, застегнутом на все пуговицы платье с закрытым воротом и длинными рукавами, без единого кусочка кружев или тесьмы, без всяких украшений, кроме траурной броши из оникса, подарка Эллин, — сидела и смотрела на проходивших мимо интересных мужчин, на девиц, льнущих к своим кавалерам, повиснув у них на руке. И все ее несчастья оттого, что Чарлз Гамильтон ухитрился подхватить корь! Он даже не сумел пасть, овеянный славой на поле боя, чтобы дать ей возможность хотя бы гордиться им!

И полная этих мятежных дум, она, пренебрегая наставлениями Мамушки, постоянно твердившей ей, что нельзя опираться на локти — они станут жесткими и сморщенными, — оперлась локтями о прилавок, наклонилась вперед и принялась глядеть в зал. Ну и что? Ну и пусть станут уродливыми! Едва ли у нее будет когда‑нибудь возможность выставлять их напоказ. С алчной завистью смотрела она на проплывавшие мимо нарядные платья: сливочно‑желтое муаровое, украшенное гирляндами розовых бутонов; алое атласное — она насчитала на нем восемнадцать оборочек, обшитых по краям узенькими черными бархатными ленточками... а на эту юбку пошло не меньше десяти ярдов бледно‑голубой тафты, поверх которой пенятся каскады кружев... а эти полуобнаженные груди с соблазнительно приколотыми у глубокого декольте цветами... Мейбелл Мерриуэзер в яблочно‑зеленом тарлатановом платье, с таким огромным кринолином, что талия казалась неправдоподобно тонкой, направилась к соседнему киоску под руку с зуавом. Платье было отделано бесчисленными воланами и оборками из кремовых французских кружев, доставленных в Чарльстон с последней партией контрабанды, и Мейбелл так горделиво выступала в нем, словно это не капитан Батлер, а она сама прорвалась с кружевом через блокаду.

«Конечно, я бы выглядела великолепно в этом платье, — с неукротимой завистью думала Скарлетт. — У нее же талия, как у коровы! А этот яблочно‑зеленый оттенок так идет к цвету моих глаз. И как только белокурые девушки отваживаются надевать такие платья? Кожа у нее кажется зеленой, как заплесневелый сыр. И подумать только, что мне уж никогда не носить такие цвета. Даже когда я сниму траур. Нет, даже если снова выйду замуж. Тогда моими цветами станут темно‑серый, коричневый и лиловый».

С минуту она с горечью размышляла над несправедливостью судьбы. Как краток срок веселья, танцев, красивых платьев, флирта! Как быстро промелькнули эти годы! А потом замужество и дети, и тонкой талии уже нет и в помине, и ты в тусклом темном платье сидишь во время танцев вместе с другими степенными матронами, а если и танцуешь, то лишь с мужем или с каким‑нибудь почтенным старичком, который так и норовит наступить тебе на ногу. А попробуй вести себя по‑другому, на твой счет начнут судачить, и репутация твоя погибла, и позор ложится на всю семью. Но как же это обидно и нелепо — потратить всю свою короткую девичью жизнь, постигая науку быть привлекательной и очаровывать мужчин, а потом, через какой‑то год‑два, увидеть, что твое искусство стало бесполезным! Вспоминая все, чему учили ее Эллин и Мамушка, Скарлетт понимала, что их наставления были правильны, тщательно продуманы и всегда давали свои плоды. Существовали установленные правила игры, и если неукоснительно следовать им, успех обеспечен.

С пожилыми дамами надлежит быть кроткой, невинной и возможно более простодушной, ибо пожилые дамы проницательны и, как кошки за мышью, ревниво следят за каждой молоденькой девушкой, готовые запустить в нее когти при любом неосторожном, нескромном слове или взгляде. С пожилыми джентльменами нужно быть задорной, шаловливой и даже кокетливой — в меру, конечно, — что приятно льстит тщеславию этих дурачков. Они тогда молодеют, чувствуют себя отчаянными жуирами, норовят ущипнуть вас за щечку и называют озорницей. При этом вы, разумеется, должны залиться краской, иначе они ущипнут вас уже с большим пылом, а потом скажут своим сыновьям, что вы недостаточно целомудренны.

К девушкам и молодым замужним женщинам нужно кидаться с поцелуями и изъявлениями нежности при каждой встрече, будь это хоть десять раз на дню. Нужно обнимать их за талию и позволять им проделывать то же с вами, как бы вам это ни претило. Нужно напропалую расхваливать их наряды или их младенцев, мило подшучивать по поводу одержанных ими побед или отпускать комплименты в адрес их мужей и, смущенно хихикая, утверждать, что у вас нет и сотой доли обаяния этих леди. А самое главное — о чем бы ни шла речь — никогда не говорить того, что вы на самом деле думаете, памятуя, что и они никогда этого не делают.

С чужими мужьями, если даже прежде они были вашими поклонниками и получили у вас отставку, следует держаться как можно более холодно и сурово, сколь бы привлекательными они вам вдруг ни показались. Стоит проявить хоть чуточку расположения к молодым женатым мужчинам, как их жены немедленно объявят вас нахальной кокеткой, репутация ваша погибла и вам не видать женихов как своих ушей.

А вот с холостыми молодыми людьми — о, тут дело обстоит совсем иначе! Тут можно позволить себе тихонько рассмеяться, поглядывая издали на какого‑нибудь из них, а когда он со всех ног бросится к вам, чтобы узнать, почему вы смеялись, можно лукаво отнекиваться и все задорнее заливаться смехом, заставляя его до бесконечности допытываться о причине такого веселья. Тем временем ваши глаза могут сулить ему такие волнующие мгновения, что он тут же постарается остаться с вами где‑нибудь наедине. А когда ему это удастся и он попытается вас поцеловать, вам следует быть глубоко оскорбленной или очень, очень разгневанной. Следует заставить его вымаливать прощения за свою дерзость, а потом с такой чарующей улыбкой одарить его этим прощением, что он непременно повторит свою попытку еще раз. Время от времени, но не слишком часто, можно разрешить ему этот поцелуй. (Последнему Эллин и Мамушка ее не учили, но она на опыте убедилась, что такой способ приносит очень богатые плоды.) После этого необходимо расплакаться и начать твердить сквозь слезы, что вы не понимаете, что с вами творится, и, конечно, теперь он не сможет больше вас уважать. Тогда он примется осушать ваши слезы, и можно почти с уверенностью сказать, что тут же сделает вам предложение в доказательство того, сколь глубоко и незыблемо он вас уважает. Ну, и помимо этого существует еще так много... Да разве перечислишь все правила игры с предполагаемыми женихами, так хорошо ею изученные: брошенный искоса выразительный взгляд; улыбка краешком губ из‑под веера; волнующая походка — так, чтобы кринолин колыхался на бедрах; смех, слезы, лесть, нежность, сочувствие... Господи, сколько их, этих уловок, которые никогда и ни с кем ее не подводили. Если не считать Эшли.

Но это же просто глупо — овладеть всем этим искусством лишь на столь недолгий срок, а затем забросить его навсегда! Насколько приятнее было бы никогда не выходить замуж, а продолжать носить бледно‑зеленые платья, быть неотразимой, всегда окруженной толпой красивых мужчин. Однако если эту игру слишком затянуть, рискуешь остаться старой девой, как Индия Уилкс, и все будут с этакой омерзительной снисходительно‑самодовольной улыбочкой говорить о тебе: «бедняжка». Нет, лучше уж выйти замуж и сохранить уважение к себе, пусть даже ценой отказа от всех развлечений.

Господи, до чего же сложна жизнь! И как могла она совершить такую глупость, зачем нужно было выходить замуж за этого Чарлза и заживо хоронить себя в шестнадцать лет!

Движение в зале отвлекло ее от бесплодных размышлений и самоукоров: толпа раздалась в стороны, освобождая проход; дамы бережно придерживали кринолины, дабы от какого‑нибудь случайного небрежного толчка они не колыхнулись слишком резко, открыв панталоны выше, чем положено. Поднявшись на цыпочки, Скарлетт увидела, что капитан милиции вскочил на подмостки, где разместился оркестр. Он выкрикнул команду, и его взвод выстроился в проходе и проделал несколько строевых упражнений, вызвавших на лицах воинов испарину и крики одобрения и аплодисменты в публике. Скарлетт поспешно захлопала в ладоши вместе со всеми, и когда солдаты по команде «вольно!» зашагали в направлении киосков с пуншем и лимонадом, повернулась к Мелани, решив, что сейчас самое время начать демонстрировать свою преданность Правому Делу.

— Как славно они выглядят, верно? — сказала она.

Мелани перекладывала какие‑то вязаные вещички на прилавке.

— Большинство из них выглядели бы еще лучше в серых мундирах на виргинской земле, — сказала она, не стараясь понизить голос.

Несколько важных матрон, чьи сыновья служили в милиции, стояли совсем близко и слышали ее слова. Миссис Гинен вспыхнула, потом побледнела: ее двадцатипятилетний сын Уилли был одним из солдат этого взвода.

Скарлетт ошеломленно поглядела на Мелани. Вот уж от кого она никак не ожидала услышать такие слова.

— Что ты, Мелли!

— Ты знаешь, что я права, Скарлетт. Я же не имею в виду подростков и стариков. Но большинство солдат милиции вполне способны стрелять из винтовок, чем им и следовало бы заняться, не теряя ни минуты.

— Но... послушай, — начала Скарлетт, которая никогда над этим вопросом не задумывалась. — Кто‑то же должен остаться дома, чтобы... — Она старалась припомнить, что говорил ей Уилли Гинен, объясняя, почему необходимо его присутствие в Атланте. — Чтобы охранять наш штат от вторжения.

— Никто к нам не вторгается и не собирается вторгаться, — холодно возразила Мелани, глядя в сторону солдат. — И самый лучший способ оградить нас от вторжения — это отправиться в Виргинию и бить там янки. А если говорят, что милиция нужна здесь, чтобы охранять нас на случай восстания негров, то ничего глупее этого вообразить себе невозможно. Зачем наши негры станут восставать? Это просто жалкая выдумка трусов. Я уверена, что мы в один месяц расправились бы с янки, если бы войска милиции всех штатов были отправлены в Виргинию. Вот так‑то!

— Ну что ты, Мелани! — только и могла промолвить Скарлетт, с изумлением на нее глядя.

Кроткие глаза Мелли гневно сверкнули.

— Мой муж не побоялся поехать туда, так же как и твой. И мне было бы легче увидеть их обоих мертвыми, нежели спрятавшимися здесь, у себя под крышей... О дорогая, что я говорю, прости меня! Как это жестоко, как бесчувственно с моей стороны!

Она с мольбой погладила Скарлетт по руке, а та продолжала смотреть на нее во все глаза. Но не о мертвом Чарлзе думала она в эту минуту. Она думала об Эшли. Что, если и он умрет? Она резко отвернулась и машинально улыбнулась доктору Миду, подходившему к их киоску.

— Ну, мои дорогие, — приветствовал он их, — как хорошо, что вы обе пришли. Я понимаю, что вы принесли большую жертву, придя сюда. Но ведь это все ради нашего Дела. И я хочу открыть вам один секрет. Я нашел замечательный способ раздобыть сегодня побольше денег для госпиталей, только боюсь, наши дамы будут несколько шокированы.

Он умолк и хмыкнул, поглаживая седую бородку.

— Что же это за способ? Расскажите нам!

— Нет, пожалуй, я лучше предложу вам догадаться самим. И я надеюсь на ваше заступничество, если наши церковницы решат изгнать меня из города. Ведь я же, что ни говори, стараюсь для раненых. Словом, вы увидите. Ничего подобного у нас тут еще не было.

Он с важным видом направился в угол к группе устроительниц базара, а Мелани и Скарлетт повернулись друг к другу, горя желанием обсудить таинственный сюрприз, но в эту минуту двое почтенных господ подошли к киоску, громко требуя, чтобы им отпустили миль десять плетеного кружева. «Ладно, пусть хоть эти старички. Все лучше, чем совсем никого», — подумала Скарлетт, отмеряя кружево и стыдливо позволяя потрепать себя по подбородку. Старые жуиры, получив товар, направились затем к киоску с лимонадом, и их место заняли другие покупатели. Киоск Мелани и Скарлетт не пользовался таким успехом, как другие киоски, откуда доносился заливистый смех Мейбелл Мерриуэзер, хихиканье Фэнни Элсинг и задорные голоса барышень Уайтинг, бойко отвечавших на шутки покупателей. Мелани серьезно и невозмутимо, как заправская хозяйка магазина, отпускала клиентам явно ненужный им товар, и Скарлетт старалась ей подражать.

Перед другими киосками толпилась куча народа: девушки весело щебетали, мужчины делали покупки. Те же немногие покупатели, что подходили к киоску Мелани и Скарлетт, по большей части вспоминали, как кто‑то из них учился с Эшли в университете, или говорили о том, каким он теперь показал себя храбрым воином, или почтительным тоном заявляли, что город понес в лице Чарлза тяжелую утрату.

А потом с подмостков вдруг полились удалые звуки веселой песенки «А ну‑ка, Джонни Букер», и Скарлетт чуть не взвизгнула от злости. Ей хотелось танцевать. Танцевать! Она смотрела в зал, постукивая в такт ножкой об пол, зеленые глаза ее сверкали. Какой‑то человек, вступив в зал, приостановился в дверях, перехватил ее взгляд, всмотрелся пристальнее — явно заинтересованный — в чуть раскосые мятежные глаза на угрюмом, злом лице и усмехнулся про себя, прочтя в них понятный каждому мужчине призыв.

Он был высок, на голову выше стоявших рядом офицеров — широкоплечий, узкобедрый, с тонкой талией и до смешного миниатюрными ногами в отлично начищенных ботинках. Строгий черный костюм, тонкая гофрированная сорочка и брюки со штрипками, элегантно открывавшие высокий подъем стопы, находились в странном контрасте с мощным торсом и фатоватым холеным лицом. Костюм денди на теле атлета, недюжинная дремлющая сила, таящая в себе опасность, и небрежная грация движений. Иссиня‑черные волосы. Тоненькие черные усики, в соседстве с пышными, свисающими до подбородка усами стоявших рядом кавалерийских офицеров, делали его похожим на европейца. Лицо человека, наделенного отменным здоровьем и таким же аппетитом, откровенно жадного до всех жизненных утех. Человека, неколебимо уверенного в себе и беззастенчиво пренебрежительного к другим. Он глядел на Скарлетт с нагловато‑насмешливым огоньком в глазах, и, почувствовав на себе его взгляд, она повернулась в его сторону.

Она не сразу узнала этого господина, хотя отзвук какого‑то неясного воспоминания прошелестел в ее мозгу. Однако это был единственный мужчина, впервые за много месяцев явно проявивший к ней интерес, и она улыбнулась ему. Он поклонился, она слегка присела, но когда он мягкой, какой‑то кошачьей походкой направился к ней, она узнала его и в смятении прижала руку к губам.

Она стояла оцепенев и смотрела, как он пробирался к ней сквозь толпу. Потом повернулась, безотчетно стремясь скрыться в комнаты для отдыха, но ее подол зацепился за какой‑то гвоздь. Она яростно дернула и порвала юбку, и в ту же секунду он оказался рядом с ней.

— Разрешите мне, — сказал он, наклонился и отцепил порванную оборку. — А я и не надеялся, что вы узнаете меня, мисс О’Хара.

Ей показалось странным, что у него такой приятный, хорошо модулированный голос человека из общества, с певучим чарльстонским выговором.

Зардевшись от смущения, она с мольбой подняла на него глаза, ибо их последнее свидание теперь отчетливо воскресло в ее памяти, и встретила откровенно веселый и безжалостный взгляд угольно‑черных, как ей показалось, глаз. Каким ветром принесло его сюда, этого ужасного человека, ставшего свидетелем ее объяснения с Эшли, которое и сейчас порой возвращалось к ней в ночных кошмарах? Почему он должен был оказаться здесь — этот гнусный негодяй, этот обольститель, которого в порядочных домах не пускают на порог! Этот презренный человек, посмевший заявить — и, увы, не без основания, — что она не леди.

При звуках его голоса Мелани обернулась, и впервые в жизни Скарлетт возблагодарила всевышнего за то, что у нее есть золовка.

— Вы, кажется, мистер Ретт Батлер, не так ли? — сказала Мелани, улыбаясь и протягивая ему руку. — Мы с вами встречались...

— При самых счастливых обстоятельствах: когда была объявлена ваша помолвка, — подтвердил он, склоняясь к ее руке. — Вы очень добры, я не ждал, что вы меня вспомните.

— А что привело вас сюда, в такую даль, мистер Батлер? Ведь вы были в Чарльстоне?

— Скучные деловые обязанности, миссис Уилкс. Мне теперь придется частенько наведываться в ваш город. Я подумал, что помимо ввоза товаров мне следует еще заняться их сбытом.

— Помимо ввоза?.. — повторила Мелли, наморщив лоб, и тут же расцвела улыбкой. — Так вы... Ну конечно же, вы знаменитый капитан Батлер, не раз прорывавший блокаду! Мы много слышали о вас. Ведь каждая девушка в нашем городе носит платья, попавшие сюда благодаря вам. Скарлетт, подумай, какая встреча!.. Что с тобой, дорогая? Тебе дурно? Сядь, скорее сядь!

Скарлетт, тяжело дыша, опустилась на стул; ей казалось, что шнуровка ее корсета вот‑вот лопнет. Боже, какой ужас! Она никогда не думала, что может снова встретиться с этим человеком. Взяв ее черный веер с прилавка, он принялся заботливо — о, чрезмерно, подчеркнуто заботливо — обмахивать ее. Лицо его было серьезно, но в глазах все еще плясали насмешливые искорки.

— По‑моему, здесь слишком душно, — сказал он. — Неудивительно, что мисс О’Хара стало дурно. Разрешите мне проводить вас к окну?

— Не надо! — Ответ Скарлетт прозвучал так резко, что Мелани с удивлением на нее поглядела.

— Эта дама теперь уже не мисс О’Хара, а миссис Гамильтон. Она стала моей сестрой, — сказала Мелани, мельком одарив Скарлетт неясным взглядом.

Скарлетт казалось, что она сейчас задохнется, в такое бешенство привело ее выражение смуглого пиратского лица этого капитана‑контрабандиста Батлера.

— К обоюдному, я убежден, счастью обеих прелестных дам, — сказал капитан Батлер с легким поклоном. Это был обычный подобающий случаю комплимент, но Скарлетт почудилось, что он вложил в него прямо противоположный смысл.

— Ваши супруги, я надеюсь, присутствуют на этом праздничном торжестве? Я был бы счастлив возобновить наше знакомство.

— Мой муж сейчас в Виргинии, — сказала Мелани, гордо вскинув голову. — А Чарлз... — Голос се дрогнул, и она не договорила.

— Он умер в лагере, — жестко произнесла Скарлетт. Словно отрубила. Когда этот субъект оставит их в покое? Мелани снова с удивлением на нее поглядела, а капитан Батлер жестом выразил свое раскаяние за необдуманный вопрос.

— Милые дамы... как я неловок! Прошу простить мою бестактность. Я человек пришлый, но позвольте мне выразить уверенность, что тот, кто пал за родину, будет жить вечно, и это должно служить вам утешением.

Мелани улыбнулась ему сквозь слезы, а Скарлетт чувствовала, как гнев и бессильная ярость шевелятся в ее груди, когтя ее, словно хищный зверь. Снова он, как подобает джентльмену, произносил вежливые слова соболезнования, но сам не верил в них ни на грош. Этот человек издевается над ней. Он знает, что она не любила Чарлза. А Мелани, конечно, слишком глупа, чтобы прочесть его истинные мысли. «О господи, лишь бы еще кто‑нибудь не сумел их прочесть!» — внезапно подумала она с ужасом. А что, если он расскажет о том, чему был свидетелем? Как можно знать, на что способен человек, если он не джентльмен? Какой меркой его мерить? Она подняла на него глаза. Он продолжал обмахивать ее веером, но она уловила насмешливо‑сочувственную ухмылку в углах его рта. И что‑то еще в его взгляде придало ей мужества, усилив неприязнь к нему. Она вырвала веер у него из рук.

— Я прекрасно себя чувствую, — сказала она резко. — Совершенно не обязательно портить мне прическу.

— Скарлетт, дорогая! Капитан Батлер, вы не должны обижаться на нее. Она... она всегда так — сама не своя, когда при ней упоминают имя нашего бедного Чарлза... И вероятно, нам все же не следовало сегодня приходить сюда. Вы видите, мы еще в трауре, и все это веселье, эта музыка слишком тяжкое испытание для бедной малютки.

— О, я понимаю, — проговорил он с подчеркнутой серьезностью. Повернувшись к Мелани, он пристально поглядел на ее встревоженное лицо, встретил взгляд ее ясных глаз, и в чертах его смуглого лица произошла еле уловимая перемена: они смягчились, и невольное уважение промелькнуло в его взгляде.

— Мне кажется, вы очень сильная духом женщина, миссис Уилкс.

«А обо мне ни слова!» — раздраженно подумала Скарлетт. Мелани смущенно улыбнулась:

— Ну что вы, капитан Батлер! Просто комитет попросил нас обеих посидеть в киоске, потому что в последнюю минуту... Вам нужна наволочка для диванной подушки? Вот очень красивая, с флагом.

Она повернулась к трем кавалеристам, появившимся перед киоском. На секунду у нее мелькнула мысль, что этот капитан Батлер вполне приятный человек. Потом она пожалела, что между ее юбкой и стоявшей возле киоска плевательницей нет другой более основательной преграды, кроме драпировки из кисеи, ибо янтарно‑желтые комочки кавалерийской табачной жвачки далеко не так точно попадали в цель, как пули кавалерийских пистолетов. Но она тут же забыла и про капитана Батлера, и про Скарлетт, и про плевательницу, увидев новых покупателей, столпившихся у киоска.

Скарлетт молча сидела на табуретке, обмахиваясь веером и страстно желая, чтобы капитан Батлер поскорее возвратился туда, где ему положено быть, — на свой корабль.

— Давно ли скончался ваш супруг?

— Давно. Почти год назад.

— И канул в Лету, думается мне.

Не будучи уверена в том, что такое «Лета», но безошибочно чувствуя, что в этих словах скрыта насмешка, Скарлетт промолчала.

— И долго вы были замужем? Простите мой вопрос, но я давно не заглядывал в эти края.

— Два месяца, — нехотя отвечала Скарлетт.

— Как поистине трагично. — Он произнес это довольно небрежным тоном.

«О, чтобы тебе пропасть!», — в бешенстве подумала Скарлетт. Будь это кто‑нибудь другой, она окинула бы его ледяным взглядом и попросила бы удалиться. Но этот человек знал про нее и про Эшли и понимал, что она не любила Чарлза. Она была связана по рукам и ногам. Она сидела молча, опустив глаза на свой веер.

— И сегодня ваш первый выход в свет?

— Я понимаю, это выглядит странно, — поспешила объяснить Скарлетт. — Но барышням Маклюр, которые должны были сидеть в этом киоске, неожиданно пришлось уехать, и, кроме нас с Мелани, заменить их никто не мог, и...

— Любую жертву не жалко принести во имя Правого Дела.

То же самое говорила и миссис Элсинг, только ее слова звучали как‑то по‑иному. Гневный ответ был у Скарлетт уже наготове, но она вовремя прикусила язык. В конце концов она ведь здесь не ради «Правого Дела», а потому, что ей до смерти надоело сидеть дома.

— Этот обычай — носить траур и замуровывать женщин до конца их дней в четырех стенах, лишая естественных жизненных радостей, — раздумчиво проговорил капитан Батлер, — всегда казался мне столь же варварским, как индийский ритуал самосожжения.

— Как индийский — что?

Он рассмеялся, и она покраснела, поняв, что обнаружила свое невежество. Как отвратительны люди, которые говорят о непонятном!

— В Индии, когда человек умирает, его не предают земле, а сжигают, и жена тоже восходит на погребальный костер и сгорает вместе с ним.

— Какой ужас! Зачем они это делают? И неужели полиция не вмешивается?

— Ну, разумеется, нет. Вдова, не пожелавшая сжечь себя вместе с мужем, становится изгоем. Все почтенные индийские матроны станут говорить, что она не умеет вести себя как настоящая леди, — совершенно так же, как эти почтенные матроны вон там в углу сказали бы про вас, взбреди вам в голову появиться здесь сегодня в красном платье и пройтись в кадрили. Лично мне обряд самосожжения представляется более милосердным, чем обычаи нашего прекрасного Юга, требующие, чтобы вдова надела траур и погребла себя заживо.

— Как вы смеете! Я вовсе не считаю себя погребенной заживо!

— Поразительно, как женщины исступленно держатся за свои цепи! Вы находите индийский обычай чудовищным? А хватило бы у вас смелости появиться сегодня здесь, если бы этого не потребовалось для нужд Конфедерации?

Скарлетт никогда не была большой мастерицей вести такого рода споры, а на этот раз и вовсе смешалась, ибо не могла не признать в душе правоты своего собеседника. Но пора все же дать ему отпор.

— Ну разумеется, я никогда бы этого не сделала. Это было бы проявлением неуважения к... к памяти... Могло бы показаться, что я не лю...

Чувствуя на себе его веселый, откровенно насмешливый взгляд, она умолкла. Он ведь знает, что она не любила Чарлза, и не станет снисходительно‑вежливо выслушивать ее приличествующие случаю притворно‑скорбные излияния. Это невыносимо, невыносимо иметь дело с человеком, который не умеет быть джентльменом! Джентльмен всегда делает вид, что верит даме, даже если он знает, что она говорит неправду. Такое рыцарство у южан в крови. Джентльмен всегда ведет себя как воспитанный человек, говорит то, чего требуют правила хорошего тона, и старается облегчить даме жизнь. А для этого субъекта, как видно, никакой закон не писан, и ему явно доставляет удовольствие говорить о таких вещах, касаться которых не положено.

— Я внимаю вам, затаив дыхание.

— Вы ужасный человек, — беспомощно сказала она и опустила глаза.

Он наклонился над прилавком и, забавно имитируя театральный шепот какого‑нибудь злодея с подмостков «Атенеум‑Холла», зловеще прошипел ей в ухо:

— Не бойтесь ничего, прекрасная госпожа! Вашу ужасную тайну я унесу с собой в могилу!

— Господи! — испуганно прошептала она в ответ. — Как вы можете говорить такие вещи!

— Мне просто хотелось снять тяжесть с вашей души. Или вы ожидали, что я скажу: «Стань моей, красавица, не то я открою все!»

Она невольно подняла на него глаза, увидела, что он получает прямо‑таки мальчишеское удовольствие, дразня ее, и неожиданно для себя рассмеялась. Как в самом деле все это глупо, в конце‑то концов! Батлер рассмеялся тоже, и так громко, что кое‑кто из матрон, сидевших в углу, поглядел в их сторону. Заметив, что вдова Чарлза Гамильтона отнюдь, по‑видимому, не скучает в обществе какого‑то незнакомца, они осуждающе переглянулись и склонили головы еще ближе друг к другу.

По залу прокатилась барабанная дробь, и все зашикали, увидев, что доктор появился на подмостках и поднял руку, требуя тишины.

— Мы должны от всего сердца поблагодарить наших прекрасных дам, чье патриотическое рвение и неустанный труд не только позволили этому благотворительному базару принести нам необходимые материальные средства, но и преобразили грубую казарму в очаровательный уголок, достойный принять под свой кров такой цветник прелестнейших дам, какой я перед собой вижу.

Все одобрительно захлопали в ладоши.

— Наши дамы отдали нам не только свое время, но и свой труд, и очаровательные вещицы, которые вы находите в этих киосках, вдвойне очаровательны, поскольку они созданы прекрасными руками прекраснейших женщин нашего Юга.

Снова раздались аплодисменты и крики одобрения. Ретт Батлер, стоявший, небрежно облокотившись о прилавок, негромко сказал, обращаясь к Скарлетт:

— Какой высокопарный козел, верно?

Скарлетт ужаснулась: такое святотатство по отношению к самому уважаемому гражданину Атланты! Она с укором взглянула на Батлера. Но доктор с его длинными седыми трясущимися бакенбардами был и впрямь похож на козла, и она с трудом подавила смешок.

— Однако это не все. Наши добрые дамы‑попечительницы, принесшие облегчение стольким страждущим одним прикосновением своих прохладных рук к их пылающим лбам и вырвавшие из когтей смерти столько раненых в битвах за Права Юга, знают, каковы наши нужды. Я не стану их перечислять. Нам нужны деньги, чтобы закупать медикаменты в Англии, и здесь среди нас находится сейчас неустрашимый флотоводец, не раз в течение целого года успешно прорывавший блокаду наших портов и готовый прорвать ее снова, дабы доставить потребные нам материалы, — капитан Ретт Батлер!

Застигнутый врасплох знаменитый контрабандист тем не менее отвесил элегантный поклон — не слишком ли нарочито элегантный, если вдуматься, промелькнуло у Скарлетт в уме. Казалось, он был преувеличенно любезен, потому что слишком глубоко презирал всех собравшихся здесь. Раздались бурные аплодисменты, а дамы в углу, вытянув шеи, уставились на капитана. Так вот, оказывается, с кем кокетничает вдова Чарлза Гамильтона! А ведь еще и года не прошло, как схоронила этого беднягу!

— Нам нужно золото, и я обращаюсь с просьбой о пожертвовании, — продолжал доктор. — Да, я прошу жертвы, но жертвы ничтожно малой в сравнении с теми, какие приносят наши смельчаки в серых мундирах, даже, я бы сказал, смехотворно малой. Я прошу вас, дамы, пожертвовать вашими драгоценностями. Я прошу? О нет, это просит Конфедерация, это Конфедерации нужны ваши драгоценности, и я уверен, что никто из вас не ответит ей отказом. Как красиво сверкают драгоценные камни на прелестных ваших запястьях! Как изумительно хороши золотые броши на корсажах наших патриоток! Но все сокровища Индии померкнут перед ослепительной красотой вашей жертвы! Золото пойдет в плавильню, а драгоценные камни — на продажу, и на вырученные деньги будут куплены лекарства и все необходимое для врачевания. Итак, уважаемые дамы, сейчас двое наших излечившихся от своих ран храбрецов обойдут вас, с корзинками в руках и... — Буря аплодисментов и взволнованные восклицания заглушили его слова.

С чувством глубокого облегчения Скарлетт прежде всего подумала о том, что вдовий наряд не позволил ей, слава тебе господи, надеть ни своих любимых золотых серег, ни тяжелой золотой цепи, полученной в подарок от бабушки Робийяр, ни золотых с черной эмалью браслетов, ни гранатовой броши. Она смотрела, как маленький зуав с дубовым лукошком в здоровой руке обходит ту часть зала, где находится ее киоск, и как все женщины — и старые и молодые — весело, торопливо стягивают с рук браслеты, притворно взвизгивают от боли, вынимая серьги из ушей, и помогают друг другу разъять тугие замочки драгоценных колье или открепить от корсажа брошь. Позвякивание металла, возгласы: «Постойте, постойте! Вот! Я уже отцепила!» Мейбелл Мерриуэзер стягивала с рук парные браслеты, обхватывавшие запястья и руки выше локтей. Фэнни Элсинг, воскликнув: «Мама, позволь мне!», снимала с головы золотую, обсыпанную мелким жемчугом диадему — фамильную драгоценность, передававшуюся из поколения в поколение. И всякий раз, как новое пожертвование падало в лукошко, раздавались восторженные возгласы и аплодисменты.

Маленький зуав, улыбаясь, приближался теперь к их киоску; висевшее на локте лукошко уже оттягивало ему руку, и когда он проходил мимо Ретта Батлера, в лукошко небрежным жестом был брошен тяжелый золотой портсигар. Зуав поставил лукошко на прилавок, и Скарлетт беспомощно развела руками в знак того, что у нее ничего нет. Она была сконфужена, оказавшись единственной женщиной, которой нечего было пожертвовать. И тут блеск массивного обручального кольца приковал к себе ее взгляд.

На какой‑то миг в памяти всплыл образ Чарлза — смутно вспомнилось, какое у него было лицо, когда он надевал кольцо ей на палец. Но воспоминание это тотчас потускнело, разрушенное мгновенно вспыхнувшим чувством раздражения — постоянным спутником всех ее воспоминаний о Чарлзе. Ведь кто, как не он, был повинен в том, что жизнь для нее кончена, что ее раньше времени считают старухой.

Она резко рванула кольцо с пальца. Но оно не поддавалось. Зуав уже повернулся к Мелани.

— Постойте! — вскричала Скарлетт. — У меня что‑то есть для вас. — Кольцо наконец соскользнуло с пальца и, обернувшись, чтобы бросить его в лукошко, полное колец, браслетов, часов, цепочек и булавок для галстуков, она почувствовала на себе взгляд Ретта Батлера. Легкая усмешка тронула его губы. С вызовом отвечая на его взгляд, она бросила кольцо поверх груды драгоценностей.

— О, моя дорогая! — прошептала Мелани, сжимая ее руку. Глаза ее сияли гордостью и любовью. — Моя маленькая, мужественная девочка! Пожалуйста, обождите, лейтенант Пикар! У меня тоже найдется кое‑что для вас!

Она старалась снять обручальное кольцо, с которым не расставалась ни разу с той минуты, как Эшли надел ей это кольцо на палец. Скарлетт лучше других знала, как оно ей дорого. Кольцо снялось с трудом, и на какое‑то мгновение она зажала его в своей маленькой ладони. А потом тихонько опустила в корзину. Зуав направился к матронам, сидевшим в углу, а Скарлетт и Мелани, стоя плечом к плечу, глядели ему вслед: Скарлетт — вызывающе откинув голову, Мелани — с тоской, более пронзительной, чем слезы. И ни то, ни другое не укрылось от человека, стоявшего рядом.

— Если бы ты не отважилась на это, я без тебя и подавно никогда бы не смогла, — сказала Мелани, обнимая Скарлетт за талию и нежно прижимая к себе. Скарлетт хотелось оттолкнуть ее, закричать — грубо, совсем как Джералд, когда его допекали: «Отвяжись от меня!», но капитан Батлер смотрел на них, и она только кисло улыбнулась в ответ. Это было просто невыносимо — Мелли всегда все понимает шиворот‑навыворот! Впрочем, пожалуй, было бы хуже, умей она читать ее истинные мысли.

— Какой прекрасный жест, — негромко произнес капитан Батлер. — Такие жертвы вливают мужество в сердца наших храбрых воинов в серых мундирах.

Резкие слова готовы были сорваться с губ Скарлетт — ей стоило немалого труда сдержать их. Во всем, что бы он ни говорил, звучала насмешка. Она испытывала острую ненависть к этому человеку, стоявшему возле киоска, небрежно облокотившись о прилавок. И вместе с тем от него исходила какая‑то сила. Она ощущала его присутствие как нечто осязаемо‑живое, горячее, грозное. И ее ирландская кровь закипала в жилах, когда она читала вызов в его глазах. Нет, она должна, чего бы это ни стоило, сбить с него спесь. Он пользовался своим преимуществом перед ней, потому что знал ее тайну, и это было невыносимо. Значит, надо найти способ как‑то в чем‑то восторжествовать над ним. Она подавила в себе желание бросить ему в лицо все, что она о нем думает. Как говаривала Мамушка, мухи слетаются на сахар, а не на уксус. Она поймает эту вредную муху, она ее наколет на булавку. И тогда уже он будет в ее власти.

— Благодарю за комплимент, — сказала она и очаровательно улыбнулась, делая вид, что не заметила скрытой в его словах насмешки, — и вдвойне приятно услышать его от такого прославленного человека, как капитан Батлер.

Он закинул голову и расхохотался. Прямо‑таки загоготал, со злостью подумала Скарлетт, заливаясь краской.

— Почему вы не говорите прямо того, что думаете? — спросил он, понизив голос настолько, чтобы среди всеобщего шума и веселья никто, кроме нее, не мог его услышать. — Почему не сказать мне в глаза, что я негодяй, не умею вести себя как подобает джентльмену и должен немедленно убираться отсюда, не то вы прикажете кому‑нибудь из этих мальчиков в серых мундирах вызвать меня на дуэль?

Ей хотелось ответить ему какой‑нибудь колкостью, но, сделав над собой героическое усилие, она сказала:

— Что с вами, капитан Батлер? Что это вам взбрело в голову? Всем же известно, какую вы себе снискали славу своей храбростью, своей... своей...

— Вы меня разочаровали, — сказал он.

— Разочаровала?

— Конечно. Во время нашей первой и столь знаменательной встречи я думал: вот девушка, наделенная, помимо красоты, еще и отвагой. Теперь я вижу, что осталась только красота.

— Вы хотите сказать, что я трусиха? — Она сразу ощетинилась.

— Безусловно, у вас не хватает смелости признаться в том, что вы думаете. Впервые увидев вас, я сказал себе: таких девушек — одна на миллион. Она совсем не похожа на этих маленьких дурочек, которые верят всему, что говорят их маменьки, и прячут свои желания и чувства, а порой и разбитые сердца под нагромождением пустопорожних учтивых слов. Я подумал: мисс О’Хара — натура незаурядная. Она знает, чего хочет, и не боится ни открыто об этом сказать, ни... швырнуть вазу.

— Так вот, — сказала она, давая волю своему гневу, — сейчас я действительно скажу все, что думаю. Будь вы хоть сколько‑нибудь воспитанным человеком, вы бы не пришли сюда и не стали бы говорить со мной. Вам следовало бы понимать, что я не имею ни малейшего желания вас видеть! Но вы не джентльмен! Вы грубое, отвратительное животное! И пользуясь тем, что ваши паршивые суденышки как‑то ухитряются обставлять в портах янки, вы позволяете себе приходить сюда и издеваться над настоящими храбрыми мужчинами и над женщинами, которые готовы пожертвовать всем ради Правого Дела...

— Минутку, минутку, — широко ухмыляясь, прервал он ее, — вы начали прекрасно и в самом деле сказали то, что думаете, но умоляю, не говорите мне о Правом Деле. Мне уже осточертело про это слушать, да и вам, ручаюсь, тоже.

— Да как вы можете... — горячо начала было она, но тут же спохватилась, чувствуя, что он готовит ей ловушку.

— Я долго стоял в дверях и наблюдал за вами, а вы меня не видели, — сказал он. — И за другими девушками тоже. И у всех было одинаковое выражение лица, словно их отлили из одной формы. А у вас — другое. По вашему лицу можно читать, как по книге. Вас совершенно не увлекало ваше сегодняшнее занятие, и могу поклясться, что ваши мысли были далеки и от Правого Дела, и от нужд госпиталя. У вас на лице было написано, что вам хочется развлекаться и танцевать, да вот нельзя. И вас это бесит. Ну признавайтесь, я прав?

— Я не желаю продолжать этот разговор, капитан Батлер, — сдержанно и сухо сказала она, отчаянно стараясь вновь обрести чувство собственного достоинства. — Как бы много ни возомнили вы о себе, став «знаменитым контрабандистом», это еще не дает вам права оскорблять дам.

— «Знаменитым контрабандистом»? Да вы шутите! Прошу, уделите мне еще минуту вашего бесценного внимания, прежде чем я кану для вас в небытие. Я не хочу, чтобы столь очаровательная юная патриотка оставалась в заблуждении относительно моего истинного вклада в дело Конфедерации.

— Мне неинтересно слушать ваше бахвальство.

— Контрабанда для меня просто промысел — я делаю на этом деньги. Как только это занятие перестанет приносить доход, я его брошу. Ну, что вы теперь скажете?

— Что вы низкий, корыстный человек — не лучше янки.

— Абсолютно правильно. — Он усмехнулся. — И, кстати, янки помогают мне делать деньги. Не далее как в прошлом месяце я пригнал свой корабль прямо в нью‑йоркскую гавань и взял там груз.

— Как? — воскликнула Скарлетт, невольно загоревшись интересом. — И они не обстреляли ваш корабль?

— О, святая наивность! Разумеется, нет. Среди северян тоже немало несгибаемых патриотов, которые не прочь заработать, сбывая товар конфедератам. Я завожу свой корабль в нью‑йоркскую гавань, закупаю у торговых фирм северян — шито‑крыто, разумеется, — все, что мне требуется, подымаю паруса — и был таков. А когда это становится слишком опасным, я ухожу в Нассау, куда те же самые патриоты‑северяне привозят для меня снаряды, порох и кринолины. Это куда удобнее, чем плавать в Англию. Порой бывает несколько затруднительно проникнуть в чарльстонский или уилмингтонский порт, но вы изумитесь, если я вам скажу, в какие щели умеют проникать маленькие золотые кружочки.

— Конечно, я всегда знала, что янки мерзкие твари, но чтобы...

— Стоит ли тратить словесный пыл на янки, которые честно набивают себе карман, продавая свой Союз Штатов? Это не будет иметь никакого значения в веках. Все сведется к одному концу. Янки знают, что Конфедерация рано или поздно будет стерта с лица земли, так почему бы им пока что не заработать себе на хлеб?

— Стерта с лица земли? Конфедерация?

— Ну разумеется.

— Будьте столь любезны — освободите меня от вашего присутствия и не вынуждайте вызывать мой экипаж, дабы от вас избавиться!

— Какая пылкая маленькая мятежница! — с усмешкой проговорил он, поклонился и неспешно зашагал прочь, покинув ее в состоянии бессильной ярости и негодования, и к этому примешивался непонятный ей самой осадок разочарования — разочарования, как у обиженного ребенка, чьи детские мечты разлетелись в прах. Как смеет он так отзываться о тех, кто помогает прорывать блокаду! И как посмел он сказать, что Конфедерацию сотрут с лица земли! Его следует расстрелять, расстрелять, как изменника! Она обвела глазами зал, увидела знакомые лица — смелые, открытые, воодушевленные, уверенные в победе, и странный холодок вдруг закрался в ее сердце. Сотрут с лица земли? И эти люди допустят? Да нет, конечно же, нет! Сама эта мысль была предательской и нелепой.

— О чем это вы шептались? — повернувшись к Скарлетт, спросила Мелани, когда покупатели ушли. — Миссис Мерриуэзер — я заметила — не сводила с тебя глаз, а ты ведь знаешь, дорогая, как она любит посудачить.

— Этот человек совершенно невыносим — невоспитанная деревенщина, — сказала Скарлетт. — А старуха Мерриуэзер — пускай себе судачит. Мне надоело прикидываться дурочкой для ее удовольствия.

— Ну что ты, право, Скарлетт! — воскликнула чрезвычайно скандализованная Мелани.

— Тише, — сказала Скарлетт. — Доктор Мид намерен сделать еще одно объяснение.

Когда доктор заговорил, зал немного притих. Для начала доктор поблагодарил пожертвовавших драгоценности дам за щедрость.

— А теперь, дамы и господа, я хочу сделать вам сюрприз. Предложить нечто столь новое, что кого‑то это может даже шокировать. Но я прошу вас не упускать из виду, что все здесь делается для наших госпиталей и для наших мальчиков, которые в них лежат.

Все начали придвигаться ближе, протискиваться вперед, стараясь отгадать, какой ошеломляющий сюрприз может преподнести им почтенный доктор.

— Сейчас начнутся танцы — и как всегда, разумеется, с кадрили, за которой последует вальс. Все последующие танцы — полька, шотландский, мазурка — будут перемежаться короткими кадрилями. Мне хорошо известен галантный обычай соперничества за право повести кадриль, а вот на сей раз... — Доктор вытер платком вспотевший лоб и хитро покосился в угол, где среди прочих матрон сидела и его жена — ...на сей раз, джентльмены, тому, кто хочет повести кадриль с дамой по своему выбору, придется за это платить. Аукцион буду проводить я сам, а все вырученные деньги пойдут на нужды госпиталей.

Веера застыли в воздухе, и по толпе пробежал взволнованный шепот. В углу среди матрон поднялась форменная суматоха. Миссис Мид, отнюдь не одобряя в душе действий своего супруга, тем не менее решительно взяла его сторону и оказалась в трудном положении. Миссис Элсинг, миссис Мерриуэзер и миссис Уайтинг сидели пунцовые от негодования. Но тут солдаты внутреннего охранения внезапно разразились громкими криками одобрения, которые тотчас были подхвачены и другими гостями в военной форме, а тогда уж и молоденькие девушки начали радостно подпрыгивать на месте и хлопать в ладоши.

— Тебе не кажется, что это немножко... немножко смахивает на... торговлю живым товаром? — прошептала Мелани, с сомнением глядя на воинственно ощетинившегося доктора, который, как ей всегда казалось, был безупречнейшим джентльменом.

Скарлетт промолчала, но глаза ее блеснули, а сердце томительно сжалось. Ах, если бы она не была в трауре! О да, будь она прежней Скарлетт О’Хара в травянисто‑зеленом платье с темно‑зелеными бархатными лентами, свисающими с корсажа, и туберозами в темных волосах, кто, как не она, открыл бы этот бал первой кадрилью? Да, конечно же, она! Не меньше дюжины мужчин повели бы из‑за нее торг и принялись бы выкладывать деньги доктору. А вместо того сиди тут, подпирай стенку и смотри, как Фэнни или Мейбелл поведет большую кадриль, словно первая красавица Атланты!

Голос маленького зуава с резко выраженным креольским акцентом на мгновение перекрыл шум:

— Если позволите, я плачу двадцать долларов и приглашаю мисс Мейбелл Мерриуэзер.

Мейбелл спрятала вспыхнувшее от смущения личико на плече Фэнни, и другие девушки, хихикая, начали прятаться друг от друга, в то время как новые мужские голоса начали выкрикивать новые имена и называть более крупные суммы денег. Доктор Мид улыбался, полностью игнорируя возмущенный шепот, доносившийся из угла, где восседали дамы‑попечительницы.

Поначалу миссис Мерриуэзер громко и решительно заявила, что ее Мейбелл не примет участия в этой затее. Но по мере того как имя Мейбелл стало звучать все чаще и чаще, а предложенная за нее сумма возросла до семидесяти пяти долларов, протесты почтенной дамы стали слабеть. Скарлетт, облокотившись о прилавок, пожирала глазами возбужденную толпу, с пачками денег в руках окружившую подмостки.

Ну вот, сейчас они все примутся танцевать — все, кроме нее и пожилых дам. Все будут веселиться, кроме нее. Она увидела Ретта Батлера, стоявшего внизу прямо перед доктором, и постаралась сделать вид, что все происходящее ей глубоко безразлично, но было уже поздно: один уголок губ Ретта насмешливо опустился вниз, а одна бровь выразительно поднялась вверх. Скарлетт вздернула подбородок и, отвернувшись, внезапно услышала свое имя, произнесенное с характерным чарльстонским акцентом и так громко, что оно заглушило все другие выкрикиваемые имена:

— Миссис Чарлз Гамильтон — сто пятьдесят долларов золотом.

Когда прозвучало ее имя, а затем сумма, в зале воцарилась тишина. Скарлетт, как громом пораженная, сидела окаменев, расширенными от удивления глазами глядя в зал. Все взоры были обращены на нее. Она видела, как доктор, наклонившись с подмостков, что‑то прошептал Ретту Батлеру. Вероятно, объяснял ему, что она в трауре и не может принять участия в танцах. Но Ретт Батлер только пожал плечами.

— Может быть, вы выберете какую‑нибудь другую из наших прекрасных дам? — спросил доктор.

— Нет, — отчетливо произнес Ретт, небрежно окидывая взглядом присутствующих. — Миссис Гамильтон.

— Говорю вам, это невозможно, — раздраженно сказал доктор. — Миссис Гамильтон не согласится...

И тут Скарлетт услышала чей‑то голос и не сразу поняла, что он принадлежит ей:

— Нет, я согласна!

Она вскочила на ноги. От волнения, от радости, что она снова в центре внимания, снова признанная королева бала, самая привлекательная из всех, а главное — от предвкушения танцев, — сердце у нее бешено колотилось, и ей казалось — она вот‑вот упадет.

— Ах, мне наплевать, мне наплевать на все, что они там будут говорить! — пробормотала она, во власти сладостного безрассудства. Она тряхнула головой и быстрое вышла из киоска, постукивая каблучками по полу, как кастаньетами, и на ходу раскрывая во всю ширь свой черный шелковый веер. На мгновение перед ее глазами промелькнуло изумленное лицо Мелани, скандализованные лица дам‑попечительниц, раздосадованные лица девушек, восхищенные лица офицеров.

А потом она стояла посреди зала, и Ретт Батлер направлялся к ней, пробираясь сквозь толпу, с этой своей поганой усмешечкой на губах. Да ей наплевать на него, наплевать, будь он хоть президент Линкольн! Она будет танцевать, вот и все! Она пойдет в первой паре в кадрили! Она ослепительно улыбнулась ему и присела в низком реверансе, и он поклонился, приложив руку к манишке. Растерянный Леви поспешно выкрикнул, стараясь разрядить обстановку:

— Виргинская кадриль! Кавалеры приглашают дам!

И оркестр грянул лучшую, любимейшую из всех мелодий — «Дикси»[[4]](#footnote-4).

— Как вы посмели привлечь ко мне всеобщее внимание, капитан Батлер?

— Но, дорогая миссис Гамильтон, вы совершенно явно сами к этому стремились.

— Как вы посмели выкрикнуть мое имя на весь зал?

— Но вы же могли отказаться.

— Я не имела права... ради нашего Дела... я... я не могла думать о себе, когда вы предложили такую уйму денег, да еще золотом... Перестаньте смеяться, на нас все смотрят.

— Они все равно будут на нас смотреть. И бросьте эту чепуху насчет Дела — со мной это не пройдет. Вам хотелось потанцевать, и я предоставил вам такую возможность. Эта пробежка — последняя фигура кадрили, верно?

— Да, конечно. Танец окончен, и я хочу теперь посидеть.

— Почему? Я отдавил вам ногу?

— Нет... Но про меня начнут судачить.

— А вам — положа руку на сердце — не все равно?

— Ну, видите ли...

— Какое в этом преступление? Почему бы не протанцевать со мной вальс?

— Но если мама когда‑нибудь узнает...

— Все еще ходите на помочах у вашей матушки?

— У вас необыкновенно отвратительное свойство издеваться над благопристойностью, превращая ее в непроходимую глупость.

— Но это же и в самом деле глупо. Разве вам не все равно, если о вас судачат?

— Да, конечно... но... Я не хочу об этом говорить. Слава богу, уже заиграли вальс. От кадрили у меня всегда дух захватывает.

— Не уклоняйтесь от ответа. Разве вам не безразлично, что говорят о вас эти женщины?

— Раз уж вам так хочется припереть меня к стенке — хорошо: да, безразлично! Но считается, что это не должно быть безразлично. Только сегодня я не хочу с этим мириться.

— Браво! Вы, кажется, начинаете мыслить самостоятельно — до сих пор вы предпочитали, чтобы за вас думали другие. В вас пробуждается жизненная мудрость.

— Да, но...

— Если бы вы возбуждали о себе столько толков, как я, вы бы поняли, до какой степени это не имеет значения. Подумайте хотя бы: во всем Чарльстоне нет ни одного дома, где я бы был принят. Даже мой щедрый вклад в наше Праведное и Святое Дело не снимает с меня этого запрета.

— Какой ужас!

— Да вовсе нет. Только потеряв свою так называемую «репутацию», вы начинаете понимать, какая это обуза и как хороша приобретенная такой ценой свобода.

— Вы говорите чудовищные вещи!

— Чудовищные, потому что это чистая правда. Без хорошей репутации превосходно можно обойтись при условии, что у вас есть деньги и достаточно мужества.

— Не все можно купить за деньги.

— Кто вам это внушил? Сами вы не могли бы додуматься до такой банальности. Что же нельзя купить за деньги?

— Ну, как... я не знаю... Во всяком случае, счастье и любовь — нельзя.

— Чаще всего можно. А уж если не получится, то им всегда можно найти отличную замену.

— И у вас так много денег, капитан Батлер?

— Какой неделикатный вопрос! Я просто поражен, миссис Гамильтон. Ну что ж, да. Для молодого человека, оставленного в дни беспечной юности без гроша, я неплохо преуспел. И не сомневаюсь, что на блокаде сумею сколотить миллион.

— О нет, не может быть!

— О да! Большинство людей почему‑то никак не могут уразуметь, что на крушении цивилизации можно заработать ничуть не меньше денег, чем на создании ее.

— Как это понять?

— Ваше семейство да и мое семейство и все здесь присутствующие нажили свои состояния, превращая пустыню в цивилизованный край. Так создаются империи. И на этом сколачиваются состояния. Но когда империи рушатся, здесь возможности для поживы не меньше.

— О какой империи вы толкуете?

— О той, в которой мы с вами обитаем, — о Юге, о Конфедерации, о Королевстве Хлопка. Эта империя трещит по всем швам у нас на глазах. Только величайшие дураки могут этого не видеть и не использовать в своих интересах надвигающийся крах. Я наживаю свой капитал на крушении империи.

— Так вы и в самом деле считаете, что янки сотрут нас с лица земли?

— Конечно! Какой смысл прятать, как страус, голову под крыло?

— О господи, эти разговоры нагоняют на меня тоску! Неужели вы никогда не можете поговорить о чем‑нибудь приятном, капитан Батлер?

— Может быть, я угожу вам, если скажу, что ваши глаза — как два драгоценных сосуда, наполненных до краев прозрачнейшей зеленоватой влагой, в которой плавают крохотные золотые рыбки, и когда эти рыбки плескаются — как вот сейчас — на поверхности, вы становитесь чертовски соблазнительной?

— Ах, перестаньте, мне это не нравится... Какая дивная музыка, не правда ли? Мне кажется, я могу кружиться в вальсе всю жизнь. Я даже сама не понимала, как мне этого не хватало!

— Вы танцуете божественно. Мне еще не доводилось танцевать с такой великолепной партнершей.

— Не прижимайте меня к себе так крепко, капитан Батлер. Все на нас смотрят.

— А если бы никто не смотрел, тогда бы вы не стали возражать?

— Вы забываетесь, капитан Батлер.

— Вот уж нет. Разве это возможно, когда я держу вас в объятиях?.. Что это за мелодия? Что‑то новое?

— Да. Восхитительная музыка, верно? Мы взяли ее у янки.

— Как она называется?

— «В час победы нашей».

— А какие там слова? Спойте мне.

Милый, помнишь нашу встречу?

Ты у ног моих

Мне в своей любви признался...

Помнишь этот миг?

Ты, гордясь мундиром серым,

Клялся, что готов

Мне хранить до гроба верность

И земле отцов.

Слезы лью я одиноко,

Новой встречи жду!..

Верю в час победы нашей

И в твою звезду!

Там, конечно, было сказано «синим», но мы переменили на «серым». А вы прекрасно вальсируете, капитан Батлер. Знаете, у рослых мужчин это редко получается. И подумать только, что пройдут годы, прежде чем мне можно будет снова потанцевать.

— Не годы, а всего несколько минут. Я намерен пригласить вас на следующую кадриль. А также и на следующую и еще.

— О нет! Я не могу! Вы не должны меня приглашать. Моя репутация погибнет.

— От нее и так уже остались одни лохмотья, так что еще один танец ничего не изменит. После пяти, шести танцев я, конечно, могу уступить эту честь и другим, но последний танец должен быть моим.

— Ну, хорошо. Я знаю, что это безумие, но мне все равно. Мне наплевать, что они там будут говорить. Мне так прискучило сидеть дома взаперти. Я буду танцевать и танцевать...

— И снимете траур? Вид этого похоронного крепа вызывает во мне содрогание.

— Нет, снять траур я не могу... Капитан Батлер, не прижимайте меня так крепко. Я рассержусь.

— А вы великолепны, когда сердитесь. Я прижму вас еще крепче — вот так, — нарочно, чтобы поглядеть, как вы рассердитесь. Вы даже не подозреваете, как ослепительны вы были тогда в Двенадцати Дубах, когда, рассвирепев, швырялись вазами.

— Ах, будет вам... Вы что, никак не можете про это забыть?

— Никак. Это одно из драгоценнейших моих воспоминаний: благовоспитанная красавица‑южанка, в которой взыграла ее ирландская кровь. Вы — ирландка до мозга костей. Известно вам это?

— О боже, музыка кончается, а из задней комнаты появилась тетушка Питтипэт. Конечно, миссис Мерриуэзер уже напела ей в уши. О, бога ради, отойдемте, постоим у окна, я не хочу, чтобы она вцепилась в меня сейчас. Вы видите, глаза у нее стали от ужаса как плошки.

### Глава Х

На следующее утро во время завтрака тетушка Питтипэт прикладывала платочек к глазам, Мелани хранила молчание, а Скарлетт держалась вызывающе.

— Мне наплевать — пусть говорят. Я уверена, что никто не принес госпиталю столько денег, как я. Да и вся эта дрянь, которую вы продавали в киосках, тоже принесла меньше.

— Ах, милочка, разве дело в деньгах? — ломая руки, причитала тетушка Питти. — Я просто не могла поверить своим глазам: бедный Чарли всего год как в могиле, а вы... И этот ужасный капитан Батлер, который нарочно выставлял вас напоказ. О, он ужасный, ужасный человек, Скарлетт. Муж миссис Колмен — кузины миссис Уайтинг, — он родом из Чарльстона, так она мне все рассказала про этого Батлера. Он из приличной семьи, но эта паршивая овца в стаде... просто непостижимо, как Батлеры могли произвести на свет такого сына! В Чарльстоне для него закрыты все двери, у него чудовищная репутация, и там была история с какой‑то девицей... Нечто настолько непристойное, что миссис Колмен даже ничего не знает толком...

— А я как‑то не могу поверить, что он дурной человек, — мягко проговорила Мелани. — С виду он джентльмен, и притом храбр — доставлять нам оружие, прорывая блокаду...

— Это не потому, что он храбр, — из духа противоречия заявила Скарлетт, выливая на вафли половину сиропа из соусника. — Он делает это ради денег. Он сам мне так сказал. Ему наплевать на Конфедерацию, и он утверждает, что янки сотрут нас с лица земли. Но танцует он божественно.

Дамы онемели от ужаса.

— Мне все это надоело, я не намерена больше сидеть взаперти. Если они вчера перемывали мне косточки, значит, репутация моя все равно погибла и мне нечего терять.

Она даже не заметила, что повторяет слова Ретта Батлера — так кстати они пришлись и так точно выражали ее собственные мысли.

— Боже мой, что скажет ваша матушка, как узнает? Что она будет думать обо мне?

При мысли о том, в какой ужас придет Эллин, если ей когда‑нибудь доведется узнать о скандальном поведении дочери, Скарлетт похолодела и в душе у нее пробудилось раскаяние. Но она тут же приободрилась, вспомнив, что от Тары до Атланты двадцать пять миль. Тетя Питти, конечно, ничего не скажет Эллин. Ведь это бросит тень и на нее. А раз Питти не скажет, нечего и беспокоиться.

— Мне кажется... — нерешительно промолвила тетушка Питти, — мне кажется, я должна написать об этом Генри... ужасно не лежит у меня к этому душа, но ведь он единственный мужчина в нашей семье, так пусть поговорит, внушительно поговорит с этим капитаном Батлером... О господи, если бы Чарли был жив... Вы никогда, никогда не должны больше разговаривать с этим человеком, Скарлетт.

Мелани сидела молча, сложив руки на коленях. Нетронутые вафли остывали на ее тарелке. Она поднялась, подошла сзади к Скарлетт и обхватила руками ее шею.

— Дорогая, — сказала она, — не расстраивайся. Я все понимаю, и ты вчера поступила очень мужественно и очень много сделала для госпиталя. И если кто‑нибудь посмеет сказать о тебе хоть одно дурное слово, я сумею за тебя заступиться... Не плачьте, тетя Питти. Скарлетт было очень трудно сидеть все время взаперти. Она еще совсем ребенок. — Пальцы Мелани нежно перебирали темные волосы Скарлетт. — Может быть, и нам всем будет легче, если мы хоть изредка начнем появляться на людях. Может быть, это было эгоистично с нашей стороны, что мы, закрывшись в четырех стенах, предавались своему горю. В войну все по‑другому — не так, как в мирное время. Когда я думаю о всех воинах, оторванных от дома, у которых в нашем городе нет никого знакомых, и им не к кому пойти вечерами, и о тех, кто лежит в госпиталях — а многие из них ведь уже ходят, но еще не настолько оправились, чтоб вернуться на фронт... Да, конечно, мы вели себя эгоистично. Мы должны сейчас же взять к себе из госпиталя трех выздоравливающих, как сделали это все в городе, и каждое воскресенье приглашать еще несколько на обед. А ты не тревожься, Скарлетт. Люди не будут о нас плохо говорить, они поймут. Мы знаем, что ты любила Чарли.

А Скарлетт и не думала тревожиться, и рука Мелани, неясно трепавшая ее волосы, вызвала лишь раздражение. Ей хотелось тряхнуть головой и воскликнуть: «А, чепуха!» У нее и сейчас еще огонь пробегал по жилам, стоило ей вспомнить, как вчера на балу и раненые из госпиталя, и другие военные — из войск внутреннего охранения и милиции — оспаривали друг у друга право на танец с нею. И уж меньше всего на свете жаждала она иметь защитника в лице Мелани. Весьма вам признательна, но она и сама отлично может постоять за себя, а если старые мегеры начнут шипеть, ну и пускай себе шипят на здоровье, нужны они ей очень! На свете слишком много молодых симпатичных военных, чтобы еще тревожиться из‑за старых мегер.

Тетушка Питтипэт, слушая ласковые увещевания Мелани, вытирала платочком глаза, и тут появилась Присей с объемистым конвертом в руках.

— Это вам, мисс Мелли. Маленький негритенок принес.

— Мне? — удивилась Мелли, вскрывая конверт.

Скарлетт продолжала уплетать вафли, не обращая внимания на происходящее, и вдруг услышала, как Мелани громко расплакалась, подняв глаза, она увидела, что тетушка Питти судорожно прижала руки к груди.

— Эшли убит! — взвизгнула она, и руки ее безжизненно повисли, а голова запрокинулась.

— О боже! — вскричала Скарлетт, чувствуя, как кровь отхлынула у нее от сердца.

— Нет! Нет! — воскликнула Мелани. — Скорее! Скарлетт, дай ей нюхательные соли! Успокойтесь, успокойтесь, дорогая! Вам лучше? Дышите глубже. Это вовсе не от Эшли. Простите, что я вас так напугала. Я заплакала просто от радости. — И она поднесла к губам какой‑то предмет, который был зажат у нее в руке. — О, я так счастлива! — И она снова расплакалась.

Что‑то блеснуло у нее в пальцах, и Скарлетт увидела массивное золотое кольцо.

— Прочти, — сказала Мелани, указывая на выпавшее у нее из рук письмо. — О, как он мил, как добр!

Скарлетт, озадаченная, подняла с полу небольшой листок бумаги и прочла то, что было написано на нем твердым решительным почерком: «Если Конфедерации нужна кровь мужчин, то ей пока еще не нужно, чтобы женщины с кровью отрывали от сердца драгоценные для них реликвии. Примите, дорогая миссис Уилкс, этот знак преклонения перед Вашим мужеством и не считайте Вашу жертву бесплодной, ибо за выкуп кольца уплачена сумма, десятикратно превышающая его стоимость. Капитан Ретт Батлер».

Мелани с неясностью смотрела на кольцо, снова надетое на палец.

— Видите, я же говорила вам, что он джентльмен! — сказала Мелани, повернувшись к тетушке Питти и сияя улыбкой, хотя слезы еще струились по ее щекам. — Только человек тонкого воспитания и очень чуткий мог понять, как тяжело мне было расстаться... Но я пошлю им мою золотую цепочку взамен. Тетя Питти, вы непременно должны написать капитану Батлеру и пригласить его отобедать с нами в воскресенье, чтобы я могла лично выразить ему благодарность.

И ни тетушке, ни племяннице — в таком они были волнении — не пришло на ум, что капитан Батлер не почел нужным возвратить и Скарлетт ее кольцо. Но Скарлетт подумала об этом и была раздосадована. Она‑то понимала, что вовсе не душевная тонкость побудила капитана Батлера совершить этот галантный поступок. Он хотел иметь доступ в дом тетушки Питтипэт и нашел безошибочный способ получить приглашение.

«Я была крайне обескуражена, узнав о том, что ты себе недавно позволила», — писала Эллин, и Скарлетт, читая за столом ее письмо, нахмурилась. Да, дурные вести и в самом деле долетают быстро. В Чарльстоне и в Саванне ей не раз приходилось слышать, что нигде так не любят сплетничать и совать нос в чужие дела, как в Атланте, и теперь ей пришлось в этом убедиться. Благотворительный базар состоялся в понедельник вечером, а сегодня был четверг. Кто же из этих старых ведьм взял на себя труд оповестить Эллин? В первое мгновение она заподозрила тетушку Питтипэт, но тут же отбросила эту мысль. Тетушка Питтипэт сама тряслась от страха, как бы ей не пришлось отвечать за вызывающее поведение Скарлетт, и отнюдь не в ее интересах было доводить до сведения Эллин, как плохо она справилась со своей ролью дуэньи. Вероятно, это дело рук миссис Мерриуэзер.

«Мне трудно поверить, что ты могла настолько забыть приличия и проявить такое отсутствие воспитания. Я готова поглядеть сквозь пальцы на твое появление в обществе до истечения срока траура, понимая, что это было продиктовано горячим желанием внести свою лепту в дело помощи госпиталю. Но танцевать, да еще с таким человеком, как капитан Батлер! Я уже много слышала о нем (да и кто о нем не наслышан?), и всего лишь на прошлой неделе Полин писала мне, что этот господин пользуется очень дурной славой, и в Чарльстоне от него отвернулись все, даже его семья, — все, за исключением, разумеется, его убитой горем матери. Это глубоко безнравственный человек, он способен воспользоваться твоей невинностью, твоей молодостью, чтобы погубить тебя, опорочить в глазах общества и тебя, и твою семью. Как могла мисс Питтипэт так пренебречь своим долгом по отношению к тебе?»

Скарлетт посмотрела на тетю Питтипэт, сидевшую напротив нее за столом. Старая дама узнала почерк Эллин и уже надула пухлые губки, как ребенок, испугавшийся нахлобучки и готовый предотвратить ее потоком слез.

«Я прихожу в отчаяние при мысли о том, что ты могла так скоро забыть все правила хорошего воспитания. Я хотела немедленно отозвать тебя домой, но оставила это на усмотрение твоего отца. В пятницу он приедет в Атланту, чтобы объясниться с капитаном Батлером и забрать тебя домой. Боюсь, он будет с тобой суров, невзирая на мои мольбы. Я же уповаю на то, что причиной твоего нескромного поведения является просто молодость и легкомыслие. Я столь же горячо, как все, готова послужить нашему Правому Делу и хочу, чтобы мои дочери разделяли эти чувства, но позорить...»

Дальше было написано еще много — и все в таком же духе, — но Скарлетт не прочитала письма до конца. Впервые в жизни она испугалась не на шутку. Всю ее беззаботность и удаль как ветром сдуло. Она чувствовала себя словно провинившийся ребенок — совсем как в десять лет, когда как‑то раз за столом запустила в Сьюлин печеньем. Впервые она слышала столь резкие укоры из уст своей всегда такой мягкой матери. Да еще приедет отец и потребует объяснения у капитана Батлера. Она поняла, что каша заварилась нешуточная. Джералд, видно, рассвирепел, и на сей раз впервые ей не удастся избежать наказания, забравшись к нему на колени, ласкаясь и дерзя.

— Я... я надеюсь, не плохие новости? — с дрожью в голосе вопросила тетушка Питтипэт.

— Папа приезжает завтра, чтобы задать мне хорошую трепку, — мрачно объявила Скарлетт.

— Присей, подай мне нюхательные соли, — пролепетала тетушка Питтипэт, отодвигая от себя тарелку и отодвигаясь от стола. — Мне... мне дурно.

— Да они же у вас в кармашке, — сказала Присей, стоя за стулом Скарлетт и упоенно предвкушая крупный семейный скандал. Когда мистер Джералд разбушуется, тут есть на что посмотреть, лишь бы, конечно, ее бедная курчавая голова не подвернулась ему под горячую руку. Тетушка Питтипэт порылась в складках юбки и поднесла флакончик к носу.

— Вы обе должны заступиться за меня и не оставлять нас с ним вдвоем ни на секунду! — вскричала Скарлетт. — Он так любит вас обеих, что не станет меня шпынять в вашем присутствии.

— Я не могу, — еле слышно пролепетала тетушка Питтипэт, поднимаясь на ноги. — Я... я совсем больна. Я должна лечь. Завтра я не встану с постели. Вы должны извиниться за меня перед ним.

«Струсила!» — подумала Скарлетт, глядя на нее со злобой.

Мелани, бледная, испуганная при мысли о встрече с разъяренным мистером О’Хара, все же пообещала встать на защиту Скарлетт.

— Я постараюсь помочь тебе... постараюсь объяснить ему, что ты сделала это ради госпиталя. Он поймет, я уверена.

— Ничего он не поймет, — сказала Скарлетт. — О боже, я умру, если мне придется с позором вернуться в Тару, как грозится мама.

— Ах, нет, вы не можете вернуться домой! — воскликнула тетушка Питтипэт и расплакалась. — Если вы уедете, мне придется... да, мне придется просить Генри переехать к нам, а вы же знаете — я просто не в состоянии жить с ним под одной крышей. Но когда мы с Мелли одни во всем доме, мне по ночам так страшно, в городе столько пришлых людей. А вы, Скарлетт, такая храбрая, с вами я ничего не боюсь, даже если в доме нет мужчины.

— Да нет, не может он увезти тебя в Тару! — воскликнула Мелани. Казалось, она тоже вот‑вот расплачется. — Это же теперь твой дом. Что же мы будем делать без тебя!

«Знай вы, что я о вас думаю, верно, прекрасно обошлись бы без меня», — угрюмо подумала Скарлетт, от всей души желая, чтобы кто‑нибудь другой, только не Мелани, мог защитить ее от гнева отца. Ей претила мысль, что она должна принимать помощь от человека, который ей так неприятен.

— Может быть, следует отменить приглашение, посланное капитану Батлеру? — заикнулась было тетушка Питтипэт.

— Но это невозможно! Это было бы неслыханной грубостью! — в полном расстройстве вскричала Мелани.

— Помоги мне лечь в постель. Я совершенно расхворалась, — со стоном произнесла тетушка Питтипэт. — О Скарлетт, как вы могли причинить мне столько огорчений!

И на следующий день, когда приехал Джералд, тетушка Питтипэт была больна и не вставала с постели. Из‑за ее запертой двери к нему полетело несколько посланий с выражением сожалений, и две перепуганные молодые женщины были предоставлены за ужином своей судьбе. Джералд был зловеще молчалив, хотя и поцеловал Скарлетт и ущипнул Мелани за щечку, назвав ее при этом «кузина Мелли». Скарлетт было бы куда легче, если бы он бранился, разносил ее на все корки и раскаты его голоса сотрясали бы дом. Верная своему слову, Мелани не отходила от Скарлетт и, шелестя платьем, повсюду следовала за ней словно тень, а Джералд был достаточно воспитан, чтобы не распекать дочь в присутствии золовки. Мелани — не могла не признать Скарлетт — держалась прекрасно, ничем не подавая виду, что знает о надвигающейся грозе, и в конце концов за ужином ей даже удалось втянуть Джералда в разговор.

— Я жажду услышать от вас новости, — сияя улыбкой, говорила она Джералду. — Индия и Милочка пишут нам так редко. А вы, конечно, в курсе всех событий. Расскажите нам про свадьбу у Фонтейнов.

Ее приветливость растопила лед, и Джералд принялся рассказывать, что свадьбу отпраздновали скромно — «совсем не то, что было, когда вы венчались», — потому как Джо получил отпуск из армии всего на несколько дней. Малютка Салли Манро выглядела прелестно. Нет, вот уж как она была одета, этого он что‑то не припомнит. А на второй день? Да она, помнится, говорили, не меняла туалета.

— Не меняла? — в один голос воскликнули обе молодые дамы, пораженные до глубины души.

— Ну да, потому что никакого второго дня попросту не было, все ограничилось первой ночью, — со смехом пояснил Джералд, не сразу спохватившись, что эти подробности, пожалуй, не для дамских ушей. Когда отец рассмеялся, у Скарлетт немного отлегло от сердца, и она мысленно поблагодарила Мелли.

— На другой день Джо уехал обратно в Виргинию, — поспешно добавил Джералд. — Ну и пришлось обойтись без визитов и танцев. А близнецы Тарлтоны сейчас дома.

— Да, мы слышали. Поправляются они?

— Раны были не тяжелые. Стюарта ранило в колено, а у Брента сквозное пулевое ранение плеча. А вы знаете, что о них упомянули в официальных сообщениях, отметив их храбрость?

— Вот как? Расскажите!

— Так ведь отчаянные головы оба. Думается, там не без примеси ирландской крови, — самодовольно заметил Джералд. — Я что‑то позабыл, чем они так отличились, только Брент уже получил чин лейтенанта.

Скарлетт было приятно услышать об их подвигах — приятно, лестно и к тому же пробуждало в ней чувство собственности. Если мужчина был когда‑нибудь ее поклонником, у нее навсегда сохранялось убеждение, что он в какой‑то мере принадлежит ей и все его славные деяния возвышали ее в собственных глазах.

— И еще у меня есть новость, которая заинтересует вас обеих, — сказал Джералд. — Поговаривают, что Стюарт снова ищет своего счастья в Двенадцати Дубах.

— Кто же она: Милочка или Индия? — взволнованно спросила Мелани, а Скарлетт поглядела на отца с негодованием.

— Ну конечно, мисс Индия. Он же ходил за ней по пятам, пока эта моя вертихвостка не вскружила ему голову.

— О! — промолвила Мелани, несколько ошарашенная бесхитростным прямодушием Джералда.

— Но и это не все. Брент теперь обхаживает кое‑кого в Таре.

Скарлетт сидела онемев. Вероломство ее поклонников было просто оскорбительно. Особенно если вспомнить, как бесились близнецы, когда она сообщила им, что выходит замуж за Чарлза. Стюарт даже грозился застрелить Чарлза, или Скарлетт, или обоих. Он был великолепен!

— Сьюлин? — расцветая улыбкой, спросила Мелани. — Но мне казалось, что мистер Кеннеди...

— А, этот! — вырвалось у Джералда. — Да, мистер Кеннеди все ходит вокруг да около, пугаясь собственной тени, дожидается, видно, чтобы я напрямик спросил, каковы его намерения. Нет, речь идет о моей младшенькой.

— Кэррин?

— Но она же еще ребенок! — резко воскликнула Скарлетт, обретя, наконец, дар речи.

— Вы были всего на год старше, мисс, когда выходили замуж, — заметил Джералд. — Может, вам жалко, что ваш бывший поклонник переметнулся к вашей сестричке?

Мелани, не привыкшая к такой манере все говорить без обиняков, покраснела и велела Питеру подать пирог со сладким картофелем. Она лихорадочно перебирала в уме всевозможные темы для беседы, которые не касались бы лично никого из присутствующих и могли бы отвлечь мысли мистера О’Хара от цели его приезда. Но как назло, ей ничего не приходило в голову, а Джералд, разговорившись, уже не нуждался в поощрении, пока у него были слушатели. Он говорил о казнокрадстве в интендантском ведомстве, где с каждым месяцем все повышаются и повышаются требования, о плебейской глупости Джефферсона Дэвиса и о продажности тех ирландцев, которые вступили в ряды армии северян, польстившись на казенное жалованье.

Когда подали вино и дамы встали из‑за стола, Джералд, сдвинув брови и свирепо глядя на дочь, приказал ей задержаться на несколько минут для разговора с ним с глазу на глаз. Скарлетт с отчаянием и мольбой посмотрела на Мелани. Беспомощно теребя в руках платочек, Мелани покорно вышла из комнаты и тихонько притворила за собой дверь.

— Итак, мисс, — загремел Джералд, наливая себе портвейна, — как понять ваше поведение? Не успев овдоветь, вы стараетесь подцепить себе нового мужа?

— Не кричите так, папа, слуги...

— Им уже, без сомнения, известно — как, впрочем, и всем остальным — о нашем позоре. Ваша мать от этого слегла, а я не смею смотреть людям в глаза. Стыд какой! Нет, нет, котенок, плачь — не плачь, на сей раз тебе не удастся обвести меня вокруг пальца, — торопливо пробормотал он с ноткой испуга в голосе, увидев, что Скарлетт захлопала ресницами и губы у нее жалобно задрожали. — Я тебя знаю. Ты же способна строить глазки, стоя у гроба мужа. Ладно, не плачь. Поговорили, и хватит. Теперь я намерен тотчас же повидаться с этим капитаном Батлером, который позволил себе играть добрым именем моей дочери. А наутро... Да не реви ты, тебе говорят. Все равно не поможет. Не поможет, поняла? Это решено — завтра мы возвращаемся домой, пока ты здесь не опозорила окончательно нас всех. Ну, не плачь, котенок, погляди, что я тебе привез! Что, хороший подарочек? Да ты погляди! Ну, скажи, как ты могла доставить мне столько хлопот — заставила тащиться сюда, в такую даль, когда сама знаешь, у меня и без того дел по горло? Ладно, не плачь!

Мелани и тетушка Питтипэт давно уже спали, а Скарлетт лежала без сна в теплом полумраке; на душе у нее было тяжело, и сердце сжималось от страха. Покинуть Атланту сейчас, когда жизнь снова стала ее манить, и встретиться лицом к лицу с Эллин! Да она умрет, прежде чем посмотрит матери в глаза! Если бы она умерла сейчас, сию минуту, вот тогда бы они все пожалели, что были к ней так жестоки! Она вертелась с боку на бок, голова ее металась по горячей подушке, и вдруг какой‑то шум, нарушивший тишину погруженной в сон улицы, привлек ее внимание. Это был странно знакомый, хотя и неясный, еще отдаленный шум. Она соскользнула с постели и подошла к окну. Улица, едва различимая сквозь лиственный шатер деревьев, лежала темная, молчаливая под тускло мерцавшим звездами небесным куполом. Шум приближался — скрип колес, стук копыт, голоса. И неожиданно она улыбнулась, узнав хриплый от виски голос, распевавший с ирландским акцентом «В повозке с верхом откидным». Конечно, здесь не Джонсборо и не день открытия судебной сессии, но тем не менее Джералд возвращался домой в соответствующем этому знаменательному дню состоянии.

Скарлетт видела смутные очертания остановившейся перед домом коляски. Оттуда появились две темные фигуры. Кто‑то еще приехал с отцом. Темные фигуры постояли у калитки, звякнула щеколда, и Скарлетт отчетливо услышала голос отца:

— А сейчас я исполню тебе «Плач по Роберту Эммету». Эту песню ты должен знать, приятель. Я научу тебя ее петь.

— Буду очень рад, — с легким смешком отвечал его спутник. — Только не сейчас, мистер О’Хара.

«Боже милостивый, опять этот несносный человек, этот Батлер!» — с раздражением подумала Скарлетт, узнав глуховатый голос и манерную медлительную речь. И тут же обрадовалась: ну, по крайней мере, они хоть не перестреляли друг друга. Даже, как видно, неплохо поладили, раз заявились сюда вдвоем, да еще в таком виде.

— Я буду петь сейчас, и ты будешь меня слушать, или я застрелю тебя, потому что ты оранжист.

— Не оранжист — чарльстонец.

— Чем это лучше? Хуже даже. У меня в Чарльстоне две свояченицы, так уж я‑то знаю.

«Он, кажется, хочет оповестить об этом всех соседей?» — в испуге подумала Скарлетт и потянулась за пеньюаром. Но что, собственно, может она сделать? Не бежать же вниз в такой час, чтобы увести отца с улицы?

А Джералд без лишних слов закинул голову и, прислонившись к калитке, начал выводить могучим басом «Плач». Скарлетт слушала, облокотившись о подоконник и улыбаясь против воли. Такая красивая песня, одна из ее любимых. Жаль, что отец немного фальшивит. Она тихонечко подхватила печальную мелодию:

На чужой стороне пал бесстрашный герой,

А вокруг девы — поклонников рой...

Песня лилась, и Скарлетт услышала какое‑то движение в комнатах тетушки Питтипэт и Мелани. Эти бедняги, конечно, будут очень расстроены. Они ведь не привыкли к обществу таких жизнелюбивых ирландцев. Пенье оборвалось, и две темные фигуры слились в одну, прошагали по дорожке и поднялись на крыльцо. Послышался осторожный стук в дверь.

«Надо, пожалуй, спуститься вниз, — подумала Скарлетт. — В конце концов, это же мой отец, а тетя Питти умрет, но не выйдет ночью на лестницу». К тому же ей никак не хотелось, чтобы слуги увидели ее отца в таком состоянии. Джералд, пожалуй, еще начнет буянить, если Питер вздумает укладывать его в постель. Кроме Порка, никто не умеет с ним справляться.

Она покрепче запахнула пеньюар, зажгла свечу, стоявшую на столике возле кровати, и стала спускаться по темной лестнице в холл. Поставив свечу на подзеркальник, она отомкнула дверь и в колеблющемся свете различила Ретта Батлера. Безупречно подтянутый — ни одна оборочка на манишке не смята — он поддерживал маленького, коренастого Джералда. Как видно, «Плач» был лебединой песней Джералда, потому что теперь он уже без стеснения повис на руке своего спутника. Длинные жесткие седые волосы были взлохмачены, галстук переехал набок, грудь сорочки залита вином.

— Насколько я понимаю, это ваш папаша? — Глаза Ретта лукаво блестели на смуглом лице, и их взгляд, казалось, проникал сквозь ее дезабилье.

— Проводите его в дом, — коротко сказала Скарлетт, смущенная своим неприбранным видом и злясь на Джералда за то, что он поставил ее в смешное положение перед этим человеком.

Ретт Батлер подтолкнул Джералда вперед.

— Прикажете помочь ему подняться по лестнице? Вам самой не справиться. Он довольно тяжел.

Испуганная столь наглым предложением, она на миг лишилась дара речи. Что подумают Мелани и тетушка Питти, затаившиеся у себя в спальнях, если услышат, что капитан Батлер поднимается ночью в верхние комнаты?

— О, матерь божья, нет, конечно! Проводите его сюда, в гостиную, на этот канапе.

— На этот?.. Как вы сказали?

— Я буду вам крайне признательна, если вы придержите ваш язык. Вот сюда. Теперь положите его.

— Прикажете снять с него сапоги?

— Не надо. Он частенько в них спит.

Она готова была откусить себе язык — надо же так проговориться! Ретт Батлер негромко рассмеялся, укладывая ноги Джералда на небольшую кушетку.

— Теперь, пожалуйста, уходите.

Он вышел в полутемный холл, поднял свою шляпу, которую, входя, бросил на пороге.

— Надеюсь увидеться с вами в воскресенье за обедом, — сказал он и удалился, бесшумно притворив за собой дверь.

Скарлетт поднялась в половине шестого — пока слуги не пришли накрывать на стол к завтраку — и тихонько спустилась в безмолвные комнаты нижнего этажа. Джералд проснулся. Он сидел на диване, сжимая свою круглую голову руками. Казалось, он пытается раздавить ее между ладонями, как орех. Он украдкой покосился на дочь, когда она вошла. Но малейшее движение глазами доставляло ему такую боль, что он застонал.

— С добрым утречком!

— Как вы себя ведете, па, — сердитым шепотом заговорила Скарлетт. — Явились домой за полночь и перебудили всех соседей своим пением!

— Разве я пел?

— Пели! Орали «Плач» на весь квартал.

— Ничего не помню.

— Зато соседи будут помнить это до своего смертного часа — так же, как тетя Питтипэт и Мелани.

— Мать пресвятая богородица! — простонал Джералд, проводя сухим языком по запекшимся губам. — Мы играли, а что было потом, когда кончили, — хоть убей не помню.

— Играли?

— Этот щенок Батлер похвалялся, что он лучший игрок в покер во всем...

— Сколько же вы проиграли?

— С чего ты взяла? Я выиграл, разумеется. Стаканчик, другой мне всегда помогает в игре.

— Проверьте свой бумажник.

Очень медленно, словно каждое движение причиняло ему острую боль, Джералд достал из кармана бумажник и заглянул в него. Бумажник был пуст, и он потерянно повертел его в руках.

— Пятьсот долларов, — сказал он. — Все, что у меня было с собой, чтобы купить кой‑какие вещички у контрабандистов для миссис О’Хара. Даже на обратный проезд не осталось.

Скарлетт с возмущением глядела на пустой бумажник, и в этот миг в мозгу у нее родилась некая идея и начал быстро созревать план.

— Теперь я в этом городе не смогу смотреть людям в глаза, — начала она. — Вы осрамили нас всех.

— Помолчи немного, котенок. Ты же видишь, у меня голова раскалывается.

— Явились домой пьяный, с этим капитаном Батлером, распевали во все горло, всех перебудили, да еще просадили все деньги в карты.

— Этот человек слишком ловок в покер — верно, он не джентльмен. Он...

— Что скажет мама, когда узнает?

Он в испуге вскинул на нее глаза.

— Ты же ничего не скажешь матери, не станешь ее волновать? Верно?

Скарлетт промолчала, поджав губы.

— Подумай, как это ее расстроит, а у нее такое хрупкое здоровье!

— А вспомните, па: не далее как вчера вечером вы говорили, что я будто бы опозорила семью! И все из‑за какого‑то несчастного танца, который я протанцевала, чтобы собрать денег для госпиталя! Ну как тут не заплакать!

— Только не плачь! — взмолился Джералд. — Моя бедная голова этого не выдержит, она и так готова лопнуть от боли.

— И вы еще сказали, что я...

— Ладно, котенок, ладно, не обижайся на своего бедного, старого папку. Я же совсем не думал того, что говорил. Да и не по моей все это части. Я знаю, что ты хорошая девочка и хотела только добра. Уверен в этом.

— А ведь грозились с позором увезти меня домой.

— Ах, доченька, никуда бы я тебя не увез. Это просто чтобы тебя подразнить. Ты ведь не расскажешь маме про деньги? Она и так расстраивается, что расходы растут.

— Нет, — напрямик заявила Скарлетт. — Не скажу, если вы позволите мне остаться здесь и объясните маме, что ничего такого не было — все это выдумки старых сплетниц.

Джералд скорбно поглядел на дочь.

— А ведь это настоящий шантаж.

— А этой ночью был настоящий дебош.

— Ну, хорошо, забудем все это, — вкрадчиво проговорил Джералд. — А как ты думаешь, у такой благородной старой дамы, как мисс Питтипэт, найдется в доме глоток бренди? Разрази меня гром, до чего ж...

Скарлетт повернулась, неслышно пересекла холл и направилась в столовую, чтобы достать бутылку бренди, которую они с Мелли называли между собой «обморочной бутылкой», поскольку тетушка Питти всякий раз отпивала из нее глоточек, когда у нее останавливалось сердце (или ей казалось, что оно останавливается) и она готова была лишиться чувств. Лицо Скарлетт выражало торжество — никаких угрызений совести она не испытывала, хотя и поступила с Джералдом отнюдь не как любящая, преданная дочь. Теперь тревогу Эллин усыпят с помощью обмана, если еще какая‑нибудь досужая сплетница не вздумает ей написать. Теперь она останется в Атланте и будет делать все что захочет, а тетю Питтипэт заставит плясать под свою дудку. Она отперла погребец и с минуту постояла, прижав к груди бутылку и стакан.

Перед ее глазами проносились видения: пикники на берегу пенистых вод Персикового ручья и у подножья Стоун‑Маунтин; балы и приемы; маленькие послеобеденные танцульки; катанья в колясках и ужины а‑ля фуршет по субботам. Теперь она примет во всем этом участие; окруженная мужчинами, она будет в центре всех развлечений. А мужчины так легко влюбляются, стоит проявить о них маленькую заботу в госпитале. Теперь госпиталь уже не будет ей так противен. Выздоравливающие мужчины чрезвычайно чувствительны к женскому вниманию. Если девушка достаточно ловка, они падают к ее ногам, как падают в Таре спелые персики с ветвей, стоит легонько потрясти дерево.

Скарлетт возвратилась к отцу с бутылкой возрождающего к жизни напитка, благодаря судьбу за то, что прославленная своей крепостью голова О’Хары не выдержала на сей раз испытания, и неожиданно задала себе вопрос: не повинен ли в этом в какой‑то мере капитан Батлер?

### Глава XI

На следующей неделе Скарлетт возвратилась после полудня из госпиталя домой в очень дурном расположении духа. Она устала стоять целое утро на ногах и разозлилась, когда миссис Мерриуэзер сделала ей резкое замечание за то, что, бинтуя раненому руку, она присела к нему на кровать. Тетушка Питти и Мелани — обе в самых нарядных своих шляпках — и Присей с Уэйдом на руках стояли на крыльце, приготовившись отправиться с еженедельными визитами. Скарлетт, извинившись, что не может их сопровождать, поднялась к себе.

Когда все семейство отбыло и даже скрип колес замер вдали, она тихонько прошмыгнула в комнату Мелани и заперла за собой дверь. В строгой, залитой косыми лучами послеполуденного солнца девичьей комнате царила тишина. На натертом до блеска полу не было ничего, кроме двух‑трех ярких лоскутных ковриков, и ни единого украшения на беленых стенах. Только в углу Мелани соорудила нечто вроде алтаря.

Под большим, ниспадающим красивыми складками флагом Конфедерации висела сабля с золотым эфесом, немало послужившая отцу Мелани в Мексиканскую войну и доставшаяся Чарлзу, когда он уезжал на фронт. Пояс и портупея Чарлза с револьвером в кобуре висели тут же. А между ними — дагерротипный портрет самого Чарлза — неестественно прямого и очень гордого, в сером мундире. Большие карие глаза его сияли, на губах играла смущенная улыбка.

Даже не взглянув на портрет, Скарлетт решительным шагом направилась в противоположный угол, где на маленьком столике у изголовья неширокой кровати стояла шкатулка розового дерева. Она достала оттуда перевязанную голубой ленточкой пачку писем, написанных рукой Эшли и адресованных Мелани. Сверху лежало письмо, доставленное утром, и это письмо Скарлетт вынула из конверта.

Когда она впервые начала украдкой читать эти письма, ее порядком мучила совесть и охватывал такой страх быть пойманной на месте преступления, что она едва решалась вскрыть дрожащими пальцами конверт. Но мало‑помалу от частых повторений этой проделки ее не слишком остро развитое чувство порядочности и вовсе притупилось, да и страх сам собой исчез. Иногда еще мелькала мысль: «Что сказала бы мама, узнай она про это?» И тогда начинало противно сосать под ложечкой. Она понимала, что Эллин, вероятно, легче было бы увидеть ее мертвой, чем совершающей столь бесчестный поступок. Это беспокоило Скарлетт поначалу, ибо ей все еще хотелось во всем походить на мать. Но соблазн прочесть письма был слишком велик, и она выбросила мысль о матери из головы. Именно в те дни начала она приобретать умение отметать от себя неприятные мысли. Она научилась говорить себе: «Я не стану думать об этом (или о том) сейчас — это слишком неприятно. Я подумаю об этом завтра». И чаще всего, когда наступало завтра, неприятная мысль или не возникала больше, или по прошествии времени уже не казалась такой неприятной. Словом, чтение тайком писем Эшли теперь не слишком обременяло ее совесть.

Мелани, получая письма от Эшли, обычно охотно делилась с тетушкой Питти и Скарлетт и читала им оттуда целые куски вслух. Но именно то, что оставалось непрочитанным, так терзало своей неизвестностью Скарлетт, что толкнуло ее на чтение писем тайком. Она во что бы то ни стало хотела знать, полюбил ли Эшли Мелани после того, как она стала его женой. И притворялся ли он когда‑нибудь, что любит ее? Говорил ли он ей нежные и пылкие слова? Как выражал он свои чувства, с каким жаром?

Она осторожно развернула листки.

В глаза бросились ровные, мелким почерком выведенные строчки. «Моя дорогая женушка», — прочла она. У нее отлегло от сердца. Он, как и в прежних письмах, не писал Мелани — «любимая» или «моя возлюбленная».

«Моя дорогая женушка! Тебя тревожат, пишешь ты, сомнения: не скрываю ли я от тебя своих истинных мыслей. Ты спрашиваешь, о чем думаю я в эти дни...»

«Матерь божья! Что это значит: «не скрываю ли я свои истинные мысли»? — в испуге подумала Скарлетт, так как совесть ее, разумеется, была нечиста. — Неужели Мелани знает, что у него на душе? Или у меня? Неужели она подозревает, что мы с ним...»

Руки ее дрожали, когда она снова взялась за письмо, но читая дальше, она начала успокаиваться.

«Дорогая женушка, если я хоть что‑нибудь скрывал от тебя, то единственно лишь потому, что не хотел к твоему беспокойству о моем здоровье прибавлять еще тревогу о моем душевном состоянии. Но ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы я мог что‑нибудь от тебя утаить. Не тревожься. Я не ранен. Я здоров. Я сыт и время от времени имею даже возможность поспать в постели. А большего солдат и не может желать. Но у меня тяжело на сердце, Мелани, и я открою тебе свою душу.

В эти летние ночи, когда весь лагерь спит, я долго лежу без сна, гляжу на звезды и снова и снова задаю себе вопрос: «Зачем ты здесь, Эшли Уилкс? Ради чего пошел ты воевать?»

Не ради почестей и славы, разумеется. Война — грязное занятие, а мне грязь претит. Я не воин по натуре и не ищу геройской смерти под пулями. И тем не менее я здесь, на войне, в то время как мне богом предназначено было всего лишь заниматься по мере сил науками и сельским хозяйством. Видишь ли, Мелани, звук трубы не зажигает мою кровь, и дробь барабана не понуждает мои ноги спешить в поход, ибо я слишком ясно вижу: нас предали. Нас предало наше собственное самомнение, наша уверенность, что любой южанин стоит дюжины янки, что Король Хлопок может править миром. Нас предали громкие слова и предрассудки, призывы к ненависти и демагогические фразы: «Король Хлопок, Рабовладение, Права Юга, Будь прокляты янки» — ведь мы слышали их из уст тех, кто поставлен над нами, кого мы привыкли уважать и чтить.

И вот когда, лежа на своем одеяле и глядя на звезды, я спрашиваю себя: «За что ты сражаешься?» — я начинаю думать о Правах Юга, и о хлопке, и о неграх, и о янки, ненависть к которым внушали нам с пеленок, и понимаю, что не здесь надо искать ответа на вопрос, почему я взял в руки оружие. Но я вспоминаю Двенадцать Дубов, и косые лучи лунного света меж белых колонн, и странно призрачные в этих лучах цветы магнолий, оплетенную вьющимися розами веранду, где прохладно даже в самый знойный полдень. И я вижу себя еще ребенком и мать с шитьем в руках. И слышу голоса негров, усталых, голодных, возвращающихся в сумерках с поля. Слышу их пение, и скрип ворота над глубоким колодцем, и плеск воды, когда в нее погружается ведро. И вижу длинный спуск к реке через поля хлопчатника, и туман, ползущий в вечернем сумраке с низины. И я понимаю, почему, не гонясь за славой, не ища смерти, страшась страданий и не питая ненависти ни к кому, — я все же здесь. Быть может, это и называют патриотизмом, любовью к отчему дому, к родному краю. И тем не менее, Мелани, то, что привело меня сюда, еще глубже. Ведь все, о чем я говорил, — это лишь символы того, за что я готов отдать жизнь, символы того образа жизни, который мне дорог. Ибо я сражаюсь за прошлое, за былой уклад жизни, который я так люблю и который, боюсь, утрачен навеки, какие бы кости ни выпали нам в этой игре, потому что — победим мы или потерпим поражение — и в том и в другом случае мы проиграли.

Если мы победим в этой войне и воплотим нашу мечту — Королевство Хлопка — в жизнь, мы все равно проиграли, потому что мы уже будем другими людьми и прежний мирный уклад жизни не возвратится. Весь мир будет стучаться в наши двери, требуя хлопка, а мы будем назначать цены. И тогда, боюсь, мы уподобимся янки, над чьим торгашеством, алчностью и стяжательством мы сейчас потешаемся. Ну, а если мы проиграем войну, Мелани, если мы проиграем!..

Я не боюсь ни ран, ни плена, ни даже смерти, если уж таков мой удел, — меня пугает одно: чем бы ни окончилась война, возврата к прошлому уже не будет. А я принадлежу к прошлому. Я не создан для нынешней жизни, с ее безумной страстью добивать, и, боюсь, не найду себе места и в будущем, даже если буду очень стараться. Также и ты, моя дорогая, ибо мы с тобой родственные души. Не знаю, что принесет нам будущее, но оно не будет столь прекрасным, столь близким нам по духу, как прошлое.

Я гляжу на наших солдат, спящих рядом со мной, и думаю: разделят ли мои чувства близнецы Тарлтоны, или Алекс, или Кэйд? Понимают ли они, что сражаются за Дело, которое погибло безвозвратно уже в ту минуту, когда прогремели первые залпы, потому что наше Дело — это, в сущности, наш уклад жизни, а он канул в прошлое навеки. Впрочем, думаю, что их такие мысли не мучают, и значит, им повезло.

Когда я просил тебя стать моей женой, у меня совсем не было таких мыслей. Мне наша жизнь в Двенадцати Дубах рисовалась спокойной, легкой, приятно‑устойчивой. Мы с тобой сродни друг другу, Мелани, мы одинаково любим тишину и покой, и я видел впереди долгие, не слишком богатые событиями годы, посвященные музыке, книгам, мечтам. Но никак не то, что произошло! Никак не это! Никак не ломку всего старого, не эту кровавую резню и ненависть! Это слишком дорогая плата, Мелани. Ни Права Юга, ни хлопок, ни рабы не стоят того, чтобы платить за них такой ценой — ценой того, что происходит с нами сейчас и что может еще произойти. Ведь если янки одержат победу, судьба наша будет ужасна. А они еще могут нас одолеть, моя дорогая.

Я не должен был писать тебе этих слов. Я не должен был так и думать, но ты спросила: какая тяжесть лежит у меня на сердце, и я отвечаю тебе: страх поражения. Помнишь, на барбекю в день нашей помолвки некий человек по имени Батлер, судя по произношению чарльстонец, позволил себе нелестно отозваться о южанах, обвинив их в невежестве, за что едва не был вызван на дуэль? Помнишь, как близнецы готовы были пристрелить его, когда он сказал, что у нас мало заводов и фабрик, прокатных станов и кораблей, арсеналов и механических мастерских? Помнишь, как он сказал: флот северян может так блокировать наши порты, что мы лишимся возможности вывозить хлопок? Он оказался прав. Янки вооружены новейшими винтовками, а мы выходим против них с мушкетами времен Войны за независимость, и скоро блокада совсем нас задушит — к нам не будут поступать даже медикаменты. Нам следовало бы прислушиваться к таким циникам, как Батлер, которые знают, что говорят, а не к восторженным болтунам, которые только говорят, а дела не знают. Он, в сущности, сказал, что Югу нечем воевать, кроме хлопка и спеси. Хлопок наш стал бесполезен, и осталось у нас только то, что он назвал спесью, а я бы назвал беспримерной отвагой. Если бы...»

Тут Скарлетт аккуратно сложила письмо и сунула его обратно в конверт. Она не в силах была читать дальше — письмо оказалось слишком скучным. К тому же эти глупые мысли о поражении вселили в нее смутную тревогу. Да и вообще она начала тайком читать эти письма вовсе не для того, чтобы забивать себе голову странными и малоинтересными фантазиями Эшли. Она наслушалась их предостаточно, сидя с ним на крыльце у себя в имении в те канувшие в прошлое времена.

Ей хотелось узнать только одно: пишет ли он Мелани пылкие письма. Пока что он их не писал. Она перечитала все до единого письма, хранившиеся в этой шкатулке, и не обнаружила ни в одном из них ни намека на то, чего любящий брат не мог бы написать сестре. Это были нежные письма, порой забавные, порой сбивчивые, но это не были любовные письма. Скарлетт самой доводилось — и не раз — получать пылкие любовные послания, и она безошибочно угадывала чутьем, когда в словах сквозила подлинная страсть. В этих письмах ее не было. И как всегда после такого чтения украдкой, она чувствовала приятное успокоение. Письма укрепляли ее уверенность в том, что Эшли все еще любит ее. И снова она усмехнулась про себя, удивляясь, как Мелани может не видеть, что Эшли любит ее только как друг. А Мелани, казалось, вовсе не считала, что письмам Эшли чего‑то не хватает. Впрочем, ей ведь не с чем было их сравнивать — она никогда не получала любовных посланий.

«Он пишет ей совершенно идиотские письма, — думала Скарлетт. — Если когда‑нибудь мой муж вздумает писать мне такую галиматью, ему достанется от меня на орехи! Господи, даже письма Чарли — и те были лучше».

Она перебирала пальцами уголки писем, разглядывая даты, стараясь припомнить содержание каждого письма. В них не было красивых описаний сражений и биваков, как в письмах Дарси Мида к его родителям или в письмах бедняжки Далласа Маклюра к его сестрам‑перестаркам. Мисс Фейс, и мисс Хоуп, и Миды, и Маклюры с гордостью читали эти письма всем соседям, и Скарлетт не раз испытывала втайне стыд, что Эшли не пишет Мелани таких писем, которые интересно было бы почитать в швейном кружке вслух.

Казалось, Эшли в этих письмах вообще старался обходить войну молчанием, словно хотел провести некую магическую черту, отделить себя и Мелани от своего времени, отгородиться от всех событий, которые произошли с того памятного дня, когда слова «форт Самтер» были у каждого на устах. Словно он старался убедить себя в том, что никакой войны вообще нет. Он писал Мелани о прочитанных вместе книгах, о спетых вместе романсах, о старых друзьях и о местах, которые он посетил во время своей поездки в Европу. Все его письма были пронизаны тоской по Двенадцати Дубам, и листок за листком он вспоминал охоту и долгие прогулки верхом по тихим лесным просекам под холодным звездным небом, и пикники, и рыбную ловлю, и тихие лунные ночи, и пленительный величавый покой старого дома.

Скарлетт вспомнились слова только что прочитанного письма: «Никак не то, что произошло! Никак не это». И она услышала в них крик измученной души перед лицом чего‑то ужасного, чего нельзя принять и от чего некуда скрыться. Слова эти ставили ее в тупик: ведь если Эшли не страшны ни раны, ни смерть, так чего же он тогда боится? Она старалась разобраться в этих сложных мыслях.

«Война нарушила его покой, а он... он не любит того, что угрожает его покою... Как я, например... Он любит меня, но боялся жениться на мне, боялся, что я нарушу уклад его жизни, образ мыслей. Нет, не то чтоб боялся, это неверно. Эшли не трус. Какой же он трус, если его имя упоминается в донесениях, и полковник Слоан прислал Мелли письмо и описал, как храбро Эшли сражался, как он повел своих солдат в атаку. Когда он хочет чего‑то достигнуть, нет человека смелее и решительнее его, но... Он живет в том мире, что внутри него, а не в том, что его окружает, и не хочет слиться с ним... И он... О, я не знаю, как это назвать! Если бы тогда, год назад, я понимала это, он бы женился на мне, я знаю».

Она стояла, прижав письма к груди, и с нежностью думала об Эшли. Ее чувство к нему не изменилось — оно было таким же, как в тот день, когда она впервые поняла, что любит его. Как в то мгновение, когда ей было четырнадцать лет и она стояла на крыльце в Таре и увидела, как он подъезжает верхом к дому, улыбается и волосы его золотятся в лучах утреннего солнца. И увидев, обмерла. И сейчас она все так же, как та девочка‑подросток, преклонялась перед этим мужчиной, совсем его не понимая, и восхищаясь теми сторонами его натуры, которые были ей самой чужды. Ее любовь все еще была детской мечтой о Прекрасном Принце, не требующей ничего, кроме поцелуя и признания, что и он ее любит.

Прочтя письма Эшли, Скарлетт уже не сомневалась, что он любит ее, хотя и женился на Мелани, и ей, в сущности, было довольно этой уверенности. Она была еще так молода, и душа ее так нетронута. Близость с Чарлзом, его неловкие стыдливые ласки не смогли пробудить тлевшего в ней подспудного огня, и ее мечты об Эшли не шли дальше поцелуя. В те короткие лунные ночи, проведенные с Чарлзом, ее чувства еще не пробудились, она еще не созрела для любви. В объятиях Чарлза она не познала ни страсти, ни подлинной нежности, ни высокого накала чувств в слиянии душ и тел.

Плотская любовь была для нее просто уступкой непонятной одержимости мужчин, которую женщина не в состоянии разделить, — чем‑то постыдным и мучительным, неизбежно ведущим к еще более мучительному: к родам. Эта сторона брака не являлась для нее неожиданностью. Накануне свадьбы Эллин намекнула ей, что супружеские отношения включают в себя нечто такое, что женщина должна переносить стоически и с достоинством, а из перешептываний других матрон в дни ее вдовства она почерпнула лишь подтверждение этим словам. И Скарлетт была рада, что и брак, и брачная постель — все это для нее позади.

Да, это осталось позади — но не любовь. Ведь ее любовь к Эшли была чем‑то совсем иным, отличным от супружеской любви и страсти, чем‑то невыразимо прекрасным и священным, и чувство это крепло день ото дня, вынужденное таиться в молчании, питаясь неиссякаемыми воспоминаниями и надеждой.

Она вздохнула и аккуратно перевязала пачку писем ленточкой, снова и снова раздумывая над тем, что отличало Эшли от всех, но ускользало от ее понимания. Она продолжала над этим размышлять, стараясь прийти к какому‑то выводу, но, как обычно, задача эта оказалась непосильной для ее незрелого ума. Она положила письма обратно в шкатулку и захлопнула крышку. Внезапно ей припомнились последние строки только что прочитанного письма, в которых упоминалось имя Ретта Батлера, и она нахмурилась. Как мог Эшли придавать значение словам, произнесенным этим низким человеком год назад? Это странно. Он, несомненно, негодяй, хотя, надо отдать ему должное, — танцует божественно. Только негодяй мог сказать о Конфедерации то, что она слышала от него на благотворительном базаре.

Она направилась к трюмо, окинула себя одобрительным взглядом, пригладила выбившиеся из прически темные пряди. Вид белоснежной кожи и чуть раскосых зеленых глаз, как всегда, поднял ее настроение. Она улыбнулась, и на щеках заиграли ямочки. Вспомнив, как ее улыбка всегда восхищала Эшли, она выбросила капитана Батлера из головы и с удовольствием полюбовалась на свое отражение в зеркале. Мысль о том, что она любит чужого мужа и только что тайком прочла его письма, адресованные жене, не потревожила ее совести и не омрачила радости, которую давало ей сознание своей молодости, очарования и окрепшая уверенность в любви Эшли.

Она отперла дверь и, спускаясь вниз по винтовой лестнице, запела «В час победы нашей». На сердце у нее было легко.

### Глава XII

Но хотя побед было одержано немало, война все еще длилась и люди уже перестали говорить: «Еще одна, последняя победа — и войне конец», — и перестали называть янки трусами. Теперь всем становилось ясно, что янки далеко не трусы и, чтобы одолеть их, потребуется одержать еще немало побед. Но все же победы были — генерала Моргана и генерала Форреста в Теннесси, а впереди маячила триумфальная победа во втором сражении при Булл‑Рэне — она представлялась столь очевидной, словно с янки уже были сняты скальпы. Но пока что за эти будущие скальпы приходилось платить дорогой ценой. Госпитали и дома Атланты были переполнены больными и ранеными, и все больше и больше женщин появлялось в трауре, а унылые ряды солдатских могил на Оклендском кладбище становились все длиннее и длиннее.

Бумажные деньги, выпускавшиеся Конфедерацией, катастрофически обесценивались, а стоимость продуктов и одежды так же катастрофически росла. Тяжелое бремя податей начало сказываться на рационе жителей Атланты. Пшеничная мука становилась редкостью и так вздорожала, что кукурузный хлеб понемногу вытеснил бисквиты, вафли и сдобные булочки. Из мясных лавок почти исчезла говядина, баранины тоже оставалось мало, и стоила она так дорого, что была по карману лишь богачам. Впрочем, в свинине, битой птице и овощах недостатка пока не ощущалось.

А корабли северян все ужесточали блокаду южных портов. Чай, кофе, шелка, корсеты из китового уса, одеколоны, журналы мод и книги становились малодоступной роскошью. Цены даже на самые дешевые хлопчатобумажные ткани взлетели так, что дамы, вздыхая, взялись за переделку прошлогодних нарядов в соответствии с требованиями нового сезона. Ткацкие станки, годами покрывавшиеся пылью на чердаках, перекочевывали вниз, и в каждой гостиной можно было увидеть рулоны домотканых материй. Все — женщины, мужчины (в военной форме и в гражданской одежде), дети, негры — все ткали. Серый цвет — цвет мундиров армии конфедератов — почти повсеместно исчез, уступив место орехово‑желтому оттенку домотканой одежды.

Уже и госпитали начинали ощущать нужду в хинине, каломели, хлороформе, опиуме, йоде. Использованные бинты и марля стали слишком большой драгоценностью, чтобы их выбрасывать после употребления, и все дамы, работавшие в госпиталях, возвращались домой нагруженные корзинками с окровавленным перевязочным материалом, который надлежало выстирать, выгладить и снова пустить в дело.

Но для Скарлетт, едва освободившейся от пут вдовства, эти военные дни протекали весело и оживленно. Некоторые ограничения в пище и нарядах не могли испортить ей настроения — так была она счастлива, вырвавшись на волю.

Когда она вспоминала истекший год, где в унылой череде дней один день был неотличим от другого, ей казалось, что теперь время летит с головокружительной быстротой. Каждый зарождавшийся день сулил какое‑нибудь новое увлекательное приключение, новые знакомства, и она знала, что какие‑то мужчины будут искать с ней встречи и будут говорить ей, как она хороша, заверять, что они почли бы для себя за честь сражаться за нее и даже умереть. И хотя она любила Эшли и не сомневалась, что будет любить его до последнего вздоха, это ничуть не мешало ей кокетничать напропалую и получать предложения руки и сердца.

Неумолчные отголоски войны, доносившиеся в Атланту, вносили приятную непринужденность во взаимоотношения, повергавшую людей почтенных в тревогу. Обескураженные мамаши обнаруживали, что их дочерям наносят визиты незнакомые люди, чья родословная никому не известна и которые не имеют при себе рекомендательных писем, и с ужасом замечали, что дочери разрешают этим людям украдкой пожимать им руку. Миссис Мерриуэзер, ни разу не позволившая будущему супругу поцеловать ее до свадьбы, просто не поверила своим глазам, увидев, что Мейбелл целуется с маленьким зуавом Рене Пикаром. Ужас ее был тем более неописуем, что Мейбелл ничуть не была смущена. И хотя Рене немедленно предложил Мейбелл руку и сердце, это не могло изменить существа дела. Миссис Мерриуэзер видела, что Юг стремительно скатывается в бездну морального разложения, и не раз во всеуслышание об этом заявляла. Остальные матери с жаром поддерживали ее точку зрения и винили во всем войну.

Но мужчины, приготовившись через неделю‑другую сложить голову на поле боя, не намерены были предпринимать установленное правилами хорошего тона длительное и церемонное ухаживание и выжидать год, прежде чем, собравшись с духом, назвать свою избранницу по имени — с прибавлением, разумеется, обязательного «мисс». Обычно они теперь через три‑четыре месяца уже делали предложение. А девушки, хотя и знали, что настоящая леди должна поначалу трижды ответить на предложение отказом и только на четвертый раз принять его, готовы были сразу же, не раздумывая долго, сказать «да».

Эта простота нравов, принесенная войной, сделала жизнь необычайно увлекательной для Скарлетт. Если бы не грязная зачастую работа сиделки и не тоскливая обязанность скатывать бинты, она, пожалуй, ничего не имела бы против того, чтобы война длилась вечно. В сущности, она и работу в госпитале переносила теперь без раздражения, ибо здесь ей открывался огромный простор для ловли поклонников. Раненые были беззащитны перед ее чарами и тут же сдавались на милость победителя. Сменить повязку, отереть пот со лба, взбить подушки, помахать веером — и объяснение в любви не заставит себя ждать. О, это была поистине райская жизнь после года такого унылого существования!

Скарлетт словно бы возвратилась в те времена, когда она еще не была замужем за Чарлзом. Словно бы и не было вовсе этого брака, и она не получала страшной вести о смерти мужа, и не произвела на свет Уэйда. Война, замужество, рождение ребенка не оставили глубокого следа в ее душе — она была все та же, что прежде. Скарлетт родила сына, но он был окружен такой заботой в красном кирпичном доме тетушки Питтипэт, что она легко забывала о его существовании. Всем своим нутром она чувствовала себя прежней Скарлетт О’Хара — одной из первых красавиц графства. Она была прежней и в помыслах своих, и в поступках, но поле ее деятельности расширилось неимоверно. Пренебрегая неодобрением всех друзей тетушки Питти, она теперь вела тот же образ жизни, что и до замужества; посещала вечера, танцевала, каталась верхом с военными, флиртовала — словом, проводила время совершенно так же, как в девичестве, и не позволила себе только одного — снять траур. Она знала, что это может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения тети Питти и Мелани. Но и в трауре она была столь же очаровательна, как в девичьем наряде, приятна и мила в обхождении — пока ей не мешали жить по‑своему, любезна и внимательна — пока это не доставляло ей хлопот, и столь же тщеславна по части своей внешности и успехов в обществе.

Еще совсем недавно она была несчастна, а теперь чувствовала себя счастливой: у нее были поклонники, они неустанно твердили ей о несравненной прелести ее чар, и счастье ее было бы полным, будь Эшли не женат на Мелани и не угрожай ему опасность. И все же пока Эшли был далеко, она как‑то легче мирилась с мыслью, что он принадлежит не ей. Казалось, пока он там, в Виргинии, отделенный от Атланты сотнями миль, она в такой же мере владеет им, как Мелани.

Так пролетали дни осени 1862 года, заполненные работой в госпитале, скатыванием бинтов, танцами, прогулками за город — занятиями, изредка прерываемыми короткими наездами домой в Тару. Посещения эти приносили разочарование — слишком мало было возможности для спокойных, долгих бесед с Эллин, о которых Скарлетт мечтала в Атланте, слишком мало свободного времени, чтобы посидеть возле занятой шитьем матери, вдыхая неясный аромат лимонной вербены, слушая, как шуршит ее шелковое платье, чувствуя на своей щеке ласковое прикосновение ее мягкой ладони.

Эллин похудела, постоянно была теперь чем‑то озабочена и с утра до позднего вечера — даже когда вся усадьба погружалась в сон — оставалась на ногах. Требования интендантских уполномоченных Конфедерации росли из месяца в месяц, имение должно было их выполнять, и задача эта легла на плечи Эллин. Даже Джералду впервые за много лет пришлось заняться хозяйством, ибо найти управляющего на место Джонаса Уилкерсона оказалось невозможным, и Джералд сам объезжал верхом свои владения. Теперь у Эллин хватало времени лишь на то, чтобы, наскоро поцеловав дочь, пожелать ей спокойной ночи, Джералд целыми днями пропадал в поле, и Скарлетт скучала дома одна. Даже у сестер были теперь свои заботы. Сьюлин и Фрэнк Кеннеди нашли наконец «общий язык», и Сьюлин напевала «Когда войне придет конец» с таким лукавым видом, что это порядком бесило Скарлетт, а Кэррин утопала в мечтах о Бренте Тарлтоне, и с ней ни о чем невозможно было поговорить.

Словом, хотя Скарлетт всегда с радостью предвкушала поездку домой, она не испытывала огорчения, когда почта доставляла неизбежное письмо, в котором тетушка Питти и Мелани заклинали ее возвратиться в Атланту. Эллин же в этих случаях всегда вздыхала, опечаленная мыслью о разлуке со старшей дочерью и своим единственным внуком.

— Я понимаю, что нельзя быть такой эгоистичной и удерживать тебя здесь, когда твоя помощь нужна в Атланте раненым, — говорила она. — Только... только обидно, моя дорогая, что я так и не выкроила времени спокойно побеседовать с тобой. Я как‑то даже не успела почувствовать, что ты все та же, моя маленькая дочурка, а теперь уже надо расставаться.

— Я всегда, всегда буду вашей маленькой дочуркой, — говорила Скарлетт и прятала лицо на груди Эллин, чувствуя внезапно вспыхнувшие угрызения совести. Она не могла признаться матери, что не уход за ранеными конфедератами, а танцы и поклонники влекут ее назад в Атланту. Теперь она уже многое утаивала от Эллин. Но самым главным секретом было то, что Ретт Батлер стал довольно частым гостем в доме тетушки Питтипэт.

Это тянулось уже не первый месяц: всякий раз, приезжая в город, Ретт Батлер неизменно появлялся в их доме, увозил Скарлетт кататься в коляске, сопровождал ее на танцы и благотворительные базары и поджидал у ворот госпиталя, чтобы отвезти домой. Она уже перестала бояться, что он выдаст кому‑нибудь ее секрет, и все же в каком‑то уголке мозга гнездилась беспокойная мысль: он ведь знает всю правду про нее и Эшли, — она предстала перед ним в самом непрезентабельном виде. И эта мысль заставляла Скарлетт прикусить язык, когда капитан Батлер начинал ее раздражать. А раздражал он ее нередко.

Ему было уже за тридцать, и она чувствовала себя с ним беспомощной, словно ребенок: ей не удавалось командовать им, как всеми прочими своими поклонниками, которые обычно были примерно одного с ней возраста. А он всегда держался так, будто ничто не могло задеть его за живое, многое же просто забавляло, когда же ему удавалось разозлить ее до такой степени, что она угрюмо замыкалась в себе, это только забавляло его еще больше. Эти искусные подтрунивания приводили ее порой в такую ярость, что она уже переставала владеть собой — ведь наряду с обманчиво утонченной внешностью, унаследованной от Эллин, ей достался в удел и бешеный ирландский нрав ее папаши. Прежде она никогда не давала себе труда обуздывать свой гнев — разве что в присутствии Эллин. И теперь ей стоило мучительных усилий удерживать готовое слететь с языка крепкое словечко из страха перед иронической усмешкой Ретта. Если бы ей удалось хоть раз заставить его тоже потерять самообладание, она, быть может, не ощущала бы так остро его превосходства над собой.

После какой‑нибудь очередной словесной дуэли — а Скарлетт почти никогда не выходила из них победительницей — она заявляла Ретту Батлеру, что он невыносим, дурно воспитан, не джентльмен и она не желает больше его видеть. Но проходило какое‑то время, он возвращался в Атланту, наносил, как положено, визит тетушке Питти и подчеркнуто церемонно преподносил Скарлетт коробку шоколадных конфет, привезенных из Нассау. Или успевал, всех опередив, абонировать для нее кресло на музыкальном вечере, или пригласить на танец на балу, и его беззастенчивое ухаживание в конце концов начинало так ее забавлять, что она, смеясь, прощала ему прошлые прегрешения до тех пор, пока он не совершал новых.

И хотя его манера себя держать раздражала ее неимоверно, она все с большим нетерпением ждала его посещений. Было в нем что‑то отличавшее его от всех других мужчин; что‑то необъяснимо для нее самой притягательное и странно волнующее крылось в едва уловимой грации его движений, и когда высокая, широкоплечая фигура внезапно вырастала в дверях, Скарлетт всем телом ощущала его появление, словно ожог, а в холодной, неприкрыто‑нагловатой усмешке его темных глаз таилось нечто заставлявшее ее подчиняться ему против воли.

«Право, можно подумать, что я в него влюблена, — с испугом думала Скарлетт. — Но я же вовсе не люблю его — непонятно, что со мной творится!»

Однако тревожное, волнующее чувство не проходило. Когда Ретт Батлер, принося с собой раздражающее ощущение мужского превосходства, наведывался к тетушке Питтипэт, ее упорядоченный дом с его женственной, изнеживающей атмосферой начинал казаться тесным, обветшалым и немного старомодным. И Скарлетт была не единственным человеком в этом доме, на кого визиты капитана Батлера производили необычное воздействие, ибо тетушка Питтипэт всякий раз при его появлении впадала в неописуемое волнение.

Тетушка Питтипэт, разумеется, прекрасно понимала, что Эллин не может одобрить знакомства капитана Батлера со своей дочерью и было бы недопустимым легкомыслием закрывать глаза на то, что человека этого не принимают ни в одном из хороших домов Чарльстона, но тем не менее, выслушивая его комплименты или протягивая ему для поцелуя руку, она проявляла не больше твердости духа, чем муха, летящая на запах меда. К тому же он — рискуя, по его словам, жизнью — обычно привозил ей из Нассау различные маленькие сувениры: пакетики с булавками и иголками, пуговицы, катушки шелковых ниток и шпильки для волос. Все эти мелкие предметы стали теперь почти недоступной роскошью: дамы закалывали волосы деревянными, выструганными ножом шпильками ручного изготовления и носили пуговицы из обтянутых материей желудей, и у тетушки Питти не хватало моральной стойкости отказаться от таких даров. Самый вид пакета с каким‑нибудь сюрпризом доставлял ей такую детскую радость, что не вскрыть этот пакет она была просто не в силах. А вскрыв, конечно, уже не могла не принять подарка. А приняв, уже не находила в себе достаточного мужества, чтобы сказать дарителю, что его репутация не позволяет ему наносить визиты трем одиноким женщинам, лишенным мужской опеки. Более того: всякий раз при появлении капитана Батлера тетушка Питти начинала ощущать потребность в такой опеке.

— Никак не пойму, что в нем такого, — со вздохом беспомощно говорила она. — Но мне почему‑то кажется, что я... вернее, что он мог бы быть очень милым, привлекательным человеком, если бы... если бы я не чувствовала, что он в общем‑то в глубине души не уважает женщин.

Мелани была шокирована: после того как капитан Батлер выкупил ее обручальное кольцо, она считала его на редкость деликатным и тонко воспитанным джентльменом. Он всегда был исключительно предупредителен по отношению к ней, она же держалась с ним несколько стесненно — главным образом потому, что с детства была очень застенчива в обществе мужчин; к тому же она втайне испытывала к нему жалость, что немало позабавило бы капитана Батлера, догадайся он об этом. Она прониклась убеждением, что он потерпел крушение на романтической почве и это его ожесточило, а любовь хорошей женщины могла бы его возродить. В своей мирной, лишенной треволнений жизни Мелани не приходилось лицом к лицу сталкиваться с пороком, и ей трудно было поверить, что он существует. Доходившие до нее сплетни о Ретте Батлере и некоей девушке из Чарльстона не могли не шокировать ее, но она не очень‑то им верила, и, вместо того чтобы отвратить ее от этого человека, они приводили лишь к тому, что она, преодолевая свою застенчивость и негодуя на ужасную несправедливость света, становилась к нему еще внимательнее.

Скарлетт же в душе была согласна с тетушкой Питти. Она тоже была уверена, что женский пол не пользуется уважением капитана Батлера — хотя, быть может, он и делал исключение для Мелани. Скарлетт всегда чувствовала себя раздетой, когда он окидывал ее оценивающим взглядом от макушки до пят. О, она сумела бы поставить его на место, произнеси он при этом хоть слово. Но он просто смотрел, и она читала в его откровенно дерзком взгляде, что он считает всех женщин как бы своей собственностью и видит их назначение в том, чтобы доставлять ему наслаждение, ежели он этого пожелает. И только когда он смотрел на Мелани, взгляд его выражал другое. Это уже не был холодно‑оценивающий взгляд, в нем не таилось насмешки, и слова его, обращенные к Мелани, всегда звучали как‑то по‑особому — с оттенком глубокого уважения, даже преданности и стремления услужить.

— Не могу понять, почему вы с ней всегда гораздо любезнее, чем со мной, — досадливо сказала Скарлетт, оставшись как‑то раз с ним наедине, когда Мелани и тетушка Питтипэт пошли вздремнуть после обеда.

На протяжении целого часа наблюдала она, как Ретт Батлер терпеливо держал на руках моток пряжи для вязания, помогая Мелани ее сматывать, заметила, с каким вежливо‑непроницаемым лицом слушал он, как Мелани, сияя гордостью, пространно рассказывала про Эшли и про то, что его произвели в более высокий чин. Скарлетт знала, что Ретт Батлер отнюдь не разделяет ее восторженного мнения об Эшли и ему ровным счетом наплевать на то, что Эшли получил звание майора. Тем не менее он что‑то вежливо поддакивал и делал уместные замечания по поводу проявленной Эшли храбрости.

«А стоит мне только упомянуть имя Эшли, — с раздражением думала Скарлетт, — как у него тут же полезут вверх брови и по губам проползет эта его отвратительная многозначительная ухмылка!»

— Я ведь красивее ее, — сказала Скарлетт. — Почему же вы с ней куда любезнее, чем со мной?

— Могу ли я позволить себе возомнить, что вы ревнуете?

— О, пожалуйста, не воображайте!

— Еще одна иллюзия разбита вдребезги! Если я «куда любезнее» с миссис Уилкс, то лишь потому, что она этого заслуживает. Я мало встречал в своей жизни таких искренних, добрых и бескорыстных людей. Но, вероятно, вы не в состоянии оценить ее по достоинству. К тому же, несмотря на молодость, она поистине благородная леди в самом лучшем смысле этого слова.

— Вы что, хотите сказать, что я не благородная леди?

— Если память мне не изменяет, мы еще в самом начале нашего знакомства установили, что вы отнюдь не «леди».

— Вы просто омерзительно грубый человек — зачем вы все это ворошите? Как можете вы ставить мне в вину эту детскую выходку? Это было так давно, я стала взрослой с тех пор и никогда и не вспомнила бы про это, если бы не ваши постоянные намеки.

— Я не верю, что это была просто детская выходка и что вы сильно переменились с тех пор. Вы и сейчас совершенно так же, как тогда, способны швыряться вазами, если вам что‑нибудь не по нраву. Впрочем, вам теперь почти всегда и во всем удается поступать по‑своему. Так что необходимости бить антикварные предметы не возникает.

— Вы... Знаете, вы кто?.. Господи, почему я не мужчина! Я бы вызвала вас на дуэль и...

— И получили бы пулю в лоб. Я попадаю в десятицентовик с пятидесяти шагов. Лучше уж держитесь за свое проверенное оружие — улыбки, глазки, вазы и тому подобное.

— Вы просто негодяй.

— Быть может, вы рассчитываете, что ваши слова приведут меня в исступление? Очень жаль, но должен вас разочаровать. Я не могу сердиться, коль скоро вы в своих поношениях недалеки от истины. Конечно, я негодяй. А почему бы нет? Мы живем в свободной стране, и каждый имеет право быть негодяем, если ему так нравится. Это ведь только такие лицемерки с далеко не чистой совестью, как вы, моя дорогая, приходят в бешенство, если про них что‑нибудь сказано не в бровь, а в глаз.

Он говорил спокойно, улыбаясь, неторопливо растягивая слова, и она чувствовала свое бессилие перед ним. Это был единственный человек, которого она ничем не могла пронять. Ее привычное оружие — презрительная холодность, сарказм, оскорбительные слова, — ничто его не задевало. Смутить его было невозможно. Она привыкла считать, что никто с таким жаром не доказывает свою правдивость, как лжец, свою храбрость — как трус, свою учтивость — как дурно воспитанный человек, свою незапятнанную честь — как подонок. Но только не Ретт Батлер. Он со смехом признавался во всех своих пороках, дразнил ее и тем вызывал на еще большую откровенность.

Все последние месяцы он появлялся внезапно и так же внезапно исчезал, не оповестив о своем отъезде. Скарлетт никогда не знала, какие дела приводили его в Атланту, — ведь мало кто из контрабандистов находил нужным забираться так далеко от побережья. Они сгружали свой товар в Уилмингтоне или в Чарльстоне, где их уже поджидал рой торговцев и спекулянтов, стекавшихся сюда со всех концов Юга на аукционы. Конечно, она была бы сильно польщена, если бы могла предположить, что он совершает эти поездки ради нее, но даже ей, с ее непомерным самомнением, такая мысль показалась бы неправдоподобной. Попытайся он хоть раз приволокнуться за ней, прояви хотя бы намек на ревность к окружавшей ее толпе поклонников, пожми ей украдкой руку, попроси у нее портрет или платочек на память, она могла бы с торжеством подумать, что и он попался наконец в ее сети. Но он оставался раздражающе нечувствителен к ее чарам, а главное, казалось, видел насквозь все уловки, с помощью которых она старалась повергнуть его к своим ногам.

Всякий раз, как капитан Батлер появлялся в Атланте, все женское население города приходило в волнение — и не только потому, что имя этого человека было овеяно романтическим ореолом отчаянно‑дерзких прорывов блокады — ему сопутствовал еще и острый привкус чего‑то дурного и запретного. Ведь об этом человеке шла такая плохая слава. И репутация его становилась день ото дня все хуже, стоило городским кумушкам лишний раз посплетничать о нем, а сам он делался при этом все притягательнее в глазах молоденьких девушек. А так как большинство из них были еще весьма невинны, им сообщалось только, что «этот человек очень нечистоплотен в своих отношениях с женщинами», но как проявляет он эту свою «нечистоплотность» на деле, оставалось для них тайной. Слышали они и такие, тоже шепотом сказанные слова: «Ни одна девушка не может чувствовать себя с ним в безопасности». И при этом казалось крайне удивительным, что человек с такой репутацией ни разу с тех пор, как он стал появляться в Атланте, не попытался хотя бы поцеловать руку у какой‑нибудь незамужней особы женского пола. Впрочем, это делало его лишь еще более загадочным и притягательным.

Он становился самой популярной личностью в Атланте — не считая, конечно, героев войны. Теперь уже всем и во всех подробностях было известно, как его исключили из Вест‑Пойнта за попойки и за «что‑то, связанное с женщинами». Чудовищно скандальная история с чарльстонской девицей, которую он скомпрометировал, и с ее братом, которого он застрелил на дуэли, давно стала всеобщим достоянием. Из переписки с чарльстонскими друзьями и знакомыми были почерпнуты новые факты: выяснилось, что его отец, очаровательный старый джентльмен — человек железного характера и несгибаемой воли, — выгнал его из дома без гроша в кармане, когда ему едва сравнялось двадцать лет, и даже вычеркнул его имя из семейного молитвенника. После чего во время золотой лихорадки 1849 года блудный сын отправился в Калифорнию, затем побывал в Южной Америке и на Кубе, где, по слухам, занимался делами какого‑то весьма сомнительного свойства. Были на его счету и драки из‑за женщин, и несколько дуэлей, и связи с мятежниками в Центральной Америке, но самую печальную славу снискал он себе в Атланте, когда там распространился слух, что он к тому же профессиональный игрок.

Во всей Джорджии едва ли нашлась бы такая семья, в которой хотя бы один из ее мужских представителей или родственников не играл бы в азартные игры, спуская состояния, дома, землю, рабов. Но это совсем иное дело. Можно довести себя игрой до полной нищеты и остаться джентльменом, а профессиональный игрок — всегда, при всех обстоятельствах — изгой.

И не переверни война все представления вверх тормашками и не нуждайся правительство Конфедерации в услугах капитана Батлера, никто в Атланте не пустил бы его к себе на порог. А теперь даже самые чопорные блюстители нравов чувствовали: если они хотят быть патриотами, следует проявлять большую терпимость. Люди наиболее сентиментальные высказывали предположение, что паршивая овца, отбившаяся от батлеровского стада, устыдясь своей непутевой жизни, раскаялась и делает попытку загладить прежние грехи. И особенно женщины считали своим долгом поддерживать эту точку зрения о столь неустрашимом контрабандисте. Теперь уже все понимали: судьбу Конфедерации решает не только отвага солдат на поле боя, но и умение контрабандистских судов ускользать от флота янки.

Капитан Батлер пользовался славой лучшего лоцмана на всем Юге — дерзкого, бесстрашного, с железными нервами. Уроженец Чарльстона, он знал каждый залив, каждую отмель и каждый риф на всем побережье штата Каролина по ту и по другую сторону от чарльстонского порта и в такой же мере чувствовал себя как дома и в водах уилмингтонского порта. Он не потерял ни одного корабля и ни разу не выбросил за борт свой груз. В первые дни войны он возник неизвестно откуда с достаточной суммой денег в кармане, чтобы купить небольшое быстроходное судно, а теперь, когда контрабандные товары приносили две тысячи процентов дохода с каждого груза, капитану Батлеру принадлежало уже четыре судна. У него были искусные лоцманы, и он им щедро платил, и темной ночью, выскользнув из чарльстонского или уилмингтонского порта, они везли хлопок в Нассау, в Англию, в Канаду. Текстильные фабрики Англии простаивали, рабочие‑текстильщики мерли с голоду, и каждый контрабандист, которому удавалось обвести вокруг пальца флот северян, мог назначать свои цены на ливерпульском рынке. А судам капитана Батлера в равной мере сопутствовала удача — и когда они вывозили из Конфедерации хлопок, и когда ввозили оружие, в котором Юг испытывал отчаянную нужду. И понятно, что женщины Юга должны были забыть и простить такому храбрецу многие прегрешения!

При встречах с ним люди оборачивались — его эффектная внешность привлекала к себе внимание. Одевался он элегантно и всегда по последней моде, ездил на норовистом вороном жеребце и сорил деньгами направо и налево. Военные мундиры конфедератов к тому времени сильно поистрепались, да и штатская одежда, даже та, что приберегалась для парадных случаев, носила следы искусной починки и штопки, и капитан Батлер не мог не быть заметной фигурой на этом фоне. У Скарлетт не раз мелькала мысль, что ни на ком не видала она еще таких элегантных брюк, как на капитане Батлере, — светло‑коричневых, в черную и белую клеточку. Неописуемо красивы были и его жилеты, особенно один — белый, муаровый, расшитый крошечными розовыми бутончиками. И носил он эти роскошные одеяния с такой элегантной небрежностью, словно не отдавал себе отчета в их великолепии.

Мало кто из дам мог устоять против его чар, когда он давал себе труд пускать их в ход, и кончилось тем, что даже миссис Мерриуэзер сложила оружие и пригласила Ретта Батлера в воскресенье на обед.

Мейбелл Мерриуэзер намерена была обвенчаться со своим маленьким зуавом, как только он приедет домой на очередную побывку, и всякий раз при мысли об этом из глаз ее начинали обильно струиться слезы, ибо она не желала венчаться иначе как в белом атласном платье, а белого атласа невозможно было достать нигде во всех Южных штатах, и даже одолжить у кого‑нибудь из подруг такое платье Мейбелл не могла, ибо все подвенечные уборы давно пошли на боевые стяги. Тщетны были патриотические укоризны миссис Мерриуэзер, утверждавшей, что домотканое подвенечное платье — наиболее приличествующий невесте конфедерата туалет. Мейбелл хотела атласное. Она готова была — и даже горделиво и с охотой — отказаться от шпилек для волос, и пуговиц, и нарядных туфелек, и от чая, и от конфет во имя Правого Дела, но венчаться она хотела в атласном платье.

Узнав об этом от Мелани, Ретт Батлер привез из Англии несметное количество ярдов блестящего белого атласа и кружевную подвенечную вуаль и преподнес все это Мейбелл в качестве свадебного подарка. И сделал он это в такой форме, что ни о какой оплате невозможно было даже заикнуться. Мейбелл пришла в неописуемый восторг и едва не чмокнула капитана Батлера в щеку. Миссис Мерриуэзер понимала, что делать такой ценный подарок — тем более в форме материи на платье — вещь крайне неприличная, но когда Ретт Батлер в самых высокопарных выражениях стал заверять ее, что ни одно одеяние на свете недостаточно хорошо для невесты воина‑героя, она не сумела найти слов для отказа. Тогда она пригласила дарителя на обед, полагая, что такая уступка с ее стороны с лихвой покрывает стоимость подарка.

Капитан же Батлер не только подарил Мейбелл атлас на платье, но еще снабдил ее весьма ценными указаниями по части подвенечного наряда. Оказывается, в Париже в этом сезоне вошли в моду очень пышные кринолины, а юбки стали короче. Их уже не украшают оборочками, а собирают ниспадающими фестонами, из‑под которых выглядывают обшитые тесьмой нижние юбки. Он сообщил также, что совсем не видел на улицах панталон, и сделал вывод, что их уже «не носят». Впоследствии миссис Мерриуэзер говорила миссис Элсинг, что, позволь она ему распространяться на эту тему дальше, он, пожалуй, доложил бы ей во всех подробностях, какое у парижанок нижнее белье.

Не обладай капитан Батлер такой бесспорно мужественной внешностью, его способность замечать и помнить мельчайшие подробности женских туалетов, шляп и причесок была бы заклеймена как недостойная мужчины. Когда дамы осаждали его вопросами о том, что сейчас в моде, им, конечно, было немного не по себе, и все же они не могли от этого воздержаться. Словно матросы потерпевшего кораблекрушение судна, они чувствовали себя оторванными от мира — во всяком случае, от мира моды, так мало модных журналов попадало к ним вследствие блокады. И сообщи им капитан Батлер, что парижанки теперь наголо бреют голову и носят меховые шапки, они могли бы поверить и этому. Превосходная память капитана по части всевозможных ухищрений женского туалета являлась для них непревзойденной заменой «Дамского журнала». Он замечал и хранил в памяти мельчайшие подробности, столь дорогие женскому сердцу, и всякий раз после его возвращения из плавания можно было услышать, как он объясняет окружившим его дамам, что шляпки в этом году носят совсем маленькие, на самой макушке, и украшают их перьями, а не цветами, что королева Франции перестала надевать шиньон по вечерам — волосы просто зачесываются наверх, оставляя открытыми уши, и укладываются в очень высокую прическу, и что декольте вечерних туалетов снова стали соблазнительно глубокими.

Месяц проходил за месяцем, а капитан Батлер по‑прежнему оставался самой популярной и романтической фигурой в городе, невзирая на прежнюю дурную репутацию, невзирая на неясные слухи, что он занимается не только контрабандой, но и спекуляцией продуктами. Кое‑кто из недоброжелателей утверждал, что после каждого его возвращения в Атланту цены на продукты подскакивают на пять долларов. Однако вопреки всем толкам и пересудам капитану Батлеру удалось бы сохранить свою популярность, если бы он к этому стремился. Но капитан вел себя так, словно, добившись признания у самых почтенных и суровых патриотов города, завоевав их уважение и несколько настороженную симпатию, он, из какого‑то непонятного духа противоречия, поставил, казалось, теперь своей целью всеми способами восстанавливать их против себя, всячески давая понять, что все его предыдущее поведение было лишь комедией, играть которую ему прискучило.

Казалось, Юг и все, что его олицетворяло, вызывало в нем лишь холодное презрение, а пуще всего — сама Конфедерация, и он не давал себе труда это скрывать. Именно эти его высказывания по адресу Конфедерации и привели к тому, что его выслушивали сначала в некотором замешательстве, потом холодно, потом с яростным возмущением. 1862 год еще только подходил к концу, а мужчины уже начали раскланиваться с капитаном Батлером с подчеркнутой отчужденностью, женщины при его появлении в каком‑нибудь собрании старались не отпускать от себя дочерей.

Ему же, по‑видимому, доставляло удовольствие не только задевать патриотические чувства искренних и горячих приверженцев Конфедерации, но и выставлять себя в самом непривлекательном свете. Выслушав простодушную похвалу своей храбрости в опасном деле провоза контрабанды, он самым любезным тоном заявлял, что трусит при этих операциях ничуть не меньше, чем наши храбрые воины на передовой. Такой ответ приводил всех в большое раздражение, ибо каждому южанину было известно, что в армии конфедератов нет и не было трусов... Говоря о воинах‑конфедератах, он называл их не иначе как «наши храбрецы» или «наши герои в серых мундирах», старательно вкладывая в это оскорбительно‑иронический смысл. Когда какие‑нибудь бойкие дамочки кокетливо выражали ему свою благодарность за то, что он так героически подвергает себя ради них опасности, он с поклоном заверял их, что они заблуждаются, ибо он делал бы то же самое и для дам‑северянок, если бы это приносило ему такой же доход.

В разговорах со Скарлетт он всегда держался подобного тона еще с первой встречи в Атланте на благотворительном базаре, но теперь оттенок насмешки звучал в его словах, с кем бы он ни вел беседы. На все похвалы, расточавшиеся ему за услуги, которые он оказывает Конфедерации, Ретт Батлер неизменно отвечал, что для него прорваться сквозь блокаду — чисто деловое предприятие. Если бы на правительственных подрядах можно было так же хорошо заработать, говорил он, поглядывая в сторону тех, кто эти подряды получал, он несомненно бросил бы свое рискованное занятие и стал бы поставлять Конфедерации недоброкачественное обмундирование, гнилые кожи, смешанный с песком сахар и затхлую муку.

Часто на его слова трудно было что‑нибудь возразить, и именно это особенно сильно всех бесило. Небольшие скандалы из‑за военных поставок уже имели место. В письмах с передовой солдаты постоянно жаловались на обувь, которая разваливалась на ногах через неделю, на упряжь, которая рвалась, стоило покрепче подтянуть подпругу, на порох, который не воспламенялся, на тухлое мясо и зараженную долгоносиком муку. Жители Атланты старались уверить себя, что такой негодный товар поставляют из Алабамы, или Виргинии, или Теннесси, но только не из Джорджии. Ведь люди, получившие правительственные подряды, принадлежат к лучшим домам Джорджии. Кто как не они делают щедрые пожертвования в фонды госпиталей и помощи сиротам войны? Разве не они с таким воодушевлением распевают «Дикси» и с самой неистовой свирепостью требуют — во всяком случае с трибуны — крови янки? Волна ненависти к тем, кто наживался на правительственных подрядах, еще не взмыла вверх, и слова капитана Батлера были восприняты лишь как доказательство его чудовищной невоспитанности.

Он не только задевал честь города, намекая на продажность людей, занимающих высокие посты, и пороча незапятнанную отвагу воинов, но находил еще удовольствие в том, чтобы ставить досточтимых граждан в затруднительное положение. Подобно шкодливому мальчишке, который не может удержаться, чтобы не проткнуть булавкой воздушный шарик, он не мог устоять против желания поубавить спеси чванливым ханжам и ура‑патриотам. Он беспощадно разоблачал их невежество, лицемерие и фанатизм и делал это столь искусно, проявляя к собеседнику вежливый и якобы неподдельный интерес, что его жертва до тех пор не понимала, куда он клонит, пока не оказывалась в смешном положении самонадеянного пустобреха.

Но Скарлетт и в те дни, когда город еще не отвернулся от Ретта Батлера, уже не питала на его счет иллюзий. Она знала, что его изысканная галантность и помпезные речи таят в себе глубоко скрытую иронию. Она понимала, что он просто забавляется, играя роль отчаянно смелого патриота‑контрабандиста. Порой он даже напоминал ей мальчишек — друзей ее детства: неугомонных близнецов Тарлтонов с их неутолимой страстью к «розыгрышам», дьявольски изобретательных Фонтейнов, начиненных всяческими проделками, Калвертов, способных просидеть всю ночь напролет, обдумывая какую‑нибудь очередную мистификацию. Но сходство было неполным: под маской небрежной беспечности Ретта Батлера угадывался злобный умысел, какая‑то почти зловещая, хотя и неуловимая, мстительная жестокость.

И все же он скорее импонировал ей в роли романтического контрабандиста, хотя она и видела насквозь его лицемерие. Ведь это значительно облегчало общение с ним, которое на первых порах было для нее столь тягостным. Поэтому, когда он внезапно сбросил маску и принялся — намеренно, по‑видимому, — восстанавливать против себя уже расположенных к нему горожан, это раздосадовало ее чрезвычайно. Раздосадовало потому, что казалось ей глупым, и потому, что резкое осуждение, которому он начал подвергаться, бросало тень и на нее.

И вот настал день, когда Ретт Батлер сжег за собой все мосты и окончательный остракизм неизбежно должен был стать его уделом. Это произошло в доме миссис Элсинг на благотворительном музыкальном вечере в пользу выздоравливающих воинов. Дом был полон военных, приехавших на побывку, служивых людей из милиции и войск внутреннего охранения, раненых из госпиталей, молоденьких девушек, вдов и матрон. В доме не осталось ни одного свободного стула, и даже на лестнице и в холле толпились гости. Огромную чашу граненого хрусталя, которую дворецкий Элсингов держал в руках, стоя у входа, дважды освобождали от груза серебряных монет, что само по себе указывало на успех затеи, ибо в эти дни серебряный доллар был уже равен шестидесяти долларам в кредитных билетах Конфедерации.

Каждая девушка, хоть в какой‑то мере обладавшая музыкальными способностями, пела или играла на фортепьяно, а живые картины вызвали бурю аплодисментов. Скарлетт была в превосходном настроении; она не только исполнила вместе с Мелани трогательный дуэт «Когда на луг падет роса» и — на бис — более игривую песенку «Ах, боже, боже, дамы, это был не Стефан!», но на нее еще пал выбор воплотить Дух Конфедерации в последней живой картине.

Она знала, что выглядит в высшей степени соблазнительно в строгом греческом хитоне из белой кисеи, подпоясанном красно‑синим кушаком, с звездно‑полосатым флагом в одной руке и саблей с золотым эфесом, когда‑то принадлежавшей Чарлзу, а еще ранее его отцу, — в другой, простертой к коленопреклоненной фигуре капитана Кэйри Эшберна из Алабамы.

Когда занавес опустился, она, не удержавшись, поискала глазами Ретта Батлера — ей хотелось увидеть, какое она произвела на него впечатление в этой очаровательной живой картине. К великому ее разочарованию, он был погружен в жаркий спор и, по‑видимому, даже не смотрел представления. По лицам окружавших его мужчин она поняла, что все они взбешены тем, что он им говорит.

Она направилась туда, где он стоял, и среди внезапно наступившей, как это бывает иногда в многолюдных собраниях, тишины услышала вопрос, заданный напрямик Уилли Гиненом, офицером милиции:

— Следует ли так понимать вас, сэр, что Дело, за которое отдают жизнь наши герои, не является для вас священным?

— Если вы завтра попадете под поезд, значит ли это, что железнодорожная компания должна быть причислена к лику святых? — самым кротким тоном спросил в свою очередь Ретт Батлер, словно и в самом деле желал получить на это ответ.

— Сэр... — произнес Уилли, и голос его сорвался, — если бы мы не находились в этом доме...

— Я дрожу при одной мысли о том, что могло бы тогда воспоследовать, — сказал Ретт Батлер. — Ведь ваша храбрость, думается мне, слишком широко известна.

Уилли густо покраснел, и разговор оборвался. Все были смущены. Уилли, крепкий, здоровый парень призывного возраста, находился тем не менее в тылу. Правда, он был единственный сын в семье, и кому‑то же надо было служить в милиции и охранять порядок в штате. И все же, когда Ретт Батлер произнес слово «храбрость», в группе уже отлежавших в госпитале офицеров раздались смешки.

«О господи! Не может он, что ли, держать язык на привязи! — с раздражением подумала Скарлетт. — Портит всем вечер!»

Доктор Мид грозно нахмурил брови.

— Для вас, молодой человек, возможно, нет ничего священного, — сказал он громовым голосом, каким всегда произносил свои речи. — Но для верных патриотов и патриоток Юга есть вещи поистине священные. Это — стремление уберечь наш край от узурпаторов, это — Права Южных штатов и это...

У Ретта Батлера был скучающий вид; он мягко, почти вкрадчиво прервал доктора.

— Войны всегда священны для тех, кому приходится их вести, — сказал он. — Если бы те, кто разжигает войны, не объявляли их священными, какой дурак пошел бы воевать? Но какие бы лозунги ни выкрикивали ораторы, сгоняя дураков на бойню, какие бы благородные ни ставили перед ними цели, причина войн всегда одна. Деньги. Все войны, в сущности, — драка из‑за денег. Только мало кто это понимает. Все слишком оглушены фанфарами, барабанами и речами отсиживающихся в тылу трибунов. Иной раз их воинственный клич звучит так: «Спасем гроб нашего Христа от язычников!» Или так: «Долой папистов!» А в другом случае иначе: «Свобода!» Или: «Хлопок, Рабовладение и Права Юга!»

«Ну при чем тут римский папа? — подумала Скарлетт. — А тем более — гроб Христов?»

Она торопливо приближалась к кучке разгоряченных спором людей, и в эту минуту Ретт Батлер отвесил всем изящный поклон и направился к двери. Она хотела было поспешить за ним, но миссис Элсинг ухватила ее за юбку.

— Пусть уходит, — громко сказала она, и голос ее отчетливо прозвучал среди напряженной тишины зала. — Пусть уходит. Он изменник и спекулянт! Змея, которую мы пригрели на груди!

Ретт Батлер, стоявший в холле со шляпой в руке, слышал эти слова, открыто предназначавшиеся для его ушей. Он обернулся и обвел глазами зал. Взгляд его беззастенчиво уперся в плоскую грудь миссис Элсинг. Неожиданно он ухмыльнулся и, поклонившись, скрылся за дверью.

Миссис Мерриуэзер возвращалась домой в коляске тетушки Питти, и не успели все четыре дамы занять свои места в экипаже, как ее негодование вырвалось наружу:

— Ну что, Питтипэт Гамильтон, надеюсь, вы теперь удовлетворены?

— Что вы имеете в виду? — с беспокойством спросила тетушка Питти.

— Я имею в виду поведение этого подонка Батлера, которого вы у себя привечали.

Обвинение это мгновенно привело тетушку Питти в великое волнение и расстройство, и у нее как‑то вылетело из головы, что миссис Мерриуэзер сама не раз принимала у себя капитана Батлера. Мелани и Скарлетт, наоборот, это обстоятельство тотчас же пришло на ум, но, воспитанные в почтении к старшим, они воздержались от упоминания о нем и только как по команде опустили глаза на свои сложенные на коленях, затянутые в митенки руки.

— Он оскорбил Конфедерацию и всех нас, — заявила миссис Мерриуэзер, и ее величественный бюст в расшитом бисером корсаже бурно заколыхался. — Он посмел сказать, что мы сражаемся ради денег! Что наши вожди нам лгут! Его надо отправить в тюрьму! Да, в тюрьму. Я буду говорить об этом с доктором Мидом. Будь мистер Мерриуэзер жив, он бы нашел на него управу! И вот что я вам скажу, Питти Гамильтон: вы не должны больше пускать этого негодяя к себе в дом!

— О господи! — беспомощно пробормотала тетушка Питти, всем своим видом показывая, что лучше бы ей умереть на месте. Она с мольбой поглядела на Мелани и Скарлетт, но они сидели, опустив глаза долу. Тогда она с надеждой перевела взгляд на прямую, как доска, спину дядюшки Питера. Он, конечно, не пропустил мимо ушей ни единого слова, и она ждала, что, обернувшись к ним, он, как всегда, возьмет дело в свои руки и скажет: «Ну, ну, мисс Долли, вы уж оставьте мисс Питти в покое». Но Питер даже не шелохнулся. Он крепко недолюбливал капитана Батлера, и бедная тетушка Питти это знала. Вздохнув, она пробормотала: — Что ж, если уж вы так считаете, Долли...

— Да, я так считаю, — твердо произнесла миссис Мерриуэзер. — Я вообще не понимаю, что это на вас нашло, как могли вы его принимать? А после сегодняшнего вечера его ни в одном приличном доме не пустят на порог. Вам придется собраться с духом и указать ему на дверь.

Она окинула пронзительным взглядом лица Мелани и Скарлетт.

— Я надеюсь, что мои слова дошли и до ваших ушей, — продолжала она. — Ведь это отчасти и ваша вина — вы были слишком любезны с ним. Скажите ему вежливо, но твердо, что после таких изменнических речей его присутствие в вашем доме никому не доставит удовольствия.

Скарлетт уже вся дрожала, как норовистая лошадка, почуявшая, что чуждая рука пытается взять ее под уздцы. Но перечить она не решалась, боясь, что миссис Мерриуэзер может снова написать про нее Эллин.

«Ах ты, старая карга! — думала она, заливаясь румянцем от бушевавшей в ней злости. — Знала бы ты, что я думаю о тебе и о твоей манере всеми командовать!»

— Вот уж не думала, что мне когда‑нибудь доведется услышать такие оскорбительные слова о нашем священном Деле, — говорила миссис Мерриуэзер, продолжая кипеть праведным гневом. — Всякого, кто не верит в Конфедерацию, не верит, что наше Дело — святое и правое, следует вздернуть на виселице! И я надеюсь, мои дорогие, что вы больше ни словом не обмолвитесь с этим человеком. Господи помилуй, что это с вами, Мелли?

Глаза Мелани казались огромными на побелевшем лице.

— Я не перестану разговаривать с ним, — негромко проговорила она. — Я не буду его обижать. И не откажу ему от дома.

Миссис Мерриуэзер выпустила из легких воздух с таким звуком, словно проткнула детский воздушный шарик. Тетушка Питти остолбенело разинула свой пухлый ротик, а дядюшка Питер повернулся на козлах и уставился на Мелани.

«Ну почему у меня не хватило духу сказать так? — с завистливым восхищением подумала Скарлетт. — Как эта маленькая мышка осмелилась дать отпор миссис Мерриуэзер?»

У Мелани дрожали руки, но она торопливо продолжала говорить, словно боясь, что мужество ее покинет:

— Я не могу обидеть его, потому что... Конечно, он не должен был говорить этого вслух, он оскорбил людей, поступил крайне неосмотрительно... но... Эшли разделяет его взгляды. И я не могу отказать от дома человеку, который думает так же, как и мой муж. Это было бы несправедливо.

Миссис Мерриуэзер наконец обрела дар речи и выпалила:

— Мелли Гамильтон! Столь бессовестной лжи я еще не слыхала отродясь. В семействе Уилксов не было трусов...

— А разве я сказала, что Эшли трус? — У Мелани засверкали глаза. — Я сказала, что он думает так же, как и капитан Батлер, только выражает свои взгляды по‑другому. И разумеется, не говорит об этом всем и каждому на музыкальных вечерах. Но он написал мне это в письме.

Скарлетт, испытывая легкий укол совести, старалась вспомнить, что же было такого в письмах Эшли, что заставило Мелани сделать подобное заявление, но содержание писем почти мгновенно улетучивалось у нее из головы, как только она кончала читать. Она готова была подумать, что Мелани просто рехнулась.

— Эшли писал мне, что нам не следовало ввязываться в войну с северянами. Что нас вовлекли в нее политические болтуны — обманули высокопарными словами и разожгли наши предрассудки, — торопливо продолжала Мелани. — Нет ничего на свете, говорит он, за что стоило бы платить такой ценой, какую мы заплатим за эту войну. Он говорит, что не видит в ней доблести — только грязь и страдания.

«О! — подумала Скарлетт. — Это было в том письме! Разве он это хотел сказать?»

— Я вам не верю, — решительно изрекла миссис Мерриуэзер. — Вы неправильно истолковали его слова.

— Я никогда не ошибаюсь в отношении Эшли, — спокойно ответила Мелани, хотя губы у нее дрожали. — Я всегда понимаю его с полуслова. Он думает так же, как и капитан Батлер, только выражает это не в столь резкой форме.

— Постыдились бы сравнивать такого благородного человека, как Эшли, с этим подонком, капитаном Батлером! Вы, верно, сами считаете, что Дело, за которое мы боремся, не стоит ломаного гроша!

— Я... я сама еще не разобралась в своих чувствах, — неуверенно пробормотала Мелани. Ее жар остыл, и она уже испугалась своей вспышки. — Я... я тоже готова отдать свою жизнь за наше Правое Дело, как готов отдать ее Эшли. Но... я считаю... я считаю, что мы не должны мешать мужчинам думать по‑своему, потому что они умнее нас.

— В жизни не слыхала подобной чепухи! — фыркнула миссис Мерриуэзер. — Останови‑ка лошадь, дядюшка Питер, ты проехал мой дом!

Дядюшка Питер, стараясь не пропустить ни слова из разговора, происходившего у него за спиной, промахнул мимо дома миссис Мерриуэзер и теперь начал осаживать лошадь. Миссис Мерриуэзер вышла из экипажа, ленты на ее чепце трепетали, как паруса под шквальным ветром.

— Вы еще пожалеете! — сказала она.

Дядюшка Питер хлестнул лошадь вожжой.

— Как же вам, молодые барышни, не совестно доводить мисс Питти до такого состояния, — укорил он их.

— Ни до чего они меня не довели, — ко всеобщему изумлению неожиданно заявила тетушка Питти, неизменно лишавшаяся чувств даже при куда менее волнующих обстоятельствах. — Мелли, милочка, я знаю, ты хотела заступиться за меня, и я очень рада, что наконец кто‑то немножко сбил с Долли спесь. Больно уж привыкла всеми командовать. Как это ты так расхрабрилась? Но следовало ли тебе все‑таки говорить все это про Эшли?

— Но это же правда, — сказала Мелли и беззвучно заплакала. — И я нисколько не стыжусь того, что он так думает. Он считает, что эта война нам не нужна, но он будет сражаться и, быть может, погибнет, а для этого нужно куда больше мужества, чем сражаться за дело, в которое веришь.

— Будет вам, мисс Мелли, не плачьте посреди улицы! — заворчал дядюшка Питер, нахлестывая лошадь. — Народ бог весть что про вас подумает. Сейчас приедем домой, там и поплачете.

Скарлетт молчала. Она даже не пожала руки Мелани, которую та подсунула под ее ладонь, ища утешения. Скарлетт читала письма Эшли с единственной целью — удостовериться в том, что он все еще любит ее. Теперь, после слов Мелани, ей открылся новый смысл тех фраз, которые она небрежно пробегала глазами. Она была потрясена, узнав, что человек, столь во всех отношениях безупречный, как Эшли, может в чем‑то сходиться во взглядах с этим отщепенцем, Реттом Батлером. И она подумала: «Они оба знают истинную цену этой войне, только Эшли готов все же сражаться и умереть, а Ретт — нет. Значит, у Ретта просто больше здравого смысла». От этих кощунственных мыслей ее на мгновение объял ужас. «Они оба видят страшную правду, но Ретт предпочитает смотреть этой правде в глаза, и ему нравится говорить о ней людям и восстанавливать их против себя, а Эшли эта правда дается с мукой».

Все это совсем сбивало с толку.

### Глава XIII

По наущению миссис Мерриуэзер доктор Мид принялся за дело, кое облеклось в форму письма в газету. Имя Ретта Батлера названо не было, но в кого пущена стрела, сомневаться не приходилось. Редактор, учуяв общественное значение назревшей драмы, поместил письмо на вторую полосу газеты, что само по себе было смелым новшеством, поскольку первые две полосы неукоснительно отводились под объявления о купле‑продаже рабов, мулов, плугов, гробов, о домах — на продажу или внаем, — о лекарствах от не подлежащих оглашению болезней, об абортивных средствах и о средствах для восстановления утраченной мужской потенции.

Письмо доктора сыграло роль запевалы в хоре возмущенных голосов, зазвучавших по всему Югу и клеймивших позором спекулянтов, барышников и обладателей правительственных подрядов. После того, как чарльстонский порт был практически полностью заблокирован канонерками северян, состояние дел в уилмингтонском порту — теперь уже главном порту южан — стало поистине скандальным. Спекулянты с набитыми деньгами карманами буквально наводнили Уилмингтон: они скупали все грузы с кораблей и припрятывали их, чтобы взвинтить цены. И цены взлетали вверх. Из месяца в месяц товаров становилось все меньше, потребности возрастали, росли и цены. Гражданское население вынуждено было выбирать одно из двух: либо обходиться без самого необходимого, либо покупать по спекулятивным ценам, и все бедняки и даже люди среднего достатка день ото дня испытывали все большие лишения. По мере роста цен деньги Конфедерации обесценивались, а стремительное падение курса влекло за собой дикую погоню за всевозможными предметами роскоши. Контрабандистам поручалось привозить насущно необходимое, а предметами роскоши разрешалось торговать только в виде исключения, но теперь уже все контрабандные суда были забиты ценными товарами, вытеснившими то, что требовалось для нужд Конфедерации. И люди как одержимые расхватывали предметы роскоши, спеша сбыть имевшиеся у них в наличии деньги из боязни, что завтра цены подскочат еще выше, а деньги обесценятся совсем.

И в довершение всего, поскольку Уилмингтон с Ричмондом связывала всего одна железнодорожная колея, тысячи бочонков с мукой и банок с копченой грудинкой портились на промежуточных станциях из‑за нехватки подвижного состава. Спекулянтам же каким‑то чудом удавалось за двое суток доставлять свои вина, кофе и тафту из Уилмингтона в Ричмонд.

Теперь уже открыто говорили о том, о чем раньше украдкой шептались: Ретт Батлер не только продает по неслыханным ценам товар со своих четырех судов, но и скупает грузы у других контрабандистов и придерживает их, чтобы еще больше взвинтить цены. Говорили, что он стоит во главе синдиката с капиталом в миллион долларов и штаб‑квартирой в Уилмингтоне, созданного для скупки контрабандных грузов прямо в порту, что синдикат имеет десятки товарных складов как в Уилмингтоне, так и в Ричмонде; все они доверху набиты продуктами и одеждой, и все это не выбрасывается на рынок, чтобы еще больше вздуть цены. Теперь уже не только гражданские лица, но и военные начинали ощущать лишения, и озлобление против Ретта Батлера и других спекулянтов росло.

«Среди лиц, находящихся на службе в торговом флоте Конфедерации и прорывающих блокаду наших портов, есть немало отважных патриотов, — писал доктор в своем письме, — бескорыстных людей, рискующих ради существования Конфедерации своей жизнью и состоянием. Их имена бережно хранятся в сердцах всех преданных Делу южан, и разве кто‑нибудь пожалеет для них того скудного денежного вознаграждения, которое они получают ценой риска? Это бескорыстные джентльмены, и мы их чтим. О них я не говорю.

Но есть другие — есть негодяи, скрывающие под личиной борцов против блокады свое стремление к наживе, и я призываю весь наш народ, сражающийся за самое Правое Дело, ведущий справедливейшую из войн, обрушить свой праведный гнев и мщение на головы этих хищных стервятников, везущих нам атласы и кружева, когда наши воины погибают от отсутствия хинина, нагружающих свои суда вином и чаем, в то время как наши герои корчатся в муках из‑за отсутствия морфия. Я призываю проклятия на головы этих вампиров, сосущих кровь солдат, сражающихся под знаменами Роберта Ли, этих отщепенцев, по милости которых самое слово «контрабандист» стало отдавать зловонием для каждого истинного патриота. Можем ли мы терпеть в нашей среде этих гиен, разгуливающих в надраенных сапогах, когда наши парни шагают босиком в атаку? Можем ли мы и далее сносить, что они опиваются шампанским и объедаются страсбургскими пирогами, в то время как наши солдаты дрожат от холода у лагерного костра и жуют тухлую свинину? Я призываю каждого патриота‑конфедерата вышвырнуть их вон!»

Атланта прочла письмо, вняла вещаниям своего оракула и, верная Конфедерации, поспешила вышвырнуть Ретта Батлера вон.

Из всех домов, двери которых были открыты ему в прошлом году, дом мисс Питтипэт оставался почти единственным, где его продолжали принимать и теперь, в 1863 году. И если бы не Мелани, то, вероятно, и в этот дом ему был бы закрыт доступ. Всякий раз при известии о его появлении в городе тетушка Питти падала в обморок. Ей хорошо было известно, что говорят ее друзья по поводу его визитов к ней, но у нее по‑прежнему не хватало духу отказать ему в гостеприимстве. Стоило Ретту Батлеру появиться в Атланте, как тетушка Питти сурово сжимала свой пухленький ротик и заявляла во всеуслышание, что она встанет в дверях и не даст ему переступить порог. Но вот он появлялся перед ней с маленьким пакетиком в руках и неизменным комплиментом на устах, превозносил ее красоту и обаяние, и решимость бедняжки таяла как воск.

— Просто не знаю, что и делать, — жалобно вздыхала она. — Он смотрит на меня, и я умираю от страха при мысли, что он может натворить, если я откажу ему от дома. Про него такое говорят! Как вы думаете — он может меня ударить? Или... или... О, если бы Чарли был жив! Скарлетт, вы должны сказать ему, чтобы он больше не приходил, — сказать в самой вежливой форме. О боже! Я, право, думаю, что вы слишком поощряете его, и весь город об этом говорит, и если ваша матушка узнает, что она подумает обо мне? Мелли, ты не должна быть с ним так мила. Держись с ним холодно и отчужденно, и он поймет. Ах, Мелли, как ты считаешь, может быть, мне следует написать Генри, чтобы он поговорил с капитаном Батлером?

— Нет, я этого не считаю, — сказала Мелани. — И я, конечно, тоже не буду с ним груба. Я считаю, что все ведут себя с капитаном Батлером, как перепуганные курицы. Я не верю всем гадостям, которые говорят про него миссис Мерриуэзер и доктор Мид. Он не стал бы прятать пищу от умирающих с голоду людей. Кто как не он дал мне сто долларов для сирот? Я уверена, что он не менее преданный патриот, чем любой из нас, и просто слишком горд, чтобы защищаться от нападок. Вы же знаете, как упрямы могут быть мужчины, если их разозлить.

Но тетушка Питти этого не знала и вообще не очень‑то разбиралась в мужчинах, и она беспомощно разводила своими маленькими пухлыми ручками. Скарлетт же давно примирилась со склонностью Мелани видеть во всех только хорошее. Мелани, конечно, дурочка, но тут уж ничего не поделаешь.

Скарлетт знала, что Ретт Батлер далеко не патриот, но ей было на это наплевать, хотя она даже под страхом смерти никогда бы в этом не призналась. Для нее гораздо большее значение имело то, что он привозил ей из Нассау маленькие подарки — разные мелкие сувениры, которые можно было принимать, не нарушая правил приличия. Когда цены так непомерно возросли, как, спрашивается, будет она обходиться без шпилек, без булавок, без конфет, если откажет капитану Батлеру от дома? Нет, куда проще переложить всю ответственность на тетю Питти — ведь она же в конце‑то концов глава дома, дуэнья и оплот их нравственных устоев. Скарлетт знала, что про визиты Ретта Батлера и про нее в городе идут сплетни, но она знала также, что Мелани Уилкс непогрешима в глазах Атланты и, пока Мелани берет под свою защиту капитана Батлера, на его визиты будут смотреть сквозь пальцы.

Тем не менее жизнь могла бы быть много приятнее, если бы капитан Батлер отрекся от своих еретических суждений. Ей не пришлось бы, прогуливаясь с ним по Персиковой улице, всякий раз испытывать конфуз оттого, что все так открыто его игнорируют.

— Даже если вы в самом деле так думаете, то зачем об этом говорить? — упрекала она его. — Думали бы себе все, что вам угодно, только держали бы язык за зубами, и как бы все было славно.

— Таков ваш метод, моя зеленоглазая лицемерка? Ах, Скарлетт, Скарлетт! Мне казалось, вы будете вести себя более отважно. Мне казалось, ирландцы говорят то, что думают, и посылают всех к дьяволу. Скажите откровенно: вам‑то самой всегда ли легко держать язык за зубами?

— Да... понятно, нелегко, — неохотно согласилась Скарлетт. — Разумеется, можно околеть от тоски, когда они с утра до ночи лопочут о нашем Правом Деле. Но, бог ты мой, как вы не понимаете, Ретт Батлер, ведь если я в этом признаюсь, все перестанут со мной разговаривать и я на танцах останусь без кавалеров!

— Ах, конечно, конечно, а танцевать необходимо любой ценой. Что ж, я преклоняюсь перед вашим самообладанием, но, увы, не наделен им в такой же мере. И не могу рядиться в романтический плащ героя‑патриота, дабы удобнее жилось. И без меня хватает дураков, которые из патриотических побуждений готовы рискнуть последним центом и выйдут из войны нищими. Они не нуждаются в том, чтобы я примкнул к ним — ни для укрепления патриотизма, ни для пополнения списка нищих. Пусть сами носят свой ореол героев. Они заслужили его — на этот раз я говорю вполне серьезно, и к тому же этот ореол — единственное, пожалуй, что через год‑два у них останется.

— Просто отвратительно, что вы можете хотя бы в шутку говорить такие вещи, когда всем прекрасно известно, что Англия и Франция не сегодня‑завтра выступят на нашей стороне, и тогда...

— Господи, Скарлетт! Да вы, никак, стали читать газеты! Я просто поражен. Никогда не делайте этого больше. Крайне вредное занятие для женского ума. К вашему сведению, я был в Англии всего месяц назад и могу вам сообщить, что Англия никогда не придет на помощь Конфедерации. Англия никогда не выступает на стороне побежденного. Потому‑то она и Англия.

К тому же толстая немка, восседающая на английском престоле, чрезвычайно богобоязненная особа и не одобряет рабства. Пусть уж лучше английские ткачи подохнут с голоду из‑за отсутствия хлопка, лишь бы, упаси боже, не шевельнуть пальцем в защиту рабства. А что касается Франции, то нынешнее бледное подобие Наполеона слишком занят внедрением французов в Мексику, ему не до нас — скорее даже на руку, что мы увязли в этой войне: она мешает нам выгнать его солдат из Мексики... Нет, Скарлетт, надежда на помощь извне — это все газетные измышления, рассчитанные на то, чтобы поддержать дух южан. Конфедерация обречена. Она, как верблюд, живет сейчас за счет своего горба, но это не может длиться вечно. Я еще полгодика попыхчу, прорывая блокаду, а потом закрою лавочку. Дольше рисковать нельзя. Я продам мои суда какому‑нибудь дураку‑англичанину, который возьмется за дело вместо меня. Так или иначе, меня это мало беспокоит. У меня уже достаточно денег в английских банках и золота. А никчемных бумажек я не держу.

И, как всегда, это звучало очень убедительно. Другие могли бы назвать его речи изменническими, но Скарлетт в них угадывала правду и здравый смысл. И вместе с тем она понимала, что это очень дурно, что она должна бы оскорбиться и вознегодовать. Однако ничего такого она на самом деле не испытывала, но притвориться, конечно, могла, дабы почувствовать себя более респектабельной и настоящей леди.

— Я склонна думать, что доктор Мид был прав в отношении вас, капитан Батлер. Единственный способ для вас обелить себя — это завербоваться в армию, как только вы продадите свои суда. Вы были в Вест‑Пойнте и...

— Вы говорите совсем как баптистский проповедник, вербующий новобранцев. А если я не стремлюсь обелять себя? Какой мне смысл сражаться ради сохранения общественного уклада, который сделал меня изгоем? Мне доставит удовольствие поглядеть, как он рухнет.

— Понятия не имею, что это за уклад — о чем вы говорите? — сказала она резко.

— Вот как? А ведь вы — часть его, так же как и я был когда‑то, и могу побиться об заклад, что и вам он не больше по душе, чем мне. Почему я стал паршивой овцой в моей семье? По одной‑единственной причине: потому что не хотел и не мог жить, сообразуясь с законами Чарльстона. А Чарльстон — это олицетворение Юга, его сгусток. Вы, верно, еще не познали до конца, какая это смертная тоска. От вас требуют, чтобы вы делали тысячу каких‑то ненужных вещей только потому, что так делалось всегда. И по той же причине тысячу совершенно безвредных вещей вам делать не дозволяется. А сколько при этом всевозможных нелепостей! Последней каплей, переполнившей чашу их терпения, был мой отказ жениться на некоей девице, о чем вы, вероятно, слышали. Почему я должен был жениться на беспросветной дуре только из‑за того, что по воле случая не смог засветло доставить ее домой? И почему я должен был позволить ее бешеному братцу пристрелить меня, если стреляю более метко, чем он? Конечно, настоящий джентльмен дал бы себя продырявить и тем стер бы пятно с родового герба Батлеров. Ну, а я... я предпочел остаться в живых. Итак, я жив и получаю от этого немало удовольствия... Когда я думаю о своем брате, живущем среди достопочтенных чарльстонских тупиц и благоговеющем перед ними, вспоминаю его тучную жену, его неизменные балы в день святой Цецилии и его бескрайние рисовые плантации, я испытываю удовлетворение от того, что покончил с этим навсегда. Весь уклад жизни нашего Юга, Скарлетт, такой же анахронизм, как феодальный строй средних веков. И достойно удивления, что этот уклад еще так долго продержался. Он обречен и сейчас идет к своему концу. А вы хотите, чтобы я прислушивался к краснобаям, вроде доктора Мида, которые уверяют меня, что мы защищаем справедливое и святое дело! Вы хотите, чтобы при звуках барабана я пришел в неописуемый экстаз, схватил мушкет и побежал в Виргинию, дабы сложить там голову? Что дает вам основание считать меня таким непроходимым идиотом? Я не из тех, кто лижет плетку, которой его отстегали. Юг и я квиты теперь. Юг вышвырнул меня когда‑то из своих владений, предоставив мне подыхать с голоду. Но я не подох и нажил столько денег на предсмертной агонии Юга, что это вполне вознаградило меня за утрату родовых прав.

— Вы корыстолюбивы и чудовищны, — сказала Скарлетт, но без должного жара. Многое из того, что он говорил, пролетало мимо ее ушей, как это случалось всякий раз, когда разговор не касался непосредственно ее особы, но кое‑что в его словах все же показалось ей толковым. Действительно, в светском кругу к людям предъявляется очень много глупых требований. Вот она должна почему‑то притворяться, что схоронила свое сердце в могиле вместе с мужем, хотя это вовсе не так. И как все были шокированы, когда она вздумала потанцевать на благотворительном балу! И до чего же противно они поднимают брови, стоит ей только сказать или сделать что‑нибудь чуточку не так, как все! И тем не менее ее злило, когда Ретт принимался высмеивать те самые обычаи, которые особенно сильно раздражали ее. Она слишком долго жила среди людей, приученных к вежливому притворству, и потому чувствовала себя не в своей тарелке, как только кто‑то облекал ее мысли в слова.

— Корыстолюбив? О нет — просто дальновиден. Впрочем, может быть, это почти одно и то же. Во всяком случае, люди не столь дальновидные, как я, вероятно, назовут это так. Любой преданный конфедерат, имевший в шестьдесят первом году тысячу долларов наличными, спокойно мог сделать то, что сделал я, но мало кто был достаточно корыстолюбив, чтобы использовать предоставляющиеся возможности. Вот к примеру: сразу после падения форта Самтер, когда еще не была установлена блокада, я купил по бросовым ценам несколько тысяч тюков хлопка и отправил их в Англию. Они и по сей день там, в пакгаузах Ливерпуля. Я их не продал. Я буду держать их до тех пор, пока английские фабрики, когда им потребуется хлопок, не дадут мне за них ту цену, которую я назначу. И я не слишком буду удивлен, если мне удастся получить по доллару за фунт.

— Получите, когда рак свистнет.

— Уверен, что получу. Хлопок уже идет по семьдесят два цента за фунт. Когда война кончится, я буду богатым человеком, Скарлетт, потому что я дальновиден — прошу прощения: корыстолюбив. Я уже говорил вам как‑то, что большие деньги можно сделать в двух случаях: при созидании нового государства и при его крушении. При созидании это процесс более медленный, при крушении — быстрый. Запомните это. Быть может, когда‑нибудь и пригодится.

— Очень вам признательна за добрый совет, — произнесла Скарлетт с самой ядовитой иронией, какую только сумела вложить в эти слова. — Но я в нем не нуждаюсь. Разве мой отец нищий? У него больше денег, чем мне нужно, и к тому же Чарли оставил мне наследство.

— Боюсь, что французские аристократки рассуждали точно так же, как вы, пока их не посадили на тележки.

Не раз и не два доводилось Скарлетт слышать от Ретта Батлера, что ее траурный наряд выглядит нелепо, раз она принимает участие во всех светских развлечениях. Ему нравились яркие цвета, и ее черные платья и черный креп, свисавший с чепца до полу, и раздражали его и смешили. Но она упорствовала и оставалась верна своим мрачным черным платьям и вуали, понимая, что, сняв траур раньше положенного срока, навлечет на себя еще больше пересудов. Да и как объяснит она это матери?

Ретт Батлер заявил ей без обиняков, что черная вуаль делает ее похожей на ворону, а черные платья старят на десять лет. Столь нелюбезное утверждение заставило ее броситься к зеркалу: неужто она и в самом деле в восемнадцать лет выглядит на двадцать восемь?

— Никак не думал, что у вас так мало самолюбия и вам хочется походить на миссис Мерриуэзер! — говорил он, стараясь ее раздразнить. — И так мало вкуса, чтобы демонстрировать свою скорбь, которой вы вовсе не испытываете, с помощью этой безобразной вуали. Предлагаю пари. Через два месяца я стащу с вашей головы этот чепец и этот креп и водружу на нее творение парижских модисток.

— Еще чего! Нет, нет, и перестаньте об этом говорить, — сказала Скарлетт, уязвленная его намеками о Чарлзе. А Ретт Батлер, снова собиравшийся в путь — в Уилмингтон и оттуда — в Европу, ушел, усмехаясь.

И вот как‑то ясным летним утром, несколько недель спустя, он появился снова с пестрой шляпной картонкой в руке и, предварительно убедившись, что в доме, кроме Скарлетт, никого нет, открыл перед ней эту картонку. Там, завернутая в папиросную бумагу, лежала шляпка, при виде которой Скарлетт вскричала:

— Боже, какая прелесть! — и выхватила ее из картонки.

Она так давно не видела и тем паче не держала в руках новых нарядов, так изголодалась по ним, что шляпка эта показалась ей самой прекрасной шляпкой на свете. Она была из темно‑зеленой тафты, подбита бледно‑зеленым муаром и завязывалась под подбородком такими же бледно‑зелеными лентами шириной в ладонь. А вокруг полей этого творения моды кокетливейшими завитками были уложены зеленые страусовые перья.

— Наденьте ее, — улыбаясь, сказал Ретт Батлер.

Скарлетт метнулась к зеркалу, надела шляпку, подобрала волосы так, чтобы видны были сережки, и завязала ленты под подбородком.

— Идет мне? — воскликнула она, повертываясь из стороны в сторону и задорно вскинув голову, отчего перья на шляпке заколыхались. Впрочем, она знала, что выглядит очаровательно, еще прежде, чем прочла одобрение в его глазах. Она и вправду была прелестна, и в зеленых отсветах перьев и лент глаза ее сверкали, как два изумруда.

— О Ретт! Чья это шляпка? Я куплю ее. Я заплачу за нее все, что у меня сейчас есть, все до последнего цента.

— Это ваша шляпка, — сказал он. — Какая женщина, кроме вас, может носить эти зеленые цвета? Не кажется ли вам, что я довольно хорошо запомнил оттенок ваших глаз?

— Неужели вы делали ее для меня по заказу?

— Да, и вы можете прочесть на картонке: «Рю де ла Пэ»[[5]](#footnote-5) — если это вам что‑нибудь говорит.

Ей это не говорило ровным счетом ничего, она просто стояла и улыбалась своему отражению в зеркале. В эти мгновения для нее вообще не существовало ничего, кроме сознания, что она неотразима в этой прелестной шляпке — первой, которую ей довелось надеть за истекшие два года. О, каких чудес может она натворить в этой шляпке! И вдруг улыбка ее померкла.

— Разве она вам не нравится?

— О, конечно, это не шляпка, а... сказка... Но покрыть это сокровище черным крепом и выкрасить перья в черный цвет — об этом даже помыслить страшно!

Он быстро шагнул к ней, его проворные пальцы мгновенно развязали бант у нее под подбородком, и вот уже шляпка снова лежала в картонке.

— Что вы делаете? Вы сказали, что она моя!

— Нет, не ваша, если вы намерены превратить ее во вдовий чепец. Я постараюсь найти для нее другую очаровательную леди с зелеными глазами, которая сумеет оценить мой вкус.

— Вы этого не сделаете! Я умру, если вы отнимете ее у меня! О, Ретт, пожалуйста, не будьте гадким! Отдайте мне шляпку.

— Чтобы вы превратили ее в такое же страшилище, как все остальные ваши головные уборы? Нет.

Скарлетт вцепилась в картонку. Позволить ему отдать какой‑то другой особе это чудо, сделавшее ее моложе и привлекательнее во сто крат? О нет, ни за что на свете! На мгновение мелькнула мысль о том, в какой ужас придут тетушка Питти и Мелани. Потом она подумала об Эллин, и по спине у нее пробежала дрожь. Но тщеславие победило.

— Я не стану ее переделывать. Обещаю. Ну, отдайте же!

Ироническая усмешка тронула его губы. Он протянул ей картонку и смотрел, как она снова надевает шляпку и охорашивается.

— Сколько она стоит? — внезапно спросила она, и лицо ее опять потускнело. — У меня сейчас только пятьдесят долларов, но в будущем месяце...

— В пересчете на конфедератские деньги она должна бы стоить что‑нибудь около двух тысяч долларов, — сказал Ретт Батлер и снова широко ухмыльнулся, глядя на ее расстроенное лицо.

— Так дорого... Но может быть, если я дам вам сейчас пятьдесят долларов, а потом, когда получу...

— Мне не нужно ваших денег, — сказал он. — Это подарок.

Скарлетт растерялась. Черта, отделявшая допустимое от недопустимого во всем, что касалось подарков от мужчин, была проведена очень тщательно и абсолютно четко.

«Только конфеты и цветы, моя дорогая, — не раз наставляла ее Эллин. — Ну, еще, пожалуй, иногда книгу стихов, или альбом, или маленький флакончик туалетной воды. Вот и все, что настоящая леди может принять в подарок от джентльмена. Никаких ценных подарков, даже от жениха. Ни под каким видом нельзя принимать украшения и предметы дамского туалета — даже перчатки, даже носовые платки. Стоит хоть раз принять такой подарок, и мужчины поймут, что ты не леди, и будут позволять себе вольности».

«О господи! — думала Скарлетт, глядя то на свое отражение в зеркале, то на непроницаемое лицо Ретта Батлера. — Сказать ему, что я не могу принять его подарок? Нет, я не в состоянии. Это же божество, а не шляпка! Лучше уж... лучше уж пусть позволит себе вольности... какие‑нибудь маленькие, конечно». Придя в ужас от собственных мыслей, она густо покраснела.

— Я... я дам вам пятьдесят долларов...

— Дадите — я выброшу их в канаву. Нет, лучше закажу мессу за спасение вашей души. Я не сомневаюсь, что вашей душе не повредят несколько месс.

Она невольно рассмеялась, и отражение в зеркале смеющегося личика под зелеными полями шляпки внезапно само все за нее решило.

— Чего вы пытаетесь от меня добиться?

— Я пытаюсь соблазнять вас подарками, чтобы все ваши детские представления о жизни выветрились у вас из головы и вы стали воском в моих руках, — сказал он. — «Вы не должны принимать от джентльменов ничего, кроме конфет и цветов, моя дорогая», — передразнил он воображаемую дуэнью, и она невольно расхохоталась.

— Вы хитрый, коварный, низкий человек, Ретт Батлер. Вы прекрасно понимаете, что эта шляпка слишком хороша, что против нее невозможно устоять.

Он откровенно любовался ею, но во взгляде его, как всегда, была насмешка.

— Что мешает вам сказать мисс Питти, что вы дали мне кусочек тафты и зеленого шелка и набросали фасон шляпки, а я выжал из вас за это пятьдесят долларов?

— Нет. Я скажу, что сто долларов, и слух об этом разнесется по всему городу, и все позеленеют от зависти и будут осуждать меня за расточительность. Но, Ретт, вы не должны привозить мне таких дорогих подарков. Вы ужасно добры, только я, право же, не могу больше ничего от вас принимать.

— В самом деле? Ну так вот: я буду привозить вам подарки до тех пор, пока это доставляет мне удовольствие и пока мне будут попадаться на глаза какие‑нибудь предметы, способные придать вам еще больше очарования. Я привезу вам на платье темно‑зеленого муара в тон этой шляпке. И предупреждаю вас — я вовсе не так добр. Я соблазняю вас шляпками и разными безделушками и толкаю в пропасть. Постарайтесь не забывать, что я ничего не делаю без умысла и всегда рассчитываю получить что‑то взамен. И всегда беру свое.

Взгляд его темных глаз был прикован к ее лицу, к ее губам. Скарлетт опустила глаза, ее опалило жаром. Сейчас он начнет позволять себе вольности, как и предупреждала Эллин. Сейчас он ее поцелует, то есть будет пытаться поцеловать, а она в своем смятении еще не знала, как ей следует поступить. Если она не позволит ему, он может содрать шляпку с ее головы и подарить какой‑нибудь девице. А если она позволит невинно чмокнуть ее разок в щечку, то он, пожалуй, привезет ей еще какие‑нибудь красивые подарки в надежде снова сорвать поцелуй. Мужчины, как ни странно, придают почему‑то огромное значение поцелуям. И очень часто после одного поцелуя совершенно теряют голову, влюбляются и, если вести себя умно и больше ничего им не позволять, начинают вытворять такое, что на них бывает забавно смотреть. Увидеть Ретта Батлера у своих ног, услышать от него признание в любви, мольбы о поцелуе, об улыбке... О да, она подарит ему этот поцелуй.

Но он не сделал никакой попытки ее поцеловать. Она украдкой поглядела на него из‑под ресниц и пробормотала, желая его поощрить:

— Так вы всегда берете свое? Что же вы надеетесь получить от меня?

— Поглядим.

— Ну, если вы думаете, что я выйду за вас замуж, чтобы расплатиться за шляпку, то не надейтесь, — храбро заявила она, надменно вскинув голову и тряхнув страусовыми перьями.

Он широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами под темной полоской усов.

— Мадам, вы себе льстите! Я не хочу жениться на вас, да и ни на ком другом. Я не из тех, кто женится.

— Ах, вот как! — воскликнула она, совершенно озадаченная, понимая, что, значит, теперь уж он непременно начнет позволять себе вольности. — Но и целовать меня я вам тоже не позволю.

— Зачем же вы тогда так смешно выпячиваете губки?

— О! — воскликнула она, невольно глянув в зеркало и увидев, что губы у нее и в самом деле сложились как для поцелуя. — О! — повторила она и, теряя самообладание, топнула ногой. — Вы — чудовище! Вы самый отвратительный человек на свете, и я не желаю вас больше знать!

— Если это действительно так, вам следует прежде всего растоптать эту шляпку. Ого, как вы разгневались! И, между прочим, вам это очень к лицу, о чем вы, вероятно, сами знаете. Ну же, Скарлетт, растопчите шляпку — покажите, что вы думаете обо мне и о моих подарках!

— Только посмейте прикоснуться к шляпке — воскликнула Скарлетт, ухватившись обеими руками за бант и отступая на шаг.

Ретт Батлер, тихонько посмеиваясь, подошел к ней и, взяв ее за руки, сжал их.

— Ох, Скарлетт, какой же вы еще ребенок, это просто раздирает мне сердце, — сказал он. — Я поцелую вас, раз вы, по‑видимому, этого ждете. — Он наклонился, и она почувствовала легкое прикосновение его усов к своей щеке. — Вам не кажется, что теперь вы должны для соблюдения приличий дать мне пощечину?

Гневные слова готовы были сорваться с ее губ, но, подняв на него взгляд, она увидела такие веселые искорки в темной глубине его глаз, что невольно расхохоталась. Что за несносный человек — почему он вечно ее дразнит? Если он не хочет жениться на ней и даже не хочет ее поцеловать, то что же ему от нее нужно? Если он не влюблен в нее, то зачем так часто приходит и приносит ей подарки?

— Так‑то лучше, — сказал он. — Я оказываю на вас плохое влияние, Скарлетт, и, будь у вас хоть немножко благоразумия, вы бы выставили меня за дверь... Если, конечно, сумели бы. От меня ведь не так просто отделаться. Я приношу вам вред.

— Вред?

— Разве вы сами не видите? После нашей встречи на благотворительном базаре вы стали вести себя совершенно скандально и главным образом по моей вине. Кто подбил вас пойти танцевать? Кто заставил вас признать, что наше доблестное священное Дело вовсе не доблестное и не священное? Кто выудил у вас еще одно признание: что надо быть дураком, чтобы идти умирать за громкие слова? Кто помог вам дать старым ханжам столько пищи для сплетен? Кто подстрекает вас снять траур на несколько лет раньше срока? И кто, наконец, склонил вас принять подарок, который ни одна леди не может принять, не потеряв права называться леди?

— Вы льстите себе, капитан Батлер. Я вовсе не делала ничего такого скандального, а если и делала, то без вашей помощи.

— Сомневаюсь, — сказал он. Лицо его внезапно стало сурово и мрачно. — Вы и по сей день были бы убитой горем вдовой Чарлза Гамильтона, и все превозносили бы вашу самоотверженную заботу о раненых. А впрочем, в конце‑то концов...

Но Скарлетт его уже не слушала: она стояла перед зеркалом и снова с упоением рассматривала себя, решив, что сегодня же после обеда наденет шляпку, когда понесет в госпиталь цветы для выздоравливающих офицеров.

До ее сознания не дошла скрытая в его словах правда. Она не отдавала себе отчета в том, что Ретт Батлер вырвал ее из оков вдовства, что благодаря ему она обрела ту свободу, которая позволяла ей снова царить среди незамужних девиц в то время, как для нее все эти утехи давно должны были остаться позади. Не замечала она и того, как под его влиянием уходила все дальше и дальше от всего, чему наставляла ее Эллин. Перемены ведь совершались исподволь. Пренебрегая то одной маленькой условностью, то другой, она не улавливала между этими поступками связи, и тем более ей совсем было невдомек, что они имеют какое‑то отношение к Ретту Батлеру. Она даже не сознавала, что, подстрекаемая им, идет наперекор строжайшим запретам Эллин, нарушает приличия и забывает суровые правила поведения настоящей леди.

Она понимала только, что эта шляпка ей к лицу, как ни одна другая на свете, что она не стоила ей ни цента и что Ретт Батлер, должно быть, все же влюблен в нее, хотя и не хочет в этом признаться. И тут же приняла решение найти способ вырвать у него это признание.

На следующий день Скарлетт, стоя перед зеркалом с расческой в руке и шпильками в зубах, пыталась соорудить себе новую прическу, которая, по словам Мейбелл, только что вернувшейся из поездки к мужу в Ричмонд, была в столице последним криком моды. Прическа называлась «Крысы, мыши и кошки» и представляла немало трудностей для освоения. Волосы разделялись прямым пробором и укладывались тремя рядами локонов разной величины по обе стороны от пробора. Самые крупные, ближе к пробору — были «кошки». Укрепить «кошек» и «крыс» оказалось делом нетрудным, но «мыши» никак не хотели держаться, и шпильки выскакивали, приводя Скарлетт в отчаяние. Тем не менее она твердо решила добиться своего, так как ждала к ужину Ретта Батлера, и от его внимания никогда не ускользало, если ей удавалось как‑то обновить свой наряд или прическу.

Сражаясь с пушистыми, непокорными локонами и покрываясь от усилий испариной, она услышала легкие быстрые шаги внизу в холле и поняла, что Мелани вернулась из госпиталя. Но Мелани летела по лестнице, прыгая через ступеньки, и рука Скарлетт с зажатой в пальцах шпилькой замерла в воздухе. Что‑то случилось — Мелани всегда двигалась степенно, как и подобает соломенной вдове. Скарлетт поспешила к двери, распахнула ее, и Мелани, перепуганная, с пылающими щеками, вбежала в комнату, глядя на Скарлетт молящими глазами нашкодившего ребенка.

По лицу ее струились слезы, капор болтался на лентах за спиной, кринолин еще продолжал колыхаться. Она что‑то сжимала в руке, и по комнате распространялся сладковатый удушливый запах дешевых духов.

— О Скарлетт! — воскликнула Мелани, захлопывая за собой дверь и падая на кровать. — Тетя Питти дома? Ее нет? О, слава богу, Скарлетт, я в таком ужасе, я этого не переживу! Мне казалось, я сейчас упаду в обморок, о Скарлетт, дядюшка Питер грозится все рассказать тете Питти!

— Что рассказать?

— То, что я разговаривала с этой... мисс... миссис... — Мелани принялась обмахивать лицо платочком. — С этой женщиной с рыжими волосами, с Красоткой Уотлинг!

— Бог с тобой, Мелли! — Скарлетт была так шокирована, что не могла больше вымолвить ни слова.

Красотка Уотлинг была та самая рыжеволосая женщина, которая привлекла внимание Скарлетт на улице в день ее приезда в Атланту, а теперь стала уже самой известной личностью в городе. Следом за солдатами в город хлынули проститутки, но Красотка Уотлинг рыжей копной своих волос и сверхмодными кричащими туалетами затмевала их всех. Ее не часто можно было увидеть на Персиковой улице или в других благопристойных кварталах, если же она там появлялась, порядочные женщины спешили перейти на другую сторону, чтобы поскорее отдалиться от нее на приличное расстояние. А Мелани с ней разговаривала? Немудрено, что дядюшка Питер был потрясен.

— Я умру, если тетя Питти узнает! Ты же понимаешь, она подымет крик на весь город, и я погибла, — рыдала Мелани. — А я не виновата! Я... я просто не могла убежать от нее. Это было бы так чудовищно грубо. Мне... мне стало жалко ее, Скарлетт. Ты не будешь считать меня слишком испорченной?

Но моральная сторона вопроса меньше всего волновала Скарлетт. Как большинство невинных, хорошо воспитанных молодых женщин, она была полна жадного любопытства по отношению к проституткам.

— А чего она от тебя хотела? Как она изъясняется?

— Ой, говорит она ужасно безграмотно! Но она так старалась выражаться изысканно, бедняжка! Я вышла из госпиталя, смотрю, а дядюшки Питера с коляской нет, ну я и решила прогуляться пешком. А как только поравнялась с эмерсоновским палисадником, вижу — она стоит там и выглядывает из‑за живой изгороди! Какое счастье, что Эмерсонов нет в городе — они в Мэйконе! А она и говорит: «Извините, миссис Уилкс, можно мне с вами перемолвиться словечком?» Не понимаю, откуда она может знать мое имя? Конечно, я должна была бы убежать от нее со всех ног, но, понимаешь, Скарлетт, у нее было такое грустное лицо и... ну, вроде как умоляющее. И на ней было черное платье и черный капор, и она совсем не была накрашена, словом, выглядела вполне прилично, если бы не эти ее рыжие волосы. И не успела я даже ничего ей ответить, как она говорит: «Я знаю, что не должна бы беспокоить вас, но я пыталась поговорить с этой старой индюшкой, миссис Элсинг, а она выгнала меня из госпиталя».

— Она так и сказала — «индюшкой»? — очень довольная, переспросила Скарлетт и расхохоталась.

— Пожалуйста, не смейся. Это вовсе не смешно. Оказывается, эта мисс... эта женщина хочет что‑то сделать для госпиталя — можешь ты такое вообразить? Она предложила свои услуги — приходить по утрам ухаживать за ранеными, и миссис Элсинг, понятно, едва не лишилась чувств и приказала ей немедленно удалиться. И тогда та сказала: «Я тоже хочу быть полезной. Я тоже конфедератка, и может, почище вас!» И понимаешь, Скарлетт, она просто тронула меня этим своим желанием помочь. Значит, она не такая уж испорченная, если хочет помочь нашему Делу. Или ты считаешь, что это я испорченная?

— Господи, Мелани, ну какое это имеет значение — испорченная ты или нет! Что она еще сказала?

— Она сказала, что смотрела на дам, которые приходят в госпиталь, и решила... решила, что у меня доброе лицо, и вот остановила меня. У нее с собой были какие‑то деньги, и она хотела, чтобы я взяла их для нужд госпиталя и ни одной душе не проговорилась, от кого они. Она сказала, что миссис Элсинг нипочем не позволит принять их, если узнает, что это за деньги. Что за деньги — понимаешь? Вот тут я чуть не лишилась чувств! И так растерялась, так хотела скорей уйти, что сказала: «Да, да, конечно, как это мило с вашей стороны!» или что‑то еще, столь же идиотское, а она улыбнулась и сказала: «Вот это по‑христиански», — и сунула этот грязный платок мне в руку. Фу! Слышишь, какой аромат?

И Мелани протянула Скарлетт мужской платок — сильно надушенный и довольно грязный, — в который было завязано несколько монет.

— Потом она все за что‑то благодарила и сказала, что будет приносить мне деньги каждую неделю, и тут как раз подъехал дядюшка Питер и увидел меня! — Мелани разрыдалась и уткнулась головой в подушку. — А когда он узрел, с кем я стою, он, — подумай, Скарлетт! — он стал кричать на меня. Никогда еще в жизни никто так на меня не кричал. Он сказал: «Сей же минут полезайте в коляску!» Ну, конечно, я села в коляску, и всю дорогу до самого дома он честил меня на чем свет стоит, и не давал сказать ни слова в оправдание, и заявил, что расскажет все тете Питти. Скарлетт, прошу тебя, спустись вниз и попроси его ничего ей не говорить. Если тетушка узнает хотя бы то, что я лицом к лицу столкнулась с этой женщиной на улице, это ее убьет. Скарлетт, ты попросишь?

— Хорошо, попрошу. Но сначала давай посмотрим, сколько там денег. Узелок тяжелый.

Она развязала платок и высыпала на постель горсть золотых монет.

— Скарлетт, тут пятьдесят долларов! И все золотом! — совершенно потрясенная, воскликнула Мелани, пересчитав блестящие желтые кружочки. — Как ты думаешь, это допустимо — воспользоваться такими... Ну, добытыми таким путем... деньгами для наших воинов? Мне кажется, господь поймет, что она хотела только добра, и не осудит нас за эти бесчестные деньги? Как вспомню о том, сколько у госпиталя нужд...

Но Скарлетт ее не слушала. Она смотрела на грязный платок, и чувство унижения и злоба закипали в ее душе. В углу платка была вышита монограмма: «Р.К.Б.». А в верхнем ящике ее комода хранился платок с такой же точно монограммой. Не далее как вчера Ретт Батлер обернул этим платком стебли полевых цветов, которые они вместе собирали. Она хотела вернуть ему платок вечером за ужином.

Так, значит, Ретт таскается к этой твари Уотлинг и не жалеет на нее денег? Вот из какого кармана поступило пожертвование на госпиталь! Золото, нажитое на контрабанде. И этот человек еще имеет наглость смотреть порядочным женщинам в глаза, после того как он был с этой тварью! И подумать только, что она могла поверить, будто он в нее влюблен! Теперь‑то уж ясно, что это сплошное вранье.

Дурные женщины и все, что их окружало, были для Скарлетт чем‑то отталкивающим и вместе с тем таинственным. Она знала, что мужчины посещают таких женщин, преследуя при этом цели, о которых ни одна воспитанная леди не отважится даже намекнуть, а уж если намекнет, то только шепотом, в самых туманных выражениях. И она всегда считала, что только грубые, неотесанные мужики могут посещать таких женщин. До этой минуты ей и в голову не приходило, что порядочные мужчины — те, с которыми она встречается в приличных домах, с кем она танцует, — могут позволить себе такое. Это давало ее мыслям совершенно неожиданное направление, и перед ней открывалось нечто пугающее. Может быть, все мужчины так поступают? Уже достаточно отвратительно то, что они принуждают своих жен проделывать с ними непристойности, но чтобы еще бегать к этим гадким женщинам и платить им за подобные услуги! Нет, все мужчины омерзительны, а Ретт Батлер хуже всех!

Она бросит этот платок ему в лицо и укажет на дверь, и никогда, никогда больше не перемолвится с ним ни единым словом. Впрочем, нет, этого ни в коем случае нельзя делать — он же никак, ни под каким видом не должен знать, что она может хотя бы подозревать о существовании таких женщин, а тем более о том, что он их посещает. Ни одна леди не должна признаваться в этом.

«Ох! не будь я леди, я бы уж такое сказала этому подонку!» — в бешенстве подумала она.

И, скомкав платок в руке, Скарлетт спустилась в кухню к дядюшке Питеру. Проходя мимо плиты, она бросила платок в огонь и в бессильной ярости смотрела, как его пожирает пламя.

### Глава XIV

К началу лета 1863 года в сердцах южан снова запылала надежда. Невзирая на все трудности, лишения, спекуляцию и прочие бедствия, невзирая на болезни, страдания и смерть, которыми был отмечен почти каждый дом, Юг снова и даже с большей уверенностью, чем прошлым летом, восклицал: «Еще одна победа — и войне конец!» Янки оказались крепким орешком, но этот орешек начинал трещать.

Рождество 1862 года было счастливым для Атланты, да и для всего Юга. Конфедерация одержала ошеломляющую победу при Фредериксберге — убитых и раненых янки насчитывались тысячи. Святки на Юге проходили при всеобщем ликовании: в ходе войны наметился перелом. Необстрелянные новобранцы превратились теперь в закаленных бойцов, генералы на деле проявили свой пыл, и ни у кого не было сомнений в том, что с началом весенней кампании янки будут окончательно разгромлены.

Пришла весна, и бои возобновились. В мае Конфедерация одержала еще одну крупную победу — при Чанселорсвилле. Юг ревел от восторга.

Еще более воодушевляющее впечатление произвел прорыв кавалерии северян в Джорджию, обернувшийся триумфом Конфедерации. Люди долго после этого смеялись и хлопали друг друга по спине, приговаривая: «Да, сэр, уж ежели старина Натан Бедфорд Форрест налетит на них, им лучше сразу улепетывать!». В конце апреля полковник Стрейт со своей кавалерией в тысячу восемьсот всадников внезапно ворвался в Джорджию с намерением занять Ром, расположенный всего в шестидесяти милях севернее Атланты. Он лелеял заманчивый план: перерезать главную железную дорогу между Атлантой и Теннесси, затем свернуть к югу на Атланту и уничтожить все военные заводы и арсеналы, сосредоточенные в этом городе, от которого теперь зависела судьба Конфедерации.

Это был дерзкий план, и в случае удачи он мог бы обойтись Конфедерации недешево, но опять выручил Форрест. Со своей кавалерией, равной по численности одной трети сил противника, — но поглядели бы вы, что это были за всадники! — он бросился в погоню, заставил противника принять бой, прежде чем тот успел добраться до Рома, и не давал ему покоя ни днем, ни ночью, пока не взял всех в плен!

Весть об этом достигла Атланты почти одновременно с сообщением о победе при Чанселорсвилле, и город ликовал и помирал со смеху. Победа при Чанселорсвилле была, разумеется, крупной военной удачей, но захваченная в плен конница Стрейта выставляла янки просто на всеобщее посмешище.

«Да, сэр, лучше уж им не связываться со стариной Форрестом», — потешались в Атланте, снова и снова пересказывая друг другу эту новость.

Удача теперь явно сопутствовала Конфедерации, и люди радовались столь благоприятному повороту фортуны. Правда, янки под командованием генерала Гранта с середины мая осаждали Виксберг. Правда, Юг понес невосполнимую потерю, когда Несокрушимый Джексон был смертельно ранен при Чанселорсвилле. Правда, Джорджия потеряла одного из своих храбрейших и талантливейших сыновей в лице генерала Т.‑Р.‑Р. Кобба, убитого в сражении при Фредериксберге. Но после таких поражений, как при Фредериксберге и Чанселорсвилле, янки уже не смогут долго продержаться. Они вынуждены будут сложить оружие, и этой жестокой войне придет конец.

В первых числах июля пронесся слух, вскоре подтвердившийся депешами, что войска генерала Ли вступили в Пенсильванию. Генерал Ли на территории неприятеля! Ли наступает! Эта битва будет последней!

Атланта волновалась, торжествовала и жаждала мщения. Теперь янки на собственной шкуре почувствуют, каково это — вести войну на своей земле. Теперь они узнают, каково это — когда твои плодородные земли вытоптаны, дома сожжены, кони и скот угнаны, старики и юноши взяты под стражу, а женщинам и детям угрожает голодная смерть!

Всем было хорошо известно, что творили янки в Миссури, в Кентукки, в Теннесси, в Виргинии. Даже малые ребятишки, дрожа от ненависти и страха, могли бы поведать об ужасах, содеянных янки на покоренных землях. В Атланте уже было полно беженцев из восточных районов Теннесси, и город узнавал из первых рук о перенесенных ими страданиях. Там, как во всех пограничных с Северными штатами областях, сторонники Конфедерации были в меньшинстве, и война обернулась к ним самой страшной своей стороной, ибо сосед доносил на соседа и брат убивал брата. Все беженцы требовали в один голос, чтобы Пенсильванию превратили в пылающий костер, и даже деликатнейшие старые дамы не могли при этом скрыть своего мрачного удовлетворения.

Когда же стали поступать сообщения, что Ли издал приказ: частная собственность пенсильванцев неприкосновенна, мародерство будет караться смертью, а все реквизированное имущество армия будет оплачивать, — репутация генерала едва не пошатнулась, несмотря на весь его огромный авторитет. Запретить солдатам пользоваться добром, припрятанным на складах этого преуспевающего штата? О ком он печется, генерал Ли? А наши мальчики разутые, раздетые, голодные, без лошадей!

Торопливое письмо Дарси Мида доктору было первой ласточкой, долетевшей до Атланты в эти дни начала июля. Оно переходило из рук в руки, и возмущение росло.

«Па, не можешь ли ты раздобыть мне пару сапог? Уже вторую неделю я хожу босиком и потерял всякую надежду, что меня обуют. Будь у меня не такие здоровущие ноги, я мог бы снять сапоги с какого‑нибудь убитого янки, как делают многие из наших ребят, но мне не попалось еще ни одного янки, чьи сапоги были бы мне впору. А если раздобудешь, не отправляй по почте. Кто‑нибудь все равно присвоит их, и я даже никого не могу за это винить. Посади Фила в поезд, пусть он мне их привезет. Я тебе скоро напишу, где меня найти. Пока я знаю только, что мы движемся на север. Сейчас мы в Мэриленде, и все говорят, что нас направляют в Пенсильванию.

Па, я думал, что мы отплатим янки их же монетой, но генерал сказал: «Нет!», а лично я готов стать к стенке за удовольствие подпалить дом какого‑нибудь янки. Сегодня, па, мы промаршировали через такие огромные кукурузные плантации, каких я отродясь не видывал. У нас такой кукурузы не растет. Признаться, мы немножко поживились там украдкой, ведь все мы здорово голодны, а генералу от этого не убудет, поскольку он ничего не узнает. Впрочем, незрелая кукуруза не слишком‑то пошла нам на пользу. Все ребята и без того мучаются животом, а от кукурузы им стало еще хуже. Ранение в ногу не так тяжело в походе, как понос. Па, пожалуйста, постарайся раздобыть мне сапоги. Я теперь уже капитан, а капитан должен иметь хотя бы сапоги, даже если у него нет нового мундира и эполет».

Но так или иначе войска вступили уже в Пенсильванию, и только это, собственно, и имело значение. Еще одна победа, и войне конец, и у Дарси Мида будет столько сапог, сколько его душе потребно, и наши ребята промаршируют обратно домой, и наступят счастливые дни для всех. Серые глаза миссис Мид подергивались влагой, когда она рисовала себе своего сына‑воина, возвратившегося наконец под родной кров, чтобы больше никогда его не покидать.

Однако третьего июля телеграфные сообщения с севера внезапно прекратились, и молчание это длилось до следующего полудня, когда в штаб стали поступать отрывочные, сумбурные сведения. В Пенсильвании, около маленького городка под названием Геттисберг, произошло большое сражение, в которое генерал Ли бросил всю свою армию. Сведения были неточны и сильно запаздывали, так как бои шли на неприятельской территории и сообщения поступали сначала в Мэриленд, оттуда передавались в Ричмонд и уж затем — в Атланту.

Напряжение возрастало, и по городу начал расползаться страх. Неизвестность страшнее всего. Семьи, не знавшие, где именно воюют их сыновья, молили бога, чтобы они не оказались в Пенсильвании, те же, чьи близкие были в одном полку с Дарси Мидом, стиснув зубы, заявляли, что рады выпавшей на долю этих храбрецов чести участвовать в великой битве, которая нанесет янки последнее и окончательное поражение.

В доме тетушки Питтипэт три женщины избегали смотреть друг другу в глаза, не умея скрыть поселившийся в их душах страх. Эшли служил в одном полку с Дарси.

Пятого июля поступили дурные вести, но не с северного, а с западного фронта. После долгой и ожесточенной осады пал Виксберг, и вся долина реки Миссисипи от Сент‑Луиса до Нового Орлеана была теперь фактически в руках янки. Армия конфедератов оказалась расколотой надвое. В другое время такое тяжелое известие произвело бы в Атланте смятение и вызвало горестный плач. Но сейчас всем было уже не до Виксберга. Мысли всех были прикованы к Пенсильвании и к генералу Ли, который вел там бои. Потеря Виксберга — это еще не катастрофа, если Ли удастся одержать победу на Востоке. Там — Филадельфия, Нью‑Йорк, Вашингтон. Потеря этих городов парализует Север и возместит с лихвой поражение на Миссисипи.

Тяжко, медленно тянулись часы, и черная туча бедствия нависла над городом, заслонив собою даже блеск солнца, и люди невольно поглядывали на небо, словно дивясь безмятежной голубизне там, где они ожидали увидеть грозовые облака. И повсюду — на крылечках, на тротуарах, даже на мостовой — женщины стали собираться кучками, стараясь подбодрить друг друга, уверяя друг друга, что отсутствие вестей — это хорошая весть, и не позволяя себе пасть духом. Но зловещие слухи, что генерал Ли убит, сражение проиграно и потери убитыми и ранеными неисчислимы, словно обезумевшие от страха летучие мыши, носились над притихшим в ожидании городом. И как ни старались люди не верить этим слухам, охваченные паникой толпы народа устремились со всей округи в город, осаждая редакции газет и военные учреждения, добиваясь известий с фронта, любых известий, пусть самых страшных.

Толпы заполнили вокзал — в надежде узнать что‑нибудь от прибывающих с поездами; толпы собирались у телеграфного агентства, у штаба, перед запертыми дверьми редакций газет. Люди стояли странно молчаливые, но количество их все росло и росло. Почти не слышно было голосов. Одиноко прозвучит порой чей‑то дрожащий старческий голос и замрет, не вызвав отклика в толпе, лишь усугубив тягостное молчание, когда в ответ ему раздастся уже стократно повторявшееся: «Никаких телеграфных известий с Севера, идут бои». По краям толпы появлялось все больше и больше женщин в колясках, некоторые подходили и пешком, толпа густела, воздух становился все удушливее от пыли, поднятой бесчисленным количеством ног. Женщины молчали, но их бледные, напряженные лица были выразительнее самой душераздирающей мольбы.

В городе почти не оставалось дома, который не отдал бы фронту отца, сына, брата, мужа или возлюбленного. И известие о смерти могло прийти в любую семью. Его ждали все. Но поражения не ждал никто. Такую мысль все отметали прочь. Быть может, в эту самую минуту их мужья и сыновья умирают на выжженных солнцем травянистых склонах пенсильванских холмов. Быть может, сейчас ряды южан падают как подкошенные под градом пуль, но Дело, за которое они отдают жизнь, должно победить. Быть может, они будут гибнуть тысячами, но, словно из‑под земли, тысячи и тысячи новых воинов в серых мундирах станут на их место с мятежным кличем на устах. Откуда они возьмутся, эти воины, никто не знал. Но все знали — знали так же твердо, как то, что есть на небесах бог, справедливый и карающий: генерал Ли умеет творить чудеса, и виргинская армия непобедима.

Скарлетт, Мелани и мисс Питтипэт сидели в коляске с опущенным верхом перед зданием редакции «Дейли экземинер», укрываясь от солнца зонтиками. У Скарлетт так дрожали руки, что зонтик подпрыгивал у нее над головой. Тетушка Питтипэт от волнения дергала носом, как кролик, но Мелани сидела, словно мраморное изваяние, и только глаза ее, казалось, с каждой минутой темнели и становились все огромней. На протяжении двух часов она произнесла всего несколько слов, когда, достав из ридикюля флакончик с нюхательными солями, протянула его тетушке Питтипэт и впервые в жизни сказала без обычной нежности и сочувствия в голосе:

— Понюхайте, если вам дурно. А если тем не менее вам станет совсем дурно — ничего не поделаешь, придется дядюшке Питеру отвезти вас домой, но предупреждаю: я отсюда не уеду, пока не узнаю о... пока не узнаю. И Скарлетт останется со мной, я ее не отпущу.

А Скарлетт и не собиралась уезжать, не собиралась сидеть дома, где она не сможет первой узнать о судьбе Эшли. Если бы даже тетушка Питти стала отдавать богу душу, Скарлетт все равно не двинулась бы с места. Где‑то там сражался Эшли, быть может, умирал, и только здесь, в редакции газеты, могла она узнать о нем правду.

Она окидывала взглядом толпу, выискивая знакомых и соседей: вон миссис Мид в сбившемся на сторону капоре крепко вцепилась в локоть пятнадцатилетнего Фила; вон сестры Маклюр — губы у них дрожат, обнажая лошадиные зубы; вон миссис Элсинг сидит прямая, как истинная спартанка, и только выбившиеся из шиньона седые локоны выдают ее скрытое волнение; а рядом с ней Фэнни Элсинг, бледная как смерть. (Быть не может, чтобы Фэнни так тревожилась за своего брата Хью! Неужто она проводила на войну любимого, о котором никто не подозревает?) Вон миссис Мерриуэзер в своей коляске успокаивающе похлопывает по руке Мейбелл, которая уже столь явно брюхата, что сколько бы она ни куталась в шаль, все равно неприлично показываться на людях в таком виде. А ей‑то чего уж так тревожиться? Ни разу не сообщалось о том, чтобы луизианские войска перебрасывали в Пенсильванию. Вероятнее всего, ее волосатый маленький зуав пребывает сейчас в полной безопасности в Ричмонде.

В толпе произошло движение, люди расступились, и Ретт Батлер верхом начал осторожно продвигаться к коляске тетушки Питтипэт. «В храбрости ему не откажешь, — мелькнуло у Скарлетт в голове. — Его же тут в любую минуту могут просто растерзать за то, что он не надел формы». Он приближался, и она подумала, что могла бы сама, первая, выцарапать ему глаза. Как смеет он появляться здесь, холеный, сытый, на этой великолепной лошади, в отличном белом полотняном костюме, в сверкающих сапогах, с дорогой сигарой во рту, в то время как Эшли и все наши парни, босые, голодные, изнемогая от жары, погибая от дизентерии, сражаются с янки!

Злые взгляды сопровождали его неторопливое продвижение. Старики что‑то ворчали себе в бороды, а никогда не отличавшаяся робостью миссис Мерриуэзер, слегка приподнявшись на сиденье, отчетливо произнесла самым ядовитым и оскорбительным тоном:

— Спекулянт!

Не обращая ни малейшего внимания ни на кого, Ретт Батлер приподнял шляпу, приветствуя тетушку Питтипэт и Мелани, подъехал к коляске, наклонился к Скарлетт и прошептал ей на ухо:

— Не кажется ли вам, что сейчас самое время доктору Миду разразиться одной из своих знаменитых речей на тему о победе, реющей, подобно распластавшему крылья орлу, над нашими знаменами?

Нервы Скарлетт были натянуты до предела. Резко повернувшись на сиденье, она, как рассвирепевшая кошка, уже готова была выпустить когти и зашипеть, но Ретт жестом остановил ее.

— Я приехал сообщить вам, дамы, — громко произнес он, — что с передовой уже начали поступать первые списки убитых и раненых.

Толпа всколыхнулась; среди стоявших достаточно близко, чтобы расслышать его слова, пробежал гул, кто‑то уже поворачивался, собираясь бежать на Уайтхоллстрит в штаб, но Ретт Батлер, приподнявшись на стременах, предостерегающе вскинул вверх руку.

— Не расходитесь! — крикнул он. — Списки отправлены в газеты, их уже печатают. Стойте здесь.

— О, капитан Батлер! — вскричала Мелани, повернувшись к нему. В глазах у нее стояли слезы. — Спасибо, что вы приехали сообщить нам! Когда будут вывешены списки?

— Это может произойти с минуты на минуту, мадам. Сообщения поступили полчаса назад. Дежурный майор не хотел ничего оглашать, пока списки не будут напечатаны, — боялся, что толпа ворвется в редакцию. Да вот, глядите!

Одно из окон редакции распахнулось, и оттуда высунулась чья‑то рука с пачкой длинных, узких, перепачканных свежей типографской краской гранок с тесными строчками имен и фамилий. Толпа ринулась к окну, все вырывали гранки друг у друга, те, кому удалось их схватить, старались выбраться из толпы, чтобы иметь возможность прочесть, стоявшие сзади напирали с криками: «Пропустите меня!»

— Подержи! — сказал Ретт Батлер, соскакивая с седла и бросая поводья дядюшке Питеру. Решительно расталкивая толпу, он двинулся вперед и через минуту возвратился к коляске с пачкой гранок в руке. Одну он протянул Мелани, остальные начал раздавать дамам из стоявших поблизости экипажей: миссис Мид, миссис Мерриуэзер, миссис Элсинг, сестрам Маклюр.

— Да читай же, Мелли! — вне себя крикнула Скарлетт, задыхаясь от волнения. У Мелани так дрожали руки, что она не могла разобрать прыгавшие перед глазами строчки.

— Возьми, — еле слышно прошептала Мелли, и Скарлетт выхватила гранку у нее из рук. — Где тут «У»? А вот, в самом низу, все так смазано, еле можно разобрать.

— Уайт... — прочитала Скарлетт, и голос ее дрогнул. — Уилкенс, Уинн, Фебулон... О, Мелли! Его здесь нет! Нет! О, тетя Питти, успокойтесь! Мелли, достань нюхательные соли! Помоги ей, Мелли!

Мелли, заливаясь слезами от счастья, поддерживала запрокинувшуюся голову тетушки Питти и совала ей под нос флакончик с нюхательными солями. Скарлетт подхватила старую даму с другой стороны. Сердце ее пело от радости. Эшли жив! Его даже не ранило. Господь бог его хранит...

Она услышала негромкий стон и, обернувшись, увидела, что Фэнни Элсинг уронила голову на грудь матери, выпустив гранку из рук. Миссис Элсинг прижимала к себе дочь, тонкие губы ее дрожали. Она негромко сказала кучеру: «Домой! Быстрей!» Скарлетт бросила взгляд на список: имени Хью Элсинга там не значилось. Значит, у Фэнни был любимый, и он убит. Толпа почтительно расступилась перед коляской миссис Элсинг, следом тронулась маленькая плетеная тележка, — мисс Фейс Маклюр с каменным лицом правила лошадью, губы ее были так плотно сжаты, что впервые полностью прикрыли зубы. Мисс Хоуп, без кровинки в лице, прямая как палка, сидела рядом с сестрой, судорожно вцепившись рукой в ее юбку. Обе они казались совсем старыми женщинами. Их обожаемый младший брат Даллас ушел в мир иной, оставив своих незамужних сестер одних на белом свете.

— Мелли! Мелли! — радостно кричала Мейбелл. — Рене жив! И Эшли тоже! О, какое счастье! — Шаль соскользнула с ее плеча, выставив на всеобщее обозрение огромный живот, но ни она, ни миссис Мерриуэзер уже не обращали на это внимания. — О, миссис Мид! Рене... — Голос ее оборвался. — Мелли, взгляни! О, миссис Мид, бога ради... Дарси?..

Миссис Мид сидела, опустив голову, глядя в колени, и не шевельнулась, когда ее окликнули, но по лицу юного Фила, сидевшего рядом, все можно было прочесть, как по открытой книге.

— Ну, мамочка, мама! — беспомощно повторял он. Миссис Мид подняла голову и встретила взгляд Мелани.

— Не нужны ему больше сапоги, — сказала она.

— О, моя дорогая! — воскликнула Мелли и разрыдалась. Опустив голову тетушки Питти на плечо Скарлетт, Мелани выпрыгнула из коляски и бросилась к миссис Мид.

— Мама, но у тебя остался я, — твердил Фил, делая неуклюжую попытку утешить мать. — И если бы только ты отпустила меня, я бы поубивал всех этих янки...

Миссис Мид вцепилась ему в плечо, словно желая показать, что никогда ни на секунду не отпустит его от себя, и пробормотала сдавленным голосом:

— Нет! — И захлебнулась слезами.

— Фил Мид, сейчас же замолчите! — прошипела Мелани, поднимаясь в коляску и прижимая миссис Мид к груди. — Вы считаете, что очень облегчите своей матери жизнь, если ей придется хоронить и вас тоже? Отродясь не слышала более глупого способа утешать! Быстрей везите нас домой!

Фил взял вожжи, а Мелани обернулась к Скарлетт:

— Как только отвезешь тетушку Питти, приезжай к миссис Мид. Капитан Батлер, не можете ли вы послать за доктором — он в госпитале.

Коляска покатила сквозь поредевшую толпу. Некоторые женщины заливались слезами радости, но большинство стояли оглушенные, еще не осознав до конца, какой на них обрушился удар. Скарлетт склонилась над расплывшимися типографскими строчками, быстро пробегая их глазами, ища, не попадется ли имя кого‑нибудь из друзей. Теперь, узнав, что Эшли уцелел, она уже могла думать и о других. О, какой длинный перечень имен! Какой тяжкий урон для Атланты, для всей Джорджии!

Силы небесные! «Калверт, Рейфорд, лейтенант». Рейф! Внезапно всплыло далекое‑далекое воспоминание: она и Рейф, сговорившись, бегут из дома, но с наступлением ночи решают вернуться, потому что проголодались и боятся темноты.

«Фонтейн, Джозеф К., рядовой». Маленький злючка Джо! А Салли только что разрешилась от бремени!

«Манро, Лафайетт, капитан». А Лаф обручился с Кэтлин Калверт. Бедняжка Кэтлин! Потерять сразу двоих — и брата и любимого! А Салли‑то еще тяжелей — и брата и мужа!

Нет, это слишком ужасно! Скарлетт не решалась заглянуть дальше в список. Тетушка Питти вздыхала и всхлипывала у нее на плече, и Скарлетт без особых церемоний отпихнула ее в угол коляски и снова стала читать.

Господи, нет, не может быть — фамилия Тарлтон три раза подряд... Верно, наборщик напутал в спешке... Нет. Все трое. «Тарлтон, Брейтон, лейтенант», «Тарлтон, Стюарт, капрал», «Тарлтон, Томас, рядовой». А Бойд погиб еще в первый год войны и похоронен где‑то там, в Виргинии. Все четверо тарлтонских мальчиков погибли на войне. И Том, и длинноногие бездельники‑близнецы — эти отчаянные болтуны с их нелепым пристрастием к «розыгрышам», и Бойд, грациозный, как профессиональный танцор, и с языком острым, как жало.

У нее не было сил читать дальше. Она боялась увидеть в этом списке имена кого‑нибудь еще из тех мальчиков, с которыми росла, танцевала, кокетничала, целовалась... Слезы душили ее, но не могли пролиться, горло сдавило словно железным обручем.

— Я сочувствую вам, Скарлетт, — произнес Ретт Батлер. Она подняла на него глаза. Она совсем забыла, что он все еще здесь. — Там много ваших друзей?

Она кивнула, не сразу найдя в себе силы заговорить.

— Почти в каждой семье графства... И все... все трое братьев Тарлтонов.

Лицо его было сосредоточенно и сумрачно, в глазах не мелькала обычная усмешка.

— И это еще не конец, — сказал он. — Это только первые сводки, и они не полны. Завтра поступят новые, более длинные списки. — Он понизил голос, чтобы его не услышали в проезжавших мимо экипажах. — Генерал Ли, по‑видимому, проиграл это сражение, Скарлетт. В штабе говорили, что он отступил в Мэриленд.

Она поглядела на него с испугом. Но не весть о поражении Ли привела ее в смятение. Более длинные списки? Завтра? Она была так счастлива, не найдя имени Эшли в списке, что как‑то совсем не подумала о завтрашнем дне. Завтра! Господи, он, может быть, уже мертв сейчас, а она узнает об этом только завтра или даже через неделю!

— Ох, Ретт, кому она нужна, эта война! Ведь янки могли бы просто купить у нас негров, им бы это было легче... Да наконец, мы могли бы отдать их даже даром, лишь бы не воевать.

— Дело не в неграх, Скарлетт. Негры просто предлог. Войны будут всегда, потому что так устроены люди. Женщины — нет. Но мужчинам нужна война — о да, не меньше, чем женская любовь.

Знакомая усмешка снова искривила его губы, лицо опять стало непроницаемым. Он приподнял свою широкополую шляпу.

— Прощайте. Я отправляюсь на розыски доктора Мида. Сейчас он едва ли сумеет оценить иронию судьбы, сделавшей меня вестником гибели его сына. Но впоследствии, боюсь, ему будет невыносима мысль, что весть о смерти героя он услышал из уст спекулянта.

Скарлетт уложила тетушку Питти в постель, приготовила ей стакан грога, поручила ее заботам Присей и кухарки и направилась к дому доктора Мида. Миссис Мид и Фил ждали у себя наверху возвращения доктора, а Мелани сидела в гостиной с исполненными сочувствия соседями, и они переговаривались приглушенными голосами. Вооружившись иголкой и ножницами, Мелли старательно перешивала для миссис Мид траурное платье, позаимствованное у миссис Элсинг. Весь дом уже пропах едким запахом краски: на кухне всхлипывающая кухарка кипятила платье миссис Мид в большой лохани, наполненной черной краской домашнего изготовления.

— Как она? — шепотом спросила Скарлетт.

— Ни единой слезы, — отвечала Мелани. — Когда женщина не может плакать, это страшно. Я не понимаю, как мужчины умеют все переносить, не давая воли слезам. Но, конечно, они сильнее и мужественнее нас. Миссис Мид твердит, что поедет в Пенсильванию одна, чтобы привезти его тело. Доктор не может покинуть госпиталь.

— Одна? Это ужасно. А почему Филу не поехать с ней?

— Она боится, что может за ним не уследить и он сбежит там на фронт. Он же такой рослый, а сейчас уже берут и шестнадцатилетних.

Соседи один за другим начали расходиться, боясь встретиться с доктором, когда он вернется домой, и Скарлетт вместе с Мелани принялась за шитье. Мелани держалась спокойно, хотя лицо ее было печально и на шитье порой капала слеза. По‑видимому, она думала о том, что бои еще идут и, быть может, Эшли уже нет в живых, и Скарлетт, у которой сжималось сердце, была в нерешительности — передать ли Мелани слова Ретта Батлера, почерпнув горькое утешение в зрелище ее страданий, или промолчать? В конце концов она решила не говорить. Совсем ни к чему давать Мелани повод думать, что она слишком обеспокоена судьбой Эшли. Все были так поглощены своими тревогами, что, слава богу, никто — ни Мелани, ни тетушка Питти — не заметил ничего странного в ее поведении.

В полном молчании Скарлетт и Мелани продолжали шить. Но вот за окнами раздался шум, и, приподняв занавеску, Скарлетт увидела доктора Мида. Он спешился и направился к дому. Он шел сгорбившись, так низко опустив голову, что седая борода веером распласталась по груди. Медленно войдя в дом, он снял шляпу, положил свою сумку и молча поцеловал обеих женщин. Потом стал тяжело подыматься по лестнице. Через минуту из верхних комнат — длинноногий, длиннорукий, неуклюжий — выбежал Фил. Мелани и Скарлетт взглядом предложили ему посидеть с ними, но он выскочил на крыльцо и опустился на верхнюю ступеньку, уронив голову в колени, закрыв лицо руками.

Мелли вздохнула.

— Он сходит с ума, оттого что они не пускают его на фронт. Пятнадцатилетний мальчишка! Ах, Скарлетт, как бы я хотела иметь такого сына, как он!

— Чтобы его убили на войне? — сказала Скарлетт, думая о Дарси.

— Лучше иметь сына и потерять, чем не иметь совсем, — сказала Мелли и сглотнула слезы. — Ты не можешь этого понять, Скарлетт, потому что у тебя есть Уэйд, а я. ...О, Скарлетт, как я хочу иметь ребенка! Ты, верно, считаешь, что не следует открыто говорить об этом, но что делать, раз это правда, и каждая женщина только о том мечтает, и ты сама это знаешь.

Скарлетт едва не фыркнула, но вовремя сдержалась.

— Если богу будет угодно... взять у меня Эшли, я, наверно, сумею это перенести, хотя мне легче было бы умереть самой. Бог даст мне силы перенести эту утрату. Но как перенести то, что он мертв, а у меня даже нет от него ребенка, который послужил бы мне утешением в горе! Ах, Скарлетт, какая ты счастливица! Правда, ты потеряла Чарли, но у тебя остался его сын. А у меня, если я потеряю Эшли, не останется ничего. Прости меня, Скарлетт, но иной раз я так завидую тебе...

— Завидуешь мне? — воскликнула Скарлетт, чувствуя легкий укол совести.

— Потому что у тебя есть сын, а у меня нет. Порой я даже начинаю воображать, будто Уэйд — мой сын. Это так ужасно — не иметь ребенка.

— Вот чушь какая! — с облегчением произнесла Скарлетт. Она скосила глаза на хрупкую фигурку и залившееся краской лицо, склоненное над шитьем. Мелани может, конечно, мечтать о ребенке, но она совсем не создана для того, чтобы рожать. Узкие бедра, плоская грудь и рост, как у двенадцатилетней девчонки. Мысль о том, что Мелани может понести, почему‑то вызвала у Скарлетт чувство гадливости. И это пробуждало еще другие мысли, множество других мыслей, которые были уже совсем непереносимы. Стоило Скарлетт подумать о том, что у Мелани может быть ребенок от Эшли, и у нее возникало такое чувство, словно ее ограбили.

— Ты не сердись, что я так сказала про Уэйда. Ты же знаешь, как я его люблю. Не сердишься?

— Не будь идиоткой, — сухо промолвила Скарлетт. — Лучше выйди на крыльцо, поговори с Филом. Он плачет.

### Глава XV

Армия конфедератов, отброшенная назад в Виргинию — сильно поредевшая после поражения при Геттисберге, измотанная, — была расквартирована на зиму по берегам реки Рапидан, и перед наступлением святок Эшли приехал домой на побывку. Буря чувств, которую эта встреча, первая после двух лет разлуки, пробудила в душе Скарлетт, потрясла и испугала ее самое. Когда‑то, в Двенадцати Дубах, на свадьбе Эшли и Мелани ей казалось, что нельзя любить сильнее и мучительнее, чем любила она его в те мгновения. Теперь она поняла, что в ту далекую ночь ее горе было подобно горю избалованного ребенка, у которого отняли любимую игрушку. Теперь она жила с вечной мечтой о нем в сердце и с вечной печатью на устах, и ее чувство к нему обострилось и окрепло.

Этот Эшли Уилкс, в линялом, залатанном мундире, с выгоревшими от палящего летнего солнца волосами, был совсем не похож на того беспечного юношу с мечтательным взглядом, в которого она так отчаянно влюбилась накануне войны. Не похож — и еще более притягателен. Раньше он был строен и белокож, теперь стал худ и смугл, а длинные кавалерийские усы придавали ему мужественный вид закаленного в боях красавца воина. Он стоял — майор армии конфедератов Эшли Уилкс — подтянутый в своем видавшем виды мундире, с револьвером в порыжевшей кобуре на боку, кончик потертых ножен легонько постукивал о высокий сапог, исцарапанные шпоры тускло поблескивали. Привычка командовать уже оставила на нем свой отпечаток, придав его облику уверенный и властный вид и проложив жесткую складку в углах рта. Было что‑то новое, непривычное в его осанке, в решительном развороте плеч, а в глазах появился чуждый ему прежде холодок. Мягкую непринужденную грацию движений сменила настороженность и быстрота дикого животного или человека, чьи нервы постоянно натянуты как струна. И была при этом какая‑то усталая опустошенность в его взгляде и суровость — в резких линиях скул и смуглых запавших щек... Он был по‑прежнему красив, ее Эшли, но только стал совсем другим.

Скарлетт собиралась поехать на святки домой, но когда пришла телеграмма от Эшли, никакая сила на земле, даже не допускающий возражений приказ Эллин, не заставил бы ее покинуть Атланту. Если бы Эшли решил провести отпуск в Двенадцати Дубах, она поспешила бы в Тару, чтобы быть ближе к нему, но Эшли написал своим, чтобы они приехали повидаться с ним в Атланту, и мистер Уилкс, Милочка и Индия были уже в городе. И теперь уехать домой и не увидеться с Эшли после двух лет разлуки? Не услышать его голоса, от которого так сладко замирает сердце? Не прочесть в его взгляде, что он ее не забыл? Да никогда! Ни за что на свете, даже ради мамы!

Эшли приехал домой за четыре дня до сочельника с небольшой компанией своих земляков, также отпущенных на побывку, — совсем небольшой группой уцелевших после Геттисберга. Среди них был Кэйд Калверт — исхудалый, измученный неуемным кашлем; братья Манро — пузырившиеся от радости, что получили наконец увольнительную, первую за три года, и Алекс и Тони Фонтейны — вдохновенно пьяные, шумные и задиристые. Всем им предстояло два часа ждать пересадки, и это подвергало серьезному испытанию изобретательность оставшихся трезвыми членов компании — как удержать братьев от драки друг с другом и с первым встречным на вокзале? И кончилось тем, что Эшли почел за лучшее взять их с собой к тетушке Питтипэт.

— Казалось бы, в Виргинии у нас не было недостатка в драках, — с горечью сказал Кэйд Калверт, глядя на взъерошенных, как бойцовые петухи, братьев, первыми подошедших к ручке взбудораженной и польщенной тетушки Питти. — Так нет же. Не успели мы прибыть в Ричмонд, как они уже были пьяны в дым и каждую минуту лезли в драку. Их тут же забрал патруль, и, не сумей Эшли дипломатично улестить начальника, просидели бы они все святки за решеткой.

Но Скарлетт его почти не слушала — она не помнила себя от радости, что Эшли снова здесь, рядом. Как могло хоть раз за эти два года показаться ей, что кто‑то из мужчин тоже красив, мил, обаятелен? Как могла она допускать их ухаживания, когда на свете существует Эшли? Вот он снова возле нее, их разделяет только этот ковер, и она готова была всякий раз расплакаться от счастья, когда бросала взгляд на кушетку, где он сидел с Мелани по одну руку, Индией по другую и Милочкой, прильнувшей сзади к его плечу. Ах, если бы и она имела право сидеть вот так, рядом с ним, просунув руку ему под локоть! Если бы она могла каждую минуту дотрагиваться до его рукава, чтобы еще и еще раз убедиться, что он действительно здесь, держать его за руку, смахивать его платком слезы радости, набегавшие на глаза, словом, делать все то, что Мелани, не стыдясь, проделывала при всех. Радость заставила Мелани забыть свою сдержанность и застенчивость, она не выпускала руки мужа и открыто — взглядами, улыбкой, слезами — вся растворялась в любви к нему. А Скарлетт была так счастлива, что впервые в жизни не испытывала ревности. Эшли возвратился домой.

Время от времени она прикладывала руку к щеке, еще хранившей прикосновение его губ, и улыбалась ему. Конечно, не ее он поцеловал первой. Мелли повисла у него на шее, лепеча что‑то бессвязное и плача, сжимая его в объятиях, и казалось, она никогда уже больше не расцепит оплетавших его рук. А за ней и Милочка и Индия тоже повисли на нем, чуть не силой вырывая его из объятий супруги. Потом Эшли почтительно и неясно обнял и поцеловал отца, к которому был искренне и глубоко привязан, затем тетушку Питти, подпрыгивавшую от волнения на месте на своих неправдоподобно крошечных ножках. И тут наконец дошла очередь до Скарлетт, которую уже окружили все офицеры, добиваясь разрешения ее поцеловать.

— О, Скарлетт! Вы прелестны, прелестны! — сказал Эшли и поцеловал ее в щеку.

В это мгновение все, что она приготовилась сказать ему при встрече, вылетело у нее из головы. И лишь много часов спустя возникла мысль о том, что Эшли не поцеловал ее в губы. И тогда она принялась лихорадочно гадать, как бы он поступил, если бы эта встреча произошла наедине. Наклонился бы к ней, приподнял чуть‑чуть и держал бы так, долго‑долго, прижав к себе? И оттого, что эта мысль наполняла ее счастьем, она поверила, что было бы именно так. Но впереди целая неделя, и все это еще может произойти! Она сумеет улучить минутку, чтобы остаться с ним наедине. И тогда она спросит его: «Вы помните наши прогулки верхом по глухим тропинкам, которых не знал никто? А помните, какая луна была в ту ночь, когда мы сидели на ступеньках Тары и вы читали мне эту поэму? (Ой, а как же, кстати, она называлась?) А помните, как я подвернула ногу, и вы в сумерках несли меня домой на руках?»

Да разве мало было такого, о чем она может начать разговор со слов: «А помните?..» Какой рой воспоминаний можно пробудить в его душе о тех изумительных днях, когда они, беззаботные как дети, бродили по лесам и полям, о тех счастливых днях, когда Мелани Гамильтон еще не появлялась на сцене. И быть может, тогда ей удастся прочесть в его глазах отблеск возрождающегося чувства, который скажет ей, что, несмотря на преграду, ставшую между ними в лице Мелани, он по‑прежнему любит ее, любит так же пылко, как в тот далекий день помолвки, когда признание сорвалось с его губ. Она не давала себе труда задуматься над тем, что же будет дальше — как они тогда должны поступить, если Эшли без обиняков признается ей в любви? Ей было бы достаточно этого признания... Да, она готова ждать. Пусть Мелани плачет сейчас от счастья, сжимая его руку. Придет и ее час. В конце концов, разве такая женщина, как Мелани, понимает что‑нибудь в любви?

— Дорогой мой, — сказала Мелани, когда первое волнение улеглось. — Ты похож на оборванца. Кто чинил тебе мундир и почему на нем синие заплаты?

— А мне казалось, что у меня очень бравый вид, — сказал Эшли, оглядывая себя в зеркале. — Ты только сравни меня с этими бродягами, и я сразу подымусь в твоих глазах. Мой мундир залатал Моз, и, по‑моему, сделал это как нельзя более искусно, учитывая, что он до войны ни разу не держал в руках иголки. Что касается синих заплат, то, когда приходится выбирать между дырками на штанах и кусочками ткани, вырезанными из формы поверженного врага, тут нет места для раздумий. А если я и похож на оборванца, благодари свою счастливую звезду, что твой супруг не пришел к тебе босиком. На прошлой неделе мои сапоги окончательно развалились, и я явился бы домой, обмотав ноги мешковиной, если бы мы, на наше счастье, не подстрелили двух лазутчиков. Сапоги одного из них пришлись мне впору.

И он вытянул свои длинные ноги в поношенных сапогах, давая всем на них полюбоваться.

— А сапоги другого лазутчика еле‑еле на меня налезли, — сказал Кэйд. — Они на два номера меньше, и я уже чувствую, что скоро отдам в них богу душу. Но зато вернусь домой франтом.

— И эта жадная свинья не захотел уступить их никому из нас, — сказал Тони. — А нам, Фонтейнам, с нашими маленькими аристократическими ножками, они были бы в самый раз. Ну как, разрази меня гром, появлюсь я перед матерью в этих опорках? До войны она никому из наших негров не позволила бы надеть такие.

— Не огорчайся, — сказал Алекс, приглядываясь к сапогам Кэйда. — Мы стащим их с него в поезде, когда поедем домой. Показаться матери в опорках — это еще куда ни шло, но дьявол... прошу прощенья, мадам, я хотел сказать, что мне совсем не улыбается появиться перед Димити Манро в башмаках, из которых большие пальцы торчат наружу.

— Постой, но это же мои сапоги, я попросил их первый, — сказал Тони, мрачнея и поглядывая на брата с угрозой. И тут Мелани, боясь, как бы спор не перерос в одну из знаменитых фонтейновских драк, вмешалась и положила конец распре.

— У меня была роскошная борода, которой я хотел похвалиться перед вами, дамы, — удрученно сказал Эшли, потирая щетинистый подбородок с не зажившими еще следами от порезов бритвой. — Да, да, первоклассная борода, и уж если я говорю это сам, значит, можете мне поверить: ни борода Джефа Стюарта, ни борода Натана Бедфорда Форреста не шли ни в какое сравнение с моей. Но когда мы прибыли в Ричмонд, эти негодяи, — он показал на Фонтейнов, — решили, что раз уж они сбрили бороды, значит, долой и мою. Они повалили меня и обрили силой, каким‑то чудом не отхватив мне при этом головы. И только вмешательство Эвана и Кэда спасло мои усы.

— Вот те на! Миссис Уилкс, вы должны быть мне благодарны. Если бы не я, вы бы нипочем не узнали вашего мужа и не пустили бы его даже на порог, — сказал Алекс. — Ведь мы побрили его в благодарность за то, что он поговорил с начальником караула и вызволил нас из тюрьмы. Вы только слово скажите, и я тотчас сбрею ему и усы в вашу честь.

— Нет, нет, благодарю вас, — поспешно сказала Мелани, испуганно цепляясь за Эшли, поскольку ей казалось, что эти два черных от загара паренька способны на любую отчаянную выходку. — Мне очень нравятся его усы.

— Вот что значит любовь! — в один голос сказали оба Фонтейна, переглянулись и с глубокомысленным видом покачали головой.

Когда Эшли, взяв коляску тетушки Питти, поехал на вокзал проводить товарищей, Мелани взволнованно схватила Скарлетт за руку.

— В каком ужасном состоянии у него форма! Как ты думаешь, он очень удивится, когда я преподнесу ему мундир? Как жаль, что у меня не хватило материи и на бриджи!

Упомянув о мундире, Мелани наступила Скарлетт на любимую мозоль. Ведь Скарлетт так бы хотелось самой преподнести Эшли этот рождественский подарок. Серое офицерское сукно ценилось теперь буквально на вес золота, и Эшли носил форму из домотканой шерсти. Даже грубые сорта тканей стали редкостью, и многие солдаты надели снятую с пленных янки форму, перекрашенную в темно‑коричневый цвет краской из ореховой скорлупы. Но Мелани необычайно повезло — судьба послала ей серого сукна на мундир: чуть коротковатый, правда, но все же мундир. Работая в госпитале сиделкой, она ухаживала за одним юношей из Чарльстона и, когда он умер, отрезала у него прядь волос и послала его матери вместе со скудным содержанием карманов этого бедняги, прибавив от себя несколько строк о его последних часах и умолчав о перенесенных им страданиях. Между женщинами завязалась переписка, и, узнав, что у Мелани муж на фронте, мать покойного послала ей приготовленный для сына кусок серого сукна вместе с медными пуговицами. Это было великолепное сукно, плотное, шелковистое, явно контрабандное и явно очень дорогое. Сейчас оно уже находилось в руках портного, который, подгоняемый Мелани, должен был закончить мундир к утру первого дня Рождества. Скарлетт не пожалела бы никаких денег еще на один кусок материи, чтобы форма была полной, но в Атланте раздобыть что‑либо подобное было невозможно.

Скарлетт тоже приготовила рождественский подарок для Эшли, но великолепие мундира затмевало его, делая просто жалким. Это был небольшой фланелевый мешочек с принадлежностями для починки обмундирования — двумя катушками ниток, маленькими ножницами и пачкой драгоценных иголок, привезенной Реттом из Нассау; к этому она присоединила три льняных носовых платка, полученных из того же источника. Но ей хотелось подарить Эшли что‑нибудь интимное, что‑нибудь из таких вещей, какие только жены дарят мужьям: рубашку, перчатки, шляпу. Особенно шляпу. Это маленькое плоское кепи выглядело так нелепо у него на голове! Кепи вообще не нравились Скарлетт. Правда, Несокрушимый Джексон вместо широкополой шляпы тоже носил кепи, но от этого они не становились элегантней. Правда, в Атланте продавались грубые войлочные шляпы, но они выглядели еще более нелепо, чем кепи.

Мысль о шляпах заставила Скарлетт вспомнить про Ретта Батлера. Вот у кого много шляп: широкополые летние, высокие касторовые для торжественных случаев, маленькие охотничьи шапочки и фетровые шляпы с широкими, мягкими полями — светло‑коричневые, черные, голубые. На что ему столько шляп? А ее драгоценный Эшли ездит под дождем в этом своем кепи, и капли стекают ему за воротник.

«Я выпрошу у Ретта его новую черную фетровую шляпу, — решила она. — Обошью ее по краям серой лентой, вышью на тулье инициалы Эшли, и получится очень красиво».

Она задумалась на минуту. Это будет не так просто — выпросить у Ретта шляпу без всяких объяснений. Но не может же она сказать ему, что шляпа нужна ей для Эшли. Он поднимает брови с этим своим мерзким выражением, которое появляется у него на лице, стоит ей только упомянуть имя Эшли, и почти наверняка откажется выполнить ее просьбу. Не беда, она придумает какую‑нибудь жалостливую историю про раненого из госпиталя, оставшегося без шляпы, а Ретту совсем не обязательно знать правду.

Весь день она использовала всевозможные уловки, чтобы улучить минуту и побыть с Эшли наедине, но Мелани не оставляла его ни на мгновение, да и Милочка и Индия ходили за ним по пятам по всему дому, и их бесцветные глаза под бесцветными ресницами сияли от счастья. Даже сам Джон Уилкс, явно гордившийся сыном, был лишен возможности спокойно потолковать с ним с глазу на глаз.

Все это продолжалось и за ужином, когда Эшли буквально засыпали вопросами о войне. О войне! Кому это интересно? Скарлетт казалось, что и Эшли самому не хотелось углубляться в эту тему. Он говорил много, оживленно, часто смеялся и полностью завладел вниманием всех присутствующих, чего, как помнилось Скарлетт, никогда прежде не делал, но вместе с тем рассказывал о войне мало и скупо. Он шутил, вспоминая забавные истории про своих товарищей, посмеивался над маскировками, с юмором описывал длинные переходы под дождем, с пустым желудком и очень живо изобразил, как выглядел генерал Ли, когда он после поражения при Геттисберге появился перед ними на коне и вопросил: «Вы все из Джорджии, джентльмены? Ну, без вас, джорджианцы, нам не преуспеть!»

У Скарлетт мелькнула мысль, что Эшли так без умолку, так лихорадочно все говорит и говорит только для того, чтобы помешать задавать ему вопросы, на которые он не хочет отвечать. Когда она замечала, как он опускает глаза или отводит их в сторону под пристальным, встревоженным взглядом отца, в ее сердце тоже закрадывалась неясная тревога: почему Эшли такой, что у него на душе? Но эта тревога тут же рассеивалась, ибо Скарлетт была слишком переполнена радостью и страстным желанием остаться с Эшли вдвоем.

Однако радость эта начала меркнуть, и Скарлетт почувствовала холодок в душе, когда все собравшиеся в кружок у камина стали понемногу зевать, и мистер Уилкс с дочерьми отбыл в гостиницу, а Эшли и Мелани, мисс Питтипэт и Скарлетт, предводительствуемые дядюшкой Питером со свечой в руке, поднялись по лестнице наверх. До этой минуты Скарлетт казалось, что Эшли принадлежит ей, только ей, хотя им и не удалось перемолвиться ни словом наедине. Но когда они остановились, прощаясь, на галерее в холле, Скарлетт заметила, как Мелани вдруг вся залилась краской и у нее задрожали руки, словно от волнения или испуга, как она смущенно опустила глаза, а лицо ее сияло. Она так и не подняла глаз, когда Эшли уже распахнул перед ней дверь спальни, — только быстро скользнула внутрь. Эшли торопливо пожелал всем спокойной ночи и скрылся, не поглядев на Скарлетт.

Дверь за ними захлопнулась, а Скарлетт все еще стояла в оцепенении, и ее внезапно охватило чувство безысходности. Эшли больше не принадлежал ей. Теперь он принадлежит Мелани. И пока Мелани жива, он будет удаляться с ней в спальню и дверь за ними будет захлопываться, отъединяя их от всего мира.

И вот уже подошло время Эшли возвращаться назад в Виргинию — к долгим походам по раскисшим дорогам, к привалам на тощий желудок на снегу, к страданиям, лишениям и опасностям — туда, где его стройное тело, его гордая белокурая голова в любое мгновение могли быть уничтожены, растоптаны, как букашки под чьей‑то небрежной стопой. Неделя призрачного, мерцающего счастья, каждый час которой был прекрасен и наполнен до краев, осталась позади.

Они пролетели быстро, эти дни, напоенные ароматом сосновых веток и рождественской елки, в трепетном свете елочных свечей, в сверкании блесток и мишуры, — пролетели как во сне, где каждая минута жизни равна одному сердцебиению. В эти головокружительные дни радость сплеталась с болью, и Скарлетт жадно старалась не упустить ни единого мгновения, чтобы потом, когда Эшли уже не будет с нею, из месяца в месяц перебирать их в памяти, черпая в них утешение, снова и снова вспоминать каждую мелочь: пение, смех, танцы, какие‑то маленькие услуги, оказанные ею Эшли, его желания, предвосхищенные ею, улыбки в ответ на его улыбки, молчание, когда он говорит, а она следит за ним глазами, чтобы каждая линия его стройного тела, каждое движение бровей, каждая складка в углах губ неизгладимо запечатлелись в памяти: ведь неделя проносится так быстро, а война длится целую вечность.

Скарлетт сидела на диване в гостиной, держа в руках свой прощальный подарок и жарко молясь богу, чтобы Эшли, распростившись с Мелани, спустился вниз один и небеса послали бы ей наконец хоть несколько мгновений с ним наедине. Она напряженно ловила каждый доносившийся из верхних комнат звук, но дом был странно тих, и в этой тишине она слышала только свое громкое прерывистое дыхание. Тетушка Питти плакала, уткнувшись в подушку у себя в спальне: полчаса назад Эшли заходил к ней попрощаться. Из спальни Мелани сквозь плотно притворенную дверь не доносилось ни плача, ни приглушенных голосов. Скарлетт казалось, что Эшли скрылся за этой дверью бог весть как давно, и горечь переполняла ее сердце, оттого что он так долго прощается с женой, когда мгновения летят неудержимо и так краток срок, оставшийся до его отъезда.

Она старалась вспомнить то, что готовилась сказать ему всю эту неделю. Но ей так и не удалось улучить минуту, чтобы перемолвиться с ним словом наедине, и она понимала, что теперь, вероятно, такого случая уже не представится.

Многое звучало так глупо в ее собственных ушах: «Вы будете себя беречь, Эшли, обещаете?», «Смотрите не промочите ноги. Схватить простуду так легко», «Не забывайте обертываться газетами под рубашкой, чтоб не продуло». Но были ведь и другие, куда более важные слова, которые она хотела ему сказать и которые хотела от него услышать или хотя бы прочесть в его глазах, если он их не произнесет.

Так много нужно сказать, а время истекает! И даже оставшиеся несколько минут будут украдены у нее, если Мелани пойдет проводить его до дверей и потом до экипажа. А ведь минула целая неделя, и теперь эта возможность упущена. Но Мелани вечно находилась возле Эшли, не сводила с него исполненного обожания взора, дом был полон родственников, друзей, соседей, и никогда, с самого утра до поздней ночи, Эшли ни на минуту не был предоставлен самому себе. А потом дверь спальни затворялась, и он оставался там вдвоем с Мелани. И ни разу за всю эту неделю ни единым словом, ни взглядом не выдал он себя, не дал Скарлетт понять, что питает к ней какие‑либо иные чувства, кроме чисто братской любви и долголетней дружбы. Она просто не могла допустить, что он уедет, быть может, навсегда, а она так и не узнает, любит ли он ее по‑прежнему. Ведь даже если он будет убит, мысль о его любви послужит ей тайной отрадой и утешением до конца ее дней.

Прошла, казалось ей, вечность, и наконец она услышала в комнате у себя над головой шаги, затем шум отворившейся и захлопнувшейся двери. Эшли спускался по лестнице. Один! Господи, благодарю тебя! Мелани, должно быть, так удручена горем, что не нашла в себе сил спуститься вниз. Сейчас несколько драгоценных мгновений он будет с ней один на один.

Он медленно спускался по лестнице, шпоры его позвякивали, сабля с глухим стуком ударялась о сапог. Когда он вошел в гостиную, взгляд его был мрачен. И хотя он попытался улыбнуться, такое напряжение было в его бледном, почти бескровном лице, словно он страдал от невидимой раны. При его появлении она встала. Мелькнула горделивая мысль о том, что он самый красивый воин на свете. Кобура, ремень, шпоры, ножны — все на нем блестело, усердно начищенное дядюшкой Питером. Правда, новый мундир сидел не слишком ладно, так как портной спешил, и кое‑какие швы выглядели криво. Новое лоснящееся серое сукно мундира плачевно не гармонировало с вытертыми, залатанными грубошерстными бриджами и изношенными сапогами, но, будь на нем даже серебряные доспехи, он все равно не стал бы от этого прекраснее в ее глазах.

— Эшли, — торопливо начала Скарлетт, — можно я поеду проводить вас на вокзал?

— Прошу вас, не надо. Меня провожают сестры и отец. И мне приятнее будет вспоминать, как мы прощались здесь, чем в холодной сутолоке вокзала. А воспоминания — вещь драгоценная.

Она мгновенно отказалась от своего намерения. Если Милочка и Индия, которые ее терпеть не могут, поедут его провожать, они, конечно, не дадут ей с ним поговорить.

— Тогда я не поеду, — сказала она. — Но у меня есть для вас еще один подарок, Эшли.

Чуточку оробев теперь, когда настал момент вручить ему этот подарок, она развернула бумагу и достала длинный желтый кушак из плотного китайского шелка с тяжелой бахромой по концам. Ретт Батлер несколько месяцев назад привез ей из Гаваны желтую шелковую шаль, пестро расшитую синими и красными цветами и птицами, и всю эту неделю она прилежно спарывала вышивку, а потом раскроила шаль и сшила из нее длинный кушак.

— Скарлетт! Какой красивый кушак! И это вы его сшили? Тогда он мне дорог вдвойне. Повяжите меня им сами, дорогая. Все позеленеют от зависти, когда увидят меня в моем новом мундире да еще с таким кушаком.

Скарлетт обернула блестящую шелковую ленту вокруг его тонкой талии поверх кожаного ремня и завязала «узлом любви». Пусть новый мундир сшила ему Мелани, этот кушак — ее тайный дар, дар Скарлетт. Он наденет его, когда пойдет в бой, и кушак будет служить ему постоянным напоминанием о ней. Отступив на шаг, она окинула Эшли восхищенным взглядом, гордясь им и думая, что даже Джеф Стюарт с его пером и развевающимися концами кушака не мог бы выглядеть столь ослепительно, как ее возлюбленный Эшли.

— Очень красиво, — повторил он, перебирая в пальцах бахрому. — Но я догадываюсь, что вы пожертвовали для меня своим платком или шалью. Вы не должны были делать этого, Скарлетт. Изящные вещи теперь достать нелегко.

— О, Эшли, да я готова...

Она хотела сказать: «Если бы потребовалось, я бы вырвала сердце из груди, чтобы подарить вам!» — но сказала только:

— Я готова все для вас сделать!

— Это правда? — спросил он, и лицо его просветлело. — А ведь вы действительно можете сделать для меня кое‑что, Скарлетт, и это в какой‑то мере снимет тяжесть с моей души, когда я буду далеко от вас.

— Что же я должна сделать? — спросила она радостно, готовая сотворить любое чудо.

— Скарлетт, поберегите Мелани, пока меня не будет.

Поберечь Мелани?

Сердце ее упало. Разочарование было слишком велико. Так вот какова его последняя просьба к ней, а она‑то готова была пообещать ему что‑то необычайное и прекрасное! В ней вспыхнула злоба. В это мгновение Эшли должен был принадлежать ей, только ей. Мелани здесь не было, и все же ее бледная тень незримо стояла между ними. Как мог он произнести имя Мелани в этот миг прощания? Как мог он отважиться на такую просьбу?

Но он не прочел разочарования, написанного на ее лице. Как прежде когда‑то, он смотрел на нее, но словно бы ее не видел, — у него опять был этот странно отсутствующий взгляд.

— Да, не оставляйте ее, позаботьтесь о ней. Она такая хрупкая, а сама совсем этого не понимает. Она подорвет свои силы этой работой в госпитале, бесконечным шитьем. А у нее ведь очень слабое здоровье, и она так застенчива. И кроме тети Питтипэт, дяди Генри и вас, у нее совсем нет близких родственников, никого на всем белом свете, если не считать Бэрров, но они в Мэйконе, и притом это троюродные братья и сестры. А тетя Питти — вы же знаете, Скарлетт, — она дитя. И дядя Генри — старик. Мелани очень любит вас, и не только потому, что вы были женой Чарли, но и потому... потому что вы — это вы. Она любит вас, как сестру. Скарлетт, я не сплю ночей, думая о том, что будет с Мелани, если меня убьют и ее некому будет поддержать! Можете вы пообещать мне?

Она даже не слышала вновь обращенной к ней просьбы — так испугали ее эти страшные слова: «Если меня убьют».

Изо дня в день читала она списки убитых и раненых, читала их, холодея, чувствуя, что жизнь ее будет кончена, если с Эшли что‑нибудь случится. Но никогда, никогда не покидала ее внутренняя уверенность в том, что даже в случае полного разгрома армии конфедератов судьба будет милостива к Эшли. И вдруг он произнес сейчас эти страшные слова! Мурашки побежали у нее по спине, и страх, неподвластный рассудку, суеверный страх обуял ее. Вера в предчувствия, особенно в предчувствие смерти, унаследованная от ирландских предков, пробудилась в ней, а в широко раскрытых серых глазах Эшли она прочла такую глубокую грусть — словно, казалось ей, он уже ощущал присутствие смерти у себя за плечом и слышал леденящий душу вопль Бэнши — привидения‑плакальщика из ирландских народных сказаний.

— Вы не должны говорить о смерти! Даже думать так вы не должны! Это дурная примета! Скорее прочтите молитву!

— Нет, это вы помолитесь за меня и поставьте свечу, — сказал он, улыбнувшись в ответ на ее испуганную пылкую мольбу.

Но она была так потрясена ужасными картинами, нарисованными ее воображением, что не могла вымолвить ни слова. Она видела Эшли мертвым, на снегу, где‑то там далеко, далеко, на полях Виргинии. А он продолжал говорить, и такая печаль и обреченность были в его голосе, что страх ее еще возрос, заслонив все — и гнев, и разочарование.

— Но ведь именно потому я и обращаюсь к вам с просьбой, Скарлетт. Я не знаю, что будет со мной, что будет с каждым из нас. Но когда наступит конец, я буду далеко и, если даже останусь жив, не смогу ничего сделать для Мелани.

— Когда... когда наступит конец?

— Да, конец войны... и конец нашего мира.

— Но, Эшли, не думаете же вы, что янки нас побьют? Всю эту неделю вы говорили нам, как непобедим генерал Ли...

— Всю эту неделю я говорил неправду, как говорят ее все офицеры, находящиеся в отпуску. Зачем я буду раньше времени пугать Мелани и тетю Питти? Да, Скарлетт, я считаю, что янки взяли нас за горло. Геттисберг был началом конца. В тылу об этом еще не знают. Здесь не понимают, как обстоит дело на фронте, но многие наши солдаты уже сейчас без сапог, Скарлетт, а зимой снег в Виргинии глубок. И когда я вижу их обмороженные ноги, обернутые мешковиной и тряпками, и кровавые следы на снегу, в то время как на мне пара крепких сапог, я чувствую, что должен отдать кому‑нибудь из них свои сапоги и тоже ходить босиком.

— Ох, Эшли, пообещайте мне, что вы этого не сделаете!

— Когда я все это вижу, а потом смотрю на янки, я понимаю, что всему конец. Янки, Скарлетт, нанимают себе солдат в Европе тысячами. Большинство солдат, взятых нами в плен в последние дни, не знают ни слова по‑английски. Это немцы, поляки и неистовые ирландцы, изъясняющиеся на гаэльском языке. А когда мы теряем солдата, нам уже некого поставить на его место. И когда у нас разваливаются сапоги, нам негде взять новые. Нас загнали в щель, Скарлетт. Мы не можем сражаться со всем светом.

Неистовые мысли вихрем проносились в голове Скарлетт: «Пропади она пропадом. Конфедерация! Пусть рушится весь мир, лишь бы вы были живы, Эшли! Если вас убьют, я умру!»

— Я надеюсь, Скарлетт, что вы не передадите никому моих слов. Я не хочу вселять в людей тревогу. Я бы никогда не позволил себе встревожить и вас, моя дорогая, но я должен был объяснить, почему я прошу вас позаботиться о Мелани. Она такая слабенькая, хрупкая, а вы такая сильная, Скарлетт. Для меня будет большим утешением знать, что вы не оставите ее, если со мной что‑нибудь случится. Вы обещаете мне?

— Обещаю! — воскликнула она. В это мгновение, когда ей показалось, что смерть стоит за его плечом, она готова была пообещать ему все, чего бы он ни попросил. — Но Эшли, Эшли, я не могу расстаться с вами! Я не могу быть мужественной!

— Вы должны быть мужественной, — сказал он, и какой‑то новый, едва уловимый оттенок почудился ей в его словах. Голос его стал глуше, и он говорил торопливее, словно владевшее им внутреннее напряжение спешило излиться в мольбе. — Вы должны быть мужественны. Иначе где же мне взять силы все выдержать.

Она пытливо и обрадовано вглядывалась в его лицо, ища в нем подтверждения тому, что и его тоже убивает разлука с ней и у него тоже сердце рвется на части. Но лицо его оставалось таким же замкнутым и напряженным, как в ту минуту, когда он появился на лестнице после прощания с Мелани, и она ничего не могла прочесть в его глазах. Он наклонился, сжал ее лицо в своих ладонях и легко коснулся губами лба.

— Скарлетт! Скарлетт! Вы так прекрасны, так добры и так сильны! Прекрасно не только ваше милое личико. В вас все совершенно — ум, тело, душа.

— О, Эшли! — пролепетала она, блаженно затрепетав от прикосновения его рук, от его слов. — Вы, один только вы на всем свете...

— Я, мне кажется, знаю вас лучше, чем другие, — во всяком случае, мне приятно так думать, — и вижу то прекрасное, что скрыто в вас, но ускользает от внимания тех, кто привык судить слишком поверхностно или слишком поспешно.

Он умолк, руки его упали, но взгляд был прикован к ее лицу. Затаив дыхание, чуть привстав от напряжения на цыпочки, она ждала. Ждала, что он произнесет три магических слова. Но он молчал. Она лихорадочно впивалась взглядом в его лицо, губы ее дрожали... Она поняла, что больше он не прибавит ничего.

Этого вторичного крушения всех ее надежд она уже не могла вынести.

— Ох, ну вот! — пролепетала она совсем по‑детски и упала на стул. Слезы брызнули у нее из глаз. И тут она услышала зловещий шум за окном, который безжалостно подтвердил ей неизбежность предстоящей разлуки. Так язычник, заслышав плеск воды под веслами ладьи Харона, проникается чувством безмерного отчаяния и обреченности. Дядюшка Питер, закутавшись в одеяло, подогнал к крыльцу коляску, чтобы отвезти Эшли на вокзал.

— Прощайте! — тихо произнес Эшли, взял со стола широкополую фетровую шляпу, которую ей всеми правдами и неправдами удалось раздобыть у Ретта, и шагнул в погруженный во мрак холл. На пороге он обернулся и поглядел на нее долгим, почти исступленным взглядом, словно стремясь запечатлеть весь ее облик до мельчайших деталей и унести с собой. Она видела его лицо сквозь туманную завесу слез, в горле у нее стоял комок. Она понимала, что он уходит, уходит от нее, от ее забот о нем, из спасительной гавани этого дома, из ее жизни, уходит, быть может, навсегда, так и не сказав ей тех слов, которых она столь страстно ждала. Дни промелькнули один за другим, словно лопасти мельничного колеса под неотвратимым напором воды, и теперь было уже поздно. Спотыкаясь, как слепая, бросилась она через всю гостиную в холл и вцепилась в концы его кушака.

— Поцелуйте меня! — прошептала она. — Поцелуйте меня на прощание.

Его руки мягко обхватили ее плечи, его голова склонилась к ее лицу. Она ощутила прикосновение его губ к своим губам и крепко обвила руками его шею. На какой‑то краткий, быстротечный миг он с силой прижал ее к себе. Она почувствовала, как напряглось его тело. Затем, выронив из рук шляпу, он расцепил обвивавшие его шею руки.

— Нет, Скарлетт, не надо, — глухо произнес он и так стиснул ее запястья, что ей стало больно.

— Я люблю вас, — задыхаясь, пробормотала она. — Я всегда любила только вас. Никогда никого больше не любила. Я вышла замуж за Чарлза просто... просто вам назло. О, Эшли, я люблю вас! Я готова идти пешком в Вирджинию, лишь бы быть возле вас! Я бы стряпала для вас, и чистила бы вам сапоги, и ухаживала бы за вашей лошадью... О, Эшли, скажите, что вы любите меня! Я буду жить этим, пока не умру!

Он наклонился, поднял шляпу, и она увидела его лицо. Вся его отчужденность, замкнутость исчезли. Это было самое несчастное лицо на свете. Она поняла, что он любит ее и ее любовь дает ему радость и повергает его в безмерное отчаяние и стыд.

— Прощайте, — хрипло проговорил он.

Скрипнула отворенная дверь, порыв ледяного ветра ворвался в дом, колыхнув занавески на окнах. По телу Скарлетт пробежала дрожь. Она смотрела Эшли вслед: он бегом направился к коляске, его сабля тускло поблескивала в лучах бледного зимнего солнца, концы кушака весело развевались на ветру.

### Глава XVI

Миновали январь и февраль с холодными дождями, резким пронизывающим ветром и все растущей безнадежностью и унынием в сердцах. После поражения при Геттисберге и Виксберге линия фронта армии южан была прорвана в центре. С упорными боями войска северян заняли почти весь штат Теннесси. Но даже это новое поражение не сломило духа южан. Беспечная заносчивость уступила место угрюмой решимости, и конфедераты по‑прежнему продолжали утверждать, что нет, дескать, худа без добра. Ведь дали же северянам крепко по шее, когда они в сентябре попытались закрепить свою победу в Теннесси прорывом в Джорджию.

Здесь, в северо‑западном углу штата, под Чикамаугой, впервые за всю войну произошло большое сражение уже на земле Джорджии. Янки заняли Чаттанугу и горными тропами вторглись в Джорджию, но были отброшены назад и понесли большие потери.

Атланта со своими железными дорогами сыграла немалую роль в этой знаменитой победе южан при Чикамауге. По железным дорогам, ведущим из Виргинии в Атланту и оттуда — дальше на север, в Теннесси, войска генерала Лонгстрита были переброшены к местам сражений. На протяжении сотен миль железнодорожный путь был очищен от всех гражданских перевозок, и весь подвижной состав юго‑востока был использован для военных нужд.

Атланта наблюдала, как через город за часом час и за составом состав проходили поезда с пассажирскими вагонами, товарными вагонами и платформами, загруженными шумными, распевающими песни солдатами. Они ехали без пищи и без сна, без своих лошадей, без продовольственных и санитарных служб и прямо из вагонов, без малейшей передышки шли в бой. И янки были отброшены из Джорджии назад в Теннесси.

Это была огромная победа, и жители Атланты с удовлетворением и гордостью сознавали, что их железные дороги сделали эту победу возможной.

Юг с нетерпением ждал хороших вестей из Чикамауги — они были нужны позарез, чтобы не потерять бодрости духа предстоящей зимой. Теперь уже никто не стал бы отрицать, что янки умеют драться и у них, что ни говори, хорошие полководцы. Грант был настоящий мясник, ему было наплевать, сколько он уложит солдат, лишь бы одержать победу, и победы он одерживал. Имя Шеридана вселяло страх в сердца южан. И наконец, существовал еще один человек, некто Шерман, чье имя упоминалось все чаще и чаще. О нем заговорили во время сражений в Теннесси и на Западе, и слава о нем, как о решительном и беспощадном воине, росла.

Ни один из них, разумеется, не мог сравниться с генералом Ли. Вера в генерала и его войско была по‑прежнему крепка. Уверенность в конечной победе непоколебима. Но война слишком затянулась. Слишком много полегло на поле боя, слишком много было раненых, калек, слишком много вдов, сирот. А впереди еще долгая, жестокая битва, и значит — будут еще убитые, еще раненые, еще вдовы и сироты.

И в довершение всех бед среди гражданского населения стало проявляться недоверие к власть имущим. Некоторые газеты уже открыто выражали свое недовольство президентом Дэвисом и его планом ведения войны. Внутри правительства Конфедерации существовали разногласия, между президентом Дэвисом и генералами происходили трения. Стремительно росла инфляция. Армии не хватало мундиров и сапог, а медикаментов и амуниции и подавно. Железным дорогам требовались новые вагоны взамен старых и новые рельсы взамен взорванных противником. Генералы посылали с поля боя депеши, требуя свежих пополнений, а их становилось все меньше и меньше. И тут еще как на грех некоторые губернаторы штатов — и в том числе губернатор Джорджии Браун — отказались посылать войска милиции за пределы штата. Эти войска насчитывали тысячи боеспособных солдат, в которых остро нуждалась армия, но правительство тщетно пыталось их получить.

Новое падение стоимости доллара повлекло за собой новое повышение цен. Говядина, свинина и сливочное масло стоили уже тридцать пять долларов фунт, мука — тысячу четыреста долларов мешок, сода — сто долларов фунт, чай — пятьсот долларов фунт. А теплая одежда в тех случаях, когда ее удавалось раздобыть, продавалась уже по таким недоступным ценам, что жительницы Атланты, чтобы защититься от ветра, утепляли свою старую одежду с помощью тряпок и газет. Ботинки стоили от двухсот до восьмисот долларов пара — в зависимости от того, были ли они из настоящей кожи или из искусственной, получившей название «картона». Дамы носили гетры, сшитые из старых шалей или ковриков. Подметки делались из дерева.

В сущности, Север держал Юг в осадном положении, хотя не все еще отчетливо это понимали. Американские канонерки туго затянули петлю на горле всех южных портов, и крайне редко какому‑нибудь судну удавалось прорвать блокаду.

Южные штаты всегда жили за счет продажи своего хлопка, покупая на вырученные деньги все, чего не производили сами. Теперь они не могли ни продавать, ни покупать. У Джералда О’Хара в Таре под навесами возле хлопкоочистительной фабрики скопился урожай хлопка за три года, но толку от этого было мало. Сто пятьдесят тысяч долларов выручил бы он за него в Ливерпуле, но надежды вывезти его в Ливерпуль не было никакой. Джералд, уже привыкший считать себя человеком богатым, теперь задумывался над тем, как ему прокормить семью и своих рабов до конца зимы.

И большинство южных плантаторов находились в столь же трудном положении. Петля блокады затягивалась все туже и туже, лишая южан возможности сбывать свое белое золото на английском рынке и ввозить на вырученные деньги все, в чем была нужда. А земледельческий Юг, ведя войну с индустриальным Севером, нуждался теперь во многом — в таких вещах, покупать которые он никогда и не помышлял в мирные дни.

Все это создавало исключительно благоприятные условия для барышников и спекулянтов, и они не преминули ими воспользоваться. По мере того как пища и одежда становились все менее доступными, а цены росли, общественное возмущение спекулянтами выражалось все громче и озлобленней. В первые месяцы 1864 года не выходило ни одной газеты, в которой не было бы передовой статьи, полной уничижительных нападок на спекулянтов — этих стервятников, этих кровопийц — и призывающей правительство разделаться с ними твердой рукой. Правительство старалось как могло, но все его усилия оставались бесплодными, ибо у правительства и без того хлопот был полон рот.

Но никто не подвергался таким ожесточенным нападкам, как Ретт Батлер. Когда борьба с блокадой стала делом слишком опасным, он продал свои суда и открыто занялся спекуляцией продовольствием. Слухи о его деятельности в Ричмонде и Уилмингтоне доходили до Атланты и заставляли всех, кто принимал его когда‑то в своих гостиных, сгорать со стыда.

И все же, невзирая на эти невзгоды и треволнения, население Атланты, насчитывавшее до войны десять тысяч, увеличилось за эти годы вдвое. И даже сама блокада в какой‑то мере содействовала повышению престижа Атланты. Прибрежные города с незапамятных времен занимали господствующее положение на Юге — как по части торговли, так и во всех прочих отношениях. Однако после того как южные порты были блокированы и многие портовые города захвачены противником или подвергнуты осаде, Юг уже не мог ждать спасения ни от кого — ему оставалось рассчитывать только на самого себя. Для победы в войне многое теперь зависело от положения во внутренних территориях Юга, и в центре событий оказалась Атланта. Население Атланты переносило не менее тяжкие лишения, чем жители всех других областей Конфедерации, так же жестоко страдало от болезней и вымирало, но значение самого города в результате войны не упало, а возросло. Сердце Конфедерации — город Атланта — билось надежно и сильно, и по его железным дорогам — артериям страны — продолжал безостановочно литься поток составов с рекрутами, снаряжением, провиантом.

В другие времена Скарлетт пребывала бы в безмерном огорчении из‑за своих поношенных платьев и заплатанных туфель, но теперь это ее не слишком волновало, поскольку единственный человек, чье мнение было ей небезразлично, не мог ее увидеть. Ближайшие два месяца были, пожалуй, самыми счастливыми в ее жизни за все последние годы. Когда ее руки обвили шею Эшли, разве не услышала она глухие, взволнованные удары его сердца? А этот исполненный отчаяния и муки взгляд — он сказал ей больше, чем могли бы поведать уста. Эшли любит ее. Теперь ее уже не терзали больше сомнения, и эта уверенность приносила ей такую радость, что сердце ее смягчилось к Мелани. У нее появилось даже чувство жалости к ней — жалости с легким оттенком презрения к ее ограниченности и слепоте.

«Когда кончится война... — говорила она себе. — Когда она кончится, тогда...»

Но порой возникала другая мысль, вонзая в сердце холодное жало страха: «Тогда... а что тогда?» Но она отгоняла ее от себя. Когда война будет позади, все как‑то решится. Раз Эшли любит ее, он просто не сможет продолжать жить с Мелани.

Но развод же невозможен. И конечно, Эллин и Джералд — рьяные католики — никогда не допустят ее брака с разведенным человеком. Ведь это означало бы отлучение от церкви! Раздумывая над этим, Скарлетт пришла к решению: если встанет выбор между церковью и Эшли, она выберет Эшли. Но боже, какой поднимется скандал! Разведенных не только отлучают от церкви — их перестают принимать в обществе. Они становятся изгоями. Ну что ж, ради Эшли она пойдет и на это. Ради него она готова принести в жертву все.

Когда война кончится, все так или иначе образуется. Если Эшли любит ее, любит по‑настоящему сильно, он найдет выход. Она заставит его найти выход. И день ото дня в ней крепла уверенность в том, что он ее любит и, когда янки будут наконец разбиты, сумеет так или иначе все уладить. Правда, Эшли сказал, что янки берут верх. Но Скарлетт считала, что это чепуха. Он был истерзан, подавлен, когда говорил с ней. Впрочем, мысль о том, победят янки или нет, мало заботила ее. Лишь бы война поскорее кончилась и Эшли возвратился домой.

А в марте, когда непогода и слякоть заставляли всех сидеть по домам, судьба нанесла Скарлетт жестокий удар. Мелани, стыдливо опустив голову и отводя в сторону сияющие гордостью и счастьем глаза, сообщила Скарлетт, что она ждет ребенка.

— По мнению доктора Мида, это будет в конце августа или в начале сентября, — сказала она. — Я догадывалась, но до сегодняшнего дня не была уверена. О, Скарлетт, как это чудесно, правда? Я так завидовала тебе, что у тебя есть Уэйд, я так хотела иметь ребенка. И ужасно боялась, что у меня никогда не будет детей, а я хочу, чтобы их была дюжина!

Скарлетт расчесывала волосы, собираясь лечь спать, и ее рука застыла в воздухе, когда Мелани произнесла эти слова.

— Боже милостивый! — пробормотала она, еще не до конца осознав значение услышанного. Затем в памяти воскресла захлопнувшаяся за Мелани и Эшли дверь спальни, и такая боль пронзила ее, словно в сердце ей всадили нож — словно Эшли был ее мужем и она узнала о его неверности. Ребенок. Ребенок Эшли. Как же он мог, когда он любит не Мелани, а ее, Скарлетт?

— Я знала, что ты будешь изумлена, — не переводя дыхания, продолжала лепетать Мелани. — Не правда ли, это изумительно? О, Скарлетт, я просто не знаю, как написать об этом Эшли! Если бы можно было сказать ему, или... или, еще лучше, ничего не говорить, пусть бы он сам мало‑помалу заметил... догадался... ты же понимаешь...

— Боже милостивый! — повторила Скарлетт, готовая разрыдаться, и, выронив расческу, ухватилась за мраморную доску туалетного столика, чтобы не упасть.

— Дорогая, что с тобой, не волнуйся так! Ты же знаешь, родить ребенка вовсе не так уж страшно. Ты сама это говорила. Не тревожься за меня. Я ужасно тронута твоим участием. Правда, доктор Мид сказал, что я... что у меня, — Мелани покраснела, — узкий таз, но он надеется, что все будет в порядке. И... скажи, Скарлетт, ты сама написала Чарли, когда узнала насчет Уэйда, или это сделала твоя мать, или, может быть, мистер О’Хара? О дорогая, если бы моя мама была жива и могла написать Эшли! Я просто не представляю себе, как я...

— Замолчи! — вне себя выкрикнула Скарлетт. — Замолчи!

— О, Скарлетт!.. Господи, какая я дура! Прости меня. Знаешь, когда человек счастлив, он всегда становится эгоистом. Я вдруг совсем как‑то забыла про Чарли...

— Замолчи! — повторила Скарлетт, стараясь овладеть собой и пряча от Мелани лицо. Никогда, никогда не должна Мелани догадаться или хотя бы заподозрить, какие чувства ее обуревают.

А у Мелани, деликатнейшего из всех земных созданий, слезы выступили на глазах от стыда за свое жестокосердие. Как посмела она воскресить в душе Скарлетт ужасные воспоминания о том, что малютка Уэйд появился на свет, когда бедняга Чарлз уже несколько месяцев лежал в могиле! Как могла она быть такой бесчувственной!

— Дай я помогу тебе раздеться, дорогая! — смиренно проговорила она. — И приглажу щеткой волосы.

— Оставь меня в покое, — с каменным лицом произнесла Скарлетт. И Мелани удалилась вся в слезах, предаваясь мукам самобичевания. Скарлетт не плакала, ложась в постель, но гордость ее была глубоко уязвлена, надежды рухнули, ее снедала зависть к счастливым супружеским парам.

Она думала о том, что не сможет больше жить под одной кровлей с женщиной, которая носит в своем чреве ребенка Эшли, и ей нужно вернуться домой, к родному очагу. Ей казалось, что она не сможет теперь поглядеть в глаза Мелани и не выдать своей тайны. И наутро она встала с твердым решением сразу же после завтрака собраться в дорогу. Но когда они сидели за столом — Скарлетт в угрюмом молчании, тетушка Питти в растрепанных чувствах и Мелани с несчастным видом, — принесли телеграмму.

Моз, слуга Эшли, сообщал Мелани:

«Я искал его повсюду и не нашел. Прикажете возвращаться домой?»

Никто не понимал, что значит эта телеграмма, — они смотрели друг на друга расширенными от страха глазами, и всякая мысль об отъезде сразу вылетела у Скарлетт из головы. Не закончив завтрака, они покатили в город, — телеграфировать командиру полка, в котором служил Эшли, но на телеграфе их уже ждала телеграмма самого полковника:

«С прискорбием извещаю: майор Уилкс, не возвратившийся три дня назад с разведывательной операции, числится пропавшим без вести. Будем держать вас в известности».

Мрачным было их возвращение домой: тетушка Питти плакала и сморкалась в носовой платок, Мелани сидела бледная, прямая, неподвижная, потрясенная Скарлетт забилась в угол коляски. Войдя в дом, Скарлетт, пошатываясь, поднялась по лестнице к себе в спальню, схватила четки и, упав на колени, попыталась обратиться с молитвой к богу. Но слова молитвы не шли ей на ум. Душа ее была объята ужасом — страшная мысль сверлила мозг: господь отвернулся от нее за ее грех. Она полюбила женатого мужчину, она пыталась увести его от жены, и господь отнял у него жизнь, чтобы покарать ее. Ей хотелось молиться, но она не решалась поднять глаза к небесам. Ей хотелось плакать, но глаза ее были сухи. Слезы жгли ей грудь, душили ее, но не могли пролиться.

Отворилась дверь, и вошла Мелани. Ее бледное лицо в ореоле темных волос было как вырезанное из белой бумаги сердечко, в огромных глазах застыл страх. Она походила на заблудившегося во мраке ребенка.

— Скарлетт, — сказала она, протягивая к ней руки, — Ты должна простить меня за мои вчерашние слова. ведь ты теперь все, что у меня осталось. О, Скарлетт, я чувствую, что моего бесценного нет в живых!

Кто знает, как это произошло, но Скарлетт уже держала Мелани в объятиях, а та бурно рыдала, и детские груди ее трепетали. А потом обе они лежали на постели, тесно прильнув друг к другу в горе, и Скарлетт плакала тоже — плакала, уткнувшись в плечо Мелани, и лица их были влажны от смешавшихся слез. Слезы истощали душу, но когда они не могли пролиться, было еще тяжелее. Эшли мертв, мертв, думала Скарлетт, и это я убила его, моя любовь тому причиной! Новый приступ рыданий сотряс ее тело, и Мелани, невольно находя утешение в ее слезах, еще крепче обхватила ее руками за шею.

— По крайней мере, — прошептала она, — по крайней мере у меня будет от него ребенок.

«А у меня, — подумала Скарлетт, под бременем своего горя очистившись от таких мелких чувств, как ревность, — а у меня не осталось ничего. Только этот его взгляд при прощании».

Первое сообщение гласило: «Пропал без вести, предположительно убит». Так значилось в списке потерь. Мелани отправила полковнику Слоану дюжину телеграмм, и наконец от него пришло исполненное сочувствия письмо, в котором полковник сообщал, что Эшли ушел в разведку со своим кавалерийским отрядом и не вернулся. Поступали донесения о небольших схватках с противником на пограничной линии, и убитый горем Моз, рискуя жизнью, отправился на розыски тела Эшли, но найти его не мог. Мелани, неестественно спокойная теперь, перевела ему телеграфом деньги и велела возвратиться домой.

Когда в последующем списке потерь появились слова: «пропал без вести, предположительно находится в плену», в погруженном в скорбь доме затеплилась надежда, люди ожили. Мелани невозможно было увести из конторы телеграфа, и она ходила встречать каждый поезд в чаянии получить письмо. Беременность протекала тяжело, здоровье ее пошатнулось, но она не желала подчиняться предписаниям доктора Мида и оставаться в постели. Лихорадочное беспокойство и возбуждение владели ею, и она не знала ни минуты покоя. Далеко за полночь, лежа в постели, Скарлетт слышала ее шаги в соседней комнате.

Однажды насмерть перепуганный дядюшка Питер привез Мелани под вечер домой из города: полумертвая, она сидела в коляске, и ее поддерживал Ретт Батлер. Ей сделалось дурно на телеграфе, и случайно оказавшийся там Ретт, заметив какое‑то волнение в кучке людей, увидел ее и отвез домой. Он отнес ее на руках в спальню и положил в постель на подушки, а взволнованные домочадцы суетились вокруг с одеялами, горячими кирпичами и виски.

— Миссис Уилкс, — спросил Ретт напрямик, — вы ждете ребенка?

Услыхав такой вопрос, Мелани при других обстоятельствах снова лишилась бы чувств, но сейчас она была слишком больна, слишком слаба, слишком убита горем. Даже в беседах с близкими приятельницами она стеснялась упоминать о своей беременности, а посещения доктора Мида были для нее каторгой. И казалось просто невообразимым, что она слышит этот вопрос из уст мужчины, а тем более Ретта Батлера. Но распростертая на постели, ослабевшая и несчастная, она смогла только кивнуть. А потом, когда она уже кивнула, все как‑то перестало казаться ей таким ужасным, потому что мистер Батлер был необычайно добр и внимателен.

— В таком случае вы должны больше думать о себе. Все ваши терзания, хлопоты и беготня по городу никак делу не помогут, а ребенку могут повредить. С вашего позволения я использую свои связи в Вашингтоне, чтобы узнать о судьбе мистера Уилкса. Если он в плену, его имя должно числиться в федералистских списках, если же нет... Что ж, неизвестность ведь хуже всего. Но дайте мне слово, миссис Уилкс, что будете беречь себя, иначе, клянусь богом, я и пальцем не пошевелю.

— Как вы добры! — пролепетала Мелани. — И как только могут люди так дурно отзываться о вас! — И тут же поняв ужасную бестактность своих слов, подавленная к тому же чудовищным неприличием всего происходящего, она беззвучно расплакалась. И когда Скарлетт с горячим кирпичом, завернутым во фланелевую тряпицу, взлетела по лестнице, она увидела, что Ретт Батлер тихонько поглаживает руку Мелани.

Слово свое он сдержал. Какие пришлось ему нажимать для этого пружины, узнать им было не дано. Спросить его они не решились из боязни услышать признание в его слишком тесных контактах с янки. Прошел месяц, прежде чем Ретт принес им эту весть — которая сначала заставила их воспарить до небес от радости, а затем надолго поселила гнетущую тревогу в их сердцах.

Эшли жив! Он был ранен, попал в плен и по сведениям находился в лагере для военнопленных в Рок‑Айленде, в штате Иллинойс. Эшли жив! В первые мгновения радости они не могли думать ни о чем другом. Потом, когда радостное волнение немного улеглось, они поглядели друг другу в глаза и пробормотали: «Рок‑Айленд!» И это прозвучало в их устах так, как если бы они произнесли: «В аду!» Ибо, в то время как от слова «Андерсонвилл» на северян веяло серным смрадом, будто из преисподней, слова «Рок‑Айленд» вселяли ужас в сердца южан, если их близкие находились там в заключении.

Когда Линкольн не согласился на обмен военнопленными, рассчитывая приблизить конец войны, возложив на Конфедерацию бремя снабжения военнопленных янки и содержания их под стражей, в Андерсонвилле, в штате Джорджия, находились тысячи синих мундиров. Солдаты Конфедерации содержались на скудном рационе, а больные и раненые практически совсем были лишены медикаментов и перевязочного материала. Делиться с пленными конфедератам, в сущности, было нечем. Пленным отпускалось то же, что получали солдаты в походе, — жирную свинину и сушеные бобы, — и на этом пайке янки мерли как мухи, иной раз до сотни человек в день. Разгневанный поступавшими об этом донесениями Север ответил ухудшением условий содержания пленных конфедератов, причем в особо тяжелом положении оказались те, кто находился в Рок‑Айленде. Скудная пища, одно одеяло на троих и свирепствовавшие в лагере болезни — пневмония, тиф и оспа — заслужили этому месту заключения наименование «чумной лагерь». Лишь одной трети попавших туда военнопленных суждено было выйти на волю живыми.

И там, в этом ужасном лагере, находился Эшли! Он был жив, но ранен и в плену, и когда его увезли в Рок‑Айленд, в Иллинойсе, должно быть, лежал глубокий снег. Быть может, он уже скончался от раны после того, как Ретт Батлер получил о нем сведения? Быть может, он пал жертвой оспы? Быть может, он лежит в бреду, больной пневмонией, а у него нет даже одеяла, чтобы укрыться?

— О, капитан Батлер, нельзя ли что‑нибудь сделать? — взмолилась Мелани. — Не можете ли вы, использовав ваши связи, добиться, чтобы его обменяли?

— Мистер Линкольн, справедливый и милосердный, проливающий крупные слезы над пятью мальчиками миссис Биксби, не прольет ни единой слезы над тысячами своих солдат, умирающих в Андерсонвилле, — с кривой усмешкой отвечал Ретт Батлер. — Ему наплевать, если даже они все умрут. Издан приказ: никаких обменов. И никаких исключений ни для кого. Я... я не хотел говорить вам об этом, миссис Уилкс, но придется: ваш муж имел возможность освободиться из лагеря, но отказался.

— О нет, не может быть! — воскликнула Мелани, не веря своим ушам.

— Да, это так. Янки производили набор солдат для службы на границе и охраны ее от индейцев. Они вербовали их среди пленных конфедератов. Любой заключенный, который соглашался отслужить два года на индейской границе и принести присягу, освобождался из лагеря, и его отправляли на Запад. Мистер Уилкс отказался.

— О, как он мог так поступить! — воскликнула Скарлетт. — Что стоило ему принести присягу, а потом, освободившись из лагеря, бежать и вернуться домой.

Мелани, мгновенно обратившись в маленькую разъяренную фурию, обрушилась на нее:

— Как ты только можешь предположить такое! Чтобы он сначала изменил Конфедерации, приняв эту постыдную присягу, а потом изменил своему слову, данному янки? Мне легче было бы узнать, что он умер в Рок‑Айленде, чем услышать, что он принес такую присягу! Я бы гордилась им, если бы он умер в заключении, но если бы он поступил так, я бы до конца жизни не захотела его больше видеть. Никогда, никогда! Конечно, он отказался.

Провожая Ретта Батлера до дверей, Скарлетт спросила у него с вызовом:

— Будь вы на его месте, разве вы не предпочли бы завербоваться, а потом бежать, чем погибать в этом лагере?

— Разумеется, предпочел бы, — отвечал Ретт и усмехнулся, блеснув белыми зубами под темной ниточкой усов.

— Так почему же Эшли этого не сделал?

— Он джентльмен, — сказал Ретт, и Скарлетт оторопела: как сумел он вложить столько циничного презрения в одно короткое, высоко всеми чтимое слово?

## Часть 3

### Глава XVII

Наступил май 1864 года — жаркий, сухой, с пожухшими от зноя, не успев раскрыться, бутонами цветов, и янки под предводительством генерала Шермана снова были в Джорджии, под Далтоном, в ста милях к северо‑западу от Атланты. Там, на границе Джорджии и Теннесси, ожидались тяжелые бои. Янки стягивали свои силы для удара на Западно‑атлантскую железную дорогу, соединявшую Атланту с Теннесси и Западом, — на ту самую дорогу, по которой осенью были переброшены войска южан, одержавшие победу при Чикамауге.

Однако предстоящее сражение при Далтоне не особенно тревожило Атланту. Место, где янки сосредоточивали свои войска, находилось всего несколькими милями юго‑восточнее полей сражений при Чикамауге. Один раз янки уже пытались пробиться оттуда по горным тропам дальше и были отброшены. Прогонят их и теперь.

В Атланте — да и во всей Джорджии — понимали, что этот штат имеет слишком важное стратегическое значение для Конфедерации, чтобы генерал Джо Джонстон позволил янки долго оставаться в его пределах. Старина Джо и его солдаты не дадут ни одному янки продвинуться дальше к югу от Далтона — слишком многое зависело теперь от того, чтобы жизнь в Джорджии шла без перебоев. Этот не разоренный еще штат был для Конфедерации и огромной житницей, и механической мастерской, и вещевым складом. Он поставлял почти все вооружение и порох для армии и почти весь хлопок и шерстяные изделия. Между Атлантой и Далтоном находился город Ром с его литейными и другими промышленными предприятиями, а также Итова и Аллатуна с самыми большими чугунолитейными заводами к югу от Ричмонда. Да и в Атланте изготовлялось не только оружие, снаряды, седла и походные палатки — здесь были расположены и самые крупные прокатные станы Юга, все основные железнодорожные депо и огромное число госпиталей. И та же Атланта была главным железнодорожным узлом, где пересекались линии четырех железных дорог, от которых зависела жизнь всей Конфедерации.

Словом, особой тревоги никто не испытывал. В конце концов, Далтон был далеко — почти у самой границы Теннесси. А в Теннесси уже на протяжении трех лет шли бои, и все давно привыкли представлять себе этот штат как отдаленный театр военных действий — почти столь же далекий от них, как Виргиния или район реки Миссисипи. К тому же между янки и Атлантой находился старина Джо со своими солдатами, а всем и каждому было известно, что теперь, после смерти Несокрушимого Джексона, у Конфедерации не было лучшего военачальника, чем Джонстон, если не считать, конечно, самого генерала Ли.

Теплым майским вечером на веранде дома тетушки Питтипэт доктор Мид кратко изложил точку зрения горожан, заявив, что Атланте совершенно нечего опасаться, поскольку генерал Джонстон со своей армией стоит в горах как неприступный бастион. Каждый из тех, кто тихонько покачивался в креслах‑качалках, глядя, как первые жуки‑светляки, словно по волшебству, возникают в сгущающихся сумерках, воспринял его слова по‑своему, ибо у всех было далеко не безоблачно на душе. Миссис Мид, сидевшая положив руку на плечо Фила, надеялась, что, бог даст, доктор окажется прав. Она понимала: если военные действия приблизятся к Атланте, Фил должен будет уйти на фронт. Ему уже исполнилось шестнадцать, и он был зачислен в войска внутреннего охранения. Фэнни Элсинг, бледная, с ввалившимися глазами, все еще не оправившаяся после геттисбергской трагедии, старалась отогнать от себя страшную картину, неотвязно стоявшую перед ее мысленным взором все эти месяцы: лейтенант Даллас Маклюр умирает в тряской повозке, влекомой волами по размытым дождями дорогам, в дни ужасного бесконечного отступления к Мэриленду.

Капитана Кэйри Эшберна мучила недействующая рука, и к тому же он был подавлен тем, что его ухаживание за Скарлетт зашло в тупик. Оно не продвинулось ни на йоту с того дня, как стало известно, что Эшли Уилкс попал в плен, хотя сам капитан Эшберн не улавливал никакой связи между этими двумя обстоятельствами. Скарлетт и Мелани думали об Эшли, что они делали всегда, если их не отвлекали повседневные заботы или необходимость поддерживать разговор. Мысли Скарлетт были полны горечи и печали: «Верно, его уже нет в живых, иначе мы бы что‑нибудь о нем услышали». А Мелани снова и снова, в бессчетный раз, отгоняла от себя приступы страха и мысленно твердила: «Он жив. Я знаю это — я бы почувствовала, если бы он умер». Смуглое лицо Ретта Батлера было непроницаемо. Он сидел в затененном углу веранды, небрежно скрестив длинные ноги в щегольских сапогах. На коленях у него безмятежно посапывал во сне малыш Уэйд, удовлетворенно зажав в кулачке тщательно обглоданную куриную косточку. Когда появлялся Ретт Батлер, Скарлетт обычно позволяла Уэйду позже ложиться спать, потому что робкий, застенчивый мальчик был прямо‑таки околдован Реттом, да и тот, как ни удивительно, казалось, привязался к ребенку. Обычно присутствие Уэйда раздражало Скарлетт, но на коленях у Ретта он всегда вел себя примерно. Что до тетушки Питти, то она всеми силами старалась справиться с отрыжкой, ибо петух, которого они съели за ужином, оказался старой, жилистой птицей.

В то утро тетушкой Питти было принято тягостное решение зарезать этого патриарха, пока он не отдал богу душу по причине преклонного возраста и тоски по своему давно уже съеденному гарему. День за днем он чах в опустевшем курятнике, слишком удрученный, чтобы кукарекать. Когда дядюшка Питер свернул ему шею, деликатную душу тетушки Питтипэт внезапно одолели сомнения: допустимо ли насладиться этой птицей в кругу семьи, в то время как многие из друзей неделями не могут отведать куриного мяса, и она решила пригласить гостей. Мелани, которая была уже на пятом месяце и давно перестала принимать у себя и появляться в обществе, пришла от этой затеи в ужас. Но тетушка Питти на сей раз проявила твердость. Было бы крайне эгоистично самим съесть всего петуха, а если Мелани подтянет верхний обруч кринолина повыше, никто ничего и не заметит, тем более что она такая плоскогрудая.

— Ах, тетя Питти, не хочу я принимать никаких гостей, когда Эшли...

— Так ведь это, если бы Эшли... если бы его больше не было, — дрожащим голосом произнесла тетя Питти, ибо в душе была убеждена, что Эшли мертв. — Но он, поверь мне, не больше мертв, чем мы с тобой, а тебе полезно немножко побыть с людьми. И я приглашу еще Фэнни Элсинг. Миссис Элсинг просила повлиять на нее, чтобы она перестала чураться общества.

— Нет, тетя Питти, мне кажется, это жестоко — принуждать Фэнни появляться на людях, когда бедняжка Даллас так недавно...

— Ну вот, Мелани, сейчас ты доведешь меня до слез, если будешь спорить. Насколько я понимаю, я твоя тетка и знаю что к чему. Я хочу позвать гостей.

Итак, тетя Питти настояла на своем, и в последнюю минуту к ней прибыл гость, которого она не ждала и отнюдь не жаждала видеть. Когда запах жареного петуха распространился по дому, Ретт Батлер, только что возвратившийся из одной из своих таинственных поездок, появился в дверях с большой нарядной коробкой конфет под мышкой и кучей двусмысленных комплиментов по адресу тетушки Питти на устах, после чего уже нельзя было не пригласить его к столу, хотя тетушке Питти было хорошо известно, какого мнения о нем доктор Мид и его супруга и как Фэнни Элсинг настроена против всех мужчин, не надевших военной формы. Ни чета Мидов, ни Фэнни не поздоровались бы с ним при встрече на улице, но в доме друзей они вынуждены будут соблюдать приличия. Притом кроткая Мелани решительнее чем когда‑либо оказывала ему теперь покровительство. После того как благодаря его стараниям Мелани получила известие об Эшли, она публично заявила, что, пока она жива, двери ее дома всегда будут открыты для мистера Батлера, что бы люди про него ни говорили.

Опасения тетушки Питти немного ослабли, когда она увидела, что Ретт на этот раз расположен быть паинькой. Он с таким почтительным сочувствием уделял внимание Фэнни, что она даже улыбнулась ему, и ужин прошел отлично. Это было королевское пиршество. Кэйри Эшберн принес немного чаю, который он обнаружил в кисете одного из пленных янки, отправляемых в Андерсонвилл, и всем досталось по чашечке чаю, слегка отдававшего табаком. Все получили также по крошечному кусочку жесткого старого петуха с соответствующим количеством соуса из кукурузной муки с луком, по мисочке гороха и по хорошей порции риса с подливкой, правда, несколько водянистой из‑за нехватки муки. На десерт был подан пирог со сладким картофелем, за которым последовала принесенная Реттом Батлером коробка конфет, и после того как за стаканом ежевичного вина он угостил джентльменов еще и гаванскими сигарами, все единодушно признали, что это был Лукуллов пир.

Когда джентльмены присоединились к дамам на веранде, разговор обратился к войне. Разговор всегда обращался теперь к войне; о чем бы кто ни заговорил — о печальных ли событиях, о веселых ли — все начиналось с войны и сводилось к войне: военные увлечения, военные свадьбы, чья‑то смерть на поле боя или в госпитале, лагерные происшествия, бои, походы, храбрость, трусость, горе, веселье, утраты и надежды. Всегда, всегда надежды. Твердые, неколебимые, несмотря на все понесенные летом потери.

Когда капитан Эшберн сообщил, что он попросился на фронт и ему разрешили отбыть из Атланты в армию под Далтоном, дамы готовы были расцеловать его искалеченную руку и, пряча переполнявшую их гордость, наперебой принялись утверждать, что он не должен уезжать — кто же тогда будет ухаживать за ними?

Услышав подобное заявление из уст таких добродетельных матрон, как миссис Мид и Мелани, и незамужних дам, как тетушка Питти и Фэнни, молодой капитан был сконфужен, но чрезвычайно доволен: ему хотелось верить, что и Скарлетт такого же мнения.

— Да будет вам, не успеете вы оглянуться, как он воротится домой, — сказал доктор, обнимая Кэйри за плечи. — Еще одна короткая схватка, и янки покатятся обратно в Теннесси. А там уж за них возьмется генерал Форрест. Вас, дорогие дамы, близость янки отнюдь не должна тревожить: генерал Джонстон со своими солдатами стоит в горах как неприступный бастион. Да, да, как неприступный бастион, — повторил он с особым смаком. — Шерману там никогда не пройти. Ему нипочем не пробиться сквозь заслон старины Джо.

Дамы одобрительно улыбались: любое высказывание доктора Мида воспринималось как непреложная истина. В конце концов, мужчины разбираются в таких делах лучше женщин, и если доктор сказал, что генерал Джонстон — неприступный бастион, значит, так оно и есть. Тут Ретт Батлер заговорил. После ужина он до этой минуты не промолвил ни слова, сидя в полумраке веранды и держа на коленях спящего ребенка, прислонившегося головкой к его плечу, и только чуть заметная усмешка трогала уголки его губ.

— Сдается мне, если, конечно, верить слухам, что в распоряжении Шермана сейчас, после того как он получил подкрепление, свыше ста тысяч солдат, так?

Ответ доктора на этот неожиданный вопрос прозвучал резко. Доктор чувствовал себя не в своей тарелке с первой же минуты, как только обнаружил среди гостей этого человека, который был ему глубоко антипатичен, и лишь уважение к мисс Питтипэт и сознание, что он находится под ее кровом, заставляли его не проявлять слишком открыто своих чувств.

— Ну и что же, сэр? — буркнул он в ответ.

— А капитан Эшберн, по‑моему, только что сообщил нам, что в распоряжении генерала Джонстона всего сорок тысяч солдат, считая и тех дезертиров, которых убедили возвратиться под наши знамена после одержанной нами последней победы.

— Сэр! — негодующе воскликнула миссис Мид. — В армии конфедератов нет дезертиров.

— Прошу прощения, — с притворным смирением поправился Ретт. — Я имел в виду те несколько тысяч воинов, которые позабыли вернуться в свою часть из отпуска, а также тех, кто после шестимесячного залечивания ран продолжает оставаться дома, занимаясь своими обычными делами или весенней пахотой.

Глаза его насмешливо блеснули, и миссис Мид оскорблено поджала губы. А Скарлетт, заметив ее замешательство, едва не хихикнула: Ретт попал не в бровь, а в глаз. Сотни солдат скрывались в горах и на болотах, отказываясь повиноваться военной полиции, пытавшейся погнать их обратно на фронт. Они открыто заявляли, что эту «войну ведут богачи, а кровь проливают бедняки» и они сыты войной по горло. Но гораздо больше было таких, которые не имели намерения совсем дезертировать из армии, хотя и числились в списках дезертиров. К ним принадлежали те, кто на протяжении трех лет тщетно дожидался отпуска и все это время получал из дома полуграмотные каракули, извещавшие: «Мы голодаем...». «В этом году не снимем урожая — пахать некому. Мы голодаем...», «Уполномоченный забрал поросят, а мы уж который месяц не получаем от тебя денег. Едим один сушеный горох».

И этот хор голосов непрерывно множился: «Мы все голодаем — и жена твоя, и твои ребятишки, и твои родители. Когда же это кончится‑то? Скоро ль ты приедешь домой? Мы голодаем, голодаем...» И когда в поредевшей армии были отменены отпуска, солдаты самовольно ушли домой, чтобы вспахать землю, посеять хлеб, починить дома и поправить изгороди. Полковые командиры, зная, что предстоят жаркие бои, посылали этим солдатам письма, прося вернуться в часть, и, понимая положение вещей, обещали, что с нарушителей ничего не спросится. Чаще всего солдаты возвращались, если видели, что в ближайшие месяцы их близким голод не грозит. Эти «пахотные отлучки» не ставились на одну доску с дезертирством перед лицом неприятеля, но они не могли не ослаблять армии.

Доктор Мид поспешил нарушить неловкое молчание. Голос его звучал холодно:

— Численное превосходство сил противника над нашими вооруженными силами никогда не имело существенного значения. Один конфедерат стоит дюжины янки.

Дамы закивали. Эта истина была всем известна.

— Так было в первые месяцы войны, — сказал Ретт Батлер. — Возможно, так было бы и сейчас, будь у конфедератов пули для винтовок, сапоги на ногах и не пустой желудок. А вы что скажете, капитан Эшберн?

Он говорил вкрадчиво и все с тем же показным смирением. Кэйри Эшберн был в большом затруднении, так как он — по всему было видно — тоже крепко недолюбливал капитана Батлера и охотно принял бы сторону доктора, но лгать Кэйри не умел. Потому он и попросился на фронт, невзирая на свою искалеченную руку, что понимал то, чего не понимало гражданское население города, — серьезность положения. И таких, как он, было немало — немало одноногих калек, ковылявших на деревяшках, одноруких, или с оторванными пальцами, или слепых на один глаз, которые, безропотно оставив работу в интендантских службах, в госпитале, в железнодорожном депо или на почте, возвращались в свои прежние войсковые части. Они знали, что старине Джо нужен сейчас каждый солдат.

Капитан Эшберн ничего не ответил, и доктор Мид, потеряв терпение, загремел:

— Наши солдаты и раньше сражались без сапог и с пустым желудком и одерживали победы. И они снова будут сражаться и победят! Говорю вам: генерала Джонстона не выбить с его позиций! Горные твердыни всегда, во все времена служили надежным оплотом против захватчиков. Вспомните, вспомните про Фермопилы!

Как ни старалась Скарлетт что‑нибудь вспомнить, слово «фермопилы» ничего ей не говорило.

— Но они же погибли там все, при Фермопилах, все до единого солдата, разве не так, доктор? — спросил Ретт, и губы его дрогнули — он, казалось, с трудом сдерживал смех.

— Вы, должно быть, смеетесь надо мной, молодой человек!

— Что вы, доктор! Помилуйте! Вы меня не поняли. Я просто хотел получить у вас справку. Я плохо помню античную историю.

— Если потребуется, наши солдаты тоже полягут все до единого, но не допустят, чтобы янки продвинулись в глубь Джорджии, — решительно заявил доктор. — Только этого не будет. Они выбьют янки из пределов Джорджии после первой же схватки.

Тетушка Питтипэт торопливо поднялась с кресла и попросила Скарлетт сыграть для гостей что‑нибудь на фортепьяно и спеть. Она видела, что разговор быстро принимает бурный и опасный оборот. Она с самого начала знала, что не обойдется без неприятностей, если оставить Ретта Батлера ужинать. С ним никогда не обходится без неприятностей. Она просто не понимала, как этот человек умудряется всегда всех бесить. О господи, господи! И что только Скарлетт находит в нем! И как дорогая Мелани решается его защищать!

Скарлетт поспешно направилась в гостиную, а на веранде воцарилась тишина, насыщенная неприязнью к Ретту Батлеру. Как может кто‑то не верить всем сердцем и всей душой в непобедимость генерала Джонстона и его солдат? Верить — это священный долг каждого. А тот, чье вероломство лишило его этой веры, должен хотя бы из чувства приличия держать язык за зубами.

Скарлетт взяла несколько аккордов, и из гостиной донеслись печальные и неясные слова популярной песни:

В палату, пропахшую кровью,

Где рядом — живой и мертвец,

Одаренный чьей‑то любовью,

Доставлен был юный храбрец.

Столь юный, любимый столь нежно.

И зримо на бледном челе

Мерцал приговор неизбежный:

Он скоро истлеет в земле.

«В поту золотистые кудри...» — грустило глуховатое сопрано Скарлетт. Тут Фэнни, приподнявшись с кресла, крикнула слабым, сдавленным голосом:

— Спойте что‑нибудь другое!

Музыка оборвалась. Скарлетт растерянно умолкла. Затем поспешно заиграла вступление к «Серым мундирам», но, вспомнив, как трагичен конец и этой песни, совсем смешалась и взяла неверный аккорд. После этого фортепьяно некоторое время молчало, ибо Скарлетт окончательно стала в тупик: во всех песнях была печаль, смерть, разлука.

Ретт встал, положил Уэйда на колени Фэнни Элсинг и скрылся в гостиной.

— Сыграйте «Мой дом, мой Кентукки», — спокойно подсказал он, и Скарлетт обрадовано заиграла и запела. Сочный бас Ретта вторил ей, и когда они начали второй куплет, напряжение на веранде стало ослабевать, хотя, видит бог, и эту песню никак нельзя было назвать веселой. Еще день, еще два свою ношу нести. И не ждать ниоткуда подмоги. Еще день, еще два по дорогам брести. Здравствуй, дом мой, о мой Кентукки...

Пока что все предсказания доктора Мида сбывались. Генерал Джонстон и в самом деле стоял как неприступный, несокрушимый бастион в горах под Далтоном в ста милях от Атланты. Так незыблемо он стоял и так ожесточенно противился стремлению Шермана проникнуть в долину и двинуться к Атланте, что янки отошли назад и созвали совещание. Поскольку им не удавалось прорвать серые линии ударом в лоб, они под покровом ночи пошли горными тропами в обход, рассчитывая напасть на Джонстона с тыла и перерезать железнодорожные пути у Резаки, в пятнадцати милях от Далтона.

Как только эти две драгоценные полоски стали оказались под угрозой, конфедераты покинули с такой отчаянной решимостью защищаемые ими стрелковые гнезда и форсированным маршем при блеске звезд двинулись к Резаке наиболее коротким, прямым путем, и янки, спустившись с предгорий, вышли прямо на них, но войска южан были уже готовы к встрече: брустверы возведены, батареи расставлены, солдаты лежали в окопах, ощетинившись штыками, — все было как под Далтоном.

Когда от раненых, прибывавших из Далтона, начали поступать отрывочные сведения об отступлении старины Джо к Резаке, Атланта была удивлена и слегка встревожена. Маленькое темное облачко появилось на северо‑западе — первый вестник надвигающейся летней грозы. О чем думает генерал, позволяя янки продвинуться на восемнадцать миль в глубь Джорджии? Горы — это природная, естественная крепость, вот и доктор Мид так говорил. Почему же старина Джо не задержал противника там?

Войска Джонстона оказали отчаянное сопротивление у Резаки и снова отразили атаку янки, но Шерман повторил свой фланкирующий маневр, обошел противника, взяв его в полукольцо, переправился через реку Оостанаула и создал угрозу железнодорожной линии в тылу у конфедератов. И снова серые мундиры спешно покинули свои красные глиняные окопы, чтобы отстоять железнодорожное полотно, и, усталые, измотанные боями, переходами, недосыпанием и как всегда голодные, совершили еще один быстрый бросок в глубь долины. Опередив янки, они вышли к маленькому селению Калхоун, в шести милях от Резаки, окопались и к приходу янки готовы были к обороне. Атака повторилась, завязалась жестокая схватка, и нападение было отбито. Измученные конфедераты повалились на землю, побросав винтовки, моля бога о передышке, об отдыхе. Но отдыха для них не было. Шерман неумолимо, шаг за шагом приближался, обходя их с флангов, вынуждая снова и снова отступать, дабы удерживать железнодорожные пути у себя за спиной.

Конфедераты спали на ходу, слишком измученные, чтобы о чем‑нибудь думать. Но когда их сознание в какой‑то миг прояснялось, они верили в старину Джо. Они понимали, что отступают, но знали также, что ни разу не были побиты. Просто их было слишком мало, чтобы одновременно и удерживать позиции, и препятствовать обходным маневрам Шермана. Они могли побить янки и били их всякий раз, когда те останавливались и вступали в схватку. Каков будет конец этого отступления, они не знали. Но старина Джо знал, что делает, и этого им было довольно. Он искусно проводил отступление, ибо убитых с их стороны было немного, а янки они поубивали и забрали в плен великое множество. Сами они не потеряли ни одного фургона и только четыре орудия. Не потеряли они и железнодорожных путей у себя в тылу. Шерману не удалось их захватить — не помогли ни фронтальные атаки, ни кавалерийские налеты, ни обходные маневры.

Железная дорога. Она по‑прежнему была в их руках — эти узкие полоски металла, убегавшие, виясь по залитым солнцем полям, вдаль к Атланте. Люди устраивались на ночлег так, чтобы видеть поблескивавшие при свете звезд рельсы. Люди падали, сраженные пулей, и последнее, что видел их угасающий взор, были сверкающие под беспощадным солнцем рельсы и струящееся над ними знойное марево.

Войска отходили вглубь страны по долине, а впереди них оказывалась армия беженцев. Плантаторы и безземельные, богатые и бедные, белые и черные, женщины и дети, старики и калеки, раненые и умирающие, и даже женщины на сносях запрудили дороги к Атланте: они шли пешком, они ехали на поездах, верхом, в экипажах, на повозках, доверху загруженных сундуками и всякой домашней утварью... На пять миль впереди отступающей армии катилась волна беженцев, застревая в Резаке, в Калхоуне, Кингстоне — каждый раз в надежде услышать, что янки отброшены назад и путь домой свободен. Но не было для них пути обратно по этой солнечной долине. Серые ряды солдат проходили мимо покинутых поместий, брошенных ферм, опустевших хижин с распахнутыми настежь дверями. Кое‑где можно было увидеть одинокую фигуру женщины, не покинувшей родного гнезда, и возле нее кучку перепуганных рабов. Женщины выходили на дорогу, чтобы приветствовать солдат, напоить жаждущих свежей водой, принесенной в ведерке из колодца, перевязать раненых или похоронить мертвых на своем семейном кладбище. Но чаще солнечная долина казалась совсем безлюдной и заброшенной — лишь палимые солнцем посевы одиноко стояли в полях.

Снова обойденный с флангов под Калхоуном, Джонстон отступил к Адаирсвиллу, где завязалась жаркая перестрелка, оттуда — к Кассвиллу и затем дальше на юг, к Картерсвиллу. Теперь уже неприятель продвинулся на пятьдесят пять миль от Далтона. Проделав еще пятнадцать миль по дороге отступлений и боев, серые цепочки заняли твердый оборонительный рубеж под Нью‑Хоуп‑Черч и окопались. Синие цепочки неотвратимо наползали, извиваясь, как невиданные змеи, ожесточенно нападали, жалили, оттягивали свои поредевшие ряды назад и бросались в атаку снова и снова. Жестокие бои под Нью‑Хоуп‑Черч длились безостановочно одиннадцать суток, и все атаки противника были отбиты в кровавом бою. После чего Джонстон, снова обойденный с флангов, отступил со своей обескровленной армией еще на несколько миль.

Потери армии конфедератов при Нью‑Хоуп‑Черч убитыми и ранеными были огромны. Поезда с ранеными прибывали в Атланту один за другим, и город пришел в смятение. Такого количества пострадавших здесь не видели ни разу, даже после битвы при Чикамауге. Госпитали были переполнены, раненые лежали прямо на полу в опустевших складах и на кипах хлопка — в хранилищах. Все гостиницы, все пансионы и все частные владения были забиты жертвами войны. Не избег этой участи и дом тетушки Питтипэт, хотя она и пробовала протестовать, заявляя, что это верх неприличия — держать в доме незнакомых мужчин, особенно когда Мелани в интересном положении и может выкинуть от страшного зрелища крови и ран. Но Мелани подтянула повыше верхний обруч своего кринолина, дабы скрыть выступающий живот, и раненые наводнили кирпичный дом. Один за другим потекли дни беспрерывной стряпни, стирки, скатывания бинтов, щипания корпии, перекладываний, приподниманий, обмахиваний веерами, вперемежку с жаркими бессонными ночами под аккомпанемент бессвязных выкриков раненых, мечущихся в бреду в соседней комнате. Когда задыхающийся город больше уже никого не мог вместить, поток раненых был направлен в госпитали Мэйкона и Огасты.

Хлынувшая в Атланту волна раненых принесла с собой ворох разноречивых сообщений; приток беженцев рос, затопляя и без того забитый людьми город, и охваченная волнением Атланта гудела. Маленькое облачко, появившееся на небосклоне, стремительно росло, превращаясь в огромную зловещую грозовую тучу, и на город повеяло леденящим душу ветром.

Никто еще не утратил веры в непобедимость армии, но никто — никто из гражданского населения, во всяком случае, — не верил больше в генерала Джонстона. От Нью‑Хоуп‑Черч было всего тридцать пять миль до Атланты! За три недели генерал Джонстон позволил янки отбросить его войско на шестьдесят пять миль! Почему, вместо того чтобы остановить янки, он беспрерывно отступает? Он тупица и даже того хуже! Седобородые мужи из войск внутреннего охранения и милиции, благополучно пересидевшие все бои в Атланте, утверждали, что они провели бы эту кампанию куда лучше, и в доказательство чертили на скатертях карты военных действий. Генерал Джонстон, вынужденный отступать все дальше и дальше, когда его войско совсем поредело, в отчаянии воззвал к губернатору — Брауну, прося о подкреплении за счет именно этих гарнизонных служак, но те чувствовали себя в полной безопасности. Ведь губернатор уже однажды не внял такому же требованию со стороны Джефа Дэвиса. Чего ради станет он удовлетворять просьбу генерала Джонстона?

Бои и отступления! И снова бои, и снова отступления! Двадцать пять суток почти ежедневных боев и семьдесят пять миль отступлений выдержала армия конфедератов. Теперь уже и Нью‑Хоуп‑Черч остался позади, превратившись в еще одно воспоминание в ряду других таких же безумных воспоминаний, в которых, как в кровавом тумане, смешалось все: и жара, и пыль, и голод, и усталость... и шлеп, шлеп сапогами по красным колеям дорог, и шлеп, шлеп по красной слякоти... и в бой, и отходи, и окапывайся, и снова в бой, и снова отходи, и снова окапывайся, и снова в бой... Нью‑Хоуп‑Черч был кошмаром уже из какой‑то другой жизни и таким же кошмаром был и Биг‑Шэнти, где они внезапно повернули и ударили по янки, налетели на них как черти. Но, сколько бы они ни били янки, оставляя позади усеянные синими мундирами поля, вокруг снова были янки, снова свежие и свежие пополнения, снова с северо‑востока наползало зловещее синее полукольцо, прорываясь в тыл конфедератам, к железной дороге, к Атланте!

От Биг‑Шэнти измученные, не спавшие ночи и ночи подряд отряды отступили вдоль дороги до горы Кеннесоу, неподалеку от маленького городка Мариетты, и заняли там оборонительный рубеж, растянувшись дугой на десять миль. На крутых склонах горы они вырыли свои одиночные окопчики, а над ними, на вершине, расположили батареи. Обливаясь потом, чертыхаясь, солдаты на руках втаскивали тяжелые орудия на благословенные кручи, куда не могли взобраться мулы. Раненые и вестовые, прибывавшие в Атланту, успокаивали перепуганное население города. Кручи Кеннесоу неприступны. Так же как и гора Пай и гора Лост, расположенные рядом и тоже укрепленные. Янки не смогут выбить старину Джо с его позиций, и теперь им едва ли удастся обойти его с флангов, так как укрытые в горах батареи держат под огнем все дороги на много миль. Атланта вздохнула было свободно, но...

Но ведь гора Кеннесоу была всего в двадцати двух милях от города!

В день, когда первые раненые с горы Кеннесоу стали прибывать в город, экипаж миссис Мерриуэзер остановился перед домом тетушки Питти в совершенно не предусмотренный для визитов час — в семь утра, и черный слуга, дядюшка Леви, был послан наверх, к Скарлетт: пусть она немедленно оденется — надо ехать в госпиталь. Фэнни Элсинг и сестры Боннелл, поднятые ни свет ни заря с постелей, отчаянно зевали на заднем сиденье экипажа, а элсинговская кормилица с крайне недовольным видом сидела на козлах с корзиной свежевыстиранных бинтов на коленях. Скарлетт встала с постели раздосадованная, так как протанцевала всю ночь напролет на балу в гарнизоне, и у нее от усталости гудели ноги. Пока Присей застегивала на ней самое старое и поношенное ситцевое платье, надевавшееся только в госпиталь, она мысленно проклинала деятельную и неутомимую миссис Мерриуэзер и раненых, а заодно и всю Конфедерацию в целом. Наскоро хлебнув горького пойла из сушеного батата и поджаренной кукурузы, заменявшего кофе, она вышла из дому и забралась в коляску.

Осточертела ей эта работа в госпитале. Сегодня же она скажет миссис Мерриуэзер, что Эллин прислала письмо: просит ее приехать домой погостить.

Однако толку от этого вышло мало. Достойная матрона в платье с засученными выше локтя рукавами и в широченном переднике, облегавшем ее дородную фигуру, искоса метнула на нее острый взгляд и сказала:

— Чтобы я больше не слышала от вас этого вздора, Скарлетт Гамильтон! Сегодня же напишу вашей матушке и объясню, как мы нуждаемся в вашей помощи. Не сомневаюсь, что она поймет и разрешит вам остаться. А теперь надевайте передник и живей — к доктору Миду. Ему нужна помощница делать перевязки.

«О боже! — угрюмо подумала Скарлетт. — Да в том‑то и беда. Мама, конечно же, велит мне остаться здесь, а я просто погибаю от этой вони, не могу я больше! Вот будь я старухой — тогда сама командовала бы девчонками, а мной никто бы не командовал... И послала бы я всех этих старых ведьм во главе с миссис Мерриуэзер ко всем чертям!»

Да просто с души воротит от этого госпиталя, от этого зловония, вшей, немытых, искалеченных тел. Если поначалу в работе для нее была новизна, какая‑то романтика, то еще год назад ей все приелось. К тому же эти раненые, испытавшие горечь отступления, были совсем не так привлекательны, как те, из первых эшелонов. Они не проявляли к ней никакого интереса. От них только одно и можно было услышать: «Как там наши бьются?» «А что предпринял сейчас старина Джо?» «Страх какой мозговитый командир старина Джо». А Скарлетт старина Джо совсем не казался таким уж мозговитым. Все, что он сумел сделать, — это позволил янки проникнуть на восемьдесят восемь миль в глубь Джорджии. Нет, эти раненые были ей совсем не симпатичны. К тому же очень уж многие из них умирали — умирали быстро, молча, слишком истощенные, чтобы бороться с гангреной, заражением крови, тифом и пневмонией, начавшимися прежде, чем они смогли добраться до Атланты и попасть в руки врача.

Дни стояли жаркие, и в отворенные окна тучами залетали мухи — жирные, ленивые мухи, истощавшие терпение раненых хуже, чем боли от ран. Волны страданий и смрада обступали Скарлетт со всех сторон, вздымались все выше и выше. Ее свеженакрахмаленное платье взмокло от пота, пока она, с тазом в руках, следовала за доктором Мидом, переходя от раненого к раненому.

Боже, как ей было гадко, какие усилия она прилагала, чтобы ее не стошнило у всех на глазах, когда блестящий нож доктора Мида вонзался в истерзанное тело! А как ужасно было слышать доносившиеся из операционной вопли, когда там производилась ампутация! Как мучительно испытывать чувство жалости и бессилия, глядя на бледные лица искалеченных людей, слышавших эти вопли и напряженно ожидавших, что доктор сейчас подойдет и скажет: «Что поделаешь, мой мальчик, руку тебе придется отнять. Да, да, я понимаю, но ты же видишь эти багровые пятна? Придется тебе с ней расстаться».

Хлороформа не хватало, и к нему приходилось прибегать лишь при самых тяжелых ампутациях; опиум тоже был на вес золота, и его давали только умирающим, чтобы облегчить им переход на тот свет, а оставшимся на этом свете облегчить страдания было нечем. И ни хинина, ни йода не было совсем. Да, Скарлетт все это осточертело, и в то утро она позавидовала Мелани, которую беременность спасала от работы в госпитале. Это была почти единственная причина, считавшаяся уважительной в глазах общества и избавлявшая от ухода за ранеными.

В полдень Скарлетт сняла передник и потихоньку улизнула из госпиталя, пока миссис Мид писала письмо под диктовку какого‑то долговязого неграмотного горца. Скарлетт чувствовала, что силы ее иссякли. Достаточно уж ею помыкали. К тому же она знала, что сейчас прибудет еще состав с ранеными, и тогда ей придется работать до ночи и даже поесть, возможно, будет некогда.

Она быстро миновала два коротких квартала до Персиковой улицы, жадно и глубоко, насколько позволял туго затянутый корсет, вдыхая чистый, не отравленный смрадом воздух. На углу она остановилась, раздумывая, куда бы направиться; ей стыдно было возвратиться к тете Питти, но она твердо решила, что в госпиталь назад не пойдет, и тут вдруг увидела проезжавшего в кабриолете Ретта Батлера.

— Вы похожи сейчас на дочку старьевщика, — заметил он, одним взглядом охватив заштопанное лиловатое ситцевое платье в пятнах от пота и расплескавшейся из таза воды. Скарлетт не знала, куда деваться от смущения, и страшно обозлилась. Почему он всегда обращает внимание на дамские туалеты, да еще позволяет себе делать грубые замечания по поводу ее неряшливого вида!

— Ваше мнение меня не интересует, спуститесь‑ка, помогите мне сесть и отвезите куда‑нибудь, где бы меня никто не мог увидеть. Я не вернусь в госпиталь — пусть меня повесят! Не я выдумала эту войну и не вижу причины, почему я должна работать до потери сознания...

— Но это же отступничество от Нашего Священного Дела!

— Вам ли это говорить! Помогите мне сесть в кабриолет. Куда бы вы ни направлялись, вы сначала повезете меня прокатиться.

Он спрыгнул на землю, и Скарлетт внезапно подумала: как приятно видеть нормального мужчину — не безрукого, не безногого, не окривевшего, не желтого от малярии, не белого как мел от боли — крепкого, здорового мужчину. И хорошо одетого к тому же. И брюки и сюртук Ретта были из одного и того же материала и сидели на нем отлично, а не болтались как на вешалке и не были узки так, что не пошевелиться. При этом они были новые, а не какое‑нибудь старье, где из прорех выглядывает грязное, волосатое голое тело. Словом, вид у Ретта был такой, точно ему неведомы никакие заботы на свете, и это само по себе казалось просто невероятным, ибо теперь все мужчины были какие‑то озабоченные, встревоженные, мрачные. А смуглое лицо Ретта хранило безмятежное выражение, и когда он подсаживал Скарлетт в кабриолет, яркий, чувственный рот его с почти женственно‑красивым изгибом губ тронула беззаботная улыбка.

Следом за ней он вскочил в экипаж и опустился на сиденье рядом, и она заметила, как играют мускулы под его щегольским костюмом, и снова, как всегда, ее внезапно взволновало исходившее от него ощущение недюжинной силы. Со смутным, тревожным чувством, похожим на страх, она, словно зачарованная, не могла отвести глаз от его сильных рук и плеч. Крепкое, мускулистое тело Ретта, казалось, таило в себе такую же беспощадность, как его резкий, холодный ум. И вместе с тем его отличала мягкая грация пантеры — ленивая грация хищника, нежащегося на солнце, но в любую минуту готового к смертоносному прыжку.

— Ах, вы, маленькая мошенница, — сказал Ретт и прищелкнул языком, погоняя лошадь. — Вы же, конечно, всю ночь до утра протанцевали с солдатами, дарили им розы и ленты и уверяли всех, что готовы умереть за наше Дело, а когда понадобилось перевязать двух‑трех раненых и поймать двух‑трех вшей, поспешили удрать.

— Вы не можете поговорить о чем‑нибудь другом и подстегнуть лошадь? Не хватает еще попасться на глаза дедуле Мерриуэзеру, когда он выйдет из своей лавки. Старик не преминет, конечно, все разболтать старухе... Я хочу сказать, миссис Мерриуэзер.

Ретт легонько стегнул лошадь кнутом, и она припустилась бодрой рысью через площадь Пяти Углов к железнодорожному переезду, рассекавшему город надвое. Состав с ранеными только что подошел к платформе, и санитары с носилками бегали под палящим солнцем, перетаскивая раненых в санитарные фуры и крытые интендантские фургоны. Наблюдая за этим, Скарлетт не испытывала угрызений совести — только чувство огромного облегчения оттого, что ей удалось сбежать.

— Я устала, и меня просто тошнит от этого старого госпиталя, — сказала она, оправляя свои пышные юбки и туже завязывая под подбородком ленты шляпки. — Каждый день прибывают новые и новые раненые. И во всем виноват этот генерал Джонстон. Если бы он стоял себе и стоял под Далтоном, янки бы уже...

— Но он и стоял, глупое вы дитя. А если бы он еще продолжал стоять там, Шерман обошел бы его с флангов, поймал в мешок и уничтожил. И мы потеряли бы железную дорогу, а Джонстон за железную дорогу‑то и бьется.

— Ну и что, — сказала Скарлетт, ибо военная стратегия была выше ее понимания. — Все равно это его вина. Он должен был что‑нибудь сделать, и по‑моему, его надо сместить. Почему он не стоит на месте и не сражается, а все отступает и отступает?

— Вы рассуждаете совсем как те, кто теперь кричит: «Голову ему с плеч долой!», потому что он не в силах совершить невозможное. Он был нашим Христом Спасителем, когда сражался под Далтоном, а к горе Кеннесоу уже стал Иудой Предателем — и это все за каких‑нибудь шесть недель. А стоит ему отогнать янки назад миль на двадцать, и он опять станет Иисусом Христом. Дитя мое, у Шермана вдвое больше солдат, чем у Джонстона, и он может себе позволить потерять двух своих молодцов за каждого нашего доблестного воина. Джонстону же нельзя терять ни одного солдата. Ему позарез нужно подкрепление. А что ему дадут? «Любимчиков Джо Брауна»? Много от них будет толку!

— Да неужели милицию и вправду пошлют на фронт? И войска внутреннего охранения тоже? Я про это не слыхала. А откуда вы знаете?

— Ходят такие слухи. Они распространились после того, как сегодня утром прибыл поезд из Милледжвилла. Поговаривают, что милиция и войска внутреннего охранения будут отправлены к генералу Джонстону для подкрепления. Да, любимчикам губернатора Брауна придется наконец понюхать пороху, и сдается мне — для многих из них это будет большой неожиданностью. Они, конечно, никак не думали, что им придется участвовать в боях. Губернатор, можно сказать, пообещал им, что этого не произойдет. Да, их хорошо обставили. Они чувствовали себя как за каменной стеной, поскольку губернатор стоял за них горой, даже против Джефа Дэвиса, и отказался послать их в Виргинию. Заявил, что они нужны для обороны штата. Ведь никто же не думал, что война докатится и до их двора и им в самом деле придется оборонять свой штат!

— О, как вы можете насмехаться, вы, бессердечное чудовище! Подумайте‑ка, кто там, в этих войсках, — одни старые старики и совсем зеленые подростки. Что же, и этот мальчишка Фил Мид должен идти, и дедушка Мерриуэзер, и дядя Генри Гамильтон?

— Я имею в виду не подростков и не ветеранов Мексиканской войны. Я говорю о храбрецах вроде Уилли Гинена, которые так любят щеголять в военной форме и размахивать саблей...

— А вы‑то сами?

— Мимо цели, моя дорогая. Я не ношу военной формы и не размахиваю саблей, и судьба Конфедерации совсем меня не тревожит. Более того, меня в войска внутреннего охранения, да и в любые другие войска калачом не заманишь. После Вест‑Пойнта я буду сыт военной муштрой до конца дней моих... Но я желаю удачи старине Джо. Генерал Ли не может послать ему подкрепления, потому что янки не дают ему покоя в Виргинии. Поэтому войска Джорджии — единственное, на что он может рассчитывать. Конечно, он заслуживает большего — ведь это великий стратег. Он всегда ухитряется поспеть на место раньше янки. Но ему придется все время отступать, если он хочет сохранить железную дорогу. И помяните мое слово, когда янки вынудят его спуститься с гор сюда, в долину, ему придет конец.

— Сюда? — вскричала Скарлетт. — Вы же прекрасно знаете, что так далеко янки никогда не заберутся!

— Кеннесоу всего в двадцати двух милях отсюда, и я готов держать с вами пари...

— Ретт! Взгляните, что это за толпа там, в конце улицы? Это же не солдаты. Что там такое... Да ведь это негры!

Огромное облако красной пыли вздымалось над улицей, и оттуда доносился шум шагов и звуки доброй сотни негритянских голосов — низких, гортанных голосов, беззаботно распевавших гимн, Ретт остановил кабриолет у обочины, и Скарлетт с любопытством уставилась на толпу обливавшихся потом негров с лопатами и мотыгами на плечах, двигавшуюся по улице под водительством офицера и взвода солдат в форме инженерных войск.

— Что там такое? — снова повторила Скарлетт.

И тут она заметила высоченного негра‑запевалу, шагавшего в первом ряду. Это был черный великан почти шести с половиной футов ростом, двигавшийся с упругой грацией сильного животного; его белые зубы сверкали, когда он выводил мелодию гимна «Спустись с горы к нам, Моисей», которую за ним подхватывал хор. Не может же быть второго такого здоровенного и такого голосистого негра в штате — конечно, это Большой Сэм — надсмотрщик из Тары. Но что он делает здесь, так далеко от дома, да тем более сейчас, когда на плантации нет управляющего и он — единственная опора Джералда, его правая рука?

Она приподнялась на сиденье, стараясь всмотреться получше, и тут взгляд высокого негра упал на нее, и его черное лицо расплылось в восторженной улыбке: он узнал ее. Лопата выпала у него из рук, он было остановился и двинулся прямо к ней, поворачиваясь на ходу к шагавшим рядом с ним неграм и громко восклицая:

— Господи! Да это же мисс Скарлетт! Эй, вы! Илайя! Апостол! Пророк! Это же мисс Скарлетт!

Ряды смешались. Толпа приостанавливалась, неуверенно топчась на месте, а Большой Сэм, за которым следовали еще трое здоровенных негров, бросился через улицу к кабриолету. Офицер устремился за ними вдогонку, крича:

— На место, на место! На место, говорю тебе, не то я буду... О, это вы, миссис Гамильтон. Доброе утро, мэм. Здравствуйте, сэр. Что вы тут натворили — неподчинение, мятеж! Видит бог, я и так уже хватил сегодня лиха с этими парнями.

— О, капитан Рэндл, не браните их! Это же наши негры. Это Большой Сэм, наш надсмотрщик, и те тоже из Тары — Илайя, и Пророк, и Апостол. Конечно, им захотелось поговорить со мной. Как поживаете, ребятки?

Она поздоровалась со всеми поочередно, ее маленькая белая ручка на мгновение исчезала в огромной черной лапище. Все четверо приплясывали на месте, радуясь встрече, гордясь перед остальными своей молодой красавицей хозяйкой.

— Что вы делаете здесь, ребята? Как вы забрались в такую даль? Может, вы сбежали, а? Тогда патруль заберет вас в два счета!

Негры так и покатились со смеху, очень довольные ее шуткой.

— Мы сбежали? — удивился Большой Сэм. — Нет, мэм, мы не беглые. Они приехали и забрали нас, потому как мы самые большие и сильные в Таре. — Сэм горделиво улыбнулся, сверкнув белыми зубами. — А за мной посылали особо, потому как я хорошо пою. Да, мэм, мистер Фрэнк Кеннеди приехал и забрал нас.

— Но почему он вас забрал, Большой Сэм?

— Как почему, мисс Скарлетт? Будто вы не слыхали? Нам велено рыть тут канавы для белых жентмунов. Они будут в них прятаться, когда придут янки.

Капитан Рэндл и сидевшие в кабриолете с трудом сдержали улыбку, услыхав такое истолкование назначения окопов.

— Правду сказать, когда меня забрали, мистера Джералда чуть удар не хватил. Он сказал, что без меня ему никак не управиться с хозяйством. Но мисс Эллин сказала: «Берите, берите его, мистер Кеннеди. Большой Сэм нужней Конфедерации, чем нам». И дала мне доллар и приказала делать все, что белые господа мне велят. Ну, вот мы и здесь.

— Что все это значит, капитан Рэндл?

— Да очень просто. Мы должны лучше укрепить подступы к Атланте, вырыть окопы еще на несколько миль, а генерал не может посылать на эти работы солдат с передовой. Так что мы вынуждены были согнать сюда самых сильных негров со всех плантаций.

— Но зачем же...

Холодок страха ознобом пробежал у нее по телу. Мили новых окопов! Зачем им еще окопы? Ведь прошлый год земляные редуты с установленными на них батареями возводились вокруг Атланты — в миле от центра города. Эти земляные укрепления были связаны траншеями с окопами, которые тянулись миля за милей, окружая город со всех сторон. И еще окопы!

— Но зачем нам еще укрепления, разве мало их уже возведено? Нам же не понадобятся и те, что есть. Ведь генерал, конечно же, не допустит...

— Наши теперешние укрепления расположены всего в одной миле от города, — сухо сказал капитан Рэндл. — А это слишком близко для спокойствия... и для безопасности. Новые окопы будут выдвинуты дальше. Вы понимаете, что при новом отступлении наши войска могут приблизиться вплотную к Атланте.

Он тут же пожалел о своих словах, заметив, как ее глаза расширились от страха.

— Но, конечно, нового отступления не последует, — поспешил он добавить. — Наши батареи размещены на склонах горы и держат под огнем все дороги. Янки не могут пройти.

Но Скарлетт видела, как капитан опустил глаза под бесстрастным проницательным взглядом Ретта, и ее охватил страх. Ей вспомнились последние слова Ретта: «Когда янки вынудят его спуститься в долину, ему придет конец».

— О, капитан, неужели вы полагаете...

— Нет, разумеется, нет! Не забивайте себе голову такими мыслями. Просто старина Джо любит принимать меры предосторожности. Поэтому мы и роем новые окопы — только и всего... Но я должен отправляться дальше... Очень рад был неожиданной встрече... Прощайтесь с вашей хозяйкой, ребята, и живо в строй.

— До свидания, ребята. Если что‑нибудь с вами случится, заболеет кто‑нибудь или еще что, вы дайте мне знать. Я живу на Персиковой улице, почти в самом конце, на выезде из города. Обождите минутку... — Она порылась в ридикюле. — Ах, боже мой, нет с собой ни цента. Ретт, дайте мне несколько мелких монет. На вот, Большой Сэм, купи себе и ребятам табака. И будь умницей, исполняй все, что тебе прикажет капитан Рэндл.

Строй был восстановлен, колонна двинулась дальше, над улицей снова поднялось облако красной пыли, и Большой Сэм запел:

Спустись с горы к нам, Моисей,

На землю древнего Египта.

И моему народу путь

От слуг очисти Фараона.

— Ретт, капитан Рэндл лгал мне? Как лгут все мужчины — все стараются скрыть правду от женщин, боятся, что мы упадем в обморок. Или он не лгал? Но если опасность нам не грозит, зачем они возводят новые укрепления? О Ретт, неужели в армии так мало солдат, что им понадобились негры?

Ретт причмокнул, погоняя кобылу.

— Конечно, в армии чертовски не хватает солдат. Для чего бы иначе понадобилось призывать внутреннее охранение? Ну, а что до рытья окопов, то, по‑видимому, они должны сослужить службу в случае осады. Генерал готовится занять свои последние рубежи здесь.

— В случае осады? О, поворачивайте обратно! Я возвращаюсь домой, домой, в Тару, немедленно.

— Какая муха вас укусила?

— Осада! Боже милостивый, осада! Я знаю, что такое осада! Папа был в осаде... Или, может быть, это был папин папа, но папа рассказывал мне...

— О какой осаде вы говорите?

— Об осаде Дрохеды Кромвелем, когда ирландцам там совсем нечего было есть, и папа говорил, что они умирали с голоду прямо на улицах и под конец съели всех кошек и крыс и разных насекомых, вроде тараканов. Он говорил, что они даже ели друг друга, пока не сдались, только я никогда не знала, можно ли этому верить. А когда Кромвель взял город, то всех женщин... Осада! Матерь божья!

— Вы просто дикарка — такой невежественной женщины я, право, еще не встречал. Осада Дрохеды — ведь это было в семнадцатом столетии, и мистер О’Хара едва ли мог быть свидетелем ее. К тому же Шерман не Кромвель...

— Нет, он еще хуже. — Говорят...

— Что же касается экзотических блюд, которыми питались ирландцы во время осады, то я, пожалуй, предпочту хорошую сочную крысу тому вареву, какое мне на днях подали здесь в гостинице. Нет, надо возвращаться в Ричмонд. Там можно хорошо поесть, были бы деньги. — Он с насмешкой глядел на ее испуганное лицо.

Раздосадованная тем, что он стал свидетелем ее растерянности, она воскликнула:

— А я вообще не понимаю, почему вы все еще здесь! Вам же на все наплевать, лишь бы самому жилось с удобствами и можно было хорошо поесть и... ну, и всякое такое.

— По‑моему, вкусно поесть «и всякое такое» — это одно из самых приятных времяпрепровождений на свете, — сказал Ретт. — А почему я торчу здесь? Так, видите ли, я немало читал про осажденные города, но собственными глазами еще ни разу этого не видел. Вот и решил остаться здесь и понаблюдать. Мне ничто не угрожает, так как я не военнообязанный, и набраться впечатлений интересно. Никогда не упускайте случая испытать нечто новое, Скарлетт. Это расширяет кругозор.

— У меня достаточно широкий кругозор.

— Вероятно, вам лучше знать, но я бы сказал... Впрочем, это не совсем галантно. А, может быть, я остаюсь здесь, чтобы спасти вас, если город действительно будет осажден. Мне еще никогда не приходилось спасать прекрасных дам от гибели. Это тоже будет совсем новое впечатление.

Она знала, что он просто шутит, но в его голосе ей почудилась серьезная нотка. Она тряхнула головой.

— Я не нуждаюсь в том, чтобы вы меня спасали. Я сумею сама позаботиться о себе, мерси.

— Не говорите так, Скарлетт. Думайте так, если вам нравится, но никогда, никогда не говорите этого мужчине. Это беда всех женщин‑северянок. Они были бы обольстительны, если бы постоянно не говорили, что умеют постоять за себя, мерси. И ведь в большинстве случаев они говорят правду, спаси их господи и помилуй. И конечно, мужчины оставляют их в покое.

— Интересно, до чего вы еще договоритесь, — холодно произнесла Скарлетт, так как сравнение с женщинами‑янки было худшим из оскорблений. — А насчет осады, я думаю, вы лжете. Сами знаете, что янки никогда не подойдут к Атланте.

— Предлагаю вам пари, что они будут здесь не позднее как через месяц. Ставлю коробку конфет, а с вас потребую... — Он скользнул взглядом по ее губам. — С вас потребую поцелуй.

На миг страх перед вторжением янки снова сжал ее сердце, но тут же растаял при слове «поцелуй». Теперь она снова почувствовала себя в своей стихии, и это было куда интересней, чем обсуждение всяких там военных операций. Она с трудом сдержала торжествующую улыбку. С того памятного дня, когда Ретт подарил ей зеленую шляпку, в его поведении больше не было ни малейшего намека на любовное ухаживание. Как бы она ни старалась, ей ни разу не удалось втянуть его в сколько‑нибудь игривую беседу, и вот теперь, без всяких поощрений с ее стороны, он вдруг заговорил о поцелуях.

— Я не желаю разговаривать с вами о таких интимных вещах, — холодно сказала она и сурово нахмурилась. — И если на то пошло, я скорее поцелую хрюшку.

— О вкусах не спорят, и я действительно слышал не раз, что ирландцы и впрямь питают особое пристрастие к свиньям... даже держат их у себя под кроватью. Но, Скарлетт, вам же до смерти хочется целоваться. Вот ведь в чем ваша беда. Все ваши поклонники или относятся к вам с чрезмерным уважением — совершенно непонятно, кстати, почему — или же слишком робеют перед вами и потому не могут вести себя так, как вам бы хотелось. Это сделало вас невыносимо чванливой. Нужно, чтобы вас кто‑то целовал. Ну и конечно, тот, кто умеет это делать.

Разговор принимал совсем не тот оборот, какого она ждала. С Реттом всегда получалось так. Всегда возникало нечто вроде словесного поединка, из которого он неизменно выходил победителем.

— И себя вы, по‑видимому, считаете самой подходящей для этого персоной? — ядовито спросила она, с трудом обуздывая нараставшую в ней злость.

— Да, вполне, если, конечно, мне придет охота взять на себя труд, — небрежно отвечал он. — Говорят, я знаю в этом толк.

— О, вы... — начала она, глубоко уязвленная таким пренебрежением к ее чарам. — Да вы просто... — Неожиданно она смешалась и смущенно потупилась. Ретт улыбался, но в глубине его темных глаз вдруг жарко полыхнуло что‑то.

— Вы, вероятно, удивлены, почему я, подарив вам шляпку и целомудренно чмокнув вас в щечку, никогда больше не возобновлял своей попытки...

— Я об этом даже и не...

— В таком, случае вы не настоящая светская дама, Скарлетт, и я очень огорчен. Настоящие светские дамы всегда бывают удивлены, если мужчины не стараются их поцеловать. Они знают, что не должны этого желать и должны делать вид, что оскорблены, если кто‑то позволит себе такое, и тем не менее они хотят, чтобы попытка была сделана... Ну, ничего, дорогая, не унывайте. Когда‑нибудь я поцелую вас, и вам это будет приятно. Но не сейчас, так что запаситесь терпением.

Она понимала, что он шутит, и, как всегда, это выводило ее из себя. В его шутках была слишком большая доля правды. Ладно, на этом их отношения кончаются. Если когда‑нибудь, когда‑нибудь он будет настолько невоспитан, что попробует позволить себе какие‑то вольности, она ему покажет.

— Не будете ли вы так любезны повернуть обратно, капитан Батлер? Я хочу возвратиться в госпиталь.

— Вы в самом деле этого хотите, мой прелестный ангел? Значит, тазы с помоями и насекомые вам приятнее беседы со мной? Что ж, ни в коей мере не хотел бы я помешать двум прилежным ручкам трудиться во славу Нашего Доблестного Дела. — Ретт повернул кабриолет, и они покатили в сторону Пяти Углов.

— Что же до того, почему я не делал вам больше авансов, — как ни в чем не бывало продолжал Ретт, словно не заметив ее нежелания поддерживать разговор, — так это потому, что я жду, когда вы немного повзрослеете; не думаю, чтобы ваш поцелуй доставил мне сейчас ни с чем не сравнимое наслаждение, а я настолько эгоистичен, что ценю свои удовольствия превыше всего. Целоваться же с маленькими девочками мне как‑то никогда не казалось увлекательным.

Он подавил усмешку, заметив краем глаза, как бурно вздымается ее грудь. Скарлетт явно была вне себя от бешенства.

— Ну и к тому же, — негромко добавил он, — я жду, когда воспоминание о достопочтенном Эшли Уилксе несколько померкнет.

При упоминании имени Эшли боль внезапно пронзила все ее существо и слезы обожгли веки. Померкнет? Воспоминание об Эшли никогда не может померкнуть. Даже если он умрет, она будет помнить его, проживи она хоть сто лет. Ей подумалось, что, быть может, Эшли умирает сейчас от ран где‑то там, далеко, далеко, в плену у янки, и у него нет даже одеяла, чтобы укрыться, и нет возле него никого, кто бы его пожалел, кто подержал бы его руку в своей руке, и она почувствовала прилив острой ненависти к этому сытому, благополучному человеку, сидевшему рядом с ней и лениво цедившему фразы, в которых она как всегда улавливала насмешку.

Она не могла произнести ни слова от душившей ее злобы, и некоторое время они ехали молча.

— Мне теперь, в сущности, ясно все, что касается вас и Эшли, — снова заговорил Ретт. — После той не слишком пристойной сцены в Двенадцати Дубах я наблюдал за вами и сделал кой‑какие выводы. Какие именно? А то, что вы все еще лелеете в своей душе детскую романтическую любовь к этому человеку и он отвечает вам взаимностью — в той мере, в какой ему позволяет это его благородная возвышенная натура. А миссис Уилкс находится в полном неведении о происходящем, и вы здорово водите ее за нос. Мне ясно все, за исключением одного, и это чрезвычайно бередит мое любопытство: отважился ли благородный Эшли поцеловать вас с риском погубить свою бессмертную душу?

Ответом послужило гробовое молчание и повернутая к нему затылком голова.

— Ага, прекрасно, значит, все‑таки отважился. Вероятно, это произошло, когда он приезжал сюда в отпуск. И теперь, поскольку благородный Эшли, возможно, уже мертв, вы благоговейно храните этот поцелуй в своем сердце. Но я не сомневаюсь, что это у вас пройдет, и когда воспоминание о его поцелуе изгладится из вашей памяти, я...

Вне себя от ярости Скарлетт повернулась к нему.

— Подите вы к дьяволу! — прошипела она сквозь зубы, и ее зеленые, сощуренные от ненависти глаза сверкнули, как два узких лезвия, на перекошенном злобном лице. — Остановите кабриолет, иначе я спрыгну на ходу. Я знать вас больше не желаю.

Ретт осадил лошадь, но прежде чем он успел сойти и помочь Скарлетт, она спрыгнула на землю. Кринолин зацепился за колесо, и на мгновение глазам всех прохожих на площади Пяти Углов открылось зрелище нижних юбок и панталон. В ту же секунду Ретт наклонился и отцепил платье. Скарлетт, не проронив ни слова, даже не обернувшись, бросилась прочь. Ретт негромко рассмеялся и тронул вожжами лошадь.

### Глава XVIII

Впервые с начала войны в Атланте стал слышен грохот орудий. В ранние часы утра, когда город еще не пробуждался от сна, со стороны горы Кеннесоу стали долетать слабые раскаты канонады — глухой гул, который можно было принять за далекую летнюю грозу. Но временами орудийная стрельба, перекрывая городской шум, была слышна и в полдень. Люди старались не прислушиваться к ней, старались разговаривать, смеяться, продолжать свои повседневные дела, не думать о том, что янки там, в двадцати двух милях от города, но ухо невольно ловило звуки боя. И у всех были напряженные лица: чем бы ни были заняты руки, уши прислушивались и сердце уходило в пятки сотни раз на дню. Канонада стала слышней? Или это просто кажется? Остановит их на этот раз генерал Джонстон? Остановит ли?

Панический страх готов был прорваться наружу. Каждый новый день отступления истощал натянутые нервы, и казалось, они вот‑вот не выдержат. Все таили свой страх про себя, проявлять его считалось недопустимым, но внутреннее напряжение находило выход в громкой критике генерала. Страсти достигли апогея. Шерман стоял у ворот Атланты. Еще одно отступление могло отбросить конфедератов на улицы города.

Дайте нам генерала, который бы не отступал! Дайте нам такого, который бы стоял и сражался!

Под далекие глухие раскаты канонады милиция штата — «любимчики Джо Брауна» — и войска внутреннего охранения маршем прошли через Атланту, направляясь на оборону мостов и переправ на реке Чаттахучи в тылу у генерала Джонстона. День был пасмурный, хмурый, и когда они промаршировали у Пяти Углов и вышли на улицу Мариетты, начал моросить дождь. Весь город высыпал поглядеть, как они уходят: все стояли, сбившись в кучки под тентами магазинов на Персиковой улице, и пытались подбадривать воинов напутственными криками.

Скарлетт и Мейбелл Мерриуэзер‑Пикар получили разрешение отлучиться из госпиталя, чтобы проводить уходящие войска, поскольку дядя Генри и дедушка Мерриуэзер находились в частях внутреннего охранения, и теперь они обе стояли вместе с миссис Мид в гуще толпы, приподымаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть. Скарлетт, несмотря на общую для всех южан готовность верить лишь тому, что обнадеживает и вселяет бодрость, чувствовала, что у нее холодеет все внутри при виде разношерстных марширующих колонн. Видно, положение стало совсем отчаянным, если уж поставили под ружье этих никудышных тыловиков — дряхлых стариков и мальчишек! Попадались, конечно, и молодые, здоровые мужчины — эти выглядели нарядно в яркой форме отборных частей милиции: на шляпах колыхались перья, длинные концы кушаков развевались на марше. Но стариков и совсем желторотых юнцов было так много, что сердце Скарлетт сжималось от жалости и страха. Так много седобородых мужчин старше ее отца старались бодро шагать в ногу под моросящим дождем под дробь полкового барабана и свист дудок! Дедушка Мерриуэзер в лучшей шотландской шали миссис Мерриуэзер, накинутой от дождя на плечи, шагал в первом ряду и широко улыбнулся, приветствуя женщин. Мейбелл прошептала Скарлетт на ухо, сжав ей руку.

— Несчастный старик! Первый же хороший ливень прикончит его, бедняжку! С таким ишиасом...

Дядя Генри Гамильтон маршировал в следующем ряду колонны: два пистолета времен Мексиканской войны за поясом, воротник длинного черного сюртука поднят, в руке небольшой саквояж. Рядом с ним вышагивал его черный слуга, почти такой же старый, как сам дядя Генри, держа над его и своей головой раскрытый зонтик. Плечом к плечу со стариками шли юноши — все с виду не старше шестнадцати лет. Многие из них бросили школу, чтобы пойти на фронт, некоторые были в форме военных училищ — черные перышки на их маленьких серых кепи обвисли под дождем, белоснежные полотняные перевязи на груди промокли насквозь и потемнели. Среди последних находился и Фил Мид: в лихо сдвинутой набекрень шапочке с саблей и кавалерийскими пистолетами покойного брата за поясом, он промаршировал мимо миссис Мид, и она с трудом улыбнулась и помахала ему рукой, а потом, когда силы на мгновение оставили ее, припала головой к плечу Скарлетт.

Многие из рекрутов были вообще без оружия, ибо у Конфедерации не осталось больше ни винтовок, ни патронов и она ничем не могла их снабдить. Они надеялись добыть себе оружие у пленных или убитых янки. Кое у кого за голенищем был охотничий нож, а в руке — длинный тяжелый шест с железным наконечником, получивший название — «пика Джона Брауна». У некоторых счастливцев висел за спиной старинный кремневый мушкет, а на поясе рог с порохом.

Во время своего отступления Джонстон потерял около десяти тысяч солдат. Ему требовалось десять тысяч свежего пополнения. Так вот, в испуге подумала Скарлетт, кого он получит!

Когда, грохоча и обрызгивая грязью собравшуюся толпу, по улице потянулась артиллерия, Скарлетт бросилась в глаза фигура негра, ехавшего верхом на муле рядом с одной из пушек. Это был молодой негр с лицом цвета седельной кожи, и, вглядевшись в его хмурые черты, Скарлетт воскликнула:

— Это же Моз! Моз, слуга Эшли! Почему он здесь? — Она пробилась сквозь толпу к обочине и крикнула: — Моз! Постой!

Молодой негр увидел ее, натянул поводья, радостно улыбнулся и начал спешиваться. Промокший до нитки сержант, ехавший позади него, закричал:

— Куда! Ни с места, парень, не то на костер пойдешь! Нам надо скорей добраться до гор!

Моз в нерешительности переводил взгляд с сержанта на Скарлетт, и она, хлюпая по грязи, бросилась к нему и ухватилась за стремя.

— Минутку, сержант! Не спешивайся, Моз! Боже мой, как ты очутился здесь?

— Я снова иду на войну, мисс Скарлетт. Только теперь не с мистером Эшли, а со старым господином, с мистером Джоном.

— С мистером Уилксом? — Скарлетт остолбенела. Мистеру Уилксу было без малого семьдесят лет. — А где он?

— Позади, с последней пушкой, мисс Скарлетт. Там, позади.

— Прошу прощения, леди. Двигай, парень!

Скарлетт неподвижно стояла по щиколотку в грязи, мимо нее ползли орудия. «Нет же, нет! — пронеслось у нее в уме. — Не может этого быть! Он слишком стар. И так же ненавидит войну, как Эшли!» Она отступила на несколько шагов назад к обочине и стала пристально всматриваться в лица проезжавших мимо. И когда среди грохота и всплесков грязи показался передок последнего оружия, она увидела прямую стройную фигуру верхом на рыжей кобыле: длинные серебристые волосы мокрыми прядями падали на шею, всадник держался уверенно и грациозно; маленькая рыжая кобылка осторожно и изящно ступала по грязным выбоинам дороги, словно светская дама в платье со шлейфом. Боже мой, так ведь это же Нелли! Нелли — кобыла миссис Тарлтон! Ее любимица, ее сокровище!

Когда мистер Уилкс увидел стоящую на обочине Скарлетт, лицо его озарилось улыбкой, он натянул поводья, спешился и шагнул к ней.

— Я очень хотел повидаться с вами, Скарлетт. Ваши родные надавали мне уйму поручений. Но возможности не представилось. Мы прибыли сюда утром, и нас, как видите, сразу направляют на фронт.

— О, мистер Уилкс! — в полном отчаянии вскричала Скарлетт, сжимая ему руку. — Останьтесь здесь! Почему вы должны ехать на фронт?

— А‑а, так вы считаете, что я слишком стар? — с улыбкой сказал мистер Уилкс, и в старческих чертах его лица Скарлетт узнала улыбку Эшли. — Даже если я слишком стар, чтобы маршировать, то еще могу сидеть в седле и стрелять. А миссис Тарлтон была столь добра, что одолжила мне свою Нелли, и лошадь подо мной хоть куда. Будем надеяться, что с Нелли не случится ничего худого, иначе я никогда не смогу возвратиться домой и взглянуть миссис Тарлтон в глаза. Нелли — все, что у нее осталось, и вот она отдала мне ее — свою последнюю лошадь. — Он говорил легко, весело, стараясь развеять страхи Скарлетт. — Ваша матушка и ваш отец и сестры — все в добром здравии и шлют вам привет. Ваш папенька едва не отправился вместе с нами на фронт.

— Папа? Как же так! — вскричала Скарлетт. — Папа? Он же не может!

— Да, конечно, однако собирался. Маршировать‑то он с его покалеченным коленом, безусловно, не может, однако вознамерился присоединиться к нам — верхом. Ваша матушка дала согласие при условии, что сначала он возьмет барьер — перепрыгнет через ограду выгона, потому как, сказала она, в армии придется брать еще и не такие препятствия. — Ваш папенька решил, что это ему раз плюнуть, но, можете себе представить, когда он подскакал к ограде, лошадь вдруг стала как вкопанная, и он кубарем перелетел через ее голову. Чудом не сломал себе шею! Но вы же знаете, какой он упрямец. Вскочил и тут же погнал лошадь на изгородь снова. Так вот, душенька, лошадь сбрасывала его три раза, пока миссис О’Хара и Порк не уложили беднягу в постель. Он был совершенно вне себя и уверял, что ваша матушка «наслала порчу на эту скотину». Нет, он не годен для действующей армии, Скарлетт, и вам нечего этого стыдиться. В конце концов, кто‑то же должен оставаться дома и растить для армии хлеб.

А Скарлетт и не испытывала ни малейшего стыда — только огромное облегчение.

— Я отправил Индию и Милочку в Мэйкон к Бэррам, и теперь мистер О’Хара приглядывает и за Двенадцатью Дубами тоже... Ну, мне надо двигаться дальше, дорогая. Позвольте поцеловать вашу прелестную щечку.

Чувствуя в горле комок, Скарлетт подставила ему губы для поцелуя. Она всегда была очень привязана к мистеру Уилксу. Когда‑то — о, как это было давно! — она мечтала стать его снохой.

— А этот поцелуй передайте от меня Питтипэт, а этот Мелани, — сказал мистер Уилкс, еще дважды слегка коснувшись губами ее щеки. — А как чувствует себя Мелани?

— Спасибо, хорошо.

— Ах, как хотелось бы мне увидеть моего первого внука! — Взор его задумчивых серых глаз был устремлен на Скарлетт, но — совершенно так же, как это бывало с Эшли, — он, казалось, видел не ее, а сквозь нее прозревал какие‑то далекие, только ему ведомые миры. — Прощайте, моя дорогая.

Джон Уилкс вскочил в седло и поскакал прочь. Он все еще держал шляпу в руке, и дождь мочил его серебряные волосы. Скарлетт направилась обратно к Мейбелл и миссис Мид, и только тут истинный смысл его последних слов проник в ее сознание. Охваченная суеверным страхом, она торопливо перекрестилась и зашептала молитву. В его словах было предчувствие смерти, так же, как когда‑то в словах Эшли, и вот теперь Эшли... Никогда нельзя говорить о смерти! Поминать смерть — это искушать судьбу! В молчании возвращаясь вместе с Мейбелл и миссис Мид под моросящим дождем в госпиталь, Скарлетт молилась про себя: «Не дай ему умереть, господи! Только бы не он и не Эшли!»

Отступление из Далтона до горы Кеннесоу продолжалось от начала мая до середины июня, и когда потянулись жаркие дождливые июньские дни, а Шерману все еще не удалось выбить конфедератов с их позиций на крутых, скользких горных склонах, надежда снова возродилась в сердцах южан. Все повеселели, все с большим теплом стали отзываться о генерале Джонстоне. Когда же дождливые июньские дни сменились еще более дождливыми июльскими, а конфедераты, оказывая отчаянное сопротивление из своих высоких укрытий, все еще продолжали сдерживать Шермана и отражать его атаки, безудержное ликование охватило Атланту. Надежда, словно глоток шампанского, кружила голову. Ура! Ура! Мы их остановили! В городе началась повальная эпидемия балов. Как только в Атланту, хотя бы на одну ночь, прибывала с фронта группа воинов, в их честь устраивались обеды, а затем — танцы, и девицы — а их на каждого воина приходилось не меньше десятка — спорили за право потанцевать с храбрецами.

Атланта была наводнена пришлым людом: беженцами, семьями раненых, лежавших в госпиталях, женами и матерями солдат, сражавшихся в горах, — женщины стремились быть возле своих близких на случай, если их ранят. И вдобавок ко всему целые стаи юных красоток со всей округи, где не осталось ни одного мужчины в возрасте от шестнадцати до шестидесяти с лишним лет, хлынули в город. Тетушка Питти отзывалась об этих особах с крайним неодобрением, считая, что они слетелись в Атланту с единственной целью — поймать жениха, и перед лицом такого бесстыдства она не переставала с изумлением вопрошать: куда идет мир? Скарлетт была с ней согласна. Ей было совсем не по душе соперничество этих шестнадцатилетних, розовощеких, чьи сияющие улыбки заставляли забывать о том, что на них дважды перелицованные платья и залатанные туфельки. Платья самой Скарлетт были новее и наряднее, чем у многих дам, благодаря Ретту Батлеру, который привез ей из своего последнего плавания новые ткани, но, как ни верти, ей уже сравнялось девятнадцать, и годы не шли вспять, а мужчины всегда предпочитают охотиться за глупыми молоденькими девчонками.

Вдова, да еще с ребенком, находится в незавидном положении по сравнению с такими юными вертушками, думала Скарлетт. Впрочем, в эти будоражащие дни всеобщего ликования она меньше чем когда‑либо ощущала тяжесть своего вдовства и материнства. Днем — работа в госпитале, вечером — танцы. У нее почти не оставалось времени для Уэйда. Порой она вообще подолгу не вспоминала о том, что у нее есть сын!

Жаркими влажными летними ночами двери всех домов в Атланте были распахнуты настежь для воинов — защитников города. Все богатые дома — от улицы Вашингтона до Персиковой улицы — сияли огнями; там принимали перепачканных окопной грязью солдат, и в тихом ночном воздухе далеко разносились звуки банджо и скрипок, топот танцующих ног, веселые взрывы смеха. Люди группами собирались вокруг фортепьяно, и все увлеченно пели «Письмо твое пришло, ах, слишком поздно», а оборванные, но галантные кавалеры бросали многозначительные взгляды на девиц, которые в ответ хихикали, прикрываясь веерами из индюшачьих перьев и давая понять, что не следует тянуть, не то будет слишком поздно. Сами девушки, когда это от них зависело, не откладывали теперь дела в долгий ящик. Захваченные в водоворот истерического веселья и всеобщего возбуждения, они очертя голову вступали в браки. Не счесть свадеб, сыгранных в тот месяц, когда генерал Джонстон удерживал неприятеля у горы Кеннесоу! Счастливые, стыдливо разрумянившиеся невесты венчались в наспех одолженных у десятка подружек подвенечных нарядах. Сабли женихов постукивали о заплатанные штаны. Не счесть восторгов, не счесть волнений, не счесть балов! Ура! Генерал Джонстон удерживает неприятеля в двадцати двух милях от города!

Да, позиции конфедератов на подступах к горе Кеннесоу были неприступны. После двадцати пяти дней боев генералу Шерману пришлось в этом убедиться, ибо потери он понес огромные. И тогда, прекратив лобовую атаку, он снова произвел широкий обходной маневр и сделал попытку вклиниться между армией конфедератов и Атлантой. Его стратегия снова дала результаты. Дабы защитить свой тыл, Джонстон был вынужден оставить горные выси, на которых он так хорошо укрепился. В этих боях он потерял треть своих людей; остатки его истощенной армии отступили под дождем к реке Чаттахучи. Конфедератам не приходилось больше рассчитывать на подкрепление, в то время как к Шерману по железной дороге, которая теперь от самого Теннесси до линии огня находилась в руках янки, ежедневно прибывали свежие части и продовольствие. В результате серые линии были отброшены еще дальше в сторону Атланты.

После потери этих считавшихся неприступными позиций по городу прокатилась новая волна паники. В период двадцатипятидневного безудержного веселья все заверяли друг друга, что нового отступления больше уж никак не может произойти. И вот оно произошло! Но, без сомнения, генерал не позволит янки переправиться через реку на другой берег. Однако что говорить, река совсем близко — в каких‑нибудь семи милях от города!

Но Шерман снова обошел конфедератов с фланга, переправившись через реку выше по течению, и измученные серые шеренги поспешили броситься в мутную желтую воду, чтобы стать живым заслоном между захватчиками и Атлантой, и наспех зарылись в неглубокие окопы в долине Персикового ручья к северу от города. Охваченная паникой Атланта агонизировала.

Бои и отступления! Бои и отступления! И с каждым новым отступлением янки все ближе к городу. Долина Персикового ручья всего в пяти милях от Атланты! О чем думает генерал?

Крик «Дайте нам генерала, который бы сражался и не отступал!» достиг Ричмонда. В Ричмонде понимали, что с потерей Атланты война будет проиграна, и когда армия отступила за Чаттахучи, генерал Джонстон был отстранен от командования. Во главе армии стал генерал Худ, один из корпусных командиров, и город вздохнул свободнее. Худ не будет отступать. Кто‑кто, только не этот высоченный кентуккиец с развевающейся бородой и огненным взглядом! Худ был известен своей бульдожьей хваткой. Он прогонит янки, загонит их за реку и будет гнать все дальше и дальше той же дорогой обратно до самого Далтона. Но из армии долетел другой крик: «Верните нам старину Джо!», ибо солдаты проделали со стариной Джо весь путь, милю за милей, от Далтона, и в армии знали то, чего не могло знать гражданское население, — против каких превосходящих сил противника вели они бои.

А Шерман не стал ждать, пока генерал Худ приведет свои войска в боевую готовность для наступления. На другой же день после назначения нового командующего армией Шерман совершил быстрый решительный бросок, ударил по маленькому городку Декейтеру в шести милях от Атланты, захватил его и перерезал железную дорогу, соединявшую Атланту с Огастой, Чарльстоном, Уилмингтоном и Виргинией. Это был сокрушительный удар. Настало время действовать решительно. Атланта призывала к действию!

Наконец в один изнуряюще знойный июльский день после полудня ее желание осуществилось. Генерал Худ не только сражался и не отступал. Он поднял свои серые цепочки из окопов у Персикового ручья и бросил в яростную атаку на вдвое превосходившие их численностью синие мундиры Шермана.

Перепуганное население прислушивалось к гулу канонады и треску тысяч ружейных залпов, доносившихся столь явственно, словно бой шел в соседнем квартале, а не в пяти милях от центра города, и молило господа, чтобы атака Худа отбросила янки назад. Все слышали залпы орудий, видели клубы дыма, нависшие над верхушками деревьев, но проходил за часом час, а о том, как развивается бой, можно было только строить догадки.

Лишь на исходе дня начали поступать первые вести — противоречивые, неопределенные, устрашающие; их приносили те, кто был ранен в начале сражения и теперь добрался до города. Поодиночке и группами появлялись они на улицах — менее тяжелораненые помогали тем, кто еле волочил ноги. И вот уже через весь город по направлению к госпиталям непрерывной струей стал литься людской поток: черные от порохового дыма, грязи и пота лица, зияющие, неперевязанные раны, сгустки засохшей крови и над ними мухи, тучи мух.

Дом тетушки Питти первым попадался им на пути на северной окраине города, и один за другим они добирались до калитки, тяжело опускались на лужайку перед домом и хрипло взывали:

— Пить!

В душном послеполуденном мареве тетушка Питти и все ее домочадцы, белые и черные, стояли во дворе с ведрами воды и бинтами, черпая чашками воду и перевязывая раны, пока не иссякли все бинты и не были разорваны на полосы последние простыни и полотенца. Тетушка Питти, забыв о том, что она не выносит вида крови и всегда при этом лишается чувств, усердно оказывала помощь раненым, пока ее маленькие ножки в чрезмерно узких ботиночках не отекли так, что уже отказывались ее держать. Даже Мелани, отбросив стыдливость, несмотря на свой заметно округлившийся живот, лихорадочно трудилась бок о бок с Присей, кухаркой и Скарлетт, и лицо ее казалось таким же напряженным, как у тех, за кем она ухаживала. И когда она внезапно потеряла сознание, ее пришлось положить на кухонный стол, так как все кровати, кушетки и даже кресла были заняты ранеными.

Позабытый всеми в этой суматохе маленький Уэйд, присев на корточки, выглядывал из‑за перил веранды, словно испуганный кролик из клетки: круглыми от страха глазами он обводил лужайку, сосал большой палец и икал. Скарлетт, случайно скользнув по нему взглядом, резко прикрикнула:

— Ступай на задний двор, Уэйд Хэмптон! Поиграй там! — Но он был так испуган и так заворожен никогда не виданной картиной, что не исполнил приказа матери.

Вся лужайка была заполнена распростертыми телами людей, слишком уставших, чтобы брести дальше, слишком обессилевших от ран, чтобы сдвинуться с места. Дядюшка Питер укладывал их одного за другим в коляску и отвозил в госпиталь, повторяя эти поездки до тех пор, пока взмыленная лошадь не стала. Миссис Мид и миссис Мерриуэзер тоже прислали свои экипажи. Нагрузив экипажи ранеными так, что провисали рессоры, их отправили в госпиталь.

Позднее, когда долгие душные летние сумерки стали спускаться на город, по дороге загрохотали санитарные повозки и интендантские фургоны с заляпанным грязью брезентовым верхом. А за ними потянулись и обычные повозки и тележки, запряженные быками, и даже чьи‑то элегантные экипажи, приспособленные для нужд медицинской службы. Доверху нагруженные ранеными и умирающими, они проезжали мимо дома тетушки Питти, подпрыгивая на ухабистой дороге, орошая кровью красную дорожную пыль. И при виде женщин с ведрами и черпаками транспорт приостанавливался, и вопли и чуть слышный шепот сливались в единый хор:

— Пить!

Скарлетт, поддерживая мотавшиеся из стороны в сторону головы, подносила воду к запекшимся губам, выливала ковши воды на открытые раны, на запыленные, горевшие как в лихорадке тела, стремясь принести раненым хоть минутное облегчение. Поднявшись на цыпочки, она протягивала ковш с водой возницам и срывающимся голосом задавала каждому один и тот же вопрос:

— Что там? Как?

И всякий раз слышала в ответ:

— Кто его знает, леди. Пока что трудно сказать.

Наступила душная ночь, не принеся прохлады. Жар от сосновых факелов, которые держали негры, еще сильнее накалял недвижный воздух. Пыль оседала у Скарлетт на губах, заползала в нос. Ее ситцевое платье, выстиранное и накрахмаленное утром, насквозь пропиталось потом, грязью, кровью. Вот что, значит, хотел сказать Эшли, когда писал: война — это не триумфальное шествие, а страдания и грязь!

От усталости все теряло реальность, проплывая перед глазами, как в страшном сне. Не может быть, чтобы это происходило на самом деле, — ведь если так, значит, мир сошел с ума! Иначе почему она стоит здесь, в тихом палисаднике тетушки Питти, среди мерцающих огней, и охлаждает водой тела своих умирающих поклонников? Да, среди этих людей их было немало — тех, кто ухаживал за ней когда‑то, — и все они, узнавая ее, пытались ей улыбнуться. Немало их — тех, с кем она танцевала, шутила, кому играла на фортепьяно и пела романсы, кого завлекала, дразнила, поощряла, любила... чуть‑чуть... Немало их пришло сюда с окровавленными, искусанными москитами лицами, пришло, ковыляя по пыльной дороге, и немало умирало у нее на глазах.

Под грудой тел на дне повозки, запряженной волами, Скарлетт обнаружила полуживого Кэйри Эшберна, раненного в голову. Но вытащить его оттуда, не потревожив шести других раненых, она не смогла, и его отвезли в госпиталь. Потом она узнала, что он умер, прежде чем к нему подоспел доктор, и его похоронили где‑то — никто толком не знал где. Слишком много воинов было опущено в неглубокие, наспех вырытые могилы на Оклендском кладбище за этот месяц. Мелани ужасно сокрушалась по поводу того, что они не могли послать хотя бы прядь волос Кэйри его матери в Алабаму.

Жаркая ночь все длилась и длилась, у Скарлетт и тетушки Питти разламывало спину и колени подгибались от усталости, и каждому вновь прибывшему раненому они задавали один и тот же вопрос:

— Ну что там? Как?

И после долгих‑долгих часов ожидания услышали, наконец, ответ, заставивший их, побелев от ужаса, поглядеть друг на друга:

— Мы отступаем.

— Мы вынуждены отступать.

— Нас сотни, а их тысячи.

— Янки отрезали кавалерию Уиллера под Декейтером. Мы должны идти к нему на выручку.

— Наши скоро будут в городе.

Скарлетт и тетушка Питти вцепились друг в друга, чтобы не упасть.

— Значит... значит, янки придут сюда?

— Да, мэм, они‑таки придут, только они охотятся не за дамами.

— Нет, нет, не пугайтесь, мисс, они не возьмут Атланту.

— Конечно, нет, мэм, вокруг города окопов понарыто, почитай, на миллион миль.

— Я сам слышал, как старина Джо сказал: «Я могу держать Атланту до скончания века».

— Так у нас же нет теперь старины Джо. У нас...

— Заткнись, дурак! Ты что — хочешь напугать дам до полусмерти?

— Янки никогда не возьмут города, мэм.

— А почему бы вам, леди, не перебраться в Мэйкон или еще куда, где безопасней? Неужели у вас нет там родственников?

— Взять‑то Атланту они не возьмут, но все ж таки для дам будет тут тяжеловато, когда янки попрут.

— Палить по городу будут крепко.

Наутро под теплым, парным дождем побежденная армия хлынула через город: толпы изнемогающих от голода и усталости людей, измотанных боями и отступлениями, длившимися семьдесят шесть дней, и с ними — заморенные, скелетоподобные лошади, тянувшие пушки и зарядные ящики, кое‑как — обрывками веревок или сыромятных ремней — прикрученные к лафетам. И все же это не было беспорядочным бегством разгромленной армии. Войска маршировали походным строем; невзирая на свои лохмотья, они сохраняли бодрый вид, шли с развернутыми алыми боевыми знаменами, исхлестанными дождем. Они прошли школу отступлений под командованием старины Джо, научившим их превращать отступление в стратегический маневр, не менее важный, чем наступление. Обросшие бородами, оборванные, они маршировали по Персиковой улице, распевая «Мэриленд мой, Мэриленд», и весь город высыпал на улицы, чтобы их приветствовать. С победой ли, с поражением пришли они — это были их солдаты.

Милицию штата, еще недавно щеголявшую своим новым обмундированием, а теперь грязную и обтрепанную, было не отличить от испытанных в боях войск. Даже выражение глаз у солдат стало иным. Ведь за спиной у каждого было три года унизительных самооправданий, объяснений, почему они не на фронте, но теперь они сменили тыловой покой на фронтовые опасности и обрели самоуважение. Многие из них отдали привольное житье за смерть под пулями. Зато оставшиеся в живых стали теперь ветеранами, хотя и в чрезмерно короткий срок, и чувствовали, что исполнили свой долг. Вглядываясь в толпу, отыскивая знакомые лица, они смотрели уверенно и гордо. Они могли высоко держать голову теперь.

Шли старики и юноши из войск внутреннего охранения — седобородые старцы едва волочили ноги от усталости, у юношей были озабоченные лица детей, поставленных перед слишком серьезной для них задачей. Скарлетт увидела среди них Фила Мида и с трудом узнала его — так почернело от порохового дыма и грязи его лицо, таким оно было напряженным и усталым. Бок о бок с ним, прихрамывая, ковылял дядюшка Генри с непокрытой, невзирая на дождь, головой, торчавшей из дыры, проделанной в клеенке, которую он накинул себе на плечи. Дедушка Мерриуэзер ехал, сидя на лафете; голые ноги его были обмотаны обрывками одеяла. Но сколько ни искала Скарлетт глазами Джона Уилкса, его нигде не было видно.

А ветераны армии Джонстона маршировали с видом бравым и беспечным, храня свой боевой дух и на третий год войны; они ухмылялись, и подмигивали хорошеньким девушкам, и отпускали грубоватые шуточки по адресу мужчин, еще не надевших военной формы. Они направлялись к укреплениям, опоясывавшим город, — не мелким, наспех вырытым стрелковым гнездам, а земляным укреплениям почти в рост вышиной, обложенным мешками с песком, утыканным поверху острыми деревянными кольями. Миля за милей тянулись вокруг города эти укрепления, зияя красными щелями окопов и красными насыпями брустверов, готовые принять тех, кому надлежало их заполнить.

Толпа приветствовала отступавшие войска так, словно они возвращались с победой. В каждом сердце притаился страх, но теперь, когда все уже знали правду, когда худшее уже свершилось, когда война подошла вплотную к их жилищам, с городом произошла перемена. Больше не было места панике, истерическим воплям — что бы ни гнездилось в сердцах, не находило отражения на лицах. Все старались казаться веселыми, даже если это веселье было напускным. Каждый старался уверенно и храбро смотреть в лицо отступавшим солдатам. И каждый повторял про себя слова старины Джо, сказанные накануне того дня, как его отстранили от командования: «Я могу держать Атланту до скончания века».

Теперь, когда и генералу Худу пришлось отступить, у многих зародилось то же желание, что и у солдат, — желание вернуть старину Джо. Но никто не решался высказать свою мысль вслух, все пытались лишь почерпнуть уверенность в словах старины Джо:

«Я могу держать Атланту до скончания века».

Осторожная тактика генерала Джонстона была совсем не по душе генералу Худу. Он атаковал янки с востока, он атаковал их с запада. Шерман кружил вокруг Атланты, как боксер, выискивающий незащищенное место на теле противника, и Худ не стал сидеть в своих укрытиях, дожидаясь, пока янки его атакуют. Он храбро вышел им навстречу и обрушился на них яростно. Несколько дней шли бои за Атланту и за Эзра‑Черч, и по сравнению с этими битвами сражение у Персикового ручья представлялось уже ничтожной стычкой.

Однако противнику, казалось, все было нипочем. Он понес тяжелые потери, но, видимо, мог себе это позволить. И все это время батареи северян сыпали снаряды на город, убивали людей в их жилищах, срывали крыши со зданий, вырывали глубокие воронки в мостовых. Люди укрывались как могли — в погребах, в канавах, в неглубоких туннелях на железнодорожных переездах. Атланта была в осаде.

За одиннадцать первых дней командования генерал Худ потерял почти столько же людей, сколько генерал Джонстон за семьдесят четыре дня боев и отступлений, и Атланта была осаждена уже с трех сторон.

Железная дорога, связывающая Атланту с Теннесси, находилась теперь на всем своем протяжении в руках Шермана. Его войска обложили железную дорогу, ведущую на восток, и перерезали железную дорогу, ведущую на юго‑запад, к Алабаме. И только одна‑единственная железная дорога — на юг, к Мэйкону и Саванне — еще действовала. Атланта была наводнена беженцами, забита войсками, заполнена ранеными, и эта единственная дорога не могла удовлетворить неотложных нужд страждущего города. И все же пока эта дорога была в руках южан, Атланта могла держаться.

Скарлетт обуял ужас, когда она поняла, какое значение приобрела эта дорога, как яростно Шерман будет стараться ее захватить и как отчаянно будет биться за нее Худ. Ведь это та дорога, что проходит через графство и через Джонсборо. А Тара всего в пяти милях от Джонсборо! Отсюда, из этого воющего ада, Тара казалась убежищем, тихой гаванью, но она была всего в пяти милях от Джонсборо!

В день битвы за Атланту Скарлетт и еще некоторые из дам, забравшись на плоские кровли складов, защитившись своими крошечными зонтиками от солнца, наблюдали за сражением. Но когда первые снаряды стали рваться на улицах города, все бросились в погреба, и в эту же ночь началось повальное бегство женщин, детей и стариков из Атланты. Целью их был Мэйкон, и многие из тех, кто заполнил вагоны той ночью, уже и раньше проделывали этот путь — проделывали при каждом новом отступлении генерала Джонстона, когда он все дальше и дальше откатывался от Далтона. Но ехали они теперь не так, как возвращались в Атланту, а налегке. У многих с собой был лишь ручной саквояж да скудный завтрак в пестром бумажном носовом платке. И только кое‑где можно было увидеть испуганных слуг с серебряной утварью и семейными портретами в руках, уцелевшими после первого бегства.

Миссис Мерриуэзер и миссис Элсинг уехать отказались. Госпиталь нуждался в их помощи, и к тому же, гордо заявили они, никакие янки их не испугают и не заставят бежать из родного дома. Но Мейбелл с ребенком и Фэнни Элсинг уехали в Мэйкон. Миссис Мид впервые за всю свою супружескую жизнь выказала неповиновение и наотрез отказалась подчиниться требованию доктора и сесть в поезд. Она ему еще понадобится, заявила миссис Мид. Да и Фил где‑то здесь, в окопах, и ей нужно быть поблизости на случай, если...

А миссис Уайтинг уехала, да и многие другие из знакомых Скарлетт дам. Тетушка Питти, раньше всех осудившая генерала Джонстона за его стратегию отступлений, раньше всех уложила теперь свои сундуки. Ее слабые нервы, заявила она, не выносят громких звуков. От грохота взрывов она может лишиться чувств и не добраться до погреба. Вовсе нет, она ничуть не боится. Она попыталась придать своему детскому ротику воинственное выражение, но попытка не увенчалась успехом. Она уедет в Мэйкон к своей старенькой кузине миссис Бэрр, и девочки должны поехать с ней.

Скарлетт совсем не улыбалось ехать в Мэйкон. Она хотя и боялась бомбежек, но все же предпочитала оставаться в Атланте, чем ехать в Мэйкон к старой миссис Бэрр, которую терпеть не могла. Несколько лет назад, на одной из вечеринок в доме Уилксов, миссис Бэрр случайно увидела, как Скарлетт целуется с ее сыном Уилли, и назвала Скарлетт «вертихвосткой». «Нет, — заявила Скарлетт тетушке Питти, — я поеду домой, в Тару, а Мелли пускай едет с вами».

Услыхав это, Мелани испугалась и горько расплакалась. Тетушка Питти бросилась за доктором Мидом, а Мелани схватила Скарлетт за руку и взмолилась:

— Дорогая, не уезжай, не покидай меня! Мне будет так одиноко без тебя! Ах, Скарлетт, я просто умру, если тебя не будет со мной, когда придет мой срок! Да, да, я знаю, тетя Питти обо мне позаботится и она — сама доброта. Но ведь у нее никогда не было детей, и порой она так действует мне на нервы, что хочется визжать. Не оставляй меня, дорогая. Мы же с тобой как сестры, и притом, — тут она выдавила из себя лукавую улыбку, — ты пообещала Эшли позаботиться обо мне. Он сказал, что попросит тебя об этом.

Скарлетт глядела на нее в полном изумлении. Почему Мелани так к ней привязана, в то время как сама она с трудом ее выносит и порой не в силах этого скрыть? Как может Мелани быть так глупа, чтобы не догадаться, что она любит Эшли? Ведь за эти мучительные месяцы ожидания вестей от него она тысячу раз выдавала себя! А Мелани ничего не видит, да и вообще не в состоянии видеть ничего дурного в тех, кого любит... Да, она действительно обещала Эшли позаботиться о Мелани. О, Эшли, Эшли! Быть может, его давно уже нет в живых, а это обещание связывает ей теперь руки!

— Ладно, — сказала она сухо. — Я, правда, обещала ему и слово свое сдержу. Но в Мэйкон я не поеду и жить с этой старой ведьмой, миссис Бэрр, не стану. Все равно я через пять минут выцарапала бы ей глаза. Я вернусь домой, в Тару, и увезу тебя с собой. Мама будет очень тебе рада.

— Ах, как чудесно! Твоя мама такая милая! Но тетя Питти просто умрет, если не будет возле меня, когда маленькому придет время появиться на свет, а в Тару она не поедет, я знаю. Это слишком близко к линии фронта, а она хочет быть там, где поспокойнее.

Прибежал запыхавшийся доктор Мид, заключив из испуганного лепета тети Питти, что у Мелани по меньшей мере начались преждевременные роды, сильно вознегодовал и не почел нужным это скрывать. Узнав же причину расстройства, разом решил их спор.

— Не может быть и речи о том, чтобы вам ехать в Мэйкон, мисс Мелли. Если вы тронетесь с места, я ни за что не отвечаю. Поезда переполнены, идут не по расписанию, пассажиров могут в любую минуту высадить и бросить в лесу, если вагоны потребуются для перевозки раненых, переброски войск или для других военных нужд. В вашем положении...

— А если я поеду в Тару со Скарлетт...

— Повторяю, я не разрешаю вам сниматься с места. До Тары идет такой же поезд, что и до Мэйкона, и условия будут совершенно те же, да и никому не известно, где находятся сейчас янки, они могут быть где угодно. Могут даже захватить поезд. И даже если вы благополучно доберетесь до Джонсборо, оттуда до Тары еще пять миль по скверной проселочной дороге — путешествие не для женщины в интересном положении. К тому же там во всей округе нет врача с тех пор, как старик Фонтейн ушел на фронт.

— Но ведь есть повивальные бабки...

— По‑моему, я сказал: нет врача, — резко повторил доктор, окидывая безжалостным взглядом хрупкую фигурку Мелани. — Я запрещаю вам отправляться в путь. Это опасно. Вам, верно, не захочется рожать в вагоне или на дороге? А?

Беззастенчивая откровенность эскулапа заставила дам покраснеть и смущенно прикусить язык.

— Вам надлежит оставаться здесь и притом лежать в постели. А я буду вас наблюдать, и никакой беготни по лестнице в погреб. Даже если снаряд влетит в окно. В конце концов здесь пока еще не так опасно. Мы скоро прогоним янки отсюда... Так что, мисс Питти, езжайте‑ка в Мэйкон, а эти молодые дамы останутся здесь.

— Без старшей в доме? — в ужасе воскликнула старая дама.

— Они взрослые, замужние женщины, — раздраженно сказал доктор. — И миссис Мид через два дома отсюда. А поскольку мисс Мелли в положении, они так или иначе не станут принимать у себя в доме мужчин. Да боже милостивый, мисс Питти! Ведь сейчас война! Нам теперь не до соблюдения приличий. Надо думать о здоровье мисс Мелли.

Громко стуча башмаками, он направился к двери, но на веранде приостановился, поджидая Скарлетт.

— Я буду говорить с вами напрямик, мисс Скарлетт, — сказал он, теребя седую бороду. — Мне сдается, что вы — женщина, не лишенная здравого смысла, так что избавьте меня от ваших стыдливых ужимок. Я не желаю больше слышать ни про какой отъезд мисс Мелли. Я сомневаюсь, чтобы она могла выдержать дорогу. Даже при самых благоприятных условиях родить ей будет нелегко при ее, как вы, вероятно, знаете, узком тазе. Весьма возможно, что потребуется накладывать щипцы, поэтому я не желаю, чтобы какая‑нибудь неграмотная повивальная бабка вмешивалась в это дело. Женщинам с ее сложением вообще не следовало бы рожать, но... Словом, уложите‑ка пожитки мисс Питти и отправьте ее в Мэйкон. Она так напугана, что будет только зря волновать мисс Мелли, а Мелли это вредно. И затем вот что, моя дорогая. — Он умолк, и Скарлетт почувствовала на себе его пронизывающий взгляд. — О вашем отъезде я не желаю слышать тоже. Вы останетесь с мисс Мелли до тех пор, пока младенец не появится на свет! Вы ведь не боитесь, не так ли?

— Конечно, нет, — храбро солгала Скарлетт.

— Вот и молодчина. Миссис Мид постарается по возможности опекать вас, и если мисс Питти захочет забрать с собой слуг, я пошлю к вам мою старуху Бетси — она будет вам стряпать. Ждать осталось недолго. Ребенок должен появиться на свет через пять недель, но при первых родах, да еще при этой стрельбе, ничего нельзя знать наверняка. Может случиться и со дня на день.

И тетушка Питти отбыла в Мэйкон, проливая потоки слез и прихватив с собой дядюшку Питера и кухарку. Лошадь и коляску она в приливе патриотических чувств пожертвовала госпиталю, о чем тотчас же пожалела, отчего слезы снова хлынули ручьем. А Мелани и Скарлетт остались одни с Уэйдом и Присей в притихшем, невзирая на непрекращавшуюся канонаду, доме.

### Глава XIX

В эти первые дни осады, когда янки то тут, то там обрушивались на южан, разрывы снарядов наводили на Скарлетт такой ужас, что она всякий раз зажимала уши руками, съеживалась в беспомощный комочек и ждала, что с минуты на минуту ее разорвет на куски и прах развеет по ветру. Заслышав еще далекий свист снаряда, она влетала в спальню Мелани, бросалась рядом с ней на кровать, и, тесно прижавшись друг к другу, вскрикивая: «Ой! Ой!», они зарывались головой в подушки. А Присей с Уэйдом спускалась в погреб, забивалась там, скорчившись, в угол, среди мрака и паутины, и выла в голос, а Уэйд икал и всхлипывал.

Задыхаясь в жарком пуху подушек, слыша визг смерти у себя над головой, Скарлетт безмолвно проклинала Мелани, по милости которой она не могла спуститься вниз, где было безопаснее. Но доктор запретил Мелани вставать с постели, а Скарлетт — оставлять ее одну. К страху быть разорванной на куски снарядом примешивался не менее отчаянный страх, что у Мелани в любую минуту могут начаться роды. Стоило Скарлетт подумать об этом, и спина у нее становилась липкой от пота. Ну что ей делать, если Мелани начнет рожать? Скарлетт чувствовала, что она скорее даст Мелани умереть, чем отважится выйти на улицу, чтобы позвать доктора, когда снаряды сыплются там с неба, как апрельский дождь. И она знала также, что Присей можно избить до полусмерти, но и она не высунет носа на улицу. Так что же делать, если у Мелани начнутся роды?

Как‑то вечером, собирая на поднос ужин для Мелани, Скарлетт шепотом поделилась своими опасениями с Присей, и, к ее удивлению, негритянка помогла рассеяться страхам.

— А что ж тут такого, мисс Скарлетт, не пудритесь, без доктора обойдемся. А я‑то на что? Я эти дела знаю. Мамка‑то моя кто — повивальная бабка. И я тож, как вырасту, буду детей принимать — а то нет? Меня мамка учила. Так что положитесь на меня.

Скарлетт облегченно вздохнула, узнав, что опытные руки придут ей на помощь, но тем не менее ей страстно хотелось, чтобы это испытание поскорее осталось позади. Сходя с ума от страха при каждом разрыве снаряда, она всем существом своим отчаянно рвалась домой, в тихую обитель Тары, и каждую ночь, отходя ко сну, молилась о том, чтобы ребенок появился на свет на следующий день и она, освободившись от своего обещания, могла покинуть Атланту. Тара казалась таким надежным, таким далеким от всех этих ужасов и бедствий пристанищем.

Никогда еще Скарлетт не желала ничего так страстно, как очутиться сейчас под родительским кровом, возле матери. Рядом с Эллин она не знала бы страха, что бы ни произошло. После целого дня, наполненного воем и оглушительным грохотом рвущихся снарядов, она ложилась спать с твердым намерением наутро сказать Мелани, что не может больше выдержать ни единого дня этой жизни, что она уезжает домой, а Мелани пусть перебирается к миссис Мид. Но как только ее голова опускалась на подушку, перед глазами у нее возникало лицо Эшли: бледное, напряженное, словно от какой‑то невысказанной боли, но с легкой улыбкой на губах — таким она видела его в миг их последней встречи... «Вы позаботитесь о Мелани, я могу надеяться? Вы такая сильная, Скарлетт... Обещайте мне». И она пообещала. А Эшли уже нет в живых. Где‑то в чужом краю он лежит в земле. Но и оттуда он наблюдает за ней, не позволяет ей нарушить данное ему слово. И живому ли, мертвому, она будет ему верна, чего бы это ей ни стоило. Так день убегал за днем, а Скарлетт оставалась в Атланте.

В своих ответах на письма Эллин, умолявшей ее возвратиться домой, она старалась преуменьшать опасности осадного положения, описывала состояние Мелани и кончала обещанием приехать, как только младенец появится на свет. Эллин, всегда чувствительная к узам родства — будь то кровным или сводным, — против воли соглашалась с ее доводами, но настойчиво требовала, чтобы Присей с Уэйдом немедленно были отправлены домой. Это требование получило самое жаркое одобрение со стороны Присей, у которой теперь при каждом неожиданном звуке зубы начинали выбивать дробь, и она тупела до полного идиотизма. Почти целый день она сидела, сжавшись в комочек, в погребе, и если бы не старуха Бетси, наши дамы начали бы пухнуть с голоду.

Скарлетт не менее Эллин рада была бы отправить Уэйда домой, и не столько ради его безопасности, сколько потому, что вечный страх, в котором пребывал ребенок, действовал ей на нервы. Взрывы снарядов приводили Уэйда в состояние безмолвного ужаса, и даже в минуты затишья он все время цеплялся за юбку Скарлетт, настолько испуганный, что не мог даже плакать. Вечером он боялся ложиться в постель, боялся темноты, боялся уснуть, чтобы ночью его не похитили янки, а негромкое жалобное хныканье ребенка во сне сводило Скарлетт с ума. Она и сама была напугана не меньше, чем он, но ее злило, что его осунувшееся, испуганное личико беспрерывно напоминало ей об этом. Да, разумеется, Уэйду место в Таре! Нужно отправить его туда с Присей, а затем Присей тут же должна возвратиться обратно, чтобы быть возле Мелани, когда придет срок.

Но не успела Скарлетт снарядить двух путешественников в путь, как разнеслась весть, что войска янки повернули на юг и ведут теперь бои вдоль железной дороги между Атлантой и Джонсборо. А что, если янки захватят поезд, на котором поедут Уэйд и Присей? При одной мысли об этом Скарлетт и Мелани побелели — ведь каждому было известно, какие зверства учиняют янки над беззащитными детишками — хуже даже, чем над женщинами. И Скарлетт побоялась отослать ребенка домой. Он остался в Атланте и ковылял за ней по дому, боясь хоть на миг выпустить из ручонки ее юбку — маленький, испуганный, безмолвный, как привидение.

День за днем осажденный город плавился в июльском зное, а душными ночами громыханье пушек сменялось зловещей тишиной, и мало‑помалу жизнь в Атланте стала входить в колею. И снова всем стало казаться, что теперь, когда случилось самое страшное, бояться больше нечего. Все со страхом ждали осады, и вот город уже осажден, а жизнь в конце концов идет своим чередом. Идет почти что по‑прежнему. Все понимали, что живут на вулкане, но пока вулкан не начал извергаться, они, в сущности, ничего предпринять не могли. Так что же попусту тревожиться? Быть может, извержения еще и не произойдет. Вон ведь как генерал Худ сдерживает янки, не подпускает их к городу! А кавалерия не подпускает их к дороге на Мэйкон! Шерману никогда ею не овладеть!

Но под напускной беспечностью перед угрозой рвущихся снарядов, под притворным безразличием к полуголодному существованию и к янки, стоявшим в полумиле от города, в сердцах жителей Атланты, несмотря на всю безграничность их веры в людей в изодранных серых мундирах, заполнявших окопы, неосознанно тлела тревожная неуверенность в завтрашнем дне. И под бременем голода, горя, страха, среди мучительных всплесков и спадов надежды тревога эта точила души.

Скарлетт же, глядя на суровые лица своих друзей, мало‑помалу обрела мужество, спасительный инстинкт самосохранения дал ей силы приспособиться к обстоятельствам, согласно пословице: чему быть, того не миновать. Конечно, она и сейчас еще вздрагивала при каждом залпе, но уже не кидалась к Мелани — зарыться головой в подушки. Теперь, сдерживая волнение, она только произносила дрогнувшим голосом:

— Это, кажется, где‑то близко, да?

Страх ее ослабел еще и потому, что все стало представляться ей в каком‑то призрачном, нереальном свете, как во сне — слишком страшном сне, чтобы он мог быть явью. Казалось невероятным, чтобы все это на самом деле происходило с ней, Скарлетт О’Хара, чтобы смерть действительно подстерегала ее каждый час, каждую минуту. У нее еще не укладывалось в сознании, что спокойное течение жизни могло претерпеть такие изменения в столь короткий срок.

Казалось невозможным — чудовищным и невозможным, — что чистая голубизна предрассветного неба будет осквернена черным дымом орудий, который грозовым облаком повиснет над городом, что солнечный полдень, напоенный таким пронзительным ароматом жимолости и вьющихся роз, может таить в себе смертельную угрозу, что улицы могут оглушать воем снарядов, несущих гибель, разрывающих людей и всякую живую тварь на куски.

Не стало тихих, дремотных часов послеобеденного покоя, ибо даже если грохот битвы порой затихал, Персиковая улица во все часы дня полнилась шумом: гремели влекомые куда‑то пушки; ехали санитарные фургоны; брели раненые, приковылявшие из окопов; убыстренным шагом проходили войсковые части, перебрасываемые на оборону укреплений из одного конца города в другой; сломя голову, словно от их проворства зависела судьба Конфедерации, скакали в штаб вестовые.

Жаркими ночами наступало временное затишье, но тишина эта была зловещей — слишком глубокой, слишком полной, словно и древесные лягушки, и узкокрылые кузнечики, и сонные пересмешники — все были слишком испуганы, чтобы слить свои голоса в привычном летнем ночном хоре. Лишь время от времени звук одиночного выстрела где‑то на последней линии обороны нарушал тишину.

И не раз глубокой ночью, когда Мелани спала, все огни в доме были потушены, и над городом стояла мертвая тишина, Скарлетт, лежа без сна, слышала скрип отодвигаемой щеколды на калитке, а следом за этим тихий, настойчивый стук в парадную дверь.

Какие‑то безликие люди в военной форме поднимались на крыльцо, и чужие, самые разные голоса взывали к ней из мрака. Порой выступавшая вперед тень изъяснялась изысканно вежливо:

— Мадам, глубоко сожалею, что отважился потревожить вас, но не позволите ли мне напиться и напоить коня?

Порой слышалась отрывистая, грубоватая горская речь, порой непривычный, чуть гнусавый говор долинных жителей далекого южного Уайтграсса, а порой певучие, протяжные звуки чужого голоса заставляли сжиматься сердце Скарлетт, воскрешая в памяти прибрежные города и образ Эллин.

— Барышня, у меня тут дружок, хотел дотащить его до госпиталя, да боюсь, далековато, как бы он раньше не загнулся. Может, оставите его у себя?

— Сударыня, жрать страсть охота. Мне бы кукурузной лепешки кусочек, ради бога, ежели я вас не обездолю.

— Простите мое вторжение, мадам, но быть может, вы позволите провести ночь у вас на веранде... Я увидел розы, запахло жимолостью, и это так напомнило мне мой дом, что я отважился...

Нет, эти ночные видения не могли быть явью. Ей привиделся страшный сон, и все эти люди — без лица, без плоти, люди‑голоса, усталые голоса, звучащие из душного мрака, — были просто частью кошмара. Напои их, дай поесть, постели им на веранде, перевяжи раны, поддержи облепленную грязью голову умирающего. Нет, это не могло происходить с нею наяву!

Однажды, в конце июля, призрак, постучавший ночью в дверь, оказался дядей Генри Гамильтоном. Дядей Генри — только без зонта, без саквояжа и без брюшка. Розовые щеки его обвисли и болтались, словно бульдожий подгрудок, и длинные седые волосы были неописуемо грязны. По нему ползали вши, он был почти совсем бос, голоден, но все так же несгибаем духом.

— Старые дураки, вроде меня, палят из старых пушек — идиотская война, — сказал он, но и Скарлетт и Мелани чувствовали, что он по‑своему получает от этой войны удовольствие. В нем нуждались, как в молодом, и он делал то же, что и молодые. Да, ни в чем не отставал от молодых — куда там до него дедушке Мерриуэзеру, весело сообщил он. Дедушку совсем замучил ишиас, и капитан хотел даже отправить его домой. Но дедушка отказался наотрез. Он прямо сказал, что ему легче выносить проклятия и брань капитана, чем слащавые заботы снохи и ее неотвязные просьбы, чтобы он перестал жевать табак и мыл бороду с мылом каждый день.

Дядя Генри пробыл у них недолго, так как получил увольнительную всего на четыре часа — половину этого времени он добирался из окопов в город и столько же ему предстояло добираться обратно.

— Дорогие мои, я теперь не так скоро увижусь с вами, — заявил он, сидя в спальне Мелани и с наслаждением болтая натруженными ступнями в тазу с холодной водой, поставленном перед ним Скарлетт. — Нашу роту сегодня утром выводят из окопов.

— Куда? — с испугом спросила Мелани, хватая его за руку.

— Что ты в меня вцепилась! — сварливо буркнул дядя Генри. — По мне вши ползают. Война была бы чудесным пикником, кабы не вши и не дизентерия. Куда нас отправляют? Видишь ли, мне об этом не докладывали, но догадываться я могу. Если я еще кое‑что понимаю, то сегодня утром мы двинемся маршем на юг, к Джонсборо.

— Господи, почему к Джонсборо?

— Потому что там состоится большое сражение, мисс. Янки всеми силами будут стараться захватить железную дорогу. А уж если они ее захватят, прости‑прощай Атланта!

— Ой, дядя Генри, неужели вы считаете, что это может произойти?

— Вздор, мои дорогие! Никогда! Как это может произойти, когда там буду я. — Дядюшка Генри ухмыльнулся, глядя на их испуганные лица, потом стал серьезен. — Это будет суровая битва, девочки, и мы должны ее выиграть. Вам, конечно, известно, что янки захватили все железные дороги, кроме Мэйконской? Но это еще не все. Вы, возможно, не знаете, что они держат в своих руках и все тракты, и проселочные дороги, и даже верховые тропы — все, за исключением Мак‑Доновской. Атланта — в мешке, и тесемки мешка затягиваются у Джонсборо. Если янки сумеют захватить и эту дорогу, они затянут тесемки и поймают нас в мешок, как опоссума. Так что мы не намерены отдавать им дорогу... Словом, мы, быть может, не скоро увидимся, детки. Вот я и пришел попрощаться с вами и убедиться, что Скарлетт не оставила тебя, Мелли.

— Ну конечно, она здесь, со мной, — с нежностью в голосе проговорила Мелани. — Вы не тревожьтесь о нас, дядя Генри, берегите себя.

Дядюшка Генри вытер мокрые ноги о лоскутный коврик и со стоном напялил свои разваливающиеся башмаки.

— Мне пора, — сказал он. — Надо еще отшагать пять миль. Скарлетт, заверни‑ка мне с собой чего‑нибудь поесть. Ну, что найдется.

Поцеловав на прощанье Мелани, он спустился на кухню, где Скарлетт заворачивала в салфетку несколько яблок и кукурузную лепешку.

— Дядя Генри, дела в самом деле так... так плохи?

— Так плохи? Черт побери, да! Не будь гусыней. Армия при последнем издыхании.

— Вы думаете, они доберутся до Тары?

— Ну, знаешь ли... — начал было дядюшка Генри, раздраженный этой особенностью женского ума, способного думать лишь о собственных интересах, когда на карту поставлено кое‑что поважнее. Однако, поглядев на удрученное, испуганное лицо Скарлетт, старик смягчился. — Конечно, нет. Тара в пяти милях от железной дороги, а янки нужна только дорога. Ты, душечка, смыслишь в этих делах не больше, чем табуретка. — Он помолчал. — Я притопал ночью не затем, чтобы просто сказать вам обеим «до свиданья». Я принес Мелли тяжелую весть, но, поглядев на нее, просто не смог ничего ей сообщить. Так что придется тебе взять это на себя.

— Неужели Эшли?.. Вы что‑нибудь узнали? Он... он умер?

— Вовсе нет. Откуда бы я мог узнать про Эшли, стоя по самый зад в грязи в окопах? — раздраженно ответствовал старый джентльмен. — Нет. Это его отец. Джона Уилкса больше нет с нами.

Скарлетт опустилась на стул, уронив сверток с едой на колени.

— Я пришел, чтобы сообщить об этом Мелани, и не смог. Придется это сделать тебе. И вот, передай ей.

Дядюшка Генри достал из кармана небольшую миниатюру покойной миссис Уилкс, пару золотых запонок и массивные золотые часы с цепочкой, на которой покачивались, позвякивая, брелоки. Узнав часы, столько раз виденные ею в руках старого Джона Уилкса, Скарлетт наконец осознала, что отца Эшли больше нет в живых. Это оглушило ее, и она сидела не шевелясь, не в силах произнести ни слова. Дядюшка Генри кашлянул и поерзал на стуле, не решаясь поглядеть на нее, боясь увидеть слезы и совсем расстроиться.

— Он был храбрый человек, Скарлетт. Передай это Мелли. Скажи, чтобы она написала его дочкам. И хороший солдат, несмотря на свои годы. Его убило снарядом. Угодило прямехонько в него и в лошадь. Лошадь я пристрелил сам, бедняжку. Славная была кобылка. Напиши‑ка, пожалуй, и миссис Тарлтон про ее лошадку. Она в этой кобыле души не чаяла. Ну, давай, заворачивай мою еду, девочка. Мне пора обратно. Полно, полно, не принимай это так близко к сердцу. Какой еще смерти может пожелать себе старик, как не плечом к плечу с молодыми парнями?

— Нет, он не должен был умереть! И совсем не должен был идти на войну! Он должен был жить, и растить внука, и мирно умереть в своей постели! Господи, зачем он пошел на фронт! Он не считал, что Юг должен отделиться, и ненавидел войну, и...

— Многие из нас мыслят совершенно так же, но что из этого? — Дядюшка Генри сердито высморкался. — Думаешь, мне, в моем возрасте, доставляет большое удовольствие подставлять лоб под пули? Но в нашем положении у джентльмена нет выбора. Поцелуй меня на прощанье, детка, и не тревожьтесь обо мне. Я вернусь с этой войны целым и невредимым.

Скарлетт поцеловала старика и слышала, как он в темноте затопал вниз по лестнице и как звякнула щеколда калитки. С минуту она стояла не двигаясь, глядя на вещи, оставшиеся на память о Джоне Уилксе. Потом поднялась наверх к Мелани.

В конце июля пришла дурная весть — предсказания дядюшки Генри сбылись, янки повернули на Джонсборо. Они перерезали железную дорогу в четырех милях от города, но были отброшены кавалерией конфедератов, и инженерные войска под палящим солнцем восстановили путь.

Скарлетт сходила с ума от тревоги. Три дня прошли в томительном ожидании, в снедавшем сердце страхе. Затем пришло ободряющее письмо от Джералда. Неприятельские войска не дошли до Тары. Шум сражения был слышен, но они не видели ни одного янки.

Джералд так хвастливо, с таким упоением описывал, как конфедераты очистили железную дорогу от янки, словно он сам, собственноручно и единолично, одержал эту победу. На трех страницах он возносил хвалу храбрым войскам конфедератов и лишь в конце письма коротко обмолвился о том, что Кэррин больна. По мнению миссис О’Хара, у нее тиф. Болезнь протекает не тяжело, у Скарлетт нет оснований для тревоги, только она ни под каким видом не должна возвращаться домой, даже если ехать станет безопасно. Миссис О’Хара теперь очень рада тому, что Скарлетт и Уэйд не возвратились домой, когда началась осада Атланты. Миссис О’Хара просит Скарлетт сходить в церковь, помолиться о том, чтобы Кэррин скорее выздоровела.

Читая эти строки, Скарлетт почувствовала угрызения совести: ведь она уже который месяц не посещала храма. Прежде она сочла бы это смертным грехом, но теперь такое небрежение почему‑то перестало казаться ей непростительным. Однако под влиянием письма она тотчас поднялась к себе в комнату и наспех прочитала «Отче наш», но, встав с колен, не испытала на этот раз того успокоения, которое обычно приносила ей молитва. Последнее время у нее появилось ощущение, что господь не печется о ней больше — ни о ней, ни о конфедератах, ни о Юге, невзирая на все ежечасно возносимые ему молитвы.

В тот вечер Скарлетт сидела на веранде с письмом Джералда, засунутым за корсаж, время от времени нащупывая его и тем как бы приближая к себе Тару и Эллин. Горевшая в гостиной лампа бросала призрачные золотые отблески на темную, увитую диким виноградом веранду, аромат вьющихся роз и жимолости окружал Скарлетт словно стеной. Тишина вечера казалась бездонной. После заката солнца не прогремело ни единого выстрела, даже ружейного, и весь мир будто отодвинулся куда‑то далеко‑далеко. Покачиваясь в качалке, Скарлетт перебирала в уме известия, полученные из Тары, и чувствовала себя несчастной и бесконечно одинокой; появись сейчас хоть одна живая душа, пусть даже миссис Мерриуэзер, она была бы ей рада. Но миссис Мерриуэзер дежурила в этот вечер в госпитале, а миссис Мид готовила дома торжественный ужин для Фила, приехавшего на побывку с передовой. Мелани спала. Никакой надежды, что заглянет хоть случайный прохожий. Уже неделю никто не наведывался в их дом, ибо каждый мужчина, способный держаться на ногах, либо сидел в окопах, либо сражался с янки под Джонсборо.

Такое полное одиночество было непривычным для Скарлетт, и оно угнетало ее. Оставаясь одна, она невольно начинала предаваться размышлениям, а думы ее были слишком тягостными в эти дни. Как у всех людей, у нее появилась потребность вспоминать прошлое и тех, кого уже не стало.

В этот вечер, среди окружавшего ее безмолвия, стоило Скарлетт закрыть глаза, и она легко переносилась мыслями в Тару, и ей казалось, что она снова там, в сельской тиши, и жизнь течет как прежде, не меняясь. И вместе с тем что‑то говорило ей, что и там прежняя жизнь не вернется никогда. Она вспоминала четырех братьев Тарлтонов — и рыжеволосых близнецов, и Тома с Бойдом, — и острая жалость теснила ей грудь. Ведь любой из близнецов, Стю или Брент, мог бы стать ее мужем. Но теперь, когда кончится война и она возвратится домой, их неистовое «Эге‑гей!» уже не донесется к ней из‑за поворота кедровой аллеи. И Рейфорд Калверт, который так божественно танцевал, никогда уже не пригласит ее на вальс. И мальчики Манро, и маленький Джо Фонтейн, и...

— Ах, Эшли! — всхлипнула она, уронив голову на руки. — Никогда, никогда я не свыкнусь с мыслью, что вас больше нет!

Скрипнула калитка, и Скарлетт, вскинув голову, поспешно утерла рукой слезы. Она поднялась с качалки и увидела, что Ретт Батлер с широкополой соломенной шляпой в руке направляется по тропинке к дому. Она не видела его ни разу с того дня, когда выпрыгнула из его кабриолета у Пяти Углов. Тогда она заявила, что знать его больше не желает. Но сейчас ей так нестерпимо хотелось перемолвиться словом хоть с кем‑нибудь, чтобы как‑то отвлечься от мыслей об Эшли, что она постаралась выбросить это воспоминание из головы. А Ретт, по‑видимому, тоже забыл об их размолвке или, по крайней мере, делал вид, что забыл, и как ни в чем не бывало опустился на верхнюю ступеньку лестницы у ее ног.

— Так вы, значит, не сбежали в Мэйкон! Я слышал, что мисс Питти уехала, и, естественно, полагал, что и вы с ней тоже. А сейчас увидел огонек и решил зайти, справиться. Почему же вы остались?

— Из‑за Мелани. Она... Ну, вы понимаете... она не может никуда ехать сейчас.

— Тысяча чертей! Уж не хотите ли вы сказать, что миссис Уилкс тоже здесь? — воскликнул он, и в неярких отблесках лампы Скарлетт увидела, каким хмурым стало его лицо. — Что за безумие! Это крайне опасно в ее состоянии.

Скарлетт молчала в замешательстве: не могла же она обсуждать состояние Мелли с мужчиной! Ее смущало и то, что Ретт говорил так, словно мог что‑то понимать в таких делах. Это было совсем не к лицу холостому мужчине.

— Не слишком‑то любезно с вашей стороны, что вы даже не подумали обо мне — для меня ведь это тоже может быть опасно, — язвительно заметила она наконец.

Он лукаво прищурился.

— Ну, я в любых условиях поставлю на вас против янки.

— Уж не знаю, принять это за комплимент или как, — неуверенно сказала она.

— Ни в коем случае, — сказал он. — Когда же вы наконец перестанете по каждому пустячному поводу ждать от мужчин комплиментов?

— На смертном одре, — сказала она и улыбнулась, думая о том, что всегда найдутся мужчины, которые будут расточать ей комплименты, даже если Ретт никогда этого не делает.

— Ах, это женское тщеславие! — вздохнул Ретт. — Однако ценю вашу прямоту.

Он достал портсигар, вынул черную сигару, поднес к носу, понюхал. Чиркнула спичка. Прислонившись к перилам, обхватив руками колени, он некоторое время молча курил. Скарлетт снова стала тихонько покачиваться в качалке, и ночь окутала их своим мраком и тишиной. Пересмешник, пробудившись от дремоты где‑то в лабиринте жимолости и вьющихся роз, издал одну робкую, мелодичную ноту и снова умолк, словно передумав.

Из темноты внезапно долетел негромкий смех Ретта.

— И вы, значит, остались здесь из‑за миссис Уилкс! Более странную ситуацию трудно себе представить!

— Не вижу в этом ничего странного, — возразила она, мгновенно внутренне ощетинившись.

— Не видите? Значит, вы не умеете взглянуть на вещи со стороны. У меня уже давно сложилось впечатление, что вы с трудом переносите миссис Уилкс. Вы считаете ее глупой и бесцветной, а ее патриотические чувства нагоняют на вас тоску. Вы никогда не упускаете случая обмолвиться каким‑нибудь уничижительным словечком по ее адресу, и мне, естественно, кажется загадочным, как это вы решились на такой бескорыстный поступок и остались с ней в осажденном городе. Ну, признайтесь, почему вы это сделали?

— Потому что она сестра Чарли и, значит, все равно что и мне сестра, — с большим, как ей казалось, достоинством ответила Скарлетт, чувствуя, что у нее зарделись щеки.

— Вы хотите сказать: потому что она вдова Эшли?

Скарлетт вскочила, стараясь подавить закипавший в ней гнев.

— Я уже готова была простить вам невоспитанность, которую вы допустили в прошлый раз, но теперь не прощу. Я бы никогда не позволила вам переступить этот порог, если бы не чувствовала себя в эту минуту такой несчастной...

— Сядьте, успокойтесь и не ершитесь, — сказал он совсем другим тоном и, потянув ее за руку, заставил опуститься в качалку. — Почему вы несчастны?

— Я сегодня получила письмо из дома. Янки там, совсем близко, и моя младшая сестра больна тифом, и... и... Словом, если бы я теперь и захотела поехать домой, мама не позволит мне из боязни, что я заражусь. О господи, а мне так хочется домой!

— Полно, не стоит из‑за этого плакать, — сказал Ретт, и голос у него подобрел. — Здесь, в Атланте, вам безопаснее, чем дома, даже если янки возьмут город. Ну, что вам янки, а вот тиф может вас и не пощадить.

— Как это — что мне янки! Да как вы осмеливаетесь говорить такую ересь!

— Дорогое дитя, янки вовсе не исчадия ада. У них нет ни рогов, ни копыт, как вам, должно быть, это представляется. Они в общем‑то мало чем отличаются от южан, если, конечно, не считать плохих манер и чудовищного произношения.

— Но ведь янки же меня...

— Изнасилуют? Не обязательно. Хотя, понятно, такое желание может у них возникнуть.

— Если вы будете говорить гадости, я уйду в дом! — воскликнула Скарлетт, благодаря небо за то, что тьма скрывает ее пылающие щеки.

— Скажите откровенно: разве вы не это имели в виду?

— Разумеется, нет!

— Разумеется, это! Не к чему злиться на меня за то, что я разгадал ваши мысли. Ведь именно так думают все наши чистые, деликатные дамы‑южанки. У них это не выходит из головы. Бьюсь об заклад, что даже такие почтенные вдовы, как миссис Мерриуэзер...

Скарлетт ахнула про себя, припомнив, как всякий раз, когда в эти дни тяжких испытаний несколько матрон собирались вместе, они неизменно принимались шепотом сообщать друг другу о подобных происшествиях, и всегда оказывалось, что это было либо в Виргинии, либо в Теннесси, либо в Луизиане, словом, где‑то далеко от родных мест. Там янки насиловали женщин, подымали младенцев на штыки и сжигали дома вместе с их обитателями. Конечно, все знали, что так бывает, хотя и не кричали об этом на всех перекрестках. И если у Ретта есть хоть капля порядочности, он не может не знать, что это правда. И не должен заводить таких разговоров. А тем более — это не предмет для шуток.

Она слышала, как он тихонько посмеивается. Временами он вел себя просто чудовищно. В сущности, почти всегда. Это отвратительно — мужчина не должен догадываться, о чем думают и говорят между собой женщины. Иначе начинаешь чувствовать себя перед ним раздетой. Ни один мужчина не обсуждает такие вещи с порядочными женщинами. Скарлетт злило, что Ретт прочитал ее мысли. Ей хотелось казаться загадкой для мужчин, но она понимала, что Ретт видит ее насквозь, словно она из стекла.

— Раз уже у нас зашла об этом речь, — продолжал Ретт, — есть тут в доме кто‑нибудь, кто бы заботился о вас и опекал? Достопочтенная миссис Мерриуэзер или миссис Мид? Они всегда поглядывают на меня так, словно уверены, что я являюсь сюда с самыми дурными намерениями.

— Миссис Мид обычно навещает нас по вечерам, — сказала Скарлетт, обрадованная тем, что разговор перешел в другое русло. — Но сегодня она не могла. Ее сын вернулся домой на побывку.

— Какая удача, — негромко произнес Ретт, — застать вас одну.

Что‑то в его голосе заставило сердце Скарлетт забиться сильнее от приятного предчувствия, и кровь прилила у нее к щекам. Она не раз слышала такие нотки в голосе мужчин и знала, что за этим обычно следует объяснение в любви. О, вот было бы здорово! Если только он признается ей в любви, тут‑то уж она помучит его, тут‑то она сведет с ним счеты за все насмешки, которыми он изводил ее целых три года. Она хорошо поводит его за нос! Она постарается вознаградить себя даже за то невыносимое унижение, которое ей пришлось испытать по его милости в тот памятный день, когда она дала пощечину Эшли. А потом скажет — очень вежливо и дружелюбно, — что не питает к нему никаких чувств, кроме сестринских, и удалится в полном блеске своей победы. Она нервически хмыкнула в приятном предвкушении того, что последует дальше.

— Перестаньте хихикать, — сказал Ретт, взял ее руку, повернул ладонью вверх и поцеловал. Прикосновение его теплых губ обожгло ее, и трепет пробежал по телу. Его губы продвинулись выше, к запястью... Она знала, что они ощущают неистовое биение ее пульса, и попыталась выдернуть руку. Это совсем не входило в ее расчеты — этот предательский жар в груди и желание взлохматить ему волосы, почувствовать его губы на своих губах.

«Я ведь ни капельки не влюблена в него, — в смятении пронеслось у нее в голове. — Я люблю Эшли». Почему же так дрожат у нее руки и холодеет под ложечкой?

Она услышала его тихий смех.

— Не вырывайтесь! Я не сделаю вам ничего дурного!

— Попробуйте только! Я нисколько не боюсь вас, Ретт Батлер! Еще не родился тот мужчина, которого бы я испугалась! — воскликнула она, досадуя на себя за то, что голос у нее так же предательски дрожит, как и руки.

— Восхитительная уверенность в себе! Но не кричите слишком громко. Миссис Уилкс может услышать. И прошу вас, успокойтесь. — Казалось, ее растерянность и гнев забавляют его.

— Я вам нравлюсь, Скарлетт, признайтесь?

Это было уже больше похоже на то, чего она ждала.

— Ну, иногда, немножко, — осторожно сказала она. — Когда вы не ведете себя как подонок.

Он снова рассмеялся и прижал ее ладонь к своей твердой щеке.

— А ведь я, сдается мне, нравлюсь вам именно потому, что я подонок. Вам в вашей упорядоченной жизни встречалось так мало истинных, отъявленных подонков, что именно это качество странным образом и притягивает вас ко мне.

Разговор снова принимал неожиданный оборот, и она опять сделала безуспешную попытку вырвать руку.

— Неправда! Мне нравятся благовоспитанные мужчины, такие, на которых можно положиться, что они всегда будут вести себя как джентльмены.

— Вы хотите сказать: мужчины, которыми вы можете вертеть, как вам заблагорассудится. Впрочем, в сущности, это одно и то же. Но не важно.

Он снова поцеловал ее ладонь. И снова по спине у нее приятно поползли мурашки.

— И все же я нравлюсь вам. А могли бы вы полюбить меня, Скарлетт?

«Наконец‑то! — промелькнула торжествующая мысль. — Теперь он мне попался!» И с наигранной холодностью она ответила:

— Конечно, нет. Во всяком случае, пока вы не измените своего поведения.

— Но я не имею ни малейшего намерения его менять. Следовательно, вы не можете полюбить меня. Я, собственно, на это и рассчитывал. Так как, видите ли, хотя меня неудержимо влечет к вам, я вас тем не менее не люблю, и было бы поистине жестоко заставлять вас вторично страдать от неразделенной любви. Не так ли, моя дорогая? Вы позволите мне называть вас «дорогая», миссис Гамильтон? Впрочем, я ведь буду называть вас «дорогая», даже если вам это не очень нравится, так что, в общем‑то, все равно, я спрашиваю это просто для соблюдения приличий.

— Вы не любите меня?

— Разумеется, нет. А вы думали, что я вас люблю?

— Слишком много вы о себе воображаете!

— Ну ясно, думали! Как больно мне разрушать ваши иллюзии! Мне следовало бы полюбить вас, потому что вы очаровательны и обладаете множеством восхитительных и никчемных дарований! Но на свете много столь же очаровательных, столь же одаренных и столь же никчемных дам, как вы. Нет, я вас не люблю. Но вы нравитесь мне безмерно — мне нравится эластичность вашей совести и ваших моральных правил, нравится ваш эгоизм, который вы весьма редко даете себе труд скрывать, нравится ваша крепкая жизненная хватка, унаследованная, боюсь, от какого‑то не очень далекого ирландского предка‑крестьянина.

Крестьянина! Да это же просто оскорбительно! От возмущения она пролепетала что‑то бессвязное.

— Не прерывайте меня! — попросил он, стиснув ей руку. — Вы нравитесь мне потому, что я нахожу в вас так много черт, которые сродни мне, а сродство притягательно. Я вижу, что вы все еще чтите память богоравного и пустоголового мистера Уилкса, вероятнее всего, уже полгода покоящегося в могиле. Но в вашем сердце должно найтись местечко и для меня, Скарлетт. Перестаньте вырываться, я делаю вам предложение. Я возжелал вас с первой же минуты, сразу, как только увидел в холле в Двенадцати Дубах, где вы обольщали беднягу Чарли Гамильтона. Я хочу обладать вами — ни одной женщины я не желают так, как вас, и ни одной не ждал так долго.

От неожиданности у нее перехватило дыхание. Несмотря на все его оскорбительные слова, он все же любит ее и просто из упрямства не хочет открыто признаться в этом — боится, что она станет смеяться над ним. Ну, вот теперь она ему покажет, сейчас он у нее получит.

— Вы предлагаете мне стать вашей женой?

Он выпустил ее руку и расхохотался так громко, что она вся съежилась в своем кресле‑качалке.

— Упаси боже, нет! Разве я не говорил вам, что не создан для брака?

— Но... но... так что же...

Он поднялся со ступеньки и, приложив руку к сердцу, отвесил ей шутовской поклон.

— Дорогая, — сказал он мягко, — отдавая должное вашему природному уму и потому не пытаясь предварительно соблазнить вас, я предлагаю вам стать моей любовницей!

Любовницей!

Это слово обожгло ей мозг, оно было оскорбительно, как плевок в лицо. Но в первое мгновение она даже не успела почувствовать себя оскорбленной — такое возмущение вызвала в ней мысль, что он считает ее непроходимой дурой. Конечно, он считает ее полной идиоткой, если вместо предложения руки и сердца, которого она ждала, предлагает ей это! Ярость, уязвленное тщеславие, разочарование привели ее ум в такое смятение, что, уже не заботясь о высоких нравственных принципах, которые он попрал, она выпалила первое, что подвернулось ей на язык:

— Любовницей? Что за радость получу я от этого, кроме кучи слюнявых ребятишек?

И умолкла, ужаснувшись собственных слов, прижав платок к губам. А он рассмеялся — он смеялся прямо до упаду, вглядываясь в темноте в ее растерянное, помертвевшее лицо.

— Вот почему вы мне нравитесь! Вы — единственная женщина, позволяющая себе быть откровенной. Единственная женщина, умеющая подойти к вопросу по‑деловому, не пускаясь в дебри туманных рассуждений о нравственности и грехе. Всякая другая сначала бы упала в обморок, а затем указала бы мне на дверь.

Скарлетт вскочила с кресла, сгорая от стыда. Как это у нее вырвалось, как могла она сказать такую вещь! Как могла она, получившая воспитание у Эллин, сидеть и слушать эти унизительные речи, да еще с таким бесстыдством отвечать на них! Она должна была бы закричать. Упасть в обморок. Или молча, холодно встать и уйти. Ах, теперь уже поздно!

— Я и укажу вам на дверь! — выкрикнула она, уже не заботясь о том, что Мелани или Миды у себя в доме могут ее услышать. — Убирайтесь вон! Как вы смеете делать мне такие предложения! Что это я такое себе позволила... как вы могли вообразить... Убирайтесь! Я не желаю вас больше видеть! Никогда! Все кончено на этот раз. И не вздумайте являться сюда с вашими несчастными пакетиками с булавочками, с ленточками, все равно я никогда вас не прощу... Я... я все, все расскажу папе, и он убьет вас!

Он поднял с пола свою шляпу, поклонился, и она увидела, как в полумраке, под темной полоской усов, блеснули в улыбке его зубы. Он явно не был пристыжен, все это только забавляло его, и ее слова пробуждали в нем лишь любопытство.

Боже, как он мерзок! Она резко повернулась и направилась в дом. Ей хотелось с треском захлопнуть за собой дверь, но дверь держалась на крюке, крюк заело в петле, и она, задыхаясь, старалась приподнять его.

— Разрешите вам помочь? — спросил Ретт.

Чувствуя, что, пробудь она здесь еще секунду, ее хватит удар, Скарлетт бросилась вверх по лестнице и уже на площадке услышала, как Ретт аккуратно притворил за ней дверь.

### Глава XX

Когда жаркий август с бесконечным грохотом канонады подходил к концу, шум боя внезапно стих. Тишина, в которую погрузился город, казалась пугающей. При встречах на улице люди неуверенно, с беспокойством смотрели друг на друга, не зная, что их ждет. Тишина после дней, наполненных визгом снарядов, не принесла облегчения натянутым нервам — напряжение словно бы даже усилилось. Никто не знал, почему умолкли батареи неприятеля; никто ничего не знал и о судьбе войск — известно было только, что много солдат поднято из окопов, опоясывающих город, и переброшено к югу для обороны железной дороги. Никто не знал, где шли теперь бои, если они вообще шли, и на чьей стороне перевес в войне, если она еще идет.

Новости передавались теперь из уст в уста. Не стало бумаги, не стало типографской краски, не стало рабочих. Газеты с начала осады не выходили, и самые дикие слухи возникали невесть откуда и расползались по городу. В наступившей внезапно тишине толпы людей начали осаждать главный штаб генерала Худа, требуя информации; толпы собирались у телеграфа и на вокзале в надежде хоть что‑нибудь узнать, получить хоть какую‑то добрую весть — ведь каждому хотелось верить: умолкнувшие пушки Шермана говорят о том, что янки бегут, войска конфедератов гонят их назад к Далтону. Но вестей не было. Молчали телеграфные провода, не шли поезда по единственной оставшейся в руках конфедератов дороге на юг, почтовая связь была прервана.

Август с его пыльной безветренной жарой, казалось, задался целью задушить внезапно примолкший город, обрушив весь свой изнуряющий зной на усталых, истерзанных людей. Из Тары не было писем, и Скарлетт сходила с ума, хоть и старалась не подавать виду, — казалось, целая вечность прошла с тех пор, как началась осада; казалось, всю свою жизнь Скарлетт жила под неумолчный грохот пушек, пока внезапно не пала на город эта зловещая тишина. А ведь всего тридцать дней минуло с начала осады. Всего тридцать дней! Тридцать дней в городе, окруженном красными зияющими рвами окопов, не смолкала канонада, тридцать дней вереницы санитарных фур и запряженных волами повозок тянулись к госпиталям, окропляя пыльные мостовые кровью, а похоронные взводы, еле держась на ногах от усталости, волокли на кладбище еще не успевшие остыть трупы и сваливали их, словно поленья, в наспех вырытые неглубокие канавы, тянувшиеся бесконечными рядами одна за другой.

И всего четыре месяца, как янки двинулись на юг от Далтона! Всего четыре месяца! Скарлетт вспоминала этот далекий день, и ей казалось, что это было где‑то в другой жизни. Нет, не может быть, чтобы всего четыре месяца! С тех пор прошла целая жизнь.

Четыре месяца назад! Да ведь четыре месяца назад Далтон, Резака, гора Кеннесоу были лишь географическими названиями или станциями железных дорог. А потом они стали местами боев, отчаянных, безрезультатных боев, отмечавших путь отступления войск генерала Джонстона к Атланте. А теперь и долина Персикового ручья, и Декейтер, и Эзра‑Черч, и долина ручья Ютой уже не звучали как названия живописных сельских местностей. Никогда уже не воскреснут они в памяти как тихие селения, полные радушных, дружелюбных людей, или зеленые берега неспешно журчащих ручьев, куда отправлялась она на пикники в компании красивых офицеров. Теперь эти названия говорили лишь о битвах: неясная зеленая трава, на которой она сиживала прежде, исполосована колесами орудий, истоптана сапогами, когда штык встречался там со штыком, примята к земле трупами тех, кто корчился на этой траве в предсмертных муках... И ленивые воды ручьев приобрели такой багрово‑красный оттенок, какого не могла придать им красная глина Джорджии. Говорили, что Персиковый ручей стал совсем алым после того, как янки переправились на другой берег. Персиковый ручей, Декейтер, Эзра‑Черч, ручей Ютой. Никогда уже эти названия не будут означать просто какое‑то место на земле. Теперь это места могил, где друзья покоятся в земле, это кустарниковые поросли и лесные чащи, где гниют тела непогребенных, это четыре предместья Атланты, откуда Шерман пытался пробиться к городу, а солдаты Худа упрямо отбрасывали его на исходные позиции.

Наконец, в измученный неизвестностью город проникла весть — тревожная весть, особенно для Скарлетт. Генерал Шерман снова ведет наступление, снова старается перерезать железную дорогу у Джонсборо. Теперь янки сосредоточились с этой стороны Атланты и вместо отдельных кавалерийских налетов готовят большой массированный удар. Войска конфедератов, покинув линию обороны, в свою очередь, готовятся всей своей мощью обрушиться на противника. Этим и объяснялось наступившее затишье.

«Почему именно у Джонсборо? — думала Скарлетт, и сердце ее сжималось при мысли о том, как близко это от Тары. — Почему они все время стремятся туда? Не могут они разве перерезать железную дорогу где‑нибудь в другом месте?»

Уже неделю из Тары не было вестей, а последняя коротенькая записочка от Джералда только усилила ее тревогу. Кэррин стало хуже, она очень, очень тяжело больна. А теперь бог весть еще когда доставят новую почту, бог весть когда сможет она узнать, жива ли Кэррин. Ах, почему, почему не уехала она домой, как только началась осада, махнув рукой на Мелани!

Под Джонсборо идут бои — это было все, что стало известно, но как разворачиваются события на поле боя, не мог сказать никто, и самые дикие слухи терзали город. Наконец из Джонсборо прискакал вестовой с утешительным известием: янки отброшены от железной дороги. Однако им удалось ворваться в Джонсборо — они сожгли вокзал, перерезали телеграфные провода и при отступлении взорвали «железнодорожные пути на протяжении трех миль. Инженерные войска работают как одержимые, восстанавливая железнодорожную колею, но на это потребуется время, так как янки выдрали из земли шпалы, сложили из них костер, навалили поверх выдранные рельсы, раскалили их докрасна, а потом обвили ими телеграфные столбы, превратив их в подобие гигантских штопоров. А где сейчас достанешь новые рельсы, где сейчас достанешь какой‑нибудь металл!

Нет, янки не дошли до Тары. Тот же самый вестовой, который привез депеши генералу Худу, заверил в этом Скарлетт. На другой день после сражения, как раз перед отъездом в Атланту, он встретил в Джонсборо Джералда, и тот попросил передать ей письмо.

Но что понадобилось папе в Джонсборо? Молодой офицер, отвечая на ее вопрос, отвел в сторону глаза. Джералд пытался найти в военных частях врача, который мог бы поехать с ним в Тару.

Стоя на залитой солнцем веранде и произнося слова благодарности за хлопоты, которые взял на себя этот офицер, Скарлетт почувствовала, что у нее слабеют колени. Кэррин умирает, иначе Джералд не стал бы искать доктора, доверился бы искусному врачеванию Эллин! Когда молодой офицер ускакал, подняв облачко красной пыли, она дрожащими пальцами вскрыла конверт. В Конфедерации иссякли запасы бумаги, и Джералд написал свое послание между строчек ее последнего письма к нему; прочесть его было нелегко.

«Дорогая дочка, твоя мать и обе сестры больны тифом. Они очень тяжело больны, но мы должны надеяться на лучшее. Когда мама слегла, она попросила меня написать тебе, чтобы ты ни под каким видом не приезжала домой, не подвергала себя и Уэйда опасности подхватить заразу. Она шлет тебе привет и просит помолиться за нее».

«Помолиться за нее!» Скарлетт вихрем взлетела по лестнице к себе в спальню, упала на колени возле кровати и взмолилась господу так горячо, как никогда еще не молилась за всю свою жизнь. Она не читала привычных молитв, просто повторяла снова и снова:

— Матерь божья, не дай ей умереть! Я всегда буду хорошей, только не дай ей умереть! Не дай ей умереть!

Всю следующую неделю Скарлетт в ожидании вестей металась по дому, словно раненое животное, вздрагивала, услыхав стук копыт, опрометью сбегала ночью по лестнице, если какой‑нибудь солдат стучался в дверь, но из Тары вестей больше не было, и ей мнилось, будто весь континент, во всю свою ширь, лег между нею и родным домом, хотя она и знала, что до поместья всего двадцать пять миль пыльной дороги.

Почта по‑прежнему не работала, и никто не знал, где теперь войска конфедератов и где янки и что они замышляют, и только одно понимали все: тысячи солдат в серых мундирах и тысячи в синих сражаются где‑то между Атлантой и Джонсборо. А из Тары не было вестей уже неделю.

Скарлетт достаточно нагляделась в госпитале на тифозных больных и понимала, что может случиться при этой болезни за неделю. Эллин больна, быть может, умирает, а она торчит здесь, в Атланте, с беременной женщиной на руках, и две армии отделяют ее от родного дома. Эллин больна — быть может, умирает. Но как это могло случиться! Эллин же никогда не хворает. Все это было настолько невообразимо, что выбивало почву из‑под ног и создавало ощущение зыбкости. Кто угодно мог заболеть, только не она. Эллин ухаживала за больными — и они выздоравливали. Она не может заболеть. Скарлетт рвалась домой. Она рвалась в Тару с отчаянием испуганного ребенка, видящего перед собой лишь одну всегда надежную, тихую пристань.

Домой! В невысокий белый дом с развевающимися белыми занавесками на окнах, с густо поросшей клевером лужайкой, над которой неумолчно гудят пчелы, с маленьким черным сорванцом на ступеньках веранды, деловито охраняющим цветочные клумбы от уток и индюшат, к безмятежному покою красной земли и белоснежных хлопковых плантаций, миля за милей белеющих под солнцем! Домой!

Почему не уехала она домой в начале осады, когда все спасались бегством из города! Ничего бы не случилось, если бы она увезла с собой и Мелани, столько времени еще было впереди!

«О, черт бы ее побрал! — в сотый раз подумала Скарлетт. — Почему не могла она уехать с тетей Питти в Мэйкон! Ее место там, с ее родными, а вовсе не со мной. Я же ей не кровная родня. Чего она так за меня уцепилась? Уехала бы в Мэйкон, а я бы поехала домой, к маме. Даже сейчас, да, даже сейчас я бы еще могла пробраться домой, плюнув на янки, если бы не этот ребенок у нее в животе. Генерал Худ дал бы мне сопровождающего. Генерал Худ очень воспитанный человек, я наверное уговорила бы его дать мне сопровождающего и белый флаг, чтобы я могла пересечь линию фронта. Так нет же — я должна сидеть тут и ждать появления этого младенца!.. О мамочка, мама, не умирай!.. Почему Мелани все никак не может родить? Сегодня же пойду к доктору Миду и спрошу, нет ли какого‑нибудь способа ускорить это дело, чтобы я могла уехать домой... если мне удастся раздобыть сопровождающего. Доктор Мид сказал, что роды будут тяжелые. Боже милостивый, а вдруг она умрет! Вдруг Мелани умрет. Умрет. И Эшли... Нет, об этом нельзя думать, это скверно. Но ведь Эшли... Нет, не хочу об этом думать, его же все равно, наверное, уже нет в живых. И он взял с меня слово, что я позабочусь о ней. Но... но если я не очень буду заботиться о ней и она умрет, а Эшли все еще жив... Нет, я не должна так думать. Это грешно. А я обещала господу быть хорошей, если он не даст маме умереть. Господи, хоть бы этот ребенок родился, наконец! Хоть бы уж я могла выбраться отсюда, уехать домой... куда угодно, только подальше отсюда!»

Она возненавидела этот зловеще притихший город, который так полюбился ей когда‑то... Да он и не был похож на ту веселую, бесшабашно веселую Атланту, которая ее очаровала. Эти страшные, погруженные в безмолвие, словно по ним прошла чума, улицы, такие тихие, такие чудовищно тихие после грохота канонады. В шуме боя, в чувстве опасности было что‑то бодрящее. Наступившая тишина таила в себе только безмерный ужас. Город казался населенным призраками — призраками страха, тревоги, воспоминаний. У людей заострились лица, а те солдаты, что попадались Скарлетт на глаза, были похожи на выдохшихся бегунов, которые заставляют себя сделать отчаянный рывок на финишной прямой, когда состязание уже безнадежно проиграно.

Наступили последние дни августа, и стали доходить упорные слухи о жесточайших боях, каких еще не было за все время битвы за Атланту. Бои шли где‑то на юге. В городе уже никто не пытался улыбаться или шутить — все напряженно ждали исхода боев. Теперь и здесь все понимали то, что на фронте поняли две недели назад: дни Атланты сочтены; если дорога на Мэйкон будет отрезана, Атланта падет.

Утром первого сентября Скарлетт проснулась с гнетущим чувством страха, который поселился в ней накануне вечером, лишь только она опустила голову на подушку. Еще одурманенная сном, она подумала: «Из‑за чего я так встревожилась вчера, ложась спать? Да, сражение. Вчера где‑то произошла большая битва! Боже мой, кто же победил?» Она сразу села в постели, протирая глаза, и тяжесть снова сдавила ее сердце.

Воздух был душен даже в эти утренние часы, предвещая палящий полуденный зной, — раскаленное солнце в беспощадной, сверкающей синеве небес. Улица за окном безмолвствовала. Ни скрипа колес в тишине, ни топота марширующих ног, подымающих красную пыль. Из соседних домов не доносилось певучих негритянских голосов, из кухонь не тянуло аппетитным запахом утренней стряпни: все соседи, за исключением миссис Мид и миссис Мерриуэзер, уехали в Мэйкон. Но и из этих двух домов не долетало ни звука. Дальше, в торговой части улицы, тоже было тихо: магазины и конторы закрыты, заколочены досками, а их владельцы рассыпались по округе с винтовками в руках.

В это утро тишина показалась Скарлетт еще более грозной, чем накануне, чем во все зловеще тихие дни минувшей недели; ей уже не захотелось, как прежде, понежиться, потянуться, зарыться поглубже в подушки, она торопливо поднялась с постели и подошла к окну в надежде увидеть хоть чье‑то знакомое лицо, хоть что‑нибудь, что могло бы поднять ее дух. Но улица была пустынна. Ей бросилось в глаза, что все еще зеленая листва деревьев пожухла под толстым слоем красной пыли, а цветы перед домом вяли без ухода.

«Гроза!» — подумалось ей, и, как у всякой сельской жительницы, следом пришла с детства привычная мысль: «Да, дождь нам сейчас необходим». Но в следующую секунду она уже поняла: «Дождь? Нет! Какой там дождь! Это пушки!»

С бьющимся сердцем она перегнулась через подоконник, ловя ухом далекий гул, стараясь определить, с какой стороны он доносится. Но глухие раскаты были слишком далеки. «О господи! — взмолилась она. — Хоть бы из Мариетты! Или из Декейтера! Или с Персикового ручья! Только бы не с юга! О, лишь бы не с юга!» Она крепче ухватилась за раму окна, напрягая слух. Далекие раскаты стали слышней. И они доносились с южной стороны города.

Пушки с юга! А там, к югу от города — Джонсборо, и Тара, и... Эллин!

Может быть, сейчас, сию минуту, янки уже в Таре! Она снова прислушалась, но кровь стучала у нее в висках, заглушая все звуки. Нет, это не из Джонсборо. Стрельба была бы слышна слабее, не так отчетливо: Джонсборо слишком далеко от Атланты. Но янки, должно быть, милях в десяти отсюда по дороге на Джонсборо, может быть, у маленького селения Раф‑энд‑Реди. Впрочем, оттуда до Джонсборо тоже едва будет десять миль.

Пушки били с юга. Быть может, это был похоронный звон, возвещавший конец Атланты. Но Скарлетт, теряя голову при мысли о грозящей ее матери опасности, понимала лишь одно: стреляют с юга — значит, близко от Тары. Ломая руки, она принялась ходить по комнате из угла в угол, и впервые за всю войну мысль о том, что армия конфедератов может потерпеть поражение, явилась ей во всем своем ужасном значении. Сознание, что солдаты Шермана, быть может, подходят к Таре, заставило ее впервые подумать о возможности столь страшного исхода войны, охватить разумом весь ужас происходящего, сделало то, чего не могли сделать ни рев снарядов, от которого разлетались стекла в окнах, ни голод, ни отсутствие одежды, ни сотни умиравших на ее глазах людей. Солдаты Шермана в нескольких милях от Тары! И если даже их побьют, они, отступая, могут выйти к Таре. И куда укрыться тогда Джералду с тремя больными женщинами на руках!

О, если бы только ей очутиться сейчас дома, с ними, пусть бы даже там были янки! Босиком, в ночной рубашке, путавшейся между ног, она металась по комнате, а страшное предчувствие беды все крепло и крепло. Она хочет домой, домой! К Эллин!

Снизу, из кухни, донесся звон посуды: Присей готовила завтрак. Но Бетси, кухарки миссис Мид, не было слышно. Тонкий, пронзительный голос Присей затянул уныло:

— «Еще день, еще два свою ношу нести...»

Ее пение действовало Скарлетт на нервы, печальные слова тревожно бередили душу, и, накинув капот, она выбежала на площадку лестницы, отворила дверь на черный ход и крикнула:

— Присей! Заткнись, перестань выть!

— Да, мэм, — угрюмо прозвучало в ответ, и Скарлетт глубоко вздохнула, устыдясь своей внезапной вспышки.

— Где Бетси?

— Не знаю. Не пришла.

Скарлетт направилась к спальне Мелани, приотворила дверь и заглянула в залитую солнцем комнату. Мелани в ночной рубашке лежала в постели, глаза у нее были закрыты, под глазами — черные круги, отекшее личико утратило свой нежный, напоминавший сердечко овал, стройное тело стало уродливо бесформенным. Поглядел бы Эшли на нее сейчас, мелькнула у Скарлетт злорадная мысль. Ни одна беременная женщина не казалась Скарлетт такой безобразной, как Мелани. Словно почувствовав на себе ее взгляд, Мелани открыла глаза, и слабая приветливая улыбка озарила ее лицо.

— Входи же, — позвала она, неуклюже поворачиваясь на бок. — Я проснулась на заре и все время думала, и знаешь, Скарлетт, я хочу попросить тебя кое о чем.

Скарлетт вошла в спальню и присела на залитую нестерпимо ярким солнцем постель.

Мелани взяла руку Скарлетт и мягко, доверчиво ее пожала.

— Дорогая, — сказала она, — я слышала стрельбу и очень расстроилась. Это со стороны Джонсборо?

— Угу, — пробормотала Скарлетт, и сердце у нее снова болезненно заколотилось.

— Я понимаю, как ты тревожишься. Я знаю, ты бы уехала домой еще на прошлой неделе, когда узнала, что твоя мама больна. Ты осталась только из‑за меня, верно?

— Верно, — безжалостно подтвердила Скарлетт.

— Скарлетт, дорогая, ты так добра ко мне. Родная сестра не могла бы быть добрее и самоотверженнее тебя. И я еще больше люблю тебя за это. Мне очень больно, что я стою у тебя на пути.

Скарлетт смотрела на нее молча. «Она любит меня? Вот идиотка!»

— Послушай, Скарлетт, я лежала и думала и решила обратиться к тебе с очень большой просьбой. — Она снова, крепче, сжала ее руку. — Если я умру, ты возьмешь моего ребенка?

Широко раскрытые, лихорадочно блестящие глаза Мелани были устремлены на нее с неясной и настойчивой мольбой.

— Возьмешь?

Скарлетт выдернула руку, чувствуя, как ее охватывает страх. От неожиданности и испуга голос ее прозвучал грубо.

— Не будь идиоткой, Мелли! Ты не умрешь. Каждой женщине, когда она ждет первого ребенка, кажется, что она умрет. Я знаю, со мной тоже так было.

— Нет, неправда. Ты никогда ничего не боишься. Ты это говоришь, просто чтобы подбодрить меня. А я не боюсь умереть, но боюсь за маленького, если Эшли... Скарлетт, обещай, что ты возьмешь себе моего ребенка, если я умру. Тогда я не буду бояться смерти. Тетушка Питти слишком стара, чтобы воспитать ребенка, а Милочка и Индия — они очень хорошие, только... Я хочу, чтобы моего малютку взяла ты. Обещай мне, Скарлетт. Если это будет мальчик, воспитай его похожим на Эшли, а если девочка... Я хочу, чтобы она была похожа на тебя, дорогая.

— Тысяча чертей! — вне себя воскликнула Скарлетт, вскакивая с постели. — Неужели мало нам несчастий, чтобы ты еще толковала о смерти!

— Прости меня, дорогая. Но дай слово. Мне кажется, все должно совершиться сегодня. Я чувствую, что сегодня. Пожалуйста, обещай.

— Ладно. Обещаю, — сказала Скарлетт, в полном замешательстве глядя на нее сверху вниз.

«Неужели Мелани в самом деле так глупа, неужели она не понимает, что я люблю Эшли? Или она все понимает и потому‑то и думает, что я позабочусь о его ребенке?» Скарлетт с трудом подавила бешеное желание задать ей этот вопрос — он уже готов был слететь у нее с языка, но тут Мелани снова взяла ее руку и приложила к своей щеке. Взгляд ее стал спокоен.

— Почему ты думаешь, что это будет сегодня, Мелли?

— У меня с рассвета начались схватки, правда, еще не очень сильные.

— Вот оно что! Почему же ты не позвала меня? Я сейчас пошлю Присей за доктором Мидом.

— Нет, пока не надо, Скарлетт. Ты знаешь, сколько у него дел, как они все там заняты работой. Просто сообщи ему, что он может нам понадобиться сегодня. И пошли за миссис Мид, попроси ее прийти, посидеть со мной. Она будет знать, когда настанет время посылать за доктором.

— Да перестань ты разыгрывать из себя святую. Сама знаешь, что доктор нужен тебе не меньше, чем им там в госпитале. Я пошлю за ним сейчас же.

— Ну пожалуйста, не надо. Иногда это длится целый день, и я не могу, чтобы доктор часами сидел здесь, в то время как он нужен всем этим беднягам в госпитале. Пошли только за миссис Мид. Она поймет, когда потребуется доктор.

— Что ж, будь по‑твоему, — сказала Скарлетт.

### Глава XXI

Как только Присей отнесла завтрак Мелани, Скарлетт тут же отправила ее за миссис Мид, а сама села завтракать с Уэйдом. Но кусок не шел ей в горло. Она со страхом думала о том, что Мелани пришло время родить, и, бессознательно прислушиваясь к отдаленному грохоту орудий, впервые в жизни почувствовала, что у нее совсем нет аппетита. И с сердцем творилось что‑то странное: несколько минут оно билось нормально, а потом вдруг делало отчаянный толчок, и тогда у нее начинало тоскливо сосать под ложечкой. Она с трудом глотала густую клейкую мамалыгу, и никогда еще напиток из жареной кукурузы и молотого батата, сходивший теперь за кофе, не казался ей таким омерзительным. Без сахара, без сливок это пойло было горьким, как желчь, а «подслащивание» с помощью сорго не очень‑то помогало. Сделав глоток, она отодвинула чашку. Янки лишили ее удовольствия пить настоящий кофе с сахаром и сливками, и одного этого было уже достаточно, чтобы она возненавидела их всей душой.

Уэйд вел себя сегодня как‑то тише обычного и не хныкал, как всегда по утрам, отказываясь есть мамалыгу. Он молча жевал ненавистную кашу, которую она ложку за ложкой совала ему в рот, и громко чмокал, запивая ее водой. Его большие, карие, круглые, как долларовые монеты, глаза с детской тревогой следили за каждым движением матери, словно ее затаенные страхи передались ему. Когда с завтраком было покончено, Скарлетт отправила его во двор играть и с облегчением проследила за тем, как он проковылял по примятой траве к своему игрушечному домику.

Она встала из‑за стола и, подойдя к лестнице на второй этаж, остановилась в нерешительности. Надо было подняться к Мелани, посидеть с ней, постараться отвлечь ее от мыслей о предстоящем испытании, но у нее не хватало сил подвигнуть себя на это. Надо же было Мелани выбрать именно такой день из всех дней в году, чтобы начать рожать! Да еще толковать о смерти!

Она присела на нижнюю ступеньку лестницы и постаралась взять себя в руки. Мысли ее обратились к вчерашней битве, и снова встал вопрос: каков же был ее исход? Как странно, что где‑то рядом, всего в нескольких милях идет бой, а до них не доходит никаких вестей! Какая необычная тишина царит на этом обезлюдевшем конце города, как не похоже это на то, что творилось здесь во время битвы за Персиковый ручей! Сражение шло где‑то к югу, далеко от города, а дом тетушки Питтипэт был последним на северной окраине города, и воинские части, спешившие на подкрепление, не проходили ускоренным маршем по этой улице, и санитарные кареты не проезжали по ней, и не ковыляли возвращавшиеся с линии огня раненые. Вероятно, все это происходило сейчас на южной окраине, подумала Скарлетт и возблагодарила бога за то, что она этого не видит. Если бы только еще все живущие в их конце Персиковой улицы не убежали из города — все, кроме Мидов и Мерриуэзеров! Ей стало так одиноко здесь теперь. Останься дома хотя бы дядюшка Питер, она послала бы его сейчас в штаб узнать, какие вести с фронта. Впрочем, если бы не Мелани, она сама, ни минуты не медля, бросилась бы в город и все разузнала. Но пока миссис Мид не пришла, оставить Мелани нельзя. Миссис Мид. Почему она не идет? И куда подевалась Присей?

Скарлетт встала, вышла на веранду и в нетерпеливом ожидании стала вглядываться вдаль, но дом Мидов не был виден из‑за деревьев за изгибом улицы, а улица была пустынна. Наконец вдали показалась Присей: она шла одна, не спеша, словно прогуливаясь, и, покачивая бедрами, оглядывала через плечо свои развевающиеся сзади юбки.

— Что ты тащишься, как старая черепаха! — накинулась на нее Скарлетт, когда Присей вошла в калитку. — Что сказала миссис Мид? Скоро она придет?

— Ее там нету, — сказала Присей.

— А где же она? Когда вернется домой?

— Так понимаете, мэм, — сказала Присей, наслаждаясь своей важной миссией и невыносимо растягивая слова, — кухарка говорит, миссис Мид — она уехала утром, рано‑рано, потому как молодого мистера Фила ранило, и миссис Мид взяла кабриолет и этого старика Талбота, и Бетси, и поехала за мистером Филом — привезти домой. Кухарка говорит, он сильно ранен, и миссис Мид к нам не придет.

Скарлетт захотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Почему черные слуги всегда с таким торжественным видом приносят дурные вести?

— Ладно. Не стой тут как идиотка. Ступай к миссис Мерриуэзер и попроси ее прийти или прислать свою няньку. Давай, живо.

— Да их там нет никого, мисс Скарлетт. Я по дороге заходила туда, посидеть с ихней нянюшкой. Так они все ушли. И дом заперли. Видать, в госпитале они.

— Так вот ты где болталась! Когда я тебя куда‑нибудь посылаю, изволь идти куда велено, а не «посидеть с нянюшкой». Ступай...

Она задумалась. Кто же из знакомых остался в городе, кто мог бы ей помочь? Миссис Элсинг. Эта дама, правда, сильно невзлюбила ее в последнее время, но зато она всегда очень нежно относилась к Мелани.

— Ступай к миссис Элсинг, толково объясни ей все и вежливо попроси прийти сюда. И слушай меня внимательно, Присей. Мисс Мелли сегодня должна родить, и ты можешь понадобиться каждую минуту. Так что быстро — туда и обратно.

— Хорошо, мэм, — сказала Присей, повернулась и медленно‑медленно, нехотя поплелась к калитке.

— Живее, ты, мешок с трухой!

— Да, мэм.

Присей сделала вид, что прибавила шагу, и Скарлетт вернулась в дом. Снова она постояла в нерешительности, прежде чем подняться к Мелани. «Придется сказать ей, почему миссис Мид не может прийти, и она, конечно, разволнуется, узнав, что Фил Мид серьезно ранен. Ладно, что‑нибудь совру».

Она вошла в спальню к Мелани и увидела на подносе нетронутый завтрак. Мелани лежала на боку, в лице ни кровинки.

— Миссис Мид в госпитале, — сказала Скарлетт. — Но придет миссис Элсинг. Тебе плохо?

— Не очень, — солгала Мелани. — Скарлетт, как долго у тебя это было с Уэйдом?

— Раз — и готово, — с наигранной бодростью отвечала Скарлетт. — Я была во дворе и едва успела добежать до дома. Мамушка сказала: «Позор, да и только! Прямо как простая негритянка!»

— Хорошо бы и у меня было, как у негритянки, — сказала Мелани с вымученной улыбкой, которая тут же погасла. Лицо ее исказилось от боли.

Скарлетт скользнула взглядом по безнадежно узким бедрам Мелани, но сказала ободряюще:

— Право же, это совсем не так страшно.

— Да я понимаю. Верно, я просто трусиха. А... а миссис Элсинг скоро придет?

— Скоро, скоро, — сказала Скарлетт. — Я пойду, достану свежей воды из колодца и оботру тебя губкой. Жара сегодня.

Доставая воду, она медлила как могла — тянула время — и поминутно бегала поглядеть, не идет ли Присей. Но Присей не было видно, и в конце концов Скарлетт опять поднялась к Мелани, обтерла губкой ее потное тело и расчесала длинные темные волосы.

Прошел час, и наконец с улицы долетел звук шаркающих по земле подошв, и, выглянув из окна, Скарлетт увидела Присей: девчонка шла неторопливо, снова, как в прошлый раз, вертя головой во все стороны и охорашиваясь, с таким видом, словно выступала на сцене.

«Когда‑нибудь я отлуплю эту негодяйку», — в бешенстве подумала Скарлетт, сбегая по ступенькам ей навстречу.

— Миссис Элсинг в госпитале. Ихняя кухарка говорит: поезд утром привез много раненых солдатиков. Она варит суп, понесет туда. Она говорит...

— Не важно, что она говорит, — оборвала ее Скарлетт, чувствуя, как у нее упало сердце. — Надень чистый фартук, пойдешь в госпиталь. Отнесешь записку доктору Миду, а если его там нет, отдай ее доктору Джонсу или другому доктору. И если не вернешься быстро, я шкуру с тебя спущу.

— Да, мэм.

— И спроси кого‑нибудь из джентльменов, как там дела на фронте. А если они ничего не знают, добеги до вокзала, расспроси машинистов, которые привозят раненых. Спроси, где идут бои — далеко ли от Джонсборо.

— Господи помилуй, мисс Скарлетт! — Черное лицо Присей неожиданно исказилось от страха. — А в Таре тоже янки?

— Почем я знаю. Говорят тебе — расспроси.

— Господи помилуй! Мисс Скарлетт! Что они сделают с моей мамкой?

И Присей вдруг завыла в голос, чем окончательно вывела Скарлетт из себя.

— Перестань реветь! Напугаешь миссис Мелли! Ступай смени фартук, живо!

Подхлестнутая окриком, Присей скрылась в доме, а Скарлетт торопливо нацарапала записку на полях письма Джералда — единственного клочка бумаги, сыскавшегося в доме. Когда она складывала записку так, чтобы ее послание оказалось на виду, ей невольно бросились в глаза слова, нацарапанные рукой Джералда, — «мама слегла... тиф... ни под каким видом не приезжай домой...» — и к горлу подступил комок. Если бы не Мелани, она сейчас же, сию минуту бросилась бы домой, добралась бы до дому хоть пешком.

Зажав письмо в руке. Присей на этот раз припустилась чуть не бегом, а Скарлетт поднялась наверх, наспех придумывая, как бы ей половчее соврать, почему не пришла миссис Элсинг. Но Мелани ни о чем не спросила. Она лежала на спине, лицо ее казалось умиротворенно‑спокойным. И у Скарлетт немного отлегло от сердца.

Она села и стала говорить о разных пустяках, но мысль о Таре и о том, что янки могут одержать победу, безжалостно сверлила ее мозг. Скарлетт думала об умирающей Эллин, о рвущихся в Атланту янки, которые начнут всех резать и все жечь. Мысли текли под далекие глухие раскаты канонады, неустанно звучавшие в ушах, обдавая ее волнами страха. И она наконец умолкла, уперев невидящий взгляд в окно на недвижную пыльную листву деревьев над жаркой, тихой улицей. Мелани молчала тоже — лишь время от времени ее спокойное лицо сводила судорога боли.

И всякий раз после схватки она говорила:

— Знаешь, не так уж это и больно. — И Скарлетт понимала, что она лжет. А ей было бы легче, если бы Мелани выла от боли, а не терпела так, молча. Она знала, что должна бы пожалеть Мелани, но не испытывала к ней ни капли сочувствия. Собственные тревоги раздирали ее мозг. Кинув взгляд на перекошенное болью лицо, она вдруг подумала: надо же было так случиться, чтобы из всех людей на свете именно она оказалась прикованной здесь к Мелани в эти ужасные минуты, хотя по существу они совсем чужие друг другу, и она ненавидит Мелани, и в душе даже желает ей смерти! Что ж, быть может, ее желание исполнится, и быть может, еще до исхода дня. При этой мысли суеверный страх ознобом пробежал у нее по коже. Желать кому‑то смерти — это не приводит к добру, это почти так же опасно, как кого‑нибудь проклясть. Проклятие падает на голову проклинающего, говаривала Мамушка. Скарлетт торопливо прочла про себя молитву, чтобы бог сохранил Мелани жизнь, а вслух лихорадочно залепетала первое, что подвернулось на язык. Прошло несколько минут, и Мелани положила горячую руку на ее запястье.

— Не старайся занимать меня беседой, дорогая. Я знаю, как у тебя тревожно на душе. Мне больно, что я причиняю тебе столько хлопот...

Скарлетт примолкла, но сидеть спокойно она не могла. Что ей делать, если ни доктор, ни Присей не подоспеют вовремя? Она подошла к окну, поглядела на улицу, снова опустилась на стул. Потом встала и выглянула в другое окно — напротив.

Прошел час, за ним второй. Был уже полдень, солнце стояло в зените и палило нещадно, и ни малейшее дуновение ветерка не шевелило пыльной листвы. У Мелани участились схватки. Ее длинные волосы взмокли от пота, на рубашке, там, где она прилипла к телу, обозначились темные пятна. Скарлетт молча освежала ее лицо мокрой губкой, но ее грыз страх. Господи, а что, если роды начнутся прежде, чем придет доктор? Что тогда делать? Она же ничего в этом не смыслит! Вот этого она и боялась все эти дни. Она отчасти полагалась на Присей, в случае, если нельзя будет раздобыть доктора, ведь Присей обучена принимать роды, она это говорила не раз. Но где она, Присей? Почему не возвращается? И почему не приходит доктор? Скарлетт снова подошла к окну и поглядела на улицу. Она напряженно прислушивалась, и внезапно ей показалось... Нет, верно, это ей почудилось... Ей показалось, что грохот канонады стал глуше, отдаленней. Если так, значит, бои идут ближе к Джонсборо и, значит...

Наконец, еще раз высунувшись из окна, она увидела Присей, вприпрыжку спешившую к дому. Подняв голову и заметив Скарлетт, Присей широко разинула рот, собираясь что‑то крикнуть. Черное лицо было перекошено страхом, и, боясь, что Присей своим криком встревожит Мелани, Скарлетт поспешно приложила палец к губам и отошла от окна.

— Пойду принесу воды похолоднее, — сказала она, глядя в темные, запавшие глаза Мелани и стараясь улыбнуться. И быстро вышла из комнаты, плотно притворив за собой дверь.

Присей, запыхавшаяся, сидела в холле на нижней ступеньке лестницы.

— Они в Джонсборо, мисс Скарлетт! Говорят, наших жентмунов бьют. Ой, беда! Мисс Скарлетт! Что теперь будет с ма и Порком? Ой, беда! А что, как янки придут сюда? Ой, беда!

Скарлетт зажала ей рот рукой, заглушив причитания.

— Замолчи ты, бога ради!

Да, что будет с ними, если придут янки? Что будет с Тарой? Страшным усилием воли Скарлетт заставила эту мысль уйти на время куда‑то вглубь, чтобы обратиться к самым неотложным делам. Если только она начнет об этом думать, то завизжит и завоет от страха, как Присей.

— Где доктор Мид? Когда он придет?

— Да я его не видала, мисс Скарлетт.

— Что?!

— Не видала, мэм. Его нет в госпитале. Миссис Мерриуэзер и миссис Элсинг тоже нет. Говорят, он в сарае, на путях, туда раненых привезли из Джонсборо. А я, мисс Скарлетт, побоялась идти туда, там, говорят, мертвяки... Я мертвяков боюсь...

— А другие доктора?

— Ей‑богу, мисс Скарлетт, я не могла никак дать им почитать, что вы написали. Они все там как с ума посходили. Один доктор сказал: «Поди ты к черту! Не вертись под ногами! Какие еще младенцы, когда тут прорва людей помирает! Позови какую ни на есть бабку, она поможет». Тогда я пошла и стала всех спрашивать, как вы мне велели, — что слыхать, а все как есть в одну душу: «В Джонсборо бои, бои в Джонсборо», и тогда я...

— Ты говоришь, доктор Мид на вокзале?

— Да, мэм. Он...

— Ну, слушай меня внимательно. Я пойду за доктором Мидом, а ты сиди с мисс Мелани и делай все, что она тебе велит. И посмей только сказать ей, где идут бои, я тебя продам перекупщикам, богом клянусь! И не говори ей, что другой доктор тоже не может прийти. Поняла?

— Да, мэм.

— Вытри глаза, набери свежей воды в кувшин и ступай наверх. Оботри мисс Мелани губкой. Скажи, что я пошла за доктором Мидом.

— Ей уже скоро родить, мисс Скарлетт?

— Не знаю. Боюсь, что скоро, но, впрочем, не знаю. Тебе лучше знать. Ступай наверх.

Скарлетт схватила с подзеркальника свою широкополую соломенную шляпу, нахлобучила ее кое‑как на голову. Бросив отсутствующий взгляд в зеркало, она машинально поправила выбившуюся прядь. Мелкая, холодная дрожь страха, зародившегося где‑то под ложечкой, расползлась по всему покрытому жаркой испариной телу и отозвалась в кончиках похолодевших пальцев, когда они коснулись горячей щеки. Скарлетт торопливо вышла из дома под слепящее солнце. Она быстро шла по Персиковой улице, и кровь стучала у нее в висках от зноя. Издали, то нарастая, то затихая, доносился гул голосов. Вскоре она почувствовала, что ей трудно дышать от туго затянутого корсета, но не умерила шага. Голоса звучали все громче.

В конце улицы, ближе к Пяти Углам, царило странное оживление, как в разворошенном муравейнике. Негры с искаженными от страха лицами метались туда‑сюда. Белые ребятишки, плача, сидели без присмотра на крылечках. Улица была забита военными фургонами, санитарными каретами с ранеными и всякого рода повозками, доверху нагруженными мебелью, сундуками, баулами. Какие‑то верховые, выскакивая из боковых проездов, устремлялись к штабу Худа. Перед домом Боннеллов, держа под уздцы впряженную в коляску лошадь, стоял старик Амос, и при виде Скарлетт глаза у него округлились.

— Вы что ж — еще не уехали, мисс Скарлетт? Мы вот собрались. Старая мисс упаковывает пожитки.

— Собрались? Куда?

— А кто его знает, мисс. Куда‑нибудь. Янки подходят!

Скарлетт поспешила дальше, даже не попрощавшись. Янки подходят! Возле часовни Уэсли она приостановилась, чтобы перевести дыхание и унять неистово колотившееся сердце. Надо успокоиться, иначе она потеряет сознание. Она стояла, ухватившись за фонарный столб, и увидела офицера, скакавшего верхом от Пяти Углов. Не раздумывая, она выбежала на середину улицы и замахала рукой.

— Постойте! Пожалуйста, остановитесь!

Рывком натянув поводья, офицер поднял лошадь на дыбы. Усталое, прорезанное глубокими складками лицо его выдавало страшное напряжение, но когда он увидел Скарлетт, потрепанная серая шляпа тотчас слетела у него с головы.

— Мадам?

— Скажите, это правда? Янки подходят?

— Боюсь, что так.

— Вы это точно знаете?

— Да, мадам. Я это знаю. Полчаса назад в штаб прибыла депеша с линии огня из Джонсборо.

— Из Джонсборо? Вы уверены?

— Уверен, мадам. Нет смысла тешить себя красивыми иллюзиями, мадам. Депеша была от генерала Харди, и в ней говорилось: «Я проиграл битву и отвожу войска».

— О боже!

Офицер поглядел на нее, и на угрюмом усталом лице его не отразилось никаких чувств. Он собрал поводья и надел шляпу.

— О, сэр, прошу вас, еще минуту. Что же нам теперь делать?

— Затрудняюсь ответить, мадам. Армия покидает Атланту.

— Покидает? А нас бросает на произвол судьбы?

— Боюсь, что так, мадам.

Он пришпорил коня, и его как ветром сдуло, а Скарлетт осталась стоять посреди улицы, утонув по щиколотку в красной пыли.

Янки подходят. Армия покидает город. Янки подходят. Что же делать? Куда бежать? Нет, бежать нельзя. Там Мелани, она ждет ребенка. Господи, зачем женщины производят на свет детей! Не будь Мелани, она взяла бы Уэйда и Присей и спряталась бы с ними в лесу, и янки никогда не нашли бы их там. Но Мелани нельзя увести в лес. Сейчас нельзя. О, если бы она родила раньше, хотя бы вчера, быть может, их посадили бы в какую‑нибудь санитарную карету и увезли и спрятали бы где‑нибудь. А теперь... Теперь надо разыскать доктора Мида и заставить его пойти к Мелани. Может быть, он сделает что‑нибудь, чтобы она скорее родила.

Скарлетт подобрала юбки и побежала по улице, и в топоте ее шагов ей слышалось: «Янки подходят! Янки подходят!» На площади Пяти Углов было полно народу, и все бежали куда‑то, не видя друг друга, протискиваясь между санитарными фургонами, повозками, запряженными волами, и экипажами, которые везли раненых.

Глухой гул волнами перекатывался над толпой, словно на берегу в час прибоя.

И тут странное, немыслимое зрелище предстало глазам Скарлетт. Со стороны вокзала надвигалась толпа женщин с окороками на плечах. А за женщинами, сгибаясь под тяжестью банок с черной патокой, едва поспевали ребятишки. Мальчишки постарше тащили мешки с картофелем и кукурузой. Какой‑то старик катил на тачке бочонок муки. Мужчины, женщины, дети торопливо шагали, изнемогая под грузом мешков, ящиков, пакетов с провизией — такого количества провизии Скарлетт не доводилось видеть за целый год. Внезапно толпа расступилась, давая дорогу мчавшемуся, кренясь то на один, то на другой бок, кабриолету. В кабриолете хрупкая, элегантная миссис Элсинг, с хлыстом в руке, стоя правила лошадью. Бледная, без головного убора, с длинными седыми волосами, струившимися вдоль спины, она неистово стегала лошадь и была похожа на фурию. На сиденье ее черная нянька Мелисси, подскакивая на ухабах, одной рукой прижимала к себе кусок жирной свиной грудинки, а другой рукой и ногами старалась удержать на месте гору ящиков и мешков, наваленных в кабриолет. Один из мешков лопнул, и сушеные бобы сыпались на мостовую. Скарлетт закричала, пытаясь окликнуть миссис Элсинг, то голос ее утонул в шуме толпы, и кабриолет промчался мимо.

Смысл происходящего не сразу дошел до сознания Скарлетт, но она тут же вспомнила, что военные провиантские склады расположены возле вокзала, и поняла: армия открыла их, чтобы население могло воспользоваться кто чем сумеет, пока янки не вошли в город.

Она стала проталкиваться сквозь толпу испуганных, растерянно мечущихся людей и, выбравшись на свободное пространство, припустилась со всех ног самым коротким путем к вокзалу. Наконец в клубах пыли она стала различать среди санитарных фургонов двигающиеся, склоняющиеся над ранеными фигуры санитаров с носилками и докторов. Слава тебе господи, сейчас она разыщет доктора Мида! Но завернув за угол гостиницы «Атланта», откуда уже хорошо были видны подъездные пути и депо, она замерла на месте, пораженная открывшейся ее глазам картиной.

Под беспощадно палящим солнцем — кто плечом к чьему‑то плечу, кто головой к чьим‑то ногам — сотни и сотни раненых заполняли все пространство на железнодорожных путях и платформах. Их ряды под навесом депо уходили в бесконечность. Некоторые лежали молча и совершенно неподвижно, другие метались и стонали. И над всей этой кровью, грязными повязками, зубовным скрежетом, проклятьями, вырывавшимися из груди раненых, когда санитары перекладывали их с носилок на землю, — мухи, тучи мух вились в воздухе, жужжали, ползали по лицам. В знойном воздухе стоял запах пота, крови, немытых тел, кала, мочи. Смрад накатывал на Скарлетт волнами, и минутами ей казалось, что ее сейчас стошнит. Санитары с носилками сновали туда и сюда среди распростертых на земле почти вплотную друг к другу тел, нередко наступая на раненых, а те стоически молчали, глядя вверх, — ждали, когда у санитаров дойдут руки и до них.

Скарлетт попятилась, зажав рот ладонью, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. Она не могла сделать дальше ни шагу. Немало перевидала она раненых — и в госпиталях, и на лужайке перед домом тети Питти, после битвы у Персикового ручья, — но ничто, ничто не шло в сравнение с этим! Кровоточащие, смердящие тела прямо под палящим солнцем — нет, такого она еще не видела! Это был подлинный ад — страдания, крики, зловоние и... Скорей! Скорей! Скорей! Янки подходят! Янки подходят!

Скарлетт распрямила плечи и ступила туда, в гущу тел, перебегая глазами с одной стоявшей на ногах фигуры на другую, ища доктора Мида. И тут же поняла, что ничего у нее не выйдет, так как надо было смотреть себе под ноги, чтобы не наступить на какого‑нибудь беднягу. Она подобрала юбки и стала осторожно пробираться между лежавшими на земле телами, направляясь к группе мужчин, стоявших поодаль и отдававших распоряжения санитарам с носилками.

На пути чьи‑то руки судорожно хватали ее за юбку, она слышала хриплые восклицания:

— Леди, пить! Леди, пожалуйста, пить! Бога ради, леди, пить!

Пот струился по ее лицу, она старалась вырваться из цеплявшихся за ее юбку рук. Если — казалось ей — она нечаянно наступит на одного из этих людей, то завизжит и потеряет сознание. Она перешагивала через мертвых и через раненых, лежавших неподвижно с остекленелыми глазами, зажимая руками рваные раны в животе, с присохшими к ним обрывками окровавленной одежды, и повсюду были торчавшие колом от запекшейся крови бороды, раздробленные челюсти, разорванные рты, откуда неслись нечленораздельные звуки, означавшие, должно быть:

— Пить! Пить!

Если она сейчас же не разыщет доктора Мида, у нее начнется истерика. Она бросила взгляд в сторону группы мужчин, стоявших под навесом, и закричала что было мочи:

— Доктор Мид! Есть здесь доктор Мид?

Один из мужчин обернулся, отделился от группы и поглядел в ее сторону. Это был доктор Мид: без сюртука, рукава рубашки закатаны по локоть, и штаны, и рубашка алы от крови, как у мясника, и даже кончик седеющей бородки — в крови. Он был словно пьяный — пьяный от смертельной усталости, жгучего сострадания и бессильной злобы. На серых от пыли щеках струйки пота проложили извилистые борозды. Но голос его, когда он обратился к ней, звучал спокойно и решительно:

— Слава богу, что вы пришли. Мне дорога сейчас каждая пара рук.

На мгновение она замерла, глядя на него в растерянности, выпустив из руки подол. Подол упал на грязное лицо какого‑то раненого, и тот беспомощно завертел головой, стараясь высвободиться от душивших его оборок. О чем он толкует — этот доктор? От пыли, летевшей из‑под колес санитарных повозок, у нее защекотало в горле, в носу стало липко от омерзительного зловония.

— Скорей сюда, детка! Скорей!

Она подобрала юбки и торопливо направилась к нему, снова перешагивая через распростертые тела. Она схватила доктора за руку и почувствовала, как дрожит его рука от напряжения и усталости, хотя лицо сохраняло твердость.

— Ах, доктор! — воскликнула она. — Вы должны пойти к нам — Мелани рожает.

Он поглядел на нее так, словно ее слова не доходили до его сознания. Какой‑то раненый, лежавший на земле, с походным котелком под головой, добродушно ухмыльнулся, услыхав ее слова:

— Ну, с этим‑то они умеют справляться, — одобряюще произнес он.

Скарлетт даже не поглядела на него, она потрясла доктора за плечо.

— Мелани! У нее ребенок! Доктор, вы должны пойти! Она... у нее. — Сейчас было не до околичностей, но среди этих сотен мужских ушей слова не шли у Скарлетт с языка. — У нее сильные схватки. Доктор, прошу вас!

— Что? Рожает? Да черт побери! — внезапно вскипел доктор, и лицо его исказилось от ярости — ярости, направленной не на Скарлетт, а на весь мир, в котором могут твориться такие дела. — Вы что, рехнулись? Как я могу оставить этих людей? Они умирают сотнями! Я не могу оставить их ради растреклятого ребенка. Раздобудьте какую‑нибудь женщину, она поможет. Позовите мою жену.

Скарлетт открыла было рот, хотела сказать ему, почему миссис Мид не может прийти, и осеклась. Он даже не знает, что его собственный сын ранен! Промелькнула мысль: остался ли бы доктор тут, знай он об этом, и что‑то подсказало ей — да, если бы даже Фил умирал, доктор остался бы на своем посту, чтобы оказывать помощь многим, а не одному.

— Вы должны пойти к ней, доктор. Вы сами говорили, что у нее будут тяжелые роды... — Да неужели и вправду она, Скарлетт, стоит тут, среди всего этого ада, среди стонов и воплей, и во всеуслышание произносит такие ужасные, грубые слова? — Она умрет, если не придете!

Доктор резко выдернул руку из вцепившихся в нее пальцев и сказал так, словно не расслышал ее слов или не понял их значения:

— Умрет? Да они все умрут — все эти люди. Нет бинтов, нет йода, нет хинина, нет хлороформа. О господи, хоть бы чуточку морфия! Хотя бы для самых тяжелых! Хоть немного хлороформа! Будь прокляты янки! Будь они прокляты!

— Провалиться бы им в преисподнюю, доктор! — сказал лежавший у их ног человек, и оскал его зубов блеснул над спутанной бородой.

Скарлетт начала дрожать всем телом, и от страха на глазах у нее выступили слезы. Доктор не пойдет с нею к Мелани. И Мелани умрет. А она только что желала ей смерти. Нет, доктор не пойдет.

— Во имя господа бога, доктор! Ну, пожалуйста!

Доктор закусил губу, на скулах его заиграли желваки, он овладел собой.

— Дитя мое, я постараюсь. Обещать не могу, но постараюсь. После того, как мы сделаем, что можем для этих людей. Янки подходят, и наши войска покидают город. Я не знаю, как янки могут поступить с ранеными. Поезда не ходят. Дорога на Мэйкон в руках янки... Но я постараюсь... А вы ступайте пока. Не мешайте мне работать. Принять ребенка не такое уж сложное дело. Надо только перевязать пуповину...

Санитар тронул его за руку, и он, отвернувшись от Скарлетт, начал быстро отдавать распоряжения, указывая то на одного, то на другого раненого. Лежавший на земле человек поглядел на Скарлетт с сочувствием. Она повернулась к нему спиной, но доктор уже позабыл про нее.

Она снова начала торопливо пробираться между ранеными — назад к Персиковой улице. На доктора надежды нет. Ей придется справляться самой. Еще слава богу, что Присей знает все по части акушерства. Голова у нее разламывалась от жары, и она чувствовала, что мокрый от пота лиф прилип к телу. Мозг ее отупел, и ноги стали как ватные — словно в страшном сне, когда знаешь, что надо бежать, и не можешь сдвинуться с места. Обратный путь до дома представился ей бесконечным.

А потом в голове у нее опять завертелся знакомый припев: «Янки подходят!» Сердце заколотилось сильней, и тело стало возвращаться к жизни. — Убыстрив шаг, она слилась с толпой у Пяти Углов — народу здесь было столько, что ей пришлось сойти с узкого тротуара на мостовую. Ряд за рядом проходили солдаты — покрытые пылью, едва волоча ноги от усталости. Казалось, им не будет конца — этим бородатым, грязным людям с винтовками за спиной, двигавшимся мимо походным маршем. Ездовые сыромятными бичами погоняли тощих мулов, тащивших орудия. Провиантские фургоны с изодранным в клочья брезентовым верхом подпрыгивали на выбоинах мостовой. Поднимая клубы пыли, нескончаемой чередой проезжала конница. Никогда еще Скарлетт не доводилось видеть сразу такого количества военных. Отступление! Отступление! Армия покидала город.

Ее оттеснили обратно на запруженный людьми тротуар, и она ощутила резкий тошнотворный запах дешевого кукурузного виски. В толпе на углу Декейтерской улицы стояли несколько пестро разодетых женщин, чьи празднично яркие одеяния и размалеванные лица бросались в глаза своим грубым несоответствием с окружающим. Почти все они были пьяны, а солдаты, на которых они висли, схватив их под руку, — и того пьянее. Мелькнули огненно‑рыжие завитки волос, прозвучал резкий хмельной смех, и Скарлетт узнала это жалкое создание — Красотку Уотлинг, прильнувшую к подгулявшему однорукому солдату, с трудом державшемуся на ногах.

Кое‑как пробившись туда, где за квартал от Пяти Углов толпа начала редеть, Скарлетт подхватила юбки и снова припустилась бегом. Добежав до часовни Уэсли, она вдруг почувствовала, что у нее перехватило дыхание, голова кружится и ее мутит. Корсет впивался ей в ребра, не давая дышать. Она опустилась на ступени паперти и, уронив голову на руки, постаралась отдышаться. Хоть бы удалось вздохнуть поглубже. Хоть бы сердце перестало так колотиться и выделывать эти невероятные скачки! Хоть бы в этом обезумевшем городе нашелся один‑единственный человек, к которому она могла бы обратиться за помощью!

Никогда на протяжении всей жизни не приходилось ей ни о чем заботиться самой. Рядом всегда был кто‑то, кто все делал за нее, оберегал ее, опекал, баловал. Просто невозможно было поверить, что она вдруг попала в такую переделку. И ни соседей, ни друзей — никого, чтобы помочь ей в беде. Прежде всегда вокруг были друзья, соседи, умелые руки услужливых рабов. А сейчас, в эту самую тяжелую в ее жизни минуту, — никого. Как это могло случиться, что она оказалась совсем одна, вдали от родного гнезда, перепуганная насмерть?

Тара! О, если бы только она могла очутиться дома, пусть даже там янки! Пусть даже у Эллин тиф! Лишь бы увидеть ее родное лицо, ощутить объятия крепких Мамушкиных рук!

Пошатываясь, она поднялась на ноги и зашагала дальше. Подойдя к дому, она увидела Уэйда, катавшегося на калитке. При ее появлении лицо его жалобно сморщилось, и он захныкал, показывая ей ссадину на грязном пальце.

— Больно! — всхлипнул он. — Больно!

— Замолчи! Замолчи сейчас же! Не то я тебя отшлепаю. Ступай на задний двор, поиграй там в песочек и не смей оттуда отлучаться никуда!

— Есть хочу! — заскулил он и сунул поцарапанный палец в рот.

— Не выдумывай! Ступай на задний двор и...

Скарлетт подняла голову и увидела Присей, высунувшуюся из окна верхнего этажа: озабоченность и страх были написаны на ее лице, но при виде хозяйки она сразу приободрилась. Скарлетт помахала ей рукой, чтобы она спустилась вниз, и вошла в дом. Как прохладно было в холле. Она развязала ленты шляпы, кинула ее на подзеркальник и провела рукой по вспотевшему лбу. Наверху отворилась дверь, и до Скарлетт долетел протяжный, жалобный, исполненный жестокой муки стон. Присей сбежала с лестницы, прыгая через две ступеньки.

— Доктор пришел?

— Нет. Он не может.

— Господи, мисс Скарлетт! Мисс Мелли совсем худо!

— Доктор не может прийти. Никто не может. Тебе придется принимать ребенка. Я тебе помогу.

Присей онемела, разинув рот, напрасно силясь что‑то произнести. Она затопталась на месте, искоса поглядывая на Скарлетт.

— Что ты корчишь из себя идиотку! — прикрикнула на нее Скарлетт, взбешенная ее дурацким поведением. — Что с тобой?

Присей попятилась обратно к лестнице.

— Господи помилуй! Мисс Скарлетт... — Растерянность и стыд были в ее вытаращенных от страха глазах.

— Ну в чем дело?

— Господи помилуй, мисс Скарлетт! Надо, чтоб пришел доктор. Я... я... мисс Скарлетт, я этих делов не знаю. Мать меня близко не подпускала, когда ей случалось принимать ребенка.

Скарлетт ахнула: от ужаса у нее перехватило дыхание. Затем ею овладела ярость. Присей попыталась проскользнуть мимо нее и пуститься наутек, но Скарлетт схватила ее за руку.

— Ах ты, черномазая лгунья! Что ты мелешь? Ты же говорила, что всему обучена. Ну, отвечай правду! Говори! — Она тряхнула ее так, что курчавая черная голова беспомощно закачалась из стороны в сторону.

— Я соврала, мисс Скарлетт! Сама не знаю, чего это на меня нашло. Я только разочек видела, как это бывает, и ма выдрала меня, чтоб не подглядывала.

Скарлетт в ярости молча смотрела на нее, и Присей вся сжалась, пытаясь вырваться. Какое‑то мгновение мозг Скарлетт еще отказывался признать открывшуюся ей истину, но как только она с полной ясностью осознала, что Присей смыслит в акушерстве не больше, чем она сама, бешеная злоба обожгла ее как пламя. Еще ни разу в жизни не подымала Скарлетт руки на раба, но сейчас, собрав остатки сил, она с размаху отвесила своей черной служанке пощечину. Присей пронзительно взвизгнула — больше с испугу, чем от боли, — и запрыгала на месте, стараясь вырваться из рук хозяйки.

Когда Присей завизжала, доносившиеся сверху стоны оборвались, и секундой позже послышался слабый, дрожащий голосок Мелани:

— Скарлетт? Это ты? Пожалуйста, поднимись ко мне! Пожалуйста!

Скарлетт выпустила руку Присей, и девчонка, всхлипывая, повалилась на ступеньки лестницы. С минуту Скарлетт стояла неподвижно, прислушиваясь к тихим стонам, которые снова стали доноситься из комнаты Мелани. И пока она стояла там, ей почудилось, что на плечи ее легло ярмо, которое придавит ее к земле своей тяжестью, стоит ей ступить хоть шаг.

Она пыталась припомнить, чем старались ей помочь Мамушка и Эллин, когда она рожала Уэйда, но все расплывалось как в тумане, милосердно изглаженное из памяти муками родовых схваток. Все же кое‑что ей удалось вспомнить, и она быстро, решительно начала давать указания Присей:

— Ступай, затопи плиту, поставь на огонь котел с водой. Принеси все полотенца, какие сыщутся, и моток шпагата. И ножницы. И не говори, что не можешь ничего найти. Быстро достань и принеси мне. Ну, живо!

Она рывком подняла Присей на ноги и толкнула ее к кухонной двери. Потом распрямила плечи и начала подниматься по лестнице. Нелегкая ей предстояла задача — сообщить Мелани, что она сама с помощью Присей будет принимать у нее роды.

### Глава XXII

Возможно ли, чтобы день мог быть так долог, чтобы послеполуденные часы тянулись без конца и чтобы была такая удушающая жара? И столько мух, назойливых ленивых мух. Они тучами вились над Мелани, невзирая на то что Скарлетт не переставая махала пальмовой ветвью, так что у нее даже онемели руки. Однако все ее усилия, казалось, были тщетны: стоило ей согнать мух с потного лица Мелани, как они уже ползали по ее липким от пота ногам, и ноги беспомощно дергались, и Мелани восклицала:

— Пожалуйста! Сгони их с ног!

Скарлетт опустила жалюзи, чтобы защититься от зноя и нестерпимого сверканья солнца, и комната была погружена в полумрак. Лишь по краям жалюзи и сквозь узкие щелки в них проникали лучики света. Комната превратилась в жарко натопленную печь, и насквозь пропотевшее платье Скарлетт становилось с каждым часом все более влажным и липким. От Присей, скорчившейся в углу, нестерпимо разило потом, и Скарлетт давно выставила бы ее за дверь, если бы не боялась, что девчонка, выйдя из‑под ее надзора, тотчас удерет. Мелани лежала на темных от пота и пролитой воды простынях и крутилась в постели, поворачиваясь то на правый бок, то на левый, то на спину, и снова — то туда, то сюда.

Временами она пыталась приподняться и сесть, но тотчас падала на подушки и опять начинала вертеться с боку на бок. Сначала она старалась не кричать и так искусала губы, что они стали кровоточить, пока наконец Скарлетт, у которой уже кровоточили нервы, не прошипела:

— Бога ради, Мелли, перестань геройствовать. Кричи, если хочется кричать. Никто же, кроме нас с тобой, не услышит.

Послеполуденные часы ползли, и Мелани, как ни крепилась, все же начала стонать, а порой и вскрикивать. Тогда Скарлетт закрывала лицо руками, затыкала уши и, покачиваясь из стороны в сторону, мечтала умереть. Что угодно, лишь бы не быть беспомощной свидетельницей этих мук! Что угодно, лишь бы не сидеть здесь как на привязи, ожидая, когда появится этот ребенок, который никак не хочет появляться на свет. Ждать и ждать, в то время как янки скорее всего уже у Пяти Углов!

Она горько сожалела, что в свое время не прислушивалась более внимательно к словам матрон, когда они перешептывались, обсуждая чьи‑нибудь роды. Ах, почему она этого не делала! Проявляй она больше интереса к таким вещам, ей было бы яснее сейчас, затянулись у Мелани роды или нет. Ей смутно припомнился рассказ тетушки Питти о какой‑то ее приятельнице, которая рожала двое суток и в конце концов умерла, так и не разрешившись от бремени. Что, если у Мелани это тоже будет длиться двое суток? Но она же такого хрупкого сложения! Ей не выдержать долго этих мук. Она умрет, если ребенок не поторопится появиться на свет. И как тогда она, Скарлетт, поглядит в глаза Эшли — если, конечно, он еще жив, — как сообщит ему, что Мелани умерла, — ведь она же дала ему слово позаботиться о ней!

Первое время Мелани, в минуты особенно сильных схваток, держала руку Скарлетт и сжимала ее с такой силой, что хрустели суставы. Через час руки Скарлетт вспухли, побагровели, и она едва могла ими пошевелить. Тогда она взяла два длинных полотенца, перекинула через изножье кровати, связала концы узлом и вложила узел в руки Мелани. И Мелани вцепилась в него, как утопающий в спасательный круг; она то изо всей силы тянула за полотенца, то отпускала их, то словно бы пыталась разорвать их в клочья. И кричала, как затравленный, попавший в капкан зверек, — час за часом, час за часом. Иногда она выпускала из рук полотенца, бессильно терла ладонь о ладонь и поднимала на Скарлетт огромные, расширенные мукой глаза.

— Поговори со мной. Пожалуйста, поговори со мной, — еле слышно шептала она, и Скарлетт принималась болтать что попало, пока Мелани не начинала снова извиваться на постели, вцепившись в полотенца.

Сумеречная комната плавилась в зное, стонах, жужжании мух, и так томительно‑тягуче ползли минуты, что Скарлетт казалось, будто утро отодвинулось куда‑то в необозримую даль. Будто она всю жизнь просидела здесь, в этой влажной, душной полутьме. Всякий раз, как Мелани вскрикивала, Скарлетт хотелось закричать тоже, и она так закусывала губы, что боль заставляла ее опомниться, и она цепенела на грани истерики.

Один раз она слышала, как Уэйд на цыпочках прокрался по лестнице наверх и остановился за дверью, хныча:

— Есть хочу!

Скарлетт направилась было к двери, но Мелани взмолилась шепотом:

— Не уходи. Пожалуйста. Без тебя я этого не вынесу.

И Скарлетт велела Присей спуститься вниз, разогреть оставшуюся от завтрака мамалыгу и накормить ребенка. Сама она, думалось ей, после сегодняшних испытаний никогда больше не сможет проглотить ни кусочка.

Часы на камине остановились, и Скарлетт не имела ни малейшего представления о том, который теперь был час, но когда жара в комнате начала спадать и пробивавшиеся снаружи лучи потускнели, она подняла жалюзи и, к своему удивлению, увидела, что день уже клонится к вечеру и багровый шар солнца стоит низко над землей. Ей почему‑то все казалось, что этому палящему полдню никогда не будет конца.

Она сгорала от желания узнать, что происходит в городе. Все ли войска уже оставили его? Вошли ли в город янки? Неужели конфедераты сдадут город без боя? И сердце ее упало, когда она подумала о том, как мало осталось конфедератов и как много солдат у Шермана, сытых солдат! Шерман! Это имя нагоняло на нее такой страх, словно в этом человеке воплотился сам сатана. Но времени для раздумий не было: Мелани просила пить, просила сменить мокрое полотенце на лбу, помахать на нее, отогнать мух, садившихся на лицо.

Когда совсем стемнело и Присей, черным призраком мельтешившая по комнате, зажгла лампу, Мелани начала слабеть. И призывать к себе Эшли — снова и снова призывать его, словно в бреду, пока жуткая монотонность ее призывов не породила у Скарлетт желания заткнуть ей рот подушкой. Может быть, доктор все же, в конце концов, придет? О господи, если бы только он поскорее пришел! Снова в душе ее затеплилась надежда, и она велела Присей сбегать к Мидам, посмотреть, нет ли дома доктора или миссис Мид.

— А если доктора нет, спроси у миссис Мид или у кухарки, что нужно делать. Попроси кого‑нибудь прийти.

Присей с грохотом скатилась с лестницы, и Скарлетт видела в окно, как она мчится по улице с совершенно неожиданной для этой нерасторопной девчонки быстротой. Отсутствовала она довольно долго и вернулась одна.

— Доктора нет дома цельный день. Думают, может, он ушел с солдатами. Мисс Скарлетт, мистер Фил преставился.

— Умер?

— Да, мэм. — Присей раздувалась от важности, сообщая эту весть. — Тальбот, ихний кучер, сказал. Его ранили...

— Ладно, давай по делу.

— А миссис Мид я не видела. Кухарка сказала, миссис Мид обмывает его и убирает, хочет похоронить, пока нет янки. Кухарка сказала: если мисс Мелли будет шибко больно, надо положить нож под кровать, и нож разрежет боль пополам.

Скарлетт едва удержалась, чтобы не закатить ей еще одну оплеуху в ответ на этот полезный совет, но тут Мелани открыла огромные, расширенные от страха глаза и прошептала:

— Дорогая... Янки подходят?

— Нет, — твердо сказала Скарлетт. — Присей выдумывает.

— Да, мэм. Я выдумываю, — горячо подтвердила Присей.

— Они подходят, — прошептала Мелани, не поддавшись на обман, и уткнулась лицом в подушку. Голос ее доносился теперь еле слышно. — Мое несчастное дитя... Мое несчастное дитя... — И после долгого молчания она пробормотала: — Ох, Скарлетт, тебе нельзя оставаться здесь. Уходи и возьми с собой Уэйда.

Мелани лишь произнесла вслух то, о чем думала сама Скарлетт, но Скарлетт это взбесило — ей было стыдно, словно Мелани прочла трусливые мысли на ее лице.

— Не будь идиоткой. Я ничего не боюсь. Ты же знаешь, что я тебя не оставлю.

— И напрасно. Все равно я умру. — И она снова застонала.

Медленно, словно старуха, Скарлетт спустилась ощупью по темной лестнице, цепляясь за перила, чтобы не упасть. Ноги у нее одеревенели и подгибались от усталости и напряжения, и ее трясло от холодного липкого пота, насквозь пропитавшего одежду. Кое‑как добралась она до веранды и опустилась на ступеньки. Прислонившись спиной к столбу, она дрожащей рукой расстегнула пуговки лифа на груди. Теплая, мягкая тишина ночи обступила ее со всех сторон, и она полулежала отупело, словно больная буйволица, глядя во мрак.

Все было позади. Мелани не умерла, и крошечный, попискивавший, как котенок, младенец мужского пола получил свое первое омовение из рук Присей. Мелани уснула. Как могла она спать после всего этого кошмара, после этих страшных криков, страданий, неумелого акушерства, больше причинявшего мук, чем приносившего пользы? Как могла она все это выдержать и не умереть? Скарлетт ни минуты не сомневалась, что будь она на месте Мелани, ее бы уже не было в живых. А Мелани, когда все было кончено, даже нашла в себе силы пролепетать еле слышно, так что пришлось наклониться к самому ее лицу: «Спасибо». И уснула. Как могла она уснуть? У Скарлетт совсем стерлось в памяти, что она тоже, родив Уэйда, сразу уснула. Она вообще забыла все. В голове у нее была странная пустота, и мир вокруг был пуст. Ничего не было прежде — до этого бесконечного дня, — и ничего не будет потом. Только тяжелый, теплый мрак ночи, только звук рвущегося из груди хриплого дыхания, только холодные, щекочущие струйки пота, сбегающие из подмышек на талию, с бедер на колени — холодящие, клейкие, липкие.

Она почувствовала, как ее громкое ровное дыхание перешло в судорожные всхлипывания, но глаза были сухи, их жгло, и казалось, что им никогда уже не пролить ни одной слезы. Медленно, с трудом она наклонилась и, подхватив свои пышные юбки, задрала их до самых бедер. Ей было жарко, и свежий ночной воздух был приятен телу, хотя от холодного липкого пота ее слегка пробирала дрожь. Тупо промелькнула мысль: что бы сказала тетя Питти, увидев ее, лежащую здесь, на ступеньках, задрав юбки так, что все панталоны на виду? Но ей было наплевать. Ей было наплевать на все. Время остановилось. Быть может, солнце только что село, а быть может, уже давно за полночь. Она не знала, ей было все равно.

Она услышала звук шагов на лестнице и подумала: «Чтобы черт унес Присей!» — глаза у нее слипались, она погружалась в тяжелое забытье. Пролетело мгновение черного провала в сон, и до ее сознания дошло, что Присей стоит возле нее и что‑то лопочет, очень довольная собой.

— Как у нас здорово все получилось, мисс Скарлетт. Мамка и та, поди, не справилась бы лучше.

Скарлетт смотрела на нее из темноты и от усталости не могла ни прогнать, ни выбранить девчонку, укорить за все ее бесчисленные грехи — за глупое бахвальство своими якобы познаниями, за трусость, неумелость, неуклюжесть, за полную никчемность в решающие минуты, за опрокинутый на постель таз с водой, за засунутые куда‑то ножницы, за то, что она уронила новорожденного, а теперь стоит и похваляется своими успехами.

И янки еще хотят освободить негров! Ну и на здоровье, берите их себе!

Она молча прислонилась к столбу, и Присей, почувствовав ее настроение, неслышно растворилась во мраке веранды. Текли минуты, дыхание Скарлетт стало ровнее, в голове прояснилось, и она услышала доносившиеся с северного конца улицы негромкие голоса и топот сапог. Солдаты! Она медленно приподнялась и оправила юбки, хотя и понимала, что никто не может увидеть ее в этой тьме. Когда они — несчетная процессия теней — приблизились к дому, она окликнула их.

— Пожалуйста, постойте!

Одна тень отделилась от общей массы, подошла к калитке.

— Вы уходите? Вы нас покидаете?

Ей показалось, что тень сняла шляпу, и негромкий голос прозвучал из мрака:

— Да, мэм. Да, мы уходим. Наш отряд последним оставил укрепления — примерно в миле к северу от города.

— Значит, вы... значит, армия в самом деле отступает?

— Да, мэм. Янки подходят.

Янки подходят! А ведь она об этом забыла! Спазма сдавила ей горло, и она не могла произнести больше ни слова. Тень удалилась, слилась с другими тенями, и стук сапог стал замирать во мраке. «Янки подходят! Янки подходят!» — выбивали дробь их шаги, громко выстукивало ее сердце. Янки подходят!

— Янки подходят! — взвизгнула Присей, сжавшись в комочек возле Скарлетт. — Ой, мисс Скарлетт, они нас всех убьют. Выпустят кишки! Они...

— Замолчи! — крикнула Скарлетт. Это были ее мысли — облеченные в слова, произносимые дрожащим голосом, они становились еще ужасней. Снова ею овладел страх. Что же делать? Как спастись? К кому броситься за помощью? Все друзья покинули ее.

И тут она вспомнила про Ретта Батлера, и страх немного отступил, от сердца отлегло. Как это она не подумала о нем утром, когда носилась по городу, точно курица с отрезанной головой? Пусть он ей ненавистен, но он сильный, ловкий и не боится янки. И он здесь, в городе. Конечно, она зла на него, он говорил совершенно непозволительные вещи, когда они виделись в последний раз, но в такую минуту, как сейчас, на это можно посмотреть сквозь пальцы. А у него есть лошадь и экипаж. Как же это она не подумала о нем раньше! Он может увезти их из этого обреченного города, подальше от янки, куда‑нибудь, куда угодно.

Повернувшись к Присей, она заговорила — быстро, лихорадочно, настойчиво:

— Ты знаешь, где живет капитан Батлер? В гостинице «Атланта». Знаешь?

— Да, мэм, только...

— Так вот беги туда со всех ног и скажи ему, что он мне нужен. Чтобы он поскорее пригнал сюда свою лошадь с коляской или с санитарным фургоном, если сможет его раздобыть. Скажи ему, что у нас новорожденный. Скажи, что я хочу, чтобы он увез нас отсюда. Ступай. Быстрей!

Она выпрямилась и подтолкнула Присей.

— Боже милостивый! Мисс Скарлетт! Темнотища, боязно одной‑то! Ну, как янки схватят?

— Беги быстрей, нагонишь этих солдат, и они не дадут тебя в обиду. Ну же, беги!

— Я боюсь! А вдруг капитана там нету?

— Тогда спроси, где он. Неужто ты и этого сообразить не в состоянии? Если его нет в гостинице, ступай в бар на Декейтерской, спроси там. Сбегай к Красотке Уотлинг, у нее поищи. Найди его. Не понимаешь ты, что ли, идиотка, что мы все попадем в лапы к янки, если ты не разыщешь капитана?

— Мисс Скарлетт, мамка отстегает меня стеблем хлопчатника, если я войду в бар или в дом этой шлюхи.

Скарлетт усилием воли заставила себя встать.

— А если ты не пойдешь, я отстегаю тебя сама. Можешь не входить в дом, покричи ему, поняла? Иди спроси кого‑нибудь, там капитан или нет. Ступай.

Присей все еще медлила, переминаясь с ноги на ногу и строя рожи, и Скарлетт дала ей такого пинка, что девчонка чуть не слетела с лестницы кувырком.

— Отправляйся немедленно, или я продам тебя с торгов. Ни матери, никого из своих больше не увидишь, будешь работать на плантации. Ну, бегом!

— Боже милостивый! Мисс Скарлетт...

Но неумолимая рука хозяйки заставила ее спуститься по ступенькам с веранды. Скрипнула калитка, и Скарлетт крикнула вслед:

— Бегом, дурная!

Она услышала частый стук подошв, когда Присей припустилась рысцой, и вскоре мягкая земля поглотила эти звуки.

### Глава XXIII

Отослав Присей, Скарлетт устало побрела в холл и зажгла лампу. В доме стояла удушающая жара, словно весь полуденный зной остался в его стенах. Состояние оцепенения мало‑помалу покидало Скарлетт, и у нее засосало под ложечкой от голода. Она вспомнила, что не ела ничего с прошлого вечера, кроме ложки мамалыги, и, взяв лампу, прошла в кухню. Огонь в плите погас, но от жары все еще нечем было дышать. На сковородке лежала половина черствой кукурузной лепешки, и Скарлетт, жадно вгрызаясь в нее зубами, стала шарить по кухне в поисках еще какой‑нибудь еды. В горшке нашлось немного мамалыги, и Скарлетт принялась есть большой разливной ложкой прямо из горшка. Мамалыга была сильно недосолена, но от голода у Скарлетт не хватило терпения поискать соли. Проглотив четыре ложки мамалыги, Скарлетт почувствовала, что жара душит ее, и, взяв в одну руку лампу, в другую — остатки лепешки, вернулась в холл.

Она понимала, что нужно подняться наверх и побыть с Мелани. Если там что‑нибудь неладно, у Мелани не хватит сил позвать. Но одна мысль о той комнате, где она провела эти страшные часы, приводила ее в содрогание. Она не в силах была заставить себя пойти туда. Она хотела бы никогда больше не переступать порога этой комнаты. Поставив лампу на консоль возле окна, она прошла на веранду. Здесь на нее повеяло прохладой, хотя ночь была теплой, безветренной и неподвижный ночной воздух пронизан теплом. Скарлетт опустилась на ступеньки в круге света, отбрасываемого лампой, и снова принялась грызть лепешку.

Когда голод был утолен, силы начали понемногу возвращаться к ней, но одновременно возродился и ужалил страх. Какой‑то неясный гул доносился с другого конца улицы, и она не знала, что он предвещает. Различить что‑либо в этом гуле было невозможно, он просто то нарастал, то замирал. Она наклонилась вперед, прислушиваясь, и вскоре почувствовала, что мускулы у нее заныли от напряжения. Всем своим существом она желала сейчас одного: услышать стук копыт, поймать беззаботный, самоуверенный взгляд Ретта, прочесть в нем насмешку над ее страхом. Ретт увезет их отсюда куда‑нибудь. Безразлично куда. Ей было все равно.

Она сидела, прислушиваясь к звукам, долетавшим из города, и вдруг увидела, что небо над верхушками деревьев заалело. Это ее озадачило. Зарево разгоралось у нее на глазах. Из бледно‑розового небо стало багровым. И вскоре огромный язык пламени взвился над деревьями. Скарлетт вскочила на ноги. Снова противно заныло и заколотилось сердце.

Янки в городе! Они пришли и жгут город. Горело, по‑видимому, где‑то к востоку от центра. Языки пламени взмывали все выше и выше, множились, захватывали все большее пространство неба перед ее испуганным взором. Похоже было, что горит целый квартал. Теплое дуновение ветра повеяло ей в лицо, принеся с собой запах дыма.

Она бросилась наверх к себе в спальню и распахнула окно. Зловещее огненное зарево расползалось по всему небу, и огромные клубы черного дыма, крутясь, взвивались вверх, нависая над языками пламени. Запах дыма становился все ощутимее. Беспорядочные мысли проносились в голове Скарлетт: как скоро может огонь перекинуться на Персиковую улицу?.. Дом сгорит... сюда ворвутся янки... куда бежать... что делать... Голова у нее кружилась, в ушах стоял такой гул, словно все демоны преисподней с воем слетелись в дом: все перепуталось в ее охваченном паникой мозгу, и она ухватилась за подоконник, боясь упасть.

«Надо собраться с мыслями, — твердила она себе снова и снова. — Надо собраться с мыслями».

Но мысли проносились, как испуганные птицы, и ускользали от нее. Она стояла, вцепившись в подоконник, и вдруг услышала страшный взрыв, более оглушительный, чем все орудийные залпы. Огромный столб пламени взвился к небу. Еще взрыв и еще. Земля заходила ходуном, стекла в окнах лопнули, и комнату засыпало осколками.

Взрыв следовал за взрывом, земля сотрясалась, и вокруг бушевал ад огня. Фонтаны искр взмывали к небу и медленно, лениво оседали на землю, прорезая кроваво‑красные облака дыма. Ей почудилось, что из соседней спальни донесся слабый стон, но она не обратила на него внимания. Теперь ей было уже не до Мелани. Ничего не существовало для нее больше — только страх, жгучий страх, пробегавший по жилам. Она снова стала ребенком — обезумевшим от страха ребенком, которому надо уткнуться головой в колени матери и ничего не видеть, не слышать. О, если бы очутиться дома! С мамой!

Среди душераздирающего грохота взрывов она внезапно уловила другие звуки — топот гонимых страхом ног, взбегающих по лестнице, и прерывистые всхлипы, похожие на лай отставшей гончей. Присей влетела в спальню, бросилась к Скарлетт и так вцепилась ей в руку, что чуть не расцарапала кожу в кровь.

— Янки? — вскричала Скарлетт.

— Нет, мэм, наши жентмуны! — задыхаясь, выкрикнула Присей, еще глубже запуская ногти в руку Скарлетт. — Они подожгли завод, и военные склады, и те, что с продуктами, господи, мисс Скарлетт, они подожгли семьдесят вагонов с ядрами и порохом, и, как бог свят, мы все сгорим тоже!

Она снова начала прерывисто всхлипывать, и ногти ее так впились в тело Скарлетт, что та вскрикнула от боли и со злостью отпихнула девчонку от себя.

Значит, янки еще не вошли в город! Значит, еще можно спастись! Она старалась подавить свой страх.

«Если я сейчас же не возьму себя в руки, то начну визжать, как ошпаренная кошка», — сказала она себе. Зрелище животного страха, владевшего Присей, помогло ей обрести почву под ногами. Она схватила Присей за плечи и тряхнула.

— Перестань выть и говори толком! Янки же еще не пришли, идиотка! Видела ты капитана Батлера? Что он сказал? Придет он?

Присей перестала всхлипывать, но зубы у нее выбивали дробь.

— Да, мэм, я под конец нашла его. В баре, как вы говорили. Он...

— Не важно, где ты его нашла. Придет он? Ты сказала ему взять лошадь?

— Ой, нет, мисс Скарлетт, он говорит, и лошадь и коляску наши жентмуны забрали в госпиталь.

— О боже!

— Но он придет.

— А что он сказал?

Присей перевела дыхание и как будто немного успокоилась, но глаза ее все еще вылезали из орбит от страха.

— Я все сделала, как вы сказали, мэм: нашла его в баре. Постояла снаружи, покликала, он и вышел. Увидал меня, я стала ему говорить, а тут солдаты взорвали склад на Декейтерской, огонь сразу — во! — и он говорит: «Пошли!» — и схватил меня, и мы побежали к Пяти Углам, и там он говорит: «Ну, что еще? Говори живо!» А я говорю, что вы говорили, чтоб он поскорей пришел и пригнал лошадь с коляской. У мисс Мелли, говорю, ребеночек, и мисс Скарлетт хочет скорей вон из города. А он говорит: «Куда это она надумала ехать?» А я говорю: «Не знаю, сэр, только вам надо поскорей прийти, потому как янки придут, а она хочет, чтобы вы увезли ее». А он смеется и говорит: «А у меня забрали лошадь!»

Сердце у Скарлетт упало: последняя надежда покидала ее. Какая же она дура, как она не подумала о том, что отступающая армия, конечно, уведет с собой всех оставшихся в городе лошадей и заберет все повозки! Оглушенная этой мыслью, она на какой‑то миг перестала даже слышать, что говорит Присей, но тут же овладела собой.

— А он тогда говорит: «Скажи мисс Скарлетт — пусть не тревожится. Я украду для нее лошадь, пусть хоть последнюю во всей армии». И еще он так сказал: «Мне не впервой красть лошадей. Скажи ей: я добуду лошадь, даже если в меня будут стрелять». Потом опять засмеялся и говорит: «Ну, беги домой!» А тут опять ка‑ак: бу‑ум! И я чуть не упала на дорогу, а он говорит, не надо пугаться, это наши жентмуны жгут арт... аре... ну, чтоб не достались янки, и...

— Так он придет? И пригонит лошадь?

— Вроде так.

Скарлетт с облегчением перевела дух. Если есть хоть малейшая возможность достать лошадь, он достанет. На то он и Ретт Батлер. И она простит ему все его прегрешения, если он вызволит ее отсюда. Бежать! И раз с ними будет Ретт Батлер, ей нечего бояться. Ретт не даст их в обиду. Благодарение небу, что есть на свете Ретт! Забрезжившая надежда на спасение заставила ее вернуться к насущным делам.

— Разбуди Уэйда, одень его и собери нам всем немного вещей в дорогу. Уложи все в маленький сундучок. И не говори мисс Мелани, что мы уезжаем. Пока молчи. Заверни ребенка в две мохнатые простыни и не забудь уложить его пеленки.

Присей все еще цеплялась за ее юбку и выкатывала белки глаз. Скарлетт отпихнула ее, высвободила юбки.

— Живо! — прикрикнула она, и Присей, как испуганный кролик, шмыгнула за дверь.

Скарлетт понимала, что надо пойти успокоить Мелани, которая, верно, сходит с ума от страха, слыша этот чудовищный непрекращающийся грохот, видя полыхающее в небе зарево. Ей, должно быть, чудится, что настал конец света.

Но Скарлетт все еще не могла заставить себя переступить порог этой комнаты. Она спустилась вниз и решила упаковать фарфор и кое‑какое серебро, которые мисс Питтипэт не взяла с собой, уезжая в Мэйкон. Но у нее так дрожали руки, что в столовой она уронила на пол три тарелки, и они разбились вдребезги. Она выбежала на веранду послушать, не едет ли Ретт, вернулась в столовую, уронила серебро, и оно со звоном рассыпалось по полу. Она роняла все, за что бы ни взялась. Зацепилась за лоскутный коврик и полетела на пол, но тут же вскочила, даже не почувствовав боли от ушиба. Она слышала, что Присей носится наверху по комнатам как угорелая, и это бесило ее, потому что она сама столь же бессмысленно бегала взад‑вперед.

В десятый раз выглянув на веранду, она не вернулась в столовую продолжать свое никчемное занятие, а опустилась на ступеньки. Она была просто не в состоянии ничего упаковать! Не в состоянии ничего делать! Оставалось только сидеть и ждать появления Ретта, слыша, как отчаянно колотится сердце. Прошли, казалось, часы, а его все не было. Наконец на дороге послышался негодующий скрип несмазанных колес и медленный неровный топот копыт. Почему он не торопится? Почему не пустит лошадь рысью?

Звуки стали слышны отчетливее, и Скарлетт, вскочив на ноги, окликнула Ретта. Она смутно видела, как он спрыгнул на землю с небольшой повозки, слышала, как скрипнула калитка, и он появился на дорожке. Он направился к ней, и теперь она уже хорошо видела его при свете лампы. Он был одет щегольски, словно собрался на бал: на нем был безукоризненного покроя белый полотняный костюм, серый муаровый, расшитый шелком жилет и в меру пышная гофрированная манишка. Широкополая шляпа была лихо сдвинута набекрень, за поясом виднелись два длинноствольных дуэльных пистолета с рукоятками, инкрустированными слоновой костью, нечто тяжелое — видимо, патроны — оттягивало карманы его сюртука.

В его упругой кошачьей походке было что‑то первобытно‑дикарское, и посадкой красивой головы он походил на вождя какого‑то языческого племени. Эта страшная ночь, вогнавшая Скарлетт в панику, подействовала на него как глоток хмельного вина. В смуглом лице притаилась хорошо скрытая от глаз беспощадность, которая напугала бы Скарлетт, будь она более проницательна и умей читать в его взгляде.

В темных глазах Ретта плясали веселые искорки, словно все происходившее сильно его забавляло, словно адский грохот и зловещее зарево могли напугать только детишек. Когда он поднялся на веранду, Скарлетт подалась вперед навстречу ему — зеленые глаза ее лихорадочно горели на бледном лице.

— Добрый вечер, — сказал он, как всегда манерно растягивая слова, и, сняв шляпу, отвесил ей элегантный поклон. — Отличная погода, не правда ли? Я слышал, вы собираетесь в дорогу?

— Если вы будете насмехаться, я не стану с вами разговаривать, — произнесла она дрожащим голосом.

— Да вы никак напуганы? Я просто не верю своим глазам! — Изобразив на лице крайнее удивление, он улыбнулся так, что Скарлетт захотелось спихнуть его с лестницы.

— Да, я напугана! До смерти напугана. И если бы господь бог не обделил вас мозгами, вы бы испугались тоже. Но у нас нет времени для болтовни. Надо убираться отсюда.

— Я к вашим услугам, мадам. Но куда предполагаете вы направиться? Меня привело сюда обыкновенное любопытство — интересно было узнать, куда вы собрались? Вы не можете поехать ни на север, ни на юг, ни на восток, ни на запад. Повсюду янки. Только одна дорога из города ими пока еще не захвачена, и по этой дороге отступает армия. Но и эта дорога недолго будет в наших руках. Кавалерия генерала Ли ведет арьергардные бои под Раф‑энд‑Реди, стараясь удержать дорогу до тех пор, пока вся армия не отойдет. Если вы последуете по этой дороге за армией, у вас тут же отберут лошадь, и хотя это животное не многого стоит, мне не так‑то просто было его украсть. Так куда же вы направляетесь?

Она стояла, вся дрожа, и слушала его, но слова почти не доходили до ее сознания. Однако когда он задал свой вопрос, что‑то прояснилось у нее в голове, и она внезапно поняла, что на протяжении всего этого злосчастного дня знала, куда ей надо уехать. Только туда.

— Я поеду домой, — сказала она.

— Домой? Вы хотите сказать — в Тару?

— Да, да! В Тару! О, Ретт, нам надо спешить!

Он посмотрел на нее так, словно сомневался, в своем ли она уме.

— В Тару? Бог с вами, Скарлетт! Вы что, не знаете, что под Джонсборо целый день шли бои? На пространстве в десять миль вдоль дороги, от Раф‑энд‑Реди вплоть до самого Джонсборо и даже на улицах города! Янки, может быть, уже орудуют в Таре сейчас, а может быть, и во всем графстве. Достоверно никому не известно, где они, но, во всяком случае, где‑то там, рядом. Вам нельзя ехать домой. Вы напоретесь прямо на армию янки!

— Я хочу домой! — воскликнула она. — И поеду! Поеду!

— Вы просто дурочка! — решительно, грубо сказал он. — Не можете вы ехать в этом направлении. Если даже вы не напоретесь на янки, в лесах полно бродяг и дезертиров из обеих армий. И часть наших войск еще продолжает отступать от Джонсборо. Они, как и янки, не постесняются забрать у вас лошадь. Вам остается только одно: ехать по следам нашей отступающей армии и молить бога, чтобы никто не заметил вас под покровом ночи. А в Тару вам нельзя. Даже если вы туда доберетесь, там, скорее всего, найдете только пепелище. Я не позволю вам ехать домой. Это безумие.

— Нет, я поеду домой! — закричала она, и голос ее сорвался. — Я поеду домой! Вы не можете мне помешать! Я поеду домой! Я хочу к маме! Я убью вас, если вы будете мне мешать! Я хочу домой!

Страшное напряжение этих суток прорвалось наружу истерическими рыданиями, слезы ярости и страха катились по ее лицу. Она замолотила кулаками по его груди, вскрикивая снова и снова:

— Я хочу домой! Домой! Я пойду пешком! Всю дорогу!

И вдруг почувствовала себя в его объятиях — мокрая щека прижата к его крахмальной манишке, усмиренные кулаки притиснуты к его груди. Его руки нежно, успокаивающе гладили ее растрепанные волосы, голос тоже звучал нежно. Так мягко, так нежно, без тени насмешки, словно это был голос не Ретта Батлера, а какого‑то совсем незнакомого ей большого, сильного мужчины, от которого так знакомо пахло бренди, табаком и лошадьми — совсем как от Джералда.

— Ну, полно, полно, дорогая, — ласково говорил Ретт. — Не плачьте. Вы поедете домой, моя маленькая храбрая девочка. Вы поедете домой. Перестаньте плакать.

Она почувствовала какое‑то легкое прикосновение к своим волосам и смятенно подумала, что, верно, он коснулся их губами. Она хотела бы никогда не покидать его объятий — они были так надежны, так нежны. Под защитой этих сильных рук с ней не может приключиться никакой беды.

Достав из кармана платок, он утирал ей слезы.

— Ну, а теперь высморкайтесь, как настоящая пай‑девочка, — приказал он, а глаза его улыбались. — И скажите мне, что надо делать. Мешкать нельзя.

Она послушно высморкалась, но ее все еще трясло, и она не могла собраться с мыслями. Заметив, как дрожат ее губы и какой беспомощный подняла она на него взгляд, он начал распоряжаться сам.

— Миссис Уилкс только что разрешилась от бремени? Брать ее с собой опасно, опасно везти двадцать пять миль в тряской повозке. Лучше оставить ее с миссис Мид.

— Миды уехали. Я не могу ее оставить.

— Решено. Значит — в повозку. Где эта маленькая черная балбеска?

— Наверху, укладывает сундук.

— Сундук? В эту повозку нельзя впихнуть никакой сундук. Вы и сами‑то там едва поместитесь, да и колеса могут отлететь в два счета. Позовите девчонку и скажите, чтобы она взяла самую маленькую пуховую перинку, какая сыщется в доме, и отнесла в повозку.

Но Скарлетт еще никак не могла найти в себе силы сдвинуться с места. Ретт крепко взял ее за плечо, и ей показалось, что излучаемая им жизненная сила переливается в ее тело. О, если бы она могла быть такой хладнокровной, такой беспечной, как он! Он подтолкнул ее к холлу, но она не двинулась, все так же беспомощно глядя на него. Губы его насмешливо искривились:

— Где же та героическая молодая леди, которая заверяла меня, что не боится ни бога, ни черта?

Внезапно он расхохотался и выпустил ее плечо. Уязвленная, она бросила на него ненавидящий взгляд.

— Я и не боюсь, — сказала она.

— Боитесь, боитесь. Того и гляди, упадете в обморок, а у меня нет при себе нюхательных солей.

Не найдясь что ответить, она от беспомощности сердито топнула ногой, молча взяла лампу и стала подниматься по лестнице. Он шел за ней следом, и она слышала, как он тихонько посмеивается про себя, и это заставило ее распрямить плечи. Она прошла в детскую и увидела, что Уэйд, полуодетый, сидит скорчившись на коленях Присей и тихонько икает. А Присей скулит. На кровати Уэйда лежала маленькая перинка, и Скарлетт велела Присей снести ее вниз и положить в повозку. Присей спустила ребенка с коленей и отправилась выполнять приказ. Уэйд побрел следом за ней и, заинтересовавшись происходящим, перестал икать.

— Идемте, — сказала Скарлетт, подходя к двери спальни Мелани и Ретт последовал за ней с шляпой в руке.

Мелани лежала тихо, укрытая простыней до подбородка. На белом, словно неживом, лице просветленно сияли запавшие, обведенные темными кругами глаза. Мелани не выказала удивления, увидав входящего к ней в спальню Ретта. Она восприняла это как должное и попыталась даже слабо улыбнуться, но улыбка угасла, едва тронув губы.

— Мы едем ко мне домой, в Тару, — быстро заговорила Скарлетт. — Янки подходят. Ретт отвезет нас. Другого выхода нет, Мелли.

Мелани попыталась кивнуть и показала на младенца. Скарлетт взяла на руки крошечное тельце и завернула в мохнатую простыню. Ретт шагнул к постели.

— Постараюсь не причинить вам боли, — сказал он тихо, подтыкая под нее простыню. — Сможете вы обнять меня за шею?

Мелани подняла было руки, но они бессильно упали. Ретт наклонился, просунул одну руку под плечи Мелани, другую — под колени и осторожно поднял ее. Мелани не вскрикнула, но Скарлетт видела, как она закусила губу и еще больше помертвела. Скарлетт высоко подняла лампу, освещая Ретту дорогу, и тут рука Мелани сделала слабое движение в направлении стены.

— В чем дело? — мягко спросил Ретт.

— Пожалуйста, — прошептала Мелани, пытаясь указать на что‑то, — Чарлз.

Ретт внимательно поглядел на нее, думая, что она бредит, но Скарлетт поняла и внутренне вскипела. Мелани хотела взять с собой дагерротипный портрет Чарлза, висевший на стене под его саблей и пистолетом.

— Пожалуйста! — снова зашептала Мелани. — И саблю.

— Хорошо, хорошо, — сказала Скарлетт и, посветив Ретту, пока он осторожно спускался с лестницы, вернулась в спальню и сняла со стены саблю и портупею с пистолетом в кобуре. Нести все это вместе с младенцем и лампой было не очень‑то с руки. Как похоже на Мелани: сама еле дышит, янки, того и гляди, ворвутся в город, а у нее первая забота — о вещах Чарлза!

Снимая дагерротип со стены, Скарлетт скользнула взглядом по лицу Чарлза. Его большие карие глаза смотрели на нее с портрета, и она приостановилась на миг, с любопытством вглядываясь в его черты. Этот человек был ее мужем и несколько ночей делил с ней ложе, и она родила ему ребенка с таким же кротким взглядом больших карих глаз. И все же она почти не помнила его лица.

Младенец у нее на руках выпростал крошечные кулачки и тихонько захныкал, и она наклонилась к нему. Впервые до ее сознания дошло, что этот ребенок — сын Эшли, и внезапно со всей страстью, на какую еще было способно ее истерзанное существо, она возжелала, чтобы это был ее ребенок — ее и Эшли.

Присей вприпрыжку взбежала по лестнице, Скарлетт передала ей младенца, и они стали торопливо спускаться одна за другой, а лампа отбрасывала на стену их странно колеблющиеся тени. В холле Скарлетт увидела чепец, поспешно нахлобучила его себе на голову и завязала ленты под подбородком. Этот траурный чепец Мелани был не совсем впору Скарлетт, но припомнить, где ее собственная шляпа, Скарлетт не могла.

Она вышла из дома, взяла лампу и спустилась с веранды, стараясь, чтобы сабля не била ее по ноге. Мелани, вытянувшись, лежала на дне повозки и рядом с ней — Уэйд и закутанный в простыню младенец. Присей забралась в повозку и взяла младенца на руки.

Повозка была тесная, с низкими бортиками. Колеса как‑то странно кривились внутрь, и казалось, они вот‑вот соскочат с осей. Скарлетт поглядела на лошадь, и сердце ее упало. Это было жалкое, изнуренное создание. Лошадь стояла, низко свесив голову. Спина у нее была стерта упряжью в кровь, и, услышав ее дыхание, Скарлетт подумала, что ни одна здоровая лошадь так дышать не может.

— Не слишком шикарный выезд, да? — с усмешкой заметил Ретт. — Как бы она не пала в оглоблях. Но ничего лучшего я раздобыть не мог. Когда‑нибудь я расскажу вам, слегка, конечно, все приукрасив, где и как я ее украл и как в меня едва не всадили пулю. Только неизменная преданность вам могла подвигнуть меня в моем почтенном возрасте сделаться конокрадом да к тому же польститься на эту клячу. Позвольте помочь вам подняться в экипаж.

Он взял у нее лампу и поставил на землю. Козлы представляли собой просто узкую доску, положенную поперек повозки. Ретт поднял Скарлетт на руки и посадил на эту доску. Как чудесно быть мужчиной, да еще таким сильным, как Ретт, подумала Скарлетт, оправляя юбки. Когда Ретт был рядом, она ничего не боялась: ни пожаров, ни взрывов, ни янки.

Он взобрался на козлы рядом с ней и взял вожжи.

— Ой, постойте! — воскликнула она. — Я забыла запереть парадную дверь.

Ретт расхохотался и хлестнул лошадь вожжой.

— Чему вы смеетесь?

— Смеюсь над вами — вы хотите преградить путь янки с помощью замка? — сказал он, и лошадь медленно, неохотно тронулась с места. Оставленная лампа продолжала гореть, отбрасывая на землю желтое пятно света, которое все уменьшалось и уменьшалось по мере того, как их повозка удалялась от дома.

Ретт гнал по Персиковой улице на запад свою заморенную клячу; повозку немилосердно трясло на колдобинах, и у Мелани порой вырывались сдавленные стоны. Темные, молчаливые дома маячили где‑то по обеим сторонам улицы, темные ветви деревьев сплетались над головой. Светлые столбы изгородей, словно могильные надгробья, неясно белея, выступали из темноты. Узкая улица казалась уходящим во мрак тоннелем, но сквозь густой лиственный шатер над головой просвечивали грозные багровые сполохи, и черные пятна теней, словно обезумевшие призраки, метались по земле. Все явственней и явственней становился запах дыма, а с жарким дуновением ветра все слышней делались долетавшие из центра города, как из преисподней, крики, глухой грохот армейских фургонов и тяжелый топот марширующих ног. Когда Ретт, натянув вожжи, свернул на другую улицу, новый оглушительный взрыв потряс воздух, и чудовищный язык пламени и дыма взвился на западном краю неба.

— Должно быть, взорвался последний вагон с боеприпасами, — спокойно произнес Ретт. — Почему они не угнали его сегодня утром, идиоты! Времени было предостаточно. Что ж, тем хуже для нас. Я рассчитывал, отклонившись от центра города, проехать подальше от пожарищ и всего этого пьяного сброда на Декейтерской улице и, не подвергая вас опасности, выбраться из города юго‑западной окраиной. Но нам так или иначе придется пересечь где‑то улицу Мариетты, а, насколько я понимаю, взрыв произошел неподалеку оттуда.

— Нам что же — нужно будет пробиваться сквозь огонь? — дрожащим голосом спросила Скарлетт.

— Надеюсь, нет, если поторопимся, — сказал Ретт, соскочил с повозки и скрылся в глубине какого‑то двора. Он вернулся оттуда с отломанной от дерева веткой, которой принялся безжалостно погонять лошадь. Животное припустилось неровной рысцой, хриплое дыхание с шумом вырывалось у него из ноздрей, повозку швыряло из стороны в сторону, и всех ехавших в ней подбрасывало, как кукурузные зерна на раскаленной сковородке. Заплакал младенец. Присей и Уэйд заревели во всю мочь, больно стукаясь о края повозки, но Мелани не издала ни звука.

Когда они уже подъезжали к улице Мариетты, деревья поредели, и от объятых огнем зданий и бушевавшего в вышине пламени на улице стало светло, как днем, а пляшущие тени метались, словно разодранные бурей паруса тонущего корабля.

У Скарлетт от страха зуб на зуб не попадал, но сама она этого даже не замечала. Ее трясло как в ознобе, хотя жар полыхал ей в лицо. Ад разверзся, и если бы дрожащие ноги ей повиновались, она выскочила бы из повозки и с визгом бросилась бы обратно во мрак, обратно под спасительную крышу дома мисс Питтипэт. Она теснее прижалась к Ретту, вцепилась трясущимися пальцами в его рукав и молча всматривалась в его лицо, ожидая хоть слова ободрения. В алых отблесках огня профиль Ретта — красивый, жесткий, насмешливый — вырисовывался четко, как на античных монетах. Когда она прижалась к нему, он обернулся, и блеск его глаз обжег ее, испугал, как вырвавшееся наружу пламя. Скарлетт казалось, что он полон какого‑то презрительного и бесшабашного ликования, словно все происходящее доставляет ему только радость, и он с упоением спешит навстречу аду, к которому они с каждой минутой приближались.

— Держите, — сказал он, вытаскивая один из двух заткнутых у него за пояс длинноствольных пистолетов, — и если только кто‑нибудь — белый ли, черный ли — приблизится с вашей стороны к повозке и попробует остановить лошадь, стреляйте в него, а разбираться будем потом. Только упаси вас бог — не подстрелите при этом нашу клячу.

— Я... У меня есть оружие, — прошептала Скарлетт, сжимая в руке лежавший у нее на коленях пистолет и твердо зная, что даже перед лицом смерти побоится спустить курок.

— Есть оружие? Откуда вы его взяли?

— Это Чарлза.

— Чарлза?

— Ну да, Чарлза — моего мужа.

— А у вас в самом деле был когда‑то муж, малютка? — негромко проговорил Ретт и рассмеялся.

Хоть бы уж он перестал смеяться! Хоть бы скорее увез их отсюда!

— А откуда же, по‑вашему, у меня ребенок? — с вызовом спросила она.

— Ну, муж — это не единственная возможность...

— Замолчите и поезжайте быстрей!

Но он внезапно натянул вожжи, почти у самой улицы Мариетты, возле стены еще не тронутого огнем склада.

— Скорей же! — Это было единственное, о чем она могла думать: — Скорей! Скорей!

— Солдаты! — произнес он.

Они шли по улице Мариетты, мимо пылающих зданий, шли походным строем, насмерть измученные, таща как попало винтовки, понуро опустив головы, уже не имея сил прибавить шагу, не замечая ни клубов дыма, ни рушащихся со всех сторон горящих обломков. Шли ободранные, в лохмотьях, неотличимые один от другого, солдаты от офицеров, если бы у последних обтрепанные поля шляп не были пришпилены к тулье кокардой армии конфедератов. Многие были босы, у кого голова в бинтах, у кого рука. Они шли, не глядя по сторонам, безмолвные, как привидения, и лишь топот ног по мостовой нарушал тишину.

— Поглядите на них внимательно, — услышала Скарлетт голос Ретта. — Потом будете рассказывать своим внукам, что видели арьергард Нашей Великой Армии в момент ее отступления.

Внезапно она почувствовала к нему острую ненависть — такую всепоглощающую, что на какой‑то миг это чувство заглушило даже страх — жалкий, презренный страх, как показалось ей в эту минуту. Она знала, что и ее собственная безопасность, и безопасность всех остальных — тех, кто там, у нее за спиной в этой повозке, — в его руках, и только в его, и все же она не могла не испытывать к нему ненависти за издевательские слова об этих несчастных в лохмотьях. Промелькнула мысль о мертвом Чарлзе, об Эшли, который, быть может, тоже уже мертв, о всех веселых, храбрых юношах, гниющих в наспех вырытых могилах, и она забыла, что сама когда‑то называла их про себя дураками. Она не произнесла ни слова, только в бессильном бешенстве поглядела на Ретта, и взгляд ее горел ненавистью и презрением.

Уже проходили последние ряды колонны, когда какая‑то маленькая фигурка с волочащейся по земле винтовкой покачнулась и стала, глядя вслед уходящим. Скарлетт увидела отупевшее от усталости лицо, бессмысленное, как у лунатика. Солдат был не выше ее ростом — не больше, казалось, своей винтовки. И лицо — безусое, перепачканное грязью. «Лет, верно, шестнадцать, — пронеслось у Скарлетт в уме, — верно, из внутреннего охранения, а может, просто сбежавший из дому школьник».

Она продолжала наблюдать за ним, и в этот миг у мальчишки подогнулись колени и он повалился ничком на землю. Двое мужчин молча вышли из последнего ряда колонны и направились к нему. Один — высокий, худой, с черной бородой почти до пояса — все так же молча протянул свою винтовку и винтовку упавшего другому. Затем наклонился и с ловкостью фокусника закинул тело мальчишки себе на плечо. Не спеша, чуть согнувшись под своей ношей, он зашагал следом за удалявшимся отрядом, а мальчишка яростно выкрикивал, точно рассерженный ребенок:

— Отпусти меня, черт бы тебя побрал! Отпусти меня! Я могу идти!

Бородатый не произнес ни слова в ответ и вскоре скрылся за поворотом дороги.

Ретт сидел неподвижно, опустив вожжи, и глядел им вслед. Смуглое лицо его было странно задумчиво. Внезапно раздался треск рушащихся бревен, и узкий язык пламени взвился над кровлей склада, в тени которого стояла их повозка. Огненные вымпелы и стяги торжествующе взвились к небу у них над головой. Дым разъедал ноздри, Уэйд и Присей раскашлялись. Младенец чуть слышно посапывал.

— Боже милостивый, Ретт! Вы что — совсем рехнулись? Чего мы стоим? Гоните! Гоните же скорей!

Ретт, не отвечая, безжалостно хлестнул лошадь хворостиной, и она рванулась вперед. Повозка, дико раскачиваясь из стороны в сторону, опять затряслась по улице Мариетты, пересекая ее наискось. Перед ними открылся недлинный, узкий, похожий на огненное ущелье проулок, который вел к железнодорожным путям. Все здания по обеим его сторонам горели, и повозка ринулась туда. Их обдало испепеляющим жаром, ослепило сверканьем тысячи раскаленных солнц, оглушило чудовищным треском и грохотом. Какие‑то подобные вечности мгновения они находились в центре огненного вихря, затем внезапно их снова обступил полумрак.

Когда они неслись по горящей улице и с грохотом пересекали железнодорожное полотно, Ретт молча, размеренно нахлестывал лошадь. Лицо его было сосредоточенно и замкнуто, мысли, казалось, бродили где‑то далеко. И невеселые, как видно, были это мысли — так ссутулились его широкие плечи, так твердо были сжаты челюсти. Жаркий пот струями стекал со лба и щек, но он его словно не замечал.

Он свернул в какую‑то боковую улочку, затем в другую, и повозка так пошла колесить из одного узкого проулка в другой, что Скарлетт совершенно утратила всякое представление о том, где они находятся, а рев пожара замер уже далеко позади. И по‑прежнему Ретт не произносил ни слова. Только размеренно, методично нахлестывал лошадь. Багровые сполохи огня гасли в небе, и путь беглецов уходил в такой мрак, что Скарлетт рада была бы услышать от Ретта хоть единое слово — даже насмешливое, даже язвительное, обидное. Но он молчал.

Ладно, пусть молчит — все равно она благословляла небо за то, что он здесь и она под его защитой. Хорошо, когда рядом мужчина, когда можно прижаться к нему, почувствовать крепость его плеча и знать, что между нею и безмолвным ужасом, наползающим из мрака, есть он. Даже если он молчит и лишь неотрывно смотрит вперед.

— О, Ретт! — прошептала она, сжимая его руку. — Что бы мы делали без вас! Какое счастье, что вы не в армии!

Он повернулся и посмотрел ей в глаза — посмотрел так, что она выпустила его руку и невольно отшатнулась. В его взгляде не было больше насмешки. Только откровенная злоба и что‑то похожее на растерянность. Потом презрительная усмешка искривила его рот, и он отвернулся. Еще долгое время они продолжали ехать в полном молчании, подскакивая на рытвинах, и лишь жалобное попискивание младенца и сопенье Присей нарушали тишину, пока Скарлетт, потеряв терпение, не ущипнула служанку со всей мочи, отчего та дико взвизгнула и испуганно примолкла.

Наконец Ретт круто свернул куда‑то вправо, и вскоре они выехали на широкую, довольно ровную дорогу. Неясные очертания каких‑то строений стали попадаться все реже и реже, а за ними по обеим сторонам темной стеной стоял лес.

— Вот мы и выбрались из города, — сухо сказал Ретт, натягивая вожжи. — Это основная дорога на Раф‑энд‑Реди.

— Так поехали же скорей! Не останавливайтесь!

— Пусть это животное немного передохнет, — сказал Ретт и, повернувшись к Скарлетт, спросил, медленно, с расстановкой выговаривая слова: — Вы твердо решились на этот безумный шаг, Скарлетт?

— На какой?

— Вы по‑прежнему хотите пробираться домой? Это же самоубийство. Между вами и Тарой находится армия янки и кавалерия Стива Ли.

О, великий боже! Уж не хочет ли он теперь, после всех чудовищных испытаний, через которые она прошла, отступиться от нее и не везти домой?

— Да, да, конечно, хочу! Ретт, умоляю, поехали скорее! Лошадь не так уж устала.

— Обождите. Ехать по этой дороге до самого Джонсборо нельзя. Она идет вдоль железнодорожного пути. А за железную дорогу к югу от Раф‑энд‑Реди весь день сегодня шли бои. Вы знаете какие‑нибудь другие дороги, небольшие проселки, тропы, которыми можно миновать Раф‑энд‑Реди и Джонсборо?

— Знаю! — обрадовано воскликнула Скарлетт. — Не доезжая до Раф‑энд‑Реди есть проселок, он ответвляется от главной дороги на Джонсборо и тянется дальше на много миль. Мы часто катались там верхом. Эта дорога выводит прямо к усадьбе Макинтошей, а оттуда всего миля до Тары.

— Ну что ж. Может быть, вам удастся объехать Раф‑энд‑Реди стороной. Генерал Стив Ли целый день прикрывал там отступление. Возможно, янки еще и не прорвались туда. Может быть, вам повезет и вы проскользнете, если солдаты Ли не отберут у вас лошадь.

— Мне... Я проскользну?

— Да, вы. — Голос его звучал резко.

— Но, Ретт... а вы... Разве вы не отвезете нас?

— Нет. Здесь я вас покидаю.

Не веря своим ушам, она в растерянности поглядела вокруг — на сумрачное, лиловато‑синее небо позади, на темные стволы деревьев, обступавшие их, словно тюремная стена, со всех сторон, на испуганные фигуры в повозке и — на него. Может быть, она не в своем уме? Или ослышалась?

А он теперь уже откровенно усмехался. Она видела, как белеют в полумраке его зубы, а в глазах блеснула привычная насмешка...

— Вы нас покидаете? Куда же... куда вы уходите?

— Я ухожу вместе с армией, моя дорогая.

Она перевела дух — с досадой, но и с облегчением. Нашел время шутить! Ретт — в армии! Не он ли вечно насмехался над дураками, которые позволили увлечь себя барабанным боем и трескучей болтовней ораторов и сложили голову на поле боя, чтобы те, кто поумнее, могли набивать себе карманы?

— Так бы, кажется, и задушила вас — зачем вы меня пугаете! Ну, поехали!

— Я вовсе не шучу, моя дорогая. И я очень огорчен, Скарлетт, что вы так дурно восприняли мой героический порыв. Где же ваш патриотизм и ваша преданность нашему Доблестному Делу? Я даю вам возможность напутствовать меня: «Возвращайтесь со щитом или на щите!» Но поспешите, ибо я должен еще произнести небольшой, исполненный благородной отваги спич, прежде чем отбыть на поле брани.

Его тягучая речь резала ей слух. Он издевается над ней! Но вместе с тем она почему‑то чувствовала, что он издевается и над собой тоже. О чем это он толкует? Патриотизм... со щитом или на щите... поле брани? Не всерьез же он все это говорит? Не может же он так беспечно заявлять о том, что хочет покинуть ее здесь, на этой темной дороге, покинуть вместе с новорожденным младенцем, с женщиной, которая, быть может, вот‑вот умрет, с дурой‑негритянкой и насмерть перепуганным ребенком и предоставить ей самой тащить их всех по полям сражений, где кругом янки, и дезертиры, и стрельба, и бог весть что еще?

Когда‑то, шестилетней девчонкой, она однажды свалилась с дерева — упала плашмя, прямо на живот. Она и сейчас еще помнит это ужасное мгновение, пока к ней не возвратилась способность дышать. И вот теперь она смотрела на Ретта и вдруг ощутила то же самое: перехватило дыхание, закружилась голова... оглушенная, она ловила воздух ртом.

— Ретт! Вы шутите?

Она вцепилась в его локоть и почувствовала, как слезы капают у нее из глаз на скрюченные пальцы. Он взял ее руку и слегка прикоснулся к ней губами.

— До конца верны себе в своем эгоизме, моя дорогая? Все мысли только о собственной драгоценной шкуре, а не о нашей славной Конфедерации? Подумайте о том, как вдохновит наши доблестные войска мое внезапное появление в их рядах в последнюю решающую минуту! — Голос его звучал вкрадчиво и ехидно.

— О, Ретт! — всхлипнула она. — Как можете вы так поступать со мной? Почему вы покидаете меня?

— Почему? — Он беспечно рассмеялся. — Возможно, из‑за проклятой чертовой сентиментальности, которая таится в каждом из нас, южан. А возможно... возможно, потому, что мне стыдно. Как знать!

— Стыдно? Разумеется, вы должны сгорать со стыда! Бросить нас здесь одних, беспомощных...

— Дорогая Скарлетт! Уж вы‑то не беспомощны! Человек столь себялюбивый и столь решительный ни в каком положении не окажется беспомощным. Я не позавидую тем янки, которые попадутся на вашем пути.

Он соскочил на землю — Скарлетт в испуге смотрела на него онемев — и подошел к повозке с того края, где сидела она.

— Слезайте! — приказал он.

Она молча смотрела на него во все глаза. Он грубо взял ее под мышки и, приподняв с козел, опустил на землю рядом с собой. Затем решительно потянул прочь от повозки в сторону. Она чувствовала, как песок и камешки, набившиеся в туфли, больно колют ей ступни. Душная тишина ночи обволакивала ее, как в тяжком сне.

— Я не стану просить вас ни понять меня, ни простить. Мне, в общем‑то, безразлично, будет ли это доступно вашему пониманию, так как я сам никогда не пойму и не прощу себе этого идиотского поступка. Меня бесит мое еще не изжитое до конца донкихотство. Но наш прекрасный Юг нуждается сейчас в каждом мужчине. Ведь, кажется, именно так заявил наш отважный губернатор Браун? Впрочем, это не важно. Я ухожу на войну. — Внезапно он расхохотался — звонко, от души, разбудив эхо в глубине темного леса. — «Тебя любить не мог бы я столь сильно, когда б превыше не любил я Честь»[[6]](#footnote-6). Очень подходящие к случаю слова, не так ли? И уж, конечно, лучше всего, что я мог бы придумать сам в такую, как сейчас, минуту. Ведь я люблю вас, Скарлетт, невзирая на то, что сказал вам когда‑то ночью, месяц назад, у вас на веранде.

В медлительной речи его звучала ласка, и его теплые, сильные руки сжали ее голые локти.

— Я люблю вас, Скарлетт, потому что мы с вами такие родственные души. Мы оба отступники, моя дорогая, низкие себялюбцы. Плевать мы хотели на все на свете — лишь бы нам самим было хорошо, а там пропади все пропадом.

Его голос продолжал долетать до нее из мрака, она слышала слова, но они звучали бессмысленно. Ее усталый мозг старался воспринять жестокую истину — Ретт покидает ее здесь, оставляет на произвол янки. В мозгу стучало: «Он покидает меня. Он покидает меня». Но мысль эта не пробуждала в ней никаких эмоций.

А потом она почувствовала его руки вокруг своей талии, вокруг своих плеч, ощутила твердые мускулы его бедер, и пуговицы его сюртука впились ей в грудь. Жаркая, тревожная волна поднялась со дна ее души, сметая все, заставляя забыть, где она и что с ней происходит. Она почувствовала, что слабеет, что беспомощна, как тряпичная кукла, в его руках, а эти руки были так успокоительно надежны.

— Вы не хотите изменить своего решения? Помните, о чем я говорил вам месяц назад? Опасность, близость смерти — что еще может придать такую остроту ощущениям? Будьте же настоящей патриоткой, Скарлетт. Сумейте дать сладостные воспоминания вашему воину, посылая его на смерть.

Он целовал ее. Она чувствовала шершавость его усов на своих губах, его поцелуй был долгим, неспешным, его горячие губы медлили, прильнув к ее губам, словно впереди у него была еще целая ночь. Чарлз никогда не целовал ее так. И никогда от поцелуев близнецов Тарлтонов или братьев Калвертов не творилось с ней такого: ее обдавало то жаром, то холодом, колени у нее слабели, и ноги подкашивались. Он слегка отклонил ее назад, и его губы скользнули по ее шее ниже, туда, где вырез лифа был застегнут тяжелой камеей.

— Радость моя, — шептал он. — О, моя радость!

Как в тумане, возникли перед ней на мгновение неясные очертания повозки, и она услышала тоненький дрожащий голосок Уэйда:

— Мама! Мне страшно!

Резкий, холодный луч здравого смысла внезапно вспыхнул в ее усталом, затуманенном мозгу, и в памяти сразу воскресло то, что на какой‑то миг изгладилось из сознания: ей тоже страшно, безумно страшно, а Ретт покидает ее, негодяй, подлец! И к тому же у него еще хватает наглости, стоя здесь, посреди дороги, оскорблять ее, делать ей гнусные предложения! Гнев, ненависть придали ей силы, и, резко оттолкнув его, она вырвалась из кольца объятий.

— Ох, ну и подлец же вы! — воскликнула она, в бессильном бешенстве тщетно стараясь припомнить все самые страшные ругательства, какими Джералд осыпал мистера Линкольна, или Макинтошей, или своих упрямых мулов, но никакие бранные слова не шли ей на ум. — Вы жалкий трус, мерзкое ничтожество! — И, не находя больше достаточно уничтожающих слов, она из последних сил ударила его с размаху по лицу, и удар пришелся по губам. Он отступил на шаг назад и поднес к губам руку.

— Вот как, — проговорил он, и с минуту они молча стояли в темноте, глядя друг на друга. Скарлетт слышала его тяжелое дыхание и свое — такое учащенное, словно она бежала бегом.

— Правду говорили про вас! Все говорили правду! Вы — не джентльмен!

— Слабо, моя дорогая, — произнес он, — очень слабо.

Она понимала, что он снова смеется над ней, и эта мысль еще подхлестнула ее.

— Ступайте прочь! Прочь от меня! Уходите, слышите? Я не желаю вас больше видеть. Никогда. Я буду счастлива, если вас разорвет снарядом! На тысячи кусков! Я...

— Не утруждайте себя подробностями. Основная мысль ваша мне ясна. Когда я сложу голову на алтарь отечества, вам, боюсь, придется испытать легкий укол совести.

Он снова рассмеялся, повернулся и зашагал обратно к повозке. Там он остановился, и она слышала, как изменился его голос, когда он, как всегда почтительно и учтиво, обратился к Мелани:

— Миссис Уилкс!

Послышался испуганный лепет Присей:

— Господи боже, капитан Батлер! Мисс Мелли вот уж сколько лежит вся помертвелая!

— Она жива? Дышит?

— Да, сэр. Дышать‑то дышит.

— Тогда, быть может, так даже лучше для нее. Приди она в сознание, ей труднее было бы переносить боль. А ты получше позаботься о ней, Присей. Вот, возьми себе эту маленькую монетку. И если можешь, старайся не быть большей дурой, чем ты есть на самом деле.

— Да, сэр. Спасибо, сэр.

— Прощайте, Скарлетт.

Она знала, что он обернулся и смотрит на нее, но не проронила ни слова. Ненависть сковала ей язык. Послышался хруст камешков под его ногами, и на мгновение в полутьме проглянули очертания его широких плеч. И вот он скрылся из глаз. Какое‑то время до нее еще долетал звук его шагов. Затем и шаги замерли вдали. Она медленно побрела назад к повозке. Колени у нее подгибались.

Почему он ушел, скрылся во мраке, ушел на войну, которая уже проиграна, ушел туда, где царят безумие и хаос? Почему он ушел, он, Ретт, так любивший наслаждения, женщин, вино, добрую еду и мягкую постель, тонкое белье и щегольскую обувь? Он, презиравший Юг и всех идиотов, которые за него сражались? И вот теперь он сам избрал этот путь, чтобы шагать в своих надраенных сапогах по дорогам голода, ран, изнурительных переходов и опасностей, подстерегающих солдата на каждом шагу, как лязгающие зубами волки. А в конце этого пути стояла смерть. Он не должен был никуда уходить. Он богат, мог жить в довольстве, ничто ему не угрожало. Но он ушел и оставил ее одну в этой черной, слепой ночи, с притаившимися где‑то янки, одну, вдали от дома.

Теперь ей сразу пришли на память все те бранные слова, которые она хотела бросить ему в лицо, но было уже поздно. Она прислонилась головой к шее лошади и заплакала.

### Глава XXIV

Яркий свет солнечных лучей, пробившихся сквозь листву, разбудил Скарлетт. От неудобного положения, в котором ее сморил сон, тело у нее занемело, и она не сразу припомнила, что с ней произошло. Солнце слепило глаза, спину ломило от лежания на твердых досках, ноги придавливала какая‑то тяжесть. Она попыталась сесть и поняла, что эта тяжесть — голова Уэйда, покоящаяся у нее на коленях. Босые ноги Мелани почти касались ее лица, Присей, похожая на черную кошку, свернулась клубочком на дне повозки, уместив младенца между собой и Уэйдом.

И тут Скарлетт вспомнила все. Она выпрямилась, села и торопливо осмотрелась вокруг. Слава богу, янки нигде не было видно! И за эту ночь никто не обнаружил их повозки. Теперь перед ней уже отчетливо встал весь этот страшный, похожий на чудовищный кошмар путь, проделанный ими после того, как шаги Ретта замерли вдали, — вся эта бесконечная ночь, черный проселок, рытвины, разбитые колеи, камни, глубокие канавы по сторонам дороги, куда порой съезжала повозка, и как она и Присей, гонимые страхом, из последних сил тянули за колеса, толкали повозку, помогая лошади выбраться на дорогу. Вспомнилось, как, заслышав приближающихся солдат, дрожа от страха, не зная, кто они, эти идущие мимо, — друзья или враги, сгоняла она упиравшуюся лошадь с дороги в поле или в лес, как замирала от ужаса при мысли, что чей‑нибудь кашель, чиханье или икота Уэйда могут их выдать.

О, эта черная дорога, по которой, словно привидения, двигались безмолвные тени, нарушая тишину лишь негромким стуком сапог по земле, позвякиванием уздечек, поскрипыванием сбруи! О, это страшное мгновение, когда измученная кляча внезапно заартачилась и стала, и мимо них по дороге прошел конный отряд, таща за собой легкие орудия, — прошел так близко, что ей казалось, — стоит протянуть руку, и она коснется их! Так близко, что она слышала едкий запах потных солдатских тел!

Когда они добрались наконец до Раф‑энд‑Реди, впереди — там, где последний заслон генерала Ли стоял в ожидании приказа к отступлению, — замелькали редкие бивачные огни. С милю Скарлетт гнала лошадь прямо по пашне, огибая расположение войск, пока огни лагеря не скрылись из глаз, оставшись позади. И тут она окончательно заплуталась в темноте и долго плакала, потому что ей никак не удавалось выехать на узкий, так хорошо знакомый проселок. А когда она все же нашла его, лошадь упала в упряжи и не пожелала сделать больше ни шагу, не пожелала подняться, сколько они с Присей ни пихали ее и ни тянули под уздцы.

Тогда Скарлетт распрягла лошадь, забралась, взмокшая от пота, в глубину повозки и вытянула гудевшие от усталости ноги. Ей смутно припомнилось, что, когда у нее уже слипались глаза, до нее долетел голос Мелани — чуть слышный шепот, в котором были и мольба и смущение:

— Скарлетт, можно мне глоточек воды? Пожалуйста!

— Воды нет... — пробормотала она и уснула, не договорив.

А теперь было утро, и мир вокруг был торжественно тих — зеленый, золотой от солнечных бликов в листве. И поблизости никаких солдат. Горло у нее пересохло от жажды, ее мучил голод, занемевшие ноги сводила судорога, все тело ныло, и ей просто не верилось, что это она, Скарлетт О’Хара, привыкшая спать только на льняных простынях и пуховых перинах, могла уснуть, как черная рабыня, на голых досках.

Щурясь от солнца, она поглядела на Мелани и испуганно ахнула. Мелани лежала так неподвижно и была так бледна, что показалась Скарлетт мертвой. Никаких признаков жизни. Лежала мертвая старая женщина с изнуренным лицом, полускрытым за спутанными прядями черных волос... Но вот Скарлетт уловила чуть заметный шелест дыхания и поняла, что Мелани удалось пережить эту ночь.

Прикрываясь рукой от солнца, Скарлетт поглядела по сторонам. По‑видимому, они провели ночь в саду под деревьями чьей‑то усадьбы, так как впереди, извиваясь между двумя рядами кедров, убегала вдаль посыпанная песком и галькой подъездная аллея.

«Да ведь это же усадьба Мэллори!» — подумала вдруг Скарлетт, и сердце у нее подпрыгнуло от радости при мысли, что она у друзей и получит помощь.

Но мертвая тишина царила вокруг. Цветущие кусты и трава газона — все было истоптано, истерзано, выворочено из земли колесами, копытами лошадей, ногами людей. Скарлетт поглядела туда, где стоял такой знакомый, светлый, обшитый тесом дом, и увидела длинный прямоугольник почерневшего гранитного фундамента и две высокие печные трубы, проглянувшие сквозь пожухлую, обугленную листву деревьев.

Вся дрожа, она с трудом перевела дыхание. А что, если такой же — безмолвной, мертвой — найдет она и Тару, — что, если и ее сровняли с землей?

«Я не буду думать об этом сейчас, — поспешно сказала она себе. — Я не должна об этом думать. Не то опять сойду с ума от страха». Но независимо от ее воли сердце мучительно колотилось, и каждый удар звучал как набат: «Домой! Скорей! Домой! Скорей!»

Надо ехать дальше — домой. Но прежде надо найти чего‑нибудь поесть и хоть глоток воды — в первую очередь воды. Она растолкала Присей. Та, выпучив глаза, оглядывалась по сторонам.

— Господи боже, мисс Скарлетт! Я уж думала, что проснусь на том свете!

— Ты туда еще не скоро попадешь, — сказала Скарлетт, пытаясь кое‑как пригладить растрепавшиеся волосы. И лицо, и все тело у нее были еще влажными от пота. Она казалась себе невыносимо грязной, липкой, неприбранной, ей даже почудилось, что от нее дурно пахнет. За ночь платье невообразимо измялось, и никогда еще не чувствовала она себя такой усталой и разбитой. От неистового напряжения этой ночи болели даже такие мускулы, о существовании которых она и не подозревала, и каждое движение причиняло страдания.

Скарлетт поглядела на Мелани и увидела, что она открыла глаза. Совсем больные глаза, отекшие, обведенные темными кругами, пугающие своим лихорадочным блеском. Растрескавшиеся губы дрогнули, послышался молящий шепот:

— Пить!

— Вставай, Присей! — сказала Скарлетт. — Пойдем к колодцу, достанем воды.

— Мисс Скарлетт, как же мы... Может, там мертвяки, а может, духи убитых!..

— Я из тебя самой вышибу дух, если ты тотчас не вылезешь из повозки, — сказала Скарлетт, отнюдь не расположенная к пререканиям, и сама кое‑как, с трудом спустилась на землю.

И только тут она вспомнила про лошадь. Боже правый, а что, если эта кляча за ночь пала? Когда ее распрягали, было похоже, что ей пришел конец. Скарлетт бросилась к передку повозки и увидела лежавшую на боку лошадь. Если лошадь сдохла, она сама умрет тут же на месте, послав небесам свое проклятие! Кто‑то там, в Библии, уже поступил однажды точно так же. Проклял бога и умер. Сейчас она понимала, что, должно быть, чувствовал тот человек. Но лошадь была жива — она дышала тяжело, полузакрытые глаза слезились, но она еще жила. Ладно, глоток воды придаст ей сил.

Присей с большой неохотой и громкими стонами выбралась из повозки и, боязливо озираясь, поплелась следом за Скарлетт по аллее. Беленные известкой хижины рабов — молчаливые, опустевшие — стояли в тени деревьев позади пепелища. Где‑то между этими хижинами и еще дымившимся фундаментом дома нашелся колодец — и даже с уцелевшей крышей, и на веревке висело спущенное вниз ведро. С помощью Присей Скарлетт вытянула ведро из колодца, и когда из темной глуби показалась прохладная, поблескивавшая на солнце вода, она наклонила ведерко, прильнула к краю губами и шумно, захлебываясь, принялась глотать воду, проливая ее на себя.

Она пила и пила, пока не услышала жалобно‑ворчливый голос Присей:

— Мне тоже хотца попить, мисс Скарлетт!

Это заставило Скарлетт очнуться и вспомнить, что она здесь не одна.

— Отвяжи веревку, отнеси ведро в повозку и напои всех. Остальное отдай лошади. Как ты думаешь, мисс Мелани может покормить младенца? Он же умрет с голоду.

— Господи, мисс Скарлетт, да у мисс Мелли нет же молока. Да у нее и не будет.

— Откуда ты знаешь?

— Я много повидала таких, как она.

— Не морочь мне голову! Много ты понимала вчера, когда надо было принимать ребенка! Ладно, беги! Я попробую найти чего‑нибудь поесть.

Поиски Скарлетт долго оставались безуспешными, пока, наконец, в фруктовом саду она не обнаружила немного яблок. Солдаты побывали здесь раньше нее, и на деревьях яблок не было, но она подобрала несколько полусгнивших — в траве. Выбрав те, что получше, она сложила их в подол и побрела обратно по мягкой земле, чувствуя, как мелкие камешки набираются в ее легкие туфли. Как это не подумала она вчера надеть какие‑нибудь башмаки покрепче? Почему не взяла свою шляпу от солнца? Не захватила какой‑нибудь еды в дорогу? Она вела себя как круглая идиотка. Впрочем, она же думала, что Ретт, конечно, позаботится обо всем.

Ретт! Она ожесточенно сплюнула на землю, словно само это имя оставляло мерзкий привкус во рту. Как она ненавидит его! Как гнусно он с ней поступил! А она еще стояла там, на дороге, и позволяла ему целовать себя, и ей это даже нравилось! Должно быть, она потеряла рассудок тогда, ночью. Но какой же он низкий, презренный человек!

Она вернулась к повозке, оделила всех яблоками, а оставшиеся бросила в повозку. Лошадь поднялась на ноги, но вода, казалось, не особенно освежила ее. Теперь, при свете дня, вид у лошади был еще ужасней, чем ночью. Кости крупа выпирали, как у старой коровы, ребра напоминали стиральную доску, а на спине не было живого, неисхлестанного места. Впрягая лошадь в повозку, Скарлетт с трудом заставляла себя прикасаться к этой кляче, а надевая удила, заметила, что у лошади попросту не осталось ни единого зуба. Да она стара, как эти холмы! Раз уж Ретт взялся красть, так мог бы украсть что‑нибудь и получше!

Она взобралась на сиденье и хлестнула лошадь веткой гикори. Кляча засопела, захрипела и тронулась с места, но, свернув на знакомый проселок, Скарлетт увидела, что без особого труда быстрее дошла бы пешком — так медленно двигалось это животное. Ах, если бы все они — и Мелани, и Уэйд, и младенец, и Присей — не висели у нее на шее! Она бы мигом добралась домой. Да, она бы побежала бегом, бегом всю дорогу — домой, к маме!

До дома оставалось не больше пятнадцати миль, но старая кляча тащилась так медленно и ей так часто приходилось давать отдых, что на это путешествие у них мог уйти целый день. Еще целый день! Скарлетт смотрела на слепящую глаза красную ленту дороги, изрезанную глубокими колеями, оставленными колесами орудий и санитарных фургонов. Пройдет еще не один час, прежде чем она увидит своими глазами, что Тара по‑прежнему стоит на месте и Эллин там. Еще не один час трястись им под палящим сентябрьским солнцем.

Она снова бросила взгляд на Мелани — та лежала, опустив опухшие веки, жмурясь от солнца. Скарлетт дернула за ленты чепца, распустила узел под подбородком и кинула чепец Присей.

— Накрой мисс Мелани лицо. Солнце бьет ей прямо в глаза. — Но сняв чепец, она тотчас почувствовала, как ей припекает голову, и подумала: «К концу дня я буду вся в веснушках, пятнистая, что твое кукушкино яйцо».

Никогда еще не приходилось ей бывать под открытым небом без шляпы или без шарфа, никогда ее холеные ручки не держали вожжей без перчаток. И вот теперь она сидит на самом солнцепеке в этой разбитой колымаге, запряженной подыхающей клячей, — сидит грязная, потная, голодная, и ничего ей не остается другого, как тащиться со скоростью улитки по этой обезлюдевшей земле. А всего несколько недель назад она благополучно жила под надежным кровом! Ведь еще так недавно она, как и все вокруг, считала, что Атланта никогда не будет сдана и нога неприятеля не ступит на землю Джорджии. Но маленькое облачко, появившееся на северо‑западе каких‑нибудь четыре месяца назад, превратилось в мощную грозовую тучу, породившую невиданной силы ураган, и он смел с лица земли мир, в котором она жила, разрушил ее упорядоченную жизнь и зашвырнул ее сюда в этот притихший, опустошенный, населенный призраками край.

Существует ли еще на свете Тара? Или и ее тоже сметет этим ураганом, пронесшимся над Джорджией?

Скарлетт стегнула измученную лошадь по спине в тщетной попытке заставить ее быстрее тащить раскачивавшуюся из стороны в сторону на разболтанных колесах повозку.

Смерть была рядом, ее присутствие ощущалось в воздухе. В вечереющих лучах клонившегося к закату солнца знакомые поля, знакомые зеленые рощи расстилались перед глазами Скарлетт неестественно молчаливые, тихие, вселяя в сердце страх. При виде каждого опустевшего, пробитого снарядом дома, мимо которого проезжали они в тот день, при виде каждого остова печной трубы, торчавшего словно часовой над закопченными руинами, страх все глубже заползал в ее душу. С прошлой ночи им не попалось на пути ни единого живого существа — ни человека, ни животного. Только трупы — трупы людей, трупы лошадей, трупы мулов... С раздутыми животами, они валялись у дорог, и мухи тучами вились над ними, а вокруг ни души. Ни щебета птиц, ни далекого мычания стада, ни шелеста ветра в листве. Только глухие удары усталых лошадиных копыт по земле да слабое попискивание новорожденного нарушали тишину.

Печать какого‑то странного, словно колдовского оцепенения лежала на всем. И холодок пробежал у Скарлетт по спине, когда ей подумалось, что эта земля — как любимое, прекрасное лицо матери, тихое, успокоившееся наконец после перенесенных смертных мук. Ей чудилось, что эти знакомые леса полны призраков. Тысячи солдат пали в боях под Джонсборо. Их души — души друзей и души врагов — глядели на нее оттуда, из этих заколдованных рощ, сквозь пронизанную косыми вечерними лучами солнца зловеще недвижную листву — слепыми, багровыми от крови и красной пыли, страшными, остекленелыми глазами глядели на нее в ее разбитой повозке.

— Мама! мама! — беззвучно прошептала Скарлетт. О, если бы только добраться до Эллин! Если бы только каким‑нибудь чудом Тара осталась целой и невредимой и она могла бы, миновав длинную подъездную аллею, войти в дом и увидеть доброе, нежное лицо Эллин, ощутить мягкое прикосновение ее чудотворных рук, мгновенно отгоняющее всякий страх, могла бы припасть к ее коленям, зарыться в них лицом! Мама знала бы, что нужно делать. Она не дала бы Мелани и ее младенцу умереть. «Тихо, тихо!» — спокойно произнесла бы она, и все страхи и призраки развеялись бы как дым. Но мама больна, быть может, умирает.

Скарлетт снова стегнула хворостиной истерзанный круп лошади. Во что бы то ни стало надо ехать быстрее. Целый день тащатся они в самое пекло по этому проселку, и ему не видно конца. Скоро стемнеет, а они по‑прежнему будут одни среди этой пустыни, где витает смерть. Скарлетт покрепче ухватила вожжи стертыми до волдырей руками и с яростью принялась понукать лошадь, не обращая внимания на ломоту в плечах.

Лишь бы добраться до отчего дома, до теплых объятий Эллин и сложить со своих слабых плеч эту слишком тяжелую для нее ношу: умирающую женщину, полуживого младенца, своего изголодавшегося сынишку, перепуганную негритянку — всех, ищущих в ней защиты, опоры, всех, кто, глядя на ее прямую спину, продолжает уповать на ее силу и отвагу, не понимая, что она давно их утратила.

Измученное животное не отзывалось ни на вожжи, ни на хворостину и все так же медленно тащилось, еле передвигая ноги, спотыкаясь, когда под копыта попадали большие камни, и шатаясь при этом так, что, казалось, того и гляди рухнет на землю. Но вот, в сумерках, они все же добрались до последнего поворота, за которым их долгое путешествие должно было прийти к концу. Свернув с проселка, они снова выехали на большую дорогу. До Тары оставалась всего миля пути!

Впереди проглянула темная масса живой изгороди — плотная стена диких апельсиновых деревьев, отмечавшая начало владений Макинтошей. Вскоре Скарлетт остановила лошадь на дубовой аллее, ведущей от дороги к дому старика Энгуса Макинтоша. В сгущающихся сумерках она вглядывалась в даль между двумя рядами старых дубов. Всюду темно. Ни единого огонька ни в окнах дома, ни вокруг. Когда глаза привыкли к темноте, она различила ставшую уже знакомой на протяжении всего этого страшного дня картину: очертания двух высоких печных труб, возносящихся вверх, как гигантские надгробия, над руинами второго этажа, безмолвно глядящими в пустоту незрячими проемами выбитых окон.

— Хэлло! — собрав остатки сил, крикнула она. — Хэлло!

Присей в ужасе вцепилась ей в руку, и, обернувшись, Скарлетт увидела ее вытаращенные от страха глаза.

— Не кричите, мисс Скарлетт! Пожалуйста, не кричите, — зашептала она срывающимся голосом. — Мало ли что может отозваться!

«Боже милостивый! — подумала Скарлетт, и дрожь прошла у нее по телу. — Боже милостивый! А ведь она права. Мало ли что может появиться оттуда, с пепелища!»

Она подергала вожжи, трогая лошадь с места. При виде дома Макинтошей последний еще теплившийся в ее душе огонек надежды угас. Дом был разорен, сожжен, покинут — как и все прочие усадьбы, мимо которых они сегодня проезжали. Тара находилась всего в полумиле отсюда, по той же дороге, прямо на пути неприятельской армии. Ее, конечно, тоже сровняли с землей. Она найдет там только груду обгорелых кирпичей, да звезды, мерцающие над отвалившейся кровлей, да Тишину — такую же страшную, как повсюду, могильную тишину. И ни Эллин, ни Джералда, ни сестер, ни Мамушки, ни негров — бог весть где они теперь!

Что толкнуло ее на этот безумный шаг? И зачем, вопреки здравому смыслу, потащила она с собой Мелани с младенцем? Для них было бы лучше умереть в Атланте, чем, промучившись весь день в тряской повозке, под палящим солнцем, найти смерть среди безмолвных руин Тары.

Но Эшли поручил Мелани ее заботам. «Позаботьтесь о ней», — сказал он. О, этот неповторимо прекрасный и мучительный день, когда он поцеловал ее, прежде чем расстаться с ней навсегда! «Вы ведь позаботитесь о ней, верно? Обещайте мне!» И она пообещала. Зачем связала она себя этим обещанием, вдвойне тягостным теперь, когда Эшли ушел из ее жизни? Даже в эти минуты, измученная до предела, она находила в себе силы ненавидеть Мелани и жалобный, писклявый голосок ее ребенка, все реже и слабее нарушавший тишину. Но она связала себя словом, и теперь и Мелани и младенец неотторжимы от нее так же, как Уэйд и Присей, и она должна бороться за них из последних сил, до последнего дыхания. Она могла бы оставить Мелани в Атланте, сунуть ее в госпиталь и бросить там на произвол судьбы. Но после этого как взглянула бы она Эшли в глаза на этой земле, да и на том свете, как призналась бы ему, что оставила его жену и ребенка умирать на руках у чужих людей?

О, Эшли! Где был он этой ночью, когда она мучилась с его женой и ребенком на темных, лесных, населенных призраками дорогах? Жив ли он и думал ли о ней в эти минуты, изнывая за тюремной решеткой Рок‑Айленда? Или его уже давно нет в живых и тело его гниет в какой‑нибудь канаве вместе с телами других погибших от оспы конфедератов?

Нервы Скарлетт были натянуты как струна, и она едва не лишилась чувств, когда в придорожных кустах внезапно раздался шорох. Присей пронзительно взвизгнула и бросилась ничком на дно повозки, придавив собой младенца. Мелани слабо пошевелилась, шаря вокруг себя, ища свое дитя, а Уэйд сжался в комочек и зажмурил глаза, утратив даже голос от страха. Потом кусты раздвинулись, затрещав под тяжелыми копытами, и всех их оглушило протяжное, жалобное мычание.

— Да это же корова, — хриплым с перепугу голосом проговорила Скарлетт. — Не валяй дурака. Присей. Ты чуть не задавила ребенка и напугала мисс Мелани и Уэйда.

— Это привидение! — визжала Присей, корчась от страха на дне повозки.

Обернувшись на сиденье, Скарлетт подняла хворостину, служившую ей кнутом, и огрела Присей по спине. Она сама была так перепугана и чувствовала себя такой беспомощной, что испуг и беспомощность Присей вывели ее из себя.

— Сейчас же сядь на место, идиотка, — сказала она. — Пока я не обломала о тебя хворостину.

Хлюпая носом, Присей подняла голову, выглянула из повозки и увидела, что это и в самом деле корова: пятнистое, бело‑рыжее животное стояло и смотрело на них большими, испуганными глазами. Широко разинув рот, корова замычала снова, словно от боли.

— Может, она ранена? Коровы обычно так не мычат.

— Похоже, она давно не доена, вот и мычит, — сказала Присей, понемногу приходя в чувство. — Верно, это Макинтошева корова. Негры небось угнали ее в лес, и она не попалась янки на глаза.

— Мы заберем ее с собой, — мгновенно решила Скарлетт. — И у нас будет молоко для маленького.

— Как это мы заберем корову, мисс Скарлетт? Мы не можем забрать корову. Какой с нее толк, раз она давно не доена? Вымя у нее раздулось — того и гляди лопнет.

— Ну, раз ты так все знаешь про коров, тогда снимай нижнюю юбку, порви ее и привяжи корову к задку повозки.

— Мисс Скарлетт, так у меня ж почитай месяц как нет нижней юбки, а когда б и была, я б нипочем не стала вязать корову. Я совсем не умею с коровами. Я их боюсь.

Скарлетт бросила вожжи и задрала подол. Обшитая кружевами нижняя юбка была единственным оставшимся у нее красивым и к тому же не рваным предметом туалета. Скарлетт развязала тесемки на талии и спустила юбку, безжалостно стягивая ее за шелковистые льняные оборки. Ретт привез ей льняное полотно и кружева из Нассау, когда ему в последний раз удалось прорваться на своем судне сквозь блокаду, и она целую неделю не покладая рук шила эту юбку. Без малейшего колебания она взялась за подол, дернула, пытаясь его разорвать, потом перекусила зубами шов, материя поддалась, и она оторвала длинную полосу. Она яростно продолжала орудовать и руками и зубами, пока юбка не превратилась в груду длинных тряпок. Тогда она связала все тряпки концы с концами, хотя и натруженные вожжами пальцы были стерты в кровь и руки у нее дрожали от усталости.

— Ступай, привяжи корову за рога, — приказала она Присей.

Но та заартачилась.

— Я страх как боюсь коров, мисс Скарлетт. Я не умею с коровами. Ни в жисть не умела. Я ж не из тех негров, что при скотине. Я из тех, что по дому.

— Ты из тех черномазых, дурее которых нет на свете, и будь проклят тот день, когда отец тебя купил, — устало проговорила Скарлетт, не находя в себе сил даже хорошенько рассердиться. — И как только я немножко отдохну, ты у меня отведаешь кнута.

«Ну вот, — подумала она, — я сказала «из черномазых» — маме бы это очень не понравилось».

Присей, страшно вращая белками, поглядела на суровое лицо своей хозяйки, потом — на жалобно мычавшую корову. Скарлетт показалась ей все же менее опасной, чем корова, и она не тронулась с места, вцепившись руками в край повозки.

Скарлетт с трудом слезла с козел — от каждого движения ломило все тело. Присей была здесь не единственным лицом, которое «страх как боялось» коров. Скарлетт тоже всегда их боялась; даже в кротчайшем из этих созданий ей чудилось что‑то зловещее, но сейчас не время было поддаваться глупым страхам, когда по‑настоящему грозные опасности надвигались со всех сторон. По счастью, корова оказалась на редкость спокойной. Страдания заставляли ее искать помощи и сочувствия у людей, и она не сделала попытки боднуть Скарлетт, когда та принялась обрывками юбки вязать ей рога. Другой конец этой самодельной веревки она очень неумело, однако довольно крепко прикрутила к задку повозки. Потом направилась обратно к козлам, но, внезапно почувствовав дурноту, пошатнулась и ухватилась за край повозки.

Мелани открыла глаза, увидела стоявшую возле нее Скарлетт и прошептала:

— Дорогая... мы уже дома?

Дома! Жаркие слезы навернулись у Скарлетт на глаза при звуках этого слова. Дома! Мелани не понимает, что нет больше никакого дома, что они совершенно одни в одичалом, обезумевшем мире.

— Нет еще, — сказала она насколько могла спокойнее, несмотря на стоявший в горле комок, — но скоро приедем. Сюда забрела корова, и теперь и для тебя и для маленького будет молоко.

— Несчастный малютка... — прошептала Мелани. Рука ее потянулась было к младенцу и тут же бессильно упала.

Чтобы снова взобраться на козлы, потребовалось немало усилий, но наконец Скарлетт справилась и с этой задачей и взяла вожжи. Лошадь стояла, свесив голову, и не трогалась с места. Скарлетт безжалостно стегнула ее хворостиной. «Бог меня простит, — промелькнуло у нее в голове, — за то, что я бью это измученное животное. А не простит, что поделаешь». В конце концов, до Тары осталось каких‑нибудь четверть мили, а там лошадь может тут же лечь хоть прямо в оглоблях.

Наконец лошадь медленно тронулась с места, повозка заскрипела, а корова при каждом шаге издавала горестное мычание. Голос несчастного животного так действовал Скарлетт на нервы, что она уже готова была остановить повозку и отвязать корову. Какой, в конце концов, толк от коровы, если они не найдут ни одной живой души на плантации? Сама она не умела доить, да если бы и умела, разве корова подпустит сейчас к своему больному, набухшему вымени! Нет, раз у нее есть корова, надо ее сохранить. Быть может, это единственное, что принадлежит ей на всей земле.

Глаза Скарлетт затуманились, когда они приблизились к невысокому пологому холму, за которым лежала Тара. И тут сердце ее упало. Околевающему животному никак, конечно... не одолеть подъема на холм. Когда‑то этот склон казался ей таким пологим, подъем таким легким — она галопом взлетела на холм на своей быстроногой кобыле. Откуда взялась теперь эта крутизна? Лошадь нипочем не потянет наверх груженую повозку.

Она устало слезла с козел и взяла лошадь под уздцы.

— Вылезай, Присей, — скомандовала она, — и бери Уэйда! Неси его или заставь идти. А маленького положи возле мисс Мелани.

Уэйд засопел носом, расхныкался, и Скарлетт с трудом разобрала:

— Темно... Я боюсь... Темно...

— Мисс Скарлетт, я не могу пешком, ноги стерты. Пальцы вон как из башмаков вылезают... От меня с Уэйдом какая тяжесть...

— Вылезай! Вылезай сейчас же, пока я тебя силком не вытащила! А тогда берегись — оставлю тебя здесь одну, в темноте. Ну, живо!

Присей взвыла, вглядываясь в лесную тьму по обеим сторонам дороги, словно боясь, что — выйди она из своего укрытия в повозке — и деревья надвинутся на нее и задушат. Но все же ей пришлось положить младенца рядом с Мелани, спуститься на землю и, приподнявшись на цыпочки, вытащить из повозки Уэйда. Мальчик заплакал и прижался к своей няньке.

— Уйми его, я не могу этого слышать, — сказала Скарлетт, взяла лошадь под уздцы и потянула за собой. — Ну же, Уэйд, будь маленьким мужчиной, перестань реветь, не то я сейчас тебя отшлепаю.

«И зачем только господу богу понадобилось создавать детей! — со злостью подумала она, когда на неровной дороге у нее подвернулась нога. — На что они — эти бессмысленные, нудные, вечно хнычущие, вечно требующие заботы существа, которые только и делают, что путаются под ногами?» Измученная до предела, она не испытывала жалости к испуганному ребенку, ковылявшему рядом с Присей, ухватив ее за руку, и не переставая шмыгавшему носом, не испытывала ничего, кроме недоумения: как могло случиться, что она его родила? И еще большее изумление порождала в ее утомленном мозгу мысль о том, что она когда‑то была женой Чарлза Гамильтона.

— Мисс Скарлетт, — зашептала Присей, хватая ее за руку. — Не надо ходить в Тару. Их там нету... Они все ушли. А может, померли. И моя мамка небось, и все...

Этот отголосок ее собственных мыслей окончательно взбесил Скарлетт, и она оттолкнула цеплявшуюся за нее руку.

— Давай сюда Уэйда. А сама оставайся. Сиди здесь.

— Ой нет, нет!

— Тогда замолчи.

До чего же медленно тащится эта кляча! Рука Скарлетт стала мокрой от стекавшей изо рта лошади слюны. Внезапно ей вспомнился обрывок песенки, которую она распевала когда‑то с Реттом:

Еще день, еще два свою ношу нести...

Следующей строчки она не помнила. «Еще шаг, еще шаг, — жужжало у нее в мозгу, — по дорогам брести...»

Но вот они поднялись на перевал и увидели внизу, вдали, дубы усадьбы Тара — высокие темные кущи, возносившиеся к потемневшему небу. Скарлетт напряженно всматривалась — не мелькнет ли где в просвете ветвей огонек. Но всюду было темно.

«Там нет никого, — подсказало ей сердце, и свинцовая тяжесть сдавила грудь. — Никого!»

Она направила лошадь в подъездную аллею, и ветви кедров, сомкнувшись над головой, погрузили все в полночный мрак. Вглядываясь во тьму, напрягая зрение, она увидела впереди... Увидела? Уж не обманывают ли ее глаза? Меж деревьев неясно проглянули светлые стены дома. Ее дома! Ее родного дома! Дорогие ее сердцу белые стены, окна с развевающимися занавесками, просторные веранды — неужели и вправду все это встанет сейчас там, впереди, из темноты? Или милосердная ночь просто не спешит открыть ее глазам такую же страшную картину разорения, как та, какую она видела в поместье Макинтошей?

Казалось, аллее не будет конца, и лошадь, сколько ни тянула Скарлетт ее за уздцы, упрямо замедляла шаг. Скарлетт впивалась глазами во мрак. Ей показалось, что она видит неразрушенную крышу. Неужели... Неужели... Нет, конечно, ей это просто почудилось. Война же не пощадила ничего, не могла она пощадить и их дом, хоть он был построен на века. Война не могла миновать их жилище.

Но туманные очертания начинали вырисовываться яснее. Скарлетт сильнее потянула лошадь вперед. Да, белые стены отчетливо проглянули из темноты. Не обугленные, не опаленные огнем. Тара уцелела! Ее родной очаг! Скарлетт отпустила уздечку и ринулась к дому, раскинув руки, словно стремясь заключить его в объятия. И тут она увидела какую‑то тень: выступив из мрака, тень остановилась на ступеньках крыльца. Значит, дом не безлюден. В нем кто‑то есть!

Крик радости, готовый сорваться с ее губ, внезапно замер. Дом был странно темен, странно тих, а фигура на ступеньках неподвижна и безмолвна. Что‑то было не так. Не так, как прежде. Дом стоял целый, нетронутый, но от него веяло такой же жуткой мертвой тишиной, как от всего лежавшего в руинах края. Но вот темная фигура на ступеньках пошевелилась. И неспешно, тяжело стала спускаться вниз.

— Папа? — хрипло прошептала Скарлетт, все еще не веря своим глазам. — Это я — Кэти‑Скарлетт. Я вернулась домой.

Джералд молча, медленно, словно лунатик, направился на ее голос, волоча негнущуюся ногу. Он подошел совсем близко и стал, оцепенело глядя на нее — так, словно ему мнилось, что он видит ее во сне. Он протянул руку и положил ей на плечо. Скарлетт почувствовала, как дрожит его рука: казалось, он медленно пробуждался от какого‑то тягостного сна и постепенно начинал осознавать происходящее.

— Дочка, — проговорил он как бы через силу. — Дочка.

И умолк.

«Боже, да он же совсем старик!» — пронеслось у Скарлетт в голове.

Плечи Джералда никли сутуло. В лице, которое Скарлетт лишь смутно различала в полумраке, — ни следа былой, бьющей через край жизненной силы; в глазах, смотревших сейчас на нее в упор, — почти такое же отупело‑испуганное выражение, как у маленького Уэйда. Перед ней стоял дряхлый старичок, развалина.

Страх перед чем‑то невидимым сжал ее сердце, наползая на нее оттуда, из мрака, и она стояла и смотрела на отца онемев, с тысячей невысказанных вопросов на устах.

Из повозки — в который уже раз — донесся слабый жалобный плач, и Джералд с усилием стряхнул с себя оцепенение.

— Это Мелани со своим младенцем, — торопливо зашептала Скарлетт. — Она совсем больна. Я привезла ее к нам.

Джералд снял руку с ее плеча и выпрямился. Когда он медленно зашагал к повозке, в нем словно бы возродилось что‑то от прежнего хлебосольного хозяина поместья, встречающего гостей, и он произнес слова, всплывшие из темных закоулков памяти:

— Кузина Мелани!

Голос Мелани что‑то неясно прошелестел в ответ.

— Добро пожаловать, кузина Мелани. Двенадцать Дубов сожгли. Мы рады принять вас под наш кров.

Мысль о том, сколько пришлось выстрадать Мелани, заставила Скарлетт очнуться и начать действовать. Жизнь брала свое — надо было уложить Мелани и младенца в хорошую постель и сделать массу всяких мелких необходимых вещей.

— Она не может идти. Ее надо отнести в дом.

Послышался шум шагов, и темная фигура появилась в дверном проеме на пороге холла. Порк сбежал по ступеням крыльца.

— Мисс Скарлетт! Мисс Скарлетт! — восклицал он.

Скарлетт схватила его за плечи. Порк — неотъемлемая частица Тары, свой, как стены этого дома, как его прохладные коридоры! Он неуклюже поглаживал ее руки — она чувствовала на них его слезы — и приговаривал плача:

— Воротилась! Вот радость‑то! Вот радость‑то!

Присей тоже расплакалась, невнятно бормоча:

— Порк! Порк! Хороший!

А Уэйд, воодушевленный тем, что взрослые вдруг расчувствовались, сразу принялся канючить:

— Пить хочу!

Но Скарлетт быстро поставила все на свое место:

— Там, в повозке, мисс Мелани с младенцем, Порк. Ее надо очень осторожно отнести наверх и устроить в комнате для гостей. Присей, возьми младенца, отнеси в дом и отведи туда Уэйда, дай ему попить. А Мамушка дома, Порк? Скажи ей, что она мне нужна.

Решительный голос Скарлетт, казалось, сразу вдохнул в Порка силы. Он тотчас направился к повозке и пошарил у задней стенки. Мелани застонала, когда он приподнял ее и потащил с перины, на которой она недвижно пролежала столько часов кряду. И вот он уже держал ее на своих сильных руках, и она, как ребенок, опустила голову ему на плечо. Присей следом за ним поднялась по широким ступеням крыльца, неся в одной руке младенца, другой таща за собой Уэйда, и они скрылись в глубине темного холла.

Натруженные пальцы Скарлетт судорожно стиснули руку отца.

— Они поправились, па?

— Девочки поправляются.

Голос его оборвался, и в наступившем молчании мысль, слишком страшная, чтобы дать ей облечься в слова, начала заползать в сознание Скарлетт. Она не могла, не могла заставить себя задать этот вопрос. Она сглотнула слюну, попыталась сглотнуть еще раз, но во рту и в горле внезапно так пересохло, что она едва могла дышать. Значит, вот почему в доме такая мертвая тишина? И, словно угадав ее невысказанный вопрос, Джералд заговорил.

— Твоя мать... — вымолвил он и умолк.

— Мама?..

— Она вчера скончалась.

Крепко сжимая руку отца, Скарлетт вступила в просторный холл, каждый уголок которого знала как свои пять пальцев. Даже в полном мраке она не наткнулась ни на одно из кресел с высокими спинками, не задела ни пустой подставки для ружей, ни разлапистых ножек старого серванта: непреодолимая сила влекла ее к маленькому кабинетику в глубине дома, где изо дня в день сидела Эллин, проверяя бесконечные счета. И ей казалось, что вот сейчас она переступит порог этой комнаты — и Эллин, как всегда, будет сидеть там за секретером: она поднимет на нее глаза, гусиное перо замрет в ее руке, и, шурша кринолином, она встанет, чтобы заключить измученную дочь в свои нежные, душистые объятия. Эллин не могла умереть, сколько бы ни твердил это отец, словно попугай, заучивший одну фразу: «Она скончалась вчера, она скончалась вчера, вчера...»

Как страшно, что она ничего не чувствует сейчас — только усталость, тяжелую, как кандалы, и голод, от которого подкашиваются ноги. Она подумает о маме потом. Она не должна сейчас о ней думать, не то еще начнет бессмысленно причитать, как Джералд, или реветь надрывно на одной ноте, как Уэйд.

Порк спустился по темной лестнице, спеша навстречу Скарлетт, — так замерзшее животное тянется к огню.

— Почему нет света, Порк? — спросила Скарлетт. — Почему в доме темно? Принеси свечей.

— Да они ж забрали все свечи, мисс Скарлетт, только одну оставили, — если надо поискать что в темноте. Да и это уже не свеча — почитай, огарок. Когда нужно поухаживать за мисс Кэррин и мисс Сьюлин, Мамушка делает фитиль из тряпки, опускает в плошку с жиром, и он горит.

— Принеси мне огарок, — распорядилась Скарлетт. — Поставь его в мамином... в маленьком кабинете.

Порк торопливо направился в столовую, а Скарлетт под руку с отцом ощупью прошла в маленькую, бездонно темную комнатку и опустилась на софу. Рука Джералда — безвольная, беспомощная — все еще лежала на сгибе ее руки, лежала доверчиво, как рука ребенка или дряхлого старика.

«Он совсем старый стал. Усталый и старый», — снова подумала Скарлетт и мимолетно удивилась про себя — почему это ее не трогает?

Замерцал огонек — Порк вошел, высоко держа в руке огарок свечи, укрепленный на блюдце. Темное тесное пространство ожило: продавленная софа, на которую она присела с отцом, высокий, почти под потолок секретер с множеством отделений, заполненных всевозможными бумагами, исписанными красивым тонким почерком Эллин, ее изящное резное кресло перед секретером, потертый ковер — все, все было, как прежде, не было только самой Эллин, и легкого аромата сухих духов лимонной вербены, и мягкого взгляда темных, с узким разрезом глаз. Скарлетт почувствовала, как к сердцу ее подкрадывается боль, — словно нанесенная ей глубокая рана, оглушившая ее, притупившая сначала все чувства, теперь давала о себе знать. Она не должна позволить этой боли разрастись сейчас. Впереди у нее еще целая жизнь, через которую она пронесет эту боль. Да, только не сейчас. «Господи, помоги мне! Только не сейчас!»

Она поглядела на Джералда и заметила, что впервые в жизни видит его небритым. Еще недавно такое румяное, цветущее лицо приобрело землистый оттенок и было покрыто седой щетиной. Порк поставил свечу на подставку и подошел к Скарлетт. Ей вдруг почудилось, что сейчас он положит голову ей на колени, ожидая, что она погладит его, как старого верного пса.

— Порк, сколько у нас осталось негров?

— Мисс Скарлетт, эти негодные негры разбежались, а одни так даже подались вместе с янки...

— Так сколько же осталось?

— Вот я, мисс Скарлетт, да Мамушка. Она целыми днями выхаживает молодых барышень. А Дилси сидит с ними сейчас, ночью. Так что трое нас, мисс Скарлетт.

«Трое нас» — это вместо ста рабов. Скарлетт с трудом подняла голову — шея нестерпимо ныла. Она знала, что голос у нее должен быть твердым. И сама изумилась, как естественно и спокойно прозвучали ее слова — словно не было никакой войны и она мановением руки могла собрать вокруг себя десяток слуг.

— Порк, я умираю с голоду. Есть что‑нибудь в доме?

— Нет, мэм. Они забрали все.

— Ну, а в огороде?

— Они пасли там своих лошадей.

— Даже на холмах, где растет сладкий картофель?

Некое подобие довольной улыбки шевельнуло толстые губы.

— Я‑то, мисс Скарлетт, совсем было и позабыл про ямс. Думается, там все цело. Янки же никогда не сажают ямс. По‑ихнему, это так — дикое чевой‑то, и...

— Скоро взойдет луна. Ступай, накопай картофеля и поджарь. А кукурузной муки совсем не осталось? Или сушеных бобов? А кур?

— Нет, мэм, нет. Каких кур они не поели, тех привязали к седлам и увезли.

Они... Они... Они... Видно, нет и не будет конца тому, что «они» тут сотворили! Неужели убивать и жечь — этого им мало? Надо было еще оставить женщин, детей и беспомощных негров умирать с голоду на этой разоренной земле.

— Мисс Скарлетт, у меня есть немного яблок — Мамушка спрятала в подпол. А сегодня мы их ели.

— Сначала принеси яблок, а потом пойди нарой картофеля. И, Порк, постой... я... я что‑то очень ослабела. В погребе не осталось вина? Может, хоть ежевичного?

— Ох, мисс Скарлетт, они перво‑наперво в погреб‑то и полезли.

Скарлетт вдруг почувствовала, что ее мутит: голод, бессонная ночь, усталость и страшные известия — все сказалось разом, и она ухватилась за резной подлокотник софы, стараясь преодолеть головокружение.

— Значит, нет вина, — произнесла она тупо, и перед взором ее воскресли бесчисленные ряды бутылок в отцовском погребе. Что‑то еще шевельнулось в памяти.

— Порк, а кукурузное виски в дубовом бочонке, которое папа закопал под беседкой?

И снова по темному лицу проползло нечто похожее на улыбку — радостную и исполненную уважения.

— Мисс Скарлетт, до чего ж у вас шустрые глазки! Я ведь напрочь забыл про тот бочонок. Только, мисс Скарлетт, это виски пить негоже. Оно ведь почитай что еще и года не лежит, и опять же виски — это ж не для леди.

Порк — как все негры! Нет чтобы пошевелить мозгами — что им скажут, то и твердят. А янки еще надумай их освобождать!

— Сейчас оно будет в самый раз и для леди и для ее папы. Живее, Порк, откопай бочонок и принеси два стакана, немного мяты и сахара, и я приготовлю джулеп[[7]](#footnote-7).

Порк поглядел на нее с укоризной.

— Мисс Скарлетт, будто вы не знаете, какой же у нас сахар, мы о нем и думать позабыли. И мяту всю лошади поели, а они перебили все стаканы.

«Если он еще раз скажет «они», я завизжу. Я просто не выдержу», — подумала Скарлетт, а вслух приказала:

— Ладно, ступай, принеси виски. Мы выпьем неразбавленного. — И когда он уже собрался идти, добавила: — Постой, Порк, надо еще сделать так много, что я как‑то не могу собраться с мыслями... Да, вот что: я привела лошадь и корову. Корова мучается, давно не доена, а лошадь надо распрячь и напоить. Ступай, скажи Мамушке, чтобы она занялась коровой, чтоб уж как‑нибудь с ней управилась. Ребенок мисс Мелани умрет, если его не покормить, а...

— Мисс Мелли... того... она не может?.. — Порк тактично умолк.

— Да, у мисс Мелани нет молока. — Господи, мама упала бы в обморок от этих слов!

— Так, мисс Скарлетт, моя Дилси может покормить ребеночка мисс Мелли. Моя Дилси только‑только родила, и молока у нее хватит на двоих.

— Так у тебя тоже новорожденный, Порк?

Младенцы, младенцы, младенцы... Зачем господу богу столько младенцев? Впрочем, это же не бог их творит. Их творят глупые люди.

— Да, мэм, большой толстый черный мальчик. Он...

— Ступай, скажи Дилси, что я сама поухаживаю за сестрами, а она пусть покормит ребенка мисс Мелани и сделает для нее все, что нужно. А Мамушке вели заняться коровой и отведи эту несчастную лошадь на конюшню.

— Конюшни нет, мисс Скарлетт. Они растащили ее на костры.

— Перестань перечислять мне, что «они» сделали. Скажи Дилси, чтобы позаботилась о мисс Мелани и ребенке. А сам ступай, принеси виски и ямса.

— Мисс Скарлетт, как же его копать в темноте‑то?

— Возьми полено, отколи лучину, ты что, не понимаешь?

— Откуда ж полено? Они все дрова...

— Придумай что‑нибудь. Не желаю ничего слушать... Накопай, и все, и поживее. Поворачивайся!

В голосе Скарлетт послышались резкие ноты, и Порк поспешно скрылся за дверью, а она осталась вдвоем с Джералдом. Скарлетт ласково погладила его по колену. Как он отощал! А ведь какие у него были крепкие шенкеля! Надо как‑то вывести его из этой апатии. Только спрашивать его об Эллин — это выше ее сил. Это потом, когда она соберется с духом.

— Почему все‑таки они не сожгли дом?

Джералд молча смотрел на нее, словно не расслышав вопроса, и она задала его снова.

— Почему? — Он пробормотал что‑то бессвязное. Потом — более внятно: — Они тут расположили свой штаб.

— Штаб янки? В нашем доме?

Она почувствовала, что дорогие ей стены опоганены. Этот священный для нее дом, в котором жила Эллин, и здесь... эти...

— Да, дочка, янки. Сначала мы увидели дым за рекой, над Двенадцатью Дубами, а потом пришли они. Но мисс Индия и мисс Милочка уже уехали в Мэйкон и взяли с собой кое‑кого из негров, так что мы за них не тревожились. Ну, а мы в Мэйкон уехать не могли. Девочки были очень больны... и твоя мама... и мы не могли уехать. Негры все разбежались — кто куда. Забрали фургоны и мулов. А Мамушка и Дилси и Порк — эти остались. Мы не могли тронуться с места... из‑за девочек... из‑за твоей мамы...

— Да, да... — Только бы он не говорил о маме. О чем угодно, лишь бы не о ней! Лишь бы не о ней... Даже если сам генерал Шерман сделал эту комнату своей штаб‑квартирой...

— Янки шли на Джонсборо, старались перерезать железную дорогу. Они шли от реки — их были тысячи... И тысячи лошадей и орудий. Я встал на пороге.

«О, храбрый маленький Джералд!» — подумала Скарлетт, и сердце ее исполнилось гордости. Джералд, встречающий неприятеля, стоя на пороге с таким видом, словно за спиной у него не пустой дом, а целое войско.

— Они сказали, что сожгут дом и чтобы я убирался, пока цел. А я сказал, что они могут сжечь его только вместе со мной. Мы не могли уйти — девочки... и твоя мама...

— Ну, а потом? — Перестанет он когда‑нибудь возвращаться все к тому же...

— Я сказал им, что в доме тиф... Что больных... нельзя трогать, они умрут. Что пусть жгут дом вместе с нами. Да не будь здесь никого, я все равно бы не ушел... Не покинул бы Тару...

Голос его замер, невидящим взглядом он обвел стены, но Скарлетт поняла. За спиной Джералда стояли сонмы его ирландских предков, умиравших за клочок скудной земли, которую они возделывали своим трудом, боровшихся до конца за свой кров, под которым они жили, любили, рожали сыновей.

— Я сказал: пусть жгут дом вместе с тремя умирающими женщинами. Но мы отсюда не уйдем. Молодой офицер... он оказался джентльменом...

— Янки? Джентльменом? Что с тобой, папа!

— Да, джентльменом. Он ускакал и вскоре вернулся с капитаном — военным врачом, и тот осмотрел девочек и... твою маму.

— И ты позволил проклятому янки переступить порог их спальни?

— У него был опиум. А у нас его не было. Он спас жизнь твоим сестрам. Сьюлин погибала от потери крови. Этот врач был необыкновенно добр. И когда он доложил, что здесь... больные, янки не стали жечь дом. Какой‑то генерал со своим штабом разместился тут, они заняли весь дом. Все комнаты, кроме той... с больными. А солдаты...

Его голос снова замер, казалось, силы покинули его. Небритый, обвислый подбородок тяжелыми складками лег на грудь. Но сделав над собой усилие, он заговорил снова:

— Солдаты раскинули свой лагерь вокруг дома. Они были повсюду — на хлопковом поле, на кукурузном. Выгон стал синим от их мундиров. В ту же ночь зажглись тысячи бивачных огней. Они разобрали изгороди, потом амбары, и конюшни, и коптильню — жгли костры и готовили себе еду. Зарезали коров, свиней, кур... даже моих индюков.

Его любимых индюков! Так, значит, их тоже нет.

— Они все забрали, даже портреты... почти всю мебель, посуду...

— А серебро?

— Порк и Мамушка припрятали его куда‑то... Кажется, в колодец... не помню точно. — В голосе Джералда вдруг прорвалось раздражение. — Янки вели сражение отсюда, из Тары... Шум, гам, вестовые скакали взад‑вперед. А потом заговорили пушки Джонсборо — это было как гром. И девочкам в их комнате, конечно, было слышно, и они, бедняжки, все просили: «Папа, сделай что‑нибудь, мы не можем выдержать этого грохота!»

— А... мама? Она знала, что янки у нас в доме?

— Она все время была без сознания...

— Слава богу! — сказала Скарлетт. Мама этого не видела. Мама так и не узнала, что в доме, внизу — враги, не слышала пушек Джонсборо, не подозревала о том, что сапог янки топчет дорогую ее сердцу землю.

— Я и сам мало кого из них видел, все время был наверху с девочками и с твоей матерью. Видел больше молодого врача. Он был добр, очень добр, Скарлетт. Провозится целый день с ранеными, а потом приходит сюда и сидит возле девочек. Он даже оставил нам лекарств. Когда янки уходили, он сказал мне, что девочки поправятся, но твоя мама... Слишком хрупкий организм, сказал он... Слишком хрупкий, чтобы все это выдержать. Слишком подорваны, сказал он...

В наступившем молчании Скарлетт отчетливо увидела перед собой мать, увидела такой, какой она, наверно, была в эти последние дни до болезни, — единственный несокрушимый, хоть и хрупкий, оплот дома: день и ночь в трудах, в уходе за больными, без сна, без отдыха, без пищи, чтобы остальные могли есть и спать.

— А потом они ушли. Потом они ушли.

Джералд долго молчал, затем неуклюже поискал ее руку.

— Я рад, что ты вернулась домой, — сказал он.

У заднего крыльца раздались шаркающие звуки. Бедняга Порк, приученный за сорок лет никогда не входить в дом не вытерев башмаков, соблюдал порядок даже теперь. Он вошел, бережно неся две тыквенные бутыли, и сильный запах пролитого спирта проник в комнату раньше него.

— Расплескалось малость, мисс Скарлетт. Больно уж не с руки наливать в них из бочонка.

— Ничего, Порк, спасибо. — Она взяла у него мокрую бутыль и невольно поморщилась от отвращения, когда запах виски ударил ей в нос.

— Выпей, папа, — сказала она, передавая Джералду этот необычный винный сосуд и беря вторую бутыль — с водой — из рук Порка. Джералд послушно, как дитя, поднес горлышко ко рту и громко отхлебнул. Скарлетт протянула ему бутыль с водой, но он отрицательно покачал головою.

Беря у него бутыль с виски и прикладывая горлышко к губам, Скарлетт заметила, что он следит за ней глазами и в них промелькнуло нечто близкое к неодобрению.

— Я знаю, что леди не пьют крепких напитков, — сухо сказала она. — Но на сегодня забудь, что я леди, папа, сегодня мне надо заняться делами.

Она сделала глубокий вдох, запрокинула бутыль и быстро глотнула. Жгучий напиток обжег ей горло и пищевод, она почувствовала, что задыхается, и на глазах у нее выступили слезы. Она снова глубоко втянула в себя воздух и снова поднесла бутыль к губам.

— Кэти‑Скарлетт, — произнес Джералд, и впервые с момента своего возвращения она уловила в его голосе властные отцовские нотки, — довольно. Ты не привыкла к спиртному и можешь захмелеть.

— Захмелеть? — Она рассмеялась, и смех прозвучал грубо. — Захмелеть? Я хотела бы напиться вдрызг — так, чтобы забыть про все на свете.

Она сделала еще глоток, и тепло пробежало у нее по жилам, разлилось по всему телу — она почувствовала его даже в кончиках пальцев. Какое блаженное ощущение дает этот благословенный огненный напиток! Казалось, он проник даже в ее оледеневшее сердце, и тело начало возрождаться к жизни.

Перехватив ошеломленный, страдальческий взгляд Джералда, она потрепала его по колену и постаралась изобразить на лице капризно‑дерзкую улыбку, против которой он всегда был безоружен.

— Как могу я захмелеть, па? Разве я не твоя дочка? Разве не я получила в наследство самую крепкую голову во всем графстве Клэйтон?

Он вгляделся в ее усталое лицо, и она уловила на его губах даже некое подобие улыбки. Виски взбодрило и его... Она снова протянула ему бутыль.

— А сейчас можешь глотнуть еще разок, после чего я помогу тебе подняться наверх и уложу бай‑бай.

Она прикусила язык. Нельзя разговаривать с отцом, как с ребенком, как с Уэйдом. Так не годится. Это неуважительно. Однако Джералд обрадовался ее словам.

— Ну да, уложу тебя бай‑бай, — бодро повторила Скарлетт, — и дам выпить еще глоточек, может быть, даже целый ковшик, и убаюкаю, и ты уснешь. Тебе нужно выспаться. Кэти‑Скарлетт вернулась домой, и значит, не о чем больше тревожиться. Пей.

Джералд послушно сделал еще глоток, и Скарлетт, взяв его под руку, помогла ему встать.

— Порк...

Порк взял тыквенную бутылку в одну руку, другой подхватил Джералда. Скарлетт подняла повыше горящую свечу, и они втроем медленно направились через темный холл к полукруглой лестнице, ведущей в комнату хозяина.

В спальне, где Сьюлин и Кэррин лежали в одной постели, разметавшись и что‑то бормоча во сне, стоял удушливый смрад от единственного источника света — тряпичного фитиля в блюдце со свиным салом. Когда Скарлетт отворила дверь в эту комнату с наглухо закрытыми окнами, в лицо ей пахнуло таким тяжелым, спертым воздухом больничной палаты — запахом лекарств и зловонного сала, — что она едва не лишилась чувств. Доктора могут, конечно, утверждать, что свежий воздух опасен для больных, но если уж ей предстоит пробыть какое‑то время здесь, то она должна дышать, чтобы не умереть. Скарлетт распахнула все три окна, и в комнату ворвался запах дубовой листвы и земли. И все же свежему воздуху было не под силу сразу взять верх над тошнотворным запахом, неделями застаивавшимся в непроветриваемой комнате.

Кэррин и Сьюлин, бледные, исхудалые, лежали на большой кровати с пологом на четырех столбиках, в которой они так весело шептались когда‑то, в более счастливые времена; сон их был беспокоен, они то и дело просыпались и что‑то бессвязно бормотали, уставясь в пространство широко открытыми, невидящими глазами. В углу стояла пустая кровать — узкая кровать в стиле французского ампира с резным изголовьем и изножьем, которую Эллин привезла с собой из Саванны. Здесь, на этой кровати, лежала она во время болезни.

Скарлетт села возле постели сестер, тупо на них глядя. Выпитое на голодный желудок виски вытворяло с ней скверные шутки. Сестры то уплывали куда‑то далеко‑далеко и становились совсем крошечными, а их бессвязное бормотание — едва слышным, не громче комариного писка, то вдруг начинали расти и со страшной скоростью надвигаться на нее. Она устала, смертельно устала. Лечь бы и проспать несколько дней кряду.

Если бы можно было уснуть и, проснувшись, почувствовать мягкое прикосновение руки Эллин к своему плечу, услышать ее голос: «Уже поздно, Скарлетт. Нельзя быть такой лентяйкой». Но так уже не будет никогда. О, если бы Эллин была рядом! Если бы рядом был кто‑то и старше, и умнее, и не такой смертельно усталый, как она, кто‑то, кто мог бы ей помочь! Кто‑то, кому можно уткнуться головой в колени и переложить тяжкую ношу со своих плеч на его плечи!

Бесшумно отворилась дверь, и вошла Дилси, держа ребенка Мелани у груди и бутылку виски в руке. В тусклом, колеблющемся свете ночника она показалась Скарлетт похудевшей, а примесь индейской крови стала словно бы более заметной. Широкие скулы обозначились резче, ястребиный нос заострился, а бронзовый оттенок кожи проступил отчетливее. Ее линялое ситцевое платье было расстегнуто до самого пояса, и большие смуглые груди обнажены. Ребенок Мелани жадно насыщался, припав крошечным бледно‑розовым ротиком к темному соску. Младенческие кулачки упирались в мягкую плоть, словно лапы котенка — в теплую шерсть материнского живота.

Скарлетт, пошатываясь, поднялась на ноги и положила руку на плечо Дилси.

— Как хорошо, что ты осталась с нами, Дилси.

— Как же я могла уйти с этими негодными неграми, мисс Скарлетт, когда ваш папенька такой был добрый и купил меня и мою Присей, и ваша маменька тоже была всегда такая добрая?

— Сядь, Дилси. Значит, ребенок берет грудь, все в порядке? А как мисс Мелани?

— Да с ребенком все в порядке, просто голодный он, а чем накормить голодного ребенка — этого у меня хватит. И мисс Мелани в порядке, мэм. Она не умрет, мисс Скарлетт, не бойтесь. Я таких, как она, перевидала немало — и белых и черных. Она просто уж больно устала, замучилась и больно боится за маленького. Но я ее успокоила и дала ей выпить, что тут оставалось, в этой бутылке, и теперь она уснула.

«Вот как, значит, кукурузное виски сослужило службу всему семейству! — подумала Скарлетт, подавляя желание истерически расхохотаться. — Пожалуй, стоит дать и Уэйду, может, он перестанет икать?.. И Мелани не умрет... И когда Эшли вернется... если он вернется...» Нет, об этом она тоже не будет думать сейчас... Потом, потом. Так много всего, о чем придется подумать... потом. Столько всего надо распутать, столько всего нужно решить. О, если бы можно было отодвинуть все это от себя навсегда! Внезапно она испуганно вздрогнула от скрипучих ритмичных звуков, нарушивших тишину за окном.

— Это Мамушка — достает воды, чтобы обтереть барышень. Их нужно часто обтирать, — пояснила Дилси, устанавливая тыквенную бутылку на столе и подпирая ее пузырьками с лекарством и стаканами.

Скарлетт неожиданно рассмеялась. Должно быть, нервы у нее совсем развинтились, если скрип колодезного ворота, знакомый ей с младенческих лет, мог так ее напугать. Дилси внимательно на нее поглядела. Ничто не отразилось на ее спокойном, исполненном достоинства лице, но Скарлетт почувствовала, что Дилси все поняла. Скарлетт снова откинулась на спинку стула. Надо бы хоть расшнуровать корсет, расстегнуть воротник, который душил ее, вытряхнуть из туфель песок и камешки, от которых горели ноги.

Неспешно поскрипывал ворот, обвиваясь веревкой и с каждым оборотом все выше поднимая ведерко с водой. Скоро она придет сюда — та, что вынянчила и Эллин, и ее. Скарлетт сидела молча, словно бы отрешившись на миг от всего, а младенец, насытившись молоком, потерял полюбившийся ему сосок и захныкал. Дилси, такая же молчаливая, как Скарлетт, снова приложила младенца к груди, тихонько его покачивая. Скарлетт прислушивалась к медленному шарканью Мамушкиных ног на заднем дворе. Как недвижен и тих воздух ночи! Малейший звук громом отдавался в ушах.

Лестница в холле, казалось, заходила ходуном под тяжестью грузного тела, когда Мамушка со своей ношей стала подниматься наверх. И вот она появилась в дверях: две деревянные бадейки, полные воды, оттягивали ей плечи, доброе темное лицо было печально — недоуменно‑печально, как лицо старой мартышки.

При виде Скарлетт глаза ее засветились радостью, белые зубы блеснули в улыбке, она поставила бадейки, и Скарлетт, вскочив, бросилась к ней и припала головой к широкой, мягкой груди, к которой в поисках утешения припадало столько голов — и черных и белых. «Вот то немногое надежное, что осталось от прежней жизни, что не изменилось», — пронеслось у Скарлетт в голове. Но первые же слова Мамушки развеяли эту иллюзию.

— Наша доченька воротилась домой! Ох, мисс Скарлетт, опустили мы мисс Эллин в могилку, и как теперь жить‑то будем, ума не приложу! Ох, мисс Скарлетт, одного хочу — поскорее лечь рядом с мисс Эллин! Куда ж я без нее! Только горе да беда кругом. Знай одно — свою ношу нести...

Скарлетт стояла, припав головой к Мамушкиной груди; последние слова Мамушки поразили ее слух: «Знай одно — свою ношу нести». Именно эти слова монотонно стучали у нее в мозгу весь вечер, сводя ее с ума. И сейчас у нее захолонуло сердце, когда она вспомнила, откуда они:

Еще день, еще два свою ношу нести

И не ждать ниоткуда подмоги.

Еще шаг, еще шаг по дорогам брести...

«И не ждать ниоткуда подмоги...» — эта строчка всплыла теперь в усталой памяти. Неужели ее ноша никогда не станет легче? И возвращение домой — это не благословенное утоление всех печалей, а еще новый груз ей на плечи? Она выскользнула из объятий Мамушки и погладила ее по морщинистой щеке.

— Ласточка моя, что с вашими ручками! — Мамушка взяла ее маленькие, натруженные, все в волдырях и ссадинах руки и глядела на них с ужасом и осуждением. — Мисс Скарлетт, уж я ли не говорила вам, я ли вам не говорила, что настоящую леди всегда можно узнать по рукам... А личико‑то у вас совсем потемнело от загара!

Бедная Мамушка, ей все еще бередят душу эти пустяки, хотя над головой ее прогремела война и она смотрела в глаза смерти! Того и гляди, она, пожалуй, скажет, что молодой даме с волдырями на пальцах и веснушками на носу никогда не заполучить жениха! Скарлетт поспешила ее опередить:

— Мамушка, расскажи мне про маму. Я не могу слышать, как о ней рассказывает папа.

Слезы брызнули из глаз Мамушки; она наклонилась и подняла бадейки с водой. Молча поставила их возле кровати, откинула простыню и начала стаскивать ночные рубашки с Кэррин и Сьюлин. Скарлетт смотрела на своих сестер в тусклом, мерцающем свете ночника и видела, что рубашка у Кэррин, хотя и чистая, но уже превратилась в лохмотья, а на Сьюлин — старый пеньюар из небеленого полотна, пышно отделанный ирландским кружевом. Мамушка, молча роняя слезы, обтирала мокрой губкой исхудалые девичьи тела, а вместо полотенца пускала в ход обрывок старого передника.

— Мисс Скарлетт, это все Слэттери, эта никудышная, жалкая белая голытьба, дрянные, подлые людишки! Это они сгубили мисс Эллин. Уж сколько я ей толковала, сколько толковала — нечего с ними связываться, одно зло от них, да уж больно она добрая была, никому не могла отказать в помощи.

— Слэттери? — с недоумением переспросила Скарлетт. — А они здесь при чем?

— На них там напала эта самая хворь. — Мамушка показала тряпкой, с которой стекала вода, на обнаженные тела сестер. — Эмми, старшая дочка мисс Слэттери, слегла, и мисс Слэттери принеслась как угорелая сюда, за мисс Эллин. Она ж всегда этак, случись у них чего. Почему бы ей самой‑то не повозиться со своими? Мисс Эллин и так еле на ногах держалась. А всеж‑таки пошла туда и ухаживала за Эмми. А сама‑то она уже тогда больна была. Ваша мама, мисс Скарлетт, уже давно была больна. Есть‑то почитай что нечего было, что ни вырастим — все забирали для солдат. А мисс Эллин ела как птичка. И уж сколько я ей ни толковала, сколько ни толковала — бросьте вы возиться с этой белой голытьбой, да разве она меня слушала. А когда Эмми пошла вроде на поправку, слегла мисс Кэррин. Да, мэм, тиф пошел дальше и пришел сюда, и мисс Кэррин слегла, а за ней и мисс Сьюлин. Ну, тут мисс Эллин принялась выхаживать их.

За рекой — янки, кругом стрельба, негры с полей что ни день бегут, и никто не знает, что с нами будет. Я думала — ума решусь. А мисс Эллин — ну хоть бы что, такая ж, как всегда. Только о дочках очень тревожилась, что нету у нас ни лекарств, ничего. И как‑то раз — мы в ту ночь почитай что раз десять обтирали их, бедняжек, — она и говорит мне: «Мамушка, я бы, — говорит, — продала бы, кажется, душу дьяволу за кусочек льда, чтобы положить на лоб моим дочкам».

Она сюда никого не пускала — ни мистера Джералда, ни Розу, ни Тину, никого, только меня, потому как я‑то тифом раньше переболела. А потом он свалил и ее, и я сразу увидела, мисс Скарлетт, что тут уж ничем не поможешь.

Мамушка выпрямилась и вытерла фартуком слезы.

— Ее сразу скрутило, и даже этот добряк — доктор‑янки — ничего поделать не мог. Она, мисс Скарлетт, не понимала ничего. Я, бывало, кличу ее, кличу, говорю с ней, а она даже и не узнает своей Мамушки.

— А про меня... она вспоминала? Звала меня?

— Нет, ласточка. Она думала, что она опять в Саванне, опять девочка еще. И не звала никого.

Дилси пошевелилась и опустила уснувшего ребенка себе на колени.

— Нет. Она звала, мэм. Одного человека звала.

— Цыц ты! Заткни свою краснокожую пасть! — Мамушка, дрожа от возмущения, повернулась к Дилси.

— Тише, Мамушка, тише! Кого она звала, Дилси? Папу?

— Нет, мэм. Не вашего папеньку. Это было в ту ночь, когда жгли хлопок...

— Так хлопок сожгли? Весь?.. Что ты молчишь?!

— Да, мэм, сгорел он. Солдаты вытащили его из‑под навеса на задний двор, подожгли и все кричали: «Во какой у нас костер — самый большой во всей Джорджии!»

Урожай хлопка за три года — сто пятьдесят тысяч долларов, — все спалили одним махом!

— Светло было как днем. Даже здесь, наверху, в комнатах так стало светло — нитку можно было продеть в иголку. Мы страсть как боялись, что и дом загорится. И когда в окнах‑то засветилось, мисс Эллин села на постели и громко‑громко крикнула — раз и потом другой: «Филипп! Филипп!» Я такого имени отродясь не слыхала, но только это было чье‑то имя, и она, значит, звала кого‑то.

Мамушка, окаменев, приросла к месту. Она сверлила глазами Дилси, а Скарлетт молча закрыла лицо руками. Кто такой этот Филипп, какое отношение имел он к Эллин, почему призывала она его в свой смертный час?

Долгий путь от Атланты до Тары, который должен был привести ее в объятия Эллин, пришел к концу, и перед Скарлетт воздвиглась глухая стена. Никогда уже больше не уснет она безмятежно, как ребенок, под отчим кровом, окруженная любовью и заботами Эллин, ощущая их на себе, словно мягкое пуховое одеяло. Не было больше тихой пристани, и все казалось ненадежным и непрочным. И не было пути ни назад, ни в сторону — тупик, глухая стена. И ношу свою она не могла переложить на чьи‑то другие плечи. Отец стар и не в себе от горя; сестры больны; Мелани чуть жива; дети беспомощны, а кучка негров взирает на нее с детской доверчивостью, ходит за ней по пятам, твердо зная, что старшая дочь Эллин будет для всех столь же надежным оплотом, каким была ее мать.

За окном всходила луна, и в ее тусклом свете перед взором Скарлетт, подобная обескровленному телу (ее собственному, медленно кровоточащему телу), лежала обезлюдевшая, выжженная, разоренная земля. Вот он, конец пути: старость, болезни, голодные рты, беспомощные руки, цепляющиеся за ее подол. И она, Скарлетт О’Хара Гамильтон, вдова девятнадцати лет от роду, одна, одна с малюткой‑сыном.

Так что же ей теперь делать? Конечно, тетушка Питти и Бэрры в Мэйконе могут взять к себе Мелани с младенцем. Если сестры поправятся, родные Эллин должны будут — пусть даже им это не очень по душе — позаботиться о них. А она и Джералд могут обратиться за помощью к дядюшкам Джеймсу и Эндрю.

Скарлетт поглядела на два исхудалых тела, разметавшиеся на потемневших от пролитой воды простынях. Она не испытывала любви к Сьюлин и сейчас внезапно поняла это с полной отчетливостью. Да, она никогда ее не любила. Не так уж сильно привязана она и к Кэррин — все слабые существа не вызывали в ней симпатии. Но они одной с ней плоти и крови, они частица Тары. Нет, не может она допустить, чтобы они жили у тетушек на положении бедных родственниц. Чтобы кто‑то из О’Хара жил у кого‑то из милости, на чужих хлебах! Нет, этому не бывать!

Так неужели нет выхода из этого тупика? Ее усталый мозг отказывался соображать. Она медленно, словно воздух был плотным, как вода, подняла руки и поднесла их к вискам. Потом взяла тыквенную бутыль, установленную между стаканами и пузырьками, и заглянула в нее. На дне оставалось еще немного виски — при этом тусклом свете невозможно было понять сколько. Странно, что резкий запах виски уже не вызывал в ней отвращения. Она сделала несколько медленных глотков, но виски на этот раз не обожгло ей горло — просто тепло разлилось по всему телу, погружая его в оцепенение.

Она положила на стол пустую бутылку и поглядела вокруг. Все это сон: душная, тускло освещенная комната; два тощих тела на кровати; Мамушка — огромное, бесформенное нечто, примостившееся возле; Дилси — неподвижное бронзовое изваяние с розовым комочком, уснувшим у ее темной груди... Все это сон, и когда она проснется, из кухни потянет жареным беконом, за окнами прозвучат гортанные голоса негров, заскрипят колеса выезжающих в поле повозок, а рука Эллин мягко, но настойчиво тронет ее за плечо.

А потом она увидела, что лежит у себя в комнате, на своей кровати, в окно льется слабый свет луны и Мамушка с Дилси раздевают ее. Она была уже избавлена от мук, причиняемых тугим корсетом, и могла легко и свободно дышать всей грудью. Она почувствовала, как с нее осторожно стягивают чулки, слышала невнятное, успокаивающее бормотание Мамушки, обмывавшей ее натруженные ступни... Как прохладна вода, как хорошо лежать здесь, на мягкой постели, и чувствовать себя ребенком! Она глубоко вздохнула и закрыла глаза... Пролетело какое‑то мгновение, а быть может, вечность, и она уже была одна, и в комнате стало светлее, и луна заливала сиянием ее постель.

Она не понимала, что сильно захмелела — захмелела от усталости и от виски. Ей казалось просто, что она как бы отделилась от своего измученного тела и парит где‑то высоко над ним, где нет ни страданий, ни усталости, и голова у нее необычайно светла, и мозг работает со сверхъестественной ясностью.

Она теперь смотрела на мир новыми глазами... ибо где‑то на долгом и трудном пути к родному дому она оставила позади свою юность. Ее душа уже не была податливой, как глина, восприимчивой к любому новому впечатлению. Она затвердела — это произошло в какую‑то неведомую секунду этих бесконечных, как вечность, суток. Сегодня ночью в последний раз кто‑то обходился с нею как с ребенком. Юность осталась позади. Скарлетт стала женщиной.

Нет, она не может и не станет обращаться ни к братьям Джералда, ни к родственникам Эллин. О’Хара не принимают подаяний. О’Хара умеют сами позаботиться о себе. Ее ноша — это ее ноша и, значит, должна быть ей по плечу. Глядя на себя откуда‑то сверху и словно бы со стороны, она без малейшего удивления подумала, что теперь ее плечи выдержат все, раз они выдержали самое страшное. Она не покинет Тару. И не только потому, что эти акры красной земли принадлежат ей, а потому, что она сама — всего лишь их частица. Она, подобно хлопку, корнями вросла в эту красную, как кровь, почву и питалась ее соками. Она останется в поместье и найдет способ сохранить его и позаботиться об отце, и о сестрах, и о Мелани, и о сыне Эшли, и о неграх. Завтра... Ох, это завтра! Завтра она наденет на шею ярмо. Завтра столько всего нужно будет сделать. Нужно пойти в Двенадцать Дубов и в усадьбу Макинтошей и поискать, не осталось ли чего‑нибудь в огородах, а потом поглядеть по заболоченным местам у реки, не бродят ли там разбежавшиеся свиньи и куры. И нужно поехать в Джонсборо и Лавджой, отвезти мамины драгоценности — может, там остался кто‑нибудь, у кого удастся выменять их на продукты. Завтра... завтра — все медленнее отсчитывало у нее в мозгу, словно в часах, у которых завод на исходе; но необычайная ясность внутреннего зрения оставалась.

И неожиданно ей отчетливо припомнились все семейные истории, которые она столько раз слушала в детстве — слушала нетерпеливо, скучая и не понимая до конца. О том, как Джералд, не имея ни гроша за душой, стал владельцем Тары; как Эллин оправилась от таинственного удара судьбы; как дедушка Робийяр сумел пережить крушение наполеоновской империи и заново разбогател на плодородных землях Джорджии; как прадедушка Прюдом создал небольшое королевство, проникнув в непролазные джунгли на Гаити, все потерял и вернул себе почет и славу в Саванне: о бесчисленных безымянных Скарлетт, сражавшихся бок о бок с ирландскими инсургентами за свободную Ирландию и вздернутых за свои старания на виселицу, и о молодых и старых О’Хара, сложивших голову в битве на реке Войн, защищая до конца то, что они считали своим по праву.

Все они понесли сокрушительные потери и не были сокрушены. Их не сломил ни крах империи, ни мачете в руках взбунтовавшихся рабов, ни опала, ни конфискация имущества, ни изгнание. Злой рок мог сломать им хребет, но не мог сломить их дух. Они не жаловались — они боролись. И умирали, исчерпав себя до конца, но не смирившись. Все эти призраки, чья кровь текла в ее жилах, казалось, неслышно заполняли залитую лунным светом комнату. И Скарлетт не испытывала удивления, видя перед собой своих предков, которым суждено было нести такой тяжкий крест и которые перекраивали судьбу на свой лад.

Тара была ее судьбой, ее полем битвы, и она должна эту битву выиграть.

Словно в полусне она повернулась на бок, и сознание ее стало медленно погружаться во мрак. В самом ли деле они все пришли сюда, эти тени, чтобы безмолвно шепнуть ей слова ободрения, или это сон?

— Здесь вы или вас нет, — пробормотала она засыпая, — все равно спасибо вам и — спокойной ночи.

### Глава XXV

На следующее утро все тело у Скарлетт так ломило от долгой непривычной ходьбы и езды в тряской повозке, что каждое движение причиняло нестерпимую боль. Лицо было обожжено солнцем, и ладони в волдырях. Во рту и в горле пересохло, она умирала от жажды и никак не могла утолить ее, сколько бы ни пила воды. Голова была словно налита свинцом, и малейшее движение глазами заставляло морщиться от боли. Тошнота, совсем как в первые месяцы беременности, подкатывала к горлу, и даже запах жареного мяса, поданного к столу на завтрак, был непереносим. Джералд мог бы объяснить ей, что после крепкой выпивки накануне она впервые стала жертвой обычного состояния похмелья, но Джералд не замечал ничего происходившего вокруг. Он сидел во главе стола — старый седой человек с отсутствующим взглядом, — сидел, уставившись выцветшими глазами на дверь, чуть наклонив голову набок и стараясь уловить шелест платья Эллин, вдохнуть запах сухих духов лимонной вербены.

Когда Скарлетт села за стол, он пробормотал:

— Мы подождем миссис О’Хара. Она задержалась.

Скарлетт подняла разламывающуюся от боли голову и поглядела на него, не веря своим ушам, но встретила молящий взгляд стоявшей за стулом Джералда Мамушки. Тогда она встала пошатываясь, невольно поднесла руку ко рту и при ярком утреннем свете вгляделась в лицо отца. Он устремил на нее ничего не выражающий взгляд, и она увидела, что руки у него дрожат и даже голова слегка трясется.

До этой минуты она не отдавала себе отчета в том, до какой степени подсознательно рассчитывала на Джералда, полагая, что он возьмет на себя руководство хозяйством и будет указывать ей, что следует делать. Но теперь... А ведь прошлой ночью он как будто совсем пришел в себя. Правда, от прежней живости и бахвальства не осталось и следа, но по крайней мере он вполне связно рассказывал о различных событиях, а теперь... Теперь он даже не сознает, что Эллин нет в живых. Двойной удар — ее смерть и приход янки — потрясли его рассудок. Скарлетт хотела было что‑то сказать, но Мамушка неистово замотала головой и утерла покрасневшие глаза краем передника.

«Неужели папа совсем лишился рассудка? — пронеслось у Скарлетт в уме, и ей показалось, что голова у нее сейчас лопнет от этого нового обрушившегося на нее удара. — Нет, нет, он просто оглушен. Просто болен. Это пройдет. Он поправится. Должен поправиться. А что я буду делать, если не пройдет? Я не стану думать об этом сейчас. Не стану думать ни о чем: ни о маме, ни обо всех этих ужасах сейчас. Не стану думать пока... Пока я еще не в силах этого выдержать. Столько есть всего, о чем надо подумать. Зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернешь, — надо думать о том, что еще можно изменить».

Она встала из‑за стола, не притронувшись к завтраку, вышла на заднее крыльцо и увидела Порка: босой, в лохмотьях, оставшихся от его парадной ливреи, он сидел на ступеньках и щелкал орешки арахиса. В голове у Скарлетт стоял гул и звон, солнце немилосердно резало глаза. Даже держаться прямо было ей сейчас нелегко, и она заговорила сухо, коротко, отбросив все правила вежливого обращения с неграми, на которых всегда настаивала ее мать.

Она начала задавать вопросы в такой резкой форме и так повелительно отдавать распоряжения, что у Порка от удивления глаза полезли на лоб. Мисс Эллин никогда не разговаривала так ни с кем из слуг, даже если заставала их на месте преступления — с украденной дыней или цыпленком. Скарлетт снова принялась расспрашивать про плантации, про фруктовый сад, огород, живность, и в ее зеленых глазах появился такой жесткий блеск, какого Порк никогда прежде не замечал.

— Да, мэм, эта лошадь сдохла — прямо там, где я ее привязал. Ткнулась мордой в ведерко с водой и опрокинула его. Нет, мэм, корова жива. Вам не докладывали? Она отелилась ночью. Потому и мычала так.

— Да, отличная повивальная бабка получится из твоей Присей, — едко проронила Скарлетт. — Она ведь утверждала, что корова мычит, потому что давно не доена.

— Так ведь Присей не готовили в повивальные бабки для скота, мисс Скарлетт, — деликатно напомнил Порк. — И, как говорится, спасибо за то, что бог послал, — эта телочка вырастет в хорошую корову, и у нас будет полно молока, масла и пахтанья для молодых мисс, а доктор‑янки говорил, что молодым мисс большая от него польза.

— Ну, ладно, давай дальше. Скот какой‑нибудь остался?

— Нет, мэм. Только одна старая свинья с поросятами. Я загнал их всех на болото, когда понаехали янки, а нынче где их искать — бог весть. Она пугливая была, свинья эта.

— Все равно их надо разыскать. Возьми с собой Присей и отправляйся, пригони их домой.

Порк был немало удивлен и сразу вознегодовал.

— Мисс Скарлетт, это работа для негров с плантации. А я всю жизнь служил при господах.

Два маленьких дьяволенка с раскаленными докрасна вилами, казалось, глянули на Порка из зеленых глаз Скарлетт.

— Ты и Присей вдвоем сейчас же пойдете и поймаете эту свинью, или — вон отсюда, к тем, что сбежали.

Слезы обиды навернулись на глаза Порка. Ох... если бы мисс Эллин была жива! Она разбиралась в этих тонкостях, понимала разницу в обязанностях дворовой челяди и рабов с плантации.

— Вон отсюда, говорите, мисс Скарлетт? Куда же мне идти?

— Не знаю и знать не хочу. Но каждый, кто не желает делать то, что надо, может отправляться к янки. Передай это и всем остальным.

— Слушаюсь, мэм.

— Ну, а что с кукурузой и хлопком?

— С кукурузой? Боже милостивый, мисс Скарлетт, они же пасли лошадей на кукурузном поле, а то, что лошади не съели и не вытоптали, они увезли с собой. И они гоняли свои пушки и фургоны по хлопковым полям и погубили весь хлопок. Уцелело несколько акров, внизу у речки — видать, они не приметили. А какой от них прок — там больше трех тюков не наберется.

Три тюка! Скарлетт припомнилось бессчетное множество тюков хлопка, которые ежегодно приносил урожай, и сердце ее заныло. Три тюка. Почти столько, сколько выращивали эти никудышные лентяи Слэттери. А ведь еще налог. Правительство Конфедерации взимало налоги вместо денег хлопком. Три тюка не покроют даже налога. Конфедерации же нет дела до того, что все рабы разбежались и хлопок собирать некому.

«Ладно, и об этом не стану думать сейчас, — сказала себе Скарлетт. — Налоги — это не женская забота в конце концов. Об этом должен заботиться отец. Но он... О нем я тоже сейчас не буду думать. Получит Конфедерация наш хлопок, когда рак на горе свистнет. Сейчас главное для нас — что мы будем есть?»

— Порк, был кто‑нибудь из вас в Двенадцати Дубах или в усадьбе Макинтошей? Там могло остаться что‑нибудь на огородах.

— Нет, мэм. Мы из Тары ни ногой. Боялись, как бы не напороться на янки.

— Я пошлю Дилси к Макинтошам, может быть, она раздобудет там что‑нибудь поесть. А сама схожу в Двенадцать Дубов.

— С кем же вы пойдете, барышня?

— Ни с кем. Мамушка должна остаться с сестрами, а мистер Джералд не может...

Порк страшно раскудахтался, чем привел ее в немалое раздражение. В Двенадцати Дубах могут быть янки или беглые негры — ей нельзя идти туда одной.

— Ладно, хватит, Порк. Скажи Дилси, чтобы она отправлялась немедленно. А ты и Присей пригоните сюда свинью с поросятами, — повторила свой приказ Скарлетт и повернулась к Порку спиной.

Старый Мамушкин чепец, выцветший, но чистый, висел на своем месте на заднем крыльце, и Скарлетт нахлобучила его на голову, вспомнив при этом как что‑то привидевшееся в давнем сне шляпку с пушистым зеленым пером, которую Ретт привез ей из Парижа. Она взяла большую плетеную корзину и стала спускаться по черной лестнице; каждый шаг отдавался у нее в голове так, словно что‑то взламывало ей череп изнутри.

Дорога, сбегавшая к реке, — красная, раскаленная от зноя, — пролегала между выжженных, вытоптанных хлопковых полей. Ни одного дерева на пути, чтобы укрыться в тени, и солнце так немилосердно жгло сквозь Мамушкин чепец, словно он был не из плотного, простеганного ситца на подкладке, а из прокрахмаленной кисеи, и от пыли так щекотало в носу и горле, что Скарлетт казалось — она закаркает, как ворона, если только откроет рот. Вся дорога была искромсана подковами лошадей и колесами тяжелых орудий, и даже в красных канавах по обочине видны были следы колес. Кусты хлопка лежали сломанные, втоптанные в землю, — там, где, уступая дорогу артиллерии, кавалерия или пехота шла через поля. Повсюду валялись куски сбруи, пряжки, куски подошв, окровавленные лохмотья, синие кепи, солдатские котелки, сплющенные конскими копытами и колесами орудий, — все то, что, пройдя, оставляет позади себя армия.

Скарлетт миновала небольшую кедровую кущу и невысокую кирпичную ограду, которой было обнесено их семейное кладбище, стараясь не думать о свежей могиле рядом с тремя невысокими холмиками, где покоились ее маленькие братишки. О, Эллин! Она спустилась с холма, прошла мимо кучи обгорелых бревен и невысокой печной трубы на месте бывшего дома Слэттери, исступленно, с неистовой злобой желая, чтобы все их племя превратилось в золу. Если бы не Слэттери, если бы не эта мерзавка Эмми со своим ублюдком, прижитым от управляющего, Эллин была бы жива.

Она застонала, когда острый камешек больно вонзился в волдырь на ноге. Зачем она здесь? Зачем она, Скарлетт О’Хара, первая красавица графства, гордость Тары, всеми лелеемая и оберегаемая, тащится по этой пыльной дороге чуть ли не босиком? Ее маленькие ножки созданы для паркета, а не для этих колдобин, ее крошечные туфельки должны кокетливо выглядывать из‑под блестящего шелка юбки, а не собирать острые камешки и дорожную пыль. Она рождена для того, чтобы ей служили, холили ее и нежили, а вместо этого голод пригнал ее сюда, измученную, в отрепьях, рыскать по соседским огородам в поисках овощей.

У подножия пологого холма протекала речка, и какой прохладой и тишиной веяло оттуда, где ветви деревьев низко нависали над водой. Скарлетт присела на некрутом берегу, скинула стоптанные туфли, стянула драные чулки и погрузила горевшие как в огне ступни в прохладную воду. Хорошо бы сидеть так весь день, вдали от устремленных на нее беспомощных взоров, сидеть и слышать в тишине только шелест листьев да журчанье медленно бегущей воды! Но она, хоть и через силу, снова надела чулки и туфли и побрела дальше вдоль мшистого, мягкого, как губка, берега, держась в тени деревьев. Янки сожгли мост, но она знала, что там, где ярдах в ста ниже по течению русло сужалось, есть мостки — перекинутые через речку бревна. Она осторожно перебралась на другой берег и под палящим солнцем стала подниматься на холм — до Двенадцати Дубов оставалось полмили.

Все они — двенадцать дубов — стоят, как стояли еще со времен индейцев, только искривились обнаженные ветви, потемнела, пожухла опаленная огнем листва. А за ними лежат руины дома Джона Уилкса — почерневшие остатки белоколонного особняка, так величаво венчавшего вершину холма. Черная яма, бывшая прежде погребом, обугленный каменный фундамент и две солидных дымовых трубы указывали на то, что здесь раньше жили люди. И одна колонна, длинная, полуобгоревшая, лежала поперек газона, придавив капителью куст жасмина.

Скарлетт опустилась на колонну, слишком потрясенная, чтобы найти в себе силы сделать еще хоть шаг. Картина этого разорения поразила ее в самое сердце — сильнее, чем все, что она видела до сих пор. Гордость рода Уилксов лежала у ее ног, обращенная в прах. Вот какой конец нашел добрый, гостеприимный дом, где ее всегда так радушно принимали, дом, хозяйкой которого рисовала она себя в несбывшихся мечтах. Здесь она танцевала, кружила мужчинам головы, обедала, здесь, сжигаемая ревностью, с истерзанным сердцем, наблюдала, как Эшли смотрит на улыбающуюся ему Мелани. И здесь в прохладной тени дуба Чарлз Гамильтон, не помня себя от счастья, сжал ее руки, когда она сказала, что согласна стать его женой.

«О, Эшли! — пронеслось у нее в голове. — Быть может, это к лучшему, если вас нет в живых! Страшно подумать, что вам доведется когда‑нибудь это увидеть!»

Эшли привел сюда молодую жену, но ни его сыну, ни его внуку уже не суждено ввести в этот дом свою новобрачную. Не будут больше греметь здесь свадьбы, женщины не будут больше рожать детей под этим кровом, который был ей так дорог и под которым она так страстно мечтала править. От дома остался обгорелый труп, и Скарлетт казалось, что весь род Уилксов погребен под грудами золы.

— Я не стану думать об этом сейчас. Я сейчас не выдержку. Подумаю потом, — громко произнесла она, отводя глаза в сторону.

Она обошла пепелище и направилась к огороду, мимо вытоптанных розовых клумб, за которыми так заботливо ухаживали сестры Уилкс. Миновала задний двор, сгоревшие амбары, коптильню и птичник. Изгороди из кольев, которой был обнесен огород, не было, и аккуратные ряды зеленых грядок подверглись такому же опустошению, как и огород в Таре. Мягкая земля была изрыта следами подков и тяжелыми колесами орудий, и все растения втоптаны в грунт. Искать здесь было нечего.

Она пошла назад и на этот раз выбрала тропинку, спускавшуюся к молчаливым рядам беленых хижин, время от времени громко выкрикивая на ходу:

— Хэлло!

Но никто не откликался. Даже собачьего лая не раздалось в ответ. По‑видимому, все негры Уилксов разбежались или ушли с янки. Скарлетт знала, что у каждого негра был свой маленький огородик, и она направилась туда в надежде, что война пощадила хоть эти жалкие клочки земли.

Ее поиски увенчались успехом, но она была уже так измучена, что не испытала радости при виде репы и кочанов капусты — вялых, сморщившихся без поливки, но все же державшихся на грядках, — и стручков фасоли и бобов, пожелтевших, но еще годных в пищу. Она села между грядок и дрожащими руками принялась выкапывать овощи из земли, и мало‑помалу ее корзина стала наполняться. Сегодня дома у них будет хорошая еда, хотя и без кусочка мяса. Впрочем, немного свиного сала, которое Дилси использует для светильников, можно будет пустить на подливку. Не забыть сказать Дилси, что лучше жечь пучки смолистых сосновых веток, а сало использовать в пищу.

Возле крыльца одной из хижин она наткнулась на небольшую грядку редиски и внезапно почувствовала лютый голод. При мысли о сочном остром вкусе редиски ее желудок требовательно взалкал. Кое‑как обтерев редиску юбкой, она откусила половину и проглотила, почти не жуя. Редиска была старая, жесткая и такая едкая, что у Скарлетт на глазах выступили слезы. Но лишь только этот неудобоваримый комок достиг желудка, как тот взбунтовался, Скарлетт бессильно упала ничком на мягкую грядку, и ее стошнило.

Слабый запах негритянского жилья наползал на нее из хижины, усиливая тошноту, и она даже не пыталась ее подавить и продолжала устало отрыгивать, пока все — и хижина, и деревья — не завертелось у нее перед глазами.

Она долго лежала так, ослабев, уткнувшись лицом в землю, как в мягкую, ласковую подушку, а мысли блуждали вразброд. Это она, Скарлетт О’Хара, лежит позади негритянской хижины в чужом разоренном поместье, и ни одна душа в целом свете не знает об этом, и никому нет до нее дела. А если бы и узнал кто, то всем было бы наплевать, потому что у каждого слишком много своих забот, чтобы печься еще и о ней. И все это происходит с ней, Скарлетт О’Хара, которая никогда не давала себе труда завязать тесемки на туфельках или подобрать с пола сброшенные с ног чулки, с той самой Скарлетт О’Хара, чьим капризам привыкли потакать все, с которой все нянчились, которую все старались ублажить.

Она лежала плашмя, не имея сил отогнать от себя ни воспоминания, ни заботы, обступившие ее со всех сторон, словно стая грифов, учуявших смерть. Теперь у нее не было сил даже сказать себе: «Сейчас я не стану думать ни о маме, ни об отце, ни об Эшли, ни обо всем этом разорении... Я подумаю потом, когда смогу». Думать об этом сейчас было выше ее сил, но она уже не могла заставить себя не думать. Мысли против воли кружились в мозгу как хищные птицы, когтили его, вонзали в него свои клювы. Казалось, протекла вечность, пока она недвижно лежала, уткнувшись лицом в землю, палимая беспощадным солнцем, вспоминая тех, кто ушел из жизни, и жизнь, которая ушла навсегда, и заглядывая в темную бездну будущего.

Когда она, наконец, встала и еще раз окинула взглядом черные руины Двенадцати Дубов, голова ее была поднята высоко, но что‑то неуловимо изменилось в лице — словно какая‑то частица юности, красоты, нерастраченной нежности тоже ушла из него навсегда. Прошлого не вернуть. Мертвых не воскресить. Дни беззаботного веселья остались позади. И беря в руки тяжелую корзину, Скарлетт мысленно взяла в руки и свою судьбу: решение было принято.

Пути обратного нет, и она пойдет вперед.

Минет, быть может, лет пятнадцать, а женщины Юга с застывшей навеки горечью в глазах все еще будут оглядываться назад, воскрешая в памяти канувшие в небытие времена, канувших в небытие мужчин, поднимая со дна души бесплодно‑жгучие воспоминания, дабы с гордостью и достоинством нести свою нищету. Но Скарлетт не оглянется назад.

Она посмотрела на обугленный фундамент, и в последний раз усадебный дом воскрес перед ее глазами — богатый, надменный дом, символ высокородства и образа жизни. Она отвернулась и зашагала по дороге к Таре; тяжелая корзина оттягивала ей руку.

Голод снова начал терзать ее пустой желудок, и она произнесла громко:

— Бог мне свидетель, бог свидетель, я не дам янки меня сломить. Я пройду через все, а когда это кончится, я никогда, никогда больше не буду голодать. Ни я, ни мои близкие. Бог мне свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать.

Шли дни, и Тара все больше становилась похожей на необитаемый остров Робинзона Крузо — такая здесь царила тишина, такой отрезанной от всего мира казалась усадьба. А мир был в нескольких милях, но так далек, словно тысячи миль грохочущих океанских валов отделяли этот островок от Джонсборо и Фейетвилла, от Лавджоя и даже от соседних плантаций. После того как старая лошадь сдохла, вместе с ней было утрачено и последнее средство сообщения с окружающим миром, а мерить ногами красную землю ни у кого не было ни сил, ни времени.

Порой в разгар изнурительной работы ради куска хлеба и неустанного ухода за тремя больными, в минуты отчаянного напряжения Скарлетт с удивлением ловила себя на том, что невольно напрягает слух, ожидая услышать привычные звуки: пронзительный смех негритят, скрип возвращающихся с поля телег, ржание верхового жеребца Джералда, скачущего через выгон, шуршание гравия под колесами на подъездной аллее и веселые голоса соседей, заглянувших провести вечерок и поделиться новостями. Но, разумеется, сколько бы она ни прислушивалась, все было напрасно. Дорога лежала тихая, пустынная, и ни разу не заклубилось на ней облачко красной пыли, возвещая приезд гостей. Тара была островом среди зеленых волнообразных холмов и красных вспаханных полей.

Где‑то существовал другой мир и другие люди; у них была еда и надежный кров над головой. Где‑то девушки в трижды перекроенных платьях беззаботно кокетничали и распевали «В час победы нашей», как распевала она сама еще так недавно. И где‑то она еще шла, эта война, и гремели пушки, и горели города, и люди умирали в госпиталях, пропитанных тошнотворно‑сладким запахом гангренозных тел. И босые солдаты в грязной домотканой одежде маршировали, сражались и спали вповалку, усталые и голодные, разуверившиеся и потому павшие духом. И где‑то зеленые холмы Джорджии стали синими от синих мундиров янки, сытых янки, на гладких, откормленных кукурузой конях.

За пределами Тары простирался весь остальной мир и шла война. Здесь же, на плантации, и весь мир, и война существовали только в воспоминаниях, с которыми приходилось сражаться, когда они в минуты изнеможения осаждали мозг. Все, из чего складывалась прежняя жизнь, отступало перед требованиями пустых или полупустых желудков, и все помыслы сводились к двум простым и взаимосвязанным понятиям: еда и как ее добыть.

Еда! Еда! Почему память сердца слабее памяти желудка? Скарлетт могла совладать со своим горем, но не со своим желудком, и каждое утро, прежде чем война и голод всплывали в ее сознании, она, проснувшись, но еще в полудреме, замирала, свернувшись клубочком в сладком ожидании, что сейчас в окно потянет запахом жареной грудинки и свежевыпеченных булочек. И каждое утро, с силой потянув воздух носом, улавливала запах той пищи, которая теперь ждала ее при пробуждении.

На стол в Таре подавались яблоки, ямс, арахис и молоко. Но даже этой примитивной еды никогда не было вдосталь. А видя ее трижды в день, Скарлетт невольно уносилась мыслями к прежним дням, к столу, освещенному огнями свечей, к блюдам, источавшим аромат.

Как беспечно относились они тогда к пище, как были расточительны! Булочки, кукурузные оладьи, бисквиты, вафли, растопленное масло — и все это только к завтраку. А потом блюдо с ветчиной — на одном конце стола, блюдо с жареными цыплятами — на другом, и тут же тушеная капуста в горшочке, обильно залитая соусом, отливающим жиром, горы фасоли на ярком цветном фаянсе, жареная тыква, тушеная бамия, морковь в сметанном соусе, таком густом, что его можно резать ножом. И три десерта, чтобы каждый мог выбрать, что ему больше по вкусу: слоеный шоколадный пирог, ванильное бланманже или торт со взбитыми сливками. При воспоминании об этих яствах слезы выступали у нее на глазах, остававшихся сухими перед лицом войны и перед лицом смерти, и тошнота подымалась к горлу из пустого, вечно урчащего от голода желудка. Ибо аппетит — предмет постоянных сокрушений Мамушки, — аппетит здоровой девятнадцатилетней женщины четырехкратно возрос вследствие неустанной, тяжелой и совсем непривычной для нее работы.

Но не только ее собственный аппетит доставлял Скарлетт мучения: отовсюду на нее глядели голодные лица — белые и черные. Скоро и Кэррин и Сьюлин тоже станут испытывать неуемный голод, как все идущие на поправку тифозные больные. Уже и малыш Уэйд начинал уныло канючить:

— Не хочу ямса! Есть хочу!

Да и остальные все чаще подавали голос:

— Мисс Скарлетт, если я чего‑нибудь не поем, у меня не будет молока для маленьких.

— Мисс Скарлетт, не могу я колоть дрова на пустой желудок.

— Птичка моя, я уж и ног не таскаю без еды‑то.

— Доченька, неужели у вас нечего поесть, кроме ямса?

Одна только Мелани не жаловалась, хотя день ото дня становилась все худее и бледнее и судорога боли пробегала у нее по лицу даже во сне.

— Я совсем не голодна, Скарлетт. Отдай мою порцию молока Дилси. Оно ей нужнее для младенцев. Больные ведь никогда не бывают голодны.

Вот эта ее неназойливая мужественность особенно раздражала Скарлетт — больше, чем надоедливые хныканья всех остальных. На них можно было прикрикнуть — что она и делала, — но самоотверженность Мелани ее обезоруживала и потому злила. И Джералд, и негры, и Уэйд тянулись к Мелани, поскольку она, даже больная и слабая, всегда была добра и отзывчива, у Скарлетт же в эти дни не находилось ни того, ни другого.

Особенно Уэйд — он просто не вылезал из комнаты Мелани. С Уэйдом вообще творилось что‑то неладное, но что именно — разбираться в этом Скарлетт сейчас было недосуг. Она приняла на веру слова Мамушки, что у ребенка, дескать, глисты, и пичкала его отваром из сухих трав и коры, которым Эллин всегда лечила от глистов негритят. Но от этого глистогонного снадобья личико Уэйда становилось только все бледнее и бледнее. Скарлетт же воспринимала его в те дни не столько как маленькое человеческое существо, сколько как еще одну обузу, еще один рот, который надо накормить. Когда‑нибудь потом, когда все эти бедствия останутся позади, она будет играть с ним, и рассказывать сказки, и учить его азбуке, но пока у нее не было на это ни времени, ни желания. А поскольку ей казалось, что он вечно вертится под ногами именно тогда, когда она особенно устала или озабочена, она нередко бывала с ним резка.

Ей действовало на нервы, что от ее окриков в его округлившихся глазах появлялось выражение страха, ибо малейший испуг делал его похожим на слабоумного. Она не понимала, что это маленькое существо жило среди постоянного кошмара, сущности которого даже мозг взрослого не смог бы постичь до конца. Страх прочно поселился в Уэйде, страх томил его душу и заставлял испуганно вскрикивать по ночам, Уэйд начинал дрожать от каждого резкого слова или внезапного шума, ибо в его сознании все это было неотделимо от слова «янки», а янки он боялся больше, чем привидений, которыми пугала его Присей.

До первых дней осады, до первого залпа орудий жизнь Уэйда была спокойной, размеренной, счастливой. И хотя мать уделяла ему не слишком много внимания, он не привык слышать ничего, кроме добрых и ласковых слов, вплоть до той ночи, когда его внезапно разбудили, вытащили из кроватки, и он увидел небо в огне и услышал сотрясший воздух взрыв. В эту ночь и в последовавший за ней день он впервые испытал удар материнской руки и впервые услышал от матери грубое слово. Его жизнь в уютном кирпичном доме на Персиковой улице — а другая была ему неведома — оборвалась в ту ночь навсегда, и ему уже не суждено было оправиться от этой потери. Во время бегства из Атланты он понял только одно — за ним гонятся янки, — и страх, что они найдут его и разорвут на части, прочно угнездился в его душе. И всякий раз, когда Скарлетт, делая ему замечание, повышала голос, он холодел от страха, потому что в его неокрепшем детском мозгу мгновенно вставали картины той страшной ночи, когда он впервые услышал ее грубый окрик. Теперь ее сердитый голос на веки вечные был связан для него с ужасными словами «янки», и он стал бояться матери.

Скарлетт не могла не заметить, что ребенок начал ее избегать, и в те редкие минуты, когда она среди своих бесконечных дел позволяла себе задуматься над этим, его поведение вызывало в ней немалую досаду. Это было даже хуже его прежнего вечного цепляния за ее юбку, и ее задевало за живое то, что он искал прибежища на постели у Мелани, где тут же принимался спокойно играть в любую игру, какую бы она ни предложила, или слушать ее рассказы. Уэйд обожал свою тетю, у которой был такой тихий голос и которая всегда улыбалась и никогда не говорила: «Замолчи! У меня от тебя голова разламывается!» или: «Бога ради, перестань вертеться под ногами!»

У Скарлетт не было ни времени, ни охоты нянчиться с ним, но когда это делала Мелани, в ней пробуждалась ревность. Увидав однажды, как он кувыркается через голову на постели Мелани, падая при этом прямо на нее, Скарлетт в сердцах отвесила ему подзатыльник.

— Ты что — совсем очумел? Разве можно так прыгать на тетю — ты же знаешь, что тетя больна! Ступай сейчас же во двор, играй там, и чтоб больше я тебя здесь не видела!

Но Мелани тонкой, как плеть, рукой притянула к себе плачущего ребенка.

— Полно, полно, Уэйд. Ты же не хотел прыгнуть на меня, правда? Он мне нисколько не мешает, Скарлетт. Позволь ему побыть со мной. Позволь мне поиграть с ним. Это же единственное, что я могу делать, пока не поправлюсь, а у тебя достаточно хлопот и без него.

— Не дури, Мелли, — сухо сказала Скарлетт. — Ты и так слишком туго идешь на поправку, а если Уэйд будет прыгать у тебя на животе, лучше тебе от этого не станет. И если я еще раз застану тебя, Уэйд, у тети на постели, ты получишь от меня хорошую трепку. И перестань шмыгать носом. Вечно ты носом шмыгаешь. Постарайся быть мужчиной.

Уэйд убежал в слезах и спрятался под домом. Мелани закусила губу, и у нее тоже выступили слезы на глазах, а Мамушка, наблюдавшая эту сцену, нахмурилась и жарко задышала. Но никто не осмеливался перечить Скарлетт в эти дни. Все боялись ее острого языка и этого нового злого существа, которое, казалось, в нее вселилось.

Скарлетт безраздельно властвовала теперь в имении, и, как это нередко бывает, столь внезапно полученная власть развязала все дремавшие в ней дурные инстинкты. Не будучи от природы злой, она вместе с тем была так напугана и так не уверена в себе, что становилась грубой, боясь, как бы ее несостоятельность не обнаружилась и не пошатнула ее авторитета. А кроме того, прикрикнуть и увидеть, что тебя боятся, было иной раз даже приятно. Это давало облегчение донельзя напряженным нервам. Она и сама замечала иной раз, что характер у нее меняется. Порой, видя, как после какого‑нибудь ее не допускающего возражений приказа у Порка обиженно выпячивается губа, или слыша, как Мамушка бормочет себе под нос: «До чего же некоторые воображать здесь стали...», она удивлялась на самое себя: где же ее хорошие манеры и воспитанность? Всю мягкость, всю учтивость, которые постоянно старалась привить ей Эллин, — все как ветром сдуло, сдуло, словно листья с веток при первом холодном дыхании осени.

Как часто говорила ей Эллин: «Будь тверда, но неизменно вежлива с теми, кто тебе служит, особенно с неграми». Но если она будет с ними вежлива, они так целый день и просидят на кухне, вспоминая доброе старое время, когда дворовую челядь не посылали работать в поле.

«Люби своих сестер, береги их. Будь всегда добра к недужным и скорбящим, — говорила Эллин. — Помогай людям в беде».

Но она не могла сейчас любить своих сестер. Они камнем висели у нее на шее. Что касается заботы о них, то разве она не купает их, не расчесывает им волосы? Разве она не кормит их, хотя для этого ей приходится ежедневно отмерять пешком милю за милей, чтобы принести горстку овощей? Разве не научилась она доить корову, хотя душа у нее каждый раз уходит в пятки, стоит этому рогатому чудовищу, уставясь на нее, помотать головой? Ну, а стараться быть к сестрам доброй — это пустая трата времени. Если она будет чересчур к ним добра, они еще, пожалуй, долго проваляются в постели, в то время как ей нужно, чтобы они побыстрее встали на ноги и в ее хозяйстве прибавилось две пары рук.

Поправлялись они медленно и все еще лежали в постели — совсем слабые, тощие. А пока они находились без сознания, мир вокруг них изменился неузнаваемо. Пришли янки, убежали негры, умерла их мать. Этому невозможно было поверить, и их разум отказывался эти три факта принять. Порой им казалось, что ничего не произошло, — просто у них продолжается бред. Не могла же Скарлетт в самом деле так измениться. Когда она, облокотясь о спинку кровати, принималась втолковывать, какую работу намерена поручить им, лишь только они поправятся, сестры смотрели на нее как на чудовище. У них не умещалось в голове, что на плантации больше нет той сотни рабов, которая эту работу выполняла. У них не умещалось в голове, что благородные девушки из семьи О’Хара должны заниматься грубым физическим трудом.

— Но, сестричка, дорогая, — пролепетала как‑то раз Кэррин, и ее нежное детское личико стало совсем белым от страха, — я же не могу щепать лучину! Что будет с моими руками!

— А ты погляди на мои, — сказала Скарлетт и с жесткой улыбкой поднесла к глазам сестры свои загрубевшие, покрытые волдырями и мозолями ладони.

— По‑моему, это гадко — так разговаривать с малышкой, да и со мной тоже, — вскричала Сьюлин. — По‑моему, ты все лжешь и нарочно стараешься нас запугать. Послушала бы тебя мама! Она бы не позволила так с нами разговаривать! Щепать лучину! Еще чего не хватало!

Сьюлин с бессильной злобой поглядела на старшую сестру, ни секунды не сомневаясь, что Скарлетт говорит все это лишь для того, чтобы их позлить. Сьюлин только что была на краю смерти и потеряла мать. Она чувствовала себя ужасно одинокой, и ей было страшно и хотелось, чтоб ее жалели, ласкали и баловали. А вместо этого Скарлетт каждый день, став в ногах кровати, с каким‑то новым гадким блеском в зеленых, чуть раскосых глазах с удовлетворением отмечала, что сестры идут на поправку, и принималась перечислять их обязанности: стелить постели, стряпать, таскать воду из колодца, щепать лучину. И можно было подумать, что ей даже доставляет удовольствие сообщать им все эти чудовищные вещи.

А Скарлетт и вправду делала это не без удовольствия. Она держала в страхе всех негров и тиранила сестер не только потому, что напряжение, усталость, заботы не оставляли в ее душе места для участливости, а еще и потому, что таким способом она срывала на других накопившуюся в сердце горечь: ведь все внушенные матерью представления о жизни оказались ложными.

Все, чему учила ее Эллин, обернулось совершенно непригодным теперь, и душа Скарлетт была смятена и уязвлена. Ей не приходило в голову, что Эллин не могла предусмотреть крушение мира, в котором она жила и растила своих дочерей, не могла предугадать, что у них уже не будет того положения в обществе, к которому она их так искусно готовила. Скарлетт не понимала, что Эллин, уча ее быть доброй, мягкой, уступчивой, честной, правдивой и скромной, видела впереди вереницу мирных, небогатых событиями лет, во всем подобных ее собственной размеренной жизни. Судьба вознаграждает женщин, которые живут по этим законам, говорила Эллин.

И охваченная отчаянием Скарлетт думала: «Все, все, чему она меня учила, ничем, ну, ничем не может мне помочь теперь! Какая мне польза от того, что я буду доброй? Что мне это даст, если я буду мягкой, уступчивой? Куда больше было бы толку, если бы она научила меня пахать или собирать хлопок, как негры. О мама, ты была не права!»

Она не понимала, что упорядоченный мир Эллин рухнул, вытесненный иным миром, со своими грубыми законами, с иными мерками и ценностями. Она видела только — так ей казалось, — что ее мать была не права, и в ней стремительно совершались перемены, жизненно необходимые, чтобы во всеоружии встретить этот новый мир, для которого она не была подготовлена.

Неизменной осталась только ее любовь к Таре. Всякий раз, когда она, усталая, возвращалась домой с плантации и перед ней возникало невысокое белое здание, сердце ее преисполнялось любовью и радостью от приближения к родному очагу. И всякий раз, когда, выглянув из окна, она видела зеленые пастбища, и красную пахоту, и высокую громаду темного тонкоствольного девственного леса, у нее захватывало дух от красоты этой земли. Только эта частица ее души, только любовь к отчему краю с его грядой мягких, округлых красных холмов, к этой прекрасной, плодородной земле — то алой, как кровь, то густо‑багряной, то кирпично‑тусклой, то киноварно‑пурпурной, из года в год творящей чудо — зеленые кусты, обсыпанные белыми пушистыми клубочками, — только эта любовь не претерпела изменений. Ведь нигде на всей планете не было земли, подобной этой.

И тогда ей казалось, что она начинает понимать, почему происходят войны. Ретт был неправ — неверно это, будто люди ведут войны ради денег. Нет, они сражаются за эти холмистые просторы, возделанные плугом, за эти зеленые луга с ощетинившейся после покоса травой, за ленивые желтые реки и белые прохладные дома в тени магнолий. Только за это и стоит сражаться — за красную землю, которая принадлежит им и будет принадлежать их сыновьям, за красную землю, которая родит хлопок для их сыновей и внуков.

Вытоптанная земля Тары — вот все, что у нее осталось теперь, когда не стало Эллин, не стало Эшли, а Джералд впал в детство, не перенеся удара, и деньги, негры, положение, уверенность в будущем — все сгинуло в одну ночь. Ей припомнился разговор с отцом, припомнился как что‑то происходившее в другом измерении, и ей показалось странным, как могла она быть так молода и так глупа, чтобы не понять смысла его слов: земля — единственное на свете, за что стоит бороться.

«Ибо она — единственное, что вечно... и для того, в чьих жилах есть хоть капля ирландской крови, земля — это то же, что мать... Это единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться и умереть».

Да, за Тару стоило бороться, и она просто, без колебаний включилась в эту борьбу. Она не позволит никому отнять у нее Тару. Никому не удастся заставить ее и ее близких скитаться по свету и жить из милости у родственников. Она не выпустит имения из своих рук, даже если для этого придется изнурить работой и себя, и всех здесь живущих.

### Глава XXVI

Скарлетт уже вторую неделю жила дома, когда на ноге у нее загноился самый большой из натертых за время дороги волдырей, нога распухла, надеть башмак стало невозможно, и она еле‑еле ковыляла, наступая только на пятку. Вид нарыва приводил ее в отчаяние. А что, если у нее начнется гангрена, как у раненых? Доктора здесь нет, и она умрет. Жизнь ее сейчас была не сладка, но расставаться с ней у Скарлетт вовсе не было охоты. И кто позаботится о Таре, если ее не станет?

Первые дни Скарлетт еще надеялась, что Джералд возродится к жизни и возьмет бразды правления в свои руки, но прошли две недели, и она поняла, что эта надежда несбыточна. Теперь ей стало ясно: судьба имения и всех живущих в нем — в ее неопытных руках, ибо Джералд был все так же тих, молчалив, погружен в себя, и его отсутствующий взгляд нагонял на нее страх. Когда она обращалась к нему за советом, у него на все был один ответ:

— Сделай так, как считаешь лучше, доченька.

А порой и того хуже:

— Спроси лучше у мамы, котенок.

Мало‑помалу Скарлетт поняла, что он останется таким уже навсегда и до конца дней своих вечно будет ждать появления Эллин, вечно будет прислушиваться, не раздадутся ли ее шаги, — поняла и бесстрастно примирилась с этой мыслью. Джералд жил в каком‑то своем, пограничном с действительностью мире, где время остановилось, а Эллин всегда находилась в соседней комнате. Казалось, смерть Эллин отняла у него силу, двигавшую его поступками, и он сразу утратил и свою хвастливую самоуверенность, и напористость, и свое неугомонное жизнелюбие. Эллин О’Хара была для него тем зрительным залом, перед которым он разыгрывал увлекательный спектакль под названием «Жизнь Джералда О’Хара». Теперь же огни рампы потухли, занавес опустился навечно, зрительный зал внезапно куда‑то исчез, и старый актер остался, как громом пораженный, один на пустых подмостках, тщетно ожидая очередной реплики.

В то утро в доме было очень тихо, так как все, кроме Скарлетт, трех лежащих в постели больных и Уэйда, отправились на поиски бродившей по болоту свиньи. Даже Джералд вдруг как‑то приободрился и с мотком веревок на плече заковылял через вспаханное поле, опираясь на руку Порка. Сьюлин и Кэррин, наплакавшись вволю, уснули; так повторялось по меньшей мере два‑три раза на дню; они принимались вспоминать Эллин, и слезы слабости и скорби начинали струиться по их исхудалым щекам. Мелани, которую в этот день впервые посадили в постели, подперев подушками и покрыв чиненой‑перечиненой простыней, одной рукой поддерживала льняную головку своего младенца, а другой — и не менее нежно — черную курчавую — Дилсиного малютки. В ногах у нее сидел Уэйд и слушал сказку.

Тишина, царившая в доме, невыносимо тяготила Скарлетт, слишком живо напоминая ей мертвую тишину опустошенной страны, через которую пробиралась она в долгий‑долгий день бегства из Атланты. Хоть бы корова или теленок замычали — так нет, молчат часами! За окном не раздавалось щебета птиц, и даже шумное суматошное семейство пересмешников, из поколения в поколение жившее в глухо шелестящей кроне магнолии, примолкло в этот день. Скарлетт придвинула низкое кресло поближе к распахнутому окну своей спальни и, задрав подол платья выше колен, опершись локтями о подоконник, сидела, глядя на подъездную аллею, на газон, на пустынный зеленый выгон за дорогой. На полу возле кресла стояла бадейка с колодезной водой, и время от времени она опускала в нее воспаленную ступню, кривясь от жгучей боли.

Так она сидела, уткнувшись подбородком в руки. Именно теперь, когда ей нужно напрячь все силы, этот палец взял да нагноился! Разве эти идиоты сумеют когда‑нибудь поймать свинью! Поросят и тех они ловили по одному целую неделю, а свинья вот уже вторую неделю гуляет себе на свободе. Скарлетт была уверена, что пойди она с ними на болото, ей стоило бы только подоткнуть повыше подол, взять в руки веревку, и она в два счета заарканила бы эту свинью.

Ну, а что потом, после того, как свинья будет поймана, — если она будет поймана? Что потом, когда они съедят и свинью, и ее приплод? Жизнь‑то будет продолжаться, а следовательно, не кончится и потребность в еде. Надвигается зима, когда еды взять будет неоткуда, придут к концу даже несчастные остатки овощей с соседских огородов. Надо запасти сушеных бобов, и сорго, и муки, и рису, и... и... Да мало ли чего еще. Кукурузных и хлопковых семян для весеннего посева и из одежды кое‑чего. Откуда все это взять и чем расплачиваться?

Она тайком обшарила у Джералда карманы, залезла в его шкатулку, но не обнаружила ничего, кроме пачки облигаций и трех тысяч долларов купюрами Конфедерации. На это, пожалуй, все они могли бы один раз сытно пообедать, подумала она с иронией, ведь теперь эти деньги почти ничего не стоят. Но будь даже у нее деньги и возможность купить на них продуктов, как доставить их сюда, в Тару? Почему господь допустил, чтобы старая кляча издохла? Будь у них хотя бы эта несчастная, сворованная Реттом скотина — все было бы подспорье! А какие прекрасные, гладкие мулы брыкались у них на выгоне за дорогой! А какие красавицы были их упряжные лошади, и ее маленькая кобылка, и сестринские пони, и большой жеребец Джералда! Как он скакал, как летела у него из‑под копыт земля! Ах, если бы сейчас хоть одного мула сюда — хоть самого что ни на есть упрямого!

Ладно, когда нога у нее заживет, она пойдет пешком в Джонсборо. Ей еще никогда не доводилось совершать столь длинное путешествие пешком, но она его совершит. Если даже янки выжгли дотла весь город, она, конечно, разыщет кого‑нибудь и разузнает, где можно добыть продуктов. Заострившееся личико Уэйда вдруг возникло у нее перед глазами. Он все время твердит, что не любит ямса, все просит куриную ножку и риса с подливкой.

Залитый ярким солнечным светом сад внезапно потускнел, и деревья поплыли перед ее затуманившимся взором. Скарлетт уронила голову на руки, стараясь сдержать слезы. Плакать бесполезно теперь. От слез может быть толк, когда рядом мужчина, от которого нужно чего‑то добиться. Она сидела, сжавшись в комочек, крепко зажмурив глаза, стараясь не разрыдаться, и в эту минуту до нее долетел стук копыт. Но она не подняла головы. Ей так часто чудилось, что она слышит этот звук, чуть не каждый день и каждую ночь, — так же, как чудился ей шорох платья Эллин... И как всегда, сердце ее в этот миг заколотилось, прежде чем она успела мысленно сказать себе: «Не будь дурой».

Но быстрый стук копыт стал замедляться, лошадь перешла с галопа на шаг, и это, и ритмичный хруст гравия — все было слишком реально. Кто‑то подъехал верхом — может быть, от Тарлтонов или Фонтейнов? Скарлетт подняла глаза. В кавалерийском седле сидел янки.

Еще не осознав случившегося, она уже спряталась за занавеской и как завороженная смотрела на всадника сквозь дымчатые складки шелка, затаив дыхание от неожиданности и испуга.

Он мешковато сидел в седле — плотный мужчина в полурасстегнутом синем мундире; у него было грубое лицо и неопрятная черная борода. Маленькие, близко посаженные глазки, щурясь от солнца, спокойно разглядывали дом из‑под козырька жесткого синего кепи. Когда он медленно спешился и закинул поводья на коновязь, Скарлетт наконец смогла вздохнуть — но так болезненно и резко, словно после удара под ложечку. Янки! Янки с большущим пистолетом на боку! А она одна в доме с тремя больными и с маленькими детишками!

Пока он не спеша шагал по дорожке, держа одну руку на кобуре, зыркая маленькими бусинками глаз вправо и влево, калейдоскоп беспорядочных видений закружился перед мысленным взором Скарлетт: перерезанные горла, надругательства над беззащитными женщинами, о которых шепотом повествовала тетушка Питтипэт, дома, обращенные в пепел вместе с умирающими людьми, дети, вздетые на штыки, чтобы не пищали, — все неописуемые ужасы, таящиеся в слове «янки».

Ее первым побуждением было спрятаться в чулане, заползти под кровать, спуститься по черной лестнице и броситься к болоту, зовя на помощь, — что угодно, лишь бы убежать. Но тут скрипнули ступеньки крыльца под осторожной ступней, затем она услышала, как солдат крадучись вошел в холл, и поняла, что путь к отступлению отрезан. Оцепенев от страха, она прислушивалась к его передвижениям из комнаты в комнату, и шаги звучали все громче, все увереннее, по мере того как он убеждался, что дом пуст. Вот он прошел в столовую и сейчас, верно, направился на кухню.

При мысли о кухне ярость полоснула Скарлетт по сердцу как ножом, и страх отступил. Там, на кухне, на открытом очаге стояли два горшка — один с печеными яблоками, другой с похлебкой из овощей, раздобытых с таким трудом на огороде в Двенадцати Дубах и у Макинтошей, — скудный обед, которому надлежало утолить голод девяти людей и которого, в сущности, едва могло хватить на двоих. Скарлетт уже несколько часов усмиряла свой разыгравшийся аппетит, дожидаясь возвращения тех, кто ушел на болото, и при мысли, что янки съест их жалкую еду, ее затрясло от злобы.

Будь они все прокляты! Они налетели на Тару как саранча, опустошили ее и оставили людей медленно погибать с голоду, а теперь вернулись, чтобы отнять последние жалкие крохи! Ее пустой желудок свело судорогой.

«Богом клянусь, уж этому‑то янки больше не удастся ничего украсть!»

Она скинула со здоровой ноги истрепанную туфлю и босиком подошла к бюро, не чувствуя даже боли от нарыва. Бесшумно выдвинув верхний ящик, она вынула оттуда тяжелый пистолет — привезенный из Атланты пистолет Чарлза, из которого ему так ни разу и не довелось выстрелить. Она пошарила в кожаном патронташе, висевшем на стене под саблей, достала патрон и недрогнувшей рукой вложила его в патронник. Затем быстро и все так же бесшумно проскользнула на галерею, окружавшую холл, и стала спускаться по лестнице, держась одной рукой за перила, сжимая в другой руке пистолет, прикрытый у бедра складками юбки.

— Кто здесь? — раздался громкий гнусавый окрик, и она замерла на середине лестницы, чувствуя, как кровь стучит у нее в висках, заглушая этот голос. — Стой, стрелять буду!

Он появился в дверях столовой, весь подобравшись, как для прыжка: в одной руке у него был пистолет, в другой — маленькая шкатулочка розового дерева с швейными принадлежностями: золотым наперстком, корундовым желудем с золотой шапочкой для штопки и ножницами с позолоченными колечками. У Скарлетт ноги стали ледяными от страха, но лицо ее было искажено яростью. Шкатулка Эллин у него в руках! Ей хотелось крикнуть: «Положи! Сейчас же положи ее на место, ты, грязная...», но язык ей не повиновался. Она просто стояла и смотрела на янки и увидела, как напряженная настороженность его лица сменилась полунахальной, полуигривой ухмылкой.

— Да тут кто‑то есть, в этом доме, — сказал он и, пряча пистолет в кобуру, шагнул через порог прямо к ней и остановился под лестницей. — Ты что ж — совсем одна здесь, малютка?

Быстрым, как молния, движением она вскинула руку с пистолетом над перилами, целясь в ошеломленное бородатое лицо, и, прежде чем солдат успел расстегнуть кобуру, спустила курок. Отдачей ее качнуло назад; в ушах стоял грохот выстрела, и от кислого порохового дыма защекотало в носу. Солдат повалился навзничь, прямо на порог столовой, под тяжестью его падения задрожал пол и мебель. Шкатулка выпала из его руки, и все содержимое рассыпалось по полу. Почти не сознавая, что она делает, Скарлетт сбежала с лестницы и стала над ним, глядя на то, что осталось от его лица — на красную впадину над усами там, где был нос, на остекленелые, обожженные порохом глаза. Две струйки крови медленно змеились по полу: одна стекала с лица, другая выползала из‑под головы.

Он был мертв. Сомнений быть не могло. Она убила человека.

Дым медленно поднимался к потолку, красные ручейки расползались у ее ног. Минуту, равную вечности, она стояла неподвижно, и все звуки, все запахи, разлитые в теплом летнем воздухе, приобрели вдруг какую‑то несообразность и, казалось, многократно усилились: частый стук ее сердца, похожий на барабанную дробь, жесткий глухой шелест магнолии за окном, далекий жалобный крик болотной птицы, сладкий аромат цветов, летящий из сада.

Она убила человека — она, всегда, даже на охоте, старавшаяся не видеть, как убивают зверя, не выносившая визга свиньи под ножом или писка кролика в силке. «Это убийство, — тупо думала она. — Я совершила убийство. Нет, это происходит не со мной». В глаза ей бросилась короткопалая волосатая рука на полу, близко‑близко от шкатулочки для рукоделия, и внезапно жизнь вернулась к ней, возродилась с необычайной силой, и чувство радости, жестокой, звериной радости, охватило ее. Ей захотелось наступить на кровавую вмятину носа, почувствовать теплую кровь на своей босой ступне. Она совершила возмездие — за Тару, за Эллин.

Наверху на галерее раздались торопливые, неуверенные шаги... На секунду все замерло, затем шаги возобновились, но теперь стали медленными, шаркающими, с металлическим постукиванием. Ощущение времени и реальности происходящего возвратилось к Скарлетт, она подняла голову и увидела Мелани. В рваном пеньюаре, служившем ей ночной сорочкой, Мелани стояла на лестнице, сжимая тяжелую саблю Чарлза в немощной руке. Взгляд Мелани, казалось, сразу охватил представшую ей картину, страшную суть случившегося: распростертое в кровавой луже тело в синем мундире, шкатулочку на полу возле него и Скарлетт босиком, с большим пистолетом в руке, с посеревшим лицом.

В напряженной тишине их глаза встретились. Всегда такое кроткое лицо Мелани было исполнено мрачной гордости. Одобрение и свирепая радость — сродни огню, горевшему в груди Скарлетт, — сверкнули в ее улыбке.

«Что это... Что это? Да ведь она такая же, как я! Она чувствует то же, что и я! — пронеслось в голове Скарлетт в эту долгую‑долгую секунду. Она бы поступила так же!»

Взволнованно смотрела она на хрупкую, пошатывающуюся Мелани, к которой никогда не испытывала ничего, кроме презрения и неприязни. А сейчас, заглушая ненависть к этой женщине — к жене Эшли, — в душе Скарлетт зарождалось чувство восхищения и сродства. Ей, очистившейся в этот миг прозрения от всяких мелких чувств, за голубиной кротостью глаз и нежностью голоса Мелани открылась твердая, как сталь клинка, воля и мужество воина.

— Скарлетт! Скарлетт! — резко нарушили тишину слабые, испуганные голоса Сьюлин и Кэррин, приглушенные затворенной дверью, и тут же следом раздался вопль Уэйда:

— Тетя Мелли! Тетя!

Мелани быстро приложила палец к губам, опустила саблю на пол, с мучительными усилиями пересекла галерею и отворила дверь в комнату больных.

— Ну, чего вы переполошились, цыплята! — долетел оттуда ее спокойный шутливый голос. — Ваша сестрица хотела снять ржавчину с пистолета Чарлза, а он возьми да выстрели и напугал ее до полусмерти!.. Слышишь, Уэйд Хэмптон, мама выстрелила из пистолета твоего дорогого папы, и когда ты подрастешь, она и тебе даст из него пострелять.

«Как хладнокровно она лжет! — с восхищением подумала Скарлетт. — Я бы нипочем так быстро не сообразила. Только зачем лгать? Пусть бы знали, что я это сделала».

Она снова взглянула на распростертое у ее ног тело, и вдруг злоба и страх, утихнув, уступили место отвращению, и у нее задрожали колени. А Мелани уже снова приплелась к лестнице и стала спускаться, держась рукой за перила, закусив бескровную губу.

— Марш назад в постель, дурочка, ты же себя уложишь в могилу! — воскликнула Скарлетт, но полураздетая Мелани продолжала, хоть и с трудом, спускаться в холл.

— Скарлетт! — прошептала она. — Его же надо убрать отсюда и закопать. Может, он был не один, и если остальные обнаружат его здесь... — Она оперлась о плечо Скарлетт.

— Он был один, — сказала Скарлетт. — Я не видела больше никого из окна. Он, верно, дезертир.

— Даже если он был один, никто не должен ничего знать. Негры могут проболтаться, и тогда придут янки и заберут тебя. Скарлетт, нам надо спрятать его, пока все наши не вернулись с болота.

Лихорадочная настойчивость Мелани подействовала на Скарлетт; она стала напряженно размышлять.

— Я могу закопать его в углу сада под беседкой — там земля мягче, Порк недавно выкопал оттуда бочонок виски. Но как я перетащу его туда?

— Мы потащим вместе: ты за одну ногу, я за другую, — твердо сказала Мелани.

Против воли Скарлетт почувствовала, что ее восхищение Мелани растет.

— Ты не в состоянии кошку за лапу потащить, — сердито сказала она. — Я сама его потащу. А ты ложись в постель. Ты себя доконаешь. И не вздумай мне помогать, не то я отнесу тебя наверх на руках.

Бледное лицо Мелани расцвело нежной улыбкой.

— Ты такая хорошая, Скарлетт, — сказала она и легонько коснулась губами ее щеки. И не дав Скарлетт опомниться, прибавила: — Если ты сможешь его оттащить, я тем временем приберу тут... эту лужу... пока наши не вернулись. И знаешь что, Скарлетт...

— Ну?

— Как ты считаешь, это будет очень бесчестно — заглянуть к нему в ранец? Может, найдем чего‑нибудь поесть?

— Отнюдь не считаю, — сказала Скарлетт, раздосадованная тем, что не подумала об этом сама. — Погляди в ранце, а я погляжу в карманах.

Нагнувшись над убитым и преодолевая отвращение, она расстегнула все пуговицы на мундире и принялась методично обшаривать карманы.

— Боже милостивый! — прошептала она, вытаскивая толстый бумажник, завернутый в тряпку, — Мелани... Мелли, по‑моему, тут куча денег!

Мелани ничего не ответила. Она внезапно опустилась на пол и прислонилась спиной к стене.

— Ты погляди, — проговорила она дрогнувшим голосом. — А у меня что‑то немного закружилась голова.

Скарлетт сорвала тряпку и дрожащими руками раскрыла кожаный бумажник.

— Взгляни, Мелли! Ты только взгляни!

Мелани перевела взгляд, и глаза у нее расширились. Бумажник был набит мятыми купюрами — зелеными федеративными вперемежку с банкнотами Конфедерации, — и среди них поблескивали две пятидолларовые золотые монеты и одна монета в десять долларов.

— Да перестань ты их пересчитывать, — сказала Мелани, видя, что Скарлетт перебирает пальцами деньги. — У нас нет времени...

— Ты понимаешь, Мелани, ведь это значит, что мы будем сыты!

— Да, да, дорогая. Я понимаю, но сейчас нам не до того. Погляди в других карманах, а я погляжу в ранце.

Скарлетт никак не могла заставить себя расстаться с бумажником. Ослепительные видения открывались ее взору: деньги, настоящие деньги, лошадь этого янки, много еды! Есть все же бог, в конце концов, и он проявил о ней заботу, хотя и весьма странным способом. Она сидела на корточках и, улыбаясь, смотрела на бумажник. Будет еда! Мелани вырвала бумажник у нее из рук.

— Давай скорей! — сказала она.

В карманах штанов не оказалось ничего, кроме огарка свечи, большого складного ножа, куска жевательного табака и обрывка шпагата. Из ранца же Мелани извлекла небольшую пачку кофе, которую она с наслаждением понюхала, точно это были духи, одну сухую галету и — изменившись в лице — миниатюрный портрет маленькой девочки в золотой, усыпанной мелким жемчугом рамке; за этим последовали: гранатовая брошь, два массивных золотых браслета с тоненькими золотыми цепочками, свисавшими с запоров, золотой наперсток, маленькая серебряная детская чашечка, золотые ножницы для рукоделия, кольцо с большим бриллиантом и серьги с бриллиантовыми подвесками грушевидной формы, в каждой из которых, даже на неопытный взгляд Скарлетт и Мелани, было не меньше чем по карату.

— Вор! — пролепетала Мелани, отшатнувшись от неподвижного тела. — Скарлетт, он же все это украл!

— Конечно, — сказала Скарлетт. — И забрался сюда в надежде обворовать и нас.

— Я очень рада, что ты убила его, — сказала Мелани, и взгляд ее стал жестким. — А теперь, дорогая, скорее тащи его отсюда.

Скарлетт наклонилась, ухватилась за обутые в сапоги ноги убитого и потянула. До чего же он был тяжел и какой неожиданно слабой показалась она себе! Что, если у нее не хватит сил сдвинуть его с места? Она повернулась к трупу спиной, подхватила его ноги под мышки и, наклонившись всем телом вперед, сделала шаг. Труп двинулся, и она рывками поволокла его за собой. Нарыв на пальце, про который она от волнения совсем позабыла, напомнил о себе такой острой, пульсирующей болью, что она скрипнула зубами и переступила на пятку. Напрягая все силы, она потащила труп через холл, оставляя позади красную полосу. Пот выступил у нее на лбу.

— Если он зальет кровью двор, мы не сможем уничтожить следы, — еле выдохнула она. — Дай мне твой пеньюар, Мелли, я закутаю ему голову.

Бледное лицо Мелани стало пунцовым.

— Не будь дурочкой, я не стану на тебя смотреть, — сказала Скарлетт. — На мне нет ни нижней юбки, ни панталон, не то я бы сняла.

Сжавшись в комочек у стены, Мелани стянула через голову рваное полотняное одеяние и молча перебросила его Скарлетт, старательно прикрывая свою наготу руками.

«Какое счастье, что я не наделена такой непомерной стыдливостью», — подумала Скарлетт, обертывая рваным пеньюаром изуродованную голову солдата и не столько видя, сколько чувствуя, какие муки испытывает от своей наготы Мелани.

Рывками потащила она труп через холл, добралась до заднего крыльца и, остановившись, чтобы вытереть пот со лба, оглянулась на Мелани, все еще сидевшую у стены, подтянув острые колени к обнаженной груди. «Как это глупо — страдать в такую минуту из‑за своей застенчивости, — с раздражением подумала Скарлетт. — Конечно, это все от ее непомерной благовоспитанности...» В Скарлетт это всегда возбуждало только презрение... И тут ей неожиданно стало стыдно. Ведь что ни говори... что ни говори, а Мелани вылезла из постели, хотя еще не оправилась после родов, схватила тяжеленную саблю и бросилась ей, Скарлетт, на выручку. На это требовалось особое мужество — такое, каким сама Скарлетт, если признаться честно, не обладала — крепкая, как шелковая пряжа, несокрушимая, как сталь, сила духа, проявленная Мелани еще на долгом‑долгом пути домой в страшную ночь падения Атланты. Это скромное, не бросающееся в глаза мужество, отличавшее всех Уилксов, было чуждо Скарлетт, но она, хоть и против воли, отдавала ему должное.

— Ложись в постель, — бросила она через плечо. — Ты же отправишься на тот свет, если не ляжешь. Я закопаю его, а потом все здесь приберу.

— Я вытру это лоскутным ковриком, — сказала Мелани, с перекошенным лицом глядя на лужу крови.

— Ладно, вгоняй себя в гроб, мне‑то что! И если кто‑нибудь вернется с болота раньше, чем я управлюсь, не выпускай их из дома и скажи, что к нам приблудилась лошадь — забрела неизвестно откуда.

Мелани осталась сидеть, вся дрожа, в теплых утренних лучах солнца и только закрыла ладонями уши, когда голова убитого стала со стуком пересчитывать ступеньки крыльца.

Никто не спросил, откуда взялась лошадь. И так было ясно, что она отбилась после сражения от какого‑нибудь отряда, и все были ей только рады. Янки лежал в земле, в неглубокой яме, которую Скарлетт вырыла под беседкой. Подпорки, державшие густые виноградные плети, подгнили, Скарлетт ночью подрубила их кухонным ножом, и они повалились бесформенной грудой на свежезасыпанную яму. Наводя порядок в имении, Скарлетт не трогала только эти подпорки, не требовала, чтобы их поставили на место, и если негры и догадывались, что тому причиной, они держали язык за зубами.

Призрак убитого ни разу не встал из своей могилы‑ямы, чтобы потревожить ее покой, когда она долгими ночами лежала без сна, так измотавшись за день, что все попытки уснуть были тщетны. Она не испытывала ни угрызений совести, ни страха. И сама изумлялась — почему? Ведь еще месяц назад она никак не смогла бы совершить того, что совершила. Прелестная юная миссис Гамильтон с ее обворожительными ямочками на щеках и по‑детски беспомощными ужимками, позвякивая сережками, одним выстрелом превратила лицо человека в кровавое месиво, а потом закопала труп в наспех вырытой собственными руками яме! И Скарлетт мрачно усмехнулась, думая о том, какой ужас обуял бы всех ее знакомых, доведись им это узнать.

«Не стану больше об этом думать, — говорила она себе. — Теперь все позади, и я была бы слабоумной идиоткой, если бы не выстрелила в него. Но верно... верно, я все‑таки немножко не та, что раньше: до возвращения в Тару я бы этого сделать не смогла».

Она не отдавала себе в этом отчета, однако в глубине сознания у нее уже прочно засела мысль, придававшая ей сил всякий раз, когда она сталкивалась с какой‑нибудь сложной или неприятной проблемой: «Если я могла убить, значит, это‑то уж и подавно смогу».

Но совершившаяся в ней перемена была глубже, чем ей представлялось. С той минуты, когда она лежала, уткнувшись лицом в грядку за негритянскими хижинами в Двенадцати Дубах, сердце ее день ото дня все более ожесточалось, одеваясь в черствость, как в броню.

Теперь, когда у нее появилась лошадь, Скарлетт могла наконец узнать, что делается у соседей. После возвращения домой она уже тысячу раз задавала себе в отчаянии вопрос: «Неужели мы единственные оставшиеся в живых во всей округе? Неужели все остальные поместья сожжены дотла? Или все успели спастись в Мэйкон?» Вспоминая руины Двенадцати Дубов, усадьбы Макинтошей и домишко Слэттери, она страшилась узнать правду. Но лучше уж узнать самое скверное, чем терзаться в неведении. И Скарлетт решила поехать прежде всего к Фонтейнам — не столько потому, что они были ближайшими соседями, сколько потому, что рассчитывала на помощь доктора Фонтейна. Мелани нуждалась в докторе. Она все еще не оправилась после родов, и ее слабость и бледность пугали Скарлетт.

И как только больной палец на ноге немного зажил и ей удалось натянуть туфлю, она тут же оседлала лошадь янки. Поставив одну ногу в укороченное стремя, другую закинув за луку мужского (за неимением дамского) седла, она пустила лошадь через поля по направлению к Мимозе, заранее приготовившись бесстрастно взглянуть на пепелище.

К ее радости и удивлению, выцветший желтый оштукатуренный дом все так же стоял среди мимоз, и вид у него был совсем как прежде. Теплая волна прихлынула к сердцу Скарлетт, и слезы счастья едва не навернулись ей на глаза, когда три женщины с радостными приветствиями выбежали из дома и принялись ее целовать.

Но как только первые изъявления дружеских чувств утихли и все расселись в столовой, по спине Скарлетт пробежал холодок. Янки не дошли до Мимозы, так как она лежала в стороне от главной дороги, и у Фонтейнов сохранился весь скот и все запасы продовольствия, но над усадьбой нависла та же гнетущая тишина, что и над Тарой, что и над всей округой. Все негры, за исключением четырех женщин, прислуживавших в доме, разбежались, испуганные приближением янки. В доме не осталось ни одного мужчины, если, конечно, не считать Джо, сынишки Салли, едва вышедшего из пеленок. Женщины жили одни: бабушка Фонтейн, которой шел восьмой десяток, ее сноха, которую все еще именовали Молодой Хозяйкой, хотя ей уже перевалило за пятьдесят, и Салли, которой только что сравнялось двадцать. До ближайших поместий далеко, беззащитность женщин бросалась в глаза, но если им и было страшно, то они не подавали виду. Возможно, подумалось Скарлетт, они не жалуются, потому что слишком боятся фарфорово‑хрупкой, но несгибаемой бабушки Фонтейн. Скарлетт сама побаивалась этой старой дамы с весьма острым глазом и не менее острым языком, в чем ей не раз приходилось убеждаться в прошлом.

И хотя этих женщин не связывали кровные узы, а разница в возрасте была очень внушительной, совместно перенесенные испытания сроднили их. Все три носили черные траурные, домашним способом перекрашенные платья, все были истощены, озабочены, печальны, и хотя ни одна из них не держалась хмуро или угрюмо, ни одна не произнесла ни слова жалобы, за их улыбками и радушными приветствиями угадывалась внутренняя горечь. Ведь их рабы разбежались, деньги обесценились, Джо, муж Салли, умер в Геттисберге, и Молодая Хозяйка тоже овдовела, так как доктор Фонтейн‑младший скончался от дизентерии в Виксберге. Двое других мальчиков Фонтейн, Алекс и Тони, находились где‑то в Виргинии, и о их судьбе ничего не было известно, а старый доктор Фонтейн ушел с кавалерией Уиллера.

— Этому старому дураку уже стукнуло семьдесят три, а он все пыжится, хочет казаться молодым, хотя набит ревматизмом с головы до пят не хуже, чем боров блохами, — сказала бабушка, и в глазах ее блеснула гордость за мужа, которую она пыталась замаскировать резкостью своих слов.

— Доходят до вас какие‑нибудь вести из Атланты? — спросила Скарлетт, как только они уселись в столовой. — Мы в Таре как в глухой темнице.

— Да что ты, детка, — сказала старая дама, как всегда завладевая разговором. — Мы в таком же положении, как и вы. Знаем только, что Шерман в конце концов все‑таки взял город.

— Так. А что он делает теперь? Где он сейчас ведет сражение?

— Да откуда три одинокие женщины, заточенные здесь, в поместье, могут знать о том, что делается на войне, когда уже невесть сколько времени мы не получаем ни писем, ни газет? — ворчливо сказала старая дама. — Одна из наших негритянок перемолвилась словом с негритянкой, которая видела негритянку, которая побывала в Джонсборо, — вот единственный способ, каким доходят до нас вести. Янки будто бы расположились в Атланте как у себя дома, чтобы дать отдых солдатам и лошадям, — так нам было сказано, а уж верно это или нет, мне известно не больше, чем тебе. Хотя, конечно, отдых им, я думаю, необходим после такой трепки, какую мы им задали.

— И подумать только, что вы все это время были у себя в имении, а мы ничего об этом не знали! — воскликнула Молодая Хозяйка. — Простить себе не могу, что не поехала поглядеть, как там у вас! Но после того как негры разбежались, здесь столько навалилось дел — просто невозможно было вырваться. И все же следовало бы выкроить время. Не по‑соседски получилось. Но мы, конечно, думали, что янки сожгли Тару, как они сожгли Двенадцать Дубов и дом Макинтошей, а вы все перебрались в Мэйкон. Нам и в голову не приходило, что вы остались дома, Скарлетт.

— А как мы могли думать иначе, когда ваши негры забежали сюда с вытаращенными от ужаса глазами и сказали, что янки хотят сжечь Тару? — вмешалась бабушка.

— И мы даже видели... — начала было Салли.

— Не перебивай меня, сделай милость, — оборвала ее старая дама. — Они рассказали, что янки разбили свой лагерь у вас на плантации, а вы все готовитесь бежать в Мэйкон. И в ту же ночь мы увидели зарево как раз над вашим поместьем. Оно полыхало не один час и так напугало наших дурных негров, что они все тут же дали деру. А что у вас там горело?

— Хлопок — весь хлопок, на сто пятьдесят тысяч долларов, — с горечью сказала Скарлетт.

— Скажи спасибо, что не дом, — изрекла старая дама, уперев подбородок в сложенные на палке руки. — Хлопок всегда можно вырастить, а попробуй вырасти дом. Кстати, вы уже начали собирать хлопок?

— Нет, — сказала Скарлетт. — Да он почти весь погиб, вытоптан. На самом дальнем поле у ручья осталось еще немного — тюка на три, может, наберется, не больше, а что толку? Все наши негры с плантации разбежались, собирать некому.

— Нет, вы только ее послушайте: «Все негры с плантации разбежались, собирать некому!» — передразнила Скарлетт старая дама, бросая на нее уничтожающий взгляд. — А на что же у вас эти хорошенькие ручки, барышня, и ручки ваших двух сестричек?

— У меня? Чтобы я собирала хлопок? — обомлев от возмущения, вскричала Скарлетт, словно бабушка предложила ей совершить какую‑то дикую непристойность. — Чтобы я работала, как негритянка, на плантации? Как эта белая голытьба? Как девчонки Слэттери?

— Белая голытьба, слыхали! Да, уж воистину вы — утонченное, изнеженное поколение! Позвольте мне доложить вам, голубушка, что когда я была девчонкой, мой отец потерял все до последнего гроша, и пока он не скопил немного денег, чтобы принанять негров, я не считала для себя зазорным честно выполнять любую грубую работу, хотя бы и на плантации. Я и мотыгой землю рыхлила, и хлопок собирала, а ежели понадобится, то и сейчас могу. И похоже, что придется. Белая голытьба, скажет тоже!

— Но маменька! — вскричала ее сноха, бросая молящие взоры на Скарлетт и Салли в надежде, что они помогут ей умиротворить разгневанную старую даму. — Это же было давно, в другие совсем времена, жизнь ведь так меняется.

— Ничего не меняется, когда приходит нужда честно потрудиться, — заявила проницательная и несгибаемая старая дама, не поддавшись на увещевания. — Послушала бы твоя маменька, Скарлетт, как ты стоишь тут и заявляешь, что честный труд — это не для порядочных людей, а для белой голытьбы! «Когда Адам пахал, а Ева пряла...»[[8]](#footnote-8).

Стремясь перевести разговор на другое, Скарлетт торопливо спросила:

— А что слышно о Тарлтонах и Калвертах? Их усадьбы тоже сожгли? А сами они схоронились в Мэйконе?

— Янки не дошли до Тарлтонов. Их усадьба тоже ведь, как наша, в стороне от главной дороги. А вот до Калвертов они добрались, и угнали весь их скот, и порезали птицу, а негров забрали с собой... — принялась рассказывать Салли.

Но бабушка не дала ей закончить.

— Ха! Они наобещали негритянкам шелковых платьев да золотых побрякушек — вот чем они их заманивали. И Кэтлин Калверт рассказывала, что, когда янки уходили, она видела у некоторых из них за седлом этих черномазых идиоток. Ну что ж, вместо платьев и сережек солдаты наградят их цветными младенцами, и я не думаю, чтобы кровь янки особенно улучшила их породу.

— Ой, бабушка Фонтейн!

— Не делай, пожалуйста, постного лица, Джейн. Мне кажется, мы все здесь были замужем, или я ошибаюсь? И видит бог, нам не привыкать опять любоваться на крошечных мулатиков.

— А почему янки не сожгли усадьбы Калвертов?

— Их дом уцелел благодаря северному акценту второй миссис Калверт и ее управляющего Хилтона, — сказала старая дама, никогда не называвшая бывшую гувернантку Калвертов иначе, как «вторая миссис Калверт», хотя первая жена мистера Калверта скончалась двадцать лет тому назад.

— «Мы стойкие сторонники Федерации», — иронически прогнусавила бабушка, подражая выговору северян. — Кэтлин говорит, они оба клялись и божились, что весь калвертовский выводок — чистокровные янки. Это в то время, как мистер Калверт сложил голову где‑то в джунглях! А Рейфорд под Геттисбергом, а Кэйд сражается в Виргинии! Кэтлин говорит, лучше бы они сожгли дом, чем сносить такое унижение. Кэйд, говорит она, сойдет с ума, если узнает об этом, когда вернется домой. Вот что значит — взять в жены янки. У них же ни гордости, ни чувства приличия — на первом месте забота о собственной шкуре... А как это они пощадили вашу усадьбу, Скарлетт?

Скарлетт секунду помедлила с ответом. Она знала, что следующим вопросом будет: «А как все ваши? Как здоровье дорогой Эллин?» — и понимала: у нее не хватит духу сказать им, что Эллин нет в живых. Ведь если она произнесет эти слова, если допустит, чтобы они разбередили ей душу в присутствии этих участливых, сердобольных женщин, ей уже не сдержать слез: они будут литься и литься, пока ей не станет плохо. Но этого нельзя допустить. Ни разу после возвращения домой не позволила она себе выплакаться как следует, а если хоть раз дать волю слезам, от ее так старательно взращенного в себе мужества не останется и следа. Но, глядя в смятении на дружеские лица Фонтейнов, Скарлетт понимала, что эти люди не простят ей, если она утаит от них смерть Эллин. Особенно — бабушка, редко кого дарившая своей благосклонностью и пренебрежительным взмахом сухонькой ручки умевшая показать, что знает цену почти каждому из жителей графства, и вместе с тем искренне привязанная к Эллин.

— Ну, что же ты молчишь? — произнесла бабушка, уставя на нее пронзительный взгляд. — Ты что — не знаешь, как это получилось?

— Видите ли, дело в том, что я вернулась домой лишь на другой день после сражения, — торопливо начала объяснять Скарлетт. — Янки тогда уже ушли. А папа... папа сказал, что он убедил янки не жечь дом, потому что Сьюлин и Кэррин лежали в тифу, и их нельзя было трогать.

— Впервые в жизни слышу, чтобы янки поступали как порядочные люди, — сказала бабушка, явно недовольная тем, что ей сообщают что‑то хорошее о захватчиках. — Ну, а сейчас девочки как?

— Уже лучше, много лучше, они почти поправились, только очень слабы, — сказала Скарлетт. И, чувствуя, что страшивший ее вопрос вот‑вот сорвется у бабушки с языка, она еще торопливей перевела разговор на другое: — Я... я хотела спросить, не можете ли вы одолжить нам немного продуктов? Янки сожрали все подчистую, как саранча. Но если у вас самих туго, то вы, пожалуйста, скажите мне прямо, без всяких стеснений и...

— Пришли Порка с повозкой, и вы получите половину всего, что у нас есть: риса, муки, свинины, немножко цыплят, — сказала старая дама и как‑то странно поглядела на Скарлетт.

— Нет, зачем же, это слишком много! Право же, я...

— Молчи! Не желаю ничего слушать. Для чего же тогда соседи?

— Вы так добры, что я просто не знаю... Но мне пора. Дома начнут беспокоиться.

Бабушка внезапно поднялась и взяла Скарлетт под руку.

— Вы обе оставайтесь здесь, — распорядилась она и подтолкнула Скарлетт к заднему крыльцу. — Мне нужно перемолвиться словечком с этой малюткой. Помогите мне спуститься с лестницы, Скарлетт.

Молодая Хозяйка и Салли попрощались со Скарлетт, пообещав в самое ближайшее время приехать ее проведать. Они сгорали от любопытства, но вместе с тем знали: если бабушка сама не найдет нужным поведать им, какой разговор состоялся у нее со Скарлетт, они никогда этого не узнают. «Старухи — трудный народ», — прошептала Молодая Хозяйка на ухо Салли, когда они обе принялись за прерванное шитье.

Скарлетт стояла, держа лошадь под уздцы, тупая боль сдавила ее сердце.

— Ну, — сказала бабушка, пронзая ее взглядом, — что там еще случилось у тебя дома? Что ты от нас скрываешь?

Скарлетт поглядела в зоркие старые глаза и поняла, что она может сказать бабушке Фонтейн всю правду без утайки и не заплакать. Никто не отважится заплакать в присутствии бабушки Фонтейн без ее недвусмысленно выраженного поощрения.

— Мама умерла, — сказала Скарлетт просто.

Рука, опиравшаяся на руку Скарлетт, так напряглась, что сделала ей больно, сморщенные веки, задрожав, прикрыли желтые глаза.

— Янки убили ее?

— Она умерла от тифа. За день до моего возвращения.

— Перестань об этом думать, — приказала бабушка, и Скарлетт увидела, как она сглотнула подкативший к горлу комок. — А как отец?

— Папа... папа не в себе.

— Как это понять? Говори ясней. Он болен?

— Это потрясло его... Он какой‑то странный... не в себе...

— Что значит — не в себе? Ты хочешь сказать, что он повредился умом?

Было большим облегчением услышать, что кто‑то смело называет вещи своими именами. Как хорошо, что эта старая женщина не пытается выражать ей сочувствие, иначе она бы разревелась.

— Да, — сказала она глухо, — он лишился рассудка. Он живет все время как во сне, а временами словно бы даже не помнит, что мама умерла. О, миссис Фонтейн, это выше моих сил — видеть, как он часами сидит, поджидая ее, так терпеливо‑терпеливо, а ведь всегда был нетерпелив, как ребенок. Но еще хуже, когда он вдруг вспомнит, что ее не стало. То сидит за часом час, прислушиваясь, не раздадутся ли ее шаги, то вдруг как вскочит, выбежит из дома и — прямо на кладбище. А потом приплетется обратно, лицо все в слезах, и ну твердить снова и снова, да так, что хочется завизжать: «Кэти — Скарлетт, миссис О’Хара умерла, твоя мама умерла!» И эти его слова, сколько бы он их ни повторял, звучат для меня так, словно я их слышу впервые. А иногда по ночам он начинает ее звать, и тогда я вскакиваю с постели, иду к нему и говорю, что она пошла проведать заболевшую негритянку. И он начинает ворчать, что она не жалеет себя, выхаживая больных. И уложить его обратно в постель бывает нелегко. Он совсем как ребенок. О, если бы доктор Фонтейн был здесь! Я уверена, что он как‑нибудь помог бы папе. И Мелани тоже нужен доктор. Она плохо поправляется после родов...

— Мелли родила? Она с вами?

— Да.

— А почему она здесь? Почему не в Мэйконе у своих родственников, у тетки? Мне всегда казалось, что вы не слишком‑то к ней расположены, мисс, хотя она и доводится родной сестрой Чарли. Ну‑ка объясни, как это произошло.

— Это очень длинная история, миссис Фонтейн. Может быть, мы вернемся в дом и вы присядете?

— Я прекрасно могу слушать стоя, — отрезала бабушка. — А если ты начнешь рассказывать при них, они расхныкаются, разжалобят тебя и доведут до слез. Ну, а теперь выкладывай.

Скарлетт начала, запинаясь, описывать осаду Атланты и состояние Мелани, и по мере того как под острым, пронзительным взглядом старой дамы, ни на минуту не сводившей с нее глаз, текло ее повествование и развертывались события, она находила нужные слова для описания пережитых ею ужасов. Все живо воскресло в ее памяти: одуряющий зной того памятного дня, когда начались роды, ее отчаянный страх, их бегство и вероломство Ретта. Она описала эту сумасшедшую, полную призраков ночь, мерцание бивачных огней — то ли в стане конфедератов, то ли у неприятеля, обгорелые печные трубы, возникшие перед ней на рассвете, трупы людей и лошадей вдоль дороги, разоренный край, голод, ужас при мысли, что и Тара лежит в развалинах.

— Мне казалось, что надо только добраться домой, к маме, и она как‑то сумеет все уладить, и я сброшу с плеч эту ношу. Возвращаясь домой, я думала: самое страшное уже позади. Но, узнав, что мама умерла, я поняла: вот оно — самое страшное.

Она опустила глаза и умолкла, ожидая, что скажет бабушка Фонтейн. «Верно, до нее не дошло, чего я натерпелась», — мелькнула у Скарлетт мысль — слишком уж долгим показалось ей наступившее молчание. Но вот старая дама заговорила, и голос ее звучал необычайно тепло — никогда еще Скарлетт не слыхала, чтобы бабушка Фонтейн так тепло говорила с кем‑нибудь.

— Дитя мое, это очень плохо для женщины — познать самое страшное, потому что тогда она перестает вообще чего бы то ни было бояться. А это скверно, когда у женщины нет страха в душе. Ты думаешь, я ничего не поняла из твоего рассказа, не поняла, каково тебе пришлось? Нет, я поняла, все поняла. Примерно в твоем возрасте я видела бунт индейцев — это было после резни в форте Миме. Да, примерно в твоем возрасте, — повторила она каким‑то отрешенным тоном, — ведь это было пятьдесят с лишним лет назад. Мне удалось заползти в кусты и спрятаться: я лежала там и видела, как горел наш дом и как индейцы снимали скальпы с моих братьев и сестер. А я лежала в кустах и могла только молиться богу, чтобы сполохи пожара не открыли индейцам меня в моем укрытии. А они выволокли из дома мою мать и убили ее в двадцати шагах от меня. И с нее тоже сняли скальп. И один индеец несколько раз подходил к ней и снова и снова ударял ее томагавком по голове. А я... я, мамина любимица, лежала там, в кустах, и видела все это... Наутро я направилась к ближайшему жилью, а оно было за тридцать миль от нашего дома. Я шла туда трое суток, пробираясь болотами, прячась от индейцев, и потом все думали, что я лишусь рассудка... Вот тут‑то я и встретила доктора Фонтейна. Он лечил меня... Да, да, пятьдесят лет минуло с тех пор, но с той минуты я уже никогда не боялась никого и ничего, потому что самое страшное, что могло случиться со мной, уже случилось. И то, что я больше никогда не знала страха, принесло мне в жизни много бед. Бог предназначил женщине быть скромным, боязливым существом, а если женщина ничего не боится, в этом есть что‑то противное природе... Нужно сохранить в себе способность чего‑то бояться, Скарлетт... так же, как способность любить...

Голос ее замер, она стояла молча, и взгляд ее был обращен к тому дню, пол‑столетия назад, когда она в последний раз испытала страх. Скарлетт нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Она надеялась, что бабушка поймет, как ей сейчас трудно, и, может быть, даже укажет какой‑то выход. А вместо этого она, как все старики, принялась толковать о том, что произошло, когда никого еще и на свете не было, и что сейчас не может никого интересовать. Скарлетт пожалела, что разоткровенничалась с ней.

— Ладно, поезжай домой, дитя мое, а то там переполошатся, — неожиданно сказала бабушка. — И сегодня же после обеда пришли Порка с повозкой... И не воображай, что когда‑нибудь сможешь сбросить свою ношу с плеч. Потому что ты не сможешь. Я знаю.

Бабье лето затянулось в этом году до ноября, дни стояли теплые, и у обитателей Тары немного посветлело на душе. Самое страшное осталось позади. Теперь у них была лошадь, и можно было ездить, а не ходить пешком. На завтрак появилась яичница и на ужин — жареная свинина, и это вносило приятное разнообразие в меню из ямса, арахиса и сушеных яблок, а один раз они даже устроили себе праздник с помощью жареного цыпленка. Старую свинью в конце концов удалось изловить, и она вместе со своим потомством весело похрюкивала и зарывалась в землю в подполе, куда их упрятали. Иной раз поросята поднимали такую шумную возню, что никто в доме не слышал друг друга, но шум этот был приятен. Он напоминал о том, что, когда придут холода и настанет время резать свиней, у господ будет свежая свинина, а у негров — требуха, и значит, едой на зиму обеспечены все.

Посещение Фонтейнов укрепило дух Скарлетт больше, чем она сама это понимала. Сознание, что где‑то есть соседи, что кто‑то из старых друзей уцелел и уцелели их дома, развеяло чувство одиночества и невозвратимой утраты, угнетавшее ее первые недели по возвращении домой. И Фонтейны, и Тарлтоны, чьи плантации лежали в стороне от пути, по которому шли войска, щедро делились своими небольшими запасами продуктов. Сосед должен помогать соседу — таков был неписаный закон этого края, — и никто не соглашался взять у Скарлетт ни единого пенни. Она бы сделала то же самое для них, говорили ей; она все возместит им на будущий год натурой, когда ее плантации начнут давать урожай.

Теперь у Скарлетт была еда для всех ее домочадцев, была лошадь, были деньги и драгоценности, взятые у дезертира‑янки, и на первый план выступила потребность в одежде. Она понимала, что послать Порка на юг, чтобы купить одежду, было рискованно — янки или свои же конфедераты могли отнять у него лошадь. Но так или иначе, деньги на приобретение одежды и лошадь с повозкой для поездки у нее были и оставалась надежда, что Порку повезет и он благополучно возвратится домой. Да, худшее осталось позади.

Каждое утро, вставая с постели, Скарлетт благодарила бога за ясное голубое небо и теплое солнце, ибо каждый погожий день отодвигал неотвратимую минуту, когда без теплой одежды уже не обойтись. И с каждым теплым днем росли груды хлопка в опустевших негритянских хижинах — единственное место на плантации, где теперь можно было хранить собранный хлопок, которого в поле оказалось даже больше, чем предполагал Порк, — его, по‑видимому, могло набраться тюка четыре, и скоро все хижины будут забиты им до отказа.

Скарлетт не намеревалась собирать хлопок сама, даже после язвительной отповеди бабушки Фонтейн. Ей казалось просто невообразимым, чтобы она, Скарлетт О’Хара, ныне полновластная хозяйка поместья, пошла работать в поле. Она тем самым поставила бы себя в один ряд с голодранкой миссис Слэттери и ее Эмми. Скарлетт рассчитывала, что собирать хлопок будут негры, а она вместе с выздоравливающими сестрами займется домашним хозяйством, однако тут ей пришлось столкнуться с кастовым чувством, еще более сильным, чем ее собственное. При одном упоминании о работе в поле Порк, Мамушка и Присей подняли страшный крик. Они твердили одно: «Мы — домашняя челядь, мы не для полевых работ». Мамушка особенно яростно утверждала, что она никогда не работала даже на усадьбе, не то что на плантации. Она и родилась‑то в барском доме у самих Робийяров, а не в негритянской хижине, и выросла прямо в спальне у Старой Хозяйки — спала на полу на тюфячке в ногах ее кровати. Одна только Дилси не произнесла ни слова и в упор, не мигая, так поглядела на Присей, что та съежилась под ее взглядом.

Скарлетт не пожелала слушать их возмущенные протесты и отвезла всех на хлопковое поле. Но Мамушка и Порк работали так медленно и так при этом причитали, что Скарлетт не выдержала и отослала Мамушку на кухню заниматься стряпней, а Порка снарядила в лес с силком и на речку с удочкой — добывать кроликов и опоссумов и удить рыбу. Собирать хлопок было ниже его достоинства, а охота и рыбная ловля самолюбия не ущемляли.

После этого Скарлетт попыталась вывести в поле своих сестер и Мелани, но и от них толку было мало. Мелани охотно, аккуратно и быстро проработала под солнцем час, а затем беззвучно лишилась чувств, после чего ей неделю пришлось пролежать в постели. Сьюлин — угрюмая, со слезами на глазах — попыталась тоже упасть в обморок, но мгновенно пришла в себя и зашипела как ошпаренная кошка, когда Скарлетт плеснула ей в лицо водой из тыквенной бутылки. Кончилось тем, что Сьюлин наотрез отказалась работать.

— Не стану я работать в поле, как негритянка! Ты не можешь меня принудить. Что, если кто‑нибудь из наших друзей узнает об этом? Что, если... если мистер Кеннеди услышит? Господи, да если б мама...

— Ты только помяни еще раз маму, Сьюлин О’Хара, и я тебя отхлестаю по щекам! — вскричала Скарлетт. — Мама работала на этой плантации побольше любой негритянки, и ты знаешь это, госпожа белоручка!

— Неправда! Во всяком случае, не в поле! И меня ты не заставишь! Я пожалуюсь на тебя папе, и он не велит мне работать.

— Посмей только беспокоить отца своими глупостями! — прикрикнула на нее Скарлетт, исполненная страха за Джералда и злобы на сестру.

— Я помогу тебе, сестричка, — кротко сказала Кэррин. — Я поработаю за Сью и за себя. Она еще не поправилась, ей вредно быть на солнце.

— Спасибо тебе, малышка, — благодарно сказала Скарлетт, не без тревоги, однако, поглядев на младшую сестру. Задумчивое личико Кэррин, прежде такое бело‑розовое и нежное, как лепестки цветущих яблонь, кружимые в воздухе весенним ветерком, утратило теперь все оттенки розового, сохранив лишь сходство с бледным цветком. После того как Кэррин пришла в себя и обнаружила, что Эллин больше нет, что Скарлетт превратилась в фурию и весь мир изменился неузнаваемо, а непрестанный труд сделался законом их существования, она стала молчалива и жила, казалось, как в тумане. Хрупкая натура Кэррин никак не могла примениться к новому образу жизни. Ее разум не в состоянии был охватить всего, что произошло вокруг, и она, словно лунатик, бродила по усадьбе, послушно выполняя указания Скарлетт. Она была очень слаба — и с виду, да и по существу, — но покорна, старательна и услужлива. В те минуты, когда она не была занята какой‑нибудь порученной ей работой, ее пальцы перебирали четки, а губы шептали молитвы: она молилась о матери и о Бренте Тарлтоне. Скарлетт и не предполагала, что смерть Брента будет для нее таким ударом и что ее печаль неисцелима. Для Скарлетт Кэррин все еще была «малышка» — слишком еще дитя, чтобы у нее мог быть настоящий роман.

Стоя под солнцем между рядами хлопка, чувствуя, как от бесконечных наклонов и выпрямлений разламывается спина и горят загрубевшие мозолистые ладони, Скарлетт подумала о том, как хорошо было бы иметь сестру, в которой сила и настойчивость Сьюлин сочетались бы с мягкостью Кэррин. Ведь Кэррин собирала хлопок так исправно и прилежно. Однако через час уже стало ясно, что это не Сьюлин, а Кэррин недостаточно еще оправилась для такой работы. И Скарлетт отослала домой и ее.

Теперь между длинных рядов хлопчатника трудились только Скарлетт, Дилси и Присей. Присей собирала хлопок лениво, с прохладцей и не переставала жаловаться на боль в ногах, ломоту в спине, схватки в животе и усталость, пока мать не кинулась на нее со стеблем хлопчатника и не отстегала так, что та подняла страшный визг. После этого работа стала спориться у нее лучше, но она старалась держаться на безопасном расстоянии от матери.

Дилси работала молча, неутомимо, как машина, и Скарлетт, которая уже едва могла разогнуть спину и натерла себе плечо тяжелой сумкой, куда собирала хлопок, подумала, что такие работники, как Дилси, на вес золота.

— Дилси, — сказала она, — когда вернутся хорошие времена, я не забуду, как ты себя показала в эти дни. Ты молодчина.

Лицо бронзовой великанши не расплылось от ее похвалы в довольной ухмылке и не сморщилось от смущения, как у других негров. Оно осталось невозмутимым. Дилси повернулась к Скарлетт и сказала с достоинством:

— Спасибо, мэм. Но мистер Джералд и миссис Эллин всегда были очень добры ко мне. Мистер Джералд купил мою Присей, чтобы я не тосковала по ней, и я этого не забыла. Я ведь наполовину индианка, а наш народ не забывает тех, кто делает нам добро. Но я недовольна моей Присей. От нее мало толку. Похоже, она чистая негритянка, в отца пошла. Отец‑то ведь у нее был большой шалопай.

Хотя Скарлетт, в сущности, не получила помощи ни от кого, кроме Дилси, и ей самой пришлось взяться за сбор хлопка, она, невзирая на усталость, воспрянула духом, видя, как хлопок медленно, но неуклонно перекочевывает с плантации в хижины. В хлопке было что‑то придававшее ей уверенность — какая‑то надежность. Тара разбогатела на хлопке, как и весь Юг, а Скарлетт была в достаточной мере южанкой, чтобы верить: и Тара, да и весь Юг снова подымут голову над красными просторами земли.

Конечно, хлопка она собрала не так уж много, но все же это кое‑что. Она выручит за него немного конфедератских денег, и это даст ей возможность приберечь зеленые купюры и золото из бумажника янки до тех пор, когда без них нельзя будет обойтись. Весной она постарается вызволить Большого Сэма и других рабов с плантации, которых мобилизовало правительство Конфедерации, а если их не отпустят, тогда на деньги янки она купит рабов у кого‑нибудь в округе. И весной будет сеять и сеять... Распрямив натруженную спину, она окинула взглядом побуревшие к осени поля и увидела перед собой уходящие вдаль акр за акром зеленые всходы будущего урожая.

Весной! Быть может, к весне война кончится и снова настанут хорошие времена. И победит ли Конфедерация или потерпит поражение, все равно жизнь станет легче. Будь что будет, лишь бы не жить в вечном страхе, что тебя оберет до нитки та или другая армия. Когда война кончится, плантация их прокормит. О, лишь бы только кончилась война! Тогда можно будет бросать в землю семена, не боясь, что не доведется снять урожай!

Надежда забрезжила впереди. Война не может длиться вечно. У Скарлетт было немножко хлопка, у нее была лошадь и небольшая, но драгоценная кучка денег. Да, худшие времена остались позади!

### Глава XXVII

Как‑то в полдень они сидели за обеденным столом, поглощая новоизобретенный Мамушкой пудинг из кукурузной муки и сушеной черники, подслащенный сорго. Была середина ноября, в воздухе уже чувствовалась прохлада — первая предвестница зимы, — и Порк, стоявший за стулом Скарлетт, вопросил, довольно потирая руки:

— А не приспело ли время заколоть свинью, мисс Скарлетт?

— Что, у тебя уже слюнки потекли? Небось спишь и видишь требуху? — с усмешкой спросила Скарлетт. — Да я и сама не прочь отведать свежей свининки, и если погода продержится еще несколько дней, пожалуй, мы...

Мелани перебила ее, замерев с ложкой у рта:

— Слышишь, дорогая? Кто‑то едет!

— Кричит кто‑то, — встревожено сказал Порк.

В хрустком осеннем воздухе уже отчетливо был слышен стук копыт — частый, как толчки испуганного сердца, — и высокий женский голос, срывающийся на отчаянный вопль:

— Скарлетт! Скарлетт!

Скрестились испуганные взгляды, и в следующее мгновение все вскочили, отодвигая стулья. Несмотря на испуг, исказивший голос, его узнал каждый: кричала, звала на помощь Салли Фонтейн, всего час назад заглянувшая к ним по дороге в Джонсборо перемолвиться словечком. Все бросились, толкая друг друга, к входной двери и увидели, что Салли — растрепанная, шляпа болтается за спиной — вихрем мчится на взмыленной лошади по подъездной аллее к дому. Не осаживая коня, Салли бешеным галопом подскакала прямо к крыльцу и, махнув рукой назад, туда, откуда она примчалась, крикнула:

— Янки идут! Я их видела! На дороге! Янки!

Одним рывком она подняла лошадь на дыбы у самых ступеней крыльца, пустила ее в три прыжка по газону и, словно на охоте, перемахнула через четырехфутовую живую изгородь. До них донесся глухой стук копыт — сначала с заднего двора, потом с неширокой дороги между хижинами негров, — и они поняли, что Салли поскакала прямиком через поля к своей усадьбе.

С минуту все стояли оцепенев, а затем Сьюлин и Кэррин начали всхлипывать и цепляться друг за друга, а Уэйд, широко разинув рот и весь дрожа, стоял, как пригвожденный к месту, но не издал ни звука. То, чего он все время со страхом ждал еще с той ночи, когда они бежали из Атланты, случилось. Янки пришли, чтобы схватить его.

— Янки? — беспомощно произнес Джералд. — Но янки уже были здесь.

— Матерь божия! — воскликнула Скарлетт, перехватив испуганный взгляд Мелани. На миг все ужасы их бегства из Атланты ожили перед ее мысленным взором: руины домов, пепелища... а затем — и все то, что передавалось из уст в уста: убийства, истязания, насилия. Она снова увидела перед собой солдата‑янки, стоявшего в холле со шкатулочкой Эллин в руках... «Я умру, — подумала она. — Я сейчас умру, прямо здесь, на месте. Я думала, все это позади. Я умру. Я больше не выдержу».

И тут в глаза ей бросилась лошадь — лошадь под седлом, стоявшая у коновязи в ожидании Порка, который должен был отправиться верхом с каким‑то поручением к Тарлтонам. Ее лошадь! Ее единственная лошадь! Янки уведут ее! И корову, и теленка! И свинью со всеми поросятами... Сколько ушло времени и сил, чтобы словить эту свинью и ее быстроногое, верткое племя! А янки заберут и свинью, и кур‑несушек, и петуха, и уток, которыми поделились с ними Фонтейны. И яблоки, и ямс, и бобы из кладовой. И муку, и рис, и сушеный горох. И бумажник солдата‑янки со всеми деньгами. Они возьмут все и оставят их подыхать с голоду.

— Ничего они не получат! — громко воскликнула Скарлетт, и все ошалело поглядели на нее — уж не рехнулась ли она с испугу? — Я не стану больше голодать! Ничего они не получат!

— Что с тобой, Скарлетт? О чем ты?

— Лошадь! Корову! Свинью! Поросят! Они их не получат. Я не допущу!

Она повернулась к четырем неграм, столпившимся в дверях, — лица их были пепельно‑серыми от страха.

— В болото! — коротко бросила она.

— В какое болото?

— К реке, дурни! Гоните свинью и поросят к реке в болото. Вы все гоните их туда. Живей! Порк и Присей, полезайте в подпол, вытащите поросят. Сьюлин и Кэррин, возьмите корзины, положите в них продукты — все, что влезет, и унесите в лес. Мамушка, опусти серебро обратно в колодец. Да вот еще, Порк! Слушай меня, Порк, не стой как болван! Уведи отсюда папу. Куда, куда! Куда хочешь! Ступай с Порком, па. Вот хороший па, вот умник.

В смятении, в суматохе она все же успела подумать о том, какое воздействие может оказать вид синих мундиров на помутившийся рассудок Джералда. И примолкла на секунду, в растерянности ломая руки. А тут испуганно захныкал Уэйд, ухватившись за юбку Мелани, и она почувствовала, что теряет над собой власть.

— А я чем могу помочь, Скарлетт? — услышала она среди воплей, всхлипываний и топота шагов спокойный голос Мелани. Лицо Мелани было белее мела, ее трясло как в лихорадке, но этот спокойный голос помог Скарлетт прийти в себя: она поняла, что все надеются на нее и ждут от нее указаний.

— Корову и теленка, — быстро сказала она. — Они на старом выгоне. Возьми лошадь и загони их в болото и...

Она еще не договорила, как Мелани, оторвав ручонку Уэйда от своей юбки, сбежала по ступенькам, подхватила на бегу подол и устремилась к лошади. Мелькнули худые ноги в облаке широких нижних юбок, и Мелани уже была в седле. Ноги ее далеко не доставали до стремян, но она собрала поводья, замолотила по бокам лошади пятками и вдруг с искаженным от ужаса лицом снова резко ее осадила.

— Мой малютка! — вскричала она. — О боже, мой малютка! Янки убьют его! Принеси его мне!

Ухватившись одной рукой за луку, она готова была соскочить с седла, но Скарлетт крикнула:

— Скачи! Скачи! Угони корову! Я позабочусь о ребенке! Скачи, говорю тебе! Неужели ты думаешь, я позволю им тронуть ребенка Эшли? Скачи же!

Мелани бросила через плечо последний, исполненный отчаяния взгляд, снова замолотила пятками и, рассыпая каскады гравия, умчалась по аллее в сторону выгона.

«Вот уж не ожидала, что увижу Мелли Гамильтон в седле по‑мужски!» — мельком подумала Скарлетт и бросилась в дом. Уэйд бежал за ней по пятам, всхлипывая, стараясь уцепиться за ее развевающийся подол. Взбегая в холле по лестнице, прыгая через две ступеньки, она видела, как Сьюлин и Кэррин с плетеными корзинами в руках спешили к кладовой, а Порк не слишком почтительно тащил Джералда под руку к заднему крыльцу. Джералд что‑то бормотал ворчливо, как ребенок, и пытался вырваться.

С заднего двора долетел скрипучий голос Мамушки:

— Да ну же, Присей! Полезай в подпол, передавай мне поросят! Ты что — не понимаешь? Мне же туда с моим брюхом не пролезть! Дилси, поди сюда, вели этой балбеске...

«А мне‑то казалось, я так здорово придумала спрятать свиней в подпол, чтоб их не украли, — подумала Скарлетт, вбегая в свою спальню. — Почему, ну почему я не построила для них загона на болоте?»

Она рывком выдвинула верхний ящик бюро и, порывшись в платках и косынках, вытащила бумажник. Торопливо достала кольцо с солитером и бриллиантовые подвески из своей корзинки с рукоделием и сунула их в бумажник. А где его спрятать? В матраце? В печной трубе? Бросить в колодец? Засунуть себе в корсаж? Нет, только не это! Толстый бумажник может быть заметен, и тогда янки начнут ее обыскивать и разденут догола.

«И тогда я умру!» — с отчаянием подумала она.

Снизу доносился суматошный топот ног, голоса, чьи‑то всхлипывания. Среди всего этого смятения Скарлетт пожалела, что рядом с ней нет Мелани. Нет Мелли с ее тихим голосом. Мелли, которая проявила такую отвагу, когда был убит солдат‑янки. Мелли стоит десятерых. Мелли... Что Мелли ей сказала? Ах, да! Ребенок!

Прижимая к груди бумажник, Скарлетт бросилась в другую комнату, где малютка Бо спал в своей низенькой кроватке. Она взяла его на руки, и он проснулся и захныкал спросонок, размахивая крошечными кулачками.

Она услышала громкий голос Сьюлин:

— Идем, Кэррин! Идем! Хватит, набрали! Ну же, сестренка, поторапливайся!

С заднего двора донесся отчаянный поросячий визг и возмущенное хрюканье, и, подбежав к окну, Скарлетт увидела Мамушку с извивающимся поросенком под каждой подмышкой, ковылявшую что было сил через хлопковое поле. Следом за ней спешил Порк, тоже с двумя поросятами, подталкивая идущего впереди него Джералда. Джералд, спотыкаясь, брел по бороздам и размахивал тростью.

Скарлетт высунулась из окна и крикнула:

— Уведи свинью, Дилси! Заставь Присей выгнать ее наружу. Угони ее подальше!

Дилси подняла голову; бронзовое лицо ее было встревожено, она держала за края передник, в котором лежала груда столового серебра.

— Свинья укусила Присей и не выпускает ее из подпола.

«Ай да свинья!» — подумала Скарлетт. Она метнулась обратно к себе в комнату и достала из тайничка браслеты, брошь, миниатюру и серебряную чашечку, найденные в ранце убитого янки. Куда все это спрятать? На руках у нее был малютка Бо, в одной руке зажат бумажник, в другой — все эти безделушки. Она положила младенца на постель.

Он сразу расплакался, и тут ее осенило. Лучшего места, чем детские пеленки, не придумаешь. Она быстро перевернула Бо на животик, распеленала и сунула бумажник под его подгузник. От такого обращения он разревелся еще громче, засучил ножками, и она торопливо запеленала его снова.

«Ну, теперь, — подумала она, переведя дыхание, — теперь — к болоту!»

Подхватив одной рукой заходившегося в плаче младенца, другой рукой прижимая к груди драгоценности, она выбежала на верхнюю площадку в холл. Внезапно шаги ее замедлились, колени подогнулись от страха. Как тихо стало в доме! Какая страшная, мертвенная тишина! Неужели все ушли и оставили ее? Неужели никто не подумал о ней? Она не ждала, что они все уйдут, бросят ее здесь одну. В эти дни с одинокой женщиной может случиться все что угодно... Придут янки...

Какой‑то негромкий звук заставил ее подскочить от страха. Резко обернувшись, она увидела своего всеми позабытого сынишку. Он сидел на ступеньках, прижавшись к перилам, и пытался что‑то произнести, но только беззвучно разевал рот и смотрел на нее круглыми от ужаса глазами.

— Встань, Уэйд Хэмптон, — приказала она. — Вставай и иди за мной. Мама не может тебя сейчас нести.

Точно маленький испуганный зверек, он бросился к ней и зарылся лицом в ее широкую юбку. Она чувствовала, как он, путаясь в пышных складках, пытается ухватиться за ее ногу. Она начала спускаться с лестницы, но его цепляющиеся руки мешали ей, и она сердито крикнула:

— Отпусти мою юбку, Уэйд! Отпусти и спускайся вниз сам! — Но ребенок только теснее прижимался к ней.

Она спускалась вниз, а снизу все словно бы устремлялось ей навстречу. Все с детства знакомые, любимые вещи, казалось, шептали ей в уши: «Прощай! Прощай!» Рыдания подступили у нее к горлу. Дверь в маленький кабинет, где всегда так усердно трудилась Эллин, была приотворена, и Скарлетт бросился в глаза угол старинного секретера. В столовой стулья были сдвинуты с мест, некоторые опрокинуты, на столе — тарелки с недоеденной едой. На полу — лоскутные коврики, которые Эллин сама красила и сама плела. На стене — портрет бабушки Робийяр: высокая прическа, полуобнаженная грудь. Сильно вырезанные ноздри придавали лицу выражение утонченной надменности. Все овеянное бессчетностью воспоминаний детства, все — кровная часть ее души — шептало ей: «Прощай, Скарлетт О’Хара! Прощай!»

Придут янки и все сожгут!

В последний раз окинула Скарлетт взглядом родительский дом. Потом из болота под прикрытием леса ей суждено будет увидеть только, как рухнет охваченная огнем кровля и из облаков дыма выплывут очертания печных труб.

«Я не могу уйти отсюда, — подумала она, и у нее застучали зубы от страха. — Я не могу покинуть тебя, дом. Папа бы не ушел. Он ведь сказал им: жгите его вместе со мной. Пусть теперь сожгут тебя вместе со мной, потому что я тоже не могу тебя покинуть. Ты — последнее, что у меня есть».

И когда решение было принято, страх сразу куда‑то отступил, и осталось только леденящее чувство в груди, словно страх и погибшие надежны застыли там холодным сгустком. Так она продолжала стоять, пока не услышала стук копыт на подъездной аллее, позвякивание уздечек и сабель в ножнах и резкий голос, отдающий команду:

— Спешиться!

Тогда, быстро наклонившись к ребенку, прижавшемуся к ее ногам, она проговорила настойчиво, но необычно для нее мягко и нежно:

— Отпусти мою юбку, Уэйд, сыночек! Беги скорей вниз и через задний двор к болоту — там Мамушка и тетя Мелли. Беги скорей, милый, и ничего не бойся.

Услышав эти, такие непривычно ласковые слова, Уэйд поднял голову, и Скарлетт ужаснулась, увидев его глаза — глаза кролика, попавшего в силок.

«О, матерь божия! — взмолилась она. — Не допусти его до припадка! Нет, нет, только не перед янки! Они не должны знать, что мы их боимся!» И чувствуя, как Уэйд лишь крепче вцепился в ее подол, произнесла твердо:

— Будь мужчиной, малыш. Подумаешь, свора проклятых янки!

И она стала спускаться с лестницы им навстречу.

Шерман вел свои войска через Джорджию от Атланты к морю. Позади лежали дымящиеся руины Атланты: покидая город, синие мундиры предали его огню. Впереди на триста миль простиралась ставшая по существу беззащитной полоса земли, ибо остатки милиции и старики и подростки из войск внутреннего охранения идти в счет не могли.

Впереди лежали плодородные земли — плантации, служившие приютом женщинам, детям, старикам, неграм. Янки шли, прочесывая пространство шириной в восемьдесят миль, все сжигая по дороге и грабя. Сотни домов стояли, объятые пламенем, в сотнях домов раздавался стук сапог. Но Скарлетт, глядя, как синие мундиры заполняют холл, не думала о том, что такова участь всего края. Для нее это было чисто личное дело — злодеяние, направленное умышленно против нее и ее близких.

Когда янки ввалились в дом, она стояла в холле возле лестницы, держа на руках младенца, а из складок юбки торчала головка Уэйда, прижавшегося к ее ногам. Одни солдаты, толкая друг друга, бросились вверх по лестнице, другие стали вытаскивать мебель на крыльцо и вспарывать штыками и ножами обивку кресел, ища спрятанные драгоценности. Наверху они тоже вспарывали тюфяки и перины, и вскоре в воздухе замелькали, поплыли пушинки и стали, кружась, мягко опускаться на пол, на волосы Скарлетт. И бессильная ярость заглушила остатки страха в ее сердце, когда она беспомощно глядела, как вокруг нее грабят и рушат.

Сержант — кривоногий, маленький, седоватый, с куском жевательного табака за щекой — подошел к Скарлетт, опередив своих солдат, смачно сплюнул на пол и частично ей на подол и сказал:

— Дайте‑ка сюда, что это тут у вас, барышня.

Она забыла, что все еще держит в руке безделушки, которые хотела спрятать, и с усмешкой — достаточно презрительной, как казалось ей, чтобы не посрамить бабушки Робийяр, — швырнула их на пол, и последовавшая из‑за них алчная схватка солдатни доставила ей своего рода злорадное удовольствие.

— Еще, если позволите, вот это колечко и сережки.

Скарлетт покрепче зажала младенца под мышкой, так что он оказался вниз лицом, отчего стал пунцовым и пронзительно завизжал, и отстегнула свадебный подарок Джералда — гранатовые серьги Эллин. Потом сняла с пальца кольцо с большим сапфиром — подарок Чарлза в день помолвки.

— Не бросайте. Давайте их сюда, — сказал сержант, протягивая руку. — Эти шельмы уже хорошо успели поживиться. Ну, что у вас есть еще? — Его зоркий взгляд скользнул по ее корсажу.

На мгновение у Скарлетт остановилось сердце. Она уже чувствовала, как грубые руки касаются ее груди, распускают шнуровку.

— Больше у меня ничего нет, но у вас, кажется, положено обыскивать свои жертвы?

— Ладно, поверю вам на слово, — добродушно ответил сержант и отвернулся, сплюнув еще разок. Скарлетт вернула ребенка в нормальное положение и стала успокаивать его, покачивая; рука ее нащупала припеленутый бумажник, и она возблагодарила бога за то, что у Мелани есть ребенок, а у ребенка — пеленки.

В верхних комнатах слышен был топот сапог, негодующий скрип передвигаемой мебели, звон разбиваемого фарфора и зеркал, грубая брань, изрыгаемая, когда ничего не удавалось обнаружить. С заднего двора неслись громкие крики:

— Гони их сюда! Не упусти! — И отчаянное кудахтанье кур, кряканье уток и гогот гусей. Скарлетт вся сжалась, словно от боли, когда услышала неистовый визг и резко оборвавший его выстрел, и поняла, что свинью убили. Черт бы побрал Присей! Она убежала и бросила свинью. Хоть бы уж поросята уцелели! Только бы все благополучно добрались до болота! Но ничего же ведь не известно.

Она недвижно стояла в холле, а мимо нее с криком, с руганью бегали солдаты. Уэйд не разжимал вцепившихся в ее юбку скрюченных от страха пальчиков. Она чувствовала, как он дрожит всем телом, прижимаясь к ней, но не могла заставить себя поговорить с ним, успокоить его. Не могла заставить себя произнести ни слова, не могла обрушиться на янки ни с гневом, ни с мольбами, ни с угрозами. Могла только благодарить бога за то, что ноги еще держат ее и у нее хватает сил стоять с высоко поднятой головой. Но когда кучка бородатых солдат с грохотом спустилась по лестнице, таща награбленное добро, какое подвернулось им под руку, и она увидела в руках одного из них саблю Чарлза, с губ ее против воли сорвался крик.

Эта сабля принадлежала теперь Уэйду. Это была сабля его отца, а прежде — деда, и Скарлетт подарила ее сыну в этом году в день его рождения. Они устроили тогда маленькую торжественную церемонию, и Мелани расплакалась — от гордости, от умиления, от грустных воспоминаний, — поцеловала Уэйда и сказала, что он должен вырасти храбрым солдатом, как его отец и дедушка. Уэйд очень гордился этим подарком и частенько залезал на стол, над которым висела на стене сабля, чтобы погладить ее. Скарлетт нашла в себе силы молча смотреть на то, как чужие, ненавистные руки выносят из дома принадлежащие ей вещи, любые вещи, но только не это — не предмет гордости ее маленького сынишки. Уэйд, выглядывавший из‑за юбок, услыхал ее крик, обрел голос и отвагу и громко, горестно всхлипнул, указывая ручонкой на саблю:

— Моя!

— Этого вы не можете взять! — решительно сказала Скарлетт, протягивая к сабле руку.

— Не могу? Вот как! — произнес невысокий солдат, державший саблю, и нагловато ухмыльнулся ей в лицо. — Еще как могу! Это сабля мятежника!

— Нет... нет. Она сохранилась с Мексиканской войны. Вы не имеете права ее брать — это сабля моего маленького сына. Она принадлежала его деду. О, капитан! — воскликнула Скарлетт, оборачиваясь к сержанту. — Пожалуйста, прикажите вашему солдату вернуть мне саблю.

Сержант, довольный неожиданным повышением в чине, шагнул вперед.

— Дай‑ка мне глянуть на эту саблю, Боб, — сказал он.

Невысокий солдат нехотя протянул ему саблю.

— Тут эфес из чистого золота, — сказал он.

Сержант повертел саблю в руках, луч солнца упал на эфес, на выгравированную на нем надпись, и он громко прочел ее вслух:

— «Полковнику Уильяму Р. Гамильтону. От штаба полка. За храбрость. Буэна‑Виста. 1847».

— Ого! — воскликнул сержант. — Я сам дрался при Буэна‑Виста, леди.

— Да ну? — холодно произнесла Скарлетт.

— А как же! Жаркое было дело, доложу я вам. В эту войну я таких схваток не видал, как в ту. Так эта сабля принадлежала деду этого мальца?

— Да.

— Ну, пусть она останется у него, — сказал сержант, удовлетворенный доставшимися ему драгоценностями и безделушками, которые он увязал в носовой платок.

— Но эфес же из чистого золота, — никак не мог успокоиться солдат‑коротышка.

— Мы оставим ей эту саблю на память о нас, — усмехнулся сержант.

Скарлетт взяла у него саблю, даже не поблагодарив. Почему она должна благодарить этих грабителей, если они возвращают ей ее собственность? Она стояла, прижав саблю к груди, а кавалерист‑коротышка все еще спорил и пререкался с сержантом.

— Ну, черт побери, эти проклятые мятежники еще меня попомнят! — выкрикнул под конец солдат, когда сержант, потеряв терпение, сказал, чтобы он перестал ему перечить и проваливал ко всем чертям. Солдат отправился шарить по задним комнатам, а Скарлетт с облегчением перевела дух. Янки ни слова не обмолвились о том, чтобы сжечь дом. Не сказали ей убираться вон, пока они его не подожгли. Быть может... быть может... Солдаты продолжали собираться в холле — одни спускались из верхних комнат, другие входили со двора.

— Есть что‑нибудь? — спросил сержант.

— Одна свинья, несколько кур и уток.

— Немного кукурузы, ямса и бобов. Эта дикая кошка верхом на лошади, которую мы видели на дороге, успела их тут предупредить, будьте уверены.

— Рядовой Пол Ривер, что у тебя?

— Да почти что ничего, сержант. Нам остались одни объедки. Поехали быстрей дальше, пока вся округа не прознала, что мы здесь.

— А ты смотрел под коптильней? Они обычно там все закапывают.

— Да нет тут коптильни.

— А в хижинах негров пошарил?

— Там ничего, окромя хлопка. Мы его подожгли.

Скарлетт мгновенно припомнились долгие дни на хлопковом поле под палящим солнцем, невыносимая боль в пояснице, натертые плечи... Все понапрасну. Хлопка больше не было.

— Чтой‑то у вас нет ничего, а, леди?

— Ваши солдаты уже побывали здесь до вас, — холодно сказала Скарлетт.

— Верно. Мы тоже были в этих краях еще в сентябре, — сказал один из солдат, вертя что‑то в пальцах. — А я и позабыл.

Скарлетт увидела, что он разглядывает золотой наперсток Эллин. Как часто поблескивал он на пальце Эллин, занятой рукодельем! Вид наперстка воскресил рой мучительных воспоминаний о тонких бледных руках с этим наперстком на пальце. А теперь он лежал на грязной, мозолистой ладони этого чужого человека и скоро отправится в путь на север, где какая‑нибудь янки будет щеголять этой краденой вещью — наперстком Эллин!

Скарлетт наклонила голову, чтобы враги не увидели ее слез, и они тихонько покатились по щекам и закапали на личико младенца... Сквозь застилавшую глаза пелену она видела, как солдаты двинулись к выходу, слышала, как сержант громким, хриплым голосом отдавал команду. Янки уходили, дом остался цел, но истерзанная воспоминаниями об Эллин Скарлетт уже не находила в себе сил радоваться. Удалявшееся позвякивание сабель и стук копыт не принесли ей облегчения, и она стояла, совсем вдруг обессилев, равнодушная ко всему, и слышала, как они отъезжают, нагрузившись краденым, — увозят одежду, одеяла, картины, кур, уток, свинью...

Потом в носу у нее защекотало от дыма и запаха гари, и она безучастно обернулась: ей уже не было дела до хлопка, страшное напряжение сменилось апатией. В открытые окна столовой она видела дым, медленно ползущий из негритянских хижин. Это разлетается по ветру хлопок. Это разлетались по ветру деньги, которые должны были пойти в уплату налогов и прокормить их в зимние холода. А ей оставалось только смотреть, как они тают, спасти их она не могла. Ей доводилось видеть и раньше, как горит хлопок, и она знала — справиться с этим огнем нелегко, даже если за дело берутся мужчины. Хорошо еще, что хижины расположены вдали от дома. И хорошо еще, что нет ветра: ни одна искра не долетит до крыши.

Внезапно она обернулась и замерла: все тело ее напряглось, словно у пойнтера, делающего стойку. Расширенными от ужаса глазами она смотрела в глубь крытого перехода, ведущего в кухню. Из кухни тянуло дымом!

На бегу, где‑то между холлом и кухней, она положила младенца на пол. Вырвалась из цепких ручонок Уэйда, отпихнув его к стене, вбежала в полную дыма кухню и попятилась, сразу закашлявшись. Дым ел глаза, и слезы потекли у нее по щекам. Но она ринулась вперед, прикрыв нос и рот подолом юбки.

В кухне, слабо освещенной одним маленьким оконцем, ничего нельзя было разглядеть из‑за густых клубов дыма, но Скарлетт услышала шипенье и потрескивание огня. Прищурившись, прикрывая глаза рукой, она всматривалась в дымовую завесу и увидела языки пламени, расползавшиеся по полу, ползущие к стенам. Кто‑то вытащил из топившегося очага горящие поленья, разбросал их по всей кухне, и сухой, как трут, сосновый пол мгновенно занялся, заглатывая огонь, как воду.

Скарлетт метнулась обратно в столовую и схватила ковер, с грохотом опрокинув при этом два стула.

«Мне же нипочем не затушить пожара... Нипочем, нипочем! О господи, если бы кто‑нибудь помог! Пропал дом... пропал! О боже мой, боже мой! Вот что этот коротконогий мерзавец держал на уме, когда сказал, что мы его еще попомним! Ах, зачем я не отдала ему сабли!»

Пробегая по переходу, она заметила своего сынишку — он забился в угол, прижимая к себе саблю. Глаза у него были закрыты и личико застыло в каком‑то расслабленном, неестественном покое.

«Господи! Он умер! Умер от страха!» — промелькнула у нее порожденная отчаянием мысль, но она побежала дальше — в конец перехода, где возле кухонной двери всегда стояла бадья с питьевой водой.

Она сунула ковер в бадью и, набрав побольше воздуха в легкие, ринулась снова в темную от дыма кухню, плотно захлопнув за собой дверь. Целую, как ей показалось, вечность она, кашляя, задыхаясь, кружилась по кухне. Била и била мокрым ковром по струйкам огня, змеившимся вокруг нее. Дважды загорался подол ее длинной юбки, и она тушила его голыми руками. Ее одурял тошнотворный запах паленых волос, выпавших из прически вместе со шпильками и рассыпавшихся по плечам. Но куда бы она ни повернулась, языки пламени тотчас взвивались у нее за спиной, все ближе и ближе к стенам, крытому переходу, ведущему в дом. Огненные змейки вились, плясали вокруг нее, и, теряя силы, она понимала, что все ее усилия тщетны.

Отворилась дверь, и ворвавшийся поток воздуха сильнее раздул пламя. Дверь со стуком захлопнулась, и в водовороте дыма Скарлетт, полуослепшая от слез, увидела Мелани: она затаптывала ногами огонь и колотила по горящему полу чем‑то темным и тяжелым. Скарлетт видела, как ее шатает, слышала ее кашель, на мгновение сквозь серую пелену проглянуло ее бледное, напряженное лицо с зажмуренными от дыма глазами. Протекла еще целая вечность, пока они вдвоем, бок о бок, боролись с огнем, и наконец Скарлетт стала замечать, что огненных змей становится меньше, что они слабеют. И тут Мелани неожиданно повернулась к ней, вскрикнула и со всей силы ударила ее ковром по спине. Скарлетт покачнулась и полетела куда‑то в дымный мрак.

Открыв глаза, она увидела, что лежит на заднем крыльце, голова ее покоится на коленях у Мелани, и лучи послеполуденного солнца заливают ей лицо. Руки, лицо, плечи нестерпимо жгло. Хижины негров все еще были окутаны клубами дыма, дым продолжал обволакивать все вокруг, и в воздухе стоял удушливый запах горелого хлопка. Скарлетт увидела клочья дыма, выползавшие из кухни, и вскочила было, порываясь броситься туда, но Мелани удержала ее, сказав спокойно:

— Лежи тихо, дорогая! Пожар потушен.

С минуту она лежала неподвижно, закрыв глаза, с облегчением дыша, и слышала где‑то рядом мирное посапывание Бо и привычную для уха икоту Уэйда. Значит, он жив, слава тебе господи! Она открыла глаза и поглядела на Мелани. Волосы у нее опалило огнем, лицо было черным от сажи, но глаза возбужденно сверкали, и она улыбалась.

— Ты похожа на негритянку, — пробормотала Скарлетт, устало зарываясь глубже головой в то, что служило ей подушкой.

— А ты — на персонаж из «Минстрел шоу»[[9]](#footnote-9).

— Зачем ты меня ударила?

— Затем, моя дорогая, что у тебя все платье на спине занялось. Я не думала, что ты потеряешь сознание, хотя, видит бог, ты столько сегодня натерпелась, что можно было и на тот свет отправиться... Я побежала домой, как только привязала в лесу наших животных, и чуть не умерла со страху, думая о том, что ты с малюткой осталась здесь одна. Эти... янки не обидели тебя?

— Ты хочешь сказать: не обесчестили ли они меня? Нет, — заверила ее Скарлетт и застонала, попытавшись сесть. Если голова ее покоилась относительно удобно — на коленях Мелани, то телу лежать на полу было далеко не так приятно. — Но они украли все, все. У нас ничего больше нет... Интересно, чему это ты так радуешься?

— Мы не потеряли друг друга и наших детей, и у нас есть крыша над головой, — сказала Мелани, и голос ее звучал радостно и звонко. — О большем в наши дни не приходится и мечтать... Господи, Бо, кажется, лежит мокрый! А янки, верно, прихватили заодно и пеленки? Ой! Скарлетт! Что это у него тут?

Она испуганно сунула руку под пеленку и извлекла оттуда бумажник. С минуту она так смотрела на него, словно видела этот предмет впервые, потом расхохоталась — неудержимо, почти истерически.

— Ни один человек на свете, кроме тебя, не мог бы до этого додуматься! — воскликнула она и, обвив руками шею Скарлетт, поцеловала ее. — Ты самое поразительное существо на свете, ни у кого нет такой сестры, как ты.

Скарлетт не противилась этим объятиям: она была еле жива от усталости, похвала приятно льстила ее самолюбию, а потом — в сизой от дыма кухне — в ее душе укрепилось чувство уважения к золовке и зародилось нечто похожее на дружескую близость.

«Одного у нее не отнимешь, — не могла не признаться себе Скарлетт, — когда нужна помощь, Мелани всегда тут как тут».

### Глава XXVIII

Внезапно резко похолодало и наступили морозы. Студеным ветром тянуло из‑под всех дверей, и стекла, расшатавшиеся в рамах, монотонно дребезжали. С деревьев облетала последняя листва, и только сосны, не потеряв своего убранства, холодными, темными громадами высились на фоне бледного неба. Изрытая колдобинами красная глина дорог обледенела, и голод простер свои крыла над Джорджией.

Скарлетт не без горечи вспоминала свой последний разговор с бабушкой Фонтейн. В тот день — два месяца назад, — который, казалось, отодвинулся куда‑то в далекое прошлое, она сказала старой даме — и сказала от чистого сердца, — что самое худшее уже позади. Теперь это стало ребяческим преувеличением. Пока солдаты Шермана не прошли вторично через Тару, у нее еще были ее маленькие сокровища — немного продуктов и немного денег, были соседи, которым больше повезло, чем ей, и хлопок, который помог бы продержаться до весны. Теперь не было ни хлопка, ни продуктов, деньги утратили свое значение, так как на них ничего нельзя было купить, а соседи терпели не меньшую нужду, чем она. У нее, на худой конец, все же остались корова с теленком, лошадь и несколько поросят, а у соседей и того не было — всего какие‑то крохи провизии, которые они успели зарыть или спрятать в лесу.

Усадьбу Тарлтонов — Прекрасные Холмы — янки сожгли дотла, и миссис Тарлтон с четырьмя дочерьми переселилась в дом управляющего. Дом Манро, расположенный в окрестностях Лавджоя, тоже сровняли с землей. В Мимозе сгорело деревянное крыло дома, главная же часть здания уцелела благодаря толстой штукатурке и отчаянной борьбе с огнем, в которую вступили все женщины Фонтейн и негры. Только усадьбу Калвертов янки пощадили и на этот раз: снова спасло вмешательство управляющего Хилтона, уроженца Севера, однако ни единой животины, ни единого початка кукурузы на плантации не осталось.

Перед Тарой, как и перед всей округой, стояла одна задача: как добыть еду? У большинства семей не было ничего, кроме остатков последнего урожая ямса и арахиса, да еще та дичь, которую они приносили из лесу. И каждый делился всем, что у него было, с теми, у кого было еще меньше, как это делалось всегда в более благополучные времена. Но очень скоро делиться стало нечем.

В дни, когда Порку сопутствовала удача, в Таре питались кроликами, или опоссумами, или зубаткой. В остальное время довольствовались капелькой молока, орехами гикори, жареными желудями и ямсом. И чувство голода не покидало их никогда. Скарлетт казалось, что она не может шагу ступить, чтобы не увидеть протянутые к ней руки, с мольбой устремленный на нее взгляд. И это сводило ее с ума, ведь она была голодна не меньше других.

Она приказала зарезать теленка, так как он поглощал слишком много драгоценного молока, и в этот вечер все в Таре заболели, объевшись парной телятиной. Скарлетт знала, что следует заколоть хотя бы одного поросенка, но все откладывала это и откладывала, надеясь вырастить из поросят полноценных свиней. Поросята были еще такие крошечные. Какой толк заколоть их сейчас — там и есть‑то почти нечего; а если дать им подрасти, тогда совсем другое будет дело. Ночь за ночью обсуждала она с Мелани, послать или не послать Порка верхом на лошади, дав ему денег, чтобы он попытался купить каких‑нибудь продуктов. И все никак не могла на это решиться, боясь, что у него отнимут и лошадь и деньги. Никому же не было известно, где сейчас янки. Они могли быть за тысячу миль от Тары или за рекой. Однажды Скарлетт, обуреваемая отчаянием, начала сама собираться в дорогу на поиски пропитания, но истерические вопли всех домочадцев заставили ее отказаться от своей затеи.

Порк рыскал по окрестностям, порой забирался, как видно, далеко, так как возвращался только под утро, и Скарлетт не спрашивала его, где он пропадал. Иногда он приносил дичь, иногда несколько початков кукурузы или мешок сухого гороха. Как‑то раз притащил домой петуха и утверждал, что поймал его в лесу. Они с превеликим аппетитом, но и не без чувства вины прикончили этого петуха, ибо все отлично понимали: петуха Порк украл, так же как горох и кукурузу. Вскоре после этого как‑то ночью он постучался к Скарлетт, когда весь дом уже спал, и смущенно показал ей свою ногу с порядочным зарядом дроби в икре. Пока она накладывала повязку, он сконфуженно объяснил, что его накрыли при попытке проникнуть в Фейетвилле в чей‑то курятник. Скарлетт не спросила, чей это был курятник, — только ласково потрепала Порка по плечу, и на глаза у нее навернулись слезы. Негры ужасно раздражали ее порой, но ведь такую преданность не купишь ни за какие деньги! Теперь все они — и белые и черные — стали как бы членами одной семьи, и негры могли рискнуть жизнью ради того, чтобы на столе для всех была еда.

В другие времена к мелким кражам Порка следовало бы отнестись более серьезно, быть может, он даже заслуживал хорошей взбучки. В другие времена Скарлетт по меньшей мере должна была бы его строго отчитать. «Никогда не забывай, дорогая, — говорила Эллин, — что ты несешь ответственность не только за физическое, но и за нравственное здоровье черных рабов, которых бог вверил твоему попечению. Ты должна понимать, что они как дети и за ними нужен глаз да глаз, как за детьми, и ты обязана во всем подавать им хороший пример».

Но сейчас Скарлетт старалась не вспоминать о наставлениях Эллин. Поощряя воровство, жертвами которого, быть может, становились люди, терпевшие еще большую нужду, чем она сама, Скарлетт не испытывала угрызений совести. Нравственная сторона этого поступка не тревожила ее. Вместо того чтобы дать Порку взбучку или хотя бы усовестить его, она только пожалела, что в него угодили из дробовика.

— Ты должен быть осторожнее, Порк. Мы не хотим потерять тебя. Что нам тогда делать? Ты всегда был хорошим, преданным слугой, и когда мы снова раздобудем немножко денег, я куплю тебе большие золотые часы и велю выгравировать на них что‑нибудь из Библии. К примеру: «За верную и преданную службу».

Порк расплылся в довольной улыбке и потрогал свою забинтованную ногу.

— До чего ж хорошо вы это сказали, мисс Скарлетт. А когда вы думаете раздобыть эти деньги?

— Не знаю, Порк, но так или иначе, я их непременно раздобуду. — Она смотрела на него невидящим взглядом, в котором была такая неистовая горечь и боль, что он беспокойно поежился. — Когда‑нибудь, после того как кончится война, у меня будет много, очень много денег, и я уже никогда больше не буду знать ни голода, ни холода. И никто из моих близких и слуг. Мы все будем носить красивые платья и каждый день есть жареных цыплят, и...

Она не договорила. Одно из строжайших правил, установленных ею самой в Таре, за неукоснительным выполнением которого она неусыпно следила, гласило: никто и никогда не должен вспоминать про вкусные блюда, какие он когда‑то едал, или мечтать вслух о том, что ему сейчас хотелось бы съесть, будь у него такая возможность.

Порк тихонько выскользнул из комнаты, а Скарлетт все еще стояла, хмуро глядя в пространство. В те, прежние, безвозвратно канувшие в прошлое времена жизнь была так разнообразна, так полна сложных, волнующих проблем! Как завоевать любовь Эшли, не потеряв ни одного из поклонников, как заставить их по‑прежнему ходить за нею по пятам с убитым видом? Как скрыть от старших маленькие погрешности по части приличий? Как поддразнить или задобрить ревнивых подружек, какую материю выбрать на платье и каким фасоном сшить, какой прическе отдать предпочтение... О, столько еще всевозможных задач, которые необходимо было решить! Теперь жизнь удивительно упростилась. Теперь важно было только иметь достаточно пищи, чтобы не умереть с голоду, достаточно одежды, чтобы не окоченеть от холода, да крышу над головой, которая не слишком бы сильно протекала.

В эти дни Скарлетт впервые начал посещать кошмар, преследовавший ее потом долгие годы. Это всегда был один и тот же сон, ничто в нем не менялось, только страх от раза к разу возрастал и даже в часы бодрствования мучил ее ожиданием ночи, когда кошмар повторится снова. Ей глубоко запали в память все события того дня, которые предшествовали этому кошмару.

Холодные дожди шли уже неделю, и дом продувало насквозь сырыми сквозняками. Мокрые поленья в камине дымили, не давая тепла. С утра в доме уже не было никакой еды, кроме молока, так как запасы мяса иссякли, а силки и удочки Порка не принесли на сей раз добычи. На следующий день предстояло заколоть одного из поросят, иначе все в доме опять останутся без еды. Истощенные, голодные лица — белые и черные — смотрели на Скарлетт из всех углов, безмолвно взывая о пище. Было ясно, что придется, рискуя потерей лошади, послать Порка купить продуктов. И к довершению всех несчастий Уэйд лежал в жару и жаловался на боль в горле, а ни доктора, ни лекарств не было.

Голодная, измученная, Скарлетт отлучилась ненадолго от постели Уэйда, предоставив его заботам Мелани, и прилегла вздремнуть. Раздираемая страхом и отчаянием, она ворочалась с боку на бок, чувствуя, как заледенели у нее ноги, и напрасно стараясь уснуть. Одна и та же мысль без конца сверлила мозг: «Что же мне делать? Куда броситься? Неужели на всем свете нет никого, кто бы мне помог?» Как могло сразу рухнуть все, что казалось таким надежным, таким прочным? Почему нет возле нее какого‑нибудь сильного мудрого человека, который снял бы с ее плеч эту ношу? Она не в силах больше ее тащить. Не для того она родилась на свет. И тут она заснула тяжелым, неспокойным сном.

Ей снилось, что она в какой‑то чужой стране; ее несло и кружило в вихре тумана, столь густого, что ей не было видно даже своих рук. Земля зыбилась и уплывала у нее из‑под ног. Все вокруг было призрачно и жутко. И тихо, сверхъестественно тихо, и она чувствовала себя потерянной и испуганной, как ребенок, заблудившийся в лесу. Ее мучил голод, она дрожала от холода и так боялась чего‑то, притаившегося где‑то рядом, в тумане, что ей хотелось закричать, но она не могла. Какие‑то существа тянулись к ней из тумана, чьи‑то руки молча, безжалостно старались ухватить ее за подол и утянуть за собой куда‑то глубоко‑глубоко в зыблющуюся под ногами землю. И тут она вдруг поняла, что где‑то среди этого тусклого полумрака есть теплое, надежное пристанище, есть тихая гавань. Но где? Сможет ли она туда добраться, пока эти руки не утянули ее за собой в зыбучие пески?

Внезапно она увидела, что бежит — бежит, словно обезумевшая, сквозь этот туман, бежит, и плачет, и кричит, и, раскинув руки, старается уцепиться за что‑нибудь, но встречает повсюду только пустоту и влажный туман. Где же это пристанище? Оно ускользало от нее, но оно было где‑то здесь, сокрытое от нее туманом. Если бы только найти его! Она была бы спасена тогда! Но от страха у нее подгибались колени, и голова кружилась от голода. Она отчаянно вскрикнула, открыла глаза и увидела наклонившееся над ней встревоженное лицо Мелани, которая трясла ее за плечо, стараясь разбудить.

Сон этот повторялся снова и снова всякий раз, когда она ложилась спать на голодный желудок. А это случалось куда как часто. Она так боялась повторения этого сна, что не решалась заснуть, хотя и не переставала лихорадочно твердить себе, что ничего страшного в этом сне нет. Абсолютно ничего — ну, туман, что же тут страшного? Совершенно нечего бояться... И тем не менее мысль о том, что она опять окажется среди этого тумана в каком‑то неизвестном краю, нагоняла на нее такой страх, что она стала ночевать в спальне Мелани, чтобы та могла разбудить ее, если она опять начнет стонать и метаться во власти этого кошмара.

Нервное напряжение сказалось на ней: она похудела, сошел румянец. В лице ее уже не было прежней приятной округлости: впалые щеки, резкая линия скул и косо разрезанные зеленые глаза придавали ей сходство с голодной одичавшей кошкой.

«Жизнь и днем достаточно похожа на кошмар, чтобы они мучили меня еще по ночам!» — с отчаянием думала она и начала отделять часть своего дневного рациона, чтобы съесть перед сном.

В сочельник Фрэнк Кеннеди с небольшим продовольственным отрядом притрусил в Тару в тщетной надежде найти хоть немного зерна и мяса для армии. Тощие, оборванные солдаты были похожи на бродяг, и лошади под ними — увечные, со вздутыми животами — явно попали в этот отряд потому, что не годились для боевых действий. Люди, так же как их лошади, — все, за исключением Фрэнка, — были списанные в запас калеки — кто без руки, кто без глаза, кто с негнущейся ногой. Почти на всех были синие мундиры, снятые с убитых янки, и на какую‑то секунду обитатели Тары оцепенели от ужаса, думая, что к ним опять нагрянули солдаты Шермана.

Отряд заночевал в Таре; разместившись в гостиной на полу, все с наслаждением вытянулись на мягком ковре — ведь из месяца в месяц они спали под открытым небом и на голой земле, хорошо еще, если усыпанной сосновыми иглами. Несмотря на свои лохмотья и грязные бороды, это были хорошо воспитанные люди, они мило болтали и шутили, отпускали комплименты и страшно радовались, что им довелось провести сочельник в большом доме, среди красивых женщин, совсем как в былые времена. Они отказывались вести серьезные разговоры о войне и что‑то врали напропалую, стараясь рассмешить дам и принести в этот разграбленный, опустошенный дом хоть чуточку праздничного веселья и радости.

— Все почти совсем как прежде, когда к нам съезжались гости, верно? — радостно шепнула Сьюлин на ухо Скарлетт. Сьюлин была на седьмом небе от счастья, снова принимая у себя своего поклонника, и не сводила глаз с Фрэнка Кеннеди. Скарлетт с удивлением обнаружила, что Сьюлин может казаться почти хорошенькой, невзирая на ужасную болезненную худобу. Щеки у нее разрумянились, взгляд смягчился, глаза блестели.

«Похоже, она в самом деле неравнодушна к нему, — со снисходительным презрением подумала Скарлетт. — И, пожалуй, может стать почти нормальным человеком, если обзаведется мужем, — хотя бы такой старой интендантской крысой, как Фрэнк».

Даже Кэррин немного повеселела в этот вечер и уже не смотрела на всех отрешенным взглядом. Выяснилось, что один из солдат знал Брента Тарлтона, даже видел его в самый день гибели, и Кэррин решила после ужина подробно поговорить с этим солдатом с глазу на глаз.

А за ужином Мелани удивила всех: она нашла в себе силы побороть свою застенчивость и была необычно оживлена. Она смеялась, и шутила, и, можно сказать, почти что кокетничала с одноглазым солдатом, который в ответ из кожи лез вон, стараясь проявить галантность. Скарлетт понимала, каких душевных и физических усилий стоило это Мелани, испытывавшей в присутствии любого мужчины мучительные приступы застенчивости. К тому же она ведь еще далеко не оправилась после болезни. Правда, она упрямо утверждала, что вполне окрепла, и в работе оставляла позади себя даже Дилси, но Скарлетт знала, что Мелани еще больна. Стоило ей поднять что‑то тяжелое, как лицо ее белело, а иной раз после какого‑нибудь физического напряжения она так неожиданно опускалась на землю, словно у нее подкашивались ноги. Но сегодня Мелани, так же как Кэррин и Сьюлин, прилагала все усилия к тому, чтобы солдаты не скучали в сочельник. Одна только Скарлетт не была рада гостям.

К ужину, состоявшему из арахиса, сушеного гороха и сушеных яблок, тушенных в печи, которые Мамушка торжественно поставила на стол, отряд сделал свой вклад в виде поджаренной кукурузы и ребрышек, и гости заявили, что они уже давненько не едали столь прекрасных блюд. А Скарлетт смотрела, как они едят, и ей было не по себе. Она не только жалела каждый кусок, который они отправляли в рот, но и чувствовала себя точно на иголках, боясь, как бы кто из гостей не пронюхал ненароком, что Порк накануне заколол поросенка. Сейчас поросячья туша висела в кладовой, и Скарлетт угрюмо пригрозила всем своим домочадцам, что выцарапает глаза каждому, кто хоть словом обмолвится об этом перед гостями или посмеет упомянуть о сестрах и братьях покойного, надежно запертых в загоне на болоте. Голодные солдаты сожрут поросенка за один присест, а узнав про живых поросят, конфискуют их для армии. Она боялась и за корову и за лошадь и жалела, что не угнала их в болото, а привязала на опушке леса у края выгона. Если отряд заберет у нее всю живность, никто в доме не протянет до весны. Восполнить эту потерю будет нечем. Вопрос о том, чем будет питаться армия, ее не тревожил. Пусть армия сама кормит себя — как сумеет. А ей и так нелегко прокормить все свои рты.

На десерт гости преподнесли всем «шомполушки», достав их из ранцев, и Скарлетт впервые увидела своими глазами этот новый вид фронтового довольствия армии конфедератов, по адресу которого было отпущено не меньше шуток, чем по адресу вшей. Это было нечто спиралевидное, более всего похожее на кусок обугленного дерева. Гости настоятельно предлагали Скарлетт отведать кусочек, и когда она наконец отважилась на это, открыла, что под угольно‑черной поверхностью скрывается несоленый кукурузный хлеб. Солдаты замешивали свою порцию кукурузной муки на воде, добавляли соли (если она у них была), обмазывали шомпола густым тестом и запекали над костром. Получалось нечто столь же твердое, как леденцы, и столь же безвкусное, как опилки, и Скарлетт, с трудом вонзив в угощенье зубы, поспешила под общий хохот отдать его обратно. Она перехватила взгляд Мелани и прочла в нем свои собственные мысли: «Как могут они сражаться на таком скудном пайке?»

Трапеза тем не менее протекала достаточно весело, и даже Джералд, с несколько отсутствующим видом восседавший во главе стола, ухитрился извлечь из глубин своего затуманенного сознания какие‑то обрывки воспоминаний о том, как надлежит вести себя гостеприимному хозяину, и неуверенно улыбался. Мужчины болтали, женщины расцветали улыбками и всячески старались угодить гостям, но когда Скарлетт неожиданно повернулась к Фрэнку Кеннеди, желая осведомиться у него о здоровье мисс Питтипэт, она тут же забыла о своем намерении, пораженная выражением его лица.

Фрэнк уже не смотрел неотрывно на Сьюлин — его взгляд блуждал по комнате, перебегая с растерянного лица Джералда на голый, не застеленный коврами пол, на камин без привычных безделушек на полке, на вспоротую солдатскими штыками обивку кресел и выпирающие пружины, на разбитое зеркало над сервантом, на прямоугольники невыцветших обоев там, где до прихода грабителей на стенах висели картины, на убогую сервировку стола, на аккуратно починенные, но ветхие платья дам, на сшитую из мешковины одежду Уэйда...

Фрэнку вспоминался этот дом, каким он знавал его прежде, и на его усталом лице были написаны страдание и бессильный гнев. Фрэнк любил Сьюлин, ему нравились ее сестры, он с уважением относился к Джералду и был всей душой привязан к этому семейному очагу. После опустошительного набега Шермана на Джорджию перед глазами Фрэнка прошло немало страшных картин, пока он объезжал штат, собирая поставки для армии, но ничто не ранило его сердце так глубоко, как зрелище этого разоренного гнезда. Фрэнку страстно хотелось сделать что‑нибудь для семейства О’Хара, особенно для Сьюлин, но он понимал, что ничем не может им помочь. И преисполненный жалости, он в задумчивости покачивал головой и прищелкивал языком, топорща жесткие усы. Неожиданно встретившись глазами со Скарлетт, он заметил, как она возмущенно вспыхнула, понял, что ее гордость задета, и смущенно уставился в тарелку.

Дамы горели желанием услышать новости. После падения Атланты почта не работала уже четыре месяца, и все в Таре находились в полном неведении о том, где теперь янки, как сражается армия конфедератов, что делается в Атланте и какова судьба знакомых и друзей. Фрэнк, который по долгу службы ездил по всей округе, был сам не хуже любой газеты, а в некотором отношении даже лучше, ибо знал почти всех от Мэйкона до Атланты, а многим к тому же доводился родственником и мог сообщить немало интересных подробностей и сплетен, которые обычно в газеты не попадают. И теперь, под взглядом Скарлетт, он, чтобы скрыть свое замешательство, торопливо принялся выкладывать новости. Армия конфедератов, сообщил он, снова заняла Атланту, после того как Шерман со своим войском покинул город, но этот трофей уже не имел цены, так как янки сожгли там все, что могло гореть.

— Но мне казалось, что Атланту выжгли в ту ночь, когда мы оттуда бежали! — недоуменно воскликнула Скарлетт. — Мне казалось, наши жгли ее, отступая.

— О нет, мисс Скарлетт, — запротестовал весьма фраппированный ее словами Фрэнк. — Мы никогда не жжем наших городов, если там остались жители. Вы видели пожары, но это горели военные и провиантские склады и литейные заводы — их жгли, чтобы они не достались неприятелю. Только это, и ничего больше. Когда Шерман занял город, все жилые дома и магазины стояли абсолютно не тронутые огнем. И он разместил в них своих солдат.

— А как же жители? Он... он их поубивал?

— Кое‑кого убил, но не пулями, — мрачно ответствовал одноглазый воин. — Как только Шерман занял Атланту, он тотчас заявил мэру, что все население должно покинуть город — чтобы ни единой живой души не осталось. А в городе было много стариков, которые не выдержали бы переезда, и больных, которых нельзя было трогать с места, и женщин, которые... ну, словом, которых тоже нельзя было трогать. И он выгнал их всех из жилищ в ужасающий ливень, в бурю выгнал сотни и сотни людей и оставил в лесах под Раф‑энд‑Реди, а генералу Худу передал, что тот может прийти и забрать их. И очень многие не вынесли столь жестокого обхождения, многие погибли от пневмонии.

— Но почему же он так поступил? Они ведь не могли причинить ему никакого зла! — вскричала Мелани.

— Он заявил, что ему нужно очистить город, чтобы дать отдых своим солдатам и лошадям, — отвечал Фрэнк. — И он дал им отдых до середины ноября, после чего оставил город. А уходя, поджег его, спалил все дотла.

— Как, неужели все? — в ужасе воскликнули дамы.

Это было непредставимо — неужели этого многолюдного, кипучего города, который они так хорошо знали, не стало? Не стало красивых домов в густой тени деревьев, не стало больших магазинов и нарядных отелей? Мелани с трудом удерживалась от слез — ведь в этом городе она родилась, там был ее дом. У Скарлетт тоже защемило сердце, потому что она успела полюбить Атланту — этот город стал для нее второй родиной после Тары.

— Ну, почти что все, — поспешил смягчить свой удар Фрэнк, обескураженный расстроенными лицами дам, и тут же постарался придать себе веселый вид — он же никак не хотел их огорчить. Это мгновенно повергло в расстройство его самого, и он испытывал чувство ужасной беспомощности. Нет, он не мог заставить себя сказать страшную правду. Пускай узнают ее от кого‑нибудь другого.

Не мог он поведать им о том, что увидела армия конфедератов после своего возвращения в Атланту: ряды печных труб, акр за акром торчавших над пепелищами; улицы, заваленные грудами обгорелых обломков и кирпича; старые деревья, умиравшие от ожогов, роняя на землю обугленные ветви, которые уносило порывами студеного ветра. Ему вспомнилось, как от этого зрелища дурнота подступила у него к горлу, вспомнилось, какие ожесточенные проклятия срывались с губ конфедератов, когда руины города предстали их глазам. Приходилось уповать лишь на то, что женщины никогда не узнают об ограблении кладбища, так как это совсем бы их убило. Чарлз Гамильтон и родители Мелани были похоронены там. Фрэнка до сих пор мучили кошмары, в которых перед ним возникало это кладбище. В поисках драгоценностей янки взламывали склепы, раскапывали могилы. Они грабили трупы, срывали с гробов серебряные украшения и ручки, золотые и серебряные именные таблички. Жалкую и страшную картину являли собой скелеты и еще не истлевшие трупы, валявшиеся среди обломков своего последнего земного пристанища.

Не мог поведать им Фрэнк и об участи кошек и собак. Домашние животные играют слишком большую роль в жизни своих хозяек. А Фрэнк и сам очень любил и кошек, и собак, и зрелище сотен погибавших с голоду животных, оставшихся без призора, когда их хозяев так внезапно и жестоко выгнали из города, потрясло Фрэнка почти столь же глубоко, как вид разграбленного кладбища. Изголодавшиеся, испуганные, замерзавшие от холода животные одичали, более сильные стали нападать на слабых, а слабые ждали, когда издохнут слабейшие, и затем пожирали их трупы. И над останками вымершего города грациозные стервятники испещряли зимнее небо зловеще черными пятнами.

Фрэнк порылся в памяти, ища, каким утешительным сообщением он мог бы сделать приятное женщинам.

— Кое‑какие дома все же уцелели, — сказал он. — Из тех, что стояли особняком на больших земельных участках, вдали от других строений, и огонь до них не добрался. И церкви уцелели тоже, и здание масонской ложи. И несколько магазинов. Но деловая часть города и все кварталы, прилегающие к железнодорожным путям и к площади Пяти Углов, — все это, увы, сровняли с землей.

— Значит, — вскричала Скарлетт, — тот склад возле вокзала, который достался мне в наследство от Чарлза, тоже сгорел?

— Если это возле вокзала, тогда, по‑видимому, но... — Неожиданно лицо Фрэнка расцвело улыбкой. — Как же я запамятовал! Могу вас порадовать, дамы! Дом вашей тетушки Питтипэт цел. Немножко его повредило, но в общем он стоит, как стоял.

— Почему же он уцелел?

— А он кирпичный и, кажется, единственный в городе под шиферной крышей, ну и, верно, потому не загорелся от искр. К тому же он — последний дом на северной окраине города, а в том конце пожары не так свирепствовали. Правда, янки, которые были в нем расквартированы, разнесли там внутри все в клочья. Они даже пустили на топливо плинтусы и лестницу красного дерева, да это все ерунда! Сам дом в хорошем состоянии. Когда на прошлой неделе я видел мисс Питти в Мэйконе...

— Вы видели ее? Ну, как она?

— Превосходно! Ну, просто превосходно! Когда я сказал ей, что ее дом уцелел, она вознамерилась тотчас вернуться в Атланту... если, понятно, этот старый негр, дядюшка Питер, не станет возражать. Очень многие жители Атланты уже вернулись, потому что чувствовали себя неспокойно в Мэйконе. Шерман не взял Мэйкона, но все боятся, что уилсоновские молодчики устроят набег на город, а это будет похуже Шермана.

— Но это же глупо — возвращаться в город, где почти не уцелело домов. Как они там будут жить?

— Они живут в палатках, в сараях и в сколоченных на скорую руку хижинах, мисс Скарлетт, или ютятся вместе по шесть‑семь семей в каждом из уцелевших домов. И пытаются восстановить город. И не нужно так говорить, это вовсе не глупо. Вы же не хуже меня знаете, что это за народ. Они накрепко прикипели сердцем к своему городу, не меньше, чем чарльстонцы к Чарльстону, и никаким янки, никаким пожарам не оторвать их от Атланты. Они же... прошу прощения, мисс Мелли, — упрямы как мулы во всем, что касается Атланты. Правду сказать, непонятно, почему. Мне этот город всегда казался этаким напористым, нагловатым выскочкой. Ну, да я прирожденный сельский житель и вообще не любитель городов. И еще скажу вам: те, что приехали первыми, — это и есть самые умные и шустрые. А те, что приедут последними, не найдут ни бревна, ни камня, ни кирпичика на месте своих домов, так как все тащат кто что может себе на постройку. Еще позавчера я видел, как миссис Мерриуэзер и мисс Мейбелл вместе со своей старой негритянкой нагружали кирпичами тачку. А миссис Мид сказала мне, что намерена построить бревенчатую хижину, как только доктор возвратится и сможет помочь ей в этом деле. Она жила в такой хижине, когда впервые приехала в Атланту — по‑тогдашнему в Мартасвилл, — сказала миссис Мид, — и совсем не прочь снова пожить в такой же. Понятно, она шутила, но это только показывает, какое у них там у всех настроение.

— Я считаю, что они очень мужественные люди, — с гордостью произнесла Мелани. — Верно, Скарлетт?

Скарлетт кивнула: мрачная гордость за полюбившийся город переполняла ее сердце. Да, это был напористый, нагловатый выскочка‑город, и этим он импонировал ей. Он не походил на затянутые в корсет старые города, манерные и ханжеские; жизнь в нем переливалась через край, и этим он тоже был ей люб. «Я сама как Атланта, — подумала она. — Ни пожарам, ни янки меня не сломить».

— Если тетя Питти возвратится в Атланту, то нам, Скарлетт, пожалуй, тоже надо бы вернуться туда и пожить с ней, — сказала Мелани, прерывая ход ее мыслей. — Она умрет там со страху одна.

— Как же я могу все здесь бросить, Мелли? — раздраженно сказала Скарлетт. — Если тебе так не терпится уехать — уезжай. Я тебя не держу.

— Ах, я как‑то не подумала об этом, дорогая, — воскликнула Мелани, густо покраснев от смущения. — Как это эгоистично с моей стороны! Конечно, ты не можешь оставить Тару, и... и я думаю, что дядюшка Питер и кухарка сумеют позаботиться о тетушке.

— Тебе ничто не мешает уехать, — сухо сказала Скарлетт.

— Я не оставлю тебя, ты же знаешь, — сказала Мелани. — И к тому же я умерла бы там со страху без тебя.

— Ну, как знаешь. Меня, во всяком случае, ничем не заманишь обратно в Атланту. Стоит им только построить там несколько домов, как Шерман вернется и снова сровняет с землей весь город.

— Нет, Шерман не вернется, — сказал Фрэнк, и, как он ни крепился, лицо его помрачнело. — Он прошел через весь штат к побережью. На прошлой неделе янки взяли Саванну и, говорят, проникли вглубь Южной Каролины.

— Саванну взяли?

— Да. Ну видите ли, леди. Саванна не могла выстоять. Ее некому было защищать, хотя они там и поставили под ружье всех от мала до велика — всех мужчин, способных хоть как‑то передвигать ноги. Вы, кстати, знаете, что когда янки двинулись на Милледжвилл, у нас призвали на фронт всех курсантов из военных училищ, даже из самых младших классов, и открыли тюрьмы, чтобы навербовать свежее пополнение для армии? Да, друзья, всех заключенных, которые согласны были пойти на фронт, выпустили и обещали им помилование, если они дотянут до конца войны. Меня прямо мороз по коже продирает, как подумаю об этих мальчишках‑курсантах в одном строю с ворами и убийцами.

— Как! Всех преступников выпустили на волю, чтоб они могли нас грабить?

— Ничего, мисс Скарлетт, не волнуйтесь. Они далеко отсюда и притом показали себя отменными солдатами. Я так понимаю: если человек вор, это не мешает ему быть хорошим солдатом, не правда ли?

— По‑моему, это было сделано правильно! — негромко сказала Мелани.

— Ну, а я так не считаю, — решительно заявила Скарлетт. — У нас тут и без них достаточно воров бродит по округе, не говоря уже о янки и... — Вовремя спохватившись, она не закончила фразы, а мужчины рассмеялись.

— Не говоря уже о янки и нашей интендантской службе, — договорил за нее кто‑то из гостей, заставив ее покраснеть.

— А где же генерал Худ со своей армией? — поспешила ей на выручку Мелани. — Он ведь мог отстоять Саванну!

— Ну что вы, мисс Мелани! — Фрэнк был озадачен, и в голосе его прозвучала укоризна. — Генерала Худа вовсе и не было на этом участке фронта. Он сражается в Теннесси, пытается оттянуть туда янки из Джорджии.

— И как же здорово это у него получается! — презрительно воскликнула Скарлетт. — Он дал этим чертовым янки пройти через всю нашу территорию, а нам для защиты оставил мальчишек школьного возраста, преступников и стариков из внутреннего охранения.

— Дочка, — внезапно подал голос Джералд, — какие выражения ты себе позволяешь! Твоя мать будет очень огорчена.

— Да, да, чертовым янки! — с жаром вскричала Скарлетт. — И не подумаю называть их по‑другому!

При упоминании об Эллин все почувствовали себя неловко, разговор сразу оборвался, и на этот раз опять выручила Мелани.

— А вы, будучи в Мэйконе, не повидались с Милочкой и Индией Уилкс? Может быть... может быть, у них есть какие‑нибудь сведения об Эшли?

— Помилуйте, мисс Мелли, — обиженно сказал Фрэнк, — вы же понимаете — узнай я что‑нибудь про Эшли, я бы тут же прискакал из Мэйкона прямо к вам. Нет, у них нет о нем вестей, но только вы не тревожьтесь, мисс Мелли. Я знаю, вы, конечно, давно ничего о нем не слышали, но какие могут быть вести от человека, когда он в тюрьме? Однако в тюрьмах у янки дело обстоит далеко не так худо, как у нас. Что ни говори, еды у них там хоть отбавляй, и одеял, и медикаментов тоже хватает. Нет, у них не то что у нас — мы вот не можем прокормить самих себя, а наших узников и подавно.

— О да, у янки еды хоть отбавляй! — с горечью воскликнула Мелани. — Только они не делятся ею с пленными. Вы же это сами знаете, мистер Кеннеди. Вы говорите так, просто чтобы меня успокоить. Вы знаете, что наши пленные погибают там от голода и холода и лишены медицинской помощи и лекарств, потому что янки люто нас ненавидят! Господи, если бы только мы могли стереть с лица земли этих янки! О, я знаю, что Эшли...

— Не смей так говорить! — вскричала Скарлетт, у которой стеснило грудь от страха. Пока никто не произнес вслух, что Эшли мертв, в сердце ее еще теплилась надежда на то, что он жив. Но она чувствовала: как только эти слова будут произнесены, в тот же миг его для нее не станет.

— Полно, миссис Уилкс, не тревожьтесь так о вашем муже, — пытался утешить Мелани одноглазый воин. — Я тоже попал в плен после первого боя при Манассасе, а потом меня обменяли. Так пока я был в тюрьме, меня кормили как на убой — жареные цыплята, оладьи.

— Думаю, что вы врунишка, — с чуть заметной улыбкой произнесла Мелани, и Скарлетт впервые уловила в тоне ее слов, обращенных к мужчине, какой‑то намек на игривость. — А сами вы так не думаете?

— Думаю, — со смехом признался одноглазый воин, хлопнув себя по колену.

— Если вы не прочь перейти в гостиную, я спою вам святочный гимн, — сказала Мелани, желая перевести разговор на другое. — Фортепьяно — один из тех немногих предметов, которые янки не могли унести с собой. Оно ужасно расстроено, как ты считаешь, Сьюлин?

— Чудовищно, — сказала Сьюлин, радостно улыбаясь и кивком подзывая к себе Фрэнка.

Но когда все направились к двери, Фрэнк, немного поотстав, потянул Скарлетт за рукав.

— Могу я сказать вам два слова наедине?

Ее мгновенно объял страх; решив, что он хочет поговорить о конфискации их живности, она приготовилась к беспардонной лжи.

Когда все вышли из комнаты и они остались вдвоем у камина, напускная веселость, оживлявшая черты Фрэнка, потухла, и Скарлетт увидела перед собой немолодого усталого человека с сухим обветренным лицом цвета опавших листьев и редкими рыжеватыми, уже тронутыми сединой бакенбардами. Он безотчетно пощипывал их и смущенно откашливался, приводя этим Скарлетт в великое раздражение.

— Я жутко расстроился, узнав о смерти вашей маменьки, мисс Скарлетт.

— Прошу вас, не надо об этом.

— А ваш папенька — это у него с самого...

— Да, да, он не в себе, как вы могли заметить.

— Он крепко ее любил, что верно, то верно.

— О, мистер Кеннеди, пожалуйста, не будем...

— Простите, мисс Скарлетт. — Он нервно потоптался на месте. — По правде говоря, я хотел обсудить кое‑что с вашим папенькой, а теперь вижу, что это никак не получится.

— Может быть, я могу помочь вам, мистер Кеннеди? Вы видите — глава семьи теперь я.

— Так, понимаете ли, я... — начал Фрэнк и снова растерянно вцепился в свои бакенбарды. — Дело‑то, вправду сказать, в том... Словом, мисс Скарлетт, я хотел попросить у вашего папеньки руки мисс Сьюлин.

— Вы хотите сказать, — обрадовано воскликнула изумленная Скарлетт, — что еще не говорили с па о Сьюлин? Хотя ухаживаете за ней уже не первый год!

Он покраснел, смущенно улыбнулся и стал совсем похож на робкого, застенчивого подростка.

— Видите ли... я... Я не знал, согласится ли она выйти за меня. Я много старше ее, а в вашем доме вечно толпилось столько красивых молодых людей...

«Ну да! — подумала Скарлетт. — Только толпились‑то они вокруг меня, а не вокруг нее!»

— Да я и сейчас не знаю, согласится ли она. Я никогда ее не спрашивал, но она, конечно, догадывается о моем чувстве к ней. Я... я думал попросить разрешения на наш брак у мистера О’Хара и признаться ему во всем как на духу. У меня нет ни цента, мисс Скарлетт. Когда‑то у меня — да простится мне такая нескромность, — но когда‑то у меня была куча денег. Теперь же мой конь и то, что на мне, — вот и все мое достояние. Я, понимаете ли, как только завербовался, продал всю свою землю и все деньги вложил в облигации, а вы сами знаете, много ли они теперь стоят. Да к тому же у меня их все равно уже нет, так как янки сожгли дом моей сестры и они сгорели вместе с ним. Я понимаю, что это ужасная наглость с моей стороны просить руки мисс Сьюлин теперь, когда у меня нет ни гроша за душой, но... В общем, я рассудил так. Я как‑то свыкся с мыслью, что никто не знает, что с нами будет, когда война придет к концу. Мне лично это представляется вроде как концом света. Все стало так неверно и ненадежно, вот я и подумал: это было бы огромным утешением для меня, а быть может, и для мисс Сьюлин, если бы мы обручились. Это дало бы нам какую‑то уверенность. Я, мисс Скарлетт, не буду настаивать на браке, пока не смогу обеспечить мисс Сьюлин, а когда это будет, я и сам не знаю. Но если подлинная любовь и преданность имеют какую‑то цену в ваших глазах, вы можете с уверенностью считать, что в этом смысле мисс Сьюлин богаче многих.

Он сказал это так просто и вместе с тем с таким достоинством, что Скарлетт была тронута, хотя его вид и забавлял ее. Как можно влюбиться в Сьюлин — было выше ее понимания. Сестра казалась ей воплощением чудовищного эгоизма, слюнтяйства и мелкого пакостничества.

— Ну что ж, мистер Кеннеди, — сказала она ласково. — По‑моему, все будет хорошо. Мне кажется, я могу ответить вам за отца. Он всегда был о вас самого высокого мнения и надеялся, что Сьюлин станет вашей женой.

— И он не изменил своего мнения и теперь? — воскликнул Фрэнк, просияв.

— Разумеется, нет, — отвечала Скарлетт, с трудом подавляя усмешку: ей вдруг вспомнилось, как Джералд не раз бесцеремонно кричал Сьюлин через стол: «Ну что, мисс? Ваш пылкий поклонник все еще вынашивает свое предложение руки и сердца? Может, мне пора спросить, каковы его намерения?»

— Сегодня же вечером я с ней поговорю! — сказал Фрэнк, губы у него задрожали, он схватил руку Скарлетт и с силой ее потряс. — Вы так добры, мисс Скарлетт.

— Я пришлю ее к вам, — с улыбкой сказала Скарлетт, направляясь в гостиную. Там Мелани уже села за фортепьяно. Это был чудовищно расстроенный инструмент, но некоторые аккорды все же звучали приятно, и когда Мелани запела, остальные подхватили гимн: «Внемлите архангелов пенью...»

Скарлетт приостановилась на пороге. Слушая сладостные звуки этого старинного святочного гимна, невозможно было поверить, что ураган войны дважды едва не смел их с лица земли, что кругом лежит разоренный край, что голодная смерть стоит у них за плечами. Скарлетт резко обернулась к Фрэнку:

— Почему вы сказали, что конец войны представляется вам концом света?

— Вам я скажу правду, — медленно проговорил Фрэнк, — но мне бы не хотелось, чтобы мои слова встревожили остальных дам. Война долго не продлится. Свежих пополнений нет, а дезертирство из армии все возрастает, хоть мы и не хотим в этом признаваться. Понимаете, солдаты не в силах сражаться вдали от дома, зная, что их близкие погибают от голода. И они бегут домой, чтобы раздобыть для них пропитание. Винить их я не могу, но это ослабляет наши ряды. Да и армия тоже не может сражаться без пищи, а ее нет. Я это знаю, поскольку, как вы понимаете, добывать продовольствие — это моя служба. После того как мы снова заняли Атланту, я исколесил здесь вдоль и поперек всю округу и не набрал на пропитание даже скворцу. И та же самая картина на триста миль к югу, до самой Саванны. Люди мрут с голоду, железнодорожные пути взорваны, боеприпасы на исходе, нового оружия не поступает, нет ни сапог, ни кожи на сапоги... Так что видите, конец уже близок.

Но Скарлетт поразило не столько крушение надежд на победу Конфедерации, сколько сообщение об отсутствии продовольствия. Она ведь собиралась снарядить Порка на поиски продуктов и одежды, дав ему лошадь, повозку, несколько золотых монет и федеральные банкноты. Но если Фрэнк говорит правду...

Впрочем, Мэйкон же не был взят. В Мэйконе должны быть продукты. Как только продовольственный отряд двинется дальше, она рискнет своей драгоценной лошадью и отправит Порка в Мэйкон. А там будь что будет.

— Ладно, не стоит говорить сегодня о таких неприятных вещах, мистер Кеннеди, — сказала Скарлетт. — Ступайте посидите в мамином маленьком кабинете, а я пошлю к вам Сьюлин, чтобы вы могли... чтобы дать вам возможность немного побыть с ней наедине.

Фрэнк покраснел, заулыбался и выскользнул из комнаты. Скарлетт смотрела ему вслед.

«Жаль, что он не может жениться на ней прямо сейчас, — подумала она. — Одним бы ртом меньше».

### Глава XXIX

В апреле генерал Джонстон, снова принявший на себя командование остатками своей былой армии, сдался на милость победителя в Северной Каролине и тем положил конец войне. Но весть эта долетела до Тары лишь двумя неделями позднее. Дел на плантации было по горло, тратить время на разъезды и собирание новостей никто не имел ни малейшей возможности, все соседи сами находились в таком же положении, и посещения стали редкими, а известия доходили медленно.

Пахота была в разгаре, огородные семена и семена хлопка, привезенные Порком из Мэйкона, ложились в землю. После возвращения из этого путешествия Порк, в сущности, был уже ни на что не годен, так раздувало его от гордости: ведь он вернулся целый и невредимый и привез целую повозку одежды, битой птицы, окороков, мяса, муки и семян. Снова и снова пускался он в повествование о том, как на обратном пути избежал множества опасностей, пробираясь глухими вьючными тропами, проселками, давно не езженными дорогами и заброшенными просеками. Он находился в пути пять недель — пять мучительных для Скарлетт недель. Но когда он возвратился, Скарлетт не проронила ни слова упрека — так была она счастлива, что поездка оказалась успешной, и так рада тому, что довольно много денег Порк привез обратно, не потратив. Практическая сметка подсказывала ей, что за птицу и за большую часть провизии Порк вообще ничего не платил, почему и осталось у него столько денег. Порк посрамил бы самого себя, если бы потратил ее деньги в то время, как по дороге ему то и дело попадались никем не охраняемые птичники и коптильни.

Теперь, когда в доме появилась кое‑какая еда, все в Таре принялись за дело, стараясь вернуть поместью хотя бы некоторое подобие нормального уклада жизни. И для каждой пары рук нашлась работа, очень, очень много работы, и работе этой не предвиделось конца. Пожухлые стебли прошлогоднего хлопка надо было убрать с поля, чтобы приготовить его для нового посева, а не привыкшая к плугу лошадь упиралась и весьма неохотно тащилась по пашне. Огород надо было вскопать и засеять. Надо было нарубить дров. Надо было приниматься за возведение загонов и ограды, которая тянулась когда‑то милю за милей и которую янки походя сожгли в своих кострах. Силки, поставленные Порком на кроликов, надо было проверять дважды в день, а на реке насаживать новую наживку на крючки. Надо было застилать постели, подметать полы, стряпать, мыть посуду, кормить кур и свиней, собирать яйца из‑под наседок. Надо было доить корову и пасти ее возле болота, не спуская с нее глаз, так как в любую минуту могли вернуться янки или солдаты Фрэнка Кеннеди и увести ее с собой. Даже для малыша Уэйда нашлось дело. Каждое утро он с важным видом брал корзинку и отправлялся собирать веточки и щепки на растопку.

Весть о капитуляции принесли братья Фонтейн, первыми вернувшиеся с войны домой. Алекс, у которого все еще чудом держались на ногах сапоги, пришел пешком, а Тони, хоть и был бос, но зато ехал верхом на неоседланном муле. Так уж повелось в этой семье, что в более выгодном положении всегда оказывался Тони. За четыре года, проведенных под открытым небом, под солнцем и ветром, оба брата стали еще смуглее, еще худее и жилистей, а неухоженные черные бороды, отросшие на войне, сделали их совсем неузнаваемыми.

Спеша домой, в Мимозу, они лишь на минутку заглянули в Тару — расцеловать своих приятельниц и сообщить им о капитуляции. Все, конец, с войной покончено, сказали они, и казалось, это их мало трогало и они не особенно были расположены углубляться в эту тему. Единственно, что их интересовало, это — уцелела Мимоза или ее сожгли. На своем пути от Атланты к югу они видели только печные трубы там, где стояли прежде дома их друзей, и им уже казалось безумием надеяться на то, что их дом избежал такой же участи. Услыхав радостную весть, они вздохнули с облегчением и потом долго смеялись, хлопая себя по ляжкам, когда Скарлетт рассказала им, как Салли вихрем примчалась в Тару, лихо перемахнув верхом через живую изгородь.

— Салли — смелая девчонка, — сказал Тони, — и ужас как ей не повезло, что ее Джо ухлопали. Не найдется ли у вас тут у кого жевательного табачку, Скарлетт?

— Ничего, кроме самосада. Па курит его, пользуясь стеблем кукурузного початка.

— Ну, так низко я еще не пал, — сказал Тони. — Но, верно, докачусь и до этого со временем.

— А как поживает Димити Манро? — волнуясь и смущаясь, спросил Алекс, и Скарлетт смутно припомнила, что он, кажется, был неравнодушен к младшей сестренке Салли.

— Хорошо. Она у своей тетушки в Фейетвилле. Ведь их дом в Лавджое сожгли. А вся остальная семья в Мэйконе.

— Он, собственно, хотел спросить, не выскочила ли Димити замуж за какого‑нибудь бравого полковника из войск внутреннего охранения, — посмеиваясь, сказал Тони, и Алекс бросил на него свирепый взгляд.

— Ну, разумеется, нет, — улыбаясь, сказала Скарлетт.

— Может, и зря не вышла, — мрачно изрек Алекс. — Как, черт подери... прошу прощенья, Скарлетт. Но как может мужчина сделать предложение девушке, когда всех его негров отпустили на свободу, имение разорили и у него нет ни цента в кармане?

— Вы знаете, что это нисколько не волнует Димити, — сказала Скарлетт. Она могла отдавать должное Димити и хорошо о ней отзываться, так как Алекс Фонтейн никогда не принадлежал к числу ее поклонников.

— Да чтоб мне сгореть... Ох, еще раз прошу прощенья, Скарлетт. Надо мне отвыкнуть от этой привычки, не то бабуля шкуру с меня сдерет. Но не могу же я предложить девушке выйти замуж за нищего. Может быть, ее это и не волнует, но это волнует меня.

Пока Скарлетт беседовала с братьями Фонтейнами на переднем крыльце, Мелани, Сьюлин и Кэррин, услышав о капитуляции армии конфедератов, тихонько проскользнули в дом, и когда Фонтейны прямо через поля за домом направились к себе в Мимозу, Скарлетт вошла в холл и услышала рыданья — все трое плакали, сидя на софе в маленьком кабинетике Эллин. Итак, все было кончено, погибла прекрасная сияющая мечта, погибло Правое Дело, которым они жили, которому отдали своих друзей, мужей, возлюбленных. И свои семейные очаги — на разорение. Права Юга, казавшиеся им незыблемыми на веки веков, стали пустым звуком.

Но Скарлетт не проливала слез. Когда она узнала про капитуляцию, первой ее мыслью было: «Слава тебе господи! Теперь уж никто не заберет корову. И лошадь тоже. Теперь можно достать серебро из колодца, и каждый будет есть вилкой и ножом. Теперь я без боязни могу объехать всю округу и поискать, где можно раздобыть чего‑нибудь съестного».

Как гора с плеч! Не вздрагивать больше от испуга, заслышав стук копыт! Не просыпаться во мраке среди ночи, не прислушиваться, затаив дыхание, — в самом ли это деле или ей просто почудилось позвякивание упряжи во дворе, топот, резкие голоса янки, отдающие приказы... А главное, самое главное — Тара теперь спасена! Чудовищный кошмар не повторится больше. Теперь уже не придется ей, стоя на лужайке, смотреть, как клубы дыма вырываются из окон любимого отцовского дома, слушать, как бушует пламя и с треском обрушивается внутрь крыша.

Да, Дело, за которое они сражались, потерпело крах, но война всегда казалась Скарлетт нелепостью и, разумеется, любой мир куда лучше. Никогда глаза ее не загорались восторгом при виде ползущего вверх по древку звездно‑полосатого флага и мурашки не пробегали по телу при звуках «Дикси». И не пылал в ее душе тот фанатический огонь, который помогал многим переносить во имя Правого Дела и лишения, и тошнотворные обязанности сиделки, и ужасы осады, и голод последних месяцев. Все это теперь позади, с этим покончено навсегда, и она не станет это оплакивать.

Все позади! Позади война, которой, казалось, не будет конца, которая пришла непрошеная и нежданно‑негаданно так рассекла ее жизнь надвое, что она теперь с трудом могла припомнить, что было в те прежние, беззаботные дни. Оглядываясь назад, она бесстрастно взирала на хорошенькую девчонку Скарлетт О’Хара в изящных зеленых сафьяновых туфельках и пышных, источающих аромат лаванды кринолинах и с недоумением вопрошала себя: неужели это была она? Неужели это она — та Скарлетт О’Хара, покорительница сердец всего графства, повелительница сотни рабов, наследница богатого поместья, надежно защищенная своим богатством, как щитом, окруженная любовью обожающих родителей, готовых исполнить любое ее желание? Избалованная, беспечная девчонка, никогда не знавшая ни в чем отказа и не сумевшая только стать женой Эшли.

Где‑то на крутой извилистой дороге, по которой она брела последние четыре года, эта девчонка с ее надушенными платьями и бальными туфельками незаметно потерялась, оставив вместо себя молодую женщину с жестким взглядом чуть раскосых зеленых глаз, бережливо пересчитывающую каждый пенни, не гнушающуюся любой черной работой, женщину, потерявшую все, кроме неистребимой красной земли, на которой она стояла среди обломков.

Она прислушивалась к всхлипываниям, доносившимся из кабинета Эллин, а в мозгу ее уже творилась работа:

«Мы посеем еще хлопка, еще много, много хлопка. Завтра же пошлю Порка в Мэйкон купить семян. Теперь янки уже не сожгут наш хлопок, и войскам Конфедерации он тоже не нужен. Великий боже! Хлопок этой осенью должен взлететь в цене до небес!»

Она прошла в кабинет Эллин и, не обращая внимания на плачущих сестер и Мелани, присела к секретеру, взяла гусиное перо и стала подсчитывать, сколько у нее в наличии денег и сколько она сможет прикупить на них семян для посева хлопка.

«Война окончилась, — снова подумала она и внезапно выронила перо. Ощущение безмерного счастья затопило ее. — Война окончилась, и Эшли... Если Эшли жив, он возвратится домой. А думает ли об этом Мелани, оплакивающая сейчас крах Правого Дела?» — вдруг мелькнула у нее мысль.

«Скоро мы получим письмо... нет, не письмо. Почта еще не работает. Но скоро... Словом, так или иначе, он скоро даст нам знать о себе!»

Но проходили дни, складываясь в недели, а от Эшли не было вестей. Почта в Южных штатах работала еле‑еле, а в сельских местностях не работала вовсе. Время от времени какой‑нибудь случайный заезжий человек из Атланты привозил письмецо от тетушки Питти, слезно молившей Мелани и Скарлетт вернуться к ней. Но от Эшли вестей не было.

После капитуляции Юга подспудно тлевшая между Скарлетт и Сьюлин распря из‑за лошади вспыхнула с новой силой. Поскольку теперь опасность нападения янки миновала, Сьюлин возжелала ездить с визитами по соседям. Тоскуя от одиночества, от утраты прежнего веселого общения с друзьями и знакомыми, Сьюлин страстно рвалась навестить соседей — прежде всего хотя бы для того, чтобы убедиться, что во всех других поместьях дела идут не лучше, чем в Таре. Но Скарлетт проявила железное упорство. Лошадь нужна для дела: возить дрова из леса, пахать. И Порку надо ездить на лошади — искать, где можно купить провизии. А по воскресеньям коняга заслужила право попастись на выгоне и отдохнуть. Если Сьюлин припала охота наносить визиты, никто не мешает ей отправиться пешком.

До прошлого года Сьюлин едва ли хоть раз за всю свою жизнь прошла пешком более ста ярдов, и предложение Скарлетт совсем не показалось ей заманчивым. Она осталась дома, ворчала, плакала и то и дело восклицала: «О, если бы мама была жива!» — за что в конце концов получила от Скарлетт давно обещанную затрещину, которая оказалась настолько крепкой, что опрокинула ее среди неистового визга на постель и вызвала переполох во всем доме. После этого у Сьюлин явно поубавилось желания хныкать — во всяком случае, в присутствии Скарлетт.

Скарлетт не соврала, говоря, что хочет, чтобы лошадь отдыхала, но она сказала лишь полуправду. Другая половина правды заключалась в том, что сама Скарлетт в первый же месяц после окончания войны побывала с визитами у всех соседей, и то, что она увидела на знакомых с детства плантациях, в домах у знакомых с детства людей, сильнее поколебало ее мужество, чем ей хотелось бы в этом признаться.

У Фонтейнов — благодаря отчаянной скачке, вовремя предпринятой Салли, — дела шли лучше, чем у других, но их положение казалось благополучным лишь на фоне поголовного бедствия. Бабушка Фонтейн так до конца и не оправилась после сердечного приступа, приключившегося с ней в тот день, когда она возглавила борьбу с пожаром и отстояла от огня свой дом. Старый доктор Фонтейн медленно поправлялся после ампутации руки. Тони и Алекс неумело пахали и мотыжили землю. Перегнувшись через ограду, они пожали Скарлетт руку, когда она приехала их проведать, и отпустили шуточки по адресу ее разваливающейся повозки, но в глубине их темных глаз притаилась горечь: ведь подсмеиваясь над Скарлетт, они подсмеивались и над собой. Она попросила их продать ей кукурузных зерен для посева, и они пообещали выполнить ее просьбу и тут же ударились в обсуждение хозяйственных проблем. Рассказали, что у них двенадцать кур, две коровы, пять свиней и мул, которого они пригнали домой с войны. Одна из свиней только что сдохла, и они боятся, что за ней могут пасть и другие. Слушая, как эти бывшие денди, для которых модный галстук был едва ли не главным предметом серьезного беспокойства, озабоченно говорят о свиньях, Скарлетт рассмеялась, и в ее смехе тоже прозвучала горькая нотка.

Все очень радушно принимали ее в Мимозе и настояли, чтобы она взяла кукурузные семена в подарок, без денег. Фонтейновские темпераменты мгновенно вспыхнули как порох, когда она положила зеленую купюру на стол, и братья наотрез отказались принять деньги. Скарлетт взяла зерна и украдкой сунула долларовую бумажку в руку Салли. Сейчас Скарлетт просто не верилось, что эта Салли — та самая молодая женщина, которая принимала ее восемь месяцев назад, когда она только что возвратилась в Тару. Та Салли тоже была очень бледна, но дух ее не был сломлен. Теперь она казалась мертвой, опустошенной, словно поражение Юга отняло у нее последнюю надежду.

— Скарлетт, — прошептала она, сжимая купюру в руке. — К чему было все это? За что мы сражались? О, мой бедный Джо! Мой несчастный малютка!

— Я не знаю, за что мы сражались, и не желаю знать, — сказала Скарлетт. — Меня это не интересует. И никогда не интересовало. Война — мужское занятие, а не женское. Меня сейчас интересует только одно — хороший урожай хлопка. Возьми этот доллар и купи Джо какую‑нибудь одежку. Видит бог, она ему не помешает. Я не намерена вас грабить, как бы Алекс и Тони ни старались быть рыцарями.

Братья проводили ее до повозки, галантно, невзирая на свой оборванный вид, помогли ей взобраться на козлы, пошутили — весело и непринужденно, чисто по‑фонтейновски, — но картина их обнищания стояла у Скарлетт перед глазами, когда она покидала Мимозу, и по спине у нее пробегал холодок. Она сама так устала от нищеты и скаредности! Как приятно было бы увидеть людей, живущих в довольстве, не тревожась о куске хлеба на завтрашний день!

Кэйд Калверт возвратился к себе в Сосновые Кущи, и Скарлетт, поднявшись по ступенькам старого дома, в котором она так часто танцевала в былые счастливые времена, и поглядев Кэйду в лицо, увидела на нем печать смерти. Кэйд страшно исхудал и все время кашлял, полулежа на солнце в кресле, набросив на колени плед, но при виде Скарлетт лицо его просветлело. Небольшая простуда застряла у него где‑то в грудной клетке, сказал он, делая попытку подняться Скарлетт навстречу. Слишком много приходилось спать под дождем. Но скоро он поправится и вместе со всеми примется за дело.

Кэтлин Калверт, заслышав их голоса, вышла из дома на веранду. Глаза ее встретились за спиной брата с глазами гостьи, и Скарлетт прочла в них горькую истину и отчаяние. Кэйд, быть может, и не понимал, но Кэтлин понимала. В Сосновых Кущах царило запустение, в них буйствовали сорняки, на полях начала пробиваться молодая сосновая поросль, а дом стоял заброшенный, неопрятный. Сама Кэтлин очень похудела и держалась натянуто.

Кэтлин и Кэйд жили в этом пустом, странно гулком доме вместе со своей мачехой‑янки, четырьмя маленькими единокровными сестренками и Хилтоном — управляющим‑янки. Скарлетт всегда недолюбливала Хилтона, как не любила она и отцовского управляющего Джонаса Уилкерсона, а сейчас, когда Хилтон не спеша направился к ней и приветствовал ее как равный равную, невзлюбила еще пуще. Прежде его отличала та же смесь угодливости и нахальства, которая была присуща и Уилкерсону, но теперь, когда мистер Калверт и Рейфорд погибли на войне, а Кэйд был смертельно болен, всю угодливость Хилтона как ветром сдуло. Вторая миссис Калверт никогда не умела поставить себя с неграми‑слугами так, чтобы заслужить их уважение, и трудно было ожидать, что она больше преуспеет с белым слугой.

— Мистер Хилтон был так добр, что не покинул нас в эти трудные времена, — явно нервничая и неуверенно поглядывая на свою молчаливую падчерицу, произнесла миссис Калверт. — Чрезвычайно добр. Вы, вероятно, слышали, как он дважды спас наш дом, когда здесь был генерал Шерман. Просто не знаю, что бы мы делали без него, ведь у нас совсем нет денег, и Кэйд...

На бледных щеках Кэйда вспыхнул румянец, а Кэтлин опустила длинные ресницы и сжала губы. Скарлетт видела, что их душит бессильный гнев — нелегко им было чувствовать себя в долгу у этого управляющего‑янки. А миссис Калверт, казалось, вот‑вот заплачет. Опять она совершила какую‑то оплошность. Она вечно попадала впросак. Прожив в Джорджии двадцать лет, она так и не научилась понимать этих южан. Она никогда не знала, чего не следует говорить своим пасынкам, и вместе с тем, что бы она ни сказала и ни сделала, они были неизменно вежливы с ней. И она давала в душе обеты богу, что уедет на Север, к родителям, забрав с собой детей, и оставит навсегда этих высокомерных, загадочных и чуждых ей людей.

После таких визитов у Скарлетт отпала охота навещать Тарлтонов. Все четыре брата погибли на войне, усадьбу сожгли. Тарлтоны ютились теперь в домике управляющего, и Скарлетт никак не могла заставить себя поехать их проведать. Но Сьюлин и Кэррин упрашивали ее, и Мелани сказала, что это было бы не по‑соседски — не проведать мистера Тарлтона, вернувшегося с войны, — и как‑то в воскресенье они все же собрались и поехали.

Это посещение было самым тяжелым из всех.

Приближаясь к развалинам дома, они увидели Беатрису Тарлтон: в рваной амазонке, с хлыстом под мышкой, она сидела на ограде загона и безучастно смотрела в никуда. Кривоногий, малорослый чернокожий малый — объездчик лошадей — сидел с ней рядом, и вид у него был не менее угрюмый, чем у нее. Загон, в котором всегда резвились жеребята и стояли спокойно‑грациозные породистые кобылы, был пуст, если не считать одного‑единственного мула, на котором мистер Тарлтон возвратился с войны домой.

— Клянусь богом, я просто не знаю, куда себя девать теперь — после того, как не стало моих красавцев, — сказала миссис Тарлтон, соскакивая с изгороди. Стороннему человеку могло бы показаться, что она говорит о своих четырех погибших на войне сыновьях, но гости из Тары поняли, что речь идет о лошадях. — Все мои красавчики пали. И моя бедняжка Нелли! Останься у меня хотя бы Нелли! Ничего, кроме этого проклятого мула. Проклятого мула, — повторила она, с возмущением глядя на костлявое животное. — Это же оскорбление памяти моих чистокровных красоток — держать в их загоне мула. Мулы — это противоестественные, ублюдочные создания, и следовало бы издать закон, запрещающий их разводить!

Джим Тарлтон, обросший косматой бородой, делавшей его совершенно неузнаваемым, с громкими приветствиями появился из домика управляющего и расцеловался с дамами, а следом за ним оттуда высыпали и его четыре рыжеволосые дочки в залатанных платьях, спотыкаясь о вертевшихся в ногах черных и пегих собак, которые при звуках чужих голосов всей дюжиной с лаем бросились наружу. И от напускной веселости, проявляемой всем этим семейством, Скарлетт мороз подрал по коже — это было еще страшнее, чем затаенная горечь в глазах обитателей Мимозы или дух смерти, витавший над Сосновыми Кущами.

Тарлтоны настояли, чтобы гостьи остались отобедать, — ведь теперь такие посещения стали редкостью, говорили они, и ужасно хочется узнать какие‑нибудь новости. У Скарлетт не было никакой охоты засиживаться в гостях — атмосфера этой семьи действовала на нее угнетающе, — но ее сестрам и Мелани хотелось побыть подольше, и в конце концов они все остались обедать и тактично отведали немножко мяса и сушеных бобов, которыми их потчевали.

По поводу скудости угощения было отпущено немало шуток, и сестры Тарлтон так заливались смехом, рассказывая, к каким ухищрениям научились они прибегать, переделывая свои старые туалеты, словно смешнее этого ничего нельзя было придумать. Мелани вторила им, с изумившей Скарлетт шутливостью оживленно повествуя о лишениях и трудностях, которыми полна их жизнь в Таре. А у Скарлетт слова не шли с языка. Дом казался ей опустевшим без четырех высоченных братьев Тарлтонов, которые должны были бы сидеть здесь, развалясь в креслах, покуривая сигары и поддразнивая девушек. А если она ощущает эту пустоту, то что же должны чувствовать сами Тарлтоны, мужественно разыгрывающие веселую комедию перед своими соседями?

Кэррин говорила мало, но когда все встали из‑за стола, она подошла к миссис Тарлтон и что‑то прошептала ей на ухо. Миссис Тарлтон изменилась в лице, вымученная улыбка сползла с ее губ, она протянула руку и обхватила тоненькую талию Кэррин. Они вместе вышли из комнаты, и Скарлетт, почувствовав, что она больше ни секунды не может оставаться в этих стенах, последовала за ними. Они пошли по дорожке через сад, и Скарлетт увидела, что их путь ведет к семейному кладбищу. Повернуть обратно к дому теперь было уже невозможно. Это выглядело бы слишком грубо. Но зачем же Кэррин понадобилось тащить мать к могилам ее сыновей, в то время как Беатриса Тарлтон так старалась держаться мужественно?

За кирпичной оградой, под темными кедрами, белели два новых мраморных надгробия — настолько новых, что дождь еще ни разу не успел забрызгать их красной глиной.

— Мы получили их на прошлой неделе, — с гордостью объяснила миссис Тарлтон. — Мистер Тарлтон поехал в Мэйкон и привез их в фургоне.

Надгробные плиты! Сколько же они могли стоить? Сочувствие, которое поначалу испытывала Скарлетт к Тарлтонам, внезапно испарилось. Люди, которые могут тратить драгоценные деньги на могильные плиты, в то время как еда так дорога, что к ней не подступиться, не заслуживают симпатии. И к тому же на плитах были высечены надписи — по несколько строк на каждой. А чем больше слов, тем больше денег. Вся семейка, как видно, рехнулась! А во что еще обошлось им привезти сюда тела трех братьев! Тело Бойда так и не нашли.

Между могилами Брента и Стюарта возвышалось надгробие с надписью: «Они были добрыми и любящими при жизни и в смерти остались неразлучны».

На другом надгробии были высечены имена Бойда и Тома и какая‑то латинская надпись, начинавшаяся словами: «Duke et...» Но Скарлетт это ничего не говорило, так как во время пребывания в Фейетвиллском пансионе ей как‑то удалось обойти латынь стороной.

Отвалить столько денег за могильные плиты! Нет, они просто идиоты! Скарлетт была так возмущена, словно Тарлтоны пустили на ветер ее деньги, а не свои.

А в глазах Кэррин появился какой‑то необычный блеск.

— Какие прекрасные слова, — прошептала она, указывая на первое надгробие.

«Понятно, это в ее вкусе. Всякая сентиментальность трогает ее до слез».

— Да, — сказала миссис Тарлтон. Голос ее потеплел. — Нам казалось, что это очень хорошая надпись, — они ведь погибли почти одновременно. Сначала Стюарт, а потом Брент — он подхватил знамя, выпавшее из рук брата.

На обратном пути Скарлетт была молчалива. Она думала о том, что видела в домах, которые посетила, и невольно возвращалась мыслями к тем временам, когда край этот процветал и в каждом доме было полно гостей, полно черных слуг и полно денег, а на усердно обработанных полях величаво произрастал хлопок.

«Еще через год все эти поля покроются молодой сосновой порослью, — подумала она, глядя на обступавший поля со всех сторон лес, и по телу у нее пробежала дрожь. — Без негров мы едва‑едва сумеем свести концы с концами. Никто не сможет обработать большую плантацию без негров, и много земли останется невозделанной, и скоро на месте полей снова подымутся леса. Никто не сможет посеять много хлопка, и как же мы будем тогда жить? Какая участь ждет всех плантаторов? Городские жители как‑нибудь устроят свою жизнь. Они всегда находили пути. А плантаторы будут отброшены на сто лет назад, ко временам первых пионеров, бревенчатых хижин, крошечных клочков обработанной земли и жизни на грани вымирания».

«Нет, — подумала она мрачно. — Не бывать такому с Тарой. Скорее я сама впрягусь в плуг. Вся округа, весь штат может, если им это нравится, зарастать лесами, но в Таре я этого не допущу. И я не стану разбазаривать последние деньги на могильные плиты и тратить время на вздохи по проигранной войне. Мы как‑нибудь выкрутимся. Я знаю, что мы бы все выкрутились, если бы мужчин не перебили на войне. Потеря негров — это еще не самое худшее из зол. Ужасна потеря мужчин, молодых мужчин. — Она снова подумала о четырех братьях Тарлтонах, о Джо Фонтейне, о Рейфорде Калверте, о братьях Манро и о всех прочих юношах из Фейетвилла и Джонсборо, чьи имена читала в списках раненых и убитых. — Мы бы как‑нибудь справились, если бы уцелело достаточно мужчин, но...»

Новая мысль неожиданно поразила ее: а что, если она захочет снова выйти замуж? Конечно, ей это ни к чему. Одного раза вполне достаточно. К тому же единственный человек, за которого она могла бы пожелать выйти замуж, уже женат и неизвестно еще, жив ли. Но что, если ей все‑таки захочется выйти замуж? Кто же теперь остался? Кто мог бы жениться на ней? Мысль эта потрясла ее.

— Мелли, — сказала она, — какая же участь ждет теперь наших женщин‑южанок?

— Что ты имеешь в виду?

— То, что я сказала. Что с ними будет? Им же теперь не за кого выйти замуж. Понимаешь, Мелли, после того как всех мужчин перебили, тысячи женщин в Южных штатах обречены будут умереть старыми девами.

— И бездетными, — добавила Мелани: ей эта сторона вопроса казалась наиболее существенной.

По‑видимому, такая мысль уже не раз приходила в голову Сьюлин, сидевшей в глубине повозки, потому что она вдруг расплакалась. Сьюлин не получала вестей от Фрэнка Кеннеди с самого Рождества и не знала — плохая ли работа почты тому виной или непостоянство ее возлюбленного, который лишь играл ее чувствами и уже забыл о ней. А может быть, он погиб в последние дни войны, что было бы, конечно, все же предпочтительнее, чем оказаться брошенной. Погибший возлюбленный придает хотя бы некий ореол значительности своей безутешной невесте — вроде того, какой окружает теперь Кэррин и Индию Уилкс, — в то время как на долю брошенной не достается ничего.

— О, бога ради, перестань! — воскликнула Скарлетт.

— Да, тебе легко говорить! — всхлипывала Сьюлин. — Ты была замужем, у тебя ребенок, все знают, что был кто‑то, кто тебя любил. А каково мне? И у тебя еще хватает низости бросать мне в лицо, что я старая дева, хотя ты понимаешь, что это не моя вина! По‑моему, это гадко!

— Ну, замолчи! Ты знаешь, я терпеть не могу тех, кто вечно хнычет. Ты прекрасно понимаешь, что наш старина Джо — Рыжие‑Бакенбарды цел и невредим и скоро вернется и женится на тебе. Он достаточно для этого глуп. Другое дело, что я бы лично предпочла остаться старой девой, чем получить такого мужа.

Какое‑то время в глубине повозки царило молчание. Кэррин с рассеянным видом утешала сестру, машинально поглаживая ее руку: мыслями она была далеко — на лесной тропе, по которой три года назад скакала верхом с Брентом Тарлтоном, — и в глазах ее появился странный экзальтированный блеск.

— Ах, — грустно вздохнула Мелани, — не могу себе представить Юг без наших прекрасных юношей! А как бы он расцвел, будь они живы! Мы должны быть мужественными, энергичными и умными, как они, Скарлетт. Все мы, у кого есть сыновья, должны вырастить их достойными занять место ушедших, вырастить их такими же храбрыми, как те.

— Таких, как они, уже не будет никогда, — тихо сказала Кэррин. — Никто не может их заменить.

И весь остаток пути они больше не разговаривали.

Как‑то, несколькими днями позже, Кэтлин Калверт на закате солнца приехала в Тару. Приехала она, сидя верхом в дамском седле на муле — такой жалкой, хромоногой, вислоухой твари Скарлетт отродясь еще не видала, — да и сама Кэтлин — в платье из вылинявшей полосатой бумажной ткани, которая раньше шла только на одежду для слуг, в шляпе, завязанной под подбородком обрывком шпагата, — являла собой почти столь же жалкое зрелище. Она подъехала к дому, но не спешилась, и Скарлетт с Мелани, стоявшие на крыльце, любуясь закатом, спустились по ступенькам ей навстречу. Кэтлин была так же бледна, как и Кэйд в тот день, когда Скарлетт заезжала их проведать, — бледное, суровое лицо ее казалось застывшим, как фарфоровая маска, словно она дала обет молчания и боялась хоть единым словом его нарушить. Но сидела она на своем муле очень прямо и голову держала высоко.

Скарлетт внезапно вспомнился прием у Уилксов, и как они с Кэтлин перешептывались по поводу Ретта Батлера. Как свежа и хороша была в тот день Кэтлин в пене голубого органди с душистыми розами у пояса, в маленьких черных бархатных туфельках, зашнурованных крест‑накрест вокруг стройных лодыжек. Ничто не напоминало прежней грациозной девочки в этой застывшей фигуре, каменно восседавшей на муле.

— Нет, заходить я не буду, спасибо, — сказала она. — Я заехала только сообщить вам, что выхожу замуж.

— Как?

— За кого же?

— Кэти, какая великолепная новость!

— Когда же свадьба?

— Завтра, — сказала Кэтлин, и что‑то в ее голосе смело радостные улыбки с их лиц. — Я приехала сообщить вам, что венчаюсь завтра в Джонсборо... и никого из вас не приглашаю на свадьбу.

Они проглотили это сообщение молча, озадаченно глядя на Кэтлин. Наконец Мелани заговорила:

— Это кто‑нибудь, кого мы знаем, моя дорогая?

— Да, — ответила Кэтлин. — Это мистер Хилтон.

— Мистер Хилтон?

— Да, мистер Хилтон, наш управляющий.

Скарлетт едва не вскрикнула: «Ой!», но Кэтлин, упершись взглядом в Мелани, внезапно произнесла негромко, с неистовым отчаянием в голосе:

— Мелли, если ты заплачешь, я этого не выдержу! Я умру!

Мелани стояла молча, опустив голову, и только тихонько погладила вдетую в стремя ногу в неуклюжем самодельном башмаке.

— И не надо меня гладить! Этого я тоже не перенесу.

Рука Мелани упала, но головы она не подняла.

— Ладно, я поехала. Хотела просто сообщить вам. — Кэтлин натянула поводья, лицо ее снова стало белой фарфоровой маской.

— Как Кэйд? — спросила совершенно оторопевшая Скарлетт, беспомощно стараясь чем‑то заполнить тягостное молчание.

— Он умирает, — коротко сообщила Кэтлин. Голос ее звучал холодно, безучастно. — И я сделаю все, насколько это в моих силах, чтобы он умер спокойно, не тревожась обо мне и понимая, что, когда его не станет, я буду не одна, обо мне позаботятся. Дело в том, что наша мачеха отбывает завтра с детьми на Север. Ну, все, мне надо ехать.

Мелани подняла голову и встретила жесткий взгляд Кэтлин. Глаза Мелани были полны сочувствия и понимания, а на длинных ресницах блестели слезинки, и внезапно горькая улыбка — совсем как у ребенка, который храбрится, стараясь не заплакать от боли, — искривила губы Кэтлин. От всего этого у Скарлетт голова совсем пошла кругом: она никак не могла освоиться с мыслью, что Кэтлин Калверт выходит замуж за управляющего, — Кэтлин Калверт, дочь богатого плантатора, Кэтлин, у которой было так много поклонников, как ни у одной девушки в графстве, не считая, конечно, самой Скарлетт.

Кэтлин наклонилась, Мелани встала на цыпочки. Они поцеловались. Потом Кэтлин резко дернула поводья, и старый мул тронулся с места.

Мелани смотрела ей вслед, слезы струились по ее щекам. Скарлетт все еще никак не могла прийти в себя от изумления.

— Мелли, она что — рехнулась? Как могла она влюбиться в него?

— Влюбиться? Боже мой, Скарлетт, какие ужасные мысли приходят тебе в голову! Ах, бедная Кэтлин! Бедный Кэйд!

— Да брось ты! — воскликнула Скарлетт, которую все это уже начинало раздражать. Ей было досадно, что Мелани как‑то всегда ухитрялась глубже, чем она сама, вникнуть в суть вещей. Помолвка Кэтлин поразила ее своей неожиданностью, но вовсе не показалась чем‑то трагическим. Конечно, это не большое удовольствие — выходить замуж за янки, за белую шваль, но в конце‑то концов девушка не может жить одна‑одинешенька на плантации, ей нужен муж, чтобы помочь управиться с хозяйством.

— Вот об этом самом я и толковала тебе, Мелли, на днях. У девушек теперь нет женихов, и им приходится выходить за кого попало.

— Да совершенно не обязательно им выходить замуж. Ничего нет постыдного в том, чтобы оставаться незамужней. Возьми к примеру хоть тетю Питти. Господи, да, по мне, лучше смерть, чем такой брак! И я уверена, что Кэйду тоже легче было бы увидеть Кэтлин мертвой. Это конец рода Калвертов. Подумай только, за кого она... какие у них будут дети! Послушай, Скарлетт, скорей вели Порку оседлать лошадь, скачи за Кэтлин и скажи — пусть она лучше переходит жить к нам.

— Еще чего! — вскричала Скарлетт, пораженная тем, как Мелани походя распоряжается ее поместьем. У Скарлетт не было ни малейшего намерения кормить еще один рот. Она уже готова была заявить об этом во всеуслышание, но что‑то в удрученном лице Мелани заставило ее сдержаться. — Она же не согласится, Мелли, — подошла она к делу с другой стороны. — Ты сама понимаешь. Она слишком гордая, для нее это будет то же, что принять милостыню.

— Да, ты права, ты права! — совершенно расстроенная, пробормотала Мелани, глядя, как оседает на дорогу маленькое облачко красной пыли.

«Ты живешь тут уже который месяц, — угрюмо подумала Скарлетт, глядя на золовку, — и тебе ни разу не пришло в голову, что ведь, в сущности, ты принимаешь от меня подаяние. И никогда, думаю, и не придет. Таких, как ты, не смогла изменить даже война, ты мыслишь и действуешь так, словно ничего не произошло, словно мы по‑прежнему богаты, как Крез, и не знаем, куда девать продукты, и сколько в доме гостит народу, не имеет для нас значения. И похоже, ты будешь сидеть у меня на шее до конца дней моих. Но только не с Кэтлин в придачу — нет, покорно благодарю!»

### Глава XXX

В то жаркое лето после заключения мира Тара перестала быть уединенным островком. Месяц за месяцем через плантации лился поток страшных, бородатых, оборванных, похожих на пугала людей со стертыми в кровь ногами; они взбирались на красный холм и присаживались отдохнуть на затененном крыльце, моля о пище и о ночлеге. Солдаты армии конфедератов возвращались домой. Остатки армии Джонстона перебросили по железной дороге из Северной Каролины в Атланту, выгрузили их там, и они пустились в дальнейшее паломничество пешком. Когда волна солдат генерала Джонстона спала, за нею следом побрели измученные ветераны виргинской армии, а за ними — солдаты западных войск; все стремились на юг, к своим домам, которых, быть может, и не существовало более, к своим семьям, давно, быть может, рассеявшимся по свету или погребенным в земле. Почти все шли пешком, а наиболее удачливые ехали верхом на костлявых лошадях или мулах, которых согласно условиям капитуляции им разрешили сохранить, но бедные животные были настолько истощены, что самому неопытному глазу было ясно: ни одно из них не дотянет до далекой Флориды или Южной Джорджии.

Домой! Домой! Одна мысль владела умами всех солдат. Некоторые были молчаливы, печальны, другие веселы, полны презрения к лишениям, но и тех и других поддерживала мысль: войне конец, мы возвращаемся домой. И мало кто испытывал горечь поражения. Это выпало на долю женщин и стариков. А солдаты отважно сражались, их победили, и теперь им хотелось одного: вернуться к мирному труду землепашцев под флагом страны, за которую шла борьба.

Домой! Домой! Они не могли говорить ни о чем другом — ни о битвах, ни о ранах, ни о плене, ни о будущем. Пройдет время, и они начнут вспоминать сражения и рассказывать своим детям и внукам о схватках, атаках, налетах, о шутливых проделках, о голоде, ранениях, форсированных маршах... Но не сейчас. У одних не было ноги, у других — руки, у третьих — глаза, и почти у всех были шрамы, которые станут ныть в сырую погоду, если они доживут лет до семидесяти, но все это казалось им сейчас несущественным. Дальше жизнь пойдет по‑другому.

И одно было общим для всех — для старых и молодых, для разговорчивых и молчаливых, для богатых плантаторов и изможденных бедняков — все равно страдали от дизентерии и вшей. Вшивость стала таким неизменным спутником солдат‑конфедератов, что они уже машинально и бездумно почесывались даже в присутствии дам. Что до дизентерии — «кровавой лихорадки», как деликатно называли эту болезнь дамы, — то она, по‑видимому, не пощадила никого от рядового до генерала. Четыре года существования на грани голодной смерти, четыре года на рационе самой грубой, зачастую несвежей, зачастую почти несъедобной пищи сделали свое дело, и каждый солдат, искавший пристанища в Таре, либо страдал этой болезнью, либо только что от нее оправился.

— Похоже, во всей армии не сыщется ни одного здорового брюха с крепкими кишками, — мрачно изрекла Мамушка, обливавшаяся потом у очага, готовя горький отвар из корня ежевики, который Эллин считала чудодейственным лекарством от всех желудочных заболеваний. — Сдается мне, не янки побили наших жентмунов, а просто у наших жентмунов кишки не выдержали. Какой жентмун может сражаться, ежели у него в кишках вода?

И одного за другим она поила их всех отваром, не предваряя лечения пустыми вопросами о состоянии желудка, и все, один за другим, покорно, хотя порой и кривясь, пили ее снадобье, вспоминая, быть может, другие суровые черные лица в далеком отсюда краю и другие непреклонные черные руки с ложкой целебного снадобья.

В такой же мере непреклонна была Мамушка и в вопросах «обчества» и неусыпно следила за тем, чтобы ни один обовшивевший солдат не переступил порога Тары. Мамушка препровождала их всех за густые заросли кустарника, где предлагала им разоблачиться, снабжала куском щелочного мыла, лоханкой горячей воды, а также простынями и одеялами — прикрыть наготу, пока она будет кипятить их одежду в огромном стиральном котле. Женская половина дома горячо протестовала против такого обращения, унижающего честь солдата, но все протесты были бесплодны. Мамушка отвечала на это, что еще большему унижению подвергнутся они сами, если обнаружат на себе вошь.

Когда солдаты стали появляться на плантации почти ежедневно, запротестовала сама Мамушка: она не желала пускать солдат в спальни. Ее преследовал страх, что какая‑нибудь шустрая вошь ускользнет от ее зоркого глаза. Во избежание пререканий Скарлетт превратила в спальню гостиную, устланную мягким ковром. Мамушка снова подняла крик, протестуя против кощунственного обращения с ковром покойной мисс Эллин, но на сей раз Скарлетт была тверда. Где‑то же солдатам надо спать! И через несколько месяцев после заключения мира на мягком ворсе ковра стали появляться потертости, а вскоре грубая основа и уток проглянули в тех местах, где прогулялись неосторожный солдатский каблук или шпора.

И у каждого солдата все жадно выспрашивали про Эшли. А Сьюлин с достоинством осведомлялась о мистере Кеннеди. Но никто из солдат ничего о них не слышал, да и не имел особой охоты распространяться о пропавших без вести. Им повезло, они уцелели, и им не хотелось думать о тех, кто покоится в безымянных могилах и никогда не вернется домой.

Вся семья старалась укрепить мужество Мелани после каждого пережитого ею разочарования. Нет, конечно, Эшли не умер в тюрьме. Тюремный капеллан обязательно написал бы им, если бы это случилось. Эшли, без сомнения, сейчас возвращается домой, но путь‑то ведь далекий. Да боже ты мой, даже на поезде это несколько суток езды, а если он идет пешком, как эти солдатики?.. «Почему он не пишет?!» — «Но, дорогая, вы же знаете, как работает почта — через пень колоду, как говорится, хотя железнодорожное сообщение и восстановилось». — «А что, если... что, если он умер на пути домой?» — «Но послушайте, Мелли, какая‑нибудь женщина, пусть даже янки, непременно известила бы нас об этом...» — «Какая‑нибудь янки? Хм...» — «Ах, Мелли, порядочные женщины есть и там. Да, да, есть! Господь бог не мог населить целую страну такими людьми, среди которых не было бы ни единой порядочной женщины! Скарлетт, ты помнишь, как мы встретили однажды в Саратоге очень славную женщину‑янки? Расскажи про нее Мелани».

— Славную? Как бы не так! — сказала Скарлетт. — Эта янки спросила меня, сколько гончих собак мы держим, чтобы травить ими наших негров. Я согласна с Мелли. Я еще не встречала ни одного славного янки — ни женщины, ни мужчины. Но ты не плачь, Мелли. Эшли вернется. Путь‑то далекий, а ведь может... может, у него нет сапог.

И тут, вообразив себе босоногого Эшли, Скарлетт чуть не расплакалась сама. Другие солдаты могли приковылять домой, обернув ноги тряпьем — обрывками ковра или мешковиной, но только не Эшли. Он должен был возвратиться домой, гарцуя на коне, в красивом мундире и сверкающих сапогах, с пером на шляпе. Думать, что Эшли может быть низведен до такого же унизительного состояния, как эти солдаты, было невыносимо для Скарлетт.

Как‑то в июле, в послеполуденный час все обитатели Тары в полном составе собрались на заднем крыльце дома, с интересом наблюдая, как Порк разрезает первую поспевшую в огороде дыню, и тут до слуха их долетел стук копыт по гравию подъездной аллеи. Присей лениво поплелась к переднему крыльцу, в то время как остальные принялись горячо обсуждать, спрятать ли дыню или подать ее на ужин, если окажется, что подъехал какой‑нибудь солдат.

Мелли и Кэррин говорили шепотом, что надо угостить солдата, а Скарлетт, нашедшая поддержку в лице Сьюлин и Мамушки, шипела на ухо Порку, чтобы он поживее спрятал дыню.

— Не глупите, девочки! Нам самим‑то едва достанется по кусочку, а если там два‑три голодных солдата, то не видать нам этой дыни как своих ушей, — говорила Скарлетт.

Порк стоял с маленькой дыней в руках, не зная, к какому же они в конце концов придут решению, и тут все услышали возгласы Присей:

— Батюшки светы! Мисс Скарлетт! Мисс Мелли! Идите сюда скорей!

— Кто там? — воскликнула Скарлетт и, вскочив со ступенек, бросилась через холл. Мелани бежала за ней по пятам, остальные спешили следом.

«Эшли! — пронеслось у Скарлетт в голове. — Или, быть может...»

— Это дядюшка Питер! Дядюшка Питер от мисс Питти!..

Все выбежали на крыльцо, и глазам их предстала высокая фигура старого седовласого тирана тетушки Питти, слезавшего с тонкохвостой клячи, покрытой вместо седла куском одеяла. На широком черном лице привычное выражение спокойного достоинства не без борьбы уступало место восторгу от встречи со старыми друзьями, вследствие чего лоб дядюшки Питера прорезали строгие морщины, а рот расплывался в улыбке, как пасть старой беззубой гончей.

Все — и белые, и черные — сбежали по ступенькам ему навстречу, все жали ему руки и засыпали вопросами, но голос Мелани прозвучал отчетливее других:

— Тетушка не заболела, нет?

— Нет, мэм. Она держится, храни ее господь, — отвечал дядюшка Питер, бросая такой суровый взгляд сначала на Мелани, затем на Скарлетт, что они сразу почувствовали себя провинившимися, хотя еще не отдавали себе отчета — в чем. — Она держится, но она шибко в обиде на вас, молодые мисс, и если уж говорить напрямки, так и я тоже!

— Почему, дядюшка Питер? Что мы такое...

— Да уж не прикидывайтесь, будто не знаете! Мало, что ли, писала она вам? Писала и писала, просила приехать. Я ж тоже не слепой — видал, как она получит ваше письмо и сидит, слезами обливается. У вас, значит, столько много делов на этой старой ферме, что вам нипочем нельзя воротиться домой?

— Но, дядюшка Питер...

— И как это вас угораздило оставить мисс Питти одну‑одинешеньку, когда она страх как всего боится? Вы же не хуже моего знаете — мисс Питти отродясь не живала одна, а уж нынче, как воротилась из Мэйкона, так день и ночь трясется и трясется от страха. И мне велено сказать вам напрямки: я, дескать, в толк не возьму, как могли они этак покинуть меня в час моих великих испытаний.

— Ладно уж, замолчи! — резко оборвала его Мамушка, задетая за живое тем, что дядюшка Питер окрестил Тару «старой фермой». Да где ему — городскому неучу‑негру — понимать разницу между фермой и плантацией! — А у нас тут что — не «час испытаний»? А мы тут как же будем без мисс Скарлетт, без мисс Мелли? Может, они нам нужнее вашего! Чего ж это мисс Питти не позовет к себе своего братца, ежели она в такой беде?

Дядюшка Питер бросил на нее уничтожающий взгляд.

— Мы уже почитай сколько лет не знаемся с мистером Генри, и мы слишком старые, чтоб менять теперь наши привычки. — Он повернулся к дамам, которые всеми силами старались сдержать улыбки. — А вам, молодые мисс, должно быть стыдно: бросили бедную мисс Питти одну, когда у нее половина друзей поперемерла, а другие в Мэйконе, а в Атланте полным‑полно солдат‑янки и вольных голодранцев‑ниггеров.

Мелани и Скарлетт смиренно выслушали эту отповедь, но в конце концов не выдержали и расхохотались, припав друг к другу на плечо. Подумать только: тетушка Питти отрядила дядюшку Питера в Тару, чтобы отчитать их и привезти обратно! Тут уж и Порк, и Дилси, и Мамушка разразились громким хохотом, радуясь тому, что поноситель их любимой Тары явно посрамлен. Сьюлин и Кэррин хихикали, и даже по лицу Джералда пробежало подобие улыбки. Смеялись все, за исключением дядюшки Питера, который со все возрастающим гневом досадливо переминался с одной огромной плоской ступни на другую.

— А ты‑то для чего, черномазый? — с усмешкой вопросила Мамушка. — Так одряхлел, что не можешь защитить свою хозяйку?

Дядюшка Питер был оскорблен до глубины души.

— Одряхлел? Это я одряхлел? Нет, мэм! Я не дам мисс Питти в обиду и никогда не давал. Не я, что ли, оберегал ее, когда мы с ней удирали в Мэйкон? Не я, что ли, охранял ее, когда туда пришли янки и она так напужалась, что каждую минуту падала в обморок? Не я, что ли, привез ее обратно в Атланту и всю дорогу берег и ее, и серебро ейного папеньки? — Произнося эту свою защитительную речь, дядюшка Питер вытянулся во весь рост. — Так я ж не о том — мне что, трудно разве о ней позаботиться? Я о том, как на это поглядят.

— На что — на это... кто поглядит?

— А люди — вот я о чем толкую. Как люди поглядят на то, что мисс Питти живет одна. Люди нехорошее говорят про незамужних дам, которые живут сами по себе, — провозгласил дядюшка Питер, и всем стало ясно, что тетушка Питтипэт в его глазах осталась все той же хорошенькой пухленькой шестнадцатилетней девушкой, репутацию которой необходимо было защищать от злых языков. — А я не хочу, чтобы ее имя трепали в городе. Нет, мэм. И не хочу я, чтоб она пускала в дом постояльцев, лишь бы не жить одной. Так я ей и сказал. «Нет, — сказал я, — не бывать этому, покамест живы ваши единокровные». Только, видать, кровные‑то родственнички отворачиваются. Мисс Питти — она совсем как дитя малое и...

При этих словах Скарлетт и Мелани совсем зашлись от смеха и, громко всхлипнув, опустились на ступеньки крыльца. Наконец Мелани утерла слезы, набежавшие от смеха на глаза.

— Бедный дядюшка Питер! Не сердись, что я смеялась. Мне, право, стыдно. Прости меня! Но мы, Скарлетт и я, никак не можем вернуться сейчас домой. Может быть, в сентябре, когда снимем урожай хлопка, я и вернусь. Неужели тетушка заставила тебя проделать весь этот путь для того только, чтобы привезти нас домой на этом тощем животном?

Тут у дядюшки Питера внезапно отвалилась челюсть и на черном морщинистом лице изобразилось смущение и испуг. Оскорблено выпяченная нижняя губа вернулась в обычное положение с таким же проворством, с каким черепаха втягивает голову в спасительный панцирь.

— Мисс Мелли, видать, стар я стал, гляди‑ка, из ума вон, зачем она меня послала, а ведь дело‑то важное. Письмо привез вам. Мисс Питти не хотела доверить его почте, никому не могла доверить, окромя меня...

— Письмо? Мне? От кого?

— Да дело‑то такое, хм... Мисс Питти, значит, говорит мне: «Питер, ты как‑нибудь поаккуратней сообщи об этом мисс Мелли», — а я и говорю...

Мелли поднялась со ступенек, прижав руки к груди.

— Эшли? Эшли? Он умер?

— Нет, мэм! Нет! — со всей мочи завопил дядюшка Питер, и голос его сорвался. Он судорожно рылся в нагрудном кармане своей рваной куртки. — Жив он! Вот оно — письмо! Он домой возвращается. Он... Боже милостивый, держи ее, Мамушка! Дайте‑ка я...

— Убери свои руки, старый осел! — загремела Мамушка, подхватывая сомлевшую Мелани и не давая ей упасть. — Ах ты, благочестивый старый осел! «Сообщи ей поаккуратней!» Порк, бери ее за ноги. Мисс Кэррин, подержите ей голову. Давайте положим ее на диван в гостиной.

Все, кроме Скарлетт, суетились вокруг потерявшей сознание Мелани, все что‑то испуганно восклицали, кто‑то побежал за водой и подушками, и на дорожке перед домом остались только Скарлетт и дядюшка Питер. Скарлетт стояла, ошеломленно глядя на старого негра, беспомощно размахивавшего письмом. Его черное старческое лицо жалобно сморщилось, словно у ребенка, которого распекает мать, от чувства собственного достоинства не осталось и следа.

В первые мгновения Скарлетт не могла двинуться с места, не могла произнести ни слова, и, хотя в мозгу ее звенело: «Он жив! Он возвращается домой!», она не ощущала ни радости, ни волнения — ничего, кроме потрясения и оцепенелости. Голос дядюшки Питера — жалобный, молящий — доносился к ней откуда‑то издалека:

— Мистер Уилли Бэрр из Мэйкона — он нашим сродни — привез мисс Питти письмо‑то. Мистер Уилли был в одной тюрьме с мистером Эшли. Мистер Уилли раздобыл лошадь и добрался быстро. А мистер Эшли — тот идет пешком...

Скарлетт выхватила у него письмо. Она узнала почерк мисс Питти, и письмо было адресовано Мелани, но это не породило в Скарлетт ни секундного колебания. Она разорвала конверт, и записочка мисс Питти упала на землю. Кроме записки, в конверте был еще сложенный в несколько раз листок бумаги — засаленный, замызганный от пребывания в грязном кармане, обтрепанный по краям. Рукою Эшли на нем была сделана надпись: «Миссис Джордж Эшли Уилкс, через мисс Сару‑Джейн Гамильтон, Атланта или Двенадцать Дубов, Джонсборо, Джорджия».

Дрожащими пальцами Скарлетт развернула листок и прочла:

«Любимая, я возвращаюсь домой, к тебе...»

Слезы заструились по ее лицу, и она не могла прочесть больше ни строчки, а сердце заколотилось так, что ей казалось — сейчас оно разорвется от переполнявшей его радости. Прижав письмо к груди, она взлетела на крыльцо и — через холл, мимо гостиной, где все обитатели дома хлопотали, мешая друг другу, вокруг лежавшей в обмороке Мелани, — вбежала в маленький кабинетик Эллин. Захлопнув за собой дверь, она заперла ее на ключ и бросилась на старую, продавленную софу, плача, смеясь, прижимая к губам письмо.

«Любимая, — шептала она, — я возвращаюсь домой, к тебе».

Здравый смысл подсказывал всем, что Эшли — если только ему не удастся отрастить крылья — не сможет добраться из Иллинойса в Джорджию раньше как через несколько недель, если не через несколько месяцев, и тем не менее, стоило какому‑нибудь солдату показаться в глубине подъездной аллеи, как у каждого начинало бешено колотиться сердце. Любое бородатое пугало могло обернуться Эшли. А если даже это был не Эшли, то кто‑то мог принести весть о нем или письмо от тетушки Питти с известием об Эшли. И все население дома — и белое, и черное, — заслышав звук шагов, выбегало на крыльцо. Вид человека в военной форме заставлял каждого бросаться с выгона, с хлопкового поля, от поленницы дров ему навстречу. На какое‑то время после получения письма работы на плантации почти остановились. Никто не хотел оказаться вне дома, когда появится Эшли, а меньше всех — Скарлетт. И конечно, она не могла требовать от других, чтобы они занимались своими делами, когда сама забросила все.

Но шли недели, а Эшли все не было, и не приходило больше никаких о нем вестей, и жизнь на плантации понемногу вошла в обычную колею. Сердечной тоске и напряженному ожиданию тоже ведь положен свой предел. Однако в душу Скарлетт мало‑помалу закрался тревожный страх, что с Эшли случилась какая‑то беда по дороге. Рок‑Айленд так далеко, а из тюрьмы он мог выйти слабым и больным. Денег у него нет, и край, через который лежит его путь, исполнен ненависти к конфедератам. Если бы только знать, где он находится, она послала бы ему денег, послала бы все до последнего пенни, заставила бы голодать всю семью, лишь бы он мог быстрее вернуться домой на поезде.

«Любимая, я возвращаюсь домой, к тебе».

В первые мгновения неистовой радости, когда ее глазам предстали эти строки, они означали для нее лишь одно: Эшли возвращается домой, к ней. Затем, поостыв, она поняла, что Эшли возвращается не к ней, а к Мелани. К Мелани, которая бегает по дому, распевая от радости, словно птичка. И временами у Скарлетт мелькала горькая мысль: а ведь Мелани могла умереть в Атланте от родов! Все бы так превосходно устроилось тогда. По истечении приличествующего срока она могла бы выйти замуж за Эшли и стать доброй мачехой малютке Бо. И когда нечто подобное приходило ей на ум, она уже не спешила испросить у господа прощения, не пыталась уверить его, что у нее, в сущности, не было ничего такого в мыслях. Она уже утратила страх перед господней карой.

Солдаты забредали в дом по одному, по двое, дюжинами, и все — голодные. Скарлетт в отчаянии говорила себе, что даже нашествие саранчи было бы не столь страшно. Она проклинала старый обычай гостеприимства, укоренившийся в эпоху процветания Юга, обычай, согласно которому ни одного заезжего человека — будь он благородного или простого сословия — нельзя отпустить дальше в путь, не накормив и его самого, и его лошадь, не предоставив ему ночлега и не выказав должного радушия. Скарлетт понимала, что прежний уклад жизни канул в прошлое навеки, но все остальные обитатели Тары не могли этого понять, не понимали этого и солдаты, и каждый из них был принят в доме как долгожданный гость.

И поток мимо бредущих не иссякал, а сердце Скарлетт ожесточалось. Солдаты поедали съестные запасы, заготовленные на несколько месяцев впрок, поедали овощи, выращивая которые она гнула спину, продукты, для приобретения которых ей пришлось покрыть не одну милю. Продукты эти добывались с великим трудом, а деньги в бумажнике янки таяли быстро. Сейчас в нем осталось уже всего несколько зеленых бумажек и только две золотые монеты. Почему должна она кормить всю эту ораву голодных мужчин? Война окончилась. Солдатам уже не придется больше грудью защищать ее дом от неприятеля. И она дала распоряжение Порку: когда в доме солдаты, подавать на стол поменьше еды. Распоряжение это оставалось в силе до тех пор, пока она не заметила, что Мелани, все еще не вполне окрепшая после появления на свет Бо, заставляет Порка отдавать ее долю еды солдатам, а себе берет нечто почти не различимое невооруженным глазом.

— Прекрати это, Мелани, — обрушилась на нее Скарлетт. — Ты пока еще еле на ногах держишься, и если не станешь есть как следует, то сляжешь совсем, и нам придется за тобой ухаживать. Пусть солдаты немного поголодают. Они от этого не умрут. Они выдерживали это четыре года, выдержат и еще.

Мелани поглядела на нее, и Скарлетт впервые увидела откровенный бунт в ее всегда таком ясном взоре.

— Ах, Скарлетт, не брани меня! Позволь мне поступать по‑своему. Всякий раз, когда я отдаю какому‑нибудь бедняге свою порцию, я думаю о том, что, быть может, где‑то там, на Севере, какая‑то женщина, повстречав моего Эшли на пути, делится с ним своим обедом, и это дает ему силы брести домой, ко мне.

«Моего Эшли».

«Любимая, я возвращаюсь домой, к тебе».

Скарлетт молча отвела глаза. Но после этого разговора Мелани заметила, что на столе стало появляться больше еды, даже если присутствовали посторонние, хотя Скарлетт по‑прежнему жалела для них каждый кусок.

Если солдаты были слишком больны — а такие забредали к ним частенько — и не могли двинуться дальше, Скарлетт весьма и весьма неохотно предоставляла им постель. Каждый больной был лишним ртом, который приходилось кормить. И кто‑то должен был за ним ухаживать — значит, одним работником меньше на прополке, на пахоте, на огороде, на возведении ограды. Раз какой‑то верховой, направлявшийся в Фейетвилл, оставил у них на крыльце совсем юного парня со светлым пушком над верхней губой: юноша этот валялся у дороги без сознания, и верховой перекинул его через седло и привез в ближайшую усадьбу — в Тару. Все подумали, что это, верно, один из тех курсантов, которые были призваны в армию, когда Шерман повел наступление на Милледжвилл, но узнать наверное ничего не удалось, так как юноша умер, не приходя в сознание, а содержимое карманов не помогло установить его личность.

Это был пригожий мальчик, по‑видимому, из родовитой семьи, и быть может, где‑то дальше к Югу какая‑то женщина день и ночь глядела на дорогу, гадая, где он сейчас, скоро ли вернется домой, — совершенно так же, как Скарлетт и Мелани в безумной надежде вглядывались в каждую бородатую фигуру, появлявшуюся на аллее, ведущей к дому. Они похоронили юношу на своем семейном кладбище, рядом с тремя маленькими братьями О’Хара, и пока Порк засыпал могилу, Мелани отчаянно рыдала, думая о том, что, быть может, какой‑нибудь чужой человек сделает то же для ее Эшли.

Так же, как и этот безвестный юноша, попал к ним и Уилл Бентин — он был без сознания, когда однополчанин привез его в Тару, перекинув через луку седла. Уилл погибал от тяжелой пневмонии, и, укладывая его в постель, женщины со страхом думали, что он скоро разделит участь безымянного солдата, погребенного на их кладбище.

У него было изжелта‑бледное малярийное лицо, какие нередко встречаются среди малоимущего населения Южной Джорджии, светлые рыжеватые волосы и почти бесцветные голубые глаза, хранившие кроткое и терпеливое выражение, даже когда он бредил. Одна нога у него была ампутирована до колена, и на культе держался кое‑как соструганный деревянный обрубок. Всем было ясно, что он из небогатой семьи, — точно так же как никто не сомневался, что юноша, которого они недавно похоронили, явно был сыном какого‑нибудь плантатора. Откуда пришла к ним эта уверенность, никто из женщин не смог бы объяснить. Уилл был так же грязен и небрит и так же обовшивел, как многие джентльмены из хороших семей, попадавшие к ним в поместье. А речь его в бреду была отнюдь не менее правильна, чем язык близнецов Тарлтонов. И все же подобно тому, как они умели мгновенно отличать породистую лошадь от полукровки, так и здесь все инстинктивно почувствовали, что Уилл — человек не из их среды. Впрочем, это никак не мешало им прилагать все силы к тому, чтобы спасти ему жизнь.

Изнуренный годом заключения в тюрьме северян, измученный длинным переходом на плохо пригнанной деревянной ноге, он уже не имел сил бороться с пневмонией и день за днем в бреду снова и снова переживал все битвы, стонал и пытался вскочить с постели. Но ни разу за все время не позвал он к своему ложу ни матери, ни жены, ни сестры, ни возлюбленной, и это очень встревожило Кэррин.

— У каждого человека должны быть какие‑то близкие, — говорила она. — А у этого словно бы нет ни единой родной души на всем белом свете.

Однако, несмотря на истощение, организм у него оказался крепким, и хороший уход помог ему преодолеть болезнь. Настал день, когда в бледно‑голубых глазах стало заметно отчетливое восприятие действительности, и взгляд его упал на Кэррин: она сидела возле его постели, перебирая четки, и лучи утреннего солнца играли в ее белокурых волосах.

— Значит, вы все же не приснились мне, — произнес он своим глуховатым, бесцветным голосом. — Надеюсь, я не доставил вам слишком много хлопот, мэм?

Выздоровление его продвигалось туго; день за днем он тихо лежал, глядя на магнолии за окном, и присутствие его почти не ощущалось в доме. Кэррин прониклась к нему симпатией; его тихая необременительная немногословность импонировала ей. И нередко в знойные послеполуденные часы она подолгу молча просиживала у его постели, отгоняя мух.

Кэррин вообще была молчалива в эти дни: тоненькая, хрупкая, она неслышно, как привидение, двигалась по дому, выполняя те работы, которые были ей под силу. И много молилась, ибо стоило Скарлетт без стука заглянуть к ней в комнату, как она неизменно заставала Кэррин коленопреклоненной возле кровати. Зрелище это всякий раз вызывало досаду у Скарлетт, считавшей, что время молитв прошло. Если бог нашел нужным так их покарать, значит, он прекрасно обходится без их молитв. У Скарлетт религия всегда носила характер сделки. Она обычно обещала богу вести себя хорошо в обмен на те или иные его милости. Но бог, по ее мнению, то и дело нарушал условия сделки, и теперь она чувствовала себя свободной от любых обязательств по отношению к нему. И всякий раз, застав Кэррин в молитве на коленях, в то время как той надлежало вздремнуть после обеда или заняться починкой белья, она злилась, считая, что сестра увиливает от участия в совместных трудах.

Примерно это она и сказала Уиллу Бентину как‑то вечером, когда он уже стал вставать с постели, и была немало поражена, услышав в ответ такие, произнесенные бесцветным глуховатым голосом слова:

— Не трогайте ее, мисс Скарлетт. Это приносит ей утешение.

— Утешение?

— Конечно. Она молится за вашу матушку и за него.

— За кого это — «за него»?

Блекло‑голубые глаза без удивления поглядели на нее из‑под рыжеватых ресниц. Ничто, по‑видимому, не могло ни удивить, ни взволновать Уилла Бентина. Быть может, он видел слишком много неожиданного и непредставимого, чтобы сохранить способность изумляться. Ему не казалось странным, что младшая сестра не раскрывала Скарлетт своего сердца. Он принимал это как нечто само собой разумеющееся, как и то, что Кэррин нашла возможным делиться с ним, совсем чужим ей человеком.

— За своего поклонника, за этого мальчика — Брента, не знаю, как его фамилия, который погиб при Геттисберге.

— За своего поклонника? — переспросила Скарлетт. — Какая чушь! И он, и его брат были моими поклонниками.

— Да, она мне тоже так говорила. Похоже, что все юноши во всем графстве были вашими поклонниками. Но тем не менее он стал ее поклонником, после того как вы отвергли его. Ведь он обручился с мисс Кэррин, когда в последний раз приезжал домой на побывку. Она говорит, что ей никто никогда не нравился — только он, и она получает успокоение, молясь за него.

— Чепуха! — сказала Скарлетт, почувствовав легкий укол ревности.

Она с любопытством поглядела на этого худосочного человека с костлявыми плечами, сутулой спиной, рыжеватыми волосами и спокойным немигающим взглядом. Вот, значит, как — ему известны секреты ее семьи, которые сама она не потрудилась узнать. Так вот почему Кэррин бродит по дому, как сомнамбула, и все время молится богу. Ничего, это пройдет. Тысячи девушек забывают своих мертвых возлюбленных... да и мертвых мужей тоже. Она же пережила потерю Чарлза. А в Атланте она знала одну женщину, которая трижды вдовела за войну и все же не утратила способности интересоваться мужчинами. Именно эти соображения она и высказала Уиллу, но он покачал головой.

— Мисс Кэррин не такая, — убежденно сказал он.

Уилл оказался приятным собеседником, потому что сам говорил мало, но умел слушать и понимать. Скарлетт делилась с ним своими сомнениями по части сева, прополки, рыхления почвы, откорма свиней и разведения коров, и он давал ей добрые советы, так как имел небольшую ферму в Южной Джорджии и двух негров. Он знал, что теперь его негры получили свободу, а ферма заросла сорняком и молодой сосной. Его единственная сестра несколько лет назад уехала со своим мужем в Техас, других родственников у него не было, и он остался один как перст на всем белом свете. Впрочем, это, казалось, мало волновало его, так же как и потеря ноги, которой он лишился в Виргинии.

И после целого дня тяжелой работы, после воркотни негров, нытья и шпилек Сьюлин, после бесконечно повторявшихся вопросов Джералда — где Эллин? — Скарлетт отдыхала душой, беседуя с Уиллом. Ему она могла сказать все. Она даже рассказала ему, как застрелила янки, и расцвела от гордости, услыхав его немногословную похвалу:

— Чистая работа!

Мало‑помалу все обитатели дома нашли путь в комнату Уилла, все шли к нему со своими тревогами и бедами — все, даже Мамушка, которая поначалу держалась с ним холодно, памятуя, что он не высокого происхождения и владелец всего двух рабов.

Как только Уилл смог ковылять по дому, он тотчас нашел себе работу — стал плести корзины и чинить поломанную янки мебель. Кроме того, он очень умело резал по дереву, и Уэйд не отходил от него ни на шаг, так как Уилл вырезал ему всевозможные игрушки — первые в его жизни настоящие игрушки. Теперь, когда в доме появился Уилл, все, отправляясь по своим делам, уже спокойно оставляли на него Уэйда и двух малюток, ибо он не хуже Мамушки умел позаботиться о них, — разве что только Мелани превосходила его в уменье успокоить раскричавшегося белого или черного младенца.

— Вы были неслыханно добры ко мне, мисс Скарлетт, — сказал однажды Уилл, — а ведь я для вас никто, чужой человек. Я доставил вам уйму беспокойства и хлопот, и если вы не против, я бы хотел пожить здесь еще и помочь в работе чем смогу, пока не расплачусь с вами хоть немного за вашу заботу обо мне. Совсем‑то расплатиться, до конца, я не смогу, понятно, никогда, потому как жизнь человеческая слишком дорога — ее ничем не оплатишь.

Итак, Уилл Бентин остался жить в Таре, и как‑то незаметно, само собой, значительная часть груза, лежавшего на плечах Скарлетт, переместилась на его костлявые плечи.

Настал сентябрь, и пришла пора собирать хлопок. Однажды после полудня, погожим, солнечным днем ранней осени Уилл Бентин, сидя на ступеньках крыльца у ног Скарлетт, неторопливо повествовал своим бесцветным голосом о непомерных ценах за очистку хлопка на новой хлопкоочистительной машине под Фейетвиллом. Однако сегодня в Фейетвилле ему удалось выяснить, что расходы можно будет сократить на четверть, если на две недели предоставить лошадь и повозку в пользование хозяина машины. Но заключать сделку он не стал — решил сначала обсудить все со Скарлетт.

Она поглядела на долговязого, сухопарого человека, жевавшего соломинку, прислонясь к колонне крыльца. Несомненно — как частенько утверждала Мамушка — сам бог послал его сюда, и Скарлетт не раз спрашивала себя, что бы все они делали последние несколько месяцев, если бы не Уилл. Он всегда был немногословен, никогда не суетился без толку, никогда не проявлял излишнего интереса к тому, что происходило вокруг, но знал решительно все про всех обитателей усадьбы. И работал не покладая рук. Работал молча, старательно и со знанием дела. И хотя у него не было ноги, он работал быстрее, чем Порк. И умел заставить работать Порка, что Скарлетт казалось равносильным чуду. Когда у коровы сделались колики, а на лошадь напала какая‑то таинственная хворь, грозившая унести ее на тот свет, Уилл не отлучался от них ни днем, ни ночью и выходил обеих. Его уменье выторговывать нужную цену вызывало уважение Скарлетт: он мог уехать утром верхом с двумя‑тремя бушелями яблок, сладкого картофеля и других овощей и возвратиться с семенами, куском ткани, мукой и другими необходимыми предметами, и она понимала, что ей никогда не удалось бы всего этого раздобыть, как ни лихо научилась она торговаться.

Мало‑помалу Уилл Бентин стал как бы членом семьи О’Хара и спал на раскладной кровати в маленькой гардеробной, смежной со спальней Джералда. Он больше не заговаривал об отъезде, а Скарлетт, страшась, как бы он их не покинул, тоже старательно обходила эту тему. Порой у нее мелькала мысль, что, не будь он человеком низкого происхождения и обладай хоть крупицей самолюбия, он бы вернулся к родному очагу, даже если этого очага больше не существует. И тут же она принималась мысленно жарко молить судьбу о том, чтобы он оставался с ними как можно дольше. Насколько же легче жить, когда в доме есть мужчина.

И будь у Кэррин чуть больше мозгов, чем у мыши, думала Скарлетт, она заметила бы, что Уилл к ней неравнодушен. Скарлетт была бы бесконечно благодарна Уиллу, если бы он посватался к Кэррин. Конечно, до войны Уилла никак нельзя было бы счесть подходящей партией для Кэррин. Он не принадлежал к клану плантаторов, хотя и к белой голытьбе его никто бы тоже не причислил. Он был просто небогатый фермер, не шибко образованный, говоривший и писавший с грамматическими ошибками и начисто лишенный того светского лоска, который в глазах всех О’Хара был неотъемлемой принадлежностью джентльмена. Сказать по правде, Скарлетт не раз задавала себе этот вопрос — можно ли считать Уилла джентльменом, и пришла к заключению, что нельзя. Мелани горячо защищала его: человек с таким добрым сердцем, такой внимательный к людям — это врожденный джентльмен, утверждала она. Скарлетт понимала, что Эллин упала бы в обморок при одной мысли, что ее дочь может сочетаться браком с человеком, подобным Уиллу, но это тоже не тревожило Скарлетт: волей‑неволей ей слишком часто приходилось пренебрегать заповедями Эллин. Мужчин было мало, а девушкам надо же было выходить за кого‑то замуж, да и поместью требовалась мужская рука. Но Кэррин, все глубже и глубже погружавшаяся в свой молитвенник и с каждым днем все больше терявшая связь с реальным миром, относилась к Уиллу тепло, как к брату, и он стал для нее чем‑то столь же привычным, как Порк.

«Будь у Кэррин хоть искра благодарности в душе за все, что я для нее сделала, — с горечью думала Скарлетт, — она бы вышла за Уилла замуж и не позволила бы ему уехать от нас. Так нет, она будет вечно убиваться по этому глупому мальчишке, у которого, верно, и в мыслях‑то никогда ничего серьезного по отношению к ней не было».

Но так или иначе, Уилл продолжал жить в их доме — по каким причинам, Скарлетт не знала, — и чисто деловые отношения, установившиеся между ними, были ей приятны и вполне ее устраивали. К повредившемуся умом Джералду Уилл проявлял глубочайшую почтительность, но подлинной главой дома была в его глазах Скарлетт.

Она одобрила его план отдать внаймы лошадь, хотя это на какое‑то время лишало их средства передвижения. Конечно, больше всех это огорчит Сьюлин. Ведь самым большим удовольствием для нее было проехаться с Уиллом в Джонсборо или Фейетвилл, когда он отправлялся туда по делам. Одетая с бору да с сосенки — во все, что оставалось лучшего у женской половины обитателей Тары, — она наносила визиты друзьям, собирала новости со всей округи и начинала снова чувствовать себя мисс О’Хара из поместья Тара. Она никогда не упускала случая удрать с плантации и покрасоваться среди людей, которым не было известно, что она самолично застилает постели и полет огород.

«Мисс Гордячке придется две недели посидеть дома, — думала Скарлетт, — а нам, хочешь не хочешь, потерпеть ее нытье и воркотню».

Мелани с ребенком на руках тоже вышла на крыльцо, расстелила на полу старое одеяльце и посадила на него Бо, чтобы дать ему поползать. Получив очередное письмо Эшли, Мелани либо радостно распевала, сияя от счастья, либо впадала в состояние беспокойного тоскливого ожидания. Но и ликующая, и подавленная, она пугала своей бледностью и худобой. Без единой жалобы она выполняла свою долю работ, хотя здоровье никак не возвращалось к ней. Старый доктор Фонтейн определил ее болезнь как женское недомогание и в полном согласии с доктором Мидом заявил, что ей вообще не следовало иметь детей. Он без стеснения предрек, что еще одни роды убьют ее.

— Сегодня в Фейетвилле мне попалась на глаза одна весьма занятная штучка, — сказал Уилл. — Я подумал, что вам, сударыня, будет интересно это увидеть, и решил прихватить ее с собой. — Порывшись в заднем кармане брюк, он вытащил обшитый лыком коленкоровый бумажник, который смастерила для него Кэррин, и достал оттуда денежную купюру Конфедерации.

— Если вам кажется, Уилл, что в деньгах Конфедерации есть что‑то занятное, то я никак не разделяю вашего мнения, — резко сказала Скарлетт, так как один вид этих денег приводил ее в исступление. — У папы в сундуке лежит этих бумажек на три тысячи долларов, и Мамушка давно рвется заклеить ими дыры на чердаке, чтобы там не гулял сквозняк. И, пожалуй, я так и сделаю. Тогда по крайней мере от них будет какой‑то толк.

— «Державный Цезарь, обращенный в тлен...» — пробормотала Мелани с грустной улыбкой. — Не нужно, Скарлетт, не делай этого. Сохрани их для Уэйда. Он, когда подрастет, будет гордиться ими.

— Насчет державного Цезаря я ничего не слыхал, — терпеливо промолвил Уилл, — а вот то, что вы сказали насчет Уэйда, мисс Мелли, — так ведь и я как раз о том же. Тут на обороте наклеен стишок. Я знаю, мисс Скарлетт не больно жалует стихи, но мне казалось, эти могут прийтись ей по душе.

Он перевернул купюру. С оборотной стороны на нее был наклеен кусок оберточной бумаги, исписанный бледными самодельными чернилами. Уилл откашлялся и неторопливо, с расстановкой прочел:

— Называется: «Стихи на оборотной стороне денежной купюры Конфедерации»:

Это знак, не имеющий больше цены, —

Сохрани его, друг дорогой;

Это символ когда‑то прекрасной страны,

Разоренной жестокой рукой.

Да поведает он свой печальный рассказ

Тем, кто память хранит о былом,

О земле — колыбели священной для нас,

О грозе, полыхавшей огнем.

— О какие прекрасные, какие волнующие слова! — воскликнула Мелани. — Нет, Скарлетт, ты не должна позволять Мамушке заклеивать деньгами щели на чердаке. Это же не просто бумажки, как правильно сказано в стихах... это память о той жизни, которая ушла безвозвратно.

— Ах, Мелли, не будь такой сентиментальной! Бумага все равно остается бумагой, а у нас ее так мало, и мне надоело слышать Мамушкину воркотню из‑за щелей на чердаке. А когда Уэйд подрастет, у меня, надеюсь, найдется для него достаточно зеленых банкнот вместо этих никчемных бумажек.

Уилл, который во время этого разговора приманивал к себе малютку Бо, показывая ему купюру и заставляя ползти по одеялу, поднял голову и, заслонив глаза от солнца рукой, поглядел на подъездную аллею.

— К нам еще кто‑то пожаловал, — сказал он. — Еще один солдат.

Скарлетт посмотрела туда и увидела ставшую привычной картину: бородатый человек в серых и синих лохмотьях — остатках военной формы обеих армий — медленно брел по кедровой аллее, с трудом волоча ноги, понуро опустив голову.

— А я‑то думала, что с солдатами уже покончено, — сказала Скарлетт. — Надеюсь, этот не очень изголодался.

— Думаю, что очень, — промолвил Уилл.

Мелани поднялась.

— Пойду велю Дилси поставить еще один прибор, — сказала она. — И надо удержать Мамушку, чтобы она не набрасывалась на этого беднягу прямо с порога, и не стаскивала с него рубище, и не...

Она так внезапно умолкла на полуслове, что Скарлетт подняла на нее глаза. Мелани держалась рукой за горло, словно ее что‑то душило, и было видно, как на шее под кожей у нее быстро‑быстро бьется голубая жилка. Лицо ее совсем побелело, а карие глаза казались неестественно огромными и почти черными от расширившихся зрачков.

«Она сейчас потеряет сознание!» — подумала Скарлетт и, вскочив со ступенек, обхватила ее за плечи.

Но Мелани отбросила ее руку и в мгновение ока сбежала с крыльца. Она летела по аллее словно птица, раскинув руки, едва касаясь ступнями гравия, ее линялые юбки развевались... И Скарлетт вдруг все поняла, и это прозрение обрушилось на нее как удар. Она прислонилась к колонне, чтобы не упасть, и когда солдат поднял заросшее белокурой бородой лицо и стал, глядя на дом, словно не находя в себе сил сделать еще хоть шаг, у Скарлетт остановилось сердце. А затем оно толкнулось о ребра и забилось бешено, когда Мелли с нечленораздельным криком упала в объятия этого оборванного солдата и его голова склонилась к ее лицу. Не помня себя, Скарлетт бросилась вниз по ступенькам, но рука Уилла удержала ее, ухватив за юбку.

— Не надо, не мешайте им, — тихо сказал он.

— Уберите руку, болван! Уберите руку! Это же Эшли.

Но он продолжал удерживать ее за юбку.

— Ведь это же как‑никак ее муж, верно? — мягко проговорил он, и, теряя рассудок от бессильной ярости и непомерного счастья, Скарлетт в смятении взглянула на него и прочла в глубине его глаз понимание и участие.

## Часть 4

### Глава XXXI

Холодным январским днем 1866 года Скарлетт сидела в своем кабинете и писала письмо тете Питти, в котором подробнейшим образом в десятый раз объясняла, почему ни она, ни Мелани, ни Эшли не могут приехать в Атланту и поселиться с ней. Писала она быстро, стремительно, ибо знала: тетя Питти, не успев прочесть начало, тотчас примется за ответ, и письмо будет заканчиваться жалобным всхлипом: «Я боюсь жить одна!»

Руки у Скарлетт застыли, и, отложив в сторону перо, она потерла их, чтобы согреть, а ноги глубже засунула под старое одеяло. Подметки на ее туфлях прохудились, и она вложила в них стельки, выстриженные из ковра. Ковровая ткань предохраняла, конечно, ноги от соприкосновения с полом, но не давала тепла. Утром Уилл повел в Джонсборо лошадь, чтобы подковать, и Скарлетт мрачно подумала, что, видно, совсем уж худо стало дело, раз о ногах лошадей заботятся, а люди, как дворовые псы, ходят босые.

Она только было снова взялась за гусиное перо, но тут же его опустила, услышав шаги Уилла у черного хода. Вот его деревянная нога застучала в холле и он остановился у двери в ее кабинет. Скарлетт подождала немного, но он не входил, и тогда она окликнула его. Уилл переступил через порог — уши у него покраснели от холода, рыжие волосы были растрепаны; он стоял и смотрел на нее сверху вниз с легкой кривой усмешкой.

— Мисс Скарлетт, — обратился он к ней, — сколько у вас по правде живых денег?

— Ты что, решил жениться на мне, Уилл, и уже считаешь приданое? — не без раздражения спросила она.

— Нет, мэм. Просто захотелось узнать.

Она внимательно посмотрела на него. Нельзя сказать, чтобы Уилл выглядел озабоченным — впрочем, озабоченным он никогда не бывал. И тем не менее она почувствовала: что‑то неладно.

— У меня есть десять долларов золотом, — сказала она. — Это все, что осталось от денег того янки.

— Так вот, мэм, этого мало.

— Мало — для чего?

— Мало, чтоб заплатить налог, — сказал он, проковылял к камину и, нагнувшись, протянул к огню свои покрасневшие от холода руки.

— Налог? — повторила она. — Да что ты, Уилл! Мы ведь уже заплатили налог.

— Да, мэм. Только говорят, недостаточно заплатили. Я слышал об этом сегодня в Джонсборо.

— Ничего не понимаю, Уилл. Что ты такое говоришь?

— Мисс Скарлетт, мне, конечно, неприятно вас тревожить, когда на вас и без того столько всего свалилось, а все‑таки сказать нужно. Говорят, вы должны заплатить куда больше. Тару оценили ужас как дорого — разрази меня гром, дороже всех поместий в округе.

— Но ведь не могут же заставить нас еще раз платить налог, если мы его уже заплатили.

— Мисс Скарлетт, вы ездите в Джонсборо не часто; и я этому только рад. В нынешние времена это место не для леди. Но если б вы туда чаще ездили, тогда б знали, что сейчас там верховодят крутые ребята‑республиканцы, подлипалы и «саквояжники»[[10]](#footnote-10). Они бы вас довели до белого каления. Ниггеры там расхаживают по тротуарам, а белых господ на мостовую сталкивают, и еще...

— Да при чем тут это — речь же о налоге!

— Сейчас, сейчас, мисс Скарлетт. Эти мерзавцы по какой‑то причине решили поднять налог на Тару, точно она у нас дает доход в тысячу тюков. Когда я об этом услыхал, пошел в обход по салунам, чтобы поднабраться сплетен, и вот узнал: кто‑то хочет купить Тару по дешевке с шерифских торгов, ежели вы налог сполна не заплатите. А все прекрасно понимают, что заплатить вы не можете. Кто этот человек, который хочет купить Тару, я еще не знаю. Этого я разнюхать не сумел. Правда, думаю, этот трус Хилтон, что женился на мисс Кэтлин, знает, так как очень уж нахально он склабился, когда я его выспрашивал.

Уилл опустился на диван и принялся потирать свою культю. Она начинала ныть у него в холодную погоду: деревяшка, на которую она опиралась, была плохо обита, да и неудобна. Скарлетт в ярости смотрела на него. Да как он может говорить таким небрежным тоном, когда каждое его слово — все равно что похоронный звон по Таре! Продадут с шерифских торгов?! А куда они все денутся? И Тара перейдет к другим владельцам! Нет, даже мысли такой допустить нельзя!

Стремление сделать Тару доходной настолько поглотило Скарлетт, что она совсем не думала о том, что происходит за пределами поместья. Если возникали дела, требовавшие поездки в Джонсборо или в Фейетвилл, она посылала туда Уилла или Эшли, а сама почти не покидала плантации. И подобно тому как раньше она никогда не прислушивалась к разговорам отца о войне, пока война не началась, так и теперь едва ли вникала в долгие беседы, которые вели за столом после ужина Уилл и Эшли по поводу Реконструкции Юга.

Да, конечно, она слышала про подлипал — южан, с выгодой для себя переметнувшихся на сторону республиканцев, и про «саквояжников» — этих янки, которые после поражения южан словно саранча ринулись в Южные штаты с одним лишь саквояжем в руке, вмещавшим все их достояние. Было у нее и несколько неприятных стычек с Бюро вольных людей. Слышала она и о том, что какие‑то освобожденные негры нахально себя ведут, но этому трудно было поверить, ибо она в жизни еще не встречала нахального негра.

Однако Уилл с Эшли многое намеренно скрывали от нее. Вслед за тяжелыми испытаниями войны для Юга наступила еще более тяжкая пора — Реконструкция, но мужчины условились не говорить дома о некоторых моментах, вызывавших у них наибольшую тревогу. А Скарлетт если и прислушивалась к их беседе, то в одно ухо впускала услышанное, в другое выпускала.

Она, например, слышала, как Эшли говорил, что победители относятся к Югу словно к завоеванной провинции и главным образом занимаются мщением. Но Скарлетт решила, что к ней это никакого отношения не имеет. Политика — мужское дело. Она слышала и то, как Уилл сказал однажды, что, похоже, Север ни за что не даст Югу снова подняться. «О господи, — подумала Скарлетт, — мужчины вечно выдумывают причины для беспокойства». Ее, к примеру, ни один янки и пальцем тронуть не посмел, да и не посмеет. Главное — работать не покладая рук и перестать изводить себя из‑за того, что правят у них теперь янки. Война‑то все‑таки кончилась.

Скарлетт не понимала, что за это время изменились правила игры и далеко не все зависит от того, насколько честно ты будешь трудиться. Джорджия по сути дела находилась на военном положении. Всем командовали солдаты‑северяне, расквартированные по всей округе, а также Бюро вольных людей, и они устанавливали правила, какие хотели.

Бюро вольных людей, созданное федеральным правительством, чтобы заботиться о бывших рабах, получивших свободу и еще не очень понимавших, что с ней делать, тысячами переселяло негров с плантаций в поселки и города. Бюро обязано было кормить их, пока они не найдут себе работу, а они не слишком спешили, желая сначала свести счеты с бывшими хозяевами. Местное Бюро возглавил Джонас Уилкерсон, бывший управляющий Джералда, а помощником у него был Хилтон, муж Кэтлин Калверт. Эта парочка усиленно распространяла слухи о том, что южане и демократы только и ждут случая, чтобы снова закабалить негров, и лишь Бюро вольных людей и республиканская партия способны помочь им избежать этой участи.

Уилкерсон с Хилтоном внушали также неграм, что они нисколько не хуже белых и что скоро будут разрешены смешанные браки, а поместья бывших хозяев отберут и каждому негру дадут по сорок акров земли и мула в придачу. Они распаляли негров рассказами о жестокостях, чинимых белыми, и в краю, издавна славившемся патриархальными отношениями между рабами и рабовладельцами, вспыхнула ненависть, зародились подозрения.

Бюро в своей деятельности опиралось на солдатские штыки, а военные власти издали немало вызывавших возмущение циркуляров по поводу того, как должны вести себя побежденные. Можно было угодить в тюрьму даже за непочтение к чиновнику Бюро. Циркуляры издавались по любому поводу — об обучении в школах, о поддержании чистоты, о том, какие пуговицы следует носить на сюртуке, какими товарами торговать, — словом, на все случаи жизни. Уилкерсон с Хилтоном имели право вмешаться в любое начинание Скарлетт и заставить ее продавать или менять товары по той цене, какую они установят.

К счастью, Скарлетт почти не соприкасалась с этой парочкой, ибо Уилл убедил ее предоставить это ему, а самой заниматься только плантацией. Мягкий и сговорчивый, Уилл с честью вышел из многих подобного рода трудностей, а ей и словом не обмолвился о них. Да Уилл справился бы и с «саквояжниками», и с янки, если бы пришлось. Но теперь возникла проблема, с которой справиться он не мог. О новом дополнительном налоге на Тару, грозившем потерей поместья, Скарлетт уже не могла не знать, и поставить ее в известность следовало немедленно.

Глаза Скарлетт вспыхнули.

— Черт бы побрал этих янки! — воскликнула она. — Сожрали нас с потрохами, обобрали до нитки — и все им мало, надо еще спустить на нас свору этих мерзавцев!

Война кончилась, заключили мир, а янки по‑прежнему могут грабить ее, обречь на голод, выгнать из собственного дома. А она‑то, дурочка, считала, что, как бы тяжело ни было, если она продержится до весны — пусть измотается, пусть устанет, — зато все наладится. Сокрушительная весть, которую сообщил ей Уилл, была последней каплей, переполнившей чашу ее страданий: ведь она целый год работала, не разгибая спины, и все надеялась, ждала.

— Ах, Уилл, а я‑то думала, что война кончилась и наши беды остались позади!

— Нет, мэм. — Уилл поднял свое простоватое, деревенское, с квадратной челюстью лицо и в упор посмотрел на нее. — Беды наши только начинаются.

— И сколько же с нас хотят еще налога?

— Триста долларов.

На мгновение она лишилась дара речи. Триста долларов! Триста долларов для нее сейчас все равно что три миллиона — такой суммы у нее нет.

— Что ж, — раздумчиво произнесла она, — что ж... что ж, значит, придется где‑то добывать триста долларов.

— Конечно, мэм. И еще радугу и луну в придачу.

— Но, Уилл, не могут же они продать с молотка Тару! Ведь это...

В обычно мягком взгляде его светлых глаз появилась такая ненависть, такая горечь — никогда бы она не подумала; что он способен на подобные чувства.

— Не могут продать Тару? Очень даже могут — и продадут, и с превеликим удовольствием! Мисс Скарлетт, вы уж меня простите, но нашему краю теперь пришла крышка. Эти «саквояжники» и подлипалы — они ведь голосовать могут, а из нас, демократов, мало кто такое право имеет. Ежели за каким демократом в шестьдесят пятом году в налоговых книгах штата больше двух тысяч долларов было записано, такой демократ не может голосовать. Значит, и ваш папаша, и мистер Тарлтон, и Макра, и Фонтейны‑все вылетают из списков. Потом, ежели ты был полковником и воевал, ты тоже не можешь голосовать, а ей‑же‑богу, мисс Скарлетт, у нас куда больше полковников, чем в любом другом штате Конфедерации. И ежели ты служил правительству конфедератов, ты тоже не можешь голосовать; значит, все вылетают из списков — от нотариусов до судей, и таких людей сейчас в лесах полным‑полно. Словом, лихо янки подловили нас с этой своей присягой на верность: выходит, ежели ты был кем‑то до войны, значит, голосовать не можешь. Люди умные, люди достойные, люди богатые — все лишены права голоса.

Ну, я‑то, конечно, мог бы голосовать, ежели бы принял эту их чертову присягу. У меня ведь никаких денег в шестьдесят пятом не было и полковником я не был, да и вообще никем. Только дудки — никакой их присяги я принимать не стану. Даже не взгляну на нее! Если б янки по‑честному себя вели, я бы принял их присягу, а сейчас не стану. К Союзу можете присоединить меня, пожалуйста, а какая тут может быть Реконструкция — в толк не возьму. Ни за что не приму их присяги — пусть даже никогда больше не буду голосовать... А вот такой подонок, как этот Хилтон, — он голосовать может, и мерзавцы вроде Джонаса Уилкерсона, и всякие белые голодранцы вроде Слэттери, и никчемные людишки вроде Макинтошей — они все могут голосовать. И они теперь правят всем. И ежели вздумают двадцать раз взыскать с вас налог, то и взыщут. Теперь ведь ниггер убьет белого — и никто его за это не повесит. Или, скажем... — Он умолк, погрузившись в свои мысли, и оба одновременно вспомнили про белую женщину на уединенной ферме близ Лавджоя.» — Эти ниггеры могут как угодно нам гадить: Бюро вольных людей все равно их выгородит, и солдаты поддержат винтовками, а мы даже голосовать не можем и вообще не можем ничего.

— Голосовать, голосовать! — воскликнула Скарлетт. — Да какое отношение имеет голосование к тому, о чем мы говорим, Уилл?! Мы же говорим о налогах... Послушай, Уилл, ведь все знают, что Тара — хорошая плантация. В крайнем случае, можно заложить ее за приличную сумму, чтоб заплатить налог.

— Мисс Скарлетт, вы же не дурочка, а иной раз так говорите, что можно подумать — глупее вас на свете нет. Да у кого сейчас есть деньги, чтобы дать вам под вашу собственность? У кого, кроме «саквояжников», а они‑то как раз и хотят отобрать у вас Тару! У всех есть земля. Всем земля чего‑то приносит. Нельзя отдавать землю.

— У меня есть бриллиантовые сережки, которые я отобрала у того янки. Мы могли бы их продать.

— Мисс Скарлетт, ну, у кого есть деньги, чтоб сережки покупать? Да у людей на мясную грудинку денег нет, где там на мишуру! Вот у вас есть десятка золотом, а у многих, могу поклясться, и того нет.

Они снова замолчали; Скарлетт казалось, что она бьется головой о каменную стену. Сколько же было за прошлый год таких стен, о которые ей пришлось биться головой!

— Что же делать‑то будем, мисс Скарлетт?

— Не знаю, — сказала она уныло и вдруг почувствовала, что не только не знает, но и не хочет знать. Нет у нее сил, чтобы пробивать еще и эту стену, — она так устала, у нее даже кости ноют. К чему работать не покладая рук, бороться, истязать себя, когда в конце каждого испытания тебя с ехидной усмешкой ждет поражение? — Не знаю, — повторила она. — Только ничего не говори папе. Он может встревожиться.

— Не скажу.

— А кому‑нибудь уже сказал?

— Нет, я пришел прямо к вам.

Да, подумала она, с плохими вестями все приходят всегда прямо к ней, и она устала от этого.

— А где мистер Уилкс? Может быть, он что‑то придумает?

Уилл посмотрел на нее своими добрыми глазами, и она поняла — как в тот день, когда Эшли вернулся домой, — что Уилл все знает.

— Он во фруктовом саду — обтесывает колья для ограды. Я, когда ставил в конюшню лошадь, слышал, как он орудует топором. Но у него ведь тоже нет денег, как и у нас.

— Я, что же, уж и поговорить с ним не могу, да? — резко парировала она, поднимаясь и движением ноги отбрасывая старое одеяло...

Уилл не обиделся — он продолжал стоять, грея руки у огня.

— Взяли бы вы шаль, мисс Скарлетт. На улице‑то сыро.

Но она вышла без шали, ибо за шалью надо было подняться наверх, а ей не терпелось поскорее увидеть Эшли и излить ему свои тревоги.

Хоть бы застать его одного — вот было бы счастье! Ни разу с тех пор, как он вернулся домой, она не имела возможности перемолвиться с ним хоть словом наедине. Вечно вокруг вертелся кто‑то из домашних, вечно рядом была Мелани — она то и дело протягивала руку и дотрагивалась до его рукава, словно хотела лишний раз убедиться, что он действительно тут. Этот жест счастливой собственницы неизменно вызывал у Скарлетт взрыв ревности и злости, которые притупились было за те месяцы, когда она считала, что Эшли уже мертв. Сейчас же она твердо решила, что должна видеть его наедине. Она не допустит, чтоб ей помешали говорить с ним с глазу на глаз.

Она шла по фруктовому саду под голыми деревьями — трава была сырая, и ноги у нее промокли. Она слышала вдали звонкие удары топора — это Эшли обтесывал вытащенные из болота стволы. Не скоро это и не просто — восстановить изгородь, которую янки с таким упоением тогда сожгли. Все дается не скоро и не просто, устало подумала она, и как же все ей надоело, надоело и опротивело до тошноты. Вот если бы Эшли был ее мужем, а не мужем Мелани, какое это было бы счастье — прийти к нему, уткнуться головой ему в плечо, расплакаться, переложить на него все свои тяготы и беды, пусть бы он все распутывал.

Она обошла гранатовую рощицу — голые ветви деревьев трепал холодный ветер — и увидела Эшли: он стоял, опершись на топор, вытирая лоб тыльной стороной ладони. На нем были старые домотканые брюки и рубашка Джералда — из тех, что в лучшие времена надевали только в суд или на пикники, — рубашка с кружевными рюшами, слишком короткая для ее нынешнего владельца. Сюртук Эшли повесил на сучок, ибо работать в нем было жарко, и сейчас отдыхал.

Глядя на Эшли — оборванного, с топором в руке, Скарлетт почувствовала, как сердце у нее защемило от любви к нему и ярости на то, что все так складывается. Просто невыносимо было видеть некогда беспечного, безукоризненно элегантного Эшли за тяжелой работой, в рубашке с чужого плеча. Руки его не созданы для физического труда, а тело — для грубой одежды; он должен ходить в шелковистом льне и тонком сукне. Бог предназначил ему жить в большом доме, беседовать с приятными людьми, играть на рояле, писать стихи, такие красивые, хоть и непонятные.

Ее не коробило, когда она видела собственное дитя в переднике из мешковины, а своих сестер — в грязных старых ситцах; она спокойно переносила то, что Уилл работает больше, чем иной раб на плантации, — но не могла стерпеть, чтоб так работал Эшли. Эта работа не для него, да и слишком он ей дорог. Нет, лучше самой обтесывать колья, чем допустить, чтоб это делал он.

— Говорят, Эйби Линкольн начинал свою карьеру тоже так — обтесывал колья, — заметил Эшли, когда она подошла к нему совсем близко. — Подумать только, каких высот я могу достичь!

Она нахмурилась. Вечно он шутит по поводу их невзгод. Она же воспринимала все очень серьезно, и его шуточки порой раздражали ее.

Она выложила ему новость, привезенную Уиллом, — сухо, без лишних слов, чувствуя облегчение уже оттого, что говорит с ним. Конечно же, он что‑то придумает, чем‑то поможет. А он молчал; однако, заметив, что она дрожит, снял с сучка сюртук и накинул ей на плечи.

— Так вот, — нарушила она наконец молчание, — не кажется ли вам, что нам придется добывать где‑то деньги?

— Да, конечно, — сказал он. — Но где?

— Вот я вас об этом и спрашиваю, — раздраженно сказала она. Чувство облегчения исчезло. Пусть он не в состоянии помочь, но почему он молчит, почему не утешит ее, ну, хоть сказал бы: «Ах, как мне вас жаль».

Он усмехнулся.

— С тех пор как я вернулся домой, я слышал, что только у одного человека есть деньги: у Ретта Батлера, — сказал он.

Тетушка Питтипэт написала Мелани неделю тому назад, что Ретт снова появился в Атланте: разъезжает в коляске, запряженной двумя отличными лошадьми, и карманы у него набиты зелеными бумажками. Она, конечно, не преминула добавить, что добыл он эти бумажки уж наверняка нечестным путем. А тетя Питти, как и многие в Атланте, верила слухам о том, что Ретту удалось завладеть мифическими миллионами конфедератской казны.

— О нем и речи не может быть, — отрезала Скарлетт. — Он мерзавец, каких свет не видывал. Но что ж с нами‑то со всеми станет?

Эшли опустил топор и посмотрел в сторону — казалось, взгляд его блуждал в каком‑то далеком‑далеком краю, куда она не могла за ним последовать.

— Не знаю, — сказал он. — Я не только не знаю, что станет с нами, живущими в Таре, но не знаю, что станет с южанами вообще.

Ей захотелось крикнуть ему: «Плевала я на южан! Что будет с нами?» Но она промолчала, потому что усталость вдруг снова навалилась на нее. Нет, помощи от Эшли ждать нечего.

— В конце концов, с нами произойдет, видимо, то, что происходит всегда, когда рушится цивилизация. Люди, обладающие умом и мужеством, выплывают, а те, кто не обладает этими качествами, идут ко дну. По крайней мере, мы хоть видели Gotterdammerung — любопытно, хотя и не очень приятно.

— Видели — что?

— Сумерки богов. К несчастью, мы — южане — считали ведь себя богами.

— Ради всего святого, Эшли Уилкс! Не стойте и не болтайте чепухи — ведь это мы же вот‑вот пойдем ко дну!

Ее страстное отчаяние, казалось, проникло в его сознание, вернуло мысль из тех далеких краев, где она блуждала, ибо он неясно взял Скарлетт за руки и, повернув их ладонями вверх, посмотрел на мозоли.

— Самые красивые руки, которые я когда‑либо видел, — сказал он и легонько по очереди поцеловал обе ладони. — Они красивые, потому что сильные, и каждая мозоль на них — это медаль, Скарлетт, каждая ссадина — награда за мужество и бескорыстие. И загрубели они потому, что трудились за нас всех — и за вашего отца, и за девочек, и за Мелани, и за малыша, и за негров, и за меня. Хорошая моя, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете: «Какой же он непрактичный дурак и болтун, несет всякую чушь про мертвых богов, в то время как живые люди — в опасности». Ведь правда, вы так думаете?

Она кивнула, от души желая, чтобы он всю жизнь держал ее руки, но он выпустил их.

— И вы пришли ко мне в надежде, что я помогу. Ну, а я не в состоянии помочь. — Он с невыразимой горечью посмотрел на топор и на груду кольев. — Дома моего не стало, как не стало и денег, которые у меня были и обладание которыми я считал само собой разумеющимся. Я не приспособлен жить в этом мире, а мир, к которому я принадлежал, — исчез. Я ничем не могу помочь вам, Скарлетт, могу лишь попытаться стать захудалым фермером. А этим я вам Тары не сохраню. Неужели, вы думаете, я не понимаю всей горечи нашего положения: ведь я по сути дела давно живу вашими щедротами... О да, Скарлетт, именно так: вашими щедротами. И я никогда не смогу расплатиться с вами за то, что вы по доброте душевной сделали для меня и для моих близких. С каждым днем я все острее это сознаю. И с каждым днем все яснее вижу, сколь я беспомощен, сколь не способен справиться с тем, что обрушилось на всех нас... С каждым днем моя проклятая боязнь действительности все больше осложняет мне жизнь, не позволяя взглянуть в лицо тому новому, что в нашей действительности появилось. Вы понимаете, о чем я говорю?

Она кивнула. Ей было не очень ясно, что он имел в виду, но она, затаив дыхание, впитывала его слова. Впервые он делился с ней своими мыслями — он, который всегда был так от нее далек. И она вся пылала от волнения, словно ей вот‑вот должно было открыться что‑то.

— Это проклятие, когда человек не хочет смотреть в лицо реальности. До войны жизнь казалась мне не более реальной, чем игра теней на занавеси. И меня это вполне устраивало. Я не люблю слишком резких очертаний. Я люблю размытые, слегка затуманенные контуры. — Он помолчал, легкая улыбка тронула его губы; внезапно он вздрогнул, почувствовав сквозь тонкую рубашку прикосновение холодного ветра. — Иными словами, Скарлетт, я — трус.

Она слушала его рассуждения насчет теней и размытых контуров и ничего не понимала, но его последние слова уже были на языке ей доступном. Она знала, что это — неправда: трусость не в его натуре. Его стройное тело свидетельствовало о поколениях храбрых, мужественных людей, да к тому же Скарлетт знала и об его ратных подвигах.

— Но это же не так! Разве трус мог бы вскочить на пушку под Геттисбергом и сплотить солдат вокруг себя?! Разве стал бы сам генерал писать Мелани письмо про труса? И потом...

— Это не храбрость, — устало произнес он. — Обстановка боя действует как шампанское. Ударяет в голову равно трусам и героям. Любой дурак может быть храбрым на поле брани, потому что, если не будешь храбрым, тебя убьют. Я говорю сейчас о другом. Моя трусость бесконечно хуже того чувства, которое побуждает человека бежать при первом пушечном выстреле.

Он говорил медленно, с трудом произнося слова, точно ему было больно, точно он как бы издали с грустью смотрел на картину, которую сам нарисовал. Скарлетт с презрением отнеслась бы к такой исповеди со стороны кого угодно другого, усмотрев в этом проявление нарочитой скромности и желание услышать похвалу. Но Эшли, очевидно, действительно так думал, и во взгляде его было что‑то такое, чего она не могла понять, — не трусость и не сожаление, а покорность силе, неизбежной и всесокрушающей. Зимний ветер холодом хлестнул ее по мокрым ногам, и она вздрогнула — впрочем, не столько от холода, сколько от страха, вызванного его словами и леденившего ей душу.

— Но, Эшли, чего же вы боитесь?

— О, это не поддается определению. Бывают вещи, которые звучат очень глупо, если их облечь в слова. Главное в том, что жизнь стала вдруг слишком реальной, что ты соприкоснулся, сам соприкоснулся с простейшими ее фактами. И дело не в том, что меня огорчает необходимость обтесывать колья, стоя в грязи, — меня огорчает то, что эту необходимость породило. И меня огорчает — очень огорчает — утрата красоты, которой полна была прежняя, любимая мною жизнь. А ведь какая, Скарлетт, красивая была жизнь до войны. На ней было все — и прелесть, и совершенство, и идеал, и симметрия, как в греческом искусстве. Возможно, она не была такой для всех. Теперь я даже твердо знаю, что не была. Но мне, когда я жил в Двенадцати Дубах, жизнь казалась поистине прекрасной. И я был частью этой жизни. Я составлял с ней единое целое. А теперь ее не стало, и мне нет места в новой жизни, и я боюсь. Теперь я знаю, что раньше я видел не жизнь, а лишь игру теней. Я избегал всего, что не было призрачно, — избегал обстоятельств и людей, слишком живых, слишком реальных. Я злился, когда они вторгались в мою жизнь. Я старался избегать и вас, Скарлетт. В вас жизнь била ключом, вы были слишком реальны, а я трусливо предпочитал тени и мечты.

— А... а... Мелли?

— Мелани — самая неясная из моих грез, она всегда присутствовала в моих мечтаниях. И не случись войны, я бы так и прожил в счастливом уединении Двенадцати Дубов, наблюдая за тем, как жизнь течет мимо, однако не участвуя в ней. Но вот началась война, и жизнь подлинная, реальная обрушилась на меня. В первом же сражении — а было это, вы помните, у Булл‑Рэна — я увидел, как друзей моего детства разрывало на куски снарядами, я слышал ржание гибнущих лошадей, познал мерзкую тошноту, которая подкатывает к горлу, когда у тебя на глазах вдруг сгибается пополам и харкает кровью человек, в которого ты всадил пулю. Но не это самое страшное на войне, Скарлетт. Для меня самым страшным были люди, с которыми приходилось жить.

Я всю жизнь отгораживался от людей и своих немногих друзей выбирал очень тщательно. И вот на войне я узнал, что создал себе мир, населенный выдуманными людьми. Война открыла мне, каковы люди на самом деле, но не научила меня жить с ними. И боюсь, я никогда этому не научусь. Что ж, я понимаю, что должен кормить жену и ребенка, и мне придется для этого прокладывать себе путь в мире людей, с которыми у меня нет ничего общего. Вы, Скарлетт, хватаете жизнь за рога и поворачиваете ее туда, куда хотите. А мое место в жизни — где оно теперь? Говорю вам: я боюсь.

Тихий голос его звенел от напряжения, а Скарлетт, ничего не понимая, в отчаянии пыталась зацепиться хотя бы за отдельные слова и составить из них какой‑то смысл. Но слова ускользали, разлетались, как дикие птицы. Что‑то терзало Эшли, жестоко терзало, но она не могла понять, что именно.

— Я и сам не знаю, Скарлетт, когда я толком понял, что моему театру теней пришел конец. Возможно, в первые пять минут у Булл‑Рэна, когда я увидел, как упал первый простреленный мною солдат. Но я знал, что все кончено и я больше не могу быть просто зрителем. И я вдруг обнаружил, что нахожусь на сцене, что я — актер, гримасничающий и попусту жестикулирующий. Мой внутренний мирок рухнул, в него ворвались люди, чьих взглядов я не разделял, чьи поступки были мне столь же чужды, как поступки готтентотов. Они грязными башмаками прошлись по моему миру, и не осталось ни единого уголка, где я мог бы укрыться, когда мне становилось невыносимо тяжело. Сидя в тюрьме, я думал: «Вот кончится война, и я вернусь к прежней жизни, к моим старым мечтам, в свой театр теней». Но, Скарлетт, возврата к прошлому нет. И то, с чем столкнулись мы сейчас, — хуже войны и хуже тюрьмы, а для меня и хуже смерти... Так что, как видите, Скарлетт, я несу наказание за свой страх.

— Но, Эшли, — начала она, все глубже увязая в трясине непонимания, — если вы боитесь, что мы умрем с голоду, так почему же... почему... Ах, Эшли, не волнуйтесь: мы как‑нибудь справимся! Я знаю, что справимся.

На секунду взгляд его вновь обратился на нее, и в серых глазах, широко раскрытых и ясных, было восхищение. А потом они снова стали отчужденными, далекими, и сердце у Скарлетт упало — она поняла: он думал не о том, что они могут умереть с голоду. Вечно они говорят на разных языках. Но она так любила его, что, когда он замыкался в себе, как сейчас, ей казалось, будто теплое солнце ушло с небосклона и она осталась в холодном сыром полумраке. Ей захотелось схватить его за плечи, привлечь к себе, заставить, наконец, осознать, что она живая, а не вычитанная им или вымечтанная. Вот если бы вновь почувствовать, что они — одно целое, как в тот давний день, когда он вернулся домой из Европы, стоял на ступеньках Тары и улыбался ей.

— Голодать — не очень‑то приятно, — сказал он. — Я это знаю, потому что голодал, но я не боюсь голода. Я боюсь жизни, лишенной неспешной красоты нашего мира, которого уже нет.

Скарлетт в отчаянии подумала, что Мелани поняла бы его. Эшли с Мелани вечно болтают о всяких глупостях — стихи, книги, мечты, лунный свет, звездная пыль... Ему не страшно то, что страшит ее, Скарлетт, — не страшны режущие боли в голодном желудке, пронизывающий зимний ветер, выселение из Тары. Его терзает какой‑то иной страх, которого она никогда не знала и не может вообразить. Честное слово, ну чего в этом мире еще бояться, если не голода, холода и возможности лишиться крова?

А ведь ей казалось, что если она будет внимательно слушать Эшли, то поймет его.

— Вот как?! — произнесла она, и в голосе ее прозвучало разочарование ребенка, который, развернув яркую бумажную обертку, обнаружил, что внутри ничего нет.

При этом возгласе Эшли печально улыбнулся, как бы прося у нее прощения.

— Извините меня, Скарлетт, за все, что я тут наговорил. Вы не можете меня понять, потому что не знаете страха. У вас сердце льва, вы начисто лишены воображения, и я вам завидую. Вас не страшит встреча с действительностью, и вы не станете бежать от нее, как я.

— Бежать!

Казалось, из всего им сказанного это было единственное слово, которое она поняла. Значит, Эшли, как и она, устал от борьбы и хочет бежать. Она чуть не задохнулась.

— Ох, Эшли, — вырвалось у нее, — как вы не правы! Я тоже хочу бежать. Я тоже от всего этого устала!

Он в изумлении поднял брови; в эту минуту она своей горячей рукой схватила его за плечо.

— Послушайте меня, — быстро заговорила она; слова полились неудержимым потоком, подгоняя друг друга. — Я же говорю вам: я тоже от всего этого устала. До смерти устала и не желаю больше так жить. Я боролась за каждый кусок хлеба, за каждую лишнюю монету, я полола, и рыхлила мотыгой, и собирала хлопок, я даже пахала, а потом вдруг поняла, что не желаю больше так жить — ни минуты. Говорю вам, Эшли: Юг умер! Умер! Янки, вольные негры и «саквояжники» стали здесь хозяевами, а для нас ничего не осталось. Эшли, бежим отсюда!

Он наклонился к ней и впился взглядом в ее пылающее лицо.

— Да, давайте убежим — бросим их всех! Устала я гнуть спину на других. Кто‑нибудь о них позаботится. Когда люди сами не могут заботиться о себе, всегда ведь находится кто‑то, кто берет на себя заботу о них. Ах, Эшли, давайте убежим, убежим вдвоем — вы и я. Мы могли бы уехать в Мексику — мексиканской армии нужны офицеры, и мы могли бы быть так счастливы там. Я буду работать на вас, Эшли. Я для вас горы сверну. В глубине души вы сами знаете, что не любите Мелани...

На лице его отразился испуг, изумление, он хотел что‑то сказать, но она не дала ему и рта раскрыть, обрушив на него поток слов.

— Вы же сами сказали мне в тот день, — помните тот день? — что любите меня больше! И я знаю, что вы не изменились с тех пор! Я же вижу, что не изменились! Вот только сейчас вы говорили, что она для вас как сон, как мечта... Ох, Эшли, давайте уедем! Я могла бы сделать вас таким счастливым. Ведь Мелани, — с жестокой откровенностью добавила она, — Мелани больше не сможет... Доктор Фонтейн сказал, что у нее никогда уже не будет детей, а я могла бы родить вам...

Он сжал ее плечи так крепко, что ей стало больно и она, задохнувшись, умолкла.

— Мы должны забыть тот день в Двенадцати Дубах.

— Да неужели вы думаете, что я могу его забыть?! Разве вы его забыли? Можете, положа руку на сердце, сказать, что вы меня не любите?

Он глубоко вобрал в себя воздух и быстро произнес:

— Да, могу. Я не люблю вас.

— Это ложь.

— Даже если и ложь, — сказал Эшли мертвенно ровным, спокойным голосом, — обсуждать это мы не станем.

— Вы хотите сказать...

— Да неужели вы думаете, что я мог бы уехать и бросить Мелани с нашим ребенком на произвол судьбы, даже если бы я их ненавидел? Мог бы разбить Мелани сердце? Оставить их обоих на милость друзей? Скарлетт, вы что, с ума сошли? Да неужели у вас нет ни капли порядочности? Вы ведь тоже не могли бы бросить отца и девочек. Вы обязаны о них заботиться, как я обязан заботиться о Мелани и Бо, и устали вы или нет, у вас есть обязательства, и вы должны их выполнять.

— Я могла бы бросить отца и девочек... они мне надоели... я устала от них...

Он склонился к ней, и на секунду с замирающим сердцем она подумала, что он сейчас обнимет ее, прижмет к себе. Но он лишь похлопал ее по плечу и заговорил, словно обращаясь к обиженному ребенку:

— Я знаю, что вы устали и все вам надоело. Поэтому вы так и говорите. Вы тянете воз, который и трем мужчинам не под силу. Но я стану вам помогать... я не всегда буду таким никчемным...

— Вы можете помочь мне только одним, — хмуро произнесла она, — увезите меня отсюда и давайте начнем новую жизнь в другом месте, где, может быть, нам больше повезет. Ведь нас же ничто здесь не держит.

— Ничто, — ровным голосом повторил он, — ничто, кроме чести.

Она с глубокой нежностью смотрела на него и словно впервые увидела, какие золотые, цвета спелой ржи, у него ресницы, как гордо сидит голова на обнаженной шее, какого благородства и достоинства исполнена его стройная фигура, несмотря на лохмотья, в которые он одет. Взгляды их встретились — в ее глазах была неприкрытая мольба, его же глаза, как горные озера под серым небом, не отражали ничего.

И глядя в эти пустые глаза, она поняла, что ее отчаянные мечты, ее безумные желания потерпели крах.

Разочарование и усталость сделали свое дело: Скарлетт уткнулась лицом в ладони и заплакала. Еще ни разу в жизни Эшли не видел, чтобы она так плакала. Он никогда не думал, что такие сильные женщины, как Скарлетт, вообще способны плакать, и волна нежности и раскаяния затопила его. Он порывисто шагнул к ней и через минуту уже держал ее в объятиях, нежно баюкая, прижав ее черную головку к своей груди.

— Милая! — шептал он. — Мужественная моя девочка... Не надо! Ты не должна плакать!

Он почувствовал, как она меняется от его прикосновения, стройное тело, которое он держал в объятиях, запылало, околдовывая; зеленые глаза, обращенные на него, зажглись, засияли. И вдруг угрюмой зимы не стало. В сердце Эшли возродилась весна — почти забытая, напоенная ароматом цветов, вся в зеленых шорохах и приглушенных звуках, — бездумная праздная весна и беззаботные дни, когда им владели желания юности. Тяжелых лет, выпавших за это время на его долю, словно и не было — он увидел совсем близко алые губы Скарлетт и, нагнувшись, поцеловал ее.

В ушах ее стоял приглушенный грохот прибоя — так гудит раковина, приложенная к уху, — а в груди глухо отдавались удары сердца. Их тела слились, и время, казалось, перестало существовать — Эшли жадно, неутолимо прильнул к ее губам.

Когда же он, наконец, разжал объятия, Скарлетт почувствовала, что колени у нее подгибаются, и вынуждена была ухватиться за ограду. Она подняла на него взгляд, исполненный любви и сознания своей победы.

— Ведь ты же любишь меня! Любишь! Скажи это, скажи!

Он все еще продолжал держать ее за плечи, и она почувствовала, как дрожат его руки, и еще больше полюбила его за это. Она снова пылко прильнула к нему, но он отстранился, и взгляд его уже не был отрешенным — в нем читались борьба и отчаяние.

— Не надо! — сказал он. — Не надо! Перестань, иначе я овладею тобой прямо здесь, сейчас.

Она только улыбнулась в ответ — бездумно, жадно: не все ли равно, когда и где, — важно, что он целовал ее, целовал.

Внезапно он встряхнул ее, встряхнул так сильно, что ее черные волосы рассыпались по плечам, и продолжал трясти, точно вдруг обезумел от ярости на нее — и на себя.

— Не будет этого! — сказал он. — Слышишь: этого не будет!

Ей казалось, что голова у нее сейчас оторвется, если он еще раз так ее встряхнет. Ничего не видя из‑за упавших на лицо волос, оглушенная этим внезапным взрывом, она наконец вырвалась из рук Эшли и в испуге уставилась на него. На лбу его блестели капельки пота, руки были сжаты в кулаки, словно от невыносимой боли. Он смотрел на нее в упор и будто пронизывал насквозь своими серыми глазами.

— В том, что случилось, виноват я — и только я один, и этого никогда больше не повторится: я забираю Мелани с ребенком и уезжаю.

— Уезжаешь? — в ужасе воскликнула она. — Ох, нет!

— Клянусь богом, да! Неужели ты думаешь, что я останусь здесь после того, что произошло? Ведь это может произойти опять...

— Но, Эшли, ты же не можешь так вот взять и уехать. И зачем тебе уезжать? Ты же любишь меня...

— Ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Хорошо, скажу. Я люблю тебя. — Он резко наклонился к ней; в его лице появилось такое исступление, что она невольно прижалась к ограде. — Да, я люблю тебя, люблю твою храбрость и твое упрямство, твою пылкость и твою безграничную беспринципность. Сильно ли я тебя люблю? Так люблю, что минуту назад чуть не попрал законы гостеприимства, чуть не забыл, что в этом доме приютили меня и мою семью и что у меня есть жена, лучше которой не может быть на свете... я готов был овладеть тобой прямо здесь, в грязи, как последний...

Она пыталась разобраться в хаосе мыслей и чувств, обуревавших ее, а сердце холодело и ныло, словно пронзенное острой ледышкой. И она неуверенно пробормотала:

— Если ты так желал меня... и не овладел мною... значит, ты не любишь меня.

— Никогда ты ничего не поймешь.

Они стояли и молча смотрели друг на друга. И вдруг Скарлетт вздрогнула и, словно возвращаясь из далекого путешествия, увидела, что на дворе зима, талые поля ощетинились жнивьем; она почувствовала, что ей очень холодно. Увидела она и то, что лицо Эшли снова приняло обычное отчужденное выражение, которое она так хорошо знала, что и ему тоже холодно, и больно, и совестно.

Ей бы повернуться, оставить его, укрыться в доме, но на нее вдруг навалилась такая усталость, что она просто не могла сдвинуться с места. Даже слово сказать было тяжело и неохота.

— Ничего не осталось, — произнесла она наконец. — У меня ничего не осталось. Нечего любить. Не за что бороться. Ты уходишь, и Тара уходит.

Эшли долго смотрел на нее, потом нагнулся и взял пригоршню красной глины.

— Нет, кое‑что осталось, — сказал он, и на губах его промелькнуло что‑то похожее на прежнюю улыбку, но только с иронией, которая относилась и к ней, и к нему самому. — Осталось то, что ты любишь больше меня, хотя, возможно, и не отдаешь себе в этом отчета. У тебя есть Тара.

Он взял ее безвольно повисшую руку, вложил в ладонь комок влажной глины и сжал пальцы. Руки его уже лихорадочно не горели, да и у нее руки тоже были холодные. Она смотрела с минуту на комок красной земли, но эта земля ничего сейчас для нее не значила. Потом посмотрела на Эшли и вдруг впервые поняла, какой это цельный человек — ни ее страсть, ни чья‑либо еще не заставит его раздвоиться.

Он никогда — даже ради спасения своей жизни — не покинет Мелани. И никогда не сделает ее, Скарлетт, своей — хуже того: будет держать на расстоянии, какое бы пылкое чувство ни снедало его. Эту броню ей никогда уже не пробить. Слова «гостеприимство», «порядочность», «честь» значат для него куда больше, чем она сама.

Глина холодила руку Скарлетт, и она снова взглянула на зажатый в пальцах комок.

— Да, — сказала она, — это у меня пока еще есть.

Сначала это были просто слова, а комок в руке был просто красной глиной. Но внезапно она подумала о море красной земли, окружающем Тару, о том, как это ей дорого, и как она боролась за то, чтобы это сохранить, и какая ей еще предстоит борьба, если она хочет, чтобы Тара осталась у нее. Скарлетт снова посмотрела на Эшли, удивляясь, куда вдруг исчезли бушевавшие в ней чувства. Мысли были, а чувств не было, словно ее выпотрошили: ей безразличен был и он, и Тара.

— Тебе нет нужды уезжать, — отчетливо произнесла она. — Я не допущу, чтобы вы голодали из‑за того, что я повисла у тебя на шее. Больше этого не повторится.

Она повернулась и пошла к дому прямо по неровному полю, на ходу скручивая в узел волосы на затылке. Эшли стоял и смотрел ей вслед. Внезапно он увидел, как она распрямила свои худенькие плечи. И этот жест сказал ему больше, чем любые слова.

### Глава XXXII

Все еще сжимая в руке комок красной глины, Скарлетт поднялась по ступеням крыльца. Она намеренно не пошла черным ходом, ибо острые глаза Мамушки наверняка заметили бы — что‑то неладно. А Скарлетт не хотела видеть ни Мамушку, ни вообще кого бы то ни было. Она не в силах была видеть людей, разговаривать. Ее уже не мучил стыд, разочарование или горечь — лишь была какая‑то слабость в коленях да огромная пустота в душе. Крепко сжав глину, так что она просочилась между пальцами, Скарлетт все повторяла и повторяла, точно попугай:

— Это у меня пока еще есть. Да, это у меня пока еще есть.

А больше у нее уже ничего не было — ничего, кроме этой красной земли, которую несколько минут назад она готова была выбросить, как рваный носовой платок. Сейчас же земля эта снова стала ей дорога, и Скарлетт лишь тупо подивилась собственному безумию: как могла она с таким небрежением отнестись к земле. Уступи Эшли ее напору — и она уехала бы с ним, даже не обернувшись, чтобы бросить последний взгляд на свою семью и друзей, тем не менее даже сейчас, несмотря на пустоту в душе, она понимала, что ей было бы тяжело покинуть столь дорогие сердцу красные холмы, и узкие сырые овраги, и эти темные призрачные сосны. Она бы снова и снова с жадностью вызывала их в памяти до самого своего смертного дня. Если бы она вырвала из сердца Тару, даже Эшли не смог бы заполнить образовавшуюся в нем пустоту. Какой же Эшли все‑таки умный и как хорошо он ее знает! Вложил в ее руку комок влажной земли — и она пришла в себя.

Войдя в холл и уже прикрывая за собой дверь, Скарлетт вдруг услышала стук копыт и обернулась, чтобы посмотреть, кто едет. Принимать сейчас гостей, — нет, это уж слишком! Скорее наверх, к себе, и сослаться на головную боль.

Однако при виде подъезжавшей коляски Скарлетт в изумлении остановилась. Коляска была новая, лакированная, и у лошади была новая сбруя, на которой тут и там поблескивали начищенные медные бляшки. Кто‑то чужой. Ни у кого из ее знакомых не было денег на такой великолепный новый выезд.

Она стояла в двери и смотрела на приближавшуюся коляску, а холодный ветер, приподнимая юбки, обдувал ее мокрые ноги. Наконец коляска остановилась перед домом, и из нее выскочил Джонас Уилкерсон. Потрясенная Скарлетт не могла поверить своим глазам: перед ней был их бывший управляющий в роскошном пальто, прикативший к тому же в отличном экипаже. Уилл говорил ей, что Джонас стал явно процветать с тех пор, как получил эту новую работу в Бюро вольных людей. Нахватал кучу денег, сказал Уилл, облапошивая то ниггеров, то правительство, а то и тех и других: к примеру, отбирал у людей хлопок, а потом клялся, что это был хлопок Конфедерации. Конечно, никогда бы ему не заработать честным путем столько денег в такое тяжелое время.

И вот он перед ней — вышел из элегантной коляски и помогает выйти какой‑то женщине, разодетой в пух и прах. Скарлетт с одного взгляда увидела, что платье на женщине — яркое до вульгарности, и все же глаза ее жадно вбирали в себя мельчайшие детали туалета незнакомки: она ведь давно не видела новых модных нарядов. Та‑ак! Значит, юбки в этом году носят не такие широкие, подытожила она, оглядывая красную клетчатую юбку. Потом взгляд ее скользнул вверх, по черному бархатному жакету — вот какие нынче их носят короткие! А до чего же смешная шляпка! Чепцы, должно быть, уже вышли из моды, ибо на макушке у незнакомки лежал нелепый плоский блин из красного бархата. И ленты завязаны не под подбородком, как у чепцов, а сзади, под тяжелой волной локонов, ниспадавших на шею из‑под шляпки, — локонов, которые, как тотчас заметила Скарлетт, отличались от остальных волос и цветом, и шелковистостью.

Женщина сошла на землю и повернулась к дому, и тут кроличье лицо, густо обсыпанное пудрой, почему‑то показалось Скарлетт знакомым.

— Да ведь это же Эмми Слэттери! — от изумления произнесла она вслух.

— Да, мэм, она самая, — отозвалась Эмми и, вздернув голову, широко осклабившись, направилась к крыльцу.

Эмми Слэттери! Грязная, нечесаная потаскушка, незаконнорожденного ребенка которой крестила Эллин, — Эмми, заразившая Эллин тифом! И эта разряженная, вульгарная, мерзкая девка, белая рвань, поднимается сейчас по ступеням Тары с таким видом и с такой улыбочкой, точно тут ей и место... Скарлетт вспомнила Эллин, и чувства нахлынули, затопив пустоту, образовавшуюся было в ее душе, — ею овладела такая смертоносная ярость, что она затряслась, как в приступе малярии.

— Сойди сейчас же со ступеней, ты, дрянь! — закричала она. — Убирайся с нашей земли! Вон отсюда!

У Эмми отвисла челюсть, и она взглянула на Джонаса. Тот шагнул, насупившись, стараясь держаться с достоинством, несмотря на закипавший гнев.

— Вы не должны так говорить с моей женой, — сказал он.

— Женой?! — повторила Скарлетт и разразилась презрительным смехом, резавшим точно нож. — Тебе давно пора было на ней жениться. А кто крестил остальных твоих выродков после того, как ты убила мою мать?

— О! — воскликнула Эмми, повернулась и, сбежав со ступеней, кинулась к коляске, но Джонас резко схватил ее за руку и задержал.

— Мы сюда приехали с визитом — с дружеским визитом, — прошипел он. — А также потолковать об одном небольшом дельце со старыми друзьями...

— Друзьями? — Это прозвучало как удар хлыста. — Да разве мы когда‑нибудь дружили с такими, как ты? Слэттери жили нашими благодеяниями и отблагодарили нас за это, убив мою мать, а ты... ты... папа выгнал тебя потому, что ты сделал Эмми ребенка, ты прекрасно это знаешь. Друзья?! Убирайся отсюда, пока я не позвала мистера Бентина и мистера Уилкса.

Тут Эмми вырвалась из рук мужа, кинулась к коляске и мигом залезла в нее — мелькнули лишь лакированные сапожки с ярко‑красной оторочкой и красными штрипками.

Теперь и Джонас, подобно Скарлетт, весь затрясся от ярости, и его желтоватое лицо побагровело, как зоб у рассерженного индюка.

— Все важничаете, все зазнаетесь, да? Только я ведь все про вас знаю. Знаю, что у вас и башмаков‑то крепких нет — думаю, что отец ваш спятил...

— Убирайся вон!

— Ничего, долго вы так не попоете. Я же знаю, что вы на мели. Вы и налог‑то заплатить не можете. Я приехал с предложением купить ваше поместье — с хорошим предложением. Уж больно Эмми охота поселиться тут. А теперь — черта с два: я вам цента за него не дам! И кичитесь своими ирландскими кровями сколько хотите — все равно узнаете, кто нынче правит, когда продадут вас с молотка за неуплату налогов. А я куплю это поместье со всеми причиндалами — со всей мебелью и всем, что в доме есть, — и буду тут жить.

Так, значит, это Джонас Уилкерсон зарится на Тару — Джонас и Эмми, которые, видно, решили, что поквитаются за прошлые обиды, поселившись в том доме, где эти обиды были им нанесены. От ярости нервы Скарлетт напряглись словно натянутая струна — как в тот день, когда она нацелилась из пистолета в бородатое лицо янки и выстрелила. Вот сейчас бы ей этот пистолет в руки.

— Я разберу дом по камушку, все сожгу, а землю — акр за акром — засыплю солью, прежде чем вы переступите этот порог! — выкрикнула она. — Вы слышали: убирайтесь вон! Убирайтесь!

Джонас ненавидящими глазами смотрел на нее, хотел было что‑то сказать, затем повернулся и направился к коляске. Он сел рядом со своей всхлипывающей женой и стегнул лошадь. Скарлетт неудержимо захотелось плюнуть им вслед. И она плюнула. Она понимала, что это вульгарная, детская выходка, зато ей стало легче. Жаль, что она не плюнула раньше, чтоб они видели.

Эти проклятые выродки, подпевающие неграм, смеют приезжать сюда и издеваться над ее бедностью! Да ведь этот пес вовсе и не собирался предлагать ей деньги за Тару. Это был только предлог, чтобы покрасоваться перед ней вместе со своей Эмми. Грязные подлипалы, вшивая белая голытьба, а еще смеют бахвалиться, что будут жить в Таре!

И тут вдруг ужас обуял ее, и всю ярость как рукой сняло. Мать пресвятая богородица! Конечно же, они приедут и поселятся здесь. И ей не помещать им: они купят Тару, приобретут с аукциона и зеркала, и столы, и кровати, всю мебель красного и розового дерева — приданое Эллин, все, что так бесконечно дорого ей, Скарлетт, хотя и поцарапано грабителями‑янки. Не отстоять ей и робийяровского серебра. «Не допущу я этого! — с новым приливом ярости подумала Скарлетт. — Нет, пусть даже мне придется сжечь поместье! Нога Эмми Слэттери никогда не ступит на пол, по которому ходила мама!»

Скарлетт закрыла входную дверь и прислонилась к ней, вся во власти несказанного ужаса. Куда более сильного, чем в тот день, когда солдаты Шермана явились к ним. В тот день она могла опасаться лишь того, что Тару сожгут у нее на глазах. Сейчас же было много хуже: вульгарные, премерзкие людишки вознамерились поселиться в их доме, чтобы потом хвастаться своим вульгарным, премерзким дружкам, как они выставили отсюда высокородных О’Хара. С них ведь станет и негров сюда приглашать — угощать их здесь, даже оставлять на ночь. Уилл рассказывал ей: Джонас всюду, где может, показывает, что он с неграми на равных — и ест с ними, и в гости к ним ходит, и раскатывает с ними в своей коляске, и разгуливает в обнимку.

При одной мысли о таком надругательстве над Тарой у Скарлетт бешено заколотилось сердце и даже стало трудно дышать. Она пыталась сосредоточиться, пыталась найти какой‑то выход, но не успевала собраться с мыслями, как новый приступ ярости и страха заглушал все. Однако должен же быть какой‑то выход, должен же найтись человек, у которого есть деньги и который мог бы ей их ссудить. Не может так быть, чтобы деньги, точно сухие листья, вдруг как ветром сдуло. Есть же люди, у которых они должны быть. И тут она вдруг вспомнила фразу, которую с усмешкой произнес Эшли:

«Только у одного человека есть деньги. У Ретта Батлера».

Ретт Батлер... Скарлетт быстро вошла в гостиную и закрыла за собой дверь. Она очутилась в полумраке, так как ставни были закрыты и к тому же на дворе стоял серый зимний день. Никому и в голову не придет искать ее здесь, а ей нужно время, чтобы спокойно все обдумать. Мысль, пришедшая ей в голову, была столь проста, что Скарлетт могла лишь удивляться, как она об этом раньше не подумала.

«Я добуду деньги у Ретта. Продам ему бриллиантовые сережки. Или возьму под сережки взаймы — пусть хранит их, пока я не расплачусь».

На секунду она почувствовала такое облегчение, что у нее от слабости закружилась голова. Она заплатит налог и уж как посмеется над Джонасом Уилкерсоном. Однако не успела Скарлетт порадоваться этой мысли, как неумолимая правда снова всплыла в сознании.

«Но ведь налоги мне придется платить не только в этом году. И в будущем, и через год, и каждый год, пока жива буду. Заплачу на этот раз — они еще повысят налог и будут повышать, пока не выкурят меня отсюда. Если я выращу хороший урожай хлопка, они обложат его таким налогом, что мне самой ничего не останется, а то и просто конфискуют — скажут, что это хлопок Конфедерации. Эти янки и мерзавцы, которые спелись с ними, будут держать меня на крючке. И всю жизнь я буду жить в страхе, что рано или поздно они прикончат меня. Всю жизнь буду трястись, и бороться за каждый пенни, и работать не покладая рук — и все ни к чему: вечно меня будут обворовывать, а хлопок отберут, и все... Эти триста долларов, которые я одолжу сейчас, чтоб заплатить налог, — только временная оттяжка. Я же хочу избавиться от этого ужаса раз и навсегда — чтобы спокойно спать ночью и не думать о том, что ждет меня утром, и в будущем месяце, и на будущий год».

Мозг ее работал как часы. Холодный расчет сам собой подсказывал выход. Она вспомнила Ретта — его ослепительную белозубую улыбку, смуглое лицо, насмешливые черные глаза, бесстыдно раздевающие ее, ласкающие. Ей вспомнилась душная ночь в Атланте в конце осады, когда они сидели на крыльце у тети Питти, укрытые летней тьмой, и она снова почувствовала его горячую руку на своем локте, снова услышала его голос: «Никогда еще ни одна женщина не была мне так желанна, и никогда еще ни одной женщины я не добивался так долго, как вас».

«Я выйду за него замуж, — холодно решила она. — И тогда мне уже больше не придется думать о деньгах».

О, благословенная мысль, более сладостная, чем надежда на вечное спасение: никогда больше не тревожиться о деньгах, знать, что с Тарой ничего не случится, что ее близкие будут сыты и одеты, и что ей самой никогда не придется больше биться головой о каменную стену!

Она вдруг показалась сама себе древней старухой. События этого дня вконец опустошили ее: сначала страшная весть о налоге, потом — Эшли, и наконец, эта ненависть, которую вызвал в ней Джонас Уилкерсон. А теперь все чувства в ней притупились. Если же она еще была бы способна чувствовать, что‑то в ней наверняка воспротивилось бы плану, который складывался у нее в голове, ибо Ретта она ненавидела больше всех на свете. Но Скарлетт ничего не чувствовала. Она могла лишь думать, и притом думать расчетливо.

«Я наговорила ему уйму гадостей в ту ночь, когда он бросил нас на дороге, но я сумею заставить его забыть об этом, — думала она, исполненная презрения к этому человеку и уверенная в своей власти над ним. — Прикинусь такой простодушной дурочкой. Внушу ему, что всю жизнь любила его, а в ту ночь была просто расстроена и напугана. О, эти мужчины — они такие самовлюбленные, чему угодно поверят, если им это льстит... Ну, а я, пока его не заарканю, конечно же, и виду не подам, в каких мы стесненных обстоятельствах. Нет, он не должен этого знать! Если он хотя бы заподозрит, какие мы бедные, то сразу поймет, что мне нужны его деньги, а не он сам. Но в общем‑то, откуда ему узнать — ведь даже тетя Питти не знает, до чего все плохо. А когда я женю его на себе, он вынужден будет нам помочь. Не допустит же он, чтоб семья его жены погибала от голода».

Его жены. Миссис Ретт Батлер. Что‑то возмутилось в ней, шевельнулось, нарушив было холодный ход размышлений, и — улеглось. Ей припомнился короткий медовый месяц с Чарлзом, гадливость и стыд, его руки, неумело шарившие по ее телу, его непонятный экстаз, а потом — извольте: Уэйд Хэмптон.

«Не стану сейчас об этом думать. Волноваться будем после свадьбы...»

После свадьбы. Память тотчас откликнулась. И по спине Скарлетт пробежал холодок. Ей снова вспомнилась та ночь на крыльце у тети Питти, вспомнилось, как она спросила Ретта, следует ли ей понимать, что он делает ей предложение, вспомнилось, как он гадко рассмеялся и сказал: «Моя дорогая, я не из тех, кто женится».

А что, если он до сих пор не из тех, кто женится? А что, если, несмотря на все ее чары и ухищрения, он не захочет на ней жениться? А что, если — боже, какая страшная мысль! — что, если он и думать забыл о ней и увлечен сейчас другой женщиной?

«Никогда еще ни одна женщина не была мне так желанна...»

Скарлетт с такой силой сжала кулаки, что ногти вонзились в ладони.

«Если он забыл меня, я заставлю его вспомнить. Я сделаю так, что он снова будет желать меня».

А если он все же не захочет на ней жениться, но она по‑прежнему будет желанна ему, что ж, можно и на это пойти — лишь бы добыть денег. Ведь предлагал же он ей стать его любовницей.

В сером полумраке гостиной она быстро, решительно вступила в борьбу с тремя тенями, властвовавшими над ней: тенью Эллин, заповедями своей веры и любовью к Эшли. Скарлетт сознавала, что самый ход ее мыслей показался бы омерзительным Эллин, даже там, где она теперь пребывает — в этом далеком и теплом раю. Сознавала Скарлетт и то, что прелюбодеяние — это смертный грех. Сознавала, что, любя Эшли, предает не только свое тело, но и любовь.

Но все эти соображения отступали перед безжалостной холодностью разума и безысходностью ее отчаяния. Эллин мертва, и, возможно, смерть заставляет смотреть на все по‑иному. Религия запрещает прелюбодеяние под угрозой вечных мук в аду, но если церковь полагает, что она, Скарлетт, не испробует все на свете, чтобы спасти Тару и спасти своих близких от голода, — что ж, пусть это и волнует церковь. А ее, Скарлетт, не волнует ничего. По крайней мере — сейчас. Эшли же... Эшли она не нужна. Нет, нужна. Воспоминание о его горячих губах подсказывало ей, что это так. Но он никогда с ней не уедет. Как странно, убеги она с Эшли, это не казалось бы ей грехом, а вот с Реттом...

В унылых сумерках угасавшего зимнего дня Скарлетт подошла к концу того длинного пути, на который ступила в ночь падения Атланты. Тогда она была избалованной, эгоистичной, неопытной девушкой, юной, пылкой, исполненной изумления перед жизнью. Сейчас, в конце пути, от этой девушки не осталось ничего. Голод и тяжкий труд, страх и постоянное напряжение всех сил, ужасы войны и ужасы Реконструкции отняли у нее теплоту души, и юность, и мягкость. Душа ее затвердела и словно покрылась корой, которая постепенно, из месяца в месяц, слой за слоем все утолщалась.

Но до нынешнего дня две надежды жили в сердце Скарлетт и поддерживали ее. Она надеялась, что с окончанием войны жизнь постепенно войдет в прежнюю колею. Она надеялась, что с возвращением Эшли жизнь вновь обретет какой‑то смысл. Сейчас от обеих этих надежд ничего не осталось. Появление Джонаса Уилкерсона на подъездной аллее Тары заставило Скарлетт понять, что для нее, как и для всего Юга, война никогда не кончится. Самые ожесточенные бои, самые жестокие схватки еще впереди. А Эшли — навеки узник тех слов, что прочнее прутьев любой темницы.

Надежда на мирную жизнь не сбылась, как не сбылась и надежда на Эшли, — о том и о другом она узнала в один и тот же день, и края последней щелочки в покрывавшей ее душу коре окончательно сомкнулись, верхний слой затвердел. С ней произошло то, против чего предостерегала ее бабуля Фонтейн: она стала женщиной, которая видела самое страшное и теперь уже ничего не боится. Не боится жизни, не боится матери, не боится потерять любовь или пасть в глазах общества. Сейчас испугать ее может лишь голод — реальный или увиденный во сне.

Какое‑то удивительное чувство легкости и свободы овладело Скарлетт теперь, когда она закрыла свое сердце всему, что привязывало ее к тем былым дням и к той былой Скарлетт. Она приняла решение и, слава богу, нисколечко не боится. Ей нечего терять, она все обдумала.

Если только ей удастся заманить Ретта в ловушку и женить на себе, все будет прекрасно. Ну, а если не удастся, — что ж, деньги она все равно добудет. На секунду Скарлетт задумалась, с отстраненным любопытством спрашивая себя: а что, интересно, требуется от любовницы? Будет ли Ретт настаивать на том, чтобы она жила в Атланте, где, судя по слухам, живет эта его Уотлинг? Если он заставит ее жить в Атланте, ему придется хорошо за это заплатить — заплатить столько, чтобы Тара не пострадала от ее отсутствия. Скарлетт понятия не имела, из чего складывается интимная жизнь мужчины, и потому не представляла себе, каковы могут быть условия договора. А что, если у нее появится ребенок? Это будет просто ужасно.

«Сейчас не стану об этом думать. Подумаю потом». И она отодвинула неприятную мысль подальше в глубь сознания, чтобы не поколебать своей решимости. Сегодня вечером она скажет родным, что едет в Атланту занять денег и в крайнем случае попытается заложить плантацию. Больше они ничего не должны знать — до того страшного дня, когда так или эдак все узнается.

Как только она приняла этот план действий, голова ее невольно вскинулась, плечи распрямились. Она понимала, что ей предстоит нелегкое испытание. Раньше Ретт искал ее расположения, а решала она. Сейчас она становилась просительницей, просительница же диктовать условия не может.

«Нет, не желаю я ехать к нему просительницей. Я поеду как королева, раздающая милости. Он никогда не узнает правды».

Она подошла к высокому трюмо и, горделиво вздернув голову, взглянула на себя. Из зеркала в потрескавшейся золоченой раме на нее смотрела незнакомка. У Скарлетт было такое ощущение, словно она целый год себя не видела. А ведь она смотрелась в зеркало каждое утро, проверяя, хорошо ли вымыто лицо и тщательно ли причесаны волосы, но при этом всегда была чем‑то озабочена и потому толком не видела себя. И теперь на нее смотрела незнакомка! Конечно же, эта тощая женщина с запавшими щеками — кто угодно, но не Скарлетт О’Хара! У Скарлетт О’Хара прелестное, кокетливое, задорное личико! А это лицо никак не назовешь прелестным, в нем нет и следа того обаяния, которое всегда отличало Скарлетт. На нее смотрело бледное, напряженное лицо, черные брови над миндалевидными зелеными глазами резкой линией уходили вверх, словно крылья испуганной птицы. В этом лице было что‑то жесткое и затравленное.

«Я же уродина — мне ни за что не зацепить его! — с новым приливом отчаяния подумала она. — И я такая тощая... ох, ужас какая тощая!»

Она похлопала себя по щекам, быстро ощупала торчавшие под платьем острые ключицы. Грудь у нее стала совсем плоская — почти как у Мелани. Придется подшить к лифу рюшей, а ведь она всегда презирала девушек, которые прибегали к подобным уловкам. Рюши! Это заставило ее вспомнить еще кое о чем. Ей же нечего надеть. Она опустила взгляд на свое платье, расправила фалды залатанной юбки. Ретту нравились женщины хорошо одетые, модные. Она с грустью вспомнила пышное зеленое платье, которое надела впервые после траура, — платье и шляпку с зеленым пером, которую Ретт привез ей в подарок, и какие комплименты он ей тогда расточал. Вспомнила и красное клетчатое платье Эмми Слэттери, ее отороченные красным сапожки с красными штрипками и плоскую шляпку — и от зависти еще больше возненавидела ее. Все это было безвкусно кричащее, но новенькое, модное и, уж конечно, привлекало взгляд. А ей так хотелось сейчас снова привлечь к себе все взгляды! Особенно Ретта Батлера! Ведь если он увидит ее в этом старье, то сразу поймет, что дела в Таре плохи. А этого он не должен знать.

Идиотка, да как она могла подумать, что достаточно ей поехать в Атланту, чтобы он тут же пал к ее ногам — при ее‑то тощей шее и глазах как у голодной кошки, да еще в этом тряпье! Уж если она не могла заставить его сделать предложение, когда была действительно хороша и разодета как картинка, — на что же надеяться теперь, когда она так страшна и плохо одета?! Ведь если мисс Питти писала правду, то он — самый богатый человек в Атланте и, конечно же, может выбрать себе любую красавицу, как добропорядочную, так и не очень. «Ну, что ж, — не без горечи подумала она, — зато у меня есть кое‑что, чего у большинства красавиц и в помине нет: я умею принять решение и добиваться своего. И будь у меня хоть одно приличное платье...»

Но в Таре не было приличных платьев — ни одного, которое не было бы перелицовано и залатано.

«И ничего тут не попишешь», — подумала она, с безнадежностью уставясь в пол. Под ногами ее лежал бархатный ковер Эллин, некогда цвета зеленого мха, а теперь выцветший, потертый, заляпанный, — ведь столько народу за это время спало на нем! — и вид его поверг Скарлетт в еще большее отчаяние, ибо она поняла, что Тара — такая же нищенка, как она сама. Вообще вся эта тонущая в полумраке комната нагнала на Скарлетт уныние, и, подойдя к окну, она подняла раму, распахнула ставни и впустила последние лучи заходящего зимнего солнца. Затем снова закрыла окно, прижалась головой к бархатным портьерам, и взгляд ее затерялся в темных кедрах, окружавших там вдали, за выгоном, их семейное кладбище.

Зеленый, как мох, бархат портьер ласкал и чуть покалывал ей щеку, и она, как кошка, блаженно потерлась о материю. И вдруг уставилась на портьеры.

Минуту спустя она уже волокла по полу тяжелый стол с мраморной крышкой. Его заржавевшие колесики протестующе скрипели. Она подкатила стол к окну, подобрала юбки, залезла на стол и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до массивного карниза. До него было слишком высоко — она резко дернула портьеру, так что вылетели гвозди, и портьера вместе с карнизом рухнула на пол.

Словно по мановению волшебной палочки дверь в гостиную приоткрылась, и в просвете появилось широкое черное лицо Мамушки, каждой своей морщинкой источавшее неуемное любопытство и величайшую подозрительность. Она осуждающе посмотрела на Скарлетт, все еще стоявшую на столе, задрав юбки выше колен, чтобы удобнее было спрыгнуть на пол. Скарлетт была так возбуждена и с таким торжествующим видом взглянула на Мамушку, что та сразу забеспокоилась.

— Что это вы задумали делать с портьерами мисс Эллин? — спросила она.

— А ты что, подсматриваешь в дверную щелку? — огрызнулась Скарлетт, соскочила на пол и потянула на себя пыльный тяжелый бархат.

— Чего же тут подсматривать‑то, — ответствовала Мамушка, готовясь к бою. — Нечего вам распоряжаться портьерами мисс Эллин — что это вы надумали: и карниз сорвали, и портьеры в пыли валяются. Мисс Эллин ох, как их берегла, эти портьеры‑то, и я не позволю вам такое с ними вытворять.

Скарлетт обратила на Мамушку взгляд своих зеленых глаз — глаз, искрившихся весельем, совсем как в те далекие дни, когда она была капризной маленькой девчушкой, о чем частенько со вздохом вспоминала Мамушка.

— А ну‑ка, Мамушка, бегом на чердак, принеси мне оттуда ящик с выкройками! — крикнула Скарлетт, подскочив к Мамушке и подталкивая ее к двери. — Я буду шить себе платье!

Мамушка чуть не задохнулась от возмущения при одной мысли о том, что ее двухсотфунтовую тушу заставляют куда‑то подниматься, а тем более на чердак, но одновременно в ней зародилось страшное подозрение. Она выхватила портьеру из рук Скарлетт и, словно священную реликвию, прижала к своей монументальной отвислой груди.

— Уж не из портьер ли мисс Эллин собрались вы шить себе платье? Нет, тому не бывать, пока я хоть капельку жива.

На лице молодой хозяйки появилось было выражение, которое Мамушка описала бы так: «Уперлась как бык». Но оно тут же сменилось улыбкой, а этому Мамушке уже трудно было противостоять. Однако на сей раз старуха не попалась на удочку. Она смекнула, что мисс Скарлетт заулыбалась лишь затем, чтобы обвести ее вокруг пальца, и преисполнилась решимости не отступать.

— Не надо быть такой скупердяйкой, Мамушка. Я собираюсь в Атланту подзанять денег, и мне для этого нужно новое платье.

— Не нужно вам никаких новых платьев. Нет сейчас таких леди, которые в новых платьях ходят. Они носят старые и очень даже этим гордятся. С чего бы это дочке мисс Эллин одеваться иначе — даже когда она в старом ходит, все должны ее уважать, точно она в шелках.

Упрямое выражение вновь появилось на лице Скарлетт. «Господи Иисусе, вот чудно‑то: чем старше мисс Скарлетт становится, тем больше на мистера Джералда походит, а на мисс Эллин — меньше и меньше!»

— Вот что, Мамушка, ты, конечно, знаешь про письмо тети Питти. А она пишет, что мисс Фэнни Элсинг выходит замуж в эту субботу, и я, конечно, хочу поехать на свадьбу, а для этого мне нужно новое платье.

— Да это платье, которое на вас сейчас, нисколечко подвенечному платью мисс Фэнни не уступит. Мисс Питти писала, что Элсинги совсем обеднели.

— Но мне необходимо новое платье! Мамушка, ты же не знаешь, как нам нужны деньги. Налоги...

— Все я про налоги знаю, мэм, да только...

— Знаешь?

— Так ведь господь бог наделил меня ушами, чтоб слышать, верно? Ну, а мистер Уилл двери‑то никогда не закрывает.

И как это Мамушка умудряется всегда все слышать? Просто удивительно, подумала Скарлетт: этакая грузная туша, топает так, что пол трясется, а когда хочет подслушать, подкрадывается тихо, как дикая кошка.

— Ну, раз ты все слышала, значит, слышала и то, как Джонас Уилкерсон и эта его Эмми...

— Да уж, мэм, слышала, — сказала Мамушка, сверкнув глазами.

— Так не будь упрямой, как мул, Мамушка. Неужели ты не понимаешь, что мне необходимо поехать в Атланту и добыть денег, чтоб заплатить налог? И денег надо немало. Я должна это сделать! — И она ударила кулачком о кулачок. — Ей‑богу, Мамушка, они выкинут всех нас на улицу, а куда мы тогда пойдем? Неужели ты станешь препираться со мной из‑за каких‑то маминых портьер, когда эта дрянь Эмми Слэттери, которая убила маму, строит планы, как бы переехать в наш дом и спать на маминой постели?!

Мамушка перенесла тяжесть своего могучего тела с одной ноги на другую, точно слон на отдыхе. Она смутно чувствовала, что ее хотят провести.

— Да нет, мэм, не хочу я видеть эту дрянь в доме мисс Эллин или чтоб всех нас выставили на улицу, да ведь только... — И она вдруг впилась в Скарлетт осуждающим взглядом. — От кого это вы деньги‑то получать собираетесь, что вам вдруг понадобилось новое платье?

— А это, — сказала несколько ошарашенная Скарлетт, — это уж мое дело.

Мамушка пронзительно посмотрела на нее — как в прежние времена, когда Скарлетт была маленькая и тщетно пыталась оправдать свои проступки. Казалось, Мамушка без труда читала в ее мыслях, и Скарлетт невольно опустила глаза, впервые почувствовав укол совести из‑за своей затеи.

— Так, значит, вам понадобилось новое распрекрасное платье, чтобы денег занять. Что‑то тут не то. Да и почему‑то вы не хотите сказать, откуда деньги‑то брать задумали.

— Я вообще не желаю ничего об этом говорить, — возмутилась Скарлетт. — Это мое дело. Отдашь ты мне портьеру и поможешь сшить платье?

— Да, мэм, — еле слышно произнесла Мамушка, сдаваясь столь внезапно, что Скарлетт сразу заподозрила неладное. — Я помогу вам сшить платье, а из атласной подкладки, должно, сделаем вам нижнюю юбочку и панталоны кружевом обошьем. — И с ехидной улыбочкой она протянула портьеру Скарлетт. — А мисс Мелли тоже едет с вами в Тланту, мисс Скарлетт?

— Нет, — отрезала Скарлетт, начиная понимать, что ее ждет. — Я еду одна.

— Это вы так думаете, — решительно заявила Мамушка, — да только никуда вы в таком новом платье одна не поедете. Я с вами поеду. Да уж, мэм, и не отстану от вас ни на шаг.

На мгновение Скарлетт представила себе, как она поедет в Атланту и станет разговаривать с Реттом в присутствии насупленной Мамушки, которая, как огромный черный страж, будет неотступно следовать за ней. Она снова улыбнулась и положила руку Мамушке на плечо.

— Мамушка, милая. Какая ты хорошая, что хочешь поехать со мной и помочь мне. Но как же наши‑то здесь без тебя обойдутся? Ведь ты у нас в Таре сейчас самая главная.

— Ну уж! — промолвила Мамушка. — Не заговаривайте мне зубы‑то, мисс Скарлетт. Я ведь знаю вас с той поры, как первую пеленку под вас подложила. Раз я сказала, что поеду с вами в Тланту, значит, поеду, и дело с концом. Да мисс Эллин в гробу перевернется, ежели вы одна‑то поедете: ведь в городе‑то полным‑полно янки и этих вольных ниггеров, да и вообще кого там только нет.

— Но я же остановлюсь у тети Питтипэт, — теряя терпение, сказала Скарлетт.

— Мисс Питти очень даже хорошая женщина, и она, конечно, думает, что все‑то видит, но дальше своего носа не видит ничего, — заявила Мамушка, повернулась с величественным видом, как бы ставя на этом точку, и вышла в холл. А через минуту стены задрожали от ее крика: — Присей, лапочка! Сбегай‑ка наверх и принеси сюда с чердака швейный ящичек мисс Скарлетт с выкройками. Да прихвати пару острых ножниц — и побыстрее, чтоб нам не ждать тут всю ночь.

«Ну и попала я в историю! — подумала удрученная Скарлетт. — Ведь это все равно что взять с собой сторожевого пса, а то и похуже».

После ужина Скарлетт и Мамушка разложили выкройки на столе, в то время как Сьюлин и Кэррин быстро содрали с портьер атласную подкладку, а Мелани, вымыв щетку для волос, принялась чистить бархат. Джералд, Уилл и Эшли сидели, курили и с улыбкой глядели на эту женскую возню. Радостное возбуждение, исходившее от Скарлетт, овладело всеми, — возбуждение, природу которого никто из них не мог бы объяснить. Щеки у Скарлетт раскраснелись, глаза жестко поблескивали, она то и дело смеялась. И все радовались ее смеху — ведь уже несколько месяцев никто не слышал его. А особенно приятно это было Джералду. Помолодевшими глазами он следил за ее передвижениями по комнате, и всякий раз, как она проходила мимо, ласково похлопывал ее по боку. Девушки разволновались, точно готовились на бал: отдирали подкладку и резали бархат с таким рвением, словно собирались шить себе бальные платья.

Скарлетт едет в Атланту, чтобы занять денег или в крайнем случае заложить Тару. Ну, и что тут такого страшного, если даже придется заложить? Скарлетт сказала, что они без труда выкупят Тару из урожая будущего года — продадут хлопок, расплатятся, и у них еще деньги останутся; она сказала это так уверенно, что никому и в голову не пришло спорить с ней. А когда ее спросили, у кого она собирается брать в долг, она ответила: «Любопытному нос прищемили», — ответила так игриво, что все рассмеялись и принялись подшучивать и дразнить ее: завела‑де себе дружка‑миллионера.

— Не иначе как у Ретта Батлера, — лукаво заметила Мелани, и все рассмеялись еще громче, настолько нелепым показалось им это предположение, ибо все знали, что Скарлетт ненавидит Ретта и если вспоминает о нем, то не иначе как об «этом подлеце Ретте Батлере».

Но Скарлетт не рассмеялась, и Эшли, засмеявшийся было, умолк, заметив, какой настороженный взгляд бросила на Скарлетт Мамушка.

Сьюлин, заразившись царившим в комнате единодушием, расщедрилась и принесла свой воротничок из ирландских кружев, хотя и несколько поношенный, но все еще прелестный, а Кэррин стала уговаривать Скарлетт надеть в Атланту ее туфли — это была лучшая пара обуви во всей Таре. Мелани упросила Мамушку не выкидывать бархатные обрезки — она обтянет ими каркас прохудившейся шляпки, и все так и покатились со смеху, когда она заявила, что старому петуху придется, видно, расстаться со своими роскошными, черно‑зелеными с золотом перьями, если он не удерет на болото.

Скарлетт смотрела на стремительно двигавшиеся пальцы, слышала взрывы смеха и со скрытой горечью и презрением поглядывала на окружающих.

«Ничего они не понимают — ни что происходит со мной, ни с ними самими, ни со всем Югом. Они все еще думают, будто ничего страшного не может с ними случиться, потому что они — это они: О’Хара, Уилксы, Гамильтоны. Даже черномазые — и те так думают. Какие же они все идиоты! Никогда ничего не поймут! Будут думать и жить, как думали и жили всегда, и ничто не способно их изменить. Пусть Мелли ходит в лохмотьях, собирает хлопок и даже помогла мне убить человека — ничто не в силах ее изменить. Такой она навеки останется — застенчивой, благовоспитанной миссис Уилкс, идеальной леди! И пусть Эшли видел смерть, и воевал, и был ранен, и сидел в тюрьме, и вернулся в разоренный дом — он останется тем же джентльменом, каким был, когда владел Двенадцатью Дубами. Вот Уилл — тот другой. Он знает, что такое жизнь на самом деле, но Уиллу и терять‑то было особенно нечего. Ну, а что до Сьюлин и Кэррин — они считают, что все это временно. Они не меняются, не приспосабливаются к новым условиям жизни, потому что думают: это скоро пройдет. Они считают, что господь бог сотворит чудо — для их и только их блага. Ну, а никаких чудес не будет. Если кто и сотворит здесь чудо, так это я, когда окручу Ретта Батлера... А они не изменятся. Возможно, они и не могут измениться. Я — единственная, кто здесь изменился... да и я не изменилась бы, если б жизнь не заставила».

Наконец, Мамушка выставила мужчин из столовой и закрыла за ними дверь, чтобы можно было начать примерку. Порк повел Джералда наверх спать, а Эшли с Уиллом остались одни при свете ламп в парадной гостиной. Некоторое время оба молчали — Уилл лишь безмятежно жевал табак, словно животное — жвачку. Однако лицо его было отнюдь не безмятежным.

— Эта поездка в Атланту, — негромко произнес он наконец, — не нравится мне она. Совсем не нравится.

Эшли бросил на него быстрый взгляд и тут же отвел глаза; он ничего не сказал — лишь подумал: не возникло ли у Уилла того же страшного подозрения, какое мучило его. Да нет, не может быть. Уилл же не знает, что произошло днем во фруктовом саду и до какого отчаяния дошла Скарлетт. Не мог Уилл заметить и того, как изменилось лицо Мамушки при упоминании о Ретте Батлере, да и вообще Уилл ничего не знает ни про деньги Ретта, ни про то, какая у него скверная репутация. Во всяком случае, Эшли казалось, что Уилл не может этого знать; правда, с тех пор как Эшли поселился в Таре, он заметил, что и Уилл и Мамушка знают много такого, о чем никто им не говорил, — они просто чувствуют, когда и что происходит. А в воздухе сейчас было что‑то зловещее — какая именно беда нависла над ними, Эшли не знал, но понимал, что спасти от нее Скарлетт он не в силах. Взгляды их за весь этот вечер ни разу не встретились, однако ее жесткая бурлящая веселость пугала его. Терзавшее его подозрение было слишком ужасно — он не мог даже высказать его вслух. Не имеет он права так ее оскорбить — спросив напрямик. Он крепко сжал кулаки. Нет у него такого права: сегодня днем он утратил все права на нее, навсегда. И теперь уже не в состоянии ей помочь. Да и никто не в состоянии. Тут он подумал о Мамушке, о том, с какой мрачной решимостью она резала бархатные портьеры, и на душе у него стало чуть легче. Мамушка уж позаботится о Скарлетт, независимо от того, хочет этого Скарлетт или нет.

«А виноват во всем я, — в отчаянии подумал он. — Я толкнул ее на это».

Он вспомнил, как она, распрямив плечи, уходила от него из фруктового сада, вспомнил, как упрямо была вскинута ее голова. И всем сердцем потянулся к ней, раздираемый сознанием своей беспомощности, снедаемый восхищением перед нею. Он знал, что в ее словаре нет такого выражения: «бесстрашный воитель», — знал, что она непонимающе посмотрела бы на него, если бы он сказал, что не встречал более бесстрашного воителя. Знал Эшли и то, что скажи он ей, как много в ее поступках истинного бесстрашия, она бы его не поняла. Он знал, что она умеет смотреть жизни в лицо, упорно борется, преодолевая встающие на пути препятствия, штурмует их решительно, не думая о возможности поражения, и продолжает бороться, даже когда поражения не избежать.

Но за эти четыре года он встречал и других людей, которые отказывались признать поражение, — людей, весело шедших навстречу собственной гибели, ибо это были бесстрашные люди. И, однако, они тоже терпели поражение.

И сейчас, глядя на Уилла, сидевшего напротив него в полутемной гостиной, Эшли думал, что действительно никогда еще не встречал человека более отважного, чем Скарлетт О’Хара, решившая завоевать мир с помощью платья из бархатных портьер своей матери и перьев, выдранных из петушиного хвоста.

### Глава XXXIII

Холодный ветер дул не переставая, над головой неслись черно‑серые, как сланец, облака, когда Скарлетт и Мамушка сошли на следующий день с поезда в Атланте. Со времени пожара вокзал так еще и не отстроили, и они шагали по золе и грязи, покрывавшей обгорелые развалины. По привычке Скарлетт окинула взглядом площадь, выискивая коляску тети Питти с дядюшкой Питером на козлах, ибо они всегда встречали ее, когда она в войну приезжала в Атланту из Тары. Но она тут же спохватилась и презрительно фыркнула, поражаясь собственной рассеянности. Как же мог Питер ее встречать, когда она не предупредила тетю Питти о своем приезде, а кроме того, Скарлетт вспомнила, что в одном из своих писем тетушка сетовала на то, что пала их лошадка, которую Питер «приобрел» в Мэйконе, когда они по окончании войны возвращались в Атланту.

Скарлетт внимательно оглядывала вытоптанную, изрытую колеями площадку перед вокзалом, выискивая, нет ли экипажа кого‑нибудь из друзей или знакомых, кто мог бы подвезти ее до дома тети Питти, но на нее смотрели чужие черные и белые лица. Наверное, ни у кого из ее старых друзей и не осталось теперь колясок, если то, что писала тетя Питти, — правда. Времена настали такие тяжелые, что даже челядь трудно было держать и кормить, не говоря уже о животных. Большинство друзей тети Питти, как и она сама, ходили теперь пешком.

Два‑три фургона грузились у товарных вагонов; кроме них, стояло несколько забрызганных грязью бричек с какими‑то отпетыми парнями на козлах, да еще карета и коляска, в которой сидела хорошо одетая женщина и офицер‑янки. При виде его мундира Скарлетт чуть не задохнулась: хотя тетя Питти писала, что в Атланте стоит гарнизон и на улицах полно солдат, вид синего мундира несказанно поразил и испугал Скарлетт. Ей вдруг показалось, что все еще идет война и что этот человек сейчас накинется на нее, ограбит, оскорбит.

Народу на платформе почти не было, и Скарлетт вспомнилось то утро в 1862 году, когда она, юная вдова, приехала в Атланту, вся в черном крепе, злясь на себя за нудный траур. Перед ней словно ожил тот день: шумная толпа, фургоны, коляски, санитарные повозки, кучера ругаются, кричат, знакомые окликают друг друга. Она вздохнула с тоской: где оно, то веселое возбуждение, которое царило в первые дни войны; подумала о том, какой путь предстоит ей проделать до дома тети Питти пешком, и снова вздохнула. Правда, она надеялась, что на Персиковой улице встретит кого‑нибудь из знакомых, кто подвезет их с Мамушкой.

Пока она стояла так, озираясь по сторонам, светлокожий негр средних лет, сидевший на козлах кареты, подъехал к ней и, перегнувшись, спросил:

— Коляску, леди? Два куска — отвезу куда хотите в Тланте.

Мамушка бросила на него испепеляющий взгляд.

— Наемный экипаж?! — возмутилась она. — Да ты что, ниггер, не видишь, кто мы?

Мамушка, конечно, была из деревни, но, во‑первых, она не всегда жила в деревне, а, во‑вторых, знала, что ни одна добродетельная женщина никогда не поедет в наемном экипаже, тем более в карете без сопровождающего родственника‑мужчины. Даже присутствие прислуги‑негритянки не могло спасти положение. И Мамушка свирепо посмотрела на Скарлетт, которая явно колебалась, с вожделением глядя на карету.

— Пошли отсюда, мисс Скарлетт! Наемный экипаж, да еще вольный ниггер! Нечего сказать, хорошо мы будем выглядеть!

— Никакой я не вольный ниггер, — возмутился кучер. — Я человек старой мисс Тэлбет, и карета эта ее, а езжу я в ней, чтоб для нас заработать.

— Это что еще за мисс Тэлбет?

— Мисс Сьюзен Тэлбет из Милледжвилла. Мы все сюда перебрались, как старого хозяина убили.

— Вы ее знаете, мисс Скарлетт?

— Нет, — с сожалением отозвалась Скарлетт. — Я очень мало кого знаю из Милледжвилла.

— Тогда мы пойдем пешком, — решительно заявила Мамушка. — Езжай, ниггер, езжай.

Она подхватила саквояж, в котором хранилось новое бархатное платье Скарлетт, ее чепец и ночная рубашка, сунула под мышку аккуратный узелок с собственными пожитками и повела Скарлетт по мокрой угольной пыли, устилавшей площадь. Скарлетт, хоть и предпочла бы ехать в экипаже, не стала спорить с Мамушкой, так как не хотела вызывать ее недовольство. Со вчерашнего дня, когда Мамушка застала свою любимицу в гостиной с бархатными портьерами в руках, из глаз ее не исчезало настороженное выражение, которое было совсем не по душе Скарлетт. Нелегко будет укрыться от ее бдительного ока, и Скарлетт решила до поры до времени без крайней надобности не подогревать боевого духа Мамушки.

Они шли по узкому тротуару в направлении Персиковой улицы, и Скарлетт с грустью и болью в душе видела, как изменилась, опустела Атланта — она помнила совсем другой город. Они прошли мимо того места, где раньше стояла гостиница «Атланта», в которой, бывало, жили Ретт и дядя Генри, — от элегантного дома остался лишь почерневший остов. Склады, тянувшиеся прежде вдоль железнодорожных путей на добрые четверть мили и хранившие тонны военного снаряжения, так и не были восстановлены, лишь прямоугольники фундаментов уныло чернели под сумрачным небом. Железнодорожная колея без этих зданий и без сгоревшего депо, скрывавших ее от глаз, выглядела голой и беззащитной. Где‑то среди этих развалин, неразличимые в общем хаосе, лежали остатки ее склада, унаследованного от Чарлза вместе с землей. Налог за участок в прошлом году заплатил дядя Генри. Со временем деньги придется ему вернуть. Об этом тоже надо помнить.

Но вот они свернули на Персиковую улицу, Скарлетт посмотрела в направлении Пяти Углов и даже вскрикнула от ужаса. Хотя Фрэнк и говорил ей, что город сожжен, она не представляла себе такого полного опустошения. В ее памяти любимый город по‑прежнему был густо застроен красивыми элегантными домами и общественными зданиями. А сейчас и персиковая улица лежала перед ней такая пустынная, настолько лишенная знакомых примет, что Скарлетт казалось — она видит ее впервые. Эта грязная улица, по которой она тысячу раз проезжала во время войны, вдоль которой, вобрав голову в плечи, бежала гонимая страхом во время осады, когда вокруг рвались снаряды, эта улица, которую она в последний раз видела в спешке, в волнении и лихорадке отступления, — эта улица выглядела сейчас настолько чужой, что слезы подступили к глазам Скарлетт.

Хотя немало новых зданий выросло за год, истекший с той поры, как солдаты Шермана покинули горящий город, а конфедераты вернулись, у Пяти Углов все еще были пустые участки, где среди мусора, сухостоя и сорняков высились горы битого, опаленного огнем кирпича. Кое‑где, правда, сохранились остатки домов, которые она помнила, — кирпичные стены без крыш, зияющие пустотой оконные проемы, сквозь которые глядел серый свет дня, одиноко торчащие трубы. Время от времени взгляд Скарлетт с удовольствием обнаруживал знакомый магазинчик, более или менее уцелевший от снарядов и огня и теперь восстановленный, — новая кирпичная кладка ярко‑красным пятном выделялась на почерневших старых стенах. С фасадов новых магазинов, из окон новых контор ее приветствовали имена людей, которых она знала, но куда чаще встречались имена незнакомые — десятки неизвестных врачей, адвокатов, торговцев хлопком. Когда‑то она знала почти всех в Атланте, и вид такого множества неизвестных имен нагнал на нее уныние. Но она тут же воспряла духом при виде новых зданий, выросших вдоль улицы.

Десятки новых зданий, и среди них — даже трехэтажные! Повсюду шло строительство: глядя вдоль улицы и пытаясь привыкнуть к виду новой Атланты, Скарлетт слышала столь приятный уху стук молотков и визг пил, видела леса и людей, карабкавшихся вверх по лестницам с грузом кирпича на плечах. Она смотрела на любимую улицу, и глаза ее наполнялись слезами.

«Они сожгли тебя, — думала она, — и ты лежала в развалинах. Но стереть тебя с лица земли они не смогли. Нет, не смогли. И ты вновь поднимешься, такая же широкая и нарядная, как была когда‑то!»

Шагая по Персиковой улице в сопровождении Мамушки, семенившей рядом вперевалку, Скарлетт обнаружила, что народу на тротуарах ничуть не меньше, чем во время войны, что жизнь кипит и бурлит в этом возрождающемся городе, и кровь закипела в ее жилах — как тогда, давно, когда она впервые приехала к тете Питти. Казалось, ничуть не меньше повозок подскакивало и подпрыгивало на грязных рытвинах и ухабах — только не было среди них санитарных фургонов с конфедератами, — и ничуть не меньше лошадей и мулов было привязано к столбам у деревянных навесов над входом в магазины. Однако лица людей, заполнявших тротуары, были столь же непривычны для Скарлетт, как и большинство фамилий на вывесках, — это были люди новые: неотесанные грубые мужчины, безвкусно одетые женщины. И черным‑черно от негров — они стояли без дела, подпирая стены, или сидели на краю тротуара, глядя на проезжавшие мимо коляски с наивным любопытством детей, впервые попавших в цирк.

— Вот они, наши вольные ниггеры, — фыркнула Мамушка. — Понаехали из деревень — должно, в жизни и коляски‑то не видали. А уж до чего рожи нахальные.

И в самом деле нахальные, подумала Скарлетт, ибо они беззастенчиво разглядывали ее; впрочем, она тотчас забыла о них, вновь потрясенная обилием синих мундиров. Город был полон солдат‑янки: пешие, верхами, в армейских фургонах, они были всюду — слонялись без дела по улицам, выходили, пошатываясь, из салунов.

«Никогда я не привыкну к их виду, — подумала Скарлетт, сжимая кулаки. — Никогда!» И бросила через плечо:

— Поторопись‑ка, Мамушка, давай выбираться из толпы.

— Вот только уберу с дороги это черное отродье, — громко заявила Мамушка и так замахнулась саквояжем на чернокожего паренька, лениво вышагивавшего перед ней, что он отскочил в сторону. — Не нравится мне этот город, мисс Скарлетт. Слишком в нем много янки и всякой вольной шушеры.

— Конечно, приятнее, где нет такой толпы. Вот пройдем Пять Углов, сразу лучше станет.

Они осторожно перебрались по скользким камням, специально брошенным для пешеходов, через грязную Декейтерскую улицу и двинулись дальше по Персиковой — здесь народу было уже гораздо меньше. Вот они поравнялись с часовней Уэсли, возле которой Скарлетт, задыхаясь, остановилась в тот день в 1864 году, когда бежала за доктором Мидом, — она взглянула на часовню и рассмеялась, громко, отрывисто, невесело. Острые, много повидавшие глаза Мамушки вопросительно, с подозрением посмотрели на нее, но старуха так и не сумела удовлетворить свое любопытство. А Скарлетт вспомнила, как она боялась, и презирала себя сейчас за это. Страх прижимал ее тогда к земле, он разъедал ей внутренности: она была в ужасе от этих янки, в ужасе от предстоящего рождения Бо. Сейчас она лишь дивилась тому, что была до такой степени напугана — напугана, как дитя громким шумом. Каким же она была младенцем, если думала, что янки, пожар, разгром Юга — самое страшное, что ей придется пережить! Какая это чепуха по сравнению со смертью Эллин и провалами в памяти Джералда, по сравнению с голодом и холодом, с тяжелой работой и вечным кошмаром неуверенности в завтрашнем дне. Как просто казалось ей сейчас проявить мужество перед лицом армии завоевателей и как трудно противостоять опасности, угрожающей Таре! Нет, ничто ей больше не страшно — ничто, кроме нищеты.

На Персиковой улице появилась закрытая карета, и Скарлетт стремительно шагнула к краю тротуара, чтобы взглянуть, кто едет, ибо до дома тети Питти все еще оставалось несколько кварталов. Карета поравнялась с ними, и они с Мамушкой уже наклонились вперед, а Скарлетт, изобразив на лице улыбку, готова была окликнуть возницу, как вдруг в окне показалась голова — огненно‑рыжая голова в прелестной меховой шапочке. Обе женщины мгновенно узнали друг друга, и Скарлетт поспешно шагнула назад. Она успела заметить, как, раздув ноздри, презрительно фыркнула Красотка Уотлинг, прежде чем исчезнуть за занавесками. Любопытно, что первым знакомым лицом, которое увидела Скарлетт, было лицо Красотки.

— Это еще кто такая? — подозрительно спросила Мамушка. — Она вас знает, а не поклонилась. Вот уж отродясь не видела, чтоб у человека были такие волосы. Даже у Тарлтонов и то не такие. Похоже... ну, прямо будто крашеные!

— Они и есть крашеные, — отрезала Скарлетт и пошла быстрее.

— И вы знаетесь с крашеной женщиной? Да кто она такая, спрашиваю я вас.

— Падшая женщина, — коротко пояснила Скарлетт, — и я даю тебе слово, что не знакома с ней, так что перестань мне докучать.

— Господи Иисусе! — ахнула Мамушка и, разинув рот, с жадным любопытством уставилась вслед карете. Она не видела ни одной падшей женщины с тех пор, как уехала с Эллин из Саванны, — а было это более двадцати лет назад, — и сейчас очень жалела, что не пригляделась повнимательнее к Красотке.

— Ишь ведь как хорошо одета‑то, и карета‑то какая хорошая, и кучер есть, — пробормотала Мамушка. — О чем это господь‑то наш думает: всякие дурные женщины живут себе припеваючи, а мы, люди праведные, ходим голодные да босые.

— Господь давно уже перестал о нас думать, — резко бросила Скарлетт. — И не смей говорить мне, что мама переворачивается от этих моих слов в гробу.

Скарлетт очень бы хотелось думать, что она и добродетельнее Красотки, и в других отношениях превосходит ее, но ничего не получалось. Ведь если ее затея увенчается успехом, она может оказаться в одном положении с Красоткой и на содержании у одного и того же человека. И хотя она ничуть не жалела о своем решении, однако была несколько обескуражена, ибо теперь оно предстало перед ней в истинном свете. «Сейчас не стану об этом думать», — сказала она себе и ускорила шаг.

Они прошли то место, где был раньше дом доктора Мида, — от него остались лишь две каменных ступеньки и дорожка, бегущая в никуда. Да и там, где прежде стоял дом Уайтингов, была лишь голая земля. Исчезли даже камни фундамента и кирпичные трубы, зато остались следы от колес фургонов, в которых все это увезли. А вот кирпичный дом Элсингов продолжал стоять — под новой крышей и с новым вторым этажом. Дом Боннеллов, неуклюже подлатанный, с дощатой крышей вместо черепичной, выглядел все же обитаемым, несмотря на свой жалкий вид. Но и в том и в другом — ни лица в окне, ни человека на крыльце, и Скарлетт даже обрадовалась этому. Ей сейчас ни с кем не хотелось говорить.

А вот показался и дом тети Питти с новой шиферной крышей и ярко‑красными кирпичными стенами, и сердце Скарлетт забилось живее. Какое счастье, что господь не сровнял этот дом с землей — тогда его бы уже не отстроить. Со двора выходил дядюшка Питер с корзиной для покупок в руке, и, когда увидел Скарлетт с Мамушкой, спешивших по тротуару, широкая удивленная улыбка расползлась по его черному лицу.

«Так бы и расцеловала сейчас этого старого дурака — до чего же я рада его видеть», — подумала Скарлетт обрадовано и крикнула:

— Скорей беги искать тетину «обморочную бутылочку», Питер! Это и вправду я!

В тот вечер на ужин у тети Питти были неизбежная мамалыга и сушеный горох, и Скарлетт дала себе слово, что эти два блюда исчезнут с ее стола, лишь только у нее заведутся деньги. А деньги у нее будут, какой бы они ни достались ей ценой, — причем столько, чтобы их с лихвой хватало платить налоги за Тару. Так или иначе, рано или поздно, но у нее будет много денег — она добудет их, даже если придется пойти на убийство.

Сидя в столовой при желтом свете лампы, она осторожно принялась выспрашивать тетю Питти, как обстоят у нее дела с деньгами: а вдруг семья Чарлза сумеет одолжить ей нужную сумму. Выспрашивала она без околичностей, напрямик, но Питти, радуясь возможности поговорить с родным человеком, даже не замечала, что подвергается допросу. И со слезами, во всех подробностях рассказывала о своих бедах. Она просто понять не может, говорила тетя Питти, куда девались деньги и фермы, и участки в городе, но, так или иначе, все куда‑то исчезло. Во всяком случае, так сказал ей братец Генри. Он не смог заплатить налог на землю, чем она владела, за исключением этого дома, — все пропало. А ведь дом‑то этот — Питти все время об этом помнила — вовсе и не ее, он — собственность Мелани и Скарлетт. Братец Генри еле наскреб денег, чтобы заплатить за него налог. Он, правда, каждый месяц дает ей немного — этим она и живет, и хотя очень унизительно брать у него деньги, но ничего не поделаешь — приходится.

— Братец Генри говорит, что и сам не знает, как сведет концы с концами — такой он тащит воз, да и налоги такие высокие, но, конечно же, он привирает: у него куча денег, просто мне не хочет много давать.

Но Скарлетт знала, что дядя Генри не привирает. Те несколько писем, которые она получила от него по поводу собственности Чарлза, доказывали это. Старый юрист мужественно боролся за то, чтобы спасти хотя бы дом и участок, где раньше стоял склад, с тем, чтобы у Скарлетт и Уэйда хоть что‑то осталось. Скарлетт понимала, что он ценой больших лишений платит за нее налог.

«Конечно, никаких денег у него нет, — мрачно раздумывала Скарлетт. — Значит, придется вычеркнуть его и тетушку Питти из моего списка. Остается один только Ретт. Придется мне на это пойти. Надо. Но сейчас не нужно об этом думать... Нужно завести с тетушкой разговор про Ретта и тогда как бы между прочим намекнуть, чтоб она пригласила его к себе на завтра».

Скарлетт улыбнулась и сжала в ладонях пухлые ручки тети Питти.

— Дорогая тетушка, — сказала она, — не будем больше говорить о таких огорчительных вещах, как деньги. Давайте забудем о них и поговорим о чем‑нибудь более приятном. Расскажите‑ка мне лучше о наших старых друзьях. Как поживает миссис Мерриуэзер и Мейбелл? Я слышала, ее креол благополучно вернулся домой. А как поживают Элсинги и доктор Мид с супругой?

Питтипэт сразу оживилась, детское личико ее разгладилось, слезы перестали капать из глаз. И она дала подробнейший отчет о своих бывших соседях: что они делают, что носят, что едят и что думают. С ужасом рассказала о том, как миссис Мерриуэзер и Мейбелл, чтобы свести концы с концами, — это до того, как Рене Пикар вернулся с войны, — пекли пироги и продавали их солдатам‑янки. Подумать только! Случалось, что человек до двадцати стояло на заднем дворе у Мерриуэзеров, дожидаясь, пока испекутся пироги. А теперь, когда Рене вернулся домой, он каждый день ездит со своим старым фургоном в лагерь янки и продает солдатам кексы, пироги и воздушные бисквиты. Миссис Мерриуэзер говорит, что когда она немножко поднакопит денег, то откроет в городе булочную. Питти вовсе не осуждает ее, но вообще‑то... Что до нее самой, сказала Питти, то она лучше умрет с голоду, чем станет продавать что‑либо янки. Она взяла себе за правило презрительно смотреть на каждого солдата, которого встречает на улице, и с вызывающим видом переходить на другую сторону, хотя иной раз, добавила она, в дождливую погоду на другой тротуар не очень‑то и перейдешь. Скарлетт поняла, что мисс Питтипэт ни перед какой жертвой не остановится и даже туфли готова в грязи выпачкать, лишь бы доказать свою преданность Конфедерации.

Что же до миссис Мид и доктора, то они лишились дома, когда янки подожгли город, и теперь у них нет ни сил, ни денег, чтобы отстроиться, тем более что Фил и Дарси — оба погибли. Миссис Мид так и сказала: не нужен ей дом, — к чему ей дом без детей и внуков? Остались они совсем одни и живут теперь с Элсингами, которые восстановили поврежденную часть своего дома. У мистера и миссис Уайтинг там тоже есть комната, да и миссис Боннелл поговаривает о том, чтобы туда переехать, если ей удастся сдать свой дом в аренду одному офицеру‑янки с семьей.

— Да как же они там все помещаются? — воскликнула Скарлетт. — Ведь у миссис Элсинг есть Фэнни и Хью.

— Миссис Элсинг с Фэнни спят в гостиной, а Хью — на чердаке, — пояснила Питти, которая знала обо всем, что происходит у ее друзей. — Милочка, очень мне неприятно говорить тебе это, но... миссис Элсинг называет их «платными гостями», а на самом деле, — и тетя Питти тут понизила голос, — они всего‑навсего постояльцы. Миссис Элсинг содержит пансион! Ужас какой, верно?

— А по‑моему, это даже очень здорово, — отрезала Скарлетт. — Я была бы только рада, если бы у нас в Таре в прошлом году были «платные гости» вместо бесплатных. Возможно, теперь мы не были бы такие бедные.

— Скарлетт, как ты можешь говорить подобные вещи?! Да твоя бедная матушка в гробу бы перевернулась при одной мысли о том, что в Таре берут деньги за гостеприимство! Конечно, миссис Элсинг просто вынуждена была пойти на такое, потому что, хоть она и шила, а Фэнни расписывала фарфор, а Хью немножко подрабатывал, продавая дрова, они все равно не могли свести концы с концами. Можешь себе представить, наш дорогой Хью вынужден торговать дровами! А ведь он без пяти минут адвокат! Нет, просто плакать хочется, как подумаешь о том, чем вынуждены заниматься наши мальчики!

А Скарлетт видела ряды хлопка под добела раскаленным небом Тары и вспоминала, как ломило у нее спину, когда она нагибалась, собирая его. Она вспомнила, какими тяжелыми казались ручки плуга в ее не привыкших к труду, натертых до мозолей ладонях, и подумала, что Хью Элсинг не заслуживает особого сочувствия. А тетя Питти — какая же она наивная старая дура: вокруг нее одни развалины, а она — до чего беспечна!

— Если ему не нравится торговать дровами, так почему же он не займется юриспруденцией? Или, может быть, в Атланте не стало дел для юристов?

— Что ты, милочка! В Атланте сколько угодно дел для юристов. Да нынче почти все друг с другом судятся. Ведь все вокруг сожжено, разграничительные столбы уничтожены, и никто не знает, где чья земля начинается и где кончается. Только денег за ведение дел ни с кого не получишь, потому что ни у кого их нет. Вот Хью и торгует дровами... Ах, чуть не забыла! Я не писала тебе? Завтра вечером у Фэнни Элсинг свадьба, ну и, конечно, ты должна пойти. Миссис Элсинг будет очень рада, если ты придешь, раз ты в городе. Надеюсь, у тебя есть какое‑нибудь платье, кроме этого? Это платьице, конечно, тоже очень славное, милочка, но... просто оно слишком уж поношенное. Ах, у тебя есть красивое платье? Ну, прекрасно, ведь это будет первая настоящая свадьба у нас в Атланте с тех пор, как сдали город. И торт будет, и вино, и танцы потом, хотя, право, не пойму, как Элсинги все это осилят: ведь они такие бедные.

— А за кого выходит Фэнни замуж? Мне казалось, после того как Далласа Маклюра убили под Геттисбергом...

— Милочка, не надо осуждать Фэнни. Не все же так чтят память усопших, как ты — память бедного Чарли. Постой‑ка... как же его зовут? Никогда не помню имен... какой‑то Том, кажется. Я хорошо знала его матушку — мы вместе посещали институт для девиц в Ла‑Грейндже. Она была из ла‑грейнджских Томлинсонов, а ее матушка... постой‑ка... Перкинс? Паркинс? Паркинсон! Вот именно. Из Спарты. Прекрасная семья, и все же... я знаю, что не должна такое говорить, но, право, не понимаю, как Фэнни может идти за него замуж.

— Он что, пьет или...

— О господи, нет, конечно! Он прекрасный человек, но, видишь ли, его ранило в бедро разорвавшимся снарядом и что‑то такое случилось с его ногами... они у него... они у него, ну мне не хочется такое слово произносить, но он ходит как бы враскорячку. У него такой вульгарный вид, когда он ходит... словом, не очень это красиво. Просто не понимаю, зачем она его выбрала.

— Надо же девушкам за кого‑то выходить замуж.

— Да ничего подобного, — раздраженно возразила тетя Питти. — Я вот не вышла же.

— Милая тетушка, я вовсе не имела в виду вас! Все знают, каким вы пользовались успехом, да и до сих пор еще пользуетесь! Взять хотя бы судью Карлтона — какие умильные взгляды он на вас бросал, пока я...

— Ах, замолчи ты, Скарлетт! Вспомнила про старого дурака! — взвизгнула Питти, и хорошее настроение снова вернулось к ней. — Но ведь Фэнни пользовалась таким успехом, она могла бы найти себе и получше пару, а мне что‑то не верится, чтобы она любила этого Тома — как бишь его. Не верю я, чтоб она оправилась после смерти Далласа Маклюра, но она, конечно, не ты, милочка! Ты вот осталась верна нашему дорогому Чарли, а ведь могла бы выйти замуж десятки раз. Мы с Мелли часто говорим, как ты чтишь его память, а все вокруг считают тебя бессердечной кокеткой.

Скарлетт пропустила мимо ушей это бестактное утверждение и весьма умело повела разговор дальше, расспрашивая Питти то об одном знакомом, то о другом, хоть сама и сгорала от нетерпения побыстрее добраться до Ретта. Спросить же о нем сразу, едва успев приехать, было бы не умно. Это значило бы дать пищу уму старушки — и тогда он мигом заработает в нежелательном направлении. Подозрения у Питти успеют еще созреть, если Ретт откажется жениться.

А тетя Питти весело болтала, довольная как ребенок, что у нее есть слушательница. В Атланте творится что‑то ужасное, сообщила она, а все из‑за безобразий, чинимых республиканцами. Нет конца их бесчинствам, а самое скверное — они забивают голову этим бедным черномазым всякими вредными мыслями.

— Ты представляешь, милочка, они хотят, чтобы черномазые голосовали! Ты когда‑нибудь слышала большую глупость? Правда... не знаю, конечно... но если взять, к примеру, дядюшку Питера, так у него куда больше разума, чем у любого республиканца, да и манеры лучше, но дядюшка Питер, конечно же, слишком хорошо воспитан, чтобы стремиться голосовать. А вот другие черномазые пришли в великое возбуждение — у них прямо мозги помутились. Некоторые совсем обнаглели. Теперь, как стемнеет, по улицам стало небезопасно ходить, и даже днем они, случается, сталкивают леди с тротуара прямо в грязь. А если какой‑нибудь джентльмен вздумает заступиться, они его тут же арестуют и... Милочка моя, а я тебе говорила, что капитан Батлер в тюрьме?

— Ретт Батлер?

Хотя новость была поистине сногсшибательной, тем не менее Скарлетт обрадовалась тому, что тетя Питти избавила ее от необходимости самой заговорить о Ретте.

— Ну, конечно же! — От волнения щечки тети Питти порозовели и она даже выпрямилась на стуле. — В эту самую минуту он сидит в тюрьме за то, что убил негра, и его могут повесить! Представляешь такое — чтоб повесили капитана Батлера?

Скарлетт так охнула, что у нее закололо в груди; широко раскрыв глаза, она уставилась на старушку, а та была просто в восторге от впечатления, которое произвели ее слова.

— Пока еще ничего не доказано, но кто‑то убил черномазого за то, что он оскорбил белую женщину. А янки очень злятся, потому что в последнее время убили не одного черномазого нахала. Вина капитана Батлера не доказана, но янки хотят, чтобы это послужило уроком для других — так говорит доктор Мид. Он говорит, что если капитана Батлера повесят, это будет первый справедливый поступок, который совершат янки, ну, а я, право, не знаю... Подумать только, что капитан Батлер был у нас здесь неделю назад, и принес мне в подарок роскошнейшую куропатку, и спрашивал про тебя — он сказал, что боится, не обидел ли тебя тогда, во время осады, а если так, теперь ты никогда уже его не простишь.

— И сколько же они будут держать его в тюрьме?

— Этого никто не знает. Наверное, пока не повесят, но может, они еще не сумеют доказать, что это он убил. Хотя вообще‑то янки, похоже, не слишком заботятся о том, виновен человек или невиновен, — им лишь бы кого‑нибудь повесить. Они так встревожены... — тетя Питти с таинственным видом понизила голос, — ...так встревожены появлением ку‑клукс‑клана. А у вас в деревне он есть? Милочка, я уверена, что есть — просто Эшли не говорит вам, дамам. Члены ку‑клукс‑клана вроде бы не имеют права рассказывать об этом. Они разъезжают по ночам в этаких балахонах, точно привидения, и совершают набеги на «саквояжников», разжиревших на чужом добре, являются к нахальным неграм. Иной раз они просто попугают и предупредят, чтоб убирались из Атланты, ну, а если их не послушают, они могут и выпороть, а то, — продолжала шепотом Питти, — даже и убить, а труп бросят на виду и приколют к нему бумажку с надписью «ку‑клукс‑клан»... Янки, само собой, страшно обозлены и хотят для острастки хоть с кем‑нибудь разделаться... Хью Элсинг, правда, сказал мне, что он думает — не повесят они капитана Батлера, потому как янки считают, что он знает, где находятся деньги, только не говорит. Вот они и хотят заставить его заговорить.

— Деньги?

— Ты разве не знаешь? Я не писала тебе? Дорогая моя, ты просто совсем замуровала себя в этой Таре! У нас весь город жужжал как улей, когда капитан Батлер вернулся с отличной лошадью, с каретой и с карманами, полными денег, в то время как никто из нас не знал, на что купить поесть. Все были просто в ярости — подумать только: этот спекулянт, который вечно говорил гадости про Конфедерацию, теперь буквально набит деньгами, а мы — нищие. И каждому, конечно, не терпелось узнать, как это он ухитрился сохранить свои денежки, но ни у кого не хватило храбрости спросить напрямик, а вот я спросила; он рассмеялся и сказал: «Можете не сомневаться, не честным путем». Ты же знаешь, как трудно из него что‑либо вытянуть.

— Ясное дело, он нажил эти деньги во время блокады...

— Несомненно, милочка, часть денег он нажил именно так. Но это лишь капля в море по сравнению с тем, какое у этого человека сейчас состояние. Все у нас тут, включая янки, считают, что у него где‑то припрятаны миллионы долларов золотом, принадлежавшие правительству конфедератов.

— Миллионы — золотом?

— А как же, милочка, куда девалось, по‑твоему, все золото нашей Конфедерации? У кого‑то оно ведь должно же быть, так почему бы не у капитана Батлера? Янки считали, что президент Дэвис забрал с собой золото, уезжая из Ричмонда, но когда они взяли его в плен, у бедняги не было ни цента. Ведь после того как война кончилась, казна‑то оказалась пустой, и все считают, что золото это — у спекулянтов, торговавших во время блокады, только те, конечно, об этом помалкивают.

— Миллионы — золотом! Но каким же образом?..

— Разве капитан Батлер не вывозил хлопок тысячами тюков в Англию и в Нассау и не продавал его для правительства конфедератов? — с победоносным видом изрекла Питти. — И свой хлопок, и тот, который принадлежал правительству? А ты же знаешь, сколько стоил хлопок в Англии во время войны! Его хватали по любой цене! Капитан Батлер был доверенным лицом у нашего правительства, ему было поручено продавать хлопок и на вырученные деньги покупать ружья и привозить нам. Ну и вот, когда блокада совсем сжалась вокруг нас, он уже не мог больше привозить ружья, а до тех пор, конечно же, не мог истратить на них и одной сотой денег, вырученных за хлопок, так что в английских банках лежали просто миллионы долларов, которые внес туда капитан Батлер и другие спекулянты, — лежали и ждали, когда будет прорвана блокада. Ну, и само собой, деньги они вносили не на счет Конфедерации. Они вносили их на свое имя, и там эти денежки так и лежат... Когда война кончилась, все только и говорили об этом и сурово осуждали этих спекулянтов, и когда янки арестовали капитана Батлера за убийство черномазого, до них, видно, дошли слухи про золото, и они требуют от него, чтобы он сказал, где деньги. Понимаешь, все фонды нашей Конфедерации принадлежат ведь теперь янки — во всяком случае, они так считают. А капитан Батлер твердит, что знать ничего не знает... Доктор Мид говорит, им все равно надо бы его повесить, да этакий вор и спекулянт не заслуживает даже виселицы... О господи, что это с тобой?! Тебе плохо? Неужели тебя так расстроила моя болтовня? Я знала, что он когда‑то был твоим ухажером, но я думала, ты давно забыла о нем. Мне лично он никогда не нравился — этакий мерзавец...

— Меня с ним ничто не связывает, — с усилием произнесла Скарлетт. — Я поссорилась с ним во время осады, после того как вы уехали в Мэйкон. Где... где же его содержат?

— В пожарной части, недалеко от городской площади!

— В пожарной части?

Тетя Питти закудахтала от смеха.

— Да, да, в пожарной части. Янки сделали из нее теперь военную тюрьму. Янки расположились в палатках на площади вокруг городской ратуши, а пожарная часть — в двух шагах оттуда, на улице, что идет от площади, вот там капитан Батлер и сидит. Кстати, Скарлетт, я вчера слышала про капитана Батлера пресмешную историю. Забыла только, кто мне ее рассказал. Ты ведь знаешь, каким он всегда был франтом — настоящий денди, — теперь же сидит в этой пожарной части, и ему не разрешают мыться, а он каждый день требует, чтоб ему устроили баню; ну и, наконец, вывели его из камеры на площадь, а там стоит такое длинное корыто, из которого лошадей поят и где в одной и той же воде моется целый полк! Ну, и капитану Батлеру сказали, что он может там вымыться, а он сказал: нет, уж лучше своя южная грязь, чем грязь янки, ну и...

Старушка продолжала, захлебываясь, весело лопотать; голосок ее звенел и звенел, но смысл слов уже не доходил до Скарлетт. Мозгом ее завладели две мысли: Ретт куда богаче, чем она предполагала, и он в тюрьме. То обстоятельство, что он в тюрьме и, вполне возможно, будет повешен, несколько меняло дело, но меняло в лучшую сторону. Скарлетт мало заботило, что Ретта могут повесить. Слишком она нуждалась в деньгах, и необходимость достать их была столь настоятельной, столь отчаянной, что судьба Ретта не могла не волновать ее. Однако она склонна была разделять мнение доктора Мида, что Ретт не заслуживает даже виселицы. Любого мужчину, бросившего женщину ночью между двумя сражающимися армиями и отправившегося, видите ли, воевать ради дела, которое уже проиграно, — надо вешать... Вот если бы ей удалось каким‑то образом женить его на себе, пока он в тюрьме, то после его казни все эти миллионы достались бы ей, ей одной. Если же брак неосуществим, быть может, ей удастся получить у него деньги взаймы, пообещав выйти за него замуж, когда его освободят, или пообещав... о, что угодно, она готова что угодно ему обещать! А если его повесят, ей уже не придется расплачиваться за свой долг.

На какое‑то время кипучее воображение представило ей, как она станет вдовой благодаря своевременному вмешательству правительства янки. Миллионы золотом! Она сможет привести в порядок Тару, и нанять людей, и засадить мили и мили земли хлопком. И она сможет нашить себе красивых платьев, и будет есть все, что захочет, — и не только она, но и Сьюлин и Кэррин. И Уэйда можно будет подкормить, чтобы он стал пухленьким, и тепло его одеть, и нанять ему гувернантку, и потом отправить в университет... чтобы он не рос босым и неграмотным, как последний бедняк. И можно будет пригласить хорошего доктора наблюдать за папой, ну, а Эшли... О, чего она только не готова сделать для Эшли!

Тетя Питтипэт внезапно прервала свой монолог, спросив: «Что тебе, Мамушка?!», и Скарлетт, вернувшись на землю из страны грез, увидела Мамушку, которая стояла в дверях, скрестив на животе руки под передником, и смотрела на нее настороженным, пронизывающим взглядом. Интересно, подумала Скарлетт, давно ли Мамушка здесь стоит, что она слышала и многое ли сумела заметить. Должно быть, все, судя по тому, как блестят ее старые глаза.

— Мисс Скарлетт, видать, устала. Я так думаю, лучше ей лечь.

— Я в самом деле устала, — сказала Скарлетт, поднимаясь и с поистине детской беспомощностью глядя на Мамушку, — и к тому же, боюсь, простудилась. Тетя Питти, вы не рассердитесь, если я завтра проведу весь день в постели и не поеду с вами по гостям? Я ведь могу посетить знакомых в любое время, а мне так хочется пойти завтра вечером на свадьбу Фэнни. Если же я разболеюсь, то не смогу пойти. К тому же денек в постели доставил бы мне такое удовольствие.

На лице у Мамушки появилась легкая тревога, когда она пощупала руки Скарлетт и заглянула ей в лицо. Скарлетт и в самом деле выглядела неважно. Возбуждение, вызванное новостями, внезапно прошло, она побледнела, ее лихорадило.

— Ручки‑то у вас, моя ласточка, совсем как лед. Отправляйтесь живо в постель, а я заварю вам шафранного чаю и принесу горячий кирпич, чтоб вы вспотели.

— Какая же я безголовая! — воскликнула толстушка, вскочила с кресла и погладила Скарлетт по плечу. — Болтаю без умолку, а о тебе и не подумаю. Милочка моя, лежи в постели весь завтрашний день и отдыхай — тогда и наговоримся всласть... О господи, но ведь я же не смогу быть с тобой! Я обещала посидеть завтра с миссис Боннелл. Она лежит с гриппом, и повариха ее — тоже. Ах, Мамушка, до чего же я рада, что ты здесь. Ты пойдешь со мной завтра утром и поможешь.

Мамушка заспешила вслед за Скарлетт вверх по темной лестнице, встревожено бормоча что‑то насчет холодных рук и тонких туфелек; Скарлетт же, прикинувшись послушной овечкой, была очень довольна тем, как все складывается. Если бы только ей удалось рассеять подозрения Мамушки и заставить ее уйти утром из дома, все было бы прекрасно. Сама она тогда отправилась бы в эту тюрьму к янки повидать Ретта. Пока они взбирались по лестнице, издали донеслись слабые раскаты грома, и Скарлетт, остановившись на хорошо знакомой площадке, подумала, что это совсем как грохот пушек во время осады. И вздрогнула. Отныне гром, видимо, всегда будет напоминать ей канонаду и войну.

### Глава XXXIV

На следующее утро солнце то светило, то скрывалось за облаками и от резкого ветра, стремительно гнавшего по небу темные тучи, постукивали рамы и слабо завывало в трубе. Скарлетт быстро пробормотала молитву, возблагодарив господа за то, что дождь прекратился, ибо вечером она долго лежала без сна, слушая, как капли стучат по стеклу, и понимая, что это гибель для ее бархатного платья и новой шляпки. Теперь же, увидев, что солнце то и дело проглядывает сквозь облака, Скарлетт воспрянула духом. Она с трудом заставила себя лежать, изображая слабость и покашливая, пока тетя Питти, Мамушка и дядюшка Питер не отбыли к миссис Боннелл. Когда же, наконец, внизу хлопнула калитка и Скарлетт осталась в доме одна, если не считать кухарки, распевавшей на кухне, она тотчас выпрыгнула из постели и, кинувшись к шкафу, сняла с крючков свои наряды.

Сон освежил ее и придал сил, а твердая решимость, укрепившаяся в душе, пробудила отвагу. Уже сама перспектива поединка умов, схватки с мужчиной, любым мужчиной, воодушевляла ее, а сознание, что после всех этих месяцев бесконечных разочарований она, наконец, встретится лицом к лицу с вполне определенным противником, которого ей предстоит собственными силами выбить из седла, наполняло Скарлетт бурлящей энергией.

Одеваться самой, без помощи Мамушки, было трудно. Но наконец все крючки были застегнуты, и, надев щегольскую шляпку с перьями, Скарлетт вбежала в комнату тети Питти, чтобы посмотреться в большое зеркало. До чего прелестно она выглядит! Петушиные перья придавали ей этакий задорный вид, а тускло‑зеленый бархат шляпки выгодно оттенял глаза, и они казались удивительно яркими, почти как изумруды. Платье было тоже несравненной красоты — оно выглядело на редкость богато и нарядно и в то же время благородно! Как чудесно снова иметь красивое платье. Скарлетт пришла в такой восторг от своего вида, — как она хороша, как соблазнительна! — что вдруг наклонилась и поцеловала свое отражение в зеркале и тут же рассмеялась собственной глупости. Она взяла кашемировую шаль Эллин и накинула на плечи, но краски у старой материи поблекли и не сочетались с платьем цвета зеленого мха, вид у Скарлетт сразу стал какой‑то убогий. Тогда она открыла шкаф тети Питти и, достав черную накидку из тонкого сукна, которую Питти носила только по воскресеньям, набросила ее. Потом вдела в уши бриллиантовые сережки, привезенные из Тары, и, откинув голову, посмотрела, какое это производит впечатление. Сережки приятно звякнули — это очень понравилось Скарлетт, и она решила почаще вскидывать голову, когда будет с Реттом. Танцующие сережки всегда привлекают взгляд мужчины и придают женщине задорный вид.

Какая обида, что у тети Питти нет других перчаток, кроме тех, что сейчас на ее пухленьких ручках! Ни одна женщина не может чувствовать себя настоящей леди без перчаток, но у Скарлетт их вообще не было с тех пор, как она покинула Атланту, а за долгие месяцы тяжелого труда в Таре руки ее огрубели, и вид у них сейчас был далеко не привлекательный. Что ж, ничего не поделаешь. Придется взять маленькую котиковую муфточку тети Питти и спрятать в нее руки. Да, вот теперь она выглядит вполне элегантно. Никто, глядя на нее, не заподозрит, что бедность и нужда стоят у нее за спиной.

А ведь так важно, чтобы Ретт этого не заподозрил. Он должен думать, что только нежные чувства привели ее к нему.

Она на цыпочках спустилась по лестнице и вышла из дома, пользуясь тем, что кухарка беспечно распевала во все горло у себя на кухне. Скарлетт заспешила по улице Булочников, чтобы избежать всевидящего ока соседей. Она свернула на Плющовую улицу, присела на тумбу коновязи, стоявшую перед сожженным домом, и стала ждать, не появится ли какая‑нибудь карета или фургон, которые подвезли бы ее. Солнце то заходило за стремительно мчавшиеся тучи, то снова показывалось, ярко освещая улицу, но не давая тепла, ветер трепал кружева ее панталон. На улице оказалось холоднее, чем думала Скарлетт, и она, дрожа от холода и нетерпения, плотнее закуталась в тонкую накидку тети Питти. Она уже совсем собралась было двинуться пешком в долгий путь через весь город к лагерю янки, как вдруг показался старенький, видавший виды фургон. На козлах, жуя табак и погоняя еле передвигавшего ноги старого мула, сидела старуха; из‑под обвисшей оборки поношенного чепца выглядывало обветренное лицо. Она направлялась в сторону городской ратуши и, поворчав, согласилась подвезти Скарлетт. Однако платье, шляпка и муфточка Скарлетт явно произвели на нее неблагоприятное впечатление.

«Она решила, что я из гулящих, — подумала Скарлетт. — И пожалуй, права!»

Когда они наконец добрались до городской площади и перед ними возник высокий белый купол ратуши, Скарлетт поблагодарила женщину, слезла с козел и посмотрела ей вслед. Осторожно оглядевшись, чтобы проверить, не видит ли кто, она пощипала себе щеки, чтобы немножко их подрумянить, и покусала губы, чтобы к ним прилила кровь. Потом поправила шляпку, пригладила волосы и окинула взглядом площадь. Двухэтажная ратуша из красного кирпича выстояла во время пожара. Но сейчас под серым небом она выглядела запущенной и никому не нужной. Вокруг здания ряд за рядом стояли армейские палатки, потрепанные, забрызганные грязью. Всюду полно было солдат‑янки, и Скарлетт неуверенно поглядывала на них, чувствуя, что мужество начинает ее покидать. Как найти Ретта в этом вражеском стане?

Она посмотрела вдоль улицы — туда, где высилась пожарная каланча, — и увидела, что широкие створчатые двери ее закрыты и заперты тяжелыми засовами, у каждой стены прохаживаются двое часовых. И Ретт — там. Но что ей сказать солдатам‑янки? И что они скажут ей? Она распрямила плечи. Если уж она не побоялась убить янки, так нечего бояться с ними разговаривать.

Она осторожно перешла грязную улицу по камням для пешеходов и зашагала дальше, пока часовой в синей шинели, застегнутой от ветра на все пуговицы, не остановил ее.

— Вам что‑нибудь надо здесь, мэм? — Голос звучал с непривычным среднезападным акцентом, но обратился к ней солдат вежливо и почтительно.

— Я хочу повидать одного человека, который сидит под арестом.

— Ну, не знаю, — сказал часовой и почесал в голове. — Не очень‑то у нас любят посетителей и вообще... — Он умолк на середине фразы, вглядываясь в ее лицо. — О господи, милая дамочка! Не надо плакать! Сходите в штаб караульной службы и спросите у наших офицеров. Уж я думаю, они разрешат вам повидать его.

Скарлетт, и не собиравшаяся плакать, тотчас расплылась в улыбке. Солдат повернулся и окликнул другого часового, медленно прохаживавшегося вдоль стены:

— Эй, Билл! Поди‑ка сюда.

Второй часовой, рослый малый в синей шинели, шагавший ссутулясь и так вобрав голову в плечи, что его черные усы, казалось, росли прямо из воротника, двинулся по грязи к ним.

— Отведи дамочку в штаб.

Скарлетт поблагодарила солдата и пошла следом за своим провожатым.

— Смотрите не подверните ногу, когда будете переходить по камням через улицу, — сказал солдат, беря ее под локоть. — И поднимите‑ка юбки, а то выпачкаете их в грязи.

Голос, звучавший сквозь усы, был тоже гнусавый, но мягкий, приятный, а рука, почтительно поддерживавшая ее под локоть, — твердая. А эти янки не так уж и плохи!

— И холоднющий же сегодня день для прогулок, леди, — сказал солдат. — Издалека вы притопали?

— О да, с другого конца города, — сказала она, почувствовав расположение к этому человеку с мягким голосом.

— Погодка‑то для прогулок не больно подходящая, леди, — неодобрительно заметил солдат, — да еще когда столько народу гриппом больны. А вот и командный пост, леди... Что это с вами?

— Этот дом... В этом доме — ваш штаб? — Скарлетт посмотрела на прелестное старинное здание, выходившее фасадом на площадь, и чуть не расплакалась. Здесь во время войны она танцевала на стольких балах и вечеринках. Это был чудесный, веселый дом, а теперь... теперь над ним развевался большущий флаг Соединенных Штатов.

— Что с вами?

— Ничего... только... только... я знала людей, которые жили здесь.

— Что ж, жаль, конечно. Думаю, они и сами не узнали бы сейчас свой дом, потому как внутри все ободрано. А теперь идите туда, мэм, и спросите капитана.

Скарлетт поднялась по ступенькам, ласково поглаживая рукой поломанные белые перила, и толкнула входную дверь. В холле было темно и холодно, как в склепе; продрогший часовой стоял, прислонясь к закрытым раздвижным дверям, которые в лучшие времена вели в столовую.

— Я хочу видеть капитана, — сказала Скарлетт.

Часовой раздвинул двери, и она вошла в комнату — сердце ее учащенно билось, лицо пылало от волнения и замешательства. В комнате стоял спертый дух — пахло дымом, табаком, кожей, мокрым сукном мундиров и немытыми телами. Она как в тумане увидела голые стены с ободранными кое‑где обоями, ряды синих шинелей и широкополых шляп, висевших на крючках, яркий огонь в камине, длинный стол, заваленный бумагами, и нескольких офицеров в синей форме с медными пуговицами.

Скарлетт судорожно глотнула и почувствовала, что обрела голос. Только не показать этим янки, что она боится. Она должна выглядеть и держаться как можно лучше и независимее.

— Капитан?

— Ну, я — капитан, — сказал толстяк в расстегнутом мундире.

— Я хочу видеть вашего арестанта — капитана Ретта Батлера.

— Опять Батлера? Ну, и спрос же на этого мужика, — расхохотался капитан, вынимая изо рта изжеванную сигару. — Вы ему родственницей приходитесь, мэм?

— Да... я его... его сестра.

Он снова расхохотался.

— Много же у него сестер, одна была тут как раз вчера.

Скарлетт вспыхнула. Наверняка какая‑нибудь из этих тварей, с которыми водится Ретт, — должно быть, Уотлинг. Ну и, конечно, янки решили, что она — такая же. Нет, это невыносимо. Даже ради Тары не станет она терпеть оскорбления и не пробудет здесь больше ни минуты. Она было повернулась и с гневным видом взялась за ручку двери, но рядом с ней уже стоял другой офицер. Он был молодой, гладко выбритый, с добрыми шустрыми глазами.

— Минуточку, мэм. Может быть, вы присядете и погреетесь у огня? А я схожу и выясню, что можно для вас сделать. Как вас зовут? Он отказался видеть ту... даму, которая приходила вчера.

Бросив сердитый взгляд на незадачливого толстяка капитана, Скарлетт опустилась в предложенное кресло и назвала себя. Приятный молодой офицер накинул шинель и вышел из комнаты, а остальные столпились у дальнего конца стола и принялись тихо переговариваться, время от времени тыча пальцем в бумаги. Скарлетт с облегчением протянула ноги к огню и только тут почувствовала, как они застыли, пожалела, что не подумала подложить картонку в туфлю, на подошве которой была дырка. Через некоторое время за дверью послышались голоса, и до нее донесся смех Ретта. Дверь открылась, в комнату ворвалось дыхание холодного воздуха, и появился Ретт, без шляпы, в небрежно наброшенной на плечи длинной накидке. Он был грязный, небритый, без галстука и все же элегантный; при виде Скарлетт черные глаза его радостно сверкнули.

— Скарлетт!

Он схватил обе ее руки, и, как всегда при его прикосновении, ее обдало жаром. Не успела она опомниться, как он нагнулся и поцеловал ее в щеку, слегка щекотнув кончиками усов. Скарлетт вздрогнула, и почувствовав, что она пытается отстраниться, он обхватил ее за плечи и сказал: «Милая моя сестренка!» — и усмехнулся, глядя на нее сверху вниз и наслаждаясь ее беспомощностью, ибо она ведь не могла отклонить его ласку. Скарлетт невольно рассмеялась: лихо он воспользовался своим преимуществом. Прожженный негодяй! И тюрьма ни чуточки его не изменила.

Толстяк капитан, не вынимая изо рта сигары, буркнул шустроглазому офицеру:

— Не по правилам. Он должен находиться в каланче. Ты же знаешь приказ.

— Да будет тебе, Генри, дамочка замерзла бы там.

— Ну, ладно, ладно! Ты отвечаешь.

— Заверяю вас, джентльмены, — сказал Ретт, поворачиваясь к ним, но не выпуская из объятий Скарлетт, — моя... сестренка не принесла мне ни пилы, ни напильника, с помощью которых я мог бы бежать.

Все рассмеялись, и Скарлетт быстрым взглядом окинула комнату. Силы небесные, неужели ей придется разговаривать с Реттом в присутствии шести офицеров‑янки! Неужели он такой опасный преступник, что должен находиться все время под наблюдением? Заметив ее волнение, предупредительный офицер распахнул какую‑то дверь и тихо сказал что‑то двум солдатам, которые тотчас вскочили на ноги при его появлении. Они взяли свои ружья и вышли в холл, закрыв за собой дверь.

— Если хотите, можете посидеть здесь, в канцелярии, — предложил молодой капитан, — но не пытайтесь бежать через ту дверь. Снаружи стоят солдаты.

— Видишь, Скарлетт, какой я отпетый тип, — сказал Ретт. — Спасибо, капитан. Вы очень добры.

Он небрежно кивнул капитану и, взяв Скарлетт за локоть, втолкнул в грязную канцелярию. Комната эта не сохранилась в памяти Скарлетт, она запомнила лишь, что там было тесно, темно, отнюдь не тепло, на ободранных стенах висели какие‑то написанные от руки бумаги, а стулья были обтянуты невыделанной воловьей кожей.

Затворив дверь, Ретт стремительно шагнул к Скарлетт и склонился над ней. Понимая, чего он хочет, она поспешно отвернула голову, но при этом кокетливо взглянула на него краешком глаза.

— Могу я, наконец, по‑настоящему вас поцеловать?

— В лоб — как положено примерному братцу, — с притворной скромностью сказала она.

— В таком случае нет, благодарю. Я предпочитаю подождать в надежде на лучшее. — Взгляд его остановился на ее губах. — Но как это все же мило, что вы пришли навестить меня, Скарлетт! Вы первая из почтенных горожан, кто нанес мне визит в моем заточении, а когда сидишь в тюрьме, особенно ценишь друзей. Давно вы в городе?

— Со вчерашнего дня.

— И уже сегодня утром отправились ко мне? Ну, моя дорогая, это более чем мило с вашей стороны. — И глядя на нее сверху вниз, он улыбнулся с искренней радостью — такой улыбки она никогда еще у него не видала. И Скарлетт улыбнулась про себя, чувствуя, как нарастает в ней возбуждение, а сама потупилась с притворным смущением.

— Конечно, я сразу же поехала к вам. Тетя Питти рассказала мне про вас вчера вечером, и я... ну, просто глаз всю ночь не могла сомкнуть от ужаса. Ретт, я так огорчена!

— Да что вы, Скарлетт!

Он произнес это тихо, но таким дрогнувшим голосом, что она взглянула ему в лицо — в нем не было ни тени обычного цинизма и столь хорошо знакомой насмешки. Он смотрел на нее в упор, и она, уже действительно смешавшись, опустила под его взглядом глаза. Все выходило куда лучше, чем она могла надеяться.

— Стоило сесть в тюрьму, чтобы увидеть вас снова и услышать от вас такие слова. Я просто ушам своим не поверил, когда мне сообщили ваше имя. Видите ли, я не ожидал, что вы когда‑либо простите мне то, как я поступил тогда ночью, на дороге у Раф‑энд‑Реди. Но насколько я понимаю, этот ваш визит означает, что вы простили меня?

Скарлетт почувствовала, как даже сейчас, через столько времени, при одной мысли о той ночи в ней закипает гнев, но она подавила его и тряхнула головой, чтобы затанцевали сережки.

— Нет, я вас не простила, — сказала она и надула губки.

— Еще одна надежда лопнула. И это после того, как я добровольно пошел сражаться за родину и сражался босой, на снегу под Франклином, да еще вдобавок ко всем мукам подцепил чудовищную дизентерию!

— Я не желаю слышать о ваших... муках, — сказала она все с той же надутой миной, но уже улыбаясь ему краешком чуть раскосых глаз. — Я и сейчас считаю, что вы в ту ночь вели себя отвратительно, и не собираюсь вас прощать. Бросить меня одну — ведь со мной что угодно могло случиться!

— Но с вами же ничего не случилось. Так что видите, моя вера в вас была оправдана. Я знал, что вы благополучно доберетесь домой. И не завидую я тому янки, который попался бы вам на пути!

— Ретт, ну какого черта вы сделали эту глупость и в последнюю минуту записались в армию — вы же прекрасно понимали, что нам крышка?! И это после всего, что вы говорили про идиотов, которые идут подставлять себя под пули!

— Пощадите, Скарлетт! Я от стыда сгораю, думая об этом.

— Что ж, я рада слышать, что вам стыдно вспоминать, как вы поступили со мной.

— Вы неверно меня поняли. К великому сожалению, я вынужден признать: совесть не мучила меня при мысли, что я вас бросил. Ну, а решение записаться добровольцем... Надо же было додуматься до такого — пойти в армию в лакированных сапогах и белом чесучевом костюме, с парой дуэльных пистолетов за поясом... А эти бесконечные мили, которые я прошагал по снегу босиком, когда сапоги у меня совсем развалились, без пальто, без еды... Сам не понимаю, почему я не дезертировал. Все это было сплошным безумием. Но видимо, таковы уж мы, южане: это у нас в крови. Не можем мы не стать на сторону проигранного дела. Впрочем, каковы бы ни были причины, подвигшие меня на это, — не важно. Важно, что я прощен.

— Ничего подобного. Я считаю, что вы просто пес. — Но она так ласково произнесла последнее слово, что оно прозвучало, как «душка».

— Не лукавьте. Вы меня простили. Юные леди не просят часовых‑янки о свидании с узником просто так — из сострадания — и не являются разодетые в бархат и перья, с котиковой муфточкой в руках. Ах, Скарлетт, до чего же вы прелестно выглядите! Слава богу, вы не в лохмотьях и не в трауре. Мне до смерти надоело видеть женщин в старых вылинявших платьях и всегда в черном. А вы будто только что вышли из магазина на Рю де‑ля‑Пэ. Ну‑ка повернитесь, прелесть моя, и дайте мне вас хорошенько рассмотреть.

Значит, он заметил платье. Конечно же, заметил — на то он и Ретт. Она рассмеялась легким переливчатым смехом и повернулась на цыпочках, приподняв локти и намеренно качнув юбками, чтобы мелькнули отделанные кружевами панталоны. Черные глаза его вбирали ее всю — от шляпки до пяток, взгляд не упускал ничего, этот давно знакомый раздевающий взгляд, от которого у нее всегда по телу бежал холодок.

— Вид у вас вполне процветающий и вполне, вполне ухоженный. И прямо скажем: очень аппетитный. Если бы эти янки не стояли за дверью... но вам ничто не угрожает, моя дорогая. Садитесь. Я не злоупотреблю вашим доверием, как в последний раз, когда мы виделись с вами. — Он потер щеку с наигранно удрученным видом. — Право же, Скарлетт, вам не кажется, что вы в ту ночь были чуточку эгоистичны? Вспомните, сколько я для вас сделал: рисковал жизнью... украл лошадь — и какую! Бросился защищать Наше Славное Дело! И что получил за все свои муки? Кучу колкостей и увесистую затрещину.

Она опустилась на стул. Разговор пошел не совсем так, как она рассчитывала. Ретт показался ей таким милым сначала, явно обрадовался, что она пришла. Перед ней был не тот отпетый негодяй, каким она его знала, а вроде бы вполне пристойный человек.

— Неужели вы всегда ждете награды за свои труды?

— Ну конечно! Я же эгоистичное чудовище, как вам, наверное, известно. Я всегда рассчитываю на оплату малейшей своей услуги.

Она слегка похолодела от этого признания, но взяла себя в руки и снова тряхнула серьгами.

— Да нет, вы совсем не такой плохой, Ретт. Вы просто любите покрасоваться.

— Честное слово, вы изменились! — произнес он и расхохотался. — С чего это вы стали добропорядочной христианкой? Я следил за вами через мисс Питтипэт, но она и словом не обмолвилась о том, что вы стали воплощением женской кротости. Ну, расскажите же мне о себе, Скарлетт. Как вы жили все это время с тех пор, как мы виделись в последний раз?

Раздражение и недобрые чувства, которые он неизменно вызывал в ней прежде, вскипели в ее душе и сейчас; ей захотелось наговорить ему колкостей, но она лишь улыбнулась, и на щеке ее появилась ямочка. Он придвинул стул и сел совсем рядом, и она, склонясь в его сторону, мягко, как бы непроизвольно, положила руку ему на плечо.

— О, я жила премило, спасибо, и в Таре теперь все в порядке. Конечно, было очень страшно после того, как солдаты Шермана побывали у нас, но дом все‑таки не сожгли, а черные спасли большую часть стада — загнали его в болото. И прошлой осенью мы собрали неплохой урожай — двадцать тюков. Конечно, по сравнению с тем, что Тара может дать, это ничтожно мало, но у нас сейчас не так много рабочих рук. Папа, конечно, говорит, что на будущий год дела у нас пойдут лучше. Но, Ретт, в деревне сейчас стало так скучно! Можете себе представить — ни балов, ни пикников, и вокруг все только и говорят о том, как тяжело живется. Бог ты мой, до чего мне все это надоело! Наконец на прошлой неделе мне стало до того тошно, что я почувствовала — не могу больше, а папа заметил и сказал, что нужно мне съездить проветриться, повеселиться. Вот я и приехала сюда сшить себе несколько платьев, а отсюда поеду в Чарльстон — в гости к тете. Так хочется снова походить по балам.

«Вот тут все вышло как надо, — подумала она, гордясь собой. — И тон был найден правильный — достаточно беззаботный! Мы, мол, не богачи, но и не бедствуем».

— Вы выглядите прелестно в бальных платьях, моя дорогая, и, к несчастью, прекрасно это знаете! Я полагаю, подлинная причина вашего приезда состоит в том, что вам поднадоели деревенские воздыхатели и вы решили поискать себе новых в более отдаленных краях.

Какое счастье, подумала Скарлетт, что Ретт эти последние месяцы провел за границей и лишь недавно вернулся в Атланту. Иначе он никогда не сказал бы таких глупостей. Перед ее мысленным взором прошла вереница сельских ухажеров — оборванные, озлобленные Фонтейны, обнищавшие братья Манро, красавцы из Джонсборо и Фейетвилла, занятые пахотой, обтесыванием кольев и уходом за больными старыми животными; они и думать забыли про балы и милый легкий флирт. Но она постаралась выкинуть это из головы и смущенно хихикнула, как бы подтверждая, что он прав.

— Ну что вы! — с наигранным возмущением сказала она.

— Вы бессердечное существо, Скарлетт, но, возможно, именно в этом ваше обаяние. — Он улыбнулся, как улыбался когда‑то — одним уголком рта, но она понимала, что он делает ей комплимент. — Вы ведь, конечно, знаете, что обаяния в вас куда больше, чем разрешено законом. Даже я, толстокожий малый, испытал это на себе. И часто удивлялся, что в вас такое сокрыто, почему я не могу вас забыть, хоть я знал много дам и красивее вас, и, уж конечно, умнее, и, боюсь, добрее и высоконравственнее. Однако же вспоминал я всегда только вас. Даже в те долгие месяцы после поражения, когда я был то во Франции, то в Англии и не видел вас, и ничего о вас не знал, и наслаждался обществом многих прелестных женщин, я всегда вспоминал вас и хотел знать, как вы живете.

На секунду она возмутилась, — да как он смеет говорить ей, что есть женщины красивее, умнее и добрее ее! — но гнев тут же погас: ведь помнил‑то он ее и ее прелести, и это было приятно. Значит, он ничего не забыл! Что ж, это должно облегчить дело. И вел он себя так мило — совсем как положено джентльмену в подобных обстоятельствах. Теперь надо перевести разговор на него и намекнуть, что она тоже его не забыла. И тогда...

Она слегка сжала ему плечо и снова улыбнулась так, что на щеке образовалась ямочка.

— Ах, Ретт, ну как вам не стыдно дразнить бедную деревенскую девушку! Я‑то прекрасно знаю, что вы ни разу и не вспомнили обо мне после того, как бросили меня той ночью. В жизни не поверю, что вы вообще думали обо мне, когда вокруг было столько прелестных француженок и англичанок. Но ведь я приехала сюда не затем, чтобы слушать всякие ваши глупости обо мне. Я приехала... я приехала... потому...

— Почему же?

— Ах, Ретт, я так за вас волнуюсь! Я так боюсь за вас! Когда же они вас выпустят из этого ужасного места?

Он быстро накрыл ее руку своей ладонью и крепко прижал к своему плечу.

— Ваше волнение делает вам честь, а когда меня выпустят отсюда — неизвестно. По всей вероятности, когда до предела натянут веревку.

— Веревку?

— Да, я думаю, что выйду отсюда с веревкой на шее.

— Но не повесят же они вас?

— Повесят, если сумеют набрать побольше улик.

— Ох, Ретт! — воскликнула она, прижав руку к сердцу.

— Вам будет жаль меня? Если вы меня как следует пожалеете, я упомяну вас в своем завещании.

Темные глаза откровенно смеялись над ней; он сжал ей руку.

В своем завещании! Она поспешно опустила глаза, боясь, как бы они не выдали ее, но, очевидно, сделала это недостаточно быстро, ибо в его взгляде вспыхнуло любопытство.

— По мнению янки, я должен оставить недурное завещание. Похоже, что мое финансовое положение вызывает сейчас немалый интерес. Каждый день меня требуют к себе все новые и новые люди и задают идиотские вопросы. Ходят слухи, что я завладел мифическим золотом Конфедерации.

— Ну, а на самом деле?

— Что за наводящие вопросы! Вы знаете не хуже меня, что Конфедерация печатала деньги, а не отливала их.

— А откуда у вас столько денег? Вы их нажили на спекуляциях? Тетя Питтипэт говорила...

— А вы меня, похоже, допрашиваете!

Черт бы его побрал! Конечно же, эти деньги — у него. Скарлетт пришла в такое возбуждение, что совсем забыла о необходимости быть с ним нежной.

— Ретт, я так расстроена тем, что вы под арестом. Неужели у вас нет ни малейшего шанса отсюда выбраться?

— «Nihil desperandum»[[11]](#footnote-11) — мой девиз.

— Что это значит?

— Это значит «может быть», прелестная моя незнайка.

Она похлопала своими длинными ресницами, посмотрела на него и опустила глаза.

— Но вы же такой ловкий — вы не допустите, чтобы вас повесили! Я уверена, вы что‑нибудь придумаете, чтобы обойти их и выбраться отсюда! А когда вы выйдете...

— Когда я выйду?.. — тихо переспросил он, пригибаясь к ней.

— Тогда я... — И она изобразила на лице смятение и даже покраснела. Покраснеть было нетрудно, потому что у нее перехватывало дыхание и сердце колотилось как бешеное. — Ретт, я так жалею о том, что я... что я наговорила вам тогда, в ту ночь, ну, вы помните... у Раф‑энд‑Реди. Я была тогда... ох, так напугана и так расстроена, а вы были такой... такой... — Она опустила глаза и увидела, как его смуглая рука снова легла на ее руку. — И... я считала, что никогда, никогда не прощу вас! Но когда вчера тетя Питти сказала мне, что вы... что вас могут повесить... все во мне вдруг перевернулось, и я... я... — Она с мольбой заглянула ему в глаза, стараясь вложить в этот свой взгляд всю боль разбитого сердца. — Ох, Ретт, я умру, если они вас повесят! Я просто этого не вынесу! Понимаете, я... — И не в силах дольше выдержать его взгляда, который жег ее как огонь, она снова опустила глаза.

«Да я сейчас расплачусь, — подумала она в изумлении, чувствуя, как волнение захлестывает ее. — Дать волю слезам? Может, так оно будет естественнее».

Он быстро произнес:

— О боже, Скарлетт, неужели вы... неужели это правда, что вы... — И руки его сжали ее пальцы с такой силой, что ей стало больно.

Она крепко‑крепко зажмурилась, надеясь выдавить из себя слезы, но при этом не забыв слегка приподнять лицо, чтобы ему удобнее было ее поцеловать. Вот сейчас, через мгновение его губы прижмутся к ее губам — эти твердые настойчивые губы. Ей вдруг так живо вспомнился их поцелуй, что она ощутила слабость в коленях. Но он не поцеловал ее. Она почему‑то почувствовала разочарование и, чуть приоткрыв глаза, украдкой взглянула на него. Он склонился над ее руками — она видела лишь его черный затылок, — приподнял одну из них и поцеловал, потом взял другую и приложил к своей щеке. Скарлетт ждала грубости, насилия, и этот нежный, любящий жест изумил ее. Интересно, какое у него сейчас лицо, но она не могла удовлетворить свое любопытство, ибо голова у него была опущена.

Она быстро отвела взгляд, чтобы, подняв голову, он ничего не прочел в ее глазах. Она понимала, что сознание одержанной победы наверняка отражалось в них. Вот сейчас он сделает ей предложение или по крайней мере скажет, что любит ее, и тогда... Она следила за ним сквозь завесу ресниц, а он перевернул ее руку ладонью вверх и опять хотел было поцеловать — и вдруг оторопел. Она посмотрела на свою ладонь и впервые за этот год увидела ее по‑настоящему. Холодный ужас сжал ей сердце. Это была рука незнакомки, а не Скарлетт О’Хара — у той рука была мягкая, белая, с ямочками, изнеженная и безвольная. А эта была загрубелая, потемневшая от загара, испещренная веснушками. Сломанные ногти неровно обрезаны, на ладони — твердые мозоли, на большом пальце — полузаживший нарыв. Красный шрам от кипящего жира, который брызнул ей на руку месяц тому назад, выглядел страшно и уродливо. Она в ужасе смотрела на свою ладонь и инстинктивно сжала кулак.

А он все не поднимал головы. И она все не видела его лица. Он с силой разжал ее кулак и долго смотрел на ладонь, потом взял другую руку и, глядя на них, молча приподнял обе вместе.

— Посмотрите на меня, — сказал он наконец очень тихо, поднимая голову. — И перестаньте строить из себя скромницу.

Нехотя она посмотрела на него — посмотрела с вызовом, в смятении. Черные брови ее поднялись, глаза сверкали.

— Значит, дела в Таре идут отлично, так? И вы столько денег получили за хлопок, что могли поехать сюда погостить? А что же случилось с вашими руками — землю пахали?

Она попыталась вырвать у него руки, но он держал их крепко — только провел большим пальцем по мозолям.

— Это не руки леди, — сказал он и бросил их ей на колени.

— Да перестаньте вы! — выкрикнула она, мгновенно почувствовав облегчение оттого, что можно больше не притворяться. — Никого не касается, что я делаю своими руками!

«Какая я идиотка, — кляла она себя, — надо было мне взять перчатки у тети Питти, а то и стащить, но я не отдавала себе отчета в том, что у меня такие руки. Конечно же, он это заметил. А теперь я еще и вышла из себя и наверняка все погубила. Ну почему это случилось как раз в тот момент, когда он уже готов был сделать мне предложение!»

— Мне, конечно, нет дела до ваших рук, — холодно сказал Ретт и небрежно опустился на стул; лицо его было бесстрастно.

Н‑да, теперь нелегко с ним будет справиться. Ну что ж, как ни противно, а надо прикинуться овечкой, чтобы выйти победительницей, несмотря на этот промах. Быть может, если удастся улестить его...

— Как грубо вы себя ведете — взяли и отшвырнули мои бедные ручки. И все лишь потому, что я на прошлой неделе поехала кататься без перчаток и испортила себе руки.

— Кататься — черта с два вы катались! — все так же холодно сказал он. — Вы работали этими руками — и работали тяжело, как ниггер. Вопрос в другом! Почему вы солгали мне про Тару и сказали, что дела у вас идут отлично?

— Послушайте, Ретт...

— Ну‑ка, попробуем докопаться до правды. Какова подлинная цель вашего визита? Вы своим кокетством чуть было не убедили меня, что я вам чуточку дорог и что вы расстроены из‑за меня.

— Но я и вправду расстроена! В самом деле...

— Нет, ничего подобного! Даже если меня повесят на самой высокой виселице — выше, чем Амана,[[12]](#footnote-12) — вам будет все равно. Это начертано на вашем лице, как следы тяжелой работы — на ваших ладонях. Вам что‑то нужно от меня, и вы так сильно этого хотите, что устроили тут целый спектакль. Почему вы прямо не пришли ко мне и не сказали в открытую, что вам от меня надо? У вас было бы куда больше шансов добиться своего, ибо если я что и ценю в женщинах, так это прямоту. Но нет, вы трясете тут своими сережками, надуваете губки и кокетничаете, как проститутка с клиентом, которого она хочет залучить.

Он произнес последние слова, не повышая голоса, все тем же ровным тоном, но для Скарлетт они прозвучали как удар хлыста, и она в отчаянии поняла, что все надежды на то, что он сделает ей предложение, рухнули. Взорвись он в ярости, оскорбленный в своих лучших чувствах, наговори ей грубостей, как поступили бы на его месте другие мужчины, она бы нашла к нему подход. Но это ледяное спокойствие напугало ее, и она растерялась, не зная, что предпринять. Она вдруг поняла, что Ретт Батлер — даже в заключении, даже под надзором янки, сидевших в соседней комнате, — человек опасный и дурачить его нельзя.

— Должно быть, меня подвела память. Мне бы не следовало забывать, что вы очень похожи на меня и ничего не делаете без причины. Ну‑ка, давайте подумаем, какую карту вы можете прятать в рукаве, миссис Гамильтон? Неужели вы могли настолько заблуждаться, что надеялись услышать от меня предложение руки и сердца?

Она вспыхнула, но промолчала.

— И не могли же вы забыть то, что я неоднократно вам повторял: я не из тех, кто женится?!

И поскольку она молчала, он спросил с внезапно прорвавшейся яростью:

— Не забыли? Отвечайте же!

— Не забыла, — с несчастным видом сказала она.

— Какой же вы игрок, Скарлетт, — усмехнулся он. — Поставили на то, что, сидя в тюрьме, я лишен женского общества и потому кинусь на вас, как форель на червяка.

«Так ведь ты и кинулся, — в бешенстве подумала Скарлетт. — Если бы не мои руки...»

— Ну вот мы и восстановили истину — почти всю, кроме причины, побудившей вас пойти на это. А теперь, может быть, вы скажете, почему вы хотели надеть на меня брачные цепи?

В голосе его прозвучали мягкие, даже чуть дразнящие нотки, и Скарлетт приободрилась. Пожалуй, еще не все потеряно. Конечно, надежды на брак уже нет никакой, но, несмотря на свое отчаяние, Скарлетт была даже рада. Что‑то было в этом неподвижно застывшем человеке страшное, и даже самая мысль о том, чтобы выйти за него замуж, пугала ее. Но может быть, если вести себя умно, возродить воспоминания и сыграть на его влечении, ей удастся получить у него заем. Она придала лицу детски умоляющее выражение.

— Ах, Ретт, мне нужна ваша помощь — и вы в состоянии ее мне оказать, ну, будьте же хоть чуточку милым.

— Быть милым — самое любимое мое занятие.

— Ретт, во имя нашей старой дружбы я хочу просить вас об одолжении.

— Ну вот, наконец‑то леди с мозолистыми руками приступила к выполнению своей подлинной миссии. Боюсь, «посещение больных и узников» — не ваша роль. Чего же вам надо? Денег?

Этот прямой вопрос разрушил всякую надежду подойти к делу кружным путем, сыграв на его чувствах.

— Не надо злорадствовать, Ретт, — вкрадчиво сказала она. — Мне действительно нужны деньги. Я хочу, чтобы вы одолжили мне триста долларов.

— Вот наконец‑то правда и выплыла наружу. Говорите о любви, а думаете о деньгах. Как по‑женски! Вам очень нужны деньги?

— О да... То есть они мне не так уж и нужны, но не помешали бы.

— Триста долларов. Это большая сумма. Зачем они вам?

— Чтобы заплатить налог за Тару.

— Значит, вы хотите призанять денег. Что ж, раз вы такая деловая женщина, буду деловым и я. Под какое обеспечение?

— Что‑что?

— Обеспечение. Гарантирующее возврат моих денег. Я не хочу их терять. — Голос его звучал обманчиво мягко, был такой бархатный, но она этого не заметила: может, все еще и устроится.

— Под мои сережки.

— Сережки меня не интересуют.

— Тогда я вам дам закладную на Тару.

— А на что мне ферма?

— Но вы могли бы... могли бы... это ведь хорошая плантация, и вы ничего не потеряете. Я расплачусь с вами из того, что получу за урожай хлопка в будущем году.

— Я в этом не уверен. — От откинулся на стуле, засунув руки в карманы брюк. — Цены на хлопок падают. Времена настали тяжелые, и люди денег на ветер не бросают.

— Ах, Ретт, зачем вы меня дразните! Я же знаю, что у вас миллионы!

Он наблюдал за ней, и в глазах его плясали злорадные огоньки.

— Значит, все у вас в порядке, и деньги вам не так уж и нужны. Что ж, я рад это слышать. Приятно знать, что у старых друзей все в порядке.

— Ах, Ретт, ради всего святого!.. — в отчаянии воскликнула она, теряя мужество и всякую власть над собой.

— Да не вопите вы так. Я думаю, не в ваших интересах, чтобы янки вас слышали. Вам кто‑нибудь говорил, что глаза у вас как у кошки — у кошки в темноте?

— Ретт, не надо! Я все вам расскажу. Мне очень нужны деньги, очень. Я... я солгала вам насчет того, что все у нас в порядке. Все так плохо — дальше некуда. Отец... он... он... совсем не в себе. Он стал очень странным — как дитя — с тех пор, как умерла мама, помощи мне от него ждать нечего. И у нас нет ни одного работника, чтоб собирать хлопок, а кормить надо тринадцать ртов. Да еще налоги такие высокие. Ретт, я все вам расскажу. Вот уже год, как мы почти голодаем. Ах, ничего вы не знаете! Не можете знать! У нас просто есть нечего. А это так ужасно, когда просыпаешься голодная и спать ложишься голодная. И нам нечего носить, и дети мерзнут и болеют, и...

— Откуда же у вас это прелестное платье?

— Из маминых портьер, — ответила она, вконец отчаявшись и уже не имея сил лгать, чтобы скрыть свой позор. — Я смирилась с тем, что мы голодали и мерзли, но теперь... теперь «саквояжники» повысили налог на Тару. И деньги эти мы должны внести немедленно. А у меня нет ничего, кроме одной золотой монеты в пять долларов. Мне так нужны эти деньги, чтобы заплатить налог! Неужели вы не понимаете? Если я их не заплачу, я... мы потеряем Тару, а нам просто невозможно ее лишиться! Я не могу этого допустить!

— Почему же вы не сказали мне всего этого сразу вместо того, чтобы играть на моих чувствах, а ведь я человек слабый, когда дело касается хорошенькой женщины? Только, Скарлетт, не плачьте! Вы уже испробовали все свои трюки, кроме этого, а от этого меня увольте. Я оскорблен в своих лучших чувствах и глубоко разочарован тем, что вы охотились за моими деньгами, а вовсе не за моей неотразимой персоной.

Она вспомнила, что, издеваясь над собой, — а заодно и над другими, — он часто говорил правду о себе, и взглянула на него. Он в самом деле чувствует себя уязвленным? Он в самом деле так ею дорожит? И в самом деле собирался соединить с ней свою судьбу, пока не увидел ее рук? Или же все шло лишь к очередному мерзкому предложению вроде тех, которые он уже дважды ей делал? Если она действительно ему дорога, быть может, удастся его смягчить. Но его черные глаза буравили ее отнюдь не влюбленным взглядом; к тому же он негромко рассмеялся.

— Ваше обеспечение мне не подходит. Я не плантатор. Что еще вы можете мне предложить?

Ну, вот дошло и до этого! Решайся! Она глубоко перевела дух и, отбросив всякое кокетство и все свои ужимки, прямо посмотрела ему в глаза, — думала она лишь о том, как пережить эту минуту, которой она страшилась больше всего.

— У меня ничего больше нет... кроме меня самой.

— Ну и что же?

Подбородок ее напрягся, стал квадратным, глаза превратились в изумруды.

— Вы помните тот вечер на крыльце у тети Питти, во время осады? Вы сказали... вы сказали тогда, что жаждете мной обладать. — Он небрежно откинулся на стуле, глядя в ее напряженное лицо, — его же лицо было непроницаемо. Потом что‑то промелькнуло в глазах, но он продолжал молчать.

— Вы сказали... вы сказали тогда, что ни одна женщина не была вам так желанна. Если я вам все еще нужна, я — ваша, Ретт, я сделаю все, что хотите, только, ради всего святого, выпишите мне чек! Я сдержу свое слово. Клянусь. Я не отступлю. Я могу дать расписку в этом, если хотите.

Он смотрел на нее с каким‑то странным выражением, которого она не могла разгадать, и продолжала говорить, все еще не понимая, забавляет это его или отталкивает. Хоть бы он что‑нибудь сказал, ну, что угодно! Она почувствовала, как кровь приливает к ее щекам.

— Деньги мне нужны очень быстро, Ретт. Нас выкинут на улицу, и этот проклятый управляющий, который работал у отца, станет хозяином поместья, и...

— Одну минуту. Почему вы думаете, что вы все еще мне желанны? И почему вы думаете, что вы стоите триста долларов? Большинство женщин так дорого не берут.

Несказанно униженная, она вспыхнула до корней волос.

— Зачем вам на это идти? Почему не отдать эту свою ферму и не поселиться у мисс Питтипэт? Вам же принадлежит половина ее дома.

— Боже ты мой! — воскликнула она. — Вы что, с ума сошли? Я не могу отдать Тару! Это мой дом. Я не отдам ее. Ни за что не отдам, пока дышу!

— Ирландцы, — сказал он, перестав раскачиваться на стуле и вынимая руки из карманов брюк, — совершенно невыносимый народ. Они придают значение вещам, которые вовсе этого не стоят. Например, земле. А что этот кусок земли, что тот — какая разница! Теперь, Скарлетт, давайте уточним. Вы являетесь ко мне с деловым предложением. Я даю вам триста долларов, и вы становитесь моей любовницей.

— Да.

Теперь, когда омерзительное слово было произнесено, Скарлетт стало легче и надежна вновь возродилась в ней. Он ведь сказал: «я даю вам». Глаза его так и сверкали — казалось, все это очень его забавляло.

— Однако же, когда я имел нахальство сделать вам такое предложение, вы выгнали меня из дома. И еще всячески обзывали, заметив при этом, что не желаете иметь «кучу сопливых ребятишек». Нет, милочка, я вовсе не сыплю соль на ваши раны. Я только удивляюсь игре вашего ума. Вы не желали пойти на это ради удовольствия, но согласны пойти ради того, чтобы отогнать нищету от своих дверей. Значит, я прав, что любую добродетель можно купить за деньги — вопрос лишь в цене.

— Ах, Ретт, какую вы несете чушь! Если хотите оскорблять — оскорбляйте, только дайте мне денег.

Теперь она уже вздохнула свободнее. Ретт — на то он и Ретт: ему, естественно, хочется помучить ее, пооскорблять снова и снова, чтобы расквитаться за старые обиды и за попытку обмануть его сейчас. Что ж, она все вытерпит. Она готова вытерпеть что угодно. Тара стоит того. На секунду вдруг расцвело лето, над головой раскинулось синее полуденное небо, и вот она лежит на лужайке в Таре среди густого клевера и сквозь полуприкрытые веки смотрит вверх на похожие на замки громады облаков, вдыхает пряные цветочные запахи, а в ушах у нее приятно гудит от жужжания пчел. Полдень, тишина, лишь вдали поскрипывают колеса фургонов, поднимающихся по извилистой дороге в гору с красных полей. Тара стоит того, стоит даже большего.

Она вскинула голову.

— Дадите вы мне деньги или нет?

С нескрываемым удовольствием он мягко, но решительно произнес:

— Нет, не дам.

Его слова не сразу дошли до ее сознания.

— Я не мог бы вам их дать, даже если б и захотел. У меня при себе нет ни цента. И вообще в Атланте у меня нет ни доллара. У меня, конечно, есть деньги, но не здесь. И я не собираюсь говорить, где они или сколько. Если я попытаюсь взять оттуда хоть какую‑то сумму, янки налетят на меня, точно утка на майского жука, и тогда ни вы, ни я ничего не получим. Ну, так как будем поступать?

Она позеленела, на носу вдруг проступили веснушки, а рот искривился судорогой — совсем как у Джералда в минуту безудержной ярости. Она вскочила на ноги с каким‑то звериным криком, так что шум голосов в соседней комнате сразу стих. Ретт, словно пантера, одним прыжком очутился возле нее и своей тяжелой ладонью зажал ей рот, а другой рукой крепко обхватил за талию. Она бешено боролась, пытаясь укусить его, лягнуть, дать выход своей ярости, ненависти, отчаянию, своей поруганной, растоптанной гордости. Она билась и извивалась в его железных руках, сердце у нее бешено колотилось, тугой корсет затруднял дыхание. А он держал ее так крепко, так грубо; пальцы, зажимавшие ей рот, впились ей в кожу, причиняя боль. Смуглое лицо его побелело, обычно жесткий взгляд стал взволнованным — он приподнял ее, прижал к груди и, опустившись на стул, посадил к себе на колени.

— Хорошая моя, ради бога, перестаньте! Тише! Не надо кричать. Ведь они сейчас сбегутся сюда. Да успокойтесь же. Неужели вы хотите, чтобы янки увидели вас в таком состоянии?

Ей было безразлично, кто ее увидит, все безразлично, ею владело лишь неудержимое желание убить его, но мысли у нее вдруг начали мешаться. Она еле могла дышать — Ретт душил ее; корсет стальным кольцом все больше и больше сжимал ей грудь; она полулежала в объятиях Ретта, и уже одно это вызывало у нее бешеную злобу и ярость. Голос его вдруг стал тоньше и зазвучал словно издалека, а лицо, склоненное над ней, закрутилось и стало тонуть в сгущавшемся тумане. И исчезло — и лицо его, и он сам, и все вокруг.

Когда она, словно утопающий, выбравшийся на поверхность, стала приходить в себя, первым ощущением ее было удивление, потом невероятная усталость и слабость. Она полулежала на стуле — без шляпки, — и Ретт, с тревогой глядя на нее своими черными глазами, легонько похлопывал ее по руке. Славный молодой капитан пытался влить ей в рот немного коньяка из стакана — коньяк пролился и потек у нее по шее. Еще несколько офицеров беспомощно стояли вокруг, перешептываясь и размахивая руками.

— Я... я, кажется, потеряла сознание, — сказала она, и голос ее прозвучал так странно, издалека, что она даже испугалась.

— Выпей это, — сказал Ретт, беря стакан и прикладывая к ее губам. Теперь она все вспомнила и хотела метнуть на него яростный взгляд, но ярости не было — одна усталость. — Ну пожалуйста, ради меня.

Она глотнула, поперхнулась, закашлялась, но он неумолимо держал стакан у ее губ. Она сделала большой глоток, и крепкий коньяк обжег ей горло.

— Я думаю, джентльмены, ей теперь лучше, и я вам очень признателен. Известие о том, что меня собираются казнить, доконало ее.

Синие мундиры переступали с ноги на ногу, вид у всех был смущенный, и, покашляв, они гуртом вышли из комнаты. Молодой капитан задержался на пороге.

— Если я еще чем‑нибудь могу быть полезен...

— Нет, благодарю вас.

Он вышел, закрыв за собой дверь.

— Выпейте еще, — сказал Ретт.

— Нет.

— Выпейте.

Она глотнула, и тепло побежало по ее телу, а в дрожащих ногах появилась сила. Она отстранила рукой стакан и попыталась подняться, но Ретт заставил ее снова сесть.

— Не трогайте меня. Я ухожу.

— Обождите. Посидите еще минуту, а то вы снова упадете в обморок.

— Да я лучше упаду на дороге, чем быть здесь с вами.

— И тем не менее я не могу позволить, чтобы вы упали в обморок на дороге.

— Пустите меня. Я вас ненавижу.

При этих словах легкая улыбка появилась на его лице.

— Вот это больше похоже на вас. Значит, вы действительно приходите в себя.

Она с минуту посидела спокойно, стараясь возродить в себе гнев, стараясь призвать его на помощь, чтобы вновь обрести силы. Но она слишком устала, она не могла уже ни ненавидеть, ни чего‑либо желать. Сознание понесенного поражения словно налило ее свинцом. Она все поставила на карту и все потеряла. Даже гордости не осталось. Итак, конец последней надежде, конец Таре, конец им всем. Она долго сидела, откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, слыша рядом его тяжелое дыхание, а коньяк постепенно делал свое дело, согревая ее, создавая ложное ощущение прилива сил. Когда она наконец открыла глаза и посмотрела Ретту в лицо, гнев снова вспыхнул в ней. Увидев, как ее брови сошлись на переносице, Ретт по обыкновению усмехнулся.

— Вот теперь вам лучше. Я это вижу по вашей рожице.

— Конечно, я в полном порядке. А вы, Ретт Батлер, — мерзавец, вы самый что ни на есть отпетый гнусный тип! Вы с самого начала знали, о чем я буду с вами говорить, и знали, что не дадите мне денег. И однако же вы не остановили меня. А ведь могли бы пожалеть...

— Пожалеть и не услышать всего, что вы тут наговорили? Ну, нет. У меня здесь так мало развлечений. Право, не помню, чтобы я когда‑нибудь слышал более приятные вещи. — И он вдруг рассмеялся с обычной своей издевкой.

Она тотчас вскочила на ноги и схватила шляпку, но Ретт уже держал ее за плечи.

— Обождите еще немного. Вы в силах говорить разумно?

— Пустите меня!

— Я вижу, что в силах. В таком случае скажите мне вот что. Я был вашей единственной соломинкой? — И он впился в нее острым, настороженным взглядом, стараясь не пропустить ни малейшего изменения в ее лице.

— Не понимаю.

— Я был единственным, на ком вы собирались испробовать свои чары?

— А какое вам до этого дело?

— Большее, чем вы предполагаете. Есть у вас другие мужчины на примете? Да говорите же!

— Нет.

— Невероятно. Я как‑то не могу представить себе вас без пяти или шести воздыхателей про запас. Конечно же, кто‑нибудь подвернется и примет ваше интересное предложение. И я настолько в этом уверен, что хочу дать вам маленький совет.

— Я не нуждаюсь в ваших советах.

— И тем не менее я вам его дам. Похоже, единственное, что я способен дать вам сейчас, это совет. Внимательно выслушайте его, потому что это совет хороший. Если вы пытаетесь чего‑то добиться от мужчины, не выкладывайте ему все сразу, как сейчас мне. Постарайтесь быть погибче, пособлазнительнее. Это приносит лучшие результаты. В свое время вы умели этим пользоваться, и пользовались идеально. А сейчас, когда вы предлагали мне ваше... м‑м... обеспечение под мои деньги, уж больно жестким дельцом вы выглядели. Такие глаза, как у вас, я видел на дуэли у своего противника, когда он стоял в двадцати шагах от меня и целился — надо сказать, не очень это было приятно. Они не зажигают пожара в сердце мужчины. Так с мужчинами не обращаются, прелесть моя. Вы забыли о том, чему вас учили в юности.

— Я не нуждаюсь, чтоб вы говорили мне, как себя вести, — сказала она и устало принялась надевать шляпку. Просто удивительно, как он может так беззаботно паясничать с веревкой на шее, да к тому же, когда она рассказала ему о своих бедах. При этом она вовсе не заметила, что руки в карманах брюк были у него сжаты в кулаки, словно он старался сдержать злость на собственное бессилие.

— Не унывайте, — сказал он, глядя, как она завязывает ленты шляпки. — Можете прийти полюбоваться, когда меня будут вешать: от этого зрелища вам наверняка станет легче. Таким образом, вы сведете старые счеты со мной, да и за этот день — тоже. А я не забуду упомянуть вас в завещании.

— Я вам очень признательна, но последний срок платежа за Тару может наступить раньше, чем вас повесят, — сказала она с неожиданным ехидством под стать ему, не сомневаясь, что так оно и будет.

### Глава XXXV

Когда она вышла из здания штаба, лил дождь и небо было унылое, желтовато‑серое. Солдаты на площади залезли в свои палатки, улицы опустели. Поблизости не видно было ни коляски, ни повозки, и Скарлетт поняла, что ей придется проделать весь долгий путь до дома пешком.

Хотя она шла не останавливаясь, выпитый коньяк постепенно перестал ее согревать. Холодный ветер до дрожи пробирал ее, дождь иголками впивался в лицо. Тонкая накидка тети Питти быстро намокла и тяжелыми складками свисала с плеч, прилипая к телу. Скарлетт понимала, что бархатное платье окончательно испорчено, а петушиные перья, украшавшие ее шляпку, повисли и выглядят, наверно, не менее жалко, чем и на бывшем своем обладателе, когда он бродил по мокрому двору в Таре. Кирпичная кладка на тротуарах местами была разбита, а местами отсутствовала совсем. Здесь грязь достигала до щиколотки, и туфли Скарлетт увязали в ней, словно приклеиваясь, а то и вовсе соскакивали с ног. Всякий раз, когда она наклонялась, чтобы вытащить их, подол ее платья попадал в грязь. Она даже не старалась обойти лужи, а шагала прямо по ним, таща за собой тяжелые юбки. Лодыжкам ее было холодно от намокшей нижней юбки и панталон, но ей уже безразлично было то, что наряд, на который делалась такая ставка, испорчен. Она вся застыла, утратила последние крохи бодрости, отчаялась.

Как она вернется в Тару, как посмотрит им всем в лицо после своего бахвальства? Как скажет им, что надо убираться куда глаза глядят? Как расстанется со всем, что ей дорого, — с красными полями, высокими соснами, темными болотами в низинах, с тихим кладбищем, где под густой тенью кедров лежит Эллин?

Ненависть к Ретту жгла ей сердце, пока она с трудом продвигалась по скользкой дороге. Какой он мерзавец! Скарлетт очень надеялась, что его повесят и она никогда больше не встретится с этим свидетелем своего позора и унижения. Конечно же, он мог достать для нее денег, если бы захотел. Нет, его мало повесить! Слава богу, он не видит ее сейчас — мокрую, грязную, продрогшую, с распустившимися волосами. До чего же она, наверное, омерзительно выглядит и как бы он над ней посмеялся!

Негры, попадавшиеся ей по дороге, нахально скалили зубы и подтрунивали над ней, а она спешила мимо, спотыкаясь и скользя по грязи, временами останавливаясь, чтобы перевести дух и надеть соскочившие туфли. Да как они смеют подтрунивать над ней, Скарлетт О’Хара, владелицей Тары! Как они смеют скалить зубы, черные обезьяны! Она бы велела их всех пороть — пороть, пока кровь не выступит! Черт бы подрал этих янки — зачем они освободили черномазых, зачем дали им возможность насмехаться над белыми!

Она шла по улице Вашингтона, и все вокруг, казалось, было погружено в такое же уныние, как ее душа. Тут не было ни суеты, ни оживления, царивших на Персиковой улице. Когда‑то здесь тоже стояло немало красивых домов, но лишь немногие из них были восстановлены. Куда чаще встречались обугленные фундаменты да одиноко торчали почерневшие трубы, которые называли теперь «часовыми Шермана». Дорожки, что вели когда‑то к домам, заросли; лужайки затянуло бурьяном, тумбы с выбитыми на них такими знакомыми ей фамилиями, столбы, к которым никто уж никогда не привяжет лошадей! Холодный ветер и дождь, грязь и голые деревья, тишина и запустение. До чего же промокли у нее ноги и как далеко ей еще идти!

Она услышала за спиной хлюпанье копыт по грязи и отступила подальше от края узкого тротуара, чтобы еще больше не забрызгать и так уже перепачканную накидку тетушки Питтипэт. По дороге медленно двигался кабриолет, и Скарлетт повернулась посмотреть, кто едет, и попросить подвезти ее, если возница белый. Из‑за дождя все расплывалось у нее перед глазами, тем не менее она увидела, что возница выглянул из‑под брезента, спускавшегося со щитка почти до самого его подбородка. Что‑то в этом лице показалось ей знакомым, и она сошла на дорогу, чтобы получше его рассмотреть; человек смущенно кашлянул, и хорошо знакомый голос радостно и удивленно воскликнул:

— Да неужели это мисс Скарлетт!

— Ох, мистер Кеннеди! — вырвалось у нее, и, шлепая по грязи, она бросилась к кабриолету и прислонилась к грязному колесу, уже не заботясь о том, что может испачкать накидку. — Вот уж никому в жизни я так не радовалась!

Он вспыхнул от удовольствия, почувствовав, что она говорит вполне искренне, и, поспешно сплюнув табачную жвачку в сторону, легко спрыгнул на землю. Он восторженно потряс руку Скарлетт и, приподняв брезент, помог ей залезть в кабриолет.

— Мисс Скарлетт, да что вы тут делаете в этой части города и одна? Разве вы не знаете, что нынче ходить одной опасно? И промокли же вы! Возьмите‑ка полость и накройте себе ноги.

Он суетился, квохча как курица, и она с наслаждением отдала себя в его заботливые руки. Так приятно, когда возле тебя кто‑то хлопочет, заботится, опекает, даже если это всего лишь старая дева в брюках вроде Фрэнка Кеннеди.

Это так грело душу после безжалостного Ретта. И до чего приятно увидеть человека из родных краев, когда ты так далеко от дома! Она заметила, что Фрэнк хорошо одет и кабриолет у него новый. Лошадь была явно молодая и упитанная, сам же Фрэнк выглядел старше своих лет, гораздо старше, чем тогда, в сочельник, когда он появился в Таре со своими людьми. Он похудел, лицо у него вытянулось, желтые глаза слезились и глубоко запали, а кожа сморщилась и обвисла. Его рыжеватая бородка стала еще реже; она была вся в табачном соке и такая всклокоченная, точно он непрерывно ее дергал. Но его оживленное и веселое лицо являло собой резкий контраст с печальными, озабоченными, усталыми лицами, которые Скарлетт видела вокруг.

— Как приятно видеть вас, — тепло сказал Фрэнк. — Я не знал, что вы в городе. Я видел мисс Питтипэт всего на прошлой неделе, и она не сказала мне, что вы собираетесь приехать. А... м‑м... кто‑нибудь еще приехал с вами из Тары?

Он думает о Сьюлин, старый дурак.

— Нет, — сказала Скарлетт, закутываясь в полость и стараясь натянуть ее по самую шею. — Я приехала одна. И я не предупреждала тетю Питти.

Он почмокал, понукая лошадь, и та осторожно зашагала дальше по скользкой дороге.

— Все в Таре живы‑здоровы?

— О да, более или менее.

Надо придумать что‑то, о чем говорить, но ей так трудно было сейчас вести беседу. Мозг у нее словно налился свинцом после понесенного поражения, и ей хотелось одного — лечь, накрыться теплым одеялом и сказать себе: «Сейчас не стану думать о Таре! Подумаю об этом потом, когда не будет так больно». Хорошо бы, он принялся ей что‑нибудь рассказывать — что‑нибудь такое длинное, чтобы хватило до самого дома, и тогда она могла бы ничего не говорить, а лишь время от времени вставлять: «ах, как мило» или «какой же вы умный».

— Мистер Кеннеди, я просто в себя не могу прийти — как это мы с вами встретились. Да, я, конечно, скверно веду себя, не поддерживая знакомства со старыми друзьями, но я, право же, не знала, что вы в Атланте. Кажется, кто‑то говорил мне, что вы в Мариетте.

— Да, у меня дела в Мариетте, много дел, — сказал он. — Разве мисс Сьюлин не говорила вам, что я обосновался в Атланте? И не говорила про мою лавку?

Скарлетт смутно вспомнила, что Сьюлин действительно что‑то чирикала насчет Фрэнка и его лавки, но она никогда не обращала внимания на то, что говорит Сьюлин. Ей достаточно было знать, что Фрэнк жив и рано или поздно ей удастся сбыть ему Сьюлин с рук.

— Нет, ни слова, — солгала она. — А у вас есть лавка? Какой же вы, оказывается, шустрый!

Его явно огорчило, что Сьюлин не обнародовала такую весть, но он тотчас просиял от похвалы Скарлетт.

— Да, у меня есть лавка и, по‑моему, совсем неплохая. Люди говорят, что я прирожденный коммерсант. — И он с довольным видом рассмеялся своим квохчущим смехом: Скарлетт всегда раздражал этот смех.

«Самовлюбленный старый болван», — подумала она.

— О, мистер Кеннеди, к чему бы вы ни приложили руку, всюду вас ждет успех. Но как, скажите на милость, вам вообще удалось открыть лавку? Ведь когда мы с вами виделись на позапрошлое рождество, вы говорили, что у вас нет ни цента.

Он крякнул, прочищая горло, провел всей пятерней по бакенбардам и улыбнулся своей нервной застенчивой улыбкой.

— Это долгая история, мисс Скарлетт.

«Слава богу! — подумала она. — Хоть бы хватило ее до дома». Вслух же произнесла:

— Расскажите, пожалуйста!

— Вы помните, как мы в последний раз явились в Тару за провиантом? Так вот, вскоре после этого я отбыл на фронт. Я хочу сказать: принял боевое крещение. Я больше не занимался интендантством. Да интенданты уже и не были нужны, мисс Скарлетт, потому как для армии почти ничего не удавалось раздобыть, и я решил, что место здорового мужчины — в рядах сражающихся. Ну, вот я и повоевал в кавалерии, пока не получил пулю в плечо.

Вид у него был такой гордый, что Скарлетт сказала:

— Какой ужас!

— Да нет, ничего страшного — кость не была задета, — с явным огорчением сказал он. — Меня отослали на юг в госпиталь, а когда я уже почти совсем поправился, нагрянули янки. Ох, и жарко же было! Произошло это так неожиданно, и все, кто мог ходить, кинулись перетаскивать продукты из армейских складов и госпитальное оборудование к железнодорожным путям, чтобы эвакуировать. Только мы нагрузили один поезд, как янки ворвались в город. Они ворвались с одного конца, а мы улепетываем с другого. Ох, и печальное же это было зрелище: сидим на крышах вагонов и смотрим, как янки жгут продукты, которые мы не успели со склада забрать. Товара всякого, мисс Скарлетт, было навалено вдоль железнодорожных путей на добрых полмили — они все сожгли. Мы и сами‑то едва унесли ноги.

— Какой ужас!

— Вот именно ужас. Потом наши солдаты снова вошли в Атланту, и наш поезд тоже вернулся сюда. Ну, и война, мисс Скарлетт, скоро кончилась... Повсюду было столько посуды, и кроватей, и матрасов, и одеял, и все это — ничье. Думается мне, по праву все это принадлежало янки, потому что таковы условия капитуляции, верно?

— Угу, — рассеянно пробормотала Скарлетт. Она стала согреваться, и от тепла ее начало клонить в сон.

— Я до сих пор сам не знаю, правильно ли я поступил, — продолжал он не очень уверенно. — Но мне тогда казалось, что все эти вещи янки вовсе ни к чему. Скорее всего они бы их сожгли. А ведь наши заплатили за них полновесной монетой, и я решил, что все это должно принадлежать Конфедерации и конфедератам. Понимаете, как я мыслил?

— Угу.

— Я рад, что вы соглашаетесь со мной, мисс Скарлетт. А то это лежит у меня на совести. Многие говорили мне: «Да забудь ты об этом, Фрэнк», но я не могу. Я не мог бы смотреть людям в глаза, если б думал, что поступил не так. А по‑вашему, я правильно поступил?

— Конечно, — сказала она, не очень понимая, о чем болтает этот старый болван. Что‑то насчет своей совести. Когда человеку столько лет, как Фрэнку Кеннеди, пора бы уж научиться не задумываться над тем, что не имеет значения. Но он всегда был какой‑то нервный, вечно трепыхался из‑за чего‑нибудь, точно старая дева.

— Я рад, что вы так говорите. После поражения у меня было около десяти долларов серебром и больше ничего. А вам известно, что янки сделали в Джонсборо с моим домом и магазином. Я просто не знал, как быть. И вот на эти десять долларов я настелил крышу над старой лавкой у Пяти Углов, перетащил туда госпитальное оборудование и стал его продавать. Всем нужны были кровати, и посуда, и матрасы, а продавал я дешево, потому как считал, что это не моя собственность. Но все же кое‑какие деньги я на этом выручил и тогда привез еще товаров, и лавка моя теперь процветает. Думаю, сумею выжать из нее немало денег, если дело и дальше так пойдет.

При слове «деньги» у Скарлетт сразу прояснилось в голове и все ее внимание сосредоточилось на собеседнике.

— Вы говорите, нажили денег?

Он так и расцвел, увидев ее интерес. Если не считать Сьюлин, женщины обращали на него ровно столько внимания, сколько требует вежливость, и ему льстило то, что такая красавица, как Скарлетт, с интересом слушает его. Он попридержал лошадь, чтобы успеть до дома побольше рассказать о себе.

— Я не миллионер, мисс Скарлетт, и по сравнению с теми деньгами, какие у меня были раньше, то, чем я владею сейчас, — сущий пустяк. Но в этом году я все‑таки заработал тысячу долларов. Пятьсот долларов, само собой, пошли на оплату товаров, на ремонт лавки и в счет аренды. Но пятьсот у меня осталось чистыми, а поскольку оборот увеличивается, в будущем году я должен заработать тысячи две. Я, конечно, найду им применение, потому как, видите ли, у меня на примете есть еще одно дельце.

Разговор о деньгах вызвал у Скарлетт живейший интерес. Она прикрыла глаза густыми, прямыми как стрелы ресницами и придвинулась поближе к нему.

— А что это за дельце, мистер Кеннеди?

Он рассмеялся и хлестнул лошадь вожжами по спине.

— Боюсь, я утомлю вас своими разговорами про дела, мисс Скарлетт. К чему такой хорошенькой женщине, как вы, интересоваться делами!

Старый дурак!

— О, я знаю, в делах я полная невежда, но это так интересно! Пожалуйста, расскажите мне все поподробнее, а чего я не пойму, вы объясните.

— Ну так вот, второе дельце, которое у меня на примете, — это лесопилка.

— Что?

— Лесопилка, где пилят лес и делают доски. Я ее еще не купил, но подумываю. Тут, за городом, на Персиковой дороге, есть человек по имени Джонсон — он владеет такой лесопилкой и хочет ее продать. Ему нужны деньги — и немедленно, поэтому он готов продать ее мне и поработать на меня за еженедельную плату. В этих краях осталось всего несколько лесопилок, мисс Скарлетт. Янки почти все уничтожили. А владеть лесопилкой — все равно что найти золотую жилу, потому что за доски можно запросить любые деньги. Ведь янки сожгли здесь столько домов, людям просто жить сейчас негде, поэтому все как сумасшедшие и кинулись строить. А леса не хватает, и быстро получить его неоткуда. Народ же в Атланту так и стекается со всех сторон: и из сельских мест — кто не в силах обработать землю без черномазых, и янки, и «саквояжники» — эти ринулись сюда как стервятники, чтобы побольше пообглодать наши косточки. Попомните мои слова: Атланта скоро станет большим городом и для домов потребуется строительный материал. Поэтому я и хочу купить эту лесопилку, как только... как только выколочу деньги из своих должников. На будущий год в это время мне уже, наверное, легче будет дышаться: я не буду так стеснен в деньгах. Я... я думаю, вы понимаете, почему я хочу побыстрее нажить побольше денег, да?

Он покраснел и снова крякнул. «Он думает о Сьюлин», — в сердцах сказала себе Скарлетт.

На секунду у нее мелькнула мысль попросить у него в долг триста долларов, но она устало отбросила ее. Он смутится, начнет заикаться, будет придумывать разные отговорки, но ничего не даст. Он своим горбом заработал их, чтобы весной жениться на Сьюлин, и если сейчас с ними расстанется, то свадьбу придется отложить на неопределенное время. Даже если бы ей удалось пробудить в нем сочувствие, воззвать к его долгу по отношению к будущей родне и добиться обещания дать ей взаймы, она знала, что Сьюлин никогда этого не допустит. Сьюлин так боится остаться старой девой, что перевернет небо и землю, лишь бы выйти замуж.

Интересно, что этот старый болван нашел в ее вечно хнычущей, вечно недовольной сестрице, чтобы загореться таким желанием свить ей теплое гнездышко? Сьюлин не заслуживает любящего мужа и доходов с лавки и лесопилки. Стоит денежкам завестись у нее, как она примет неприступный вид и не единого цента не даст на Тару. Нет, кто угодно, но не Сьюлин! Ей бы только выбраться оттуда, а пойдет ли Тара с молотка за неуплату налогов или сгорит дотла — ей все равно, лишь бы у нее были красивые платья да перед именем стояло «миссис».

Раздумывая о том, какое обеспеченное будущее ждет Сьюлин и какое зыбкое будущее ждет ее и Тару, Скарлетт почувствовала жгучую злость на несправедливость жизни. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на грязную улицу, чтобы Фрэнк не заметил выражения ее лица. Она все теряет, все, в то время как Сью... И Скарлетт вдруг приняла решение.

Не получит Сьюлин Фрэнка — ни его лавку, ни лесопилку!

Сьюлин этого не заслуживает. Все это будет у нее, у Скарлетт. Она подумала о Таре и вспомнила, как Джонас Уилкерсон, точно гремучая змея, возник у парадного крыльца, и решила ухватиться за последнюю соломинку, появившуюся над затонувшим кораблем ее жизни. Ретт обманул ее ожидания, но господь послал ей вместо него Фрэнка.

«Вот только сумею ли я его заполучить? — Она сжала руки, невидящими глазами уставясь на завесу дождя. — Сумею ли заставить его забыть Сью и достаточно быстро сделать мне предложение? Но раз уж я Ретта почти заставила сделать мне предложение, значит, можно не сомневаться: я заполучу Фрэнка!» И она окинула его взглядом из‑под приспущенных ресниц. «Он, конечно, не красавец, — хладнокровно рассуждала она про себя, — и у него очень плохие зубы, и изо рта скверно пахнет, и он такой старый, что годится мне в отцы. К тому же он нервный, застенчивый и добропорядочный, а уж паршивее качеств для мужчины не придумаешь. Но по крайней мере он джентльмен, и мне, пожалуй, было бы легче жить с ним, чем с Реттом. Конечно же, мне легче будет им управлять. Так или иначе, нищие не выбирают».

То, что Фрэнк — жених Сьюлин, не вызвало у Скарлетт ни малейшего укора совести. После того, как она, перешагнув через все моральные принципы, отправилась в Атланту и к Ретту, присвоение суженого сестры казалось сущей ерундой — над этим нечего было даже и раздумывать.

Сейчас в ней снова загорелась надежда, и она вся напряглась, забыв даже про свои мокрые и холодные ноги. Прищурясь, она так пристально посмотрела на Фрэнка, что ему стало не по себе. Она заметила это и быстро опустила взгляд — ей вспомнились слова Ретта: «Такие глаза, как у вас, я видел на дуэли, у своего противника... Они не зажигают восторга в сердце мужчины».

— Что с вами, мисс Скарлетт? Вы продрогли?

— Да, — с беспомощным видом призналась она. — Вы не станете возражать... — сказала она робко и замялась. — Вы не станете возражать, если я суну руку в карман вашего пальто? Так холодно, а муфта у меня насквозь промокла.

— Что вы, что вы, конечно, нет! Да у вас же нет перчаток! Ох, ну какая же я скотина — болтаю тут без умолку, а вы ведь, наверное, замерзли и только и думаете, как бы поскорее добраться до огня. Пошевеливайся, Салли! Кстати, мисс Скарлетт, я так разболтался о себе, что даже не спросил, что вы‑то делаете в этой части города в такую погоду?

— Я была в штабе у янки, — ответила она, не подумав.

Брови его полезли вверх от возмущения.

— Но, мисс Скарлетт! Ведь солдаты... Зачем же вы...

«О матерь божья, помоги мне поудачнее соврать», — взмолилась она про себя. Нельзя, чтобы Фрэнк заподозрил, что она ездила на свидание к Ретту. Фрэнк считал Ретта мерзавцем из мерзавцев, человеком, с которым порядочной женщине даже говорить опасно.

— Я пошла туда... пошла туда, чтобы выяснить... не купит ли кто‑нибудь из офицеров мое рукоделие для подарка домой — своей жене. Я ведь очень неплохо вышиваю.

Не веря ушам своим, пораженный и возмущенный, он выпрямился на сиденье.

— Вы ходили к янки... Но, мисс Скарлетт! Вы не должны были этого делать. Зачем... зачем... Уж конечно, ваш батюшка понятия об этом не имеет. И уж конечно, мисс Питтипэт...

— Ох, я умру, если вы расскажете об этом тете Питтипэт! — воскликнула она, охваченная подлинной тревогой, и разрыдалась. Ей ничего не стоило заплакать, потому что она продрогла и чувствовала себя такой несчастной, но это произвело на Фрэнка поистине ошеломляющее впечатление. Если бы она вдруг принялась при нем раздеваться, он едва ли был бы более смущен и растерян. Он несколько раз причмокнул языком, пробормотал: «Ох, надо же!» — и беспомощно замахал на нее рукой. Ему пришла было в голову безумная мысль, что надо обнять ее, привлечь к своей груди, приласкать. Но он никогда еще не вел себя так ни с одной женщиной и понятия не имел, как к этому подступиться. Надо же, Скарлетт О’Хара, такая всегда веселая и прелестная, — и вдруг плачет у него в кабриолете! Скарлетт О’Хара, гордячка из гордячек, пришла к янки торговать своим рукоделием! Все внутри у него клокотало от возмущения.

А она продолжала рыдать, время от времени бормоча что‑то, и наконец он понял, что в Таре не все благополучно. Мистер О’Хара по‑прежнему «не в себе», и еды у них не хватает на такую ораву. Вот она и приехала в Атланту, чтобы попытаться раздобыть немного денег для себя и своего мальчика. Фрэнк снова пощелкал языком и вдруг обнаружил, что голова Скарлетт лежит на его плече. Он не мог понять, как это случилось. Ведь не он же положил ее голову к себе на плечо, однако голова ее так или иначе лежала на его плече, и Скарлетт беспомощно всхлипывала, уткнувшись лицом в его тощую грудь, вызывая у него дотоле неведомые и весьма волнующие чувства. Он робко погладил ее по плечу — сначала осторожно, потом, убедившись, что она не отстраняется, осмелел и уже начал гладить более уверенно. До чего же она беспомощна, эта милая маленькая женщина! И какой надо быть мужественной и наивной, чтобы пытаться заработать деньги иглой. Но вести дела с янки — это уже слишком.

— Я ничего не скажу мисс Питтипэт, но вы должны обещать мне, мисс Скарлетт, что никогда больше не станете ничего такого делать. Да одна мысль, что дочь вашего отца...

Ее влажные зеленые глаза беспомощно смотрели на него.

— Но, мистер Кеннеди, я должна же что‑то предпринять. Я должна думать о моем мальчике — ведь теперь некому о нас заботиться.

— Вы мужественная маленькая женщина, — заявил он, — но я не позволю вам заниматься такими вещами. Да ваша семья умрет со стыда.

— Но что же мне делать? — Полные слез глаза посмотрели на него с таким выражением, точно Скарлетт была уверена, что он все может, а она только ждет его слова.

— Ну, я пока не знаю. Но что‑нибудь придумаю.

— О, я уверена, что придумаете! Вы ведь такой умный... Фрэнк.

Она никогда прежде не называла его по имени, и сейчас это приятно удивило и поразило его. Бедняжка, должно быть, до того расстроена, что даже не заметила, как у нее это сорвалось с языка. Ему хотелось проявить к ней доброту, защитить, уберечь от всего. Если он способен чем‑то помочь сестре Сьюлин, он это, конечно, сделает. Он вытащил из кармана ситцевый платок в красный горошек и протянул Скарлетт. Она вытерла глаза и трепетно улыбнулась.

— Я такая глупая гусыня, — смиренно сказала она. — Простите меня, пожалуйста.

— Вовсе вы не глупая гусыня. Вы очень мужественная маленькая женщина, которая пытается взвалить на себя чересчур тяжелую ношу. Боюсь, мисс Питтипэт не будет вам хорошей подмогой. Да и мистер Генри Гамильтон тоже в весьма плачевном состоянии. Жаль, что у меня нет дома и я не могу предложить вам кров. Но, мисс Скарлетт, запомните одно: когда мы с мисс Сьюлин поженимся, для вас всегда найдется место под нашей крышей — и для вас и для Уэйда Хэмптона.

Вот он, нужный момент! Уж конечно же, святые и ангелы наблюдали за ней с небес, чтобы послать ей такую возможность. Она изобразила крайний испуг и смущение, открыла было рот, намереваясь что‑то сказать, и снова закрыла.

— Не хотите же вы сказать, что не знали о моем намерении стать вашим шурином будущей весной, — заметил он с нервным смешком и, увидев, что глаза ее снова наполняются слезами, в панике спросил: — В чем дело? Мисс Сью, надеюсь, не больна?

— Ох, нет! Нет!

— Но что‑то не в порядке. Вы должны сказать мне.

— Ох, не могу! Я не знала! Я была уверена, что она написала вам... Ох, как это нехорошо!

— Мисс Скарлетт, в чем все‑таки дело?

— Ох, Фрэнк, я вовсе не собиралась говорить об этом, я думала, что вы, конечно же, знаете... что она написала вам.

— Написала — о чем? — Он задрожал.

— Ах, как же можно так поступать с хорошим человеком!

— Да что она натворила?

— И она ничего не написала вам? Ах, наверное, ей было слишком стыдно. Не может не быть стыдно! Ах, надо же иметь такую гадкую сестру!

Теперь уже Фрэнк был не в состоянии выдавить из себя ни слова. Он сидел и только смотрел на нее, весь посерев, безвольно опустив вожжи.

— В будущем месяце она выходит замуж за Тони Фонтейна. Ах, мне так неприятно, Фрэнк. Так неприятно сообщать вам об этом. Должно быть, она устала ждать и боялась, что останется старой девой.

Мамушка стояла на крыльце, когда Скарлетт подъехала и Фрэнк помог ей выйти из кабриолета. Мамушка, как видно, уже давно стояла тут, ибо платок у нее на голове намок, а старая шаль, в которую она куталась, была вся в пятнах от дождя. Ее морщинистое черное лицо могло вполне сойти за маску гнева и дурного предчувствия, нижняя губа оттопырилась — такой Скарлетт еще ее не видела. Мамушка метнула взгляд на Фрэнка, и выражение ее лица, когда она увидела, кто это, сразу стало другим — удовольствие сменилось удивлением, затем появилось и что‑то похожее на чувство вины. С радостными восклицаниями она вперевалку заспешила к Фрэнку, за улыбалась и присела в реверансе, когда он протянул ей руку.

— До чего же приятно видеть старых знакомцев‑то, — сказала она. — И как же вы поживаете, мистер Фрэнк? Батюшки, до чего вы распрекрасно выглядите — настоящий аристократ! Да знай я, что мисс Скарлетт с вами, я бы в жизни не беспокоилась. Я бы уж знала, что она в надежных руках. А то вот пришла домой и вижу — нет ее, и заметалась, что твой цыпленок с отрубленной головой, — думаю, как же это она расхаживает по городу одна, а тут на улицах полно этих нахальных черномазых, которых на волю‑то отпустили. И почему это вы, моя ласточка, не сказали мне, что собрались куда‑то? Вы же совсем больная!

Скарлетт лукаво подмигнула Фрэнку, и он, хоть и был очень расстроен услышанной вестью, все же улыбнулся, понимая, что она призывает его к молчанию и тем самым как бы делает соучастником приятного заговора.

— Ты лучше. Мамушка, отправляйся наверх да приготовь мне сухое платье, — сказала она. — И горячего чаю.

— Господи Иисусе, платье‑то новое совсем сгубили, — запричитала Мамушка. — Когда я теперь поспею высушить‑то его да вычистить — ведь вам же вечером его на свадьбу надевать.

И с этими словами она ушла в дом, а Скарлетт шепнула Фрэнку на ухо:

— Приходите вечером ужинать. А то нам здесь так одиноко. Потом вместе поедем на свадьбу. Будете нас сопровождать! Ну, пожалуйста! Но только ничего не говорите тете Питти про... про Сьюлин. Она ужасно расстроится, а мне не хотелось бы, чтоб она знала, что моя родная сестра...

— Нет, нет, я не скажу! Не скажу! — поспешно произнес Фрэнк, содрогаясь при одной мысли о возможности подобного разговора.

— Вы были так милы со мной сегодня, столько сделали мне добра... Я прямо ожила. — Она сжала ему руку на прощанье и обратила на него весь огонь своих глаз.

Мамушка, ожидавшая Скарлетт за дверью, с непроницаемым видом посмотрела на нее и, пыхтя, стала подниматься следом по лестнице. В спальне она помогла Скарлетт снять намокшее платье, развесила вещи по стульям, уложила свою барышню в постель и за все это время не проронила ни звука. Лишь принеся чашку горячего чаю и горячий кирпич, завернутый во фланель, она поглядела на лежавшую Скарлетт и сказала извиняющимся тоном, какого та прежде никогда у нее не слыхала:

— Овечка моя, как же это вы не сказали родной вашей Мамушке, что вы затеяли? Тогда зачем было везти меня в эту Тланту, в такую‑то даль? Слишком я старая и слишком толстая для таких поездок.

— Ничего не понимаю — о чем ты?

— Ласточка моя, меня ведь не проведешь. Я же вас знаю. Я сейчас видела лицо мистера Фрэнка и видела ваше личико, а по вашему‑то личику я читаю, как пастор по Библии. Да и слышала я, что вы там шептали ему про мисс Сьюлин. Знай я, что вы решили гоняться за мистером Фрэнком, в жизни б сюда не поехала, а сидела б себе дома, где мне и место.

— А за кем же, по‑твоему, я собиралась гоняться? — спросила напрямик Скарлетт, сворачиваясь калачиком под одеялом и понимая, что нечего и пытаться сбить Мамушку со следа.

— Не знаю я, деточка, да только не понравилось мне, какое у вас было личико вчерась. Потом я вспомнила, что мисс Питтипэт писала мисс Мелли, будто у этого жулика Батлера много денег, а уж чего я услышу, того не забываю. А вот мистер Фрэнк — он жентмун, хоть, конечно, и не красавец.

Скарлетт испытующе посмотрела на нее, и Мамушка ответила ей спокойным всезнающим взглядом.

— Ну и что ты теперь станешь делать? Разболтаешь все Сьюлин?

— Помогу вам понравиться мистеру Фрэнку — всем, чем сумею, помогу, — сказала Мамушка, подтыкая одеяло под плечи Скарлетт.

Некоторое время Скарлетт спокойно лежала, наблюдая за Мамушкой, хлопотавшей вокруг нее, и чувствуя несказанное облегчение: как хорошо, когда не нужно лишних слов. Никто не требует у тебя объяснений, никто не осыпает упреками. Мамушка все поняла и молчала. Скарлетт обнаружила, что Мамушка еще более трезво смотрит на вещи, чем она сама. Когда опасность грозила любимице, мудрые старые глаза с крапинками отчетливо видели все, проникая в самую суть вещей, как глаза дикаря или ребенка, не затуманенные слишком развитым сознанием. Скарлетт была Мамушкиным дитем, и раз дите чего‑то хочет — даже если это что‑то принадлежит другому, — Мамушка охотно поможет ей это добыть. А о том, что Сьюлин и Фрэнк Кеннеди вправе иметь свои желания, — это ей и в голову не приходило, разве что вызывало скрытую усмешку. Скарлетт попала в беду и сделала все возможное, чтобы из нее выбраться, да к тому же Скарлетт была любимицей мисс Эллин. И Мамушка без колебаний стала на ее сторону.

Скарлетт чувствовала эту молчаливую поддержку, и по мере того, как тепло от горячего кирпича согревало ее, в ней разгоралась надежда, затеплившаяся еще по дороге домой, когда она дрожала от холода. Сердце застучало сильнее, кровь быстрей побежала по жилам. Силы возвращались к ней, а вместе с ними и такое безудержное возбуждение, что ей захотелось громко, весело расхохотаться. «Нет, со мной еще не все кончено», — ликуя, подумала она. А вслух сказала:

— Дай‑ка мне зеркальце. Мамушка.

— Не открывайте плечики‑то — держите их под одеялом, — приказала Мамушка, передавая ей ручное зеркальце, и толстые губы ее расплылись в улыбке.

Скарлетт посмотрелась в зеркало.

— До чего же я белая — как мертвец, и волосы лохматые — точно хвост у лошади.

— Да уж, вид у вас не слишком хорош.

— М‑м... Сильный идет дождь?

— А то нет? Льет как из ведра.

— Что ж, ничего не поделаешь: все равно придется тебе сходить для меня в город.

— Ну уж нет, в такой дождь не пойду.

— Нет, пойдешь, иначе я пойду сама.

— Да что это вам приспичило — подождать нельзя? Вы нынче прямо как ума решились.

— Мне нужен, — заявила Скарлетт, внимательно глядя на себя в зеркало, — флакон одеколона. Ты вымоешь мне голову и сполоснешь одеколоном. И еще купи мне банку желе из айвовых семян, чтоб волосы гладко лежали.

— И не подумаю я мыть вам голову в этакую погоду, и не разрешу одеколонить ее, точно вы какая гулящая. Не бывать тому, пока я дышу.

— А я вымою голову и волосы надушу. Возьми мой кошелек, достань оттуда пятидолларовый золотой и отправляйся в город. — М‑м‑м — кстати, Мамушка, раз уж ты идешь в город, купи там мне... баночку ружа.

— Чего, чего? — подозрительно спросила Мамушка.

Скарлетт сурово посмотрела на нее, хотя на самом деле ничего подобного не чувствовала. Никогда ведь не знаешь, насколько можно помыкать Мамушкой — вдруг взбунтуется?

— Не твое дело. Спроси — и все.

— Не стану я покупать такое, чего не знаю.

— Ну, раз уж ты такая любопытная — это краска! Краска для лица. Да не стой ты тут и не раздувайся как жаба. Иди, иди.

— Краска! — еле вымолвила Мамушка. — Краска для лица! Вот что: не такая уж вы взрослая, чтоб я не могла вас выпороть! В жизни не видала такого позора! Да вы и вправду ума решились! Мисс Эллин небось в гробу переворачивается! Чтоб красить себе лицо, точно какая‑нибудь...

— Ты прекрасно знаешь, что бабушка Робийяр красилась, и...

— Да, мэм, и носила одну‑единственную нижнюю юбку, и водой ее мочила, чтоб она к телу липла и все ноги видны были, только это еще не значит, что и вам можно так делать! Те времена, когда Старая Хозяйка молодой была, — срамные это были времена, а теперь времена другие, это уж точно, и...

— Ради всего святого, немедленно отправляйся назад в Тару! — прикрикнула на нее Скарлетт, теряя терпение и выскакивая из‑под одеяла.

— Не можете вы отослать меня в Тару, и никуда я не поеду, пока сама не захочу. Я теперь свободная, — возбужденно заговорила Мамушка. — И буду здесь — с места меня не сдвинете. Залезайте‑ка назад в постель. Вам что, воспаления легких захотелось? Извольте‑ка положить на место корсет! Положите, моя ласточка. Мисс Скарлетт, нельзя вам никуда в такую погоду. Господи Иисусе! До чего же вы на батюшку‑то своего похожи! Сейчас же залезайте назад в постель... А краску я покупать все равно не стану! Да я со стыда умру, как люди узнают, что это для моей деточки! Мисс Скарлетт, вы такая миленькая и такая хорошенькая, не нужна вам никакая краска. Ласточка моя, ведь это только дурные женщины употребляют такое.

— Ну, и получают, что им надо, так ведь?

— О господи, вы только послушайте ее! Овечка моя, да не говорите вы таких дурных вещей! И положите эти мокрые чулки назад, моя ласточка. Не могу я допустить, чтоб вы покупали этакую мерзость. Мисс Эллин мне покоя не даст. Залезайте назад в постельку. Так и быть, я уж схожу. Может, найду какую лавочку, где нас не знают.

Вечером у мисс Элсинг, после того как Фэнни обвенчали, Скарлетт стояла и в радостном возбуждении озиралась вокруг, прислушиваясь к тому, как старик Леви вместе с другими музыкантами настраивают инструменты. До чего же хорошо снова очутиться на балу! Приятно было и то, как тепло ее здесь приняли. Когда она вошла в дом вместе с Фрэнком, все кинулись к ней, восторженно ее приветствовали, целовали, пожимали руку, говорили, что им не хватало ее и они больше не отпустят ее в Тару. Молодые люди галантно забыли, как она в свое время изо всех сил старалась разбить им сердце, а девушки — как она из кожи лезла вон, чтобы отбить у них ухажеров. Даже миссис Мерриуэзер, миссис Уайтинг, миссис Мид и прочие матроны, которые были так холодны к ней в последние дни войны, забыли про ее взбалмошность и свое неодобрение и сейчас помнили лишь о том, что и она пострадала вместе со всеми, когда Юг потерпел поражение, а кроме того, что она племянница Питти и вдова Чарлза. Они тепло расцеловались с ней, со слезами на глазах помянули ее покойную матушку и долго расспрашивали об отце и сестрах. Все справлялись про Мелани и про Эшли — почему же они‑то не приехали с ней в Атланту?

Несмотря на радость от такого приема, Скарлетт было немного не по себе, хоть она и старалась это скрыть; а не по себе ей было от того, в каком виде находилось ее бархатное платье. Оно было все еще влажным до колен и грязным у подола, несмотря на отчаянные усилия Мамушки и кухарки, которые и над паром‑то его держали, и щеткой для волос чистили, и отчаянно махали им перед огнем. Скарлетт боялась, что кто‑нибудь заметит, в каком оно жалком состоянии, и поймет, что это ее единственное приличное платье. Немного успокаивало ее то, что многие другие гостьи одеты были куда хуже. Платья на них были такие старые, хотя и тщательно залатанные и наглаженные. На ней же платье было новое, без заплат — ну, чуточку влажное, подумаешь, — собственно, единственное новое платье на балу, если не считать белого атласного подвенечного платья Фэнни.

Вспомнив, что говорила тетя Питти о финансовом положении Элсингов, Скарлетт подивилась, откуда они сумели взять денег на такое платье, на все эти напитки и украшения, да еще и музыкантов. Должно быть, влетело им это в немалую сумму. Наверно, заняли, а может, клан Элсингов сложился, чтобы устроить Фэнни свадьбу. Такая свадьба в тяжелые времена выглядела не меньшим расточительством, чем надгробия молодым Тарлтонам, и Скарлетт показалось это столь же странным и раздражающим, как и тогда, когда она стояла на кладбище у могил своих бывших ухажеров. Дни, когда можно было, не считая, швырять деньгами, отошли в прошлое. Почему же эти люди продолжают поступать как в былое время, хотя былые времена прошли?

Она постаралась выкинуть из головы эти раздражавшие ее мысли. В конце концов, не ее это деньги, и нечего портить себе удовольствие от вечера и кипятиться из‑за человеческой глупости.

Оказалось, что она хорошо знает жениха — Томми Уэлберна из Спарты, которого она выхаживала в 1863 году, когда его ранило в плечо. В то время это был красивый молодой человек шести футов росту, променявший медицинский колледж на кавалерию. Сейчас же он казался маленьким старичком — так согнула его полученная в бедро рана. Передвигался он с большим трудом и «враскорячку», что, по мнению тети Питти, выглядело непристойно. Но внешний вид, казалось, не волновал его, или, вернее, он над этим не задумывался и держался как человек, который ни у кого не просит снисхождения. Он окончательно забросил медицину и стал подрядчиком — нанял ирландцев и строил новый отель. Скарлетт подивилась про себя, как это он в его состоянии управляется со столь тяжелыми обязанностями, но расспрашивать не стала — лишь криво усмехнулась и подумала, что нужда и не такое заставит делать.

Томми, Хью Элсинг и маленький, похожий на мартышку Рене Пикар болтали с ней, пока столы и стулья отодвигали к стенам, освобождая место для танцев. Хью совсем не изменился с тех пор, как Скарлетт в последний раз видела его в 1862 году. Он был все такой же худющий и нервный, клок светло‑каштановых волос все так же свисал на лоб, и все такие же тонкие, никчемные были у него руки. А вот Рене со времени своей скоропалительной женитьбы на Мейбелл Мерриуэзер заметно изменился. Хотя в его черных, глазах по‑прежнему поблескивали огоньки галльского юмора и по‑прежнему била в нем чисто креольская любовь к жизни, и он все так же заливисто смеялся, в его лице появилось что‑то жесткое, чего не было в первые дни войны. Исчезла и надменная элегантность, отличавшая его в ту пору, когда он расхаживал в своей сногсшибательной форме зуава.

— Щечки — как роза, глазки — как изумруд! — произнес он, целуя руку Скарлетт и воздавая должное наложенным ею румянам. — Все такой же прелесть, как тогда, на благотворительный базар. Помните? В жизни не забуду, как вы бросил обручальный кольцо в мою корзинку. Очень, очень мужественно! Никак бы не подумал, что вы так долго будет без новый кольцо!

Глаза его сверкнули ехидством, и он ткнул Хью локтем под ребро.

— А я никак бы не подумала, что вы будете разъезжать в фургоне с пирогами, — сказала она.

Но вместо того, чтобы устыдиться столь унизительного занятия, о котором было сказано во всеуслышание, Рене расхохотался с довольным видом и хлопнул Хью по спине.

— Туше![[13]](#footnote-13) — воскликнул он. — Это мой теща, мадам Мерриуэзер, заставлять меня делать мой первый работа в жизни. Я, Рене Пикар, только растить скаковых лошадей да на скрипочка играть, а вот теперь править фургон с пироги, и очень мне это нравится! Мадам теща — она что угодно делать заставит. Надо ей генерал быть, и мы бы выиграл война, а, Томми?

«Ну и ну, — подумала Скарлетт, — он с удовольствием разъезжает в фургоне с пирогами, хотя у его родных было поместье — добрых десять миль земли вдоль Миссисипи — и еще большущий дом в Новом Орлеане».

— Если бы наши тещи пошли с нами на войну, мы бы за неделю расправились с янки, — в тон Рене сказал Томми и посмотрел на стройную прямую фигуру своей новообретенной тещи. — Мы и продержались‑то так долго только потому, что за нами стояли наши женщины и не хотели сдаваться.

— И никогда не сдадутся, — добавил Хью, и на губах его появилась гордая, хотя и чуть ироническая улыбка. — Вы здесь не найдете ни одной леди, которая бы сдалась, хотя мужская половина рода и повела себя иначе у Аппоматтокса. Они все это пережили куда острее, чем любой из нас. Мы‑то ведь познали поражение, сражаясь.

— А они — ненавидя, — докончил за него Томми. — Верно, Скарлетт? Если мужчины оказались не на высоте, это куда больше волнует дам, чем нас. Хью собирался быть судьей, Рене собирался играть на скрипке перед коронованными особами, а... — и он пригнулся, спасаясь от удара Рене, — а я собирался стать врачом, теперь же...

— Дайте срок, — воскликнул Рене. — Вот увидите — я становится король пирожков на Юг! А славный мой Хью — король плиты, а ты, мой Томми, ты будешь иметь ирландский рабы вместо твои черный рабы. Вот какой перемена — весело! А что вы поделывайт, мисс Скарлетт? А мисс Мелли? Корова доите, хлопок собирайте?

— Вот уж нет, — холодно отрезала Скарлетт, решительно не понимая, как это Рене может столь беспечно относиться к тяготам жизни. — Этим занимаются у нас негры.

— Мисс Мелли назвал свой мальчик Борегар.[[14]](#footnote-14) Скажит ей, я, Рене, одобряйт, и скажит: только Иисус — имя лучше. — Он улыбался, но глаза его сверкнули гордостью, когда он произнес имя смельчака — героя Луизианы.[[15]](#footnote-15)

— Но есть еще Роберт Эдвард Ли, — заметил Томми. — Хотя я вовсе не собираюсь принижать репутацию старины Борегара, я своего первого сына назову Боб Ли Уилберн.

Рене расхохотался и пожал плечами.

— Я расскажу тебе одна история. Только это чистая правда. И ты сейчас, увидит, что креолы думать о наш храбрый Борегар и ваш генерал Ли. В поезде под Новый Орлеан едет человек из Виргиния — солдат генерал Ли, и он встречайт креол из войск Борегар. И этот человек из Виргиния — он говорит, говорит, говорит, как генерал Ли делать то и генерал Ли сказать это. А креол — он вежливый, он слушать и морщить лоб, точно хочет вспоминать, а потом улыбаться и говорит: «Генерал Ли?! А, я вспомнил! Генерал Ли! Это тот человек, про который генерал Борегар очень хорошо говорит!»

Скарлетт из вежливости посмеялась, хотя ничего в этой истории не поняла — разве лишь то, что креолы, оказывается, такие же воображалы, как обитатели Чарльстона и Саванны. А кроме того, она всегда считала, что сына Эшли следовало назвать по отцу.

Музыканты, попиликав, чтобы настроить инструменты, заиграли «Старик Дэн Таккер», и Томми повернулся к ней.

— Будете танцевать, Скарлетт? Я в партнеры вам, конечно, не гожусь, но Хью или Рене...

— Нет, спасибо, я все еще в трауре по маме, — поспешно сказала Скарлетт. — Я посижу.

Она отыскала глазами Фрэнка Кеннеди, разговаривавшего с миссис Элсинг, и поманила его.

— Я посижу в нише вон там, а вы принесите мне чего‑нибудь освежительного, и мы поболтаем, — сказала она Фрэнку, когда три ее собеседника отошли.

Он тотчас помчался выполнять ее просьбу и вскоре вернулся с бокалом вина и тоненьким, как бумага, ломтиком кекса, и Скарлетт, старательно уложив юбки, чтобы скрыть наиболее заметные пятна, уселась в нише в дальнем конце залы. Память об унизительных минутах, пережитых утром у Ретта, отодвинулась на задний план — ее возбуждал вид всех этих людей и звуки музыки, которой она так давно не слыхала. Завтра она снова будет думать о поведении Ретта, о своем унижении и снова будет кипеть от гнева. Завтра она будет прикидывать, удалось ли ей оставить след в раненой, потрясенной душе Фрэнка. Но не сегодня. Сегодня в ней до самых кончиков ногтей бурлила жизнь, все чувства были обострены надеждой, и глаза сверкали.

Она смотрела в большую залу на танцующих из своей ниши и вспоминала, какой красивой казалась ей эта комната, когда она впервые приехала в Атланту во время войны. Тогда паркет был натерт и сверкал как стекло, а огромная люстра под потолком сотнями крошечных призм ловила и отражала сияние десятков свечей и, словно бриллиант, посылала во все концы комнаты огненно‑красные и синие огни. Со старинных портретов на стенах благородные предки милостиво взирали на гостей, излучая радушие. Мягкие подушки на диванчиках розового дерева так и манили к себе, а на почетном месте, в нише, стояла самая большая софа. Она любила сидеть здесь во время балов и вечеринок. Отсюда видна была вся зала и расположенная за ней столовая, где стоял овальный стол красного дерева, за которым могло поместиться человек двадцать, а вдоль стен — двадцать стульев на изящных ножках, массивный буфет и горка, заставленные тяжелым серебром, семисвечными канделябрами, кубками, сосудами для уксуса и масла, графинами и сверкающими рюмками. Она так сидела здесь, на софе, в первые годы войны, всегда с каким‑нибудь красивым офицером, наслаждаясь звуками скрипки и контрабаса, аккордеона и банджо, перекрывавшими шарканье ног танцоров по навощенному, до блеска натертому паркету.

А сейчас люстра была темная. Она висела, как‑то странно скособочась, и большинство хрустальных подвесок отсутствовало, словно янки, избрав своей мишенью эту красавицу, швыряли в нее сапогами. Сейчас залу освещала керосиновая лампа и несколько свечей, а главным образом — огонь, гудевший в большом камине. При его неровном свете видно было, как непоправимо поцарапан, испорчен тусклый старый паркет. На выцветших обоях остались квадраты от висевших здесь прежде портретов, а широкие трещины в штукатурке напоминали о том дне осады, когда в дом попал снаряд, обрушил крышу и часть второго этажа. Тяжелый старинный стол красного дерева, заставленный сладкими пирогами и графинами с вином, по‑прежнему царил в опустевшей столовой, но он тоже был весь исцарапанный, а на сломанных ножках виднелись следы неумелой починки. Горка, серебро и стулья с тонкими ножками — все исчезло. Не было и тускло‑золотых парчовых портьер, обрамлявших высокие французские окна в глубине комнаты, — сохранились лишь старые кружевные занавески, чистые, но штопаные‑перештопаные.

На месте софы с изогнутой спинкой, которую Скарлетт так любила, стояла совсем неудобная, жесткая деревянная скамья. Скарлетт сидела на ней, стараясь придать своей позе возможно больше изящества и от души жалея, что мокрая юбка не позволяет ей танцевать. А танцевать так хотелось! Зато сидя в этой уединенной нише, она, конечно, куда быстрее сумеет вскружить голову Фрэнку, чем мелькая в бешеном вальсе: она станет с зачарованным видом слушать его болтовню, поощряя своим вниманием к еще большему полету глупости.

Но музыка так звала! Скарлетт постукивала туфелькой в такт ударам широкой разлапистой ступни старика Леви, а он вовсю наяривал на сладкозвучном банджо и объявлял фигуры танца. Ноги танцоров шаркали, скользили, постукивали по полу, две цепочки сходились, расходились, кружились, руки взлетали.

Старик Дэн Таккер захмелел...

(Кружите партнерш!)

В камин упал и очумел!

(Скользите, леди, скользите!)

После унылых, изнуряющих месяцев в Таре так хорошо было снова слышать музыку и шарканье ног по паркету, так хорошо было видеть вокруг в слабом свете свечей знакомые, дружеские, смеющиеся лица, слышать старые шутки и прибаутки, подтруниванья, заигрыванья. Точно ты была мертва и снова вернулась к жизни. И вернулось то веселое время, что было пять лет назад. Если бы закрыть глаза и не видеть этих старых шитых‑перешитых платьев, и залатанных башмаков, и чиненых туфель, если бы в памяти не вставали лица молодых людей, которые никогда уже не будут танцевать, — могло бы показаться, что и в самом деле ничего не изменилось. Но сейчас, глядя на пожилых людей, толпившихся вокруг графина с вином в столовой, на матрон, стоявших, беседуя, вдоль стен и не знавших, куда девать лишенные веера руки, и на покачивавшихся, подпрыгивавших молодых танцоров, Скарлетт вдруг холодно, с пугающим спокойствием осознала, что все изменилось — изменилось непоправимо, так изменилось, словно перед ней были не люди, а призраки.

Выглядели они как прежде, но были другими. Что же произошло? Лишь то, что они стали на пять лет старше? Нет, тут было что‑то другое — не просто следы времени. Что‑то ушло из них, ушло из их мира. Пять лет назад ощущение незыблемости окружающего жило в них столь прочно, было столь неизменно, что они даже не сознавали этого. И цвели, укрытые им от бурь, как цветы в оранжерее. Теперь же это исчезло, как исчезли и былая радость, и былое ожидание чего‑то чудесного, волнующего, и былой блеск их жизни.

Скарлетт знала, что и она изменилась, но не в такой мере, как они, и это озадачивало ее. Она сидела и наблюдала за ними и чувствовала себя среди них чужой — совсем чужой и одинокой, словно явилась сюда с другой планеты, говорила на непонятном им языке и не понимала их языка. И тут у нее мелькнула мысль, что такое же чувство испытывала она, когда бывала с Эшли. С ним и с людьми его типа, — а ведь именно они заполняли ее мир, — Скарлетт чувствовала себя как бы вне пределов знакомого и понятного.

Их лица почти не изменились, их манеры не изменились совсем, и все же у нее было такое ощущение, что только это и осталось от ее старых друзей. Неподвластное возрасту достоинство, неподвластная времени галантность — все это по‑прежнему было при них и будет с ними до конца дней, но, кроме того, они будут нести до могилы еще и вечную горечь — горечь слишком глубокую, чтобы описать ее словами. Это были вежливые, пылкие, усталые люди, которые потерпели поражение, но не желали этого признавать, — люди, которых подкосила жизнь, а они упрямо продолжали стоять. Они были раздавлены и беспомощны, эти обитатели покоренных провинций, они смотрели на свой край, который так любили, и видели, как топчет его враг, как всякие проходимцы превращают закон в посмешище, как бывшие рабы посягают на их благополучие, как мужчин лишают всех прав, а женщин оскорбляют. При этом они не забывали о могилах своих близких.

Все в их мире переменилось — все, кроме старого стиля жизни. Старые обычаи сохранились — должны сохраниться, ибо это все, что у них осталось. И они крепко держались того, что лучше всего умели и больше всего любили в былые дни, — эта неспешность манер, изысканная галантность, милая непринужденность в общении, а главное — забота мужчин о женщинах. Следуя традициям, в которых они воспитывались, мужчины вели себя галантно и мягко, им почти удавалось создать вокруг своих женщин такую атмосферу, которая отгораживала их от всего жестокого и непотребного для женских глаз. Вот уж это верх глупости, думала Скарлетт: ведь почти не осталось ничего такого, чего женщины, даже наиболее оберегаемые, не увидели бы и не узнали за последние пять лет. Они ухаживали за ранеными, закрывали глаза покойникам, пережили войну, пожары, разрушения, познали страх, бегство, голод.

Но чего бы ни видели их глаза и каким бы тяжким трудом ни были заняты их руки, они оставались леди и джентльменами, коронованными особами в изгнании, — исполненные горечи, холодно‑безучастные, нелюбопытные, добрые друг к другу, твердые как алмаз и такие же блестящие и хрупкие, как хрустальные подвески разбитой люстры у них над головой. Былые времена безвозвратно ушли, а эти люди будут по‑прежнему жить согласно своим обычаям — так, словно ничего не изменилось, — очаровательно медлительные, твердо уверенные, что не надо спешить и, подобно янки, устраивать свалку из‑за лишнего гроша, твердо решившие не расставаться со старыми привычками.

Да, Скарлетт знала, что и она сильно изменилась. Иначе не могла бы она жить так, как жила после своего бегства из Атланты; иначе не обдумывала бы сейчас тот шаг, который так отчаянно надеялась совершить. Но и твердость была иной, чем у них, а в чем разница, она сказать не могла. Возможно, в том, что не было такого поступка, который она не могла бы совершить, тогда как у этих людей очень много было такого, чего они ни при каких условиях совершить не могли бы. Возможно, дело в том, что они уже утратили всякую надежду, но продолжали улыбаться жизни и скользили по ней, склонив голову в грациозном поклоне. А Скарлетт так не могла.

Она не могла повернуться к жизни спиной. Она должна жить, а жизнь оказалась такой жестокой, такой враждебной, что нечего было и пытаться сгладить все улыбкой. Скарлетт не замечала в своих друзьях ни их мягкости, ни мужества, ни несгибаемой гордости. Она видела только глупое чванство, которое позволяло им наблюдать явления жизни и с улыбкой отворачиваться, чтобы не смотреть правде в лицо.

Глядя невидящими глазами на танцоров, раскрасневшихся от кадрили, Скарлетт спрашивала себя: преследуют ли их, как ее, мысли о погибших возлюбленных, об изувеченных мужьях, о голодных детях, об уплывающих из рук акрах земли, о том, что под родными крышами живут чужие люди? Конечно, преследуют! Она знала обстоятельства их жизни, быть может, лишь чуть хуже, чем своей собственной. Их утраты были ее утратами, их тяготы — ее тяготами, их проблемы — те же, что и у нее. Только воспринимали они все иначе. Лица, которые она видела сейчас перед собой, не были лицами, — это были маски, отлично выполненные маски, которые не будут сняты никогда.

Но если они так же остро страдают от жестокостей жизни, как она, — а они страдают, — то как могут они сохранять этот веселый вид, эту бездумную легкость? И собственно, зачем им даже стараться ее сохранять? Скарлетт не понимала их, и это ее невольно раздражало. Нет, она никогда не сможет быть такой. Не сможет смотреть на то, как рушится мир, с таким видом, будто это ее совсем не касается. Она была словно лисица, за которой гонятся охотники, — мчалась во весь дух, так, что, казалось, вот‑вот лопнет сердце, стремилась укрыться в норе, пока ее не настигли псы.

И внезапно она возненавидела их всех, потому что они — иные, чем она, потому что они несут свои потери с таким видом, какого ей никогда не удастся на себя напустить, да, впрочем, и не захочется. Она ненавидела их, этих улыбающихся, порхающих чужаков, этих горделивых идиотов, которые черпали свою гордость в том, что навсегда утратили, и словно бы даже гордились своими утратами. Женщины улыбались, как положено леди, да это и были леди — она‑то ведь знает, — хотя каждый день занимались физическим трудом и ломали голову над тем, откуда взять новое платье. Леди! А вот она уже не чувствует себя леди, несмотря на бархатное платье и надушенные волосы, несмотря на гордость, рожденную благородством происхождения и богатством, которое она когда‑то имела. Жестокая необходимость своими руками копаться в красной земле Тары сорвала с нее внешние признаки благородства, и она знала, что не почувствует себя леди до тех пор, пока стол ее не будет ломиться от серебра и хрусталя, пока на нем не будет дымиться обильная еда, пока у нее в конюшнях не будет собственных лошадей и колясок, пока черные — а не белые — руки не станут убирать хлопок в Таре.

«Вот! — со злостью подумала она, глубоко втянув в себя воздух. — Вот в чем разница! Они, хоть и бедные, но по‑прежнему чувствуют себя леди, а я — нет. Эти идиотки, видно, не понимают, что нельзя оставаться леди, когда у тебя нет ни гроша!»

Но даже в эту минуту озарения Скарлетт смутно сознавала, что, несмотря на кажущуюся глупость, держатся они правильно. Эллин наверняка была бы такого мнения. И это беспокоило Скарлетт. Она понимала, что должна бы испытывать те же чувства, что и они, но не могла. Она понимала, что должна бы искренне верить, как верили они, что прирожденная леди остается леди, даже впав в бедность, но заставить себя верить этому она не могла.

Всю жизнь она слышала, как все вокруг издевались над янки за то, что они считают себя аристократами, будучи аристократами благодаря денежному мешку, а не по происхождению. Но сейчас, несмотря на всю кощунственность такой мысли, она невольно подумала, что тут янки‑то, оказывается, правы, хоть и не правы во многом другом. Без денег нельзя быть леди. Скарлетт знала, что Эллин упала бы в обморок, услышав от дочери такие слова. Даже очутись Эллин на самом дне нищеты, она бы не увидела в этом ничего постыдного. А Скарлетт сгорала от стыда! Да, именно от стыда. Она стыдилась своей бедности, стыдилась, что вынуждена всячески изворачиваться, жить в нужде и работать, как негритянка.

Она раздраженно передернула плечами. Быть может, они правы, а она не права, но ведь эти гордые идиоты не смотрят вперед, а она смотрит, напрягая каждый нерв, рискуя даже честью и добрым своим именем, лишь бы вернуть то, что все они потеряли. Многие из них считали ниже своего достоинства участвовать в погоне за деньгами. Но времена настали жестокие и тяжкие. И они требовали жестокой, тяжкой борьбы, если ты хотел выйти победителем. Скарлетт знала, что семейные традиции удерживают многих из этих людей от борьбы, целью которой являются деньги. Ведь все они считают, что откровенная погоня за деньгами, даже разговор о деньгах — вульгарны до крайности. Хотя, конечно, есть среди ее знакомых исключения. Взять, к примеру, миссис Мерриуэзер с ее пекарней, и Рене, который развозит в фургоне пироги. Или Хью Элсинга, занявшегося рубкой леса и продажей дров. Или Томми, ставшего подрядчиком. Или Фрэнка, у которого хватило духу открыть лавку. Ну, а остальные — основная, так сказать, масса южан? Плантаторы попытаются удержать в руках несколько акров земли и так и будут прозябать в бедности. Юристы и врачи вернутся к своим профессиям и станут ждать клиентов, которые, возможно, так никогда и не появятся. А все прочие — те, кто безбедно жил на проценты с капитала? Что будет с ними?

Нет, не станет она прозябать всю жизнь в нищете. Не станет сидеть и терпеливо ждать чуда. Она бросится в самую гущу жизни и постарается вырвать у судьбы все, что сможет. Ее отец начинал как бедный эмигрант, а стал владельцем обширных угодий Тары. Чего достиг он, может достичь и его дочь. Она не из тех, кто все принес в жертву на алтарь Правого Дела, которого уже не существует, и теперь, после краха, гордится тем, что ничего для Дела не пожалел. Эти люди черпают мужество в прошлом. Она же черпает мужество, строя планы на будущее. И в данную минуту ее будущее — Фрэнк Кеннеди. Во всяком случае, у него есть лавка и есть деньги. И если только ей удастся выйти за него замуж и завладеть этими деньгами, она сумеет продержать Тару еще год. А тогда — тогда пусть Фрэнк покупает свою лесопилку. Она сама видела, как быстро строится город, и всякий, кто способен заняться продажей леса сейчас, пока почти нет конкуренции, напал бы на золотую жилу.

Откуда‑то из глубин памяти всплыли слова Ретта про деньги, которые он нажил во время блокады, — он сказал ей об этом как‑то в первые годы войны. Она не потрудилась тогда вникнуть в то, что он говорил, но сейчас все стало так ясно, и она подивилась, почему не оценила всей глубины его мысли тогда — по молодости, должно быть, или по глупости.

«Деньги можно заработать и на крушении цивилизации, и на создании новой».

«Вот он и предвидел крушение нашей цивилизации, — подумала она, — и был прав. А деньги по‑прежнему может нажить любой, кто не боится работать — или красть».

Она увидела Фрэнка — он пробирался к ней через залу с рюмкой ежевичной настойки в одной руке и блюдечком, на котором лежал кусочек пирога, в другой — и поспешно изобразила на лице улыбку. Ей даже в голову не пришло задаться вопросом, стоит ли Тара того, чтобы выходить замуж за Фрэнка. Она знала, что стоит, и не задумывалась над этим.

И вот она потягивала настойку и улыбалась ему, зная, что румянец играет у нее на щеках ярче, чем у любой из танцующих. Она подобрала юбки, усадила Фрэнка рядом и принялась небрежно обмахиваться платочком, чтобы легкий запах одеколона долетал до него. Она гордилась тем, что от нее пахнет одеколоном, ибо ни одна другая женщина в зале не была надушена, и Фрэнк это заметил. Внезапно осмелев, он шепнул ей, что она такая румяная, такая душистая — ну прямо роза.

Вот если бы только он не был таким застенчивым! Он напоминал ей робкого старого бурого зайца. Вот если бы он был так же галантен и пылок, как Тарлтоны, или даже так грубовато‑напорист, как Ретт Батлер! Но обладай он этими качествами, у него, наверное, хватило бы смекалки учуять отчаяние, притаившееся за ее трепещущими ресницами. Он же слишком мало знал женщин и потому даже заподозрить не мог, что она замышляет. Тут ей повезло, но уважения в ее глазах это ему не прибавило.

### Глава XXXVI

Она вышла замуж за Фрэнка Кеннеди через две недели после головокружительно быстрого ухаживания: он так пылок, сказала она ему краснея, что у нее просто не хватает духу противиться долее.

Он, конечно, не знал, как эти две недели она шагала по ночам из угла в угол, скрипя зубами от досады на его нерешительность — а ведь она и поощряла его, и намекала — и молясь, чтобы какое‑нибудь несвоевременное письмо от Сьюлин не разрушило ее планов. Но, слава богу, сестра ее не из тех, кто способен поддерживать переписку: она обожает получать письма и терпеть не может писать сама. Однако все возможно — все, думала Скарлетт, шагая в долгие ночные часы взад и вперед по холодному полу своей спальни и кутаясь в накинутую поверх ночной рубашки выцветшую шаль Эллин. Фрэнк не знал, что она получила коротенькое письмо от Уилла, в котором тот сообщал, что Джонас Уилкерсон снова приезжал в Тару и, узнав об ее отъезде в Атланту, так разбушевался, что Уилл с Эшли в самом буквальном смысле слова вышвырнули его вон. Письмо Уилла напомнило Скарлетт о том, что она и так слишком хорошо знала: время, оставшееся до уплаты дополнительного налога, истекало. И по мере того как шли дни, Скарлетт все глубже погружалась в отчаяние — ей хотелось схватить стеклянную колбу часов и задержать пересыпающийся в ней песок.

Но она так хорошо скрывала свои чувства, так хорошо играла свою роль, что Фрэнк ничего не заподозрил, ничего не увидел, кроме того, что лежало на поверхности, а видел он лишь прелестную беспомощную молодую вдову Чарлза Гамильтона, которая каждый вечер встречала его в гостиной мисс Питтипэт и восторженно, затаив дыхание, внимала ему, когда он рассказывал о своих планах переоборудования лавки, о том, сколько денег рассчитывает заработать, купив лесопилку. Ее неясное сочувствие, ее горящие глаза, ее интерес к каждому его слову были бальзамом, врачевавшим рану, которую нанесла ему предполагаемая измена Сьюлин. А у него так болело сердце, поступок Сьюлин так глубоко потряс его, так больно задел его самолюбие — самолюбие застенчивого, легкоранимого, немолодого уже холостяка, знающего, что он не пользуется успехом у женщин. Написать Сьюлин и отчитать ее за неверность он не мог: ему претила даже самая мысль об этом. Зато он мог облегчить душу, разговаривая о случившемся со Скарлетт. Она же, слова худого не говоря о Сьюлин, вместе с тем выказывала полное понимание: да, сестра очень плохо обошлась с ним, а ведь он заслуживает совсем другого отношения, и, конечно же, найдется женщина, которая по‑настоящему оценит его.

Эта крошка, миссис Гамильтон, была так хороша со своими румяными щечками; она то грустно вздыхала, думая о своей печальной участи, то, слушая шуточки, которые он отпускал, чтобы приободрить ее, так весело и мило смеялась, словно переливчато звенели крошечные серебряные колокольчики. Зеленое платье, теперь уже отчищенное Мамушкой, выгодно обрисовывало ее стройную фигурку с осиной талией, а каким колдовским был этот нежный запах, неизменно исходивший от ее платочка и волос! Чтоб такая славная маленькая женщина жила одна, совсем беззащитная в этом мире, всей жестокости которого она даже не понимает, — позор, да и только! Ведь у нее нет ни мужа, ни брата, а теперь даже и отца, который мог бы защитить ее. Фрэнк считал, что мир слишком безжалостен к одиноким женщинам; Скарлетт помалкивала, от души желая, чтобы он пребывал в этом убеждении.

Он стал заходить каждый вечер, ибо атмосфера в доме мисс Питтипэт была приятная и успокаивающая. Мамушка открывала ему парадную дверь с улыбкой, предназначенной для людей достойных, Питти подавала ему кофе, сдобренный коньяком, и окружала вниманием, а Скарлетт ловила каждое его слово. Иногда днем, отправляясь по делам, он приглашал Скарлетт прокатиться с ним в кабриолете. Ему было весело с ней, ибо она задавала уйму глупых вопросов — «как истинная женщина», без всякого осуждения говорил он себе. Он, само собою, смеялся над ее неосведомленностью в делах, и она тоже смеялась и говорила:

— Ну, не можете же вы рассчитывать, чтобы такая глупая женщина, как я, что‑то понимала в мужских занятиях.

Впервые за всю свою жизнь закоренелого холостяка он благодаря Скарлетт чувствовал себя сильным мужчиной, созданным господом богом по более благородному образцу, чем многие другие, — созданным, чтобы защищать глупеньких беспомощных женщин.

И когда они наконец уже стояли вместе перед алтарем и ее маленькая ручка доверчиво покоилась в его руке, а опущенные ресницы отбрасывали густой полукруг тени на розовые щеки, он едва ли мог бы сказать, как это произошло. Он сознавал лишь, что впервые в жизни совершил романтический и дерзкий поступок. Он, Фрэнк Кеннеди, так вскружил голову этой прелестной женщине, что она, забыв обо всем на свете, упала в его сильные объятья. Сознание одержанной победы пьянило его.

На венчании не было ни друзей, ни родных. Свидетелями они пригласили людей посторонних, с улицы. Скарлетт настояла на этом, и Фрэнк уступил, хотя и без особой охоты, ибо ему доставило бы удовольствие видеть рядом свою сестру и зятя из Джонсборо. И чтобы потом был прием в гостиной мисс Питти, среди веселых друзей, которые пили бы за здоровье невесты. Но Скарлетт не желала слышать о том, чтобы на венчании присутствовала даже мисс Питти.

— Только мы, Фрэнк, вы и я, — взмолилась она, сжимая ему локоть. — Как будто мы с вами сбежали. Я всегда мечтала о том, чтобы бежать с любимым и обвенчаться тайно! Ну, прошу вас, радость моя, ради меня!

Это ласковое слово, столь непривычное для его уха, и две слезинки, ярко сверкнувшие в уголках ее светло‑зеленых глаз, когда она умоляюще посмотрела на него, — решили дело. В конце концов, мужчина должен уступать невесте, особенно в день свадьбы. Ведь для женщины все эти сантименты имеют такое значение.

И не успел он опомниться, как оказался женатым.

Фрэнк, несколько удивленный ласковой настойчивостью жены, дал ей все же триста долларов, хотя сначала и не хотел давать, потому что это опрокидывало его надежды тотчас купить лесопилку. Но не мог же он допустить, чтобы семью Скарлетт выселили с насиженного места, да к тому же его огорчение довольно быстро начало таять — такая Скарлетт стала с ним нежная, так «одаривала» за его щедрость. Ни одна женщина ни разу еще не «одаривала» Фрэнка, и он начал думать, что в конце концов не зря дал ей денег.

А Скарлетт тотчас отправила Мамушку в Тару с тройным наказом: вручить Уиллу деньги, объявить о ее замужестве и привезти Уэйда в Атланту. Через два дня она получила от Уилла коротенькую записку, которую всюду носила с собой и читала и перечитывала со все возрастающей радостью. Уилл писал, что налог они уплатили и Джонас Уилкерсон, узнав об этом, «вел себя не наилучшим образом», но грозить перестал. Под конец Уилл весьма лаконично и официально, без каких‑либо эмоций желал Скарлетт счастья. Уилл, конечно, понимал, какой поступок она совершила и почему, и не осуждал ее за это, но и не хвалил. «А что, должно быть, думает Эшли? — в лихорадочном волнении спрашивала себя Скарлетт. — Что он, должно быть, думает обо мне — ведь прошло так мало времени после нашего объяснения во фруктовом саду Тары!»

Получила она письмо и от Сьюлин, письмо с орфографическими ошибками, оскорбительное, залитое слезами и полное такого яда и столь точных заключений о характере сестры, что всю жизнь Скарлетт потом не могла ни забыть его, ни простить. И тем не менее радость, что Тара спасена, по крайней мере на ближайшее время, осталась: ничто не способно было ее омрачить.

Трудно было Скарлетт привыкнуть к тому, что ее дом теперь в Атланте, а не в Таре. Пока она отчаянно пыталась добыть деньги, необходимые для уплаты налога, она думала лишь о Таре и о той участи, которая грозит поместью, — для других мыслей не оставалось места. Даже когда она стояла под венцом, у нее ни на секунду не возникло мысли, что она спасает родной очаг ценою вечного из него изгнания. Теперь же, когда дело было сделано, она поняла это, и волна тоски по дому захлестнула ее. Но обратно не повернешь. Ставка сделана, и она не станет брать ее назад. К тому же она была так благодарна Фрэнку за то, что он спас Тару, — у нее даже появилось теплое чувство к нему и решимость сделать все, чтобы он никогда не пожалел о своей женитьбе.

Дамы Атланты знали о том, что происходит у соседей, лишь немногим меньше, чем о собственных делах, — только интересовало это их куда больше. Все они знали, что вот уже несколько лет, как Фрэнк Кеннеди «сговорился» со Сьюлин О’Хара. Он даже однажды сказал запинаясь, что «намеревается жениться на ней весной». Неудивительно поэтому, что вслед за сообщением о его тайной свадьбе со Скарлетт поднялась настоящая волна сплетен, догадок и далеко идущих предположений. Миссис Мерриуэзер, никогда не отказывавшаяся от возможности удовлетворить свое любопытство, напрямик спросила Фрэнка, как следует понимать его женитьбу на одной сестре вместо другой. Она сообщила потом миссис Элсинг, что вместо ответа увидела лишь идиотски счастливый взгляд. К Скарлетт же обратиться с таким вопросом миссис Мерриуэзер при всей своей отваге не посмела. А Скарлетт все эти дни была какая‑то спокойная, мягкая — только в глазах затаилось ублаготворенное самодовольство, которое не могло не раздражать окружающих, однако держалась она столь неприступно, что никому не хотелось заводить с ней разговор.

Скарлетт знала, что вся Атланта говорит о ней, но ее это не волновало. В конце концов, что тут такого аморального — выйти замуж? Тара спасена. Так пусть болтают. А у нее и без того хватает забот. И главное — тактично внушить Фрэнку, что лавка его должна приносить больше денег. Джонас Уилкерсон нагнал на нее такого страху, что она теперь не сможет жить спокойно, пока у них с Фрэнком не появятся лишние деньги. Даже если не произойдет ничего непредвиденного, надо, чтобы Фрэнк делал больше денег, иначе она не сможет достаточно отложить, чтобы уплатить налог за Тару и в будущем году. Да и то, что говорил Фрэнк насчет лесопилки, запало ей в голову. Имея лесопилку, Фрэнк сможет заработать кучу денег. Любой заработает: ведь лес такой дорогой. И она молча изводила себя этими мыслями, потому что денег у Фрэнка было недостаточно, чтобы заплатить налог за Тару и купить лесопилку. Вот тогда‑то она и решила, что он должен больше выколачивать из лавки и поворачиваться быстрее, чтобы успеть купить лесопилку, пока кто‑нибудь другой не схватил ее. Скарлетт отлично понимала, что дело это стоящее.

Будь она мужчиной, она приобрела бы лесопилку, даже если бы пришлось заложить лавку. Но когда на другой день после свадьбы она деликатно намекнула на это Фрэнку, он лишь улыбнулся и сказал, чтобы она не забивала делами свою милую хорошенькую головку. Он удивился уже тому, что она вообще знает, что такое заклад, и сначала это его позабавило. Но довольно скоро — в первые же дни после свадьбы — он почувствовал, что ее деловитость не столько забавляет, сколько шокирует его. Однажды он по неосторожности сказал Скарлетт, что «кое‑кто» (он остерегся назвать имена) задолжал ему, но не может сейчас рассчитаться, ну, а он, конечно, не хочет нажимать на старых друзей и бывших плантаторов. Он тут же горько пожалел, что вообще упомянул об этом, ибо Скарлетт одолела его расспросами. С прелестным, детски‑наивным видом она сказала, что это просто любопытно, кто же все‑таки должен ему и сколько. Фрэнк попытался уклониться от прямого ответа. Нервно покашливая, он развел руками и повторил свою дурацкую фразу насчет того, что не надо ей загружать делами свою милую хорошенькую головку.

Сам же он начал понимать, что эта милая хорошенькая головка умеет, оказывается, неплохо «управляться с цифрами». Собственно, куда лучше, нежели он, Фрэнк, и это подействовало на него как‑то обескураживающе. Он был точно громом поражен, когда обнаружил, что Скарлетт может быстро сложить в уме целую колонку цифр, тогда как ему, если цифр больше трех, нужны карандаш и бумага. Даже дроби не представляли для нее никакой трудности. А он полагал, что женщине негоже разбираться в делах и в дробях; если же ей и посчастливилось иметь такие недамские способности, она должна тщательно это скрывать. Ему уже больше не хотелось говорить со Скарлетт о делах, тогда как до женитьбы это доставляло удовольствие. В ту пору он считал, что дела выше ее понимания, и ему приятно было объяснять ей что к чему. Теперь же он видел, что она все понимает, и даже слишком хорошо, и, как положено мужчине, возмущался женским коварством. К этому добавилось разочарование, обычно наступающее у мужчины, когда он обнаруживает, что женщина неглупа.

Как скоро после свадьбы Фрэнк выяснил, что Скарлетт обманом женила его на себе, — этого никто так и не узнал. Возможно, истина открылась ему в тот момент, когда Тони Фонтейн, явно избавившийся от своего былого увлечения, приехал в Атланту по делам. А возможно, сестра сообщила ему об этом в письме из Джонсборо — она ведь была потрясена его женитьбой. Во всяком случае, узнал он об этом не от Сьюлин. Она ни разу не написала ему, и он, естественно, не мог ей написать и все объяснить. Да и какой теперь смысл в объяснениях, раз он женат! У Фрэнка все кипело внутри при мысли о том, что Сьюлин никогда не узнает правды и будет считать, что он без всяких оснований взял и отвернулся от нее. Наверное, все так думают и все осуждают его. А он — в дурацком положении. У него нет никакой возможности обелить себя, ибо не станет же человек ходить и всем объяснять, что потерял голову из‑за женщины, а если он еще и джентльмен, тем более не может он во всеуслышание заявить, что жена опутала его с помощью лжи.

Все‑таки Скарлетт — его жена, а жена вправе рассчитывать на лояльность мужа. Кроме того, не мог он до конца поверить, что она вышла за него замуж только из холодного расчета, не питая к нему никакого чувства. Мужское достоинство не позволяло подобной мысли задерживаться в голове. Куда приятнее было думать, что Скарлетт вдруг влюбилась в него настолько сильно, что пошла на ложь, лишь бы им завладеть. Однако все это было очень странно. Фрэнк знал, что не такая уж он великая добыча для женщины, которая вдвое моложе него, хороша собой и неглупа. Но он был джентльмен и свои сомнения держал при себе. Скарлетт — его жена; не может он оскорблять ее идиотскими расспросами, тем более что это ничего не изменит.

Да и нельзя сказать, чтобы Фрэнку так уж хотелось что‑то менять, ибо брак его казался вполне счастливым. Скарлетт была самой прелестной, самой желанной из женщин, и он считал ее идеальной во всех отношениях — лишь бы только она не была такой упрямой. Фрэнк довольно скоро постиг, что, если ей не перечить, жизнь может быть очень приятной, но если идти наперекор... А вот когда все делалось по ее воле, она становилась веселой, как ребенок, смеялась без конца, сыпала глупыми шутками, усаживалась к нему на колени и принималась крутить ему бороду, так что он прямо молодел на двадцать лет. Она становилась мягкой и заботливой: грела ему ночные туфли у огня, если он приходил поздно, волновалась, что он промочил ноги и что у него никак не проходит насморк, помнила, что он любит куриный желудок и что в кофе ему надо класть три ложечки сахара. Да, жизнь была очень милой и уютной со Скарлетт, — если все делалось по ее прихоти.

Через две недели после свадьбы Фрэнк подхватил грипп, и доктор Мид уложил его в постель. В первый год войны Фрэнк провел два месяца в госпитале с воспалением легких и с тех пор жил в вечном страхе, боясь повторения болезни, а потому сейчас охотно лежал и потел под тремя одеялами, попивая горячие отвары, которые каждый час приносила ему Мамушка или тетя Питти.

Болезнь затягивалась, и Фрэнк все больше и больше волновался по поводу лавки. Делами там ведал сейчас приказчик, который каждый вечер являлся в дом с отчетом о дневной выручке, но Фрэнка это не удовлетворяло. Он так тревожился, что наконец Скарлетт, которая только и ждала этой возможности, положила прохладную руку ему на лоб и сказала:

— Послушайте, радость моя, я буду очень огорчена, если вы станете все принимать так близко к сердцу. Я поеду в город и посмотрю, как обстоят дела.

И она отправилась, улыбкой отметя его слабые возражения. Все эти три недели своего нового замужества она сгорала от желания посмотреть его расчетные книги и выяснить, как обстоит дело с деньгами. Какое счастье, что он прикован к постели!

Лавка находилась возле Пяти Углов — ее новая крыша сверкала на фоне старых, закопченных кирпичных стен. Над тротуаром во всю ширину был сделан деревянный навес; у длинных железных перекладин, соединявших подпорки, стояли привязанные лошади и мулы, свесив голову под холодным мелким дождем, — крупы их были накрыты рваными байковыми и ватными одеялами. Внутри лавка очень походила на лавку Булларда в Джонсборо — разве что здесь у докрасна раскаленной печки не толкались бездельники, жуя табак и смачно сплевывая в ящик, наполненный песком. Правда, лавка Фрэнка была больше лавки Булларда, но и гораздо темнее. Деревянные навесы над окнами почти не давали доступа зимнему свету — он проникал сюда лишь через маленькое, засиженное мухами оконце, прорезанное высоко в боковой стене, поэтому внутри было сумеречно и затхло. Пол был покрыт грязными опилками, на всем лежала пыль. Если в передней части лавки еще наблюдалось какое‑то подобие порядка — на уходивших во мрак полках лежали штуки яркой материи, кухонные принадлежности, галантерея, стояла посуда, — то в заднем помещении, за перегородкой, царил хаос.

Пол здесь не был настлан, и все валялось как попало, прямо на утрамбованной земле. Скарлетт увидела в полутьме коробки и тюки с товарами, плуги и конскую сбрую, седла и дешевые сосновые гробы. Из мрака выступала побывавшая в употреблении дешевая эвкалиптовая мебель, а рядом — вещи из красного и розового дерева: дорогая, но видавшая виды парча, обтягивавшая мягкие кресла и диванчики, неуместно поблескивала среди окружающей грязи. Повсюду были расставлены фарфоровые ночные горшки, вазы, кувшины, а вдоль всех четырех стен тянулись глубокие лари, такие темные, что Скарлетт приходилось подносить к ним лампу, чтобы обнаружить, в каком из них семена, а в каком — гвозди, болты, плотничий инструмент.

«Фрэнк — такой беспокойный, он так печется о мелочах, точно старая дева, что, казалось бы, должен был лучше следить за порядком, — подумала она, вытирая носовым платком перепачканные руки. — Это же настоящий свинарник. Да как можно в таком виде держать лавку! Хоть бы вытер пыль со всего этого добра да выставил его в лавке, чтоб люди видели, что у него есть, — тогда он распродал бы все куда быстрее».

А если уж товары у него в таком состоянии, то в каком же состоянии счета!

«Взгляну‑ка я сейчас на его бухгалтерию», — решила она и, взяв лампу, направилась в переднюю часть лавки. Вилли, приказчику, не очень‑то хотелось давать ей большой грязный гроссбух. Несмотря на свою молодость, он явно разделял мнение Фрэнка о том, что женщины не должны совать нос в дела. Но Скарлетт резко осадила его и отослала обедать. Она почувствовала себя увереннее, когда он ушел: его неодобрительные взгляды раздражали ее; она уселась на плетеный стул у пылающей печки, поджала под себя ногу и разложила книгу на коленях. Наступило обеденное время, улицы опустели. Покупателей не было, и вся лавка находилась в распоряжении Скарлетт.

Она медленно переворачивала страницы, внимательно просматривая длинные колонки фамилий и цифр, написанных убористым каллиграфическим почерком Фрэнка. Предположения Скарлетт оправдались, она нахмурилась, увидев новое подтверждение того, что Фрэнк — человек совсем не деловой. По крайней мере пятьсот долларов задолженности — порой по нескольку месяцев — значилось за людьми, которых она хорошо знала, в том числе за такими, как Мерриуэзеры и Элсинги. Когда Фрэнк мимоходом сказал ей, что у него есть «должники», она считала, что речь идет о маленьких суммах. Но это!

«Если человек не может платить, зачем же он все покупает и покупает?! — раздраженно подумала она. — А если Фрэнк знает, что кто‑то не может заплатить, зачем же он этому человеку продает? Многие могли бы расплатиться, если бы он был понастойчивей. Например, Элсинги, уж конечно, могли бы — ведь сшили же они Фэнни новое атласное платье и устроили такую дорогую свадьбу. Просто у Фрэнка слишком мягкое сердце, и люди этим пользуются. Да если бы он собрал хотя бы половину долгов, он мог бы купить лесопилку и даже не заметил бы, что я взяла у него деньги на налог за Тару».

И тут новая мысль пришла ей в голову: «Можно себе представить, что получится у Фрэнка с этой лесопилкой! Бог ты мой! Если он лавку превратил в благотворительное заведение, то разве он сумеет нажить деньги на лесопилке?! Да шериф через месяц опишет ее. А вот я бы наладила здесь дело лучше, чем он! И лучше бы заправляла лесопилкой, хоть я ничего и не понимаю в лесе!»

Это была ошеломляющая мысль — о том, что женщина может вести дело не хуже мужчины, а то и лучше, — поистине революционная мысль для Скарлетт, воспитанной в уверенности, что мужчина — все знает, а у женщины слабые мозги. Конечно, она давно уже поняла, что это не совсем так, но приятная иллюзия продолжала жить в ее сознании. И никогда прежде она еще не облекала эту удивительную мысль в слова. Она сидела не шевелясь, с раскрытым гроссбухом на коленях, слегка приоткрыв от удивления рот, и думала о том, что ведь все эти скудные месяцы в Таре она работала как мужчина — и работала хорошо. Она была воспитана в уверенности, что женщина одна ничего не в состоянии достичь, а вот управлялась же она с плантацией без помощи мужчины, пока не явился Уилл. «Ей‑же‑ей, — разматывались в ее голове мысли, — да женщины, по‑моему, могут все на свете, и никакой мужчина им не нужен, разве только чтоб делать детей. А уж что до этого, то, право же, ни одна женщина, если она в своем уме, не станет по доброй воле заводить ребенка».

Вместе с мыслью о том, что она может справляться с делами не хуже мужчины, пришла и гордость, и наивное желание доказать это, самой зарабатывать деньги, как делают мужчины. Чтобы деньги были ее собственные, чтобы ни у кого не приходилось больше просить, ни перед кем не отчитываться.

— Были бы у меня деньги, я б сама купила лесопилку, — вслух произнесла она и вздохнула. — Уж она бы у меня заработала. Я бы щепки не дала в кредит.

Она снова вздохнула. Взять денег было неоткуда, поэтому и замысел ее неосуществим. Придется Фрэнку собрать долги и купить на них лесопилку. Лесопилка — верный способ заработать. А когда у него будет лесопилка, уж она сумеет заставить его вести себя по‑хозяйски — не так, как здесь, в лавке.

Скарлетт вырвала последнюю страницу из гроссбуха и стала выписывать имена должников, которые уже несколько месяцев ничего не платили. Как только она вернется домой, надо будет сразу же поговорить об этом с Фрэнком. Она заставит его понять, что люди должны платить долги, даже если это старые друзья, даже если ему неловко наседать на них. Фрэнк наверняка расстроится, ибо он застенчив и любит, когда друзья его хвалят. Он такой совестливый, что скорее поставит крест на деньгах, чем проявит деловую сметку и попытается собрать долги.

Вероятно, он скажет ей, что должникам нечем расплачиваться. Что ж, может, оно и так. Нищета ей знакома. Но, конечно же, почти у всех осталось какое‑то серебро, или драгоценности, или немного земли. Фрэнк может взять это вместо денег.

Она представила себе, как запричитает Фрэнк, когда она выскажет ему эту мысль. Брать драгоценности и земли друзей! «Что ж, — передернула она плечами, — пусть причитает сколько хочет. Я скажу ему, что если он готов сидеть в нищете ради друзей, то я не желаю. Фрэнк никогда не преуспеет, если не наберется духу. А он должен преуспеть. Он должен делать деньги, и я заставлю его, даже если мне придется для этого стать мужиком в доме».

Она деловито писала, сморщив от усилия лоб, слегка высунув язык, как вдруг дверь распахнулась и в лавку ворвалась струя холодного воздуха. Кто‑то высокий, шагая легко, как индеец, вошел в сумрачное помещение, и, подняв глаза, она увидела Ретта Батлера.

Он был великолепно одет — в новом костюме и пальто с пелериной, лихо свисавшей с широких плеч. Глаза их встретились; он сорвал с головы шляпу и склонился в низком поклоне, прижав руку к безукоризненно белой гофрированной сорочке. Белые зубы ослепительно сверкнули на смуглом лице, глаза дерзким взглядом прошлись по ней, охватив ее всю — с головы до ног.

— Дорогая моя миссис Кеннеди! — произнес он, шагнув к ней. — Моя дражайшая миссис Кеннеди! — И громко, весело расхохотался.

Сначала она так испугалась, словно в лавке появилось привидение, затем, поспешно вытащив из‑под себя ногу, выпрямилась и холодно посмотрела на Ретта.

— Что вам здесь надо?

— Я нанес визит мисс Питтипэт и узнал, что вы вышли замуж. А затем поспешил сюда, чтобы вас поздравить.

Она вспомнила, как он унизил ее, и вспыхнула от стыда.

— Не понимаю, откуда у вас столько наглости, как вы можете смотреть мне в лицо! — воскликнула она.

— Все наоборот! Откуда у вас столько наглости, как вы можете смотреть мне в лицо?

— Ох, вы самый...

— Может, все‑таки помиримся? — улыбнулся он, глядя на нее сверху вниз, и улыбка у него была такая сияющая, такая широкая, чуть нагловатая, но нисколько не осуждающая ее или себя.

И Скарлетт невольно тоже улыбнулась, только криво, смущенно.

— Какая жалость, что вас не повесили!

— Есть люди, которые, боюсь, разделяют вашу точку зрения. Да ну же, Скарлетт, перестаньте. У вас такой вид, точно вы проглотили шомпол, а вам это не идет. Вы же, конечно, за это время давно оправились от... м‑м... моей маленькой шутки.

— Шутки? Ха! Да я в жизни ее не забуду!

— О нет, забудете. Просто вы изображаете возмущение, потому что вам кажется так правильнее и респектабельнее. Могу я сесть?

— Нет.

Он опустился рядом с ней на стул и осклабился.

— Я слышал, вы даже две недели подождать меня не могли, — заметил он и театрально вздохнул. — До чего же непостоянны женщины. — Она молчала, и он продолжал: — Ну, скажите, Скарлетт, между нами, друзьями — между очень давними и очень близкими друзьями — разве не было бы разумнее подождать, пока я выйду из тюрьмы? Или супружеский союз с этим стариком Фрэнком Кеннеди привлекал вас куда больше, чем внебрачные отношения со мной?

Как всегда, его издевки вызвали в ней гнев, а нахальство — желание расхохотаться.

— Не говорите глупостей.

— А вы бы не возражали удовлетворить мое любопытство по одному вопросу, который последнее время занимает меня? Неужели у вас, как у женщины, не возникло отвращения и ваши деликатные чувства не взбунтовались, когда вы дважды выходили замуж без любви и даже без влечения? Или, может быть, у меня неверные сведения о деликатности чувств наших южных женщин?

— Ретт!

— Сам‑то я знаю ответ. Я всегда считал, что женщины обладают такою твердостью и выносливостью, какие мужчинам и не снились, — да, я всегда так считал, хотя с детства мне внушали, что женщины — это хрупкие, нежные, чувствительные создания. К тому же, согласно кодексу европейского этикета, муж и жена не должны любить друг друга — это дурной тон и очень плохой вкус. А я всегда считал, что европейцы правильно смотрят на эти вещи. Женись для удобства, а люби для удовольствия. Очень разумная система, не правда ли? По своим воззрениям вы оказались ближе к старушке Англии, чем я думал.

Как было бы хорошо крикнуть в ответ: «Я вышла замуж не для удобства!», но, к сожалению, тут Ретт загнал ее в угол, и любая попытка протестовать, изображая оскорбленную невинность, вызвала бы лишь еще более едкие нападки с его стороны.

— Какую вы несете чушь, — холодно бросила она и, стремясь переменить тему разговора, спросила: — Как же вам удалось выбраться из тюрьмы?

— Ах, это! — заметил он, неопределенно поведя рукой. — Особых хлопот мне это не доставило. Меня освободили сегодня утром. Я пустил в ход весьма тонкий шантаж против одного друга в Вашингтоне, который занимает там довольно высокий пост советника при федеральном правительстве. Отличный малый этот янки — один из стойких патриотов, продававших мне мушкеты и кринолины для Конфедерации. Когда о моей печальной участи довели должным образом до его сведения, он поспешил использовать все свое влияние, и вот меня выпустили. Влияние — это все, Скарлетт. Помните об этом, если вас арестуют. Влияние — это все. А проблема вины и невиновности представляет чисто академический интерес.

— Могу поклясться, что вы‑то уж не относитесь к числу невиновных.

— Да, теперь, когда я выбрался из силков, могу честно признаться, что виноват и поступил, как Каин. Я действительно убил негра. Он нагло вел себя с дамой — что оставалось делать южному джентльмену? И раз уж признаваться — так признаваться: я действительно пристрелил кавалериста‑янки, обменявшись с ним несколькими фразами в баре. За мной эта мелочь не числится, так что, по всей вероятности, какого‑нибудь бедного малого давно уже за это повесили.

Он настолько походя упомянул о совершенных им убийствах, что у нее кровь застыла в жилах. Слова возмущения готовы были сорваться с ее языка, но тут она вспомнила о янки, который лежал под сплетением лоз мускатного винограда в Таре. Совесть ведь мучит ее не больше, чем если бы она раздавила таракана. И судить Ретта она не может, раз повинна в том же, что и он.

— И если уж говорить начистоту, то должен вам сказать строго по секрету (а это значит: не проболтайтесь мисс Питтипэт!), что деньги действительно у меня — они преспокойно лежат в Ливерпульском банке.

— Деньги?

— Да, те самые, по поводу которых так волнуются янки. И отнюдь не жадность, Скарлетт, удержала меня от того, чтобы дать вам нужную сумму. Если бы я снял хоть что‑то со счета, об этом так или иначе могли бы проведать — и вы наверняка не получили бы ни цента. Сохранить эти деньги я могу лишь в том случае, если ничего не буду предпринимать. Я знаю, что они в безопасности, ибо на худой конец, если их обнаружат и попытаются у меня отобрать, я назову всех патриотов‑янки, которые продавали мне снаряды и станки во время войны. А тогда такой скандал поднимется: ведь некоторые из этих янки занимают сейчас в Вашингтоне высокие посты. Собственно, потому‑то я и выбрался из тюрьмы, что пригрозил облегчить свою совесть. Я...

— Вы хотите сказать, что вы... что золото конфедератов и вправду у вас?

— Не все, великий боже, нет, конечно! Золота этого полным‑полно человек у пятидесяти, а то и больше, из числа тех, кто прорывал блокаду. Оно припрятано в Нассау, в Англии, в Канаде. И конфедераты, которые оказались куда менее ловкими, едва ли смогут нам это простить. У меня, к примеру, набралось около полумиллиона. Только подумайте, Скарлетт: полмиллиона долларов были бы ваши, если бы вы обуздали свой буйный нрав и не кинулись очертя голову в петлю нового брака!

Полмиллиона долларов. Она почувствовала, как у нее буквально заныло сердце при одной мысли о таких деньгах. Она даже не уловила издевки в его словах — это не дошло до ее сознания. Трудно было поверить, что в их обнищавшем, полном горечи мире могут быть такие деньги. Столько денег, такая уйма денег — и владеет ими не она, а человек, который относится к ним так беспечно и которому они вовсе не нужны. Ее же защита от враждебного мира — всего лишь пожилой больной муж да грязная, жалкая лавчонка. Несправедливо это, чтобы у такого подлеца, как Ретт Батлер, было так много всего, а у нее, которая тянет тяжелейший воз, — так мало. До чего же он ненавистен ей — сидит тут, разодетый как денди, и дразнит ее. Ну, нет, она не станет хвалить его за изворотливость, а то он совсем зазнается. Ей захотелось наоборот, найти такие слова, которые бы ранили его, да поглубже.

— Я полагаю, вы считаете порядочным и честным — присвоить себе деньги конфедератов. Так вот нет. Это самое настоящее воровство, и вы прекрасно это знаете. Я бы не хотела жить с таким пятном на совести.

— Бог ты мой! До чего же зелен нынче виноград![[16]](#footnote-16) — воскликнул он, скривившись. — У кого же я эти деньги украл?

Она молчала, не зная, что ответить. В самом деле — у кого? В конце‑то концов, ведь он поступил так же, как и Фрэнк, только у Фрэнка размах не тот.

— Половина денег по‑честному моя, — продолжал он, — честно заработанная с помощью честных патриотов, которые охотно продавали Союз за его спиной и получали стопроцентную прибыль за свои товары. Часть денег я заработал на хлопке, купив его по дешевке в начале войны, а потом, когда английские фабрики взмолились, требуя хлопка, я продал им его по доллару за фунт. Часть капитала я сколотил на спекуляции продуктами. Так с какой стати должен я отдавать этим янки плоды моего труда? Ну, а остальное действительно принадлежало раньше Конфедерации. Это деньги за хлопок конфедератов, который я вывозил, несмотря на блокаду, и продавал в Ливерпуле по баснословным ценам. Хлопок давали мне со всем доверием, чтобы я купил на него кожи, ружья и станки. И я со всем доверием брал его, чтобы купить то, что просили. Мне было сказано положить золото в английские банки на свое имя, чтобы иметь кредит. А когда кольцо блокады сомкнулось, вы прекрасно помните, я не мог вывести ни одного судна из портов Конфедерации и ни одно судно не мог ввести. Так деньги и застряли в Англии. Что мне следовало делать? Свалять дурака, вынуть эти деньги из английских банков и попытаться переправить их в Уилмингтон? Чтобы янки сцапали их? Разве я виноват в том, что кольцо блокады сомкнулось? Разве я виноват в том, что Наше Правое Дело потерпело крах? Деньги принадлежали Конфедерации. Ну, а Конфедерации больше нет — хотя, если послушать иных людей, можно в этом усомниться. Кому же я должен возвращать эти деньги? Правительству янки? Мне вовсе не хочется, чтобы люди думали, будто я — вор.

Он вынул из кармана кожаный портсигар, достал из него длинную сигару и не без удовольствия понюхал ее, в то же время с наигранной тревогой наблюдая за Скарлетт, как если бы его судьба зависела от нее.

«Порази его чума, — подумала она, — вечно он обводит меня вокруг пальца. В его доводах всегда что‑то не так, но что именно — в толк не возьму».

— Вы могли бы, — с достоинством произнесла она, — раздать деньги тем, кто нуждается. Конфедерации нет, но осталось много конфедератов и их семей, и они голодают.

Он откинул голову и расхохотался.

— До чего же вы становитесь прелестны и смешны, когда лицемерно изрекаете подобные истины! — воскликнул он, явно получая от всего этого подлинное удовольствие. — Всегда говорите правду, Скарлетт. Вы не умеете лгать. Ирландцы — самые плохие лгуны на свете. Ну, давайте будем откровенны. Вам всегда было глубоко наплевать на столь оплакиваемую ныне покойную Конфедерацию и еще больше наплевать на голодающих конфедератов. Да вы бы завизжали от возмущения, заикнись я только, что собираюсь раздать все эти деньги, — если, конечно, львиная доля не пошла бы вам.

— Не нужны мне ваши деньги... — с холодным достоинством начала было она.

— Вот как?! Да у вас руки так и чешутся — дай вам пачку банкнотов, вы бы мигом сорвали опояску. Покажи я вам четвертак, вы бы мигом его схватили.

— Если вы явились сюда, чтобы оскорблять меня и насмехаться над моей бедностью, я пожелаю вам всего хорошего, — заявила она, пытаясь сбросить с колен тяжелый гроссбух и встать, чтобы придать своим словам больше внушительности.

Но он уже вскочил, нагнулся над ней и со смехом толкнул назад на стул.

— Да когда же вы перестанете взрываться при первом слове правды? Вы ведь любите говорить правду о других — почему же не любите слышать правду о себе? Я вовсе не оскорбляю вас. Стяжательство, по‑моему, прекрасное качество.

Она не была уверена, что значит слово «стяжательство», но в его устах это прозвучало как комплимент, и она слегка смягчилась.

— Я пришел сюда вовсе не затем, чтобы злорадствовать по поводу вашей бедности, а затем, чтобы пожелать вам долгой жизни и счастья в браке. Кстати, а что думает сестричка Сьюлин по поводу вашего разбоя?

— Моего — чего?

— Вы же украли Фрэнка у нее из‑под носа.

— Я вовсе не...

— Ну, не будем спорить из‑за слов. Так что же она все‑таки сказала?

— Ничего она не сказала, — заявила Скарлетт. И глаза ее предательски забегали, выдавая, что она говорит неправду.

— Какое бескорыстие с ее стороны! Ну, а теперь по поводу вашей бедности. Уж конечно, я имею право об этом знать после того, как вы тогда прискакали ко мне в тюрьму. Что, у Фрэнка оказалось меньше денег, чем вы предполагали?

Его нахальству не было предела. Либо она должна примириться с этим, либо попросить его уйти. А ей не хотелось, чтобы он уходил. Слова его были точно колючая проволока, но говорил он правду. Он знал, как она поступила и почему, и вроде бы не стал хуже к ней относиться. И хотя расспросы его были ей неприятны своей прямотой, объяснялись они, видимо, дружеским интересом. Только ему могла бы она рассказать всю правду. И ей стало бы легче, ибо она давно никому не говорила правды о себе и о том, что побудило ее поступить так, а не иначе. Любое ее откровенное признание неизменно шокировало собеседника. А разговор с Реттом вызывал у нее такое облегчение и успокоение, какое ощущаешь, когда, протанцевав целый вечер в узких туфлях, надеваешь удобные домашние шлепанцы.

— Неужели вы не получили денег для уплаты налога? Только не говорите мне, что нужда все еще стучится в ворота Тары. — Голос его при этом изменился, зазвучал как‑то по‑иному.

Она подняла глаза, и взгляды их встретились — выражение его черных глаз сначала испугало и озадачило ее, а потом она улыбнулась — теплой, сияющей улыбкой, которая редко появлялась последние дни на ее лице. Паршивый лицемер — а ведь порой бывает такой милый! Теперь она поняла, что пришел он вовсе не для того, чтобы поддразнить ее, а чтобы увериться, что она добыла деньги, которые были ей так отчаянно нужны. Теперь она поняла, что он примчался к ней, как только его освободили, не подавая и виду, что летел на всех парусах, — примчался, чтобы одолжить ей деньги, если она в них еще нуждается. И однако же, он изводил ее, и оскорблял ее, и в жизни бы не сознался, скажи она напрямик, что разгадала его побуждения. Нет, никак его не поймешь. Неужели она действительно дорога ему — дороже, чем он готов признать? Или, может, у него что‑то другое на уме? Скорее последнее, решила она. Но кто знает. Он порой так странно себя ведет.

— Нет, — сказала она, — нужда больше не стучится в ворота Тары. Я... я достала деньги.

— Но, я убежден, не без труда. Неужели вы сумели обуздать себя и не показали своего нрава, пока у вас на пальце не появилось обручального кольца?

Усилием воли она сдержала улыбку, — как точно он ее разгадал! — но ямочки все же заиграли у нее на щеках. Он снова опустился на стул, удобно вытянув свои длинные ноги.

— Ну, так расскажите же мне теперь о своем бедственном положении. Эта скотина Фрэнк, значит, ввел вас в заблуждение насчет своих возможностей? Его бы следовало хорошенько вздуть за то, что он воспользовался беспомощностью женщины! Да ну же, Скарлетт, расскажите мне все. Вы не должны иметь от меня секретов. Я ведь знаю все худшее о вас.

— Ох, Ретт, вы самый отвратительный из... сама не знаю из кого! Нет, в общем‑то, Фрэнк не обманул меня, но... — Ей вдруг захотелось кому‑то излить душу. — Если бы только Фрэнк мог собрать деньги с должников, я бы ни о чем не волновалась. А ему, Ретт, пятьдесят человек должны, и он не нажимает на них. Он такой совестливый. Говорит, что джентльмен не может так поступать с джентльменом. И пройдут месяцы, прежде чем он получит эти деньги, а то, может, и вовсе не получит.

— Ну и что? Разве вам нечего будет есть, если он не взыщет долгов?

— Да нет, но... Дело, видите ли, в том, что мне не помешала бы сейчас некоторая сумма. — И глаза ее загорелись при мысли о лесопилке. А что, если...

— Для чего? Опять налоги?

— Ну, а вам‑то что?

— Очень даже что, потому что вы сейчас попросите у меня в долг. О, я знаю все эти подходы... И я одолжу денег... не требуя того прелестного обеспечения, дражайшая миссис Кеннеди, которое вы еще совсем недавно предлагали мне. Разве что вы будете уж очень настаивать.

— Вы величайший грубиян, какого...

— Ничего подобного. Я просто хотел вас успокоить. Я понимаю, что эта проблема может вас волновать. Не слишком, но все‑таки. И я готов одолжить вам денег. Но я хочу прежде знать, как вы намерены ими распорядиться. Думается, я имею на это право. Если вы хотите купить себе красивые платья или карету, я вам дам их вместе с моим благословением. Но если вы хотите купить пару новых брюк для Эшли Уилкса, боюсь, я вынужден буду вам отказать.

Гнев вскипел в ней так внезапно и с такой силой, что несколько мгновений она слова не могла вымолвить.

— Да Эшли Уилкс в жизни цента у меня не брал! Я бы не могла заставить его взять ни цента, даже если б он умирал с голоду! Вам в жизни не понять, какой он благородный, какой гордый! Да и где вам понять его, когда сами‑то вы...

— Не будем оскорблять друг друга. А то я ведь могу обозвать вас почище, чем вы меня. Не забывайте, что я все время следил за вашей жизнью благодаря мисс Питтипэт, а эта святая душа способна выболтать все, что ей известно, первому подвернувшемуся слушателю. Я знаю, что Эшли живет в Таре с тех пор, как вернулся домой из Рок‑Айленда. Я знаю, что вы даже согласились взять к себе его жену, хотя, наверно, это было для вас нелегко.

— Эшли — это...

— О да, конечно, — сказал он, пренебрежительно отмахнувшись от нее. — Где уж мне, человеку земному, понять такую возвышенную натуру, как Эшли. Только, пожалуйста, не забудьте, что я с интересом наблюдал за нежной сценой, которая разыгралась между вами в Двенадцати Дубах, и что‑то говорит мне, что Эшли с тех пор не изменился. Как и вы. В тот день, если память меня не подводит, он не слишком красиво выглядел. И думаю, что сейчас выглядит не лучше. Почему он не заберет свою семью, не уедет куда‑нибудь и не найдет себе работу? Почему он живет в Таре? Конечно, это моя прихоть, но я не дам вам ни цента на Тару, чтобы содержать там Эшли. У нас, мужчин, есть одно весьма неприятное слово для обозначения мужчины, который разрешает женщине содержать его.

— Да как вы смеете говорить такое?! Эшли работает в Таре как раб! — Несмотря на владевшую ею ярость, Скарлетт с болью в душе вспомнила о том, как Эшли обтесывал колья для ограды.

— Ну конечно, золотые руки! Как он, должно быть, ловко убирает навоз, а...

— Он просто...

— О да, я знаю. Допустим, он делает все, что может, но я не представляю себе, чтобы помощь от него была так уж велика. В жизни вы не сделаете из Уилкса фермера... или вообще человека в какой‑то мере полезного. Это порода чисто орнаментальная. Ну, а теперь пригладьте свои взъерошенные перышки и забудьте о моих грубых высказываниях по адресу гордого и высокочтимого Эшли. Странно, что подобные иллюзии могут подолгу существовать в головке даже такой трезвой женщины, как вы. Так сколько же вам надо денег и зачем они вам нужны? — Она молчала, и он повторил: — Зачем они вам нужны? И постарайтесь сказать мне правду. Увидите, это сработает не хуже, чем ложь. Даже лучше, ибо если вы солжете, я, конечно же, это обнаружу, и можете себе представить, как вам потом будет неловко. Запомните навсегда, Скарлетт: я могу стерпеть от вас все что угодно, кроме лжи, — и вашу неприязнь, и ваш нрав, и все ваши злобные выходки, но только не ложь. Так для чего вам нужны деньги?

Она была в такой ярости от его нападок на Эшли, что с радостью плюнула бы ему в лицо, стерла бы с его губ эту усмешечку, гордо отказалась бы от его денег. И чуть было этого не сделала, но холодная рука здравого смысла удержала ее. Она с трудом подавила в себе гнев и попыталась придать лицу милое, исполненное достоинства выражение. А он откинулся на спинку стула и протянул ноги к печке.

— Ничто не доставляет мне такого удовольствия, — заметил он, — как наблюдать за внутренней борьбой, которая происходит в вас, когда принципы сталкиваются с таким практическим соображением, как деньги. Я, конечно, знаю, что практицизм в вас всегда победит, и все же не выпускаю вас из виду: а вдруг лучшая сторона вашей натуры одержит верх. И если такой день наступит, я тут же упакую чемодан и навсегда уеду из Атланты. Слишком много на свете женщин, в которых лучшая сторона натуры неизменно побеждает... Но вернемся к делу. Так сколько и зачем?

— Я не знаю точно, сколько мне потребуется, — нехотя процедила она. — Но я хочу купить лесопилку. И по‑моему, могу получить ее дешево. А потом мне потребуются два фургона и два мула. Причем два хороших мула. И еще лошадь с бричкой для моих нужд.

— Лесопилку?

— Да, и если вы одолжите мне денег, то половина доходов — ваша.

— На что мне лесопилка?

— Чтобы делать деньги! Мы сможем заработать кучу денег. А не то я могу взять у вас взаймы под проценты. Стойте, стойте, хороший процент — это сколько?

— Пятьдесят процентов считается очень неплохо.

— Пятьдесят... Да вы шутите! Перестаньте смеяться, вы, дьявол! Я говорю серьезно.

— Потому‑то я и смеюсь. Интересно, понимает ли кто‑нибудь, кроме меня, что происходит в этой головке, за этой обманчиво милой маской?

— А кому это интересно? Послушайте, Ретт, и скажите, кажется вам это дело выгодным или нет. Фрэнк рассказал мне, что один человек, у которого есть лесопилка недалеко от Персиковой дороги, хочет ее продать. Ему нужны наличные — и быстро. Поэтому он наверняка продаст дешево. Сейчас в округе не так много лесопилок, а люди ведь строятся... словом, мы могли бы продавать пиленый лес по баснословным ценам. И человек тот готов остаться и работать на лесопилке за жалованье... Все это Фрэнк мне рассказал. Фрэнк сам купил бы лесопилку, будь у него деньги. Я думаю, он так и собирался сделать, да только я забрала у него деньги, чтоб заплатить налог за Тару.

— Бедняга Фрэнк! Что он скажет, когда узнает, что вы купили ее прямо у него из‑под носа?! И как вы объясните ему, что взяли у меня деньги взаймы — ведь это же вас скомпрометирует!

Об этом Скарлетт не подумала — все ее мысли были лишь о том, чтобы получить деньги и купить на них лесопилку.

— Но я просто не скажу ему ничего.

— Так не под кустом же вы их нашли — это‑то он поймет.

— Я скажу ему... вот: я скажу ему, что продала вам свои бриллиантовые подвески. Я вам их и дам. Это будет моим обес... Ну, словом, вы понимаете, о чем я говорю.

— Я не возьму ваших подвесок.

— Но они мне не нужны. Я их не люблю. Да и вообще они не мои.

— А чьи же?

Перед ее мысленным взором снова возник удушливый жаркий полдень, глубокая тишина в Таре и вокруг — и мертвец в синей форме, распростертый на полу в холле.

— Мне их оставили... оставил один человек, который умер. Так что они, в общем‑то, мои. Возьмите их. Они мне не нужны. Я предпочла бы взамен деньги.

— О господи! — теряя терпение, воскликнул он. — Да неужели вы ни о чем не можете думать, кроме денег?

— Нет, — откровенно ответила она, глядя на него в упор своими зелеными глазами. — И если бы вы прошли через то, через что прошла я, вы бы тоже ни о чем другом не думали. Я обнаружила, что деньги — самое важное на свете, и бог мне свидетель, я не желаю больше жить без них.

Ей вспомнилось жаркое солнце, мягкая красная земля, в которую она уткнулась головой, острый запах негритянского жилья за развалинами Двенадцати Дубов, — вспомнилось, как сердце выстукивало: «Я никогда не буду больше голодать. Я никогда не буду больше голодать».

— И рано или поздно у меня будут деньги — будет много денег, чтоб я могла есть вдоволь, все что захочу. Чтоб не было больше у меня на столе мамалыги и сушеных бобов. И чтоб были красивые платья и все — шелковые...

— Все?

— Все, — отрезала она, даже не покраснев от его издевки. — У меня будет столько денег, сколько надо, чтобы янки никогда не могли отобрать Тару. А в Таре я настелю над домом новую крышу, и построю новый сарай, и у меня будут хорошие мулы, чтоб пахать землю, и я буду выращивать столько хлопка, сколько вам и не снилось. И Уэйд никогда не будет ни в чем нуждаться, даже не узнает, каково это жить без самого необходимого. Никогда! У него будет все на свете. И все мои родные никогда больше не будут голодать. Я это серьезно. Все — от первого до последнего слова. Вам не понять этого — вы ведь такой эгоист. Вас «саквояжники» не пытались выгнать из дома. Вы никогда не терпели ни холода, ни нужды, вам не приходилось гнуть спину, чтобы не умереть с голоду!

Он спокойно заметил:

— Я восемь месяцев был в армии конфедератов. И не знаю другого места, где бы так голодали.

— В армии! Подумаешь! Но вам никогда не приходилось собирать хлопок, прореживать кукурузу. Вам... Да не смейтесь вы надо мной!

Голос ее зазвенел от гнева, и Ретт поспешил снова накрыть ее руки ладонью.

— Я вовсе не над вами смеялся. Я смеялся над тем, как не соответствует ваш вид тому, что вы на самом деле есть. И я вспомнил, как впервые увидел вас на пикнике у Уилксов. В платье с зелеными цветочками и зеленых туфельках, и вы были по уши заняты мужчинами и полны собой. Могу поклясться, вы тогда понятия не имели, сколько пенни в долларе, и в голове у вас была одна только мысль — как заполучить Эш...

Она резко выдернула руки из‑под его ладони.

— Ретт, если вы хотите, чтобы мы как‑то ладили, вам придется прекратить разговоры об Эшли Уилксе. Мы всегда будем ссориться из‑за него, потому что вы его не понимаете.

— Зато вы, очевидно, читаете в его душе, как в раскрытой книге, — ехидно заметил Ретт. — Нет, Скарлетт, если уж я одолжу вам деньги, то сохраню за собой право обсуждать Эшли Уилкса, как мне захочется. Я отказываюсь от права получить проценты за деньги, которые вам одолжу, но от права обсуждать Эшли не откажусь. А есть ряд обстоятельств, связанных с этим молодым человеком, которые мне хотелось бы знать.

— Я не обязана обсуждать его с вами, — отрезала она.

— Нет, обязаны! Ведь у меня в руках шнурок от мешка с деньгами. Когда‑нибудь, когда вы разбогатеете и у вас появится возможность поступать так же с другими... Я же вижу, что он все еще дорог вам...

— Ничего подобного.

— Ну, что вы, это же так ясно — недаром вы кидаетесь на его защиту. Вы...

— Я не допущу, чтобы над моими друзьями издевались.

— Ничего не поделаешь, придется потерпеть. А вы ему все так же дороги или Рок‑Айленд заставил его вас забыть? Или, может быть, он наконец оценил, какой бриллиант — его жена?

При упоминании о Мелани грудь Скарлетт стала бурно вздыматься, и она чуть было не крикнула Ретту, что только соображения чести удерживают Эшли подле Мелани. Она уже открыла было рот и — закрыла.

— Ага. Значит, у него по‑прежнему не хватает здравого смысла оценить миссис Уилкс? И даже все строгости тюремного режима в Рок‑Айленде не притупили его страсти к вам?

— Я не вижу необходимости обсуждать этот вопрос.

— А я желаю его обсуждать, — заявил Ретт. Голос его звучал почему‑то хрипло. Скарлетт не поняла почему, но все равно ей это не понравилось. — И клянусь богом, буду обсуждать и рассчитываю получить ответ на мои вопросы. Так, значит, он по‑прежнему влюблен в вас?

— Ну и что, если так? — в раздражении вскричала Скарлетт. — Я не желаю обсуждать его с вами, потому что вы не можете понять ни его самого, ни его любовь. Вы знаете только одну любовь... ну, ту, которой занимаетесь с женщинами вроде этой Уотлинг.

— Вот как, — мягко сказал Ретт. — Значит, я способен лишь на животную похоть?

— Вы же знаете, что это так.

— Теперь мне ясно, почему вы воздерживаетесь говорить со мной об Эшли. Мои грязные руки и губы оскверняют незапятнанную чистоту его любви.

— Да... что‑то в этом роде.

— А меня интересует эта чистая любовь...

— Не будьте таким гадким, Ретт Батлер. Если вы настолько испорчены, что считаете, будто между нами было что‑то дурное...

— Что вы, подобная мысль никогда не приходила мне в голову. Потому‑то это меня так и интересует. Но все же — почему между вами ничего не было?

— Неужели вы думаете, что Эшли стал бы...

— Ах, так, значит, Эшли, а не вы, ведет эту борьбу за непорочность. Право же, Скарлетт, не надо так легко выдавать себя.

Скарлетт в смятении и возмущении взглянула на Ретта, но по лицу его ничего нельзя было прочесть.

— На этом мы ставим точку. Не нужны мне ваши деньги. Так что убирайтесь вон!

— Неправда, вам нужны мои деньги, и раз уж мы так далеко зашли, зачем останавливаться? Конечно же, никакого вреда не будет, если мы поговорим о столь чистой идиллии — ведь между вами не было ничего дурного. Итак, значит, Эшли любит вас за ваш ум, за вашу душу, за благородство вашего характера?

Скарлетт внутренне съежилась от его слов, как от ударов хлыстом. Конечно же, Эшли любит ее именно за эти качества. Сознание того, что Эшли, связанный соображениями чести, любит ее на расстоянии за то прекрасное, что глубоко скрыто в ней и что один только он видит, — это сознание как раз и позволяло ей жить. Но сейчас, когда Ретт перечислял ее достоинства вслух, да еще этим своим обманчиво сладким тоном, под которым таился сарказм, они перестали казаться ей такими уж прекрасными.

— Я чувствую, как юношеские идеалы оживают во мне при мысли, что такая любовь может существовать в нашем грешном мире, — продолжал он. — Значит, в любви Эшли к вам нет ничего плотского? И эта любовь была бы такой же, если бы вы были уродиной и не обладали вашей белоснежной кожей? И у вас не было бы этих зеленых глаз, которые вызывают в мужчине желание заключить вас в объятия — авось не станете сопротивляться. И если бы вы так не покачивали бедрами, соблазняя без разбору всех мужчин моложе девяноста лет? И если бы эти губки... но тут лучше мне попридержать свою животную похоть. Так Эшли всего этого не видит. А если видит, то это ничуть не волнует его?

Мысли Скарлетт невольно вернулись к тому дню во фруктовом саду, когда Эшли обнял ее, и она вспомнила, как дрожали у него руки, каким жарким был поцелуй, — казалось, он никогда не выпустит ее из объятий. При этом воспоминании она залилась краской, и румянец, разлившийся по ее лицу, не ускользнул от глаз Ретта.

— Значит, так, — сказал он, и голос его задрожал словно от ярости, — все ясно. Он любит вас только за ваш ум.

Да как он смеет лезть ей в душу своими грязными руками, оскверняя то единственно прекрасное и священное, что есть в ее жизни? Холодно, непреклонно он разрушал последние бастионы ее сдержанности, и теперь уже то, что ему так хотелось узнать, скоро выплеснется наружу.

— Да, конечно! — воскликнула она, отбрасывая воспоминание о губах Эшли, прильнувших к ее губам.

— Прелесть моя, да он даже и не знает, что у вас есть ум. Если бы его привлекал в вас ум, не нужно было бы ему так защищаться от вас, чтобы сохранить эту свою любовь во всей ее, так сказать, «святости»! Он жил бы себе спокойно, потому что мужчина может же восхищаться умом и душой женщины, оставаясь всеми уважаемым джентльменом и сохраняя верность своей жене. А ему, видимо, трудно примирить честь Уилксов с жаждой обладать вами, которая снедает его.

— Вы думаете, что все так же порочны, как вы!

— О, я никогда не отрицал, что жажду обладать вами, если вы это имеете в виду. Но слава богу, меня не волнуют проблемы чести. Если я чего‑то хочу, я это беру, так что мне не приходится бороться ни с ангелами, ни с демонами. И веселенький же ад вы, должно быть, создали для Эшли! Я почти готов пожалеть его.

— Я... это я создала для него ад?

— Конечно, вы! Вы же маячите перед ним вечным соблазном. Но, как большинство людей его породы, он предпочитает самой большой любви то, что в этих краях именуют честью. И сдается мне, у бедняги теперь не осталось ни любви, ни чести, которые могли бы его согреть!

— У него есть любовь!.. Я хочу сказать: он любит меня!

— В самом деле? Тогда ответьте мне еще на один вопрос, и на этом мы сегодня покончим. Можете взять деньги и хоть выбрасывайте их на помойку — мне все равно.

Ретт поднялся на ноги и швырнул в пепельницу недокуренную сигару. В его движениях была та дикарская раскованность и сдержанная сила, которые Скарлетт подметила в ту ночь, когда пала Атланта, — что‑то зловещее и немного пугающее.

— Если он любит вас, тогда какого черта отпустил в Атланту добывать деньги на уплату налога? Прежде чем позволить любимой женщине пойти на такое, я бы...

— Он же не знал! Он понятия не имел, что я...

— А вам не приходило в голову, что ему следовало бы знать? — В голосе его звучала еле сдерживаемая ярость. — Если бы он любил вас, как вы говорите, он должен был бы знать, на что вы способны, когда доведены до отчаяния. Да он должен был бы убить вас, но не отпускать сюда — и прежде всего ко мне! Господи ты боже мой!

— Да он же не знал!

— Если он не догадался сам, без подсказки, значит, ничего он не знает ни о вас, ни о вашем драгоценном уме.

Как это несправедливо! Не может же Эшли читать в мыслях! Да и разве сумел бы он ее удержать, если бы даже знал! И вдруг Скарлетт поняла, что Эшли мог бы ее удержать. Достаточно было ему тогда, во фруктовом саду, хотя бы намекнуть на то, что когда‑нибудь все изменится, и она бы даже не подумала обращаться к Ретту. Достаточно было одного нежного слова, даже мимолетной ласки на прощание, когда она садилась в поезд, и... и она бы осталась. Но он говорил только о чести. И однако же... неужели Ретт прав? Неужели Эшли знал, что у нее на уме? Она поспешила отбросить порочащую его мысль. Конечно же, он ничего не подозревал. Эшли никогда бы не заподозрил, что ей может прийти в голову нечто столь безнравственное. Слишком он порядочный человек, чтобы у него могли зародиться подобные мысли. Просто Ретт пытается замарать ее любовь. Пытается изодрать в клочья то, что ей дороже всего на свете. Настанет день, мстительно подумала она, дела в лавке наладятся, лесопилка будет приносить неплохой доход. У нее появятся деньги, и она заставит Ретта Батлера заплатить за все страдания и унижения, которые по его милости вынесла.

А он стоял, и с легкой усмешкой, явно забавляясь, смотрел на нее сверху вниз. Чувства, кипевшие в нем, улеглись.

— Собственно, к вам‑то все это какое имеет отношение? — спросила она. — Это мое дело и дело Эшли, а не ваше.

Он пожал плечами.

— Имеет, поскольку ваша стойкость, Скарлетт, вызывает во мне глубокое и бескорыстное восхищение и я не хочу быть свидетелем того, как ваш дух будет стерт в порошок чересчур тяжелыми жерновами. На вас лежит Тара. Уже одного этого бремени хватило бы для мужчины. Прибавьте сюда больного отца. А он уже никогда не сумеет вам помочь. Потом — ваши сестры и негры. И теперь вы еще взвалили себе на плечи мужа и, по всей вероятности, мисс Питтипэт. Слишком большие легли на вас тяготы и без Эшли Уилкса и его семейства.

— Он мне вовсе не в тягость. Он мне помогает...

— О, ради всего святого! — воскликнул Ретт, теряя терпение. — Не надо делать из меня дурака! Ничем он вам не помогает. Он сидит у вас на шее и будет сидеть — на вашей или на чьей‑то еще — до самой своей смерти. Впрочем, надоело мне говорить о нем... Так сколько вам нужно денег?

Самые резкие, бранные слова готовы были сорваться у нее с языка. Да после того, как он наговорил ей столько грубостей, после того, как вытянул из нее все самое дорогое и растоптал, он еще думает, что она станет брать у него деньги!

Но бранные слова так и не были произнесены. Как было бы чудесно презрительно поднять брови в ответ на его предложение и выставить Ретта из лавки! Но только люди действительно богатые, действительно обеспеченные могут позволить себе такую роскошь, а она, до тех пор пока бедна — только пока бедна, — вынуждена терпеть. Зато когда она разбогатеет, — о, как чудесно греет эта мысль! — когда она разбогатеет, она не станет мириться с тем, что ей не нравится, не станет обходиться без того, чего ей хочется, не будет даже любезной с теми, кто перечит ей.

«Я их всех пошлю к черту, — подумала она. — И Ретта Батлера — в первую очередь!»

Мысль эта была столь приятна, что зеленые глаза ее засверкали и на губах появилась легкая улыбка. Ретт Батлер тоже улыбнулся.

— Вы прелестны, Скарлетт, — сказал он. — Особенно когда задумываете какую‑нибудь чертовщину. За одну ямочку на вашей щечке я куплю вам чертову дюжину мулов, если они вам нужны.

Входная дверь распахнулась, и вошел приказчик, ковыряя птичьим пером в зубах. Скарлетт встала, оправила на себе шаль и крепко завязала ленты шляпки под подбородком. Решение ее было принято.

— Вы сегодня заняты? Не могли бы вы поехать со мной сейчас? — спросила она.

— Куда?

— Я хочу, чтобы вы съездили со мной на лесопилку. Я обещала Фрэнку, что не буду выезжать из города одна.

— На лесопилку, в такой дождь!

— Да, я хочу купить лесопилку сейчас же, пока вы не передумали.

Он расхохотался так громко, что мальчишка за прилавком вздрогнул и с любопытством уставился на него.

— Вы, кажется, забыли, что вы замужем? Миссис Кеннеди не может позволить себе такого — разъезжать по округе в сопровождении этого нечестивца Батлера, которого не принимают в хороших домах. Вы что, забыли о своей репутации?

— Репутация — че‑пу‑ха! Я хочу купить лесопилку, пока вы не передумали и пока Фрэнк не узнал, что я ее покупаю. Не будьте таким неповоротливым, Ретт. Ну, что такое дождь? Поехали скорее.

Ох, уж эта лесопилка! Фрэнк скрежетал зубами всякий раз, как вспоминал о ней, проклиная себя за то, что вообще сказал об этом Скарлетт. Мало того, что она продала свои сережки капитану Батлеру (надо же было продать именно ему!) и купила лесопилку, даже не посоветовавшись с собственным мужем, — она еще сама взялась за дело. Вот это уже скверно. Точно она не доверяет ему или его суждениям.

Фрэнк — как и все его знакомые мужчины — считал, что жена должна жить, опираясь на мудрый жизненный опыт мужа, должна полностью соглашаться с его мнением и не иметь своего собственного. Он охотно позволил бы большинству женщин поступать по‑своему. Женщины — они такие смешные, и что же тут плохого — потакать их маленьким капризам? Человек по натуре мягкий и кроткий, он был не из тех, кто стал бы слишком урезать жену. Ему бы даже доставило удовольствие исполнять всякие нелепые желания милого маленького существа и потом любовно журить женушку за глупость и расточительство. Но то, что надумала Скарлетт, просто не укладывалось у него в голове.

Взять хотя бы лесопилку. Он был буквально сражен, когда в ответ на его вопрос она с ласковой улыбкой заявила, что намерена вести дело сама. «Лесом я сама займусь», — так она и сказала. Фрэнк в жизни не забудет этой ужасной минуты. Займется сама? Нет, это немыслимо. Да ни одна женщина в Атланте не занималась делами. Собственно, Фрэнк вообще не слышал, чтобы женщины где‑либо и когда‑либо этим занимались. Если какой‑то из них не повезло и она вынуждена была подрабатывать, чтобы помогать семье в нынешние тяжелые времена, делала она это скромно, по‑женски: пекла пироги, как миссис Мерриуэзер, или расписывала фарфор, шила и держала постояльцев, как миссис Элсинг и Фэнни, или учила детишек, как миссис Мид, или давала уроки музыки, как миссис Боннелл. Дамы подрабатывали, но дома, как и положено женщине. Но чтобы женщина оставила домашний очаг, вступила в грубый мир мужчин и стала соперничать с ними в делах, повседневно общаться, навлекая на себя и оскорбления и сплетни... да еще когда ничто ее к этому не принуждает, когда у нее есть муж, вполне способный о ней позаботиться!

Фрэнк надеялся, что Скарлетт лишь дразнит его или шутит — правда, шутка была сомнительная, — но вскоре обнаружил, что таковы ее подлинные намерения. Она в самом деле стала управлять лесопилкой. Она поднималась раньше его, уезжала из города по Персиковой дороге и часто возвращалась домой после того, как он, давно закрыв лавку, сидел в ожидании ужина у тети Питти. Она отправлялась за много миль на свою лесопилку под защитой одного лишь дядюшки Питера, который, кстати, тоже осуждал ее, а в лесах полно было вольных негров и бандитов‑янки. Фрэнк ездить с ней не мог: лавка отнимала у него все время, — но когда он попытался протестовать, Скарлетт непреклонно заявила: «Если я не буду следить за этим плутом и бездельником Джонсоном, он раскрадет мой лес, продаст его, а денежки положит себе в карман. Вот найду хорошего человека, поставлю его управлять вместо меня, тогда не буду так часто ездить на лесопилку, а займусь продажей пиленого леса в городе».

Продажей леса в городе! Хуже этого уж не придумаешь. Она и сейчас — вместо того, чтобы ехать на лесопилку — частенько освобождала себе день и торговала пиленым лесом. Фрэнку в такие дни хотелось забраться в самый темный закоулок своей лавки, чтобы никого не видеть. Его жена продает лес!

И люди заговорили о ней — очень плохо. Да и о нем, наверное, тоже: как он позволяет ей так не по‑женски себя вести? До чего же он смущался, когда покупатель, зайдя в лавку, говорил: «А я только что видел миссис Кеннеди...» Все охотно сообщали ему, что она делает. Все рассказывали о том, что произошло на строительстве новой гостиницы. Скарлетт подъехала, как раз когда Томми Уэлберн покупал доски у какого‑то человека, слезла со своей двуколки среди этих грубиянов‑ирландцев, укладывавших кирпичный фундамент, и заявила Томми, что его обвели вокруг пальца. Она сказала, что у нее доски лучше и к тому же дешевле, в доказательство чего быстро сложила в уме длинную колонку цифр и, не сходя с места, назвала сумму. Худо было уже то, что она появилась среди этих пришлых грубиянов, работавших на строительстве, но еще хуже то, что женщина открыто выказала такие способности в арифметике. Томми согласился с доводами Скарлетт и дал ей заказ на пиленый лес, однако она и после этого не спешила уехать, а еще какое‑то время болталась на стройке, беседуя с десятником ирландцев Джонни Гэллегером, маленьким злобным человечком, с прескверной репутацией. Потом весь город не одну неделю говорил об этом.

И в довершение всего Скарлетт действительно получала деньги с этой своей лесопилки, а ни одному мужчине не понравится, когда жена преуспевает в столь неженском деле. Причем деньги эти — или хотя бы часть их — она не давала Фрэнку пустить в оборот. Почти все они шли в Тару, и Скарлетт писала нескончаемые письма Уиллу Бентину с указаниями, на что их потратить. Кроме того, она заявила Фрэнку, что когда в Таре удастся, наконец, завершить ремонт, она намерена давать деньги под залог.

«Боже мой! Боже мой!» — стонал Фрэнк, стоило ему вспомнить об этом. Да женщина даже знать не должна, что такое залог.

В те дни Скарлетт полна была разных планов, и каждый следующий казался Фрэнку хуже предыдущего. Она поговаривала даже о том, чтобы построить салун на участке, где раньше стоял ее склад, пока генерал Шерман не сжег его. Фрэнк был отнюдь не трезвенником, но он горячо возражал против этой затеи. Владеть салуном — нехорошее это занятие, оно не принесет счастья, это почти так же плохо, как сдать дом шлюхам. Почему плохо, объяснить он не мог, и в ответ на его неуклюжие доводы Скарлетт лишь говорила: «Че‑пу‑ха!»

— Салунщики — хорошие арендаторы. Дядя Генри всегда это утверждал, — объявила она мужу. — Они исправно вносят арендную плату, а кроме того, видите ли, Фрэнк, я могла бы дешево построить салун из несортового леса, который я не могу продать, и сдать его потом за хорошую плату, а на деньги, вырученные за аренду, на деньги с лесопилки и на деньги, которые я буду получать, давая под проценты, я смогу купить еще несколько лесопилок.

— Лапочка моя, зачем вам еще лесопилки! — воскликнул потрясенный Фрэнк. — Вам следовало бы продать даже ту, которая у вас есть. Она вас доконает — вы же сами видите, какого труда вам стоит заставлять работать этих вольных негров, которых вы наняли...

— От вольных негров толку, конечно, чуть, — согласилась Скарлетт, пропуская мимо ушей его совет продать лесопилку. — Мистер Джонсон говорит, что утром, придя на работу, он никогда не знает, будет у него достаточно рабочих или нет. На этих черномазых нынче положиться нельзя. Поработают день‑другой и гуляют, пока не потратят все свои гроши, а то глядишь, и вся команда не вышла на работу. Чем больше я наблюдаю, как ведут себя эти вольноотпущенные, тем большим преступлением считаю то, что произошло. Их же всех просто погубили. Тысячи людей вообще не хотят работать, а те, которых удается нанять, до того ленивы, до того им не сидится на месте, что от них никакого проку нет. А стоит на них прикрикнуть — уже не говоря о том, чтобы огреть хлыстом разок‑другой для их же блага, — Бюро вольных людей тотчас налетит на тебя, как утка на майского жука.

— Лапочка моя, неужели вы разрешаете мистеру Джонсону бить этих...

— Конечно, нет, — нетерпеливо оборвала она его. — Разве я вам только что не сказала, что янки посадили бы меня за это в тюрьму?

— Могу поспорить, что ваш батюшка в жизни ни одного негра пальцем не тронул, — сказал Фрэнк.

— Ну, одному‑то он все‑таки накостылял — мальчишке‑конюшему, который не вычистил его лошадь после того, как отец целый день охотился на ней. Но, Фрэнк, тогда же все было иначе. Вольные негры — это совсем другое, и хорошая порка пошла бы кое‑кому из них на пользу.

Фрэнк был не только поражен взглядами своей жены и ее планами, но и теми переменами, которые произошли в ней за эти несколько месяцев их брака. Ведь он брал в жены существо мягкое, нежное, женственное. За короткое время своего ухаживания он пришел к выводу, что в жизни не встречал женщины более пленительно‑женственной по своему восприятию жизни, более далекой от реальности, более застенчивой и беспомощной. Теперь же перед ним был мужчина в юбке. Несмотря на свои розовые щечки, ямочки и прелестную улыбку, говорила она и действовала как мужчина. Голос ее звучал резко, категорично, и решения она принимала мгновенно, без свойственного женщинам миндальничанья. Она знала, чего хочет, и шла к цели кратчайшим путем — как мужчина, а не окольными, скрытыми путями, как это свойственно женщинам.

Нельзя сказать, чтобы Фрэнк до сих пор ни разу не видел женщин, умеющих командовать. В Атланте, как и во всех Южных городах, были свои престарелые дамы, которым люди старались не вставать поперек дороги. Трудно, к примеру, представить себе человека более властного, чем дородная миссис Мерриуэзер, более деспотичного, чем хрупкая миссис Элсинг, более искусного в достижении своих целей, чем сребровласая, сладкоголосая миссис Уайтинг. Но к каким бы хитростям ни прибегали эти дамы, чтобы добиться своего, — это были женские хитрости. И все они с подчеркнутым уважением относились к суждениям мужчин, хотя и не всегда с ними соглашались. Во всяком случае, они были достаточно хорошо воспитаны, чтобы делать вид, будто руководствуются тем, что говорят мужчины, а это — главное. Скарлетт же руководствовалась только собственным мнением и вела дела по‑мужски — вот почему весь город и судачил о ней.

«И ведь, наверное, — печально думал Фрэнк, — судачат и обо мне тоже, осуждают, что я позволяю ей так не по‑женски себя вести».

А тут еще этот Батлер. Его частые посещения дома тети Питти были всего унизительнее для Фрэнка. Он и до войны, когда вел дела с Батлером, недолюбливал его. И часто проклинал тот день, когда привез Ретта в Двенадцать Дубов и познакомил со своими друзьями. Он презирал Батлера за холодную расчетливость, с какою тот занимался спекуляциями во время войны, и за то, что он не служил в армии. О том, что Ретт восемь месяцев был с конфедератами, знала одна только Скарлетт, ибо Ретт с наигранным ужасом умолял ее никому не говорить об этом его «позоре». Но больше всего Фрэнк презирал Ретта за то, что тот присвоил себе золото Конфедерации, тогда как честные люди вроде адмирала Буллака — можно было бы назвать и других, — очутившись в аналогичной ситуации, вернули тысячи долларов в федеральную казну. Так или иначе, нравилось это Фрэнку или не нравилось, а Ретт частенько наведывался к ним.

Заходил он вроде бы навестить мисс Питтипэт, и она по глупости так и считала и очень жеманничала, когда он появлялся. Но Фрэнка не покидало неприятное чувство, что вовсе не мисс Питти привлекает Батлера. Маленький Уэйд очень привязался к нему и, к великой досаде Фрэнка, даже называл его «дядя Ретт», хотя вообще‑то мальчик был застенчивый. Да и не мог Фрэнк не помнить. Что Ретт ухаживал за Скарлетт во время войны и о них даже шла тогда молва. Фрэнк представлял себе, что болтают о них сейчас. Ни у кого из друзей не хватало смелости намекнуть на это Фрэнку, хотя они, не жалея слов, осуждали Скарлетт за лесопилку. Он, конечно, не преминул заметить, что их со Скарлетт стали все реже приглашать на обеды, ужины и вечеринки и все реже и реже появлялись гости у них. Скарлетт, которая терпеть не могла большинство из своих соседей и была слишком занята лесопилкой, чтобы общаться с теми, кто ей не нравился, отнюдь не терзалась отсутствием гостей. Зато Фрэнк остро это переживал.

Всю свою жизнь Фрэнк считался с тем, «что скажут соседи», и его больно ранило то, что жена не обращает внимания на приличия. Он чувствовал, что все не одобряют Скарлетт и презирают его за то, что он позволяет ей «носить штаны». Она делала много такого, чего муж, с точки зрения Фрэнка, не должен был бы позволять, но если бы он велел ей прекратить это и стал с ней спорить или даже критиковать ее, на его голову обрушился бы настоящий шквал.

«О‑хо‑хо! — беспомощно вздыхал он про себя. — До чего же она быстро вскипает и долго бурлит — в жизни не встречал такой женщины!»

Даже в самые спокойные дни можно было лишь удивляться тому, как Скарлетт мгновенно превращалась из веселой, любящей жены, напевающей себе под нос, бродя по дому, в нечто прямо противоположное. Достаточно ему было сказать: «Лапочка, на вашем месте я бы...» — как разражалась буря.

Черные брови Скарлетт стремительно сходились на переносице под острым углом, и Фрэнк съеживался на глазах. У нее был какой‑то поистине азиатский темперамент и ярость дикой кошки — ей было, казалось, все равно, что произносит ее язык и как больно ранит. Над домом в таких случаях нависал мрак. Фрэнк рано уходил в лавку и оставался там допоздна. Мисс Питти стремительно укрывалась к себе в спальню, ища в ней прибежище, словно заяц в норе. Уэйд с дядюшкой Питером уединялись в сарае, а кухарка не высовывала носа из кухни и воздерживалась от прославления господа пением. Только Мамушка спокойно сносила нрав Скарлетт, ну, а Мамушка прошла многолетнюю науку у Джералда О’Хара и не раз наблюдала его гневные вспышки.

Вообще‑то Скарлетт вовсе не стремилась показать свой нрав и действительно хотела быть Фрэнку хорошей женой, ибо относилась к нему тепло и была благодарна за то, что он помог ей удержать Тару. Но он так часто и порой так неожиданно испытывал ее терпение, что она теряла над собой власть.

Не могла она уважать мужчину, который позволял ей так командовать, его робость и нерешительность в сколько‑нибудь сложных случаях, шла ли речь о ней или о других людях, бесконечно раздражали ее. Она могла бы не обращать на это внимания и даже чувствовать себя счастливой — ведь ее денежные проблемы частично уладились, — если бы, к своему великому огорчению, не сталкивалась с тем, что Фрэнк, будучи сам плохим дельцом, не давал и ей себя проявить.

Как она и ожидала, Фрэнк сначала отказался требовать деньги по неоплаченным счетам; когда же она его заставила, взялся за это нехотя и как бы извиняясь. Дальнейших доказательств Скарлетт не требовалось: она окончательно убедилась в том, что семья Кеннеди будет вечно жить лишь в относительном достатке, если она сама не начнет делать деньги, которые ей так нужны. Теперь она знала, что Фрэнк готов довольствоваться этой грязной лавчонкой до конца своей жизни. Он, казалось, не сознавал, сколь тонок пласт их благополучия и как важно иметь много денег, ибо деньги — единственная защита от новых бед.

Фрэнк мог бы преуспеть в делах в легкие довоенные дни, но он такой раздражающе‑старомодный, думала Скарлетт, и так упорно хочет делать все по старинке, хотя и былой образ действий, и былой образ жизни давно отошли в прошлое. У него совсем нет напористости, столь необходимой в новые, более жесткие времена. Ну, а у нее — есть, и она намерена использовать свою напористость, нравится это Фрэнку или нет. Им нужны деньги, и она делает деньги, хоть они и достаются ей нелегко. Она считала, что Фрэнк мог хотя бы не вмешиваться в ее планы, раз они дают хороший результат.

При ее неопытности не так‑то просто было управлять новой лесопилкой, да и конкуренция увеличилась — не то что вначале, поэтому она обычно возвращалась вечером домой усталая, издерганная, злая. И когда Фрэнк, робко кашлянув, говорил ей: «Лапочка, я бы этого не делал», или: «На вашем месте, лапочка, я бы так не поступал», она лишь изо всех сил сдерживалась, стараясь не вспылить, а часто — даже и не старалась. Если у него не хватает духа вылезти из своей скорлупы и делать деньги, зачем же он к ней‑то придирается? Да еще донимает всякими глупостями! Ну, какое имеет значение в такие времена, что она ведет себя не по‑женски? Особенно когда ее неженское дело — лесопилка — приносит деньги, которые так им нужны — и ей, и семье, и Таре, и Фрэнку тоже.

А Фрэнку хотелось мира и покоя. Война, во время которой он так добросовестно служил родине, пошатнула его здоровье, лишила богатства и превратила в старика. Он не жалел ни об одной из этих утрат, но после четырех лет войны хотел в жизни мира и добра, хотел видеть вокруг любящие лица, встречать одобрение друзей. Однако вскоре он обнаружил, что мир дома можно сохранить лишь определенной ценой, а именно: позволить Скарлетт делать что она хочет, — словом, устав бороться, он покупал себе мир той ценой, какую назначила она. Порой он думал, что это не такая уж и дорогая цена, если жена улыбается, открывая ему в холодных сумерках дверь, целует его в ухо, или в нос, или куда‑нибудь еще, или если ее сонная головка по ночам покоится у него на плече под теплым стеганым одеялом. Жизнь дома была такой приятной, если ни в чем не перечить Скарлетт. Но обретенный Фрэнком мир был пустой скорлупой — это было лишь подобие мира, ибо приобретал он его ценой потери всего, что считал подобающим супружеской жизни.

«Женщина должна уделять больше внимания дому и семье, а не болтаться где‑то, как мужчина, — думал он. — Вот если бы у нее появился ребенок...»

При мысли о ребенке лицо Фрэнка расплывалось в улыбке — он часто думал о такой возможности. Скарлетт же решительно заявила, что не желает иметь детей. Но ведь дети редко появляются на свет по приглашению. Фрэнк знал: многие женщины говорят, будто не хотят иметь детей, — только все это от глупости и от страха. Если Скарлетт обзаведется малышом, она полюбит его и охотно будет сидеть дома и возиться с ним, как все другие женщины. Тогда ей придется продать лесопилку и все проблемы кончатся. Для полноты счастья женщинам необходимы дети, а Фрэнк чувствовал, что Скарлетт несчастлива. Он хоть и мало что понимал в женщинах, однако не был совсем уж слепым и не мог не видеть, что порой жена его просто несчастна.

Случалось, он просыпался ночью и слышал приглушенные всхлипывания в подушку. Когда он впервые, проснувшись, почувствовал, как дрожит от ее рыданий кровать, он в тревоге спросил: «Лапочка, что случилось?» — и услышал в ответ исступленное: «Ах, оставьте меня в покое!»

Да, ребенок сделает ее счастливой и заставит забыть о том, чем ей не положено заниматься. Случалось, Фрэнк тяжело вздыхал, думая, что вот поймал он тропическую птицу, которая вся — огонь и сверкание красок, тогда как его, наверное, вполне устроила бы обыкновенная курица. Да, этак ему было бы намного лучше.

### Глава XXXVII

Ветреной, сырой апрельской ночью из Джонсборо примчался на взмыленной лошади полумертвый от усталости Тони Фонтейн и громким стуком в дверь разбудил Скарлетт и Фрэнка, перепугав их до полусмерти. И тут — во второй раз за последние четыре месяца — Скарлетт остро почувствовала, что такое Реконструкция; до нее дошло, что имел в виду Уилл, сказав: «Наши беды только начались», — она полнее осознала, как верны были мрачные предсказания Эшли во фруктовом саду Тары, где гулял ветер: «То, что нас ждет, будет хуже войны... хуже тюрьмы... хуже смерти».

Впервые она столкнулась с Реконструкцией, когда узнала, что Джонас Уилкерсон при содействии янки может выселить ее из Тары. Но появление Тони показало ей, что есть вещи и пострашнее. Он примчался глубокой ночью, исхлестанный дождем, и через несколько минут навсегда исчез в темноте, но за этот короткий промежуток приподнял завесу, обнаружив новые беды, и Скарлетт со всей безнадежностью поняла, что завеса эта никогда не опустится.

В ту ненастную ночь, когда они услышали грохот дверного молотка — настойчивый, требовательный, Скарлетт вышла на лестницу, закутавшись в халат, поглядела вниз, в холл, и на миг увидела смуглое мрачное лицо Тони, который тут же нагнулся и задул принесенную Фрэнком свечу. Скарлетт ринулась в темноту, схватила холодную влажную руку Тони и услышала, как он прошептал:

— Они гонятся за мной... еду в Техас... лошадь подо мной полумертвая... а я погибаю от голода... Эшли сказал, чтобы к вам... Только не зажигайте свечи! Еще разбудите черных... Я не хочу, чтоб вы попали из‑за меня в беду.

На кухне, когда закрыли все ставни и спустили до самых подоконников жалюзи, он позволил зажечь свет и короткими, отрывистыми фразами поведал свою историю Фрэнку, в то время как Скарлетт хлопотала, собирая для него на стол.

Он был без пальто и промок насквозь. Шляпы на нем тоже не было, черные волосы его прилипли к маленькой голове. Но задор, свойственный братьям Фонтейн, — задор, от которого у Скарлетт в ту ночь мурашки побежали по коже, — горел в его бегающих глазках, когда он залпом выпил виски, которое Скарлетт ему принесла. А Скарлетт благодарила бога, что тетя Питти мирно храпит наверху. Она бы наверняка упала в обморок, увидев его!

— Одним чертовым ублю... одним подлипалой стало меньше, — произнес Тони, протягивая стакан, чтобы ему налили еще виски. — Я скакал во всю мочь: могу расстаться со своей шкурой, если быстро не уберусь отсюда. И все равно ни о чем не жалею. Ей‑богу, не жалею! Попытаюсь добраться до Техаса и там затаюсь. Эшли был со мной в Джонсборо и велел мне ехать к вам. Но мне нужна другая лошадь, Фрэнк, и немного денег. Лошадь у меня полумертвая — ведь я всю дорогу гнал ее изо всех сил, — да к тому же по‑глупому выскочил сегодня из дома как сумасшедший, без пальто, без шляпы и без цента в кармане. Правда, в доме у нас деньгами не разживешься.

Он рассмеялся и с жадностью набросился на холодную кукурузную лепешку и холодный салат из листьев репы в хлопьях застывшего белого жира.

— Можете взять мою лошадь, — спокойно сказал Фрэнк. — У меня при себе всего десять долларов, но если вы дождетесь здесь утра...

— Черта с два, да разве я могу ждать! — убежденно, но даже как‑то весело воскликнул Тони. — Они скорей всего мчатся за мной по пятам. Не так уж намного я их и обогнал! Если бы не Эшли, который вытащил меня оттуда и посадил на лошадь, я бы так и остался там как дурак и сейчас уже висел бы в петле. Славный малый этот Эшли.

Значит, и Эшли замешан в этой страшной, непонятной чертовщине. Скарлетт, вся похолодев, поднесла руку ко рту. А что, если янки уже схватили Эшли? Ну почему, почему Фрэнк не спросит, что же все‑таки произошло? Почему он принимает все это так спокойно, будто ничего особенного не случилось? Она с трудом заставила себя разжать губы.

— А что... — начала она. — Кого...

— Да бывшего управляющего вашего батюшки... Будь он проклят... Джонаса Уилкерсона.

— И вы его... Он что, мертв?

— Бог ты мой, Скарлетт О’Хара! — раздраженно воскликнул Тони. — Уж если я решил кому‑то вспороть брюхо, неужели, вы думаете, я удовлетворюсь тем, что оцарапаю его тупой стороной ножа? Нет, конечно, и можете мне поверить, я искромсал его на кусочки.

— Вот и прекрасно, — не повышая голоса, произнес Фрэнк. — Я никогда не любил этого малого.

Скарлетт взглянула на мужа. Он был совсем не похож на того слабовольного Фрэнка, которого она знала, — Фрэнка, который обычно нервно теребил бороденку и которым так легко было помыкать. Сейчас в нем появились решительность и спокойствие и он справлялся с неожиданно возникшей ситуацией, не тратя слов даром. Перед ней был мужчина, и Тони — тоже мужчина, и вся эта страшная история — мужское дело, в котором женщине нет места.

— А Эшли... Он не...

— Нет. Он хотел убить Джонаса, но я сказал ему, что это мое право, потому что Салли — моя родственница, и Эшли под конец сдался. Но настоял, что поедет со мной в Джонсборо — на случай, если Уилкерсон возьмет верх. Я не думаю, чтобы старина Эшли попал из‑за этого в беду. Надеюсь, что нет. А не найдется у вас джема к кукурузной лепешке? И не можете ли вы дать мне чего‑нибудь с собой?

— Я сейчас закричу, если вы не расскажете мне все по порядку.

— Подождите, пока я уеду, и тогда кричите, сколько вашей душе угодно. Я все вам расскажу, пока Фрэнк будет седлать лошадь. Этот чертов... Уилкерсон и так уж причинил немало вреда. Вы же знаете, он чуть не доконал вас налогами. Но это только одна из его пакостей. Хуже всего то, что он без конца подстрекал черномазых. Кто бы мог сказать, что настанет день, когда я буду их ненавидеть! Черт бы их побрал, они же верят всему, что эти мерзавцы говорят им, и забывают то доброе, что мы для них делали. А сейчас янки поговаривают о том, чтобы дать черномазым право голоса. Нам же голосовать не дадут. Да во всем графстве можно по пальцам пересчитать демократов, которым разрешено голосовать: янки ведь вычеркнули из списков всех, кто сражался на стороне Конфедерации. А если они еще неграм разрешат голосовать, то нам вообще конец. Черт подери, это же наш штат! Наш, а не янки! Ей‑богу, Скарлетт, с таким мириться нельзя! И мы мириться не станем! Что‑нибудь придумаем — пусть хоть до войны дойдет! А то у нас скоро будут и судьи‑ниггеры, и законодатели‑ниггеры — куда ни глянь, всюду черные обезьяны...

— Прошу вас... поскорее расскажите мне все! Что же произошло?

— Подождите заворачивать эту лепешку... дайте мне сначала еще кусок. Ну, так вот, пошли слухи, что Уилкерсон слишком далеко зашел в своих разговорах насчет равноправия негров. Да, да, он часами вдалбливал это черномазым идиотам. У него хватило нахальства... нагло... — Тони чуть не захлебнулся собственной слюной, — ...говорить, что ниггеры могут... могут иметь... белых жен.

— Ах, Тони, этого быть не может!

— Ей‑богу, так! И я не удивляюсь, что вы побелели. Но черт возьми, Скарлетт, это же не новость для вас! Это внушают неграм и здесь, в Атланте.

— Я... я не знала.

— Значит, Фрэнк скрыл это от вас. Словом, мы надумали навестить ночью мистера Уилкерсона и потолковать с ним по душам, но прежде чем отправиться туда... Вы помните этого черного бугая Юстиса, который был у нас десятником?

— Да.

— Так он сегодня подошел к двери нашей кухни — а Салли готовила там ужин — и... Я не знаю, что он ей сказал. Да теперь, видно, никогда и не узнаю. Словом, что‑то он ей сказал, и я услышал, как она вскрикнула; я бросился на кухню, а он там — пьяный, как последний сукин сын... извините, Скарлетт, сорвалось с языка.

— Продолжайте.

— Я пристрелил его; на крик Салли прибежала мама, а я вскочил на лошадь и помчался в Джонсборо к Уилкерсону Ведь это он был виноват в том, что произошло. Этот черный дурак в жизни бы не додумался явиться к нам на кухню, если б не Уилкерсон. Возле Тары я встретил Эшли, ну и он, конечно, поскакал со мной. Он сказал, что сам разделается с Уилкерсоном за то, что тот хотел отобрать у вас Тару, а я сказал — нет, это сделаю я, потому что Салли — жена моего родного покойного брата; мы проспорили с ним всю дорогу. А когда примчались в город — ей‑богу, Скарлетт, не поверите: я, оказывается, даже и пистолета с собой не взял. Забыл в конюшне. В такой я был ярости...

Он умолк и откусил от черствой лепешки, а Скарлетт почувствовала, как по телу у нее пробежала дрожь. Неуемная ярость Фонтейнов вошла в историю округи задолго до этих событий.

— Пришлось мне идти на него с ножом. Обнаружил я этого негодяя в баре. Затиснул его в угол — а Эшли никому не давал подойти к нам — и, прежде чем полоснуть ножом, растолковал ему, за что хочу его прирезать. А как дальше было дело, сам не знаю, — медленно произнес Тони. — Опомнился я уже в седле: Эшли посадил меня на лошадь и велел ехать к вам, друзья. Эшли хороший малый, не подведет. Он не теряет головы.

В эту минуту вошел Фрэнк с переброшенным через руку пальто и протянул его Тони. Это было его единственное теплое пальто, но Скарлетт возражать не стала. Ее дело тут — сторона, пусть мужчины сами разбираются.

— Но, Тони... вы так нужны дома. Если бы вы вернулись и все объяснили, конечно же...

— Фрэнк, вы женились на дурочке, — с усмешкой сказал Тони, натягивая пальто. — Она думает, янки наградят человека за то, что он не подпускает ниггеров к своим белым женщинам. Что ж, конечно, наградят — военным трибуналом и веревкой. Поцелуйте меня, Скарлетт. Фрэнк не станет возражать, а я ведь, может, больше никогда вас не увижу. Техас — это далеко. Писать я не осмелюсь, поэтому сообщите домой: пусть знают, что я хоть до вас добрался в целости.

Она позволила ему поцеловать себя; мужчины вышли на заднее крыльцо и, несмотря на проливной дождь, постояли немного, поговорили. Затем Скарлетт услышала хлюпанье воды под копытами. Тони ускакал. Она приоткрыла дверь и в щелку увидела, как Фрэнк повел тяжело дышавшую, спотыкавшуюся лошадь в сарай. Тогда Скарлетт снова закрыла дверь и опустилась в кресло — колени у нее подгибались.

Теперь она поняла, что принесла с собой Реконструкция, — поняла так отчетливо, как если бы вокруг ее дома сидели на корточках полуголые дикари в набедренных повязках. В памяти ее возникло многое, чему она была свидетельницей последнее время, но на что не обратила должного внимания: разговоры, которые она слышала, но которые не доходили до ее сознания, обрывки фраз, которыми обменивались мужчины, внезапно умолкавшие при ее появлении; мелкие происшествия, которым она в свое время не придала значения; тщетные попытки Фрэнка убедить ее не ездить на лесопилку с одним только немощным дядюшкой Питером в качестве защитника. Сейчас все это вдруг сложилось в устрашающую картину.

И главное место в этой картине занимали негры, а за ними стояли янки со штыками наготове. Ее могут убить, могут изнасиловать, подумала Скарлетт, и скорее всего никто за это не понесет наказания. А любого, кто попытается отомстить за нее, янки повесят — повесят без суда и следствия. Офицеры‑янки, как она слышала, понятия не имеют о том, что такое закон, и даже разбираться не станут, при каких обстоятельствах совершено преступление, — они готовы чинить суд над любым южанином и тут же вздернуть его.

«Что же нам делать? — думала Скарлетт, ломая руки от бессилия и страха. — Что можем мы против этих дьяволов, которые готовы повесить такого славного парня, как Тони, только за то, что он прикончил пьяного бугая и мерзавца‑подлипалу, защищая своих женщин?»

«С таким мириться нельзя!» — воскликнул Тони и был прав. С этим невозможно мириться. Но что поделаешь? Придется терпеть — ведь они так беспомощны! Ее затрясло, и впервые в жизни она поняла, что не властна над людьми и событиями, отчетливо увидела, что Скарлетт О’Хара, испуганная и беспомощная, — отнюдь не средоточие вселенной. Таких испуганных, беспомощных женщин, как она, — тысячи на Юге. И тысячи мужчин, которые сложили оружие у Аппоматтокса, а сейчас снова взяли его в руки и готовы по первому зову рисковать жизнью.

В лице Тони было что‑то такое, что отразилось и в лице Фрэнка, — это выражение она не раз последнее время видела и на лицах других людей в Атланте, замечала его, но не давала себе труда разгадать. Это было выражение совсем новое — не усталость и беспомощность, которые она видела на лицах мужчин, возвращавшихся с войны после поражения. Тем было все безразлично — лишь бы добраться до дома. А сейчас им не было все безразлично, к омертвевшим нервам возвращалась жизнь, возрождался былой дух. Им не было все безразлично — только появилась у них холодная, беспощадная горечь. И подобно Тони, они думали: «С таким мириться нельзя!»

Скарлетт видела южан в разных ипостасях: вежливых и удалых — в предвоенные дни; отчаянных и жестоких — в дни последних безнадежных схваток. Но в лицах этих двоих, которые только что смотрели друг на друга поверх пламени свечи, было что‑то иное, что‑то и согревшее ей душу, и напугавшее ее, — ярость, для которой не было слов, решимость, которую не остановишь.

Впервые она почувствовала, что составляет единое целое с теми, кто ее окружает, почувствовала, что делит их страхи, их горечь, их решимость. Нет, с таким мириться нельзя! Юг — слишком хорош, чтобы выпустить его из рук без борьбы, слишком любим, чтобы позволить янки, которые ненавидят южан так, что готовы втоптать их в грязь, — надругаться над этой землей, слишком дорог, чтобы отдать родной край неграм, опьяневшим от виски и свободы.

Вспоминая внезапное появление Тони и столь же внезапное и стремительное его исчезновение, она чувствовала себя сродни ему, ибо ей вспомнился давний рассказ о том, как ее отец покидал Ирландию, покидал поспешно, ночью, совершив убийство, которое ни он, ни его семья не считали убийством. Ведь и в ее жилах текла кровь Джералда, буйная кровь. Она вспомнила, какая пьянящая радость обожгла, захлестнула ее, когда она пристрелила мародера‑янки. Буйная кровь текла у всех у них в жилах — текла под самой кожей, опасно близко к поверхности, то и дело прорывая приятную, учтиво‑любезную внешнюю оболочку. Все они, все мужчины, которых она знала, даже мечтательно‑задумчивый Эшли и нервно теребящий бороденку Фрэнк, были в душе такими буйными, способными, если потребуется, даже на убийство. К примеру, Ретт, бесстыжий разбойник, и тот убил негра за то, что он «нахально вел себя с леди».

Фрэнк вошел кашляя, отряхиваясь от дождя, и она стремительно поднялась с места.

— Ах, Фрэнк, сколько же нам все это терпеть?

— До тех пор, пока янки будут так ненавидеть нас, лапочка!

— Но неужели никто ничего не может сделать?

Фрэнк устало провел рукой по мокрой бороде.

— Мы кое‑что делаем.

— Что?

— К чему болтать, пока ничего не добились! На это могут уйти годы. Возможно... возможно, Юг навсегда останется таким.

— Ох нет!

— Лапочка, пойдемте спать, вы, должно быть, совсем замерзли. Вас всю колотит.

— Но когда же это кончится?

— Тогда, когда мы снова получим право голоса, лапочка. Когда каждый, кто сражался, отстаивая наш Юг, сможет опустить в урну избирательный бюллетень с именем южанина и демократа.

— Бюллетень? — в отчаянии воскликнула она. — Да какой толк от этого бюллетеня, когда негры потеряли разум... когда янки отравляют им душу, настраивая против нас?

Фрэнк терпеливо принялся ей объяснять, но у Скарлетт в голове не укладывалось, как с помощью выборов можно избежать беды. Зато она с облегчением подумала о том, что Джонас Уилкерсон никогда уже не будет больше угрожать Таре, и еще она подумала о Тони.

— Ох, бедные Фонтейны! — воскликнула она. — У них остался один только Алекс, а ведь в Мимозе столько дел. Ну, почему у Тони не хватило ума... почему он не подумал проделать все ночью, чтоб никто не узнал, что это он? Ведь во время весенней пахоты он куда нужнее у себя дома, чем где‑то в Техасе.

Фрэнк обнял ее. Обычно он делал это робко, словно боясь, что она нетерпеливо сбросит его руку, но сегодня взгляд его был устремлен куда‑то вдаль, а рука крепко обвила ее талию.

— Сейчас есть вещи поважнее пахоты, лапочка. И одна из них — вселить страх в негров и дать этим подлипалам хороший урок. И до тех пор пока есть такие славные ребята, как Тони, я думаю, мы можем не слишком волноваться насчет будущего нашего Юга. Пошли спать.

— Но, Фрэнк...

— Если мы будем держаться вместе и ни на дюйм не уступим янки, настанет день, когда мы победим. И не ломайте над этим свою хорошенькую головку, лапочка. Предоставьте мужчинам волноваться. Возможно, при нашей жизни этого еще и не будет, но такой день настанет, Янки надоест донимать нас, когда они увидят, что не в силах ничего с нами поделать, и тогда мы сможем спокойно и достойно жить и воспитывать наших детей.

Скарлетт подумала об Уэйде и о тайне, которую носила в себе уже несколько дней. Нет, не хочет она, чтобы дети ее росли среди этого разгула ненависти и неуверенности в завтрашнем дне, среди ожесточения и насилия, способных прорваться в любую секунду, среди бедности, тяжких невзгод, ненадежности. Не хочет она, чтобы ее дети знали такое. Ей нужен прочный, упорядоченный мир, чтобы она могла спокойно смотреть вперед и знать, что ее детям обеспечено безопасное будущее, — мир, где ее дети будут жить в тепле, обласканные, хорошо одетые, сытые.

Фрэнк считал, что всего этого можно добиться голосованием. Голосованием? Да при чем тут голосование? Ни один порядочный человек на Юге никогда уже не будет иметь право голоса. На свете есть только одно надежное средство против любой беды, которую может обрушить на человека судьба, это — деньги. «Нужны деньги, — лихорадочно думала Скарлетт, — много, много денег, чтобы уберечься от беды».

И без всяких околичностей она объявила Фрэнку, что ждет ребенка.

Не одну неделю после побега Тони солдаты‑янки являлись к тете Питти и устраивали в доме обыск. Они приезжали в самые неожиданные часы, без всякого предупреждения, и заполняли дом. Они разбредались по комнатам, задавали вопросы, открывали шкафы, щупали висевшую на вешалках одежду, заглядывали под кровати. Военные власти прослышали, что Тони направили к мисс Питти, и были уверены, что он все еще скрывается тут или где‑то поблизости.

В результате тетя Питти постоянно пребывала в состоянии «трепыханья», как выражался дядюшка Питер: ведь в ее спальне мог в любую минуту появиться офицер, а то и целый взвод. Но Фрэнк и Скарлетт ни словом не обмолвились о кратком визите Тони, так что старушка ничего не могла выболтать, даже если бы ей и захотелось. Поэтому она вполне чистосердечно, дрожащим голоском объясняла, что видела Тони Фонтейна всего раз в жизни и было это на рождество 1862 года.

— И знаете, — поспешно добавляла она, слегка задыхаясь и стремясь выказать солдатам‑янки свое доброе отношение: — он тогда был очень навеселе.

Скарлетт, которая плохо переносила первые месяцы беременности и чувствовала себя совсем несчастной, то принималась страстно ненавидеть синемундирников, нарушавших ее затворничество и нередко уносивших с собой разные приглянувшиеся мелочи, то не менее страстно боялась, как бы Тони не навлек на всех них беду. В тюрьмах полно было людей, арестованных за куда меньшие проступки. Она знала, что, если хотя бы доля правды выплывет наружу и будет доказана, всех их — не только ее и Фрэнка, но и ни в чем не повинную тетю Питти — заключат в острог.

Вот уже некоторое время в Вашингтоне шли разговоры о том, чтобы конфисковать всю «собственность мятежников» и за счет этого заплатить военные долги Соединенных Штатов, — из‑за подобных слухов Скарлетт находилась в состоянии страха и непрестанной тревоги. А теперь по Атланте еще пошли разговоры о конфискации собственности тех, кто нарушил законы военного времени, и Скарлетт тряслась, опасаясь, как бы им с Фрэнком не лишиться не только свободы, но и дома, и лавки, и лесопилки. Впрочем, даже если военные власти не отберут у них собственность, все и так пойдет прахом, как только их с Фрэнком посадят в тюрьму, — кто же будет вести дела в их отсутствие?

Она ненавидела Тони за то, что он навлек на них все эти страхи. Как мог он так поступить со своими друзьями? И как мог Эшли послать к ним Тони? Никогда в жизни она больше не станет никому помогать, раз янки могут потом налететь на нее, как рой ос. Нет, она запрет свою дверь для всех, кому нужна помощь, за исключением, конечно, Эшли. Многие недели после стремительного наезда Тони она пробуждалась от тревожного сна, заслышав цокот копыт на дороге, в страхе, что это Эшли вынужден теперь бежать в Техас из‑за того, что оказал помощь Тони. Она понятия не имела, как обстоят у Эшли дела, ибо не смела написать в Тару о полуночном появлении Тони. Ведь янки могли перехватить письмо, и тогда беда придет и на плантацию. Но неделя проходила за неделей, а скверных вестей не поступало, и стало ясно, что Эшли удалось выйти сухим из воды. Да и янки в конце концов перестали им досаждать.

Но даже это не избавило Скарлетт от страха, который поселился в ней с того дня, когда Тони постучал к ним в дверь, — страха, еще более панического, чем во время осады, когда она боялась, как бы в нее не угодил снаряд, — еще более панического даже, чем перед солдатами Шермана в последние дни войны. Появление Тони в ту бурную, исхлестанную дождем ночь словно сорвало благостные шоры с ее глаз, и она увидела, на сколь зыбкой основе зиждется ее жизнь.

Глядя вокруг себя той холодной весной, 1866 года, Скарлетт начала понимать, в каком положении находится она сама, да и весь Юг. Она может изворачиваться и строить планы, она может работать, как никогда не работали ее рабы, она может изощриться и преодолеть все тяготы, она может, благодаря своему упорству, разрешить проблемы, к которым ее никак не подготовила жизнь, но сколько бы она ни трудилась, какие бы жертвы ни приносила, какую бы ни проявляла изобретательность, то немногое, что она сумеет наскрести столь дорогой ценой, могут в любую минуту отобрать. И случись такое, у нее нет никаких прав, ей не к кому обратиться за возмещением убытков, кроме все тех же идиотских судов, о которых с такой горечью говорил Тони, — военных судов с их произволом. Янки поставили Юг на колени и намерены держать его в таком состоянии. Словно исполинская злая рука взяла и все перевернула, и те, кто когда‑то правил на Юге, стали теперь куда беззащитнее своих бывших рабов.

В Джорджии было размещено несметное множество гарнизонов, и в Атланте солдат находилось более чем достаточно. Командиры‑янки в разных городах обладали всей полнотой власти — даже правом карать и миловать гражданских лиц, — чем янки и пользовались. Они могли — да так и поступали — засадить человека в тюрьму по любой причине и даже без всякой причины вообще, отобрать у него собственность, повесить его. Они могли — да так и поступали — мучить и изводить людей, издавая противоречивые постановления о том, как надо вести дела, сколько платить слугам, что говорить на публике и в частных беседах, что писать в газетах. Они устанавливали, как, когда и где следует выбрасывать мусор, решали, какие песни могут петь дочери и жены бывших конфедератов, так что пение «Дикси» или «Славного голубого флага» рассматривалось как преступление, почти равное измене. Они издали указ, согласно которому почта выдавала письма лишь тем, кто подписал Железную клятву[[17]](#footnote-17), а порою люди не могли получить даже свидетельство о браке, не приняв ненавистной присяги.

На газеты надели такую узду, что ни о какой публикации протестов граждан против несправедливостей и грабежей, чинимых военными, не могло быть и речи, а если кто‑то и пытался протестовать, ему затыкали рот и бросали за решетку. В тюрьмах полно было именитых граждан, сидевших там без всякой надежды на скорый суд. Хабеас Корпус[[18]](#footnote-18) и суд присяжных были практически отменены. Гражданские суды, хоть и продолжали действовать для вида, действовали лишь по указке военных, которые не только имели право вмешиваться, но и действительно вмешивались в судопроизводство, так что граждане, угодившие под арест, оказывались на милости военных властей. А сколько их было — таких арестованных. Достаточно было подозрения в том, что ты неуважительно отозвался о правительстве или что ты — член ку‑клукс‑клана, достаточно было негру пожаловаться на тебя — и ты оказывался в тюрьме. Никаких доказательств, никаких свидетелей не требовалось. Раз обвинили — отвечай. А Бюро вольных людей так накалило атмосферу, что подыскать негра, готового выступить с подобным обвинением, не представляло труда.

Негры еще не получили права голоса, но Север твердо решил предоставить им это право, как заранее решил и то, что голосовать они будут в пользу Севера. А потому неграм всячески потакали.

С бывшими рабами стали теперь ужасно носиться, и наиболее никчемным дали разные посты.

К тем же, кто раньше стоял ближе к белым, относились не лучше, чем к их господам. Тысячи слуг — привилегированная часть рабов — остались у своих белых хозяев и занимались тяжелым трудом, который раньше считали ниже своего достоинства. Было немало и полевых рабочих, отказавшихся уйти от хозяев, и тем не менее основная масса «ниггеров» состояла именно из них.

Во времена рабства негры, работавшие в доме и во дворе, презирали полевых рабочих, считая их существами низшей породы. Не только Эллин, но и другие хозяйки плантаций по всему Югу посылали негритят учиться, а потом отбирали наиболее способных для работы, требовавшей смекалки. В поля же направляли тех, кто не хотел или не мог учиться. И вот теперь эти люди, стоявшие на самой низкой ступени социальной лестницы, выдвинулись на Юге в первые ряды.

Поощряемые, с одной стороны, беззастенчивыми авантюристами, захватившими в свои руки Бюро вольных людей, а с другой — подстрекаемые северянами, поистине фанатически ненавидевшими южан, бывшие полевые рабочие неожиданно почувствовали, что могут делать что хотят. И, естественно, повели они себя так, как и следовало ожидать.

К чести негров, даже наименее развитых, надо сказать, что лишь немногие действовали по злому умыслу. Но в массе своей они были как дети, а вековая привычка слушаться приказаний приводила к тому, что их легко было толкнуть на что угодно. В прошлом им приказывали белые господа. Теперь у них появились новые властители — Бюро вольных людей и «саквояжники», которые им внушали: «Ты не хуже любого белого — значит, и веди себя соответственно. Дадут тебе бюллетень республиканской партии, опустишь его в избирательную урну и сразу получишь собственность белого человека. Считай, что она уже твоя. Вот и бери ее!»

Сбитые с толку такими речами, они воспринимали свободу как нескончаемый пикник, каждодневное пиршество, карнавал. Негры из сельских местностей устремились в города, поля остались без работников — убирать урожай было некому. Атланту наводнили негры — они прибывали сотнями, пополняя клан зараженных опасными настроениями, которые возникали под влиянием новых теорий. Пришельцы ютились в убогих домишках, в страшной тесноте, и скоро среди них начались эпидемии: ветрянка, тиф, туберкулез. Привыкшие к тому, что во время болезни хозяева заботились о них, они не умели ни сами лечиться, ни лечить своих близких. Не привыкли они заботиться и о стариках и детях, о которых раньше тоже пеклись хозяева. Бюро же вольных людей главным образом занималось политикой и никак не участвовало в решении всех этих проблем.

И вот заброшенные родителями негритянские детишки бегали по городу, как испуганные зверьки, пока кто‑нибудь из белых, сжалившись, не брал их к себе на кухню. Старики, предоставленные самим себе, растерянные, испуганные городской сутолокой, сидели прямо на тротуарах, взывая к проходившим мимо женщинам: «Хозяюшка, мэм, пожалуйста, напишите моему господину в графство Фейетт, что я туточки. А уж он приедет и заберет меня, старика, к себе. Ради господа бога, а то ведь я тут ума решусь, на этой свободе!»

Бюро вольных людей, захлестнутое хлынувшим в город потоком, слишком поздно поняло свою ошибку и стало уговаривать негров ехать назад к бывшим хозяевам. Неграм говорили, что теперь‑де они могут вернуться как вольнонаемные рабочие и подписать контракт, в котором будет оговорен их дневной заработок. Старые негры охотно возвращались на плантации, тем самым лишь увеличивая бремя, лежавшее на обедневших плантаторах; молодые же оставались в Атланте. Работать они не желали.

Впервые в жизни негры получили доступ к виски. Во времена рабства они его пробовали разве что на Рождество, когда хозяин подносил каждому «наперсточек» вместе с подарком. Теперь же не только агитаторы из Бюро вольных людей и «саквояжники» распаляли их, немалую роль играло тут виски, а от пьянства до хулиганства — один шаг. Теперь и жизнь и имущество бывших господ оказались под угрозой, и белые южане жили в вечном страхе. Пьяные привязывались к ним на улицах, ночью жгли дома и амбары, среди дня пропадали лошади, скот, куры, — словом, преступность росла, но лишь немногие нарушители порядка представали перед судом.

Однако наибольший страх испытывали женщины, которые после войны остались без мужчин и их защиты и жили одни в пригородах и на уединенных дорогах. Нападения на женщин, боязнь за своих жен и дочерей и привели к тому, что южане решили создать ку‑клукс‑клан. Газеты Севера тут же подняли страшный крик и ополчились против этой организации, действовавшей по ночам. Север требовал, чтобы всех куклуксклановцев переловили и повесили, ибо вершить суд и расправу должно по закону.

Поразительные времена наступили в стране — половина ее населения силой штыка пыталась заставить другую половину признать равноправие негров. Им‑де следует дать право голоса, а большинству их бывших хозяев в этом праве отказать. Юг следует держать на коленях, и один из способов этого добиться — лишить белых гражданских и избирательных прав. Большинство тех, кто сражался за Конфедерацию, кто занимал в пору ее существования какой‑либо пост или оказывал ей помощь, были теперь лишены права голоса, не имели возможности выбирать государственных чиновников и всецело находились во власти чужаков. Многие мужчины, здраво поразмыслив над словами генерала Ли и его примером, готовы были принять присягу на верность, чтобы снова стать полноправными гражданами и забыть прошлое. Но им в этом было отказано. Другие же, кому разрешено было дать присягу, запальчиво отказывались, не желая присягать на верность правительству, намеренно подвергавшему их жестокостям и унижениям.

Скарлетт снова и снова — до одури, до того, что ей хотелось кричать от раздражения, — слышала со всех сторон: «Да я бы сразу после поражения присягнул им на верность, если б они вели себя как люди. Я готов быть гражданином Штатов, но, ей‑богу, не желаю, чтоб меня перевоспитывали: не хочу я Реконструкции».

Все эти неспокойные дни и ночи Скарлетт тоже терзалась страхом. Присутствие «вольных» негров и солдат‑янки давило на нее: она ни на минуту, даже во сне, не забывала, что у нее могут все конфисковать, и боялась наступления еще худших времен. Подавленная собственной беспомощностью и беспомощностью своих друзей, да и всего Юга, она в эти дни часто вспоминала слова Тони Фонтейна и то, с какой страстью они были произнесены: «Ей‑богу, Скарлетт, с таким нельзя мириться. И мы мириться не станем!»

Несмотря на последствия войны, пожары и Реконструкцию, Атланта снова переживала бум. Во многих отношениях она напоминала деловитый молодой город первых дней Конфедерации. Одна беда: солдаты, заполнявшие улицы, носили не ту форму, деньги были в руках не тех людей, негры били баклуши, а их бывшие хозяева с трудом сводили концы с концами и голодали.

Копни чуть‑чуть — всюду страх и нужда, внешне же город, казалось, процветал: он быстро возрождался из руин и производил впечатление кипучего, охваченного лихорадочной деятельностью муравейника. Похоже, в Атланте, независимо от обстоятельств, жизнь всегда будет бить ключом. В Саванне, Чарльстоне, Огасте, Ричмонде, Новом Орлеане — там спешить никогда не будут. Только люди невоспитанные да янки спешат. В Атланте же в ту пору встречалось куда больше невоспитанных, «объянкившихся» людей, чем когда бы то ни было. «Пришлые» буквально заполонили город, и на забитых ими улицах шум стоял с утра до поздней ночи. Сверкающие лаком коляски офицерских жен, янки и нуворишей‑«саквояжников» обдавали грязью старенькие брички местных жителей, а безвкусные новые дома богатых чужаков вставали между солидными особняками исконных горожан.

Война окончательно утвердила роль Атланты на Юге, и дотоле неприметный город стал далеко и широко известен. Железные дороги, за которые Шерман сражался все лето и уложил тысячи людей, снова несли жизнь этому городу, и возникшему‑то благодаря им. Атланта, как и прежде, до своего разрушения, снова стала деловым центром большого района, и туда непрерывным потоком текли новые обитатели, как желанные, так и нежеланные.

«Саквояжники» превратили Атланту в свое гнездо, однако на улицах они сталкивались с представителями старейших семейств Юга, которые были здесь такими же пришлыми, как и они. Это были семьи, переселившиеся сюда из сельской местности, погорельцы, которые теперь, лишившись рабов, не в состоянии были обрабатывать плантации. Новые поселенцы каждый день прибывали из Теннесси и обеих Каролин, где тяжелая рука Реконструкции давила еще сильнее, чем в Джорджии. Немало наемников‑ирландцев и немцев, служивших в армии конфедератов, обосновались в Атланте, когда их отпустили. Пополнялось население города и за счет жен и детей янки, стоявших здесь в гарнизоне: после четырех лет войны всем хотелось посмотреть, что же такое Юг. И, конечно, было множество авантюристов всех мастей, хлынувших сюда в надежде сколотить состояние, да и негры продолжали сотнями прибывать в Атланту из сельских мест.

Город бурлил — он жил нараспашку, как пограничное селение, даже и не пытаясь прикрыть свои грехи и пороки. Появились салуны — по два, а то и по три в каждом квартале, — и двери их не закрывались всю ночь напролет, а с наступлением сумерек улицы заполнялись пьяными, черными и белыми, которых качало от края тротуара к стенам домов и обратно. Головорезы, карманники и проститутки подстерегали своих жертв в плохо освещенных проулках и на темных улицах. Игорные дома преуспевали вовсю, и не проходило ночи, чтобы там кого‑нибудь не пристрелили или не прирезали. Почтенные граждане с ужасом узнали о том, что в Атланте возник большой и процветающий район «красных фонарей» — гораздо более обширный и более процветающий, чем во время войны. За плотно закрытыми ставнями всю ночь напролет бренчали рояли, раздавались беспутные песни и хохот, прорезаемые время от времени вскриками или пистолетным выстрелом. Обитательницы этих домов были куда бесстыднее проституток дней войны, они нахально перевешивались через подоконники и окликали прохожих. А по воскресеньям элегантные кареты хозяек этого квартала катили по главным улицам, полные разодетых девчонок, которых вывозили на прогулку подышать воздухом за приспущенными шелковыми шторками.

Наиболее известной среди хозяек была Красотка Уотлинг. Она открыла свое заведение в большом двухэтажном доме, рядом с которым соседние дома казались жалкими крольчатниками. На первом этаже был большой элегантный бар, увешанный картинами, писанными маслом, и в нем всю ночь напролет играл негритянский оркестр. Верхний же этаж, судя по слухам, был обставлен дорогой мягкой мебелью, обтянутой плюшем; там висели занавеси из тяжелых кружев и заморские зеркала в золоченых рамах. Десять молодых особ, составлявших принадлежность этого дома, отличались приятной внешностью, хоть и были ярко накрашены, и вели себя куда тише, чем обитательницы других домов. Во всяком случае, к Красотке полицию вызывали редко.

Об этом доме атлантские матроны шептались исподтишка, а священники в своих проповедях, осторожно понизив голос, с сокрушенным видом называли его «средоточием порока». Все понимали, что такая женщина, как Красотка, не могла сама заработать столько денег, чтобы открыть подобное роскошное заведение. Значит, кто‑то — и кто‑то богатый — стоял за ней. А поскольку Ретт Батлер никогда не скрывал своих отношений с нею, значит, это был он. Вид у Красотки, когда она проезжала в своей закрытой карете с наглым желтым негром на козлах, был весьма процветающий. Она ехала в этой своей карете, запряженной двумя отменными гнедыми, и все мальчишки, если им удавалось сбежать от матерей, высыпали на улицу поглазеть на нее, а потом возбужденно шептали друг другу: «Это она! Старуха Красотка! Я видел ее красные волосы!»

Рядом с домами, испещренными шрамами от снарядов и кое‑как залатанными старым тесом и почерневшими от дыма пожарищ кирпичами, вставали прекрасные дома «саквояжников» и тех, кто нажился на войне, — дома с мансардами, с островерхими крышами и башенками, с витражами в окнах, с большими лужайками перед крыльцом. Из вечера в вечер в этих недавно возведенных домах ярко светились окна, за которыми горели газовые люстры, и далеко разносились звуки музыки и шарканье танцующих ног. Женщины в шуршащих ярких шелках прогуливались по узким длинным верандам, окруженные мужчинами в вечерних костюмах. Хлопали пробки от шампанского, столы, накрытые кружевными скатертями, ломились от блюд: здесь ужины подавали из семи перемен. Ветчина в вине, и фаршированная утка, и паштет из гусиной печенки, и редкие фрукты даже в неурочное время года в изобилии стояли на столах.

А за облезлыми дверями старых домов ютились нужда и голод, которые ощущались достаточно остро, хоть их и переносили со стоическим мужеством, — они ранили тем сильнее, чем больше пренебрежения выказывалось материальным благам. Доктор Мид мог бы поведать немало тягостных историй о семьях, которые вынуждены были сначала переехать из особняка в квартиру, а потом из квартиры — в грязные комнаты на задворках. Слишком много было у него пациенток, страдавших «слабым сердцем» и «упадком сил». Он знал — и они знали, что он знает: все дело было в недоедании. Он мог бы рассказать о том, как туберкулез наложил свою лапу на целые семьи, о том, как в лучших домах Атланты появилась цинга, от которой раньше страдали лишь самые обездоленные белые бедняки. И как появились дети с тоненькими, кривыми от рахита ножками и матери, у которых нет молока. Когда‑то старый доктор готов был благодарить бога за каждое новое дитя, которому он помог появиться на свет. Теперь же он не считал, что жизнь — это такое уж благо. Неприветливый это был мир для маленьких детей, и многие умирали в первые же месяцы жизни.

Яркие огни и вино, звуки скрипок и танцы, парча и тонкое сукно — в поставленных на широкую ногу больших домах, а за углом — медленная смерть от голода и холода. Спесь и бездушие — у победителей; горечь долготерпения и ненависть — у побежденных.

### Глава XXXVIII

Скарлетт все это видела, жила с этим сознанием днем, с этим сознанием ложилась вечером в постель, страшась каждой следующей минуты. Она знала, что они с Фрэнком уже числятся из‑за Тони в черных списках янки и что несчастье может в любую минуту обрушиться на них. Но именно сейчас откатиться назад, к тому, с чего она начинала, — нет, этого она просто не могла допустить: ведь она ждала ребенка, а лесопилка как раз стала приносить доход, и будущее Тары до осени, то есть до нового урожая хлопка, всецело зависело от этого дохода. Что, если она все потеряет?! Что, если придется начинать все с начала с теми скромными средствами, которыми она располагает в борьбе с этим безумным миром? Ну, что она может выставить против янки и их порядка — свои пунцовые губки, свои зеленые глаза, свой острый, хоть и небольшой, умишко. Снедаемая тревогой, она чувствовала, что легче покончить с собой, чем начинать все с начала.

Среди разрухи и хаоса этой весны 1866 года она направила всю свою энергию на то, чтобы сделать лесопилку доходной. Ведь деньги в Атланте были. Горячка восстановления города давала Скарлетт возможность нажиться, и она понимала, что будет делать деньги, если только не попадет в тюрьму. Но, твердила она себе, ходить надо легко, пританцовывая, не обращая внимания на оскорбления, мирясь с несправедливостью, не обижаясь ни на кого, будь то белый или черный. Она ненавидела наглых вольных негров, и по спине ее пробегал холодок — такое ее охватывало бешенство всякий раз, как она слышала их оскорбительные шуточки по своему адресу и визгливый хохот. Но она ни разу не позволила себе хотя бы презрительно взглянуть на них. Она ненавидела «саквояжников» и подлипал, которые без труда набивали себе карманы, в то время как ей приходилось так трудно, но ни словом не осудила их. Никто в Атланте не презирал янки так, как она, ибо при одном виде синего мундира к горлу у нее от ярости подступала тошнота, но даже в кругу семьи она ни единым словом не выдала своих чувств.

«Я же не идиотка — я рта не раскрою, — мрачно твердила она себе. — Пусть другие терзаются, оплакивая былые дни и тех, кто уже не вернется. Пусть другие сжигают себя в огне ненависти, кляня правление янки и теряя на этом право голосовать. Пусть другие сидят в тюрьме за то, что не умели держать язык за зубами, и пусть их вешают за причастность к ку‑клукс‑клану. (Каким леденящим ужасом веяло от этого названия — оно пугало Скарлетт не меньше, чем негров.) Пусть другие женщины гордятся тем, что их мужья — в ку‑клукс‑клане. Слава богу, Фрэнк с ними не связан! Пусть другие горячатся, и волнуются, и строят козни и планы, как изменить то, чего уже не изменишь. Да какое имеет значение прошлое по сравнению с тяготами настоящего и ненадежностью будущего? Какое имеет значение, есть у тебя право голоса или нет, когда хлеб, и кров, и жизнь на свободе — вот они, реальные проблемы?! О господи, смилуйся, убереги меня от всяких бед до июня!»

Только до июня! Скарлетт знала, что к этому времени она вынуждена будет уединиться в доме тети Питти и сидеть там, пока ребенок не появится на свет. Ее и так уже порицали за то, что она показывается на людях в таком состоянии. Леди никому не должна показываться, когда носит под сердцем дитя. Теперь уже и Фрэнк с тетей Питти умоляли ее не позорить себя — да и их, — и она обещала оставить работу в июне.

Только до июня! К июню надо так наладить все на лесопилке, чтобы там могли обойтись без нее. К июню у нее уже будет достаточно денег, чтобы чувствовать себя хоть немного защищенной на случай беды. Столько еще надо сделать, а времени осталось так мало! Хоть бы в сутках было больше часов! И она считала минуты в лихорадочной погоне за деньгами — денег, еще, еще денег!

Она так донимала робкого Фрэнка, что дела в лавке пошли на лад и он даже сумел взыскать кое‑какие старые долги. Но надежды Скарлетт были прежде всего связаны с лесопилкой. Атланта в эти дни походила на гигантское растение, которое срубили под корень, и вот теперь оно вдруг снова пошло в рост, только более крепкое, более ветвистое, с более густой листвой. Спрос на строительные материалы намного превышал возможности его удовлетворить. Цены на лес, кирпич и камень стремительно росли — лесопилка Скарлетт работала от зари до темна, когда уже зажигали фонари.

Каждый день она проводила часть времени на лесопилке, вникая во все мелочи, стремясь выявить воровство, ибо, по ее глубокому убеждению, без этого дело не обходилось. Но еще больше времени она тратила, разъезжая по городу: наведывалась к строителям, подрядчикам и плотникам, заглядывала даже к совсем незнакомым людям, которые, по слухам, якобы собирались строиться, и уговаривала их покупать лес у нее, и только у нее.

Вскоре она стала неотъемлемой частью пейзажа Атланты — женщина в двуколке, сидевшая рядом с почтенным, явно не одобрявшим ее поведения старым негром, — сидевшая, натянув на себя повыше полость, сжав на коленях маленькие руки в митенках. Тетя Питти сшила ей красивую зеленую накидку, которая скрадывала ее округлившуюся фигуру, и зеленую плоскую, как блин, шляпку под цвет глаз — шляпка эта очень ей шла. И Скарлетт всегда надевала этот наряд, когда отправлялась по делам. Легкий слой румян на щеках и еле уловимый запах одеколона делали Скарлетт поистине прелестной — до тех пор, пока она сидела в двуколке и не показывалась во весь рост. Впрочем, такая необходимость возникала редко, ибо она улыбалась, манила пальчиком — и мужчины тотчас подходили к двуколке и часто, стоя под дождем с непокрытой головой, подолгу разговаривали со Скарлетт о делах.

Она была не единственной, кто понял, что на лесе можно заработать, но не боялась конкурентов. Она сознавала, что может гордиться своей смекалкой и в силах потягаться с любым из них. Она ведь как‑никак родная дочь Джералда, и унаследованный ею деловой инстинкт теперь, в нужде и лишениях, еще обострился.

Поначалу другие дельцы смеялись над ней — смеялись добродушно, с легким презрением к женщине, которая вздумала возглавить дело. Но теперь они уже больше не смеялись. Они лишь молча кляли ее, когда она проезжала мимо. То обстоятельство, что она женщина, часто шло ей на пользу, ибо при случае она могла прикинуться столь беззащитной, столь нуждающейся в помощи, что вид ее мог растопить любые сердца. Ей ничего не стоило прикинуться мужественной, но застенчивой леди, которую жестокие обстоятельства вынудили заниматься столь малоприятным делом, — беспомощной маленькой дамочкой, которая просто умрет с голоду, если у нее не будут покупать лес. Но когда игра в леди не приносила результата, Скарлетт становилась холодно‑деловой и готова была продавать дешевле своих конкурентов, в убыток себе, лишь бы заполучить еще одного покупателя. Она могла продать низкосортную древесину по цене первосортной, если считала, что это сойдет ей с рук, и без зазрения совести шла на подлости по отношению к другим торговцам лесом. Всем своим видом показывая, как ей не хочется раскрывать неприятную правду, она в разговоре с возможным покупателем могла со вздохом сказать про конкурента, что больно уж он дерет за свой лес, хотя доски‑то у него гнилые, все в свищах и вообще ужасного качества.

Когда Скарлетт впервые решилась на такую ложь, ей потом стало стыдно и очень не по себе — не по себе не оттого, что она так легко и естественно солгала, а стыдно оттого, что в мозгу мелькнула мысль: что сказала бы мама?

А Эллин, узнав, что дочь лжет и занимается мошенничеством, могла бы сказать лишь одно. Она была бы потрясена, она бы ушам своим не поверила и так и сказала бы Скарлетт — мягко, но слова ее жгли бы каленым железом, — сказала бы о чести, и о честности, и о правде, и о долге перед ближними. Скарлетт вся съежилась, представив себе лицо матери. Но образ Эллин тотчас померк, изгнанный из памяти неуемным, безжалостным, могучим инстинктом, появившимся у Скарлетт в ту пору, когда Тара переживала «тощие дни», а сейчас укрепившимся из‑за неуверенности в будущем. Так Скарлетт перешагнула и этот рубеж, как прежде — многие другие, и лишь вздохнула, что не такая она, какой хотела бы видеть ее Эллин, пожала плечами и, словно заклинание, повторила свою любимую фразу: «Подумаю об этом потом».

А потом, занимаясь делами, она уже ни разу не вспомнила об Эллин, ни разу не пожалела, что всеми правдами и неправдами отбирает клиентов у других торговцев лесом. Она знала, что может лгать про них сколько угодно. Рыцарское отношение южан к женщине защищало ее. Южанка‑леди может солгать про джентльмена, но южанин‑джентльмен не может оболгать леди или — еще того хуже — назвать леди лгуньей. Так что другие лесоторговцы могли лишь кипеть от злости и пылко кляли миссис Кеннеди в кругу семьи, от души желая, чтобы она ну хоть на пять минут стала мужчиной.

Один белый бедняк — владелец лесопилки на Декейтерской дороге — попытался сразиться со Скарлетт ее же оружием и открыто заявил, что она лгунья и мошенница. Но это ему только повредило, ибо все были потрясены тем, что какой‑то белый бедняк мог так возмутительно отозваться о даме из хорошей семьи, хотя эта дама и вела себя не по‑дамски. Скарлетт спокойно и с достоинством отнеслась к его разоблачениям, но со временем все внимание сосредоточила на нем и его покупателях. Она столь беспощадно преследовала беднягу, продавая его клиентам — не без внутреннего содрогания — великолепную древесину по низкой цене, дабы доказать свою честность, что он вскоре обанкротился. Тогда — к ужасу Фрэнка — она окончательно восторжествовала над ним, купив почти задаром его лесопилку.

Став владелицей еще одной лесопилки, Скарлетт оказалась перед проблемой, которую не так‑то просто было решить: где найти верного человека, который мог бы ею управлять. Еще одного мистера Джонсона ей нанимать не хотелось. Она знала, что, сколько за ним ни следи, он продолжает тайком продавать ее лес; ничего, решила она, как‑нибудь найдем нужного человека. Разве все не бедны сейчас, как Иов, разве не полно на улицах мужчин, которые прежде имели состояние, а сейчас сидят без работы? Не проходило ведь дня, чтобы Фрэнк не ссудил денег какому‑нибудь голодному бывшему солдату или чтобы Питти и кухарка не завернули кусок пирога для какого‑нибудь еле державшегося на ногах бедняка.

Но Скарлетт по какой‑то ей самой непонятной причине не хотела брать на работу таких бедолаг. «Не нужны мне люди, которые за целый год ничего не могли приискать для себя, — размышляла она. — Если они до сих пор не сумели приспособиться к мирной жизни, значит, не сумеют приспособиться и ко мне. Да к тому же вид у них такой жалкий, такой побитый. А мне не нужны побитые. Мне нужен человек смекалистый и энергичный вроде Ренни, или Томми Уэлберна, или Келлса Уайтинга, или одного из Симмонсов, или... ну, словом, кто‑то такой. У них на лице не написано: «Мне все равно», как у солдат после поражения. У них вид такой, точно они черт знает как заинтересованы в любой чертовщине».

Однако, к великому удивлению Скарлетт, братья Симмонсы, занявшиеся обжигом кирпича, и Келлс Уайтинг, торговавший снадобьем, изготовленным на кухне его матушки и гарантировавшим выпрямление волос у любого негра после шестикратного применения, вежливо улыбнулись, поблагодарили и отказались. Так же повели себя и еще человек десять, к которым она обращалась. В отчаянии Скарлетт повысила предлагаемое жалованье — и снова получила отказ. Один из племянников миссис Мерриуэзер нахально заявил, что ему хоть и не слишком улыбается быть кучером на подводе, но, по крайней мере, это его собственная подвода, и уж лучше своими силенками чего‑то добиться, чем с помощью Скарлетт.

Как‑то днем Скарлетт остановила свою двуколку подле фургона с пирогами Рене Пикара и окликнула Рене, рядом с которым на козлах сидел его друг — калека Томми Уэлберн.

— Послушайте, Ренни, почему бы вам не поработать у меня? Быть управляющим на лесопилке куда респектабельнее, чем развозить пироги в фургоне. Я почему‑то считаю, что вам стыдно этим заниматься.

— Мне? Да я свой стыд давно похоронил! — усмехнулся Рене. — Кто нынче респектабельный? Я всю жизнь был респектабельный, война меня от этот предрассудок освободил, как освободил черномазых от рабство. Теперь я уже никогда не будет почтенный и весь в ennui[[19]](#footnote-19). Теперь я свободный как птичка. И мне очень нравится мой фургон с пироги. И мой мул мне нравится. И мне нравятся милые янки, которые так любезно покупайт пироги мадам моя теща. Нет, Скарлетт, дорогая моя, я уж буду Король Пирогов. Такая у меня судьба! Я, как Наполеон, держусь свой звезда. — И он с трагическим видом взмахнул хлыстом.

— Но вас ведь воспитывали не для того, чтобы продавать пироги, а Томми — не для того, чтобы воевать с этими дикарями — ирландскими штукатурами. У меня работа куда более...

— А вы, я полагаю, были воспитаны, чтобы управлять лесопилкой, — заметил Томми, и уголки рта у него дрогнули. — Я так и вижу, как маленькая Скарлетт сидит на коленях у своей мамочки и, шепелявя, заучивает урок: «Никогда не продавай хороший лес, если можешь продать плохой и по хорошей цене».

Рене так и покатился от хохота, его обезьяньи глазки искрились весельем, и он хлопнул Томми по сгорбленной спине.

— Нечего нагличать, — холодно заметила Скарлетт, не обнаружив в словах Томми повода для веселья. — Конечно, меня не растили, чтобы управлять лесопилкой.

— А я и не нагличаю. Вы же управляете лесопилкой, растили вас для этого или нет. И, надо сказать, управляете очень ловко. Собственно, никто из нас, насколько я понимаю, не делает того, что собирался делать, но все же, мне кажется, мы справляемся. Плох тот человек и плох тот народ, который сидит и льет слезы только потому, что жизнь складывается не так, как хотелось бы. Кстати, а почему бы вам, Скарлетт, не нанять какого‑нибудь предприимчивого «саквояжника»? В лесах их невесть сколько бродит.

— Не нужны мне «саквояжники», «Саквояжники» крадут все, что плохо лежит и не раскалено добела. Да если бы они хоть чего‑нибудь стоили, так и сидели бы у себя, а не примчались бы сюда, чтобы обгладывать наши кости. Мне нужен хороший человек из хорошей семьи, смекалистый, честный, энергичный и...

— Немногого вы хотите. Да только едва ли такого получите за свою цену. Все смекалистые, за исключением, пожалуй, увечных, уже нашли себе занятие. Может, они и не своим делом заняты, но работа у них есть. И работают они на себя, а не под началом у женщины.

— Мужчины, как я погляжу, если копнуть поглубже, не отличаются здравым смыслом.

— Может, оно и так, но гордости у них достаточно, — сухо заметил Томми.

— Гордости! У гордости вкус преотличный, особенно когда корочка хрустящая, да еще глазурью покрыта, — ядовито заметила Скарлетт.

Оба натянуто рассмеялись и — так показалось Скарлетт — словно бы объединились против нее в своем мужском неодобрении. «А ведь Томми сказал правду», — подумала она, перебирая в уме мужчин, к которым уже обращалась и к которым собиралась обратиться. Все они были заняты — заняты каждый своим делом, причем тяжелой работой, более тяжелой, чем они даже помыслить могли до войны. Делали они, возможно, то, что вовсе не хотели делать, — и не самое легкое, и не самое привычное, но все что‑то делали. Слишком тяжкие были времена, чтобы люди могли выбирать. Если они и скорбели об утраченных надеждах и сожалели об утраченном образе жизни, то держали это про себя. Они вели новую войну, войну более тяжелую, чем та, которая осталась позади. И снова любили жизнь, — любили столь же страстно и столь же отчаянно, как прежде — до того, как война разрубила их жизнь пополам.

— Скарлетт, — сказал запинаясь Томми. — Мне неприятно просить вас об одолжении после всех дерзостей, которые я вам наговорил, но все же я попрошу. Да, может, это и вас устроит. Брат моей жены, Хью Элсинг, торгует дровами, и не очень успешно. Дело в том, что все, кроме янки, сами обеспечивают себя дровами. А я знаю, что Элсингам приходится сейчас очень туго. Я... я делаю все что могу, но у меня ведь на руках Фэнни, а потом еще мама и две овдовевшие сестры в Спарте, о которых я тоже должен заботиться. Хью человек хороший, а вам нужен хороший человек. К тому же он, как вы знаете, из хорошей семьи, и он честный.

— Да, но... не слишком, видно, Хью смышленый, если ничего у него не получается с дровами.

Томми пожал плечами.

— Очень уж жестко вы судите, Скарлетт, — сказал он. — Но вы все‑таки подумайте насчет Хью. Может статься, вам придется взять кого‑то и похуже. Я же считаю, что честность и трудолюбие Хью возместят отсутствие смекалки.

Скарлетт промолчала, не желая быть резкой. Она‑то ведь считала, что лишь редкие качества, если такие существуют вообще, могут возместить отсутствие смекалки.

Тщетно объездив весь город и отказав не одному ретивому «саквояжнику», она все же решила наконец последовать совету Томми и предложить работу Хью Элсингу. Это был лихой, предприимчивый офицер во время войны, но два тяжелых ранения и четыре года, проведенных на полях битв, лишили его, как видно, всякой предприимчивости, и перед сложностями мирной жизни он был растерян, как ребенок. Теперь, когда он занялся продажей дров, в глазах его появилось выражение брошенного хозяином пса, — словом, это был совсем не тот человек, какого искала Скарлетт.

«Он просто дурак, — подумала она. — Он ничего не смыслит в делах и, уверена, не сумеет сложить два и два. И сомневаюсь, чтобы когда‑нибудь научился. Но по крайней мере, он честный и не будет обманывать меня».

Скарлетт в эту пору очень редко задумывалась над собственной честностью, но чем меньше ценила она это качество в себе, тем больше начинала ценить в других.

«Какая досада, что Джонни Гэллегер занят этим строительством с Томми Уэлберном, — подумала она. — Вот это человек, который мне нужен. Твердый, как кремень, и скользкий, как змея. Но он был бы честным, плати я ему за это. Я понимаю его, а он понимает меня, и мы бы отлично поладили. Возможно, мне удастся заполучить его после того, как они построят гостиницу, а до тех пор придется довольствоваться Хью и мистером Джонсоном. Если я поручу Хью новую лесопилку, а мистера Джонсона оставлю на старой, то смогу сидеть в городе и наблюдать за торговлей, а они пусть пилят доски и занимаются доставкой товара. Пока Джонни не освободится, придется рискнуть и дать мистеру Джонсону пограбить меня, когда я буду сидеть в городе. Если бы только он не был вором! Надо мне, пожалуй, построить дровяной склад на половине того участка, что оставил мне Чарлз. А на другой половине, если бы Фрэнк так не орал, я бы построила салун! Ничего, я все равно его построю, лишь только наберу достаточно денег, а уж как он к этому отнесется — его дело. Если б только Фрэнк не был таким чистоплюем. И если бы я, о господи, не ждала ребенка именно сейчас! Ведь очень скоро я стану такой тушей, что и носа на улицу показать не смогу. О господи, если бы я только не ждала ребенка! И, господи, если бы только эти проклятые янки оставили меня в покое! Если бы...»

Если! Если! Если! В жизни было столько «если» — никогда ни в чем не можешь быть уверена, никогда нет у тебя чувства безопасности, вечный страх все потерять, снова остаться без хлеба и крова. Да, конечно, Фрэнк теперь начал понемногу делать деньги, но Фрэнк так подвержен простуде и часто вынужден по многу дней проводить в постели. А что, если он вообще сляжет? Нет, нельзя всерьез рассчитывать на Фрэнка. Ни на что и ни на кого нельзя рассчитывать, кроме как на себя. А доходы ее до того смехотворно ничтожны. Ах, что же она станет делать, если явятся янки и все у нее отберут? Если! Если! Если!

Половина ее ежемесячных доходов шла Уиллу в Тару, часть — Ретту в счет долга, а остальное Скарлетт откладывала. Ни один скупец не пересчитывал свое золото чаще, чем она, и ни один скупец так не боялся потерять его. Она не хотела класть деньги в банк: а вдруг он прогорит или янки все конфискуют. И вот она все, что могла, носила при себе, за корсетом, а остальное рассовывала, по всему дому — пачечки банкнот лежали под неплотно пригнанным кирпичом очага, в мешочке для мусора, между страницами Библии. По мере того как шли недели, характер у Скарлетт становился все невыносимее, ибо с каждым отложенным ею долларом увеличивалась сумма, которую, случись беда, она могла потерять.

Фрэнк, Питти и слуги выносили вспышки ее гнева с поистине умопомрачительным долготерпением, объясняя ее плохое расположение духа беременностью и, конечно же, не догадываясь о подлинной причине. Фрэнк знал, что беременным женщинам следует во всем потакать, и поэтому запрятал свою гордость поглубже и уже не сетовал на то, что жена занимается лесопилками и показывается на улицах города в таком виде, в каком леди не должна появляться. Поведение Скарлетт не переставало приводить его в замешательство, но он решил, что может еще какое‑то время потерпеть. Вот родится ребенок, и, он уверен, она снова станет такой же нежной и женственной, какой была, когда он ухаживал за ней. Но несмотря на все его старания улестить ее, она продолжала устраивать сцены, и ему нередко казалось, что жена ведет себя как безумная.

Никто, видимо, не понимал, что на самом деле владело ею, что доводило ее до безумия. А ею владело безудержное желание привести дела в порядок, прежде чем придется совсем отгородиться от мира; собрать как можно больше денег на случай нового бедствия; воздвигнуть прочную стену из живых денег против нарастающей ненависти янки. В эти дни деньги всецело владели ее мыслями. И если она думала о будущем ребенке, то лишь с яростью и раздражением — уж очень несвоевременно он собирался появиться на свет.

«Смерть, налоги, роды. Ни то, ни другое, ни третье никогда не бывает вовремя».

Атланта была уже и так скандализована, когда Скарлетт, женщина, стала заниматься лесопилкой, но по мере того, как шло время, город решил, что эта женщина вообще способна на все. Ее беззастенчивая манера торговаться шокировала людей — особенно если учесть, что ее бедная матушка была из Робийяров; а уж разъезжать по улицам, когда всем известно про ее беременность, было и вовсе непристойно. Даже иные негритянки — не говоря уже об уважающих себя белых женщинах — и те не выходят за порог своих домов с той минуты, как у них возникает подозрение, что они, возможно, в положении. Недаром миссис Мерриуэзер возмущенно заявила, что Скарлетт, того и гляди, родит прямо на улице.

Но все пересуды на ее счет были сущей ерундой в сравнении с волною сплетен, которая прокатилась теперь по городу. Мало того, что Скарлетт торгует с янки, — ей еще это и нравится!

Миссис Мерриуэзер, да и не только она, но и многие другие южане имели дела с пришельцами‑северянами; разница состояла лишь в том, что им это было не по нутру, и они открыто показывали, что им это не по нутру, а Скарлетт это нравилось — во всяком случае, такое создавалось впечатление, что было совсем уж скверно. Она даже распивала чаи с женами офицеров‑янки у них в домах! Собственно, оставалось только пригласить их к себе, и в городе считали, что она и пригласила бы, если бы не тетя Питти и Фрэнк.

Скарлетт знала, что в городе говорят о ней, но не обращала внимания, не могла позволить себе обращать внимание. Она по‑прежнему ненавидела янки с такой же силой, как в тот день, когда они пытались сжечь Тару, но умела скрывать свою ненависть. Она понимала, что деньги можно выкачать только из янки, и успела уже уразуметь, что улыбка и доброе словцо прокладывают ей верный путь для получения новых заказов на лес.

Когда‑нибудь, когда она станет очень богатой и денежки ее будут надежно припрятаны, так что янки уже не смогут их найти, — вот тогда, тогда она выложит им все, что о них думает, выложит им, как она их ненавидит, презирает, ни в грош не ставит! Вот будет торжество! Но пока эта минута не настала, простой здравый смысл требует, чтобы она ладила с ними. И если это называется лицемерием, что ж, пусть Атланта потешается над ней.

Она обнаружила, что завязать дружбу с офицерами‑янки так же просто, как подстрелить сидящую птицу. Они были одинокими изгнанниками во враждебном краю, и многие, живя в этом городе, изголодались по милому женскому обществу, ибо здесь уважающие себя женщины, проходя мимо янки, подбирали юбки с таким выражением лица, словно вот‑вот плюнут. Одни только проститутки да негритянки были любезны с ними. А Скарлетт, бесспорно, была дамой, причем дамой из хорошей семьи, хоть она и работала, и они расцветали от ее сияющей улыбки и живого блеска ее зеленых глаз.

Скарлетт же, сидевшей в своей двуколке, беседуя с ними и играя ямочками на щеках, часто казалось, что вот сейчас она не выдержит и пошлет их к черту прямо в лицо. Но она сдерживалась и вскоре обнаружила, что обвести янки вокруг пальца не сложнее, чем южанина. Только это было не столько удовольствием, сколько неприятной обязанностью. Она разыгрывала из себя милую и рафинированную даму‑южанку, попавшую в беду. Вела себя скромно, с достоинством и умела держать свою жертву на должном расстоянии, тем не менее в манерах ее было столько мягкости, что офицеры‑янки тепло вспоминали потом миссис Кеннеди.

Теплые воспоминания могли принести свою пользу, а на это Скарлетт как раз и делала ставку. Многие офицеры гарнизона, не зная, сколько им придется пробыть в Атланте, вызывали к себе жен и детей. А поскольку гостиницы и пансионы были переполнены, они стали строить себе небольшие домики. Так почему бы не купить лес у прелестной миссис Кеннеди, которая была с ними любезнее всех в городе? Да и «саквояжники» и подлипалы, строившие себе прекрасные дома, магазины и гостиницы на только что нажитые деньги, находили куда более приятным иметь дело с ней, чем с бывшими солдатами‑конфедератами, которые были, правда, с ними любезны, но от этой любезности веяло такой официальностью и таким холодом, что она была хуже открытой ненависти.

Итак, благодаря красоте, обаянию и умению Скарлетт произвести впечатление беспомощной, всеми покинутой женщины, янки охотно становились постоянными ее клиентами и покупали все у нее на складе и в лавке Фрэнка, считая, что надо же помочь отважной маленькой дамочке, не имеющей иной опоры, кроме никчемного мужа. А Скарлетт, глядя на то, как ширится ее дело, понимала, что не только обеспечивает себе настоящее с помощью денег янки, но и будущее — с помощью друзей среди янки.

Поддерживать отношения с офицерами‑янки в выгодном для нее смысле оказалось легче, чем она ожидала, ибо все они с почтением относились к дамам‑южанкам, зато их жены, как вскоре обнаружила Скарлетт, стали для нее неожиданной проблемой. Она ведь вовсе не собиралась водить знакомство с женами янки. Она была бы рада вообще их не знать, но жены офицеров твердо решили знаться с нею. Ими владело неистребимое любопытство в отношении всего, что связано с Югом и южанками, и знакомство со Скарлетт давало возможность это любопытство удовлетворить. Другие обитательницы Атланты не желали иметь с ними ничего общего — даже не раскланивались в церкви, поэтому, когда дела привели Скарлетт к ним в дом, они встретили ее как посланницу свыше, явившуюся в ответ на их мольбу. Частенько, когда Скарлетт сидела в своей двуколке перед домом какого‑нибудь янки и беседовала с хозяином о стояках и кровельной дранке, жена выходила из дома и присоединялась к разговору или настаивала на том, чтобы Скарлетт зашла к ним выпить чайку. Скарлетт редко отказывалась, как бы ей это ни претило, ибо всегда надеялась уловить минутку и тактично посоветовать делать покупки в лавке Фрэнка. Но много раз ей приходилось крепко брать себя в руки, ибо хозяева слишком уж бесцеремонно лезли в ее личные дела и к тому же с самодовольным высокомерием относились ко всему южному.

Считая «Хижину дяди Тома» столь же достоверной, как Библия, все женщины‑янки спрашивали про овчарок, которых якобы держит каждый южанин, чтобы травить ими беглых рабов. И они ни за что не хотели поверить Скарлетт, утверждавшей, что за всю свою жизнь она видела всего одну овчарку, причем то была небольшая добрая собака, а вовсе не огромный злющий пес. Они расспрашивали Скарлетт про страшные приспособления, с помощью которых плантаторы клеймили лица рабов, и про девятихвостую плетку, которой забивали рабов до смерти, и премерзко — Скарлетт считала, что просто невоспитанно, — интересовались сожительством господ с рабами. Особенно возмущали ее эти расспросы теперь, когда в Атланте, после того как солдаты‑янки обосновались в городе, появилось столько детей‑мулатов.

Любая уроженка Атланты просто задохнулась бы от ярости, слушая все эти россказни, замешенные на невежестве и предубеждении, но Скарлетт умудрялась держать себя в руках. Помогало ей то, что эти женщины вызывали у нее скорее презрение, чем гнев. Ведь они были всего лишь янки, а разве от янки можно чего‑то хорошего ждать. Поэтому оскорбления, которые они походя наносили ее штату, ее народу и его морали, скользили мимо нее, никогда глубоко ее не задевая, и вызывали в ее душе лишь тщательно скрытую усмешку, пока не произошел один случай, доведший ее до полного бешенства и доказавший — если ей еще требовались доказательства, — сколь широка была пропасть между Севером и Югом и как невозможно перекинуть через нее мост.

Однажды днем Скарлетт возвращалась домой с дядюшкой Питером и путь их пролегал мимо дома, где семьи трех офицеров жили друг у друга на голове, дожидаясь, пока им построят собственные дома из леса Скарлетт. Все три жены стояли на дорожке, когда она проезжала мимо, и, завидев ее, тотчас замахали ей, прося остановиться. Они подошли к двуколке и поздоровались, лишний раз заставив Скарлетт подумать, что янки можно многое простить, но только не их голоса.

— Вы‑то как раз мне и нужны, миссис Кеннеди, — сказала высокая топкая женщина из штата Мэн. — Мне нужно кое‑что узнать про этот паршивый городишко.

Скарлетт с должным презрением проглотила оскорбление, нанесенное Атланте, и постаралась изобразить на лице самую очаровательную улыбку.

— Что же вы хотели бы от меня услышать?

— Моя няня Бриджит вернулась к себе на Север. Она заявила, что и дня здесь больше не останется среди этих «найгеров», как она их называет. А дети просто с ума меня сводят! Скажите, как найти няню? Я просто не знаю, к кому обратиться.

— Ну, это не трудно, — сказала Скарлетт и рассмеялась. — Если вы сумеете найти чернокожую из деревни, которая еще не испорчена этим Бюро вольных людей, вы получите преотличную служанку. Постойте возле калитки, вот тут, и спрашивайте каждую чернокожую, которая будет проходить мимо, и я уверена...

Все три женщины возмущенно закудахтали.

— Да неужели вы думаете, я доверю моих детей черной няньке? — воскликнула женщина из Мэна. — Мне нужна хорошая ирландка.

— Боюсь, в Атланте вы не найдете ирландских слуг, — холодно возразила Скарлетт. — Я лично никогда еще не видела белой служанки и не хотела бы иметь белую служанку у себя в доме. К тому же, — она не сдержалась, и легкая ирония прозвучала в ее тоне, — уверяю вас, чернокожие — не людоеды и им вполне можно доверять.

— Ну, уж нет! В моем доме черных не будет. Надо же придумать такое!

— Да я им в жизни ничего не доверю — ведь стоит отвернуться... А уж чтобы они детей моих нянчили...

Скарлетт вспомнила добрые узловатые руки Мамушки, натруженные до мозолей в стремлении угодить и Эллин, и ей, и Уэйду. Да разве эти чужеземцы могут знать, какими ласковыми и заботливыми бывают черные руки, как они умеют погладить, обнять, успокоить?! У нее вырвался короткий смешок.

— Любопытно, что вы к ним так относитесь — ведь это вы же их освободили.

— О господи! Уж конечно, не я, душенька! — рассмеялась женщина из Мэна. — Да я в жизни не видела ни одного ниггера, пока в прошлом месяце не приехала сюда, на Юг, и нисколько не огорчусь, если никогда больше не увижу. У меня от них мурашки по коже бегут. В жизни ни одному из них не доверю...

Тем временем Скарлетт успела заметить, что дядюшка Питер как‑то тяжело дышит и, сидя очень прямо, весь напрягшись, неотрывно глядит на уши лошади. А теперь ей волей‑неволей пришлось повернуться к нему, ибо женщина из Мэна вдруг громко расхохоталась и указала на него своим приятельницам.

— Вы только посмотрите на этого старого ниггера — надулся, как жаба, — взвизгнула она. — Видно, ваш любимый старый пес, верно? Нет, вы, южане, не знаете, как обращаться с ниггерами. Вы их так балуете, просто ужас.

Питер глубоко втянул в себя воздух, морщины на его лбу обозначились резче, но он продолжал пристально смотреть вперед. За всю его жизнь ни один белый ни разу еще не обозвал его «ниггером». Другие негры — да, обзывали. Но белые — никогда. И чтобы про него сказали, будто он недостоин доверия, да еще обозвали «старым псом» — это его‑то, Питера, который всю свою жизнь был достойной опорой дома Гамильтонов!

Скарлетт скорее почувствовала, чем увидела, как задрожал от оскорбленной гордости черный подбородок, и слепая ярость обуяла ее. Она с холодным презрением слушала, как эти женщины поносили армию конфедератов, ругали на чем свет стоит Джефа Дэвиса и обвиняли южан в том, что они убивают и мучают своих рабов. Если бы речь шла об ее честности и добродетели, она, блюдя свою выгоду, снесла бы оскорбления. Но от сознания, что эти идиотки оскорбили преданного старого негра, она вспыхнула, как порох от зажженной спички. На секунду взгляд ее остановился на большом пистолете, который торчал у Питера за поясом, и руки зачесались схватить его. Всех бы их перестрелять, этих наглых, невежественных хамов‑завоевателей. Но она только крепко стиснула зубы, так что желваки заходили на скулах, твердя себе, что не пришло еще время сказать янки, что она о них думает. Когда‑нибудь это время придет. Ей‑богу, придет! Но не сейчас.

— Дядюшка Питер — член нашей семьи, — сказала она дрожащим голосом. — Всего хорошего. Поехали, Питер.

Питер так огрел лошадь хлыстом, что испуганное животное рванулось вперед и двуколка запрыгала по камням, а до Скарлетт донесся удивленный голос женщины из Мэна:

— Член ее семьи? Она что, хотела сказать — родственник? Но он же совсем черный.

«Черт бы их подрал! Да их надо уничтожить, смести с лица земли. Набрать бы мне только побольше денег — уж тогда я плюну им в лицо. Я...»

Она взглянула на Питера и увидела, что по носу его катится слеза. И такая нежность, такая горечь за его униженное достоинство охватила Скарлетт, что и у нее защипало глаза. Ей стало больно, точно при ней бессмысленно жестоко обидели ребенка. Эти женщины обидели дядюшку Питера — Питера, который прошел с полковником Гамильтоном Мексиканскую войну, Питера, который держал хозяина на руках в его смертный час, Питера, который вырастил Мелли и Чарлза, который заботился о непутевой, глупенькой Питтипэт, «потрухал» за ней, когда она бежала из города, после поражения «добыл» лошадь и привез ее из Мэйкона через разрушенную войной страну. И они еще говорят, что нельзя доверять неграм!

— Питер, — сказала она, и голос ее прервался; она положила руку на его тощее плечо. — Мне стыдно, что ты плачешь. Да разве можно обращать на них внимание! Ведь они всего лишь янки, проклятые янки!

— Но они говорили при мне, точно я мул и человеческих слов не понимаю, точно я какой африканец и не знаю, о чем они толкуют, — сказал Питер, шумно шмыгнув носом. — И они обозвали меня ниггером, а меня еще ни один белый не называл ниггером, да еще обозвали вашим старым псом и сказали, что ниггерам доверять нельзя! Это мне‑то нельзя доверять! Да ведь когда старый полковник умирал, что он сказал мне? «Слушай, Питер! Приглядывай за моими детьми. И позаботься о нашей мисс Питтипэт, — сказал он, — потому как ума у нее не больше, чем у кузнечика». И разве плохо я о ней заботился столько лет...

— Сам архангел Гавриил не мог бы о ней лучше заботиться, — стремясь успокоить его, сказала Скарлетт. — Мы бы просто пропали без тебя.

— Да уж, мэм, премного благодарен вам, мэм. Я‑то это знаю, и вы знаете, а вот янки не знают и знать не хотят. Ну, чего они нос в наши дела‑то суют, мисс Скарлетт? Они же не понимают нас, конфедератов.

Скарлетт промолчала, ибо ею все еще владел гнев, который она не смогла излить на женщин‑янки. Так, в молчании, они и поехали дальше домой. Питер перестал шмыгать носом, зато его нижняя губа начала вытягиваться, пока не опустилась чуть не до подбородка. Теперь, когда первая обида немного поутихла, в нем стало нарастать возмущение.

А Скарлетт думала: какие чертовски странные люди эти янки! Те женщины, видно, считали, что раз дядюшка Питер черный, значит, у него нет ушей, чтобы слышать, и нет чувств, столь же легко ранимых, как у них самих. Янки не знают, что с неграми надо обращаться мягко, как с детьми, надо наставлять их, хвалить, баловать, журить. Не понимают они негров, как не понимают и отношений между неграми и их бывшими хозяевами. А ведь они вели войну за то, чтобы освободить негров. Теперь же, освободив, не желают иметь с ними ничего общего — разве что используют их, чтобы держать в страхе южан. Они не любят негров, не верят им, не понимают их и, однако же, именно они кричат о том, что южане не умеют с ними обращаться.

Не доверять черным! Да Скарлетт доверяла им куда больше, чем многим белым, и, уж конечно, больше, чем любому янки. У негров столько преданности, столько бескорыстия, столько любви — никаким кнутом этого из них не выбьешь, никакими деньгами не купишь. Скарлетт вспомнила о горстке верных слуг, которые остались с ней в Таре, когда в любую минуту могли нагрянуть янки, хотя никто не мешал им удрать или присоединиться к войскам и вести привольную жизнь. Но они остались. Скарлетт вспомнила о Дилси, собиравшей хлопок в полях вместе с ней, о Порке, рисковавшем жизнью, залезая в соседские курятники, чтобы накормить их семью; о Мамушке, ездившей с ней в Атланту, чтобы уберечь ее от беды. Она вспомнила о слугах своих соседей, которые оставались дома, оберегая своих хозяек, пока мужчины сражались на фронте, и как они бежали с хозяйками, терпя все ужасы войны, выхаживали раненых, хоронили мертвых, утешали пострадавших, трудились, клянчили, воровали, чтобы в господском доме на столе всегда была еда. Даже сейчас, несмотря на все чудеса, обещанные Бюро вольных людей, они не уходили от хозяев и трудились куда больше, чем когда‑либо во времена рабства. Но янки не понимают этого и никогда не поймут.

— А ведь именно они сделали тебя свободным, — громко произнесла она.

— Нет, мэм! Они меня свободным не сделали. Я бы в жизни не позволил этакой падали делать меня свободным, — возмущенно произнес Питер. — Все равно я принадлежу мисс Питти, и, когда помру, она похоронит меня на семейном кладбище Гамильтонов, где у меня есть место... Да уж моя мисс крепко рассердится, когда я расскажу ей, как вы позволили этим женам янок оскорблять меня.

— Ничего я им не позволяла! — от удивления невольно повысила голос Скарлетт.

— Нет, позволили, мисс Скарлетт, — сказал Питер, еще дальше выпячивая губу. — Ни вам, ни мне нечего было останавливаться с этими янками, чтоб они оскорбляли меня. Не беседовали бы вы с ними, они и не назвали бы меня мулом или там африканцем. И не защищали вы меня тоже.

— Как это не защищала! — воскликнула Скарлетт, глубоко уязвленная его словами. — Разве я не сказала им, что ты — член нашей семьи?

— Какая же это защита? Вы просто сказали правду, — заявил Питер. — Мисс Скарлетт, не должны вы иметь дело с янками, нечего вам с ними знаться. Никакая другая леди так себя не ведет. Мисс Питти, к примеру, даже своих маленьких туфелек об такую падаль не вытерла бы. Нет, не понравится ей, когда я расскажу, что они про меня говорили.

Осуждение Питера Скарлетт восприняла гораздо болезненнее, чем все, что говорили Фрэнк, или тетя Питти, или соседи, — ей это было настолько неприятно, что захотелось схватить старого негра и трясти до тех пор, пока его беззубые десна не застучат друг о друга. Питер сказал правду, но ей неприятно было слышать это от негра, да к тому же от своего, домашнего. Когда уж и слуги недостаточно высокого о тебе мнения — большего оскорбления для южанина нельзя и придумать.

— Старый пес! — буркнул Питер. — Я так думаю, мисс Питти больше не захочет, чтобы я после этого вас возил. Нет, мэм!

— Тетя Питти захочет, чтобы ты возил меня по‑прежнему, — решительно заявила Скарлетт, — так что давай не будем больше об этом говорить.

— Со спиной у меня худо, — мрачно предупредил ее Питер. — Так она как раз сейчас болит, что я едва сижу. А моя мисс не захочет, чтоб я разъезжал по городу, когда мне так худо... Мисс Скарлетт, ничего хорошего не будет, ежели вы с янками и со всякой белой нечистью поладите, а близкие от вас отвернутся.

Вывод был очень точный, и Скарлетт, хоть все еще и кипела от ярости, умолкла. Да, победители одобряли ее и ее семью, а соседи — нет. Она знала все, что говорили о ней в городе. А теперь вот и Питер ее не одобряет — даже не хочет, чтоб его видели с ней. Это уж была последняя капля.

До сих пор ей было безразлично общественное мнение, она не обращала на него внимания и даже относилась к нему с легким презрением. Но слова Питера разожгли в ее душе горькую обиду, вызвали желание обороняться, породили неприязнь к соседям — совсем как к янки.

«Ну, что им до того, как я поступаю? — подумала она. — Они, должно быть, думают, что мне нравится общаться с янки и работать, как рабыне. Мне и так тяжело, а они делают для меня жизнь еще тяжелее. Но мне плевать на то, что они думают. Я не позволю себе обращать на это внимание. Я просто не могу сейчас обращать на это внимание. Но наступит день, наступит день...»

Да, такой день наступит! И тогда ее мир перестанет быть зыбким, тогда она сядет, сложит ручки на коленях и будет вести себя как настоящая леди, какой была Эллин. Она снова станет беспомощной и нуждающейся в защите, как и положено быть леди, и тогда все будут ее одобрять. Ах, какою леди до кончиков ногтей она станет, когда у нее опять появятся деньги! Тогда она сможет быть доброй и мягкой, какой была Эллин, и будет печься о других и думать о соблюдении приличий. И страх не будет преследовать ее день и ночь, и жизнь потечет мирно, неспешно. И у нее будет время играть с детьми и проверять, как они отвечают уроки. Будут долгие теплые вечера, когда к ней будут приезжать другие дамы, и под шуршание нижних юбок из тафты и ритмичное потрескивание вееров из пальмовых листьев им будут подавать чай, и вкусные сандвичи, и пироги, и они часами будут неторопливо вести беседу. И она будет доброй ко всем несчастным, будет носить корзинки с едой беднякам, суп и желе — больным и «прогуливать» обделенных судьбой в своей красивой коляске. Она станет леди по всем законам Юга — такой, какой была ее мать. И тогда все будут любить ее, как любили Эллин, и будут говорить, какая она самоотверженная, и будут называть ее «Благодетельница»!

Она находила удовольствие в этих мыслях о будущем, — удовольствие, не омраченное сознанием того, что у нее нет ни малейшего желания быть самоотверженной, или щедрой, или доброй. Она хотела лишь слыть таковой. Однако ее мозг был слишком примитивен, слишком невосприимчив, и она не улавливала разницы между «быть» и «слыть». Ей достаточно было верить, что настанет такой день, когда у нее появятся деньги и все будут одобрять ее.

Да, настанет такой день! Но пока он еще не настал. Не настало еще время, чтобы о ней перестали судачить. Она еще не может вести себя, как настоящая леди.

А Питер сдержал слово. Тетя Питти действительно пришла в невероятное волнение, у Питера же за ночь разыгрались такие боли в спине, что он больше не садился на козлы. С тех пор Скарлетт стала ездить одна, и мозоли, которые исчезли было с ее рук, появились снова.

Так прошли весенние месяцы, и холодные апрельские дожди сменились теплом и душистой майской зеленью. Неделя бежала за неделей в трудах и заботах, осложненных недомоганием, вызванным беременностью; с течением времени старые друзья становились холоднее, а родные — добрее и внимательнее, выводя Скарлетт из себя своей опекой и полным непониманием того, что ею движет. В эти дни тревоги и борьбы среди всех, окружавших Скарлетт, лишь один человек понимал ее, только на него она могла положиться; этим человеком был Ретт Батлер. Странно, что именно он предстал перед ней в таком свете, — непостоянный, как ртуть, и порочный, как дьявол из преисподней. Но он сочувствовал ей, а как раз этого ей и недоставало, хотя меньше всего она рассчитывала встретить сочувствие у него.

Он часто уезжал из города по каким‑то таинственным делам в Новый Орлеан — он никогда не говорил, зачем туда едет, но эти поездки вызывали у нее что‑то близкое к ревности: она была уверена, что они связаны с женщиной или — с женщинами. Но с тех пор как дядюшка Питер отказался возить ее, Ретт все больше и больше времени проводил в Атланте.

Находясь в городе, он обычно играл в карты в комнатах над салуном «Наша славная девчонка» или в баре Красотки Уотлинг, где вместе с самыми богатыми янки и «саквояжниками» измышлял разные способы обогащения, за что горожане презирали его не меньше, чем его собутыльников. В доме у Скарлетт он больше не появлялся — по всей вероятности, щадя чувства Фрэнка и Питти, которые оскорбились бы, если бы Скарлетт вздумала принимать визитера, находясь в столь деликатном положении. Но так или иначе, она сталкивалась с ним почти каждый день. Он нередко подъезжал к ней, когда она катила в своей двуколке по пустынной Персиковой или Декейтерской дороге, где находились ее лесопилки. Завидев ее, Ретт неизменно придерживал лошадь, и они подолгу болтали, а иногда он привязывал лошадь к задку двуколки, садился рядом со Скарлетт и вез ее, куда ей требовалось. Она в эти дни быстро уставала, хоть и не любила в этом признаваться, и всегда была рада передать ему вожжи. Он всякий раз расставался с ней до того, как они возвращались в город, но вся Атланта знала об их встречах, и у сплетников появилась возможность кое‑что добавить к длинному перечню проступков, совершенных Скарлетт в нарушение приличий.

Ей случалось задуматься над тем, так ли уж неожиданны были эти встречи. Они становились все более частыми по мере того, как шли недели и обстановка в городе из‑за стычек с неграми накалялась. Но почему Ретт ищет встреч с нею именно сейчас, когда она так плохо выглядит? Никаких видов на нее у него теперь, конечно, нет, если они вообще когда‑то были, в чем она начала сомневаться. Он давно перестал подтрунивать над ней, вспоминать ту ужасную сцену в тюрьме янки. Он перестал даже упоминать об Эшли или ее любви к нему, ни разу — с присущими ему грубостью и невоспитанностью — не говорил, что «вожделеет ее». Скарлетт сочла за лучшее не трогать лиха, пока спит тихо, и не спрашивать Ретта, почему он стал так часто встречаться с ней. А потом она решила: все его занятия в общем‑то сводятся к игре в карты и у него так мало в Атланте добрых друзей, вот он и ищет ее общества исключительно развлечения ради.

Но чем бы ни объяснялось его поведение, она находила его общество приятным. Он выслушивал ее сетования по поводу упущенных покупателей и неплатящих должников, по поводу мошенника мистера Джонсона и этой бестолочи Хью. Он аплодировал ее победам, в то время как Фрэнк лишь снисходительно улыбался, а Питти в изумлении изрекала: «Батюшки!» Скарлетт была уверена, что Ретт частенько подбрасывал ей заказчиков, так как был знаком со всеми богатыми янки и «саквояжниками», но когда она спрашивала его об этом, он неизменно все отрицал. Она прекрасно знала цену Ретту и не доверяла ему, но настроение у нее неизменно поднималось, когда он показывался из‑за поворота тенистой дороги на своем большом вороном коне. А когда он перелезал в двуколку и отбирал у нее вожжи с какой‑нибудь задиристой шуточкой, она словно расцветала и снова становилась юной хохотушкой, несмотря на все свои заботы и расплывавшуюся фигуру. Она могла болтать с ним о чем угодно, не скрывая причин, побудивших ее поступить так или иначе, или своего подлинного мнения по поводу тех или иных вещей, — болтать без умолку, не то что с Фрэнком или даже с Эшли, если уж быть до конца откровенной с самой собой. Правда, когда она разговаривала с Эшли, возникало много такого, чего соображения чести не позволяли ей говорить, и эти невысказанные слова и мысли, естественно, влияли на ход беседы. Словом, приятно было иметь такого друга, как Ретт, раз уж он по каким‑то непонятным причинам решил вести себя с ней по‑доброму. Даже очень приятно — ведь у нее в ту пору было так мало друзей.

— Ретт, — с негодованием воскликнула она вскоре после ультиматума, который предъявил ей дядюшка Питер, — почему в этом городе люди так подло относятся ко мне и так плохо обо мне говорят? Трудно даже сказать, о ком они говорят хуже — обо мне или о «саквояжниках»! Я никогда ни во что не вмешиваюсь и не делаю ничего плохого и...

— Если вы ничего плохого не делаете, то лишь потому, что вам не представилось возможности, и, вероятно, люди смутно это понимают.

— Да будьте же, наконец, серьезны! Они меня доводят до исступления. А ведь я всего‑навсего хочу немного подзаработать и...

— Вы всего‑навсего стараетесь быть непохожей на других женщин и весьма преуспели в этом. А я уже говорил вам, что это грех, который не прощает ни одно общество. Посмей быть непохожим на других — и тебя предадут анафеме! Да уже одно то, что вы с таким успехом извлекаете прибыль из своей лесопилки, Скарлетт, является оскорблением для всех мужчин, не сумевших преуспеть. Запомните: место благовоспитанной женщины — в доме, и она ничего не должна знать о грубом мире дельцов.

— Но если бы я сидела дома, у меня уже давно не осталось бы крыши над головой.

— Зато вы голодали бы гордо, как положено благородной даме.

— Чепуха! Посмотрите на миссис Мерриуэзер. Она торгует пирогами, кормит ими янки, что много хуже, чем иметь лесопилку, а миссис Элсинг шьет и держит постояльцев, а Фэнни расписывает фарфор, делает уродливейшие вещи, которые никому не нужны, но все их покупают, чтобы поддержать ее, а...

— Но вы упускаете из виду главное, моя кошечка. Эти дамы ведь не преуспели, а потому это не задевает легкоранимую гордость южных джентльменов, их родственников. Про них мужчины всегда могут сказать: «Бедные милые дурочки, как они стараются! Ну ладно, сделаем вид, что они нам очень помогают». А кроме того, вышеупомянутые дамы не получают никакого удовольствия от своей работы. Они всем и каждому дают понять, что только и ждут, когда какой‑нибудь мужчина избавит их от этого неженского бремени. Поэтому их все жалеют. А вы явно любите свою работу и явно не позволите никакому мужчине занять ваше место, вот почему никто не жалеет вас. И Атланта никогда вам этого не простит. Ведь так приятно жалеть людей.

— О господи, хоть бы вы иногда бывали серьезны.

— А вы когда‑нибудь слышали восточную поговорку: «Собаки лают, а караван идет»? Так вот, пусть лают, Скарлетт. Боюсь, ничто не остановит ваш караван.

— Но почему они против того, чтобы я делала деньги?

— Нельзя иметь все, Скарлетт. Вы либо будете делать деньги неподобающим для дамы способом и всюду встречать холодный прием, либо будете бедны и благородны, зато приобретете кучу друзей. Вы свой выбор сделали.

— Бедствовать я не стану, — быстро проговорила она. — Но... я сделала правильный выбор, да?

— Если вы предпочитаете деньги.

— Да, я предпочитаю деньги всему на свете.

— Тогда вы сделали единственно возможный выбор. Но за это надо платить — как почти за все на свете. И платить одиночеством.

На какое‑то время она погрузилась в молчание. А ведь он прав. Если как следует подумать, то она и в самом деле в общем‑то одинока: близкого друга среди женщин у нее нет. В годы войны, когда на нее нападало уныние, она бросалась к Эллин. А после смерти Эллин рядом всегда была Мелани — правда, с Мелани ее ничто не роднит, кроме тяжелой работы на плантациях Тары. А теперь не осталось никого, ибо тетя Питти пробавляется только городскими сплетнями, а настоящей жизни не знает.

— По‑моему... по‑моему... — нерешительно начала она, — у меня всегда было мало друзей среди женщин. И дамы Атланты недолюбливают меня не только потому, что я работаю. Они просто меня не любят, и все. Ни одна женщина никогда по‑настоящему меня не любила, кроме мамы. Даже мои сестры. Сама не знаю почему, но и до войны, до того, как я вышла замуж за Чарли, леди не одобряли меня во всем, что бы я ни делала...

— Вы забываете про миссис Уилкс, — сказал Ретт, и в глазах его блеснул ехидный огонек. — Она всегда одобряла вас — во всем и до конца. Я даже сказал бы, что она одобрила бы любой ваш поступок — ну, кроме, может быть, убийства.

Скарлетт мрачно подумала: «И даже убийство!», — и презрительно рассмеялась.

— Ах, Мелли! — проронила она и нехотя добавила: — Не очень‑то мне льстит то, что Мелли — единственная, кто меня одобряет, ибо ума у нее — кот наплакал. Да если бы она хоть немножко соображала... — Скарлетт смутилась и умолкла.

— Если б она хоть немножко соображала, она бы кое‑что поняла, и уж этого‑то она бы не одобрила, — докончил за нее Ретт. — Впрочем, вы об этом знаете, конечно, куда больше меня.

— Ах, будьте вы прокляты с вашей памятью и вашей невоспитанностью!

— Я обхожу молчанием вашу неоправданную грубость и возвращаюсь к прежней теме нашего разговора. Хорошенько запомните следующее. Если вы не как все, то всегда будете одиноки — всегда будете стоять в стороне не только от ваших сверстников, но и от поколения ваших родителей, и от поколения ваших детей. Они никогда вас не поймут, и что бы вы ни делали, это будет их шокировать. А вот ваши деды, наверно, гордились бы вами и говорили бы: «Сразу видна старая порода». Да и ваши внуки будут с завистью вздыхать и говорить: «Эта старая кляча, наша бабка, видно, была ох какая шустрая!» — и будут стараться подражать вам.

Скарлетт весело рассмеялась.

— А вы иной раз попадаете в точку! Взять хотя бы мою бабушку Робийяр. Мама вечно стращала меня ею, когда я не слушалась. Бабушка была настоящая ледышка и очень строга к себе и к другим по части манер, но она была трижды замужем, из‑за нее состоялась не одна дуэль, и она румянилась, и носила до неприличия низко вырезанные платья, и... м‑м... почти ничего под платьями.

— И вы невероятно восхищались ею, хоть и старались походить на свою матушку! А мой дед со стороны Батлеров был пират.

— Не может быть! Из тех, что лазали на мачты и ходили по реям?

— Ну, он скорее заставлял других ходить по реям, если это могло принести доход. Так или иначе, он сколотил немало денег и оставил моему отцу целое состояние. Однако в семье все из осторожности называли его «морской капитан». Он погиб во время драки в салуне задолго до моего рождения. Смерть его, понятно, явилась большим облегчением для его деток, ибо старый джентльмен по большей части бывал пьян, а напившись, забывал о том, что служил на флоте капитаном, и принимался вспоминать такое, от чего волосы у его деток вставали дыбом. Тем не менее я всегда восхищался им и старался подражать ему куда больше, чем отцу, хотя отец у меня — весьма благовоспитанный господин, чрезвычайно почтенный и религиозный, так что видите, как оно бывает. Я уверен, что ваши дети не будут одобрять вас, Скарлетт, как не одобряют вас сейчас миссис Мерриуэзер, и миссис Элсинг, и их отпрыски. Ваши дети скорее всего будут мягкие и чинные, какими обычно бывают дети у людей, лишенных сантиментов. И на их беду вы, как всякая мать, по всей вероятности, будете исполнены решимости сделать все, чтобы они не знали тех тягот, которые выпали вам на долю. А ведь это неправильно. Тяготы либо обтесывают людей, либо ломают. Так что одобрения вы дождетесь только от внуков.

— Интересно, какие у нас будут внуки!

— Вы сказали: «у нас», намекая, что у нас с вами могут быть общие внуки? Фи, миссис Кеннеди!

Осознав, что сорвалось у нее с языка, Скарлетт вспыхнула до корней волос. Ей вдруг стало стыдно — не столько оттого, что она дала ему повод поглумиться над ней, сколько своего раздавшегося тела. Ни он, ни она до сих пор ни словом не обмолвились об ее состоянии, и она всегда, даже в очень теплые дни, натягивала на себя полость до самых подмышек, если ехала с Реттом, утешаясь — с присущей женщинам наивностью — нелепой мыслью, что ничего не заметно. И сейчас, вспомнив про свое положение, она чуть не задохнулась от злости и от стыда, что ему все известно.

— Вылезайте из моей двуколки, вы, грязный скабрезник, — сказала она дрожащим голосом.

— И не подумаю, — спокойно возразил он. — Домой вы будете возвращаться, когда уже стемнеет, а возле соседнего ручья в палатках и шалашах обосновалась целая колония черномазых — мне говорили, что это очень скверные ниггеры, и, думается, незачем вам давать повод головорезам из ку‑клукс‑клана надеть сегодня вечером свои ночные рубашки и разгуливать в них.

— Убирайтесь! — выкрикнула она, натягивая вожжи, и вдруг ее стало рвать. Ретт тотчас остановил лошадь, дал Скарлетт два чистых носовых платка и ловко наклонил ее голову над краем двуколки. Вечернее солнце, косо прорезавшее недавно распустившуюся листву, несколько мгновений тошнотворно крутилось у нее перед глазами в вихре золотого и зеленого. Когда приступ рвоты прошел, Скарлетт закрыла лицо руками и заплакала от обиды. Ее не только вырвало перед мужчиной, — а худшей беды для женщины не придумаешь, — но теперь этот позор, ее беременность, уже не скроешь. У нее было такое чувство, что она никогда больше не сможет посмотреть Ретту в лицо. И надо же, чтобы это случилось именно при нем, при этом человеке, который так неуважительно относится к женщинам! Она плакала, ожидая вот‑вот услышать какую‑нибудь грубую шуточку, которую она уже никогда не сможет забыть.

— Не будьте дурочкой, — спокойно сказал он. — А вы, видно, самая настоящая дурочка, раз плачете от стыда. Да ну же, Скарлетт, не будьте ребенком. Я, сами понимаете, не слепой и, конечно, знаю, что вы беременны.

Она лишь глухо охнула и крепче прижала пальцы к раскрасневшемуся лицу. Уже само это слово приводило ее в ужас. Фрэнк от стеснения всегда говорил об ее беременности иносказательно: «в вашем положении»; Джералд деликатно говорил: «в ожидании прибавления семейства», а дамы жеманно именовали беременность «состоянием».

— Вы сущее дитя, если думали, что я ничего не знаю, и специально парились под этой жаркой полостью. Конечно же, я знал. Стал бы я иначе...

Он вдруг умолк, и между ними воцарилось молчание. Он взял вожжи и присвистнул, понукая лошадь. А затем тихо заговорил; его тягучий голос приятно ласкал слух, и постепенно кровь отхлынула от ее горевших, все еще закрытых руками щек.

— Вот уж не думал, что вы так смешаетесь, Скарлетт. Я всегда считал вас разумной женщиной, я просто разочарован. Неужели в вашей душе еще есть место для скромности? Боюсь, я поступил не как джентльмен, намекнув на ваше состояние. Да я, наверно, и не джентльмен, раз беременность не повергает меня в смущение. Я вполне могу общаться с беременными женщинами как с обычными людьми, а не смотреть в землю, или на небо, или куда‑то еще, только не на их талию, и в то же время исподтишка поглядывать на них — вот уж это я считаю верхом неприличия. Да и почему, собственно, я должен себя так вести? Ведь в вашем состоянии нет ничего ненормального. Европейцы относятся к этому куда разумнее, чем мы. Они поздравляют будущих мамаш и желают им благополучного разрешения. Хотя так далеко я бы не пошел, но все же это кажется мне разумнее нашего притворства. Ведь это же естественное положение вещей, и женщины должны гордиться своим состоянием, а не прятаться за закрытыми дверьми, точно они совершили преступление.

— Гордиться! — сдавленным голосом произнесла Скарлетт. — Гордиться — тьфу!

— А разве вы не гордитесь тем, что у вас будет ребенок?

— О господи, нет, конечно! Я... я ненавижу детей!

— Вы хотите сказать: детей от Фрэнка?

— Да нет, от кого угодно.

На секунду все снова поплыло у нее перед глазами от ужаса, что она так неудачно, выразилась, но голос его продолжал звучать ровно, точно ничего такого и не было сказано:

— Значит, тут мы с вами не сходимся. Я вот люблю детей.

— Любите? — воскликнула она, невольно подняв на него глаза; она была до того поражена, что даже забыла о своем смущении. — Какой же вы лгун!

— Я люблю младенцев и маленьких детей, пока они еще не выросли, и не стали думать, как взрослые, и не научились, как взрослые, лгать, и обманывать, и подличать. Это не должно быть новостью для вас. Вы же знаете, что я очень люблю Уэйда Хэмптона, хоть он и растет не таким, каким бы следовало.

А ведь это правда, подумала, удивившись про себя, Скарлетт. Ему как будто и в самом деле нравилось играть с Уэйдом, и он часто приносил мальчику подарки.

— Теперь, раз мы заговорили на эту ужасную тему, и вы признали, что ждете младенца в не слишком отдаленном будущем, я скажу вам то, что уже неделю хочу сказать. Во‑первых, опасно ездить одной. И вы это знаете. Вам достаточно часто об этом говорили. Если вам самой наплевать, что вас могут изнасиловать, подумайте хотя бы о последствиях. Из‑за вашего упрямства может так получиться, что ваши галантные сограждане вынуждены будут мстить за вас и вздернут двух‑трех черномазых. И тогда янки обрушатся на ваших друзей и кого‑нибудь уж наверняка повесят. Вам никогда не приходило в голову, что дамы недолюбливают вас, возможно, потому, что из‑за вашего поведения их мужьям и сыновьям могут свернуть шею? Более того, если ку‑клукс‑клан будет продолжать расправляться с неграми, янки так прижмут Атланту, что Шерман покажется вам ангелом. Я знаю, о чем говорю, потому что я в хороших отношениях с янки. Стыдно признаться, но они смотрят на меня как на своего, и открыто говорят при мне обо всем. Они намерены истребить ку‑клукс‑клан — пусть даже для этого им пришлось бы снова сжечь город и повесить каждого десятого мужчину. А это заденет и вас, Скарлетт. Вы можете потерять деньги. Да и потом, когда занимается прерия, пожара не остановишь. Конфискация собственности, повышение налогов, штрафы с подозреваемых мужчин — я слышал, как обсуждались все эти меры. Ку‑клукс‑клан...

— А вы кого‑нибудь знаете из куклуксклановцев? К примеру, Томми Уэлберн или Хью...

Он нетерпеливо передернул плечами.

— Откуда же мне их знать? Я ренегат, перевертыш, подлипала, подпевающий северянам. Разве могу я знать такие вещи? Но я знаю, кого подозревают янки, и достаточно южанам сделать один неверный шаг, как они считайте что болтаются на виселице. И хотя, насколько я понимаю, вы без сожаления послали бы ваших соседей на виселицу, я уверен, вы пожалели бы, если б вам пришлось расстаться с лесопилками. По выражению вашего личика я вижу, что вы, моя упрямица, не верите мне и мои слова падают на бесплодную почву. Поэтому я скажу лишь одно: не забывайте‑ка держать всегда при себе этот ваш пистолет... а я, когда в городе, уж постараюсь выбирать время и возить вас.

— Ретт, неужели вы в самом деле... значит, это чтобы защитить меня, вы...

— Да, моя прелесть, моя хваленая галантность побуждает меня защищать вас. — В черных глазах его заблестели насмешливые огоньки, и лицо утратило серьезность и напряженность. — А почему? Все из‑за моей глубокой любви к вам, миссис Кеннеди. Да, я молча терзался — жаждал вас, и алкал вас, и боготворил вас издали, но, будучи человеком порядочным, совсем как мистер Эшли Уилкс, я это скрывал. К сожалению, вы — супруга Фрэнка, и порядочность запрещает мне говорить вам о своих чувствах. Но даже у мистера Уилкса порядочность иногда дает трещину, вот и моя треснула, и я открываю вам мою тайную страсть и мою...

— Да замолчите вы, ради бога! — оборвала его Скарлетт, донельзя раздосадованная, что случалось с ней всегда, когда он делал из нее самовлюбленную дуру; к тому же ей вовсе не хотелось обсуждать Эшли и его порядочность. — Что еще вы хотели мне сказать?

— Что?! Вы меняете тему нашей беседы в тот момент, когда я обнажаю перед вами любящее, но истерзанное сердце? Ну ладно, я хотел вам вот что сказать. — Насмешливые огоньки снова исчезли из его глаз, и лицо помрачнело, приняло сосредоточенное выражение. — Я хотел, чтобы вы что‑то сделали с этой лошадью. Она упрямая, и губы у нее загрубели и стали как железо. Вы ведь устаете, когда правите ею, верно? Ну, а если она вздумает понести, вам ее ни за что не остановить. И если она вывернет вас в канаву, то и вы, и ваш младенец можете погибнуть. Так что либо доставайте для нее очень тяжелый мундштук, либо позвольте мне поменять ее на более спокойную лошадку с более чувствительными губами.

Скарлетт подняла на него глаза, увидела его бесстрастное, гладко выбритое лицо, и все раздражение ее куда‑то исчезло — как раньше исчезло смущение оттого, что они заговорили о ее беременности. Он был так добр с ней несколько минут назад, так старался рассеять ее смущение, когда ей казалось, что она вот‑вот умрет со стыда. А сейчас он проявил еще большую доброту и внимание, подумав о лошади. Волна благодарности затопила Скарлетт, и она вздохнула: «Ну, почему он не всегда такой?»

— Да, мне трудно править этой лошадью, — покорно признала она. — Иногда у меня потом всю ночь руки болят — так сильно приходится натягивать вожжи. Вы уж решите сами, как лучше быть с ней, Ретт.

Глаза его озорно сверкнули.

— Это звучит так мило, так по‑женски, миссис Кеннеди. Совсем не в вашей обычной повелительной манере. Значит, надо лишь по‑настоящему взяться, чтобы вы стали покорно гнуться, как лоза, в моих руках.

Гнев снова проснулся в ней, и она насупилась.

— На этот раз вы вылезете из моей двуколки или я ударю вас кнутом. Сама не знаю, что заставляет меня вас терпеть, почему я пытаюсь быть с вами любезной. Вы невоспитанный человек. Безнравственный. Вы самый настоящий... Ну, хватит, вылезайте. Я это всерьез говорю.

Но когда он вылез из двуколки, отвязал свою лошадь и, стоя на сумеречной дороге, с раздражающей усмешкой посмотрел на нее, она, уже отъезжая, не выдержала и усмехнулась ему в ответ.

Да, он грубый, коварный, на него нельзя положиться: вкладываешь ему в руки тупой нож, а он в самый неожиданный момент вдруг превращается в острую бритву. И все‑таки присутствие Ретта придает бодрости, как... совсем как рюмка коньяку!

А Скарлетт за эти месяцы пристрастилась к коньяку. Когда она вечером возвращалась домой, промокшая под дождем, уставшая от многочасового сидения в двуколке, ее поддерживала лишь мысль о бутылке, спрятанной в верхнем ящике бюро, которое она запирала на ключ от бдительного ока Мамушки. Доктору Миду и в голову не пришло предупредить Скарлетт, что женщина в ее положении не должна пить, ибо он даже представить себе не мог, что приличная женщина станет пить что‑либо крепче виноградного вина. Разве что бокал шампанского на свадьбе или стаканчик горячего пунша при сильной простуде. Конечно, есть на свете несчастные женщины, которые пьют — к вечному позору своих семей, — как есть женщины ненормальные, или разведенные, или такие, которые наряду с мисс Сьюзен Б. Энтони[[20]](#footnote-20) считают, что женщинам надо дать право голоса. Но хотя доктор во многом не одобрял поведения Скарлетт, он никогда не подозревал, что она пьет.

Скарлетт же обнаружила, что рюмочка чистого коньяку перед ужином очень помогает, а потом всегда можно пожевать кофе или прополоскать рот одеколоном, чтобы отбить запах. И почему это люди так нетерпимо относятся к женщинам, которые любят выпить, тогда как мужчины могут напиваться — да и напиваются — до бесчувствия, стоит им захотеть?! Иной раз, когда Фрэнк храпел с ней рядом, а от нее бежал сон и она ворочалась в постели, страшась бедности, опасаясь янки, тоскуя по Таре и страдая без Эшли, ей казалось, что она сошла бы с ума, если бы не коньяк. А как только приятное знакомое тепло разливалось по жилам, все беды начинали отступать. После трех рюмочек она уже могла сказать себе: «Я подумаю об этом завтра — тогда легче будет во всем разобраться».

Но бывали ночи, когда даже с помощью коньяка Скарлетт не удавалось утишить боль в сердце, боль, куда более сильную, чем страх потерять лесопилки, — неутолимую боль разлуки с Тарой. Порой Скарлетт становилось невыносимо душно в этой полной чужаков Атланте, с ее шумом, новыми домами, узкими улицами, запруженными лошадьми и фургонами, толпами людей на тротуарах. Она любила Атланту, но... ах, как ее тянуло к мирному покою и деревенской тишине Тары, к этим красным полям и темным соснам вокруг дома! Ах, вернуться бы в Тару, как бы ни тяжело там было жить! Быть рядом с Эшли, хотя бы только видеть его, слышать звук его голоса, знать, что он ее любит! Каждое письмо от Мелани с сообщением, что все идет хорошо, каждая коротенькая записочка от Уилла с описаниями того, как они взрыхляют землю, сажают, растят хлопок, вызывали у Скарлетт новый прилив тоски по дому.

«Я уеду в июне. Тогда мне делать тут будет уже нечего. Уеду домой месяца на два», — подумала она, и сердце у нее подпрыгнуло от радости. Она и в самом деле поехала домой в июне, но не так, как ей бы хотелось, ибо в начале этого месяца от Уилла пришла коротенькая записка с сообщением, что умер Джералд.

### Глава XXXIX

Поезд сильно опаздывал, и на землю спускались неспешные синие июньские сумерки, когда Скарлетт сошла на платформе в Джонсборо. В окнах немногочисленных лавок и домов, уцелевших в городке, светились желтые огоньки ламп. На главной улице то и дело попадались широкие пустыри между домами на месте разрушенных снарядами или сгоревших домов. Темные, молчаливые развалины с продырявленной снарядами крышей, с полуобрушенными стенами смотрели на Скарлетт. Возле деревянного навеса над лавкой Булларда было привязано несколько оседланных лошадей и мулов. Пыльная красная дорога тянулась пустынная, безжизненная; лишь из салуна в дальнем конце улицы отчетливо разносились в тихом сумеречном воздухе выкрики да пьяный смех.

Станцию, сгоревшую во время войны, так и не отстроили — на месте ее стоял лишь деревянный навес, куда свободно проникали дождь и ветер. Скарлетт прошла под навес и села на пустой бочонок, явно поставленный здесь вместо скамьи. Она внимательно всматривалась в конец улицы, надеясь увидеть Уилла Бентина. Ему следовало бы уже быть здесь. Не мог он не сообразить, что она сядет на первый же поезд, как только получит его записку о смерти Джералда.

Она выехала так поспешно, что в ее маленьком саквояже лежали лишь ночная сорочка да зубная щетка — даже смены белья она с собой не взяла. Скарлетт задыхалась в узком черном платье, которое одолжила у миссис Мид, ибо времени на то, чтобы сшить себе траурный наряд, у нее не было. А миссис Мид стала совсем худенькая, да и Скарлетт была беременна не первый месяц, так что платье было ей узко. Несмотря на горе, вызванное смертью Джералда, Скарлетт не забывала заботиться о своей внешности и сейчас с отвращением оглядела свою распухшую фигуру. Талия у нее совсем пропала, а лицо и щиколотки опухли. До сих пор ее не слишком занимал собственный вид, но сейчас, когда она через какой‑нибудь час предстанет перед Эшли, это было ей совсем не безразлично. Несмотря на постигший ее тяжелый удар, Скарлетт приходила в ужас при одной мысли о том, что встретится с ним, когда под сердцем у нее — чужое дитя. Она ведь любит его, и он любит ее, и этот нежеланный ребенок казался Скарлетт как бы свидетельством ее неверности Эшли. Но хотя ей и неприятно было, что он увидит ее такой — раздавшейся, без талии, утратившей легкость походки, — встречи с ним не избежать.

Она нетерпеливо похлопала себя по колену. Следовало бы Уиллу уже быть здесь. Конечно, она могла бы зайти к Булларду и выяснить, нет ли его там, или попросить кого‑нибудь подвезти ее в Тару, если Уилл почему‑то не смог приехать. Но ей не хотелось идти к Булларду. Была суббота, и, наверно, половина мужского населения округи уже там. А Скарлетт не хотелось показываться им в траурном платье, которое было совсем не по ней и не только не скрывало, а подчеркивало ее деликатное положение. Не хотелось выслушивать и слова сочувствия по поводу смерти Джералда. Не нужно ей их сочувствие. Она боялась, что расплачется, если кто‑нибудь хотя бы произнесет его имя. А плакать она не желает. Она знала: стоит только начать — и рыданий не остановишь, как в ту страшную ночь, когда пала Атланта, и Ретт бросил ее на темной дороге за городом, и она рыдала, уткнувшись лицом в гриву лошади, рыдала так, что, казалось, у нее лопнет сердце, и не могла остановиться.

Нет, плакать она не станет! Она чувствовала, что в горле у нее снова набухает комок — уже не в первый раз с тех пор, как она узнала печальную весть, — но слезами ведь горю не поможешь. Они только внесут смятение, ослабят ее дух. Почему, ну, почему ни Уилл, ни Мелани, ни девочки не написали ей о том, что дни Джералда сочтены? Она села бы на первый же поезд и примчалась бы в Тару, чтобы ухаживать за ним, привезла бы из Атланты доктора, если бы в этом была необходимость! Идиоты, все они идиоты! Неужели ничего не могут без нее сообразить? Не в состоянии же она быть в двух местах одновременно, а господу богу известно, что в Атланте она старалась ради них всех.

Она нетерпеливо ерзала на бочонке — ну что за безобразие, почему не едет Уилл! Где он? И вдруг услышала похрустывание шлака на железнодорожных путях за своей спиной, а обернувшись, увидела Алекса Фонтейна, который шел к повозке с мешком овса на плече.

— Господи помилуй! Неужели это вы, Скарлетт? — воскликнул он и, бросив мешок, подбежал к ней, чтобы приложиться к ручке; его смуглое, обычно мрачное узкое лицо так и просияло от удовольствия. — До чего же я вам рад! Я видел Уилла в кузнице — ему подковывают лошадь. Поезд ваш опаздывал, и он решил, что успеет. Сбегать за ним?

— Да, пожалуйста, Алекс, — сказала она и улыбнулась, несмотря на свое горе. Так приятно было снова увидеть земляка.

— Да... э‑э... Скарлетт, — запинаясь, сказал он, все еще держа ее руку, — очень мне жаль вашего отца.

— Спасибо, — сказала она, а в душе подумала: хоть бы он этого не говорил. Слова Алекса оживили перед ней Джералда с его румяным лицом и гулким голосом.

— Если это может хоть немного вас утешить, Скарлетт, хочу вам сказать, что все мы здесь очень им гордимся, — продолжал Алекс и выпустил ее руку. — Он... словом, мы считаем, что он умер как солдат, за дело, достойное солдата.

О чем это он, подумала Скарлетт, ничего не понимая. Умер как солдат? Его что — кто‑то пристрелил? Или, быть может, он подрался с подлипалами, как Тони? Но сейчас она просто не в состоянии ничего о нем слышать. Она расплачется, если станет говорить о нем, а плакать она не должна — во всяком случае, пока не укроется от чужих глаз в фургоне Уилла и они не выедут на дорогу, где никто уже не увидит ее. Уилл — не в счет. Он же ей как брат.

— Алекс, я не хочу об этом говорить, — непререкаемым тоном отрезала она.

— Я вас нисколько не осуждаю, Скарлетт, — сказал Алекс, и лицо его налилось, потемнело от гнева. — Будь это моя сестра, я бы... В общем, Скарлетт, я никогда еще ни об одной женщине слова дурного не сказал, но все же я считаю, кто‑то должен выдрать Сьюлин.

«Что за чушь он несет, — недоумевала Скарлетт. — При чем тут Сьюлин?»

— Очень мне неприятно это говорить, но все здесь такого же мнения. Уилл — единственный, кто защищает ее... ну, и, конечно, мисс Мелани, но она — святая и ни в ком не видит зла...

— Я же сказала, что не хочу об этом говорить, — холодно произнесла Скарлетт, но Алекс явно не обиделся. У него был такой вид, словно он не только понимал, но и оправдывал ее резкость, и это вызывало у нее досаду. Не желала она слышать от чужого человека ничего плохого о своей семье, не желала, чтобы он понял, что она ничего не знает. Почему же Уилл что‑то от нее утаил?

Хоть бы Алекс так на нее не пялился. Она почувствовала, что он догадывается о ее положении, и это смущало ее. Алекс же, разглядывая ее в сгущавшемся сумраке, думал о том, как она изменилась, и удивлялся, что вообще ее узнал. Возможно, это оттого, что она ждет ребенка. Женщины в такую пору чертовски дурнеют. Ну и понятно, она расстроена из‑за старика О’Хара. Ведь она же была его любимицей. Но нет, в ней произошли какие‑то более глубокие перемены. Выглядит она сейчас куда лучше, чем в их последнюю встречу. Во всяком случае, так, точно ест досыта три раза в день. И это выражение затравленного зверька почти исчезло из ее глаз. Сейчас эти глаза, в которых раньше были страх и отчаяние, смотрели жестко. И даже когда она улыбалась, в ней чувствовалась уверенность, решимость, властность. Можно не сомневаться, веселенькую жизнь она устроила старине Фрэнку! Да, Скарлетт изменилась. Она по‑прежнему хорошенькая, но миловидность и мягкость пропали, как пропала эта ее манера смотреть на мужчину с таким выражением, что он все‑то на свете знает — чуть ли не более сведущ, чем сам господь бог.

Впрочем, а они все разве не изменились? Алекс взглянул на свою грубую одежду и снова помрачнел. Порою ночью, лежа без сна, он все думал и думал о том, как сделать матери операцию, и как дать образование мальчику покойного Джо, и как достать денег на нового мула, и начинал жалеть, что война кончилась, — пусть бы шла и шла. Они тогда не понимали своего счастья. В армии всегда была еда — даже если это был только кусок хлеба; всегда кто‑то давал приказания, и не было этой мучительной необходимости решать неразрешимые проблемы, — в армии не о чем было тревожиться, разве лишь о том, чтобы тебя не убили. А сейчас ко всему прочему надо было что‑то решать и с Димити Манро. Алекс хотел бы жениться на ней, но понимал, что не может, когда столько ртов надо кормить. Он любил Димити давно — много лет, а теперь на ее щеках уже начали вянуть розы и в глазах потухли веселые огоньки. Вот если бы Тони не пришлось бежать в Техас... Будь у них в семье еще один мужчина, все было бы иначе. Но его любимый задиристый братишка скитается нынче где‑то на Западе без гроша в кармане. Да, все они изменились. Что ж в этом удивительного? Он тяжело вздохнул.

— Я еще не поблагодарил вас за все, что вы с Фрэнком сделали для Тони, — сказал он. — Ведь это вы помогли ему бежать, верно? Как благородно с вашей стороны. До меня дошли слухи, что он находится в безопасности в Техасе. Мне не хотелось вам писать и спрашивать... но... вы с Фрэнком дали ему денег? Я хотел бы вам их вернуть...

— Ах, Алекс, да замолчите вы, бога ради! Не надо сейчас! — воскликнула Скарлетт. В эту минуту деньги действительно ничего для нее не значили.

Алекс помолчал.

— Пойду разыщу Уилла, — сказал он, — а завтра мы все придем на похороны.

Он только было поднял свой мешок с овсом и зашагал прочь, как из боковой улицы вынырнула повозка, вихляя колесами, и со скрипом подъехала к ним. Уилл с передка крикнул:

— Извините, что опоздал, Скарлетт.

Он неловко слез с козел и, проковыляв к ней, наклонился и поцеловал в щеку. Уилл никогда прежде не целовал ее и всегда перед именем вставлял «мисс» — его поведение сейчас хоть и удивило Скарлетт, но приятно согрело ей душу. Уилл бережно приподнял ее и подсадил в повозку, и она вдруг поняла, что это все та же старая, расшатанная повозка, в которой она бежала из Атланты. И как она еще не развалилась? Должно быть, Уиллу не раз пришлось ее подправлять. У Скарлетт даже засосало под ложечкой, когда, глядя на повозку, она вспомнила ту ночь. Пусть даже ей придется продать последние туфли или лишить тетю Питти последнего куска хлеба, но она купит новый фургон для Тары, а эту повозку — сожжет.

Уилл молчал, и Скарлетт была благодарна ему за это. Он швырнул свою старую соломенную шляпу в глубь повозки, прищелкнул языком, понукая лошадь, и они двинулись. Уилл был все тот же — долговязый, неуклюжий, светло‑рыжий, с добрыми глазами, покорный, как прирученный зверек.

Они выехали из поселка и свернули на красную глинистую дорогу к Таре. Край неба еще розовел, а плотные перистые облака, обведенные золотистой каймой, уже стали бледно‑зелеными. Сгущались сумерки, разливалась тишина, успокаивающая, словно молитва. И как она только могла, думала Скарлетт, прожить столько месяцев вдали от этих мест, не дышать свежим деревенским воздухом, насыщенным запахом недавно вспаханной земли, душистыми ароматами сельской ночи?! Влажная красная земля пахла так хорошо, так знакомо, так приветливо, что Скарлетт захотелось сойти и набрать ее в ладони. Кусты жимолости, обрамлявшие красную дорогу густой стеной зелени, источали пронзительно сладкий аромат, как всегда после дождя, — самый сладкий аромат в мире. Над головой у них на быстрых крыльях стремительно пролетели ласточки, что вьют в дымоходах гнезда; время от времени через дорогу перебегал заяц, тряся, точно пуховкой, белым хвостом. Скарлетт обрадовалась, заметив, что кусты хлопка стоят высокие, — они с Уиллом как раз проезжали мимо обработанных полей, где зеленые кусты упрямо поднимались из красной земли. Какая красота! Легкая сероватая дымка тумана в болотистых низинах, красная земля и зреющий хлопок, низбегающие по холмам поля с извилистыми рядами зеленых кустов, стена высоких темных сосен на горизонте. Да как она могла так долго оставаться в Атланте?!

— Скарлетт, прежде чем я расскажу вам про мистера О’Хара, — а я хочу все рассказать до того, как мы приедем домой, — мне хотелось бы знать ваше мнение по одному вопросу. Вы ведь теперь глава семьи, как я понимаю.

— В чем дело, Уилл?

Он на мгновение посмотрел на нее своим мягким спокойным взглядом.

— Я просто хочу, чтобы вы разрешили мне жениться на Сьюлин.

Скарлетт ухватилась за козлы — она чуть не упала навзничь от неожиданности. Жениться на Сьюлин! Неужели кто‑то женится на Сьюлин после того, как она отобрала у сестры Фрэнка Кеннеди, — вот уж чего она никак не думала. Да кому нужна Сьюлин?

— Боже правый, Уилл!

— Значит, вы не возражаете?

— Возражаю? Нет, но... Ой, Уилл, ну и удивил же ты меня — я просто опомниться не могу! Ты намерен жениться на Сьюлин? А я‑то всегда считала, что ты неравнодушен к Кэррин.

Не отрывая глаза от крупа лошади, Уилл хлестнул ее вожжами. В лице его ничего не изменилось, но Скарлетт показалось, что он тихо вздохнул.

— Может, и был, — сказал он.

— Так что же, она отказала тебе?

— Я никогда ее не спрашивал.

— Ах, Уилл, до чего же ты глупый. Спроси. Она ведь стоит двух Сьюлин!

— Скарлетт, вы не знаете многого, что происходит в Таре. Последние месяцы вы не очень‑то жаловали нас своим вниманием.

— Не жаловала — вот как?! — вспылила она. — А что я, по‑твоему, делала в Атланте? Раскатывала в коляске, запряженной четверкой, и плясала на балах? Разве не я каждый месяц посылала вам деньги? Разве не я платила налоги, чинила крышу, купила новый плуг и мулов? Разве...

— Не надо так кипятиться и давать волю своей ирландской крови, — спокойно перебил он ее. — Если кто и знает, что вы сделали, так это — я, а сделали вы столько, что двоим мужчинам было бы не под силу.

Слегка смягчившись, она спросила:

— Тогда о чем же речь?

— Вы действительно сохранили нам крышу над головой и благодаря вам в закромах у нас не пусто, но вы не очень‑то задумывались над тем, что творится в душе у тех, кто живет в Таре. Я не виню вас за это, Скарлетт. Такая уж вы есть. Вас никогда не интересовало, что у людей в душе. Я просто хотел сказать вам, почему не прошу руки мисс Кэррин: я ведь знаю — пустая это затея. Она была всегда мне как сестра, и говорит она со мной откровенно — как ни с кем другим на свете. Но она не забыла того юношу, который погиб, и никогда не забудет. Могу вам еще сказать, что она хочет уехать в Чарльстон в монастырь.

— Ты шутишь!

— Я, понятно, знал, что удивлю вас, и вот о чем я вас прошу, Скарлетт: не спорьте вы с ней, и не ругайте ее, и не насмешничайте. Отпустите. Сейчас она только этого и хочет. Сердце у нее разбито.

— Но, мать пресвятая богородица! У многих людей сердце разбито, однако они же не бегут в монастырь. Возьми, к примеру, меня. Я потеряла мужа.

— Но сердце‑то у вас не разбито, — спокойно возразил Уилл и, подняв соломинку с пола повозки, сунул ее в рот и принялся не спеша жевать.

Скарлетт не нашла, что возразить. Когда ей говорили в лицо правду, сколь бы неприятна она ни была, в глубине души Скарлетт всегда признавала, что это правда. И сейчас она молчала, пытаясь примириться с мыслью, что Кэррин станет монашкой.

— Обещайте, что не будете докучать ей.

— Да ладно, обещаю. — И она посмотрела на него с удивлением, совсем уже другими глазами. Уилл ведь любит Кэррин, до сих пор любит, причем так сильно, что сумел ее понять, встать на ее сторону и теперь старается облегчить ей бегство из жизни. И однако же, он хочет жениться на Сьюлин. — Ну, а как же все‑таки насчет Сьюлин? Она ведь глубоко безразлична тебе, правда?

— О нет, не совсем, — сказал он, вынимая изо рта соломинку и с величайшим интересом разглядывая ее. — Сьюлин вовсе не такая плохая, как вы думаете, Скарлетт. Мне кажется, мы вполне поладим. Сьюлин ведь такая оттого, что ей охота иметь мужа и детей, а этого любой женщине охота.

Повозку трясло на неровной дороге, и какое‑то время они ехали молча, так что Скарлетт могла обдумать его слова. Что‑то тут есть, невидимое на первый взгляд, глубоко сокрытое и очень важное, что побуждает мягкого, незлобивого Уилла жениться на этой зануде Сьюлин.

— Ты не сказал мне настоящей причины, Уилл. Я все‑таки — глава семьи и имею право знать.

— Правильно, — сказал Уилл, — и, думаю, вы меня поймете. Не могу я расстаться с Тарой. Это мой дом, Скарлетт, единственный дом, который у меня когда‑либо был, я люблю здесь каждый камень. И работал я у вас так, как если бы Тара была моя. А когда во что‑то вкладываешь свой труд, начинаешь это любить. Вы меня понимаете?

Она его понимала и, услышав, что он любит то же, что больше всего на свете любит она, почувствовала особую к нему теплоту.

— И вот как я рассудил. Папеньки вашего не стало, Кэррин уходит в монастырь, в Таре остаемся мы со Сьюлин, а это значит, что я не смогу жить в Таре, если не женюсь на ней. Вы ведь знаете, какие у людей языки.

— Но... но, Уилл, есть же еще Мелани и Эшли...

При имени Эшли он повернулся и посмотрел на нее — светлые глаза его были непроницаемы. Однако у Скарлетт возникло чувство, что Уиллу все известно про нее и Эшли, что он все понимает и не порицает, но и не одобряет.

— Они скоро уедут.

— Уедут? Куда? Тара — их дом в такой же мере, как и твой.

— Нет, это не их дом. Это и грызет Эшли. Тара — не его дом, и он считает, что не отрабатывает своего содержания. Очень он плохой фермер, и понимает это. Бог видит, как он старается, но не создан он для сельских дел, и вы это знаете не хуже меня. Колет дрова — того и гляди, ногу оттяпает. Да он прямой борозды проложить не может — заставь маленького Бо идти за плугом, получится, наверно, не хуже, а уж про то, как и что сажать и сеять, он вам такие чудеса нагородит, хоть книгу пиши. Но не его тут вина. Просто он был воспитан иначе. И очень его мучает то, что он, мужчина, живет в Таре милостью женщины и почти ничем не может ей отплатить.

— Милостью? Неужели он когда‑нибудь говорил...

— Нет, он ни разу слова не сказал такого. Вы же знаете Эшли. Но я‑то все вижу. Прошлой ночью, когда мы сидели возле вашего папеньки, я сказал Эшли, что посватался к Сьюлин и она сказала: «Да». И тогда он сказал, что теперь у него точно груз с плеч свалился, потому что он чувствует себя в Таре как приблудный пес, но раз мистер О’Хара умер, им с мисс Мелли пришлось бы и дальше тут жить, чтоб народ не болтал про меня и Сьюлин. А теперь, сказал он, они уедут из Тары и он подыщет себе работу.

— Работу? Какую работу? Где?

— Да я точно не знаю, но вроде он сказал, что намерен двинуться на Север. У него есть приятель янки в Нью‑Йорке, и тот написал ему, что там можно устроиться на работу в банк.

— Ах, нет! — из самых недр души вырвалось у Скарлетт, и Уилл снова посмотрел на нее тем особым взглядом.

— Может, так оно всем будет лучше, если он уедет на Север.

— Нет! Нет! Я этого не считаю.

Мысль Скарлетт лихорадочно работала. Не может Эшли уехать на Север! Ведь это значит, что она, скорее всего, никогда больше его не увидит. Хоть она и не видела его уже несколько месяцев и не говорила с ним наедине с той роковой встречи во фруктовом саду, она ежедневно думала о нем и была счастлива, что он нашел приют под ее крышей. Посылая Уиллу деньги, она всякий раз радовалась тому, что каждый посланный ею доллар немного облегчает жизнь и Эшли. Конечно, фермер он никудышный. Он был рожден для лучшей доли, с гордостью подумала она. Был рожден, чтобы властвовать, жить в большом доме, ездить на великолепных лошадях, читать стихи и повелевать неграми. Правда, теперь нет больше поместий, нет ни лошадей, ни негров, и осталось мало книг, но это ничего не меняет. Не так Эшли воспитан, чтобы ходить за плугом и обтесывать колья для ограды. Что же тут удивительного, если он хочет уехать из Тары.

Но не может она отпустить его из Джорджии. На крайний случай, она заставит Фрэнка дать ему работу в лавке — пусть рассчитает мальчишку, который стоит у него сейчас за прилавком. Но нет, не должен Эшли стоять за прилавком, как не должен идти за плугом. Чтобы Уилкс стал лавочником! Да никогда! Но можно же для него что‑то придумать — да, конечно, лесопилка! При этой мысли Скарлетт почувствовала такое облегчение, что даже заулыбалась. Но примет ли он такое предложение от нее? Не сочтет ли и это милостью? Надо так все обставить, чтобы он думал, будто оказывает ей услугу. Она рассчитает мистера Джонсона и поставит Эшли на старую лесопилку, а Хью будет заниматься новой. Она объяснит Эшли, что слабое здоровье да и дела в лавке не позволяют Фрэнку помогать ей, а она сейчас в таком положении, что ей просто необходима помощь.

Уж как‑нибудь она заставит его поверить, что просто не может без него обойтись. Она дала бы ему половину прибыли от лесопилки, только бы он согласился, — что угодно дала бы, лишь бы он остался при ней, лишь бы видеть, как лицо его озаряется улыбкой, лишь бы поймать в его взгляде то, что он так тщательно скрывает: неизбывную любовь к ней. Но, поклялась она себе, никогда, никогда не станет она больше вытягивать из него слова любви, никогда не будет вынуждать его поступиться этой дурацкой честью, которую он ставит выше любви. Надо будет как‑то деликатно дать ему это понять. Иначе он может отказаться, опасаясь новой сцены вроде того душераздирающего объяснения, которое между ними произошло.

— Я найду ему что‑нибудь в Атланте, — сказала она.

— Ну, это уж ваше и его дело, — сказал Уилл и снова сунул соломинку в рот. — Пошел, Шерман! Вот что, Скарлетт, я должен еще кое о чем попросить вас, прежде чем расскажу про вашего папеньку. Не хочу я, чтобы вы накидывались на Сьюлин. Что она сделала, то сделала, и хоть остриги вы ее наголо, мистера О’Хара к жизни не вернешь. К тому, же она искренне верила, что так будет лучше.

— Я как раз хотела спросить тебя. При чем тут Сьюлин? Алекс говорил какими‑то загадками — сказал только, что ее надо бы выдрать. Что она натворила?

— Да, люди здорово на нее злы. Все, кого я ни встречал сегодня в Джонсборо, клялись, что прирежут ее, как увидят, да только, думаю, у них эта злоба пройдет. И вы обещайте мне, что не кинетесь на нее. Я не допущу никаких ссор сегодня, пока мистер О’Хара лежит в гробу в гостиной.

«Он не допустит никаких ссор! — возмущенно подумала Скарлетт. — Да он говорит так, будто Тара уже его!»

Тут она вспомнила о Джералде, о том, что он лежит мертвый в гостиной, и разрыдалась — горько, со всхлипами. Уилл обхватил ее за плечи и молча прижал к себе.

Они медленно ехали в сгущавшихся сумерках по тряской дороге, голова Скарлетт покоилась на плече Уилла, шляпка съехала набок, а она думала о Джералде — не о том, каким он был два последних года, не о старике с отсутствующим взглядом, то и дело посматривавшем на двери, ожидая появления женщины, которая уже никогда в них не войдет. Скарлетт помнила живого, полного сил, хоть уже и немолодого человека с густой копной седых волос, шумного, веселого, гостеприимного, громко топавшего по дому, любившего дурацкие шутки. Она вспомнила, как в детстве он казался ей самым чудесным человеком на свете: как этот неугомонный человек сажал ее с собой в седло и перепрыгивал вместе с нею через изгороди, как он мог задрать ей юбчонку и отшлепать, когда она капризничала, а потом плакал с нею, если она плакала, и давал ей четвертаки, чтобы она успокоилась. Она вспомнила, как он возвращался домой из Чарльстона и Атланты, нагруженный подарками, которые были всегда не к месту, — вспомнила, улыбаясь сквозь слезы, и то, как он возвращался из Джонсборо домой на заре после заседаний в суде, пьяный в стельку, и перемахивал через изгородь, распевая во все горло «Увенчав себя зеленым клевером». И как потом наутро ему стыдно было смотреть Эллин в лицо. Ну вот теперь он и соединился с Эллин.

— Почему ты не написал мне, что он болен? Я бы тут же примчалась...

— А он ни секунды и не болел. Вот, моя хорошая, возьмите‑ка мой платок, — и я сейчас все вам расскажу.

Она высморкалась в его шейный платок, ибо выехала из Атланты, даже не прихватив с собой носового платка, и снова прижалась к плечу Уилла. Какой же он славный, этот Уилл. Всегда такой ровный, спокойный.

— Ну, так вот, как оно было, Скарлетт. Вы все время слали нам деньги, и мы с Эшли... ну, словом, мы уплатили налоги, купили мула, и семян, и всяких разностей, и несколько свиней и кур. У мисс Мелли очень хорошо пошло дело с курами, да, сэр. Славная она женщина, мисс Мелли, очень. Словом, после того как мы накупили всего для Тары, не так уж много у нас осталось на наряды, но никто на это не сетовал. Кроме Сьюлин.

Мисс Мелани и мисс Кэррин — они сидят дома и носят старье с таким видом, будто гордятся своими платьями, но вы ведь знаете Сьюлин, Скарлетт. Она все никак не примирится с тем, что у нее ничего нет. Едем мы с ней, к примеру, в Джонсборо или в Фейетвилл, — только и разговору, что опять она в старом платье. Особенно как увидит этих дам‑«саквояжниц», то есть баб, я хочу сказать, которые разгуливают во всяких там лентах и кружевах. А уж до чего ж они рядятся, жены этих чертовых янки, которые заправляют в Бюро вольных людей! Так вот, дамы в нашей округе решили, что для них это вопрос чести — надевать в город самые дрянные платья: пусть, мол, думают, будто одежда для них не имеет значения, они даже гордятся такой одеждой. Все — кроме Сьюлин. Ей хотелось иметь не только красивые платья, но и лошадь с коляской. Она говорила, что у вас‑то ведь выезд есть.

— Какой там выезд — старая двуколка, — возмутилась Скарлетт.

— Не в том дело. Лучше, пожалуй, сразу вам сказать, что Сьюлин до сих пор переживает, что вы женили на себе Фрэнка Кеннеди, и я ее за это не виню. Сволочную штуку, знаете ли, вы сыграли с собственной сестрицей.

Скарлетт резко подняла с его плеча голову — словно гремучая змея, готовая ужалить.

— Сволочную, значит, штуку?! Я бы попросила тебя, Уилл Бентин, выражаться попристойнее! Я что же, виновата, что он предпочел меня — ей?

— Вы — женщина ловкая, Скарлетт, и я считаю: да, вы помогли ему переметнуться. Женщины всегда такое могут сделать. Но вы‑то, я думаю, еще и улестили его. Ведь вы, когда захотите, Скарлетт, можете быть такой чаровницей, а он как‑никак был ухажером Сьюлин. Она же получила от него письмо всего за неделю до того, как вы отправились в Атланту, и он писал ей так ласково и говорил, что они скоро поженятся — вот только он подкопит немного деньжат. Я все это знаю, потому что она показывала мне письмо.

Скарлетт молчала: она знала, что он говорит правду, и ничего не могла придумать в свое оправдание. Вот уж никак она не ожидала, что Уилл станет ее судьей. А кроме того, ложь, которую она сказала Фрэнку, никогда не отягощала ее совести. Если девчонка не в состоянии удержать ухажера, значит, она не заслуживает его.

— Ну, вот что, Уилл, перестань говорить гадости, — сказала она. — Если бы Сьюлин вышла за него замуж, ты думаешь, она потратила бы хоть пенни на Тару или на кого‑нибудь из нас?

— Я ведь уже сказал, что, может, вы и правы, когда берете то, чего вам хочется, — сказал Уилл, поворачиваясь к ней со спокойной улыбкой на лице. — Нет, не думаю, чтобы мы увидели хоть пенни из денег старины Фрэнка. И все же никуда не денешься: это был сволочной поступок, и если вы считаете, что любые средства хороши, лишь бы достичь цели, — не мое дело вмешиваться, да и вообще, кто я такой, чтобы судить? Так или иначе, а Сьюлин с тех пор стала злая, как оса. Не думаю, чтобы она так уж страдала по старине Фрэнку, но очень это задело ее самолюбие, и она все говорила: почему это вы должны носить красивые платья, иметь коляску и жить в Атланте, а она должна схоронить себя здесь, в Таре. Она, вы же знаете, любит разъезжать по гостям и по вечеринкам, любит носить красивые платья. И я не осуждаю ее. Все женщины такие.

Так вот, месяц тому назад отвез я ее в Джонсборо и оставил — она пошла в гости, а я отправился по делам, а когда мы поехали домой, вижу: она тихонькая, как мышка, но очень взволнованная — еле сдерживается. Я решил: наверно, узнала, что кто‑то ждет млад... — ну, словом, услышала какую‑то интересную сплетню — я не стал ломать над этим голову. А потом она целую неделю ходила по дому такая взволнованная — казалось, вот сейчас все выложит, — но нет, молчала. Наконец поехала она навестить мисс Кэтлин Калверт... Скарлетт, вы бы все глаза выплакали, поглядевши на мисс Кэтлин. Бедняжечка, лучше бы ей умереть, чем быть замужем за этим трусливым янки — Хилтоном. Вы слыхали, что он заложил поместье и не смог его выкупить, и теперь им придется оттуда уехать?

— Нет, я этого не знала, да и не желаю знать. Я хочу знать про папу.

— Сейчас и до этого дойдем, — примирительно сказал Уилл. — Когда Сьюлин вернулась от них, она сказала: все мы ошибаемся насчет Хилтона. Она назвала его «мистером Хилтоном» и сказала, что очень он ловкий, а мы только посмеялись над ней. Потом принялась она гулять днем с вашим папенькой, и я, когда возвращался домой с полей, не раз видел, как она сидела с ним на кладбищенской стене и что‑то ему втолковывала и размахивала руками. А хозяин наш эдак удивленно смотрел на нее и только качал головой. Вы ведь знаете, какой он был, Скарлетт. Становился все рассеяннее и рассеяннее, так что вроде даже перестал понимать, где он находится и кто мы будем. Раз видел я, что Сьюлин указала ему на могилу вашей матушки, а хозяин наш как расплачется. После этого вошла она в дом такая радостная, взволнованная; ну, я крепко ее отчитал, не пожалел слов. «Мисс Сьюлин, — сказал я ей, — какого черта вы пристаете к своему бедному папеньке и напоминаете ему про вашу матушку? Он ведь не очень‑то и понимает, что она покойница, а вы все бубните ему об этом, бубните». А она так вскинула голову, рассмеялась и сказала: «Не лезь куда не просят. Когда‑нибудь вы все будете благодарны мне за то, что я делаю». Вчера вечером мисс Мелани сказала мне, что Сьюлин делилась с ней своими планами, но, сказала мисс Мелли, она думала, что у Сьюлин это так, несерьезно. Мисс Мелли сказала, что ничего не стала нам говорить, потому что уж больно вся эта затея ей не понравилась.

— Какая затея? Когда же ты, наконец, дойдешь до дела? Мы ведь уже полдороги проехали. Я хочу знать про папу.

— Я как раз к тому и веду, — сказал Уилл, — а мы и вправду почти подъехали к дому, так что, пожалуй, постоим здесь, пока я не доскажу.

Уилл натянул вожжи, лошадь остановилась и зафыркала. Они стояли у давно не стриженной изгороди из диких апельсиновых деревьев, окружавшей владения Макинтошей. В просветах между темными стволами Скарлетт различала высокие призрачные очертания труб, все еще торчавших над молчаливыми развалинами. Лучше бы Уилл выбрал другое место для остановки.

— Ну так вот, долго ли коротко ли, Сьюлин задумала получить с янки за хлопок, который они сожгли, и за стадо, которое угнали, и за изгороди и за сараи, которые порушили.

— С янки?

— А вы не знаете? Правительство янки платит сторонникам Союза на Юге за всю разрушенную и уничтоженную собственность.

— Конечно, знаю, — сказала Скарлетт. — Но к нам‑то это какое имеет отношение?

— Очень даже большое, по мнению Сьюлин. В тот день, когда я отвез ее в Джонсборо, она встретила миссис Макинтош, и пока они болтали, Сьюлин, само собой, заметила, как миссис Макинтош разодета, и, понятно, спросила, откуда у той такие наряды. И тут миссис Макинтош приняла важный вид и сообщила, что муж ее подал федеральному правительству иск и потребовал возмещения ущерба за уничтоженную собственность — он был‑де верным сторонником Союза и никогда ни в какой форме не оказывал помощи и не споспешествовал Конфедерации.

— Они и в самом деле никогда никому не помогали и не споспешествовали, — огрызнулась Скарлетт. — Ох уж эти полушотландцы‑полуирландцы!

— Что ж, может, оно и так. Я их не знаю. Словом, правительство выдало им... я позабыл, сколько тысяч долларов. Так или иначе, кругленькую сумму. Вот тут‑то Сьюлин и завелась. Она думала про это всю неделю, но нам ничего не говорила, потому что знала: мы только посмеемся. Однако ей необходимо было с кем‑то поговорить, поэтому она поехала к мисс Кэтлин, и эта белая рвань Хилтон напичкал ее всякими идеями. Он ей растолковал, что ваш папенька ведь и родился‑то не здесь, и сам в войне не участвовал, и сыновей на войну не посылал, и не имел постов при Конфедерации. Хилтон сказал, можно‑де представить мистера О’Хара как преданного сторонника Союза. Заморочил он ей голову этой блажью, вернулась она домой и принялась обрабатывать мистера О’Хара. Ей‑богу, Скарлетт, ваш папенька и половины не понимал из того, что она ему говорила. А она как раз на это и рассчитывала — что он даст Железную клятву, а сам ничего даже не поймет.

— Чтоб папа дал Железную клятву! — воскликнула Скарлетт.

— Так ведь он последние месяцы совсем стал на голову слаб, и, наверно, она на это рассчитывала. Мы‑то ведь ничего не подозревали. Понимали только, что она чего‑то колдует, но не знали, что Сьюлин тревожит память вашей покойной матушки: она‑де с укором смотрит из могилы на вашего батюшку за то, что дочки по его вине ходят в лохмотьях, тогда как он мог бы‑де получить с янки сто пятьдесят тысяч долларов.

— Сто пятьдесят тысяч долларов... — прошептала Скарлетт, и ее возмущение Железной клятвой стало таять.

Какие деньги! И их можно получить за одну подпись под присягой на верность правительству Соединенных Штатов — присягой, подтверждающей, что ты всегда поддерживал правительство и никогда не помогал и не сочувствовал его врагам. Сто пятьдесят тысяч долларов! Столько денег за совсем маленькую ложь! Нет, не может она в таком случае винить Сьюлин. Силы небесные! Так, значит, вот что имел в виду Алекс, когда говорил, что Сьюлин надо высечь?! Вот почему в округе хотели бы ее четвертовать?! Дураки они, все до единого! Что бы, к примеру, могла она, Скарлетт, сделать с такими деньгами! Что бы мог сделать с такими деньгами любой из ее соседей по округе! Ну, а какое значение имеет маленькая ложь? В конце концов, что бы ни вырвать у янки, — все благо, все справедливо, а уж как ты получил денежки, — не имеет значения.

— И вот вчера около полудня, когда мы с Эшли тесали колья для изгороди, Сьюлин взяла эту самую повозку, посадила в нее вашего батюшку и, не сказав никому ни слова, отправилась с ним в город. Мисс Мелли догадывалась, для чего они поехали, но она только молила бога, чтобы Сьюлин одумалась, а нам ничего не сказала. Она просто не представляла себе, что Сьюлин может отважиться на такое.

А сегодня я узнал, как все было. Этот трус Хилтон пользуется каким‑то там влиянием среди других подлипал и республиканцев в городе, и Сьюлин согласилась отдать им часть денег — не знаю сколько, — если они, так сказать, подтвердят, что мистер О’Хара был преданным сторонником Союза, и скажут, что он‑де ирландец, в армии не был и прочее, и дадут ему письменные рекомендации. А вашему батюшке надо было только принять присягу да поставить свою подпись на бумаге и отослать ее в Вашингтон.

Они быстро прочитали текст присяги, и ваш батюшка слова не сказал, и все шло хорошо, пока Сьюлин не предложила ему подписать. Тут наш хозяин вроде бы пришел в себя и замотал головой. Не думаю, чтобы он понимал в чем дело, только все это ему не нравилось, а Сьюлин никогда ведь не имела к нему подхода. Ну, ее чуть кондрашка не хватила — столько хлопот, и все зря. Она вывела вашего батюшку из конторы, усадила в повозку и принялась катать по дороге туда‑сюда и все говорила, как ваша матушка плачет в гробу, что дети ее мучаются, тогда как он мог бы их обеспечить. Мне рассказывали, что батюшка ваш сидел в повозке и заливался слезами как ребенок — он всегда ведь плачет, когда слышит имя вашей матушки. Все в городе видели их, и Алекс Фонтейн подошел к ним, хотел узнать, в чем дело, но Сьюлин так его обрезала — сказала, чтоб не вмешивался, когда не просят; ну, он обозлился и ушел.

Не знаю уж, как она до этого додумалась, но только к вечеру раздобыла она бутылку коньяку и повезла мистера О’Хара назад в контору и принялась там его поить. А у нас в Таре, Скарлетт, спиртного не было вот уже год — только немного черносмородинной да виноградной настойки, которую Дилси делает, и мистер О’Хара от крепкого‑то вина отвык. Сильно он набрался, и после того как Сьюлин уговаривала его и спорила часа два, он сдался и сказал, да, он подпишет все, что она хочет. Вытащили они снова бумагу с присягой, и когда перо уже было у вашего батюшки в руке, Сьюлин и сделала промашку. Она сказала: «Ну, теперь Слэттери и Макинтоши не смогут уже больше задаваться!» Дело в том, Скарлетт, что Слэттери подали иск на большую сумму за этот свой сарай, который янки у них сожгли, и муж Эмми выбил им эти деньги через Вашингтон.

Мне рассказывали, когда Сьюлин произнесла эти фамилии, ваш батюшка этак выпрямился, расправил плечи и зыркнул на нее глазами. Все соображение сразу вернулось к нему, и он сказал: «А что, Слэттери и Макинтоши тоже подписали такую бумагу?»; Сьюлин заюлила, сказала: «Да», потом: «Нет», что‑то забормотала, а он как рявкнет на нее: «Отвечай мне, этот чертов оранжист и этот чертов голодранец тоже подписали такое?» А этот малый Хилтон медовым таким голосом и говорит: «Да, сэр, подписали и получили уйму денег, и вы тоже получите». Тут хозяин наш взревел как бык. Алекс Фонтейн говорит: он был в салуне на другом конце улицы — и то услышал. А мистер О’Хара, разделяя слова, будто масло ножом режа, сказал: «И вы что же, думаете, что О’Хара из Тары пойдет той же грязной дорогой, что какой‑то чертов оранжист и какой‑то чертов голодранец?» Разорвал он эту бумагу на две половинки и швырнул их Сьюлин прямо в лицо. «Ты мне не дочь!» — рявкнул он, и не успел никто и слова вымолвить, как он выскочил из конторы.

Алекс говорит, он видел, как мистер О’Хара летел по улице, точно бык. Он говорит: хозяин наш тогда будто снова стал прежний — каким был до смерти вашей матушки. Говорит, пьян был в дымину и чертыхался, как сапожник. Алекс говорит: в жизни не слыхал таких ругательств. На пути вашему батюшке попалась лошадь Алекса; он вскочил на нее, ни слова не говоря, и помчался прочь в клубах пыли, ругаясь на чем свет стоит.

Ну, а мы с Эшли сидели у нас на крыльце — солнце уже близилось к закату, — смотрели на дорогу и очень волновались. Мисс Мелли лежала у себя наверху и плакала, а нам ничего не хотела сказать. Вдруг слышим, цокот копыт по дороге и кто‑то кричит, точно во время охоты на лисиц, и Эшли сказал: «Странное дело! Так обычно кричал мистер О’Хара, когда приезжал верхом навестить нас до войны!»

И тут мы увидели его в дальнем конце выгона. Должно быть, он перемахнул там через изгородь. И мчался вверх по холму, распевая во все горло, точно ему сам черт не брат. Я и не знал, что у вашего батюшки такой голос. Он пел «В коляске с верхом откидным», хлестал лошадь шляпой, и лошадь летела как шальная. Подскакал он к вершине холма, видим: поводья не натягивает, значит, будет прыгать через изгородь; мы вскочили — до того перепугались, просто жуть, — а он кричит: «Смотри, Эллин! Погляди, как я сейчас этот барьер возьму!» А лошадь у самой изгороди встала как вкопанная — батюшка ваш ей через голову‑то и перелетел. Он совсем не страдал. Когда мы подбежали к нему, он был уже мертвый. Видно, шею себе сломал.

Уилл помолчал, дожидаясь, чтобы она что‑то сказала, но так и не дождался. Тогда он тронул вожжи.

— Пошел, Шерман! — сказал он, и лошадь зашагала к дому.

### Глава XL

Скарлетт почти не спала в ту ночь. Когда взошла заря и на востоке из‑за темных сосен на холмах показалось солнце, она встала со смятой постели и, сев на стул у окна, опустила усталую голову на руку, — взгляд ее был устремлен на хлопковые поля, раскинувшиеся за скотным двором и фруктовым садом Тары. Вокруг стояла тишина, все было такое свежее, росистое, зеленое, и вид хлопковых полей принес успокоение и усладу ее исстрадавшемуся сердцу. Тара на восходе солнца казалась таким любовно ухоженным, мирным поместьем, хотя хозяин его и лежал в гробу. Приземистый курятник был обмазан глиной от крыс и ласок, а сверху побелен, как и бревенчатая конюшня. Ряды кукурузы, ярко‑желтой тыквы, гороха и репы были тщательно прополоты и аккуратно огорожены дубовыми кольями. Во фруктовом саду все сорняки были выполоты и под длинными рядами деревьев росли лишь маргаритки. Солнце слегка поблескивало на яблоках и пушистых розовых персиках, полускрытых зеленой листвой. А дальше извилистыми рядами стояли кусты хлопчатника, неподвижные и зеленые под золотым от солнца небом. Куры и утки важно, вперевалку направлялись в поля, где под кустами хлопка в мягкой, вспаханной земле водились вкусные жирные черви и слизняки.

И сердце Скарлетт преисполнилось теплых чувств и благодарности к Уиллу, который содержал все это в таком порядке. При всей свой любви к Эшли она понимала, что он не мог внести в процветание Тары существенный вклад, — таких результатов мог добиться не плантатор‑аристократ, а только трудяга, не знающий устали «маленький фермер», который любит свою землю. Ведь Тара сейчас была всего лишь двухлошадной фермой, а не барской плантацией былых времен с выгонами, где паслось множество мулов и отличных лошадей, с хлопковыми и кукурузными полями, простиравшимися на сколько хватал глаз. Но все, что у них осталось, было отменное, а настанут лучшие времена — и можно будет вновь поднять эти акры заброшенной земли, лежавшие под парами, — земля будет только лучше плодоносить после такого отдыха.

Уилл не просто сумел обработать какую‑то часть земель. Он сумел поставить твердый заслон двум врагам плантаторов Джорджии — сосне‑сеянцу и зарослям ежевики. Они не проникли исподтишка на огород, на выгон, на хлопковые поля, на лужайку и не разрослись нахально у крыльца Тары, как это было на бесчисленном множестве других плантаций по всему штату.

Сердце у Скарлетт замерло, когда она вспомнила, как близка была Тара к запустению. Да, они с Уиллом неплохо потрудились. Они сумели выстоять против янки, «саквояжников» и натиска природы. А главное, Уилл сказал, что теперь, после того как осенью они соберут хлопок, ей уже не придется посылать сюда деньги, — если, конечно, какой‑нибудь «саквояжник» не позарится на Тару и не заставит повысить налоги. Скарлетт понимала, что Уиллу тяжело придется без ее помощи, но она восхищалась его стремлением к независимости и уважала его за это. Пока он работал на нее, он брал ее деньги, но сейчас, когда он станет ее шурином и хозяином в доме, он хочет полагаться лишь на собственные силы. Да, это господь послал ей Уилла.

Порк еще накануне вырыл могилу рядом с могилой Эллин и сейчас застыл с лопатой в руке возле горы влажной красной глины, которую ему предстояло скоро сбросить назад в могилу. Скарлетт стояла чуть позади него в пятнистой тени сучковатого низкорослого кедра, обрызганная горячим солнцем июньского утра, и старалась не глядеть на разверстую красную яму. Вот на дорожке, ведущей от дома, показались Джим Тарлтон, маленький Хью Манро, Алекс Фонтейн и младший внук старика Макра — они несли гроб с телом Джералда на двух дубовых досках и двигались медленно и неуклюже. За ними на почтительном расстоянии беспорядочной толпой следовали соседи и друзья, плохо одетые, молчаливые. Когда они вышли на залитую солнцем дорожку, пересекавшую огород, Порк опустил голову на ручку лопаты и разрыдался, и Скарлетт, поглядев на него просто так, без любопытства, вдруг с удивлением обнаружила, что в завитках у него на затылке, таких угольно‑черных всего несколько месяцев тому назад, когда она уезжала в Атланту, появилась седина.

Она устало поблагодарила бога за то, что выплакала все слезы накануне и теперь может держаться прямо, с сухими глазами. Ее бесконечно раздражали рыдания Сьюлин, которая стояла сзади, за ее спиной. Скарлетт сжала кулаки — так бы развернулась и смазала по этому распухшему лицу. Ведь это же она, Сью, — преднамеренно или непреднамеренно, — свела в могилу отца, и ей следовало бы приличия ради держать себя в руках в присутствии возмущенных соседей. Ни один человек ни слова не сказал ей в то утро, ни один с сочувствием не поглядел на нее. Они молча целовали Скарлетт, пожимали ей руку, шептали теплые слова Кэррин и даже Порку и смотрели сквозь Сьюлин, словно ее и не было.

По их мнению, она не просто довела до гибели своего отца. Она пыталась заставить его предать Юг. Тем самым, в глазах этой мрачной, тесно спаянной группы, она как бы предала их всех, обесчестила. Она прорубила брешь в монолите, каким было для всего окружающего мира это графство. Своей попыткой получить деньги у правительства янки она поставила себя в один ряд с «саквояжниками» и подлипалами, врагами куда более ненавистными, чем в свое время солдаты‑янки. Она, женщина из старой, преданной Конфедерации семьи, — семьи плантатора, пошла на поклон к врагу и тем самым навлекла позор на каждую семью в графстве.

Все, кто был на похоронах, невзирая на горе, кипели от возмущения, а особенно трое: старик Макра, приятель Джералда еще с тех времен, когда тот перебрался сюда из Саванны; бабуля Фонтейн, которая любила Джералда, потому что он был мужем Эллин, и миссис Тарлтон, которая дружила с ним больше, чем с кем‑либо из своих соседей, потому что, как она частенько говорила, он единственный во всем графстве способен отличить жеребца от мерина.

При виде свирепых лиц этой тройки в затененной гостиной, где лежал Джералд, Эшли и Уиллу стало не по себе, и они поспешили удалиться в кабинет Эллин, чтобы посоветоваться.

— Кто‑то из них непременно скажет что‑нибудь про Сьюлин, — заявил Уилл и перекусил пополам свою соломинку. — Они считают, что это будет только справедливо — сказать свое слово. Может, оно и так. Не мне судить. Но, Эшли, правы они или нет, нам ведь придется им ответить, раз мы члены одной семьи, и тогда пойдет свара. Со стариком Макра никто не совладает, потому что он глухой как столб и ничего не слышит, даже когда ему кричишь на ухо. И вы знаете, что на всем белом свете нет человека, который мог бы помешать бабуле Фонтейн выложить то, что у нее на уме. Ну, а миссис Тарлтон — вы видели, как она закатывает свои рыжие глаза всякий раз, когда смотрит на Сьюлин? Она уже навострила уши и ждет не дождется удобной минуты. Если они что скажут, нам придется с ними схлестнуться, а у нас в Таре и без ссор с соседями хватает забот.

Эшли мучительно вздохнул. Он знал нрав своих соседей лучше Уилла и помнил, что до войны добрая половина ссор и даже выстрелов возникала из‑за существовавшей в округе привычки сказать несколько слов над гробом соседа, отбывшего в мир иной. Как правило, это были панегирики, но случалось и другое. Иной раз в речах, произносимых с величайшим уважением, исстрадавшиеся родственники покойного усматривали нечто совсем иное, и не успевали последние лопаты земли упасть на гроб, как начиналась свара.

Из‑за отсутствия священника отпевать покойного предстояло Эшли, который решил провести службу с помощью молитвенника Кэррин, ибо методистские и баптистские священники Джонсборо и Фейетвилла тактично отказались приехать. Кэррин, будучи куда более истой католичкой, чем ее сестры, ужасно расстроилась из‑за того, что Скарлетт не подумала о том, чтобы привезти с собой священника из Атланты, — успокоилась она лишь, когда ей сказали, что священник, который приедет венчать Уилла и Сьюлин, может прочесть молитвы и на могиле Джералда. Это она, решительно восстав против приглашения кого‑либо из протестантских священников, живших по соседству, попросила Эшли отслужить службу и отметила в своем молитвеннике то, что следовало прочесть. Эшли стоял, облокотясь на старый секретер; он понимал, что предотвращать свару придется ему, а зная горячий нрав обитателей округи, просто не мог придумать, как быть.

— Не помешать нам этому, Уилл, — сказал он, ероша свои светлые волосы. — Не могу же я пристукнуть бабулю Фонтейн или старика Макра и не могу зажать рот миссис Тарлтон. А уж они непременно скажут, что Сьюлин убийца и предательница и если бы не она, мистер О’Хара был бы жив. Черт бы подрал этот обычай произносить речи над покойником! Дикость какая‑то.

— Послушайте, Эшли, — медленно произнес Уилл. — Я ведь вовсе не требую, чтоб никто слова не сказал про Сьюлин, что бы там ни думали. Предоставьте все мне. Когда вы прочтете что надо и произнесете молитвы, вы спросите: «Кто‑нибудь хочет что‑нибудь сказать?» — и посмотрите на меня, чтобы я мог выступить первым.

А Скарлетт, наблюдавшей за тем, с каким трудом несут гроб по узкой тропинке, и в голову не приходило, что после похорон может вспыхнуть свара. На сердце у нее лежала свинцовая тяжесть: она думала о том, что, хороня Джералда, хоронит последнее звено в цепи, связывавшей ее с былыми, безоблачно счастливыми днями легкой, беззаботной жизни.

Наконец, носильщики опустили гроб у могилы и встали рядом, сжимая и разжимая затекшие пальцы. Эшли, Мелани и Уилл прошли друг за другом в ограду и встали подле дочерей О’Хара. За ними стояли ближайшие соседи — все, кто мог протиснуться, а все прочие остались снаружи, за кирпичной стеной. Скарлетт впервые видела их всех и была удивлена и тронута тем, что собралось так много народу. До чего же милые люди — все приехали, хотя лошадей почти ни у кого нет. А стояло у гроба человек пятьдесят — шестьдесят, причем иные прибыли издалека — и как только они успели узнать и вовремя приехать! Тут были целые семьи из Джонсборо, Фейетвилла и Лавджоя вместе со слугами‑неграми. Было много мелких фермеров из‑за реки, и какие‑то «недоумки»[[21]](#footnote-21) из лесной глуши, и обитатели болотистой низины. Болотные жители были все гиганты, худые, бородатые, в домотканых одеждах и в енотовых шапках, с ружьем, прижатым к боку, с табачной жвачкой за щекой. С ними приехали их женщины — они стояли, глубоко увязнув босыми ногами в мягкой красной земле, оттопырив нижнюю губу, за которой лежал кусок жвачки. Из‑под оборок чепцов выглядывали худые, малярийные, но чисто вымытые лица; тщательно наглаженные ситцевые платья блестели от крахмала.

Все ближайшие соседи явились в полном составе. Бабуля Фонтейн, высохшая, сморщенная, желтая, похожая на старую рябую птицу, стояла, опираясь на палку; за ней стояли Салли Манро‑Фонтейн и Молодая Хозяйка Фонтейн. Они тщетно пытались шепотом уговорить старуху сесть на кирпичную стену и даже упорно тянули ее за юбки, но все напрасно. Мужа бабули Фонтейн, старого доктора, с ними уже не было. Он умер два месяца тому назад, и лукавый живой блеск в ее старых глазах потух. Кэтлин Калверт‑Хилтон стояла одна — а как же иначе: ведь ее муж способствовал этой трагедии; выцветший чепец скрывал ее склоненное лицо. Скарлетт с изумлением увидела, что ее перкалевое платье — все в жирных пятнах, а руки — грязные и в веснушках. Даже под ногтями у нее была чернота. Да, в Кэтлин ничего не осталось от ее благородных предков. Она выглядела как самый настоящий «недоумок» — и даже хуже. Как белая рвань без роду без племени, неопрятная, никудышная.

«Этак она скоро и табак начнет нюхать, если уже не нюхает, — в ужасе подумала Скарлетт. — Великий боже! Какое падение!»

Она вздрогнула и отвела взгляд от Кэтлин, поняв, сколь не глубока пропасть, отделяющая людей благородных от бедняков.

«А ведь и я такая же — только у меня побольше практической сметки», — подумала она и почувствовала прилив гордости, вспомнив, что после поражения они с Кэтлин начинали одинаково — обе могли рассчитывать лишь на свои руки да на голову.

«Только я не так уж плохо преуспела», — подумала она и, вздернув подбородок, улыбнулась.

Однако улыбка тотчас застыла у нее на губах, когда она увидела возмущенное выражение лица миссис Тарлтон. Глаза у миссис Тарлтон были красные от слез; бросив неодобрительный взгляд на Скарлетт, она снова перевела его на Сьюлин, и взгляд этот пылал таким гневом, что не сулил ничего хорошего. Позади миссис Тарлтон и ее мужа стояли четыре их дочери — рыжие волосы неуместным пятном выделялись на фоне окружающего траура, живые светло‑карие глаза были как у шустрых зверьков, резвых и опасных.

Перемещения прекратились, головы обнажились, руки чинно сложились, юбки перестали шуршать — все замерло, когда Эшли со старым молитвенником Кэррин выступил вперед. С минуту он стоял и смотрел вниз, и солнце золотило ему голову. Глубокая тишина снизошла на людей, столь глубокая, что до слуха их донесся хрустящий шепот ветра в листьях магнолий, а далекий, несколько раз повторенный крик пересмешника прозвучал невыносимо громко и грустно. Эшли начал читать молитвы, и все склонили головы, внимая его звучному красивому голосу, раскатисто произносившему короткие, исполненные благородства слова.

«Ах, какой же у него красивый голос! — подумала Скарлетт, чувствуя, как у нее сжимается горло. — Если уж надо служить службу по папе, то я рада, что это делает Эшли. Лучше он, чем священник. Лучше, чтобы папу хоронил человек близкий, а не чужой».

Вот Эшли дошел до молитв, где говорится о душах в чистилище, — молитв, отмеченных для него Кэррин, — и вдруг резко захлопнул книгу. Одна только Кэррин заметила, что он пропустил эти молитвы, и озадаченно посмотрела на него, а он уже читал «Отче наш». Эшли знал, что половина присутствующих никогда и не слыхала о чистилище, а те, кто слышал, почувствуют себя оскорбленными, если он хотя бы даже в молитве намекнет на то, что человек столь прекрасной души, как мистер О’Хара, должен еще пройти через какое‑то чистилище, прежде чем попасть в рай. Поэтому, склоняясь перед общественным мнением, Эшли опустил упоминание о чистилище. Собравшиеся дружно подхватили «Отче наш» и смущенно умолкли, когда он затянул «Богородице, дева, радуйся». Они никогда не слышали этой молитвы и теперь исподтишка поглядывали друг на друга, а сестры О’Хара, Мелани и слуги из Тары отчетливо произносили: «Молись за нас ныне и в наш смертный час. Аминь».

Тут Эшли поднял голову — казалось, он колебался. Соседи выжидающе смотрели на него, и каждый старался принять позу поудобнее, зная, что еще долго придется стоять. Они явно ждали продолжения службы, ибо никому и в голову не приходило, что Эшли уже прочел все положенные католикам молитвы. Похороны в графстве всегда занимали много времени. У баптистских и методистских священников не было заранее заготовленных молитв, они импровизировали в зависимости от обстоятельств и обычно заканчивали службу, когда все присутствующие плакали, а сраженные горем родственницы громко рыдали. Соседи были бы шокированы, опечалены и возмущены, если бы панихида по их любимому другу этими несколькими молитвами и ограничилась, — никто лучше Эшли этого не знал. Потом долгие недели случившееся обсуждалось бы за обеденными столами, и все пришли бы к мнению, что сестры О’Хара не оказали должного уважения своему отцу.

Вот почему Эшли, бросив извиняющийся взгляд на Кэррин, склонил снова голову и принялся читать по памяти заупокойную службу епископальной церкви, которую он часто читал над рабами, когда их хоронили в Двенадцати Дубах.

— «Я есмь возрождение и жизнь и всяк, кто... верит в меня, не умрет».

Слова молитвы не сразу приходили ему на ум, и он читал ее медленно, то и дело останавливаясь и дожидаясь, пока та или иная строка всплывет в памяти. Зато при таком чтении молитва производила более сильное впечатление, и те, кто дотоле стоял с сухими глазами, теперь начали вытаскивать носовые платки. Закоренелые баптисты и методисты, они считали что присутствуют при католической церемонии, и теперь уже готовы были отказаться от первоначального мнения, что католические службы — холодные и славят только папу. Скарлетт и Сьюлин тоже ничего в этом не смыслили, и им слова молитвы казались прекрасными и утешительными. Только Мелани и Кэррин понимали, что истого католика‑ирландца погребают по канонам англиканской церкви. Но Кэррин слишком отупела от горя и слишком была уязвлена предательством Эшли, чтобы вмешаться.

Покончив со службой, Эшли обвел своими большими печальными серыми глазами собравшихся. Взгляд его встретился со взглядом Уилла, и он спросил:

— Быть может, кто‑нибудь из присутствующих хотел бы что‑то сказать?

Миссис Тарлтон нервно дернулась, но Уилл, опережая ее, шагнул вперед и, встав у изголовья гроба, заговорил.

— Друзья, — начал он ровным бесцветным голосом, — может, вы считаете, что я веду себя как выскочка, взяв первым слово: ведь я узнал мистера О’Хара всего год назад, вы же все знаете его лет по двадцать, а то и больше. Но у меня есть оправдание. Проживи он еще с месяц, я бы имел право назвать его отцом.

Волна удивления прокатилась по собравшимся. Они были слишком хорошо воспитаны, чтобы перешептываться, но все же со смущенным видом начали переминаться, глядя на склоненную голову Кэррин. Все знали, как безоговорочно предан ей Уилл. А он, заметив, куда все смотрят, продолжал как ни в чем не бывало:

— Так вот, раз я собираюсь жениться на мисс Сьюлин, как только священник приедет из Атланты, я и подумал, что, может, это дает мне право говорить первым.

Вторая половина его фразы потонула в легком жужжанье, пронесшемся по толпе, словно вдруг налетел рой разъяренных пчел. В этом жужжанье было и возмущение, и разочарование. Все любили Уилла, все уважали его за то, что он сделал для Тары. Все знали, что он неравнодушен к Кэррин, и потому известие о том, что он женится не на ней, а на этой парии, плохо укладывалось в их сознании. Чтобы славный старина Уилл женился на этой мерзкой, подленькой Сьюлин О’Хара!

Атмосфера вдруг накалилась. Глаза миссис Тарлтон заметали молнии, губы беззвучно зашевелились. В наступившей тишине раздался голос старика Макра, который своим высоким фальцетом попросил внука повторить ему, что этот парень сказал. Уилл стоял перед ними с тем же мягким выражением лица, но в его светлых голубых глазах таился вызов: попробуйте‑де сказать хоть слово о моей будущей жене. С минуту было неясно, какая чаша весов перетянет — искренняя любовь, которую все питали к Уиллу, или презрение к Сьюлин. И Уилл победил. Он продолжал, словно пауза была вполне естественной:

— Я не знал мистера О’Хара в расцвете сил, как знали все вы. Я знал его лишь как благородного пожилого джентльмена, который был уже чуточку не в себе. Но от всех вас я слышал, каким он был раньше. И вот что я хочу сказать. Это был бравый ирландец, южанин‑джентльмен и преданнейший конфедерат. Редкое соединение прекрасных качеств. И мы едва ли увидим еще таких, как он, потому что времена, когда появлялись такие люди, ушли в прошлое вместе с ними. Родился он в чужом краю, но человек, которого мы сегодня хороним, был уроженцем Джорджии в большей мере, чем любой из нас. Он жил нашей жизнью, он любил нашу землю и, если уж на то пошло, умер за наше Правое Дело, как умирали солдаты. Он был одним из нас, и у него было все хорошее, что есть у нас, и все плохое, была у него и наша сила, и наши слабости. И хорошим в нем было то, что уж если он что решит, ничто его не остановит — никого из двуногих он не боялся. И никакая сторонняя сила не могла его подкосить.

Он не испугался, когда английское правительство вознамерилось повесить его. Просто снялся и уехал. А когда приехал к нам бедняк бедняком, тоже нисколько не испугался. Стал работать и нажил денег. И не побоялся осесть здесь, на этих землях, с которых только что согнали индейцев и где еще надо было выкорчевывать лес. Из непролазных зарослей он создал большую плантацию. А когда пришла война и деньги его стали таять, он тоже не испугался, что снова обеднеет. И когда янки пришли в Тару, — а они ведь могли и сжечь все и его убить, — он тоже не струхнул и не пал духом. Только крепко уперся ногами в землю и стоял на своем. Вот почему я говорю, что в нем было то хорошее, что есть в нас всех. Ведь никакая сторонняя сила не может подкосить ни одного из нас.

Но были у него и наши недостатки: подкосить его могло изнутри. Я это к чему говорю: то, что весь мир не мог с ним сделать, сделало его сердце. Когда миссис О’Хара умерла, умерло и его сердце — это и подкосило его. И по усадьбе уже ходил совсем другой человек.

Уилл помолчал и спокойно обвел глазами полукруг лиц. Люди стояли под палящим солнцем, словно ноги их приросли к земле, и если раньше в их сердцах кипел гнев против Сьюлин, сейчас все было забыто. Глаза Уилла на секунду остановились на Скарлетт, и в уголках их образовались морщинки — он словно бы улыбнулся ей, желая приободрить. И Скарлетт, у которой уже подступали слезы к глазам, приободрилась. Уилл говорил разумно, он не нес всякой чепухи насчет встречи в другом, лучшем мире, не призывал склониться перед волей божьей. А Скарлетт всегда черпала силу и бодрость в доводах разума.

— Я не хочу, чтобы кто‑то из вас думал хуже о нем, потому что он сломался. И вы все и я тоже — такие же, как он. У нас те же слабости и те же недостатки. Никакая сторонняя сила не может подкосить нас, как не могли подкосить покойного ни янки, ни «саквояжники», ни тяжелые времена, ни высокие налоги, ни даже самый настоящий голод. А вот слабинка, которая есть у нас в сердце, может подкосить в один миг. И не всегда это происходит оттого, что ты теряешь любимого человека, как это было с мистером О’Хара. У каждого свой стержень. И я вот что хочу сказать: тем, у кого этот стержень надломился, лучше умереть. Нет для них в наше время жизни на земле, и лучше им лежать в могиле. Вот почему я считаю, что не должны вы оплакивать мистера О’Хара. Горевать надо было тогда, когда Шерман прошел по нашему краю и мистер О’Хара потерял свою супругу. Вот тогда умерло его сердце, а сейчас, когда умерло его тело, я не вижу причины горевать — ведь мы с вами не такие уж эгоисты, и это говорю я, который любил его, как родного отца... Словом, если не возражаете, больше мы речей произносить не будем. Родные его слишком убиты горем, и надо проявить милосердие.

Уилл умолк и, повернувшись к миссис Тарлтон, сказал тихо:

— Не могли бы вы увести Скарлетт в дом, мэм? Негоже это для нее — стоять так долго на солнце. Да и у бабули Фонтейн — при всем моем уважении к ней — не железное здоровье.

Вздрогнув от этого неожиданного перехода к ее особе, Скарлетт смутилась и покраснела, ибо взоры всех обратились к ней. Ну, зачем было Уиллу подчеркивать ее беременность, которая и так видна? Она метнула на Уилла возмущенный и пристыженный взгляд, но он спокойно выдержал его.

«Прошу вас, — говорили его глаза. — Я знаю, что делаю».

Он уже вел себя как глава дома, и, не желая устраивать сцену, Скарлетт беспомощно повернулась к миссис Тарлтон. А та, тотчас забыв про Сьюлин, чего, собственно, и добивался Уилл, сразу переключилась на столь волнующий предмет, как воспроизведение рода, будь то животным или человеком, и взяла Скарлетт под руку.

— Пойдемте в дом, душенька.

На лице ее появилось доброе сосредоточенное выражение, и Скарлетт позволила увести себя по узкому проходу сквозь расступившуюся толпу. Ей сопутствовал сочувственный шепоток, а несколько человек даже ободряюще потрепали ее по плечу. Когда она поравнялась с бабулей Фонтейн, пожилая дама протянула свою сухую клешню и сказала:

— Дай‑ка мне руку, дитя. — Затем, бросив свирепый взгляд на Салли и Молодую Хозяйку, добавила: — Нет, вы уж не ходите, вы мне не нужны.

Они медленно дошли до края толпы, которая тут же сомкнулась за ними, и направились по тенистой дорожке к дому; миссис Тарлтон так рьяно мчалась вперед и так крепко держала Скарлетт под руку, что при каждом шаге чуть не отрывала ее от земли.

— И зачем Уилл это сделал? — возмущенно воскликнула Скарлетт, когда они отошли настолько, что их уже не могли услышать. — Ведь это все равно что сказать: «Посмотрите на нее! Ей же скоро рожать!»

— Ну, никто ведь от этого не умер, и ты тоже, правда? — сказала миссис Тарлтон. — Уилл правильно поступил. Глупо было тебе стоять на солнце: ты могла упасть в обморок и случился бы выкидыш.

— Уилла нисколько не волновало, будет у нее выкидыш или нет, — заявила бабуля, слегка задыхаясь и с трудом ковыляя через двор к крыльцу. На лице ее появилась мрачная, глубокомысленная усмешка. — Уилл шустрый малый. Он хотел нас с тобой, Беатриса, удалить от гроба. Боялся, как бы мы чего не наговорили, и понимал, что только так может от нас избавиться. И еще одно: не хотел он, чтобы Скарлетт слышала, как будут заколачивать гроб. И тут он прав. Запомни, Скарлетт: пока ты этого не слышишь, человек кажется тебе живым. А вот как услышишь... Да, это самый страшный звук на свете — звук конца... Помоги‑ка мне подняться на ступеньки, дитя, и ты, Беатриса, дай мне руку. Скарлетт обойдется и без твоей поддержки — ей ведь не нужны костыли, а у меня, как правильно заметил Уилл, не железное здоровье... Уилл знал, что ты была любимицей отца, и не хотел, чтоб тебе было еще тяжелее. А вот сестры твои, он решил, так сильно, как ты, горевать не будут. Сьюлин вся в мыслях о своем позоре, а Кэррин — о боге, и это их поддерживает. А тебя ничто не поддерживает, верно, девочка?

— Да, — сказала Скарлетт, помогая пожилой даме подняться по ступеням и невольно удивляясь безошибочности того, что произнес этот старческий надтреснутый голос. — Меня никто никогда не поддерживал — разве только мама.

— Но когда ты потеряла ее, ты все же поняла, что можешь стоять сама по себе, на собственных ногах, верно? Ну, а есть люди, которые не могут. И таким человеком был твой отец. Уилл прав. Не надо убиваться. Не мог он дальше жить без Эллин, и там он сейчас счастливее. Я вот тоже буду счастливее, когда соединюсь с моим стариком.

Она произнесла это без всякого стремления вызвать сочувствие, да обе ее слушательницы и не выказали его. Она произнесла это так спокойно, естественно, словно муж ее был жив и находился в Джонсборо — достаточно проехать немного в двуколке, и она воссоединится с ним. Бабуля слишком долго жила на свете и слишком много перевидала на своем веку, чтобы бояться смерти.

— Но... вы ведь тоже стоите сама по себе, на собственных, ногах, — заметила Скарлетт.

Старуха бросила на нее острый, как у птицы, взгляд.

— Да, однако временами очень бывает неуютно.

— Послушайте, бабуля, — вмешалась миссис Тарлтон, — не надо говорить об этом со Скарлетт. Ей и без того худо. Такую дорогу проделала, затянула себя в корсет, а тут еще горе да жара — того и гляди, выкидыш будет, а вы еще вздумали говорить о печальных тягостных вещах.

— Силы небесные! — воскликнула в раздражении Скарлетт. — Вовсе мне не худо! Я не из тех дохлых кошек, которые — хлоп! — и выкидыш!

— Ни в чем нельзя быть уверенной, — произнесла всеведущая миссис Тарлтон. — Я, к примеру, потеряла моего первенца, увидев, как бык запорол одного из наших черномазых, и вообще... Помните мою рыжую кобылу — Нелли? Она казалась такой здоровой с виду, а на самом деле была до того нервная — вся как натянутая струна, и не следи я за ней, она бы...

— Хватит, Беатриса, — сказала бабуля. — Пари держу, у Скарлетт не будет выкидыша. Давайте посидим в холле, здесь прохладно. Такой приятный сквознячок гуляет. А ты, Беатриса, принеси‑ка нам по стаканчику пахтанья из кухни. А то загляни в чулан, может, там есть винцо. Я бы не прочь выпить рюмочку. Посидим здесь, пока все не придут прощаться.

— Скарлетт надо бы лечь в постель, — не отступалась миссис Тарлтон, окидывая взглядом ее фигуру с видом знатока, умеющего вычислить сроки беременности до последней минуты.

— Ступай, ступай, — сказала бабуля, подтолкнув миссис Тарлтон палкой, и та, небрежно швырнув шляпу на буфет и проведя рукой по влажным рыжим волосам, отправилась на кухню.

Скарлетт откинулась в кресле и расстегнула две верхних пуговки узкого корсажа. В высоком холле было прохладно и темно, легкий сквознячок, гулявший по дому, казался таким освежающим после солнцепека. Она посмотрела через холл в гостиную, где недавно лежал в гробу Джералд, и, стремясь прогнать мысли о нем, перевела взгляд вверх, на портрет бабушки Робийяр, висевший над камином. Этот поцарапанный штыком портрет, на котором была изображена женщина с высоко взбитой прической, полуобнаженной грудью и холодным дерзким выражением лица, всегда поднимала дух Скарлетт.

— Не знаю, что было для Беатрисы Тарлтон большим ударом — потеря мальчиков или лошадей, — заметила бабуля Фонтейн. — Понимаешь, она ведь никогда так уж не заботилась о Джиме или о девочках. Уилл и говорил про таких, как она. Стержень, на котором она держалась, надломился. Иной раз я думаю, как бы с ней не случилось того, что с твоим отцом. Ведь главным для нее счастьем было, когда лошади или люди производили на свет потомство, а ни одна из ее девочек не замужем, да и едва ли сумеет подцепить себе мужа в наших краях, так что бедной Беатрисе нечем занять себя. Не будь она настоящей леди, ее бы можно было считать обычной вульгарной... Кстати, а Уилл правду сказал, что хочет жениться на Сьюлин?

— Да, — сказала Скарлетт, глядя старухе в глаза. Бог ты мой, ведь было время, когда она до смерти боялась бабули Фонтейн! Но с тех пор она повзрослела, и теперь, если бы бабуля вздумала совать нос в дела Тары, она просто послала бы ее к черту.

— Мог бы и получше себе выбрать, — откровенно сказала бабуля.

— Вот как? — надменно произнесла Скарлетт.

— Спуститесь на землю, мисс, — колко осадила ее старуха. — Я не стану поносить твою драгоценную сестрицу, хоть и могла бы, если бы осталась у могилы. Я просто хотела сказать, что при нехватке мужчин в округе Уилл мог бы выбрать себе почти любую девушку. У одной Беатрисы четыре диких кошки, а девчонки Манро, а Макра...

— А он женится на Сью — и точка.

— Посчастливилось ей, что она его подцепила.

— Это Таре посчастливилось.

— Ты любишь свой дом, верно?

— Да.

— Так любишь, что тебе все равно — пусть твоя сестра выходит замуж за человека не своего круга, лишь бы в Таре был мужчина, который занимался бы поместьем?

— Не своего круга? — переспросила Скарлетт, которой эта мысль до сих пор не приходила в голову. — Не своего круга? Да какое это имеет теперь значение — главное ведь, что у женщины будет муж, который способен о ней заботиться!

— Вот тут можно поспорить, — возразила Старая Хозяйка. — Некоторые сказали бы, что ты рассуждаешь здраво. А другие сказали бы, что ты опускаешь барьеры, которые нельзя опускать ни на дюйм. Уилл‑то ведь не благородных кровей, а в твоей родословной были люди благородные.

И зоркие старые глаза посмотрели вверх на портрет бабушки Робийяр.

Перед мысленным взором Скарлетт предстал Уилл — нескладный, незаметный, вечно жующий соломинку, какой‑то удивительно вялый, как большинство «голодранцев». За его спиной не стояли длинной чередою богатые, известные, благородные предки. Первый родственник Уилла, поселившийся в Джорджии, вполне мог быть должником Оглторпа[[22]](#footnote-22) или его арендатором. Уилл никогда не учился в колледже, все его образование сводилось к четырем классам местной школы. Он был честный и преданный, он был терпеливый и работящий, но, уж конечно, не отличался благородством кровей. И Сьюлин, по меркам Робийяров, несомненно, совершала мезальянс в глазах света, выходя замуж за Уилла.

— Значит, ты не возражаешь против того, что Уилл входит в вашу семью?

— Нет, — отрезала Скарлетт, явно давая понять старой даме, что набросится на нее, если та скажет хоть слово осуждения.

— Можешь поцеловать меня, — неожиданно произнесла бабуля и улыбнулась благосклоннейшей из улыбок. — До сих пор ты не так уж была мне по душе, Скарлетт. Всегда казалась твердым орешком — даже в детстве, а я не люблю женщин крутого нрава, похожих на меня. Но мне по душе твое отношение к жизни. Ты не поднимаешь шума, когда делу нельзя помочь, даже если тебе это и не по нутру. Перепрыгнула через препятствие и поскакала дальше, как хорошая лошадка.

Скарлетт неуверенно улыбнулась и покорно чмокнула подставленную ей морщинистую щеку. Приятно было слышать, что кто‑то снова тебя одобряет, хоть она и не понимала — за что.

— У нас тут найдется сколько угодно людей, которые наговорят с три короба про то, что ты разрешила Сью выйти замуж за «голодранца», хотя все любят Уилла. Они будут говорить о том, какой он славный человек, и тут же скажут, как это ужасно, что девушка из семьи О’Хара вступает в такой неравный брак. Но пусть это тебя не смущает.

— Меня никогда не смущало то, что говорят люди.

— Это я знаю. — Старческий голос зазвучал едко. — Так вот, пусть тебя не смущает, что станут болтать. Скорее всего брак этот будет очень удачным. Конечно, Уилл так и останется «голодранцем» и, женившись, не исправит своего произношения. И даже если он наживет кучу денег, он никогда не наведет в Таре такого шика и блеска, как было при твоем отце. «Голодранцы» не умеют жить с блеском. Но в душе Уилл — джентльмен. Он нюхом чует, как надо себя вести. Только прирожденный джентльмен мог так верно подметить наши недостатки, как это сделал он там, у могилы. Ничто в целом свете не может нас подкосить, а вот сами мы себя подкашиваем — вздыхаем по тому, чего у нас больше нет, и слишком часто думаем о прошлом. Да, и Сьюлин, и Таре хорошо будет с Уиллом.

— Значит, вы одобряете, что я разрешаю ей выйти за него замуж?

— О господи, нет, конечно! — Старческий голос звучал устало и горько, но не вяло. — Чтобы я одобряла брак между представительницей старого рода и «голодранцем»?! Да что ты! Неужели я бы одобрила скрещение ломовой лошади с чистокровным жеребцом? Да, конечно, «голодранцы» — они хорошие, честные, на них можно положиться, но...

— Но вы же сказали, что, по‑вашему, это будет очень удачный брак! — воскликнула ошарашенная Скарлетт.

— Просто, по‑моему, Сьюлин повезло, что она выходит замуж за Уилла, вообще выходит замуж, потому что ей нужен муж. А где еще она его возьмет? И где ты возьмешь такого хорошего управляющего для Тары? Но это вовсе не значит, что мне все это нравится больше, чем тебе.

«Ну, мне‑то это нравится, — подумала Скарлетт, стараясь уловить, куда клонит старуха. — Я‑то рада его женитьбе на Сьюлин. Почему бабуля считает, что мне это неприятно? Просто она убеждена, что мне это должно быть неприятно так же, как и ей».

Скарлетт была озадачена и чувствовала себя немного пристыженной — как всегда, когда люди приписывали ей помыслы и чувства, которых она не разделяла.

Между тем бабуля, обмахиваясь пальмовым листом, живо продолжила:

— Я не одобряю этого брака, как и ты, но я практически смотрю на вещи — и ты тоже. И когда происходит что‑то неприятное, а ты ничего не можешь поделать, какой смысл кричать и колотить по полу ногами. В жизни бывают взлеты и падения, и с этим приходится мириться. Я‑то уж знаю: ведь в нашей семье, да и в семье доктора этих взлетов и падений было предостаточно. И наш девиз такой: «Не вопи — жди с улыбкой своего часа». С этим девизом мы пережили немало — ждали с улыбкой своего часа и стали теперь большими специалистами по части выживания. Жизнь вынудила. Вечно мы ставили не на ту лошадь. Бежали из Франции с гугенотами, бежали из Англии с кавалерами[[23]](#footnote-23), бежали из Шотландии с Красавцем принцем Чарли[[24]](#footnote-24) бежали с Гаити, изгнанные неграми, а теперь янки нас изничтожили. Но когда бы ни случилась беда, проходит несколько лет — и мы снова на коне. И знаешь почему?

Она склонила голову набок, и Скарлетт подумала, что больше всего бабуля сейчас похожа на старого всеведущего попугая.

— Нет, конечно, не знаю, — вежливо ответила она. Но в душе все это ей бесконечно наскучило — совсем как в тот день, когда бабуля пустилась в воспоминания о бунте индейцев.

— Ну, так я тебе скажу, в чем причина. Мы склоняемся перед неизбежным. Но не как пшеница, а как гречиха! Когда налетает буря, ветер приминает спелую пшеницу, потому что она сухая и не клонится. У спелой же гречихи в стебле есть сок, и она клонится. А как ветер уймется, она снова подымается, такая же прямая и сильная, как прежде. Вот и наша семья — мы умеем когда надо согнуться. Как подует сильный ветер, мы становимся очень гибкими, потому что знаем: эта гибкость окупится. И когда приходит беда, мы склоняемся перед неизбежным без звука, и работаем, и улыбаемся, и ждем своего часа. И подыгрываем тем, кто много ниже нас, и берем от них все, что можем. А как войдем снова в силу, так и дадим под зад тем, на чьих спинах мы вылезли. В этом, дитя мое, секрет выживания. — И помолчав, она добавила: Я завещаю его тебе.

Старуха хмыкнула, как бы забавляясь собственными словами, несмотря на содержавшийся в них яд. Она, казалось, ждала от Скарлетт согласия со своей точкой зрения, но та не очень внимала всем этим рассуждениям и не могла придумать, что бы сказать.

— Нет, — продолжала Старая Хозяйка, — наша порода, сколько ее в землю ни втаптывай, всегда распрямится и встанет на ноги, а этого я не о многих здешних могу сказать. Посмотри на Кэтлин Калверт. Сама видишь, до чего она дошла. Белая голытьба! Даже ниже опустилась, чем ее муженек. Посмотри на семью Макра. Втоптаны в землю, беспомощны, не знают, что делать, не знают, как жить. И даже не пытаются. Только и причитают, вспоминая, как было хорошо в старину. Или посмотри на... да, в общем, на кого ни посмотри в нашем графстве, за исключением моего Алекса и моей Салли, да тебя и Джима Тарлтона с его девчонками, ну и еще кое‑кого. Все остальные пошли на дно, потому что нет в них жизненных соков, нет у них духу снова встать на ноги. Люди эти держались, пока у них были деньги и черномазые, а теперь, когда ни денег, ни черномазых не стало, они уже в следующем поколении станут «голодранцами».

— Вы забыли про Уилксов.

— Нет, я про них не забыла. Я просто решила быть деликатной и не упоминать про них: ведь Эшли — твой гость. Но раз уж ты произнесла это имя — что ж, посмотри и на них! Возьми Индию — как я слышала, она уже превратилась в высохшую старую деву и изображает из себя вдову, потому что Стю Тарлтона убили; она даже не пытается забыть его и постараться подцепить кого‑нибудь другого. Она, конечно, не девочка, но если б постаралась, могла бы подцепить какого‑нибудь вдовца с большой семьей. Ну, а бедная Милочка — та всегда была помешана на мужчинах и не отличалась большим умом. Что же до Эшли, ты только посмотри на него!

— Эшли — прекрасный человек, — запальчиво начала было Скарлетт.

— Я и не говорю, что не прекрасный, но он беспомощен, как черепаха, перевернутая на спину. И если семейство Уилксов переживет эти тяжелые времена, то лишь благодаря Мелли. Это она их вытянет, а не Эшли.

— Мелли! Господи, бабуля! Ну, о чем вы говорите?! Я достаточно долго жила с Мелли и знаю, какая она болезненная и как боится всего, да у нее не хватит духу сказать гусю «пошел вон».

— А зачем, собственно, надо говорить гусю «пошел вон»? По‑моему, это только зряшная трата времени. Гусю она, может, такого и не скажет, зато скажет всему миру, или правительству янки, или чему угодно, что будет угрожать ее драгоценному Эшли, или ее мальчику, или ее представлениям о жизни. Она другая, Скарлетт, — не такая, как ты или я. Так вела бы себя твоя мать, будь она жива. Мелли часто напоминает мне твою мать в молодости... И очень может быть, что ей удастся вытянуть семейство Уилксов.

— Ну, Мелли — это добропорядочная простофиля. Что же до Эшли, то вы несправедливы к нему. Ведь он...

— Да перестань ты! Эшли только и учили что читать книжки, и больше ничего. А это не поможет человеку вылезти из тяжкого испытания, которое выпало сейчас всем нам на долю. Как я слышала, он самый плохой земледелец во всей округе. Попробуй сравни его с моим Алексом! До войны Алекс был настоящим денди — никчемнее его во всем свете было не сыскать: только и думал что о новых галстуках, да как бы напиться, да подстрелить кого‑нибудь, а нет, так гонялся за девчонками, которые тоже были хороши. А ты посмотри на него теперь! Как он научился хозяйствовать, потому что пришлось научиться. Иначе он подох бы с голоду и все мы вместе с ним. И вот теперь он выращивает лучший в графстве хлопок — вот так‑то, мисс! Куда лучше того, что выращивают в Таре! И со свиньями, и с птицей умеет обращаться. Хм! Хоть и вспыльчивый, а отличный малый. Умеет ждать своего часа, и если изменились времена, то и он меняется; когда вся эта Реконструкция окончится, вот увидишь — мой Алекс будет такой же богатый, какими были его отец и дед. А вот Эшли...

Скарлетт не могла спокойно слушать, как принижают Эшли.

— Все это пустые разговоры, — холодно прервала она старуху, хотя и кипела от возмущения.

— Ничего подобного, — заявила бабуля, пронзая ее острым взглядом. — Ведь с тех пор, как ты уехала в Атланту, ты тоже именно так себя и вела. Да, да. Мы все слышали про твои проделки, хоть и живем здесь в глуши. Времена изменились, и ты изменилась. Мы слышали, как ты подлизываешься к янки, и ко всякой белой рвани, и к набившим себе мошну «саквояжникам», — лишь бы вытянуть из них денежки. Уж ты их и умасливаешь, и улещиваешь, как я слыхала. Что ж, сказала я себе, так и надо. Бери у них каждый цент — сколько сможешь, но когда наберешь достаточно, пни их в морду, потому что больше они тебе не нужны. Только не забудь это сделать и пни как следует, а то прилипни к тебе белая рвань — и ты погибла.

Скарлетт смотрела на бабулю, сосредоточенно нахмурясь, пытаясь переварить ее слова. Но к чему все это было сказано, она по‑прежнему не улавливала и все еще негодовала по поводу того, что Эшли сравнили с черепахой, барахтающейся на спине.

— По‑моему, вы не правы насчет Эшли, — внезапно объявила она.

— Скарлетт, ты просто глупа.

— Это вы так думаете, — грубо оборвала ее Скарлетт, жалея, что нельзя надавать старухе по щекам.

— О, конечно, ты достаточно умна, когда речь идет о долларах и центах. Умна по‑мужски. Но как женщина ты совсем не умна. Когда речь идет о людях, ты нисколечко не умна.

Глаза Скарлетт заметали молнии, она сжимала и разжимала кулаки.

— Я тебя как следует распалила, да? — заметила с улыбкой старая дама. — Что ж, этого‑то я и добивалась.

— Ах, вот как, вот как?! А зачем, позвольте узнать?

— У меня есть на то достаточно причин, и весьма веских.

Старуха откинулась в кресле, и Скарлетт вдруг увидела, какая она бесконечно старая и усталая. Скрещенные на веере маленькие скрюченные желтые лапки казались восковыми, как у мертвеца. Внезапно Скарлетт многое поняла, и весь гнев ее улетучился. Она перегнулась и взяла в ладони руку старухи.

— Какая же вы миленькая старенькая лгунишка, — сказала она. — Вы же сами ни единому слову не верите из всей этой чепухи. Просто вы сейчас говорили что в голову придет, только бы я не думала о папе, верно?

— Нечего ко мне подлизываться! — проворчала Старая Хозяйка, выдергивая руку. — А говорила я с тобой отчасти по этой причине, отчасти же потому, что все сказанное мной — правда, а ты слишком глупа, чтобы понять, что к чему.

Но произнося эти слова, она улыбнулась, и они не прозвучали так уж резко. И Скарлетт тотчас забыла об обиде, которая была нанесена Эшли. Значит, бабуля, к счастью, на самом деле вовсе так о нем не думает.

— Все равно спасибо. Вы были очень любезны, что поговорили со мной, и я рада, что вы поддерживаете меня насчет Уилла и Сьюлин, хотя... хотя очень многие не одобряют их брака.

В этот момент в холле появилась миссис Тарлтон с двумя стаканами пахтанья. Неумелая хозяйка, она расплескала пахтанье, и стаканы были перепачканы.

— Мне пришлось спускаться за ним в погреб, — сказала она. — Пейте скорее, потому что все уже возвращаются с кладбища. Скарлетт, неужели ты в самом деле позволишь Сьюлин выйти замуж за Уилла? Я, конечно, вовсе не хочу сказать, что он нехорош для нее, но ведь он же из «голодранцев», и к тому же...

Взгляд Скарлетт встретился со взглядом бабули. В старческих глазах горел озорной огонек, и в глазах Скарлетт вспыхнули ответные искорки.

### Глава XLI

Когда все распростились и скрип колес и цоканье копыт замерли вдали, Скарлетт прошла в кабинет Эллин и вынула из глубин секретера сверкающий предмет, который она спрятала там накануне среди пожелтевших бумаг. Услышав, как Порк шмыгает носом в столовой, накрывая на стол к ужину, она окликнула его. Он тотчас явился на ее зов, и вид у него был такой несчастный, как у заблудившегося, потерявшего хозяина пса.

— Порк, — сурово сказала она, — если ты не перестанешь плакать, я... я тоже заплачу. Прекрати это.

— Да, мэм. Уж я стараюсь, так стараюсь, да вот вспомню мистера Джералда и...

— Ну, так не вспоминай. Я чьи угодно слезы могу вынести, только не твои. Ну, неужели, — продолжала она уже, мягче, — ты не понимаешь почему? Мне невыносимо видеть, что ты плачешь, потому что я знаю, как ты его любил. Высморкайся, Порк. Я хочу сделать тебе подарок.

В глазах Порка промелькнуло любопытство, и он громко высморкался, побуждаемый, впрочем, скорее желанием угодить, чем любопытством,

— Помнишь, как в тебя пальнули, когда ты ночью забрался в чужой курятник?

— Боже милостивый, мисс Скарлетт! Да я ни в жизнь никогда...

— Забрался, забрался, так что не ври мне, тем более что с тех пор столько времени прошло. Помнишь, я еще сказала тогда, что подарю тебе часы за твою преданность?

— Да, мэм, очень даже помню. Я‑то уж думал, вы позабыли.

— Нет, не забыла, и вот они, эти часы.

И она протянула ему массивные золотые часы с резной крышкой и с цепью, на которой висело несколько печаток и брелоков.

— Бог ты мой, мисс Скарлетт! — воскликнул Порк. — Да это же часы мистера Джералда. Я мильон раз видел, как он смотрел на них!

— Да, Порк, это папины часы, и я дарю их тебе. Бери.

— Ох, нет, мэм! — И Порк в священном трепете попятился на шаг. — Это часы белого жентмуна, да к тому же мистера Джералда. И как это вы сказать такое могли, чтобы дать их мне, мисс Скарлетт? Ведь часы эти по наследству переходят к малышу — Уэйду Хэмптону.

— Они твои. Что Уэйд Хэмптон сделал для папы? Разве это он ходил за ним, когда папа заболел и ослаб? Разве он купал его, и одевал его, и брил? Разве он был с ним, когда пришли янки? Разве он воровал для него? Не будь идиотом, Порк! Если кто и заслужил часы, так это ты. И я знаю, что папа одобрил бы меня. Держи.

Она взяла черную руку и положила Порку на ладонь часы. Порк с благоговением уставился на них, и по лицу его медленно разлилась радость.

— Это правда мне, мисс Скарлетт?

— Да, конечно.

— Ну‑у... благодарствуйте, мэм.

— Хочешь, чтобы я отвезла их в Атланту и отдала граверу?

— А гравер — это кто? — В голосе Порка звучало подозрение.

— Это такой человек, который напишет на задней крышке что‑нибудь вроде... ну, например, так: «Верному и преданному слуге Порку — от семьи О’Хара».

— Не‑е... благодарствуйте, мэм. Не надо этого гребера. — И Порк шагнул в сторону двери, крепко сжимая в руке часы.

Легкая улыбка тронула губы Скарлетт.

— А почему, Порк? Ты что, не веришь мне, думаешь, я их тебе не верну?

— Нет, мэм, я вам верю... только понимаете, мэм, вы ведь можете и передумать.

— Никогда я не передумаю.

— Ну, или, скажем, можете их продать. Я так думаю, они кучу денег стоят.

— Неужели ты считаешь, что я могу продать папины часы?

— Да, мэм, если вам деньги понадобятся.

— Тебя побить за это мало, Порк. Я, пожалуй, передумаю и возьму часы назад.

— Нет, мэм, не возьмете! — Впервые за весь день проблеск улыбки появился на удрученном лице Порка. — Я ведь вас знаю... И вот что, мисс Скарлетт...

— Да, Порк?

— Были бы вы к белым хоть вполовину такая милая, как к нам, неграм, люди куда бы лучше к вам относились.

— Они и так достаточно хорошо ко мне относятся, — сказала она. — А теперь пойди, найди мистера Эшли и скажи ему, что я хочу его видеть немедленно.

Эшли сел на хрупкий стульчик, стоявший у письменного стола Эллин, — под его длинным телом стульчик сразу показался совсем маленьким, — и выслушал предложение Скарлетт поделить пополам доходы с лесопилки. За все время, пока она говорила, он ни разу не поднял на нее глаз и ни слова не произнес. Он сидел и смотрел на свои руки, медленно поворачивая их — то ладонями, то тыльной стороною вверх, словно никогда прежде не видел. Несмотря на тяжелую работу, руки у него были по‑прежнему тонкие и нежные, на редкость хорошо ухоженные для фермера.

Скарлетт немного смущало то, что он сидел, не поднимая головы, и молчал, и она удвоила усилия, нахваливая лесопилку. Для пущей убедительности она пустила в ход все свое очарование — и зазывные взгляды и улыбки, но — тщетно: Эшли не поднимал глаз. Если бы он хоть взглянул на нее! Она ни словом не обмолвилась о том, что знает от Уилла о решении Эшли ехать на Север, и говорила так, словно была убеждена, что у него нет никаких причин не согласиться с ее предложением. Но он все молчал, и голос ее мало‑помалу замер. Как‑то уж слишком решительно распрямил он свои узкие плечи, и это встревожило ее. Но не станет же он отказываться! Какой предлог может он найти для отказа?

— Эшли, — вновь начала было она и умолкла. Она не собиралась выставлять в качестве довода свою беременность, ей не хотелось даже думать о том, что Эшли видит ее раздутой и безобразной, но поскольку все другие уговоры, казалось, ни к чему не привели, она решила пустить в ход эту последнюю карту и сослаться на свою беспомощность. — Вы должны переехать в Атланту. Я нуждаюсь в вашей помощи, потому что мне скоро будет не под силу заниматься лесопилками. Не один месяц пройдет, прежде чем я снова смогу, потому что... понимаете ли... ну, словом, потому...

— Прошу вас — резко перебил он ее. — Бога ради, Скарлетт!..

Он вскочил, подошел к окну и стал к ней спиной, глядя на то, как утки горделиво дефилируют через задний двор.

— Это потому... именно потому вы и не хотите смотреть на меня? — с несчастным видом спросила она его. — Я знаю, я выгляжу...

Он стремительно повернулся к ней, и его серые глаза встретились с ее глазами — в них была такая мольба, что она невольно прижала руки к горлу.

— Да при чем тут то, как вы выглядите! — в ярости выкрикнул он. — Вы же знаете, что для меня вы всегда красавица.

Волна счастья залила ее, и глаза наполнились слезами.

— Как это мило — сказать такое! А мне было так стыдно показываться вам...

— Вам было стыдно? Чего же тут стыдиться? Это я должен стыдиться и стыжусь. Если бы не моя глупость, вы бы никогда не очутились в такой ситуации, вы бы никогда не вышли замуж за Фрэнка. Я не должен был отпускать вас их Тары прошлой зимой. Ох, какой же я был дурак! Мне следовало бы знать... следовало знать, что вы доведены до отчаяния и потому способны... я должен был бы... должен... — Лицо его приняло измученное, растерянное выражение.

Сердце у Скарлетт колотилось как бешеное. Значит, он жалеет, что не убежал с ней!

— Если уж на то пошло, вышел бы на дорогу и ограбил бы кого‑нибудь или убил, но добыл бы вам денег для уплаты налогов: ведь вы же приютили нас, нищих. Ох, ни на что я не способен, ни на что!

Сердце у нее сжалось от разочарования, и ощущение счастья исчезло: она‑то ведь надеялась услышать совсем другое.

— Я бы все равно уехала, — устало сказала она. — Ничего подобного я бы не допустила. Да и потом — теперь все уже позади.

— Да, теперь все уже позади, — медленно, с горечью произнес он. — Вы бы не допустили, чтобы я совершил бесчестный поступок, а сами продались человеку, которого не любили, и теперь носите под сердцем его ребенка, и все ради того, чтобы я и моя семья не умерли с голоду. Вы такая добрая — так оберегаете меня в моей беспомощности.

Раздражение, звучавшее в его голосе, говорило о незаживающей ране, которая болела, и от его слов слезы стыда выступили у нее на глазах. Эшли тотчас это заметил, и лицо его смягчилось.

— Неужели вы решили, что я порицаю вас? Великий боже, Скарлетт! Нет, конечно! Вы самая мужественная женщина, какую я знаю. Я порицаю только себя.

Он снова отвернулся, глядя в окно, и плечи у него уже были поникшие. Скарлетт долго молча ждала, надеясь, что у Эшли изменится настроение и он вновь заговорит о ее красоте, надеясь, что он произнесет какие‑то слова, которые она будет потом бережно хранить в памяти. Они так давно не виделись, и все время она жила воспоминаниями, пока воспоминания эти не стали стираться. Она знала, что он по‑прежнему любит ее. Это бросалось в глаза — об этом говорило все в нем, каждое горькое самобичующее слово, его возмущение тем, что она носит под сердцем дитя Фрэнка. Ей так хотелось услышать это от него, так хотелось сказать это самой, чтобы вызвать его на откровенность, но она не осмеливалась. Она помнила об обещании, которое дала прошлой зимой во фруктовом саду, помнила, как сказала, что никогда больше не будет вешаться ему на шею. Она с грустью сознавала, что должна держать свое обещание, если хочет, чтобы Эшли оставался с ней. Достаточно ей произнести хоть слово любви, достаточно сказать о своей тоске, достаточно посмотреть на него молящим взглядом — и все будет кончено раз и навсегда. Тогда уж Эшли наверняка уедет в Нью‑Йорк. А он не должен уезжать, не должен.

— Ах, Эшли, не надо ни в чем себя винить! Ну, какая тут ваша вина? И вы, конечно, переедете в Атланту и поможете мне, правда?

— Нет.

— Но, Эшли, — голос ее срывался от волнения и разочарования, — но я ведь рассчитывала на вас. Вы же мне так нужны, Фрэнк не в состоянии мне помочь. Он по горло занят своей лавкой. Если вы не переедете, я просто не знаю, где мне взять человека! Все более или менее сообразительные люди в Атланте заняты своим делом, остались лишь те, кто ничего не смыслит, и...

— Ни к чему все это, Скарлетт.

— Вы хотите сказать, что скорее поедете в Нью‑Йорк и будете жить среди янки — только не в Атланте?

— Кто вам это сказал? — Он повернулся к ней лицом, досадливо морща лоб.

— Уилл.

— Да, я решил поехать на Север. Один приятель, с которым мы путешествовали до войны, предложил мне место в банке своего отца. Так оно лучше, Скарлетт. Вам от меня никакого проку не будет. Я же ничего не понимаю в лесном деле.

— Еще меньше вы понимаете в банковском, а там труднее! И конечно же, я прощу вам вашу неопытность скорее, чем янки!

Лицо его исказила гримаса, и Скарлетт поняла, что сказала что‑то не то. Он снова отвернулся и стал смотреть в окно.

— Я не хочу, чтобы меня прощали. Я хочу стоять на собственных ногах, и пусть ко мне относятся так, как я заслуживаю. Ну, что я сумел совершить в жизни? Пора мне чего‑то достичь или уж пойти ко дну по собственной вине. Слишком долго я живу на вашем иждивении.

— Но я же предлагаю вам половину доходов с лесопилки, Эшли! И вы будете стоять на собственных ногах, потому что... понимаете, это же будет и ваше предприятие.

— Все равно это ничего не меняет. Я ведь не могу купить у вас половину лесопилки. Я приму это в качестве подарка. Но я уже слишком много получил от вас подарков, Скарлетт, — и пищу, и кров, и даже одежду для себя, и для Мелли, и для малыша. И никак с вами не расплатился за это.

— Конечно же, расплатились! Да Уилл в жизни не мог бы...

— Безусловно, я теперь могу вполне прилично колоть дрова.

— Ох, Эшли! — в отчаянии воскликнула она; глаза ее наполнились слезами от этих иронических ноток в его голосе. — Что с вами произошло после моего отъезда? В вас появилось столько жесткости, столько горечи! Вы не были таким.

— Что произошло? Нечто весьма примечательное, Скарлетт. Я задумался. А я, по‑моему, еще ни разу по‑настоящему ни над чем не задумывался с конца войны и до вашего отъезда. Я пребывал в каком‑то состоянии отупения — ел, спал, и больше ничего мне не было нужно. Но когда вы уехали в Атланту, взвалив на свои плечи мужское бремя, я вдруг увидел себя в подлинном свете, увидел, что я не только не мужчина, но и вообще не человек. С такой мыслью не очень приятно жить, да я и не хочу больше так жить. Другие мужчины вернулись с войны куда более обездоленными, чем я, а вы посмотрите на них сейчас. Вот я и решил уехать в Нью‑Йорк.

— Но... нет, я просто ничего не понимаю! Если вы хотите работать, то почему непременно надо работать в Нью‑Йорке, а не в Атланте? И потом — моя лесопилка...

— Нет, Скарлетт. Это мой последний шанс. Я еду на Север. Если же я переберусь в Атланту и начну работать на вас, я погибну.

«Погибну... погибну... погибну» — словно погребальный звон, страшным эхом отозвалось в ее душе. Она быстро подняла взгляд на Эшли — его прозрачно‑серые, широко раскрытые глаза смотрели сквозь нее, куда‑то вдаль, предвидя судьбу, которой она не видела и не могла понять.

— Погибнете? Вы хотите сказать... вы сделали что‑то такое, за что янки в Атланте могут вас схватить? Я имею в виду: помогли Тони бежать, или... или... Ох, Эшли, но вы же не в ку‑клукс‑клане, нет?

Он быстро перевел на нее взгляд, вернувшись из своего далека, и по лицу его промелькнула улыбка, хотя взгляд остался задумчивым.

— Я совсем забыл, что вы все понимаете буквально. Нет, я боюсь не янки. Я просто хочу сказать, что если поеду в Атланту и снова приму от вас помощь, то навсегда схороню надежду когда‑либо встать на собственные ноги.

— А‑а, — с огромным облегчением выдохнула она, — значит, дело только в этом!..

— Да, — снова улыбнулся он, и эта улыбка придала его лицу еще более холодное выражение. — Только в этом. Речь идет всего лишь о моей мужской гордости, о моем уважении к себе и, если угодно, о моей бессмертной душе.

— Но, — поспешила она подойти к делу с другой стороны, — вы же постепенно можете выкупить у меня лесопилку, она станет вашей собственностью, и тогда...

— Скарлетт, — резко перебил он ее, — я же сказал: нет! Есть и другие причины.

— Какие?

— Вы знаете их лучше, чем кто‑либо другой.

— А‑а, это! Ну... тут все будет в порядке, — заверила она его. — Я ведь дала слово тогда, зимой, во фруктовом саду, и я сдержу его, и...

— В таком случае, вы уверены в себе больше, чем я. Я бы не мог поручиться, что сдержу слово. Мне не следовало бы этого говорить, но я хочу, чтобы вы поняли, Скарлетт. Больше я об этом ни слова не скажу. Кончено. Как только Уилл и Сьюлин обвенчаются, уеду в Нью‑Йорк.

Растревоженный взгляд больших, горящих глаз на секунду встретился с ее взглядом, и Эшли стремительно пересек комнату. Мгновение — и он уже взялся за ручку двери. Скарлетт в смертельной тоске смотрела на него. Разговор был окончен, она проиграла. Внезапно ослабев от страшного напряжения всего этого дня, от горя и постигшего ее разочарования, она почувствовала, что нервы у нее сдают, и, всхлипнув: «Ох, Эшли!», бросилась на продавленный диван и горько разрыдалась.

Она услышала, как он неуверенно отошел от дверей и, склонившись над нею, снова и снова беспомощно повторяет ее имя. Из кухни через холл быстро простучали каблучки, и в комнату вбежала Мелани — в широко раскрытых глазах ее была тревога.

— Скарлетт... с ребенком ничего?..

Скарлетт уткнулась головой в пыльную обивку дивана и снова всхлипнула.

— Эшли... он такой гадкий! Такой проклятуще гадкий!.. такой отвратительный!

— О господи, Эшли, что ты ей сделал? — Мелани поспешно опустилась на пол рядом с диваном и обняла Скарлетт. — Что ты ей сделал? Как ты мог! А что, если бы у нее случился выкидыш! Ну, хватит, моя хорошая, положи головку на плечо к Мелли! Что же все‑таки случилось?

— Эшли... он такой... такой упрямый и гадкий!

— Эшли, ты меня удивляешь! Чтобы так расстроить Скарлетт — в ее‑то положении, да еще когда мистера О’Хара едва засыпали землей!

— Да не приставай ты к нему! — вне всякой логики вскричала Скарлетт, внезапно подняв голову с плеча Мелани; ее жесткие черные волосы вывалились из сетки, лицо было залито слезами. — Он имеет право поступать как хочет!

— Мелани, — сказал Эшли, белый как полотно, — позволь, я тебе все объясню. Скарлетт была так добра, что предложила мне работу в Атланте — быть управляющим одной из ее лесопилок...

— Управляющим! — возмущенно выкрикнула Скарлетт. — Да я предложила ему половину доходов с этой лесопилки, а он...

— А я сказал ей, что уже условился и мы уезжаем на Север, и она...

— О‑о! — застонала Скарлетт и снова принялась всхлипывать. — Я ему все твержу и твержу, что он мне нужен... что я никого не могу найти на эту лесопилку... что у меня будет скоро ребенок... а он отказывается переехать! И вот теперь... теперь мне придется продать лесопилку, и я знаю, что не смогу получить за нее хорошую цену, и я потеряю на этом деньги, и может, все мы будем голодать, а ему все равно. Он такой гадкий!

Она снова уткнулась головой в худенькое плечико Мелани, и горе стало постепенно отступать, вытесняемое разгоравшейся надеждой. Она почувствовала в Мелани преданного союзника, поняла, как возмущена Мелани тем, что кто‑то — пусть даже ее любимый муж — мог довести Скарлетт до слез. И Мелани, словно маленькая решительная голубка, впервые в жизни налетела на Эшли, и принялась его клевать.

— Да как ты мог отказать ей, Эшли?! После всего, что она для нас сделала! Какими мы оба выглядим неблагодарными! А она сейчас так нуждается в помощи — ведь она ждет... Как же это неблагородно с твоей стороны! Она помогла нам, когда мы нуждались в помощи, а теперь ты отворачиваешься от нее, когда у нее в тебе нужда!

Скарлетт исподтишка взглянула на Эшли и увидела, как под возмущенным взглядом потемневших глаз Мелани удивление на его лице уступило место сомнению. Скарлетт сама удивилась этой яростной атаке, ибо знала, что Мелани ставила своего мужа выше женских упреков и к его решениям относилась почти как к велению божию.

— Мелани... — начал было он и беспомощно развел руками.

— Да как ты можешь колебаться, Эшли?! Подумай о том, что Скарлетт сделала для нас — для меня! Я бы умерла в Атланте, производя на свет Бо, если б не она! И это ведь она... да, она убила янки, защищая нас. Ты это знаешь? Она убила из‑за нас человека. И трудилась, как рабыня, чтобы прокормить нас, пока вы с Уиллом не вернулись с войны. Она и пахала, и собирала хлопок — как вспомню об этом, так бы и... Дорогая ты моя! — И наклонившись, она пылко, преданно поцеловала спутанные волосы Скарлетт. — И вот теперь, когда она впервые просит, чтобы мы что‑то сделали для нее...

— Мне ты можешь не рассказывать, что она для нас сделала.

— А еще, Эшли, подумай вот о чем! Мы ведь не только поможем Скарлетт, но и сами — подумай только! — будем жить в Атланте, среди своих, а не среди янки! Там и тетя, и дядя Генри, и все наши друзья, и у Бо будет много приятелей, и он сможет ходить в школу. Если же мы переедем на Север, мы не сможем отдать его в школу — разве можно, чтобы он водился с детьми янки и сидел в одном классе с негритятами! Нам пришлось бы там нанять ему гувернантку, а как бы мы с тобой это осилили.

— Мелани, — сказал Эшли каким‑то мертвым, ровным голосом, — тебе действительно так хочется ехать в Атланту? Ты ведь мне ни разу не говорила об этом, когда мы обсуждали наш переезд в Нью‑Йорк. Ты ни разу не намекнула...

— Но ведь когда мы обсуждали наш переезд в Нью‑Йорк, я считала, что тебя ничто не ждет в Атланте, да и потом я не вправе перечить тебе. Жена обязана следовать за мужем. Но теперь, раз Скарлетт нуждается в нас и у нее есть место специально для тебя, мы можем вернуться домой! Домой! — восторженно выкрикнула она и крепче прижала к себе Скарлетт. — И я снова увижу Пять Углов, и Персиковую дорогу, и... и... Ох, как мне всего этого не хватает! И возможно, нам удастся приобрести собственный домик! Не важно — пусть он будет совсем маленький и невзрачный... а все‑таки свой!

Глаза ее горели восторгом и счастьем, а те двое лишь молча смотрели на нее: Эшли — потрясенный, ошарашенный, Скарлетт — со смесью удивления и стыда. Ей никогда и в голову не приходило, что Мелани так скучает по Атланте и так жаждет туда вернуться, жаждет иметь свой дом. Она, казалось, была вполне довольна жизнью в Таре, — ее тоска по дому явилась для Скарлетт полной неожиданностью.

— Ох, Скарлетт, до чего же ты добрая, до чего ты хорошо для нас это придумала! Ты же знаешь, как я тоскую по дому!

И Скарлетт, столкнувшись с этим умением Мелани приписывать людям благородные поступки там, где благородством и не пахло, почувствовала по обыкновению прилив стыда и раздражения — она поняла, что не в силах, просто не в силах сейчас встретиться взглядом ни с Эшли, ни с Мелани.

— Мы сможем приобрести собственный домик. Думал ли ты о том, что мы уже пять лет женаты, а до сих пор не имеем своего дома?!

— Вы сможете жить вместе с нами у тети Питти. Это же и ваш дом, — пробормотала Скарлетт, теребя диванную подушку и по‑прежнему не поднимая глаз, чтобы Эшли и Мелани не увидели в них победного блеска, ибо она чувствовала, что ветер начинает дуть в ее сторону.

— Нет, но все равно спасибо, дорогая. Там нам будет слишком тесно. Мы купим себе отдельный дом... Ах, Эшли, ну скажи «да»!

— Скарлетт, — устало произнес Эшли, — посмотрите на меня.

Вздрогнув, она подняла глаза и встретилась взглядом с его серыми глазами — в них были горечь и усталость от тщетной борьбы с неизбежным.

— Я поеду в Атланту, Скарлетт... мне не выстоять против вас двоих.

Он повернулся и вышел из комнаты. И ощущение победы в ее душе померкло, заглушенное страхом. В его глазах она опять увидела то выражение, какое было в них, когда он говорил, что погибнет, если переедет в Атланту.

После того как Сьюлин с Уиллом отпраздновали свадьбу, а Кэррин уехала в Чарльстон — в монастырь, Эшли, Мелани и Бо перебрались в Атланту, прихватив с собой Дилси в качестве няни и поварихи. Присей с Порком до поры до времени остались в Таре, пока Уилл не подыщет других черных для полевых работ.

Маленький кирпичный домик, который Эшли снял для своей семьи, стоял на Плющовой улице, как раз за домом тети Питти — задние дворы их разделяла лишь косматая нестриженая изгородь из бирючины. Мелани потому и остановила свой выбор на этом доме. В первое же утро после возвращения в Атланту она, смеясь, и плача, и поочередно целуя то Скарлетт, то тетю Питти, сказала, что истерзалась вдали от родных и теперь хочет жить как можно ближе к ним.

Прежде домик был двухэтажный, но верхний этаж во время осады разнесла в щепы артиллерия, а у владельца, когда он вернулся с войны, не было денег на восстановление. Он удовольствовался тем, что навел над первым этажом плоскую крышу, отчего у дома сразу нарушились пропорции: он стал приземистым и выглядел точно кукольное жилье, сооруженное ребенком из картонки для туфель. Стоял он на высоком фундаменте, в котором был большой погреб, и ко входу вела широкая полукруглая лестница, придававшая дому еще более нелепый вид. Правда, впечатление придавленности, прижатости к земле слегка скрашивали два стройных старых дуба, осенявших строение своей листвой, и пыльная, усеянная крупными белыми цветами магнолия у крыльца. Перед домом была большая, зеленая лужайка, густо поросшая клевером, окруженная давно не стриженными кустами бирючины вперемежку со сладко пахнущей медом жимолостью. В траве кое‑где виднелись розы на старых, вросших в землю кустах, и храбро цвели бело‑розовые мирты, точно война и не прокатилась по ним, а лошади янки не поедали их побегов.

Скарлетт этот дом казался необычайно уродливым, а для Мелани он был прекраснее даже Двенадцати Дубов со всем их великолепием. Ведь у нее появился свой дом, и наконец‑то она, Эшли и Бо смогут воссоединиться под собственной крышей.

Индия Уилкс вернулась из Мэйкона, где они с Милочкой жили с 1864 года, и поселилась вместе с братом, так что в небольшом доме стало совсем тесно. Однако Эшли и Мелани были рады ей. Времена изменились, денег стало мало, но ничто не могло переделать южан, всегда готовых принять в лоно семьи нуждающихся родственников, а тем более незамужних женщин.

Милочка вышла замуж — совершив, по словам Индии, мезальянс — за неотесанного пришельца с Запада, уроженца Миссисипи, обосновавшегося в Мэйконе. У него было красное лицо, громкий голос и шумные манеры. Индия не одобряла этого брака, ну, а раз она его не одобряла, то, естественно, не была счастлива в доме шурина. Она очень обрадовалась, узнав, что у Эшли появился свой дом и она может покинуть чуждую ей среду и не видеть больше, как сестра глупо счастлива с этим недостойным ее человеком.

Остальные родственники втихомолку считали, что эта смешливая простушка Милочка устроилась куда лучше, чем можно было ожидать, и только удивлялись, как это она вообще сумела кого‑то подцепить. Муж Милочки был человек благородных кровей и достаточно состоятельный, но Индии, родившейся в Джорджии и воспитанной в виргинских традициях, любой человек, родившийся не на Восточном побережье, представлялся грубияном и дикарем. По всей вероятности, муж Милочки тоже был счастлив избавиться от Индии, так как ужиться с ней оказалось нелегко.

Она стала законченным синим чулком. Ей уже минуло двадцать пять, да она так и выглядела, а потому могла не заботиться о том, чтобы кого‑то соблазнять. Ее блеклые глаза, почти без ресниц, смотрели на мир прямо и бескомпромиссно, а тонкие губы были всегда высокомерно поджаты. Она держалась гордо, с достоинством, что, как ни странно, было куда больше ей к лицу, чем наигранная девичья мягкость той поры, когда она жила в Двенадцати Дубах. Да и все вокруг смотрели на нее почти как на вдову. Все знали, что Стюарт Тарлтон женился бы на Индии, если бы не пал под Геттисбергом, и потому относились к ней с уважением, как к женщине, руки которой кто‑то добивался, хотя дело и не кончилось браком.

Шесть комнат небольшого дома на Плющовой улице вскоре были обставлены дешевой сосновой и дубовой мебелью из лавки Фрэнка, поскольку у Эшли не было ни гроша и он вынужден был покупать в кредит, а потому покупал лишь самые дешевые и совершенно необходимые вещи. Это ставило в неловкое положение Фрэнка, который любил Эшли, и бесконечно огорчало Скарлетт. И она и Фрэнк охотно отдали бы безвозмездно лучшую мебель красного дерева и резную из розового, какая была в лавке, но Уилксы упорно отказывались. В результате дом у них был ужасающе голый и некрасивый, и Скарлетт с болью смотрела на то, что Эшли живет в комнатах, где нет ни ковров на полу, ни занавесок на окнах. Но он казалось, ничего этого не замечал, а Мелани, впервые после замужества поселившись в собственном доме, была бесконечно счастлива и даже горда. Скарлетт умерла бы от унижения, доведись ей принимать друзей в доме, где нет ни штор, ни ковров, ни диванных подушек, ни нужного количества стульев или чашек и ложек. Мелани же принимала у себя так, как будто на окнах у нее висели бархатные портьеры, а в комнатах стояли диваны, обтянутые парчой.

Однако несмотря на радость и приподнятое настроение, чувствовала себя Мелани неважно. Появление на свет маленького Бо стоило ей здоровья, а тяжкий труд, которым она занималась в Таре после рождения ребенка, еще больше подорвал ее силы. Она была такая худенькая, что казалось, косточки вот‑вот прорвут белую кожу. Когда Мелани возилась на заднем дворе со своим малышом, она выглядела издали совсем девочкой — такая неправдоподобно тонкая была у нее талия, да и вся фигурка совсем плоская. Бюста у нее не было, а бедра казались не шире, чем у маленького Бо, и ни гордость, ни здравый смысл не подсказали ей (так, во всяком случае, считала Скарлетт) подшить оборочки под корсаж или сзади подложить под корсет подушечки, чтобы худоба не так уж бросалась в глаза. Лицо у Мелани было под стать телу — тоже очень худое и очень бледное, так что ее изогнутые, шелковистые и тонкие, как усики у бабочки, брови казались угольно‑черными на бескровной коже. Глаза были слишком большими для узенького личика, а залегшие под ними тени делали их и вовсе огромными, но выражение их осталось прежним, как во времена беспечного девичества. Ни война, ни постоянные беды и тяжелая работа не разрушили мягкой безмятежности ее взгляда. Это были глаза счастливой женщины, женщины, над чьей головой могут проноситься бури, не затрагивая спокойствия души.

Как она умудрилась сохранить выражение глаз, думала Скарлетт, с завистью глядя на Мелани. Она знала, что у нее самой глаза бывают порой как у голодной кошки. Что это Ретт сказал однажды про глаза Мелани — что они у нее точно свечи! Точно два светоча добра в нашем порочном мире. Да, они действительно как свечи, свечи, горящие на любом ветру, — два мягких огня, сиявших счастьем оттого, что она снова жила в родном городе, среди друзей.

В маленьком доме всегда толпились люди. Мелани с детских лет была всеобщей любимицей, и весь город спешил сейчас приветствовать ее возвращение. Каждый что‑то тащил ей в дом — безделушку, картину, серебряную ложку или две льняные наволочки, салфетки, лоскутные коврики, разную мелочь, утаенную от солдат Шермана и потому бесценную, хотя владельцы и клялись, что это им вовсе ни к чему.

Старики, воевавшие в Мексике вместе с отцом Мелани, приходили и приводили с собой приятелей, чтобы познакомить «с милой дочкой старого полковника Гамильтона». Старинные друзья матери стекались к Мелани, ибо она всегда уважительно относилась к старшим, что было особенно приятно пожилым матронам в эти сумасшедшие дни, когда молодежь, казалось, совсем утратила представление о хороших манерах. А сверстницы Мелани — молодые жены, матери, вдовы — любили ее потому, что она выстрадала не меньше, чем они, и не озлобилась, а наоборот: всегда готова была сочувственно им внимать. Молодые же люди стекались к Мелани потому, что они всегда стекаются туда, где им хорошо и где можно встретить друзей, которых хочется увидеть.

И вот вокруг деликатной, незаметной Мелани быстро образовалась группа молодых и пожилых людей — то, что осталось от сливок довоенного общества Атланты; у всех был тощий кошелек, фамильная гордость и умение выстоять в самых тяжелых условиях. Казалось, эти люди — из лучших семей Атланты, разрозненных, поверженных во прах войной, обескровленных смертями, — ошеломленные переменами, нашли в Мелани то крепкое ядро, вокруг которого они могли вновь объединиться.

Мелани, несмотря на молодость, обладала всеми качествами, которые так высоко ценили эти потрепанные жизнью осколки прошлого: она умела в бедности сохранять гордость, отличалась безропотным мужеством, веселостью, гостеприимством, добротой и, главное, верностью старым традициям. Мелани не желала меняться, не желала даже признать, что есть необходимость меняться в этом меняющемся мире. Под ее кровом, казалось, вновь ожили былые дни, и люди приободрялись и даже начинали презирать эту бурную дикую жизнь и изобилие, вместе с которыми явились «саквояжники» и республиканцы‑нувориши.

Глядя на молодое лицо Мелани и видя в нем нерушимую верность старому укладу, они на время забывали о предателях из собственной среды, вызывавших у них ярость, страх и душевную боль. А таких было много. Выходцы из хороших семей, доведенные до отчаяния нищетой, переходили на сторону противника, становились республиканцами и принимали от завоевателей посты, чтобы родные не жили подаянием. К их числу принадлежали и молодые отвоевавшиеся солдаты, у которых не хватило твердости духа запастись терпением и постепенно, на протяжении долгих лет, сколачивать себе состояние. По примеру Ретта Батлера они объединялись с «саквояжниками» и занимались всякими неблаговидными делами, которые могли принести деньги.

Особенно отличались по части предательства девицы из наиболее известных в Атланте семей. Они созрели уже после войны, не слишком хорошо ее помнили и не испытывали той горечи, которая жила в душе старшего поколения. Они не потеряли ни мужей, ни возлюбленных. Они слабо помнили былое богатство и великолепие своих семей, а офицеры‑янки были такие красивые, такие нарядные, такие беспечные. И они давали такие роскошные балы, и катались на таких прекрасных лошадях, и просто обожали молодых южанок! Они относились к девушкам как к королевам и были очень внимательны, старались не затронуть их гордости — так почему же, в конце‑то концов, нельзя с ними общаться?

Они куда привлекательнее, чем местная знать — те так плохо одеты, и такие скучные, и так много работают, у них и времени‑то нет на развлечения. Словом, не одна девица из известных в Атланте семей сбежала с офицером‑янки, разбив этим сердца своих близких. Случалось, брат, встретив на улице сестру, молча проходил мимо, а мать и отец даже не упоминали имени дочери. От всех этих трагедий ужас леденил кровь тех, чьим девизом было: «Не сдаваться», — и ужас этот исчезал от одного вида милого, но непреклонного личика Мелани. Это такая цельная натура, говорили про нее матроны, она подает всем городским девицам прекрасный пример. А поскольку она не выставляла напоказ своих добродетелей, то и девушки не чурались ее.

А Мелани и в голову не приходило, что она становится средоточием нового общества. Она просто считала, что люди хорошо к ней относятся и потому приходят в гости и приглашают ее в свои кружки по шитью, котильонные клубы и музыкальные общества. Атланта всегда была городом, где музицировали и любили хорошую музыку, хотя обитатели других южных городов ехидно утверждали, что в Атланте и не пахнет культурой, и вот теперь, по мере того как все тяжелее и напряженнее становилась жизнь, стал возрождаться и интерес к музыке. Музыка давала возможность забыть о наглых рожах на улице и о синих мундирах размещенного в городе гарнизона.

Мелани не без смущения согласилась стать во главе недавно созданного Субботнего музыкального кружка. Она объясняла оказанную ей честь лишь тем обстоятельством, что могла аккомпанировать на пианино кому угодно — даже девицам Маклюр, которые любили петь дуэтом, хотя им медведь на ухо наступил.

На самом же деле объяснялось это тем, что Мелани сумела весьма дипломатично объединить Дам‑арфисток, Мужской хоровой клуб и Общество юных леди‑гитаристок и мандолинисток с Субботним музыкальным кружком, так что теперь в Атланте появилась возможность слушать хорошую музыку. Многие считали, что Субботний кружок исполняет «Богему» куда профессиональнее, чем театры Нью‑Йорка или Нового Орлеана. А когда Мелани сумела привлечь к делу еще и Дам‑арфисток, миссис Мерриуэзер сказала миссис Мид и миссис Уайтинг, что надо поставить Мелани во главе кружка. Если она способна ладить с арфистками, она поладит с кем угодно, заявила миссис Мерриуэзер. Сама она играла на органе, аккомпанируя хору в методистской церкви, и, будучи органисткой, не слишком высоко ценила арфу и арфисток.

Мелани избрали также секретарем Ассоциации по благоустройству могил наших доблестных воинов и Кружка по шитью для вдов и сирот Конфедерации. Эта новая честь выпала на долю Мелани после чрезвычайно бурного совместного заседания обоих обществ, которое чуть не закончилось потасовкой и разрывом многолетних уз дружбы. На заседании обсуждалось, надо или не надо выпалывать сорняки на могилах солдат Союза, находящихся рядом с могилами солдат Конфедерации. Вид неопрятных могильных холмов янки лишал всякого смысла усилия дам из Ассоциации. И огонь, тлевший под туго затянутыми корсажами, тотчас ярко вспыхнул, между двумя организациями пролегла пропасть, и члены их в бешенстве уставились друг на друга. Кружок по шитью был за то, чтобы выпалывать сорняки, дамы из Ассоциации по благоустройству могил выступали решительно против.

Миссис Мид, выражая точку зрения второй группы, заявила:

— Выпалывать сорняки на могилах янки?! Да я задаром всех янки из могил повытаскиваю и свезу на городскую свалку!

Как только в зале прозвучали эти слова, обе ассоциации поднялись с мест, и каждая дама принялась излагать свое мнение, хотя никто никого не слушал. Собрание происходило в гостиной миссис Мерриуэзер, и дедушка Мерриуэзер, изгнанный на кухню, рассказывал потом, что шум стоял такой, будто заново началась Франклинская битва. И, добавил он, там, сдается, было куда опаснее, чем во время битвы.

Но вот Мелани каким‑то чудом удалось протиснуться в гущу возбужденных женщин и уж совсем каким‑то чудом сделать так, что ее нежный голосок был услышан, несмотря на царивший вокруг шум. От испуга — нужно ведь немало мужества, чтобы обратиться к столь разгневанному собранию, — сердце у нее билось где‑то в горле, а голос дрожал, и все же она несколько раз повторила: «Дамы! Да успокойтесь же!» — пока все не умолкли.

— Я хочу сказать... понимаете, я много думала, что... что мы не только должны выпалывать сорняки, но должны и сажать цветы... Мне... мне все равно, что вы подумаете, но когда я несу цветы на могилу моего дорогого Чарли, я всегда кладу несколько цветков на могилу безвестного янки, который лежит рядом. Она... эта могила такая заброшенная!

Возбуждение, владевшее умами, тотчас вылилось в поток слов, но на сей раз оба общества объединились и выступили уже единым фронтом.

«На могилу янки?! Ах, Мелли, да как вы можете!» — «Они же убили Чарли!» — «И они чуть не убили вас!» — «Да ведь янки могли бы убить и Бо, когда он родился!» — «Они же хотели сжечь вашу Тару!»

Мелани крепко ухватилась за спинку стула, поистине раздавленная порицанием, с каким она столкнулась впервые.

— Ох, дамы! — умоляюще воскликнула она. — Прошу вас, дайте мне договорить! Я знаю, я не имею права говорить, потому что никто из моих близких не пал на войне, кроме Чарли, и к тому же я, слава богу, знаю, где он лежит. А среди нас сегодня столь многие не знают, где похоронены их сыновья, мужья и братья, так что...

Она задохнулась; в комнате стояла мертвая тишина.

Глаза миссис Мид потемнели и перестали метать молнии. Она проделала немалый путь в Геттисберг после битвы, чтобы привезти тело Дарси домой, но никто ей не мог сказать, где он похоронен. Должно быть, где‑то в наспех вырытой канаве на вражеской земле. И у миссис Аллен задрожали губы. Ее муж и брат участвовали в злополучном рейде Моргана в Огайо, и она слышала лишь, что оба пали на берегах реки, когда кавалерия янки ринулась в атаку. Где их могилы — она не знала. Сын миссис Эллиссон умер где‑то на Севере, в лагере, и она, женщина бедная — беднее некуда, — не в состоянии была привезти его прах в родные края. Были и другие, кто прочел в списках: «пропал без вести — по всей вероятности, убит», и это было последнее, что они слышали о людях, которых проводили на войну.

И сейчас эти женщины смотрели на Мелани, и в глазах их был вопрос: «Зачем ты снова бередишь наши раны? Они никогда не заживут: ведь мы не знаем, где лежат наши близкие».

Голос Мелани зазвучал отчетливее в наступившей тишине.

— Их могилы находятся где‑то там, у янки, так же как могилы янки находятся здесь, у нас, и до чего же было бы нам больно, если бы мы узнали, что какая‑то женщина‑янки сказала: надо, мол, их вырыть и...

Миссис Мид издала какой‑то странный звук.

— Зато до чего нам было бы приятно узнать, что какая‑то добрая женщина‑янки... Ведь должны же быть среди янки добрые женщины!.. Мне безразлично, что говорят люди, но не могут же все янки быть плохими! И нам было бы приятно узнать, что они выпалывают сорняки и на могилах наших мужчин и приносят цветы, хотя это могилы их врагов. Если бы Чарли умер на Севере, мне было бы легче, знай я, что кто‑то... И мне безразлично, что вы, дамы, будете обо мне думать, — тут голос ее снова прервался, — но я выхожу из обоих клубов и я... я буду выпалывать сорняки на могилах янки, какие только мне попадутся, и буду сажать цветы, и... пусть кто‑нибудь посмеет меня остановить!

Бросив этот вызов, Мелани разрыдалась и, пошатываясь, направилась к двери.

Час спустя дедушка Мерриуэзер в безопасном уединении салуна «Наша славная девчонка» сообщил дяде Генри Гамильтону, что после этих слов все разрыдались, кинулись целовать Мелани и собрание завершилось праздничным застольем, а Мелани была избрана секретарем обеих организаций.

— И они теперь будут выпалывать сорняки. А Долли, черт бы ее побрал, заявила, что даже я, видите ли, буду только рад им помочь, потому как мне больше нечего делать. Я, конечно, ничего против янки не имею и, думаю, мисс Мелли права, а остальные леди вели себя как дикие кошки и были не правы. Но чтобы я полол сорняки — в мои‑то годы, да при моем люмбаго!..

Мелани вошла в совет дам‑патронесс детского приюта и помогала собирать книги для только что созданной Ассоциации юношеских библиотек. Даже Трагики, дававшие раз в месяц любительские спектакли, жаждали заполучить ее к себе. Мелани была слишком застенчива, чтобы выступать на подмостках, освещенных керосиновыми лампами, но она могла шить костюмы из единственно доступной материи — мешковины. Это она, проголосовав в Кружке шекспировских чтений за то, чтобы произведения барда перемежались чтением творений Диккенса и Бульвер‑Литтона, помогла одержать победу над неким молодым и, как втайне опасалась Мелани, весьма разнузданным холостяком, который предлагал читать поэмы лорда Байрона.

В конце лета по вечерам в ее маленьком, плохо освещенном доме всегда полно было гостей. Стульев, как правило, не хватало, и дамы часто сидели на ступеньках крыльца, а мужчины возле них — на перилах, на ящиках или даже просто на лужайке. Порой, глядя, как гости сидят на траве и попивают чай — единственный напиток, который Уилксы в состоянии были предложить, — Скарлетт поражалась, как это Мелани не стыдится выставлять напоказ свою бедность. Сама Скарлетт и помыслить не могла о том, чтобы принимать гостей — особенно таких именитых, какие бывали у Мелани, — пока дом тети Питти не будет обставлен как до войны и она не сможет подавать своим гостям хорошее вино, и джулепы, и запеченную ветчину, и холодную оленину.

А у Мелани часто бывал герой Джорджии генерал Джон Б. Гордон с семьей. Отец Райан, поэт‑священник Конфедерации, неизменно заглядывал к ней, когда наведывался в Атланту. Он очаровывал собравшихся остроумием и без особых уговоров соглашался прочесть свою «Шпагу Ли» или свое бессмертное «Поверженное знамя», всякий раз вызывавшее слезы у дам. Бывал здесь во время своих наездов в город и Алекс Стефенс, бывший вице‑президент Конфедерации, и как только становилось известно, что он у Мелани, дом тотчас наполнялся гостями, и люди часами сидели, зачарованные хрупким инвалидом со звонким голосом. Обычно с десяток детей сонно клевали носом на коленях у родителей, хотя им давно пора было лежать в постели. Каждой семье хотелось, чтобы много лет спустя их отпрыск мог сказать, что его целовал великий вице‑президент или что с ним здоровался за руку один из тех, кто возглавлял борьбу за Правое Дело. Все более или менее важные особы, приезжавшие в город, находили путь в дом Уилксов и часто даже проводили там ночь. Небольшой дом под плоской крышей нередко был переполнен, Индии приходилось спать на соломенном тюфяке в крошечной комнатушке, где помещалась детская Бо, а Дилси мчаться через задний двор к кухарке тети Питти за яйцами к завтраку, но Мелани принимала всех так любезно, точно в ее распоряжении был замок.

Нет, Мелани и в голову не приходило, что все эти люди стекаются к ней, словно потерпевшие поражение солдаты к изорванному любимому знамени. И потому она немало удивилась и смутилась, когда доктор Мид после одного приятно проведенного в ее доме вечера, за который он отблагодарил хозяйку, прочитав монолог Макбета, поцеловал ей руку и голосом, каким он некогда говорил о Нашем Доблестном Деле, произнес:

— Дорогая мисс Мелли, для меня всегда большая честь и удовольствие бывать в вашем доме, ибо вы — и подобные вам дамы — это наша душа, все, что у нас осталось. У нас, мужчин, отняли лучшие годы нашей жизни, а у юных женщин — беззаботный смех. Наше здоровье подорвано, традиции выкорчеваны, и весь наш уклад перевернут. Процветанию нашему пришел конец, мы отброшены на пятьдесят лет назад, а на плечи наших мальчиков, которым сейчас бы еще учиться в школе, и наших стариков, которым сейчас бы дремать на солнышке, взвалено непосильное бремя. Но мы возродимся, потому что среди нас есть люди такой души, как вы. И пока среди нас есть такие люди, все остальное янки могут забрать!

До того, как Скарлетт разнесло и большая черная шаль тети Питти не могла уже скрыть ее деликатного положения, они с Фрэнком частенько протискивались сквозь заднюю изгородь и присоединялись к тем, кто летними вечерами собирался на крыльце у Мелани. Скарлетт всегда садилась подальше от света, прячась в спасительную тень, где она, не привлекая к себе любопытных взоров, могла сколько душе угодно смотреть на лицо Эшли.

Только Эшли и притягивал ее сюда, так как все эти разговоры нагоняли на нее скуку и тоску. Они неизменно развивались по одной и той же схеме: сначала — о тяжелых временах; потом — о политическом положении в стране, а потом уж, конечно, о войне. Дамы сокрушались по поводу высоких цен и спрашивали у мужчин, неужели добрые времена никогда не вернутся. А всеведущие джентльмены неизменно отвечали: разумеется, вернутся. Всему свой черед. Тяжелые времена — не навеки. Дамы знали, что джентльмены лгут, а джентльмены знали, что дамы знают, что они лгут. И тем не менее они весело лгали, а дамы делали вид, будто верят им. Все ведь знали, что тяжелые времена продлятся еще долго.

Как только тема тяжелых времен бывала исчерпана, дамы заводили разговор об этих наглецах неграх, и об этих возмутительных «саквояжниках», и о том, до чего же это унизительно — видеть на каждом углу солдат‑янки. Как считают джентльмены, янки когда‑нибудь закончат Реконструкцию Джорджии? Джентльмены заверяли дам, что Реконструкции очень скоро придет конец — ну, вот как только демократам снова дадут право голоса. У дам хватало ума не уточнять, когда это будет. И как только разговор о политике заканчивался, джентльмены заводили беседу о войне.

Стоило двум бывшим конфедератам где‑либо встретиться — и речь шла только об одном, а если собиралось человек десять или больше, то можно было не сомневаться, что весь ход войны будет прослежен заново. При этом в беседе только и слышалось: «Вот если бы!..»

«Вот если бы Англия признала нас...» — «Вот если бы Джеф Дэвис реквизировал весь хлопок и успел перебросить его в Англию, пока не установилась блокада...» — «Вот если бы Лонгстрит выполнил приказ под Геттисбергом...» — «Вот если бы Джеф Стюарт не отправился в рейд, когда он был так нужен Маршу Бобу...» — «Вот если бы мы не потеряли Несокрушимого Джексона...» — «Вот если бы не пал Виксберг...» — «Вот если б мы сумели продержаться еще год...» И всегда, во всех случаях: — «Вот если б вместо Джонстона не назначили Худа...» Или: «Вот если б они в Далтоне поставили во главе Худа, а не Джонстона...»

Если бы! Если бы! В мягких певучих голосах появлялось былое возбуждение; они говорили и говорили в мирной полутьме — пехотинцы, кавалеристы, канониры, — воскрешая дни, когда жизнь подняла их на самый гребень волны, вспоминая теперь, на закате одинокой зимы, лихорадочный жар своего лета.

«Они ни о чем больше не говорят, — думала Скарлетт. — Ни о чем, кроме войны. Все эта война. И они не будут ни о чем говорить, кроме войны. Нет, до самой смерти не будут».

Она посмотрела вокруг себя и увидела мальчиков, примостившихся на коленях у отцов, глазенки у них сверкали, они учащенно дышали, слушая рассказы о ночных вылазках и отчаянных кавалерийских рейдах, о том, как водружали флаг на вражеских брустверах. Им слышался бой барабанов, и пение волынок, и клич повстанцев, они видели босых солдат с израненными ногами, шагавших под дождем, волоча изодранные в клочья знамена.

«И эти дети тоже ни о чем другом не будут говорить. Они будут считать величайшей доблестью — сразиться с янки, а потом вернуться домой слепыми или калеками, а то и не вернуться совсем. Как все люди любят вспоминать войну, болтать о ней. А я не люблю. Не люблю даже думать о ней. Я бы с большой радостью все забыла, если б могла... ах, если б только могла!»

Она слушала — и по телу ее бежали мурашки — рассказы Мелани про Тару, и в этих рассказах она, Скарлетт, выглядела настоящей героиней: как она вышла к солдатам и спасла саблю Чарльза, как тушила пожар. Воспоминания эти не вызывали у Скарлетт ни удовольствия, ни гордости. Она вообще не желала об этом думать.

«Ну почему они не могут забыть?! Почему не могут смотреть вперед, а не назад? Дураки мы, что вообще ввязались в эту войну. И чем скорее мы забудем о ней, тем нам же лучше будет».

Но никто не хотел забывать, никто, за исключением, казалось, ее самой, и потому Скарлетт была только рада, когда смогла, наконец, вполне искренне сказать Мелани, что ей неловко стало появляться на людях — даже когда царит полумрак. Это объяснение было вполне понятно Мелани, которая отличалась крайней чувствительностью во всем, что касалось деторождения. Мелани очень хотелось завести еще одного ребенка, но и доктор Мид, и доктор Фонтейн сказали, что второй ребенок будет стоить ей жизни. Поэтому нехотя смирившись со своей участью, она и проводила большую часть времени со Скарлетт, радуясь хотя бы чужой беременности. Скарлетт же, которая не слишком жаждала нового ребенка, да еще в такое неподходящее время, отношение Мелани казалось верхом сентиментальной глупости. Радовало ее лишь то, что вердикт врачей не допускал близости между Эшли и его женой.

Теперь Скарлетт часто виделась с Эшли, но никогда — наедине. Каждый вечер по пути с лесопилки домой он заходил рассказать о проделанной за день работе, но при этом всегда присутствовали Фрэнк и Питти или — что еще хуже — Мелани с Индией. Скарлетт могла лишь задать ему один‑два деловых вопроса, высказать несколько пожеланий, а потом обычно говорила:

— Очень мило, что вы зашли. Спокойной ночи.

Вот если бы она не ждала ребенка! У нее была бы богом данная возможность каждое утро ездить с ним на лесопилку через уединенные леса, вдали от любопытных глаз, и им казалось бы, что они снова в своих родных краях, где так неспешно текли до войны их дни.

Нет, она и пытаться не стала бы вытянуть из него хоть слово любви! Она бы о любви и не вспоминала. Ведь она дала себе клятву! Но быть может, очутись они снова вдвоем, он сбросил бы эту маску холодной любезности, которую носил с момента переезда в Атланту. Быть может, он снова стал бы прежним — тем Эшли, которого она знала до встречи в Двенадцати Дубах, до того, как они произнесли слово «люблю». Если уж они не могут любить друг друга, то по крайней мере могли бы остаться друзьями, и она могла бы отогревать свое застывшее одинокое сердце у огонька его дружбы.

«Хоть бы поскорее родить и покончить с этим, — в нетерпении думала она, — я могла бы ездить с ним каждый день, и мы бы говорили, говорили...»

Эта беспомощность, невозможность выбраться из заточения бесили Скарлетт не только потому, что она хотела быть с Эшли. Лесопилки требовали ее присутствия. Они перестали приносить доход с тех пор, как она отошла от дел, предоставив все Хью и Эшли.

Хью, хоть и очень старался, ничего в делах не понимал. Он был плохой торговец и совсем уж никудышный управляющий. Кто угодно мог убедить его сбавить цену. Достаточно было какому‑нибудь ловкачу‑подрядчику сказать, что лес — невысокого качества и не стоит таких денег, Хью, будучи джентльменом, тотчас извинялся и снижал цену. Когда Скарлетт услышала о том, сколько он получил за доски для настила тысячи футов пола, она разрыдалась от злости. Ведь доски‑то были самого высокого качества, а он отдал их почти задаром! Да и со своими рабочими он тоже не справлялся. Негры требовали поденной оплаты, а получив деньги, частенько напивались и на другое утро не выходили на работу. В таких случаях Хью приходилось искать других рабочих, а лесопилка простаивала. Из‑за этого Хью по нескольку дней не приезжал в город продавать лес.

Видя, как прибыль утекает из рук Хью, Скарлетт так и кипела — от собственного бессилия и от его глупости. Как только у нее родится ребенок и она снова сможет взяться за работу, она выгонит Хью и наймет кого‑нибудь другого. Кто угодно будет лучше него. И негров она тоже нанимать больше не станет. Как можно наладить дело, когда эти вольные негры прыгают с места на место?!

— Фрэнк, — сказала она однажды после бурного объяснения с Хью по поводу того, что не хватает рабочих рук, — я почти решила, что буду нанимать на лесопилки каторжников. Я как‑то говорила с Джонни Гэллегером — он десятник у Томми Уэлберна — о том, как трудно нам заставить этих черномазых работать, и он спросил, почему я не беру каторжников. Мне это показалось неплохой мыслью. Он сказал, что можно подрядить их на сущую ерунду и кормить по дешевке. И еще сказал, что можно заставлять их работать сколько надо, и никакое Бюро вольных людей не налетит за это на меня как рой ос и не будет совать мне под нос всякие там законы и вмешиваться в то, что их не касается. Словом, как только Джонни Гэллегер отработает у Томми свой контракт, я попробую нанять его вместо Хью на лесопилку. Человек, который способен заставить работать этих диких ирландцев, уж, конечно, сумеет выжать все что надо из каторжников.

Из каторжников! Фрэнк положительно лишился дара речи. Подряжать каторжников — хуже ничего нельзя придумать, это же хуже, чем дикая идея Скарлетт открыть салун.

Во всяком случае, так оно выглядело в глазах Фрэнка и тех консервативных кругов, в которых он вращался. Новая система подряжать на работу каторжников возникла вследствие того, что штат очень обеднел после войны. Не будучи в состоянии содержать каторжников, штат отдавал их внаем тем, кому требовались большие команды рабочих для строительства железных дорог, добычи скипидара и обработки древесины. И хотя Фрэнк и его тихие, богобоязненные друзья понимали необходимость этой системы, они все равно порицали ее. Многие из них отнюдь не были сторонниками рабства, но считали, что это нововведение куда хуже.

А Скарлетт хочет подряжать каторжников! Фрэнк знал, что, если она это сделает, он больше не сможет смотреть людям в глаза. Это было куда хуже, чем владеть и самой управлять лесопилками, — вообще хуже всего, что она до сих пор придумывала. Возражая ей, он мысленно всегда задавал себе вопрос: «Что скажут люди?» Но сейчас — сейчас речь шла о более важном, чем боязнь осуждения со стороны общества. Ведь это же все равно как покупать чужое тело, все равно как покупать проституток — грех, который ляжет на его душу, если он позволит Скарлетт совершить такое.

Убежденный в порочности этой затеи, Фрэнк набрался мужества и в столь сильных выражениях запретил Скарлетт подряжать каторжников, что она от неожиданности примолкла. А затем, чтобы утихомирить его, покорно заметила, что это были лишь размышления вслух. Просто ей так досаждают Хью и эти вольные негры, что она вспылила. Сама же продолжала об этом думать и даже мечтать. Каторжники могли бы решить одну из самых тяжелых для нее проблем, но если Фрэнк так к этому относится...

Она вздохнула. Если бы хоть одна из лесопилок приносила доход, она бы еще как‑то выдержала. Но у Эшли дела шли ненамного лучше, чем у Хью.

Сначала Скарлетт была поражена и огорчена тем, что Эшли не сумел сразу так взяться за дело, чтобы лесопилка приносила в два раза больше дохода, чем у нее в руках. Ведь он такой умный, и он прочел столько книг — почему же он не может преуспеть и заработать кучу денег. А дела у него шли не успешнее, чем у Хью. Он был столь же неопытен, совершал такие же ошибки, — так же не умел по‑деловому смотреть на вещи и был так же совестлив, как и Хью.

Любовь Скарлетт быстро нашла для Эшли оправдания, и она оценивала двух своих управляющих по‑разному. Хью просто безнадежно глуп, тогда как Эшли‑всего лишь новичок в деле. И однако же непрошеная мысль подсказывала, что Эшли не может быстро сделать в уме подсчет и назначить нужную цену, а она — может. Она порой даже сомневалась, научится ли он когда‑либо отличать доски от бревен. К тому же, будучи джентльменом и человеком порядочным, он верил любому мошеннику и уже не раз потерял бы немало денег, не вмешайся вовремя она. Если же ему кто‑нибудь нравился, — а ему, видимо, нравились многие! — он продавал лес в кредит, даже не считая нужным проверить, есть ли у покупателя деньги в банке или какая‑либо собственность. В этом отношении он был ничуть не лучше Фрэнка.

Но конечно же, он всему научится! И пока он учился, она с поистине материнской снисходительностью и долготерпением относилась к его ошибкам. Каждый вечер, когда он появлялся у нее в доме, усталый и обескураженный, она, не жалея времени и сил, тактично давала ему полезные советы. Но несмотря на ее поощрение и поддержку, глаза у него оставались какими‑то странно безжизненными. Она не понимала, что с ним, и это пугало ее. Он стал другим, совсем другим — не таким, каким был раньше. Если бы они остались наедине, быть может, ей удалось бы выяснить причину.

От всего этого она не спала ночами. Она тревожилась за Эшли, потому что понимала: не чувствует он себя счастливым, как понимала и то, что если человек несчастлив, не овладеть ему новым делом и не стать хорошим лесоторговцем. Это была пытка — знать, что обе ее лесопилки находятся в руках таких неделовых людей, как Хью и Эшли; у Скарлетт просто сердце разрывалось, когда она видела, как конкуренты отбирают у нее лучших заказчиков, хотя она так тщательно все наперед рассчитала и приложила столько труда и стараний, чтобы все шло как надо и тогда, когда она не сможет работать. Ах, если бы только она могла снова вернуться к делам! Она бы взялась за Эшли, и он у нее безусловно всему бы научился. На другую лесопилку она поставила бы Джонни Гэллегера, а сама занялась бы продажей леса, и тогда все было бы отлично. Что же до Хью, то он мог бы у нее остаться, если бы согласился развозить лес заказчикам. Ни на что другое он не годен.

Да, конечно, Гэллегер, при всей своей сметке, человек, видно, бессовестный, но... где взять другого? Почему все смекалистые и тем не менее честные люди так упорно не хотят на нее работать? Если бы кто‑нибудь из них работал у нее сейчас вместо Хью, она могла бы и не беспокоиться, а так...

Томми Уэлберн хоть и горбун, а подрядов у него в городе куча, и деньги он, судя по слухам, лопатой гребет. Миссис Мерриуэзер и Рене процветают и даже открыли булочную в городе. Рене повел дело с подлинно французским размахом, а дедушка Мерриуэзер, обрадовавшись возможности вырваться из своего угла у печки, стал развозить пироги в фургоне Рене. Сыновья Симмонсов так развернули дело, что у их обжиговой печи трудятся по три рабочих смены в день. А Келлс Уайтинг изрядно зарабатывает на выпрямителе волос: внушает неграм, что республиканцы в жизни не позволят голосовать тем, у кого курчавые волосы.

И так обстояли дела у всех толковых молодых людей, которых знала Скарлетт, — врачей, юристов, лавочников. Апатия, охватившая их после войны, прошла — каждый сколачивал себе состояние и был слишком занят, чтобы помогать еще и ей. Не были заняты лишь люди вроде Хью или Эшли.

До чего же скверно, когда у тебя на руках дело, а ты как на грех еще беременна!

«Никогда больше не стану рожать, — твердо решила Скарлетт. — Не буду я как те женщины, у которых что ни год, то ребенок. Господи, ведь это значило бы на шесть месяцев в году бросать лесопилки! А я сейчас вижу, что не могу бросить их даже на один день. Вот возьму и заявлю Фрэнку, что не желаю я больше иметь детей».

Фрэнку, правда, хотелось иметь большую семью, но ничего, как‑нибудь она с ним сладит. Она твердо решила. Это ее последний ребенок. Лесопилки куда важнее.

### Глава XLII

У Скарлетт родилась девочка, крошечное лысое существо, уродливое, как безволосая обезьянка, и до нелепости похожее на Фрэнка. Никто, кроме ослепленного любовью отца, не мог найти в ней ничего прелестного — правда, сердобольные соседи утверждали, что все уродливые дети становятся со временем прехорошенькими. Нарекли девочку Элла‑Лорина: Элла — по бабушке Эллин, а Лорина потому, что это было самое модное имя для девочек, так же как Роберт Ли и Несокрушимый Джексон для мальчиков, а Авраам Линкольн и Имэнсипейшн[[25]](#footnote-25) — для негритянских детей.

Родилась она в середине той недели, когда Атланта жила в лихорадочном волнении и в воздухе чувствовалось приближение беды. Арестовали негра, похвалявшегося, что он изнасиловал белую женщину. Но прежде чем он предстал перед судом, на тюрьму налетел ку‑клукс‑клан и вздернул негра. Ку‑клукс‑клан решил избавить пока еще никому не известную жертву изнасилования от необходимости выступать в суде. Отец и брат пострадавшей готовы были застрелить ее, лишь бы она не появлялась перед судом и не признавалась в своем позоре. Поэтому линчевание негра казалось обитателям города единственным разумным выходом из положения — единственно возможным, в сущности, выходом. Однако это привело военные власти в ярость. Почему, собственно, женщина не может выступить в суде и публично дать показания?

Начались поголовные аресты: солдаты клялись, что сотрут ку‑клукс‑клан с лица земли, даже если им придется засадить в тюрьму всех белых обитателей Атланты. Негры, перепуганные, мрачные, поговаривали о том, что в отместку начнут жечь дома. По городу поползли слухи: если‑де янки найдут виновных, они всех перевешают, а кроме того, негры готовят восстание против белых. Горожане сидели по домам, заперев двери и закрыв окна ставнями, мужчины забросили все дела, чтобы не оставлять жен и детей без защиты.

Скарлетт, измученная родами, лежала в постели и молча благодарила бога за то, что Эшли слишком благоразумен, чтобы принадлежать к ку‑клукс‑клану, а Фрэнк слишком стар и робок. Ведь это было бы ужасно — знать, что янки в любую минуту могут нагрянуть и арестовать их! Ну почему эти безмозглые молодые идиоты из ку‑клукс‑клана не могут сидеть спокойно — и так уж все плохо, зачем же еще больше бесить янки?! Да и девчонку‑то эту, наверное, никто не насиловал. Скорее всего она просто испугалась по глупости, а теперь из‑за нее столько народу может лишиться жизни.

В такой напряженной атмосфере, когда ты словно видишь, как огонь медленно подбирается по шнуру к пороховой бочке, и ждешь, что она вот‑вот взорвется, Скарлетт быстро встала на ноги. Хорошее здоровье, помогшее ей перенести тяжелые дни в Таре, выручило ее и сейчас: через две недели после рождения Эллы‑Лорины она уже могла сидеть в постели и злилась на свою бездеятельность. А через три недели встала и объявила, что хочет ехать на лесопилки. Работа на обеих была приостановлена, потому что и Хью и Эшли боялись оставлять свои семьи на целый день.

И тут грянул гром.

Фрэнк, чрезвычайно гордый своим отцовством, настолько осмелел, что запретил Скарлетт покидать дом, когда вокруг так неспокойно. Она бы и внимания не обратила на его запреты и все равно отправилась бы по своим делам, если бы он не поставил лошадь и двуколку в платную конюшню и не велел никому, кроме него, их давать. К тому же, пока Скарлетт была нездорова, он и Мамушка тщательно обыскали весь дом, нашли спрятанные ею деньги, и Фрэнк положил их в банк на свое имя, так что теперь Скарлетт не могла нанять даже бричку.

Скарлетт устроила страшный скандал, понося на все лады Фрэнка и Мамушку, потом принялась их упрашивать и, наконец, все утро проплакала, словно ребенок, раздосадованный тем, что ему чего‑то не разрешают. Однако в ответ она слышала лишь: «Не надо так, лапочка! Вы же, деточка, нездоровы». И еще: «Мисс Скарлетт, если не перестанете так убиваться, у вас молоко свернется и у крошки заболит животик, это уж как пить дать».

Скарлетт в ярости ринулась через задний двор к Мелани и там излила душу, крича на весь свет, что пойдет пешком на лесопилки, и пусть все в Атланте узнают, какой негодяй у нее муж, и вообще она не позволит, чтобы с ней обращались, как с капризной глупой девчонкой. Она возьмет с собой пистолет и пристрелит всякого, кто посмеет ей угрожать. Она уже пристрелила одного и не без радости — да, да, именно не без радости — пристрелит другого. Да она...

Мелани, боявшаяся выйти даже на собственное крыльцо, была совершенно потрясена, слушая такие речи.

— Ах, разве можно так собой рисковать! Я просто умру, если с тобой что‑нибудь случится! Прошу тебя!

— А я пойду! Пойду! Пойду!..

Мелани посмотрела на Скарлетт и поняла, что это не истерика женщины, еще не пришедшей в себя после рождения ребенка. Она увидела на лице Скарлетт ту же упрямую, необоримую решимость, какая часто появлялась на лице Джералда О’Хара, когда он что‑то твердо решил. Она обхватила Скарлетт руками за талию и крепко прижала к себе.

— Это я виновата, что не такая храбрая, как ты, и держу Эшли дома, тогда как он должен быть на лесопилке. О господи! До чего же я никчемная! Дорогая моя, я скажу Эшли, что нисколечко не боюсь, я приду к тебе и побуду с тобой и с тетей Питти, а он пусть едет на работу и...

Даже самой себе Скарлетт не призналась бы, что не считает Эшли способным со всем управиться, и потому воскликнула:

— Я этого не допущу! Какой от Эшли прок, если он будет все время тревожиться за вас? Просто все такие противные! Даже дядюшка Питер отказывается ехать со мной! Но мне плевать! Я отправлюсь одна. Весь путь пройду пешком и где‑нибудь да наберу команду черномазых...

— Ах, нет! Ты не должна этого делать! С тобой может случиться беда. Говорят, что в бараках на Декейтерской дороге полно плохих негров, а ведь тебе придется мимо них идти. Дай‑ка подумать... Дорогая моя, обещай, что ничего сегодня не предпримешь, а я пока подумаю. Обещай, что пойдешь сейчас домой и ляжешь. Ты даже осунулась. Обещай же.

Поскольку Скарлетт действительно выдохлась после приступа злости, она сквозь зубы дала Мелани обещание и отправилась домой, а дома высокомерно отклонила все попытки восстановить мир.

К вечеру странная личность, прихрамывая, прошла сквозь живую изгородь, окружавшую дом Мелани, и заковыляла по двору тети Питти. Человек этот был явно из «оборвышей» — как выражались Мамушка и Дилси, — которых мисс Мелли подбирает на улице и пускает к себе в подвал.

А в подвале у Мелани было три комнаты, где раньше размещались слуги и хранилось вино. Теперь Дилси занимала одну из этих комнат, а в двух других вечно обретались какие‑то несчастные, жалкие временные жильцы. Никто, кроме Мелани, не знал, откуда они пришли и куда направляются, как никто не знал и того, где она их подбирает. Возможно, негритянки были правы и она действительно подбирала их на улице. Так или иначе, но подобно тому, как все видные или сравнительно видные люди стекались в ее маленькую гостиную, люди обездоленные находили путь в ее подвал, где их кормили, давали ночлег и отправляли в путь со свертком еды. Обычно обитателями этих комнаток были бывшие солдаты‑конфедераты, никчемные, неграмотные, бездомные, бессемейные, скитавшиеся по стране в надежде найти работу.

Нередко проводили здесь ночь и почерневшие, исхудалые деревенские женщины с целым выводком светловолосых тихих ребятишек, — женщины, овдовевшие во время войны, лишившиеся своих ферм, бродившие по стране в поисках потерянных, разбросанных по миру родственников. Иной раз соседей возмущало присутствие чужеземцев, едва говоривших по‑английски, а то и вовсе не говоривших, — чужеземцев, которых привлекли на Юг цветистые рассказы о том, что здесь легко можно нажить состояние. А как‑то раз у Мелани ночевал даже республиканец. Во всяком случае. Мамушка утверждала, что это республиканец, она‑де чует республиканца на расстоянии, совсем как лошадь — змею, но никто ей не поверил, поскольку есть же предел даже состраданию Мелани. Во всяком случае, все надеялись, что это так.

«Да, — подумала Скарлетт, сидевшая на боковой веранде в лучах бледного ноябрьского солнца с младенцем на руках, — этот хромоногий, конечно же, из тех несчастненьких, которых пригревает Мелани. И ведь не прикидывается — в самом деле хромой!»

Человек, шедший через задний двор, припадал, как Уилл Бентин, на деревянную ногу. Это был высокий худой старик с розовой грязной лысиной и тронутой сединою бородой, такой длинной, что он мог бы засунуть ее за пояс. Судя по его жесткому, изборожденному морщинами лицу, ему перевалило за шестьдесят, но это никак не сказалось на его фигуре. Он был долговязый, нескладный, но, несмотря на деревянную ногу, передвигался быстро, как змея.

Поднявшись по ступенькам веранды, он направился к Скарлетт, но еще прежде, чем он открыл рот и Скарлетт услышала его гнусавый выговор и картавое «р», необычное для обитателя равнин, она уже поняла, что он — из горных краев. Несмотря на грязную, рваную одежду, в нем была, как у большинства горцев, этакая молчаливая непреклонная гордость, исключающая вольности и не терпящая глупостей. Борода у него была в подтеках табачной жвачки, и большой комок табака, засунутый за щеку, перекашивал лицо. Нос был тонкий, крючковатый, брови густые и кустистые, волосы торчали даже из ушей, отчего уши выглядели пушистыми, как у рыси. Одна глазница была пустая, а от нее через щеку шел шрам, наискось пересекая бороду. Другой глаз был маленький, светлый, холодный — он безжалостно, не мигая смотрел на мир. За поясом у пришельца был заткнут большой пистолет, а из‑за голенища потрепанного сапога торчала рукоятка охотничьего ножа.

Он ответил холодным взглядом на вопрошающий взгляд Скарлетт и, прежде чем что‑либо произнести, сплюнул через балюстраду. В его единственном глазу было презрение — не лично к ней, а ко всему ее полу.

— Мисс Уилкс послала меня поработать на вас, — заявил он. Слова вылетали из его глотки, словно вода из ржавой трубы — с трудом, как если бы он не привык говорить. — Звать меня Арчи.

— Извините, но никакой работы, мистер Арчи, у меня для вас нет.

— Арчи — это мое имя.

— Извините. А как же ваша фамилия?

Он снова сплюнул.

— А это уж мое дело, — сказал он. — Арчи — и все.

— Мне, собственно, безразлично, как ваша фамилия! У меня для вас работы нет.

— А по‑моему, есть. Мисс Уилкс очень расстроена, что вы, как дура последняя, хотите разъезжать одна, так что она послала меня возить вас.

— Вот как?! — воскликнула Скарлетт, возмущенная грубостью этого человека и тем, что Мелани вмешивается в ее дела.

Одноглазый смотрел на нее с тупой враждебностью.

— Да уж. Нечего женщине мужиков своих волновать — они же о ней заботятся. Так что ежели вам надо куда поехать, повезу вас я. Ненавижу ниггеров — да и янки тоже. — Он передвинул комок табака за другую щеку и, не дожидаясь приглашения, сел на верхнюю ступеньку веранды. — Не скажу, чтобы я так уж любил раскатывать с бабами, да только мисс Уилкс — она такая добрая — дала мне переночевать у себя в подвале, ну и попросила повозить вас.

— Да, но... — беспомощно пробормотала было Скарлетт и, умолкнув, посмотрела на него. А через мгновение улыбнулась. Ей вовсе не нравился этот престарелый головорез, но его присутствие могло кое‑что упростить. С ним она сможет поехать в город, наведаться на лесопилки, побывать у покупателей. За нее уже никто не будет тревожиться, а самый вид ее будущего спутника исключает сплетни.

— По рукам, — сказала она. — Если, конечно, мой муж не будет возражать.

Потолковав наедине с Арчи, Фрэнк нехотя согласился и дал знать в платную конюшню, чтобы Арчи выдали лошадь и двуколку. Он был огорчен и разочарован, видя, что материнство не изменило Скарлетт, как он надеялся, что раз уж она решила вернуться на свои чертовы лесопилки, то Арчи им сам бог послал.

Так на улицах Атланты появилась эта пара, вызвавшая поначалу всеобщее удивление. Арчи и Скарлетт, конечно, не очень‑то подходили друг к другу: грязный, свирепого вида старик с деревянной ногой, торчавшей над облучком, и хорошенькая, аккуратненькая молодая женщина с сосредоточенно нахмуренным личиком. Их можно было видеть в любой час в любом месте Атланты и в округе; они редко переговаривались и явно терпеть друг друга не могли, но тем не менее нуждались друг в друге: он нуждался в деньгах, она — в его защите. Во всяком случае, говорили городские дамы, так оно лучше, чем открыто разъезжать по городу с этим Батлером. Они, правда, недоумевали, куда девался Ретт, ибо он вдруг покинул город три месяца назад, и никто, даже Скарлетт, не знал, где он.

Арчи был человек молчаливый. Он никогда сам не заводил разговора, а на все вопросы обычно отвечал лишь междометиями. Каждое утро он вылезал из подвала Мелани, садился на ступеньках крыльца тети Питти, жевал свой табак и сплевывал, пока не появлялась Скарлетт, а Питер не выводил лошадь с двуколкой из конюшни. Дядюшка Питер боялся его разве что немногим меньше черта или ку‑клукс‑клана, и даже Мамушка молча и боязливо обходила его стороной. Арчи ненавидел негров, те это знали и боялись его. К своему пистолету и ножу он добавил еще один пистолет, и слава о нем распространилась далеко среди черного населения города. Правда, ему еще ни разу не пришлось вытащить пистолет или хотя бы положить руку на пояс. Одной молвы было уже достаточно. Ни один негр не осмеливался даже рассмеяться, если Арчи находился поблизости.

Как‑то раз Скарлетт из любопытства спросила его, почему он так ненавидит негров, и, к своему удивлению, получила ответ, хотя обычно он на все вопросы отвечал только одно: «Это уж мое дело».

— Все, кто живет в горах, ненавидят их, вот и я ненавижу. Мы их никогда не любили, и у нас никогда не держали рабов. И это ведь из‑за ниггеров война‑то началась. Еще и потому я их ненавижу.

— Но ты же воевал.

— Это уж мужская обязанность. Я вот и янки ненавижу тоже — даже больше, чем ниггеров. Почти так же, как болтливых баб.

Подобная откровенная грубость вызывала у Скарлетт приступы тихого бешенства, и ей до смерти хотелось избавиться от Арчи. Но как без него обойтись? Разве сможет она тогда пользоваться такой свободой? Арчи был грубый, грязный, временами от него дурно пахло, но свое дело он делал. Он возил ее на лесопилки и с лесопилок, объезжал с ней заказчиков и, пока она вела переговоры и давала указания, сидел, уставясь в пустоту, и сплевывал жвачку. Если же она слезала с двуколки, он тоже слезал и шел следом. И не отставал ни на шаг, пока она находилась среди этих головорезов‑рабочих, среди негров или солдат‑янки.

Вскоре Атланта привыкла видеть Скарлетт с ее телохранителем, а привыкнув, дамы стали завидовать тому, что она имеет возможность свободно передвигаться. С тех пор как ку‑клукс‑клан линчевал того негра, дамы по сути дела сидели взаперти и если выезжали за покупками, то лишь группами, не меньше пяти человек. Это выводило их из себя, так как от природы они были общительны, и потому, спрятав гордость в карман, они стали просить Скарлетт, чтобы она, так сказать, одолжила им Арчи. И Скарлетт, когда Арчи не был ей нужен, любезно предоставляла его в распоряжение других дам.

Вскоре Арчи стал неотъемлемой принадлежностью Атланты, и дамы оспаривали его друг у друга, когда он бывал свободен. Почти не проходило утра, чтобы какой‑нибудь ребенок или слуга‑негр не появился во время завтрака с запиской, где говорилось: «Если Вам сегодня днем не нужен Арчи, разрешите мне им воспользоваться. Я хочу поехать на кладбище, отвезти цветы»; «Мне надо съездить к галантерейщику»; «Мне бы очень хотелось, чтобы Арчи свозил тетю Нелли проветриться»; «Мне надо съездить в гости на Петровскую улицу, а дедушка плохо себя чувствует и не в состоянии меня сопровождать. Не мог бы Арчи...»

Он возил их всех — девиц, матрон и вдов — и всем выказывал то же безоговорочное презрение. Ясно было, что он не любит женщин, — исключение составляла разве что Мелани. Вначале шокированные его грубостью, дамы постепенно привыкли к нему, а поскольку он все больше молчал — лишь время от времени сплевывал табачную жвачку, они относились к нему как к чему‑то неизбежному, как к лошадям, которыми он правил, и забывали о его существовании. Так, миссис Мерриуэзер во всех подробностях рассказала миссис Мид о родах своей племянницы и только под конец спохватилась, что Арчи сидит на передке.

В другое время ничего подобного даже вообразить себе было бы нельзя. До войны его бы и в кухню не пустили. Сунули бы кусок хлеба через заднюю дверь и — шагай дальше. А сейчас все эти дамы были рады его присутствию, ибо так им было спокойнее. Грубый, неграмотный, грязный, он ограждал их от ужасов Реконструкции. Он не был им ни другом, ни слугой. Просто наемным телохранителем, оберегавшим женщин, пока мужчины работали днем или уходили из дома ночью.

Скарлетт начало казаться, что с тех пор как появился Арчи, Фрэнк стал чаще отсутствовать по вечерам. Он ссылался на то, что надо привести в порядок бухгалтерию, а в часы, когда лавка открыта, у него столько дел, что нет времени этим заниматься. А потом были еще какие‑то больные друзья, которых требовалось навестить. А потом была организация демократов, собиравшаяся каждую среду вечером и обсуждавшая, как вернуть себе право голоса, — Фрэнк не пропускал ни одного собрания. По мнению Скарлетт, эта организация занималась лишь тем, что превозносила достоинства генерала Джона Б. Гордона над всеми другими, за исключением, конечно, генерала Ли, и заново перевоевывала войну. Во всяком случае, Скарлетт не заметила, чтобы демократы хоть сколько‑нибудь продвинулись в своей борьбе за право голосовать на выборах. Но Фрэнку, по‑видимому, интересно было ходить на эти собрания, поскольку он задерживался там допоздна.

Эшли тоже посещал больных друзей и тоже ходил на собрания демократов и отсутствовал дома обычно в те же вечера, что и Фрэнк. Тогда Арчи препровождал тетю Питти, Скарлетт, Уэйда и крошку Эллу через задний двор к Мелани, и оба семейства проводили вечер вместе. Дамы шили; Арчи же вытягивался во всю свою длину на диване в гостиной и храпел — седые усы его подрагивали при каждом всхрапе. Никто не предлагал ему располагаться на диване — это был самый красивый предмет обстановки, и дамы тяжко вздыхали про себя всякий раз, как он растягивался там, положив сапог на красивую обивку. Но никто из них не смел выговорить ему за это. Особенно после того, как он однажды сказал, что, по счастью, умеет быстро засыпать, а не то он наверняка бы рехнулся, слушая глупое кудахтанье женщин.

Скарлетт иногда задавалась вопросом, откуда явился Арчи и как он жил, прежде чем поселиться в подвале у Мелани, но она не одолевала его расспросами. В сумрачном одноглазом лице Арчи было что‑то такое, что удерживало любопытных на расстоянии. Она знала лишь то, что его речь выдавала уроженца северных гор и что он воевал и потерял ногу, а также глаз незадолго до конца войны. И только когда она взорвалась, обозлившись на Хью Элсинга, правда о прошлом Арчи вышла наружу.

Однажды утром старик привез ее на лесопилку, где хозяйничал Хью, и она обнаружила, что лесопилка стоит, негров нет, а Хью с расстроенным видом сидит под деревом. Команда не явилась, и Хью просто не знал, что делать. Скарлетт пришла в страшную ярость и без обиняков излила свое возмущение, ибо она только что получила заказ на большое количество пиленого леса — и притом спешный. Ей стоило немалых усилий получить этот заказ — пришлось применить и кокетство, и деловую сметку, а теперь вот, пожалуйста, лесопилка стоит.

— Вези меня на другую лесопилку, — велела она Арчи. — Да, я знаю, это займет у нас много времени и мы останемся без обеда, но ведь я же тебе за что‑то плачу! Придется попросить мистера Уилкса прервать там работу и выполнить этот заказ. Вполне, конечно, возможно, что его команда тоже не работает. Чтоб им сгореть! В жизни не видела большего простофили, чем этот Хью Элсинг! Тотчас от него избавлюсь, как только Джонни Гэллегер покончит с этими лавками, которые он сейчас строит. Ну и что с того, что Гэллегер был в армии янки?! Зато он работает. Ленивых ирландцев я еще не видала. А вольных негров хватит с меня. На них же нельзя положиться. Вот найму Джонни Гэллегера и подряжу каторжников. Уж он заставит их работать. Он...

Арчи обернулся к ней — единственный глаз его злобно сверкал, в хриплом голосе звучала холодная ярость.

— Вы только наймите каторжников — я сразу от вас уйду, — сказал он.

— Силы небесные! Это почему же? — изумилась Скарлетт.

— Я знаю, как подряжают каторжников. Я называю это убийством. Покупают людей, точно они мулы. А обращаются с ними еще хуже, чем с мулами. Бьют, голодом морят, убивают. А кому до этого дело? Властям нет дела. Они получают деньги за каторжников. И людям, которые их нанимают, тоже нет дела. Хозяевам только бы прокормить рабочих подешевле да выжать из них побольше. Сущий ад, мэм. Да, никогда я хорошо про женщин не думал, а теперь еще хуже думать стану.

— Ну, а тебе‑то что до этого?

— Есть что, — сухо ответил Арчи и, помолчав, добавил: — Я, почитай, сорок лет был каторжником.

Скарлетт ахнула и инстинктивно отстранилась от него, глубже уйдя в подушки сиденья. Так вот он — ответ, вот она — разгадка, вот почему Арчи не хочет называть свою фамилию, сказать, где он родился, и вообще ничего не хочет говорить о своей прошлой жизни, вот почему он так немногословен и питает такую холодную ненависть ко всему миру. Сорок лет! Должно быть, он попал в тюрьму совсем молодым. Сорок лет! Бог ты мой... значит, он был осужден на пожизненную каторгу, а к пожизненной каторге приговаривают...

— Это было... убийство?

— Да, — отрезал Арчи и стегнул вожжами лошадь. — Жену.

Скарлетт оторопело заморгала.

Рот, прикрытый усами, казалось, дернулся, словно Арчи усмехнулся, заметив ее испуг.

— Да не убью я вас, мэм, ежели вы этого боитесь. Женщину ведь только за одно можно убить.

— Ты же убил свою жену!

— Так она спала с моим братом. Он‑то удрал. А я нисколечко не жалею, что кокнул ее. Потаскух убивать надо. И по закону сажать человека за это в тюрьму не должны, а вот меня посадили.

— Но... как же тебе удалось выйти?! Ты что, бежал? Или тебя отпустили?

— Можно считать, что отпустили. — Его густые седые брови сдвинулись, точно ему трудно было нанизывать друг на друга слова. — В шестьдесят четвертом, когда Шерман явился сюда, я сидел в Милледжвиллской тюрьме — я там сорок лет просидел. И вот начальник тюрьмы собрал нас всех, заключенных, вместе и сказал, что янки идут и жгут все подряд и всех подряд убивают. А я, ежели кого ненавижу больше, чем ниггеров или баб, то это янки.

— Но почему же? Ты что... когда‑нибудь знал какого‑то янки?

— Нет, мэм. Но слыхал — рассказывали про них. Я слыхал — рассказывали, что они вечно не в свои дела нос суют. А я терпеть не могу людей, которые не своим делом заняты. Чего они явились к нам в Джорджию, зачем им надо было освобождать наших ниггеров, жечь наши дома, убивать наших коров и лошадей? Ну, так вот, начальник сказал — армии нужны солдаты, очень нужны, и кто из вас пойдет служить в армию, того освободят в конце войны... коли выживет. Только нас, пожизненных, которые убийцы, — нас, начальник сказал, армия не хочет. Нас перешлют в другое место, в другую тюрьму. А я сказал начальнику — я не такой, как другие пожизненные. Я здесь сижу за то, что убил жену, а ее и надо было убить. И я хочу драться с янки. И начальник, он меня понял, выпустил с другими заключенными. — Арчи помолчал и крякнул. — Ух! И смешно же получилось. Ведь в тюрьму‑то меня засадили за убийство, а выпустили с ружьем в руках и освободили подчистую, только чтобы я людей убивал. Оно, конечно, здорово было на свободе‑то очутиться, да еще с ружьем. Мы, которые из Милледжвилла, хорошо дрались и народу немало поубивали... но и наших немало полегло. Ни один из нас дезертиром не стал. А как война кончилась, нас и освободили. Я вот ногу потерял, да вот глаз. Но я не жалею.

— О‑о, — еле слышно выдохнула Скарлетт.

Она попыталась вспомнить, что она слышала о том, как выпустили милледжвиллских каторжников в последнем отчаянном усилии остановить наступление армии Шермана. Фрэнк говорил об этом в то рождество 1864 года. Что же он тогда сказал? Но воспоминания о тех временах были у нее такие путаные. Она снова почувствовала несказанный ужас тех дней, услышала грохот осадных орудий, увидела вереницу фургонов, из которых на красную землю капала кровь, увидела, как уходили ополченцы — молоденькие курсанты и совсем дети вроде Фила Мида, а также старики вроде дяди Генри и дедушки Мерриуэзера. А с ними уходили и каторжники — уходили умирать на закате Конфедерации, замерзать в снегу, под ледяным дождем, в этой последней кампании в штате Теннесси.

На какой‑то короткий миг она подумала о том, какой же дурак этот старик — сражаться за штат, который отнял у него сорок лет жизни. Джорджия забрала у него молодость и лучшие годы зрелости за преступление, которое он преступлением не считал, а он добровольно отдал ногу и глаз за Джорджию. Горькие слова, сказанные Реттом в начале войны, пришли ей на память: она вспомнила, как он говорил, что никогда не станет сражаться за общество, которое сделало из него парию. И все же, когда возникла крайность, он пошел сражаться за это общество — точно так же, как Арчи. Она подумала о том, что все южане, высоко ли стоящие или низко, — сентиментальные дураки и какие‑то бессмысленные слова дороже им собственной шкуры.

Она взглянула на узловатые старые руки Арчи, на его два пистолета и нож, и страх снова обуял ее. Может, и другие бывшие каторжники вроде Арчи — убийцы, головорезы, воры, которым простили их преступления от имени Конфедерации, — тоже ходят на свободе?! Да любой незнакомец на улице, возможно, убийца! Если Фрэнк когда‑либо узнает правду об Арчи, неприятностей не оберешься. Или если узнает тетя Питти — да от такого удара тетя Питти и скончаться может! Что же до Мелани... Скарлетт даже захотелось рассказать Мелани правду об Арчи. Пусть знает, как подбирать всякую рвань и навязывать ее своим друзьям и родственникам.

— Я... я рада, что ты все рассказал мне, Арчи. Я... я никому не скажу. Это было бы страшным ударом для миссис Уилкс и других леди.

— Ха! Да мисс Уилкс все знает. Я ей рассказал в первую же ночь, как она меня спать в подвале оставила. Неужто вы думаете, я бы позволил такой славной женщине взять меня в свой дом, ничего обо мне не знаючи?

— Святые угодники, храните нас! — в ужасе воскликнула Скарлетт.

Мелани знала, что этот человек — убийца, и притом, что он убил женщину, — и не выкинула его из своего дома! Она доверила ему своего сына, и свою тетушку, и свою сноху, и всех своих друзей. И она, трусиха из трусих, не побоялась оставаться одна с ним в доме.

— Мисс Уилкс — она женщина понимающая. Она рассудила так: видать, со мной все в порядке. Она рассудила: врун всю жизнь вруном и останется, а вор — вором. А вот убить — больше одного раза в жизни человек не убьет. А потом она считает: тот, кто воевал за Конфедерацию, все плохое искупил. Правда, я‑то вовсе не думаю, что плохо поступил, когда жену прикончил... Да, мисс Уилкс — она женщина понимающая... Так что вот чего я вам скажу: в тот день, как вы наймете каторжников, я уйду.

Скарлетт промолчала, но про себя подумала:

«Чем скорее ты уйдешь, тем лучше. Убийца!»

Как же это Мелани могла быть такой... такой... Ну, просто нет слов, чтоб описать этот поступок Мелани — взять и приютить старого бандита, не сказав своим друзьям, что он арестант! Значит, она считает, что служба в армии зачеркивает все прошлые грехи! У Мелани это — от баптизма! Она вообще перестает соображать, когда речь заходит о Конфедерации, ветеранах и обо всем, что с ними связано. Скарлетт про себя предала анафеме янки и поставила им в вину еще один грех. Это они повинны в том, что женщина вынуждена для защиты держать при себе убийцу.

Возвращаясь в холодных сумерках домой с Арчи, Скарлетт увидела у салуна «Наша славная девчонка» несколько лошадей под седлом, двуколки и фургоны. На одной из лошадей верхом сидел Эшли, и лицо у него было напряженное, встревоженное; молодые Симмонсы, перегнувшись из двуколки, отчаянно жестикулировали; Хью Элсинг, не обращая внимания на прядь каштановых волос, упавшую ему на глаза, размахивал руками. В гуще этой сумятицы стоял фургон дедушки Мерриуэзера, и, подъехав ближе, Скарлетт увидела, что на облучке рядом с ним сидят Томми Уэлберн и дядя Генри Гамильтон.

«Не след дяде Генри ехать домой на такой колымаге, — раздраженно подумала Скарлетт. — Постыдился бы даже показываться на ней: ведь могут подумать, будто у него нет своей лошади. И дело даже не в том. Просто это позволяет им с дедушкой Мерриуэзером каждый вечер заезжать вместе в салун».

Но когда она подъехала ближе, их волнение, несмотря на ее нечуткость, передалось и ей, и страх когтями впился в сердце.

«Ох! — вздохнула она про себя. — Надеюсь, никого больше не изнасиловали! Если ку‑клукс‑клан линчует еще хоть одного черномазого, янки сметут нас с лица земли!» И она сказала Арчи:

— Натяни‑ка вожжи. Что‑то тут неладно.

— Не станете же вы останавливаться у салуна, — сказал Арчи.

— Ты слышал меня! Натяни вожжи. Добрый вечер всем собравшимся! Эшли... дядя Генри... Что‑то не в порядке? У вас у всех такой вид...

Они повернулись к ней, приподняли шляпы, заулыбались, но глаза выдавали волнение.

— Кое‑что в порядке, а кое‑что нет, — пробасил дядя Генри. — Это как посмотреть. Я, к примеру, считаю, что законодательное собрание не могло поступить иначе.

«Законодательное собрание?» — с облегчением подумала Скарлетт. Ее мало интересовало законодательное собрание: она полагала, что его деятельность едва ли может коснуться ее. Боялась она лишь погромов, которые могли устроить солдаты‑янки.

— А что оно натворило, это законодательное собрание?

— Наотрез отказалось ратифицировать поправку, — сказал дедушка Мерриуэзер, и в голосе его звучала гордость. — Теперь янки узнают, почем фунт лиха.

— А мы чертовски за это поплатимся — извините, Скарлетт, — сказал Эшли.

— Что же это за поправка? — с умным видом спросила Скарлетт.

Политика была выше ее понимания, и она редко затрудняла себя размышлениями на этот счет. Как‑то тут недавно ратифицировали Тринадцатую поправку, а возможно, Шестнадцатую, но что такое «ратификация», Скарлетт понятия не имела. Мужчины же вечно волнуются из‑за таких вещей. По лицу ее можно было догадаться, что она не очень‑то во всем этом разбирается, и Эшли усмехнулся.

— Это, видите ли, поправка, дающая право голоса черным, — пояснил он ей. — Она была предложена законодательному собранию, и оно отказалось ее ратифицировать.

— Как глупо! Вы же понимаете, что янки навяжут нам ее силой!

— Именно это я и имел в виду, говоря, что мы чертовски поплатимся, — сказал Эшли.

— А я горжусь нашим законодательным собранием, горжусь их мужеством! — воскликнул дядя Генри. — Никаким янки не навязать нам этой поправки, если мы ее не хотим.

— А вот и навяжут. — Голос Эшли звучал спокойно, но глаза были встревоженные. — И жить нам станет намного труднее.

— Ах, Эшли, конечно же, нет! Труднее, чем сейчас, уже некуда!

— Нет, не скажите, может стать куда хуже. А что, если у нас в законодательном собрании будут одни черные? И черный губернатор? А что, если янки установят еще более жесткий военный режим?

Все это постепенно проникало в сознание Скарлетт, и глаза у нее расширились от страха.

— Я пытаюсь понять, что лучше для Джорджии, что лучше для всех нас. — Лицо у Эшли было мрачное. — Что разумнее — выступить против этой поправки, как сделало законодательное собрание, поднять против нас весь Север и привести сюда всю армию янки, чтобы они заставили нас дать право голоса черным, хотим мы этого или нет, или поглубже запрятать нашу гордость, любезно согласиться и с наименьшими потерями покончить со всем этим раз и навсегда. Конец‑то все равно будет один. Мы беспомощны. Мы вынуждены испить эту чашу, которую они решили нам преподнести. И может быть, нам же будет лучше, если мы не будем брыкаться.

Скарлетт не вслушивалась в его слова — во всяком случае, их смысл едва ли до нее дошел. Она знала, что Эшли, как всегда, видит две стороны вопроса. Она же видела только одну: как пощечина, которую получили янки, может отразиться на ней.

— Ты что, собираешься стать радикалом и голосовать за республиканцев, Эшли? — резко, не без издевки спросил дедушка Мерриуэзер.

Воцарилась напряженная тишина. Скарлетт заметила, как рука Арчи метнулась было к пистолету и остановилась на полпути. Арчи считал — да частенько и говорил, — что дедушка Мерриуэзер — пустой болтун, но Арчи не намерен был сидеть и слушать, как он оскорбляет супруга мисс Мелани, даже если супруг мисс Мелани несет какую‑то чушь.

В глазах Эшли мелькнуло изумление и тотчас вспыхнул гнев. Но прежде чем он успел открыть рот, дядя Генри уже набросился на дедушку.

— Ах, ты, чертов... да тебя... извините, Скарлетт... Осел ты этакий, дедушка, не смей говорить такое про Эшли!

— Эшли и сам может за себя постоять — без вас, защитников, — спокойно заявил дедушка. — А говорил он сейчас, как самый настоящий подлипала. Подчиниться им — черта с два! Прошу прощения, Скарлетт.

— Я никогда не считал, что Джорджия должна отделяться, — заявил Эшли дрожащим от гнева голосом. — Но когда Джорджия отделилась, я не перешел на другую сторону. Я не считал, что война нужна, но я сражался на войне. И я не верю, что надо еще больше озлоблять янки. Но если законодательное собрание решило так поступить, я не перейду на другую сторону. Я...

— Арчи, — сказал вдруг дядя Генри. — Вези‑ка мисс Скарлетт домой. Здесь ей не место. Политика — не женское дело, а мы тут скоро начнем такие слова употреблять, что только держись. Езжай, езжай. Арчи. Доброй ночи, Скарлетт.

Они поехали вниз по Персиковой улице, а сердце у Скарлетт так и колотилось от страха. Неужели идиотское решение законодательного собрания как‑то отразится на ее благополучии? Неужели янки могут до того озвереть, что она лишится своих лесопилок?

— Ну, скажу я вам, сэр, — буркнул Арчи, — слыхал я про то, как зайцы плюют бульдогу в рожу, да только никогда до сих пор не видал. Не хватает только, чтобы эти законодатели крикнули: «Да здравствует Джеф Дэвис и Южная Конфедерация!» — много бы от этого было толку им, да и нам. Все равно эти янки решили поставить над нами своих любимых ниггеров. Да только хошь не хошь, за храбрость наших законодателей похвалить нужно!

— Похвалить? Чтоб им сгореть — вот что! Похвалить?! Да их пристрелить надо! Теперь янки налетят на нас, как утка на майского жука. Ну, почему они не могли рати... ратиф... словом, что‑то там сделать и ублажить янки, вместо того чтобы будоражить их? Ведь они же теперь совсем прижмут нас к ногтю, хотя, конечно, прижать нас можно и сейчас, и потом.

Арчи посмотрел на нее холодным глазом.

— Значит, чтоб они прижали нас к ногтю, а мы и пальцем не шевельнули? Право же, у бабы не больше гордости, чем у козы.

Когда Скарлетт подрядила десять каторжников, по пять человек на каждую лесопилку. Арчи выполнил свою угрозу и отказался служить ей. Ни уговоры Мелани, ни обещание Фрэнка повысить оплату не могли заставить его снова взять в руки вожжи. Он охотно сопровождал Мелани, и тетю Питти, и Индию, и их приятельниц в разъездах по городу, но только не Скарлетт. Он даже не соглашался везти других леди, если Скарлетт сидела в коляске. Получалось не очень приятно — надо же, чтобы какой‑то старый головорез осуждал ее действия, но еще неприятнее было то, что и семья ее и друзья соглашались со стариком.

Фрэнк ведь умолял ее не нанимать каторжников. Эшли сначала отказывался иметь с ними дело и согласился лишь скрепя сердце, после того как она, испробовав и слезы и мольбы, пообещала снова нанять вольных негров, лишь только настанут лучшие времена. А соседи столь открыто выражали свое неодобрение, что Фрэнк, тетя Питти и Мелани не решались смотреть им в глаза. Даже дядюшка Питер и Мамушка заявили, что каторжники — они только несчастье приносят и ничего хорошего из этого не выйдет. Вообще все считали, что это не дело — пользоваться чужой бедой и несчастьем.

— Но вы же не возражали, когда на вас работали рабы! — возмущенно восклицала Скарлетт.

Ах, это совсем другое дело. Какая же у рабов была беда, да и несчастливы они не были. В рабстве неграм жилось куда лучше, чем сейчас, когда их освободили, и если она не верит, пусть посмотрит вокруг! Но как всегда, когда Скарлетт наталкивалась на противодействие, это лишь подхлестывало ее решимость идти своим путем. Она сняла Хью с управления лесопилкой, поручила ему развозить лес и окончательно сговорилась с Джонни Гэллегером.

Он, казалось, был единственным, кто одобрял ее решение нанять каторжников. Он кивнул своей круглой головой и сказал, что это — ловкий ход. Скарлетт, глядя на этого маленького человечка, бывшего жокея, твердо стоявшего на своих коротких кривых ногах, на его лицо гнома, жесткое и деловитое, подумала: «Тот, кто поручал ему лошадей, не слишком заботился о том, чтобы они были в теле. Я бы его и на десять футов не подпустила ни к одной из своих лошадей».

Ну, а команду каторжников она без зазрения совести готова была ему доверить.

— Я могу распоряжаться этой командой как хочу? — спросил он, и глаза у него были холодные, словно два серых агата.

— Абсолютно — как хотите. Я требую лишь одного: чтобы лесопилка работала и чтобы она поставляла лес, когда он мне нужен, и в том количестве, какое мне нужно.

— Я — ваш, — коротко объявил Джонни. — Я скажу мистеру Уэлберну, что ухожу от него.

И он пошел прочь враскачку сквозь толпу штукатуров, плотников и подносчиков кирпича, а Скарлетт, глядя ему вслед, почувствовала, что у нее словно гора свалилась с плеч, и сразу повеселела. Да, Джонни именно тот, кто ей нужен. Крутой, жесткий, без глупостей. «Ирландский голодранец, решивший выбиться в люди», — презрительно сказал про него Фрэнк, но как раз поэтому Скарлетт и оценила Джонни. Она знала, что ирландец, решивший чего‑то в жизни достичь, — человек нужный, независимо от его личных качеств. Да к тому же Джонни знал цену деньгам, и это сближало ее с ним гораздо больше, чем с людьми ее круга.

За первую же неделю управления лесопилкой он оправдал все ее надежды, так как с пятью каторжниками наготовил пиленого леса больше, чем Хью с десятью вольными неграми. Мало того: он дал возможность Скарлетт, — а она весь этот год, проведенный в Атланте, почти не знала роздыху, — почувствовать себя свободной, ибо ему не нравилось, когда она торчала на лесопилке, и он сказал ей об этом напрямик.

— Вы занимайтесь своим делом — продажей, а уж я буду заниматься лесом, — решительно заявил он. — Там, где работают каторжники, не место для леди. Если вам этого никто еще не говорил, так я, Джонни Гэллегер, говорю сейчас. Я ведь поставляю вам лес, верно? Но я вовсе не желаю, чтоб меня пестовали каждый день, как мистера Уилкса. Ему нужна нянька. А мне — нет.

И Скарлетт, хоть и против воли, воздерживалась от посещения лесопилки, где командовал Джонни, поскольку опасалась, что, если станет наведываться слишком часто, он может плюнуть и уйти, а это была бы просто гибель. Его слова о том, что Эшли нужна нянька, больно укололи ее, потому что это была правда, в которой она сама себе не желала признаться. Эшли и с каторжниками производил не намного больше леса, чем с вольнонаемными, а почему — он и сам не знал. К тому же он, казалось, стыдился того, что у него работают каторжники, и почти не общался со Скарлетт.

Скарлетт же с тревогой наблюдала происходившие в нем перемены. В его светлых волосах появились седые пряди, плечи устало горбились. И он редко улыбался. Он уже не был тем беспечным Эшли, который поразил ее воображение много лет тому назад. Его словно подтачивала изнутри с трудом превозмогаемая боль, и крепко сжатый рот придавал лицу столь сумрачное выражение, что Скарлетт не могла смотреть на него без горечи и удивления. Ей хотелось насильно притянуть его голову к своему плечу, погладить седеющие волосы, воскликнуть: «Скажи же мне, что тебя мучит! Я все устрою. Все сделаю, чтоб тебе было хорошо!»

Но его церемонная отчужденность удерживала ее на расстоянии.

### Глава XLIII

Стоял один из тех редких в декабре дней, когда солнце грело почти так же тепло, как бабьим летом. Сухие красные листья еще висели на дубе во дворе тети Питти, а в пожухлой траве еще сохранились желтовато‑зеленые пятна. Скарлетт с младенцем на руках вышла на боковую веранду и села в качалку на солнце. Она была в новом платье из зеленого чаллиса, отделанном ярдами черной плетеной тесьмы, и в новом кружевном чепце, который заказала для нее тетя Питти. И то и другое очень ей шло, и, зная это, она с удовольствием их надевала... Приятно было, наконец, снова хорошо выглядеть после того, как столько времени ты была сущим страшилищем!

Скарлетт сидела, покачивая младенца и напевая себе под нос, как вдруг услышала на боковой улочке цокот копыт и, посмотрев с любопытством в просветы между листьями высохшего винограда, который обвивал веранду, увидела Ретта Батлера, направлявшегося к их дому.

Его долгие месяцы не было в Атланте — он уехал почти сразу после смерти Джералда и задолго до появления на свет Эллы‑Лорины. Скарлетт не хватало его, но сейчас она от души пожелала найти какой‑то способ избежать встречи с ним. По правде говоря, при виде его смуглого лица ее охватила паника и чувство вины. То, что она пригласила на работу Эшли, камнем лежало на ее совести, и ей не хотелось обсуждать это с Реттом, но она знала, что он принудит, как ни вертись.

Он остановил лошадь у калитки и легко соскочил на землю, и Скарлетт, в волнении глядя на него, подумала, что он — ну точно сошел с картинки в книжке, которую Уэйд вечно просит ему почитать.

«Не хватает только серьги в ухе да абордажной сабли в зубах, — подумала она. — Но пират он или не пират, а перерезать мне горло я ему сегодня не дам».

Он вошел в калитку, и она окликнула его, призвав на помощь свою самую сияющую улыбку. Как удачно, что на ней новое платье и этот чепец и она выглядит такой хорошенькой! Взгляд, каким он окинул ее, подтвердил, что и он находит ее хорошенькой.

— Еще один младенец! Ну, Скарлетт, и удивили же! — рассмеялся он и, нагнувшись, откинул одеяльце, прикрывавшее маленькое уродливое личико Эллы‑Лорины.

— Не кажитесь глупее, чем вы есть, — сказала она, вспыхнув. — Как поживаете, Ретт? Вас так давно не было видно.

— Да, давно. Дайте подержать малыша, Скарлетт. О, я знаю, как надо держать младенцев. У меня много самых неожиданных способностей. Надо сказать, он — точная копия Фрэнка. Только баков не хватает, но всему свое время.

— Надеюсь, это время никогда не наступит. Это девочка.

— Девочка? Тем лучше. С мальчишками одно беспокойство. Не заводите себе больше мальчиков, Скарлетт.

Она чуть было не ответила ему со всем ехидством, что вообще не намерена больше иметь ни мальчиков, ни девочек, но сумела удержаться и сверкнула улыбкой, а тем временем мозг ее усиленно работал, изыскивая тему для беседы, которая отдалила бы наступление неприятной минуты и разговор о нежелательном предмете.

— Приятная у вас была поездка, Ретт? Куда это вы на сей раз ездили?

— О... на Кубу... в Новый Орлеан... в другие места. Вот что, Скарлетт, берите‑ка свою малютку: она решила пускать слюни, а я не могу добраться до носового платка. Отличный ребенок, уверяю вас, только я не хочу, чтоб она испачкала мне рубашку.

Скарлетт взяла у него девочку и положила к себе на колени, а Ретт не спеша оперся на балюстраду и достал сигару из серебряного портсигара.

— Вы все время ездите в Новый Орлеан, — заметила Скарлетт. — И ни разу не сказали мне — зачем, — надув губки, добавила она.

— Я ведь много работаю, и, очевидно, дела влекут меня туда.

— Много работаете?! Вы?! — Она рассмеялась ему в лицо. — Да вы в жизни своей не работали. Вы слишком ленивы. Все ваши дела сводятся к тому, что вы ссужаете деньгами этих воров‑«саквояжников», а потом отбираете у них половину прибыли и подкупаете чиновников‑янки, чтобы они помогали вам грабить нас — налогоплательщиков.

Он запрокинул голову и расхохотался.

— А уж как бы вам хотелось иметь столько денег, чтобы вы могли покупать чиновников и поступать так же!

— Да я при одной мысли... — вскипела было она.

— Впрочем, может, вам и удастся выжать достаточно денег, чтобы в один прекрасный день всех подкупить. Может, вы и разбогатеете на этих каторжниках, которых вы подрядили.

— О, — немного растерявшись, выдохнула она, — как это вы так скоро узнали про мою команду?

— Я приехал вчера в конце дня и провел вечер в салуне «Наша славная девчонка», где можно услышать все городские новости. Это своего рода банк, куда собираются все сплетни. Даже лучше дамского вязального кружка. Не было человека, который не сказал бы мне о том, что вы подрядили команду каторжников и поставили над ними этого урода коротышку Гэллегера, чтобы он вогнал их в гроб работой.

— Это ложь, — пылко возразила она. — Ни в какой гроб он их не вгонит. Уж я об этом позабочусь.

— Вы?

— Конечно я! Да как вы можете говорить такое?!

— Ах, извините, пожалуйста, миссис Кеннеди! Я знаю, ваши мотивы всегда безупречны. И однако же, этот коротышка Джонни Гэллегер — такая бессердечная скотина, каких еще поискать надо. Так что лучше следите за ним в оба, не то будут у вас неприятности, когда явится инспектор.

— Занимайтесь‑ка своими делами, а уж я буду заниматься своими, — возмущенно отрезала она. — И не желаю я больше говорить о каторжниках. Все становятся такими мерзкими, как только речь заходит о них. Какая у меня команда — никого не касается... Кстати, вы мне так и не сказали, что у вас за дела в Новом Орлеане. Вы ездите туда так часто, что все говорят... — Она поспешно умолкла. Она вовсе не собиралась заходить так далеко.

— Так что же все говорят?

— Ну... что у вас там возлюбленная. Что вы собираетесь жениться. Это правда, Ретт?

Она так давно сгорала от любопытства, что не удержалась и все же задала этот вопрос. Что‑то похожее на ревность шевельнулось в ней при мысли о том, что Ретт может жениться, хотя с чего бы ей ревновать.

Его дотоле равнодушный взгляд стал вдруг острым; он посмотрел на нее в упор и смотрел не отрываясь, пока румянец не вспыхнул на ее щеках.

— А вы это очень примете к сердцу?

— Ну, мне совсем не хотелось бы терять вашу дружбу, — церемонно произнесла она и, наклонившись, с деланно безразличным видом поправила одеяльце на головке Эллы‑Лорины.

Он вдруг отрывисто рассмеялся и сказал:

— Посмотрите на меня, Скарлетт.

Она нехотя подняла на него глаза и еще больше покраснела.

— Можете сказать своим любопытным подружкам, что я женюсь лишь в том случае, если не смогу иначе получить женщину, которая мне нужна. А еще ни одной женщины я не желал так сильно, чтобы жениться на ней.

Вот уж тут Скарлетт действительно сконфузилась и смешалась; в памяти ее возникла та ночь на этой самой веранде во время осады, когда он сказал: «Я не из тех, кто женится», и как бы между прочим предложил ей стать его любовницей, — возник и тот страшный день, когда она пришла к нему в тюрьму, и ей стало стыдно от этих воспоминаний. А он, казалось, прочел эти мысли в ее глазах, и по лицу его медленно поползла ехидная улыбка.

— Так и быть, я удовлетворю ваше вульгарное любопытство, поскольку вы спросили напрямик. Я езжу в Новый Орлеан не из‑за возлюбленной. А из‑за ребенка, маленького мальчика.

— Маленького мальчика, — от неожиданности смятение Скарлетт как рукой сняло.

— Да, я его законный опекун и отвечаю за него. Он ходит в школу в Новом Орлеане. И я часто навещаю его.

— И возите ему подарки? Так вот почему он всегда знает, какой подарок понравится Уэйду!

— Да, — нехотя признался он.

— Ну, скажу я вам! А он хорошенький?

— Даже слишком — себе во вред.

— И он послушный мальчик?

— Нет. Настоящий чертенок. Лучше бы его не было. А то с мальчиками одни заботы. Вам еще что‑нибудь угодно знать?

Он вдруг разозлился, насупился, словно пожалел о том, что вообще выложил ей все это.

— Да нет, если вы сами не хотите о чем‑то рассказать мне, — высокомерно заявила она, хотя и сгорала от желания узнать побольше. — Только вот не могу я представить себе вас в роли опекуна. — И она расхохоталась, надеясь вывести его из себя.

— Да, думаю, что не можете. Вы ведь не отличаетесь богатым воображением.

Он умолк и затянулся сигарой. А Скарлетт отчаянно пыталась придумать, что бы такое погрубее сказать, чтобы не остаться в долгу, но в голову ей ничего не приходило.

— Я буду признателен, если вы никому об этом не расскажете, — наконец промолвил он. — Впрочем, просить женщину держать рот на замке — это все равно что просить о невозможном.

— Я умею хранить секреты, — с видом оскорбленного достоинства сказала она.

— Умеете? Приятно узнавать о друзьях то, чего и не подозревал. А теперь перестаньте дуться, Скарлетт. Я сожалею, что был груб, но это вам за ваше любопытство. Улыбнитесь же, и доставим друг другу две‑три приятные минуты, прежде чем я приступлю к разговору о вещах неприятных.

«О господи! — подумала она. — Вот теперь он заведет разговор про Эшли и про лесопилку!» И она поспешила улыбнуться, заиграв ямочками в надежде, что это направит его мысли на другое.

— А куда еще вы ездили, Ретт? Не все же время вы были в Новом Орлеане, правда?

— Нет, последний месяц я был в Чарльстоне. У меня умер отец.

— Ох, извините.

— Не надо извиняться. Я уверен, он вовсе не жалел, что умирает, да и я вовсе не жалею, что он мертв.

— Какие страшные вещи вы говорите, Ретт!

— Было бы куда страшнее, если бы я делал вид, будто жалею о нем, хотя на самом деле это не так, верно? Мы никогда не питали друг к другу любви. Я просто не могу припомнить, чтобы старый джентльмен хоть в чем‑то одобрял меня. Я был слишком похож на его отца, а он не одобрял своего отца. И по мере того, как я рос, его неодобрение превратилось в настоящую неприязнь — правда, должен признаться, я не прилагал особых усилий, чтобы исправить дело. Все, чего отец ждал от меня, каким хотел бы меня видеть, было так нудно. И кончилось тем, что он вышвырнул меня в широкий мир без единого цента в кармане, не научив ничему дельному, кроме того, что обязан уметь чарльстонский джентльмен — быть хорошим стрелком и отменным игроком в покер. Когда же я не подох с голоду, а извлек немало преимуществ из своего умения играть в покер и по‑королевски содержал себя игрой, отец воспринял это как личное оскорбление. Такой афронт: Батлер стал игроком! Поэтому, когда я впервые вернулся в родной город, отец запретил матери видеться со мной. И во время войны, когда я прорывался сквозь вражескую блокаду в Чарльстон, матери приходилось лгать и встречаться со мной тайком. Естественно, моя любовь к отцу от этого не возрастала.

— Ох, я же понятия обо всем этом не имела!

— По общепринятым воззрениям он был типичным добропорядочным джентльменом старой школы, а это значит, что он был невежествен, упрям, нетерпим и способен думать лишь так, как думали джентльмены старой школы. Все чрезвычайно восторгались им за то, что он отлучил меня от дома и считал все равно что мертвым. «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его»[[26]](#footnote-26). Я был его правым глазом, его старшим сыном, и он, пылая мщением, вырвал меня из своего сердца. — Ретт слегка усмехнулся, но глаза его оставались холодно‑ироничными. — Это я еще мог бы ему простить, но не могу простить того, до какого состояния он довел мою мать и сестру, когда кончилась война. Они ведь остались совсем нищие. Дом на плантации сгорел, а рисовые поля снова превратились в болота. Городской дом пошел с молотка за неуплату налогов, и они переехали в две комнатенки, в которых даже черным не пристало жить. Я посылал деньги маме, но отец отсылал их обратно: они, видите ли, были нажиты нечестным путем! Я несколько раз ездил в Чарльстон и потихоньку давал деньги сестре. Но отец всегда это обнаруживал и устраивал ей такой скандал, что бедняжке жизнь становилась не мила. А деньги возвращались мне. Просто не понимаю, как они жили... Впрочем, нет, понимаю. Брат давал им, сколько мог, хотя, конечно, немного, а от меня тоже не желал ничего брать: деньги спекулянта, видите ли, не приносят счастья! Ну, и друзья, конечно, помогали. Ваша тетушка Евлалия была очень добра. Вы ведь знаете: она одна из ближайших подруг моей мамы. Она давала им одежду и... Боже правый, мама живет подаянием!

Это был один из тех редких случаев, когда Скарлетт видела Ретта без маски — жесткое лицо его дышало неподдельной ненавистью к отцу и болью за мать.

— Тетя Лали! Но, господи, Ретт, у нее же самой почти ничего нет, кроме того, что я ей посылаю!

— Ах, вот, значит, откуда все! До чего же вы плохо воспитаны, прелесть моя: похваляетесь передо мной, чтобы еще больше меня унизить. Позвольте, в таком случае, возместить вам расходы!

— Охотно, — сказала Скарлетт и вдруг лукаво улыбнулась, и он улыбнулся ей в ответ.

— Ах, Скарлетт, как же начинают сверкать ваши глазки при одной мысли о лишнем долларе! Вы уверены, что помимо ирландской крови в вас нет еще и шотландской или, быть может, еврейской?

— Не смейте говорить гадости! Я вовсе не собиралась похваляться перед вами, когда сказала про тетю Лали. А она, ей‑богу, видно, думает, что у меня денег — куры не клюют. То и дело пишет, чтобы я еще прислала, а у меня — бог свидетель — и своих трат предостаточно, не могу же я содержать еще весь Чарльстон. А отчего умер ваш отец?

— От обычного для нынешних джентльменов недоедания — так я думаю и надеюсь. И поделом ему. Он хотел, чтобы мама и Розмари голодали вместе с ним. Теперь же, когда он умер, я буду им помогать. Я купил им дом на Бэттери и нанял слуг. Но они, конечно, держат в тайне, что деньги дал я.

— Почему?

— Дорогая моя, вы же знаете Чарльстон! Вы там бывали. Мои родные хотя люди и бедные, но должны сохранять лицо. А как его сохранишь, если станет известно, что живут они на деньги игрока, спекулянта и «саквояжника». Вот они и распустили слух, что отец оставил страховку на огромную сумму, что он жил в нищете и голодал, чем и довел себя до смерти, но деньги по страховке выплачивал, чтобы как следует обеспечить семью после своей смерти. Поэтому теперь в глазах людей он уже не просто джентльмен старой школы, а Джентльмен с большой буквы. Собственно, человек, принесший себя в жертву ради семьи. Надеюсь, он переворачивается в гробу оттого, что, несмотря на все его старания, мама и Розмари ни в чем теперь не нуждаются... В определенном смысле мне даже жаль, что он умер: ведь ему так хотелось умереть, он был рад смерти.

— Почему?

— Да потому, что на самом деле он умер еще тогда, когда генерал Ли сложил оружие. Вызнаете людей такого типа. Он не смог приспособиться к новым временам и только и делал, что разглагольствовал о добрых старых днях.

— Ретт, неужели все старики такие? — Она подумала о Джералде и о том, что Уилл рассказал ей про него.

— Нет, конечно! Взгляните хотя бы на вашего дядю Генри и на этого старого дикого кота мистера Мерриуэзера. Они точно заново родились, когда пошли в ополчение, и с тех пор, по‑моему, все молодеют и становятся ершистее. Я как раз сегодня утром повстречал старика Мерриуэзера — он ехал в фургоне Рене и клял лошадь, точно армейский живодер. Он сказал мне, что помолодел на десять лет с тех пор, как разъезжает в фургоне, а не сидит дома и не слушает квохтанье невестки. А ваш дядя Генри с наслаждением сражается с янки и в суде и вне его, защищая от «саквояжников» вдов и сирот — боюсь, бесплатно. Если бы не война, он бы давно вышел в отставку и холил свой ревматизм. Оба старика помолодели, потому что снова стали приносить пользу и чувствуют, что нужны. И им нравится это новое время, которое дает возможность и старикам проявить себя. Но немало есть людей — причем молодых, — которые пребывают в таком состоянии, в каком находились мой и ваш отец. Они не могут и не хотят приспосабливаться, и это как раз подводит меня к той неприятной проблеме, которой я хотел сегодня коснуться, Скарлетт.

Этот неожиданный поворот беседы выбил почву из‑под ног Скарлетт, и она пробормотала:

— Что... что... — А про себя взмолилась: «О господи! Вот и началось. Смогу ли я его умаслить?»

— Зная вас, мне, конечно, не следовало ожидать, что вы будете правдивы, порядочны и честны со мной. Но я по глупости поверил вам.

— Я просто не понимаю, о чем вы.

— Думаю, что понимаете. Во всяком случае, вид у вас очень виноватый. Когда я сейчас ехал по Плющовой улице, направляясь к вам с визитом, кто бы, вы думали, окликнул меня из‑за изгороди — миссис Эшли Уилкс!. Я, конечно, остановился поболтать с ней.

— Вот как!

— Да, у нас была очень приятная беседа. Она всегда хотела, чтобы я знал, заявила миссис Уилкс, каким она меня считает храбрым, потому что я пошел воевать за Конфедерацию, хотя часы ее и были уже сочтены.

— Чепуха какая‑то! Мелли просто идиотка. Она могла умереть в ту ночь из‑за этого вашего героизма.

— Тогда, я полагаю, она б сочла, что умерла во имя Правого Дела. Потом я спросил ее, что она делает в Атланте, и она удивленно посмотрела на меня и сказала, что они теперь здесь живут и что вы были так добры — сделали мистера Уилкса партнером у себя на лесопилке.

— Ну и что? — коротко спросила Скарлетт.

— Когда я одалживал вам деньги на приобретение этой лесопилки, я поставил одно условие, которое вы согласились выполнить и которое состояло в том, что эти деньги никогда не пойдут на Эшли Уилкса.

— Вы оскорбляете меня. Я же вернула вам ваши деньги, теперь лесопилка моя, и что я с ней делаю, никого не касается.

— А не скажете ли вы, откуда у вас взялись деньги, чтобы вернуть мне долг?

— Само собой, нажила их, продавая пиленый лес.

— А пиленый лес вы могли производить потому, что у вас были деньги, которые я вам для начала одолжил. Вот так‑то. Значит, с помощью моих денег вы поддерживаете Эшли. Вы бесчестная женщина, и если бы вы не вернули мне долг, я бы с удовольствием востребовал его сейчас, а не заплати вы мне — все ваше добро пошло бы с аукциона.

Он произнес это пренебрежительным тоном, но глаза его гневно сверкали.

Скарлетт поспешила перенести войну на территорию противника.

— Почему вы так ненавидите Эшли? Можно подумать, что вы ревнуете к нему.

Слова вылетели сами собой — она готова была прикусить язык за то, что произнесла их, ибо Ретт откинул голову и так расхохотался, что она вспыхнула от досады.

— Вы не только бесчестная, но еще и самонадеянная, — сказал он. — Никак не можете забыть, что были первой красавицей в округе, да? Вечно будете считать, что более лакомой штучки в туфельках нет на всем белом свете и что любой мужчина, узрев вас, должен тут же ошалеть от любви.

— Ничего подобного! — запальчиво выкрикнула она. — Просто я не могу понять, почему вы так ненавидите Эшли, и это единственное объяснение, какое приходит мне в голову.

— Ну, так пусть вам в голову придет что‑нибудь другое, прелестная моя чаровница, потому что ваше объяснение неверно. А насчет моей ненависти к Эшли... Я не питаю к нему ненависти, как не питаю и любви. Собственно, единственное чувство, которое я испытываю к нему и ему подобным, — это жалость.

— Жалость?

— Да, и еще немного презрения. Ну, а теперь наберите в легкие побольше воздуха, надуйтесь как индюшка и объявите, что он стоит тысячи мерзавцев вроде меня, да и вообще, как я смею чувствовать к нему жалость или презрение. А когда вы выпустите из себя весь воздух, я скажу вам, что имею в виду, если вас это, конечно, интересует.

— Ну, так меня это не интересует.

— А я все равно скажу, ибо не могу допустить, чтобы вы продолжали строить себе эти ваши милые иллюзии насчет моей ревности. Я жалею его потому, что ему бы следовало умереть, а он не умер. И я презираю его потому, что он не знает, куда себя девать теперь, когда его мир рухнул.

В этом было что‑то знакомое. Скарлетт смутно помнилось, что она уже слышала подобные речи, но не могла припомнить — когда и где. Да и не стала пытаться — слишком она раскипятилась и не в состоянии была сосредоточиться.

— Дай вам волю, все приличные люди на Юге были бы уже покойниками!

— А дай им волю, и я думаю, люди типа Эшли предпочли бы лежать в земле. Лежать в земле под аккуратненькими мраморными плитами, на которых значилось бы: «Здесь лежит боец Конфедерации, отдавший жизнь ради Юга», или: «Dulce et decorum est»[[27]](#footnote-27), или какая‑нибудь другая популярная эпитафия.

— Не понимаю почему!

— А вы никогда ничего не понимаете, пока это не написано дюймовыми буквами и не подсунуто вам под нос, верно? Если бы они умерли, все их беды были бы уже позади и перед ними не стояли бы эти проблемы — проблемы, которые не могут быть разрешены. А кроме того, их семьи на протяжении бесчисленного множества поколений гордились бы ими. И еще я слыхал, что мертвые — счастливы. А вы считаете, что Эшли Уилкс — счастлив?

— Ну, конечно... — начала было она, но тут же вспомнила, какие в последнее время были у Эшли глаза, и умолкла.

— Он счастлив, или Хью Элсинг, или доктор Мид? Мой отец или ваш отец были счастливы?

— Ну, может, и не были так счастливы, как могли бы: они ведь потеряли все свои деньги.

Он расхохотался.

— Дело не в том, что они потеряли деньги, моя кошечка. Дело в том, что они лишились своего мира — мира, в котором выросли. Они — точно рыба, вынутая из воды, или кошка, которой обрубили лапы. Они были воспитаны, чтобы стать людьми определенного типа, выполнять определенные обязанности, занимать определенное место в обществе. А этот тип людей, эти обязанности, это общество навсегда исчезли, когда генерал Ли подошел к Аппоматтоксу. Ох, Скарлетт, не будьте же дурочкой! Ну, что Эшли Уилксу делать теперь, когда у него нет дома, плантацию у него отобрали за неуплату налогов, а цена благородным джентльменам — пенни за двадцать штук. Может он работать головой или руками? Готов побиться об заклад, что вы немало потеряли денег с тех пор, как он взялся управлять лесопилкой.

— Ничего подобного!

— Как славно! Могу я взглянуть на вашу бухгалтерию как‑нибудь в воскресенье вечером, когда у вас выдастся свободное время?

— Пошли вы к черту — и не только в свободное время. И вообще можете убираться: вы мне осатанели.

— Кошечка моя, я уже был у черта, и он оказался невероятно скучным. Больше я к нему не пойду, даже чтобы вам угодить. Вы взяли у меня деньги, когда они были вам до зарезу нужны, и употребили их в дело. Мы с вами уговорились, как вы будете ими пользоваться, и вы наш уговор нарушили. Но запомните, бесценная моя маленькая обманщица: настанет время, когда вам захочется занять у меня еще. И захочется получить эти деньги под невероятно низкий процент, чтобы вы могли купить новые лесопилки, новых мулов и построить новые салуны. Так вот: вы получите их, когда рак свистнет.

— Если мне потребуются деньги, я возьму заем в банке, так что премного благодарна, — холодно заявила она, с трудом сдерживая клокочущую ярость.

— Вот как? Что ж, попытайтесь. Я владею, кстати, немалым количеством акций банка.

— Да?

— Да, у меня есть интерес и к добропорядочным предприятиям.

— Но есть же другие банки...

— Превеликое множество. И уж я постараюсь, чтобы вам пришлось изрядно поплясать, а все равно вы от них ни цента не получите. Так что за денежками придется вам идти к ростовщикам‑«саквояжникам».

— И пойду — и даже с удовольствием.

— Пойдете, но без удовольствия, когда узнаете, какие они запрашивают проценты. Красавица моя, в деловом мире крепко наказывают за нечестную игру. Вам бы следовало не вилять со мной.

— Хороший вы человек, ничего не скажешь! Богатый и могущественный, а точно коршун набрасываетесь на таких, как Эшли или я.

— Вы себя на одну доску с ним не ставьте. Вы не растоптаны. И никогда не будете растоптаны. А вот он растоптан, он пошел ко дну и никогда не всплывет, если какой‑нибудь энергичный человек не подтолкнет его, не будет наставлять и оберегать всю жизнь. Ну, а я что‑то не склонен тратить деньги на такого, как Эшли.

— Однако вы же не возражали помочь мне, а я шла ко дну и...

— Ради вас стоило рискнуть, моя дорогая, даже интересно было рискнуть. Почему? Да потому, что вы не повисли на шее у своих мужчин, оплакивая былые дни. Вы пробились на поверхность и заработали локтями, и теперь состояние ваше, выросшее на деньгах, которые вы украли из бумажника мертвеца, а также у Конфедерации, — достаточно прочно. На вашем счету — убийство, увод жениха, попытка совершить прелюбодеяние, ложь, двурушничество и всякие мелкие мошенничества, в которые лучше не вдаваться. Все это достойно восхищения. И говорит о том, что вы — человек энергичный, решительный и что ради вас стоит рискнуть деньгами. Помогать людям, которые умеют помочь сами себе, — это даже увлекательно. Я, например, готов одолжить десять тысяч долларов без всякой расписки этой старой римской матроне — миссис Мерриуэзер. Начала она с торговли пирогами из корзиночки, а вы сейчас на нее посмотрите! Пекарня с полудюжиной рабочих, старый дедушка разъезжает с товаром в фургоне, радуясь жизни, а этот ленивый маленький креол Рене работает до седьмого пота и доволен... Или возьмите этого беднягу Томми Уэлберна, этого недоноска, который за двоих работает, и работает хорошо, или... словом, не буду продолжать перечень, чтобы вам не надоесть.

— А вы мне в самом деле надоели. Надоели до ужаса, — холодно проронила Скарлетт, надеясь вывести его из себя и отвлечь от злополучной темы — Эшли. Но он лишь коротко рассмеялся, отказываясь поднять перчатку.

— Вот таким людям стоит помогать. А Эшли Уилксу — ба‑а! Люди его породы никому не нужны и не имеют ценности в нашем перевернутом мире. Всякий раз, как привычный уклад летит вверх тормашками, люди его породы гибнут первыми. Да и что ж тут особенного? Они не заслуживают того, чтобы остаться в живых, потому что не борются — не умеют бороться. Не в первый раз все в мире летит вверх тормашками и, конечно, не в последний. Случалось такое и раньше, случится и снова. А когда такое случается, люди все теряют и все становятся равны. И, не имея ничего, начинают с нуля. Я хочу сказать: не имея ничего, кроме острого ума и сильных рук. У таких же, как Эшли, нет ни острого ума, ни физической силы, а если и есть, то они совестятся пустить эти свои качества в ход. И тогда они идут ко дну — это неизбежно. Таков закон природы, и миру лучше без них. Но всегда находится горстка таких, которые дерзают и выбиваются на поверхность, и со временем эти люди оказываются на том же месте, какое занимали до того, как перевернулся мир.

— Но вы же сами были бедны! Вы мне только что сказали, что отец вышвырнул вас из дома без единого пенни! — в ярости воскликнула Скарлетт. — Вы должны бы понимать Эшли и сочувствовать ему!

— Я и понимаю его, — сказал Ретт, — но будь я проклят, если я ему сочувствую. После окончания войны Эшли обладал куда большими возможностями, чем я, когда меня вышвырнули из дома. По крайней мере, у него были друзья, которые приютили его, тогда как я был Исмаилом.[[28]](#footnote-28) Ну, а чего Эшли достиг?

— Да как вы можете равнять его с собой, вы — самонадеянный, надутый... Нет, он, слава богу, не такой! Он не станет, как вы, пачкать руки, наживаясь вместе с янки, «саквояжниками» и подлипалами. Он человек, уважающий себя, совестливый!

— Но не настолько уважающий себя и не настолько совестливый, чтобы отказаться от помощи и денег женщины.

— А что же ему было еще делать?

— Я, что ли, должен за него решать? Я знаю лишь то, что делал сам, когда меня выкинули из дома, и что делаю сейчас. И знаю то, что делали другие. В крушении системы жизни мы увидели приоткрывшиеся для нас возможности и предельно использовали их — одни честно, другие — не очень, да и сейчас продолжаем их использовать. А Эшли и ему подобные, имея те же возможности, никак ими не пользуются. Они люди недостаточно ловкие, Скарлетт, а только ловкие заслуживают того, чтобы жить.

Она почти не слушала его, ибо вдруг отчетливо вспомнила то, что ускользало от нее и не давало покоя с той минуты, как Ретт заговорил про Эшли. Ей вспомнился холодный ветер во фруктовом саду Тары и Эшли, стоявший возле груды кольев, глядя куда‑то вдаль, мимо нее. Что он тогда сказал — что? Произнес какое‑то чудное иностранное слово, звучавшее как ругательство, и что‑то толковал про конец света. Она не поняла его тогда, но сейчас вдруг наступило прозрение, а вместе с ним — усталость и боль.

— Вот и Эшли сказал тогда...

— Да?

— Однажды в Таре он сказал что‑то насчет... про какие‑то сумерки богов, и про конец света, и еще всякие глупости.

— А‑а, Gotterdammerung! — Глаза Ретта смотрели остро, заинтересованно. — А что еще он сказал?

— О, я точно не помню. Я не слишком в это вникала. Но... да, конечно... что‑то про то, что сильные удерживаются в седле, а слабых жизнь сбрасывает на землю.

— Ах, значит, он понимает. Тогда ему тяжело приходится. Большинство ведь этого не осознает и так никогда и не осознает. Они всю жизнь будут удивляться, куда ушла прелесть жизни. И будут страдать в горделивом молчании и неведении. А он понимает. Он знает, что сброшен на землю.

— Ах, ничего подобного! Никогда этого не будет, пока я дышу.

Ретт невозмутимо посмотрел на нее, смуглое лицо его было бесстрастно.

— Скарлетт, как вам удалось добиться его согласия переехать в Атланту и взяться за управление лесопилкой? Он очень сопротивлялся?

Перед мысленным взором Скарлетт на мгновение возникла сцена с Эшли после похорон Джералда, но она тут же выкинула это из головы.

— Конечно, нет, — возмущенно ответила она. — Когда я объяснила, что мне нужна его помощь, потому что я не доверяю этому мошеннику управляющему, а Фрэнк слишком занят, чтобы мне помогать, да к тому же я ведь была... ну, словом, я ждала Эллу‑Лорину... Словом, он был только рад помочь мне.

— Вот как мило можно использовать свое материнство! Что ж, теперь бедняга — ваш с потрохами и прикован к вам словом чести так же крепко, как ваши каторжники своими цепями. И надеюсь, вам обоим это доставляет удовольствие. Но, как я уже сказал в начале нашего разговора, от меня вы больше не получите ни цента на ваши мелкие, неблаговидные затеи, дорогая моя двурушница.

Скарлетт вся кипела от злости и одновременно — досады. Она ведь уже рассчитывала на то, что возьмет у Ретта взаймы еще денег, купит в городе участок и построит там лесной склад.

— Как‑нибудь обойдусь без ваших денег, — выкрикнула она. — Лесопилка Джонни Гэллегера с тех пор, как я перестала нанимать вольных негров, приносит мне деньги — и немалые, а потом я получаю проценты с денег, которые даю под заклад, да и черномазые оставляют в нашей лавке немало живых денег.

— Да, все так, как я слышал. Здорово вы умеете выкачивать монету из людей беспомощных и несведущих — из вдов и сирот! Но если уж вы залезаете в чужой карман, Скарлетт, то почему к бедным и слабым, а не к богатым и сильным? Со времен Робин Гуда и по наши дни потрошить богачей считается высокоморальным.

— А потому, — отрезала Скарлетт, — что куда легче и безопаснее залезать, как вы изволите выражаться, в карман к беднякам.

Ретт весь так и затрясся от беззвучного смеха.

— А вы, оказывается, отменная мерзавка, Скарлетт!

Мерзавка! Как ни странно, это слово больно укололо ее. Никакая она не мерзавка, пылко сказала себе Скарлетт. Во всяком случае, ей вовсе не хотелось такою слыть. Ей хотелось быть настоящей леди. На секунду мысли ее вернулись назад, к тем годам, когда еще была жива Эллин, и она увидела свою мать — стремительно прошуршали юбки, пахнуло духами; она была вечно в движении, эта хрупкая женщина, непрестанно трудившаяся для других, предмет всеобщей любви, уважения и преклонения. И внезапно Скарлетт стала сама себе противна.

— Если вы хотите довести меня до белого каления, — устало сказала она, — то зря стараетесь. Я знаю, я не такая... совестливая, какой следовало бы мне быть. И не такая добрая и милая, как меня учили. Тут уж ничего не поделаешь, Ретт. Честное слово, ничего. Как я могу вести себя иначе? Что стало бы со мной, с Уэйдом, с Тарой, со всеми нами, будь я... кроткой тихоней, когда тот янки явился в Тару? Мне бы следовало быть... Нет, даже думать об этом не хочу. А когда Джонас Уилкерсон задумал отобрать у меня родной дом, вы только представьте себе, что было бы, будь я... доброй и совестливой! Где были бы все мы теперь? А если б я была милой простушкой и не наседала на Фрэнка по поводу долгов, мы бы... ну, да ладно... Может, я и мерзавка, но я не буду всю жизнь мерзавкой, Ретт. А эти годы — что еще мне оставалось делать, да что еще остается делать и сейчас? Разве могла я вести себя иначе? У меня было такое чувство, будто я пытаюсь грести в тяжело нагруженной лодке, а на море — буря. Мне так трудно было держаться на поверхности, что не могла я думать о всякой ерунде, о том, без чего легко можно обойтись, — как, скажем, без хороших манер, или... ну, словом, без всякого такого. Слишком я боялась, что лодка моя затонет, и потому выкинула за борт все, что не имело для меня особой цены.

— Гордость, и честь, и правдивость, и целомудрие, и милосердие, — хмуро перечислил он. — Вы правы, Скарлетт. Все это перестает иметь цену, когда лодка идет ко дну. Но посмотрите вокруг на своих друзей. Они либо благополучно пристают к берегу со всем этим грузом, либо, подняв все флаги, идут ко дну.

— Они идиоты, — отрезала Скарлетт. — Всему свое время. Когда у меня будет достаточно денег, я тоже буду со всеми милой. Такая буду скромненькая — воды не замучу. Тогда я смогу быть такой.

— Сможете... но не станете. Трудно спасти выброшенный за борт груз: да если его и удастся вытащить, все равно он уже безнадежно подмочен. И боюсь, что когда вы сочтете возможным втянуть обратно в лодку честь, целомудрие и милосердие, которые вышвырнули за борт, вы обнаружите, что они претерпели в воде существенные изменения, причем отнюдь не к лучшему...

Он вдруг поднялся и взял шляпу.

— Вы уходите?

— Да. Разве вы не рады? Хочу дать вам возможность побыть наедине с остатками вашей совести.

Он на секунду приостановился, посмотрел на малышку, протянул ей палец, и та мгновенно ухватилась за него ручонкой.

— Фрэнк, надо полагать, лопается от гордости?

— О, конечно.

— И надо полагать, уже строит планы на будущее для этого младенца?

— Вы же знаете, до чего мужчины становятся глупы, когда речь заходит об их детях.

— В таком случае передайте ему, — начал было Ретт и умолк; на лице его появилось странное выражение. — Передайте ему: если он хочет, чтобы его планы относительно будущего этого младенца осуществились, пусть чаще сидит дома по вечерам.

— Что вы хотите этим сказать?

— Лишь то, что сказал. Передайте, чтоб сидел дома.

— Ах вы, подлое существо! Да как вы смеете намекать, будто бедняга Фрэнк...

— О боже правый! — И Ретт раскатисто рассмеялся. — Я вовсе не хотел сказать, что он бегает к женщинам! Фрэнк‑то! О боже правый! — И продолжая смеяться, он сошел по ступенькам вниз.

### Глава XLIV

Стоял холодный и ветреный мартовский день, и Скарлетт, ехавшая по Декейтерской дороге на лесопилку Джонни Гэллегера, натянула полость до самых подмышек. Ехать одной было опасно, и она знала это, — опаснее, чем когда‑либо, потому что негры совсем вышли из повиновения. Как и предсказывал Эшли, теперь приходилось расплачиваться за то, что законодательное собрание отказалось ратифицировать поправку к конституции. Разъяренный Север воспринял этот отказ как пощечину и тотчас ответил ударом на удар. Север твердо решил заставить Джорджию дать неграм право голоса и, объявив, что в штате возник бунт, установил там строжайшее военное положение. Джорджия вообще перестала существовать как штат и вместе с Флоридой и Алабамой превратилась в Военный округ N 3 под командованием федералистского генерала.

Если жизнь и раньше была неустойчивой и пугающей, то теперь она стала такою вдвойне. Правила, установленные военными властями и казавшиеся столь суровыми год тому назад, выглядели сущей ерундой в сравнении с приказами, изданными генералом Попом. Будущее, где в перспективе маячила возможность негритянского большинства в законодательном собрании, представлялось мрачным и безнадежным, и бывшие белые хозяева штата, чувствуя свою беспомощность, озлоблялись все больше. Негры же, осознавая свою недавно обретенную значимость, держались все независимее; к тому же они знали, что армия янки — на их стороне. И многие из них решили, что могут позволить себе что угодно.

Времена настали буйные, страшные, и Скарлетт была изрядно напугана — напугана, но исполнена решимости не бросать своих дел, и продолжала разъезжать одна, засунув за обшивку двуколки пистолет Фрэнка. Про себя она кляла законодательное собрание за то, что оно навлекло на них новые беды. Ну кому нужна эта благородная бравада, этот жест, который все называют таким смелым? Ведь все только хуже стало.

Подъезжая к тропе, что вела сквозь голые деревья вниз к ручью, где расположился Палаточный городок, она прищелкнула языком, погоняя лошадь. Ей всегда становилось не по себе, когда она проезжала мимо скопления этих грязных, омерзительных, отслуживших свое армейских палаток и глинобитных хижин. Поселение это пользовалось самой дурной славой в Атланте и ее окрестностях, так как здесь, в грязи, жили отщепенцы‑негры, черные проститутки и немного белых бедняков, самых последних голодранцев. Говорили, что здесь укрывались преступники — и негры и белые, — и именно сюда первым делом направлялись солдаты‑янки, когда кого‑то искали. Здесь так часто пускали в ход нож и пистолет, что власти почти не утруждали себя расследованием и обычно предоставляли обитателям Палаточного городка самим утрясать свои темные дела. В лесу находилась винокурня, где гнали из кукурузы дешевое виски, и к вечеру вся балка у ручья оглашалась пьяными воплями и проклятиями.

Даже янки признавали, что это — чумное место и городок надо бы снести, но никаких шагов для этого не предпринимали. Обитатели Атланты и Декейтера, которым приходилось пользоваться этой дорогой, связывавшей между собой два города, громко выражали свое возмущение. Мужчины, проезжая мимо Палаточного городка, расстегивали кобуры пистолетов, а добропорядочные женщины по своей воле никогда не ездили тут даже под защитой мужчин, ибо обычно у дороги валялись или сидели пьяные, сквернословили и выкрикивали оскорбления.

Пока рядом был Арчи, Скарлетт и не думала о Палаточном городке, потому что даже самая наглая негритянка не осмелилась бы при нем посмеяться над ней. Но с тех пор как она стала ездить одна, уже случилось немало досадных мелких происшествий. Гулящие женщины словно старались перещеголять друг друга, когда она проезжала мимо. Она же ничего не могла поделать — приходилось не обращать на них внимания, хотя внутренне она и кипела от гнева. Даже пожаловаться соседям или родне она не могла, потому что соседи злорадно сказали бы: «А чего же еще вы ждали?» Родные же принялись бы ее увещевать, уговаривая прекратить поездки. А она вовсе не собиралась их прекращать.

Хвала небу, сегодня на дороге не было этих оборванок! Проезжая мимо тропы, спускавшейся к Палаточному городку, Скарлетт с отвращением посмотрела на скопление хижин в глубине балки, освещенных косыми лучами предзакатного солнца. Дул холодный ветер, и до обоняния Скарлетт долетел смешанный запах древесного дыма, жареной свинины и грязных отхожих мест. Она отвернулась и хлестнула лошадь по спине, спеша быстрее проехать мимо и выбраться на прямую дорогу.

Она только было вздохнула с облегчением, как сердце от испуга переместилось у нее в горло, ибо из‑за большого дуба на дороге внезапно возник огромный негр. Она, конечно, испугалась, но не потеряла голову, мгновенно остановила лошадь и выхватила пистолет Фрэнка.

— Что тебе надо? — крикнула она со всей суровостью, на какую была способна.

Огромный негр снова нырнул за дерево, и оттуда раздался испуганный голос:

— Господи, мисс Скарлетт, да не стреляйте вы в Большого Сэма!

Большой Сэм! Скарлетт не сразу осознала, кто это. Большой Сэм, надсмотрщик из Тары, которого она последний раз видела в дни осады. Какого же черта...

— А ну выходи, чтоб я видела, в самом ли деле ты Сэм!

Он нехотя шагнул из‑за своего укрытия — босоногий гигант‑оборванец в холщовых штанах и синем мундире солдата Союза, слишком коротком и узком для его могучей фигуры. Увидев, что это в самом деле Большой Сэм, Скарлетт снова сунула пистолет за обшивку и заулыбалась.

— Ох, Сэм, как приятно тебя видеть!

Сэм кинулся к двуколке, закатив от радости глаза, сверкая белыми зубами, и обеими ручищами, большими, как два окорока, схватил протянутую ему руку Скарлетт. Он широко осклабился, обнажив розовый, цвета арбузной мякоти язык, и нелепо запрыгал, весь извиваясь, точно огромный английский дог.

— Господи, господи, до чего же приятно видеть родного человека‑то! — воскликнул он, так сжав Скарлетт руку, что казалось, у нее сейчас треснут кости. — Что же это вы стали такая злючка, мисс Скарлетт, — в человека пистолетом тыкаете?

— Столько злых людей развелось на свете, Сэм, что приходится тыкать. Но ты‑то что делаешь в. таком поганом месте, ты же почтенный человек?! И почему ты не пришел в город повидаться со мной?

— Господи, мисс Скарлетт, я вовсе и не живу тут, в Палаточном городке‑то. Так — забрел сюда. Я бы нипочем в таком месте не стал жить. За всю свою жизнь не видал таких мерзких негров. И не знал я, что вы в Тланте‑то — откуда ж мне знать? Я ведь думал, вы в Таре, и все хотел добраться домой, в Тару.

— Ты что же, с самой войны так и живешь в Атланте?

— Нет, мэм! Я в разных местах побывал! — Он выпустил руку Скарлетт, и она с трудом распрямила пальцы, проверяя, целы ли кости. — Вы хоть помните, когда мы с вами в последний раз виделись‑то?

Скарлетт вспомнился жаркий день перед началом осады: они с Реттом сидели в коляске, и группа негров с Большим Сэмом во главе прошла мимо них по пыльной улице к окопам, распевая во все горло «Сойди к нам, Моисей». Она кивнула.

— Ну, так я работал, как пес: землю копал, и насыпал брустверы, и мешки с песком заготовлял до самой той поры, как конфедераты из Тланты ушли. Капитан наш — жентмун, который нами командовал, его убили, и некому было сказать Большому Сэму, чего делать‑то, так что залег я в кусты и лежал там. И все думал, как пробраться домой в Тару, а потом услышал: весь наш край вокруг Тары выжгли. Да и как мне туда добраться, не знал: очень я боялся, что патрули меня схватят, потому как никакого ведь пропуска у меня не было. А потом пришли янки, и один ихний жентмун — он полковник был — пригляделся ко мне, ну и взял к себе в дом прибирать да сапоги ему чистить. Вот так‑то, мэм! Ну и я, конечно, нос задрал: надо же, чтоб мене в дом взяли, как Порка, а ведь я‑то всего‑навсего полевой работник. Вот я и сказал полковнику: «Я ведь полевой работник». А он... Чего и говорить, мисс Скарлетт, янки ничегошеньки не понимают! Он и знать не знал, в чем тут разница‑то! Вот я и остался с ним и поехал с ним в Саванну, когда генерал Шерман туда двинулся, и, господи, мисс Скарлетт, в жизни не видал я такого — страсть что творилось, пока мы в Саванну шли! Уж и крали они, и жгли... И Тару они тоже сожгли, мисс Скарлетт?

— Подожгли, да мы потушили пожар.

— Ну, скажу я вам, мэм, очень я рад это слышать. Тара — мой родной дом, и я хочу вернуться туда. А как война‑то кончилась, мой полковник и говорит мне: «Ты, Сэм, поедешь со мной на Север. Я тебе хорошо буду платить». Ну, скажу я вам, мэм, мне, как всем неграм, до смерти хотелось посмотреть, что такое эта свобода, а потом уж и домой вернуться. Вот я и отправился на Север с полковником. Так‑то, мэм. Поехали мы в Вашингтон, и в Нуйорк, и в Бастон, где полковник жил. Вот так‑то, мэм, стал я негр‑путешественник! Там у этих янки на улицах этакая прорва лошадей и карет, мисс Скарлетт, что и не пересчитаешь! Я все боялся, что меня вот‑вот переедут!

— Понравилось тебе на Севере, Сэм?

Сэм поскреб голову, всю в густых мелких завитках.

— Понравилось — и не понравилось. Полковник — он человек страсть какой хороший и понимает нас, негров. А вот жена у него не такая. Жена его, в первый раз как меня увидела, тут же назвала «мистером». Да, мэм, так и сказала — я чуть не грохнулся, как она это сказанула. А полковник ей сказал, чтоб она звала меня «Сэмом», ну потом так она меня и звала. А все эти янки спервоначалу все звали меня «мистер О’Хара». И предлагали посидеть с ними, будто я им ровня. Ну, а я‑то ведь никогда с белыми господами не сиживал, да и старый я уже — где мне переучиваться. А они, мисс Скарлетт, ко мне — ну, точно я им ровня, а в душе‑то ведь не любили меня — не любят они негров вообще. Да и потом боялись, потому как я такой агромадный. И все про собак меня расспрашивали: как меня ими травили, да как меня били. А ведь, бог ты мой, мисс Скарлетт, меня же никто никогда не бил! Вы‑то знаете: мистер Джералд никогда бы не позволил, чтобы кто ударил такого негра — я же дорого стою! Я рассказывал им, какая была мисс Эллин к неграм добрая и как она сидела со мной целую неделю, когда я воспалением легких болел, только они мне не верили. И так я, мисс Скарлетт, заскучал по мисс Эллин и по Таре, что чувствую, не могу больше, вот ночью и ушел от них и добрался в товарных вагонах до самой Тланты. А теперь ежели вы купите мне билет до Тары, я, понятно, очень буду рад вернуться домой. И понятно, очень буду рад снова увидеть мисс Эллин и мистера Джералда. Хватит с меня этой свободы. Я хочу, чтобы меня кормили как надо и каждый день и говорили, что делать и чего не делать, и ухаживали за мной, ежели я заболею. Вот, к примеру, ежели у меня снова воспаление легких будет? Разве та леди‑янки стала бы за мной ухаживать? Нет, мэм! «Мистером О’Хара» она меня называла, а ходить за мной в жизни не стала бы. А вот мисс Эллин, она за мной будет ходить, ежели я заболею, и... Чего‑нибудь не так, мисс Скарлетт?

— Папа и мама оба умерли, Сэм.

— Умерли? Что это вы так шутите‑то, мисс Скарлетт? Не надо!

— Нисколько я не шучу. Это правда. Мама умерла, когда солдаты Шермана пришли в Тару, а папа... его не стало в июне. Ах, Сэм, не надо плакать. Пожалуйста, не надо! Если ты будешь плакать, я тоже заплачу. Не надо, Сэм! Я просто этого не вынесу. Лучше не будем сейчас об этом говорить. Я тебе все расскажу когда‑нибудь потом... Мисс Сьюлин живет в Таре, и она вышла замуж за очень хорошего человека, мистера Уилла Бентина. А мисс Кэррин, она... — Скарлетт умолкла. Нет, никогда ей не объяснить этому расплакавшемуся гиганту, что такое монастырь. — Она теперь живет в Чарльстоне. А вот Порк и Присей — в Таре... Да ну же, Сэм, вытри нос. Ты правда хочешь вернуться домой?

— Да, мэм, только не так теперь все будет — без мисс Эллин‑то...

— Сэм, а ты не хочешь остаться в Атланте и поработать у меня? Мне нужен кучер, очень нужен — ведь вокруг столько скверных людей.

— Да, мэм. Оно конечно — человек вам нужен. Я вот и сам хотел сказать, что нечего вам ездить одной, мисс Скарлетт. Вы и понятия‑то не имеете, какие нынче развелись плохие негры, особливо здесь, в Палаточном городке. Опасно вам здесь ездить‑то. Я вот в Палаточном городке и двух дней не пробыл, а уже слыхал, как они про вас толкуют. Вчера, когда вы тут проезжали, а эти черные ведьмы принялись улюлюкать, я вас сразу признал, да только вы больно быстро проехали, не мог я вас догнать. Зато баб этих как следует вздул! Уж можете не сомневаться. Не заметили разве, что сегодня‑то никого здесь нет?

— Заметила и очень тебе благодарна, Сэм. Ну, так как же? Будешь у меня кучером?

— Мисс Скарлетт, спасибо вам, мэм, только я лучше уж в Тару подамся.

Большой Сэм стоял, не поднимая на нее глаз, бесцельно чертя голым пальцем ноги в пыли дороги. Ему было явно не по себе.

— Но почему же? Я буду тебе хорошо платить. Нет, ты должен со мной остаться.

Крупное черное лицо, на котором, как на лице ребенка, можно было сразу все прочесть, обратилось к ней, и она увидела на нем страх. Сэм придвинулся ближе и, наклонившись над краем двуколки, зашептал:

— Мисс Скарлетт, уходить мне из Тланты надо. Мне бы только до Тары добраться — там они меня не найдут. Я... я убил человека.

— Черного?

— Нет, мэм, белого. Солдата‑янки. И теперь меня ищут. Потому я и скрываюсь в Палаточном городке.

— Как же это тебя угораздило?

— Да пьяный он был и сказал чего‑то такое, чего я уж стерпеть не мог, ну, и схватил его за горло... Убивать‑то его я не хотел, мисс Скарлетт, да только руки у меня больно сильные, так что не успел я опомниться, а он уже мертвый. Я так испугался, не знал, что и делать! Вот и прибежал сюда прятаться, а как увидел вас вчера, когда вы мимо ехали, тут и сказал себе: «Господи! Да ведь это ж мисс Скарлетт! Она уж позаботится обо мне. Она не даст этим янки схватить меня. Она пошлет меня назад в Тару».

— Ты говоришь, тебя ищут? Они знают, что это ты сделал?

— Да, мэм, я ведь такой большой, меня ни с кем не спутаешь. Думается, я, наверно, самый большой негр в Тланте. Они уже были тут вчера вечером, но одна девчонка‑негритянка отвела меня в хижину в лесу, там я и прятался, пока они не ушли.

Скарлетт сидела насупясь. То, что Сэм убил человека, не взволновало и не расстроило ее, а вот то, что он не может быть у нее кучером, вызывало досаду. Такой огромный негр охранял бы ее не хуже Арчи. Что ж, надо как‑то переправить его в Тару — нельзя же, чтобы янки схватили его. Слишком он ценный негр — таких нельзя вешать. Он был лучшим надсмотрщиком, какого знала Тара! Скарлетт и в голову не приходило, что он теперь вольный. Она считала, что он по‑прежнему принадлежит ей, как Порк, Мамушка, и дядюшка Питер, и кухарка, и Присей. Она по‑прежнему считала его «своим», следовательно, одним из тех, о ком надо заботиться.

— Я сегодня же вечером отправлю тебя в Тару, — наконец сказала она. — А сейчас, Сэм, мне еще надо проехать немного по этой дороге, но я вернусь до заката солнца. Жди меня здесь. Никому не говори, куда ты собрался, и если у тебя есть шляпа, захвати ее, чтоб закрыть лицо.

— Нет у меня никакой шляпы.

— Ну, так вот тебе четвертак. Купи себе шляпу у одного из этих негров и жди меня здесь.

— Да, мэм. — Сэм так и просиял: у него явно полегчало на душе от сознания, что кто‑то проявляет заботу о нем.

А Скарлетт в задумчивости поехала дальше. Уилл, конечно, обрадуется появлению хорошего работника в Таре. От Порка было мало пользы в полях, да никогда и не будет. С приездом Сэма Порк сможет переехать в Атланту и жить вместе с Дилси, как Скарлетт и обещала ему, когда умер Джералд.

Когда она подъехала к лесопилке, солнце уже садилось — обычно а эти часы она предпочитала быть дома. Джонни Гэллегер стоял в дверях жалкого сарайчика, который служил кухней для маленького лагеря лесозаготовителей. У барака, сооруженного из горбыля, где спали рабочие, на большом бревне сидели четверо из пяти каторжников, которых Скарлетт определила на лесопилку Джонни. Робы у них были грязные, пропахшие потом; когда они устало двигали ногами, на щиколотках позвякивали цепи, и весь их вид говорил об апатии и отчаянии. Какие они тощие, изнуренные, подумала Скарлетт, внимательно оглядывая их, а ведь еще совсем недавно, когда она их подряжала, это была крепкая команда. Они даже не подняли глаз при ее появлении — только Джонни повернулся в ее сторону, небрежно стащил с головы шляпу. Выражение его узкого смуглого личика сразу стало твердым.

— Не нравится мне вид этих людей, — внезапно сказала Скарлетт. — Они плохо выглядят. А где пятый?

— Говорит, что болен, — отрезал Джонни. — Он в бараке.

— А что с ним?

— Главным образом лень.

— Я хочу взглянуть на него.

— Не надо. Он скорей всего голый. Я сам им займусь. Завтра он у меня уже будет на работе.

Скарлетт медлила в нерешительности и в эту минуту увидела, как один из каторжников устало поднял голову и с неистребимой ненавистью посмотрел на Джонни, а потом снова уставился в землю.

— Ты их бьешь, этих людей, кнутом?

— Вот что, миссис Кеннеди, извините, но кто здесь управляющий? Вы поставили меня на эту лесопилку и велели мне ею управлять. И сказали, что не будете вмешиваться. Вы ведь на меня не можете пожаловаться, правда? Разве я не приношу вам дохода в два раза больше, чем мистер Элсинг?

— Да, приносишь, — сказала Скарлетт, но при этом по телу ее пробежала дрожь, словно на нее повеяло могильным холодом.

В этом лагере с его отвратительными бараками появилось что‑то зловещее, чего не было при Хью Элсинге. Словно место это отъединили от остального мира, окружили высокими стенами — Скарлетт почувствовала, что кровь у нее леденеет. Эти каторжники были здесь так удалены от всего, настолько всецело зависели от Джонни Гэллегера, что вздумай он хлестать их кнутом или вообще жестоко с ними обращаться, она скорее всего никогда об этом и не узнает. Каторжники не решатся даже пожаловаться ей, страшась более жестоких наказаний, которые могут обрушиться на них после ее отъезда.

— Люди у тебя такие тощие. Ты их хорошо кормишь? Видит бог, я трачу достаточно денег на их еду — они должны бы быть откормленными, как боровы. На одну муку и свинину в прошлом месяце ушло тридцать долларов. Что ты даешь им на ужин?

Она подошла к сараю, служившему кухней, и заглянула внутрь. Толстуха мулатка, склонившаяся над ржавой старой плитой, поспешно выпрямилась, присела при виде Скарлетт и тут же снова повернулась к горшку, где варились черные бобы. Скарлетт знала, что Джонни Гэллегер живет с мулаткой, но решила лучше закрыть на это глаза. Ничего, кроме бобов и кукурузной лепешки, жарившейся на сковороде, на кухне видно не было.

— У тебя, что же, ничего для этих людей больше нет?

— Нет, мэм.

— А в бобы ты не кладешь грудинки?

— Нет, мэм.

— Значит, бобы ты варишь без свинины. Но без свинины черные бобы есть нельзя. Они же не дают никакой силы. А почему нет свинины?

— Мистер Джонни, он говорит — ни к чему класть ее, грудинку‑то.

— Сейчас же положи грудинку. Где ты держишь свои припасы?

Негритянка в испуге закатила глаза, указывая на маленький чуланчик, служивший кладовкой, и Скарлетт распахнула ведущую туда дверь. Она обнаружила открытый бочонок с кукурузой на полу, небольшой мешок пшеничной муки, фунт кофе, немного сахара, галлоновую банку сорго и два окорока. Один из окороков, лежавший на полке, был недавно запечен, и от него было отрезано всего два‑три куска. Скарлетт в бешенстве повернулась к Джонни Гэллегеру и встретила его злой взгляд.

— Где пять мешков белой муки, которые я послала на прошлой неделе? А мешок с сахаром и кофе? И я послала еще пять окороков и десять фунтов грудинки, и одному богу известно, сколько бушелей ирландского картофеля и ямса! Ну, так где же все это? Ты не мог истратить такую уйму за неделю, даже если бы кормил людей пять раз в день. Значит, ты это продал! Вот что ты сделал, вор! Продал мои продукты, а денежки положил себе в карман, людей же кормишь сухими бобами и кукурузными лепешками. Неудивительно, что они такие тощие. Пропусти меня! — И она вихрем вылетела во двор. — Эй, ты, там, в конце... да, ты! Поди сюда!

Человек поднялся и, неуклюже ступая, позвякивая кандалами, направился к ней; Скарлетт увидела, что его голые лодыжки стерты железом в кровь.

— Когда ты последний раз ел ветчину?

Каторжник уставился в землю.

— Да говори же!

Тот продолжал стоять молча, с отрешенным видом. Наконец он поднял глаза, умоляюще посмотрел на Скарлетт и снова опустил взгляд.

— Боишься говорить?! Ну так вот, иди в чулан и сними с полки окорок. Ребекка, дай ему твой нож. Неси окорок на улицу и раздели его между всеми. А ты, Ребекка, приготовь им печенье и кофе. И дай побольше сорго. Да пошевеливайся, я хочу видеть, как ты выполнишь мое приказание.

— Так это же мука и кофе мистера Джонни — его собственные, — испуганно пробормотала Ребекка.

— Мистера Джонни — как бы не так! Должно быть, и окорок тоже его собственный. Изволь делать, что я сказала. Живо. Джонни Гэллегер, пойдем со мной к двуколке.

Она прошла через неубранный двор и залезла в двуколку, не без мрачного удовлетворения заметив при этом, как каторжники набросились на ветчину и целыми кусками жадно запихивают ее в рот. Точно боятся, что ее сейчас отнимут.

— Ну и редкий же ты негодяй! — в ярости накинулась она на Джонни, стоявшего у колеса, сдвинув шляпу с низкого лба на затылок. — Будь любезен, верни мне стоимость моих продуктов. Отныне я буду привозить провиант каждый день, а не заказывать на месяц. Тогда ты не сможешь меня обманывать.

— Только меня уже здесь не будет, — сказал Джонни Гэллегер.

— Ты что, вознамерился взять расчет?!

Какую‑то секунду Скарлетт так и хотелось крикнуть ему: «Ну и проваливай — скатертью дорога!», но холодная рука рассудка предусмотрительно удержала ее. Если Джонни возьмет расчет, что она станет делать? Ведь он дает в два раза больше леса, чем давал Хью. А она как раз получила большой заказ — самый большой за все время, и к тому же срочный. Ей необходимо, чтобы этот лес был доставлен в Атланту. А если Джонни возьмет расчет, кого она поставит на лесопилку?

— Да, я беру расчет. Вы поставили меня начальником на этой лесопилке и сказали, чтоб я давал вам как можно больше леса. Вы не говорили мне тогда, как я должен вести дело, и я не собираюсь выслушивать это сейчас. Каким образом я получаю столько леса, вас не касается. Вы не можете пожаловаться, что я не выполняю условий сделки. Благодаря мне и вы нажились, да и я свое отработал — ну, и кое‑что сумел добавить к жалованью. А теперь вы являетесь сюда, вмешиваетесь в мои дела, задаете вопросы и принижаете меня в глазах этих людей. Как же мне после этого держать их в руках? Что с того, если я иной раз кому из них и влеплю? Лентяи и не такого заслуживают. Что с того, если они недоедают и вокруг них не танцуют на задних лапках? Да они другого и не заслужили. Так что занимайтесь‑ка вы своим делом, а я — своим, не то я сегодня же беру расчет.

Его жесткое узкое личико стало каменным, и Скарлетт положительно не знала, как быть. Если он сегодня возьмет расчет, что ей делать? Не может же она сидеть здесь всю ночь и сторожить каторжников!

Видимо, терзавшие Скарлетт сомнения в какой‑то мере отразились в ее взгляде, ибо лицо Джонни вдруг слегка смягчилось, а в голосе, когда он заговорил, появились примирительные нотки:

— Поздно уж, миссис Кеннеди, ехали бы вы лучше домой. Стоит ли нам расстраиваться из‑за такой мелочи, а? Вычтите десять долларов в будущем месяце из моего жалованья, и дело с концом.

Взгляд Скарлетт невольно скользнул по жалким людям, пожиравшим ветчину, и она подумала о больном, который лежал в продуваемом ветрами сарае. Нет, надо избавляться от Джонни Гэллегера. Он вор и жестокий человек. Кто знает, как он обращается с каторжниками, когда ее тут нет. Но с другой стороны, человек он ловкий, а одному богу известно, как ей нужен ловкий человек. Нет, не может она с ним сейчас расстаться. Он ведь деньги для нее выгоняет. Просто надо следить за тем, чтобы каторжников кормили как следует.

— Я вычту из твоего жалованья двадцать долларов, — решительно заявила она, — а завтра, когда вернусь, мы с тобой продолжим разговор.

Скарлетт подобрала вожжи. Но она уже знала, что никакого продолжения разговора не будет. Знала, что на этом все кончится, и знала, что Джонни тоже это знает.

Она ехала по тропе, выходившей на Декейтерскую дорогу, а в душе у нее совесть боролась с жаждой наживы. Она понимала, что не дело это — отдавать людей на милость жестокого карлика. Если по его вине кто‑то из них умрет, она будет виновата не меньше, чем он, так как оставила их в его власти, даже узнав о том, что он жестоко обращается с ними. Но с другой стороны... а с другой стороны, не надо попадать в каторжники. Если люди нарушили закон и их поймали с поличным, они заслужили такую участь. Совесть ее мало‑помалу успокоилась, но пока она ехала по дороге, истощенные, отупевшие лица каторжников то и дело возникали перед ее мысленным взором.

«Ах, я подумаю о них потом», — решила Скарлетт и, затолкав эту мысль в чулан своей памяти, захлопнула за ней дверь.

Солнце совсем зашло и лес вокруг потемнел, когда Скарлетт достигла того места, где дорога над Палаточным городком делала петлю. Когда солнце скрылось и сгустились сумерки, в воздухе появился пронизывающий холод; в темном лесу завыл леденящий ветер, затрещали голые сучья, зашелестела засохшая листва. Скарлетт никогда еще не бывала так поздно на улице одна, ей было не по себе и хотелось поскорее очутиться дома.

Большого Сэма что‑то не было видно, и Скарлетт, натянув вожжи, остановила двуколку: отсутствие Сэма беспокоило ее, она боялась, не схватили ли его янки. И тут она услышала шаги на тропинке, что вела к Палаточному городку, и с облегчением вздохнула. Уж она проберет Сэма за то, что он заставил ее ждать.

Но из‑за поворота показался не Сэм.

Она увидела высокого белого оборванца и приземистого, похожего на гориллу, негра с мощными плечами и грудью. Скарлетт поспешно хлестнула поводьями лошадь и выхватила пистолет. Лошадь затрусила было, но белый взмахнул рукой, и лошадь шарахнулась в сторону.

— Дамочка, — сказал он, — нет ли у вас четвертака? Очень я голоден.

— Убирайся с дороги, — возможно тверже сказала Скарлетт. — Нет у меня денег. А ну, пошел.

Но человек решительно схватил лошадь под уздцы.

— Стаскивай ее! — крикнул он негру. — Деньги у нее наверняка в лифе!

То, что за этим последовало, произошло стремительно, как в страшном сне. Скарлетт вскинула руку с пистолетом, но некий инстинкт подсказал ей не стрелять в белого, так как можно ранить лошадь. Когда же негр, плотоядно осклабясь, подскочил к двуколке, Скарлетт выстрелила в него. Попала она или не попала, так и осталось неизвестным, ибо в следующую минуту ей сдавили руку с такой силой, что кости хрустнули и пистолет выпал у нее из пальцев. Подскочивший к экипажу негр — он стоял так близко, что она чувствовала запах немытого тела, — схватил ее поперек туловища и стал тащить из двуколки. Свободной рукой она отчаянно пыталась отпихнуть его, расцарапать ему лицо и вдруг почувствовала большую лапищу у своего горла, раздался треск разрываемого лифа, и черная рука принялась шарить у нее по груди. От ужаса и отвращения Скарлетт дико закричала.

— Заткни ей глотку! Да вытаскивай же ее! — крикнул белый, и черная рука зажала Скарлетт рот. Она изо всей силы укусила ладонь, и снова закричала, и сквозь свой крик услышала, как ругнулся белый: она поняла, что в темноте на дороге появился третий человек. Черная рука соскользнула с ее рта, и негр отпрыгнул в сторону, спасаясь от ринувшегося на него Большого Сэма.

— Езжайте, мисс Скарлетт!: — закричал Сэм, подминая под себя негра, и Скарлетт, дрожа мелкой дрожью и не переставая что‑то выкрикивать, схватила вожжи и кнут и огрела тем и другим лошадь. Та рванулась с места, и Скарлетт почувствовала, как колеса проехали по чему‑то мягкому, чему‑то плотному. Это был тот белый, которого оглушил Сэм.

Потеряв от ужаса голову, Скарлетт стегала и стегала лошадь, которая неслась галопом — двуколка подскакивала и раскачивалась из стороны в сторону. Несмотря на владевший Скарлетт ужас, она все же услышала, что за нею бегут, и закричала, понукая лошадь. Если это черное страшилище настигнет ее, она тут же умрет, прежде чем он до нее дотронется.

Сзади раздался крик:

— Мисс Скарлетт, стойте!

Не придерживая лошади, вся дрожа, она оглянулась и увидела, что Большой Сэм бежит за ней по дороге — длинные ноги его работали как поршни. Скарлетт натянула вожжи, Сэм поравнялся с нею и плюхнулся в двуколку, притиснув Скарлетт к противоположному краю своим большим телом. Лицо Большого Сэма было в поту и в крови; задыхаясь, он спросил:

— Вас не покалечили? Они вас не покалечили?

У Скарлетт не было сил даже ответить, но заметив направление взгляда Сэма и то, как он быстро отвел глаза, она вдруг осознала, что лиф ее разодран до пояса, так что видны и голая грудь, и корсет. Дрожащей рукой она стянула края лифа и, опустив голову, разрыдалась.

— Дайте‑ка мне вожжи, — сказал Сэм и выхватил вожжи у нее из рук. — А ну, пошла, лошадка!

Свистнул кнут, и испуганная лошадь понеслась диким галопом, грозя опрокинуть двуколку в канаву.

— Очень я надеюсь, что не убил эту черную обезьяну. Но проверять я не стал, — с трудом переводя дух, проговорил Сэм. — Ну, а ежели он вам чего повредил, мисс Скарлетт, я вернусь и добью его.

— Нет... нет... поедем скорее отсюда, — всхлипывая, пробормотала она.

### Глава XLV

В тот вечер Фрэнк отвел ее, тетю Питти и детей к Мелани, а сам отправился куда‑то с Эшли — Скарлетт казалось, что она сейчас лопнет от обиды и возмущения. Да как он мог в такой вечер отправиться на политическое собрание?! Подумаешь — политическое собрание! Уехать в тот самый вечер, когда на нее напали, когда с ней бог весть что могло случиться! Какой же он бесчувственный, какой эгоист! И вообще он отнесся ко всей этой истории с возмутительным спокойствием — стоял и смотрел, как Сэм внес ее в дом, рыдающую, в разодранном до пояса платье. Он даже ни разу не дернул себя за бороду, пока она, обливаясь слезами, рассказывала ему, что произошло. Он только мягко спросил: «Лапочка, вас покалечили — или вы просто перепугались?»

От бешенства и слез она не в состоянии была вымолвить ни слова, и Сэм сказал, что она просто перепугалась.

«Я так считаю, это потому, что они платье ей разорвали...»

«Ты молодчина, Сэм, и я не забуду, что ты для нас сделал. Если я чем‑то могу тебе отплатить...»

«Да, сэр, вы можете послать меня в Тару — только побыстрее. Янки‑то ведь за мной охотятся».

Фрэнк и это выслушал спокойно, ни о чем не спрашивая. Вид у него был такой же, как в ту ночь, когда Тони постучался к ним в дверь: это‑де чисто мужское дело и решение надо принимать без лишних слов и эмоций.

«Иди садись в двуколку. Я велю Питеру довезти тебя, до Раф‑энд‑Реди, ты побудешь там в лесу до утра, а потом на поезде поедешь в Джонсборо. Так оно будет безопаснее... Ну, лапочка, перестаньте же плакать. Все прошло, и ничего с вами особенного не случилось. Мисс Питти, могу я попросить у вас нюхательных солей? А ты, Мамушка, принеси‑ка мисс Скарлетт бокал вина».

Тут Скарлетт снова разрыдалась — на этот раз от ярости. Она ожидала услышать слова утешения, возмущения, угрозы, мести. Она предпочла бы даже, чтобы Фрэнк накинулся на нее, сказал, что как раз об этом он и предупреждал, — что угодно, только не это безразличие: ведь ей же грозила опасность, а он делает вид, будто это все ерунда. Он, конечно, был мил с ней и мягок, но так, словно сам в это время думал о чем‑то другом, куда более важном.

И этим важным событием оказалось всего‑навсего какое‑то никчемное политическое собрание!

Скарлетт ушам своим не поверила, когда Фрэнк сказал, чтобы она переоделась: он отведет ее к Мелани на вечер. Должен же он понимать, через какое страшное испытание она прошла, должен бы понимать, что не хочет она торчать весь вечер у Мелани, — она так измучилась и нервы ее так напряжены, ей нужен покой, тепло — лечь в кровать, накрыться одеялом, положить горячий кирпич к ногам, выпить горячего пунша, чтобы прийти в себя. Если бы он действительно любил ее, ничто не заставило бы его покинуть жену в такой вечер. Он бы остался дома, держал бы ее за руку, повторял бы снова и снова, что случись с ней что‑нибудь — он бы этого не пережил. Вот вернется он домой и останутся они одни — она все ему выложит.

В маленькой гостиной Мелани было мирно и тихо, как всегда в те вечера, когда Фрэнк и Эшли отсутствовали, а женщины собирались вместе и шили. Комната была теплая и казалась веселой при свете камина. Настольная лампа бросала желтый отблеск на четыре гладко причесанные головы, склоненные над шитьем. Четыре юбки падали на пол скромными складками, восемь маленьких ножек грациозно покоились на низеньких скамеечках. Из детской сквозь открытую дверь доносилось ровное дыхание Уэйда, Эллы и Бо. Арчи сидел на стуле у камина, повернувшись к огню спиной, жевал табак и что‑то старательно вырезал из кусочка дерева. Этот грязный лохматый старик выглядел рядом с четырьмя прибранными, изящными дамами столь нелепо, как если бы рядом с четырьмя кошечками уселся старый злющий седой сторожевой пес.

Мелани долго и нудно рассказывала о последней выходке Дам‑арфисток, и в мягком голосе ее звучало возмущение. Они никак не могли договориться с Хоровым клубом джентльменов относительно программы будущего выступления и явились днем к Мелани с заявлением, что вообще выходят из музыкального кружка. Мелани пришлось пустить в ход все свои дипломатические способности, дабы уговорить их не спешить с решением.

Скарлетт еле сдерживалась, чтобы не крикнуть: «Пошли они к черту, эти Дамы‑арфистки!» Ей не терпелось поговорить о собственных переживаниях. Ее буквально распирало от желания рассказать об этом во всех подробностях, чтобы, напугав других, самой избавиться от страха. Хотелось описать свою храбрость и тем убедить самое себя, что она и в самом деле была храброй. Но всякий раз, как она заговаривала, Мелани умело переводила беседу в другое, более спокойное русло. Это безмерно раздражало Скарлетт. До чего же все они мерзкие, не лучше Фрэнка.

Как могут они держаться так спокойно и безмятежно, когда она едва избегла столь страшной участи? Да они просто невежливы — не дают ей возможности облегчить душу, рассказав о случившемся.

А то, что с ней произошло, потрясло ее куда больше, чем она склонна была признаться — даже самой себе. Стоило ей вспомнить об этом чернокожем, который, осклабясь, глазел на нее из сумеречного леса, как ее пробирала дрожь. А вспомнив о черной руке, схватившей ее за горло, и представив себе, что могло бы случиться, не появись так вовремя Большой Сэм, она ниже опускала голову и крепко зажмуривалась. Чем дольше сидела она в этой комнате, где все дышало миром, и молча пыталась шить, слушая голос Мелани, тем больше напрягались ее нервы. Казалось, вот сейчас, тоненько звякнув, они лопнут, как лопается у банджо натянутая струна.

Звук ножа, строгающего дерево, раздражал ее, и она хмуро посмотрела на Арчи. Внезапно ей показалось странным, что он сидит тут и возится с этой деревяшкой. Обычно, оставаясь вечерами охранять их, он ложился на диван и засыпал, и при этом так отчаянно храпел, что его длинная борода подпрыгивала при каждом всхрапе. А еще более странным было то, что ни Мелани, ни Индия даже не намекнули ему, что хорошо бы подстелить газету, а то стружка разлетается по всему полу. Он уже изрядно насорил на коврике перед камином, но они этого словно бы и не замечали.

Пока Скарлетт смотрела на Арчи, он вдруг повернулся к огню и сплюнул свою жвачку с таким трубным звуком, что Индия, Мелани и тетя Питти подскочили, точно рядом с ними разорвалась бомба.

— Да неужели обязательно так громко плеваться? — воскликнула Индия звенящим от раздражения голосом.

Скарлетт в изумлении подняла на Индию глаза: обычно она была такая сдержанная.

Арчи же, нимало не смутившись, в упор посмотрел на Индию.

— Выходит, обязательно, — холодно заявил он и снова сплюнул.

Мелани, в свою очередь, хмуро взглянула на Индию.

— Я всегда была так рада, что наш дорогой папочка не жевал табака, — начала было тетя Питти, и Мелани, нахмурясь, резко повернулась к ней.

— Да перестаньте, тетушка! Это же бестактно!

Скарлетт еще ни разу не слышала, чтобы Мелани говорила таким тоном.

— Ах ты, батюшки! — Тетя Питти опустила шитье на колени и обиженно надулась. — Ну, скажу я вам, просто не понимаю, что это на всех вас сегодня нашло. Вы с Индией обе такие злющие, такие раздраженные, точно две старые перечницы.

Слова ее повисли в воздухе. Мелани даже не извинилась за резкость, а лишь усиленно заработала иглой.

— Стежки‑то у тебя получаются с целый дюйм, — не без ехидства заметила тетя Питти. — Все это придется распороть. Да что с тобой?

Но Мелани и тут ничего не ответила.

«А ведь и в самом деле с ними что‑то происходит», — подумала Скарлетт. Быть может, она была слишком занята собственными страхами и чего‑то не заметила? Да, несмотря на все старания Мелани придать этому вечеру атмосферу, какая царила здесь в любой из пятидесяти других, что они провели вместе, сегодня в воздухе чувствовалась нервозность, которую нельзя было объяснить только тревогой и возмущением по поводу того, что произошло несколько часами раньше. Скарлетт исподтишка оглядела сидевших в гостиной женщин и вдруг перехватила взгляд Индии. Ей стало не по себе — такой в этом испытующем взгляде был бесконечный холод, более сильный, чем ненависть, и более оскорбительный, чем презрение.»

«Точно я виновата в том, что случилось», — возмущенно подумала Скарлетт.

Индия теперь взглянула на Арчи — во взгляде ее была уже не досада, а вопрос и смутная тревога. Но Арчи не ответил на ее взгляд. В эту минуту он смотрел на Скарлетт таким же холодным, жестким взглядом, каким только что смотрела Индия.

Унылая тишина воцарилась в комнате: Мелани перестала поддерживать разговор, и Скарлетт услышала, как на дворе завывает ветер. Вечер стал вдруг удивительно неуютным. Теперь Скарлетт отчетливо почувствовала, насколько у всех напряжены нервы, и подумала, что атмосфера, вероятно, весь вечер была такой, только она в своем расстройстве не обратила на это внимания. В лице Арчи было что‑то настороженное, выжидающее, а его заросшие волосами уши, казалось, стояли торчком, как в руках, но обеих что‑то явно волновало, и они то и дело вскидывали голову, отрываясь от шитья, лишь только на дороге раздавался цокот копыт, или стонали ветки под порывом ветра, или, шурша, падали на лужайку сухие листья. Стоило треснуть полену в камине, как обе вздрагивали, точно слышали чьи‑то крадущиеся шаги.

Что‑то было не так, но Скарлетт терялась в догадках — что именно. Что‑то происходило, а что — она не слышала. Взглянув на пухлое, простодушное лицо тети Питти, которая сидела, обиженно надувшись, Скарлетт поняла, что старушка тоже ничего не знает. А вот Арчи, Мелани и Индия — знают. Скарлетт казалось, что она слышит в тишине, как мечутся мысли в мозгу Индии и Мелани — точно птицы в клетке. Обе они что‑то знали, чего‑то ждали, хоть и делали вид, будто ничего не происходит. Их внутренняя тревога передалась Скарлетт, и она стала нервничать еще больше. Неловко орудуя иглой, она уколола большой палец и слегка вскрикнула от боли и досады — все вздрогнули, а она стала нажимать на палец, пока не показалась яркая капля крови.

— Я сегодня слишком взвинчена, совсем не могу шить, — заявила она и швырнула шитье на пол. — До того взвинчена, что, кажется, сейчас закричу. Я хочу домой, хочу лечь в постель. Фрэнк знал это и мог сегодня никуда не уходить. Он все только болтает, и болтает, и болтает насчет того, что надо защищать женщин от черномазых и «саквояжников», а вот когда ему самому пришло время защитить женщину, где он, спрашивается? Сидит дома и ухаживает за мной? Ничего подобного, шатается где‑то с другими мужчинами, которые тоже все только болтают и...

Ее разгневанный взгляд остановился на лице Индии, и она осеклась. Индия прерывисто дышала; ее светлые, без ресниц глаза в упор смотрели на Скарлетт, в них был ледяной холод.

— Если это вас не слишком затруднит, Индия, — язвительным тоном заговорила Скарлетт, — может быть, вы скажете, почему вы так глядите на меня весь вечер, я была бы вам чрезвычайно признательна. У меня что, лицо позеленело или еще что‑нибудь не так?

— Меня нисколько не затруднит сказать вам. Я даже сделаю это с большим удовольствием, — заявила Индия, сверкнув глазами. — Просто мне противно присутствовать при том, как вы поносите такого прекрасного человека — ведь мистер Кеннеди, к вашему сведению...

— Индия! — предостерегающе воскликнула Мелани, крепко сжав в руках шитье.

— По‑моему, я знаю своего мужа лучше, чем вы, — заметила Скарлетт; намечалась ссора, первая открытая ссора с Индией — от этой перспективы у Скарлетт сразу поднялось настроение и нервозность как рукой сняло.

Мелани поймала взгляд Индии, и та нехотя сжала губы. Но почти тотчас снова заговорила, и в голосе ее звучала холодная ненависть.

— Мне тошно слушать, Скарлетт О’Хара, ваши рассуждения о том, что кто‑то должен вас защищать! Да разве вам нужна защита! Если бы вы в ней нуждались, никогда бы не стали так себя вести, как все эти месяцы, не раскатывали бы по городу, выставляя себя напоказ в расчете, что все мужчины станут восторгаться вами! Вы сегодня получили по заслугам, и будь на свете справедливость, вам досталось бы еще пуще.

— Ох, Индия, замолчи! — воскликнула Мелани.

— Пусть говорит! — выкрикнула Скарлетт. — Мне это очень даже нравится. Я всегда знала, что она меня ненавидит, но слишком она двуличная, чтобы признаться в этом. А сама ходила бы по улицам голая от зари до темна, если б думала, что кто‑нибудь станет восхищаться ею.

Индия вскочила, вся ее длинная плоская фигура сотрясалась от гнева.

— Я в самом деле ненавижу вас, — отчетливо, хотя и дрожащим голосом, произнесла она. — Но я молчала не потому, что я двуличная. Вам этого не понять, потому что вы... вы лишены чувства приличия, представления о хорошем воспитании. Я вела себя так просто потому, что если мы не будем держаться вместе и не подавим в себе наши маленькие нелюбви и ненависти, ни за что нам не побить янки. А вы... вы... вы все сделали, чтобы уронить престиж приличных людей: стали работать и опозорили хорошего мужа, давая повод янки и всякому сброду смеяться над нами и делать разные оскорбительные замечания насчет того, что никакие мы, дескать, не аристократы. Янки ведь не знают, что вы — не из нашей среды и никогда к ней не принадлежали. Где им понять, что в вас нет ни капли благородной крови. И когда вы разъезжаете по лесам, давая любому черному или белому злоумышленнику повод напасть на вас, вы тем самым даете им повод напасть на любую добропорядочную женщину нашего города. А теперь из‑за вас наши МУЖЧИНЫ рискуют жизнью, потому что вынуждены...

— О господи, Индия! — воскликнула Мелани, и Скарлетт, несмотря на владевший ею гнев, поразило то, что Мелани, вопреки обыкновению, походя упомянула имя бога. — Изволь молчать! Она не знает, и она... Изволь молчать! Ты же обещала...

— Девочки, девочки! — взмолилась мисс Питтипэт; губы у нее дрожали.

— Чего я не знаю? — Скарлетт в бешенстве вскочила и встала перед кипевшей от гнева Индией и с мольбой смотревшей на Индию Мелани.

— Раскудахтались, как куры! — неожиданно изрек Арчи, и в голосе его прозвучало бесконечное презрение. Но прежде чем кто‑либо успел его осадить, он резко вздернул седеющую голову и быстро встал. — Кто‑то идет по дорожке. Это не мистер Уилкс. А ну, перестаньте кудахтать.

Голос его прозвучал по‑мужски властно, и женщины сразу умолкли; ярость, читавшаяся на их лицах, исчезла, когда он заковылял по комнате к двери.

— Кто там? — спросил он еще прежде, чем пришелец успел постучать.

— Капитан Батлер. Впустите меня.

Мелани так стремительно бросилась к двери, что юбки ее взметнулись, приоткрыв панталоны до колен, и прежде чем Арчи успел взяться за ручку двери, Мелани уже распахнула ее. На пороге стоял Ретт Батлер, его широкополая черная фетровая шляпа была низко надвинута на глаза, накидка, которую рвал ветер, хлопала словно крылья у него за спиной. Впервые он забыл о хороших манерах — не снял шляпы и ни с кем не поздоровался. Глядя только на Мелани, он спросил вместо приветствия:

— Куда они поехали? Говорите скорее. На карту поставлена их жизнь.

Скарлетт и тетя Питти, потрясенные, испуганные, в изумлении обменялись взглядами, а Индия, словно тощая старая кошка, скользнула через комнату и встала рядом с Мелани.

— Ничего ему не говори, — выкрикнула она. — Он шпион, подлипала!

Ретт даже не удостоил ее взгляда.

— Быстро, миссис Уилкс! Может быть, еще не все потеряно.

Мелани словно парализовало от страха, и она только молча смотрела Ретту в лицо.

— Какого черта?.. — начала было Скарлетт.

— Заткнитесь, — прикрикнул на нее Арчи. — И вы тоже, мисс Мелли. А ты, чертов подлипала, убирайся отсюда!

— Нет, Арчи, нет! — воскликнула Мелани и, словно желая защитить Ретта от Арчи, положила дрожащую руку Ретту на плечо. — Что случилось? Откуда... откуда вам стало известно?

На смуглом лице Ретта нетерпение сменилось взявшей верх вежливостью.

— О господи, миссис Уилкс, они же с самого начала все находятся под подозрением... только вели они себя очень умно — до сегодняшнего вечера! Откуда мне все известно? Я сегодня играл в покер с двумя подвыпившими капитанами‑янки, они мне и выболтали. Янки узнали, что сегодня вечером будет заварушка, и приготовились. Эти ваши идиоты сами лезут в капкан.

Мелани даже пошатнулась, словно ее ударили чем‑то тяжелым, но Ретт, быстро обхватив ее за талию, не дал ей упасть.

— Не говори ему! Он хочет тебя поймать! — выкрикнула Индия, глядя в упор на Ретта сверкающими глазами. — Разве ты не слышала — ведь он сам сказал, что был сегодня вечером с капитанами‑янки?!

Но Ретт по‑прежнему не удостаивал ее взгляда. Его глаза были прикованы к побелевшему лицу Мелани.

— Скажите мне. Куда они поехали? У них есть определенное место встречи?

Охваченная страхом, ничего не понимая, Скарлетт тем не менее подумала, что никогда еще не видела более непроницаемого, ничего не выражающего лица, чем у Ретта, однако Мелани явно увидела в нем что‑то, побуждавшее довериться ему. Она высвободилась из поддерживавшей ее руки, выпрямилась во весь свой невысокий рост и спокойно, но дрожащим голосом, сказала:

— На Декейтерской дороге, близ Палаточного городка. Они собираются в погребе на бывшей плантации Салливана — той, что наполовину сгорела.

— Спасибо. Я помчусь туда. А если янки придут к вам, никто из вас ничего не знает.

Черная накидка его мгновенно растворилась в ночи — он исчез так быстро, что казалось, его тут и не было: послышалось лишь шуршанье летящего из‑под копыт гравия да отчаянный топот мчащейся во весь опор лошади.

— Янки идут сюда? — вскрикнула тетя Питти; маленькие ножки ее подкосились, и она плюхнулась на диван, забыв от испуга даже заплакать.

— Да что происходит? Что это значит? Если вы сейчас же все не скажете, я с ума сойду! — Скарлетт схватила Мелани за плечи и так тряхнула ее, точно хотела силой вытрясти ответ.

— Что это значит? А то, что вы, по всей вероятности, явитесь причиной смерти Эшли и мистера Кеннеди! — Несмотря на страх, в голосе Индии звучали злорадные нотки. — И перестаньте трясти Мелли. Она сейчас лишится чувств.

— Ничего подобного, — еле выговорила Мелани, хватаясь за спинку стула.

— Господи, господи! Я ничего не понимаю! Убили Эшли? Ну, пожалуйста, кто‑нибудь скажите же мне...

Голос Арчи проскрипел, как дверь на ржавых петлях, оборвав причитания Скарлетт.

— Да садитесь вы, — коротко приказал он. — Возьмите свое шитье. И шейте, будто ничего не случилось. Ведь янки, может, уже с заката за этим домом следят. Садитесь, говорят вам, и шейте.

Дрожащие от испуга женщины повиновались, и даже Питти трясущимися руками взяла носок; глаза ее, широко раскрытые, как у испуганного ребенка, вопрошающе перебегали с одного лица на другое.

— Где Эшли? Что с ним случилось, Мелли? — вырвалось у Скарлетт.

— А где ваш муж? Он вас не интересует? — Светлые глаза Индии горели неуемным ехидством; она комкала и разглаживала рваное полотенце, которое собиралась латать.

— Индия, прошу тебя! — Мелани сумела овладеть голосом, но побелевшее взволнованное лицо и измученные глаза выдавали, в каком она находится напряжении. — Скарлетт, возможно, нам следовало сказать тебе, но... но... ты столько пережила сегодня, что мы... что Фрэнк решил... и к тому же ты всегда была так настроена против клана...

— Клана... — Скарлетт произнесла это слово так, будто никогда его не слышала и понятия не имела, что оно значит, и вдруг воскликнула: — Клан! Но Эшли же не в ку‑клукс‑клане! И Фрэнк не может там быть. Он же мне обещал!

— Конечно, мистер Кеннеди в ку‑клукс‑клане, и Эшли тоже, и все мужчины, которых мы знаем, — выкрикнула Индия. — Они же настоящие мужчины, верно? Притом белые и южане. Вам следовало бы гордиться своим мужем, а не вынуждать его втихомолку убегать из дома, точно он идет на постыдное дело, и...

— Значит, вы все это знали, а я нет...

— Мы боялись, что ты расстроишься, — с сокрушенным видом сказала Мелани.

— Так вот куда они ездят, когда говорят, что едут на политическое собрание! Ах, он же обещал мне! А теперь янки придут, и отберут мои лесопилки и лавку, и посадят его в тюрьму... А на что намекал Ретт Батлер?

Индия метнула на Мелани несказанно испуганный взгляд. Скарлетт вскочила, швырнув на пол шитье.

— Если вы мне не скажете, я сейчас же поеду в город и сама все выясню. Всех буду спрашивать, пока не узнаю.

— Садитесь, я вам скажу, — заявил Арчи, пригвождая ее к месту своим единственным глазом. — Вы вот раскатывали сегодня где не след и попали в беду, а теперь мистер Уилкс и мистер Кеннеди и другие отправились убивать этого негра и этого белого, если сумеют их найти, и вообще весь Палаточный городок хотят смести. И если этот подлипала правду сказал, значит, янки чего‑то заподозрили или даже чего‑то узнали и послали солдат, чтоб устроить там западню. И наши люди в капкан‑то и попадут. А если этот Батлер сказал неправду, тогда, значит, он шпион, и он выдаст их янки, и наших все равно убьют. А если он их выдаст, то я убью его, и пусть это будет последним делом моей жизни. А если их не убьют, тогда, значит, всем им придется тикать отседова в Техас и сидеть там тихо, и, может, они никогда уж и не воротятся сюда. А все вы виноваты, и руки у вас в крови.

Страх сменился на лице Мелани возмущением: она увидела по лицу Скарлетт, что та начала прозревать и ее захлестывает ужас. Мелани встала и положила руку на плечо Скарлетт.

— Еще одно слово, и ты уйдешь из этого дома, Арчи, — решительно заявила Мелани. — Она ни в чем не виновата. Просто она вела себя... вела себя так, как считала нужным. А наши мужчины ведут себя так, как они считают нужным. И все люди должны так поступать. Мы не все одинаково думаем и одинаково поступаем, и неверно... неверно судить о других по себе. Как вы с Индией можете говорить так жестоко‑ведь муж Скарлетт, да, возможно, и мой... возможно...

— Чу! — тихо прервал ее Арчи. — Садитесь, мэм. Слышите — лошади.

Мелани опустилась в кресло, взяла одну из рубашек Эшли и, низко склонив голову, бессознательно принялась сдирать с нее кружева и сворачивать в клубок.

Копыта цокали теперь совсем громко: всадники явно приближались к дому. Позвякивали удила, скрипела кожа, звучали голоса. Стук копыт замер у парадного входа, чей‑то голос, перекрыв все остальные, что‑то скомандовал, и послышался топот ног: кто‑то бежал через дворик к задней двери. У сидевших в гостиной было такое ощущение, будто тысячи враждебных глаз уставились на них в незашторенное окно фасада, и четыре женщины, терзаясь страхом, ниже пригнулись к своему шитью и усиленно заработали иглой. Сердце бешено выстукивало у Скарлетт в груди: «Я убила Эшли! Я убила его!» В эту минуту у нее даже не мелькнуло мысли о том, что, возможно, убили и Фрэнка. Она видела лишь Эшли, распростертого у ног кавалеристов‑янки, его светловолосую голову в крови.

В дверь резко постучали, и Скарлетт взглянула на Мелани: на маленьком напряженном личике появилось новое выражение, выражение спокойствия и отчужденности, какое она только что видела на лице Ретта Батлера, — этакое спокойное безразличие, какое придает своему лицу игрок в покер, когда блефует, имея лишь две пары на руках.

— Арчи, открой дверь, — спокойно сказала Мелани.

Сунув нож за голенище и поправив заткнутый за пояс пистолет. Арчи проковылял к двери и распахнул ее. Увидев в проеме капитана‑янки и целый взвод синих мундиров, Питти пискнула, как мышка, почувствовавшая, что попала в ловушку. Остальные молчали. Скарлетт с облегчением обнаружила, что знает офицера. Это был капитан Тони Джэффери, один из приятелей Ретта. Она продала ему лес для дома. Она знала, что это джентльмен. А раз джентльмен, то, быть может, не потащит их в тюрьму. Он тоже сразу признал ее и, сняв шляпу, несколько смущенно поклонился.

— Добрый вечер, миссис Кеннеди. Которая из вас, дамы, будет миссис Уилкс?

— Я — миссис Уилкс, — отозвалась Мелани и поднялась; несмотря на свой маленький рост, выглядела она весьма внушительно. — Чему я обязана этим вторжением?

Глаза капитана быстро пробежали по комнате, на мгновение задержавшись на каждом лице, затем он перевел взгляд на стол и на вешалку для шляп, словно ища следов мужского присутствия.

— Я хотел бы побеседовать с мистером Уилксом и мистером Кеннеди, если можно.

— Их нет здесь, — сказала Мелани, и ее обычно мягкий голосок звучал холодно.

— Вы уверены?

— Вы только посмейте не поверить миссис Уилкс, — сказал Арчи, раздувая бороду.

— Извините, миссис Уилкс. Я вовсе не хотел вас обидеть. Если вы даете мне слово, я не стану обыскивать дом.

— Я даю вам слово, но можете обыскать дом, если хотите. Они в городе, на собрании в лавке мистера Кеннеди.

— Их нет в лавке, и сегодня вечером нет никакого собрания, — мрачно сказал капитан. — Мы подождем на улице, пока они вернутся.

Он отвесил поклон и вышел, закрыв за собой дверь. Оставшиеся в доме услышали резкие, слегка приглушенные ветром слова команды: «Окружить дом! Стать по одному у каждого окна и двери». Раздался топот ног. Скарлетт вздрогнула от страха, увидев бородатые лица, смотревшие на них в окна. Мелани села и потянулась за книгой на столе — рука ее не дрожала. Это был потрепанный экземпляр «Отверженных» — книги, которой упивались солдаты Конфедерации. Они читали ее у бивачных огней и с мрачным удовольствием называли «Отверженные генерала Ли». Мелани раскрыла книгу на середине и принялась читать ровным голосом, отчетливо произнося слова.

— Шейте! — скомандовал Арчи хриплым шепотом, и три женщины, черпая мужество в спокойном голосе Мелани, снова склонились над шитьем.

Сколько времени читала Мелани под взглядами внимательно наблюдавших за ней глаз, Скарлетт понятия не имела, но ей казалось, это длилось не один час. Она не слышала ни слова из того, что читала Мелани. Теперь она думала уже не только об Эшли, но и о Фрэнке. Так вот чем объяснялось его нарочитое спокойствие сегодня вечером! А ведь он обещал ей, что никогда не будет иметь ничего общего с ку‑клукс‑кланом. Этой‑то беды она и боялась! Вся работа за целый год теперь пойдет прахом. Все ее старания, и страхи, и муки, когда она не покладая рук трудилась, несмотря на дождь и холод, — все зря. Но кто бы подумал, что этот старый трус Фрэнк может связаться с ку‑клукс‑кланом, с такими головорезами? И сейчас он уже, может быть, мертв. А если не мертв и янки схватят его, то тут же повесят. И Эшли тоже!

Она до того глубоко вонзила ногти себе в ладонь, что на коже появились четыре ярко‑красных полумесяца. Как может Мелани читать так спокойно, когда Эшли в опасности и его могут повесить? Да он, может быть, уже мертв! Но что‑то в ровном, мягком голосе, рассказывавшем о горестях Жана Вальжана, сдерживало Скарлетт, не позволяло ей вскочить на ноги и закричать.

Она вспомнила о той ночи, когда Тони Фонтейн явился к ним — измученный, гонимый, без денег. Если бы он тогда не добрался до их дома, если бы они не дали ему денег и свежую лошадь, его бы уже давно повесили. И если Фрэнка с Эшли еще не убили, то они сейчас находятся в таком же положении, как Тони, а пожалуй, и в худшем. Дом‑то ведь окружен солдатами, и ни Эшли, ни Фрэнк не могут вернуться, чтобы взять деньги и вещи, — их тут же поймают. И наверно, у всех домов на этой улице стоят вот так же янки, значит, — Фрэнк и Эшли не могут обратиться за помощью и к друзьям. А может, они сейчас уже скачут во весь опор сквозь тьму в Техас.

Но ведь Ретт... быть может, Ретту все же удалось вовремя добраться до них. У Ретта всегда в карманах полно денег. Быть может, он одолжит им достаточно, чтобы они могли продержаться. Но все это очень странно. Чего ради станет Ретт заботиться о безопасности Эшли? Конечно же, он не любит Эшли, конечно, презирает его. Тогда почему... Но раздумывать над этой загадкой ей не дал вновь нахлынувший страх за жизнь Эшли и Фрэнка.

«Ах, это я виновата во всем! — причитала она про себя. — Индия и Арчи правду сказали. Во всем виновата я. Но я ведь никогда не думала, что Фрэнк или Эшли настолько безрассудны, чтобы присоединиться к клану! И я никогда не думала, что мне что‑то может угрожать! Да и нельзя мне было поступать иначе. Мелани правду сказала. Люди должны делать то, что положено. А я должна следить за тем, чтобы работали лесопилки! И мне необходимы деньги! А теперь я, наверное, все потеряю и в общем‑то по своей вине!»

Прошло немало времени, и вот голос Мелани дрогнул — она осеклась и умолкла. Повернула голову к окну и уставилась в него, точно за стеклом вовсе не стоял солдат‑янки и не смотрел на нее. Остальные, заметив ее напряженную позу, тоже подняли головы и тоже стали прислушиваться.

Послышался стук копыт и пение — приглушенное закрытыми окнами и дверьми и относимое ветром, но все же отчетливо слышное. Это была самая мерзкая и ненавистная из всех песен — песня про солдат Шермана «Шагая по Джорджии», и пел ее Ретт Батлер.

Не успел он допеть первый куплет, как два других пьяных голоса принялись подпевать — громко, по‑дурацки, спотыкаясь на словах, сливая их вместе. У парадного входа раздалась команда капитана Джэффери и послышался быстрый топот ног. Но еще прежде, чем звуки команды долетели до гостиной, дамы в изумлении переглянулись. Ведь пьяные голоса, тянувшие песню вместе с Реттом, принадлежали Эшли и Хью Элсингу.

На дорожке у входа завязался громкий разговор; слышался отрывистый, вопрошающий голос капитана Джэффери, пронзительный, прерываемый дурацким хохотом голос Хью, густой, беззаботный бас Ретта и неестественный, странный голос Эшли, который все повторял:

— Какого черта! Какого черта!

«Нет, это не может быть Эшли! — вертелось в мозгу Скарлетт. — Он же никогда не напивается! А Ретт... Ретт, когда напьется, становится совсем, совсем тихим... он никогда так не шумит!»

Мелани поднялась с места, и вместе с ней поднялся Арчи. Раздался резкий возглас капитана: «Эти двое — арестованы». И Арчи схватился за рукоятку пистолета.

— Нет, — решительно шепнула Мелани. — Нет. Предоставь это мне.

И Скарлетт увидела на ее лице такое же выражение, как в тот день в Таре, когда Мелани стояла на площадке лестницы и, сжимая в слабом кулачке тяжелую саблю, глядела вниз на мертвого янки, — нежное, застенчивое существо, превращенное обстоятельствами в настороженную, разъяренную тигрицу. Мелани широко распахнула парадную дверь.

— Тащите его сюда, капитан Батлер, — крикнула она звонким, не лишенным яда голосом. — Вы, должно быть, опять напоили его до бесчувствия. Тащите же его сюда.

Со стороны темной дорожки, по которой гулял ветер, послышался голос капитана‑янки:

— Извините, миссис Уилкс, но ваш муж и мистер Элсинг арестованы.

— Арестованы? За что? За то, что напились? Если бы в Атланте арестовывали за пьянство, то весь ваш гарнизон не вылезал бы из тюрьмы! Ну, тащите же его сюда, капитан Батлер, если, конечно, сами в состоянии идти.

Скарлетт соображала медленно, и сначала в голове у нее была полнейшая каша. Она же понимала, что ни Ретт, ни Эшли не пьяны, и понимала, что Мелани это понимает. И однако же, вот тут стоит Мелани, обычно такая мягкая и благовоспитанная, и кричит как мегера, да еще при янки, уверяя, что и Ретт и Эшли пьяны до бесчувствия — даже идти не могут.

Послышалось какое‑то бормотание, краткие препирательства, пересыпаемые бранью, и чьи‑то нетвердые шаги по ступенькам крыльца. В дверном проеме показался Эшли, белый как мел; голова у него болталась, светлые волосы были спутаны, и он от шеи до колен был закутан в черную накидку Ретта. Хью Элсинг и Ретт, оба тоже еле передвигая ноги, поддерживали его с двух сторон, и было ясно, что без их помощи Эшли тут же бы упал. Следом за ними шел капитан‑янки — лицо его выражало недоверие, и в то же время все это явно его забавляло. Он остановился на пороге, из‑за плеч его с любопытством выглядывали солдаты, а в дом ворвался холодный ветер.

Перепуганная, ошарашенная Скарлетт взглянула на Мелани, потом на повисшего на руках у друзей Эшли и только тут начала что‑то понимать. Она хотела было крикнуть: «Но он же не пьяный!» — и прикусила язык. До нее вдруг дошло, что перед ней разыгрывается пьеса, пьеса отчаянно смелая, где от игры актеров зависит их жизнь. Скарлетт чувствовала, что ни она сама, ни тетя Питти в этой драме не участвуют, тогда как у остальных есть роли и они подают друг другу реплики, как актеры в хорошо отрепетированной пьесе. Она лишь наполовину понимала, что происходит, но все же достаточно, чтобы молчать.

— Да посадите же его в кресло! — возмущенно выкрикнула Мелани. — А вы, капитан Батлер, немедленно покиньте этот дом! Да как вы смеете показываться здесь после того, как снова довели его до такого состояния!

Мужчины опустили Эшли в кресло‑качалку; Ретт пошатнулся и, схватившись за спинку стула, чтобы не упасть, обратился к капитану — в голосе его звучало искреннее огорчение:

— Хорошенькую благодарность я получил, а? Не дал полиции забрать его, привел домой, а она еще орет на меня и пытается драться!

— А уж вы, Хью, постыдились бы! Что скажет ваша бедная матушка? Напились, да еще шатаетесь по городу с... с этим подлипалой, с этим любимчиком янки, капитаном Батлером! Ах, мистер Уилкс, как вы могли дойти до такого?

— Мелли, я не так уж и пьян, — пробормотал Эшли и с этими словами упал лицом на стол и остался лежать, прикрыв руками голову.

— Арчи, отведи его в спальню и уложи в постель — как всегда, — приказала Мелани. — Тетя Питти, пожалуйста, пойдите постелите ему и... Боже мой, боже мой! — Она внезапно разразилась слезами. — Ну, как он мог? Ведь он же обещал!

Арчи уже просунул руку под мышку Эшли, а перепуганная Питти неуверенно поднялась на ноги, но тут вмешался капитан:

— Не смейте его трогать. Он арестован. Сержант!

Сержант вошел в комнату, волоча за собой ружье. Ретт, явно с трудом сохраняя равновесие, положил руку на плечо капитана и постарался сосредоточить на нем свой взгляд.

— Том, ну за что ты его арестуешь? Ведь не так уж он много и выпил. Я видел его более пьяным.

— Да при чем тут, пьяный он или нет, — воскликнул капитан. — Мне плевать, пусть бы он хоть в канаве валялся. Я же не полицейский. Они с мистером Элсингом арестованы за то, что участвовали в налете клана на Палаточный городок сегодня вечером. Убиты негр и белый, и мистер Уилкс был там главарем.

— Сегодня вечером? — расхохотался Ретт. Расхохотался так безудержно, что рухнул на диван и ткнулся головой в руки. — Нет, только не сегодня вечером, Том, — произнес он, обретя, наконец, дар речи. — Эти двое были сегодня вечером со мной — с восьми часов, а все думали, что они на собрании.

— С вами, Ретт? Но... — Капитан сдвинул брови и неуверенно посмотрел на храпящего Эшли и его плачущую жену. — Но... где же вы были?

— Вот этого мне не хотелось бы говорить. — И Ретт с пьяной ухмылкой стрельнул взглядом в Мелани.

— Нет уж, вы лучше скажите!

— Пойдем, выйдем на крыльцо, и я скажу тебе, где мы были.

— Скажите здесь.

— Неприятно мне говорить это при дамах. Если бы дамы вышли из комнаты...

— Никуда я не пойду, — воскликнула Мелани, яростно промокая платочком глаза. — Я имею право знать. Где был мой муж?

— В борделе у Красотки Уотлинг, — несколько смущенно пояснил Ретт. — И он там был, и Хью, и Фрэнк Кеннеди, и доктор Мид, и... и... словом, целая компания. Мы там кутнули. Превесело. Шампанское. Девочки...

— У... у Красотки Уотлинг?

Голос Мелани взвился и оборвался, исполненный такой боли, что все в испуге посмотрели на нее. Она схватилась за грудь и, прежде чем Арчи успел подхватить ее, лишилась чувств. Поднялась суматоха: Арчи подхватил Мелани под руки, Индия кинулась на кухню за водой, тетя Питти и Скарлетт обмахивали Мелани и хлопали ее по рукам, а Хью Элсинг громовым голосом снова и снова повторял:

— Вот, радуйтесь — натворили беды! Натворили!

— Ну, теперь весь город об этом узнает, — рассвирепев, сказал Ретт. — Надеюсь, ты доволен. Том. Завтра в Атланте ни одна жена не будет разговаривать с мужем.

— Ретт, я понятия не имел... — Капитан даже вспотел, хотя из распахнутой двери в спину ему дул холодный ветер. — Стойте‑ка! А вы можете поклясться, что они были у... м‑м... у этой Красотки?

— Черт побери, конечно, — буркнул Ретт. — Да пойди спроси Красотку, если мне не веришь. А теперь разреши‑ка, я отнесу миссис Уилкс в спальню. Давай ее мне, Арчи. Да, конечно, я ее донесу. Мисс Питти, идите вперед с лампой. — Он легко взял из рук Арчи безжизненную Мелани. — А ты уложи‑ка мистера Уилкса в постель, Арчи. Я после этой ночи не желаю ни видеть его, ни даже здороваться с ним.

Тетю Питти, державшую лампу, так била дрожь, что дому явно грозила опасность пожара, но Питти все же не выронила лампы и прошагала с ней в темную спальню. Арчи, буркнув что‑то, снова просунул руку под мышку Эшли и приподнял его.

— Но... я же должен арестовать этих людей!

Уже выйдя в темный коридор, Ретт обернулся.

— Так арестуешь их утром. Они же не могут удрать — видишь, в каком они состоянии. Кстати, я до сих пор не знал, что нельзя напиваться в борделе. О господи, Том, да пятьдесят человек подтвердят тебе, что они были у Красотки.

— Всегда найдется пятьдесят свидетелей, чтобы подтвердить, что южанин был там, где его не было, — мрачно заметил капитан. — Пошли со мной, мистер Элсинг. А мистера Уилкса я оставлю под честное слово...

— Я сестра мистера Уилкса. И ручаюсь, что он к вам придет, — ледяным тоном сказала Индия. — А сейчас, может быть, вы все‑таки уйдете? Вы и так уже доставили нам немало неприятных минут.

— Чрезвычайно об этом сожалею. — Капитан неловко поклонился. — Смею лишь надеяться, что они смогут доказать, что в самом деле были у... м‑м... мисс... миссис Уотлинг. Вы передадите брату, чтобы он завтра утром явился к начальнику военной полиции для объяснений?

Индия холодно кивнула и, взявшись за ручку двери, молча дала понять капитану, что ему пора бы уже и честь знать. Капитан с сержантом попятились, Хью Элсинг вышел следом, и Индия захлопнула за ними дверь. Даже не взглянув на Скарлетт, она быстро подошла к окнам и опустила шторы. А у Скарлетт подгибались колени, и, чтобы не упасть, она ухватилась за спинку кресла‑качалки, в которой только что сидел Эшли. Опустив глаза, она вдруг увидела на подушке спинки темное влажное пятно величиной с ладонь. Ничего не понимая, она провела по нему рукой и, к своему ужасу, обнаружила на пальцах что‑то липкое, красное.

— Индия, — прошептала она, — Индия... Эшли... он ранен.

— Вы полная идиотка! Неужели вы думали, что он в самом деле пьян?

Индия резко дернула вниз последнюю штору и бегом кинулась в спальню; Скарлетт бросилась за ней, чувствуя, как сердце бьется где‑то в горле. Высокая фигура Ретта закрывала весь дверной проем, но Скарлетт поверх его плеча увидела Эшли — смертельно бледный, он неподвижно лежал на постели. Мелани, на редкость быстро оправившаяся от обморока, разрезала вышивальными ножницами его намокшую от крови рубашку. Арчи держал лампу над самой кроватью, а свободной рукой — той, на которой были искорежены пальцы, — щупал Эшли пульс.

— Он умер? — одновременно воскликнули Индия и Скарлетт.

— Нет, просто без сознания от потери крови. Он ранен в плечо, — сказал Ретт.

— Зачем вы привезли его сюда, дурак вы этакий! — воскликнула Индия. — Пустите меня к нему! Дайте же пройти! Зачем вы привезли его сюда — чтоб его арестовали?

— Он слишком ослаб и не мог ехать. И мне больше некуда было везти его, мисс Уилкс! К тому же... вы хотели бы, чтоб он уехал из родных краев, как Тони Фонтейн? Вы что, хотите, чтобы добрая дюжина ваших соседей перебралась в Техас и жила там под вымышленными именами до конца своих дней? А так еще есть шанс вытянуть их всех из беды, если Красотка...

— Пропустите меня!

— Нет, мисс Уилкс, для вас имеется другое занятие. Вам надо идти за доктором... Не за доктором Мидом. Он замешан в этом деле и, скорей всего, дает сейчас объяснения янки. Найдите какого‑нибудь другого врача. Вы не боитесь идти одна ночью?

— Нет, — сказала Индия, и светлые глаза ее сверкнули. — Не боюсь. — Она сдернула с крючка в холле накидку Мелани с капюшоном. — Я пойду за старым доктором Дином. — И, сделав над собой усилие, уже другим, более спокойным тоном она добавила: — Извините, что обозвала вас шпионом и дураком. Я ведь не знала. Я глубоко признательна вам за то, что вы сделали для Эшли... хотя по‑прежнему презираю вас.

— Я высоко ценю искренность — и благодарен вам за нее. — Ретт поклонился, уголки его губ опустились в иронической усмешке. — А теперь идите скорее, да задними дворами, и когда будете возвращаться, не входите в дом, если увидите, что вокруг него солдаты.

Индия снова бросила встревоженный взгляд на Эшли и, запахнувшись в накидку, быстро пробежала по коридору к черному ходу и тихо выскользнула в ночь.

Скарлетт, напрягая зрение, старалась рассмотреть поверх плеча Ретта, что происходит в комнате за его спиной, и сердце ее учащенно забилось, когда она увидела, как Эшли открыл глаза. Мелани, схватив с умывальника сложенное в несколько раз полотенце, приложила его к раненому плечу, и Эшли, желая успокоить ее, ответил слабой улыбкой. Скарлетт почувствовала на себе проницательный, тяжелый взгляд Ретта и поняла, что на ее лице написаны все обуревавшие ее чувства, но ей было все равно. Эшли истекает кровью, быть может, умирает, и она, которая так любит его, повинна в том, что плечо его пробито пулей. Ей хотелось кинуться к его постели, опуститься на колени, обнять его, прижать к себе, однако ноги у нее так дрожали, что она не могла ни шагу сделать. Зажав рукой рот, она стояла и смотрела, как Мелани взяла свежее полотенце, снова приложила к его плечу и надавила, словно хотела силой заставить кровь вернуться в тело. Но полотенце мгновенно стало красным.

Разве может человек так истекать кровью и все еще жить? Но слава богу, на губах Эшли не было кровавой пены — ах, эти кровавые пузыри, предвестники смерти, Скарлетт так отчетливо помнила их после того страшного дня битвы при Персиковом ручье, когда раненые умирали на лужайке у тети Питти, испуская окровавленным ртом последний вздох.

— Возьмите себя в руки, — сказал Ретт, и голос его прозвучал жестко, чуть насмешливо. — Он не умрет. А теперь пойдите и посветите миссис Уилкс. Мне нужно послать кое‑куда Арчи.

Арчи поверх лампы взглянул на Ретта.

— Вы мной не командуйте! — коротко отрезал он, перемещая языком табачную жвачку за другую щеку.

— Делай то, что он скажет, — сурово приказала Мелани, — да быстро. Все делай, что скажет капитан Батлер. Скарлетт, возьми у него лампу.

Скарлетт вошла в комнату и взяла лампу обеими руками, чтобы не уронить. Глаза Эшли снова закрылись. Его голая грудь медленно приподнялась и быстро опустилась, и между испуганно заметавшимися пальчиками Мелани потекла красная жидкость. Скарлетт смутно слышала, как Арчи проковылял через комнату к Ретту, слышала, как Ретт что‑то быстро говорил, понизив голос. Все ее мысли были настолько поглощены Эшли, что до ее сознания дошли лишь обрывки того, что сказал Ретт:

— Возьми мою лошадь... она привязана у дома... скачи во весь опор.

Арчи что‑то буркнул вопросительно, и Скарлетт услышала, как Ретт ответил:

— Бывшая плантация Салливана. Балахоны найдешь в дымоходе самого большого камина. Сожги их.

— Угу, — снова буркнул Арчи.

— И там еще два... человека в погребе. Постарайся уложить их на лошадь и отвезти на пустырь, что за домом Красотки, — между ее домом и железной дорогой. Будь осторожен. Если тебя увидят, то повесят, а вместе с тобой и всех нас. Положи их на том участке, а рядом брось пистолеты — нет, лучше вложи им в руки. Вот — бери мои.

Обернувшись, Скарлетт увидела, как Ретт завел руку под фалды сюртука и извлек два пистолета. Арчи взял их и сунул себе за пояс.

— Дай из каждого по выстрелу. Так оно будет выглядеть, будто они пристрелили друг друга. Понял?

Арчи кивнул, точно он и в самом деле все понял, и в его холодном взгляде промелькнуло уважение. А вот Скарлетт ничего не поняла. Последние полчаса были таким кошмаром, что ей казалось, теперь уже ничто никогда не станет ясным и понятным. Однако Ретт, видимо, прекрасно разбирался во всей этой путанице, и Скарлетт немного успокоилась.

Арчи уже повернулся было, чтобы идти, но вдруг остановился, вопрошающе глядя на Ретта своим единственным глазом.

— Он?

— Да.

Арчи опять что‑то буркнул и сплюнул на пол.

— Не шуточки, — сказал он и заковылял через холл к черному ходу.

Что‑то в этом тихом обмене вопросами и ответами вызвало у Скарлетт новый прилив страха и догадок, и страх этот начал расти в ее груди, наполняя ее холодом. И когда он прорвался наружу...

— А где Фрэнк? — воскликнула она.

Ретт быстро пересек комнату и подошел к кровати Эшли — его широкоплечая фигура двигалась по‑кошачьи бесшумно и легко.

— Всему свое время, — сказал он и слегка улыбнулся. — Не наклоняйте лампу, Скарлетт. Вы же не хотите сжечь мистера Уилкса. Мисс Мелли...

Мелани, как хороший солдат, ожидающий команды, быстро подняла на него глаза, даже не заметив от волнения, что Ретт впервые фамильярно назвал ее по имени.

— Прошу прощения, я хотел сказать: миссис Уилкс...

— Ах, капитан Батлер, пожалуйста, не извиняйтесь! Я почту за честь, если вы будете звать меня «Мелли» без всякой «мисс»! У меня к вам такое чувство, будто вы мой... мой брат или... ну, по крайней мере двоюродный. Какой же вы добрый и какой умный! Смогу ли я когда‑нибудь отблагодарить вас за все!

— Спасибо, — сказал Ретт и на какое‑то мгновение даже смутился. — Я не должен был бы себе это позволять, но, мисс Мелли, — извиняющимся тоном продолжал он, — мне, право, жаль, что пришлось сказать, будто мистер Уилкс был в доме Красотки Уотлинг. Мне очень жаль, что пришлось его и остальных втянуть в такую... такую... Но когда я уехал от вас, надо было что‑то срочно придумать, и ничего другого мне в голову не пришло. Я знал, что моему слову поверят, потому что у меня много друзей среди офицеров‑янки. Они оказывают мне сомнительную честь, считая за своего, ибо знают мою... назовем это «непопулярность»... среди земляков. И я, видите ли, действительно играл в покер в баре у Красотки сегодня вечером. И там было с десяток солдат‑янки, которые могут это подтвердить. А Красотка и ее девочки с восторгом будут до посинения утверждать, что мистер Уилкс и все остальные провели весь вечер... у них наверху. И янки поверят им. В этом отношении янки — странные люди. Им невдомек, что женщины... м‑м... определенной профессии способны быть преданными патриотами. Янки не поверили бы ни одной добропорядочной атлантской леди, поклянись она в том, что мужчины, отправившиеся сегодня на собрание, находились там‑то, но они поверят клятве... женщины легкого поведения. И я думаю, можно надеяться, что с помощью честного слова одного подлипалы и десятка женщин легкого поведения удастся вызволить ваших мужчин из беды.

При последних словах на лице его появилась сардоническая усмешка, которая тут же исчезла, ибо Мелани в эту минуту повернулась к нему с выражением безграничной благодарности во взгляде.

— Капитан Батлер, вы такой умница! Да вы могли сказать, что они были сегодня вечером в аду, лишь бы это спасло их! Потому что ведь я‑то знаю, как знают и все, чье мнение мне дорого, что мой муж никогда не бывал в таких мерзких местах!

— Видите ли... — несколько неуверенно произнес Ретт, — дело в том, что он в самом деле был сегодня у Красотки.

Мелани с ледяным видом выпрямилась.

— Вы никогда не заставите меня поверить подобной лжи!

— Прошу вас, мисс Мелли, дайте мне объяснить! Когда я сегодня вечером прискакал в бывшее поместье Салливана, то обнаружил там раненого мистера Уилкса и с ним Хью Элсинга, доктора Мида и старика Мерриуэзера...

— Но он же совсем старый! — воскликнула Скарлетт.

— Мужчины и в старости способны глупить. И еще вашего дядю Генри...

— О господи, смилуйся над нами! — воскликнула тетя Питти.

— Остальные после схватки с солдатами разбежались, а эта группа вернулась на плантацию Салливана, чтобы спрятать в трубе свои балахоны и посмотреть, насколько тяжело ранен мистер Уилкс. Если бы не его рана, они бы уже сейчас мчались в Техас — все без исключения, — но ему так далеко было не доехать, а бросать его они не хотели. Необходимо было найти алиби, чтобы доказать, что они находились совсем не там, где были на самом деле, и я всех их объездными путями привез к Красотке Уотлинг.

— А‑а... понятно. Прошу извинить меня за резкость, капитан Батлер. Теперь я понимаю, что необходимо было отвезти их туда, но... Ах, капитан Батлер, люди же наверняка видели, когда они туда заходили!

— Никто нас не видел. Мы прошли в дом через черный ход, которым никто, кроме его обитательниц, не пользуется: он выходит на железнодорожное полотно. Там всегда темно, и дверь заперта.

— Тогда каким же образом?..

— У меня есть ключ, — коротко ответил Ретт, спокойно встретясь с Мелани взглядом.

Поняв, что это означает, Мелани так смутилась, что затеребила полотенце и оно съехало с плеча Эшли.

— Я вовсе не хотела любопытствовать, — глухо сказала она и, густо покраснев, поспешно вернула полотенце на место.

— Сожалею, что пришлось говорить даме о таких вещах.

«Так, значит, это правда! — подумала Скарлетт, и сердце у нее почему‑то упало. — Значит, он действительно живет с этой отвратительной Уотлинг! И ему принадлежит ее дом!»

— Я позвал Красотку и все ей объяснил. Я дал ей список тех, кого сегодня вечером не было дома, и она с девочками под присягой подтвердят, что все эти люди провели сегодняшний вечер у нее. Затем, чтобы наш уход не прошел незамеченным, она позвала двух вышибал, которых держит в доме для порядка, и велела им спустить этих хвативших лишку пьяниц и скандалистов с лестницы, — а мы при этом отчаянно сопротивлялись, — протащить через бар и вышвырнуть на улицу. — Он усмехнулся, видимо вспомнив, как это было. — Доктор Мид оказался совсем никудышным пьяницей. Его чувство собственного достоинства было явно уязвлено уже тем, что он находится в таком месте. А вот ваш дядя Генри и старик Мерриуэзер лихо себя вели. Театр потерял двух великих актеров — жаль, что они не пошли на сцену. Причем все это им явно нравилось. Боюсь, у вашего дяди останется синяк под глазом — так разбушевался мистер Мерриуэзер. Он...

В эту минуту дверь черного хода распахнулась и вошла Индия, а следом за ней старый доктор Дин. Его длинные седые волосы были всклокочены, под накидкой бугром выпирал лекарский саквояжик. Он молча кивнул всем и, быстро подойдя к постели, приподнял полотенце, лежавшее на плече Эшли.

— Легкое не задето — слишком высоко, — сказал он. — Если ему не раздробило ключицу, то ничего серьезного. Ну‑ка, дамы, дайте мне побольше полотенец и ваты, если у вас есть, а также коньяку.

Ретт взял у Скарлетт лампу и поставил на столик, а Мелани с Индией засуетились, выполняя указания врача.

— Вам здесь нечего делать. Пойдемте со мной в гостиную, посидим у огня. — Ретт взял Скарлетт под руку и вывел из комнаты. В его голосе и в том, как он держал ее за локоть, была необычная мягкость. — У вас ведь препоганый был день, верно?

Она позволила ему отвести себя в гостиную и остановилась на ковре поближе к камину — ее трясло. Боль догадки все разрасталась в груди. Впрочем, теперь это была уже не догадка, а уверенность. И уверенность страшная. Скарлетт посмотрела в застывшее лицо Ретта и на секунду лишилась дара речи. Потом все же спросила:

— А Фрэнк... тоже был у Красотки Уотлинг?

— Нет. — Голос Ретта звучал ровно. — Арчи везет его сейчас на пустырь, что за домом Красотки. Он мертв. Убит выстрелом в голову.

### Глава XLVI

Лишь немногие семьи в северной части города спали в ту ночь, ибо весть о разгроме клана и об уловке Ретта стала очень скоро известна благодаря Индии Уилкс, которая словно призрак бесшумно появлялась на заднем дворе, жарким шепотом сообщала новость в приоткрытую кухонную дверь и исчезала в пронизанной ветром темноте. А за ней шлейфом тянулись страх и отчаянная надежда.

Снаружи дома казались темными, молчаливыми, окутанными сном, а внутри до самой зари шепотом шли страстные споры. Не только участники ночного рейда, но все члены ку‑клукс‑клана были настороже, готовые в любую минуту бежать, и на Персиковой улице почти в каждой конюшне стояли лошади, оседланные в темноте, с притороченными к седлам пистолетами и провиантом в седельных мешках. Задерживал это вселенское бегство совет, шепотом переданный Индией: «Капитан Батлер сказал, что бежать не надо. На дорогах будут выставлены посты. Он условился с этой Уотлинг...» А в темных комнатах мужчины шепотом спрашивали: «Но почему, собственно, я должен верить этому чертову подлипале Батлеру? Ведь это, вполне возможно, западня!» А женские голоса молили: «Не уезжай! Если он спас Эшли и Хью, он, может, спасет и остальных. И если Индия и Мелани верят ему...» И мужчины тоже начинали верить, но лишь наполовину, тем не менее они не двигались с места, потому что иного выхода не было.

В начале ночи солдаты постучали в один, другой, третий дом и тех, кто не мог или не хотел сказать, где он был вечером, арестовали и увели. Рене Пикар и один из племянников миссис Мерриуэзер, сыновья Симмонса и Энди Боннелл оказались среди тех, кто провел ночь в тюрьме. Они тоже участвовали в злосчастном налете, но успели удрать, когда началась стрельба. Они во весь опор мчались домой и были арестованы, прежде чем узнали о плане Ретта. По счастью, в ответ на вопрос о том, где они провели вечер, все сказали, что это их дело, а не чертовых янки. Их посадили под замок до последующего допроса утром. А дедушка Мерриуэзер и дядя Генри Гамильтон беззастенчиво заявили, что провели вечер в борделе Красотки Уотлинг, и когда капитан Джэффери раздраженно заметил, что они слишком стары для подобных похождений, они чуть не набросились на него с кулаками.

Красотка Уотлинг сама вышла к капитану Джэффери и, прежде чем он успел сообщить о цели своего прихода, закричала, что дом ее закрыт на всю ночь. Еще засветло к ней‑де заявилась компания буйных пьяниц, они начали драться, разнесли все в доме, разбили ее лучшие зеркала и так перепугали барышень, что ни о каких развлечениях сегодня ночью и речи быть не может. Но если капитану Джэффери охота выпить, то бар еще открыт...

Капитан Джэффери, задетый за живое ухмылками своих солдат и чувствуя себя совершенно беспомощным, словно он гонялся за призраками, свирепо заявил, что не нужны ему ни барышни, ни выпивка — он только желает знать, известны ли Красотке имена ее буйных клиентов. Ну конечно, известны. Это постоянные посетители. Они приходят каждую среду вечером и называют себя «средовыми демократами», а что это значит — она понятия не имеет, да и не все ли ей равно. Но если они не заплатят за зеркала, разбитые в верхнем зале, она напустит на них закон. У нее почтенное заведение и... Ах, их имена? Красотка без заминок выложила имена двенадцати подозреваемых. Капитан Джэффери кисло улыбнулся.

— Эти чертовы смутьяны организованы не хуже нашей тайной полиции, — сказал он. — Вам и вашим барышням придется предстать завтра перед начальником.

— А начальник заставит их заплатить мне за зеркала?

— Да пошли вы к черту с вашими зеркалами! Пусть Ретт Батлер заплатит вам за них. Ведь дом‑то принадлежит ему, верно?

Еще до зари семьи бывших конфедератов в городе уже все знали. И их негры, которым никто ничего не говорил, тоже все знали благодаря системе устного черного телеграфа, непостижимой для понимания белого человека. Знали подробности набега, как были убиты Фрэнк Кеннеди и горбун Томми Уэлберн и как был ранен Эшли, когда нес тело Фрэнка.

Неистребимая ненависть, которую женщины питали к Скарлетт, развязавшей эту трагедию, несколько приутихла от сознания, что муж ее мертв и она знает это, но лишена возможности заявить во всеуслышание и потребовать, чтобы ей выдали его тело. Пока при свете утра не обнаружат трупы и власти официально не сообщат об этом Скарлетт, она ничего не должна знать. А тем временем Фрэнк и Томми окоченевали среди засохших трав пустыря с пистолетами в застывших руках. И теперь янки заявят, что они убили друг друга спьяну, подравшись из‑за девицы в доме Красотки. Все сочувствовали Фэнни, жене Томми, которая недавно произвела на свет младенца, но никто не мог проскользнуть к ней под покровом темноты, чтобы ее утешить, потому что дом был окружен взводами янки, поджидавших возвращения Томми. А другой взвод окружил дом тети Питти, поджидая Фрэнка.

Еще до зари по городу поползли слухи о том, что расследование будут вести военные власти. Южане — глаза у всех были опухшие после ночи, проведенной без сна, в тревоге и ожидании, — понимали, что жизнь целой группы их сограждан зависит от трех обстоятельств: от способности Эшли Уилкса подняться с постели и предстать перед военными властями с таким видом, будто у него всего лишь болит с похмелья голова; от показаний Красотки Уотлинг, что эти мужчины провели весь вечер у нее в доме, и от показаний Ретта Батлера, что он был с ними.

Город трясло от беспомощной злости при упоминании этих двух имен. Красотка Уотлинг! Быть обязанной ей жизнью своего мужа — нет, это невыносимо! Женщины, переходившие на другую сторону улицы при виде Красотки, со страхом думали сейчас, помнит ли она об этом, и содрогались от ужаса при мысли, что помнит. Мужчины не чувствовали особого унижения от того, что будут обязаны жизнью Красотке, ибо многие, в противоположность своим женам, считали, что она женщина совсем неплохая. Их возмущало другое — то, что они обязаны жизнью и свободой Ретту Батлеру, этому спекулянту и подлипале. Красотка и Ретт — самая известная в городе женщина легкого поведения и самый ненавистный в городе человек. И теперь они, южане, будут всем обязаны этим людям.

Приводила их в бессильную ярость и другая мысль — сознание, что они станут предметом насмешек янки и «саквояжников». Ох, как те будут потешаться! Двенадцать самых видных горожан оказались завсегдатаями борделя Красотки Уотлинг! И двое убили друг друга в схватке из‑за какой‑то девицы, а остальных выкинули из дома свиданий, потому что они были настолько пьяны, что даже Красотка не пожелала терпеть их присутствие, при этом кое‑кого посадили под замок, ибо они отказались признаться, что были там, хотя всем известно, что они там были!

Атланта недаром опасалась, что ее горожане станут посмешищем для янки. Эти последние слишком долго терпели холодность и презрение южан и теперь не знали удержу. Офицеры будили приятелей и рассказывали новость. Мужья на заре будили жен и сообщали им все, что считали возможным сообщить женщине. А женщины, поспешно одевшись, бежали к соседям и распространяли слухи. Женщины‑янки нашли эту историю прелестной и хохотали до слез. Вот они, южане, — рыцари и галантные джентльмены! Может быть, теперь эти южанки, которые ходили, высоко задрав голову, и с презрением отвергали все попытки установить дружбу, не станут больше задаваться — ведь ныне всем известно, где проводят время их мужья, делая вид, будто идут на собрание. Политические собрания! Смех, да и только!

Но хоть янки и смеялись, Скарлетт вызывала у них жалость и сочувствие. В конце концов Скарлетт — леди, и притом одна из немногих в Атланте, кто неплохо относится к янки. Они симпатизировали ей уже потому, что она вынуждена была работать, ибо муж не мог или не хотел должным образом ее содержать. И хотя муж у бедняжки был никудышный, а все‑таки это ужасно — узнать, что он ей изменял. А еще ужаснее узнать об измене одновременно с известием о его смерти. В конце концов, лучше иметь плохого мужа, чем никакого, и дамы‑янки решили быть особенно внимательными к Скарлетт. Что же до остальных — миссис Мид, миссис Мерриуэзер, миссис Элсинг, вдовы Томми Уэлберна и других, в том числе миссис Эшли Уилкс, — то вот над ними они уж посмеются. Может, хоть тогда эти гордячки станут повежливее.

Словом, в темных комнатах на северной стороне города шепотом говорили преимущественно об этом. Дамы Атланты пылко объявляли мужьям: им‑де глубоко безразлично, что думают янки. В глубине же души они считали, что легче подвергнуться наказанию плетьми, чем переживать эту пытку — видеть ухмылки на лицах янки и не быть в состоянии сказать правду о своих мужьях.

Доктор Мид, чье чувство собственного достоинства было глубоко уязвлено, — надо же, в какое дурацкое положение поставил его и всех остальных Ретт! — заявил миссис Мид, что, не будь с ним других, он предпочел бы во всем признаться и пусть бы его повесили, чем выдумывать, будто он провел вечер в доме у Красотки.

— Это же оскорбительно для вас, миссис Мид, — кипятился он.

— Но все знают, что вы там не были, потому что... потому...

— А янки знают другое. И если мы спасем наши шеи, то лишь потому, что они поверят. А уж как будут смеяться! Меня же одна мысль, что кто‑то может этому поверить и станет надо мной смеяться, приводит в ярость. И как это оскорбительно для вас, потому что... дорогая моя, я же всегда был вам верен.

— Я это знаю. — Миссис Мид улыбнулась в темноте и сунула свою тощую ручку в руку доктора. — Но уж пусть лучше это будет правдой, только бы ни один волос не упал с вашей головы.

— Миссис Мид, да вы понимаете, что вы говорите? — воскликнул доктор, потрясенный столь неожиданно реалистическим подходом жены к подобным вещам.

— Да, понимаю. Я потеряла Дарси, я потеряла Фила, и вы — все, что у меня осталось, поэтому хоть поселитесь у этой Красотки навечно, лишь бы мне вас не потерять.

— Вы в своем уме?! Вы просто не понимаете, что вы говорите.

— Старый вы дуралей! — нежно произнесла миссис Мид и ткнулась головой ему в плечо.

Доктор Мид попыхтел было в наступившей тишине, погладил по щеке жену, потом снова не выдержал:

— Да еще быть обязанным этому Батлеру! Нет, лучше пойти на виселицу. Даже если он спас мне жизнь, все равно я не могу быть с ним вежлив. Его наглости нет предела, а от его бесстыдства — ведь он же самый настоящий спекулянт! — я весь киплю. Знать, что тебе спас жизнь человек, который никогда не служил в армии...

— Мелли говорит, он записался в армию после того, как пала Атланта.

— Это ложь. Мисс Мелли готова поверить любому ловкому мерзавцу. А главное, я не могу понять, почему он все это делает, почему так заботится о нас. Не хочется мне это говорить, но... его имя всегда ведь связывали с именем миссис Кеннеди. В прошлом году я частенько видел, как они вдвоем раскатывали в коляске. Должно быть, он это делает ради нее.

— Если бы все дело было в Скарлетт, он и пальцем бы не шевельнул. Он был бы только рад отправить Фрэнка Кеннеди на виселицу. Я лично думаю — это все из‑за Мелли...

— Миссис Мид, не хотите же вы сказать, что между ними что‑то было!

— Ах, не говорите глупостей! Просто Мелли всегда питала к нему непонятную слабость — особенно после того, как он пытался обменять Эшли во время войны. Ну и он, надо сказать, никогда в ее присутствии не улыбается этой своей мерзкой улыбочкой. К ней он всегда внимателен, и заботлив, точно... точно совсем другой человек. Глядя на то, как он ведет себя при Мелли, начинаешь думать, что он мог бы быть вполне приличным человеком, если б захотел. Так вот, я считаю, что он делает все это... — Она помолчала. — Вам моя мысль не понравится, доктор.

— Мне вообще все это не нравится!

— Так вот, я думаю, что делает он это частично ради Мелли, а главным образом для того, чтобы иметь возможность поиздеваться над нами. Мы все так ненавидели его и так открыто это высказывали — и вот очутились у него в руках, а теперь либо вы должны утверждать, что были в доме этой Уотлинг и тем самым унизить себя и своих жен перед янки, либо сказать правду и пойти на виселицу — иного выбора нет. И он понимает, что мы все теперь будем обязаны ему и его... любовнице и что нам легче пойти на виселицу, чем быть обязанными им. О, бьюсь об заклад, он получает от всего этого огромное удовольствие.

Доктор крякнул.

— Он и в самом деле очень веселился, когда вел нас в тот дом на второй этаж.

— Доктор, — миссис Мид помедлила, — а как там вообще?

— О чем вы, миссис Мид?

— Да в том доме. Как там? Висят хрустальные люстры? И красные плюшевые портьеры, а вокруг зеркала в золоченых рамах от пола до потолка? Ну, и, конечно, девицы — они раздетые?

— Мать пресвятая богородица! — воскликнул доктор, потрясенный до глубины души, ибо ему никогда и в голову не приходило, что целомудренная женщина может испытывать любопытство к своим нецеломудренным сестрам. — Как вы можете задавать столь нескромные вопросы? Вы просто не в себе. Я сейчас дам вам успокоительное.

— Не нужно мне никакого успокоительного. Я просто интересуюсь. О господи, ведь это единственный для меня случай узнать, как выглядит дом с такой репутацией, а вы не хотите рассказать!

— Я ничего не заметил. Уверяю вас, я был бесконечно смущен, оказавшись в подобном месте. Мне и в голову не пришло посмотреть вокруг, — сухо сказал доктор, неизмеримо более расстроенный этой неожиданно обнаружившейся чертой в характере жены, чем всеми событиями истекшего вечера. — А теперь увольте меня от дальнейших расспросов: я хотел бы поспать.

— Ну, так и спите, — разочарованно проговорила миссис Мид. Но когда доктор нагнулся снять сапоги, из темноты до него донесся ее вдруг повеселевший голос: — Долли Мерриуэзер наверняка сумела все вытянуть из своего старика, так что я от нее узнаю.

— Боже праведный, миссис Мид! Не хотите же вы сказать, что приличные женщины беседуют между собой на такие темы...

— Ах, да ложитесь вы, — сказала миссис Мид.

На следующий день шел мокрый снег, но когда сгустились зимние сумерки, ледяная крупа перестала сеяться с неба и задул холодный ветер. Запахнувшись в накидку, Мелани вышла на дорожку перед своим домом и, недоумевая, последовала за незнакомым негром‑кучером, таинственно попросившим ее подойти к закрытой карете, которая стояла перед домом. Когда Мелани подошла к карете, дверца открылась, и она увидела неясные очертания женской фигуры.

Нагнувшись, вглядываясь в полумрак, Мелани спросила:

— Кто вы? Может быть, зайдете в дом? А то на улице так холодно...

— Прошу вас, сядьте в карету и побудьте со мной минуту, мисс Уилкс, — раздался из глубины смутно знакомый, смущенный голос.

— Ах, это мисс... миссис... Уотлинг! — воскликнула Мелани. — Мне так хотелось вас увидеть! Вы непременно должны к нам зайти.

— Да разве я могу, мисс Уилкс. — Судя по голосу, Красотка явно была удивлена подобным предложением. — Лучше вы залезайте сюда и посидите со мной минутку.

Мелани забралась в карету, и кучер закрыл за ней дверцу. Она опустилась на сиденье рядом с Красоткой и протянула ей руку.

— Как мне благодарить вас за то, что вы сегодня сделали! Да разве кто‑нибудь из нас сможет в достаточной мере вас отблагодарить!

— Мисс Уилкс, не следовало вам посылать мне сегодня утром эту записку. Я‑то, конечно, только горжусь, что получила ее, но ведь янки могли ее перехватить. А вы еще написали, что хотите приехать, чтоб поблагодарить меня... Мисс Уилкс, вы, видно, ума решились! Надо же придумать такое! Вот я и приехала, как стемнело, чтоб сказать вам: вы даже и не думайте о таком. Ведь я... ведь вы... совсем это негоже.

— Негоже мне приехать к доброй женщине, которая спасла жизнь моему мужу, и поблагодарить ее?

— Да перестаньте вы, мисс Уилкс! Вы же понимаете, о чем я!

Мелани умолкла, смущенная тем, на что намекала Красотка. Эта красивая, строго одетая женщина, сидевшая в полутьме кареты, и выглядела и говорила совсем не так, как, по представлению Мелани, должна была бы выглядеть и говорить дурная женщина, хозяйка Заведения. А эта хоть и выражалась простовато, по‑деревенски, но речь ее звучала приятно и чувствовалось, что она добрая.

— Вы были сегодня просто поразительны, когда отвечали начальнику полиции, миссис Уотлинг! Вы и ваши... ваши девушки безусловно спасли жизнь нашим мужьям.

— Это мистер Уилкс — вот кому надо поражаться. И как только он мог стоять и говорить, да еще с таким спокойным видом. А ведь когда я вчера вечером его видела, кровь из него так и хлестала, как из зарезанного поросенка. Обойдется это у него, мисс Уилкс?

— Да, благодарю вас. Доктор говорит, это всего лишь поверхностная рана, хоть он и потерял ужасно много крови. А сегодня утром он... словом, пришлось влить в него изрядную порцию виски, иначе у него не хватило бы сил так стоически все это выдержать. Но спасли их все‑таки вы, миссис Уотлинг. Когда вы, распалясь, начали говорить про разбитые зеркала, это звучало так... так убедительно.

— Спасибо вам, мэм. Но, по‑моему... по‑моему, капитан Батлер тоже был молодцом, — сказала Красотка, и в голосе ее прозвучала неприкрытая гордость.

— О, он был поразителен! — горячо воскликнула Мелани. — Янки просто не могли не поверить его свидетельство. Он так это все ловко преподнес. Никогда я не сумею его отблагодарить, да и вас тоже. Какая вы хорошая и добрая!

— Пребольшое вам спасибо, мисс Уилкс. Это для меня удовольствие — сделать такое дело. Я... я надеюсь, не очень это вас огорчило, когда я сказала, что мистеру Уилкс — постоянный мой клиент. А он ведь, знаете ли, никогда...

— Да, знаю. Нет, это меня нисколько не огорчило. Я просто бесконечно вам благодарна.

— А вот другие дамы, могу поклясться, вовсе мне не благодарны, — с неожиданной злостью сказала Красотка. — И могу поклясться, вовсе они не благодарны и капитану Батлеру. И могу поклясться, теперь только больше будут его ненавидеть. И могу поклясться, вы — единственная, которая хоть спасибо‑то мне сказала. И могу поклясться, они даже не посмотрят на меня, когда встретят на улице. Но мне все равно. Мне плевать, хоть бы всех их мужей перевешали. А вот на мистера Уилкса — не наплевать. Понимаете, не забыла я, какая вы были добрая ко мне во время войны, как деньги у меня на госпиталь взяли. Во всем городе не было дамы такой доброй ко мне, а я доброту не забываю. И как подумала я про то, что вы останетесь вдовой с маленьким мальчиком, если мистера Уилкса повесят, так... Он у вас такой милый, ваш мальчик, мисс Уилкс. У меня у самой есть мальчик, и потому я...

— Ах, вот как? И он живет... м‑м...

— Ах, нет, мэм! Он не здесь, не в Атланте. Он тут никогда не был. Он у меня в школе. Последний раз я видела его, когда он был еще совсем маленьким. Я... вообще‑то, когда капитан Батлер попросил меня солгать, чтоб выручить людей, я спросила, кто они, и как услышала, что среди них — мистер Уилкс, ни минутки не стала раздумывать. Я сказала моим девочкам, так сказала: «Я из вас душу вытрясу, ежели не скажете, что были с мистером Уилксом весь вечер».

— О‑о! — вырвалось у Мелани, которую еще больше смутило это упоминание Красотки о ее «девочках». — О‑о, это... м‑м... вы были так добры и... ну, и они тоже.

— Вы ведь это заслужили! — пылко произнесла Красотка. — Для всякого я бы такого не стала делать. Если б речь шла только о муже мисс Кеннеди, я б и пальцем не шевельнула, что бы там капитан Батлер ни говорил.

— Почему?

— Видите ли, мисс Уилкс, люди, которые моим делом занимаются, много всякой всячины знают. Высокочтимые леди так бы удивились, так поразились, проведай они, сколько мы про них знаем. А мисс Кеннеди — нехорошая женщина, мисс Уилкс. Это она убила своего мужа и этого славного парня Уэлберна — все равно что сама пристрелила. Это она всю кашу заварила — зачем по Атланте раскатывала, негров и белую рвань дразнила. Да ни одна из моих девчонок...

— Не надо говорить так плохо о моей родственнице. — Мелани застыла, напряглась.

Красотка примирительным жестом положила было руку на локоть Мелани и тут же отдернула.

— Не окатывайте меня холодной водой, мисс Уилкс. Мне трудно это вынести после того, как вы были такой доброй и милой. Я совсем забыла, что вы ее любите, и очень жалею, что так сказала. Жалко мне беднягу мистера Кеннеди. Он был славный человек. Я покупала у него кое‑что для моего заведения, и он всегда был со мной такой милый. А вот мисс Кеннеди — не одного она с вами поля ягода, мисс Уилкс. Очень она женщина холодная — так уж я считаю, ничего не поделаешь... Когда же мистера Кеннеди‑то хоронить будут?

— Завтра утром. И вы не правы насчет мисс Кеннеди. Вот хоть сейчас — она даже слегла от горя.

— Всякое бывает, — с явным недоверием сказала Красотка. — Ну, мне пора. Боюсь, как бы кто не признал моей кареты, если я здесь слишком долго торчать буду, а вам это ни к чему. И еще, мисс Уилкс: если вы когда увидите меня на улице, вы... вам вовсе не обязательно говорить со мной. Я ведь все понимаю.

— Я буду счастлива поговорить с вами. И я горжусь тем, что обязана вам. Надеюсь... надеюсь, мы еще встретимся.

— Нет, — сказала Красотка. — Негоже это. Доброй вам ночи.

### Глава XLVII

Скарлетт сидела у себя в спальне и ковыряла вилкой еду, принесенную на ужин Мамушкой, прислушиваясь к ветру, рвавшемуся куда‑то из темноты. В доме было пугающе тихо — даже тише, чем когда Фрэнк лежал в гостиной всего несколько часов назад. А потом заходили на цыпочках, зашептали приглушенными голосами; тихо застучали парадные двери; заглядывали соседки, шурша юбками, и шепотом высказывали сочувствие; всхлипывала сестра Фрэнка, приехавшая на похороны из Джонсборо.

А сейчас дом погрузился в тишину. И хотя дверь в спальню Скарлетт была открыта, снизу не доносилось ни звука. Уэйда и малышку переселили к Мелани, как только тело Фрэнка внесли в дом, и Скарлетт недоставало топота детских ножек и гуканья малышки. На кухне явно царило перемирие: не слышно было обычной перебранки Питера, Мамушки и кухарки. Даже тетя Питти из уважения к горю Скарлетт не качалась в своем кресле‑качалке внизу в библиотеке.

Никто не нарушал одиночества Скарлетт, считая, что она хочет, чтобы ее оставили в покое, наедине с горем, а Скарлетт меньше всего хотелось быть одной. Будь это всего лишь горе, она пережила бы его, как переживала ранее. Но помимо потрясения от потери мужа, она испытывала еще страх, и раскаяние, и муки внезапно проснувшейся совести. Впервые в жизни Скарлетт сожалела, что так себя вела, и, охваченная суеверным страхом, то и дело поглядывала на кровать, где еще недавно лежала с Фрэнком.

Она убила Фрэнка. Несомненно убила, все равно как если бы сама нажала на курок. Фрэнк просил ее не ездить одной, но она его не послушалась. И вот теперь он мертв из‑за ее упрямства. Бог накажет ее за это. Но на совести ее лежал и другой грех — лежал даже более тяжким и страшным грузом, чем его смерть; и этот грех никогда не тревожил ее, пока она не увидела лица Фрэнка в гробу. Его застывшее лицо было таким беспомощным и жалостным, оно обвиняло ее. Бог накажет ее за то, что она вышла за него замуж, тогда как он‑то любил ведь Сьюлин. Придется ей ползком ползти к Высшему судии и отвечать за ту ложь, которую она наговорила Фрэнку, когда они ехали из лагеря янки в его двуколке.

Сейчас уже бесполезно спорить, говорить, что цель оправдывает средства, что она вынуждена была подстроить ему ловушку, что судьба слишком многих людей зависела от нее и нельзя было думать ни о его праве на счастье, ни о праве на счастье Сьюлин. Правда вставала перед ней нагая, и Скарлетт не могла смотреть ей в лицо. Она хладнокровно женила Фрэнка на себе и хладнокровно его использовала. А за последние полгода превратила в несчастного человека, в то время как могла бы сделать очень счастливым. Бог накажет ее за то, что она не была с ним помягче, — накажет за то, что она изводила его, наставляла, устраивала сцены, занявшись сама лесопилками, строительством салуна, тем, что наняла на работу каторжников.

Он был с ней очень несчастлив — она это знала, — но все сносил как джентльмен. Он был по‑настоящему счастлив только раз: когда она подарила ему Эллу. Но она‑то знала, что, будь на то ее воля, Эллы не было бы на свете.

Дрожь пробежала по телу Скарлетт; ей стало страшно, захотелось, чтобы Фрэнк был жив и она могла лаской загладить свою вину перед ним. Ах, если бы бог не был таким свирепым и карающим! Ах, если бы время не ползло так медленно и в доме не стояла бы такая тишина! Ах, если бы она не была так одинока!

Вот если б Мелани была с ней — Мелани успокоила бы ее страхи. Но Мелани сидела дома и выхаживала Эшли. На мгновение Скарлетт подумала было попросить Питтипэт подняться к ней — может, в ее присутствии умолкнет голос совести, — но не решилась. С Питти ей будет еще хуже: ведь старушка искренне горюет по Фрэнку. Он был ближе к ней по возрасту, чем к Скарлетт, и она была очень предана ему. Он вполне отвечал желанию Питти «иметь мужчину в доме» — приносил ей маленькие подарочки и невинные сплетни, шутил, рассказывал всякие истории, читал ей по вечерам газеты и сообщал события дня, а она штопала его носки. И она ухаживала за ним, придумывала для него всякие особые кушанья, лечила от бесконечных простуд. И теперь ей очень его недоставало, и она повторяла снова и снова, прикладывая платочек к красным опухшим глазам: «И зачем только ему понадобилось ехать с этим ку‑клукс‑кланом!»

Ах, если бы, думала Скарлетт, хоть кто‑то мог утешить ее, рассеять ее страхи, объяснить, что гложет ее и заставляет холодеть сердце! Вот если б Эшли... но Скарлетт тут же отбросила эту мысль. Ведь она чуть не убила Эшли, как убила Фрэнка. И если Эшли когда‑либо узнает правду о том, как она лгала Фрэнку, чтобы заполучить его, узнает, как подло она вела себя с Фрэнком, он не сможет больше любить ее. Эшли ведь такой благородный, такой правдивый, такой добрый, и он видит все так ясно, без прикрас. Если он узнает правду, то сразу многое поймет. Да, конечно, прекрасно поймет! И любить ее уже не будет. Значит, он никогда не должен узнать правду, потому что он должен ее любить. Разве сможет она жить, если этот тайный источник ее сил — его любовь — будет у нее отнят? Насколько стало бы ей легче, если бы она могла уткнуться головой ему в плечо, расплакаться и облегчить свою грешную душу!

Стены затихшего дома, где в самом воздухе ощущалось тяжкое присутствие смерти, давили ее, и в какой‑то момент она почувствовала, что не в силах дольше это выносить. Она осторожно поднялась, прикрыла дверь к себе в комнату и принялась шарить в нижнем ящике комода под бельем. Вытащив оттуда заветную «обморочную» бутылочку тети Питти с коньяком, она поднесла ее к свету лампы. Бутылочка была наполовину пуста. Не могла же она выпить так много со вчерашнего вечера! Скарлетт плеснула щедрую порцию в свой стакан для воды и одним духом выпила коньяк. Надо будет до утра поставить бутылку назад, в погребец, предварительно наполнив ее водой. Мамушка искала ее, когда люди из похоронного бюро попросили выпить, и в кухне, где находились Мамушка, кухарка и Питер, тотчас возникла грозовая атмосфера подозрительности.

Коньяк приятно обжег внутренности. Ничто не сравнится с коньяком, когда нужно себя взбодрить! Да и вообще он всегда хорош — куда лучше, чем безвкусное вино. Какого черта, почему женщине можно пить вино и нельзя — более крепкие напитки? Миссис Мерриуэзер и миссис Мид явно почувствовали на похоронах, что от нее попахивает коньяком, и она заметила, какими они обменялись победоносными взглядами. Мерзкие старухи!

Скарлетт налила себе еще. Ничего страшного, если она сегодня немножко захмелеет, — она ведь скоро ляжет, а перед тем, как позвать Мамушку, чтобы та распустила ей корсет, она прополощет рот одеколоном. Хорошо бы напиться до бесчувствия, как напивался Джералд в день заседания суда. Тогда, быть может, ей удалось бы забыть осунувшееся лицо Фрэнка, молча обвинявшее ее в том, что она испортила ему жизнь, а потом убила.

Интересно, подумала Скарлетт, а в городе тоже считают, что она убила его? На похоронах все были с ней подчеркнуто холодны. Одни только жены офицеров‑янки, с которыми она вела дела, вовсю выражали ей сочувствие. А впрочем, плевала она на городские пересуды. Все это не имеет никакого значения, а вот перед богом держать ответ ей придется!

При этой мысли она сделала еще глоток и вздрогнула — так сильно коньяк обжег ей горло. Теперь ей стало совсем тепло, но она все не могла отделаться от мыслей о Фрэнке. Какие дураки говорят, будто алкоголь помогает забыться! Пока она не напьется до бесчувствия, перед ней все будет стоять лицо Фрэнка, когда в тот последний раз он умолял ее не ездить одной, — застенчивое, укоряющее, молящее о прощении.

Раздался глухой удар дверного молотка, эхом разнесшийся по притихшему дому, и Скарлетт услышала неуверенные шаги тети Питти, пересекшей холл, а затем звук отворяемой двери. Кто‑то поздоровался, затем послышалось неясное бормотанье. Должно быть, какая‑нибудь соседка зашла узнать про похороны или принесла бланманже. Питти наверняка обрадовалась. Ей доставляет грустное удовольствие беседовать с теми, кто заходит выразить сочувствие, — она словно бы вырастает при этом в собственных глазах.

Кто бы это мог быть, без всякого интереса подумала Скарлетт, но тут, перекрывая приличествующий случаю шепот Питти, раздался гулкий, тягучий мужской голос, и она все поняла. Радость и чувство облегчения затопили ее. Это был Ретт. Она не видела его с той минуты, когда он принес весть о смерти Фрэнка, и теперь всем нутром почувствовала, что он — единственный, кто способен ей сегодня помочь.

— Я думаю, она согласится принять меня, — долетел до нее снизу голос Ретта.

— Но она уже легла, капитан Батлер, и никого не хочет видеть. Бедное дитя, она в полной прострации. Она...

— Думаю, она примет меня. Пожалуйста, передайте ей, что я завтра уезжаю и, возможно, какое‑то время буду отсутствовать. Мне очень важно ее повидать.

— Но... — трепыхалась тетя Питтипэт.

Скарлетт выбежала на площадку, не без удивления подметив, что колени у нее слегка подгибаются, и перегнулась через перила.

— Я с‑с‑сей‑час сойду, Ретт, — крикнула она.

Она успела заметить запрокинутое кверху одутловатое лицо тети Питтипэт, ее глаза, округлившиеся, как у совы, от удивления и неодобрения. «Теперь весь город узнает о том, что я неподобающе вела себя в день похорон мужа», — подумала Скарлетт, ринувшись в спальню и на ходу приглаживая волосы. Она застегнула до самого подбородка лиф своего черного платья и заколола ворот траурной брошью Питтипэт. «Не очень‑то хорошо я выгляжу», — подумала она, пригнувшись к зеркалу, из которого на нее глянуло белое как полотно, испуганное лицо. Рука Скарлетт потянулась было к коробке, где она прятала румяна, и остановилась на полпути. Бедняжка Питтипэт совсем расстроится, решила Скарлетт, если она сойдет вниз румяная и цветущая. Скарлетт взяла вместо этого флакон, набрала в рот побольше одеколона, тщательно прополоскала рот и сплюнула в сливное ведро.

Шурша юбками, она спустилась вниз, а те двое так и продолжали стоять в холле, ибо Скарлетт до того расстроила Питтипэт, что старушка даже не предложила Ретту присесть. Он был в черной паре, в ослепительно белой накрахмаленной рубашке с оборочками и держался безупречно, как и подобает старому другу, зашедшему выразить сочувствие, — настолько безупречно, что это смахивало на комедию, хотя Питтипэт, конечно, этого не усмотрела. Он должным образом извинился перед Скарлетт за беспокойство и выразил сожаление, что дела, которые ему необходимо завершить до своего отъезда из города, не позволили ему присутствовать на похоронах.

«Чего ради он пришел? — недоумевала Скарлетт. — Ведь все, что он говорит, — сплошная ложь».

— Мне крайне неприятно быть назойливым в такие минуты, но у меня есть одно неотложное дело, которое я должен обсудить с вами. Мы с мистером Кеннеди кое‑что задумали...

— А я и не знала, что у вас с мистером Кеннеди были общие дела, — заявила Питтипэт с оттенком возмущения: как это она могла не все знать о делах Фрэнка.

— Мистер Кеннеди был человек широких интересов, — уважительно сказал Ретт. — Может быть, мы пройдем в гостиную?

— Нет! — воскликнула Скарлетт, бросив взгляд на закрытые двойные двери. Ей все виделся гроб, стоявший в этой комнате. Будь ее воля, она никогда бы больше туда не вошла. На сей раз Питти мгновенно все поняла, хотя это ей и не очень понравилось.

— Пройдите в библиотеку. А я... мне надо подняться наверх и взять штопку. Бог ты мой, я за эту неделю так все запустила. Вот ведь...

И она двинулась вверх по лестнице, кинув через плечо укоризненный взгляд, которого ни Скарлетт, ни Ретт не заметили. Он отступил, пропуская Скарлетт в библиотеку.

— Какие же это у вас с Фрэнком были дела? — напрямик спросила она.

Он шагнул к ней и тихо произнес:

— Никаких. Мне просто хотелось убрать с дороги мисс Питти. — Он помолчал и, пригнувшись к Скарлетт, добавил: — Это не выход, Скарлетт.

— Что?

— Одеколон.

— Вот уж, право, не понимаю, о чем вы.

— Вот уж, право, прекрасно вы все понимаете. Вы много пьете.

— Если даже и так, ну и что? Разве это вас касается?

— Вежливость не мешает даже и в горе. Не пейте одна, Скарлетт. Люди об этом непременно узнают, и вашей репутации — конец. А потом — вообще плохо пить одной. В чем все‑таки дело, дружок? — Он подвел ее к дивану розового дерева, и она молча опустилась на него. — Можно закрыть двери?

Скарлетт понимала, что если Мамушка увидит закрытые двери, она возмутится и станет потом не один день бурчать и читать наставления, но будет еще хуже, если Мамушка услышит их разговор — особенно после того, как пропала бутылка коньяку, — услышит, что она, Скарлетт, пьет. Словом, Скарлетт кивнула, и Ретт сомкнул раздвижные двери. Когда он вернулся и сел рядом, внимательно глядя на нее своими черными глазами, атмосфера смерти рассеялась перед исходившей от него жизненной силой, комната снова показалась приятной и по‑домашнему уютной, а свет от ламп стал теплым, розовым.

— В чем все‑таки дело, дружок?

Никто на свете не мог бы произнести это дурацкое слово так ласково, как Ретт, даже когда он слегка издевался, но сейчас никакой издевки не было. Скарлетт подняла на него измученный взгляд, и почему‑то ей стало легче, хотя она и не прочла на его лице ничего. Она сама не могла понять, почему ей стало легче, — ведь он такой черствый, такой непредсказуемый. Возможно, ей стало легче потому, что — как он часто говорил — они так схожи. Иной раз ей казалось, что все, кого она когда‑либо знала, — все ей чужие, кроме Ретта.

— Вы не хотите мне сказать? — Он как‑то по‑особенному нежно взял ее за руку. — Ведь дело не только в том, что старина Фрэнк оставил вас одну? Вам что — нужны деньги?

— Деньги? О господи, нет! Ах, Ретт, мне так страшно.

— Не будьте гусыней, Скарлетт, вы же никогда в жизни ничего не боялись.

— Ах, Ретт, мне страшно! — Слова вылетали так стремительно — как бы сами собой. Ему она может сказать. Она все может сказать Ретту. Он ведь далеко не ангел, так что не осудит ее. А до чего же приятно знать, что существует на свете человек плохой и бесчестный, обманщик и лгун, в то время как мир полон людей, которые в жизни не соврут даже ради спасения своей души и скорее погибнут от голода, чем совершат бесчестный поступок! — Я боюсь, что умру и прямиком отправлюсь в ад.

Если он станет над ней смеяться, она тут же умрет. Но он не рассмеялся.

— На здоровье вам вроде бы жаловаться не приходится... ну, а что до ада, так его, может, и нет.

— Ах, нет, Ретт, он есть. Вы знаете, что есть!

— Да, я знаю, что есть ад, но только на земле. А не после смерти. После смерти ничего нет, Скарлетт. Вы сейчас живете в аду.

— О, Ретт, это же святотатство!

— Но удивительно успокаивающее. А теперь скажите мне, почему вы думаете, что отправитесь прямиком в ад?

Вот теперь он подтрунивал над ней — она это видела по тому, как поблескивали его глаза, но ей было все равно. Руки у него такие теплые и такие сильные, и так это успокаивает — держаться за них!

— Ретт, мне не следовало выходить замуж за Фрэнка. Нехорошо это было. Ведь он ухаживал за Сьюлин, он любил ее, а не меня. А я солгала ему, сказала, что она выходит замуж за Тони Фонтейна. Ах, ну как я могла такое сделать?!

— А‑а, вот, значит, как все произошло! А я‑то удивлялся.

— А потом я причинила ему столько горя. Я заставляла его делать то, чего он не хотел, — заставляла взимать долги с людей, которые не могли их отдать. И он так огорчался, когда я занялась лесопилками, и построила салун, и наняла каторжников. Ему было до того стыдно — он не мог людям в глаза смотреть. И потом, Ретт, я убила его. Да, убила! Я ведь не знала, что он в ку‑клукс‑клане. Мне и в голову не могло прийти, что у него хватит на это духу. А ведь я должна была бы знать. И я убила его.

— «Нет, с рук моих весь океан Нептуна не смоет кровь»[[29]](#footnote-29).

— Что?

— Не важно. Продолжайте.

— Продолжать? Но это все. Разве не достаточно? Я вышла за него замуж, причинила ему столько горя, а потом убила его. О господи! Просто не понимаю, как я могла! Я налгала ему и вышла за него замуж. Тогда мне казалось, я поступала правильно, а сейчас вижу, как все это было нехорошо. Знаете, Ретт, такое у меня чувство, словно и не я все это делала. Я вела себя с ним так подло, а ведь я в общем‑то не подлая. Меня же иначе воспитывали. Мама... — Она замолчала, стараясь проглотить сдавивший горло комок. Она весь день избегала думать об Эллин, но сейчас образ матери встал перед ее глазами.

— Я часто думал, какая она была. Вы всегда казались мне очень похожей на отца.

— Мама была... Ах, Ретт, я впервые радуюсь, что она умерла и не может меня видеть. Ведь она воспитывала меня так, чтобы я не была подлой. И сама была со всеми такая добрая, такая хорошая. Она бы предпочла, чтоб я голодала, но не пошла на такое. И мне всегда хотелось во всем походить на нее, а я ни капельки на нее не похожа. Я об этом, правда, не думала — мне о столь многом приходилось думать, — но очень хотелось быть похожей на нее. И вовсе не хотелось быть, как папа. Я любила его, но он был... такой... такой безразличный к людям. Я же, Ретт, иной раз очень старалась хорошо относиться к людям и быть доброй к Фрэнку, а потом мне снился этот страшный сон и такой нагонял на меня страх, что хотелось выскочить на улицу и у всех подряд хватать деньги — не важно чьи — мои или чужие.

Слезы ручьем текли у нее по лицу, и она так сильно сжала его руку, что ногти впились ему в кожу.

— Что же это был за страшный сон? — Голос Ретта звучал спокойно, мягко.

— Ах, я и забыла, что вы не знаете. Так вот, стоило мне начать хорошо относиться к людям и сказать себе, что деньги — не главное на свете, как мне тут же снился сон: снова я была в Таре — как бы сразу после смерти мамы и после того, как янки побывали там. Ретт, вы и представить себе не можете... Стоит вспомнить об этом, как я вся холодею. Я снова вижу сожженные поместья, и такая тишина повсюду, и нечего есть. Ах, Ретт, когда я вижу этот сон, я снова чувствую голод, как тогда.

Продолжайте.

— В общем, я снова чувствую голод, и все — и папа, и девочки, и негры — все кругом голодные и только и делают, что твердят: «Есть хотим», — а у меня самой в животе пусто, даже режет, и очень мне страшно. А в голове все время вертится мысль: «Если я из этого выберусь, то никогда, никогда больше не буду голодать». Потом во сне все исчезает, клубится серый туман, и я бегу, бегу в этом тумане, бегу так быстро, что кажется, сейчас лопнет сердце, а за мной что‑то гонится, и больно дышать, и мне почему‑то кажется, что если только я сумею добраться, куда бегу, все будет в порядке. Но я сама не знаю, куда бегу. И тут я просыпаюсь, вся в холодном поту от страха — до того мне страшно, что я снова буду голодать. И когда я просыпаюсь, у меня такое чувство, что все деньги мира не в силах спасти меня от этого страха и голода. А тут еще Фрэнк мямлил, еле поворачивался, ну и я, конечно, выходила из себя и вскипала. Он, по‑моему, ничего не понимал, а я не могла ему объяснить. Я все думала, что когда‑нибудь отплачу ему сторицей — когда у нас будут деньги и когда у меня пройдет этот страх перед голодом. А теперь уже поздно: он умер. Ах, когда я так поступала, мне казалось, что я права, а теперь вижу: вовсе я была не права. Если бы начать все сначала, я бы иначе себя вела.

— Хватит, — сказал он; высвободил руку из ее крепко вцепившихся пальцев и достал чистый носовой платок. — Вытрите лицо. Это же бессмысленно — так себя терзать.

Она взяла носовой платок, вытерла мокрые от слез щеки и почувствовала, что ей стало легче, словно она переложила часть бремени со своих плеч на его широкие плечи. Он был такой уверенный в себе, такой спокойный, даже легкая усмешка в уголках рта успокаивала, как бы подтверждая, что ее смятение и терзания — пустое.

— Стало легче? Ну, теперь давайте поговорим о главном. Вы сказали, что если бы вам довелось начать все сначала, вы вели бы себя иначе. В самом деле? Подумайте. В самом деле вы вели бы себя иначе?

— Ну...

— Нет, вы поступали бы точно так же. Разве был у вас выбор?

— Нет.

— Тогда о чем же вы печалитесь?

— Я вела себя так низко, а он взял и умер.

— А если бы он не умер, вы продолжали бы вести себя так же низко. Ведь насколько я понимаю, вы вовсе не жалеете о том, что вышли замуж за Фрэнка, и командовали им, и случайно явились причиной его смерти. Вы жалеете лишь себя, потому что боитесь попасть в ад. Верно?

— Ну... все так перепуталось.

— Ваши моральные принципы тоже весьма путаные. Вы совсем как вор, которого поймали с поличным и который вовсе не жалеет о том, что он украл, но очень, очень жалеет, что ему придется за это идти в тюрьму.

— Это я‑то вор...

— Ах, не понимайте все буквально! Иными словами, если б в вас не засела эта идиотская мысль о том, что вы обречены вечно гореть в адском пламени, вы б считали, что удачно избавились от Фрэнка.

— Ох, Ретт!

— Ох, не притворяйтесь! Вы исповедуетесь мне, но на исповеди вполне способны сказать и правду, и красивую ложь. Ваша... м‑м... совесть очень вас мучила, когда вы соглашались... скажем, так — расстаться с этим сокровищем, которое вам дороже жизни, за триста долларов?

Коньяк ударил ей в голову — перед глазами поплыли круги и все стало нипочем. Какой смысл лгать ему? Он, казалось, всегда мог прочесть ее мысли.

— Я, конечно, тогда не очень думала о боге... или об аде. А когда задумывалась... ну, я считала, что бог поймет.

— Но вы не считаете бога способным понять причины, побудившие вас выйти за Фрэнка?

— Ретт, как вы можете так говорить о боге — вы же не верите, что он существует!

— Зато вы верите в бога карающего, а это сейчас главное. Почему господь бог вас не поймет? Вы что, жалеете, что Тара по‑прежнему ваша и в ней не живут какие‑нибудь «саквояжники»? Вы что, жалеете, что не голодаете и не ходите в лохмотьях?

— Ах, нет!

— В таком случае, был у вас другой выход, кроме брака с Фрэнком?

— Нет.

— Он же не обязан был на вас жениться, верно? Мужчины в этом отношении вольны поступать, как им заблагорассудится. Он не обязан был диктовать вам волю командовать собой и заставлять делать его, то, что ему не хотелось, верно?

— Ну...

— Так почему же надо этим терзаться. Скарлетт? Если бы вам пришлось начать все с начала, вы бы снова вынуждены были солгать ему и он снова бы на вас женился. Вы снова подвергали бы себя опасности, а он снова вынужден был бы мстить за вас. Если бы он женился на вашей сестрице Сью, она, возможно, не погубила бы его, но с нею он наверняка был бы куда несчастнее, чем с вами. Иначе быть не могло.

— Но я могла бы лучше относиться к нему.

— Могли бы... если б были другой. Но вы рождены командовать всеми, кто вам позволит. Сильные люди призваны командовать, а слабые — подчиняться. Фрэнк сам виноват в том, что не бил вас хлыстом... Вы удивляете меня, Скарлетт: зачем вам понадобилось сейчас, когда вы уже взрослая, будить в себе совесть. Авантюристам вроде вас совесть не нужна.

— Как вы сказали: аван... что?

— Так называют людей, которые стремятся извлечь выгоду из любых обстоятельств.

— А это плохо?

— На них всегда смотрят косо — особенно те, у кого были такие же возможности, но они не сумели ими воспользоваться.

— Ах, Ретт, вы все смеетесь надо мной, а мне‑то казалось, что вы решили стать милым!

— А я и есть милый — для себя. Скарлетт, дорогая моя, вы пьяны. Вот что с вами.

— И вы смеете...

— Да, смею. Вы вот‑вот начнете плакать «пьяными слезами», как говорят в народе, поэтому я переменю тему и немножко повеселю вас, сообщив некую забавную новость. Собственно, за тем я сюда сегодня и пришел — сообщить вам свою новость, прежде чем уеду.

— Куда это вы собрались?

— В Англию, и возможно, я буду отсутствовать не один месяц. Забудьте о своей совести, Скарлетт. Я больше не намерен обсуждать благополучие вашей души. Хотите послушать мою новость?

— Но... — слабо запротестовала она и умолкла. Под воздействием коньяка, размывавшего контуры совести, и насмешливых, но успокаивающих слов Ретта бледный призрак Фрэнка стирался, отступал во тьму. Быть может, Ретт и прав. Быть может, бог все понял. Она настолько сумела овладеть собой, что даже умудрилась отогнать подальше на задний план тревожные мысли. «Подумаю об этом завтра», — решила она.

— Так что же у вас за новость? — спросила она, сделав над собой усилие, и, высморкавшись в его платок, отбросила с лица прядь распустившихся волос.

— А новость у меня вот какая, — с усмешкой глядя на нее, ответил он. — Я по‑прежнему хочу обладать вами — больше, чем какой‑либо женщиной, встречавшейся на моем пути, и теперь, когда Фрэнка не стало, я подумал, что вас это может заинтересовать.

Скарлетт выдернула руки из его цепких пальцев и вскочила с дивана.

— Я... Вы самый невоспитанный человек на свете! Да как вы смеете являться сюда в такую минуту с вашими грязными... Следовало бы мне знать, что вы никогда не изменитесь. Тело Фрэнка едва успело остыть, а вы!.. Если бы вам было хоть немного знакомо чувство приличия... Сейчас же покиньте...

— Угомонитесь, не то мисс Питтипэт тут же явится сюда, — сказал он и, не поднимаясь с места, крепко взял ее за оба запястья. — Я боюсь, вы меня неверно поняли.

— Неверно поняла? Я все прекрасно понимаю. — Она снова попыталась отнять у него руки. — Отпустите меня и убирайтесь отсюда. В жизни не видала такого бестактного человека. Я же...

— Не кричите, — сказал он. — Я предлагаю вам руку и сердце. Может быть, для большей убедительности мне встать на колени?

Она лишь выдохнула: «О!» — и с размаху села на диван.

Раскрыв рот, она смотрела на него и думала, что это, может, коньяк играет с ней злую шутку, и совсем некстати вдруг вспомнила его насмешливое: «Моя дорогая, я не из тех, кто женится». Либо она пьяна, либо Ретт рехнулся. Но он не производил впечатления сумасшедшего. Тон у него был спокойный, словно он говорил с ней о погоде и его мягкий, тягучий голос звучал в ее ушах как всегда ровно.

— Я всю жизнь стремился завладеть вами, Скарлетт, с того первого дня, как увидел вас в Двенадцати Дубах, когда вы швырнули в угол вазу и чертыхнулись неподобающим даме образом. Я всю жизнь стремился так или иначе завладеть вами. Но как только у вас с Фрэнком завелись небольшие денежки, я понял, что вы уже больше не придете ко мне и не попросите взаймы на весьма интересных условиях. Значит, как я понимаю, выход один — надо на вас жениться.

— Ретт Батлер, это еще одна ваша мерзкая шуточка?

— Я раскрываю вам душу, а вы полны подозрений! Нет, Скарлетт, это bona fide[[30]](#footnote-30) честное предложение. Признаю, появление у вас в подобное время не свидетельствует о том, что я такой уж тактичный человек, но есть веская причина, объясняющая мою невоспитанность. Завтра утром я уезжаю надолго и боюсь, отложи я этот разговор до своего возвращения, вы еще возьмете да выскочите замуж за другого, у кого водятся деньжата. Вот я и подумал: почему бы ей не выйти за меня — у меня ведь есть деньги! Право же, Скарлетт, я не могу провести всю жизнь, гоняясь за вами в ожидании, когда удастся втиснуться между двух мужей.

Это была не шутка. Сомнений быть не могло. У Скарлетт пересохло в горле, когда до нее дошел смысл его слов; она глотнула и посмотрела Ретту в глаза, пытаясь найти разгадку. Глаза его искрились смехом, но было в самой глубине и что‑то другое — что‑то, чего Скарлетт прежде никогда не видела, какой‑то непонятный блеск. Ретт сидел с непринужденным, небрежным видом, но она чувствовала, что он наблюдает за ней напряженно, как кошка за мышиной норой. Под его спокойствием угадывалось крепко взнузданное нетерпение, и Скарлетт, испугавшись, невольно отшатнулась от него.

Значит, он действительно предлагает ей вступить в брак — совершает нечто невероятное. Когда‑то она думала о том, как помучила бы его, сделай он ей предложение. Когда‑то она думала, что если он все же произнесет эти слова, уж она над ним поиздевается и с удовольствием и злорадством даст почувствовать свою власть. И вот он произнес эти слова, а у нее и желания не возникло осуществить свое намерение, ибо сейчас он был в ее власти не больше, чем всегда. Хозяином положения по‑прежнему был он, а она, Скарлетт, разволновалась, как девчонка, которой впервые сделали предложение, и лишь краснела и заикалась.

— Я... я никогда больше не выйду замуж.

— О нет, выйдете. Вы рождены, чтобы быть чьей‑то женой. Так почему бы не моей?

— Но, Ретт, я... я не люблю вас.

— Это не должно вас удерживать. Я что‑то не помню, чтобы любовь играла большую роль в двух ваших предшествующих предприятиях.

— Да как вы смеете?! Вы же знаете, как мне дорог был Фрэнк!

Ретт молчал.

— Дорог! Дорог!

— Ну, не стоит об этом спорить. Готовы ли вы подумать о моем предложении, пока я буду отсутствовать?

— Ретт, я не люблю ничего откладывать. Я лучше скажу вам сейчас. Я скоро уеду отсюда в Тару, а с тетей Питти останется Индия Уилкс. Я хочу уехать домой надолго, и я... я не хочу больше выходить замуж.

— Глупости! Почему?

— Но, видите ли... в общем, не важно. Просто не хочу выходить замуж, и все.

— Но, бедное мое дитя, вы же ни разу еще не были по‑настоящему замужем. Откуда вам знать, что это такое? Согласен, вам не очень везло: один раз вы вышли замуж, чтобы досадить, другой раз — из‑за денег. А вы когда‑нибудь думали о том, что можно выйти замуж — ради удовольствия?

— Удовольствия?! Не говорите глупостей! Никакого удовольствия в браке нет.

— Нет? Почему?

К ней вернулось некоторое спокойствие, а вместе с ним и природное свойство говорить все напрямик, усиленное действием коньяка.

— Это удовольствие для мужчин, хотя одному богу известно, что они тут находят. Я этого никогда не могла понять. А женщине замужество приносит лишь бесплатную еду, прорву работы да еще необходимость мириться с мужскими причудами. Ну, и, конечно, по ребенку в год.

Ретт расхохотался так громко, что смех его эхом прокатился по притихшему дому, и Скарлетт услышала, как открылась кухонная дверь.

— Прекратите! У Мамушки уши как у рыси. Неприлично ведь смеяться так громко после... словом, перестаньте. Вы же знаете, что это правда. Удовольствие! Че‑пу‑ха!

— Я ведь уже сказал, что вам не везло, и ваши слова это подтверждают. Вы были замужем за мальчишкой и за стариком. Да к тому же ваша матушка наверняка говорила вам, что женщина должна мириться «со всем этим» ради счастья, которое приносит материнство. Ну, так это не так. Почему же вам не выйти замуж за отличного молодого мужчину со скверной репутацией и умением обращаться с женщинами? Вот от такого брака вы получите удовольствие.

— Вы грубиян, и к тому же самовлюбленный, и я считаю, что наш разговор слишком далеко зашел. Он... он просто стал вульгарным.

— Но и весьма занимательным, верно? Могу поклясться, вы никогда прежде не обсуждали супружество ни с одним мужчиной, даже с Чарлзом или Фрэнком.

Она насупясь посмотрела на него. Слишком много Ретт знает. Интересно, подумала она, где это он выучился всем своим знаниям насчет женщин. Сущее неприличие.

— Не надо хмуриться. Назовите день, Скарлетт. Я не настаиваю на том, чтобы немедля вести вас под венец и тем испортить вам репутацию. Мы выждем положенный приличием срок. Кстати, а сколько это — «положенный приличием срок»?

— Я ведь еще не сказала, что выйду за вас. Неприлично даже говорить о таких вещах в такое время.

— Я же сказал вам, почему говорю об этом сейчас. Завтра я уезжаю и слишком пылко влюблен, чтобы дольше сдерживать свою страсть. Но быть может, я чрезмерно ускорил события. — И совсем неожиданно — так, что она даже испугалась, — соскользнул с дивана на колени и, положив руку на сердце, быстро речитативом заговорил: — Прошу простить меня за то, что напугал вас пылкостью своих чувств, дорогая моя Скарлетт, — я хочу сказать: дорогая моя миссис Кеннеди. От вашего внимания едва ли ускользнуло то, что с некоторых пор моя дружба к вам переросла в более глубокое чувство — чувство более прекрасное, более чистое, более святое. Осмелюсь ли я назвать его? Ах! Ведь это любовь придала мне такую смелость!

— Прошу вас, встаньте, — взмолилась она. — Вы выглядите так глупо. А что, если Мамушка зайдет и увидит вас?

— Она будет потрясена и не поверит глазам своим, впервые увидев, что я веду себя как джентльмен, — сказал Ретт, легко поднимаясь с пола. — Послушайте, Скарлетт, вы не дитя и не школьница, чтобы отделываться от меня под дурацкими предлогами приличий и тому подобного. Скажите, что вы выйдете за меня замуж, когда я вернусь, или, клянусь богом, я никуда не уеду. Я останусь здесь и каждый вечер буду появляться с гитарой под вашим окном и распевать во весь голос серенады, и так вас скомпрометирую, что вам придется выйти за меня замуж, чтобы спасти свою репутацию.

— Ретт, будьте благоразумны. Я вообще ни за кого не хочу замуж.

— Нет? Вы не говорите мне настоящей причины. Дело же не в девичьей застенчивости. Так в чем же?

Перед ней вдруг возник образ Эшли, такого непохожего на Ретта, — она увидела его столь живо, словно он стоял рядом: золотистые волосы его были освещены солнцем, глаза, ослепленные ярким светом, казались сонными, и в нем было столько благородства. Вот она, причина, из‑за которой Скарлетт не хотела снова выходить замуж, хотя в общем‑то не возражала бы против Ретта — ведь порой он ей даже нравился. Но она принадлежала Эшли на веки вечные. Она никогда не принадлежала ни Чарлзу, ни Фрэнку, и никогда по‑настоящему не сможет принадлежать Ретту. Каждая частица ее, почти все, что она делала, за что боролась, чего добивалась, — все принадлежало Эшли, все делалось потому, что она любила его. Эшли и Тара — она принадлежит им. Улыбки, смех, поцелуи, которыми она одаривала Чарлза и Фрэнка, на самом деле принадлежали Эшли, хотя он никогда их не требовал и никогда не потребует. Просто в глубине ее души жило стремление сохранить себя для него, хоть она и понимала, что он никогда не примет этого ее дара.

Она не знала, что лицо ее изменилось, мечты придали чертам мягкость, — такою Ретт еще не видел ее. Он смотрел на ее чуть раскосые зеленые глаза, широко раскрытые и мечтательные, на нежный изгиб губ, и у него перехватило дыхание. Потом один из уголков его рта вдруг резко дернулся вниз.

— Скарлетт О’Хара, вы просто дура! — вырвалось у него.

И прежде чем ее мысли успели вернуться из далеких странствий, руки его обвились вокруг нее, уверенно и крепко, как много лет тому назад на темной дороге в Тару. И нахлынула беспомощность, она почувствовала, что сдается, почва уходит из‑под ног и что‑то теплое обволакивает ее, лишая воли. А бесстрастное лицо Эшли Уилкса расплывается и тонет в пустоте. Ретт запрокинул ей голову и, прижав к своему плечу, поцеловал — сначала нежно, потом со стремительно нарастающей страстью, заставившей ее прижаться к нему, как к своему единственному спасению. В этом хмельном, качающемся мире его жадный рот раздвинул ее дрожащие губы, по нервам побежал ток, будя в ней ощущения, которых она раньше не знала и не думала, что способна познать. И прежде чем отдаться во власть закрутившего ее вихря, она поняла, что тоже целует его.

— Перестаньте... пожалуйста, я сейчас лишусь чувств, — прошептала она, делая слабую попытку отвернуться от него. Но он снова крепко прижал ее голову к своему плечу, и она, как в тумане, увидела его лицо. Широко раскрытые глаза его страстно блестели, руки дрожали, так что она даже испугалась.

— А я и хочу, чтобы вы лишились чувств. Я заставлю вас лишиться чувств. Вы многие годы не допускали, чтобы это с вами случилось. Ведь ни один из этих дураков, которых вы знали, не целовал вас так, правда? Ваш драгоценный Чарлз, или Фрэнк, или этот ваш дурачок Эшли...

— Прошу вас...

— Я сказал: ваш дурачок Эшли. Все эти джентльмены — да что они знают о женщинах? Что они знали о вас? Вот я вас знаю.

Его губы снова прижались к ее губам, и она сдалась без борьбы, слишком ослабев, чтобы даже отвернуть голову, — да она и не хотела отворачиваться; сердце у нее колотилось так отчаянно, что ее всю сотрясало от его ударов, и ей становилось страшно от силы Ретта и собственной слабости. Что он с ней сейчас сделает? Она в самом деле лишится чувств, если он не отпустит ее. Если бы он только отпустил ее... Ах, если бы он никогда ее не отпускал!

— Скажите «да»! — Губы их почти соприкасались, а его глаза были так близко, что казались огромными и заполняли все пространство. — Скажите «да», черт бы вас подрал! Или...

Она шепнула: «Да», не успев даже подумать, точно он силой вырвал у нее это слово и она произнесла его, сама того не желая. Но как только она его произнесла, в душе ее наступило внезапное успокоение, голова перестала кружиться и даже чувство опьянения как будто прошло. Она пообещала выйти за него замуж, хотя вовсе не собиралась давать такое обещание. Она сама не понимала, как это случилось, но в общем‑то не жалела о случившемся. Теперь ей казалось даже вполне естественно, что она сказала «да», — точно вмешалась некая божественная сила и некая могучая рука уладила все ее дела, разрешила все ее проблемы.

Ретт быстро перевел дух, услышав ее «да», и нагнулся над ней, словно хотел еще раз поцеловать; она закрыла глаза, откинула голову. Но он отстранился от нее, и она почувствовала легкое разочарование. Странное это было ощущение, когда он так ее целовал — странное и волнующее.

Какое‑то время Ретт сидел неподвижно — ее голова покоилась у него на плече, и она почувствовала, как, словно подчиняясь внутреннему усилию, дрожь в его руках стала проходить. Потом он слегка отодвинулся и посмотрел на нее сверху вниз. Она открыла глаза и увидела, что пугавший ее пламень в его лице погас. Но встретиться с ним взглядом она почему‑то не могла и в нарастающем смятении опустила глаза.

— Вы сказали это осознанно? — спросил он очень спокойно. — Вы не хотите взять свое слово назад?

— Нет.

— Вы так сказали не потому, что я... как же это говорят?.. «выбил у вас почву из‑под ног» моей... м‑м... моим пылом?

Она не могла ответить, ибо не знала, что сказать, и не могла встретиться с ним взглядом. Он взял ее за подбородок и приподнял ей голову.

— Я говорил вам как‑то, что могу снести от вас что угодно, кроме лжи, и сейчас я хочу знать правду. Так почему вы сказали «да»?

Слова по‑прежнему», не шли у нее с языка, но самообладание начинало возвращаться — она продолжала смотреть вниз, лишь уголки губ чуть приподнялись в улыбке.

— Посмотрите на меня. Из‑за моих денег?

— Как можно говорить такое, Ретт! Что за вопрос!

— Посмотрите на меня и не увиливайте. Я не Чарлз, и не Фрэнк, и не какой‑нибудь лоботряс из ваших краев, которого можно обмануть хлопаньем ресниц. Так из‑за моих денег?

— Ну... частично — да.

— Частично?

Казалось, это его не раздосадовало. Он быстро перевел дух и усилием воли погасил желание, засветившееся было в его глазах, когда она это произнесла, — желание, которое так смутило ее.

— Видите ли, — беспомощно проговорила она, — деньги — они ведь никогда не лишние, вы это знаете, Ретт, а бог свидетель, Фрэнк оставил мне не так уж много. Ну и потом... вы же знаете, Ретт, мы понимаем друг друга. И вы единственный из всех знакомых мне мужчин, кто способен услышать правду от женщины, а ведь приятно иметь мужа, который не считает тебя полной идиоткой и не хочет, чтобы ты ему врала... и кроме того... ну, словом, вы мне нравитесь.

— Нравлюсь?

— Видите ли, — капризным тоном заявила она, — если бы я сказала, что влюблена в вас по уши, то соврала бы, а главное, вы бы знали, что я вру.

— Мне порой кажется, вы слишком далеко заходите в своем стремлении говорить правду, моя кошечка. Не кажется ли вам, что в данную минуту лучше было бы сказать: «Я люблю вас, Ретт», даже если это ложь и даже если вы вовсе этого не чувствуете?

Куда он клонит, подумала она, все больше и больше запутываясь. Вид у него был такой странный — он был взволнован, раздосадован и в то же время явно подтрунивал над ней. Он выпустил ее из объятий и глубоко засунул обе руки в карманы брюк — она заметила, что они были сжаты в кулаки.

«Даже если я потеряю на этом мужа, — все равно буду говорить правду», — мрачно подумала она, чувствуя, как закипает у нее кровь, что случалось всегда, когда он изводил ее.

— Ретт, это было бы ложью, да и вообще зачем нам нужны все эти глупости? Как я вам и сказала, вы мне нравитесь. Вы прекрасно понимаете, что это значит. Вы как‑то сказали мне, что не любите меня, но у нас с вами много общего. Мы с вами оба изрядные мошенники, сказали вы тогда...

— О боже! — прошептал он, отворачиваясь от нее. — Чтобы так попасться в собственную ловушку!

— Что вы сказали?

— Ничего. — Он посмотрел на нее и рассмеялся, но это был неприятный смех. — Так назначайте день, моя дорогая. — Он снова рассмеялся, нагнулся и поцеловал ее руки.

Ей сразу стало легче оттого, что настроение его изменилось и к нему вроде бы вернулся благодушно‑шутливый тон, а потому улыбнулась и она. Он поиграл ее рукой и с усмешкой посмотрел на нее.

— Вам никогда не приходилось читать в романах о том, как — поначалу безразличная — жена влюбляется в собственного мужа?

— Вы же знаете, Ретт, что я не читаю романов, — сказала она и, подлаживаясь под его тон, добавила: — А кроме того, в свое время вы говорили, что когда муж и жена любят друг друга, — это очень дурной тон.

— Похоже, я в свое время наговорил вам черт знает сколько всяких глупостей, — неожиданно резко произнес он и поднялся.

— Не чертыхайтесь.

— Придется вам к этому привыкать и самой начать чертыхаться. Придется вам мириться и с моими дурными привычками. Это часть платы за то... что я вам нравлюсь и что мои денежки попадут в ваши прелестные лапки.

— Ну, не надо так злиться только потому, что я не стала лгать и не дала вам повода для самодовольства. Вы‑то ведь тоже не влюблены в меня, верно? Так почему же я должна быть в вас влюблена?

— Нет, дорогая моя, я в вас не влюблен — как и вы в меня, но если бы даже и был влюблен, то вы были бы последним человеком, которому я бы в этом признался. Храни господь того, кто действительно полюбит вас. Вы разобьете ему сердце, моя милая, жестокая дикая кошечка, которая до того беззаботна и так уверена в себе, что даже и не пытается убрать коготки.

Он рывком поднял ее на ноги и снова поцеловал. Но на этот раз губы его были другие, ибо, казалось, он не думал о том, что причиняет ей боль, а наоборот — хотел причинить боль, хотел ее обидеть. Губы его скользнули по ее шее и ниже, ниже, пока не коснулись тафты, прикрывавшей грудь, и там прижались таким долгим, таким горячим поцелуем, что его дыхание опалило ей кожу. Она высвободила руки и уперлась ему в грудь, отталкивая его, оскорбленная в своей скромности.

— Вы не должны так! Да как вы смеете!

— Сердце у вас стучит, как у зайца, — насмешливо произнес он. — Если бы я был человеком самодовольным, я бы сказал: когда тебе просто кто‑то нравится, так оно не стучит. Пригладьте свои взъерошенные перышки. И не стройте из себя девственницу. Скажите лучше, что привезти вам из Англии. Кольцо? Какое бы вам хотелось?

Она заколебалась между желанием благосклонно ответить на его вопрос и чисто женским стремлением продолжить сцену гнева и возмущения.

— О‑о... кольцо с бриллиантом... только, пожалуйста, Ретт, купите с большущим‑пребольшущим.

— Чтобы вы могли совать его под нос своим обедневшим друзьям и говорить: «Видите, какую рыбку я поймала». Прекрасно, вы получите кольцо с большим бриллиантом, таким большим, что вашим менее удачливым подругам останется в утешение лишь перешептываться о том, как это вульгарно — носить такие большие камни.

И он вдруг решительно направился к дверям; она в растерянности за ним последовала.

— Что случилось? Куда вы?

— К себе — укладываться.

— Да, но...

— Что — но?

— Ничего. Надеюсь, путешествие ваше будет приятным.

— Благодарю вас.

Он раздвинул двери и вышел в холл. Скарлетт следовала за ним, несколько растерянная, слегка разочарованная этой неожиданной развязкой. Он надел накидку, взял шляпу и перчатки.

— Я напишу вам. Сообщите мне, если передумаете.

— И вы не...

— Что? — Ему, казалось, не терпелось уйти.

— И вы не поцелуете меня на прощание? — прошептала она, заботясь о том, чтобы никто в доме не услышал.

— А вам не кажется, что для одного вечера было достаточно поцелуев? — ответил он и с усмешкой посмотрел на нее сверху вниз. — Подумать только, такая скромная, хорошо воспитанная молодая женщина... Я же говорил вам, что вы получите удовольствие, верно?

— Нет, вы просто невыносимы! — воскликнула она в гневе, уже не заботясь о том, услышит Мамушка или нет. — И я ничуть не буду жалеть, если вы не вернетесь.

Она повернулась и, взмахнув юбкой, ринулась к лестнице: она была уверена, что вот сейчас почувствует его теплую руку на своем плече и он ее остановит. Но вместо этого он распахнул дверь на улицу, и холодный воздух ворвался в холл.

— Я все же вернусь, — сказал он и вышел, а она так и осталась на нижней ступеньке, глядя на захлопнувшуюся дверь.

Кольцо, которое Ретт привез из Англии, было действительно с большим бриллиантом, таким большим, что Скарлетт стеснялась его носить. Она любила броские дорогие украшения, но сейчас у нее возникло неприятное чувство, что все сочтут это кольцо вульгарным и будут правы. В центре кольца сидел бриллиант на четыре карата, а вокруг него — изумруды. Кольцо закрывало ей всю фалангу и, казалось, оттягивало руку своей тяжестью. Скарлетт подозревала, что Ретту стоило немалого труда заказать такое кольцо, и он попросил сделать его как можно более броским из желания уязвить ее.

Пока Ретт не вернулся в Атланту и на пальце ее не появилось кольца, Скарлетт никому, даже родным, не говорила о своих намерениях; когда же она объявила о своей помолвке, в городе разразилась буря сплетен. Со времени истории с ку‑клукс‑кланом Ретт и Скарлетт были самым непопулярными горожанами после янки и «саквояжников». Все неодобрительно относились к Скарлетт еще с того далекого дня, когда она перестала носить траур по Чарлзу Гамильтону. Неодобрение усилилось, когда она так не по‑женски взялась управлять лесопилками; забыв о скромности, появлялась беременная на людях и позволяла себе многое другое. Но когда она стала причиной смерти Фрэнка и Томми и из‑за нее теперь висела на волоске жизнь десятка других людей, неприязнь переросла во всеобщее осуждение.

Что же до Ретта, то он вызвал ненависть всего города спекуляциями во время войны и не стал милее своим согражданам, вступив в деловые контакты с республиканцами, когда война кончилась. Однако наибольшую волну ненависти, как ни странно, вызвал он у дам Атланты тем, что спас жизнь нескольким выдающимся ее горожанам.

Не потому, разумеется, что дамы не хотели, чтобы их мужья остались живы. Просто они были возмущены, что обязаны жизнью своих мужей такому человеку, как Ретт, и весьма неблаговидному объяснению, которое он придумал. Не один месяц они поеживались, слыша, как потешаются и смеются над ними янки, — дамы считали и говорили, что если бы Ретт действительно заботился о сохранении ку‑клукс‑клана, он придумал бы более достойную версию. Он‑де намеренно втянул в эту историю Красотку Уотлинг, чтобы обесчестить благонамеренных горожан, а поэтому не заслуживает ни благодарности за спасение людей, ни прощения былых грехов, — говорили дамы.

Все они, столь быстро откликавшиеся на беду, столь сочувствовавшие чужому горю, столь неустанно трудолюбивые в тяжелые времена, становились безжалостными, как фурии, по отношению к ренегату, нарушившему малейший закон их неписаного кодекса. А кодекс этот был прост: уважение к Конфедерации, почитание ветеранов, верность старым традициям, гордость в бедности, раскрытые объятия друзьям и неугасающая ненависть к янки. Скарлетт же и Ретт пренебрегли каждым звеном этого кодекса.

Мужчины, чью жизнь Ретт спас, пытались из чувства приличия и благодарности заставить своих жен умолкнуть, но у них не очень это получалось. Еще до объявления о помолвке и Скарлетт и Ретт уже были не слишком популярны, однако люди держались с ними внешне вежливо. Теперь же и холодная любезность стала невозможна. Весть об их помолвке прокатилась по городу как взрыв, неожиданный и ошеломляющий, и даже наиболее кроткие женщины принялись пылко возмущаться. Выйти замуж, когда и года не прошло после смерти Фрэнка, который к тому же погиб из‑за нее! Да еще за этого Батлера, которому принадлежал дом терпимости и который вместе с янки и «саквояжниками» участвовал в разного рода грабительских предприятиях! Каждого из этих двоих по отдельности — куда ни шло, еще можно вынести, но бесстыжее соединение Скарлетт и Ретта — это уж слишком. Оба до того вульгарны и подлы! Выгнать из города — вот что!

Атланта, возможно, более снисходительно отнеслась бы к этим двоим, если бы весть об их помолвке не совпала с тем моментом, когда «саквояжники» и подлипалы — дружки Ретта — выглядели особенно омерзительно в глазах уважаемых граждан. Ненависть к янки и ко всем их приспешникам достигла предельного накала, когда город узнал о помолвке, ибо как раз в это время пала последняя цитадель сопротивления Джорджии правлению янки. Долгая кампания, которую генерал Шерман начал четыре года тому назад, двинувшись на юг от Далтона, завершилась крахом для Джорджии, и штат был окончательно поставлен на колени.

Три года Реконструкции прошли под знаком террора. Все считали, что хуже уже быть не может. Но теперь Джорджия обнаруживала, что худшая пора Реконструкции еще только начинается.

В течение трех лет федеральное правительство пыталось навязать Джорджии чуждые идеи и чуждое правление, и поскольку в его распоряжении была армия, то оно в этом весьма преуспело. Однако новый режим держался лишь на штыках. Штат подчинился правлению янки, но не по доброй воле. Лидеры Джорджии продолжали сражаться за право штата на самоуправление сообразно своим представлениям. Они продолжали сопротивляться всем попыткам заставить их встать на колени и принять диктат Вашингтона как закон.

Официально правительство Джорджии так и не капитулировало, но борьба была безнадежной, это была борьба на поражение. И хотя выиграть в этой борьбе не представлялось возможным, по крайней мере, она помогала отсрочить наступление неизбежного. Во многих других южных штатах негры уже занимали высокие посты в разных учреждениях, и даже в законодательном собрании большинство составляли негры и «саквояжники». Но Джорджия, благодаря своему упорному сопротивлению, до сих пор еще как‑то держалась. Почти все эти три года капитолий штата находился в руках белых и демократов. Разумеется, когда повсюду солдаты‑янки, официальные лица способны лишь выражать протесты и оказывать пассивное сопротивление. Власть правительства в штате была номинальной, но по крайней мере она находилась в руках исконных обитателей Джорджии. А теперь и эта цитадель пала.

Подобно тому как Джонстон и его солдаты четыре года тому назад отступали шаг за шагом от Далтона до Атланты, так постепенно, начиная с 1865 года, отступали демократы Джорджии. Власть федерального правительства над делами и жизнью граждан штата неуклонно росла. Все вершила сила, и военные приказы следовали один за другим, неуклонно подрывая гражданскую власть. Наконец, когда Джорджию низвели до уровня провинции на военном положении, появился приказ, предоставлявший избирательное право неграм, независимо от того, разрешалось это законом штата или нет.

За неделю до объявления о помолвке Скарлетт и Ретта состоялись выборы губернатора. Демократы‑южане выдвинули в качестве кандидата генерала Джона Б. Гордона, одного из самых любимых и самых уважаемых граждан Джорджии. Против него был выставлен республиканец по имени Баллок. Выборы длились три дня вместо одного. Негров перевозили на поездах целыми составами из города в город, и они голосовали в каждом местечке, находившемся на их пути. И конечно же, Баллок победил.

Если завоевание Джорджии Шерманом породило горечь у ее обитателей, то захват капитолия штата «саквояжниками», янки и неграми вызвал горечь такую жестокую, какой штат еще не знал. Атланта, да и вся Джорджия, кипели от гнева.

А Ретт Батлер был другом ненавистного Баллока!

Скарлетт, по обыкновению не обращавшая внимания ни на что, непосредственно ее не касавшееся, едва ли знала о том, что прошли выборы. Ретт в выборах не участвовал, и его отношения с янки оставались прежними. Но Ретт был подлипала, да к тому же и друг Баллока — от этого никуда не уйдешь. И если они со Скарлетт поженятся, то и она станет подлипалой. Атланта сейчас не склонна была что‑либо прощать или быть снисходительной к кому‑либо из вражеского лагеря, поэтому, когда распространилась весть о помолвке, город не вспомнил ничего хорошего об этой паре, зато припомнил все плохое.

Скарлетт понимала, что город не могла не потрясти весть об ее помолвке, но она и не представляла себе, какого накала достигли страсти, пока миссис Мерриуэзер, подстрекаемая своим церковным кружком, не взялась побеседовать с ней ради ее же блага.

— Поскольку твоей дорогой матушки нет в живых, а мисс Питти — женщина незамужняя и потому не способна... м‑м... ну, словом, говорить с тобой о таких вещах, я считаю своим долгом предупредить тебя, Скарлетт. Капитан Батлер — не тот человек, за которого может выйти замуж женщина из хорошей семьи. Он...

— Он сумел спасти голову дедушки Мерриуэзера и вашего племянника в придачу.

Миссис Мерриуэзер раздулась, как лягушка. Всего час тому назад у нее был весьма возмутительный разговор с дедушкой. Старик заметил, что она, должно быть, не слишком высоко ценит его шкуру, если не чувствует благодарности к Ретту Батлеру, каким бы мерзавцем и подлипалой он ни был.

— Он же все это сделал, Скарлетт, чтобы представить нас в дурацком свете перед янки, — возразила миссис Мерриуэзер. — Ты не хуже меня знаешь, что это самый настоящий мошенник. Всегда был мошенником, а сейчас просто пробы ставить негде. Таких, как он, приличные люди не принимают.

— Нет? Вот это странно, миссис Мерриуэзер. Ведь он часто бывал в вашей гостиной во время войны. И это он подарил Мейбелл атласное подвенечное платье, не так ли? Или, может быть, память меня подводит?

— В войну все было иначе и люди приличные общались со многими не вполне... И это было правильно, так как служило на благо Нашего Правого Дела. Но не можешь же ты всерьез думать о том, чтобы выйти замуж за человека, который и сам не служил в армии, и издевался над теми, кто записывался в ее ряды?!

— Он тоже был в армии. Он прослужил в армии восемь месяцев. Он участвовал в последней кампании, и сражался под Франклином, и был с генералом Джонстоном, когда тот сложил оружие.

— Я об этом не слыхала, — сказала миссис Мерриуэзер, и вид у нее был такой, будто она вовсе этому и не верит. — Но он же не был ранен — с победоносным видом добавила она.

— Многие не были.

— Все, кто чего‑то стоил, — все были ранены. Я лично не знаю ни одного, кто не был бы ранен.

Скарлетт закусила удила.

— В таком случае все, кого вы знали, были сущие идиоты, которые не умеют даже вовремя укрыться от дождя... или от пули. А теперь позвольте, миссис Мерриуэзер, вот что вам сказать, и можете отнести это на хвосте своим кумушкам. Я выхожу замуж за капитана Батлера, и я не изменила бы своего решения, даже если бы он сражался на стороне янки.

Достойная матрона покинула дом в таком состоянии, что даже шляпка ее тряслась от гнева, и Скарлетт поняла, что теперь приобрела себе открытого врага вместо порицательного друга. Но ей было все равно. Ни слова миссис Мерриуэзер, ни ее действия не могли уязвить Скарлетт. Ей было безразлично, кто что скажет, — за исключением Мамушки.

Скарлетт спокойно вынесла обморок тети Питти, которая лишилась чувств, узнав о помолвке, и сумела выстоять, увидев, как вдруг постарел Эшли и, не поднимая глаз, пожелал ей счастья. Ее позабавили и разозлили письма от тети Полин и тети Евлалии из Чарльстона: обе дамы пришли в ужас от услышанного, накладывали свой запрет на этот брак, писали, что она не только погубит себя, но нанесет удар и по их положению в обществе. Скарлетт лишь рассмеялась, когда Мелани, сосредоточенно нахмурясь, сказала со всей прямотой: «Конечно, капитан Батлер куда лучше, чем многие думают, — каким он оказался добрым и умным, как он сумел спасти Эшли. И он все‑таки сражался за Конфедерацию. Но, Скарлетт, не кажется ли тебе, что лучше не принимать столь поспешного решения?»

Нет, Скарлетт было безразлично, кто что говорил, — ей было небезразлично лишь то, что говорила Мамушка. Слова Мамушки сильнее всего обозлили ее и причинили самую острую боль.

— Много вы натворили всякого такого, от чего мисс Эллин очень бы расстроилась, ежели б узнала. И я тоже расстраивалась ужас как. Да только такого вы еще не выкидывали. Взять себе в мужья падаль! Да, мэм, еще раз повторю: падаль! И не смейте мне говорить, будто он — благородных кровей! Ничегошеньки это не меняет. Падаль — она ведь бывает и благородных кровей и неблагородных, а он — падаль! Да, мисс Скарлетт, я ведь видела, как вы отобрали мистера Чарлза у мисс Уилкс, хоть он и ни чуточки вам не нравился. И я видела, как вы украли у собственной сестры мистера Фрэнка. Но я держала рот на замке — ничего не говорила, хоть и видела, что вы творили, когда продавали худой лес за хороший, и оболгали не одного жентмуна из тех, что лесом торгуют, и разъезжали сама по себе всяким скверным неграм на приманку, а теперь вот и мистера Фрэнка из‑за вас подстрелили, и бедных каторжников‑то вы не кормите, так что у них душа в теле не держится. А я молчком молчала, хотя мисс Эллин в земле обетованной могла б сказать мне: «Мамушка, Мамушка! Плохо ты смотрела за моим дитятей!» Да, мэм, все я терпела, а вот этого, мисс Скарлетт, не стерплю. Не можете вы выйти замуж за падаль. И не выйдете, пока я дышу.

— Нет, выйду — и за того, за кого хочу, — холодно заявила Скарлетт. — Что‑то ты стала забывать свое место, Мамушка.

— И давно пора! Но ежели я вам все это не скажу — кто скажет?

— Я уже думала. Мамушка, и решила, что лучше тебе уехать назад в Тару. Я дам тебе денег и...

Мамушка вдруг выпрямилась, исполненная чувства собственного достоинства.

— Я ведь вольная, мисс Скарлетт. И никуда вы меня не пошлете, ежели я сама не захочу. А в Тару я поеду, когда вы со мной поедете. Не оставлю я дите мисс Эллин одну, и ничто на свете меня не принудит. Да и внука мисс Эллин я не оставлю, чтобы всякая там падаль воспитывала его. Здесь я сейчас живу, здесь и останусь!

— Я не позволю тебе жить в моем доме и грубить капитану Батлеру. А я выхожу за него замуж, и разговор окончен.

— Нет, тут еще много можно сказать, — медленно возразила Мамушка, и в ее выцветших старых глазах загорелся воинственный огонек. — Да только ни в жисть я не думала, что придется говорить такое родной дочери мисс Эллин. Но вы уж, мисс Скарлетт, меня выслушайте. Вы ведь всего‑то навсего мул в лошадиной сбруе. Ну, а мулу можно надраить копыта и начистить шкуру так, чтоб сверкала, и всю сбрую медными бляхами разукрасить, и в красивую коляску впрячь... Только мул все одно будет мул. И никого тут не обманешь. Так вот и вы. У вас и шелковые‑то платья есть, и лесопилки, и лавка, и деньги, и изображаете‑то вы из себя бог знает что, а все одно — мул. И никогошеньки‑то вы не обманете. И этот Батлер — он хоть и хорошей породы, и такой весь гладкий и начищенный, как скаковая лошадь, а он тоже, как и вы, — мул в лошадиной сбруе. — Мамушка проницательно смотрела на свою хозяйку. Скарлетт же, дрожа от обиды, слова не могла выговорить. — И ежели вы сказали, что хотите замуж за него выйти, вы и выйдете, потому как вы такая же упрямая, как ваш батюшка. Только запомните вот что, мисс Скарлетт: никуда я от вас не уйду. Останусь тут и посмотрю, как оно все будет.

И не дожидаясь ответа. Мамушка повернулась и вышла с таким зловещим видом, словно последние слова ее были: «Встретимся мы... Встретимся мы при Филиппах!»[[31]](#footnote-31).

Во время медового месяца, который Скарлетт с Реттом проводили в Новом Орлеане, она пересказала ему слова Мамушки. К ее удивлению и возмущению, услышав про мулов в лошадиной сбруе, Ретт рассмеялся.

— В жизни не слыхал, чтобы столь глубокая истина была выражена так кратко, — заметил он. — Мамушка — умная старуха, вот ее уважение и расположение мне хотелось бы завоевать, а таких людей на свете немного. Правда, если в ее глазах я мул, то едва ли сумею этого добиться. Она даже отказалась от десятидолларового золотого, который я в пылу жениховских чувств хотел ей после свадьбы подарить. Редко мне встречались люди, которых не мог бы растопить вид золота. А она посмотрела на меня в упор, поблагодарила и сказала, что она — не вольноотпущенная и мои деньги ей не нужны.

— Почему она так распалилась? И почему вообще все кудахчут по поводу меня, точно куры? Это мое дело, за кого я выхожу замуж и как часто я выхожу. Я, к примеру, всегда интересовалась только собственными делами. Почему же другие суют нос в чужие дела?

— Кошечка моя, люди могут простить почти все — не прощают лишь тем, кто не интересуется чужими делами. Но почему ты пищишь, как ошпаренная кошка? Ты же не раз говорила, что тебе безразлично, что люди болтают на твой счет. А на деле как получается? Ты знаешь, что не раз давала пищу для пересудов по разным мелочам, а сейчас, когда речь идет о таком серьезном вопросе, сплетни вполне естественны. Ты же знала, что пойдут разговоры, если ты выйдешь замуж за такого злодея, как я. Будь я человеком безродным, нищим, люди отнеслись бы к этому спокойнее. Но богатый процветающий злодей — это, уж конечно, непростительно.

— Неужели ты не можешь хоть когда‑нибудь быть серьезным!

— Я вполне серьезен. Людям благочестивым всегда досадно, когда неблагочестивые цветут как пышный зеленый лавр. Выше головку, Скарлетт, разве ты не говорила мне как‑то, что хочешь, быть очень богатой, прежде всего чтобы иметь возможность послать к черту любого встречного и поперечного? Вот ты и получила такую возможность.

— Но ведь тебя первого я хотела послать к черту, — сказала Скарлетт и рассмеялась.

— И все еще хочешь?

— Ну, не так часто, как прежде.

— Можешь посылать к черту всякий раз, как захочется.

— Радости мне это не прибавит, — заметила Скарлетт и, нагнувшись, небрежно чмокнула его. Черные глаза Ретта быстро пробежали по ее лицу, ища в ее глазах чего‑то, но так и не найдя, он отрывисто рассмеялся.

— Забудь об Атланте. Забудь о старых злых кошках. Я привез тебя в Новый Орлеан развлекаться и хочу, чтобы ты развлекалась.

## Часть 5

### Глава XLVIII

И Скарлетт действительно развлекалась — она не веселилась так с довоенной весны. Новый Орлеан был город необычный, шикарный, и Скарлетт, точно узник, приговоренный к пожизненному заключению и получивший помилование, с головой погрузилась в удовольствия. «Саквояжники» выкачивали из города все соки, многие честные люди вынуждены были покидать свои дома, не зная, где и когда удастся в очередной раз поесть; в кресле вице‑губернатора сидел негр. И все же Новый Орлеан, который Ретт показал Скарлетт, был самым веселым местом из всех, какие ей доводилось видеть. У людей, с которыми она встречалась, казалось, было сколько угодно денег и никаких забот. Ретт познакомил ее с десятком женщин, хорошеньких женщин в ярких платьях, женщин с нежными руками, не знавшими тяжелого труда, женщин, которые над всем смеялись и никогда не говорили ни о чем серьезном или тяжелом. А мужчины — с какими интереснейшими мужчинами она была теперь знакома! И как они были непохожи на тех, кого она знала в Атланте, и как стремились потанцевать с нею, какие пышные комплименты ей отпускали, точно она все еще была юной красоткой.

У этих мужчин были жесткие и дерзкие лица, как у Ретта. И взгляд всегда настороженный, как у людей, которые слишком долго жили рядом с опасностью и не могли позволить себе расслабиться. Казалось, у них не было ни прошлого, ни будущего, и они вежливо помалкивали, когда Скарлетт — беседы ради — спрашивала, чем они занимались до того, как приехать в Новый Орлеан, или где жили раньше. Это уже само по себе было странно, ибо в Атланте каждый уважающий себя пришелец спешил представить свои верительные грамоты и с гордостью рассказывал о доме и семье, вычерчивая сложную сеть семейных отношений, охватывавшую весь Юг.

Эти же люди предпочитали молчать, а если говорили, то осторожно, тщательно подбирая слова. Иной раз, когда Ретт был с ними, а Скарлетт находилась в соседней комнате, она слышала их смех и обрывки разговоров, которые для нее ничего не значили: отдельные слова, странные названия — Куба и Нассау в дни блокады, золотая лихорадка и захват участков, торговля оружием и морской разбой, Никарагуа и Уильям Уокер,[[32]](#footnote-32) и как он погиб, расстрелянный у стены в Трухильо. Однажды, когда она неожиданно вошла в комнату, они тотчас прервали разговор о том, что произошло с повстанцами Квонтрилла,[[33]](#footnote-33) — она успела услышать лишь имена Фрэнка и Джесси Джеймса.

Но у всех ее новых знакомых были хорошие манеры, они были прекрасно одеты и явно восхищались ею, а потому — не все ли ей равно, если они хотят жить только настоящим. Зато ей было далеко не все равно то, что они — друзья Ретта, что у них большие дома и красивые коляски, что они брали ее с мужем кататься, приглашали на ужины, устраивали приемы в их честь. И Скарлетт они очень нравились. Когда она сказала свое мнение Ретту, это немало его позабавило.

— Я так и думал, что они тебе понравятся, — сказал он и рассмеялся.

— А почему, собственно, они не должны были мне понравиться? — Всякий раз, как Ретт смеялся, у нее возникали подозрения.

— Все это люди второсортные, мерзавцы, паршивые овцы. Они все — авантюристы или аристократы из «саквояжников». Они все нажили состояние, спекулируя продуктами, как твой любящий супруг, или получив сомнительные правительственные контракты, или занимаясь всякими темными делами, в которые лучше не вникать.

— Я этому не верю. Ты дразнишь меня. Это же приличнейшие люди...

— Самые приличные люди в этом городе голодают, — сказал Ретт. — И благородно прозябают в развалюхах, причем я сомневаюсь, чтобы меня в этих развалюхах приняли. Видишь ли, прелесть моя, я во время войны участвовал здесь в некоторых гнусных делишках, а у людей чертовски хорошая память! Скарлетт, ты не перестаешь меня забавлять. У тебя какая‑то удивительная способность выбирать не тех людей и не те вещи.

— Но они же твои друзья!

— Дело в том, что я люблю мерзавцев. Юность свою я провел на речном пароходике — играл в карты, и я понимаю таких людей, как они. Но я знаю им цену. А вот ты, — и он снова рассмеялся, — ты совсем не разбираешься в людях, ты не отличаешь настоящее от дешевки. Иной раз мне кажется, что единственными настоящими леди, с которыми тебе приходилось общаться, были твоя матушка и мисс Мелли, но, видимо, это не оставило на тебе никакого следа.

— Мелли! Да она такая невзрачная, как старая туфля; и платья у нее всегда какие‑то нелепые, и мыслей своих нет!

— Избавьте меня от проявлений своей зависти, мадам! Красота еще не делает из женщины леди, а платье — настоящую леди!

— Ах, вот как?! Ну, погоди, Ретт Батлер, я тебе еще кое‑что покажу. Теперь, когда у меня... когда у нас есть деньги, я стану самой благородной леди, каких ты когда‑либо видел!

— С интересом буду ждать этого превращения, — сказал он.

Еще больше, чем люди, Скарлетт занимали наряды, которые покупал ей Ретт, выбирая сам цвета, материи и рисунок. Кринолинов уже не носили, и новую моду Скарлетт находила прелестной — перед у юбки был гладкий, материя вся стянута назад, где она складками ниспадала с турнюра, и на этих складках покоились гирлянды из цветов, и банты, и каскады кружев. Вспоминая скромные кринолины военных лет, Скарлетт немного смущалась, когда надевала эти новые юбки, обрисовывающие живот. А какие прелестные были шляпки — собственно, даже и не шляпки, а этакие плоские тарелочки, которые носили надвинув на один глаз, а на них — и фрукты, и цветы, и гибкие перья, и развевающиеся ленты. (Ах, если бы Ретт не был таким глупым и не сжег накладные букли, которые она купила, чтобы увеличить пучок, торчавший у нее сзади из‑под маленькой шляпки!) А тонкое, сшитое монахинями белье! Какое оно прелестное и сколько у нее этого белья! Сорочки, и ночные рубашки, и панталоны из тончайшего льна, отделанные изящнейшей вышивкой, со множеством складочек. А атласные туфли, которые Ретт ей купил! Каблуки у них были в три дюйма высотой, а спереди — большие сверкающие пряжки. А шелковые чулки — целая дюжина, и ни одной пары — с бумажным верхом! Какое богатство!

Скарлетт без оглядки покупала подарки для родных. Пушистого щенка сенбернара — для Уэйда, которому всегда хотелось иметь щенка; персидского котенка — для Бо; коралловый браслет — для маленькой Эллы; литое колье с подвесками из лунных камней — для тети Питти; полное собрание сочинений Шекспира — для Мелани и Эшли; расшитую ливрею, включая кучерской цилиндр с кисточкой, — для дядюшки Питера; материю на платья — для Дилси и кухарки; дорогие подарки для всех в Таре.

— А что ты купила Мамушке? — спросил ее Ретт, глядя на груду подарков, лежавших на постели в их гостиничном номере, и извлекая оттуда щенка и котенка, чтобы отнести в гардеробную.

— Ничего. Она вела себя отвратительно. С чего это я стану привозить ей подарки, когда она обзывает нас мулами?

— Почему ты так не любишь, когда тебе говорят правду, моя кошечка? Мамушке нужно привезти подарок. Ты разобьешь ей сердце, если этого не сделаешь, а такое сердце, как у нее, слишком ценно, чтобы взять его и разбить.

— Ничего я ей не повезу. Она этого не заслуживает.

— Тогда я сам куплю ей подарок. Я помню, моя нянюшка всегда говорила — хорошо бы, если на ней, когда она отправится на небо, была нижняя юбка из тафты, такой жесткой, чтоб она торчком стояла и шуршала при малейшем движении, а господь бог подумал бы, что она сшита из крыльев ангелов. Я куплю Мамушке красной тафты и велю сшить ей элегантную нижнюю юбку.

— В жизни Мамушка от тебя ее не примет. Да она скорее умрет, чем наденет такую.

— Не сомневаюсь. И все‑таки я это сделаю.

Магазины в Новом Орлеане были такие богатые, и ходить по ним с Реттом было так увлекательно. Обедать с ним было тоже увлекательным занятием — даже еще более волнующим, чем посещение магазинов, ибо Ретт знал, что заказать и как это должно быть приготовлено. И вина, и ликеры, и шампанское в Новом Орлеане — все было для Скарлетт в новинку, все возбуждало: ведь она знала лишь домашнюю наливку из ежевики, да мускатное вино, да «обморочный» коньяк тети Питти. А какую Ретт заказывал еду! Лучше всего в Новом Орлеане была еда. Когда Скарлетт вспоминала о страшных голодных днях в Таре и о совсем еще недавней поре воздержания, ей казалось, что она никогда вдоволь не наестся этих вкусных блюд. Суп из стручков бамии, коктейль из креветок, голуби в вине и устрицы, запеченные в хрустящем тесте со сметанным соусом; грибы, сладкое мясо и индюшачья печенка; рыба, хитро испеченная в промасленной бумаге, и к ней — лаймы. У Скарлетт никогда не было недостатка в аппетите, ибо стоило ей вспомнить о неизменных земляных орехах, сушеном горохе и сладком картофеле в Таре, как она готова была проглотить буквально все блюда креольской кухни.

— Всякий раз ты ешь так, словно больше тебе не дадут, — говорил Ретт. — Не вылизывай тарелку, Скарлетт. Я уверен, что на кухне еще сколько угодно еды. Стоит только попросить официанта. Если ты не перестанешь предаваться обжорству, будешь толстой, как кубинские матроны, и тогда я с тобой разведусь.

Но она лишь показывала ему язык и просила принести еще кусок торта с шоколадом и взбитыми сливками.

До чего же было приятно тратить деньги — сколько хочешь, а не считать каждый пенни и не думать о том, что надо экономить, чтобы заплатить налоги или купить мулов. До чего же было приятно находиться в обществе людей веселых и богатых, а не благородных, но бедных, как в Атланте. До чего же было приятно носить шуршащие парчовые платья, которые подчеркивали твою талию, оставляя открытыми для всеобщего обозрения твою шею, и руки, и в значительной мере грудь, и знать, что мужчины любуются тобой. И как приятно было есть все что захочется и не слышать при этом менторских наставлений о том, что, мол, леди так не едят. И как приятно было пить шампанское вволю! В первый раз, когда она выпила лишку, она проснулась на другое утро с раскалывающейся головой и не без смущения вспомнила, что ехала назад, в отель, по улицам Нового Орлеана в открытой коляске и во весь голос распевала «Славный голубой наш флаг». Она ни разу не видела ни одной хотя бы чуть подвыпившей леди; если же говорить о простых смертных, то она видела пьяную женщину только раз, в день падения Атланты, — это была та тварь, Уотлинг. Скарлетт не знала, как показаться на глаза Ретту после такого позора, но вся история, казалось, лишь позабавила его. Все, что бы Скарлетт ни делала, забавляло его, словно она была игривым котенком.

Ей доставляло удовольствие появляться с ним на людях — до того он был хорош. Она почему‑то никогда раньше не обращала внимания на его внешность, а в Атланте все были слишком заняты обсуждением его недостатков и никто не обращал внимания на то, как он выглядит. Но здесь, в Новом Орлеане, она видела, как женщины провожают его взглядом, и как они трепещут, когда он склоняется, целуя им руку. Сознание, что другие женщины находят ее мужа привлекательным и, возможно, даже завидуют ей, неожиданно преисполнило Скарлетт гордости за то, что у нее такой спутник в жизни.

«А мы, оказывается, красивая пара», — не без удовольствия подумала она.

Да, как и предсказывал Ретт, от брака действительно можно получать уйму удовольствия. И не только получать удовольствие, но и научиться кое‑чему. Это само по себе было странным, ибо Скарлетт считала, что жизнь уже ничему не может ее научить. А сейчас она чувствовала себя ребенком, которому каждый день сулит новое открытие.

Прежде всего она поняла, что брак с Реттом совсем не похож на брак с Чарлзом или Фрэнком. Они уважали ее и боялись ее нрава. Они выклянчивали ее расположение и если это ее устраивало, она снисходила до них. Ретт же не боялся ее, и она часто думала о том, что он не слишком ее и уважает. Он делал то, что хотел, и лишь посмеивался, если ей это не нравилось. Она его не любила, но с ним, конечно, было очень интересно. И самое интересное было то, что даже во время вспышек страсти, которая порой была окрашена жестокостью, а порой — раздражающей издевкой, он, казалось, всегда держал себя в узде, всегда был хозяином своих чувств.

«Это, наверное, потому, что на самом‑то деле он вовсе не влюблен в меня, — думала она, и такое положение дел вполне ее устраивало. — Мне бы не хотелось, чтобы он когда‑либо в чем‑то дал себе полную волю». И однако же, мысль о такой возможности щекотала ее, вызывая любопытство.

Живя с Реттом, Скарлетт обнаружила в нем много нового, а ведь ей казалось, что она хорошо его знает. Голос его, оказывается, мог быть мягким и ласковым, как кошачья шерсть, а через секунду — жестким, хрипло выкрикивающим проклятья. Он мог вроде бы откровенно и с одобрением рассказывать о мужественных, благородных, добродетельных, подсказанных любовью поступках, коим он был свидетелем в тех странных местах, куда его заносило, и тут же с холодным цинизмом добавлять скабрезнейшие истории. Она понимала, что муж не должен рассказывать жене таких историй, но они развлекали ее, воздействуя на какие‑то грубые земные струны ее натуры. Он мог быть страстным, почти нежным любовником, но это длилось недолго, а через мгновение перед ней был хохочущий дьявол, который срывал крышку с пороховой бочки ее чувств, поджигал запал и наслаждался взрывом. Она узнала, что его комплименты всегда двояки, а самым нежным выражениям его чувств не всегда можно верить. Словом, за эти две недели в Новом Орлеане она узнала о нем все — кроме того, каков он был на самом деле.

Случалось, он утром отпускал горничную, сам приносил Скарлетт завтрак на подносе и кормил ее, точно она — дитя, брал щетку и расчесывал ее длинные черные волосы, так что они начинали потрескивать и искрить. В другое же утро он грубо пробуждал ее от глубокого сна, сбрасывал с нее одеяло и щекотал ее голые ноги... Бывало, он с почтительным интересом и достоинством слушал ее рассказы о том, как она вела дела, выражая одобрение ее мудрости, а в другой раз называл ее весьма сомнительные сделки продувным мошенничеством, грабежом на большой дороге и вымогательством. Он водил Скарлетт на спектакли и, желая ей досадить, нашептывал на ухо, что бог наверняка не одобрил бы такого рода развлечений, а когда водил в церковь, тихонько рассказывал всякие смешные непристойности и потом корил за то, что она смеялась. Он учил ее быть откровенной, дерзкой и смелой. Следуя его примеру, она стала употреблять больно ранящие слова, иронические фразы и научилась пользоваться ими, ибо они давали ей власть над другими людьми. Но она не обладала чувством юмора Ретта, которое смягчало его ехидство, и не умела так улыбаться, чтобы казалось, будто, издеваясь над другими, она издевается сама над собой.

Он научил ее играть, а она почти забыла, как это делается. Жизнь для нее была такой серьезной, такой горькой. А он умел играть и втягивал ее в игру. Но он никогда не играл как мальчишка — это был мужчина, и что бы он ни делал, Скарлетт всегда об этом помнила. Она не могла смотреть на него сверху вниз — с высоты своего женского превосходства — и улыбаться, как улыбаются женщины, глядя на взрослых мужчин, оставшихся мальчишками в душе.

Это вызывало у нее досаду. Было бы так приятно чувствовать свое превосходство над Реттом. На всех других мужчин она могла махнуть рукой, не без презрения подумав: «Что за дитя!» На своего отца, на близнецов Тарлтонов с их любовью к поддразниванию и ко всяким хитрым проделкам, на необузданных младших Фонтейнов с их чисто детскими приступами ярости, на Чарлза, на Фрэнка, на всех мужчин, которые увивались за ней во время войны, — на всех, за исключением Эшли. Только Эшли и Ретт не поддавались ее пониманию и не позволяли помыкать собой, потому что оба были люди взрослые, ни в том, ни в другом не было мальчишества.

Она не понимала Ретта и не давала себе труда понять, в нем было порой нечто такое, что озадачивало ее. К примеру, то, как он на нее смотрел, когда думал, что она этого не видит. Внезапно обернувшись, она вдруг замечала, что он наблюдает за ней и в глазах его — напряженное, взволнованное ожидание.

— Почему ты на меня так смотришь? — однажды раздраженно спросила она его. — Точно кошка, подстерегающая мышь!

Но выражение его лица мгновенно изменилось, и он лишь рассмеялся. Вскоре она об этом забыла и перестала ломать над этим голову, как и вообще над всем, что касалось Ретта. Слишком уж он вел себя непредсказуемо, а жизнь была так приятна — за исключением тех минут, когда она вспоминала об Эшли.

Правда, Ретт занимал все ее время, и она не могла часто думать об Эшли. Днем Эшли почти не появлялся в ее мыслях, зато по ночам, когда она чувствовала себя совсем разбитой от танцев, а голова кружилась от выпитого шампанского, — она думала об Эшли. Часто, засыпая в объятиях Ретта при свете луны, струившемся на постель, она думала о том, как прекрасна была бы жизнь, если бы это руки Эшли обнимали ее, если бы это Эшли прятал лицо в ее черные волосы, обматывал ими себе шею.

Однажды, когда эта мысль в очередной раз пришла ей в голову, она вздохнула и отвернулась к окну — и почти тотчас почувствовала, как могучая рука Ретта у нее под головой напряглась и словно окаменела и голос Ретта произнес в тишине:

— Хоть бы бог отправил твою мелкую лживую душонку на веки вечные в ад!

Он встал, оделся и вышел из комнаты, несмотря на ее испуганные вопросы и протесты. Вернулся он лишь на следующее утро, когда она завтракала у себя в номере, — вернулся пьяный, мятый, в самом саркастическом настроении; он не извинился перед ней и никак не объяснил своего отсутствия.

Скарлетт ни о чем его не спрашивала и держалась с ним холодно, как и подобает оскорбленной жене, а покончив с завтраком, оделась под взглядом его налитых кровью глаз и отправилась по магазинам. Когда она вернулась, его уже не было; и появился он снова лишь к ужину.

За столом царило молчание, Скарлетт старалась не дать воли гневу — ведь это был их последний ужин в Новом Орлеане, а ей хотелось поесть крабов. Но она не получила удовольствия от еды под взглядом Ретта. Тем не менее она съела большущего краба и выпила немало шампанского. Быть может, это сочетание возродило старый кошмар, ибо проснулась она в холодном поту, отчаянно рыдая. Она была снова в Таре — разграбленной, опустошенной. Мама умерла, и вместе с ней ушла вся сила и мудрость мира. В целом свете не было больше никого, к кому Скарлетт могла бы воззвать, на кого могла бы положиться. А что‑то страшное преследовало ее, и она бежала, бежала, так что сердце, казалось, вот‑вот разорвется, — бежала в густом, клубящемся тумане и кричала, бежала, слепо ища неведомое безымянное пристанище, которое находилось где‑то в этом тумане, окружавшем ее.

Проснувшись, она увидела склонившегося над ней Ретта; он молча взял ее, как маленькую девочку, на руки и прижал к себе — в его крепких мускулах чувствовалась надежная сила, его шепот успокаивал, и она перестала рыдать.

— Ох, Ретт, мне было так холодно, я была такая голодная, такая усталая. Я никак не могла это найти. Я все бежала и бежала сквозь туман и не могла найти.

— Что найти, дружок?

— Не знаю. Хотелось бы знать, но не знаю.

— Это все тот старый сон?

— Да, да!

Он осторожно опустил ее на постель, пошарил в темноте и зажег свечу. Она озарила его лицо, резко очерченное, с налитыми кровью глазами, — непроницаемое, точно каменное. Распахнутая до пояса рубашка обнажала смуглую, покрытую густыми черными волосами грудь. Скарлетт, все еще дрожа от страха, подумала — какой он сильный, какой крепкий и прошептала:

— Обними меня, Ретт.

— Хорошая моя! — пробормотал он, подхватил ее на руки, прижал к себе и опустился со своей ношей в глубокое кресло.

— Ах, Ретт, это так страшно, когда ты голодная.

— Конечно, страшно умирать во сне от голода после того, как съеден ужин из семи блюд, включая того огромного краба. — Он улыбнулся, и глаза у него были добрые.

— Ах, Ретт, я все бежала и бежала, и что‑то искала и не могла найти то, что искала. Оно все время пряталось от меня в тумане. А я знала, что если это найду, то навсегда буду спасена и никогда‑никогда не буду больше страдать от холода или голода.

— Что же ты искала — человека или вещь?

— Сама не знаю. Я об этом не думала. А как ты думаешь, Ретт, мне когда‑нибудь приснится, что я добралась до такого места, где я буду в полной безопасности?

— Нет, — сказал он, приглаживая ее растрепанные волосы, — думаю, что нет. Сны нам неподвластны. Но я думаю, что если ты привыкнешь жить в безопасности и в тепле и каждый день хорошо питаться, то перестанешь видеть этот сон. А уж я, Скарлетт, позабочусь, чтобы ничто тебе не угрожало.

— Ретт, ты такой милый.

— Благодарю вас за крошки с вашего стола, госпожа Богачка. Скарлетт, я хочу, чтобы каждое утро, просыпаясь, ты говорила себе: «Я никогда больше не буду голодать и ничего со мной не случится, пока Ретт рядом и правительство Соединенных Штатов — у власти».

— Правительство Соединенных Штатов? — переспросила она и в испуге выпрямилась, не успев смахнуть слезы со щек.

— Бывшая казна конфедератов стала честной женщиной. Я вложил большую часть этих денег в правительственные займы.

— Мать пресвятая богородица! — воскликнула Скарлетт, отстраняясь от него, забыв о недавно владевшем ею ужасе. — Неужели ты хочешь сказать, что ссудил свои деньги этим янки?

— Под весьма приличный процент.

— Да мне плевать, если даже под сто процентов! Немедленно продай эти облигации! Подумай только — чтобы янки пользовались твоими деньгами!

— А что мне с ними делать? — с улыбкой спросил он, подмечая, что в глазах ее уже нет страха.

— Ну... ну, например, купить землю у Пяти Углов. Уверена, что при твоих деньгах ты мог бы все участки там скупить.

— Премного благодарен, но не нужны мне эти Пять Углов. Теперь, когда правительство «саквояжников» по‑настоящему прибрало Джорджию к рукам, никто не знает, что может случиться. Я не поручусь за этих стервятников, что налетели в Джорджию с севера, востока, юга и запада. Я, как ты понимаешь, будучи добросовестным подлипалой, действую с ними заодно, но я им не верю. И деньги свои в недвижимость вкладывать не стану. Я предпочитаю государственные займы. Их можно спрятать. А недвижимость спрятать не так‑то легко.

— Ты, что же, считаешь... — начала было она, похолодев при мысли о лесопилках и лавке.

— Я ничего не знаю. Но не надо так пугаться, Скарлетт. Наш обаятельный новый губернатор — добрый мой друг. Просто времена сейчас очень уж неверные, и я не хочу замораживать большие деньги в недвижимости.

Он пересадил ее на одно колено, потянулся за сигарой и закурил. Она сидела, болтая босыми ногами, глядя на игру мускулов на его смуглой груди, забыв все страхи.

— И раз уж мы заговорили о недвижимости, Скарлетт, — сказал он, — я намерен построить дом. Ты могла заставить Фрэнка жить в доме мисс Питти, но не меня. Не думаю, что я сумею вынести ее причитания по три раза в день, а кроме того, мне кажется, дядюшка Питер скорее прикончит меня, чем допустит, чтоб я поселился под священной крышей Гамильтонов. А мисс Питти может предложить мисс Индии Уилкс пожить с нею, чтобы отпугивать привидения. Мы же, вернувшись в Атланту, поселимся в свадебном номере отеля «Нейшнл», пока наш дом не будет построен. Еще до отъезда из Атланты мне удалось сторговаться насчет того большого участка на Персиковой улице — что близ дома Лейденов. Ты знаешь, о каком я говорю?

— Ах, Ретт, какая прелесть! Мне так хочется иметь свой дом. Большой‑большой.

— Ну вот, наконец‑то мы хоть в чем‑то согласны. Что, если построить белый оштукатуренный дом и украсить его чугунным литьем, как эти креольские дома здесь?

— О нет, Ретт. Только не такой старомодный, как эти новоорлеанские дома. Я знаю, чего бы мне хотелось. Я хочу совсем новый дом — я видела картинку... стой, стой... — в «Харперс уикли». Что‑то вроде швейцарского шале.

— Швейцарского — чего?

— Шале.

— Скажи по буквам.

Она выполнила его просьбу.

— Вот как! — произнес он и пригладил усы.

— Дом прелестный. У него высокая остроугольная крыша, под ней — мансарда, поверху идет как бы частокол, а по углам — башенки, крытые цветной черепицей. И в этих башенках — окна с синими и красными стеклами. Все — по моде.

— И перила крыльца, должно быть, с переплетом?

— Да.

— А с крыши над крыльцом свешиваются этакие деревянные кружева?

— Да. Ты, должно быть, видел такой.

— Видел... но не в Швейцарии. Швейцарцы очень умный народ и остро чувствуют красоту в архитектуре. Ты в самом деле хочешь такой дом?

— Ах, конечно!

— А я‑то надеялся, что общение со мной улучшит твой вкус. Ну, почему ты не хочешь дом в креольском или колониальном стиле, с шестью белыми колоннами?

— Я же сказала, что не хочу ничего старомодного. А внутри чтобы были красные обои и красные бархатные портьеры и чтоб все двери раздвигались. И конечно, много дорогой ореховой мебели и роскошные толстые ковры, и... Ах, Ретт, все позеленеют от зависти, когда увидят наш дом!

— А так ли уж необходимо, чтобы все нам завидовали? Впрочем, если тебе так хочется, пусть зеленеют. Только тебе не приходило в голову, Скарлетт, что не очень это хороший вкус — обставлять свой дом с такой роскошью, когда вокруг все так бедны?

— А я хочу, — упрямо заявила она. — Я хочу, чтобы всем, кто плохо ко мне относится, стало не по себе. И мы будем устраивать большие приемы, чтобы все в городе жалели, что говорили обо мне разные гадости.

— Но кто же в таком случае будет приходить на наши приемы?

— Как кто — все, конечно.

— Сомневаюсь. «Старая гвардия» умирает, но не сдается.

— Ах, Ретт, какую ты несешь чушь. У кого есть деньги, того люди всегда будут любить.

— Только не южане. Спекулянту с деньгами куда труднее проникнуть в лучшие гостиные города, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. А уж про подлипал, — а это мы с тобой, моя кошечка, — и говорить нечего: нам повезет, если нас не оплюют. Но если ты, моя дорогая, хочешь все же попытаться, что ж, я тебя поддержу и, уверен, получу немало удовольствия от твоей кампании. А теперь, раз уж мы заговорили о деньгах, мне хотелось бы поставить точки над «i». Я дам тебе на дом столько денег, сколько ты захочешь, и сколько ты захочешь — на всякую мишуру. И если ты любишь драгоценности — пожалуйста, но только я сам буду их выбирать. У тебя, моя кошечка, преотвратительный вкус. Ну, и конечно, ты получишь все, что требуется для Уэйда или Эллы. И если Уиллу Бентину не удастся сбыть весь хлопок, я готов оказать ему помощь и покрыть расходы на содержание этого белого слона в графстве Клэйтон, который вам так дорог. Это будет справедливо, как ты считаешь?

— Конечно. Ты очень щедр.

— Но теперь слушай меня внимательно. Я не дам ни цента на твою лавку и ни цента на эту твою дохлую лесопилку.

— О‑о, — вырвалось у Скарлетт, и лицо ее вытянулось. Весь медовый месяц она думала о том, как бы попросить у него тысячу долларов, которые нужны ей были, чтобы прикупить еще пятьдесят футов земли и расширить свой лесной склад. — По‑моему, ты всегда похвалялся широтой взглядов: тебе, мол, все равно, пусть болтают про то, что у меня свое дело, а ты, оказывается, как все мужчины, до смерти боишься, как бы люди не сказали, что это я ношу брюки в нашей семье.

— Вот уж ни у кого никогда не возникнет сомнения насчет того, кто в семье Батлеров носит брюки, — протянул Ретт. — И мне безразлично, что болтают дураки. Видишь ли, я настолько плохо воспитан, что горжусь своей красавицей женой. И я не возражаю: продолжай держать лавку и лесопилки. Они принадлежат твоим детям. Когда Уэйд подрастет, ему, возможно, не захочется жить на содержании отчима и он сам возьмет на себя управление делами. Но ни единого цента ни на одно из этих предприятий я не дам.

— Почему?

— Потому что не желаю содержать Эшли Уилкса.

— Ты что, начинаешь все сначала?

— Нет... Но ты спросила — почему, и я объяснил. И еще одно. Не думай, что тебе удастся провести меня, и не лги и не придумывай, сколько стоят твои туалеты и как дорого вести дом, чтобы на сэкономленные деньги иметь потом возможность накупить мулов или еще одну лесопилку для Эшли. Я намерен тщательно проверять твои расходы, а что сколько стоит, я знаю. Ах, пожалуйста, не напускай на себя оскорбленный вид. Ты бы на все это пошла. Я считаю, что ты вполне на это способна. Я вообще считаю, что ты на что угодно пойдешь, если дело касается Тары или Эшли. Против Тары я не возражаю. Но что касается Эшли — тут я против. Я не натягиваю поводья, моя кошечка, но не забудь, что у меня есть уздечка и шпоры.

### Глава XLIX

Миссис Элсинг прислушалась к звукам, доносившимся из холла, и, убедившись, что Мелани прошла на кухню, где раздался стук посуды и звон серебра, обещавшие скорое подкрепление, повернулась и тихо заговорила, обращаясь к дамам, которые сидели полукругом в гостиной, держа на коленях корзиночки с шитьем.

— Лично я не намерена посещать Скарлетт ни сейчас, ни когда‑либо впредь, — заявила она, и ее тонкое холодное лицо стало еще холоднее.

Остальные члены Кружка шитья для вдов и сирот Конфедерации быстро воткнули иголки в материю и сдвинули свои качалки. Всех дам буквально распирало от желания поговорить о Скарлетт и Ретте, но мешало присутствие Мелани. Как раз накануне эта парочка вернулась из Нового Орлеана и поселилась в свадебном номере в отеле «Нейшнл».

— Хью говорит, что вежливость требует, чтобы я нанесла им визит: ведь капитан Батлер спас ему жизнь, — продолжала миссис Элсинг. — И бедняжка Фэнни приняла его сторону и сказала, что тоже пойдет к ним. А я сказала ей: «Фэнни, — сказала я, — если бы не Скарлетт, Томми был бы сейчас жив. Это оскорбительно для его памяти — идти туда». А у Фэнни хватило ума заявить мне: «Мама, я же пойду не к Скарлетт. Я пойду к капитану Батлеру. А он все сделал, чтобы спасти Томми, и не его вина, что ему это не удалось».

— До чего же они глупые, эти молодые люди! — сказала миссис Мерриуэзер. — Визиты наносить — как же! — Грудь у нее поднялась горой от возмущения при воспоминании о том, как грубо отклонила Скарлетт ее совет не выходить замуж за Ретта. — И моя Мейбелл такая же глупая, как ваша Фэнни. Заявила, что они с Рене отправятся с визитом: ведь капитан Батлер спас‑де Рене от виселицы. А я сказала, что если бы Скарлетт не раскатывала всем напоказ, Рене никогда бы не оказался в опасности. И папаша Мерриуэзер тоже намерен идти с визитом — послушать его, так он от старости, видно, совсем ума лишился: говорит, что если я не чувствую благодарности, то он, безусловно, благодарен этому мерзавцу. Клянусь, с тех пор как папаша Мерриуэзер побывал в доме этой Уотлинг, он ведет себя самым постыдным образом. Визиты наносить — как же! Я‑то уж, конечно, не пойду. Скарлетт изгнала себя из нашего общества, выйдя замуж за такого человека. Он был уже достаточно мерзок, когда спекулировал во время войны и наживался на нашем горе, а сейчас, когда его с «саквояжниками» и подлипалами водой не разольешь, да еще он в друзьях‑приятелях — да‑да, в ближайших друзьях — с этим отъявленным мерзавцем губернатором Баллоком... Визиты им наносить — как же!

Миссис Боннелл вздохнула. Это была тучная смуглая клуша с веселым лицом.

— Они ведь пойдут к ним только раз — с визитом вежливости, Долли. Не знаю, можно ли людей за это винить. Я слышала, все мужчины, которые в ту ночь не были дома, хотят идти к ним с визитом, и я думаю, они должны пойти. Правда, мне как‑то трудно представить себе, что Скарлетт — дочь своей матери. Я ходила в школу с Эллин Робийяр в Саванне, и это была прелестнейшая девушка, я ее очень любила. И почему только ее отец не захотел, чтоб она вышла замуж за своего кузена Филиппа Робийяра! Ничего по‑настоящему плохого в этом молодом человеке не было — ведь всем молодым людям надо перебеситься. А Эллин зачем‑то поспешила и выскочила замуж за этого О’Хара, который был намного старше нее, — вот у нее и получилась такая дочь, как Скарлетт. И все же я считаю, что один раз должна нанести им визит — в память об Эллин.

— Сентиментальная чепуха! — решительно фыркнула миссис Мерриуэзер. — Китти Боннелл, неужели вы пойдете с визитом к женщине, которая вышла замуж меньше чем через год после смерти мужа? К женщине...

— ...из‑за которой к тому же погиб мистер Кеннеди, — вмешалась Индия. Она произнесла это спокойным, но таким язвительным тоном. Стоило зайти речи о Скарлетт, как она забывала о вежливости и помнила одно — вечно помнила о Стюарте Тарлтоне. — Да к тому же я всегда считала, что между нею и этим Батлером было что‑то до того, как погиб мистер Кеннеди, о чем мало кто подозревает.

Не успели дамы прийти в себя от изумления, вызванного ее словами, — к тому же говорила‑то это девица, — как в дверях появилась Мелани. А они были настолько поглощены пересудами, что не слышали ее легких шагов, и сейчас, застигнутые врасплох хозяйкой дома, походили на перешептывающихся школьниц, пойманных с поличным учительницей. Они не только оцепенели, но и перепугались при виде того, как изменилось лицо Мелани. Она стояла вся красная от праведного гнева, ласковые глаза ее метали молнии, ноздри трепетали. Никто из присутствующих ни разу не видел Мелани разгневанной. Ни одна из дам даже и предположить не могла, что Мелани способна на такую ярость. Они все любили ее, но считали необычайно мягкой, уступчивой молодой женщиной, с уважением относящейся к старшим и не имеющей собственного мнения.

— Да как ты смеешь, Индия! — произнесла она тихо, дрожащим от гнева голосом. — Куда способна завести тебя ревность! Постыдилась бы!

Индия побелела, но не опустила головы.

— Я ни одного своего слова не возьму назад, — заявила она. Но ум ее тем временем усиленно работал. «Неужели я действительно ревную?» — думала она. Разве воспоминания о Стюарте Тарлтоне, о Милочке и Чарлзе не давали ей достаточно оснований завидовать Скарлетт? Разве не было у нее достаточно оснований ненавидеть Скарлетт, особенно сейчас, когда у нее зародилось подозрение, что Скарлетт каким‑то образом опутала своей паутиной и Эшли? Она подумала: «Я бы многое могла рассказать тебе, Мелани, об Эшли и вашей драгоценной Скарлетт». Индию раздирали противоречивые желания: оберечь Эшли своим молчанием или показать, каков он на самом деле, поделившись своими подозрениями с Мелани и всем миром. Это заставило бы Скарлетт выпустить Эшли из своих цепких рук. Но время для такого разговора еще не настало. У нее ведь не было никаких доказательств — ничего, кроме подозрений.

— Я ни одного слова не возьму назад, — повторила она.

— В таком случае твое счастье, что ты не живешь больше под моей крышей, — сказала Мелани холодным, как лед, тоном.

Индия вскочила, впалые щеки ее залила яркая краска.

— Мелани, ты... ты же моя невестка... не станешь же ты ссориться со мной из‑за этой беспутной...

— Скарлетт тоже моя невестка, — сказала Мелани, глядя в упор на Индию, точно они были чужими друг другу. — И она мне дороже родной сестры. Если ты забыла о том, скольким я ей обязана, то я не забыла. Она пробыла со мной всю осаду, хотя могла уехать домой — даже тетя Питти, и та сбежала в Мэйкон. Она помогла мне родить, когда янки были у самой Атланты, и взвалила на себя такую обузу — повезла нас с Бо в Тару, хотя могла оставить меня в больнице на милость янки. Она ухаживала за мной и кормила меня, а сама едва держалась на ногах от усталости и недоедания. В Таре мне дали лучший матрац, потому что я была больная и слабая. А когда я смогла ходить, мне дали единственную целую пару туфель. Ты, Индия, возможно, забыла все, что она сделала для меня, но я не могу этого забыть. А когда Эшли вернулся больной, несчастный, без крова над головой, без денег в кармане, она приняла его в свой дом, как сестра. А когда мы думали, что придется уехать на Север, и у нас сердце разрывалось при мысли, что мы расстанемся с Джорджией, Скарлетт вмешалась и поставила Эшли управлять лесопилкой. А капитан Батлер спас Эшли жизнь исключительно по доброте. И конечно же, у Эшли нет никаких к нему претензий! Я благодарна, благодарна и Скарлетт и капитану Батлеру. Что же до тебя, Индия!.. Как ты можешь забыть то, что Скарлетт сделала для меня и для Эшли?! Как ты можешь так мало ценить жизнь брата, чтобы порочить человека, который его спас?! Да встань ты на колени перед капитаном Батлером и Скарлетт — даже этого было бы недостаточно.

— Ну, вот что, Мелли, — решительно вмешалась миссис Мерриуэзер, к которой вернулось самообладание, — не надо так говорить с Индией.

— Я ведь слышала и то, что вы говорили про Скарлетт, — воскликнула Мелани, поворачиваясь к дородной пожилой даме словно дуэлянт, который, вытащив клинок из распростертого тела противника, яростно набрасывается на другого. — И вы тоже, миссис Элсинг. Как вы относитесь к Скарлетт в глубине ваших мелких душонок, мне безразлично, это меня не касается. Но то, что вы говорите о ней в моем доме или в моем присутствии, это уже меня касается. Вот только как вы можете хотя бы думать такие гадости, а тем более их говорить? Неужели вы так мало цените своих мужчин, что хотели бы видеть их мертвыми, а не живыми? Неужели у вас нет ни капли благодарности к человеку, который спас их, причем спас, рискуя собственной жизнью? Ведь янки легко могли заподозрить, что он — член ку‑клукс‑клана, если бы вся правда вышла наружу! Они могли бы повесить его. И тем не менее он пошел на риск ради ваших мужчин. Ради вашего свекра, миссис Мерриуэзер, и вашего зятя, и ваших двух племянников в придачу. И ради вашего брата, миссис Боннелл, и ради вашего сына и вашего зятя, миссис Элсинг. Неблагодарные — вот вы кто! И я требую, чтобы все вы извинились.

Миссис Элсинг вскочила на ноги и, крепко сжав губы, принялась засовывать шитье в корзиночку.

— Если бы кто‑нибудь когда‑нибудь сказал мне, что ты сможешь быть такой невоспитанной, Мелли... Нет, я не стану перед тобой извиняться. Индия права. Скарлетт — легкомысленная, беспутная женщина. Я не могу забыть, как она вела себя во время войны. И не могу забыть, как она повела себя точно последняя голодранка, когда у нее завелось немного денег...

— Вы не можете забыть, — перебила ее Мелани, крепко прижав кулачки к бокам, — что она выставила Хью, потому что у него не хватало ума управлять лесопилкой.

— Мелли! — хором взмолились дамы.

Миссис Элсинг вскинула голову и направилась к выходу. Уже взявшись за ручку парадной двери, она остановилась и обернулась.

— Мелли, — сказала она, и голос ее потеплел, — деточка, ты разбиваешь мне сердце. Я ведь была лучшей подругой твоей мамы и помогала доктору Миду принимать тебя, и я любила тебя, точно собственное дитя. Если бы речь шла о чем‑то важном, было бы не так тяжело выслушивать все это от тебя. Но когда речь идет о такой женщине, как Скарлетт О’Хара, которая способна сделать и тебе гадость, как и любой из нас...

Слезы вновь выступили на глазах Мелани при первых же словах миссис Элсинг, но к концу ее тирады лицо Мелани стало жестким.

— Я хочу, чтобы вы все знали, — сказала она, — та из вас, кто не пойдет с визитом к Скарлетт, может никогда, никогда больше не приходить ко мне.

Раздался гул голосов, и дамы в смятении поднялись. Миссис Элсинг швырнула на пол корзиночку с шитьем и вернулась в гостиную, ее фальшивая челка съехала набок.

— Я не могу с этим примириться! — воскликнула она. — Не могу! Ты не в своем уме, Мелли: по‑моему, ты сама не знаешь, что говоришь. Ты по‑прежнему останешься моим другом, а я по‑прежнему останусь твоим. Я не допущу, чтобы мы из‑за этого поссорились.

Она расплакалась, и Мелани неожиданно очутилась в ее объятиях — она тоже плакала, но и всхлипывая, продолжала твердить, что не откажется ни от одного своего слова. Еще две‑три дамы разрыдались, и миссис Мерриуэзер, громко сморкаясь в платок, принялась целовать миссис Элсинг и Мелани. Тетя Питти, в ужасе наблюдавшая за всем этим, вдруг опустилась на пол, и на сей раз — что случалось с ней нечасто — действительно лишилась чувств. Среди этих слез, суматохи, поцелуев, поисков нюхательных солей и коньяка лишь у одной женщины лицо оставалось бесстрастным, лишь у одной были сухие глаза. Индия Уилкс вышла из дома, не замеченная никем.

Дедушка Мерриуэзер, встретившись несколькими часами позже с дядей Генри Гамильтоном в салуне «Наша славная девчонка», рассказал со слов миссис Мерриуэзер о том, что произошло утром. Поведал он об этом с превеликим удовольствием, ибо был в восторге от того, что у кого‑то хватило мужества осадить его грозную сноху. Ему самому мужества на это никогда, конечно, не хватало.

— Ну и что же эта свора идиоток наконец решила? — раздраженно осведомился дядя Генри.

— Я, право, не знаю, — сказал дедушка, — но похоже, что Мелли в этом забеге шутя одержала победу. Могу поклясться, все они нанесут визит Скарлетт — хотя бы раз. Люди очень высоко ставят вашу племянницу, Генри.

— Мелли — дурочка, а дамы правы. Скарлетт — ловкая штучка, и я просто не понимаю, зачем Чарли понадобилось в свое время жениться на ней, — мрачно заметил дядя Генри. — Но и Мелли по‑своему права. Приличия требуют, чтобы все, кого спас капитан Батлер, нанесли ему визит. Если на то пошло, я лично ничего против Батлера не имею. Он достойно вел себя в ту ночь, спасая наши шкуры. А вот Скарлетт сидит у меня как заноза под хвостом. Слишком она шустра — ей же от этого только хуже. Но с визитом мне пойти к ней придется. Стала Скарлетт подлипалой или не стала, а она как‑никак моя родственница. И пойду я к ним сегодня же.

— И я пойду с вами. Генри. Долли, пронюхай она об этом, пришлось бы, наверно, связать. Подождите, вот только пропущу еще стаканчик.

— Нет, пить мы будем у капитана Батлера. Что ни говорите, у него хорошего вина всегда вдоволь.

Ретт сказал, что «старая гвардия» никогда не сдастся, и был прав. Он понимал, что никакого значения этим нескольким визитам придавать нельзя, как понимал и то, почему они были нанесены. Хотя родственники мужчин, участвовавших в том злополучном налете ку‑клукс‑клана, и пришли к ним первые с визитом, но больше почти не появлялись. И к себе Ретта Батлера не приглашали.

Ретт заметил, что они и вовсе бы не пришли, если бы не боялись Мелани. Скарлетт понятия не имела, откуда у него возникла такая мысль, но она тотчас с презрением ее отвергла. Ну, какое влияние могла иметь Мелани на таких людей, как миссис Элсинг и миссис Мерриуэзер? То, что они больше не заходили, мало волновало ее, — собственно, их отсутствия она почти не замечала, поскольку в номере у нее полно было гостей другого рода. «Пришлые» — называли в Атланте таких людей, а то употребляли и менее вежливое словцо.

А в отеле «Нейшнл» нашло себе пристанище немало «пришлых», которые, как и Ретт со Скарлетт, жили там в ожидании, пока будут выстроены их дома. Это были веселые богатые люди, очень похожие на новоорлеанских друзей Ретта, — элегантно одетые, легко сорящие деньгами, не слишком распространяющиеся о своем прошлом. Все мужчины были республиканцами и «находились в Атланте по делам, которые вели с правительством штата». Что это были за дела, Скарлетт не знала и не трудилась узнавать.

Правда, Ретт мог бы со всею достоверностью рассказать ей, что эти люди занимались тем же, что и канюки, обгладывающие падаль. Они издали чуют смерть и безошибочно находят то место, где можно нажраться до отвала. А в правительстве Джорджии, по сути дела, уже не осталось коренных жителей, штат был совершенно беспомощен, и авантюристы стаями слетались сюда.

Жены приятелей Ретта из подлипал и «саквояжников» гуртом валили к Скарлетт, как и «пришлые», с которыми она познакомилась, когда продавала лес для их новых домов. Ретт сказал, что если она может вести с этими людьми дела, то должна принимать их, а однажды приняв их, она поняла, что с ними весело. Они были хорошо одеты и никогда не говорили о войне иди о тяжелых временах, а беседовали лишь о модах, скандалах и висте. Скарлетт никогда раньше не играла в карты и, научившись за короткое время хорошо играть, с увлечением предалась висту.

В номере у нее всегда собиралась компания игроков. Но она редко бывала у себя в эти дни, ибо была слишком занята строительством дома и не могла уделять время гостям. Сейчас ее не слишком занимало, есть у нее визитеры или нет. Ей хотелось отложить все светские развлечения до той поры, когда будет закончен дом и она сможет предстать перед обществом в роли хозяйки самого большого особняка в Атланте, где будут устраиваться изысканнейшие приемы.

Долгими жаркими днями следила она за тем, как растет ее красный кирпичный дом под крышей из серой дранки — дом, возвышавшийся надо всеми домами на Персиковой улице. Забыв о лавке и о лесопилках, она проводила все время на участке — препиралась с плотниками, спорила со штукатурами, изводила подрядчика. Глядя на то, как быстро поднимаются стены, она с удовлетворением думала о том, что когда дом будет закончен, он станет самым большим и самым красивым в городе. Даже более внушительным, чем соседний особняк Джеймса, который только что купили для официальной резиденции губернатора Баллока.

Особняк губернатора мог гордиться своими кружевными перилами и карнизами, но все это в подметки не годилось затейливому орнаменту на доме Скарлетт. У губернатора была бальная зала, но она казалась не больше бильярдного стола по сравнению с огромным помещением, отведенным для этой цели у Скарлетт и занимавшим весь четвертый этаж. Вообще в ее доме было все, и даже в больших количествах, чем в любом особняке или любом другом городском доме, — больше куполов, и башен, и башенок, и балконов, и громоотводов, и окон с цветными стеклами.

Вокруг дома шла веранда, и с каждой стороны к ней вели четыре ступени. Двор был большой, зеленый, со старинными чугунными скамьями, расставленными тут и там, чугунной беседкой, названной модным словечком «бельведер» и, как заверили Скарлетт, построенной по готическому образцу, а также двумя большими чугунными статуями — одна изображала оленя, другая — бульдога величиной с шотландского пони. Для Уэйда и Эллы, несколько испуганных размерами, роскошью и модным в ту пору полумраком их нового дома, эти два чугунных зверя были единственной утехой.

Внутри дом был обставлен сообразно желаниям Скарлетт: толстые красные ковры покрывали пол от стены до стены, на дверях висели портьеры темно‑красного бархата и повсюду стояла самая новомодная мебель из черного полированного ореха с затейливой резьбой, не оставлявшей и дюйма гладкой поверхности, обитая такой скользкой тканью из конского волоса, что дамам приходилось садиться крайне осторожно, дабы не соскользнуть на пол. Повсюду висели зеркала в золоченых рамах и стояли трюмо — такое множество только в заведении Красотки Уотлинг и можно увидеть, небрежно заметил как‑то Ретт. Промежутки между ними заполняли офорты в тяжелых рамах — иные футов восемь длиной, — которые Скарлетт специально выписала из Нью‑Йорка. Стены были оклеены дорогими темными обоями, и при высоких потолках и вишневых плюшевых портьерах на окнах, загораживавших солнечный свет, в комнатах всегда царил полумрак.

Так или иначе, дом производил ошеломляющее впечатление, и Скарлетт, ступая по мягким коврам, погружаясь в объятия пуховиков на кровати, вспоминала холодный пол и соломенные матрацы в Таре и чувствовала несказанное удовлетворение. Дом казался ей самым красивым и самым элегантно обставленным из всех, что она видела на своем веку, Ретт же сказал, что это какой‑то кошмар. Однако если она счастлива — пусть радуется.

— Теперь всякий, кто о нас слова худого не слышал, войдя в этот дом, сразу поймет, что он построен на сомнительные доходы, — сказал Ретт. — Знаешь, Скарлетт, говорят, что деньги, добытые сомнительным путем, никогда ничего хорошего не приносят, так вот наш дом — подтверждение этой истины. Типичный дом спекулянта.

Но Скарлетт, переполненная гордостью и счастьем, заранее мечтая о том, какие они будут устраивать приемы, когда тут поселятся, лишь игриво ущипнула его за ухо и сказала:

— Че‑пу‑ха! Ишь, куда тебя понесло.

К этому времени она уже успела понять, что Ретт очень любит сбивать с нее спесь и только рад будет испортить ей удовольствие, а потому не надо обращать внимание на его колкости. Если принимать его всерьез, надо ссориться, а она вовсе не стремилась скрещивать с ним шпаги в словесных поединках, ибо никогда в таком споре не одерживала верх. Поэтому она пропускала его слова мимо ушей или старалась обратить все в шутку. Во всяком случае, какое‑то время старалась.

Пока длился их медовый месяц, да и потом — почти все время, пока они жили в отеле «Нейшнл», — отношения у них были вполне дружеские. Но не успели они переехать в свой дом, как Скарлетт окружила себя новыми друзьями и между ней и Реттом начались страшные ссоры. Ссоры эти были краткими, да они и не могли долго длиться, ибо Ретт с холодным безразличием выслушивал ее запальчивые слова и, дождавшись удобного момента, наносил ей удар по самому слабому месту. Ссоры затевала Скарлетт, Ретт — никогда. Он только излагал ей без обиняков свое мнение — о ней самой, об ее действиях, об ее доме и ее новых друзьях. И некоторые его оценки были таковы, что она не могла ими пренебречь или обратить их в шутку.

Так, например, решив изменить вывеску «Универсальная лавка Кеннеди» на что‑то более громкое, она попросила Ретта придумать другое название, в котором было бы слово «эмпориум»[[34]](#footnote-34). И Ретт предложил «Caveat Emptorium»[[35]](#footnote-35), утверждая, что такое название соответствовало бы товарам, продаваемым в лавке. Скарлетт решила, что это звучит внушительно, и даже заказала вывеску, которую и повесила бы, не переведи ей Эшли Уилкс не без некоторого смущения, что это значит. Она пришла в ярость, а Ретт хохотал как безумный.

А потом была проблема Мамушки. Мамушка не желала отрекаться от своего мнения, что Ретт — это мул в лошадиной сбруе. Она была с Реттом учтива, но холодна. Называла его всегда «капитан Батлер» и никогда — «мистер Ретт». Она даже не присела в реверансе, когда Ретт подарил ей красную нижнюю юбку, и ни разу ее не надела. Она старалась, насколько могла, держать Эллу и Уэйда подальше от Ретта, хотя Уэйд обожал дядю Ретта и Ретт явно любил мальчика. Но вместо того, чтобы убрать Мамушку из дома или обращаться с ней сухо и сурово, Ретт относился к ней с предельным уважением и был куда вежливее, чем с любой из недавних знакомых Скарлетт. Даже вежливее, чем с самой Скарлетт. Он всегда спрашивал у Мамушки разрешение взять Уэйда на прогулку, чтобы покатать на лошади, и советовался с ней, прежде чем купить Элле куклу. А Мамушка была лишь сухо вежлива с ним.

Скарлетт считала, что Ретт, как хозяин дома, должен быть требовательнее к Мамушке, но Ретт лишь смеялся и говорил, что настоящий хозяин в доме — Мамушка.

Однажды он довел Скарлетт до белого каления, холодно заметив, что ему будет очень жаль ее, когда республиканцы через несколько лет перестанут править в Джорджии и к власти снова вернутся демократы.

— Стоит демократам посадить своего губернатора и выбрать свое законодательное собрание, и все твои новые вульгарные республиканские дружки кубарем полетят отсюда — придется им снова прислуживать в барах и чистить выгребные ямы, как им на роду написано. А ты останешься ни при чем — не будет у тебя ни друзей‑демократов, ни твоих дружков‑республиканцев. Вот и не думай о будущем.

Скарлетт рассмеялась, и не без основания, ибо в это время Баллок надежно сидел в губернаторском кресле, двадцать семь негров заседали в законодательном собрании, а тысячи избирателей‑демократов в Джорджии были лишены права голоса.

— Демократы никогда не вернутся к власти. Они только злят янки и тем самым все больше отдаляют тот день, когда могли бы вернуться. Они только попусту мелют языком да разъезжают по ночам в балахонах ку‑клукс‑клана.

— Вернутся. Я знаю южан. И я знаю уроженцев Джорджии. Они люди упорные и упрямые. И если для того, чтобы они могли вернуться к власти, потребуется война, они станут воевать. И если им придется покупать голоса черных, как это делали янки, они будут их покупать. И если им придется поднять из могилы десять тысяч покойников, чтобы они проголосовали, как это сделали янки, то все покойники со всех кладбищ Джорджии явятся к избирательным урнам. Дела пойдут так скверно при милостивом правлении нашего доброго друга Руфуса Баллока, что Джорджия быстро выхаркнет его вместе с блевотиной.

— Ретт, не смей так вульгарно выражаться! — воскликнула Скарлетт. — Ты так говоришь, точно я буду не рада, если демократы вернутся к власти! Ты же знаешь, что это неправда! Я буду очень рада, если они вернутся. Неужели ты думаешь, мне нравится смотреть на этих солдат, которыми кишмя все кишит и которые напоминают мне... неужели ты думаешь, мне это нравится... как‑никак я уроженка Джорджии! Я очень хочу, чтобы демократы вернулись к власти. Да только они не вернутся. Никогда. Ну, а если даже и вернутся, то как это может отразиться на моих друзьях? Деньги‑то все равно при них останутся, верно?

— Останутся, если они сумеют их удержать. Но я очень сомневаюсь, чтобы кому‑либо из них удалось больше пяти лет удержать деньги, если они будут так их тратить. Легко досталось — легко и спускается. Их деньги никогда не принесут им счастья. Как и мои деньги — тебе. Они же не сделали из тебя скаковой лошади, мой прелестнейший мул, не так ли?

Ссора, последовавшая за этими словами, длилась не один день. Скарлетт четыре дня дулась и своим молчанием явно намекала на то, что Ретт должен перед ней извиниться, а он взял и отбыл в Новый Орлеан, прихватив с собой Уэйда, несмотря на все возражения Мамушки, и пробыл там, пока приступ раздражения у Скарлетт не прошел. Она надолго запомнила то, что не сумела заставить его приползти к ней.

Однако когда он вернулся из Нового Орлеана как ни в чем не бывало, спокойный и уравновешенный, она постаралась подавить в себе злость и отодвинуть подальше все мысли об отмщении, решив, что подумает об этом потом. Ей не хотелось сейчас забивать себе голову чем‑то неприятным. Хотелось радоваться в предвкушении первого приема в новом доме. Она собиралась дать большой бал — от зари до зари: уставить зимний сад пальмами, пригласить оркестр, веранды превратить в шатры и угостить таким ужином, при одной мысли о котором у нее текли слюнки. Она намеревалась пригласить на этот прием всех, кого знала в Атланте, — и всех своих старых друзей, и всех новых, и прелестных людей, с которыми познакомилась уже после возвращения из свадебного путешествия. Волнение, связанное с предстоящим приемом, изгнало из ее памяти колкости Ретта, и она была счастлива — счастлива, как никогда на протяжении многих лет.

Ах, какое это удовольствие — быть богатой! Устраивать приемы — не считать денег! Покупать самую дорогую мебель, и одежду, и еду — и не думать о счетах! До чего приятно отправлять чеки тете Полин и тете Евлалии в Чарльстон и Уиллу в Тару! Ах, до чего же завистливы и глупы люди, которые твердят, что деньги — это еще не все! И как не прав Ретт, утверждая, что деньги нисколько ее не изменили!

Скарлетт разослала приглашения всем своим друзьям и знакомым, старым и новым, даже тем, кого она не любила. Не исключила она и миссис Мерриуэзер, хотя та держалась весьма неучтиво, когда явилась к ней с визитом в отель «Нейшнл»; не исключила и миссис Элсинг, хотя та была с ней предельно холодна. Пригласила Скарлетт и миссис Мид и миссис Уайтинг, зная, что они не любят ее и она поставит их в сложное положение: ведь надеть‑то им на столь изысканный вечер будет нечего. Дело в том, что новоселье у Скарлетт, или «толкучка», как это было модно тогда называть — полуприем‑полубал, — намного превосходило все светские развлечения, когда‑либо виденные в Атланте.

В тот вечер и в доме и на верандах, над которыми натянули полотно, полно было гостей — они пили ее пунш из шампанского, и поглощали ее пирожки и устрицы под майонезом, и танцевали под музыку оркестра, тщательно замаскированного пальмами и каучуковыми деревьями. Но не было здесь тех, кого Ретт называл «старой гвардией», никого, кроме Мелани и Эшли, тети Питти и дяди Генри, доктора Мида с супругой и дедушки Мерриуэзера.

Многие из «старой гвардии» решили было пойти на «толкучку», хоть им и не очень хотелось. Одни приняли приглашение из уважения к Мелани, другие — потому что считали себя обязанными Ретту жизнью, своей собственной или жизнью своих близких. Но за два дня до приема по Атланте прошел слух, что к Скарлетт приглашен губернатор Баллок. И «старая гвардия» тотчас поспешила высказать свое порицание: на Скарлетт посыпались карточки с выражением сожаления и вежливым отказом присутствовать на празднестве. А небольшая группа старых друзей, которые все же пришли, тотчас отбыла, весьма решительно, хоть и смущенно, как только губернатор вступил в дом.

Скарлетт была столь поражена и взбешена этими оскорблениями, что праздник уже нисколько не радовал ее. Эту изысканную «толкучку» она с такой любовью продумала, а старых друзей, которые могли бы оценить прием, пришло совсем мало и ни одного не пришло старого врага! Когда последний гость отбыл на заре домой, она бы, наверное, закричала и заплакала, если бы не боялась, что Ретт разразится хохотом, если бы не боялась прочесть в его смеющихся черных глазах: «А ведь я тебе говорил», пусть даже он бы и не произнес ни слова. Поэтому она кое‑как подавила гнев и изобразила безразличие.

Она позволила себе взорваться лишь на другое утро при Мелани.

— Ты оскорбила меня, Мелли Уилкс, и сделала так, что Эшли и все другие оскорбили меня! Ты же знаешь, они никогда не ушли бы так рано домой, если бы не ты. А я все видела! Я как раз вела к тебе губернатора Баллока, когда ты, точно заяц, кинулась вон из дома!

— Я не верила... я просто не могла поверить, что он будет у тебя, — с удрученным видом проговорила Мелани. — Хотя все вокруг говорили...

— Все? Так, значит, все мололи языком и судачили обо мне? — с яростью воскликнула Скарлетт. — Ты что же, хочешь сказать, что если б знала, что губернатор будет у меня, ты бы тоже не пришла?

— Да, — тихо произнесла Мелани, глядя в пол. — Дорогая моя, я просто не могла бы прийти.

— Чтоб им сгореть! Значит, ты тоже оскорбила бы меня, как все прочие?

— О, не порицай меня! — воскликнула Мелли с искренним огорчением. — Я вовсе не хотела тебя оскорбить. Ты мне все равно как сестра, дорогая моя, ты же вдова моего Чарли, и я...

Она робко положила руку на плечо Скарлетт, но Скарлетт сбросила ее, от души жалея, что не может наорать на Мелли, как в свое время орал в гневе Джералд. А Мелани спокойно выдержала ее гнев. Распрямив худенькие плечики, она смотрела в сверкающие зеленые глаза Скарлетт, и, по мере того как бежали секунды, она все больше преисполнялась чувства собственного достоинства, столь не вязавшегося с ее по‑детски наивным личиком и детской фигуркой.

— Мне очень жаль, если я обидела тебя, моя дорогая, но я не считаю возможным встречаться ни с губернатором Баллоком, ни с кем‑либо из республиканцев или этих подлипал. Я не стану встречаться с ними ни в твоем доме, ни в чьем‑либо другом. Нет, даже если бы мне пришлось... пришлось... — Мелани отчаянно подыскивала самое сильное слово, — ...даже если бы мне пришлось проявить грубость.

— Ты что, осуждаешь моих друзей?

— Нет, дорогая, но это твои друзья, а не мои.

— Значит, ты осуждаешь меня за то, что я пригласила к себе в дом губернатора?

Хоть и загнанная в угол, Мелани твердо встретила взгляд Скарлетт.

— Дорогая моя, все, что ты делаешь, ты делаешь всегда с достаточно вескими основаниями, и я люблю тебя и верю тебе, и не мне тебя осуждать. Да и никому другому я не позволю осуждать тебя при мне. Но, Скарлетт! — Слова внезапно вырвались стремительным потоком, подгоняя друг друга, — резкие слова, а в тихом голосе зазвучала неукротимая ненависть. — Неужели ты можешь забыть, сколько горя эти люди причинили нам? Неужели можешь забыть, что дорогой наш Чарли мертв, а у Эшли подорвано здоровье и Двенадцать Дубов сожжены? Ах, Скарлетт, ты же не можешь забыть того ужасного человека со шкатулкой твоей матушки в руках, которого ты тогда застрелила! Ты не можешь забыть солдат Шермана в Таре и как они грабили — украли даже твое белье! И хотели все сжечь и даже забрать саблю моего отца! Ах, Скарлетт, ведь это же люди, которые грабили нас, и мучили, и морили голодом, а ты пригласила их на свой прием! Тех самых, что грабят нас, не дают нашим мужчинам голосовать и теперь поставили чернокожих командовать нами! Я не могу этого забыть. И не забуду. И не позволю, чтобы мой Бо забыл. Я и внукам моим внушу ненависть к этим людям, и детям моих внуков, если господь позволит, чтобы я столько прожила! Да как же можешь ты, Скарлетт, такое забыть?!

Мелани умолкла, переводя дух, а Скарлетт смотрела на нее во все глаза, и гнев ее постепенно утихал — до того она была потрясена дрожавшим от возмущения голосом Мелани.

— Ты что, считаешь, что я совсем уж идиотка? — бросила она. — Конечно, я все помню! Но это уже в прошлом, Мелли. От нас зависит попытаться извлечь из жизни как можно больше — вот это я и стараюсь делать. Губернатор Баллок и некоторые милые люди из числа республиканцев могут оказать нам немалую помощь, если найти к ним верный подход.

— Среди республиканцев нет милых людей, — отрезала Мелани. — И мне не нужна их помощь. И я не собираюсь извлекать из жизни как можно больше... если дело упирается в янки.

— Силы небесные, Мелли, зачем так злиться?

— О! — воскликнула Мелли, засовестившись. — До чего же я разошлась! Скарлетт, я вовсе не хотела оскорбить твои чувства или осудить тебя. Каждый человек думает по‑своему, и каждый имеет право на свое мнение. Я же люблю тебя, дорогая моя, и ты знаешь, что я тебя люблю и ничто никогда не заставит меня изменить моим чувствам. И ты тоже по‑прежнему меня любишь, верно? Я не вызвала у тебя ненависти, нет? Скарлетт, я просто не выдержу, если что‑то встанет между нами, — в конце‑то концов, мы столько вместе вынесли! Скажи же, что все в порядке.

— Чепуха все это, Мелли, и ни к чему устраивать такую бурю в стакане воды — пробурчала Скарлетт, но не сбросила с талии обнявшей ее руки.

— Ну вот, теперь все снова хорошо, — с довольным видом заметила Мелани и добавила мягко: — Я хочу, что бы мы снова бывали друг у друга — как всегда, дорогая. Ты только говори, в какие дни республиканцы и подлипалы приходят к тебе, и я в эти дни буду сидеть дома.

— Мне глубоко безразлично, придешь ты ко мне или нет, — заявила Скарлетт и, вдруг собравшись домой, по спешно надела шляпку И тут — словно бальзам пролился на ее уязвленное тщеславие — увидела, как огорчилась Мелани.

Недели, последовавшие за первым приемом, оказались нелегкими, и Скарлетт не так‑то просто было делать вид, будто ей глубоко безразлично общественное мнение. Когда никто из старых друзей, кроме Мелани, тети Питти, дяди Генри и Эшли, не появился больше у нее и она не получила приглашения ни на один из скромных приемов, которые они устраивали, — это вызвало у нее искреннее удивление и огорчение. Разве она не сделала все, чтобы забыть прошлые обиды и показать этим людям, что не питает к ним зла за их сплетни и подкусывания? Не могут же они не знать, что она, как и они, вовсе не любит губернатора Баллока. но обстоятельства требуют любезно относиться к нему. Идиоты! Если бы все постарались любезно вести себя с республиканцами, Джорджия очень быстро вышла бы из своего тяжелого положения.

Скарлетт не поняла тогда, что одним ударом навсегда разорвала ту тонкую нить, которая еще связывала ее с былыми днями, с былыми друзьями. Даже влияния Мелани было недостаточно, чтобы вновь связать эту нить. К тому же Мелани, растерянная, глубоко огорченная, хоть и по‑прежнему преданная Скарлетт, и не пыталась ее связать. Даже если бы Скарлетт захотела вернуться к былым традициям, былым друзьям, теперь путь назад для нее уже был заказан. Город обратил к ней высеченное из гранита лицо. Ненависть, окружавшая правление Баллока, окружила и ее, — ненависть, в которой было мало кипения страстей, но зато много холодной непримиримости! Скарлетт перешла на сторону врага и теперь, несмотря на свое происхождение и семейные связи, попала в категорию перевертышей, поборников прав негров, предателей, республиканцев и подлипал.

Помучившись немного, Скарлетт почувствовала, что напускное безразличие сменяется у нее безразличием подлинным. Она никогда подолгу не задумывалась над причудами человеческого поведения и никогда не позволяла себе подолгу унывать, если что‑то не получалось. Вскоре она перестала тревожиться по поводу того, что думают о ней Мерриуэзеры, Элсинги, Уайтинги, Боннеллы, Миды и прочие. Главное, что Мелани заходила к ней и приводила с собой Эшли, а Эшли интересовал Скарлетт превыше всего. Найдутся и другие люди в Атланте, которые станут посещать ее вечера, другие люди, гораздо более близкие ей по своим вкусам, чем эти ограниченные старые курицы. Да стоит ей захотеть, и дом ее наполнится гостями, и эти гости будут куда лучше одеты, чем чопорные, нетерпимые старые дуры, которые с таким неодобрением относятся к ней.

Все это были новички в Атланте. Одни знали Ретта, другие участвовали вместе с ним в каких‑то таинственных аферах, о которых он говорил: «дела, моя кошечка». Были тут и супружеские пары, с которыми Скарлетт познакомилась, когда жила в отеле «Нейшнл», а также чиновники губернатора Баллока.

Общество, в котором вращалась теперь Скарлетт, было весьма пестрым. Некие Гелерты, побывавшие уже в десятке разных штатов и, судя по всему, поспешно покидавшие каждый, когда выяснялось, в каких мошенничествах они были замешаны; некие Коннингтоны, неплохо нажившиеся в Бюро вольных людей одного отдаленного штата за счет невежественных черных, чьи интересы они, судя по всему, должны были защищать; Дилы, продававшие сапоги на картонной подошве правительству конфедератов и вынужденные потом провести последний год войны в Европе; Хандоны, на которых были заведены досье полицией многих городов и которые тем не менее с успехом не раз получали контракты от штата; Караханы, заложившие основу своего состояния в игорном доме, а теперь рассчитывавшие на более крупный куш, затеяв на бумаге строительство несуществующей железной дороги на деньги штата; Флэгерти, закупившие в 1861 году соль по центу за фунт и нажившие состояние, продавая ее в 1863 году по пятьдесят центов за фунт; и Барты, владевшие самым крупным домом терпимости в северной столице во время войны, а сейчас вращавшиеся в высших кругах «саквояжников».

Такими друзьями окружила себя теперь Скарлетт, но среди тех, кто посещал ее большие приемы, были и люди интеллигентные, утонченные, многие — из превосходных семей. Помимо сливок «саквояжников», в Атланту переселялись с Севера и люди более солидные, привлеченные городом, в котором не прекращалась бурная деловая жизнь в этот период восстановления и переустройства. Богатые семьи янки посылали своих сыновей на Юг для освоения новых мест, а офицеры‑янки после выхода в отставку навсегда поселялись в городе, которым они с таким трудом сумели овладеть. Чужие в чужом городе, они поначалу охотно принимали приглашения на роскошные балы богатой и гостеприимной миссис Батлер, но очень скоро покинули круг ее друзей. Это были в общем‑то люди порядочные, и им достаточно было короткого знакомства с «саквояжниками» и их нравами, чтобы относиться к ним так же, как уроженцы Джорджии. Многие из этих пришельцев стали демократами и в большей мере южанами, чем сами южане.

Другие переселенцы остались среди друзей Скарлетт только потому, что их нигде больше не принимали. Они бы охотно предпочли тихие гостиные «старой гвардии», но «старая гвардия» не желала с ними знаться. К числу таких людей относились наставницы‑янки, отправившиеся на Юг, горя желанием просветить негров, а также подлипалы, родившиеся добрыми демократами, но перешедшие на сторону республиканцев после поражения.

Трудно сказать, кого больше ненавидели коренные горожане — непрактичных наставниц‑янки или подлипал, но, пожалуй, последние перетягивали чашу весов. Наставниц можно было сбросить со счета: «Ну, чего можно ждать от этих янки, которые обожают негров? Они, конечно, считают, что негры ничуть не хуже их самих!» А вот тем уроженцам Джорджии, которые стали республиканцами выгоды ради, уже не было оправдания.

«Мы ведь смирились с голодом. Вы тоже могли бы смириться», — так считала «старая гвардия». Многие же бывшие солдаты Конфедерации, видевшие, как страдают люди, сознавая, что их семьи нуждаются, куда терпимее относились к бывшим товарищам по оружию, сменившим политические симпатии, чтобы прокормить семью. Но ни одна дама из «старой гвардии» не могла этого простить — то была неумолимая и непреклонная сила, являвшаяся опорой определенного порядка вещей. Идеи Правого Дела были для них сейчас важнее и дороже, чем в пору его торжества. Эти идеи превратились в фетиш. Все связанное с ними было священно — могилы тех, кто отдал Делу жизнь; поля сражений; разодранные знамена; висящие в холлах крест‑накрест сабли; выцветшие письма с фронта; ветераны. «Старая гвардия» не оказывала помощи бывшим врагам, не проявляла к ним сочувствия и не давала им приюта, а теперь к этим врагам причислили и Скарлетт.

В разношерстном обществе, образовавшемся под влиянием политической обстановки, всех объединяло лишь одно. Деньги. У многих до войны ни разу не было и двадцати пяти долларов в кармане, и теперь они пустились в такое расточительство, какого Атланта еще не знала.

С приходом к власти республиканцев город вступил в эру неслыханного мотовства и бахвальства своим богатством, когда внешняя благопристойность поведения лишь слабо прикрывала пороки и пошлость. Никогда еще граница между очень богатыми и очень бедными не пролегала так четко. Те, кто был наверху, нимало не заботились о тех, кому меньше повезло в жизни. Исключение составляли лишь негры. Вот им старались дать что получше. Хорошие школы, и жилища, и одежду, и развлечения, ибо негры представляли собой политическую силу и каждый негритянский голос был на учете. Что же до недавно обедневших жителей Атланты, они могли падать на улице от голода — недавно разбогатевшим республиканцам было все равно.

На волне этой пошлости победоносно плыла и Скарлетт, молодая жена Ретта, прочно обеспеченная его деньгами, ослепительно хорошенькая в своих красивых нарядах. Настали времена, отвечавшие духу Скарлетт, — времена разнузданной, кричащей безвкусицы, пышно разодетых женщин, пышно обставленных домов, изобилия драгоценностей, лошадей, еды, виски. Когда Скарлетт — что случалось нечасто — задумывалась над этим, она понимала, что ни одна из ее новых знакомых не могла бы называться «леди» по строгим критериям Эллин. Но она уже не раз нарушала принципы Эллин после того далекого дня, когда, стоя в гостиной Тары, решила стать любовницей Ретта, и нельзя сказать, чтобы теперь ее часто мучила из‑за этого совесть.

Возможно, эти ее новые друзья и не были, строго говоря, леди и джентльменами, но, как и с новоорлеанскими друзьями Ретта, с ними было так весело! Намного веселее, чем со смиренными, богобоязненными поклонниками Шекспира — ее прежними друзьями в Атланте. А если не считать краткого медового месяца, она ведь так давно не веселилась. И так давно не чувствовала себя в безопасности. Теперь же, когда она познала это чувство, ей хотелось танцевать, играть, вдоволь есть и пить, одеваться в шелка и атлас, спать на пуховой постели, сидеть на мягких диванах. И всему этому она отдавала дань. Поощряемая снисходительностью Ретта, — а он только забавлялся, глядя на нее, — освободившись от запретов, сковывавших ее в юности, освободившись даже от недавно владевшего ею страха перед бедностью, она позволяла себе роскошь, о которой давно мечтала, — роскошь поступать так, как хочется, и посылать к черту всех, кому это не по душе.

Она познала приятное опьянение, какое бывает у того, кто своим образом жизни бросает откровенный вызов благопристойному обществу, — у игрока, мошенника, политического авантюриста, — словом, у всех, кто процветает за счет хитрости и изворотливости ума. Она говорила и делала что хотела и скоро в своей наглости переступила все границы.

Она, не задумываясь, дерзила своим новым друзьям — республиканцам и подлипалам, но ни с кем не держалась так грубо или так вызывающе, как с гарнизонными офицерами‑янки и их семьями. Из всей разнородной массы, прихлынувшей в Атланту, она не желала терпеть и принимать у себя лишь военных. Она даже всячески изощрялась, чтобы попренебрежительнее обойтись с ними. Не одна Мелани не могла забыть, что значил синий мундир. Этот мундир с золотыми пуговицами всегда воскрешал в памяти Скарлетт страхи, пережитые во время осады, ужасы бегства, грабежи и пожары, страшную бедность и невероятно тяжелый труд в Таре. Теперь, став богатой, сознавая, что ей многое позволено благодаря дружбе с губернатором и разными влиятельными республиканцами, она могла вести себя резко и грубо с любым синим мундиром, который встречался на ее пути. И она была резка и груба.

Однажды Ретт как бы между прочим заметил, что большинство мужчин, которые приходят к ней в гости, еще совсем недавно носили те же синие мундиры, но она возразила, что янки для нее лишь тогда янки, когда на них синий мундир. Ретт сказал: «Последовательность — редкая драгоценность», — и пожал плечами.

Ненавидя синие мундиры, Скарлетт любила задирать тех, кто их носил, и получала тем большее удовольствие, чем больше озадачивала своим поведением янки. Офицеры гарнизона и их семьи имели право удивляться, ибо это были, как правило, спокойные, воспитанные люди, которые жили одиноко во враждебном краю, жаждали вернуться к себе на Север и немного стыдились того, что вынуждены поддерживать правление всяких подонков, — словом, это были люди куда более достойные, чем те, с кем общалась Скарлетт. Жен офицеров, естественно, озадачивало то, что ослепительная миссис Батлер пригрела у себя эту вульгарную рыжую Бриджет Флэгерти, а их всячески оскорбляла.

Впрочем, даже и тем, кого привечала Скарлетт, приходилось немало от нее терпеть. Однако они охотно терпели. Для них она была олицетворением не только богатства и элегантности, но и старого мира с его старинными именами, старинными семьями, старинными традициями — мира, к которому они так жаждали приобщиться. Старинные семьи, с которыми они мечтали познакомиться, возможно, и знаться со Скарлетт не желали, но дамы из новой аристократии понятия об этом не имели. Они знали лишь, что отец Скарлетт владел большим количеством рабов, ее мать была из саваннских Робийяров, а ее муж — Ретт Батлер из Чарльстона. И этого было для них достаточно. Скарлетт открывала им путь в старое общество, куда они стремились проникнуть, — общество тех, кто их презирал, не отдавал визитов и сухо раскланивался в церкви. В сущности, Скарлетт не только открывала им путь в общество. Для них, делавших лишь первые шаги из безвестности, она уже была обществом. Дутые аристократки, они не видели — как, кстати и сама Скарлетт, — что она такая же дутая аристократка. Они мерили ее той меркой, какой она сама мерила себя, и немало от нее терпели, смиряясь с ее высокомерием, ее манерами, ее вспышками раздражения, с ее наглостью и с откровенной, неприкрытой грубостью ее замечаний, если они совершали оплошность.

Они так недавно стали кем‑то из ничего и были еще так не уверены в себе, что отчаянно боялись показаться недостаточно рафинированными, дать волю своему нраву или резко ответить: а вдруг подумают, что они вовсе и не леди. Им же во что бы то ни стало хотелось быть леди. Вот они и строили из себя этаких деликатных, скромных, наивных дам. Послушать их, можно было подумать, что они бесплотны, не отправляют естественных нужд и понятия не имеют об этом порочном мире. Никому бы и в голову не пришло, что рыжая Бриджет Флэгерти, чья белая кожа оставалась белой, невзирая на яркое солнце, а ирландский акцент был густым, как патока, украла сбережения своего отца, чтобы приехать в Америку, где стала горничной в нью‑йоркском отеле. А глядя на хрупкую восторженную Сильвию Коннингтон (бывшую Красотку Сэйди) и на Мэйми Барт, никто бы не заподозрил, что первая выросла на Бауэри над салуном своего отца и во время наплыва клиентов помогала в баре, а вторая, судя по слухам, подвизалась прежде в одном из публичных домов своего мужа. О нет, теперь это были неясные, хрупкие создания.

Мужчины же хоть и нажили деньги, однако не так быстро обучились новым манерам, а возможно, просто поплевывали на требования новой знати. Они много пили на вечерах у Скарлетт — даже слишком много, — и в результате после приема гость — другой неизменно оставался на ночь. Пили они совсем иначе, чем те мужчины, которых знала Скарлетт в юности. Они становились отталкивающими, глупыми, отвратительными сквернословами. А кроме того, сколько бы она ни ставила плевательниц у всех на виду, наутро после приема ковры неизменно изобиловали следами от табачной жвачки.

Скарлетт презирала этих людей и в то же время получала удовольствие от общения с ними. И поскольку она получала удовольствие, то и наполняла ими дом. А поскольку она их презирала, то без стеснения посылала к черту, как только они начинали ее раздражать. Но они со всем мирились.

Они мирились даже с ее супругом, что было куда труднее, ибо Ретт видел их насквозь и они это знали. Он, не задумываясь, мог, что называется, раздеть их догола даже в своем доме — да так, что им и отвечать было нечего. Не стесняясь того, какими путями он сам пришел к богатству, он делал вид, будто думает, что и они не стесняются своих корней, и потому при любой возможности касался таких предметов, которые, по общему мнению, лучше было вежливо обходить молчанием.

Никто не мог предвидеть, когда ему вздумается весело бросить за кружкой пунша: «Ральф, будь я поумнее, я нажил бы состояние, как ты, — продавая акции золотых приисков вдовам и сиротам, вместо того чтобы прорывать блокаду. Оно куда безопаснее». Или: «Эй, Билл, я смотрю, у тебя новые лошади появились. Продал еще несколько тысчонок акций несуществующих железных дорог? Хорошо работаешь, мальчик!» Или: «Поздравляю, Эймос, с получением контракта от штата. Жаль только, что тебе пришлось столько народу подмазать, чтоб добиться его».

Дамы считали Ретта отвратительно, невыносимо вульгарным. Мужчины за его спиной говорили, что он свинья и мерзавец. Словом, новая Атланта любила Ретта не больше, чем старая, а он, как и прежде, даже не пытался наладить с ней отношения. Он следовал своим путем, забавляясь, всех презирая, глухой к претензиям окружающих, настолько подчеркнуто любезный, что сама любезность его выглядела как вызов. Для Скарлетт он по‑прежнему являлся загадкой, но загадкой, над которой она больше не ломала голову. Она была убеждена, что ему ничем и никогда не потрафить; он либо очень чего‑то хотел, но не мог получить, либо вообще ничего не хотел и плевал на все. Он смеялся над любыми ее начинаниями, поощрял ее расточительность и высокомерие, глумился над ее претензиями и... платил по счетам.

### Глава L

Ретт всегда держался со Скарлетт спокойно, бесстрастно — даже в самые интимные минуты. Но Скарлетт никогда не покидало давно укоренившееся чувство, что он исподтишка наблюдает за ней: она знала, что стоит ей внезапно повернуть голову, и она обнаружит в его глазах это задумчивое, настороженно‑выжидательное выражение, которое она не могла объяснить. Выражение, исполненное поистине безграничного терпения.

Порой ей было очень уютно с ним, несмотря на одно злополучное свойство его характера — он не терпел в своем присутствии никакой лжи, никакой претенциозности или бахвальства. Он слушал ее рассказы о лавке, о лесопилках, о салуне, о каторжниках и о том, сколько стоит их прокормить, и давал ей практические советы. Он с неутомимой энергией участвовал в танцах и вечеринках, которые она так любила, и располагал бесконечным запасом не слишком пристойных историй, которыми угощал ее, когда они изредка проводили вечера вдвоем, после того, как со стола была убрана еда и перед ними появлялся кофе с коньяком. Она обнаружила, что если быть с ним прямой и откровенной, он даст ей все, чего бы она ни пожелала, ответит на любой ее вопрос, но окольным путем и женскими хитростями она ничего от него не добьется. Он обезоруживал ее тем, что видел насквозь и, разгадав ее уловки, открыто смеялся.

Наблюдая это мягкое безразличие, с каким он обычно относился к ней, Скарлетт нередко удивлялась — впрочем, без особого любопытства, — почему он женился на ней. Мужчины женятся по любви, или ради того, чтобы завести дом и детей, или ради денег, но она знала, что Ретт женился на ней не поэтому. Он, конечно, ее не любил. Ее прелестный дом он называл архитектурным кошмаром и говорил, что предпочел бы жить в хорошо обставленной гостинице. И ни разу не намекнул, что хотел бы иметь от нее ребенка, как делали в свое время Чарлз и Фрэнк. Однажды она спросила кокетства ради, почему он женился на ней, и пришла в ярость, услышав ответ да еще увидев в его глазах веселые искорки: «Я женился на тебе, чтобы держать вместо кошки, моя дорогая».

Да, он женился на ней вовсе не по тем причинам, которые обычно побуждают мужчину жениться. Он женился только потому, что хотел обладать ею, а другим путем не мог этого добиться. Ведь так он и сказал в тот вечер, когда сделал ей предложение. Он хотел обладать ею, как в свое время хотел обладать Красоткой Уотлинг. Эта мысль была ей не очень приятна. Собственно, она была просто оскорбительна. Но Скарлетт быстро выкинула ее из головы, как научилась выкидывать из головы все неприятное. Они заключили сделку, и она со своей стороны была вполне довольна этой сделкой. Она надеялась, что доволен и он, а в общем‑то ей это было безразлично.

Но вот однажды, советуясь с доктором Мидом по поводу расстройства желудка, она услышала неприятное известие, от которого было уже не отмахнуться. Вернувшись в сумерки домой, она ворвалась к себе в спальню и, глядя на Ретта ненавидящими глазами, сообщила, что у нее будет ребенок.

Он сидел в шелковом халате, окруженный облаком табачного дыма, и тотчас вскинул на нее глаза. Однако не произнес ни слова. Он молча смотрел на нее, ожидая, что она скажет дальше, — только поза его стала напряженной, но она этого не заметила. Ею владело такое возмущение и отчаяние, что она ни о чем другом и думать не могла.

— Ты же знаешь, что я не хочу больше иметь детей! Я вообще их не хотела. Стоит моей жизни наладиться, как у меня появляется ребенок. Ах, да не сиди ты так и не смейся надо мной: ты ведь тоже не хочешь иметь ребенка. Ах, мать пресвятая богородица!

Если он ждал от нее каких‑то слов, то, во всяком случае, не этих. В лице его появилась жесткость, глаза стали пустыми.

— Ну, в таком случае почему бы не отдать его мисс Мелли? Разве ты не говорила мне: она такая непрактичная, хочет еще одного ребенка?

— Ох, так бы и убила тебя! Я не хочу его, говорю тебе: не хочу!

— Нет? Прошу, продолжай.

— Ах, но есть же способы избавиться. Я ведь уже не та глупая деревенская девчонка, какой была когда‑то. Теперь я знаю, что женщине вовсе не обязательно иметь детей, если она не хочет! Есть способы...

Он вскочил и схватил ее за руку — в лице его был неприкрытый всепоглощающий страх.

— Скарлетт, дурочка ты этакая, скажи мне правду! Ты ничего с собой не сделала?

— Нет, не сделала, но сделаю. Ты что, думаешь, я допущу, чтоб у меня снова испортилась фигура — как раз когда я добилась, что талия у меня стала тонкая, и я так весело провожу время, и...

— Откуда ты узнала, что это возможно? Кто тебе сказал?

— Мэйми Барт... она...

— Еще бы владелице борделя не знать про всякие такие штуки. Ноги этой женщины больше не будет в нашем доме, ясно? В конце концов, это мой дом, и я в нем хозяин. Я не желаю даже, чтобы ты когда‑либо упоминала о ней.

— Я буду делать то, что хочу. Отпусти меня. Да и вообще — тебе‑то не все ли равно?

— Мне все равно, будет у тебя один ребенок или двадцать, но мне не все равно, если ты умрешь.

— Умру? Я?

— Да, умрешь. Мэйми Барт, видимо, не рассказала тебе, чем рискует женщина, идя на такое?

— Нет, — нехотя призналась Скарлетт. — Она просто сказала, что все отлично устроится.

— Клянусь богом, я убью ее! — воскликнул Ретт, и лицо его потемнело от гнева. Он посмотрел сверху на заплаканную Скарлетт, и гнев его поутих, но лицо по‑прежнему оставалось жестким и замкнутым. Внезапно он подхватил Скарлетт на руки и, опустившись со своей ношей в кресло, крепко прижал к себе, словно боялся, что она убежит.

— Послушай, детка, я не позволю тебе распоряжаться твоей жизнью. Слышишь? Боже правый, я тоже, как и ты, не хочу иметь детей, но я могу их вырастить. Так что хватит болтать о всяких глупостях — я не хочу об этом слышать, и если ты только попытаешься... Скарлетт, я видел, как одна женщина умерла от этого. Она была всего лишь... ну, в общем, совсем неплохая была женщина. И смерть эта нелегкая. Я...

— Боже мой, Ретт! — воскликнула она, забыв о своем горе под влиянием волнения, звучавшего в его голосе. Она никогда еще не видела его столь взволнованным. — Где же... кто...

— Это было в Новом Орлеане — о, много лет назад. Я был молод и впечатлителен. — Он вдруг пригнул голову и зарылся губами в ее волосы. — Ты родишь этого ребенка, Скарлетт, даже если бы мне пришлось надеть на тебя наручники и приковать к себе на ближайшие девять месяцев.

Не слезая с его колен, она выпрямилась и с откровенным любопытством уставилась на него. Под ее взглядом лицо его, словно по мановению волшебной палочки, разгладилось и стало непроницаемым. Брови приподнялись, уголки губ поползли вниз.

— Неужели я так много для тебя значу? — спросила она, опуская ресницы.

Он внимательно посмотрел на нее, словно хотел разгадать, что таится под этим вопросом — кокетство или что‑то большее. И отыскав ключ к ее поведению, небрежно ответил:

— В общем, да. Ведь я вложил в тебя столько денег — мне не хотелось бы их потерять.

Мелани вышла из комнаты Скарлетт усталая и в то же время до слез счастливая: у Скарлетт родилась дочь. Ретт, ни жив ни мертв, стоял в холле, у ног его валялись окурки сигар, прожегшие дырочки в дорогом ковре.

— Теперь вы можете войти, капитан Батлер, — застенчиво сказала Мелани.

Ретт быстро прошел мимо нее в комнату, и Мелани, прежде чем доктор Мид закрыл дверь, успела увидеть, как он склонился над голенькой малюткой, которая лежала на коленях у Мамушки. Невольно став свидетельницей столь интимной сцены, Мелани покраснела от смущения.

«О, какой же он славный, капитан Батлер! — подумала она, опускаясь в кресло. — Как он беспокоился, бедняга! И за все время капли не выпил! До чего же это мило с его стороны. Ведь многие джентльмены к тому времени, когда рождается ребенок, уже еле на ногах держатся. А ему, думается, очень не мешало бы выпить. Может быть, предложить? Нет, это было бы слишком невоспитанно с моей стороны».

Она с наслаждением откинулась в кресле: последние дни у нее все время болела спина, так что казалось, будто она вот‑вот переломится в пояснице. Какая счастливица Скарлетт: ведь капитан Батлер все время стоял под дверью спальни, пока она рожала! Если бы в тот страшный день, когда она производила на свет Бо, рядом был Эшли, она наверняка бы меньше страдала. Как было бы хорошо, если бы крошечная девочка, лежавшая за этими закрытыми дверями, была ее дочерью, а не дочерью Скарлетт! «Ах, какая же я скверная, — виновато подумала Мелани. — Я завидую Скарлетт, а ведь она всегда была так добра ко мне. Прости меня, господи. Я, право же, вовсе не хочу отбирать у Скарлетт дочку, но... но мне бы так хотелось иметь собственную!»

Она подложила подушечку под нывшую спину и принялась думать о том, как было бы хорошо иметь дочку. Но доктор Мид на этот счет продолжал держаться прежнего мнения. И хотя она сама готова была рисковать жизнью, лишь бы родить еще ребенка, Эшли и слышать об этом не хотел. Дочка... Как порадовался, бы Эшли дочке!

«Дочка!.. Смилуйся, господи! — Мелани в волнении выпрямилась. — Я ведь не сказала капитану Батлеру, что это девочка! А он, конечно, ждет мальчика. Ах, какая незадача!»

Мелани знала, что мать радуется появлению любого ребенка, но для мужчины, особенно для такого самолюбивого человека, как капитан Батлер, девочка — это удар, ставящий под сомнение его мужественность. О, как она благодарна была господу за то, что ее единственное дитя — мальчик! Она знала, что, будь она женой грозного капитана Батлера, она предпочла бы умереть в родах, лишь бы не дарить ему первой дочь.

Но Мамушка вышла враскачку из спальни, улыбаясь во весь рот, и Мелани успокоилась, однако в то же время и подивилась: что за странный человек этот капитан Батлер.

— Я сейчас, как стала купать дите‑то, — принялась рассказывать Мамушка, — ну, и сказала мистеру Ретту: жаль, мол, что не мальчик у вас. И господи, знаете, мисс Мелли, что он сказал? Говорит: «Перестань болтать. Мамушка! Кому нужен мальчик? С мальчиками — никакого интереса. Одни только хлопоты. А с девочками — оно интересно. Да я эту девочку на десяток мальчишек не променяю». И тут хотел было выхватить у меня крошку‑то, а девочка‑то голенькая, ну я и ударила его по руке и говорю: «Ведите себя прилично, мистер Ретт! А уж я доживу до того времени, как у вас сынок‑то родится, и тогда вдоволь посмеюсь над вами — ведь заголосите от радости‑то». А он эдак усмехнулся, покачал головой и говорит: «Мамушка, ты совсем глупая. Никому мальчишки не нужны. Разве я тому не доказательство?» Так что вот, мисс Мелли, вел он себя как настоящий жентмун, — снизошла до похвалы Мамушка.

И Мелани, естественно, не могла не заметить, что такое поведение Ретта существенно обелило его в глазах Мамушки.

— Может, я была чуток и не права насчет мистера Ретта‑то. Очень это для меня, мисс Мелли, сегодня счастливый день. Я ведь три поколения робийяровских девочек вынянчила, так что очень это для меня счастливый день.

— Конечно, это счастливый день. Мамушка! Когда родятся дети, это самые счастливые дни.

Но было в доме существо, которому этот день вовсе не представлялся счастливым. Уэйд Хэмптон, которого все ругали, а по большей части не замечали, с несчастным видом бродил по столовой. Утром Мамушка разбудила его очень рано, быстро одела и отослала вместе с Эллой к тете Питти завтракать. Ему сказали только, что мама заболела, а когда он играет и шумит, это ее нервирует. Однако в доме у тети Питти все было вверх дном, ибо известие о болезни Скарлетт тотчас уложило старушку в постель, кухарка танцевала возле нее, и завтраком детей кормил Питер, так что поели они плохо. Время стало приближаться к полудню, и в душу Уэйда начал закрадываться — страх. А что, если мама умрет? Ведь у других мальчиков умирали мамы. Он видел, как от домов отъезжали катафалки, слышал, как рыдали его маленькие приятели. Что, если и его мама умрет? Уэйд очень любил свою маму — почти так же сильно, как и боялся, — и при мысли о том, что ее повезут на черном катафалке, запряженном черными лошадьми с перьями на голове, его маленькая грудка разрывалась от боли, так что ему даже трудно было дышать.

И когда настал полдень, а Питер был занят по кухне, Уэйд выскользнул из парадной двери и побежал домой со всей быстротой, на какую были способны его короткие ножки, — страх подстегивал его. Дядя Ретт, или тетя Мелли, или Мамушка, уж конечно, скажут ему правду. Но дяди Ретта и тети Мелани нигде не было видно, а Мамушка и Дилси бегали вверх и вниз по лестнице с полотенцами и тазами с горячей водой и не заметили его в холле. Сверху, когда открывалась дверь в комнату мамы, до мальчика долетали отрывистые слова доктора Мида. В какой‑то момент он услышал, как застонала мама, и разрыдался так, что у него началась икота. Теперь он твердо знал, что она умрет. Чтобы немножко утешиться, он принялся гладить медово‑желтого кота, который лежал на залитом солнцем подоконнике в холле. Но Том, отягощенный годами и не любивший, чтобы его беспокоили, махнул хвостом и фыркнул на мальчика.

Наконец появилась Мамушка — спускаясь по парадной лестнице в мятом, перепачканном переднике и съехавшем набок платке, она увидела Уэйда и насупилась. Мамушка всегда была главной опорой Уэйда, и он задрожал, увидев ее хмурое лицо.

— Вот уж отродясь не видала таких плохих мальчиков, как вы, — сказала Мамушка. — Я же отослала вас к мисс Питти! Сейчас же отправляйтесь назад!

— А мама... мама умрет?

— Вот уж отродясь не видала таких настырных детей. Умрет?! Господи, господи, нет, конечно! Ну, и докука эти мальчишки. И зачем только господь посылает людям мальчишек! А ну, уходите отсюда.

Но Уэйд не ушел. Он спрятался за портьерами в холле, потому что заверение Мамушки лишь наполовину успокоило его. А ее слова про плохих мальчишек показались обидными, ибо он всегда старался быть хорошим мальчиком. Через полчаса тетя Мелли сбежала по лестнице, бледная и усталая, но улыбающаяся. Она чуть не упала в обморок, увидев в складках портьеры скорбное личико Уэйда. Обычно у тети Мелли всегда находилось для него время. Она никогда не говорила, как мама: «Не докучай мне сейчас. Я спешу». Или: «Беги, беги, Уэйд. Я занята».

Но на этот раз тетя Мелли сказала:

— Какой ты непослушный, Уэйд. Почему ты не остался у тети Питти?

— А мама умрет?

— Великий боже, нет, Уэйд! Не будь глупым мальчиком. — И, смягчившись, добавила: — Доктор Мид только что принес ей хорошенького маленького ребеночка — прелестную сестричку, с которой тебе разрешат играть, и если ты будешь хорошо себя вести, то тебе покажут ее сегодня вечером. А сейчас беги играй и не шуми.

Уэйд проскользнул в тихую столовую — его маленький ненадежный мирок зашатался и вот‑вот готов был рухнуть. Неужели в этот солнечный день, когда взрослые ведут себя так странно, семилетнему мальчику негде укрыться, чтобы пережить свои тревоги? Он сел на подоконник в нише и принялся жевать бегонию, которая росла в ящике на солнце. Бегония оказалась такой горькой, что у него на глазах выступили слезы и он заплакал. Мама, наверное, умирает, никто не обращает на него внимания, а все только бегают туда‑сюда, потому что появился новый ребенок — какая‑то девчонка. А Уэйда не интересовали младенцы, тем более девчонки. Единственной девочкой, которую он знал, была Элла, а она пока ничем не заслужила ни его уважения, ни любви.

Он долго сидел так один; потом доктор Мид и дядя Ретт спустились по лестнице, остановились в холле и тихо о чем‑то заговорили. Когда дверь за доктором закрылась, дядя Ретт быстро вошел в столовую, налил себе большую рюмку из графина и только тут увидел Уэйда. Уэйд юркнул было за портьеру, ожидая, что ему сейчас снова скажут, что он плохо себя ведет, и велят возвращаться к тете Питти, но дядя Ретт ничего такого не сказал, а, наоборот, улыбнулся. Уэйд никогда еще не видел, чтобы дядя Ретт так улыбался или выглядел таким счастливым, а потому, расхрабрившись, соскочил с подоконника и кинулся к нему.

— У тебя теперь будет сестренка, — сказал Ретт, подхватывая его на руки. — Ей‑богу, необыкновенная красотка! Ну, а почему же ты плачешь?

— Мама...

— Твоя мама сейчас ужинает — уплетает за обе щеки: и курицу с рисом и с подливкой, и кофе, а немного погодя мы ей сделаем мороженое и тебе дадим двойную порцию, если захочешь. И я покажу тебе сестричку.

Уэйду сразу стало легко‑легко, и он решил быть вежливым и хотя бы спросить про сестричку, но слова не шли с языка. Все интересуются только этой девчонкой. А о нем никто и не думает — ни тетя Мелли, ни дядя Ретт.

— Дядя Ретт, — спросил он тогда, — а что, девочек больше любят, чем мальчиков?

Ретт поставил рюмку, внимательно вгляделся в маленькое личико и сразу все понял.

— Нет, я бы этого не сказал, — с самым серьезным видом ответил он, словно тщательно взвесил вопрос Уэйда. — Просто с девочками больше хлопот, чем с мальчиками, а люди склонны больше волноваться о тех, кто доставляет им заботы, чем об остальных.

— А вот Мамушка сказала, что мальчики доставляют много хлопот.

— Ну, Мамушка была просто не в себе. На самом деле она вовсе так не думает.

— Дядя Ретт, а вы бы не хотели иметь мальчика вместо девочки? — с надеждой спросил Уэйд.

— Нет, — поспешил ответить Ретт и, видя, как сразу сник Уэйд, добавил: — Ну, зачем же мне нужен мальчик, если у меня уже есть один?

— Есть? — воскликнул Уэйд и от изумления раскрыл рот. — А где же он?

— Да вот тут, — ответил Ретт и, подхватив ребенка, посадил к себе на колено. — Ты же ведь мой мальчик, сынок.

На мгновение сознание, что его оберегают, что он кому‑то нужен, овладело Уэйдом с такой силой, что он чуть снова не заплакал. Он судорожно глотнул и уткнулся головой Ретту в жилет.

— Ты же мой мальчик, верно?

— А разве можно быть... ну, сыном двух людей сразу? — спросил Уэйд: преданность отцу, которого он никогда не знал, боролась в нем с любовью к человеку, с таким пониманием относившемуся к нему.

— Да, — твердо сказал Ретт. — Так же, как ты можешь быть сыном своей мамы и тети Мелли.

Уэйд обдумал эти слова. Они были ему понятны, и, улыбнувшись, он робко потерся спиной об лежавшую на ней руку Ретта.

— Вы понимаете маленьких мальчиков, верно, дядя Ретт?

Смуглое лицо Ретта снова прорезали резкие морщины, губы изогнулись в усмешке.

— Да, — с горечью молвил он, — я понимаю маленьких мальчиков.

На секунду к Уэйду вернулся страх — страх и непонятное чувство ревности. Дядя Ретт думал сейчас не о нем, а о ком‑то другом.

— Но у вас ведь нет других мальчиков, верно?

Ретт спустил его на пол.

— Я сейчас выпью, и ты тоже, Уэйд, поднимешь свой первый тост за сестричку.

— У вас ведь нет других... — не отступался Уэйд, но, увидев, что Ретт протянул руку к графину с кларетом, не докончил фразы, возбужденный перспективой приобщения к миру взрослых. — Ох, нет, не могу я, дядя Ретт! Я обещал тете Мелли, что не буду пить, пока не кончу университета, и если я сдержу слово, она подарит мне часы.

— А я подарю тебе для них цепочку — вот эту, которая на мне сейчас, если она тебе нравится, — сказал Ретт и снова улыбнулся. — Тетя Мелли совершенно права. Но она говорила о водке, не о вине. Ты же должен научиться пить вино, как подобает джентльмену, сынок, и сейчас самое время начать обучение.

Он разбавил кларет водой из графина, пока жидкость не стала светло‑розовая, и протянул рюмку Уэйду. В этот момент в столовую вошла Мамушка. На ней было ее лучшее воскресное черное платье и передник; на голове — свеженакрахмаленная косынка. Мамушка шла, покачивая бедрами, сопровождаемая шепотом и шорохом шелковых юбок. С лица ее исчезло встревоженное выражение, почти беззубый рот широко улыбался.

— С новорожденной вас, мистер Ретт! — сказала она.

Уэйд замер, не донеся рюмки до рта. Он знал, что Мамушка не любит его отчима. Она никогда не называла его иначе как «капитан Батлер» и держалась с ним вежливо, но холодно. А тут она улыбалась ему во весь рот, пританцовывала да к тому же назвала «мистер Ретт»! Ну и день — все вверх дном!

— Я думаю, вам лучше налить рому, чем кларету, — сказал Ретт и, приоткрыв погребец, вытащил оттуда квадратную бутылку. — Хорошенькая она у нас, верно, Мамушка?

— Да уж куда лучше, — ответила Мамушка и, причмокнув, взяла рюмку.

— Вы когда‑нибудь видели ребенка красивее?

— Ну, мисс Скарлетт, когда появилась на свет, уж конечно, была прехорошенькая, а все не такая.

— Выпейте еще рюмочку, Мамушка. Кстати, Мамушка, — это было произнесено самым серьезным тоном, но в глазах Ретта плясали бесенята, — что это так шуршит?

— О, господи, мистер Ретт, да что же еще, как не моя красная шелковая юбка! — Мамушка хихикнула и качнула бедрами, так что заколыхался весь ее могучий торс.

— Значит, это ваша нижняя юбка! Вот уж никогда бы не поверил. Так шуршит, будто ворох сухих листьев переворачивают. Ну‑ка, дайте взглянуть. Приподнимите подол.

— Нехорошо это, мистер Ретт! О господи! — слегка взвизгнула Мамушка и, отступив на ярд, скромно приподняла на несколько дюймов подол и показала оборку нижней юбки из красной тафты.

— Долго же вы раздумывали, прежде чем ее надеть, — буркнул Ретт, но черные глаза его смеялись и в них поблескивали огоньки.

— Да уж, сэр, слишком даже долго.

Тут Ретт сказал нечто такое, чего Уэйд не понял:

— Значит, с мулом в лошадиной сбруе покончено?

— Мистер Ретт, негоже это, что мисс Скарлетт сказала вам! Но вы не станете сердиться на бедную старую негритянку?

— Нет, не стану. Я просто хотел знать. Выпейте еще, Мамушка. Берите хоть всю бутылку. И ты тоже пей, Уэйд! Ну‑ка, произнеси тост.

— За сестренку! — воскликнул Уэйд и одним духом осушил свою рюмку. И задохнулся, закашлялся, начал икать, а Ретт и Мамушка смеялись и шлепали его по спине.

С той минуты, как у Ретта родилась дочь, он повел себя настолько неожиданно для всех, кто имел возможность его наблюдать, что перевернул все установившиеся о нем представления — представления, от которых ни городу, ни Скарлетт не хотелось отказываться. Ну, кто бы мог подумать, что из всех людей именно он будет столь открыто, столь бесстыдно гордиться своим отцовством. Особенно если учесть то весьма щекотливое обстоятельство, что его первенцем была девочка, а не мальчик.

И новизна отцовства не стиралась. Это вызывало тайную зависть у женщин, чьи мужья считали появление потомства вещью естественной и забывали об этом событии, прежде чем ребенка окрестят. Ретт же останавливал людей на улице и рассказывал во всех подробностях, как на диво быстро развивается малышка, даже не предваряя это — хотя бы из вежливости — ханжеской фразой; «Я знаю, все считают своего ребенка самым умным, но...» Он считал свою дочку чудом, — разве можно ее сравнить с другими детьми, и плевать он хотел на тех, кто думал иначе. Когда новая няня дала малышке пососать кусочек сала и тем вызвала первые желудочные колики, Ретт повел себя так, что видавшие виды отцы и матери хохотали до упаду. Он спешно вызвал доктора Мида и двух других врачей, рвался побить хлыстом злополучную няньку, так что его еле удержали. Однако ее выгнали, после чего в доме Ретта перебывало много нянь — каждая держалась не больше недели, ибо ни одна не в состоянии была удовлетворить требованиям Ретта.

Мамушка тоже без удовольствия смотрела на появлявшихся и исчезавших нянек, ибо не хотела, чтобы в доме была еще одна негритянка: она вполне может заботиться и о малышке, и об Уэйде с Эллой. Но годы уже начали серьезно сказываться на Мамушке, и ревматизм сделал ее медлительной и неповоротливой. У Ретта не хватало духу сказать ей об этом и объяснить, почему нужна вторая няня. Вместо этого он говорил ей, что человеку с его положением не пристало иметь всего одну няню. Это плохо выглядит. Он намерен нанять еще двоих, чтобы они занимались тяжелой работой, а она. Мамушка, командовала ими. Вот такие рассуждения Мамушке были понятны. Чем больше слуг, тем выше ее положение, как и положение Ретта. Тем не менее она решительно заявила ему, что не потерпит в детской никаких вольных негров. Тогда Ретт послал в Тару за Присей. Он знал ее недостатки, но в конце концов она все‑таки выросла в доме Скарлетт. А дядюшка Питер предложил свою внучатую племянницу по имени Лу, которая жила у Бэрров, кузенов мисс Питти.

Еще не успев окончательно оправиться, Скарлетт заметила, насколько Ретт поглощен малышкой, и даже чувствовала себя неловко и злилась, когда он хвастался ею перед гостями. Да, конечно, хорошо, если мужчина любит ребенка, но проявлять свою любовь на людях — это казалось ей немужественным. Лучше бы он держался небрежнее, безразличнее, как другие мужчины.

— Ты выставляешь себя на посмешище, — раздраженно сказала она как‑то ему, — и я просто не понимаю, зачем тебе это.

— В самом деле? Ну, и не поймешь. А объясняется это тем, что малышка — первый человечек на свете, который всецело и полностью принадлежит мне.

— Но она и мне принадлежит!

— Нет, у тебя есть еще двое. Она — моя.

— Чтоб ты сгорел! — воскликнула Скарлетт. — Ведь это я родила ее, да или нет? К тому же, дружок, я тоже твоя.

Ретт посмотрел на нее поверх черной головки малышки и как‑то странно улыбнулся.

— В самом деле, моя прелесть?

Только появление Мелани помешало возникновению одной из тех жарких ссор, которые в последние дни так легко вспыхивали между супругами. Скарлетт подавила в себе гнев и отвернулась, глядя на то, как Мелани берет малышку. Решено было назвать ее Юджини‑Виктория, но в тот день Мелани невольно нарекла ее так, как потом все и стали звать девочку, — это имя прочно прилепилось к ней, заставив забыть о другом, как в свое время «Питтипэт» начисто перечеркнуло Сару‑Джейн.

Ретт, склонившись над малюткой, сказал в ту минуту:

— Глаза у нее будут зеленые, как горох.

— Ничего подобного! — возмущенно воскликнула Мелани, забывая, что глаза у Скарлетт были почти такого оттенка. — У нее глаза будут голубые, как у мистера О’Хара, голубые, как... как наш бывший голубой флаг: Бонни Блу.[[36]](#footnote-36)

— Бонни‑Блу Батлер, — рассмеялся Ретт, взял у Мелани девочку и внимательно вгляделся в ее глазки.

Так она и стала Бонни, и потом даже родители не могли вспомнить, что в свое время окрестили дочку двойным именем, состоявшим из имен двух королев.

### Глава LI

Когда наконец Скарлетт почувствовала, что снова в состоянии выходить, она велела Лу зашнуровать корсет как можно туже — только бы выдержали тесемки. Затем обмерила себе талию. Двадцать дюймов! Она громко охнула. Вот что получается, когда рожаешь детей! Да у нее теперь талия, как у тети Питти, даже шире, чем у Мамушки.

— Ну‑ка, затяни потуже, Лу. Постарайся, чтобы было хоть восемнадцать с половиной дюймов, иначе я не влезу ни в одно платье.

— Тесемки лопнут, — сказала Лу. — Просто в талии вы располнели, мисс Скарлетт, и ничего уж тут не поделаешь.

«Что‑нибудь да сделаем, — подумала Скарлетт, отчаянно дернув платье, которое требовалось распороть по швам и выпустить на несколько дюймов. — Просто никогда не буду больше рожать».

Да, конечно, Бонни была прелестна и только украшала свою мать, да и Ретт обожал ребенка, но больше Скарлетт не желала иметь детей. Что тут придумать, она не знала, ибо с Реттом вести себя, как с Фрэнком, она не могла. Ретт нисколько не боялся ее. Да и удержать его будет трудно, когда он так по‑идиотски ведет себя с Бонни, — наверняка захочет иметь сына в будущем году, хоть и говорит, что утопил бы мальчишку, если бы она его родила. Ну так вот, не будет у него больше от нее ни мальчишки, ни девчонок. Для любой женщины хватит троих детей.

Когда Лу заново сшила распоротые швы, разгладила их и застегнула на Скарлетт платье, Скарлетт велела заложить карету и отправилась на лесной склад. По пути настроение у нее поднялось и она забыла о своей талии: ведь на складе она увидит Эшли и сядет с ним просматривать бухгалтерию. И если ей повезет, то они какое‑то время будут вдвоем. А видела она его в последний раз задолго до рождения Бонни. Ей не хотелось встречаться с ним, когда ее беременность стала бросаться в глаза. А она привыкла видеть его ежедневно — пусть даже рядом всегда кто‑то был. Привыкла к кипучей деятельности, связанной с торговлей лесом, — ей так всего этого не хватало, пока она сидела взаперти. Конечно, теперь ей вовсе не нужно было работать. Она вполне могла продать лесопилки и положить деньги на имя Уэйда и Эллы. Но это означало бы, что она почти не будет видеть Эшли — разве что в обществе, когда вокруг тьма народу. А работать рядом с Эшли доставляло ей огромное удовольствие.

Подъехав к складу, она с удовольствием увидела, какие высокие стоят штабеля досок и сколько покупателей толпится возле Хью Элсинга. Увидела она и шесть фургонов, запряженных мулами, и негров‑возчиков, грузивших лес. «Шесть фургонов! — подумала она с гордостью. — И всего этого я достигла сама!»

Эшли вышел на порог маленькой конторы, чтобы приветствовать ее, — глаза его светились радостью; подав Скарлетт руку, он помог ей выйти из кареты и провел в контору — так, словно она была королевой.

Но когда она посмотрела его бухгалтерию и сравнила с книгами Джонни Гэллегера, радость ее померкла. Лесопилка Эшли еле покрывала расходы, тогда как Джонни заработал для нее немалую сумму. Она решила промолчать, но Эшли, видя, как она глядит на лежавшие перед ней два листа бумаги, угадал ее мысли.

— Скарлетт, мне очень жаль. Могу лишь сказать в свое оправдание, что лучше бы вы разрешили мне нанять вольных негров вместо каторжников. Мне кажется, я бы добился больших успехов.

— Негров?! Да мы бы прогорели из‑за одного жалованья, которое пришлось бы им платить. А каторжники — это же дешевле дешевого. Если Джонни может с их помощью получать такой доход...

Эшли смотрел поверх ее плеча на что‑то, чего она не могла видеть, и радостный свет в его глазах потух.

— Я не могу заставлять каторжников работать так, как Джонни Гэллегер. Я не могу вгонять людей в гроб.

— Бог ты мой! Джонни просто удивительно с ними справляется. А у вас, Эшли, слишком мягкое сердце. Надо заставлять их больше работать. Джонни говорил мне: если какому нерадивому каторжнику вздумается отлынивать от работы, он заявляет, что заболел, и вы отпускаете его на целый день. Боже правый, Эшли! Так не делают деньги. Стеганите его разок‑другой, и любая хворь мигом пройдет, кроме, может, сломанной ноги...

— Скарлетт! Скарлетт! Перестаньте! Я не могу слышать от вас такое, — воскликнул Эшли и так сурово посмотрел на нее, что она умолкла. — Да неужели вы не понимаете, что это же люди... И среди них есть больные, голодные, несчастные и... О господи, просто видеть не могу, какой жестокой вы из‑за него стали — это вы‑то, всегда такая мягкая...

— Я стала какой — из‑за кого?

— Я должен был вам это сказать, хоть и не имею права. И все же должен. Этот ваш Ретт Батлер. Он отравляет все, к чему бы ни прикоснулся. Вот он женился на вас, такой мягкой, такой щедрой, такой нежной, хоть и вспыльчивой порою, и вы стали... жесткая, грубая — от одного общения с ним.

— О! — выдохнула Скарлетт: чувство вины боролось в ней с чувством радости оттого, что Эшли неравнодушен к ней, что она ему по‑прежнему мила. Слава богу, он думает, что Ретт виноват в том, что она считает каждый пенни. А на самом‑то деле Ретт не имел к этому никакого отношения и вся вина — только ее, но, в конце концов, на совести Ретта достаточно много черных пятен, не страшно, если прибавится еще одно.

— Будь вашим мужем любой другой человек, я, может быть, так бы не огорчался, но... Ретт Батлер! Я вижу, что он с вами сделал. Вы сами не заметили, как вслед за ним стали мыслить сухо и жестко. О да, я знаю, что не должен этого говорить... Он спас мне жизнь, и я благодарен ему, но как бы я хотел, чтобы это был кто угодно, только не он! И я не имею права говорить с вами так, точно...

— Ах, нет, Эшли, имеете... как никто другой.

— Говорю вам, это просто невыносимо: видеть, как вы, такая тонкая, огрубели под его влиянием, знать, что ваша красота, ваше обаяние принадлежат человеку, который... Когда я думаю, что он дотрагивается до вас, я...

«Сейчас он поцелует меня! — в экстазе подумала Скарлетт. — И не я буду в этом виновата!» Она качнулась к нему. Но он отступил на шаг, словно вдруг осознав, что сказал слишком много, — сказал то, чего не собирался говорить.

— Простите великодушно, Скарлетт. Я... я намекал, что ваш муж — не джентльмен, а сам сейчас наговорил такое, что меня тоже джентльменом не назовешь. Никто не имеет права принижать мужа перед женой. Мне нет оправдания, кроме... кроме... — Он запнулся, лицо его исказилось. Она ждала, затаив дыхание. — У меня вообще нет оправданий.

Бешеная работа шла в мозгу Скарлетт, пока она ехала в карете домой. Вообще нет оправданий, кроме — кроме того, что он любит ее! И мысль, что она спит в объятиях Ретта, вызывает в нем такую ярость, на какую она не считала его способным. Что ж, она может это понять. Если бы не сознание, что его отношения с Мелани волею судеб сводятся к отношениям брата и сестры, она сама жила бы как в аду. Значит, объятия Ретта огрубили ее, сделали более жесткой! Что ж, раз Эшли так считает, она вполне может обойтись без этих объятий. И она подумала, как это будет сладостно и романтично, если оба они с Эшли решат блюсти физическую верность друг другу, хотя каждый связан супружескими узами с другим человеком. Эта идея завладела ее воображением и пришлась ей по душе. Да к тому же была тут и практическая сторона. Ведь это значит, что ей не придется больше рожать.

Когда Скарлетт приехала домой и отпустила карету, восторженное состояние, овладевшее ею после слов Эшли, начало испаряться, стоило ей представить себе, как она скажет Ретту, что хочет иметь отдельную спальню — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это будет нелегко. Да и как она скажет Эшли, что не допускает больше до себя Ретта, потому что он, Эшли, так пожелал? Кому нужна такая жертва, если никто не знает о ней? До чего же это тяжкое бремя — скромность и деликатность! Если бы только она могла говорить с Эшли так же откровенно, как с Реттом! А, да ладно. Найдет она способ намекнуть Эшли на истинное положение вещей.

Она поднялась по лестнице и, открыв дверь в детскую, обнаружила Ретта — он сидел у колыбельки Бонни, держа Эллу на коленях, а Уэйд стоял рядом и показывал ему свои сокровища, спрятанные в карманах. Какое счастье, что Ретт любит детей и так ими занимается! Есть ведь отчимы, которые терпеть не могут детей от предыдущих браков.

— Я хочу поговорить с тобой, — сказала Скарлетт и прошла в их спальню. Лучше покончить с этим сразу, пока она полна решимости не иметь больше детей и любовь Эшли придает ей силы для разговора.

— Ретт, — без всяких предисловий начала она, как только он закрыл за собой дверь спальни, — я не хочу иметь больше детей, это решено.

Если его и поразило ее неожиданное заявление, то он и виду не подал. Он не спеша подошел к креслу и, опустившись в него, откинулся на спинку.

— Я ведь уже говорил тебе, моя кошечка, еще прежде чем родилась Бонни, что мне безразлично, будет у нас один ребенок или двадцать.

Ловко он уходит от главного, как будто появление детей не имеет никакого отношения к тому, что этому предшествует.

— По‑моему, троих вполне достаточно. Я вовсе не намерена каждый год носить по ребенку.

— Три мне кажется вполне подходящим числом.

— Ты прекрасно понимаешь... — начала было она и покраснела от смущения. — Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Понимаю. А ты сознаешь, что я могу подать на развод, если ты откажешься выполнять свои супружеские обязанности?

— У тебя хватит низости придумать такое! — воскликнула она, раздосадованная тем, что все идет не так, как она наметила. — Да если бы в тебе было хоть немного благородства, ты бы... ты бы вел себя, как... Ну, словом, посмотри на Эшли Уилкса. Мелани ведь не может иметь детей, и он...

— Образцовый джентльменчик, этот Эшли, — докончил за нее Ретт, и в глазах его появился странный блеск. — Прошу, продолжай свою речь.

Скарлетт поперхнулась, ибо речь ее была окончена и ей нечего было больше сказать. Теперь она поняла, сколь глупо было надеяться, что она сумеет по‑доброму договориться о столь сложном деле, особенно с таким эгоистичным мерзавцем, как Ретт.

— Ты сегодня ездила на свой лесной склад, да?

— А какое это имеет отношение к нашему разговору?

— Ты ведь любишь собак, Скарлетт? Что ты предпочитаешь — чтобы собака лежала на сене или находилась при тебе?

Намек не дошел до ее сознания, захлестнутого яростью и разочарованием.

Ретт легко вскочил на ноги, подошел к ней и, взяв за подбородок, рывком поднял ее голову.

— Какое же ты дитя! У тебя было трое мужей, но ты до сих пор не знаешь мужской природы. Ты, видимо, считаешь мужчину кем‑то вроде старухи, перешагнувшей возрастной рубеж.

Он игриво ущипнул ее за подбородок и убрал руку. Подняв черную бровь, он долго холодно смотрел на жену.

— Пойми вот что, Скарлетт. Если бы ты и твоя постель все еще представляли для меня интерес, никакие замки и никакие уговоры не удержали бы меня. И мне не было бы стыдно, так как мы с тобой заключили сделку — сделку, которой я верен и которую ты сейчас нарушаешь. Что ж, спи одна в своей девственной постельке, прелесть моя.

— Ты что же, хочешь сказать... — возмутилась Скарлетт, — что тебе безразлично...

— Я ведь надоел тебе, да? Ну, так мужчинам женщины надоедают куда быстрее. Будь святошей, Скарлетт. Огорчаться по этому поводу я не стану. Мне все равно. — Он с усмешкой пожал плечами. — По счастью, в мире полно постелей, а в постелях хватает женщин.

— Ты хочешь сказать, что готов дойти до...

— Дорогая моя невинность! Конечно. Удивительно уже то, что я воздерживался от этого так долго. Я никогда не считал супружескую верность добродетелью.

— Я на ночь буду запирать свою дверь!

— К чему утруждать себя? Если я захочу тебя, никакой замок меня не удержит.

Он повернулся с таким видом, точно считал разговор оконченным, и вышел из комнаты. Скарлетт слышала, как он вошел в детскую, где дети бурно приветствовали его. Она села. Вот она и добилась своего. Этого хотела она, и этого хотел Эшли. Но она не чувствовала себя счастливой. Гордость ее была задета: ее оскорбляла самая мысль, что Ретт отнесся так легко к ее словам, что он вовсе не жаждет обладать ею, что он ее равняет с другими женщинами в других постелях.

Ей очень хотелось придумать какой‑то способ деликатно намекнуть Эшли, что она и Ретт физически больше не муж и жена. Но Скарлетт понимала, что это невозможно. Она заварила какую‑то чудовищную кашу и уже отчасти жалела о своих словах. Ей будет недоставать долгих забавных разговоров с Реттом в постели, когда кончик его сигары светился в темноте. Ей будет недоставать его объятий, когда она пробуждалась в ужасе от кошмарных снов, а ей ведь не раз снилось, что она бежит сквозь холодный густой туман.

Внезапно почувствовав себя глубоко несчастной, она уткнулась головой в подлокотник кресла и расплакалась.

### Глава LII

Как‑то раз дождливым днем, когда Бонни только что исполнился годик, Уэйд уныло бродил по гостиной, время от времени подходя к окошку и прижимаясь носом к стеклу, исполосованному дождем. Мальчик был худенький, хрупкий, маленький для своих восьми лет, застенчивый и тихий — рта не раскроет, пока его не спросят. Ему было скучно, и он явно не знал, чем заняться, ибо Элла возилась в углу с куклами, Скарлетт сидела у секретера и, что‑то бормоча себе под нос, подсчитывала длинную колонку цифр, а Ретт, лежа на полу возле Бонни, развлекал ее, раскачивая часы на цепочке, но так, чтобы она не могла до них дотянуться.

Уэйд взял было несколько книг, потом с грохотом уронил их и глубоко вздохнул.

— О господи, Уэйд! — раздраженно воскликнула, поворачиваясь к нему, Скарлетт. — Пошел бы куда‑нибудь, поиграл.

— Не могу. На дворе дождик.

— В самом деле? Я не заметила. Ну, займись чем‑нибудь. Ты действуешь мне на нервы, когда вертишься без толку. Пойди скажи Порку, чтобы он запряг карету и отвез тебя к Бо поиграть.

— Он же не дома, — вздохнул Уэйд. — Он на дне рождения у Рауля Пикара.

Рауль, сынишка Мейбелл и Рене Пикара, был, по мнению Скарлетт, преотвратительным существом, больше похожим на обезьяну, чем на ребенка.

— Ну, можешь поехать к кому хочешь. Пойди скажи Порку.

— Никого нет дома, — возразил Уэйд. — Все на дне рождения.

Хотя к слову «все» и не было прибавлено: «кроме меня», однако эти слова повисли в воздухе, но Скарлетт, вся ушедшая в свои подсчеты, не обратила на это внимания.

Ретт же приподнялся и спросил:

— А ты почему не на дне рождения, сынок?

Уэйд подошел к нему совсем близко и остановился, шаркая ногой по ковру. Вид у него был глубоко несчастный.

— Меня не пригласили, сэр.

Ретт отдал Бонни часы на растерзание и легко вскочил на ноги.

— Да бросьте вы эти проклятые цифры, Скарлетт. Почему Уэйда не пригласили на день рождения?

— Ах, ради всего святого, Ретт! Оставьте меня сейчас в покое. У Эшли тут такая неразбериха в цифрах... А‑а, вы про день рождения? Что ж, тут нет ничего необычного в том, что Уэйда не пригласили, да к тому же я все равно не пустила бы его. Не забудьте, что Рауль — внук миссис Мерриуэзер, а миссис Мерриуэзер скорее впустит вольного негра в свою драгоценную гостиную, чем кого‑либо из нас.

Ретт, задумчиво наблюдавший за лицом Уэйда, увидел, как тот сморщился.

— Пойди‑ка сюда, сынок, — сказал он, привлекая к себе мальчика. — А тебе хочется быть на этом дне рождения?

— Нет, сэр, — храбро ответил Уэйд, но глаза опустил.

— М‑м... Скажи‑ка мне, Уэйд, а ты бываешь на дне рождения у Джо Уайтинга или Фрэнка Боннелла... или у кого‑нибудь из твоих приятелей?

— Нет, сэр. Меня очень редко приглашают.

— Ты лжешь, Уэйд! — воскликнула, оборачиваясь, Скарлетт. — Ты же на прошлой неделе был на трех детских праздниках — у Бартов, у Гелертов и у Хандонов.

— Более отборную коллекцию мулов в лошадиной сбруе трудно себе представить, — заметил Ретт, с легкой издевкой растягивая слова. — И ты хорошо провел время на этих праздниках? Ну, говори же.

— Нет, сэр.

— А почему нет?

— Я... я не знаю, сэр. Мамушка... она говорит, что все это белая рвань.

— Я с Мамушки шкуру спущу — сию же минуту! — воскликнула вскакивая Скарлетт. — А ты, Уэйд, если будешь так говорить о друзьях своей мамы...

— Мальчик верно говорит, как и Мамушка, — сказал Ретт. — Но где же вам знать правду, если вы отворачиваетесь от нее... А ты, сынок, не волнуйся. Можешь больше не ходить на праздники, если тебе не хочется. Вот, — добавил он, вытаскивая из кармана банкноту, — скажи Порку, чтоб запряг карету и повозил тебя по городу. Купи себе чего‑нибудь сладкого — да побольше, чтоб разболелся живот.

Лицо Уэйда расцвело в улыбке. Он сунул в карман бумажку и с тревогой посмотрел на мать — одобрит ли она такую затею. Но Скарлетт, сдвинув брови, глядела на Ретта. Он поднял с пола Бонни и прижал к себе — крошечное личико уткнулось ему в щеку. Скарлетт не могла понять, о чем он думает, но в глазах увидела что‑то похожее на страх — страх и чувство вины.

Приободренный щедростью отчима, Уэйд застенчиво подошел к нему.

— Дядя Ретт, а можно мне вас что‑то спросить?

— Конечно. — Лицо у Ретта было напряженное, отсутствующее, он крепче прижал к себе голову Бонни. — О чем же ты хочешь спросить меня, Уэйд?

— Дядя Ретт, вы... а вы воевали?

Взгляд Ретта мгновенно обратился на мальчика — глаза смотрели пронзительно, но голос, задавший вопрос, звучал небрежно:

— А почему ты спрашиваешь, сынок?

— Да вот Джо Уайтинг говорит — вы не воевали, и Фрэнк Боннелл тоже.

— А‑а, — проронил Ретт, — а ты им что сказал?

Уэйд стоял с несчастным видом.

— Я... я сказал... я говорю, что не знаю. — И на одном дыхании выпалил: — Но мне все равно, воевали вы или нет. Я поколотил их. А вы были на войне, дядя Ретт?

— Да, — с неожиданной резкостью сказал Ретт. — Я был на войне. Я был в армии восемь месяцев. Я прошел с боями весь путь от Лавджоя до Франклина, штат Теннесси. И я был с Джонстоном, когда он сдался.

Уэйд запрыгал от восторга, а Скарлетт рассмеялась.

— А я‑то полагала, что вы стыдитесь своего участия в войне, — сказала она. — Разве вы не просили меня помалкивать об этом?

— Прекратить — оборвал он ее. — Ну как, ты доволен, Уэйд?

— О да, сэр! Я знал, что вы воевали. Я знал, что вы не трус, как они говорят. Вот только... почему вы не воевали вместе с отцами других мальчиков?

— Да потому, что отцы других мальчиков были люди глупые и их направили в пехоту. Я же закончил Вест‑Пойнт и был в артиллерии. В полевой артиллерии, Уэйд, а не в войсках внутреннего охранения. А чтобы служить в артиллерии, Уэйд, нужно иметь голову.

— Еще бы! — сказал Уэйд, весь сияя А вы были ранены, дядя Ретт?

Ретт ответил не сразу.

— Вы расскажите ему про свою дизентерию, — с издевкой заметила Скарлетт.

Ретт осторожно опустил малышку на пол и вытянул сорочку и нижнюю рубашку из брюк.

— Подойди сюда, Уэйд, я покажу тебе, куда я был ранен.

Уэйд, возбужденный происходящим, подошел и уставился на то место, на которое указывал пальцем Ретт. Смуглую грудь пересекал длинный рубец, спускавшийся вниз на мускулистый живот. То была память о ножевой драке на калифорнийских золотых приисках, но Уэйд не мог этого знать. Он глубоко вздохнул от счастья.

— А вы, видно, такой же храбрый, как мой папа, дядя Ретт.

— Почти, но не совсем, — сказал Ретт, засовывая сорочку в брюки. — А теперь иди, накупи себе сластей на доллар и бей всех мальчишек, которые посмеют сказать, что я не был в армии.

Уэйд, приплясывая и громко зовя Порка, выбежал из комнаты, а Ретт снова подхватил на руки малышку.

— Ну, к чему вся эта ложь, мой доблестный вояка? — спросила Скарлетт.

— Мальчик должен гордиться отцом... или отчимом. Я не хочу, чтобы ему было стыдно перед другими маленькими зверюгами. Дети ведь жестокие существа.

— Какая чепуха!

— Я никогда не задумывался над тем, что это может значить для Уэйда, — медленно произнес Ретт. — Я никогда не думал, что он страдает. С Бонни так не будет.

— Как — так?

— Вы думаете, я допущу, чтобы моя Бонни стыдилась своего отца? Допущу, чтобы ее не приглашали на дни рождения, когда ей будет девять или десять лет? Думаете, допущу, чтобы ее унижали, как Уэйда, за то, в чем виновата не она, а мы с вами?

— Подумаешь — детские дни рождения!

— Детские дни рождения превращаются потом в балы для барышень и молодых людей. Вы думаете, я позволю, чтобы моя дочь росла вне благовоспитанного общества Атланты? Я не намерен посылать ее на Север в школу, чтобы она приезжала сюда лишь на каникулы, потому что с ней не желают знаться здесь, или в Чарльстоне, или в Саванне, или в Новом Орлеане. Я не хочу, чтобы она вынуждена была выйти замуж за янки или за иностранца, потому что никакая приличная семья южан не захочет принять ее в свое лоно... так как мать ее была дура, а отец — мерзавец.

Уэйд, вернувшийся за чем‑то, стоял на пороге и озадаченно, но с интересом слушал.

— Бонни может выйти замуж за Бо, дядя Ретт.

На лице Ретта не было и следа ярости, когда он повернулся к мальчику; казалось, он со всей серьезностью обдумывал его слова — он всегда был серьезен, разговаривая с детьми.

— А ведь и правда, Уэйд. Бонни может выйти замуж за Бо Уилкса. А вот на ком ты женишься?

— О, я — ни на ком, — доверительно сообщил Уэйд, наслаждаясь этой беседой на равных, какую он мог вести только с Реттом да еще разве с тетей Мелли, никогда не корившими его и всегда поощрявшими. — Я поеду учиться в Гарвард и стану юристом, как мой отец, а потом буду храбрым солдатом — тоже, как он.

— Ну, почему Мелли не может держать рот на замке! — воскликнула Скарлетт. — Ни в какой Гарвард ты, Уэйд, не поедешь. Это заведение для янки, а я не допущу, чтобы ты учился в школе янки. Ты пойдешь в университет Джорджии, а когда окончишь его, будешь управлять лавкой вместо меня. Ну, а что касается того, что твой отец был храбрым солдатом...

— Прекратите! — коротко приказал Ретт: от него не укрылось, как заблестели глаза Уэйда, когда речь зашла об отце, которого он никогда не знал. — Ты вырастешь и будешь таким же храбрым, как твой отец, Уэйд. Постарайся быть таким, как он, потому что он был героем, и никому не позволяй говорить о нем иначе. Он ведь женился на твоей матери, верно? Ну, так вот, это уже достаточное доказательство его героизма. А уж я прослежу за тем, чтобы ты пошел в Гарвард и стал юристом. А теперь беги и скажи Порку, чтобы он повозил тебя по городу.

— Я была бы вам очень признательна, если бы вы позволили мне самой заниматься воспитанием моих детей! — воскликнула Скарлетт, когда Уэйд послушно выбежал из комнаты.

— Очень плохо вы ими занимаетесь. Вы сделали все возможное, чтобы испортить будущее Эллы и Уэйда, но я не допущу, чтобы то же повторилось и с Бонни. Она будет расти как принцесса, и на всем свете не найдется человека, которому не захотелось бы общаться с ней. Ни один дом не будет для нее закрыт. Великий боже, да неужели вы думаете, я позволю, чтобы она, когда вырастет, общалась с тем сбродом, который заполняет этот дом?

— Однако этот сброд вполне устраивает вас...

— И более чем устраивает вас, моя кошечка. Но это не для Бонни. Да неужели вы думаете, я позволю, чтобы она вышла замуж за кого‑либо из этих беглых каторжников, с которыми вы проводите время? Выскочки‑ирландцы, янки, белая рвань, парвеню‑«саквояжники»... Чтобы моя Бонни, в жилах которой течет кровь Батлеров и Робийяров...

— Кровь О’Хара...

— Возможно, в свое время О’Хара были королями Ирландии, но ваш отец был всего лишь ловким ирландским выскочкой. Да и вы не лучше... Но я тоже, конечно, хорош. Я мчался по жизни, точно летучая мышь, выпущенная из ада, не задумываясь над тем, что я делаю, так как все и вся было мне безразлично. А вот Бонни не безразлична. Боже, каким я был дураком! Теперь Бонни ни за что не примут в Чарльстоне, сколько бы ни старались моя мать, или ваши тетя Евлалия, или тетя Полин... ясно, что не примут ее и здесь, если мы чего‑то не придумаем — и быстро...

— Ах, Ретт, вы относитесь к этому так трагически, что даже смешно. При наших‑то деньгах...

— К черту наши деньги! Никакие наши деньги не могут купить то, что я хочу для Бонни. Я бы предпочел, чтоб ее приглашали на черствый хлеб в жалкий дом Пикаров или в этот прохудившийся сарай, в котором живет миссис Элсинг, чем на республиканские балы, где она была бы первой красавицей. Скарлетт, вы вели себя как последняя дура. Вам следовало обеспечить своим детям место в обществе много лет назад, а вы этого не сделали. Вы даже не позаботились о том, чтобы удержать то, которое сами там занимали. И сейчас едва ли можно надеяться, что вы вдруг изменитесь. Слишком вы стремитесь к наживе и слишком любите принижать людей.

— Я считаю, это буря в стакане воды, — холодно заметила Скарлетт, перебирая бумаги и тем самым показывая, что она во всяком случае разговор окончила.

— У нас теперь осталась одна миссис Уилкс, которая способна нам помочь, а вы все делаете, чтобы оттолкнуть ее и оскорбить. О, избавьте меня, пожалуйста, от ваших умозаключений по поводу ее бедности и убогой одежды. Она — душа всего, что есть в Атланте неподкупного. Слава богу, что она существует. И она поможет мне что‑то предпринять.

— И что вы намерены предпринять?

— Что я намерен предпринять? Буду обхаживать всех драконов «старой гвардии» в женском обличьи, какие есть в этом городе, — и миссис Мерриуэзер, и миссис Элсинг, и миссис Уайтинг, и миссис Мид. И если мне придется ползти на животе к каждой толстой старой кошке, которая ненавидит меня, я поползу. Я буду кроток, как бы холодно они меня ни встретили, и буду каяться в своих прегрешениях. Я дам денег на их дурацкие благотворительные затеи и буду ходить в их чертовы церкви. Я признаюсь и даже стану хвастать, что оказывал услуги Конфедерации; в худшем случае, войду даже в этот их чертов ку‑клукс‑клан, хотя надеюсь, всемилостивый бог не подвергнет меня столь тяжкому испытанию. И я, не колеблясь, напомню этим идиотам, чьи головы я спас, что они кое‑чем мне обязаны. А вы, мадам, будьте любезны, не портите мне дело, продавая им гнилой лес, или накладывая лапу на имущество должников из числа тех, кого я буду обхаживать, или как‑либо иначе оскорбляя их. И еще одно: отныне ноги губернатора Баллока не будет в этом доме. Вы меня слышите? Как и никого из этих элегантных грабителей, с которыми вы свели компанию. Если, несмотря на мою просьбу, вы их все же пригласите, то окажетесь в щекотливом положении, так как хозяина дома не будет. Стоит им появиться у нас, как я тотчас отправлюсь к Красотке Уотлинг, засяду у нее в баре и буду говорить всем и каждому, что не желаю находиться под одной с ними крышей.

Скарлетт, кипя от гнева, выслушала эту тираду и расхохоталась.

— Значит, шулер с речных пароходов и спекулянт хочет стать уважаемым господином! В таком случае, чтобы добиться уважения, вам следовало бы для начала продать дом Красотки Уотлинг.

Это был удар наугад. Скарлетт ведь никогда не была вполне уверена, что дом принадлежит Ретту. Он вдруг рассмеялся, точно прочел ее мысли.

— Спасибо за совет.

Ретт едва ли мог выбрать более неподходящее время для возвращения в ряды уважаемых людей. Никогда еще слова «республиканец» и «подлипала» не вызывали такой ненависти, ибо коррупция среди пришедших к власти «саквояжников» достигла апогея. А со времени поражения Юга имя Ретта было неразрывно связано с янки, республиканцами и подлипалами.

В 1866 году обитатели Атланты, пылая бессильным гневом, считали, что хуже навязанного им жестокого военного режима уже ничего быть не может, но только сейчас, при Баллоке, они поняли, почем фунт лиха. Благодаря голосам негров республиканцы и их союзники твердо закрепились на Юге и железной рукой правили бессильным что‑либо изменить, но по‑прежнему бунтующим коренным белым населением.

Неграм внушали, что в Библии говорится только о двух политических партиях — мытарях[[37]](#footnote-37) и грешниках. А поскольку ни один негр не желал вступить в партию, состоящую из грешников, все они спешили пополнить ряды республиканцев. Новые хозяева заставляли их снова и снова голосовать и выбирать белых подонков и подлипал, а порой даже и кое‑кого из негров в органы управления. Негры, которым посчастливилось быть избранными, заседали в законодательном собрании, где большую часть времени грызли земляные орехи и пытались освоиться с непривычной для них обувью, то и дело вытаскивая из башмаков ноги. Лишь немногие из них умели читать или писать. Еще совсем недавно они работали на хлопковых полях или сахарных плантациях, а теперь голосовали за налоги и выпуск займов, а также утверждали огромные сметы расходов на собственные нужды своих республиканских покровителей. Штат совсем придавило налогами, которые население выплачивало, скрипя зубами от ярости, так как налогоплательщики знали, что большая часть денег, якобы предназначаемых для общественных нужд, оседала у частных лиц.

Капитолий штата прочно окружила орда прожектеров, спекулянтов, подрядчиков и всех прочих, кто надеялся поживиться на этой оргии расточительства; многим это удавалось, и они беспардонно сколачивали себе состояния. Они без труда получали от штата деньги на строительство железных дорог, которые так никогда и не были построены, на приобретение вагонов и локомотивов, которые так никогда и не были куплены, на сооружение общественных зданий, которые существовали лишь в уме прожектеров.

Займы выпускались миллионами. По большей части они выпускались незаконно и были явным мошенничеством — и все равно выпускались. Казначей штата — хоть и республиканец, но человек честный — возражал против незаконного выпуска займов и отказывался подписывать соответствующие бумаги, но ни он, ни те, кто пытался поставить преграду злоупотреблениям, не могли противостоять этой все сметающей жажде обогащения.

Железная дорога, принадлежащая штату, когда‑то приносила изрядный доход, сейчас же она висела на бюджете штата мертвым грузом и задолженность ее превышала миллион. Да, собственно, железной дорогой это уже и назвать‑то было нельзя. Рельсы пролегали по огромной глубокой котловине, где валялись в грязи свиньи. Многие чиновники были назначены по политическим соображениям, а не потому, что они знали, как управлять железной дорогой, да и вообще работало там в три раза больше народу, чем требовалось, республиканцы ездили бесплатно по пропускам, негров целыми вагонами бесплатно развозили по всему штату, чтобы они могли по нескольку раз голосовать во время одних и тех же выборов.

Плохое управление дорогой приводило в ярость налогоплательщиков еще и потому, что на доходы с нее предполагалось открыть бесплатные школы. Но доходов не было, были только долги, и потому бесплатных школ тоже не было. Лишь немногие имели возможность посылать своих детей в платные школы, так что росло целое поколение невежественных, неграмотных людей.

Жители, конечно, возмущались растратами, неумелым хозяйствованием и казнокрадством, но больше всего их возмущало то, что губернатор в плохом свете выставляет их перед Севером. Когда в Джорджии стали громко возмущаться коррупцией, губернатор поспешно отправился на Север, предстал перед конгрессом и заявил, что белые безобразно ведут себя по отношению к неграм, что в Джорджии готовится новое восстание, а потому необходимо‑де ввести в штате военное положение. На самом же деле в Джорджии все старательно избегали осложнений с неграми. Никто не хотел новой войны, никто не хотел, чтобы в штате правила сила штыка, — этого не требовалось. В Джорджии хотели лишь одного: чтобы их оставили в покое и дали возможность штату залечить раны. Но акция, предпринятая губернатором и ставшая впоследствии известной как «сотворение клеветы», представила Джорджию Северу лишь как бунтующий штат, на который требовалось надеть узду, и узда была надета.

Это вызвало великое ликование в банде, державшей Джорджию за горло. Началась настоящая оргия хищений и холодно‑циничного, беззастенчивого воровства на высоких постах, которое больно было наблюдать. Все протесты и попытки сопротивляться кончались крахом, так как правительство штата подпирали штыки армии Соединенных Штатов.

Атланта проклинала Баллока, его подлипал и всех республиканцев вообще, равно как и тех, кто был с ними связан. А Ретт был с ними связан. Он действовал с ними заодно — так говорили все вокруг — и участвовал во всех их начинаниях. Теперь же он решительно повернулся и вместо того, чтобы плыть по течению в потоке, который еще недавно нес его вперед, изо всех сил поплыл в противоположном направлении.

Он повел свою кампанию медленно, исподволь, чтобы не вызвать подозрений в Атланте своим превращением за одну ночь из леопарда в лань. Он стал теперь избегать своих подозрительных дружков — никто больше не видел его в обществе офицеров‑янки, подлипал и республиканцев. Он стал посещать сборища демократов и демонстративно голосовал за них. Он перестал играть в карты на большие ставки и относительно мало пил. Если он и заходил к Красотке Уотлинг, то вечером и исподтишка, как большинство уважаемых горожан, а не днем, оставив для всеобщего обозрения свою лошадь у коновязи возле ее дома.

И прихожане епископальной церкви чуть не упали со своих скамей, когда он, осторожно ступая и ведя за руку Уэйда, вошел в храм. Немало удивило прихожан и появление Уэйда, ибо они считали мальчика католиком. Во всяком случае, Скарлетт‑то ведь была католичкой. Или считалась таковой. Правда, она уже многие годы не бывала в церкви, религиозность слетела с нее, как и многое другое, чему учила ее Эллин. По мнению всех, Скарлетт пренебрегала религиозным воспитанием мальчика, и тем выше в глазах «старой гвардии» поднялся Ретт, когда он решил исправить дело и привел мальчика в церковь — пусть в епископальную вместо католической.

Ретт умел держаться серьезно и бывал обаятелен, если задавался целью не распускать язык и гасить лукавый блеск в черных глазах. Многие годы он не считал нужным это делать, но сейчас надел на себя маску серьезности и обаяния, как стал надевать жилеты более темных тонов. И добиться благорасположения тех, кто был обязан ему жизнью, не составило особого труда. Они бы уже давно проявили к нему дружелюбие, не поведи себя Ретт так, будто оно мало значит для него. А теперь Хью Элсинг, Рене, Симмонсы, Энди Боннелл и другие вдруг обнаружили, что Ретт человек приятный, не любящий выдвигать себя на передний план и смущающийся, когда при нем говорят, сколь многим ему обязаны.

— Пустяки! — возражал он. — Вы бы все на моем месте поступили точно так же.

Он пожертвовал кругленькую сумму в фонд обновления епископальной церкви и сделал весомый — но в меру весомый — дар Ассоциации по благоустройству могил наших доблестных воинов. Он специально отыскал миссис Элсинг, которой и вручил свой дар, смущенно попросив, чтобы она держала его пожертвование в тайне, и прекрасно зная, что тем лишь подстегивает ее желание всем об этом рассказать. Миссис Элсинг очень не хотелось брать у него деньги — «деньги спекулянта», — но Ассоциация так нуждалась в средствах.

— Не понимаю, с чего это вы вдруг решили сделать нам пожертвование, — колко заметила она.

И когда Ретт сообщил ей с приличествующей случаю скромной миной, что его побудила к этому память о бывших товарищах по оружию, больших храбрецах, чем он, но менее удачливых и потому лежащих сейчас в безымянных могилах, аристократическая челюсть миссис Элсинг отвисла. Долли Мерриуэзер говорила ей со слов Скарлетт, что капитан Батлер якобы служил в армии, но она, конечно, этому не поверила. Никто не верил.

— Вы служили в армии? А в какой роте... в каком полку?

Ретт назвал.

— Ах, в артиллерии! Все мои знакомые были либо в кавалерии, либо в пехоте. А, ну тогда понятно... — Она в замешательстве умолкла, ожидая увидеть ехидную усмешку в его глазах. Но он смотрел вниз и играл цепочкой от часов.

— Я бы с превеликой радостью пошел в пехоту, — сказал он, делая вид, будто не понял ее намека. — Но когда узнали, что я учился в Вест‑Пойнте — хотя, миссис Элсинг, из‑за одной мальчишеской выходки я и не окончил академии, — меня поставили в артиллерию, в настоящую артиллерию, а не к ополченцам. Во время последней кампании нужны были люди, знающие дело. Вам ведь известно, какие огромные мы понесли потери, сколько артиллеристов было убито. Я в артиллерии чувствовал себя одиноко. Ни единого знакомого человека. По‑моему, за всю службу я не встретил никого из Атланты.

— М‑да! — смущенно протянула миссис Элсинг. Если он служил в армии, значит, она вела себя недостойно. Она ведь не раз резко высказывалась о его трусости и теперь, вспомнив об этих своих высказываниях, почувствовала себя виноватой. — М‑да! А почему же вы никогда никому не рассказывали о своей службе в армии? Можно подумать, что вы стесняетесь этого.

— Миссис Элсинг, — внушительно заявил он, — прошу вас поверить мне: я горжусь своей службой Конфедерации, как ничем, что когда‑либо совершал или еще совершу. У меня такое чувство... такое чувство...

— Тогда почему же вы все это скрывали?

— Как‑то стыдно мне было говорить об этом в свете... в свете некоторых моих тогдашних поступков.

Миссис Элсинг сообщила миссис Мерриуэзер о полученном даре и о разговоре во всех его подробностях.

— И даю слово, Долли, он сказал, что ему стыдно, со слезами на глазах! Да, да, со слезами! Я сама чуть не расплакалась.

— Сущий вздор! — не поверив ни единому ее слову, воскликнула миссис Мерриуэзер. — Не верю я, чтобы слезы появились у него на глазах, как не верю и тому, что он был в армии. И все это я очень быстро выясню. Если он был в том артиллерийском полку, я доберусь до правды, потому что полковник Карлтон, который им командовал, женат на дочери одной из сестер моего деда, и я ему напишу.

Она написала полковнику Карлтону и была совершенно сражена, получив ответ, где весьма недвусмысленно и высоко оценивалась служба Ретта: прирожденный артиллерист, храбрый воин, настоящий джентльмен, который все выносит без жалоб, и к тому же человек скромный, даже отказавшийся от офицерского звания, когда ему его предложили.

— Ну и ну! — произнесла миссис Мерриуэзер, показывая письмо миссис Элсинг. — В себя не могу прийти от удивления! Возможно, мы и в самом деле не правы были, считая, что он не служил в армии. Возможно, нам следовало поверить Скарлетт и Мелани, которые говорили ведь, что он записался в армию в день падения Атланты. Но все равно он подлипала и мерзавец, и я его не люблю!

— А мне вот думается, — сказала неуверенно миссис Элсинг, — мне думается, что не такой уж он и плохой. Не может человек, сражавшийся за Конфедерацию, быть совсем плохим. Это Скарлетт плохая. Знаете, Долли, мне в самом деле кажется, что он... ну, словом, что он стыдится Скарлетт, но, будучи джентльменом, не показывает этого.

— Стыдится?! Ерунда! Оба они из одного куска материи выкроены. Откуда вы взяли такие глупости?

— Это не глупости, — возразила возмущенная миссис Элсинг. — Вчера, под проливным дождем, он ездил в карете со всеми тремя детьми — заметьте, там была и малютка — вверх и вниз по Персиковой улице и даже меня до дому подвез. И когда я сказала: «Капитан Батлер, вы что, с ума сошли, зачем вы держите детей в сырости! Почему не везете их домой?», он ни слова не ответил, но вид у него был смущенный. Тогда Мамушка вдруг говорит: «В доме‑то у нас полным‑полно всяких белых подонков, так что деткам лучше быть под дождем, чем дома!»

— А он что сказал?

— А что он мог сказать? Только посмотрел, сдвинув брови, на Мамушку и промолчал. Вы же знаете, вчера днем Скарлетт устраивала большую партию в вист, и все эти вульгарные простолюдинки были там. И ему, я полагаю, не хотелось, чтобы они целовали его малышку.

— Ну и ну! — произнесла миссис Мерриуэзер, заколебавшись, но все еще держась прежних позиций. Однако на следующей неделе капитулировала и она.

Теперь у Ретта появился в банке свой стол. Что он делал за этим столом, никто из растерявшихся чиновников не знал, но ему принадлежал слишком большой пакет акций, чтобы они могли возражать против его присутствия. Через некоторое время они забыли о своих возражениях, ибо он держался спокойно, воспитанно и к тому же кое‑что понимал в банковском деле и капиталовложениях. Так или иначе, он целый день проводил за своим столом, и все видели, как он корпит, а он решил показать, что, подобно своим респектабельным согражданам, трудится — и трудится вовсю.

Миссис Мерриуэзер, стремясь расширить свою и так уже процветающую торговлю пирогами, надумала занять две тысячи долларов в банке под залог дома. В займе ей отказали, так как под дом было выдано уже две закладных. Дородная дама вне себя от возмущения выкатывалась из банка, когда Ретт остановил ее, выяснил, в чем дело, и озабоченно сказал:

— Тут произошла какая‑то ошибка, миссис Мерриуэзер. Ужасная ошибка. Кому‑кому, а вам нечего волноваться по поводу обеспечения! Да я одолжил бы вам деньги под одно ваше слово! Даме, которая сумела развернуть такое предприятие, можно без риска поверить. Кому же еще давать банку деньги, как не вам. Так что посидите, пожалуйста, в моем кресле, а я займусь вашим делом.

Через некоторое время он вернулся и со спокойной улыбкой сказал, что, как он и думал, произошла ошибка. Две тысячи долларов ждут ее, и она может взять их, когда захочет. А насчет ее дома — не будет ли она так любезна поставить свою подпись вот тут?

Миссис Мерриуэзер, все еще не придя в себя от нанесенного ей оскорбления, злясь на то, что приходится принимать услугу от человека, который ей неприятен и которому она не доверяет, не слишком любезно поблагодарила его.

Но он сделал вид, будто ничего не заметил. Провожая ее к двери, он сказал:

— Миссис Мерриуэзер, я всегда высоко ставил ваш жизненный опыт — можно мне с вами посоветоваться?

Она слегка кивнула, так что перья на ее шляпке чуть колыхнулись.

— Что вы делали, когда ваша Мейбелл была маленькой и сосала палец?

— Что, что?

— У меня Бонни сосет пальчик. Я никак не могу ее отучить.

— Необходимо отучить, — решительно заявила миссис Мерриуэзер. — Это испортит форму ее рта.

— Знаю! Знаю! А у нее такой хорошенький ротик. Но я никак не соображу, что делать.

— Ну, Скарлетт наверняка знает, — отрезала миссис Мерриуэзер. — Она ведь уже вырастила двоих детей.

Ретт опустил глаза на свои сапоги и вздохнул.

— Я пытался смазывать Бонни ноготки мылом, — сказал он, пропустив мимо ушей замечание насчет Скарлетт.

— Мылом?! Ба‑а! Мыло тут не поможет. Я посыпала Мейбелл пальчик хинином, и должна сказать вам, капитан Батлер, она очень скоро перестала его сосать.

— Хинином! Вот уж никогда бы не подумал! Я просто не в состоянии выразить вам свою признательность, миссис Мерриуэзер. А то это очень меня тревожит.

Он улыбнулся ей такой приятной, такой благодарной улыбкой, что миссис Мерриуэзер секунду стояла опешив. Однако прощаясь с ним, она уже улыбалась сама. Ей не хотелось признаваться миссис Элсинг в том, что она неверно судила об этом человеке, но будучи женщиной честной, сказала, что в мужчине, который так любит своего ребенка, несомненно, есть что‑то хорошее. Какая жалость, что Скарлетт совсем не интересуется своей прелестной дочуркой! Когда мужчина растит маленькую девочку — в этом есть что‑то патетическое. Ретт прекрасно понимал, сколь душещипательна создаваемая им картина, а то, что это бросало тень на репутацию Скарлетт, ничуть не волновало его.

Как только малышка начала ходить, он то и дело брал ее с собой, и она сидела с ним либо в карете, либо впереди него в седле. Вернувшись домой из банка, он отправлялся с ней на прогулку по Персиковой улице, и, держа ее за руку, старался приноровиться к ее шажкам, и терпеливо отвечал на тысячи ее вопросов. В это время дня, на закате, люди обычно сидели у себя в палисадниках или на крыльце, а поскольку Бонни была очень общительная и хорошенькая девочка с копной черных кудрей и ярко‑голубыми глазками, почти все заговаривали с ней. Ретт никогда не встревал в эти разговоры, а стоял поодаль, исполненный отцовской гордости и благодарности за то, что его дочь окружают вниманием.

У Атланты была хорошая память, она отличалась подозрительностью и не скоро меняла однажды сложившееся мнение. Времена были тяжелые, и на всех, кто имел хоть что‑то общее с Баллоком и его окружением, смотрели косо. Но с помощью Бонни, унаследовавшей обаяние отца и матери, Ретт сумел вбить клинышек в стену отчуждения, которой окружила его Атланта.

Бонни быстро росла, и с каждым днем становилось все яснее, что она — внучка Джералда О’Хара. У нее были короткие крепкие ножки, большие голубые, какие бывают только у ирландцев, глаза и маленький квадратный подбородочек, говоривший о решимости стоять на своем. У нее был горячий нрав Джералда, проявлявшийся в истериках, которые она закатывала, причем она тотчас успокаивалась, как только ее желания были удовлетворены. А когда отец находился поблизости, желания ее всегда поспешно удовлетворялись. Он баловал ее, невзирая на противодействие Мамушки и Скарлетт, ибо ему нравилось в ней все, кроме одного. Кроме боязни темноты.

До двух лет она быстро засыпала в спаленке, которую делила с Уэйдом и Эллой. А потом без всякой видимой причины начала всхлипывать, как только Мамушка выходила из комнаты и уносила с собой лампу. Затем она начала просыпаться ночью с криками ужаса, пугая двух других детей и приводя в смятение весь дом. Однажды пришлось даже вызвать доктора Мида, и Ретт был весьма резок с ним, когда тот объявил, что это всего лишь от дурных снов. От нее же никто ничего не мог добиться, кроме одного слова: «Темно».

Скарлетт считала это капризом и говорила, что девочку надо отшлепать. Она не желала идти на уступки и оставлять лампу в детской, ибо тогда Уэйд и Элла не смогут уснуть. Обеспокоенный Ретт пытался мягко выудить у дочки, в чем дело; услышав заявление жены, он холодно сказал, что если кого и следует отшлепать, так это Скарлетт, причем сам он готов этим заняться.

В итоге Ретт перевел Бонни из детской в комнату, где он жил теперь. Ее кроватку поставили рядом с его большой кроватью, и на столике всю ночь горела затененная лампа. Когда об этом стало известно, весь город загудел. Было что‑то неделикатное в том, что девочка спит в комнате отца, даже если этой девочке всего два года. От этих пересудов Скарлетт пострадала двояко. Во‑первых, все узнали, что она и ее муж спят в разных комнатах, а это уже само по себе не могло не произвести шокирующего впечатления. А во‑вторых, все считали, что, если уж девочка боится спать одна, ее место — рядом с матерью. Скарлетт же не могла объяснить всем и каждому, что она не в состоянии спать при свете, да к тому же и Ретт не допустил бы, чтобы девочка спала с ней.

— Вы в жизни не проснетесь, пока она не закричит, а если и проснетесь, то скорее всего отшлепаете ее, — отрезал он.

Скарлетт раздражало то, что Ретт придает такое значение ночным страхам Бонни, но она подумала, что со временем исправит дело и переведет девочку назад в детскую. Все дети боятся темноты и единственное тут лекарство — твердость. Ретт упорствует только затем, чтобы выставить ее в глазах всех плохой матерью и таким путем отплатить за то, что она изгнала его из своей спальни.

Он ни разу не переступал порога ее комнаты и даже не брался за ручку двери с того вечера, когда она сказала ему, что не хочет больше иметь детей. Ужинал он почти всегда вне дома — до тех пор, пока страхи Бонни не побудили его прекратить все отлучки. А то, бывало, он проводил вне дома всю ночь, и Скарлетт, лежа без сна за плотно закрытой дверью, прислушивалась к бою часов, возвещавшему наступление утра, и раздумывала, где это Ретт. Ей вспоминались его слова: «На свете есть немало других постелей, прелесть моя!» И хотя при этой мысли ее всю передергивало, ничего поделать она не могла. Что бы она ни сказала, мгновенно возникла бы ссора, и тогда он непременно намекнул бы на ее запертую дверь и на то, что это связано с Эшли. Да, эта его дурацкая затея, чтобы Бонни спала при свете — причем в его комнате, — объясняется, конечно же, всего лишь подлым желанием отплатить ей.

Она не понимала, почему Ретт придавал такое значение дурацким страхам Бонни, как не понимала и его привязанности к девочке — до одной страшной ночи. Никто в семье потом не мог забыть эту ночь.

В тот день Ретт встретил на улице человека, с которым они прорывали блокаду, и им, конечно, было о чем друг с другом поговорить. Куда они отправились беседовать и пить, Скарлетт не знала, но подозревала, что скорее всего — к Красотке Уотлинг. Ретт не приехал домой днем, чтобы погулять с Бонни, не приехал и к ужину. Бонни, просидевшая весь день у окна, с нетерпением дожидаясь своего папу, чтобы показать ему коллекцию жуков и тараканов, наконец, невзирая на слезы и протестующие крики, была уложена в постель Лу.

Возможно, Лу забыла зажечь лампу, а возможно, лампа сама погасла. Никто толком не знал, что произошло, но когда Ретт явился, наконец, домой сильно навеселе, в доме все было вверх дном, а отчаянные крики Бонни донеслись до него, когда он еще был в конюшне. Девочка проснулась в темноте и позвала папу, а его не было. И все неведомые ужасы, населявшие ее воображение, пробудились. Ни уговоры, ни несколько ламп, принесенных Скарлетт, не помогали: она не успокаивалась, и у Ретта, когда он в три прыжка взбежал по лестнице, был вид человека, встретившегося со смертью.

Взяв дочку на руки, он, наконец, уловил среди ее всхлипываний слово «темно» и в ярости повернулся к Скарлетт и негритянкам.

— Кто потушил лампу? Кто оставил Бонни в темноте одну? Присей, я с тебя шкуру за это сдеру...

— Бог мне свидетель, мистер Ретт, это не я! Это Лу!

— Ради всего святого, мистер Ретт, ведь я...

— Заткнись! Ты знаешь мой приказ. Клянусь богом, я... убирайся отсюда. И чтоб духу твоего не было. Скарлетт, дайте ей денег, и чтобы я не видел ее, когда я спущусь. А сейчас все уходите, все!

Негритянки выскочили — незадачливая Лу с рыданиями, закрывшись передником. Но Скарлетт осталась. Ей было тяжело видеть, как любимое дитя тотчас успокоилось на руках у Ретта, тогда как у нее на руках девочка кричала не умолкая. Тяжело было видеть и то, как маленькие ручонки обвились вокруг его шеи, слышать, как девочка, задыхаясь, прерывисто рассказывала ему, что ее так напугало, а она, Скарлетт, ничего членораздельного не могла из дочки вытянуть.

— Значит, он сидел у тебя на грудке, — тихо проговорил Ретт. — И он был большой?

— Да, да! Такой страшенный, большущий. И когти...

— Ах, значит, и когти у него были. Ну, ладно. Я всю ночь просижу тут и пристрелю его, если он снова явится. — Ретт сказал это убежденно, мягко, и Бонни постепенно перестала всхлипывать. Уже почти успокоившись, на языке, понятном одному только Ретту, она принялась описывать чудовище, которое явилось к ней. Скарлетт, слушая, как Ретт беседует с девочкой, точно речь идет о чем‑то реальном, почувствовала, что в ней закипает раздражение.

— Ради бога, Ретт...

Но он жестом велел ей молчать. Когда Бонни наконец уснула, он уложил ее в кроватку и накрыл одеяльцем.

— Я с этой негритянки живьем шкуру спущу, — тихим голосом сказал он. — Да и вы виноваты. Почему вы не зашли посмотреть, горит ли свет?

— Не валяйте дурака, Ретт, — шепотом ответила Скарлетт. — Бонни так себя ведет потому, что вы ей потакаете. Многие дети боятся темноты, но у них это проходит. Уэйд тоже боялся, но я не потворствовала ему. Пусть покричит ночь‑другую...

— Пусть покричит?! — На секунду Скарлетт показалось, что он сейчас ударит ее. — Либо вы дура, либо самая бессердечная женщина на свете.

— Я не хочу, чтоб она выросла нервной и трусливой.

— Трусливой! Черта с два! Да в ней трусости ни на грош нет! Просто вы лишены воображения и, конечно, не можете понять, какие муки испытывает человек, который им наделен, — особенно ребенок. Если что‑то с когтями и рогами явится и сядет к вам на грудь, вы скажете, чтобы оно убиралось к дьяволу, да? Именно так, черт подери. Припомните, мадам, что я присутствовал при том, как вы просыпались, пища, точно выпоротая кошка, только потому, что вам приснилось, будто вы бежали в тумане. И это было не так уж давно!

Скарлетт растерялась — она не любила вспоминать этот сон. К тому же Ретт успокаивал ее тогда почти так же, как успокаивал сейчас Бонни, и это внесло смятение в ее мысли. Не желая над этим раздумывать, Скарлетт повела на него наступление с другой стороны.

— Просто вы во всем ей потакаете...

— И намерен потакать. Тогда она рано или поздно преодолеет свой страх и забудет о нем.

— В таком случае, — язвительно заметила Скарлетт, — раз уж вы решили стать нянькой, не мешало бы вам приходить домой и для разнообразия — в трезвом виде.

— Я и буду приходить домой рано, но напиваться, если захочу, буду, как сапожник.

С тех пор Ретт стал рано приходить домой — он приезжал задолго до того, как надо было укладывать Бонни в постель. Садился подле нее и держал ее за руку, пока она, заснув, не расслабляла пальцы. Лишь тогда он на цыпочках спускался вниз, оставив гореть лампу и приоткрыв дверь, чтобы услышать, если девочка проснется и испугается. Он твердо решил: больше он не допустит, чтоб ее мучил страх. Весь дом следил за тем, чтобы в комнате, где спала Бонни, не потух свет. Скарлетт, Мамушка, Присей и Порк то и дело на цыпочках поднимались наверх и проверяли, горит ли лампа.

И приходил Ретт домой трезвым, но не Скарлетт добилась этого. На протяжении последних месяцев он много пил, хотя никогда не был по‑настоящему пьян, и вот однажды вечером от него особенно сильно пахло виски. Придя домой, он подхватил с пола Бонни, посадил ее к себе на плечо и спросил:

— Ты, что же, не желаешь поцеловать своего любимого папку?

Бонни сморщила курносый носишко и заерзала, высвобождаясь из его объятий.

— Нет, — чистосердечно призналась она. — Фу.

— Это я — фу?

— Фу, как плохо пахнет. От дяди Эшли никогда плохо не пахнет.

— Черт бы меня подрал! — буркнул Ретт, опуская ее на пол. — Вот уж никогда не думал, что обнаружу в собственном доме поборницу воздержания!

Но с того дня он выпивал лишь по бокалу вина после ужина. Бонни, которой разрешалось допить последние капли, вовсе не находила запах вина таким уж плохим. А у Ретта воздержание привело к тому, что одутловатость, отяжелившая черты его лица, постепенно исчезла, круги под черными глазами стали не такими темными и обозначались не так резко. Бонни любила кататься на лошади, сидя впереди него в седле, поэтому Ретт проводил много времени на воздухе, и смуглое лицо его, покрывшись загаром, потемнело еще больше. Вид у него был цветущий, он то и дело смеялся и снова стал похож на того удалого молодого человека, который на удивление всей Атланты столь смело прорывал блокаду в начале войны.

Люди, никогда не любившие Ретта, теперь улыбались при виде крошечной фигурки, торчавшей перед ним в седле. Матроны, до сих пор считавшие, что ни одна женщина не может чувствовать себя спокойной в его обществе, начали останавливаться и беседовать с ним на улице, любуясь Бонни. Даже самые строгие пожилые дамы держались мнения, что мужчина, способный рассуждать о детских болезнях и воспитании ребенка, не может быть совсем уж скверным.

### Глава LIII

Наступил день рождения Эшли, и Мелани решила в тот вечер устроить сюрпризом ему торжество. Все об этом знали, за исключением Эшли. Даже Уэйд и крошка Бо, которых заставили поклясться, что они будут хранить тайну, и малыши ходили страшно гордые. Все благопристойные обитатели Атланты были приглашены и дали согласие прийти. Генерал Гордон и его семья любезно приняли приглашение; Александр Стефенс обещал быть, если ему позволит не слишком крепкое здоровье; ожидали даже Боба Тумбса, буревестника Конфедерации.

Все утро Скарлетт, Мелани, Индия и тетя Питти бегали по дому, руководя неграми, пока те вешали свежевыглаженные занавеси, чистили серебро, натирали полы, жарили, парили, помешивали и пробовали яства. Скарлетт никогда еще не видела Мелани такой счастливой и возбужденной.

— Ты понимаешь, дорогая, у Эшли ведь не было дня рождения со времени... со времени, помнишь, того пикника в Двенадцати Дубах? Еще в тот день мистер Линкольн призвал добровольцев? Ну, так вот, у Эшли с тех пор не было дня рождения. А он так много работает и так устает, когда вечером приходит домой, что даже и не вспомнил про свой день рождения. Вот он удивится, когда после ужина столько народу явится к нам!

— А куда же вы фонарики‑то над лужайкой спрячете — ведь мистер Уилкс наверняка увидит их, когда придет ужинать домой? — ворчливо спросил Арчи.

Старик просидел все утро, с интересом наблюдая за приготовлениями, хотя и не признавался в этом. Он еще ни разу не видел, как в городе готовятся к большому празднику, и это было ему внове. Больно уж разбегались женщины, — не стесняясь, говорил он: суетятся, будто в доме пожар, а всего‑то навсего ждут гостей; но даже дикие кони не могли бы утащить его с места события. Особенно заинтересовали его цветные бумажные фонарики, которые собственноручно смастерили и покрасили миссис Элсинг с Фэнни: он никогда не видал «таких штуковин». Они хранились в его комнатушке в подвале, и он тщательно их обследовал.

— Бог ты мой! Я об этом и не подумала! — воскликнуло Мелани. — Арчи, как хорошо, что ты вспомнил. Ну и ну! Что же делать? Ведь их надо повесить на кусты и деревья, воткнуть в них свечечки и зажечь, когда начнут появляться гости. Скарлетт, а ты не могла бы прислать Порка, чтобы он это делал, пока мы будем ужинать?

— Мисс Уилкс, вы женщина умная — таких мало встретишь, а уж больно быстро начинаете волноваться, — сказал Арчи. — Да этому дураку Порку такие штуковины и в руки‑то давать нельзя. Он их мигом сожжет. А они... они красивенькие, — снисходительно заметил он. — Я уж сам их повешу, пока вы с мистером Уилксом кушать будете.

— Ах, Арчи, какой же ты добрый. — Мелани обратила к нему взгляд, исполненный детской благодарности и доверия. — Право, не знаю, что бы я без тебя делала. Может быть, тебе сейчас вставить в них свечи, чтобы хоть это было уже сделано?

— Что ж, можно, — сказал не очень‑то любезно Арчи и заковылял к лестнице, которая вела в подвал.

— Оказывается, есть много способов убить кошку — не обязательно закармливать ее маслом, — весело заметила Мелани, когда старик, громко стуча деревяшкой, уже спустился вниз. — Я ведь все время хотела, чтобы именно Арчи развесил фонарики, но ты знаешь, какой он. Ни за что не станет делать то, о чем его просят. Да к тому же мы хоть убрали его на время с дороги. Чернокожие так его боятся, что просто ничего не делают, пока он стоит у них над душой.

— Я бы, Мелли, ни за что не держала такого отпетого человека у себя в доме, — раздраженно заявила Скарлетт. Она ненавидела Арчи так же пылко, как он ненавидел ее, и они едва разговаривали. Только из одного дома — дома Мелани — он не уходил, когда появлялась Скарлетт. Но даже и здесь он смотрел на нее подозрительно, с холодным презрением. — Ты еще с ним не оберешься хлопот — помяни мое слово.

— Он совершенно безвредный, если его хвалить и делать вид, будто зависишь от него, — сказала Мелани. — К тому же он так предан Эшли и Бо, что мне спокойнее, когда он тут.

— Ты хочешь сказать, что он предан тебе, Мелли, — заметила Индия, и холодное лицо ее потеплело от легкой улыбки, а взгляд с любовью остановился на жене брата. — По‑моему, ты первая, кого этот старый грубиян полюбил с тех пор, как... м‑м... словом, после своей жены. Мне кажется, он бы даже хотел, чтобы кто‑то оскорбил тебя — тогда он убил бы этого человека, чтобы доказать, как он тебя высоко ставит.

— Бог ты мой! Что это ты говоришь, Индия! — воскликнула краснея Мелани. — Он считает меня страшной простофилей, и ты это знаешь.

— Ну, а я просто не понимаю, какое может иметь значение, что думает или считает этот вонючий старик, — вставила Скарлетт. Стоило ей вспомнить, как Арчи отчитывал ее за каторжников, она тут же выходила из себя. — Мне, кстати, пора идти. Еще надо распорядиться насчет ужина, потом съездить в лавку и заплатить приказчикам, а потом — на лесной склад и расплатиться с возчиками и Хью Элсингом.

— Ах, ты едешь на лесной склад? — переспросила Мелани. — Эшли собирался зайти на склад во второй половине дня, чтобы повидать Хью. Ты не могла бы задержать его там до пяти часов? Если он явится домой раньше, то, конечно, застигнет нас врасплох: мы еще наверняка будем возиться с тортом или каким‑нибудь блюдом, и тогда никакого сюрприза не получится.

Скарлетт улыбнулась про себя — у нее сразу улучшилось настроение.

— Я задержу его, — сказала она.

Еще произнося это, она почувствовала на себе пронизывающий взгляд светлых, почти лишенных ресниц, глаз Индии. «Она всегда так странно смотрит на меня, когда я говорю об Эшли», — подумала Скарлетт.

— Тогда задержи его, сколько сможешь, и после пяти, — сказала Мелани. — А Индия приедет и заберет его... Только сама приходи сегодня вечером пораньше, Скарлетт. Я хочу, чтобы ты была с самого начала торжества.

«Она, значит, хочет, — мрачно размышляла по дороге домой Скарлетт, — чтобы я была с самого начала торжества, да? Почему же она не предложила мне принимать гостей вместе с нею, Индией и тетей Питти?»

Вообще, Скарлетт вовсе не жаждала принимать гостей на жалких торжествах у Мелани. Но это было необычно большое торжество, да к тому же день рождения Эшли, и Скарлетт очень хотелось бы стоять рядом с Эшли и принимать с ним гостей. Но она понимала, почему ей этого не предложили. А если бы не понимала, то ей стало бы все ясно из достаточно откровенного высказывания Ретта на сей счет:

«Чтобы какая‑то подлипала принимала гостей — а там ведь будут все видные конфедераты и демократы?! Ваши представления о жизни столь же прелестны, сколь и нелепы. Да вас вообще пригласили туда только благодаря доброму отношению мисс Мелли».

В тот день Скарлетт одевалась для поездки в лавку и на лесной склад тщательнее обычного. Она надела новое тускло‑зеленое платье из переливчатой тафты, которая при определенном освещении казалась сиреневой, и новую бледно‑зеленую шляпку с темно‑зелеными перьями. Если бы только Ретт позволил ей сделать челку и завить ее, насколько лучше выглядела бы на ней эта шляпка! Но он заявил, что обреет ее наголо, если только она посмеет отрезать себе челку. А последнее время он был такой злющий, что и в самом деле мог это сделать.

День стоял чудесный — солнечный, но не слишком жаркий, свет был яркий, но не слепящий, и от теплого ветерка, шелестевшего листвой деревьев вдоль Персиковой улицы, танцевали перья на шляпке Скарлетт. Сердце ее тоже танцевало, как, впрочем, всегда перед встречей с Эшли. Быть может, если она расплатится пораньше с возчиками и Хью, они отправятся домой и оставят ее с Эшли наедине в маленькой квадратной конторке посреди лесного склада. Последнее время возможность увидеться с Эшли наедине появлялась все реже и реже. И подумать только, что сама Мелани предложила ей задержать его! Вот смешно‑то!

Сердце Скарлетт пело, когда она подъехала к лавке, и она расплатилась с Уиллом и другими приказчиками, даже не спросив, как шли сегодня дела. А была суббота — день, когда в лавке идет самая оживленная торговля, так как все фермеры приезжают в город за покупками, но она ни о чем не спросила.

По дороге на лесной склад она раз десять останавливалась поговорить с женами «саквояжников», разъезжавшими в роскошных экипажах, — правда, менее роскошных, чем ее собственный, не без удовольствия подумала Скарлетт, — и со многими мужчинами, которые подходили к ее коляске и, стоя в красной пыли со шляпой в руке, сыпали комплиментами. День был прелестный, она была счастлива, она хорошо выглядела и ехала по городу, как принцесса. Из‑за этих задержек в пути она приехала на склад позже, чем предполагала, и увидела, что Хью и возчики сидят на невысокой поленнице, дожидаясь ее.

— А Эшли здесь?

— Да, он в конторе, — ответил Хью, и озабоченное выражение исчезло с его лица при виде ее веселых, смеющихся глаз. — Он пытается... то есть я хочу сказать, он просматривает книги.

— А ему сегодня не следовало бы этим заниматься, — заметила она и, понизив голос, добавила: — Мелли послала меня задержать его здесь подольше, пока они там дома готовятся к торжеству.

Хью улыбнулся: он был приглашен в гости. Он любил праздники и полагал, что Скарлетт тоже любит — судя по тому, как она сегодня выглядела. Расплатившись с возчиками и с Хью, Скарлетт круто повернулась и направилась к конторе, явно давая понять, что не желает, чтоб ее сопровождали. Эшли встретил ее на пороге — он стоял, озаренный предзакатным солнцем, отчего волосы его казались светлыми‑светлыми; губы Эшли раздвинулись в улыбке, похожей на усмешку.

— Ба‑а, Скарлетт, что вы делаете в городе в такое время дня? Почему вы не у меня дома и не помогаете Мелли готовить мне сюрприз?

— Ба‑а, Эшли Уилкс! — возмущенно — воскликнула она. — Вы же не должны знать об этом. Мелли будет так разочарована, если вы не удивитесь.

— О, я и виду не подам, что знаю. Буду удивлен больше всех в Атланте, — сказал Эшли, и глаза его смеялись.

— А теперь признайтесь, у кого хватило низости все вам рассказать?

— Так поступили почти все мужчины, которых пригласила Мелли. Первым был генерал Гордон. Он сказал, что на своем опыте знает: если женщины решают устроить сюрпризом торжество, они обычно назначают его на тот самый вечер, когда мужчина решил почистить и смазать все ружья в доме. А потом дедушка Мерриуэзер решил меня предупредить. Рассказал мне, как миссис Мерриуэзер надумала устроить ему однажды сюрпризом торжество, а сюрприз‑то ждал ее, потому что дедушка, лечивший втихомолку ревматизм с помощью бутылочки виски, оказался слишком пьян и к началу торжества не мог вылезти из постели... Словом, все, кому домашние устраивали сюрпризом торжества, сказали, что меня ждет.

— Вот низкие люди! — воскликнула Скарлетт, не в силах, однако, сдержать улыбку.

Он был совсем прежним Эшли, когда улыбался, — таким, каким она знала его в Двенадцати Дубах. Но он теперь редко улыбался. Воздух был такой бархатный, солнце светило так мягко, у Эшли было такое веселое лицо, и он говорил так непринужденно, что сердце Скарлетт подпрыгнуло от радости. В груди ее что‑то росло, росло, ей скоро стало больно от счастья — больно, как бывает от непролившихся горячих радостных слез. Она вдруг почувствовала себя снова шестнадцатилетней, и дух у нее перехватило от счастья и волнения. Ей неудержимо захотелось сорвать с головы шляпку, подкинуть в воздух и крикнуть: «Ур‑ра!» Но она представила себе, как ошарашен будет Эшли, если она такое вытворит, и рассмеялась — рассмеялась безудержно, до слез. Он тоже рассмеялся, откинув голову, наслаждаясь смехом: он, видимо, считал, что она потешается над дружеским предательством мужчин, выдавших секрет Мелли.

— Заходите, Скарлетт. Я как раз просматриваю книги.

Она вошла в маленькую комнатку, залитую солнцем, и опустилась на стул у бюро с убирающейся крышкой. Эшли вошел следом за ней и присел на край грубо отесанного стола, свесив длинные ноги.

— Ах, давайте не будем сегодня, Эшли, возиться с бухгалтерией! Не хочу я утруждать себя. Когда я надеваю новую шляпку, у меня все цифры вылетают из головы.

— Какие там могут быть цифры, когда такая красивая шляпка на голове, — заметил он. — Скарлетт, вы с каждым днем становитесь все красивее! — Он соскользнул со стола и, взяв с улыбкой ее руки, развел их, чтобы рассмотреть платье. — Вы такая красивая! И ничуть не меняетесь!

А Скарлетт, когда он взял ее за руки, поняла, что все время надеялась, — хотя и не отдавала себе в этом отчета, — что это произойдет. Весь этот счастливый день она надеялась почувствовать тепло его рук, увидеть нежность в глазах, услышать пусть слово, которое открыло бы ей, что она ему дорога. Сейчас они впервые были одни с того холодного дня, когда стояли во фруктовом саду Тары, и руки их впервые встретились не в обычном формальном пожатии, — она уже столько месяцев жадно ждала такой встречи с ним. Однако на сей раз...

Как ни странно, но его прикосновение нисколько не взволновало ее! Раньше одна близость Эшли уже вызывала в ней дрожь. А сейчас она чувствовала лишь дружеское тепло и ублаготворенность. От прикосновения его рук ее не опалило огнем, и сердце билось тихо и ровно. Это удивило Скарлетт, даже несколько разочаровало. Ведь это же ее Эшли, ее яркий, сверкающий герой, и она любит его больше жизни. Тогда почему же...

Она поспешила выкинуть эту мысль из головы. Достаточно того, что она с ним и что он держит ее руки и улыбается ей по‑дружески, непринужденно, без напряжения. Это просто какое‑то чудо, думала она: ведь между ними столько невысказанного. Его глаза, ясные и сияющие, смотрели в ее глаза, он улыбался как прежде, — а она так любила его улыбку, — улыбался, словно ничто никогда не омрачало их счастья. Между ними сейчас ничего не стояло, ничто их друг от друга не отбрасывало. Она рассмеялась.

— Ах, Эшли, конечно же, я старею, скоро стану совсем развалиной.

— Ну, это сразу видно! Нет, Скарлетт, даже когда вам исполнится шестьдесят, вы для меня останетесь прежней. Я всегда буду помнить вас такой, какой увидел в тот день на нашем последнем пикнике, когда вы сидели под дубом в окружении десятка юнцов. Я даже могу сказать вам, как вы были одеты: на вас было белое платье в мелкий зеленый цветочек и белая кружевная косынка на плечах. На ногах у вас были крошечные зеленые туфельки с черной шнуровкой, а на голове — огромная шляпа с ниспадавшими на спину длинными зелеными лентами. Я этот ваш туалет запомнил во всех подробностях, потому что в тюрьме, когда мне было худо, я извлекал из памяти картины прошлого и перебирал их, припоминая каждую мелочь... — Эшли внезапно умолк, и возбужденное выражение исчезло с его лица. Он осторожно выпустил ее руки, а она сидела и ждала, ждала, что он скажет дальше. — Мы с вами оба проделали с того дня длинный путь, верно, Скарлетт? Мы шли дорогами, которыми никогда не предполагали идти. Вы шли быстро, прямо, а я — медленно, нехотя. — Он снова присел на стол и посмотрел на Скарлетт, и снова на лице его появилась улыбка. Но это была не та улыбка, которая только что наполнила ее сердце счастьем. Улыбка была печальная. — Да, вы шли быстро и тянули еще меня, привязав к своей колеснице. Знаете, Скарлетт, я иногда смотрю на себя со стороны и думаю: что было бы со мной, если б не вы?

Скарлетт тотчас ринулась защищать Эшли от него самого — тем более что в ее мозгу предательски возникли слова Ретта.

— Но я же ничего для вас не сделала, Эшли. Вы и без меня были бы тем, что вы есть. В один прекрасный день вы стали бы богатым человеком, большим человеком, каким вы и станете.

— Нет, Скарлетт, семена величия никогда не сидели во мне. Я думаю, если бы не вы, все уже давно бы обо мне забыли — как о бедной Кэтлин Калверт и о многих других, чьи имена, старинные имена, когда‑то гремели.

— Ах, Эшли, не надо так говорить. В ваших словах столько грусти.

— Да нет, я не грущу. Больше не грущу. Когда‑то... когда‑то мне было грустно. А сейчас всего лишь...

Он умолк, и внезапно она поняла, о чем он думает. Она впервые поняла, о чем думает Эшли, заметив, как его взгляд устремился куда‑то вдаль и глаза стали кристально прозрачными, отсутствующими. Когда любовь бушевала в ее сердце, она не способна была его понять. Сейчас же в атмосфере установившейся между ними спокойной дружбы она сумела чуть‑чуть проникнуть в его мысли, чуть‑чуть его понять. Нет, ему больше не грустно. Ему было грустно после падения Юга, грустно, когда она упрашивала его переехать в Атланту. Сейчас же он смирился.

— Не хочется мне слушать, когда вы говорите такое, Эшли, — вспылила она. — Совсем как Ретт. Он вот вечно твердит о таких же вещах да о выживании сильных, как он это называет, и мне до того надоело слушать, что просто кричать хочется, когда он заводит свою музыку.

Эшли усмехнулся.

— А вы никогда не задумывались, Скарлетт, что я и Ретт в чем‑то главном очень схожи?

— Ах, нет! Вы — такой тонкий, такой благородный, а он... — И она умолкла, смутившись.

— А ведь мы похожи. Мы произошли от людей одной породы, воспитывались по одинаковому образцу, были приучены одинаково думать. Но где‑то по дороге повернули в разные стороны. Мы по‑прежнему думаем одинаково, а воспринимаем вещи по‑разному. К примеру, ни один из нас не верил в войну, но я пошел добровольцем и сражался, а он принял участие в войне лишь к самому концу. Мы оба понимали, что не надо было начинать эту войну. Мы оба понимали, что проиграем ее. Я готов был сражаться, зная, что мы проиграем. А он — нет. Иной раз я думаю, что он был прав, и тогда опять‑таки...

— Ах, Эшли, когда вы перестанете поворачивать любой вопрос и так и эдак? — воскликнула она. Но в голосе ее уже не звучало, как прежде, нетерпение. — Ничего это не даст — смотреть на дело с двух сторон.

— Это верно, но... Скарлетт, чего вы все‑таки добиваетесь? Я часто удивляюсь вам. Понимаете, я, к примеру, никогда ничего не добивался. Единственное, чего мне хотелось, — это остаться самим собой.

Чего она добивается? Какой глупый вопрос. Денег и уверенности в завтрашнем дне, конечно. И однако же... Скарлетт почувствовала, что стала в тупик. Ведь у нее же есть деньги, и она уверена в завтрашнем дне, насколько можно быть в чем‑то уверенной в этом ненадежном мире. Но вот сейчас, думая об этом, она почувствовала, что не стала счастливее, хотя, конечно, жилось ей спокойнее, она меньше боялась завтрашнего дня. «Если бы у меня были деньги, уверенность в завтрашнем дне и вы, — я считала бы, что добилась всего», — подумала она, с любовью глядя на него. Но она не произнесла этих слов, боясь нарушить то, что возникло между ними, боясь, что снова перестанет понимать его.

— Вам хочется всего лишь остаться самим собой? — немного печально рассмеялась она. — Моей большой бедой было то, что я никогда не была сама собою! А чего я хочу добиться — что ж, по‑моему, я этого уже добилась. Мне хотелось быть богатой, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и...

— Но, Скарлетт, неужели вам никогда не приходило в голову, что мне безразлично, богат я или нет?

Нет, ей никогда не приходило в голову, что есть люди, которые не хотят быть богатыми.

— Тогда чего же вы хотите?

— Сейчас — не знаю. Когда‑то знал, но уже почти забыл. Главным образом — чтобы меня оставили в покое, чтобы меня не донимали люди, которых я не люблю, чтобы меня не заставляли делать то, чего мне не хочется. Пожалуй... мне хотелось бы, чтобы вернулись былые дни, а они никогда не вернутся, меня же все время преследуют воспоминания о них и о том, как вокруг меня рухнул мир.

Скарлетт с решительным видом сжала губы. Она прекрасно понимала, о чем он говорил. Само звучание его голоса вызывало к жизни те далекие времена, рождало ноющую боль в сердце. Но с того дня, когда она в отчаянии кинулась на землю в огороде в Двенадцати Дубах и сказала себе: «Я не буду оглядываться назад», она запретила себе думать о прошлом.

— А мне больше нравится сегодняшняя жизнь, — сказала Скарлетт. Но произнесла она это, не глядя на Эшли. — Сейчас столько всего интересного — приемы, разные торжества. Все так пышно. А раньше было так уныло. — (О, эти лениво‑неспешные дни и тихие теплые сельские сумерки! Приглушенный женский смех в службах! Какой золотисто‑теплой была тогда жизнь, как грела спокойная уверенность, что и завтра будет так же! Да разве можно все это зачеркнуть?) — Мне, право, больше нравится сегодняшняя жизнь, — повторила она, но голос ее при этом дрогнул.

Эшли соскользнул со стола и недоверчиво рассмеялся. Взяв Скарлетт за подбородок, он приподнял ее лицо.

— Ах, Скарлетт, как же вы не умеете лгать! Да, конечно, жизнь стала теперь более пышной — в определенном смысле. В том‑то вся и беда. В прошлом не было пышности, но дни тогда были окрашены очарованием, они имели свою прелесть, свою медлительную красоту.

Раздираемая противоречивыми чувствами, она опустила глаза. Звук его голоса, прикосновение его руки мягко открывали двери, которые она для себя навсегда заперла. За этими дверями лежала красота былых дней, и грусть и тоска по ним наполнили ее душу. Но Скарлетт знала, что сколько бы красоты ни таилось в прошлом, она в прошлом и должна остаться. Человек не может двигаться вперед, если душу его разъедает боль воспоминаний.

Эшли выпустил ее подбородок, взял ее руки в свои ладони и нежно сжал.

— Помните... — сказал он, и в ее мозгу тотчас предупреждающе зазвенело: «Не оглядывайся назад! Не оглядывайся!»

Но она не обратила на это внимания, увлекаемая волной счастья. Наконец‑то она понимала его, наконец‑то они одинаково мыслили. Это мгновение было слишком бесценно — нельзя его потерять, какую бы оно ни повлекло за собой боль.

— Помните... — повторил он, и от звука его голоса, словно по волшебству, рухнули голые стены конторы и все эти годы куда‑то ушли, и они, Скарлетт и Эшли, снова ехали верхом по сельским проселкам той далекой, давно минувшей весной. Он все говорил и крепче сжимал ее руку, и в голосе его звучала грусть и колдовские чары старых, полузабытых песен. Скарлетт слышала веселое позвякивание уздечки, когда они ехали под кизиловыми деревьями на пикник к Тарлтонам, слышала свой беззаботный смех, видела, как солнце блестит на золотистых, отливающих серебром волосах Эшли, любовалась горделивой грацией, с какой он сидит в седле. В голосе его звучала музыка — музыка скрипок и банджо; под эти звуки они танцевали тогда в белом доме, которого больше нет. Где‑то вдали, в темных болотах, кричали опоссумы под холодной осенней луной, а на рождество от чаш, увитых остролистом, пахло ромовым пуншем и кругом сияли улыбками лица черных слуг и белых господ. И друзья былых дней, смеясь, вдруг собрались вокруг, словно и не лежали в могилах уже многие годы: длинноногие рыжеволосые Стюарт и Брент с их вечными остротами; Том и Бойд, похожие на молодых, необузданных коней; черноглазый пылкий Джо Фонтейн, Кэйд и Рейфорд Калверты, двигавшиеся с такой ленивой грацией. Были тут и Джон Уилкс, и Джералд, раскрасневшийся от коньяка; и шорох юбок и аромат Эллин. И над всем этим царило чувство уверенности, сознание, что завтрашний день может быть лишь таким же счастливым, как сегодняшний.

Эшли умолк, и они долго смотрели друг другу в глаза, и между ними лежала навсегда утраченная золотая юность, которую они в свое время так бездумно провели.

«Теперь я знаю, почему ты не можешь быть счастливым, — с грустью подумала она. — Раньше я этого не понимала. Не понимала я раньше и того, почему сама не могу быть счастлива. Но... впрочем, почему это мы говорим, будто два старика! — подумала она с тоской и удивлением. — Два старика, которые оглядываются на то, что было пятьдесят лет назад. А мы не такие уж старые! Просто столько всего произошло за это время. Все так изменилось, точно пролетело пятьдесят лет. Но мы же не такие ведь старые!»

Однако, взглянув на Эшли, она поняла, что он уже не тот молодой и блестящий юноша, каким был когда‑то. Он стоял, нагнув голову, и отсутствующим взглядом смотрел на ее руку, которую продолжал держать в ладонях, и Скарлетт увидела, что его некогда золотистые волосы стали серыми, серебристо‑серыми, как лунный свет на недвижной воде. И все сиянье, вся красота апрельского дня вдруг исчезли — она перестала их ощущать, — и грустная сладость воспоминаний опалила горечью.

«Не надо было мне поддаваться ему — дать увлечь меня в прошлое, — в отчаянии подумала она. — Я была права, сказав тогда, что никогда не буду оглядываться. Слишком это больно, слишком терзает сердце, так что потом ты уже ни на что не способен — все и будешь смотреть назад. Вот в чем беда Эшли. Он не может больше смотреть вперед. Он не видит настоящего, он боится будущего и потому все время оглядывается назад. Я прежде этого не понимала. Я не понимала Эшли. Ах, Эшли, дорогой мой, не надо оглядываться назад! Какой от этого прок? Не следовало мне допускать этого разговора о прошлом. Вот что получается, когда оглядываешься назад — на то время, когда ты был счастлив, — одна боль, душевная мука и досада».

Она поднялась, не отнимая у него руки. Надо ехать. Не может она больше здесь оставаться, думать о былом и видеть его лицо, усталое, грустное и такое замкнутое.

— Мы прошли длинный путь с той поры, Эшли, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал твердо, и пытаясь проглотить стоявший в горле комок. — Прекрасные у нас тогда были представления обо всем, верно? — И вдруг у нее вырвалось: — Ах, Эшли, все получилось совсем не так, как мы ждали.

— Так было и будет, — сказал он. — Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждем. Надо брать то, что она дает, и быть благодарным уже за то, что это так, а не хуже.

Сердце у Скарлетт вдруг заныло от боли и усталости, когда она подумала о том, какой длинный путь прошла с тех пор. В памяти ее возник образ Скарлетт О’Хара, которая любила ухажеров и красивые платья и намеревалась когда‑нибудь — когда будет время — стать такой же настоящей леди, как Эллин.

Слезы вдруг навернулись ей на глаза и медленно покатились по щекам — она стояла и смотрела на Эшли тупо, как растерявшийся ребенок, которому ни с того ни с сего причинили боль. Эшли не произнес ни слова — только нежно обнял Скарлетт, прижал ее голову к своему плечу и, пригнувшись, коснулся щекою ее щеки. Она вся обмякла и обхватила Эшли руками. В его объятиях было так покойно, что неожиданно набежавшие слезы сразу высохли. Ах, как хорошо, когда тебя вот так обнимают — без страсти, без напряжения, словно любимого друга. Только Эшли, которого роднили с ней воспоминания юности, который знал, с чего она начинала и к чему пришла, мог ее понять.

Она услышала на улице шаги, но не придала этому значения, решив, что, должно быть, возчики расходятся по домам. Она стояла, застыв, и слушала, как медленно бьется сердце Эшли. Внезапно он резко оттолкнул ее, так что она не сразу пришла в себя от неожиданности. Она в изумлении подняла на него глаза, но он смотрел не на нее. Он смотрел поверх ее плеча на дверь.

Она обернулась. В дверях стояла Индия, смертельно бледная, с горящими, белыми от ярости глазами, а рядом Арчи, ехидный, как одноглазый попугай. Позади них стояла миссис Элсинг.

Она не помнила, как вышла из конторы. Но вышла она стремительно, тотчас же — по приказанию Эшли; Эшли и Арчи остались в конторе, а Индия с миссис Элсинг стояли на улице, повернувшись к Скарлетт спиной. Скарлетт помчалась домой, подгоняемая стыдом и страхом, и перед ее мысленным взором возник Арчи — Арчи со своей бородой патриарха, превратившийся в ангела‑мстителя из Ветхого завета.

Дом стоял пустой и тихий в лучах апрельского заката. Все слуги отправились на чьи‑то похороны, а дети играли на заднем дворе у Мелани. Мелани...

Мелани! Поднимаясь к себе в комнату, Скарлетт похолодела при мысли о ней. Мелани обо всем узнает. Индия ведь говорила, что скажет ей. О, Индия с наслаждением ей все расскажет, не заботясь о том, что может очернить имя Эшли, не заботясь о том, что может ранить Мелани, — лишь бы уязвить Скарлетт! Да и миссис Элсинг не заставишь молчать, хотя на самом деле она ничего не видела, потому что стояла позади Индии и Арчи, за порогом конторы. Но болтать языком она будет все равно. К ужину сплетня облетит город. А наутро к завтраку уже все будут об этом знать, даже негры. Сегодня вечером на торжестве женщины будут собираться группками в уголках и со злорадным удовольствием перешептываться: Скарлетт Батлер слетела со своего высокого пьедестала! И сплетня будет расти, расти. Ничем ее не остановишь. Не остановишь, даже если рассказать, как все было на самом деле, а ведь Эшли обнял ее только потому, что она заплакала. Еще до наступления ночи люди станут говорить, что ее застигли в чужой постели. А ведь все было так невинно, так хорошо! Вне себя от досады Скарлетт думала: «Если бы нас застигли в то Рождество, когда он приезжал на побывку из армии и я целовала его на прощанье... если бы нас застигли в саду Тары, когда я умоляла его бежать со мной... ох, если бы нас застигли в любое другое время, когда мы были в самом деле виноваты, это не было бы так обидно! Но сейчас! Сейчас! Когда он держал меня в объятиях, как друг...»

Но ведь никто этому не поверит. Никто из друзей не станет на ее сторону, никто не возвысит голос и не скажет: «Не верю, что она вела себя дурно». Слишком долго она оскорбляла старых друзей, чтобы среди них нашелся теперь человек, который стал бы за нее сражаться. А новые друзья, молча переносившие ее выходки, будут рады случаю пошантажировать ее. Нет, все поверят любой сплетне, хотя, возможно, многие и будут жалеть, что такой прекрасный человек, как Эшли Уилкс, замешан в столь грязной истории. По обыкновению, всю вину свалят на женщину, а по поводу мужчины лишь пожмут плечами. И в данном случае они будут правы. Ведь это она кинулась к нему в объятия.

О, она все вытерпит: уколы, оскорбления, улыбки исподтишка, все, что может сказать о ней город, — но только не Мелани! Ох, нет, только не Мелани! Она сама не понимала, почему ей так важно, чтобы не узнала Мелани. Слишком она была испугана и подавлена сознанием вины за прошлое, чтобы пытаться это понять. Тем не менее она залилась слезами при одной мысли о том, какое выражение появится в глазах Мелани, когда Индия скажет ей, что застала Скарлетт в объятиях Эшли. И как поведет себя Мелани, когда узнает? Бросит Эшли? А что еще ей останется делать, если она не захочет потерять достоинство? «И что тогда будем делать мы с Эшли? — Мысли бешено крутились в голове Скарлетт, слезы текли по лицу. — О, Эшли просто умрет со стыда и возненавидит меня за то, что я навлекла на него такое». Внезапно слезы ее иссякли, смертельный страх сковал сердце. А Ретт? Как поступит он?

Быть может, он никогда об этом и не узнает. Как это говорится в старой циничной поговорке? «Муж всегда узнает все последним». Быть может, никто ему не расскажет. Надо быть большим храбрецом, чтобы рассказать такое Ретту, ибо у Ретта репутация человека, который сначала стреляет, а потом задает вопрос. «Господи, смилуйся, сделай так, чтобы ни у кого не хватило мужества сказать ему!» Но тут она вспомнила лицо Арчи в конторе лесного склада, его холодные, светлые, безжалостные глаза, полные ненависти к ней и ко всем женщинам на свете. Арчи не боится ни бога, ни человека и ненавидит беспутных женщин. Так люто ненавидит, что одну даже убил. И он ведь говорил, что расскажет все Ретту. И расскажет, сколько бы ни пытался Эшли его разубедить. Разве что Эшли убьет его — в противном случае Арчи все расскажет Ретту, считая это своим долгом христианина.

Скарлетт стянула с себя платье и легла в постель — мысли ее кружились, кружились. Если бы только она могла запереть дверь и просидеть всю жизнь здесь, в безопасности, и никогда больше никого не видеть. Быть может, Ретт сегодня еще ничего не узнает. Она скажет, что у нее болит голова и что ей не хочется идти на прием. А к утру она, быть может, придумает какое‑то объяснение, хоть что‑то в свою защиту, подо что не подкопаешься.

«Сейчас я об этом не буду думать, — в отчаянии сказала она себе, зарываясь лицом в подушку. — Сейчас я об этом не буду думать. Подумаю потом, когда соберусь с силами».

Она услышала, как с наступлением сумерек вернулись слуги, и ей показалось, что они как‑то особенно тихо готовят ужин. Или, быть может, так ей казалось из‑за нечистой совести? К двери подошла Мамушка и постучала, но Скарлетт отослала ее прочь, сказав, что не хочет ужинать. Время шло, и наконец на лестнице раздались шаги Ретта. Она вся напряглась, когда он поднялся на верхнюю площадку, и, готовясь к встрече с ним, призвала на помощь все свои силы, но он прошел прямиком к себе в комнату. Скарлетт облегченно вздохнула. Значит, он ничего не слышал. Слава богу, он пока еще считается с ледяным требованием никогда не переступать порога ее спальни, ибо если бы он увидел ее сейчас, то сразу бы все понял. Она должна взять себя в руки и сказать ему, что плохо себя чувствует и не в состоянии пойти на прием. Что ж, у нее есть время успокоиться. Впрочем, есть ли? С той страшной минуты время как бы перестало существовать в ее жизни. Она слышала, как Ретт долго ходил по своей комнате, слышала, как он обменивался какими‑то фразами с Порком. Но она все не могла найти в себе мужества окликнуть его. Она лежала неподвижно на постели в темноте и дрожала.

Прошло много времени; наконец он постучал к ней в дверь, и она сказала, стараясь голосом не выдать волнения:

— Войдите.

— Неужели меня приглашают в святилище? — спросил он, открывая дверь. Было темно, и Скарлетт не могла видеть его лицо. Не могла она ничего понять и по его тону. Он вошел и закрыл за собой дверь. — Вы готовы идти на прием?

— Мне очень жаль, но у меня болит голова. — Как странно, что голос у нее звучит вполне естественно! Благодарение богу, в комнате темно! — Не думаю, чтобы я смогла пойти. А вы, Ретт, идите и передайте Мелани мои сожаления.

Долго длилось молчание, наконец в темноте протяжно прозвучали язвительные слова:

— Какая же вы малодушная трусливая сучка.

Он знает! Скарлетт лежала и тряслась, не в силах произнести ни слова. Она услышала, как он что‑то ищет в темноте, чиркнула спичка, и комната озарилась светом. Ретт подошел к кровати и посмотрел на нее. Она увидела, что он во фраке.

— Вставайте, — сказал он ровным голосом. — Мы идем на прием. И извольте поторопиться.

— Ох, Ретт, я не могу. Видите ли...

— Я все вижу. Вставайте.

— Ретт, неужели Арчи посмел...

— Арчи посмел. Он очень храбрый человек, этот Арчи.

— Вам следовало пристрелить его, чтоб он не врал...

— Такая уж у меня странная привычка: я не убиваю тех, кто говорит правду. Сейчас не время для препирательств. Вставайте.

Она села, стянув на груди халат, внимательно глядя ему в лицо. Смуглое лицо Ретта было, бесстрастно.

— Я не пойду, Ретт. Я не могу, пока... пока это недоразумение не прояснится.

— Если вы не покажетесь сегодня вечером, то вы уже до конца дней своих никогда и нигде не сможете в этом городе показаться. И если я еще готов терпеть то, что у меня жена — проститутка, трусихи я не потерплю. Вы пойдете сегодня на прием, даже если все, начиная с Алекса Стефенса и кончая последним гостем, будут оскорблять вас, а миссис Уилкс потребует, чтобы мы покинули ее дом.

— Ретт, позвольте я все вам объясню.

— Я не желаю ничего слышать. И времени нет. Одевайтесь.

— Они неверно поняли — и Индия, и миссис Элсинг, и Арчи. И потом, они все меня так ненавидят. Индия до того ненавидит меня, что готова наговорить на собственного брата, лишь бы выставить меня в дурном свете. Если бы вы только позволили мне объяснить...

«О, мать пресвятая богородица, — в отчаянии подумала она, — а что, если он скажет: «Пожалуйста, объясните!» Что я буду говорить? Как я это объясню?»

— Они, должно быть, всем наговорили кучу лжи. Не могу я идти сегодня.

— Пойдете, — сказал он. — Вы пойдете, даже если мне придется тащить вас за шею и при каждом шаге сапогом подталкивать под ваш прелестный зад.

Глаза его холодно блестели. Рывком поставив Скарлетт на ноги, он взял корсет и швырнул ей его.

— Надевайте. Я сам вас затяну. О да, я прекрасно знаю, как затягивают. Нет, я не стану звать на помощь Мамушку, а то вы еще запрете дверь и сядете тут, как последняя трусиха.

— Я не трусиха! — воскликнула она, от обиды забывая о своем страхе.

— О, избавьте меня от необходимости слушать вашу сагу о том, как вы пристрелили янки и выстояли перед всей армией Шермана. Все равно вы трусиха. Так вот: если не ради себя самой, то ради Бонни вы пойдете сегодня на прием. Да как вы можете так портить ее будущее?! Надевайте корсет, и быстро.

Она поспешно сбросила с себя халат и осталась в одной ночной рубашке. Если бы он только взглянул на нее и увидел, какая она хорошенькая в своей рубашке, быть может, это страшное выражение исчезло бы с его лица. Ведь в конце концов он не видел ее в ночной рубашке так давно, бесконечно давно. Но он не смотрел на нее. Он стоял лицом к шкафу и быстро перебирал ее платья. Пошарив немного, он вытащил ее новое, нефритово‑зеленое муаровое платье. Оно было низко вырезано на груди; обтягивающая живот юбка лежала на турнюре пышными складками, и на складках красовался большой букет бархатных роз.

— Наденьте вот это, — сказал он, бросив платье на постель и направляясь к ней. — Сегодня никаких скромных, приличествующих замужней даме серо‑сиреневых тонов. Придется прибить флаг гвоздями к мачте, иначе вы его живо спустите. И побольше румян. Уверен, что та женщина, которую фарисеи застигли, когда она изменяла мужу, была далеко не такой бледной. Повернитесь‑ка.

Он взялся обеими руками за тесемки ее корсета и так их дернул, что она закричала, испуганная, приниженная, смущенная столь непривычной ситуацией.

— Больно, да? — Он отрывисто рассмеялся, но она не видела его лица. — Жаль, что эта тесемка не на вашей шее.

Все комнаты в доме Мелани были ярко освещены, и звуки музыки разносились далеко по улице. Когда коляска, в которой ехали Скарлетт и Ретт, остановилась у крыльца, до них долетел многоголосый шум и приятно возбуждающий гомон пирующих людей. В доме было полно гостей. Многие вышли на веранды, другие сидели на скамьях в окутанном сумерками, увешанном фонариками саду.

«Не могу я туда войти... Не могу, — подумала Скарлетт, сидя в коляске, комкая в руке носовой платок. — Не могу. Не пойду. Выскочу сейчас и убегу куда глаза глядят, назад домой, в Тару. Зачем Ретт заставил меня приехать сюда? Как поведут себя люди? Как поведет себя Мелани? Какой у нее будет вид? Ох, не могу я показаться ей на глаза. Я сейчас сбегу».

Словно прочитав ее мысли, Ретт с такою силой схватил ее за руку, что наверняка потом будет синяк, — схватил грубо, как чужой человек.

— Никогда еще не встречал трусов среди ирландцев. Где же ваша знаменитая храбрость?

— Ретт, пожалуйста, отпустите меня домой, я все вам объясню.

— У вас будет целая вечность для объяснений, но всего одна ночь, чтобы выступить как мученица на арене. Вылезайте, моя дорогая, и я посмотрю, как набросятся на вас львы. Вылезайте же.

Она не помнила, как прошла по аллее, опираясь на руку Ретта, крепкую и твердую, как гранит, — рука эта придавала ей храбрости. Честное слово, она может предстать перед ними всеми и предстанет. Ну, что они такое — свора мяукающих, царапающихся кошек, завидующих ей! Она им всем покажет. Плевать, что они о ней думают. Вот только Мелани... только Мелани.

Они поднялись на крыльцо, и Ретт, держа в руке шляпу, уже раскланивался направо и налево, голос его звучал мягко, спокойно. Когда они вошли, музыка как раз умолкла, и в смятенном сознании Скарлетт гул толпы вдруг возрос, обрушился на нее словно грохот прибоя и отступил, замирая, все дальше и дальше. Неужели сейчас все набросятся на нее? Ну, чтоб вам пропасть — попробуйте! Она вздернула подбородок, изобразила улыбку, прищурила глаза.

Но не успела она повернуться к тем, кто стоял у двери, и сказать хоть слово, как почувствовала, что толпа раздается, пропуская кого‑то. Наступила странная тишина, и сердце у Скарлетт остановилось. Она увидела Мелани — маленькие ножки быстро‑быстро шагали по проходу: она спешила встретить Скарлетт у двери, первой приветствовать ее. Мелани шагала, распрямив узенькие плечики, чуть выдвинув вперед подбородок и всем своим видом показывая возмущение, — точно для нее существовала одна Скарлетт, а других гостей вовсе не было. Она подошла к Скарлетт и обняла ее за талию.

— Какое прелестное платье, дорогая, — сказала она звонким, тоненьким голоском. — Будь ангелом! Индия не смогла прийти, чтобы помочь мне. Ты не согласилась бы принимать со мной гостей?

### Глава LIV

Снова очутившись в безопасности и уединении своей комнаты, Скарлетт бросилась на постель как была — в муаровом платье, не заботясь о его турнюре и розах. Какое‑то время она лежала неподвижно, не в силах думать ни о чем, кроме того, как она стояла между Мелани и Эшли и принимала гостей. Какой ужас! Да она готова скорее встретиться лицом к лицу со всей армией Шермана, чем повторить такое! Наконец она поднялась и нервно зашагала по комнате, сбрасывая с себя на ходу одежду.

После напряжения наступила реакция, и ее затрясло. Шпильки вываливались у нее из пальцев и со звоном падали на пол, а когда она попыталась по обыкновению расчесать волосы, то больно ударила себя щеткой по виску. Раз десять она подходила на цыпочках к двери, чтобы послушать, что происходит внизу, но в холле, точно в бездонном колодце, царила тишина.

Когда праздник окончился, Ретт отослал ее домой в коляске, и она благодарила бога за эту передышку. Сам Ретт еще не вернулся. Слава богу, еще нет. Она просто не в силах предстать перед ним сегодня — опозоренная, испуганная, трясущаяся. Но где все‑таки он? Скорее всего, у этой твари. Впервые Скарлетт была рада, что на свете существует Красотка Уотлинг, была рада, что, кроме этого дома, у Ретта есть другое прибежище, где он может побыть, пока у него не пройдет этот приступ холодной светскости, граничащей с жестокостью. Плохо, конечно, радоваться тому, что твой муж находится у проститутки, но она ничего не могла с собой поделать. Она бы предпочла видеть его мертвым, лишь бы это избавило ее от сегодняшней встречи с ним.

Завтра — ну, завтра это уже другое дело. Завтра она сможет придумать какое‑то оправдание, какие‑то ответные обвинения, какой‑то способ свалить на него всю вину. Завтра воспоминания об этом жутком вечере уже не будут вызывать у нее такой дрожи. Завтра ее уже не будет преследовать лицо Эшли, воспоминание о его сломленной гордости и позоре — позоре, который навлекла на него она, тогда как он был ни в чем не повинен. Неужели он теперь возненавидит ее — он, ее дорогой благородный Эшли, — за то, что она опозорила его? Конечно, возненавидит — тем более, что спасла их Мелани своими возмущенно распрямленными плечиками, любовью и доверием, какие звучали в ее голосе, когда она, скользнув к Скарлетт по натертому полу, обняла ее и стала с ней рядом, лицом к любопытно‑ехидной, скрыто враждебной толпе. Как она точно заклеила прорезь, сквозь которую мог ворваться скандал, продержав возле себя Скарлетт весь этот страшный вечер. Люди были холодны с ней, несколько ошарашены, но — вежливы.

Ах, как это унизительно — спасаться за юбками Мелани от тех, кто так ненавидит ее, кто разорвал бы ее на куски своим перешептыванием! Спасаться с помощью слепой веры Мелани — именно Мелани!

При мысли об этом по телу Скарлетт пробежал озноб. Она должна выпить, выпить как следует, прежде чем сможет лечь и попытается уснуть. Она накинула поверх капота на плечи шаль и поспешила вниз, в темный холл, — ее ночные туфли без пяток громко хлопали в тишине. Она была уже на середине лестницы, когда увидела тоненькую полоску света, пробивавшуюся из‑под закрытой двери в столовую. Сердце у нее на секунду перестало биться. Свет уже горел там, когда она вернулась домой, а она была слишком расстроена и не заметила? Или же Ретт все‑таки дома? Он ведь мог войти потихоньку, через кухонную дверь. Если Ретт дома, она тотчас же на цыпочках вернется к себе и ляжет в постель без коньяка, хоть ей и очень нужно было бы выпить. Тогда ей не придется встречаться с Реттом. У себя в комнате она будет в безопасности: можно ведь запереть дверь.

Но только она нагнулась, чтобы снять ночные туфли и тихонько вернуться назад, как дверь в столовую распахнулась и при неверном свете свечи в проеме возник силуэт Ретта. Он казался огромным, необычайно широкоплечим — жуткая черная безликая фигура, которая стояла и слегка покачивалась.

— Прошу вас, составьте мне компанию, миссис Батлер, — сказал он, и голос его звучал чуть хрипло.

Он был пьян, и это бросалось в глаза, а она никогда еще не видела, чтобы Ретт был так пьян, что это бросалось в глаза. Она в нерешительности медлила, и, поскольку не говорила ни «да», ни «нет», он повелительно взмахнул рукой.

— Да идите же сюда, черт бы вас побрал! — грубо рявкнул он.

«Должно быть, он очень пьян», — подумала она, и сердце ее отчаянно заколотилось. Обычно чем больше он пил, тем вежливее становился. Чаще язвил, больнее жалил словами, но держался при этом всегда церемонно — подчеркнуто церемонно.

«Я не должна показывать ему, что боюсь», — подумала она и, плотнее закутавшись в шаль, пошла вниз по лестнице, высоко подняв голову, громко стуча каблуками.

Он отступил в сторону и с поклоном пропустил ее в дверь, — в этом поклоне была такая издевка, что она внутренне содрогнулась. Она увидела, что он снял фрак и развязал галстук — концы его болтались по обеим сторонам распахнутого воротничка. Из‑под расстегнутой на груди рубашки торчала густая черная шерсть. Волосы у него были взъерошены, налитые кровью глаза прищурены. На столе горела свеча — маленькая точка света, громоздившая тени в высокой комнате, превращая массивные шкафы и буфет в застывшие, притаившиеся чудовища. На столе стоял серебряный поднос; на нем — хрустальный графин с лежавшей рядом пробкой и рюмки.

— Садитесь, — отрывисто приказал Ретт, проходя следом за ней в комнату.

Новый, неведомый дотоле страх овладел Скарлетт, — страх, по сравнению с которым боязнь встретиться с Реттом лицом к лицу казалась ерундой. Он выглядел, и говорил, и вел себя сейчас, как чужой человек. Перед ней был Ретт‑грубиян — таким она прежде никогда его не видела. Никогда, даже в самые интимные минуты, он не был таким — в худшем случае проявлял к ней небрежение. Даже в гневе он был мягок и ехиден, а виски обычно лишь обостряло его ехидство. Сначала Скарлетт злилась и пыталась сломить его небрежение, но вскоре смирилась — ее это даже устраивало. Долгое время она считала, что ему все безразлично и что ко всему в жизни, включая ее, он относится не всерьез, а как к шутке. Но сейчас, глядя на него через стол, она поняла — и у нее засосало под ложечкой, — что наконец появилось что‑то ему небезразличное, далеко не безразличное.

— Не вижу оснований, почему бы вам не выпить на ночь, даже если я плохо воспитан и сегодня явился ночевать домой, — сказал он. — Налить?

— Я вовсе не собиралась пить, — сухо ответила она. — Просто услышала шум и спустилась.

— Ничего вы не слышали. И не стали бы вы спускаться, если б знали, что я дома. А я сидел здесь и слушал, как вы бегаете у себя по комнате. Вам, видно, очень нужно выпить. Так выпейте.

— Я вовсе не...

Он взял графин и плеснул в рюмку коньяку, так что перелилось через край.

— Держите, — сказал он, всовывая ей рюмку в руку. — Вас всю трясет. Да перестаньте прикидываться. Я знаю, что вы втихую пьете, и знаю сколько. Я уже давно собирался вам сказать, чтоб вы перестали притворяться и пили в открытую, если вам охота. Вы что, думаете, меня хоть сколько‑нибудь занимает то, что вы пристрастились к коньячку?

Она взяла мокрую рюмку, честя его про себя на чем свет стоит. Он читает ее мысли, как раскрытую книгу. Он всегда читал ее мысли, а как раз от него‑то она и хотела их скрыть.

— Пейте же, говорю вам.

Она подняла рюмку и резким движением руки, не сгибая запястья, опрокинула содержимое себе в рот — совсем как это делал Джералд, когда пил чистое виски, — опрокинула, не подумав о том, каким привычным и неженским выглядит этот жест. Ретт не преминул это отметить, и уголок его рта пополз вниз.

— Присядьте, и давайте мило, по‑домашнему поговорим об изысканном приеме, на котором мы только что побывали.

— Вы пьяны, — холодно сказала она, — а я хочу лечь.

— Я очень пьян и намерен надраться еще больше до конца вечера. А вы никуда не пойдете и не ляжете — пока. Садитесь же.

Голос его звучал все так же подчеркнуто холодно и тягуче, но она почувствовала за этими словами рвущуюся наружу ярость — ярость безжалостную, как удар хлыста. Она колебалась, не зная, на что решиться, но он уже стоял рядом и крепко схватил ее за руку, причинив ей боль. Он слегка вывернул ей руку, и, вскрикнув от боли, Скарлетт поспешила сесть. Вот теперь ей стало страшно — так страшно, как еще никогда в жизни. Когда он нагнулся к ней, она увидела, что лицо у него темно‑багровое, а глаза по‑прежнему угрожающе сверкают. И было что‑то в их глубине, чего она прежде не видела, не могла понять, что‑то более сильное, чем гнев, более сильное, чем боль, владело им, отчего глаза его сейчас горели красноватым огнем, как два раскаленных угля. Он долго смотрел на нее — сверху вниз, — так долго, что, не в силах сохранить вызывающий вид, она вынуждена была опустить глаза; тогда он тяжело рухнул в кресло напротив нее и налил себе коньяку. Мозг Скарлетт лихорадочно работал, придумывая систему обороны. Но пока Ретт не заговорит, ей ведь трудно что‑то сказать, ибо она в точности не знала, в чем он ее обвиняет.

Он медленно пил, наблюдая за ней поверх края рюмки, и она вся напряглась, стараясь сдержать дрожь. Какое‑то время лицо его оставалось застывшим, потом он рассмеялся, продолжая на нее смотреть, и при звуке его смеха ее снова затрясло.

— Забавная была комедия сегодня вечером, верно?

Она молчала — лишь поджала пальцы в свободных туфлях, надеясь, что, быть может, это уймет ее дрожь.

— Прелестная комедия со всеми необходимыми действующими лицами. Селяне, собравшиеся, чтобы закидать камнями падшую женщину; опозоренный муж, поддерживающий свою жену, как и подобает джентльмену; опозоренная жена, в порыве христианского милосердия широко раскинувшая крылья своей безупречной репутации, чтобы все ими прикрыть. И любовник...

— Прошу вас...

— Не просите. Во всяком случае, сегодня. Слишком уж все это занимательно. И любовник, выглядящий абсолютным идиотом и мечтающий уж лучше умереть. Как вы чувствовали себя, моя дорогая, когда женщина, которую вы ненавидите, стояла рядом с вами и прикрывала ваши грехи? Садитесь же.

Она села.

— Вы, я полагаю, едва ли больше ее за это полюбили? Вы сейчас раздумываете, знает ли она все про вас и Эшли... раздумываете, почему она так поступила, если знает... и, быть может, она это сделала только для того, чтобы спасти лицо. И вы считаете, что она дурочка, хотя это и спасло вашу шкуру. Тем не менее...

— Я не желаю больше слушать...

— Нет, вы меня выслушаете. И я скажу вам это, чтобы избавить вас от лишних волнений. Мисс Мелли действительно дурочка, но не в том смысле, как вы думаете. Ей, конечно же, кто‑то все рассказал, но она этому не поверила. Даже если бы она увидела своими глазами, все равно бы не поверила. Слишком много в ней благородства, чтобы она могла поверить в отсутствие благородства у тех, кого любит. Я не знаю, какую ложь сказал ей Эшли Уилкс... но любая самая неуклюжая ложь сойдет, ибо она любит Эшли и любит вас. Честно говоря, не понимаю, почему она вас любит, но факт остается фактом. Так что придется вам нести и этот крест.

— Если бы вы не были так пьяны и не вели себя так оскорбительно, я бы все вам объяснила, — сказала Скарлетт, к которой в какой‑то мере вернулось самообладание. — Но сейчас...

— А меня не интересуют ваши объяснения. Я знаю правду лучше, чем вы. Клянусь богом, если вы еще хоть раз встанете с этого стула... Однако куда больше, чем сегодняшняя комедия, меня забавляет то, что вы из высоко целомудренных соображений отказывали мне в радостях супружеского ложа из‑за моих многочисленных грехов, а сами вожделели в душе Эшли Уилкса. «Вожделели в душе» — хорошее выражение, верно? Сколько хороших выражений в этой книжице, правда?

«Какой книжице? Какой?» — мысли ее метались, глупо, бессмысленно, а глаза испуганно озирали комнату, машинально отмечая тусклый блеск тяжелого серебра в неверном свете свечи, пугающую темноту в углах.

— Я был изгнан потому, что моя грубая страсть оскорбляла ваши утонченные чувства... и потому, что вы не хотели больше иметь детей. Бог ты мой, до чего мне было больно! Как меня это ранило! Что ж, я ушел из дома, нашел милые утехи, а вас предоставил вашим утонченным чувствам. Вы же все это время гонялись за многострадальным мистером Уилксом. Ну, а он‑то, черт бы его подрал, чего мучается? В мыслях не может сохранять верность жене, а физически не может быть ей неверным. Неужели нельзя на что‑то решиться — раз и навсегда? Вы бы не возражали рожать ему детей, верно... и выдавать их за моих?

Она с криком вскочила на ноги, но он мгновенно поднялся с места и с легким смешком, от которого у Скарлетт кровь застыла в жилах, крепко прижал ее плечи к спинке стула своими большими смуглыми руками и заставил снова сесть.

— Посмотрите на мои руки, дорогая моя, — сказал он, сгибая их перед ней и разгибая. — Я мог бы запросто разорвать вас на куски и разорвал бы, лишь бы изгнать Эшли из ваших мыслей. Но это не поможет. Значит, придется убрать его из ваших мыслей иначе. Вот я сейчас возьму этими руками вашу головку и раздавлю, как орех, так что никаких мыслей в ней не останется.

Он взял ее голову, пальцы его погрузились в ее распущенные волосы, они ласкали — твердые, сильные, потом приподняли ее лицо. На нее смотрел совсем чужой человек — пьяный незнакомец, гнусаво растягивающий слова. Ей всегда была присуща этакая звериная смелость, и сейчас, перед лицом опасности, она почувствовала, как в ней забурлила кровь, и спина ее выпрямилась, глаза сузились.

— Вы пьяный идиот, — сказала она. — Уберите прочь руки.

К ее великому изумлению, он послушался и, присев на край стола, налил себе еще коньяку.

— Я всегда восхищался силой вашего духа, моя дорогая, а сейчас, когда вы загнаны в угол, — особенно.

Она плотнее запахнула на себе капот. Ах, если бы только она могла добраться до своей комнаты, повернуть ключ в замке и остаться одна за толстыми дверями! Она как‑то должна удержать его на расстоянии, подчинить себе этого нового Ретта, какого она прежде не видела. Она не спеша поднялась, хотя у нее тряслись колени, крепче стянула полы капота на бедрах и отбросила волосы с лица.

— Ни в какой угол вы меня не загнали, — колко сказала она. — Вам никогда не загнать меня в угол, Ретт Батлер, и не напугать. Вы всего лишь пьяное животное и так долго общались с дурными женщинами, что все меряете их меркой. Вам не понять Эшли или меня. Слишком долго вы жили в грязи, чтобы иметь представление о чем‑то другом. И вы ревнуете к тому, чего не в состоянии понять. Спокойной ночи!

Она повернулась и направилась к двери — оглушительный хохот остановил ее. Она повернула голову — Ретт шел, пошатываясь, за ней. О боже правый, только бы он перестал хохотать! Да и вообще — что тут смешного? Он почти настиг ее — она попятилась к двери и почувствовала, что спиной уперлась в стену. Ретт тяжело положил руки ей на плечи и прижал к стене.

— Перестаньте смеяться.

— Я смеюсь потому, что мне жаль вас.

— Жаль меня? Жалели бы себя.

— Да, клянусь богом, мне жаль вас, моя дорогая, моя прелестная маленькая дурочка. Больно, да? Вы не выносите ни смеха, ни жалости?

Он перестал смеяться и всей своей тяжестью навалился на нее, так что ей стало больно. Лицо его изменилось, он находился так близко, что тяжелый запах коньяка заставил ее отвернуть голову.

— Значит, я ревную? — сказал он. — А почему бы и нет? О да, я ревную к Эшли Уилксу. Почему бы и нет? Только не говорите и не старайтесь что‑то мне объяснить. Я знаю, физически вы были верны мне. Это вы и пытались сказать? О, я все время это знал. Все эти годы. Каким образом знал? Просто потому, что я знаю Эшли Уилкса и людей его сорта. Знаю, что он человек порядочный и благородный. А вот о вас, моя дорогая, я так сказать не могу. Да и о себе тоже. Мы с вами благородством не отличаемся, и у нас нет понятия чести, верно? Вот потому мы и цветем, как вечнозеленый лавр.

— Отпустите меня. Я не желаю стоять здесь и подвергаться оскорблениям.

— Я вас не оскорбляю. Я превозношу вашу физическую добродетель. Вам ведь ни разу не удалось меня провести. Вы считаете, Скарлетт, что мужчины — круглые дураки. А никогда не стоит недооценивать силу и ум противника. Так что я не дурак. Вы думаете, я не знаю, что, лежа в моих объятиях, вы представляли себе, будто я — Эшли Уилкс?

Она невольно раскрыла рот — лицо ее выражало страх и неподдельное удивление.

— Приятная это штука. Немного, правда, похоже на игру в призраки. Все равно как если бы в кровати вдруг оказалось трое вместо двоих. — Он слегка встряхнул ее за плечи, икнул и насмешливо улыбнулся. — О да, вы были верны мне, потому что Эшли вас не брал. Но, черт подери, я бы не стал на него злиться, овладей он вашим телом. Я знаю, сколь мало значит тело — особенно тело женщины. Но я злюсь на него за то, что он овладел вашим сердцем и вашей бесценной жестокой, бессовестной, упрямой душой. А ему, этому идиоту, не нужна ваша душа, мне же не нужно ваше тело. Я могу купить любую женщину задешево. А вот вашей душой и вашим сердцем я хочу владеть, но они никогда не будут моими, так же как и душа Эшли никогда не будет вашей. Вот потому‑то мне и жаль вас.

Несмотря на обуревавшие ее страх и смятение, Скарлетт больно ранили его издевки.

— Вам жаль меня?

— Да, жаль, потому что вы такое дитя, Скарлетт. Дитя, которое плачет оттого, что не может получить луну. А что бы стало дитя делать с луной? И что бы вы стали делать с Эшли? Да, мне жаль вас — жаль, что вы обеими руками отталкиваете от себя счастье и тянетесь к чему‑то, что никогда не сделает вас счастливой. Жаль, что вы такая дурочка и не понимаете, что счастье возможно лишь там, где схожие люди любят друг друга. Если б я умер и если бы мисс Мелли умерла и вы получили бы своего бесценного благородного возлюбленного, вы думаете, что были бы счастливы с ним? Черта с два — нет! Вы никогда бы так и не узнали его, никогда бы не узнали, о чем он думает, никогда бы не поняли его, как не понимаете музыку, поэзию, прозу, — вы же ни в чем не разбираетесь, кроме долларов и центов. А вот мы с вами, дражайшая моя супруга, могли бы быть идеально счастливы, если бы вы дали мне малейшую возможность сделать вас счастливой, потому что мы с вами — одного поля ягоды. Мы оба мерзавцы, Скарлетт, и ни перед чем не остановимся, когда чего‑то хотим. Мы могли бы быть счастливы, потому что я любил вас и знаю вас, Скарлетт, до мозга костей — так, как Эшли никогда вас не узнает. А если узнает, то будет презирать... Но нет, вы всю жизнь прогоняетесь за человеком, которого не можете понять. А я, дорогая моя, буду гоняться за шлюхами. И все же смею надеяться, жизнь у нас сложится лучше, чем у многих других пар.

Он внезапно отпустил ее и сделал несколько нетвердых шагов к графину. Какое‑то мгновение Скарлетт стояла неподвижно, точно приросла к месту, — мысли так стремительно проносились у нее в мозгу, что она не могла сосредоточиться ни на одной. Ретт сказал, что любил ее. Это действительно так? Или он сболтнул спьяну? Или это просто одна из его отвратительных шуточек? А Эшли — недостижимый, как луна... И она плачет, потому что не может получить луну. Она выскочила в темный холл и помчалась, точно демоны гнались за ней. Ах, если бы только добраться до своей комнаты! Она подвернула ногу, и ночная туфля соскочила. Она приостановилась, чтобы скинуть туфлю совсем, и тут в темноте ее настиг Ретт — он налетел бесшумно, как индеец. Она почувствовала на лице его горячее дыхание, руки его резко распахнули капот, обхватили ее нагое тело.

— Меня вы заставили уехать из города, а сами принялись гоняться за этим своим Эшли. Клянусь богом, сегодня ночью в моей постели нас будет только двое.

Он подхватил ее на руки и понес вверх по лестнице. Голова ее была крепко прижата к его груди — Скарлетт слышала тяжелые удары его сердца. А ей было больно, и она вскрикнула, приглушенно, испуганно. А он шел все вверх и вверх в полнейшей тьме, и Скарлетт не помнила себя от страха. Она — на руках у чужого, обезумевшего человека, а вокруг — неведомая кромешная тьма, темнее смерти. И сам он точно смерть, которая несла ее, до боли сжимая в объятиях. Скарлетт снова глухо вскрикнула — он вдруг остановился, повернул ей голову и впился в нее таким неистовым поцелуем, что она забыла обо всем, — осталась лишь тьма, в которую она погружалась. Да его губы на ее губах. Он покачивался, точно под порывами сильного ветра, и губы его, оторвавшись от ее рта, скользнули вниз — туда, где распахнутый капот обнажал нежную кожу. Он шептал какие‑то слова, которых она не могла разобрать, губы его рождали чувства, прежде ей неведомые. Тьма владела ею, тьма владела им, и все прочее перестало существовать — была лишь тьма, и его губы на ее теле. Она попыталась что‑то сказать, и он тотчас снова закрыл ей рот поцелуем. И вдруг дотоле не познанный дикий вихрь восторга закружил ее — радость, страх, волнение, безумие, желание раствориться в этих сильных руках, под этими испепеляющими поцелуями, отдаться судьбе, которая стремительно несла ее куда‑то. Впервые в жизни она встретила человека, который оказался сильнее ее, человека, которого она не смогла ни запугать, ни сломить, человека, который сумел запугать и сломить ее. И она вдруг почувствовала, что руки ее сами собой обвились вокруг его шеи и губы трепещут под его губами, и они снова поднимаются — все выше, выше, в темноте, темноте мягкой, кружащей голову, обволакивающей.

Когда на другое утро она проснулась, Ретта возле нее уже не было, и если бы не смятая подушка рядом, она могла бы подумать, что все происшедшее ночью приснилось ей в диком, нелепом сне. Она покраснела при одном воспоминании и, натянув до подбородка одеяло, продолжала лежать в солнечном свете, пытаясь разобраться в своих беспорядочных ощущениях.

Два обстоятельства обращали на себя внимание. Она прожила не один год с Реттом, спала с ним, ела с ним, ссорилась, родила ему ребенка — и, однако же, не знала его. Человек, поднявшийся с нею на руках по темным ступеням, был ей незнаком, о существовании его она даже и не подозревала. И сейчас, сколько она ни старалась возненавидеть его, возмутиться, — она ничего не могла с собой поделать. Он унизил ее, причинил ей боль, делал с ней что хотел на протяжении всей этой дикой, безумной ночи, и она лишь упивалась этим.

А ведь должна была бы устыдиться, должна была бы бежать даже воспоминаний о жаркой, кружащей голову тьме! Леди, настоящая леди, не могла бы людям в глаза глядеть после такой ночи. Но над чувством стыда торжествовала память о наслаждении, об экстазе, охватившем ее, когда она уступила его ласкам. Впервые она почувствовала, что живет полной жизнью, почувствовала страсть столь же всеобъемлющую и первобытную, как страх, который владел ею в ту ночь, когда она бежала из Атланты, столь же головокружительно сладкую, как холодная ненависть, с какою она пристрелила того янки.

Ретт любит ее! Во всяком случае, он сказал, что любит, и разве может она сомневаться теперь? Как это странно и удивительно, как невероятно то, что он любит ее, — этот незнакомый дикарь, рядом с которым она прожила столько лет, не чувствуя ничего, кроме холода. Она не была вполне уверена в своем отношении к этому открытию, но тут ей в голову пришла одна мысль, и она громко рассмеялась. Он любит ее — значит, теперь наконец‑то она держит его в руках. А она ведь почти забыла о своем желании завлечь его, заставить полюбить себя, чтобы потом поднять кнут над этой своевольной черной башкой. И вот сейчас она об этом вспомнила и почувствовала огромное удовлетворение. Одну ночь она была полностью в его власти, зато теперь узнала, где брешь в его броне. Отныне он будет плясать под ее дудку. Слишком долго она терпела его издевки, теперь он у нее попрыгает, как тигр в цирке, а она все выше будет поднимать обруч.

При мысли о том, что ей предстоит встретиться с ним при трезвом свете дня, ее охватило легкое смущение, смешанное с волнением и удовольствием.

«Я волнуюсь, как невеста, — подумала она. — И из‑за кого — из‑за Ретта!» И, подумав так, она захихикала как дурочка.

Но к обеду Ретт не появился, не было его за столом и во время ужина. Прошла ночь, долгая ночь, когда Скарлетт лежала без сна до зари, прислушиваясь, не раздастся ли звук поворачиваемого в замке ключа. Но Ретт не пришел. Когда и на второй день от него не было ни слова, Скарлетт уже не могла себе места найти от огорчения и страха. Она поехала в банк, но его там не оказалось. Она поехала в лавку и устроила всем разнос, но всякий раз, как открывалась дверь, она с бьющимся сердцем поднимала глаза на вошедшего, надеясь, что это — Ретт. Она отправилась на лесной склад и так распушила Хью, что он спрятался за грудой досок. Но и здесь Ретт не настиг ее.

Унизиться до того, чтобы расспрашивать друзей, не видел ли кто Ретта, — она не могла. Не могла она расспрашивать и слуг. Но она чувствовала: они знают что‑то такое, чего не знает она. Негры всегда все знают. Мамушка эти два дня была как‑то особенно молчалива. Она наблюдала за Скарлетт краешком глаза, но не говорила ничего. Когда прошла и вторая ночь, Скарлетт решила отправиться в полицию. Может быть, с Реттом случилось несчастье. Может быть, его сбросила лошадь и он лежит где‑нибудь в канаве, без помощи. Может быть... О, какая страшная мысль! Может быть, он мертв...

На другое утро, когда она, покончив с завтраком, надевала у себя в комнате шляпку, на лестнице раздались быстрые шаги. Сразу ослабев, благодаря в душе бога, она опустилась на кровать, и в эту минуту вошел Ретт. Он явно приехал от парикмахера — был подстрижен, выбрит, ухожен и — трезв, но с красными, налитыми кровью глазами и опухшим от вина лицом. Небрежно взмахнув рукой, он сказал:

— О, приветствую вас!

Как это можно сказать всего лишь: «О, приветствую вас!» после того, как он отсутствовал целых двое суток? Неужели он совсем не помнит той ночи, которую они провели вместе? Нет, не может не помнить, если... если... Страшная мысль мелькнула у Скарлетт: если проводить так ночи — не самое обычное для него дело. На мгновение она лишилась дара речи, забыв про все свои заготовленные уловки и улыбки. Он даже не подошел к ней, чтобы по установившейся привычке небрежно поцеловать ее, — он стоял с дымящейся сигарой в руке и насмешливо смотрел на Скарлетт.

— Где... где же вы были?

— Только не говорите, что не знаете! Я‑то считал, что, уж конечно, весь город знает теперь. А может быть, все знают, кроме вас. Вам ведь известна старая поговорка: «Жена всегда узнает последней».

— Что вы хотите этим сказать?

— Я считал, что, после того как полиция появилась позапрошлой ночью в доме Красотки Уотлинг...

— Красотки... этой... этой женщины? Вы были... вы были с...

— Конечно. А где же еще мне быть? Надеюсь, вы за меня не тревожились.

— Значит, прямо от меня вы направились... о‑о!

— Полно, полно, Скарлетт! Нечего разыгрывать обманутую жену. Вы, конечно же, давно знали о существовании Красотки Уотлинг.

— И вы отправились к ней от меня после... после...

— Ах, это. — Он небрежно повел рукой. — Я забылся. Прошу прощения за то, что так вел себя во время нашей последней встречи. Я был очень пьян, как вы, конечно, не преминули заметить, и совсем потерял голову под влиянием ваших чар — перечислить каких?

Глаза у нее вдруг наполнились слезами — ей хотелось кинуться на постель и рыдать, безудержно рыдать. Он не изменился, ничто не изменилось, а она‑то, дурочка, глупая, самовлюбленная дурочка, подумала, что он любит ее. На самом же деле это было лишь очередной его отвратительной пьяной выходкой. Он взял ее и использовал спьяну, как использовал бы любую женщину в доме Красотки Уотлинг. А теперь явился — наглый, насмешливый, недосягаемый. Она проглотила слезы и призвала на помощь всю свою волю. Он никогда‑никогда не узнает, что она думает. Как бы он хохотал, если бы узнал! Ну так вот, никогда он об этом не узнает. Она метнула на него взгляд и уловила в его глазах уже знакомое озадаченное, вопрошающее выражение — взволнованное, настороженное, точно его жизнь зависела от ее слов, точно он хотел, чтобы она сказала... Чего он, собственно, от нее хотел? Чтобы она выставила себя в глупом свете, заголосила, дала ему повод посмеяться? Ну, уж нет! Брови Скарлетт стремительно сдвинулись, лицо приняло холодное выражение.

— Я, естественно, подозревала о ваших отношениях с этой тварью.

— Только подозревали? Почему же вы не спросили меня и не удовлетворили свое любопытство? Я бы вам сказал. Я живу с ней с того дня, как вы и Эшли Уилкс решили, что у нас с вами должны быть отдельные спальни.

— И вы имеете наглость стоять тут и хвалиться передо мною, вашей женой, что вы...

— О, избавьте меня от вашего высоконравственного возмущения. Вам всегда было наплевать, что я делаю, — лишь бы я оплачивал ваши счета. Ну, а насчет того, что вы моя жена... нельзя сказать, что вы были моей женой с тех пор, как появилась Бонни, верно ведь? Вы оказались, Скарлетт, неприбыльным предприятием: я только зря вкладывал в вас капитал. А вот в Красотку Уотлинг капитал вкладывать можно.

— Капитал? Вы хотите сказать, что дали ей?..

— Правильнее было бы, наверно, выразиться так: «поставил на ноги». Красотка — ловкая женщина. Мне захотелось помочь ей, а ей недоставало лишь денег, чтобы открыть собственное заведение. Вы ведь знаете, какие чудеса способна совершить женщина, у которой есть немного денег. Взгляните на себя.

— Вы сравниваете меня с...

— Видите ли, вы обе практичные, деловые женщины, и обе преуспели. Но у Красотки несомненно есть перед вами одно преимущество: она доброе, благожелательное существо...

— Извольте выйти из моей комнаты!

Он не спеша направился к двери, иронически приподняв бровь. «Да как он может так меня оскорблять», — думала она с болью и яростью. Он только и делает, что принижает ее и оскорбляет: ее затрясло, когда она вспомнила, как ждала его домой, а он в это время пьянствовал и задирался с полицией в борделе.

— Убирайтесь из этой комнаты и не смейте больше входить сюда. Я уже раз сказала вам это, а вы — не джентльмен и не способны понять. Отныне я буду запирать дверь.

— Можете не утруждать себя.

— Буду запирать. После того, как вы вели себя той ночью — такой пьяный, такой омерзительный...

— Зачем уж так‑то, дорогая! Конечно же, я не был вам омерзителен!

— Убирайтесь вон!

— Не волнуйтесь. Я ухожу. И обещаю, что никогда больше не потревожу вас. Это окончательно и бесповоротно. Кстати, я как раз подумал, что если вам слишком тяжело выносить мое безнравственное поведение, мы можем разойтись. Отдайте мне Бонни, и я не буду возражать против развода.

— Я никогда в жизни не опозорю свою семью и не стану разводиться.

— Вы довольно быстро опозорили бы ее, если бы мисс Мелли умерла. У меня даже дух захватывает при мысли о том, как быстро вы бы со мной расстались.

— Уйдете вы или нет?

— Да, я ухожу. Я и домой‑то вернулся, только чтобы сказать вам это. Я уезжаю в Чарльстон и Новый Орлеан и... словом, это будет долгая поездка: Я уезжаю сегодня.

— О‑о!

— И забираю Бонни с собой. Велите этой дуре Присей уложить ее вещички. Присей я забираю тоже.

— Вы не увезете моего ребенка из этого дома.

— Но это и мой ребенок, миссис Батлер. Едва ли вы станете возражать, чтобы я отвез ее в Чарльстон повидаться с бабушкой!

— Нечего сказать, с бабушкой! Да неужели вы думаете, я позволю увезти ребенка, чтобы вы там каждый вечер напивались и еще, может, даже брали ее с собой во всякие дома, вроде дома Красотки Уотлинг...

Он с такой силой швырнул сигару, что она вонзилась горящим концом в ковер и в комнате запахло паленым. В мгновение ока он пересек разделявшее их расстояние и остановился рядом со Скарлетт — лицо его почернело от гнева.

— Будь вы мужчиной, я бы свернул вам за это шею. Сейчас же я могу лишь сказать вам — заткните свой чертов рот. Вы что же, считаете, что я не люблю Бонни, что я стану водить ее к... мою‑то дочь?! Боже правый, да вы настоящая идиотка! Вот вы тут изображаете из себя добродетельную маменьку, а ведь кошка — и то лучшая мать, чем вы. Ну, что вы когда‑либо сделали для своих детей? Уэйд и Элла боятся вас до смерти, и если бы не Мелани Уилкс, они бы так и не узнали, что такое любовь и нежность. А Бонни, моя Бонни! Вы что, думаете, я хуже буду заботиться о ней, чем вы? Думаете, я позволю вам застращать ее и сломить ей волю, как вы сломили волю Уэйда и Эллы? Черта с два, нет! Упакуйте ее вещи, и чтоб она была готова через час, иначе — предупреждаю: то, что произошло прошлой ночью, — сущий пустяк по сравнению с тем, что я сделаю сейчас. Я всегда считал, что хорошая порка кнутом очень пошла бы вам на пользу.

Он повернулся на каблуках и, прежде чем она успела вымолвить хоть слово, стремительно вышел из комнаты. Она услышала, как он пересек площадку и открыл дверь в детскую. Раздался веселый, радостный щебет детских голосов, и до Скарлетт донесся голосок Бонни, перекрывший голос Эллы:

— Папочка, где ты был?

— Охотился на зайчика, чтобы из его шкурки сделать своей маленькой Бонни шубку. Ну‑ка, поцелуй своего любимого папку, Бонни, и ты тоже, Элла.

### Глава LV

— Дорогая моя, я не приму от тебя никаких объяснений и не желаю их слышать, — решительно заявила Мелани, осторожно положив худенькие пальчики на дрожащие губы Скарлетт и заставляя ее умолкнуть. — Ты оскорбляешь самое себя, и Эшли, и меня, даже думая, что между нами необходимы какие‑то объяснения. Ведь мы трое... как солдаты сражались вместе на протяжении стольких лет, так что мне даже стыдно за тебя: ну, как ты могла подумать, что досужие сплетни могут возвести между нами стену. Да неужели, ты считаешь, я поверю, будто ты и мой Эшли... Какие глупости! Ведь я же знаю тебя, как никто в целом свете! Ты думаешь, я забыла, как самозабвенно ты жертвовала собой ради Эшли, Бо и меня, — забыла все, что ты сделала, начиная с того, что спасла мне жизнь, и кончая тем, что не дала нам умереть с голоду! Ты думаешь, я не помню, как ты шла босая, со стертыми в кровь руками за плугом, в который была впряжена лошадь того янки, — шла, чтобы мне и моему ребенку было что есть, — а если я это помню, то как могу поверить всяким гадостям про тебя? Я не желаю больше слышать ни слова от тебя, Скарлетт О’Хара. Ни единого слова.

— Но... — Скарлетт запнулась и умолкла.

Ретт покинул город час тому назад с Бонни и Присей, и к позору и злости Скарлетт прибавилось отчаяние. А сейчас, когда Мелани стала ее защищать, тогда как сама она, Скарлетт, чувствовала себя глубоко виноватой, — этого она и вовсе не в состоянии была вынести. Если бы Мелани поверила Индии и Арчи, оскорбила бы ее на празднике или хотя бы холодно приняла, она могла бы еще высоко держать голову и обороняться всеми видами оружия, какие имелись в ее распоряжении. Но при воспоминании о том, как Мелани, стоя рядом с нею словно тонкий сверкающий клинок, помогла предотвратить ее падение в глазах общества, с каким достоинством, с каким вызовом смотрела она на всех, — Скарлетт понимала, что если быть честной, надо во всем признаться. Да, выплеснуть из себя все, начиная с тех далеких дней на освещенном солнцем крыльце Тары.

К такому шагу Скарлетт побуждала совесть, которая хоть и долго молчала, но все еще способна была поднять голос, — совесть истинно верующей католички. «Покайся в грехах своих и понеси наказание за них в горе и смирении». Эллин сотни раз повторяла ей это, и сейчас, в критическую минуту, религиозное воспитание Эллин дало себя знать. Она покается — да, покается во всем, в каждом взгляде, в каждом слове, в тех немногих ласках, которые были между ними, и тогда господь, возможно, облегчит ее муки и даст ей покой. А наказанием ей послужит изменившееся лицо Мелани, на котором вместо любви и доверия появятся ужас и отвращение. О, какое это будет тяжкое наказание, с болью подумала Скарлетт, до конца жизни помнить лицо Мелани, знать, что Мелани известно, какая она мелкая, низкая, двуличная и неверная, какая лгунья.

Когда‑то мысль о том, чтобы швырнуть правду в лицо Мелани и увидеть, как рухнет рай, в котором живет эта дурочка, опьяняла Скарлетт, представлялась ей игрой, которая стоит свеч. Но сейчас, за один вечер, все изменилось, и ей меньше всего хотелось так поступить. Почему — она и сама не знала. Слишком много противоречивых мыслей теснилось в ее мозгу. И она не могла разобраться в них. Понимала лишь, что страстно хочет, чтобы Мелани сохранила о ней высокое мнение, так же как когда‑то страстно хотела, чтобы мама считала ее скромной, доброй, чистой. Понимала, что ей глубоко безразлично мнение всего света, безразлично, что думает о ней Эшли или Ретт, а вот Мелани должна думать о ней так же, как думала всегда.

Скарлетт боялась сказать Мелани правду, но сейчас в ней заговорил инстинкт честности, который редко давал о себе знать, — инстинкт, не позволявший рядиться в сотканную из лжи одежду перед женщиной, которая встала на ее защиту. И она помчалась к Мелани, как только Ретт с Бонни покинули дом.

Но при первых же словах, которые она, заикаясь, произнесла: «Мелли, я должна все объяснить насчет того дня...», Мелани повелительно остановила ее. И Скарлетт, со стыдом глядя в темные, сверкающие любовью и возмущением глаза, почувствовала, как у нее захолонуло сердце, ибо поняла, что никогда не узнает мира и покоя, следующих за признанием. Мелани раз и навсегда отрезала ей этот путь своими словам. Скарлетт же, не слишком часто мыслившая по‑взрослому, понимала, что лишь чистый эгоизм побуждает ее излить то, что так мучило ее. Это избавило бы ее от тягостного бремени и переложило бы его на невинное и доверчивое существо. Но она была в долгу перед Мелани за заступничество и оплатить этот долг могла лишь своим молчанием. А как жестоко расплатилась бы она с Мелани, если бы сломала ей жизнь, сообщив, что муж был ей неверен и любимая подруга принимала участие в измене!

«Не могу я ей этого сказать, — с огорчением подумала Скарлетт. — Никогда не смогу, даже если совесть убьет меня». Ей почему‑то вспомнились слова пьяного Ретта: «...Не может она поверить в отсутствие благородства у тех, кого любит... Так что придется вам нести и этот крест».

Да, этот крест она будет нести до самой смерти — будет молча терпеть свою муку, никому не скажет о том, как больно колет ее власяница стыда при каждом нежном взгляде и жесте Мелани, будет вечно подавлять в себе желание крикнуть: «Не будь такой доброй! Не сражайся за меня! Я этого недостойна!»

«Если бы ты не была такой дурочкой, такой милой, доверчивой, простодушной дурочкой, мне было бы легче, — в отчаянии думала она. — В своей жизни я несла не один тяжкий груз, но этот будет самым тяжким и неприятным из всех, какие когда‑либо выпадали мне на долю».

Мелани сидела напротив нее в низком кресле, поставив ноги на высокий пуфик, так что колени у нее торчали, как у ребенка, — она бы никогда не приняла такой позы, если бы не забылась во гневе. В руке она держала кружевное плетение и так стремительно двигала блестящей иглой, словно это была рапира, которой она дралась на дуэли.

Будь Скарлетт в таком гневе, она бы топала ногами и орала, как некогда Джералд, громко призывая бога в свидетели проклятого двоедушия и подлости человеческой и клянясь так отомстить, что кровь будет стынуть в жилах. А у Мелани лишь стремительное мельканье иглы да сдвинутые на переносице тонкие брови указывали на то, что она вся кипит. Голос же ее звучал спокойно — вот только она отрывистее обычного произносила слова. Энергичная манера выражаться была чужда Мелани, которая вообще редко высказывала мнение вслух, а тем более никогда не злобствовала. Только тут Скарлетт поняла, что Уилксы и Гамильтоны способны распаляться не меньше, а даже сильнее, чем О’Хара.

— Мне и так уже надоело слушать, как люди критикуют тебя, дорогая, — сказала Мелани, — а эта капля переполнила чашу, и я намерена кое‑что предпринять. А ведь все потому, что люди завидуют тебе из‑за твоего ума и успеха. Ты сумела преуспеть там, где даже многие мужчины потерпели крах. Только не обижайся на меня, дорогая. Я ведь вовсе не хочу сказать, что ты в чем‑то перестала быть женщиной или утратила женскую прелесть, хотя многие это утверждают. Ничего подобного. Просто люди не понимают тебя и к тому же не выносят умных женщин. Однако то, что ты — умная и так преуспела в делах, не дает людям права говорить, будто вы с Эшли... Силы небесные!

Она произнесла это так пылко, что в устах мужчины это звучало бы как богохульство. Скарлетт смотрела на нее во все глаза, напуганная столь неожиданным взрывом.

— И еще являются ко мне со своей грязной ложью — и Арчи, и Индия, и миссис Элсинг! Да как они посмели? Миссис Элсинг, конечно, тут не было! У нее действительно не хватило мужества. Но — она всегда ненавидела тебя, дорогая, потому что ты пользовалась большим успехом, чем Фэнни. И потом она так взбесилась, когда ты отстранила Хью от управления лесопилкой. Но ты была абсолютно права. Он совершенно никчемный, неповоротливый, ни на что не годный человек! — Так Мелани одной фразой расправилась с товарищем детских игр и ухажером дней юности. — А вот за Арчи я виню себя. Не следовало мне давать этому старому негодяю приют. Все мне об этом говорили, но я не слушала. Ему, видите ли, не нравится, дорогая, что ты пользуешься трудом каторжников, но кто он такой, «чтобы критиковать тебя? Убийца — да к тому же убил‑то он женщину! И после всего, что я для него сделала, он является ко мне и говорит... Да я бы нисколько не пожалела, если бы Эшли пристрелил его. Ну, словом, я его выпроводила с такой отповедью, что уж можешь мне поверить! И он уехал из города.

Что же до Индии, этого подлого существа! Дорогая моя, я, конечно, сразу заметила, как только увидела вас вместе, что она завидует тебе и ненавидит, потому что ты красивее ее и у тебя столько поклонников. А особенно она возненавидела тебя из‑за Стюарта Тарлтона. Она ведь так сокрушалась по Стюарту... Словом, неприятно говорить такое о своей золовке, но мне кажется, у нее помутилось в голове, потому что она все время только о Стюарте и думает! Другого объяснения ее поступкам я не нахожу... Я сказала ей, чтобы она никогда больше не смела переступать порог этого дома, и если я услышу, что она хотя бы шепотом намекнет на подобную гнусность, я... я при всех назову ее лгуньей!

Мелани умолкла, гневное выражение сразу сошло с ее лица, уступив место скорби. Как все уроженцы Джорджии, Мелани была страстно предана своему клану, и мысль о ссоре в семье разрывала ей сердце. Она секунду поколебалась, но Скарлетт была дороже ей, Скарлетт была первой в ее сердце, и, верная своим привязанностям, она продолжала:

— Индия ревновала меня к тебе, потому что тебя, дорогая, я всегда любила больше. Но она теперь никогда не переступит порога этого дома, моей же ноги не будет в том доме, где принимают ее. Эшли полностью согласен со мной, правда, то, что родная сестра сказала такое, чуть не разбило ему сердце...

При упоминании имени Эшли натянутые нервы Скарлетт сдали, и она разразилась слезами. Когда же она перестанет причинять ему боль? Ведь она‑то думала лишь о том, чтобы сделать его счастливым, обезопасить, а всякий раз только ранила. Она разбила ему жизнь, сломила его гордость и чувство самоуважения, разрушила внутренний мир, его спокойствие, проистекавшее от цельности натуры. А теперь она еще и отторгла его от сестры, которую он так любит. Чтобы спасти ее, Скарлетт, репутацию и не разрушать счастья своей жены, ему пришлось принести в жертву Индию, выставить ее лгуньей, полубезумной ревнивой старой девой, — Индию, которая была абсолютно права в своих подозрениях и в своем осуждении: ведь ни одного лживого слова она не произнесла. Всякий раз, когда Эшли смотрел Индии в глаза, он видел в них правду, укор и холодное презрение, на какое Уилксы были мастера.

Зная, что Эшли ставит честь выше жизни, Скарлетт понимала, что он, должно быть, кипит от ярости. Он тоже, как и Скарлетт, вынужден теперь прятаться за юбками Мелани. И хотя Скарлетт понимала, что это необходимо, и знала, что вина за ложное положение, в какое она поставила Эшли, лежит прежде всего на ней, тем не менее... тем не менее... Как женщина, она больше уважала бы Эшли, если бы он пристрелил Арчи и честно повинился перед Мелани и перед всем светом. Она знала, что несправедлива к нему, но слишком она была сама несчастна, чтобы обращать внимание на такие мелочи. На память ей пришли едкие слова презрения, сказанные Реттом, и она подумала: «А в самом деле — так ли уж по‑мужски вел себя в этой истории Эшли?» И впервые сияние, неизменно окружавшее Эшли с того первого дня, когда она в него влюбилась, начало немного тускнеть. Черное пятно позора и вины, лежавшее на ней, переползло и на него. Она решительно попыталась подавить в себе эту мысль, но лишь громче заплакала.

— Не надо так! Не надо! — воскликнула Мелани, бросая плетение, и, пересев на диван, притянула к своему плечу голову Скарлетт. — Не следовало мне говорить об этом и так тебя расстраивать. Я знаю, каково тебе; мы больше никогда не будем об этом говорить. Нет, нет, ни друг с другом, ни с кем‑либо еще, словно ничего и не было. Только... — добавила она, и в ее тихом голосе почувствовался яд, — я уж проучу Индию и миссис Элсинг. Пусть не думают, что могут безнаказанно распространять клевету про моего мужа и мою невестку. Я так устрою, что ни одна из них не сможет больше ходить по Атланте с высоко поднятой головой. И всякий, кто будет им верить или будет их принимать, — отныне мой враг.

Скарлетт, с трудом представив себе долгую череду грядущих лет, поняла, что становится отныне причиной вражды, которая на протяжении жизни многих поколений будет раскалывать город и семью.

Слово свое Мелани сдержала. Она никогда больше не упоминала о случившемся при Скарлетт или Эшли. Да и вообще ни с кем этого не обсуждала. Она вела себя с холодным безразличием, которое мгновенно превращалось в ледяную официальность, если кто‑либо хотя бы намеком смел напомнить при ней о случившемся. На протяжении недель, последовавших за приемом, который она устроила в честь Эшли, когда город лихорадило от сплетен и перешептываний, а Ретт продолжал таинственно отсутствовать, и не было человека, который стоял бы от всего этого в стороне. Мелани не щадила клеветников, поносивших Скарлетт, будь то ее давние друзья или родня. Причем она не говорила, а действовала.

Она прилепилась к Скарлетт, точно моллюск — к раковине. Она заставила Скарлетт по утрам, как всегда, ездить в лавку и на лесной склад, и сама отправлялась с ней. Она настояла на том, чтобы Скарлетт днем разъезжала по городу, хотя той и не очень хотелось выставлять себя на обозрение своих любопытствующих сограждан. И всякий раз Мелани сидела в коляске рядом со Скарлетт. Мелани брала ее с собой, когда ездила днем к кому‑нибудь с визитом, и мягко, но настойчиво вводила в гостиные, в которых Скарлетт не бывала уже больше двух лет. Беседуя с потрясенными хозяйками, Мелани всем своим видом решительно давала понять: «Если любишь меня, люби и моего пса».

Она заставляла Скарлетт рано приезжать с визитом и сидеть до тех пор, пока не уйдет последний гость, тем самым лишая дам возможности всласть понаслаждаться пересудами и домыслами и вызывая немалое их возмущение. Эти визиты были особенно мучительны для Скарлетт, но она не могла отказать Мелани. Ей ненавистно было сознание, что эти женщины никогда бы не заговорили с ней, если бы не любили так Мелани и не боялись потерять ее дружбу. Но Скарлетт знала: раз уж они приняли ее, то больше не смогут закрыть перед ней двери своего дома.

Любопытно, что лишь немногие, беря под защиту или критикуя Скарлетт, ссылались на ее порядочность. «Я считаю ее на все способной» — таково было общее мнение. Слишком много Скарлетт нажила себе врагов, чтобы теперь иметь защитников. Ее слова и действия не выходили у многих из ума, и потому людям было безразлично, причинит эта скандальная история ей боль или нет. Однако не нашлось бы человека, которому было бы безразлично, пострадают ли Мелани и Индия, и страсти бушевали прежде всего вокруг них, а не вокруг Скарлетт — все хотели знать: «Солгала ли Индия?»

Те, кто стоял на стороне Мелани, торжествующе отмечали, что все эти дни постоянно видели Мелани со Скарлетт. Неужели такая женщина, как Мелани, исповедующая столь высокие принципы, станет защищать женщину согрешившую, особенно если та согрешила с ее мужем? Конечно же, нет! Индия — просто свихнувшаяся старая дева, которая, ненавидя Скарлетт, налгала на нее так, что Арчи и миссис Элсинг поверили.

Но, спрашивали сторонники Индии, если Скарлетт ни в чем не повинна, где же тогда капитан Батлер? Почему он не рядом с женой, почему не поддерживает ее своим присутствием? На этот вопрос ответа не было, и по мере того, как шли недели, а по городу поползли слухи, что Скарлетт в положении, группа, поддерживавшая Индию, закивала с удовлетворением. Ребенок‑то это не капитана Батлера, утверждали они. Слишком давно все знают, что супруги живут врозь. Слишком давно уже город потрясла скандальная весть об отдельных спальнях.

Сплетни ползли, разъединяя жителей города, — разъединяя и тесно спаянный клан Гамильтонов, Уилксов, Бэрров, Уитменов и Уинфилдов. Каждый в этой обширной родне вынужден был принять ту или иную сторону. Держаться нейтралитета было невозможно. Об этом уж позаботились и Мелани — с холодным достоинством, и Индия — с едкой горечью. Но на чьей бы стороне ни стояли родственники, всех злило то, что раскол в семье произошел из‑за Скарлетт. И каждый считал, что такой огород городить из‑за нее не стоило. А кроме того, на чьей бы стороне ни стояли родственники, все были искренне возмущены тем, что Индия решила стирать грязное белье семьи у всех на глазах и втянула Эшли в столь отвратительный скандал. Однако стоило ей заговорить, и многие поспешили на ее защиту и приняли ее сторону против Скарлетт, тогда как другие, любившие Мелани, встали на сторону Мелани и Скарлетт.

Добрая половина Атланты была в родстве или считала себя в родстве с Мелани и Индией. Разветвленная сеть кузенов, троюродных братьев, сестер, племянниц и всяких дальних родственников была столь сложной и запутанной, что никто, кроме уроженца Джорджии, не мог бы в этом разобраться. Они всегда представляли собой единый клан, который, стоило прийти беде, смыкал щиты и образовывал непробиваемую фалангу, каковы бы ни были мнения родственников друг о друге и о поведении тех или иных из них. Если не считать партизанской войны тети Питти против дяди Генри, над которой многие годы весело потешались все родственники, между членами клана внешне всегда поддерживались добрые отношения. Как большинство семей в Атланте, это были милые, уравновешенные, сдержанные люди, не склонные даже мягко журить друг друга.

Но сейчас клан раскололся надвое, и город мог наслаждаться зрелищем кузенов и кузин в пятом или шестом колене, которые принимали разные стороны в этом скандале, потрясшем всю Атланту. Это принесло немало трудностей и осложнений и той половине города, которая не состояла с ними в родстве, ибо требовало от людей предельного такта и долготерпения: ведь война между Индией и Мелани произвела раскол почти в каждом кружке или собрании. Поклонники Талии, Кружок шитья для вдов и сирот Конфедерации, Ассоциация по благоустройству могил наших доблестных воинов, Субботний музыкальный кружок, Дамское вечернее общество котильона, Кружок по устройству библиотек для юношества — все были вовлечены в эту вражду, как и четыре церкви, вместе с Дамами‑попечительницами и миссионерскими обществами. И все зорко следили за тем, чтобы члены враждующих групп не оказались в одном и том же комитете.

В дни приемов у себя дома от четырех до шести матроны Атланты пребывали в непрерывном трепыхании и страхе, как бы Мелани и Скарлетт не явились и не застали у них в гостиной Индию и преданных ей родственников.

Из всей семьи больше всего страдала тетя Питти. Именно Питти, всегда стремившаяся к тому, чтобы уютно жить в окружении любящих родственников, и сейчас готовая служить и вашим и нашим. Но ни те, ни другие, не допускали этого.

Индия жила с тетей Питти, и если Питти встанет на сторону Мелани, как ей бы хотелось, Индия тут же уедет. А если Индия уедет, что станется тогда с бедненькой Питти? Она же не может жить одна. Ей пришлось бы тогда либо поселить у себя чужого человека, либо заколотить дом и переехать к Скарлетт. А тетя Питти смутно догадывалась, что капитану Батлеру это может не понравиться. Или же ей пришлось бы поселиться у Мелани и спать в крошечной каморке, которая служила детской для Бо.

Питти не слишком обожала Индию — она робела перед ней: уж очень Индия была сухая, жесткая, непреклонная в суждениях. Но она позволяла Питти сохранять уютный образ жизни, а для Питти соображения личного комфорта всегда больше значили, чем проблемы морали. Так что Индия продолжала жить у Питти.

Однако ее присутствие в доме превратило тетю Питти в центр бури, ибо и Скарлетт и Мелани считали, что она стала на сторону Индии. Скарлетт решительно отказалась увеличить содержание Питти, пока Индия находится под одной с ней крышей. Эшли же каждую неделю посылал Индии деньги, и каждую неделю Индия молча гордо возвращала чек — к великому огорчению и испугу Питти. С деньгами в красном кирпичном доме было бы совсем плохо, если бы не дядя Генри, хотя Питти и унижало то, что приходится брать деньги у него.

Питти любила Мелани больше всех на свете, за исключением себя самой, а теперь Мелани держалась с ней холодно и вежливо, как чужой человек. Хотя она жила, по сути дела, на заднем дворе тети Питти, она ни разу не прошла через изгородь, а в свое время бегала туда‑сюда по десять раз в день. Питти заходила к ней, и плакала, и изливалась в любви и преданности, но Мелани всегда отказывалась что‑либо с ней обсуждать и никогда не отдавала визитов.

Питти прекрасно понимала, чем она обязана Скарлетт, — по сути дела, жизнью. В те черные дни после войны, когда Питти встала перед выбором — либо принять помощь брата Генри, либо голодать, именно Скарлетт взялась вести ее дом, кормить ее, одевать, именно благодаря ей могла тетя Питти высоко держать голову в атлантском обществе. Да и после того, как Скарлетт вышла замуж и перебралась в собственный дом, она была — сама щедрость. А этот страшный таинственный капитан Батлер... после того как он заходил к ней со Скарлетт, Питти не раз обнаруживала у себя на столике новенький кошелек, набитый банкнотами, или в шкатулке для шитья — кружевной платочек, завязанный в узелок, а в нем — золотые монеты. Ретт всякий раз клялся, что понятия ни о чем не имеет, и без обиняков заявлял, что это наверняка от тайного поклонника — не иначе как от шаловливого дедушки Мерриуэзера.

Да, Мелани дарила Питти свою любовь, Скарлетт дарила обеспеченную жизнь, а что дарила ей Индия? Ничего, кроме своего присутствия, которое избавляло Питти от необходимости нарушить приятное течение жизни и самой принимать решение. Все это было очень грустно и так бесконечно вульгарно, и Питти, которая в жизни не приняла ни одного решения, махнула на все рукой — пусть идет, как идет, однако же проводила немало времени в безутешных рыданиях.

В конце концов кое‑кто искренне поверил в то, что Скарлетт ни и чем не виновата, — поверил не из‑за ее личных достоинств, а потому, что этому верила Мелани. Иные поверили с оговорками, но были любезны со Скарлетт и посещали ее, потому что любили Мелани и хотели сохранить ее любовь. Сторонники же Индии лишь холодно с нею раскланивались, а некоторые даже открыто грубили. Эти последние ставили Скарлетт в неловкое положение, раздражали, но она понимала, что если бы Мелани так быстро не пришла ей на помощь, весь город был бы сейчас против нее, она бы стала изгоем.

### Глава LVI

Ретт отсутствовал целых три месяца, и за все это время Скарлетт не получила от него ни слова. Она не знала ни где он, ни сколько продлится его отсутствие. Она даже понятия не имела, вернется ли он вообще. Все это время она занималась своими делами, высоко держа голову и глубоко страдая в душе. Она не очень хорошо себя чувствовала, но, побуждаемая Мелани, каждый день бывала в лавке и старалась хотя бы внешне поддерживать интерес к лесопилкам. Впервые лавка тяготила ее, и хотя она принесла тройной доход по сравнению с предыдущим годом — деньги так и текли рекой, — Скарлетт не могла заставить себя интересоваться этим делом, была резка и груба с приказчиками. Лесопилка Джонни Гэллегера тоже процветала, и на лесном складе без труда продавали все подчистую, но что бы Джонни ни говорил и ни делал, все раздражало ее. Джонни, будучи, как и она, ирландцем, наконец вспылил от ее придирок и, пригрозив, что уйдет, произнес на этот счет длинную тираду, которая кончалась так: «На этом я умываю, мэм, руки, и проклятье Кромвеля да падет на ваш дом». Чтобы утихомирить его, Скарлетт пришлось долго и униженно перед ним извиняться.

На лесопилке Эшли она не была ни разу. Не заходила она и в контору на лесном складе, если могла предположить, что он там. Она знала, что он избегает ее, знала, что ее частое присутствие в доме по настоятельной просьбе Мелани было для него мукой. Они никогда не оставались вдвоем, ни разу не говорили, а ей не терпелось задать ему один вопрос. Ей так хотелось знать, не возненавидел ли он ее, а также что он сказал Мелани, но Эшли держался от нее на расстоянии и беззвучно молил не заговаривать с ним. Ей было невыносимо видеть его лицо, постаревшее, измученное раскаянием, а то, что его лесопилка каждую неделю приносила лишь убытки, тем более раздражало ее, но она молчала.

Его беспомощность выводила ее из себя. Она не знала, что он мог бы сделать, чтобы улучшить положение, но считала, что он должен что‑то сделать. Вот Ретт — тот непременно что‑то предпринял бы. Ретт всегда что‑то предпринимал — пусть даже не то, что надо, — и она невольно уважала его за это.

Теперь, когда злость на Ретта и его оскорбления прошли, ей стало недоставать его, и она все больше и больше скучала по нему по мере того, как шли дни, а вестей от него не было. Из сложного клубка чувств, который он оставил в ней, — восторга и гнева, душевного надрыва и уязвленной гордости, — родилась меланхолия и, точно ворон, уселась на ее плече. Она тосковала по Ретту, ей недоставало легкой дерзости его анекдотов, вызывавших у нее взрывы хохота, его иронической усмешки, которая сразу ставила все на свои места, не давая преувеличивать беды, — недоставало даже его издевок, больно коловших ее, вызывавших злобные реплики в ответ. Больше же всего ей недоставало его присутствия, недоставало человека, которому можно все рассказать. А лучшего слушателя, чем Ретт, и пожелать было трудно. Она могла без зазрения совести, даже с гордостью, рассказывать ему, как ободрала кого‑нибудь точно липку, и он лишь аплодировал ей. А другим она не могла даже намекнуть на нечто подобное, ибо это лишь шокировало бы их.

Ей одиноко было без Ретта и без Бонни. Она скучала по малышке больше, чем могла предположить. Вспоминая последние жестокие слова Ретта об ее отношении к Уэйду и к Элле, она старалась заполнить ими пустые часы. Но все было ни к чему. Слова Ретта и поведение детей открыли Скарлетт глаза на страшную, больно саднившую правду. Пока дети были маленькие, она была слишком занята, слишком поглощена заботами о том, где достать денег, слишком была с ними резка и нетерпима и не сумела завоевать ни их доверие, ни любовь. А теперь было слишком поздно или, быть может, у нее не хватало терпения или ума проникнуть в тайну их сердечек.

Элла! Скарлетт крайне огорчилась, поняв, что Элла — неумная девочка, но это было именно так. Ее умишко ни на чем не задерживался — мысли порхали, как птички с ветки на ветку, и даже когда Скарлетт принималась ей что‑то рассказывать, Элла с детской непосредственностью прерывала ее, задавая вопросы, не имевшие никакого отношения к рассказу, и прежде чем Скарлетт успевала дать пояснения, забывала, о чем спрашивала. Что же до Уэйда... возможно, Ретт прав. Возможно, мальчик боится ее. Это казалось Скарлетт странным и обидным. Ну, почему сын, единственный сын, должен бояться ее? Когда она пыталась втянуть Уэйда в разговор, на нее смотрели бархатные карие глаза Чарлза, мальчик ежился и смущенно переминался с ноги на ногу. А вот с Мелани он болтал без умолку и показывал ей все содержимое своих карманов, начиная с червей для рыбной ловли и кончая обрывками веревок.

Мелани умела обращаться с детишками. Тут уж ничего не скажешь. Ее Бо был самым воспитанным и самым прелестным ребенком в Атланте. Скарлетт куда лучше ладила с ним, чем с собственным сыном, потому что маленький Бо не стеснялся взрослых и, увидев ее, тут же, без приглашения, залезал к ней на колени. Какой это был прелестный блондинчик — весь в Эшли! Вот если бы Уэйд был как Бо... Конечно, Мелани могла так много дать сыну потому, что это было ее единственное дитя, да к тому же не было у нее таких забот и не работала она, как Скарлетт. Во всяком случае, Скарлетт пыталась таким образом оправдаться перед собой, однако элементарная честность вынуждала ее признать, что Мелани любит детей и была бы рада, если бы у нее был их десяток. Недаром она с таким теплом относилась к Уэйду и ко всем соседским малышам.

Скарлетт никогда не забудет, как однажды, приехав к Мелани, чтобы забрать Уэйда, она шла по дорожке и вдруг услышала клич повстанцев, очень точно воспроизведенный ее сыном — тем самым Уэйдом, который дома был всегда тише мышки. А вслед за криком Уэйда раздался пронзительный тоненький взвизг Бо. Войдя в гостиную, она обнаружила, что эти двое, вооружившись деревянными мечами, атакуют диван. Оба мгновенно умолкли, а из‑за дивана поднялась Мелани, смеясь и подбирая рассыпанные шпильки, которыми она пыталась заколоть свои непослушные кудри.

— Это Геттисберг, — пояснила она. — Я изображаю янки, и мне, конечно, сильно досталось. А это генерал Ли, — указала она на Бо, — а это генерал Пиккет. — И она обняла за плечи Уэйда.

Да, Мелани умела обращаться с детьми, и тайны этого Скарлетт никогда не постичь.

«По крайней мере, — подумала Скарлетт, — хоть Бонни любит меня, и ей нравится со мной играть». Но честность вынуждала ее признать, что Бонни куда больше предпочитает Ретта. Да к тому же она может вообще больше не увидеть Бонни. Ведь Ретт, возможно, находится сейчас в Персии или в Египте и — как знать? — возможно, намерен остаться там навсегда.

Когда доктор Мид сказал Скарлетт, что она беременна, она была потрясена, ибо ожидала услышать совсем другой диагноз — что у нее разлитие желчи и нервное перенапряжение. Но тут она вспомнила ту дикую ночь и покраснела. Значит, в те минуты высокого наслаждения был зачат ребенок, хотя память о самом наслаждении и отодвинула на задний план то, что произошло потом. Впервые в жизни Скарлетт обрадовалась, что у нее будет ребенок. Хоть бы мальчик! Хороший мальчик, а не такая мямля, как маленький Уэйд. Как она будет заботиться о нем! Теперь, когда у нее есть для ребенка свободное время и деньги, которые облегчат его путь по жизни, как она будет счастлива заняться им! Она хотела было тотчас написать Ретту на адрес матери в Чарльстон. Силы небесные, теперь‑то он уж должен вернуться домой! А что, если он задержится и ребенок родится без него?! Она же ничего не сможет объяснить ему потом! Но если написать, он еще подумает, что она хочет, чтобы он вернулся, и только станет потешаться над ней. А он не должен знать, что она хочет, чтобы он был рядом или что он нужен ей.

Она порадовалась, что подавила в себе желание написать Ретту, когда получила письмо от тети Полин из Чарльстона, где, судя по всему, гостил у своей матери Ретт. С каким облегчением узнала она, что он все еще в Соединенных Штатах, хотя письмо тети Полин само по себе вызвало у нее вспышку злости. Ретт зашел с Бонни навестить ее и тетю Евлалию, и уж как Полин расхваливала девочку:

«До чего же она хорошенькая! А когда вырастет, станет просто красавицей. Но ты, разумеется, понимаешь, что любому мужчине, который вздумает за ней ухаживать, придется иметь дело с капитаном Батлером, ибо никогда еще я не видела такого преданного отца. А теперь, дорогая моя, хочу тебе кое в чем признаться. До встречи с капитаном Батлером я считала, что твой брак с ним — страшный мезальянс, ибо у нас в Чарльстоне никто не слышал о нем ничего хорошего и все очень жалеют его семью. Мы с Евлалией даже не были уверены, следует ли нам его принимать, но ведь в конце концов милая крошка, с которой он собрался к нам прийти, — наша внучка. Когда же он появился у нас, мы были приятно удивлены — очень приятно — и поняли, что христиане не должны верить досужим сплетням. Он совершенно очарователен. И к тому же, как нам кажется, хорош собой — такой серьезный и вежливый. И так предан тебе и малышке.

А теперь, моя дорогая, я должна написать тебе о том, что дошло до наших ушей, — мы с Евлалией сначала и верить этому не хотели. Мы, конечно, слышали, что ты порою трудишься в лавке, которую оставил тебе мистер Кеннеди. Эти слухи доходили до нас, но мы их отрицали. Мы понимали, что в те первые страшные дни после конца войны это было, возможно, необходимо — такие уж были тогда условия жизни. Но сейчас ведь в этом нет никакой необходимости, поскольку, как мне известно, капитан Батлер более чем обеспечен и, кроме того, вполне способен управлять вместо тебя любым делом и любой собственностью. Нам просто необходимо было знать, насколько справедливы эти слухи, и мы вынуждены были задать капитану Батлеру некоторые вопросы, хотя это и было для нас крайне неприятно.

Он нехотя сообщил нам, что ты каждое утро проводишь в лавке и никому не позволяешь вести за тебя бухгалтерию. Он признался также, что у тебя есть лесопилка или лесопилки (мы не стали уточнять, будучи крайне расстроены этими сведениями, совсем для нас новыми), что побуждает тебя разъезжать одной или в обществе какого‑то бродяги, который, по словам капитана Батлера, — просто убийца. Мы видели, как это переворачивает ему душу, и решили, что он самый снисходительный — даже слишком снисходительный — муж. Скарлетт, это надо прекратить. Твоей матушки уже нет на свете, чтобы сказать тебе это, и вместо нее обязана тебе сказать это я. Подумай только, каково будет твоим детям, когда они вырастут и узнают, что ты занималась торговлей! Как им будет горько, когда они узнают, что тебя могли оскорблять грубые люди и что своими разъездами по лесопилкам ты давала повод для неуважительных разговоров и сплетен. Такое неженское поведение...»

Скарлетт ругнулась и, не дочитав письма, отшвырнула его. Она так и видела тетю Полин и тетю Евлалию, которые сидят в своем ветхом домишке на Бэттери и осуждают ее, а ведь сами еле сводят концы с концами и умерли бы с голоду, если бы она, Скарлетт, не помогала им каждый месяц. Неженское поведение? Да если бы она, черт побери, не занималась неженскими делами, у тети Полин и тети Евлалии не было бы сейчас, наверное, крыши над головой. Черт бы побрал этого Ретта — зачем он рассказал им про лавку, про бухгалтерию и про лесопилки! Рассказал, значит, нехотя, да? Она‑то знала, с каким удовольствием он изображал из себя перед старухами этакого серьезного, заботливого, очаровательного человека, преданного мужа и отца. А самому доставляло несказанное наслаждение расписывать им ее занятия в лавке, на лесопилках и в салуне. Не человек, а дьявол. И почему только он так любит делать людям гадости?

Однако злость Скарлетт очень скоро сменилась апатией. За последнее время из ее жизни исчезло многое, придававшее ей остроту. Вот если бы вновь познать былое волнение и радость от присутствия Эшли... вот если бы Ретт вернулся домой и смешил бы ее, как прежде.

Они вернулись домой без предупреждения. Об их возвращении оповестил лишь стук сундуков, сбрасываемых на пол в холле, да голосок Бонни, крикнувшей: «Мама!»

Скарлетт выскочила из своей комнаты наверху и увидела дочурку, пытавшуюся забраться по ступенькам, высоко поднимая свои коротенькие, толстенькие ножки. К груди она прижимала полосатого котенка.

— Бабушка мне дала, — возбужденно объявила Бонни, поднимая котенка за шкирку.

Скарлетт подхватила ее на руки и принялась целовать, благодаря бога за то, что присутствие девочки избавляет ее от встречи с Реттом наедине. Глядя поверх головки Бонни, она увидела, как он внизу, в холле, расплачивался с извозчиком. Он посмотрел вверх, увидел ее и, широким взмахом руки сняв панаму, склонился в поклоне. Встретившись с ним взглядом, она почувствовала, как у нее подпрыгнуло сердце. Каков бы он ни был, что бы он ни сделал, но он дома, и она была рада.

— А где Мамушка? — спросила Бонни, завертевшись на руках у Скарлетт, и та нехотя опустила ребенка на пол.

Да, ей будет куда труднее, чем она предполагала, достаточно небрежно поздороваться с Реттом. А уж как сказать ему о ребенке, которого она ждет!.. Она смотрела на его лицо, пока он поднимался по ступенькам, — смуглое беспечное лицо, такое непроницаемое, такое замкнутое. Нет, сейчас она ничего ему не скажет. Не может сказать. И однако же о такого рода событии должен прежде всего знать муж — муж, который обрадуется, услышав. Но она не была уверена, что он обрадуется.

Она стояла на площадке лестницы, прислонившись к перилам, и думала, поцелует он ее или нет. Он не поцеловал. Он сказал лишь:

— Что‑то вы побледнели, миссис Батлер. Что, румян в продаже нет?

И ни слова о том, что он скучал по ней — пусть даже этого на самом деле не было. По крайней мере мог бы поцеловать ее при Мамушке, которая, присев в реверансе, уже уводила Бонни в детскую. Ретт стоял рядом со Скарлетт на площадке и небрежно оглядывал ее.

— Уж не потому ли вы так плохо выглядите, что тосковали по мне? — спросил он, и, хотя губы его улыбались, в глазах не было улыбки.

Так вот, значит, как он намерен себя с ней держать. Столь же отвратительно, как всегда. Внезапно ребенок, которого она носила под сердцем, из счастливого дара судьбы превратился в тошнотворное бремя, а этот человек, стоявший так небрежно, держа широкополую панаму у бедра, — в ее злейшего врага, причину всех зол. И потому в глазах ее появилось ожесточение — ожесточение, которого он не мог не заметить, и улыбка сбежала с его лица.

— Если я бледная, то по вашей вине, а вовсе не потому, что скучала по вас, хоть вы и воображаете, что это так. На самом же деле... — О, она собиралась сообщить ему об этом совсем иначе, но слова сами сорвались с языка, и она бросила ему, не задумываясь над тем, что их могут услышать слуги: — Дело в том, что у меня будет ребенок!

Он судорожно глотнул, и глаза его быстро скользнули по ее фигуре. Он шагнул было к ней, словно хотел дотронуться до ее плеча, но она увернулась, и в глазах ее было столько ненависти, что лицо его стало жестким.

— Вот как! — холодно произнес он. — Кто же счастливый отец? Эшли?

Она вцепилась в балясину перил так крепко, что уши вырезанного на них льва до боли врезались ей в ладонь. Даже она, которая так хорошо знала его, не ожидала такого оскорбления. Конечно, это шутка, но шутка слишком чудовищная, чтобы с нею мириться. Ей хотелось выцарапать ему ногтями глаза, чтобы не видеть в них этого непонятного сияния.

— Да будьте вы прокляты! — сказала она голосом, дрожавшим от ярости. — Вы... вы же знаете, что это ваш ребенок. И мне он не нужен, как и вам. Ни одна... ни одна женщина не захочет иметь ребенка от такой скотины. Хоть бы... о господи, хоть бы это был чей угодно ребенок, только не ваш!

Она увидела, как вдруг изменилось его смуглое лицо — задергалось от гнева или от чего‑то еще, словно его ужалили.

«Вот! — подумала она со жгучим злорадством. — Вот! Наконец‑то я причинила ему боль!»

Но лицо Ретта уже снова приняло обычное непроницаемое выражение, он пригладил усики с одной стороны.

— Не огорчайтесь, — сказал он и, повернувшись, пошел дальше, — может, у вас еще будет выкидыш.

Все закружилось вокруг нее: она подумала о том, сколько еще предстоит вынести до родов — изнурительная тошнота, уныло тянущееся время, разбухающий живот, долгие часы боли. Ни один мужчина обо всем этом понятия не имеет. И он еще смеет шутить! Да она сейчас расцарапает его. Только вид крови на его смуглом лице способен утишить боль в ее сердце. Она стремительно подскочила к нему точно кошка, но он, вздрогнув от неожиданности, отступил и поднял руку, чтобы удержать ее. Остановившись на краю верхней, недавно натертой ступеньки, она размахнулась, чтобы ударить его, но, наткнувшись на его вытянутую руку, потеряла равновесие. В отчаянном порыве она попыталась было уцепиться за балясину, но не сумела. И полетела по лестнице вниз головой, чувствуя, как у нее внутри все разрывается от боли. Ослепленная болью, она уже и не пыталась за что‑то схватиться и прокатилась так на спине до конца лестницы.

Впервые в жизни Скарлетт лежала в постели больная — если не считать тех случаев, когда она рожала, но это было не в счет. Тогда она не чувствовала себя одинокой и ей не было страшно — сейчас же она лежала слабая, растерянная, измученная болью. Она знала, что серьезно больна — куда серьезнее, чем ей говорили, — и смутно сознавала, что может умереть. Сломанное ребро отзывалось болью при каждом вздохе, ушибленные лицо и голова болели, и все тело находилось во власти демонов, которые терзали ее горячими щипцами и резали тупыми ножами и лишь ненадолго оставляли в покое, настолько обессиленную, что она не успевала прийти в себя, как они возвращались. Нет, роды были совсем не похожи на это. Через два часа после рождения Уэйда, и Эллы, и Бонни она уже уплетала за обе щеки, а сейчас даже мысль о чем‑либо, кроме холодной воды, вызывала у нее тошноту.

Как, оказывается, легко родить ребенка и как мучительно — не родить! Удивительно, что, даже несмотря на боль, у нее сжалось сердце, когда она узнала, что у нее не будет ребенка. И еще удивительнее то, что это был первый ребенок, которого она действительно хотела иметь. Она попыталась понять, почему ей так хотелось этого ребенка, но мозг ее слишком устал. Она не в состоянии была думать ни о чем — разве что о том, как страшно умирать. А смерть присутствовала в комнате, и у Скарлетт не было сил противостоять ей, бороться с нею. И ей было страшно. Ей так хотелось, чтобы кто‑то сильный сидел рядом, держал ее за руку, помогал ей сражаться со смертью, пока силы не вернутся к ней, чтобы она сама могла продолжать борьбу.

Боль прогнала злобу, и Скарлетт хотелось сейчас, чтобы рядом был Ретт. Но его не было, а заставить себя попросить, чтобы он пришел, она не могла.

В последний раз она видела его, когда он подхватил ее на руки в темном холле у подножия лестницы лицо у него было белое, искаженное от страха, и он хриплым голосим звал Мамушку. Потом еще она смутно помнила, как ее несли наверх, а дальше все терялось во тьме. А потом — боль, снова боль, и комната наполнилась жужжанием голосов, звучали всхлипывания тети Питтипэт, и резкие приказания доктора Мида, и топот ног, бегущих по лестнице, и тихие шаги на цыпочках в верхнем холле.

А потом — слепящий свет, сознание надвигающейся смерти и страх, наполнивший ее желанием крикнуть имя, но вместо крика получился лишь шепот.

Однако жалобный этот шепот вызвал мгновенный отклик, и откуда‑то из темноты, окружавшей постель, раздался нежный напевный голос той, кого она звала:

— Я здесь, дорогая. Я все время здесь.

Смерть и страх начали постепенно отступать, когда Мелани взяла ее руку и осторожно приложила к своей прохладной щеке. Скарлетт попыталась повернуть голову, чтобы увидеть ее лицо, но не смогла. Мелли ждет ребенка, а к дому подступают янки. Город в огне, и надо спешить, спешить. Но ведь Мелли ждет ребенка и спешить нельзя. Надо остаться с ней, пока не родится ребенок, и не падать духом, потому что Мелли нужна ее сила. Мелли мучила ее — снова горячие щипцы впились в ее тело, снова ее стали резать тупые ножи, и боль накатывалась волнами. Надо крепко держаться за руку Мелли.

Но доктор Мид все‑таки пришел, хоть он и очень нужен солдатам в лазарете; она услышала, как он сказал:

— Бредит. Где же капитан Батлер?

Вокруг была темная ночь, а потом становилось светло, и то у нее должен был родиться ребенок, то у Мелани, которая кричала в муках, но, в общем, Мелли все время была тут, и Скарлетт чувствовала ее прохладные пальцы, и Мелани в волнении не всплескивала зря руками и не всхлипывала, как тетя Питти. Стоило Скарлетт открыть глаза и сказать: «Мелли?» — и голос Мелани отвечал ей. И, как правило, ей хотелось еще шепнуть: «Ретт... Я хочу Ретта», — но она, словно во сне, вспоминала, что Ретт не хочет ее, и перед ней вставало лицо Ретта — темное, как у индейца, и его белые зубы, обнаженные в усмешке. Ей хотелось, чтобы он был с ней, но он не хочет.

Однажды она сказала: «Мелли?» — и голос Мамушки ответил: «Тихо, детка», — и она почувствовала прикосновение холодной тряпки к своему лбу и в испуге закричала: «Мелли! Мелани!» — и кричала снова и снова, но Мелани долго не приходила. В это время Мелани сидела на краю кровати Ретта, а Ретт, пьяный, рыдал, лежа на полу, — всхлипывал и всхлипывал, уткнувшись ей в колени.

Выходя из комнаты Скарлетт, Мелани всякий раз видела, как он сидит на своей кровати — дверь в комнату он держал открытой — и смотрит на дверь через площадку. В комнате у него было не убрано, валялись окурки сигар, стояли тарелки с нетронутой едой. Постель была смята, не заправлена, он сидел на ней небритый, осунувшийся и без конца курил. Он ни о чем не спрашивал Мелани, когда видел ее. Она сама обычно на минуту задерживалась у двери и сообщала: «Мне очень жаль, но ей хуже», или: «Нет, она вас еще не звала. Она ведь в бреду», или: «Не надо отчаиваться, капитан Батлер. Давайте я приготовлю вам горячего кофе или чего‑нибудь поесть. Вы так заболеете».

Ей всегда было бесконечно жаль его, хотя от усталости и недосыпания она едва ли способна была что‑то чувствовать. Как могут люди так плохо говорить о нем — называют его бессердечным, порочным, неверным мужем, когда она видит, как он худеет, видит, как мучается?! Несмотря на усталость, она всегда стремилась, сообщая о том, что происходит в комнате больной, сказать это подобрее. А он глядел на нее, как грешник, ожидающий Страшного суда, — словно ребенок, внезапно оставшийся один во враждебном мире. Правда, Мелани ко всем относилась, как к детям.

Когда же, наконец, она подошла к его двери, чтобы сообщить радостную весть, что Скарлетт стало лучше, зрелище, представшее ее взору, было для нее полной неожиданностью. На столике у кровати стояла полупустая бутылка виски, и в комнате сильно пахло спиртным. Ретт посмотрел на нее горящими остекленелыми глазами, и челюсть у него затряслась, хоть он и старался крепко стиснуть зубы.

— Она умерла?

— Нет, что вы! Ей гораздо лучше.

Он произнес: «О господи», — и уткнулся головой в ладони. Мелани увидела, как задрожали, словно от озноба, его широкие плечи, — она с жалостью глядела на него и вдруг с ужасом поняла, что он плачет. Мелани ни разу еще не видела плачущего мужчину и, уж конечно же, не представляла себе плачущим Ретта — такого бесстрастного, такого насмешливого, такого вечно уверенного в себе.

Эти отчаянные, сдавленные рыдания испугали ее. Мелани в страхе подумала, что он совсем пьян, а она больше всего на свете боялась пьяных. Но он поднял голову, и, увидев его глаза, она тотчас вошла в комнату, тихо закрыла за собой дверь и подошла к нему. Она ни разу еще не видела плачущего мужчину, но ей пришлось успокаивать стольких плачущих детей. Она мягко положила руку ему на плечо, и он тотчас обхватил ее ноги руками. И не успела она опомниться, как уже сидела у него на кровати, а он уткнулся головой ей в колени и так сильно сжал ее ноги, что ей стало больно.

Она неясно поглаживала его черную голову, приговаривая, успокаивая:

— Да будет вам! Будет! Она скоро поправится.

От этих слов Мелани он лишь крепче сжал ее ноги и заговорил — быстро, хрипло, выплескивая все, словно поверяя свои секреты могиле, которая никогда их не выдаст, — впервые в жизни выплескивая правду, безжалостно обнажая себя перед Мелани, которая сначала ничего не понимала и держалась с ним по‑матерински. А он все говорил — прерывисто, уткнувшись головой ей в колени, дергая за фалды юбки. Иной раз слова его звучали глухо, словно сквозь вату, иной раз она слышала их отчетливо, — безжалостные, горькие слова признания и унижения; он говорил такое, чего она ни разу не слышала даже от женщины, посвящал ее в тайную тайн, так что кровь приливала к щекам Мелани, и она благодарила бога за то, что Ретт не смотрит на нее.

Она погладила его по голове, точно перед ней был маленький Бо, и сказала:

— Замолчите, капитан Батлер! Вы не должны говорить мне такое! Вы не в себе! Замолчите!

Но неудержимый поток слов хлестал из него, он хватался за ее платье, точно за последнюю надежду.

Он обвинял себя в каких‑то непонятных ей вещах, бормотал имя Красотки Уотлинг, а потом вдруг, с яростью встряхнув ее, воскликнул:

— Я убил Скарлетт! Я убил ее. Вы не понимаете. Она же не хотела этого ребенка и...

— Да замолчите! Вы просто не в себе! Она не хотела ребенка?! Да какая женщина не хочет...

— Нет! Нет! Вы хотите детей. А она не хочет. Не хочет иметь от меня...

— Перестаньте!

— Вы не понимаете. Она не хотела иметь ребенка, а я ее принудил. Этот... этот ребенок... ведь все по моей вине. Мы же не спали вместе...

— Замолчите, капитан Батлер! Нехорошо это...

— А я был пьян, я был вне себя, мне хотелось сделать ей больно... потому что она причинила мне боль. Мне хотелось... и я принудил ее, но она‑то ведь не хотела меня. Она никогда меня не хотела. Никогда, а я так старался... так старался и...

— О, прошу вас!

— И я ведь ничего не знал о том, что она ждет ребенка, до того дня... когда она упала. А она не знала, где я был, и не могла написать мне и сообщить... да она бы и не написала мне, даже если б знала. Говорю вам... говорю вам: я бы сразу приехал домой... если бы только узнал... не важно, хотела бы она этого или нет...

— О да, я уверена, что вы бы приехали!

— Бог ты мой, как я дурил эти недели, дурил и пил! А когда она мне сказала — там, на лестнице... как я себя повел? Что я сказал? Я рассмеялся и сказал: «Не волнуйтесь. Может, у вас еще будет выкидыш». И тогда она...

Мелани побелела и расширенными от ужаса глазами посмотрела на черную голову, метавшуюся, тычась в ее колени. Послеполуденное солнце струилось в раскрытое окно, и она вдруг увидела — словно впервые, — какие у него большие смуглые сильные руки, какие густые черные волосы покрывают их. Она невольно вся сжалась. Эти руки казались ей такими хищными, такими безжалостными, и, однако же, они беспомощно цеплялись сейчас за ее юбки...

Неужели до него дошла эта нелепая ложь насчет Скарлетт и Эшли, он поверил и приревновал? Действительно, он уехал из города сразу же после того, как разразился скандал, но... Нет, этого быть не может. Капитан Батлер и раньше всегда уезжал неожиданно. Не мог он поверить сплетне. Слишком он разумный человек. Если бы дело было в Эшли, он наверняка постарался бы его пристрелить! Или по крайней мере потребовал бы объяснения!

Нет, этого быть не может. Просто он пьян и слишком измотан, и в голове у него немного помутилось, как бывает, когда у человека бред и он несет всякую дичь. Мужчины не обладают такой выносливостью, как женщины. Что‑то расстроило его, быть может, он поссорился со Скарлетт и сейчас в своем воображении раздувает эту ссору. Возможно, что‑то из того, о чем он тут говорил, и правда. Но все правдой быть не может. И, уж во всяком случае, это последнее признание! Ни один мужчина не сказал бы такого женщине, которую он любит столь страстно, как этот человек любит Скарлетт. Мелани никогда еще не сталкивалась со злом, никогда не сталкивалась с жестокостью, и сейчас, когда они впервые предстали перед ней, она не могла этому поверить. Ретт пьян и болен. А больным детям не надо перечить.

— Да будет вам! Будет! — приговаривала она. — Помолчите. Я все понимаю.

Он резко вскинул голову и, посмотрев на нее налитыми кровью глазами, сбросил с себя ее руки.

— Нет, клянусь богом, вы ничего не поняли! Вы не можете понять! Вы... слишком вы добрая, чтобы понять. Вы мне не верите, а все, что я сказал, — правда, и я — пес. Вы знаете, почему я так поступил? Я с ума сходил, я обезумел от ревности. Я всегда был ей безразличен, и вот я подумал, что сумею сделать так, что не буду ей безразличен. Но ничего не вышло. Она не любит меня. Никогда не любила. Она любит...

Горящие пьяные глаза его встретились с ее взглядом, и он умолк с раскрытым ртом, словно впервые осознав, с кем говорит. Лицо у Мелани было белое, напряженное, но глаза, в упор смотревшие на него, были ласковые, полные сочувствия, неверия. Эти мягкие карие глаза светились безмятежностью, из глубины их смотрела такая наивность, что у Ретта возникло ощущение, будто ему дали пощечину, и его затуманенное алкоголем сознание немного прояснилось, а стремительный поток безумных слов прервался. Он что‑то пробормотал, отводя от Мелани взгляд, и быстро заморгал, словно пытаясь вернуться в нормальное состояние.

— Я — скотина, — пробормотал он, снова устало тыкаясь головой ей в колени. — Но не такая уж большая скотина. И хотя я все рассказал вам, вы ведь мне не поверили, да? Вы слишком хорошая, чтобы поверить. До вас я ни разу не встречал по‑настоящему хорошего человека. Вы не поверите мне, правда?

— Нет, не поверю, — примирительно сказала Мелани и снова погладила его по голове. — Она поправится. Будет вам, капитан Батлер! Не надо плакать! Она поправится.

### Глава LVII

Месяц спустя Ретт посадил в поезд, шедший в Джонсборо, бледную худую женщину. Уэйд и Элла, отправлявшиеся с нею в путь, молчали и не знали, как себя вести при этой женщине с застывшим, белым как мел лицом. Они жались к Присей, потому что даже их детскому уму казалось страшным холодное отчуждение, установившееся между их матерью и отчимом.

Скарлетт решила поехать к себе в Тару, хотя еще и была очень слаба. Ей казалось, что она задохнется, если пробудет в Атланте еще один день; голова ее раскалывалась от мыслей, которые она снова и снова гоняла по протоптанной дорожке, тщетно пытаясь разобраться в создавшемся положении. Она была нездорова и душевно надломлена; ей казалось, что она, словно потерявшийся ребенок, забрела в некий страшный край, где нет ни одного знакомого столба или знака, который указывал бы дорогу.

Однажды она уже бежала из Атланты, спасаясь от наступавшей армии, а теперь бежала снова, отодвинув заботы в глубину сознания с помощью старой уловки: «Сейчас я не стану об этом думать. Я не вынесу. Я подумаю об этом завтра, в Таре. Завтра будет уже новый день». Ей казалось, что если только она доберется до дома и очутится среди тишины и зеленых хлопковых полей, все ее беды сразу отпадут, и она сможет каким‑то чудом собрать раздробленные мысли, построить из обломков что‑то такое, чем можно жить.

Ретт смотрел вслед поезду, пока он не исчез из виду, и на лице его читались озадаченность и горечь, отчего оно выглядело не очень приятным. Ретт вздохнул, отпустил карету и, вскочив в седло, поехал по Плющовой улице к дому Мелани.

Утро было теплое, и Мелани сидела на затененном виноградом крыльце, держа на коленях корзину с шитьем, полную носков. Она смутилась и растерялась, увидев, как Ретт соскочил с лошади и перекинул поводья через руку чугунного негритенка, стоявшего у дорожки. Они не виделись наедине с того страшного дня, когда Скарлетт была так больна, а он был... ну, словом... так ужасно пьян. Мелани неприятно было даже мысленно произносить это слово. Пока Скарлетт поправлялась, они лишь изредка переговаривались, причем Мелани всякий раз обнаруживала, что ей трудно встретиться с ним взглядом. Он же в таких случаях всегда держался со своим неизменно непроницаемым видом и никогда ни взглядом, ни намеком не дал понять, что помнит ту сцену между ними. Эшли как‑то говорил Мелани, что мужчины часто не помнят, что они делали или говорили спьяну, и Мелани молилась в душе, чтобы память на этот раз изменила капитану Батлеру. Ей казалось, что она умрет, если узнает, что он помнит, о чем он тогда ей говорил. Она погибала от чувства неловкости и смущения и вся залилась краской, пока он шел к ней по дорожке. Но, наверно, он пришел лишь затем, чтобы спросить, не может ли Бо провести день с Бонни. Едва ли он столь плохо воспитан, чтобы явиться к ней с благодарностью за то, что она тогда сделала. Она поднялась навстречу ему, лишний раз не без удивления подметив, как легко он движется для такого высокого, крупного мужчины.

— Скарлетт уехала?

— Да. Тара пойдет ей на пользу, — с улыбкой сказал он. — Иной раз я думаю, что Скарлетт — вроде этого гиганта Антея, которому придавало силы прикосновение к матери‑земле. Скарлетт нельзя надолго расставаться со своей красной глиной, которую она так любит. А вид растущего хлопка куда больше поможет ей, чем все укрепляющие средства доктора Мида.

— Не хотите ли присесть, — предложила Мелани, дрожащей от волнения рукой указывая на кресло. Он был такой большой, и в нем так сильно чувствовался мужчина, а это всегда выводило Мелани из равновесия. В присутствии людей, от которых исходила подобная сила и жизнестойкость, она ощущала себя как бы меньше и даже слабее, чем на самом деле. Мистер Батлер был такой смуглый, могучий, под белым полотняным его пиджаком угадывались такие мускулы, что, взглянув на него, она немного испугалась. Сейчас ей казалось невероятным, что она видела эту силу, эту самонадеянность сломленными. И держала эту черноволосую голову на своих коленях!

«О господи!» — подумала она в смятении и еще больше покраснела.

— Мисс Мелли, — мягко сказал Ретт, — мое присутствие раздражает вас? Может, вы хотите, чтобы я ушел? Прошу вас, будьте со мной откровенны.

«О! — подумала она. — Значит, он помнит! И понимает, как я растеряна!»

Она умоляюще подняла на него глаза, и вдруг все ее смущение и смятение исчезли. Он смотрел на нее таким спокойным, таким добрым, таким понимающим взглядом, что она просто уразуметь не могла, как можно быть такой глупой и так волноваться. Лицо у него было усталое и, не без удивления подумала Мелани, очень печальное. Да как могло ей прийти в голову, что он столь плохо воспитан и может затеять разговор о том, о чем оба они хотели бы забыть?

«Бедняга, он так переволновался из‑за Скарлетт», — подумала она и, заставив себя улыбнуться, сказала:

— Садитесь же, пожалуйста, капитан Батлер.

Он тяжело опустился в кресло, глядя на нее, а она снова взялась за штопку носков.

— Мисс Мелли, я пришел просить вас о большом одолжении, — он улыбнулся, и уголки его губ поползли вниз, — и о содействии в обмане, хоть я и знаю, что вам это не по нутру.

— В обмане?

— Да. Я в общем‑то пришел поговорить с вами об одном деле.

— О господи! В таком случае вам надо бы повидать мистера Уилкса. Я такая гусыня во всем, что касается дел. Я ведь не такая шустрая, как Скарлетт.

— Боюсь, что Скарлетт слишком шустрая во вред себе, — сказал он, — и как раз об этом я и намерен с вами говорить. Вы знаете, как она... была больна. Когда она вернется из Тары, она снова точно бешеная возьмется за свою лавку и за эти свои лесопилки — признаюсь, я от всей души желаю, чтобы обе они как‑нибудь ночью взлетели на воздух. Я боюсь за ее здоровье, мисс Мелли.

— Да, она слишком много взвалила на себя. Вы должны заставить ее отойти от дел и заняться собой.

Он рассмеялся.

— Вы знаете, какая она упрямая. Я не пытаюсь даже спорить с ней. Она как своенравный ребенок. Она не разрешает мне помогать ей — не только мне, но вообще никому. Я пытался убедить ее продать свою долю в лесопилках, но она не желает. А теперь, мисс Мелли, я и подхожу к тому делу, по поводу которого пришел к вам. Я знаю, что Скарлетт продала бы свою долю в лесопилках мистеру Уилксу — и только ему, и я хочу, чтобы мистер Уилкс выкупил у нее эти лесопилки.

— О, боже ты мой! Это было бы, конечно, очень славно, но... — Мелани умолкла, прикусив губу. Не могла же она говорить с посторонним о деньгах. Так уж получалось, что хоть Эшли и зарабатывал кое‑что на лесопилке, но им почему‑то всегда не хватало. Мелани тревожило то, что они почти ничего не откладывают. Она сама не понимала, куда уходят деньги. Эшли давал ей достаточно, чтобы вести дом, но когда дело доходило до каких‑то дополнительных трат, им всегда бывало трудно. Конечно, счета от ее врачей складывались в изрядную сумму, да и книги, и мебель, которую Эшли заказал в Нью‑Йорке, тоже немало стоили. И они кормили и одевали всех бесприютных, которые спали у них в подвале. И Эшли ни разу не отказал в деньгах бывшим конфедератам. И...

— Мисс Мелли, я хочу одолжить вам денег, — сказал Ретт.

— Это очень любезно с вашей стороны, но ведь мы, возможно, не сумеем расплатиться.

— Я вовсе не хочу, чтобы вы со мной расплачивались. Не сердитесь на меня, мисс Мелли! Пожалуйста, дослушайте до конца. Вы сполна расплатитесь со мной, если я буду знать, что Скарлетт больше не изнуряет себя, ездя на свои лесопилки, которые ведь так далеко от города. Ей вполне хватит и лавки, чтобы не сидеть без дела и чувствовать себя счастливой... Вы со мной согласны?

— М‑м... да, — неуверенно сказала Мелани.

— Вы хотите, чтобы у вашего мальчика был пони? И хотите, чтобы он пошел в университет, причем в Гарвардский, и чтобы он поехал в Европу?

— Ах, конечно! — воскликнула Мелани, и лицо ее, как всегда при упоминании о Бо, просветлело. — Я хочу, чтобы у него все было, но... все вокруг сейчас такие бедные, что...

— Со временем мистер Уилкс сможет нажить кучу денег на лесопилках, — сказал Ретт. — А мне бы хотелось чтобы Бо имел все, чего он заслуживает.

— Ах, капитан Батлер, какой вы хитрый бесстыдник! — с улыбкой воскликнула она. — Играете на моих материнских чувствах! Я ведь читаю ваши мысли, как раскрытую книгу.

— Надеюсь, что нет, — сказал Ретт, и впервые в глазах его что‑то сверкнуло. — Ну, так как? Разрешаете вы мне одолжить вам деньги?

— А при чем же тут обман?

— Мы с вами будем конспираторами и обманем и Скарлетт и мистера Уилкса.

— О господи! Я не могу!

— Если Скарлетт узнает, что я замыслил что‑то за ее спиной — даже для ее же блага... ну, вы знаете нрав Скарлетт! Что же до мистера Уилкса, то боюсь, он откажется принять от меня любой заем. Так что ни один из них не должен знать, откуда деньги.

— Ах, я уверена, что мистер Уилкс не откажется, если поймет, в чем дело. Он так любит Скарлетт.

— Да, я в этом не сомневаюсь, — ровным тоном произнес Ретт. — И все равно откажется. Вы же знаете, какие гордецы все эти Уилксы.

— О господи! — воскликнула несчастная Мелани. — Хотела бы я... Право же, капитан Батлер, я не могу обманывать мужа.

— Даже чтобы помочь Скарлетт? — Вид у Ретта был очень обиженный. — А ведь она так любит вас!

Слезы задрожали на ресницах Мелани.

— Вы же знаете, я все на свете готова для нее сделать. Я никогда‑никогда не смогу расплатиться с ней за то, что она сделала для меня. Вы же знаете.

— Да, — коротко сказал он, — я знаю, что она для вас сделала. А не могли бы вы сказать мистеру Уилксу, что получили деньги по наследству от какого‑нибудь родственника?

— Ах, капитан Батлер, у меня нет родственников, у которых был бы хоть пенни в кармане.

— Ну, а если я пошлю деньги мистеру Уилксу по почте — так, чтобы он не узнал, от кого они пришли? Проследите вы за тем, чтобы он приобрел на них лесопилки, а не... ну, словом, не роздал бы их всяким обнищавшим бывшим конфедератам?

Сначала Мелани обиделась на его последние слова, усмотрев в них порицание Эшли, но Ретт так понимающе улыбался, что она улыбнулась в ответ.

— Конечно, прослежу.

— Значит, договорились? Это будет нашей тайной?

— Но я никогда не имела тайн от мужа!

— Уверен в этом, мисс Мелли.

Глядя сейчас на него, она подумала, что всегда правильно о нем судила. А вот многие другие судили неправильно. Люди говорили, что он грубиян, и насмешник, и плохо воспитан, и даже бесчестен. Правда, многие вполне приличные люди признавали сейчас, что были неправы. Ну, а вот она с самого начала знала, что он отличный человек. Она всегда видела от него только добро, заботу, величайшее уважение и удивительное понимание! А как он любит Скарлетт! Как это мило с его стороны — найти такой обходной путь, чтобы снять со Скарлетт одну из ее забот!

И в порыве чувств Мелани воскликнула:

— Какая же Скарлетт счастливица, что у нее такой муж, который столь добр к ней!

— Вы так думаете? Боюсь, она не согласилась бы с вами, если бы услышала. А кроме того, я хочу быть добрым и к вам, мисс Мелли. Вам я даю больше, чем даю Скарлетт.

— Мне? — с удивлением переспросила она. — Ах, вы хотите сказать — для Бо?

Он нагнулся, взял свою шляпу и встал. С минуту он стоял и смотрел вниз на некрасивое личико сердечком с длинным мысиком волос на лбу, на темные серьезные глаза. Какое неземное лицо, лицо человека, совсем не защищенного от жизни.

— Нет, не для Бо. Я пытаюсь дать вам нечто большее, чем Бо, если вы можете представить себе такое.

— Нет, не могу, — сказала она, снова растерявшись. — На всем свете для меня нет ничего дороже Бо, кроме Эшли... То есть мистера Уилкса.

Ретт молчал и только смотрел на нее, смуглое лицо его было непроницаемо.

— Вы такой милый, что хотите что‑то сделать для меня, капитан Батлер, но право же, я совершенно счастлива. У меня есть все, чего может пожелать женщина.

— Вот и прекрасно, — сказал Ретт, вдруг помрачнев. — И уж я позабочусь о том, чтобы так оно и осталось.

Когда Скарлетт вернулась из Тары, нездоровая бледность исчезла с ее лица, а щеки округлились и были розовые. В зеленых глазах ее снова появилась жизнь, они сверкали, как прежде, и впервые за многие недели она громко рассмеялась при виде Ретта и Бонни, которые встречали ее, Уэйда и Эллу на вокзале, — рассмеялась, потому что уж больно нелепо и смешно они выглядели. У Ретта из‑за ленточки шляпы торчали два растрепанных индюшачьих пера, а у Бонни, чье воскресное платье было основательно порвано, на обеих щеках виднелись полосы синей краски и в кудрях торчало петушиное перо, свисавшее чуть не до пят. Они явно играли в индейцев, когда подошло время ехать к поезду, и по озадаченно беспомощному виду Ретта и возмущенному виду Мамушки ясно было, что Бонни отказалась переодеваться — даже чтобы встречать маму.

Скарлетт заметила: «Что за сорванец!» — и поцеловала малышку, а Ретту подставила щеку для поцелуя. На вокзале было много народу, иначе она не стала бы напрашиваться на эту ласку. Она не могла не заметить, хоть и была смущена видом Бонни, что все улыбаются, глядя на отца и дочку, — улыбаются не с издевкой, а искренне, по‑доброму. Все знали, что младшее дитя Скарлетт держит отца в кулачке, и Атланта, забавляясь, одобрительно на это взирала. Великая любовь к дочери существенно помогла Ретту восстановить свою репутацию в глазах общества.

По пути домой Скарлетт делилась новостями сельской жизни. Погода стояла сухая, жаркая, и хлопок рос не по дням, а по часам, но Уилл говорит, что цены на него осенью все равно будут низкими. Сьюлин снова ждет ребенка — Скарлетт так это сообщила, чтобы дети не поняли, — а Элла проявила неожиданный норов: взяла и укусила старшую дочку Сьюлин. Правда, заметила Скарлетт, и поделом маленькой Сьюзи: она вся пошла в мать. Но Сьюлин вскипела, и между ними произошла сильная ссора — совсем как в старые времена. Уэйд собственноручно убил водяную змею. Рэнда и Камилла Тарлтон учительствуют в школе — ну, не смех? Ведь ни один из Тарлтонов никогда не мог написать даже слово «корова»! Бетси Тарлтон вышла замуж за какого‑то однорукого толстяка из Лавджоя, и они с Хэтти и Джимом Тарлтоном выращивают хороший хлопок в Прекрасных Холмах. Миссис Тарлтон завела себе племенную кобылу с жеребенком и счастлива так, будто получила миллион долларов. А в бывшем доме Калвертов живут негры! Целый выводок, причем дом‑то теперь — их собственный! Они купили его с торгов. Дом совсем разваливается — смотреть больно. Куда девалась Кэтлин и ее никудышный муженек — никто не знает. А Алекс собирается жениться на Салли, вдове собственного брата! Подумать только, после того как они прожили в одном доме столько лет! Все говорят, что они решили обвенчаться для удобства, потому что пошли сплетни; ведь они жили там одни с тех пор, как Старая Хозяйка и Молодая Хозяйка умерли. Известие об их свадьбе чуть не разбило сердце Димити Манро. Но так ей и надо. Будь она чуточку порасторопнее, она бы уже давно подцепила себе другого, а не ждала бы, пока Алекс накопит денег, чтобы жениться на ней.

Скарлетт весело болтала, выплескивая новости, но было много такого, что она оставила при себе, — такого, о чем было больно даже думать. Она ездила по округе с Уиллом, стараясь не вспоминать то время, когда эти тысячи акров плодородной земли стояли в зелени кустов хлопчатника. А теперь плантацию за плантацией пожирал лес, и унылый ракитник, чахлые дубки и низкорослые сосны исподволь выросли вокруг молчаливых развалин, завладели бывшими хлопковыми плантациями. Там, где прежде сотня акров была под плугом, сейчас хорошо, если хоть один обрабатывался. Казалось, будто едешь по мертвой земле.

«В этих краях если все назад и вернется, так не раньше, чем лет через пятьдесят, — заметил Уилл. — Тара — лучшая ферма в округе благодаря вам и мне, Скарлетт, но это только ферма, ферма, которую обрабатывают два мула, а вовсе не плантация. За нами идут Фонтейны, а потом Тарлтоны. Больших денег они не делают, но перебиваются, и у них есть сноровка. А почти все остальные, остальные фермы...»

Нет, Скарлетт не хотелось вспоминать, как выглядит тот пустынный край. Сейчас же, оглядываясь назад из шумной, процветающей Атланты, она и вовсе загрустила.

— А какие здесь новости? — поинтересовалась она, когда они, наконец, прибыли домой и уселись на парадном крыльце. Всю дорогу она без умолку болтала, боясь, что может наступить гнетущее молчание. Она ни разу не разговаривала с Реттом наедине с того дня, когда упала с лестницы, и не слишком стремилась оказаться с ним наедине теперь. Она не знала, как он к ней относится. Он был сама доброта во время ее затянувшегося выздоровления, но это была доброта безликая, доброта чуткого человека. Он предупреждал малейшее ее желание, удерживал детей на расстоянии, чтобы они не беспокоили ее, и вел дела в лавке и на лесопилках. Но он ни разу не сказал: «Мне жаль, что так получилось». Что ж, возможно, он ни о чем и не жалел. Возможно, он до сих пор считал, что это неродившееся дитя было не от него. Откуда ей знать, какие мысли сокрыты за этой любезной улыбкой на смуглом лице? Но он впервые за их супружескую жизнь старался держаться обходительно и выказывал желание продолжать совместную жизнь, как если бы ничего неприятного не стояло между ними, — как если бы, невесело подумала Скарлетт, как если бы между ними вообще никогда ничего не было. Что ж, если он так хочет, она поведет игру по его правилам.

— Так все у нас в порядке? — повторила она. — А вы достали новую дранку для лавки? Поменяли мулов? Ради всего святого, Ретт, выньте вы эти перья из шляпы. У вас вид шута — вы можете забыть про них и еще поедете так в город.

— Нет, — заявила Бонни и на всякий случай забрала шляпу у отца.

— Все у нас здесь шло преотлично, — сказал Ретт. — Мы с Бонни очень мило проводили время и, по‑моему, с тех пор как вы уехали, ни разу не расчесывали ей волосы. Не надо сосать перья, детка, они могут быть грязные. Да, крыша покрыта новой дранкой, и я хорошо продал мулов. В общем‑то, особых новостей нет. Все довольно уныло. — И словно спохватившись, добавил: — Кстати, вчера вечером у нас тут был многоуважаемый Эшли. Хотел выяснить, не знаю ли я, не согласитесь ли вы продать ему свою лесопилку и свою долю в той лесопилке, которой управляет он.

Скарлетт, покачивавшаяся в качалке, обмахиваясь веером из индюшачьих перьев, резко выпрямилась.

— Продать? Откуда, черт побери, у Эшли появились деньги? Вы же знаете, у них никогда не было ни цента. Мелани сразу тратит все, что он ни заработает.

Ретт пожал плечами.

— Я всегда считал ее экономной маленькой особой, но я, конечно, не столь хорошо информирован об интимных подробностях жизни семьи Уилксов, как, видимо, вы.

Это уже был почти прежний Ретт, и Скарлетт почувствовала нарастающее раздражение.

— Беги, поиграй, детка, — сказала она Бонни. — Мама хочет поговорить с папой.

— Нет, — решительно заявила Бонни и залезла к Ретту на колени.

Скарлетт насупилась, и Бонни в ответ состроила ей рожицу, столь напомнившую Скарлетт Джералда, что она чуть не прыснула со смеху.

— Пусть сидит, — примирительно сказал Ретт. — Что же до денег, то их прислал ему как будто кто‑то, кого он помог выходить во время эпидемии оспы в Рок‑Айленде. Я начинаю вновь верить в человека, когда узнаю, что благодарность еще существует.

— Кто же это? Кто‑то из знакомых?

— Письмо не подписано, прибыло оно из Вашингтона. Эшли терялся в догадках, кто бы мог ему эти деньги послать. Но когда человек, отличающийся такой жертвенностью, как Эшли, разъезжая по свету, направо и налево творит добро, разве может он помнить обо всех своих деяниях.

Не будь Скарлетт столь удивлена этим неожиданным счастьем, свалившимся на Эшли, она подняла бы перчатку, хотя и решила в Таре, что никогда больше не станет ссориться с Реттом из‑за Эшли. Слишком она была сейчас не уверена в своих отношениях с обоими мужчинами, и до тех пор, пока они не прояснятся, ей не хотелось ни во что ввязываться.

— Значит, он хочет выкупить у меня лесопилки?

— Да. Но я, конечно, сказал ему, что вы не продадите.

— А я бы попросила позволить мне самой вести свои дела.

— Ну, вы же знаете, что не расстанетесь с лесопилками. Я сказал, что ему, как и мне, известно ваше стремление верховодить всеми и вся, а если вы продадите ему лесопилки, то вы же не сможете больше его наставлять.

— И вы посмели сказать ему про меня такое?

— А почему бы и нет? Ведь это же правда! По‑моему, он искренне со мною согласился, но он, конечно, слишком джентльмен, чтобы взять и прямо мне об этом сказать.

— Все это ложь! Я продам ему лесопилки! — возмущенно воскликнула Скарлетт.

До этого момента ей и в голову не приходило расставаться с лесопилками. У нее было несколько причин сохранять их, причем наименее существенной были деньги. В последние два‑три года она могла бы их продать, когда только ей заблагорассудится, причем за довольно крупную сумму, но она отклоняла все предложения. Эти лесопилки были реальным доказательством того, чего она сумела достичь сама, вопреки всему, и она гордилась ими и собой. Но главным образом ей не хотелось продавать их потому, что они были единственным связующим звеном между нею и Эшли. Если лесопилки уйдут из ее рук, она будет редко видеться с Эшли, а наедине, по всей вероятности, и вовсе никогда. А она должна увидеться с ним наедине. Не может она дольше так жить, не зная, что он теперь к ней испытывает, не зная, сгорела ли его любовь от стыда после того страшного вечера, когда Мелани устроила прием. Во время деловых свиданий она могла найти немало поводов для разговора — так, что никто бы не догадался, что она специально ищет с ним встречи. А со временем, Скарлетт знала, она бы полностью вернула себе то место, которое прежде занимала в его сердце. Но если она продаст лесопилки...

Нет, она не собиралась их продавать, но мысль о том, что Ретт выставил ее перед Эшли в столь правдивом и столь неблаговидном свете, мгновенно заставила ее передумать. Надо отдать эти лесопилки Эшли — и по такой низкой цене, что ее великодушие сразу бросится ему в глаза.

— Я продам их ему! — разозлившись, воскликнула она. — Ну, что вы теперь скажете?

Глаза Ретта еле заметно торжествующе сверкнули, и он наклонился, чтобы завязать Бонни шнурок.

— Я скажу, что вы об этом будете жалеть, — заметил он.

И она уже жалела, что произнесла эти поспешно вылетевшие слова. Скажи она их кому угодно, кроме Ретта, она бы без всякого стеснения взяла их назад. И зачем ей понадобилось так спешить? Она насупилась от злости и посмотрела на Ретта, а он смотрел на нее с этим своим обычным настороженным выражением — так кот наблюдает за мышиной норой. Увидев, что она нахмурилась, он вдруг рассмеялся, обнажив белые зубы. И у Скарлетт возникло смутное чувство, что он ловко ее провел.

— Вы что, имеете к этому какое‑то отношение? — резко спросила она.

— Я? — Брови его поднялись в насмешливом удивлении. — Вам бы следовало лучше меня знать. Я не разъезжаю по свету, направо и налево творя добро — без крайней необходимости.

В тот вечер она продала Эшли обе лесопилки. Она ничего на этом не прогадала, ибо Эшли не принял ее предложения и купил их по самой высокой цене, какую ей когда‑либо предлагали. Когда бумаги были подписаны и лесопилки навсегда ушли из ее рук, а Мелани подавала Эшли и Ретту рюмки с вином, чтобы отпраздновать это событие, Скарлетт почувствовала себя обездоленной, словно продала одного из детей.

Лесопилки были ее любимым детищем, ее гордостью, плодом труда ее маленьких цепких рук. Она начала с небольшой лесопилки в те черные дни, когда Атланта только поднималась из пепла и развалин и не было спасения от нужды. Скарлетт сражалась, интриговала, оберегая свои лесопилки в те мрачные времена, когда янки грозили все конфисковать, когда денег было мало, а ловких людей расстреливали. И вот у Атланты стали зарубцовываться раны, повсюду росли дома, и в город каждый день стекались пришельцы, а у Скарлетт было две отличные лесопилки, два лесных склада, несколько десятков мулов и команды каторжников, работавшие за сущую ерунду. Теперь, прощаясь со всем этим, она как бы навеки запирала дверь, за которой оставалась та часть ее жизни, когда было много горечи и забот, но она вспоминала эти годы с тоской и удовлетворением.

Она ведь создала целое дело, а теперь продала его, и ее угнетала уверенность в том, что если ее не будет у кормила, Эшли все потеряет — все, что ей стоило таких трудов создать. Эшли всем верит и до сих пор не может отличить доску два на четыре от доски шесть на восемь. А теперь она уже не сможет помочь ему своими советами — и только потому, что Ретт изволил сказать Эшли, как она‑де любит верховодить.

«О, черт бы подрал этого Ретта», — подумала она и, наблюдая за ним, все больше убеждалась, что вся эта затея исходит от него. Как это произошло и почему — она не знала. Он в эту минуту беседовал с Эшли, и одно его замечание заставило ее насторожиться.

— Я полагаю, вы тотчас откажетесь от каторжников, — говорил он.

Откажется от каторжников? Почему, собственно, надо от них отказываться? Ретт прекрасно знал, что лесопилки приносили такие большие доходы только потому, что она пользовалась дешевым трудом каторжников. И почему это Ретт уверен, что Эшли будет поступать именно так, а не иначе? Что он знает о нем?

— Да, я тотчас отправлю их назад, — ответил Эшли, стараясь не смотреть на потрясенную Скарлетт.

— Вы что, потеряли рассудок? — воскликнула она. — Вам же не вернут денег, которые заплачены за них по договору, да и кого вы сумеете потом нанять?

— Вольных негров, — сказал Эшли.

— Вольных негров! Чепуха! Вы же знаете, сколько вам придется им платить, а кроме того, вы посадите себе на шею янки, которые будут ежеминутно проверять, кормите ли вы их курицей три раза в день и спят ли они под стеганым одеялом. Если же какому‑нибудь лентяю вы дадите кнута, чтобы его подогнать, янки так разорутся, что их будет слышно в Далтоне, а вы очутитесь в тюрьме. Да ведь каторжники — единственные...

Мелани сидела, уставив взгляд в сплетенные на коленях руки. Вид у Эшли был несчастный, но решительный. Какое‑то время он молчал, потом глаза его встретились с глазами Ретта, и он увидел в них понимание и поощрение — Скарлетт это заметила.

— Я не буду пользоваться трудом каторжников, Скарлетт, — спокойно сказал Эшли.

— Ну, скажу я вам, сэр! — Скарлетт даже задохнулась. — А почему нет? Или вы что, боитесь, что люди станут говорить о вас так же, как говорят обо мне?

Эшли поднял голову.

— Я не боюсь того, что скажут люди, если я поступаю как надо. А я всегда считал, что пользоваться трудом каторжников — не надо.

— Но почему...

— Я не могу наживать деньги на принудительном труде и несчастье других...

— Но у вас же были рабы!

— Они жили вполне пристойно. А кроме того, после смерти отца я бы всех их освободил, но война освободила их раньше. А каторжники — это совсем другое дело, Скарлетт. Сама система их найма дает немало возможностей для надругательства над ними. Вы, возможно, этого не знаете, а я знаю. Я прекрасно знаю, что Джонни Гэллегер по крайней мере одного человека в лагере убил. А может быть, и больше — кто станет волноваться по поводу того, что одним каторжником стало меньше? Джонни говорит, что тот человек был убит при попытке к бегству, но я слышал другое. И я знаю, что он заставляет работать больных людей. Можете называть это суеверием, но я не убежден, что деньги, нажитые на страданиях, могут принести счастье.

— Чтоб вам пропасть! Вы что же, хотите сказать... господи, Эшли, неужели вы купились на эти разглагольствования преподобного Уоллеса насчет грязных денег?

— Мне не надо было покупаться. Я был убежден в этом задолго до того, как Уоллес начал произносить свои проповеди.

— Тогда, значит, вы считаете, что все мои деньги — грязные? — воскликнула Скарлетт, начиная злиться. — Потому что на меня работали каторжники, и у меня есть салун, и...

Она вдруг умолкла. Вид у обоих Уилксов был смущенный, а Ретт широко улыбался. «Черт бы его подрал, — в пылу гнева подумала Скарлетт. — Он, как и Эшли, считает, что я опять суюсь не в свои дела. Так бы взяла и стукнула их головами, чтобы лбы затрещали!..» Она постаралась проглотить свой гнев и принять вид оскорбленного достоинства, но это ей не слишком удалось.

— В общем‑то меня ведь это не касается, — промолвила она.

— Скарлетт, только не считайте, что я осуждаю вас! Ничего подобного! Просто мы по‑разному смотрим на многое, и то, что хорошо для вас, может быть совсем не хорошо для меня.

Ей вдруг захотелось остаться с ним наедине, отчаянно захотелось, чтобы Ретт и Мелани были на другом конце света, и тогда она могла бы крикнуть ему: «Но я хочу смотреть на все так же, как ты! Скажи мне только — как, чтобы я поняла и стала такой же!»

Но в присутствии Мелани, которую от огорчения била дрожь, и Ретта, стоявшего, прислонясь к стене, и с усмешкой глядевшего на нее, она могла лишь сказать как можно более холодно, оскорбленным тоном:

— Конечно, это ваше дело, Эшли, и я и не помышляю учить вас, как и что делать. Но я все же должна сказать, что не понимаю вашей позиции и ваших суждений.

Ах, если бы они были одни и она не была вынуждена говорить с ним так холодно, произносить эти слова, которые огорчали его!

— Я обидел вас, Скарлетт, хотя вовсе этого не хотел. Поверьте и простите меня. В том, что я сказал, нет ничего непонятного. Просто я действительно верю, что деньги, нажитые определенным путем, редко приносят счастье.

— Но вы не правы! — воскликнула она, не в силах больше сдерживаться. — Посмотрите на меня! Вы же знаете, откуда у меня деньги. И вы знаете, как обстояло дело до того, как они у меня появились! Вы же помните ту зиму в Таре, когда в доме стоял такой холод, и мы резали ковры, чтобы сделать подметки для туфель, и нечего было есть, и мы ломали голову, не зная, где будем брать деньги на обучение Бо и Уэйда! Пом...

— Я все помню, — устало сказал Эшли, — но я предпочел бы это забыть.

— Ну, вы едва ли можете сказать, что кто‑либо из нас был тогда счастлив, верно? А посмотрите на нас сейчас! У вас милый дом и хорошее будущее. А есть ли у кого‑нибудь более красивый дом, чем у меня, или более нарядные платья, или лучшие лошади? Ни у кого нет такого стола, как у меня, никто не устраивает лучших приемов, и у моих детей есть все, что они хотят. Ну, а откуда я взяла деньги, чтобы все это стало возможным? Сорвала с дерева? Нет, сэр! Каторжники и арендная плата с салуна, и...

— Не забудьте про того убитого янки, — вставил Ретт. — Ведь это с него все началось.

Скарлетт стремительно повернулась к нему, резкие слова уже готовы были сорваться у нее с языка.

— И эти деньги сделали вас очень, очень счастливой, верно, дорогая? — спросил он этаким сладким, ядовитым тоном.

Скарлетт поперхнулась, открыла было рот, быстро оглядела всех троих. Мелани чуть не плакала от неловкости, Эшли вдруг помрачнел и замкнулся, а Ретт наблюдал за ней поверх своей сигары и явно забавлялся. Она хотела было крикнуть: «Ну конечно же, они сделали меня счастливой!»

Но почему‑то не смогла этого произнести.

### Глава LVIII

Скарлетт заметила, что после ее болезни Ретт изменился, но не была уверена, нравится ли ей то, что с ним произошло. Он стал воздержан в выпивке, спокоен и всегда чем‑то озабочен. Он чаще ужинал теперь дома, добрее относился к слугам, больше уделял внимания Уэйду и Элле. Он никогда не вспоминал прошлое, даже если это было что‑то приятное, и, казалось, молча запрещал и Скарлетт касаться этого в разговоре. Скарлетт вела себя мирно — от добра добра не ищут, — и жизнь текла довольно гладко — с внешней стороны. Ретт держался безразлично‑вежливого тона, который принял в отношении ее, когда она начала выздоравливать, не говорил ей колкостей, мягко растягивая слова, и не ранил своим сарказмом.

Она поняла теперь, что, распаляя ее раньше своими ехидными замечаниями и вызывая на горячие споры, он поступал так потому, что его трогало все, что она делает и говорит. Сейчас же она не знала, трогает ли его хоть что‑то. Он был вежлив и безразличен, и ей не хватало его заинтересованности — пусть даже ехидной, — не хватало былых пререканий и перепалок.

Он держался с ней мило, но так, точно она ему совсем чужая, и глаза его, раньше неотрывно следившие за ней, вот так же следили теперь за Бонни. Такое было впечатление, точно бурный поток его жизни направили в узкий канал. Порою Скарлетт казалось, что, если бы Ретт уделял ей половину того внимания и нежности, которыми он окружал Бонни, жизнь стала бы иной. Порой ей было даже трудно улыбнуться, когда люди говорили: «До чего же капитан Батлер обожествляет свою девочку!» Но если она не улыбнется, людям это может показаться странным, а Скарлетт не хотелось признаваться даже себе в том, что она ревнует к маленькой девочке, тем более что эта девочка — ее любимое дитя. Скарлетт всегда хотелось занимать главное место в сердцах окружающих, а сейчас ей стало ясно, что Ретт и Бонни всегда будут занимать главное место в сердце друг друга.

Ретт часто возвращался домой поздно ночью, но всегда был трезв. Скарлетт нередко слышала, как он тихонько насвистывал, проходя по площадке мимо ее закрытой двери. Иногда вместе с ним в дом приходили какие‑то люди и сидели в столовой, разговаривая за коньяком. Это были не те люди, с которыми он пил в первый год после свадьбы. Богатые «саквояжники», подлипалы, республиканцы не появлялись больше в доме по его приглашению. Скарлетт, подкравшись на цыпочках к перилам лестничной площадки, прислушивалась и, к своему изумлению, часто слышала голоса Рене Пикара, Хью Элсинга, братьев Симмонсов и Энди Боннелла. И всегда там были дедушка Мерриуэзер и дядя Генри. Однажды, к своему удивлению, она услышала голос доктора Мида. А ведь все эти люди когда‑то считали, что Ретта мало повесить!

Эта группа была неразрывно связана в ее сознании со смертью Фрэнка, а поздние возвращения Ретта еще больше приводили ей на память времена, предшествовавшие налету ку‑клукс‑клана, когда Фрэнк расстался с жизнью. Она с ужасом вспомнила слова Ретта о том, что он даже готов вступить в этот их чертов клан, лишь бы стать уважаемым гражданином, хотя он надеется, что господь бог не наложит на него столь тяжкого испытания. А что, если Ретт, как Фрэнк...

Однажды ночью, когда он отсутствовал дольше обычного, Скарлетт почувствовала, что больше не в состоянии выносить напряжение. Услышав звук ключа, поворачиваемого в замке, она накинула капот и, выйдя на освещенную газом площадку лестницы, встретила его у верхней ступеньки. При виде ее задумчивое и отрешенное выражение на его лице тотчас сменилось удивлением.

— Ретт, я должна знать! Я должна знать: вы случайно... не состоите ли вы в клане... и потому задерживаетесь так долго! Вы в самом деле вступили...

При свете ярко горевшего газа он равнодушно посмотрел на нее, потом улыбнулся.

— Вы безнадежно отстали, — сказал он. — В Атланте нет ку‑клукс‑клана. В Джорджии вообще его, скорей всего, нет. Вы просто наслушались всяких россказней про клан, которые распространяют ваши друзья — подлипалы и «саквояжники».

— Нет ку‑клукс‑клана? Вы говорите неправду, чтобы успокоить меня?

— Дорогая моя, когда же я пытался вас успокаивать? Нет, ку‑клукс‑клана не существует. Мы решили, что от него больше вреда, чем пользы, потому что он только раздувал ненависть янки и лил воду на мельницу его превосходительства губернатора Баллока, давая повод для расправ. К тому же Баллок знает, что сумеет продержаться у власти, лишь пока федеральное правительство и газеты янки будут убеждены в том, что Джорджия полна бунтовщиков и за каждым кустом сидит куклуксклановец. И вот, чтобы не расставаться с креслом, он отчаянно изобретал всякие возмутительные истории про ку‑клукс‑клан, рассказывая направо и налево о том, как верных республиканцев подвешивают за большие пальцы, а честных негров линчуют, обвинив в изнасиловании. Он стреляет по несуществующим мишеням, и он это знает. Благодарю вас за то, что вы за меня волнуетесь, но ку‑клукс‑клан перестал существовать вскоре после того, как я отошел от подлипал и превратился в скромного демократа.

Почти все, что он говорил насчет губернатора Баллока, вошло у Скарлетт в одно ухо и вышло в другое, ибо мозг ее заполняла радостная мысль, что клана больше нет. Ретта не убьют, как убили Фрэнка; она не потеряет своей лавки и своих денег. Но одно слово, сказанное Реттом, всплыло в ее сознании. Он сказал: «мы», как нечто само собою разумеющееся, связывая себя с теми, кого называл прежде «старой гвардией».

— Ретт, — неожиданно спросила она, — а вы имели какое‑то отношение к роспуску клана?

Он посмотрел на нее долгим взглядом, и в глазах его затанцевали искорки.

— Да, любовь моя. Эшли Уилкс и я главным образом за это в ответе.

— Эшли... и вы?

— Да, хотя это и звучит пошло, но политика укладывает очень разных людей в одну постель. А ни я, ни Эшли не жаждем очутиться в одной постели, однако... Эшли никогда не верил в ку‑клукс‑клан, потому что он вообще против насилия. А я никогда не верил, потому что все это просто идиотизм и таким путем ничего не добьешься. Это единственный способ заставить янки сидеть у нас на шее до второго пришествия. И вот мы с Эшли убедили горячие головы, что сумеем добиться куда большего, наблюдая, выжидая и кое‑что делая, чем если наденем ночные рубашки и будем размахивать огненными крестами.

— Не хотите же вы сказать, что мужчины приняли ваш совет при том, что вы...

— Что я спекулянт? Подлипала? Человек, действовавший заодно с янки? Вы забываете, миссис Батлер, что я теперь добропорядочный демократ, преданный до последней капли крови благородной цели вытащить наш любимый штат из рук насильников! Я дал им хороший совет, и они его послушались. Не менее хорошие советы даю я и по другим вопросам, связанным с политикой. У нас в законодательном собрании теперь — демократическое большинство, верно? И очень скоро, любовь моя, мы засадим кое‑кого из наших добрых друзей‑республиканцев за решетку. Слишком они стали алчными, слишком в открытую повели игру.

— И вы поможете засадить их в тюрьму? Но ведь это же были ваши друзья! Они взяли вас в свою компанию, когда выпускали железнодорожные акции, на которых вы заработали тысячи.

Ретт вдруг усмехнулся, как бывало, — с легкой издевкой.

— О, я им за это не помню зла. Но я перешел на другую сторону, и если в моих силах помочь засадить их туда, где им место, я это сделаю. И вы еще увидите, какую пользу мне это принесет! Я достаточно осведомлен о подоплеке некоторых дел, и мои знания могут очень пригодиться, когда законодательное собрание начнет копаться в этих делах, а, судя по всему, это не за горами. Займется собрание и губернатором и, если сумеет, засадит и его в тюрьму. Предупредите‑ка лучших ваших добрых друзей Гелертов и Хандонов, чтобы они готовились покинуть город, потому что, если сцапают губернатора, им того же не миновать.

Но Скарлетт слишком долго наблюдала, как республиканцы, опираясь на армию янки, правили Джорджией, чтобы поверить небрежно брошенным словам Ретта. Слишком прочно сидел в своем кресле губернатор, чтобы какое‑либо законодательное собрание могло сладить с ним, а тем более посадить его в тюрьму.

— Какую вы несете чушь, — заметила она.

— Если его и не посадят в тюрьму, то уж во всяком случае не переизберут. В следующий раз губернатором у нас будет демократ — для разнообразия.

— И я полагаю, это тоже будет делом ваших рук? — иронически спросила она.

— Конечно, моя кошечка. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Потому так поздно и домой прихожу. Я работаю больше, чем работал лопатой во времена золотой лихорадки: пытаюсь помочь провести выборы. И я знаю, это причинит вам боль, миссис Батлер, — но я дал немало денег на их организацию. Помните, много лет тому назад вы сказали мне в лавке Фрэнка, что я поступаю бесчестно, держа у себя золото Конфедерации? Вот теперь, наконец, я согласился с вами, и золото Конфедерации идет на то, чтобы вернуть конфедератам власть.

— Да вы швыряете деньги в крысиную нору!

— Что? Это вы демократическую партию называете крысиной норой? — Он с насмешкой посмотрел на нее, и глаза его снова стали спокойными, ничего не выражающими. — Мне безразлично, кто победит на выборах. Но мне небезразлично то, что все теперь знают, сколько я положил на это сил и сколько потратил денег. Об этом будут помнить не один год, и это принесет пользу Бонни.

— Услышав ваши благочестивые речи, я даже испугалась, решив, что вы изменили свои взгляды, но вижу сейчас, что вы так же неискренни по отношению к демократам, как и ко всем остальным.

— Взглядов своих я не менял. Переменил только шкуру. Наверное, можно закрасить пятна у леопарда, но, сколько их ни крась, он все равно леопардом останется.

Бонни, проснувшаяся от звука голосов на лестнице, сонным голосом, но повелительно позвала: «Папочка!» И Ретт шагнул было к ее двери мимо Скарлетт.

— Ретт, обождите. Я еще хочу сказать вам кое‑что. Перестаньте брать с собой Бонни на политические митинги. Это производит нехорошее впечатление — что за причуда брать маленькую девочку в такие места! Да и вы сами выглядите глупо. Мне в голову не приходило, что вы таскаете ее туда, пока дядя Генри не упомянул об этом, видимо, считая, что я знаю, и...

Ретт круто повернулся к ней, лицо его стало жестким.

— А что тут плохого в том, что девочка сидит у отца на коленях, пока он разговаривает с друзьями? Вам, возможно, кажется, что это выглядит глупо, но это вовсе не так. Люди надолго запомнят, что Бонни сидела у меня на коленях, когда я помогал выкуривать республиканцев из этого штата. Люди надолго запомнят... — Лицо его утратило жесткость, в глазах загорелся лукавый огонек. — А вы знаете, когда Бонни спрашивают, кого она больше всех любит, она говорит: «папочку и димикатов». А когда спрашивают, кого она больше всех не любит, она говорит: «подлипал». Люди, слава богу, помнят такое.

— И вы, очевидно, говорите ей, что я — подлипала! — не в силах сдержать ярость, громко воскликнула Скарлетт.

— Папочка! — прозвенел детский голосок, на этот раз с возмущением, и Ретт, смеясь, вошел в комнату дочери.

В октябре того года губернатор Баллок покинул свой пост и бежал из Джорджии. Разграбление общественных фондов, непомерные траты и коррупция достигли при его правлении таких размеров, что здание рухнуло под собственной тяжестью. Даже в партии Баллока произошел раскол — столь велико было негодование публики. Демократы имели теперь большинство мест в законодательном собрании, и это означало лишь одно. Баллок, узнав, что собрание намеревается расследовать его деятельность, и опасаясь, что ему предъявят импичмент, то есть отстранят от должности и посадят в тюрьму, — не стал ждать. Он тайком, поспешно удрал, позаботившись о том, чтобы его прошение об отставке было обнародовано лишь после того, как сам он благополучно достигнет Севера.

Когда весть об этом облетела город — через неделю после бегства Баллока, — Атланта себя не помнила от возбуждения и радости. Улицы заполнились народом, мужчины смеялись и, поздравляя друг друга, обменивались рукопожатиями; женщины целовались и плакали. Все праздновали и устраивали приемы, и пожарные были заняты по горло, воюя с пламенем, загоравшимся от шутих, которые пускали на радостях мальчишки.

Опасность уже позади! Реконструкция почти закончилась! На всякий случай в губернаторах оставили республиканца, но в декабре предстояли новые выборы, и никто не сомневался в том, каковы будут их результаты. А когда выборы наступили, несмотря на отчаянные усилия республиканцев, в Джорджии губернатором снова стал демократ.

И люди тоже радовались, тоже волновались, но иначе, чем тогда, когда удрал Баллок. Радость была менее буйная, более прочувствованная, люди от всей души благодарили бога, и все церкви были полны, и священники возносили хвалу господу за избавление штата. К восторгу и радости примешивалась гордость — гордость за то, что в Джорджии удалось восстановить прежнее правление, несмотря на все усилия Вашингтона, несмотря на присутствие армии, несмотря на наличие «саквояжников», подлипал и местных республиканцев.

Семь раз конгресс принимал акты, направленные на то, чтобы раздавить штат, оставить его на положении завоеванной провинции, трижды армия отменяла гражданские законы. В законодательное собрание проникли негры, алчные чужеземцы правили штатом, частные лица обогащались за счет общественных фондов. Джорджия лежала раздавленная, беспомощная, измученная, оплеванная. А теперь, невзирая ни на что, она снова стала сама собой, и все это благодаря усилиям своих граждан.

Столь неожиданный поворот в судьбе республиканцев не всеми был воспринят как великое счастье. Уныние воцарилось в рядах подлипал, «саквояжников» и самих республиканцев. Гелерты и Хандоны, явно узнав об отставке Баллока еще до того, как это стало широко известно, неожиданно покинули город и растворились в небытии, откуда они и появились. Оставшиеся в Атланте «саквояжники» и подлипалы чувствовали себя неуверенно — напуганные случившимся, они жались друг к другу в поисках взаимной поддержки, гадая, какие из их темных делишек выплывут на свет в связи с начавшимся расследованием. Они уже не держались с высокомерным пренебрежением. Они были потрясены, растеряны, испуганы. И дамы, посещавшие Скарлетт, повторяли снова и снова:

«Ну, кто бы мог подумать, что так все повернется? Мы ведь считали губернатора всемогущим. Мы считали, что он здесь — навеки. Мы считали...»

Скарлетт была не меньше их потрясена поворотом событий, хотя Ретт и предупреждал ее о том, в каком направлении они будут развиваться. И она вовсе не жалела, что Баллока не стало, а демократы вернулись к власти. Хотя никто бы этому не поверил, но и она восприняла с мрачной радостью известие о том, что господству янки наступил конец. Слишком живо она помнила, как ей пришлось изворачиваться в первые дни Реконструкции, как она страшилась, что солдаты и «саквояжники» отберут у нее деньги и собственность. Она помнила, как была беспомощна, какой панический страх обуревал ее оттого, что она не в силах была ничего предпринять, какую питала ненависть к янки, навязавшим Югу свое жестокое правление. И эта ненависть к янки никогда у нее не иссякала. Но пытаясь наиболее достойно выйти из положения, пытаясь добиться полной безопасности и уверенности в завтрашнем дне, она шагала в ногу с победителями. При всей своей нелюбви к ним она окружила себя ими, порвала узы, связывавшие ее со старыми друзьями и прежним образом жизни. А теперь власть победителей испарилась. Скарлетт поставила на то, что правлению Баллока не будет конца, — и проиграла.

Озираясь вокруг в то Рождество 1871 года, самое счастливое Рождество для штата за последние десять лет, Скарлетт испытывала чувство глубокого беспокойства. Она не могла не видеть, что Ретт, которого раньше все ненавидели в Атланте, стал теперь одним из самых популярных жителей города, ибо он смиренно отрекся от республиканской ереси и отдавал все свое время, деньги, труд и разум Джорджии, помогая ей вернуться к былому благополучию. Когда он ехал по улицам, улыбаясь, приподнимая шляпу в знак приветствия, с маленьким голубым комочком — Бонни, торчавшим впереди него в седле, все тоже улыбались ему, охотно с ним заговаривали и дружелюбно поглядывали на девочку. А она, Скарлетт...

### Глава LIX

Всем было известно, что Бонни Батлер ни в чем не знает удержу и что ей нужна твердая рука, но все так любили девочку, что ни у кого не хватало духу проявить необходимую твердость. Впервые она вышла из повиновения во время поездки с отцом. Когда она была с Реттом в Новом Орлеане и Чарльстоне, ей позволяли допоздна сидеть со взрослыми, и она часто засыпала у отца на руках в театре, ресторанах и за карточным столом. С тех пор только силой можно было заставить ее лечь в постель одновременно с послушной Эллой. Пока Бонни была с Реттом, он позволял ей носить любые платья, и с той поры она поднимала скандал всякий раз, как Мамушка пыталась надеть на нее бумажное платье и передничек вместо голубого тафтового платья с кружевным воротничком.

Вернуть то, что было упущено, пока девочка жила вне дома, и позже, когда Скарлетт заболела и находилась в Таре, не представлялось уже возможным. Бонни росла, и Скарлетт пыталась приструнивать ее, пыталась смягчить ее нрав и не слишком баловать, но все эти усилия почти ничего не давали. Ретт всегда брал сторону ребенка, какими бы нелепыми ни были желания Бонни и как бы возмутительно она себя ни вела. Он поощрял ее, когда она говорила, подражая взрослым, и относился к ней, как к взрослой, выслушивая с серьезным видом ее суждения и прикидываясь, будто следует им. В результате Бонни могла оборвать кого угодно из старших, перечила отцу и осаживала его. Он же только смеялся и не разрешал Скарлетт даже хлопнуть девочку по руке в наказание.

«Если бы она не была такой милой, ласковой девчушкой, она была бы просто невыносима, — мрачно размышляла Скарлетт, неожиданно осознав, что дочка может померяться с ней силой воли. — Она обожает Ретта, и он мог бы заставить ее лучше себя вести, если бы хотел».

Однако Ретт не выказывал ни малейшего желания заставлять Бонни вести себя как следует. Что бы она ни делала, все признавалось правильным, и попроси она луну, она бы получила ее, сумей отец ее достать. Он бесконечно гордился хорошенькой мордочкой своей дочки, ее кудряшками, ямочками, изящными движениями. Ретту нравилось ее зубоскальство, ее задор, милая манера выказывать ему свою любовь и привязанность. Избалованная и капризная, Бонни все же вызывала такую всеобщую любовь, что у Ретта не хватало духу даже пытаться ее обуздать. Он был для нее богом, средоточием ее маленького мирка и слишком ценил это, боясь наставлениями все разрушить.

Она льнула к нему как тень. Она будила его, не дав ему выспаться, сидела рядом с ним за столом и ела то с его тарелки, то со своей, ездила с ним в одном седле на лошади и никому, кроме Ретта, не позволяла себя раздевать и укладывать в кроватку, стоявшую рядом с его большой кроватью.

Скарлетт забавляло и трогало то, как ее маленькая дочка деспотично правит отцом. Кто бы мог подумать, что именно Ретт так серьезно воспримет отцовство? Но порою жало ревности пронзало Скарлетт, так как Бонни в четыре года лучше понимала Ретта, чем когда‑либо понимала его сама Скарлетт, и лучше, чем Скарлетт, справлялась с ним.

Когда Бонни исполнилось четыре года, Мамушка принялась ворчать по поводу того, что нехорошо, мол, дитяти, к тому же девочке, ездить «верхом в седле впереди своего папочки, да еще задравши платье». Ретт с вниманием отнесся к этому замечанию, как относился вообще ко всем замечаниям Мамушки по поводу воспитания девочек. В итоге появился маленький бело‑бурый шотландский пони с длинной шелковистой гривой и длинным хвостом, а в придачу — крошечное седло, инкрустированное серебром. Пони, разумеется, предназначался для всех троих детей, и Ретт купил также седло для Уэйда. Но Уэйд предпочитал общество сенбернара, а Элла вообще боялась животных. Итак, пони стал собственностью всеобщей любимицы, и нарекли его Мистер Батлер. Радость Бонни омрачалась лишь тем, что она не могла ездить верхом, как отец, но когда он объяснил ей, насколько труднее сидеть в дамском седле, она успокоилась и быстро научилась кататься. Ретт несказанно гордился ее хорошей посадкой и крепкой рукой.

— Подождите, что еще будет, когда она вырастет и станет охотиться, — похвалялся он. — Никто не сможет сравниться с ней. Я увезу ее тогда в Виргинию. Вот где настоящая охота! И в Кентукки, где ценят хороших наездников.

Когда дело дошло до костюма для верховой езды, девчушке было предоставлено право выбрать цвет материи, и, как всегда, она выбрала голубой.

— Но, деточка! Не этот же голубой бархат! Голубой бархат — это мне для вечернего платья, — рассмеялась Скарлетт. — А маленькие девочки носят добротное черное сукно. — И увидев, как сошлись крохотные черные бровки, мать добавила: — Ради всего святого, Ретт, да скажите вы ей, что это не годится — ведь платье мигом станет грязным.

— Ну, пусть у нее будет костюм из голубого бархата. Если он испачкается, сошьем ей новый, — как ни в чем не бывало сказал Ретт.

Итак, Бонни получила голубой бархатный костюм для верховой езды с длинной юбкой, ниспадавшей на бок пони, и черную шапочку с красным пером, потому что рассказы тети Мелли про перо, которое носил Джеф Стюарт, воспламенили воображение девочки. В ясные погожие дни отец с дочерью катались по Персиковой улице, и Ретт придерживал своего большого вороного коня, чтобы тот шел в ногу с толстоногим пони. Иной раз Ретт и Бонни скакали по тихим дорогам вокруг города, спугивая кур, собак и детей, — Бонни хлестала Мистера Батлера кнутом, спутанные локоны ее развевались по ветру, а Ретт твердой рукой придерживал своего коня, чтобы девочка считала, что Мистер Батлер выигрывает состязание.

Удостоверившись в хорошей посадке, крепкой руке и полном бесстрашии Бонни, Ретт решил, что настало время обучить ее брать на лошади препятствия — совсем невысокие, в пределах возможностей коротконогого Мистера Батлера. Для этого Ретт построил на заднем дворе низкий барьер и платил Уошу, одному из малолетних племянников дядюшки Питера, двадцать пять центов в день, чтобы тот учил Мистера Батлера прыгать. Начали они с прыжков через перекладину, закрепленную на высоте двух дюймов от земли, и постепенно добрались до одного фута.

Эта затея была встречена всеми тремя заинтересованными сторонами в штыки, — а именно: Уошем, Мистером Батлером и Бонни. Уош боялся лошадей, и только поистине королевское вознаграждение могло побудить его заставлять упрямого пони по двадцать раз в день скакать через барьер; Мистер Батлер, хладнокровно сносивший выходки маленькой хозяйки, когда она дергала его за хвост, или позволявший без конца осматривать себе копыта, считал, что творец создал его вовсе не затем, чтобы переносить свою толстую тушу через перекладину; Бонни, не терпевшая, чтобы кто‑то еще ездил на ее пони, приплясывала от нетерпения, пока Мистера Батлера учили уму‑разуму.

Когда Ретт наконец решил, что пони достаточно хорошо обучен новому делу и ему можно доверить дочку, волнению малышки не было конца. Она победоносно совершила первый прыжок, и теперь уже езда рядом с отцом потеряла для нее все свое очарование. Скарлетт лишь посмеивалась над восторгами и бахвальством отца и дочки. Она, однако, считала, что, как только новизна этой затеи притупится, Бонни увлечется чем‑то другим и все обретут мир и покой. Но этот вид спорта Бонни не приедался. От беседки в дальнем конце заднего двора до барьера тянулась утоптанная дорожка, и все утро во дворе раздавались возбужденные вопли. Дедушка Мерриуэзер, объехавший в 1849 году всю страну, говорил, что именно так кричат апачи, удачно сняв с кого‑нибудь скальп.

Прошла неделя, и Бонни попросила, чтобы ей подняли перекладину на полтора фута над землей.

— Когда тебе исполнится шесть лет, — сказал отец, — тогда ты сможешь прыгать выше и я куплю тебе лошадку побольше. У Мистера Батлера коротковаты ноги.

— Ничего подобного! Я перепрыгивала через розовые кусты тети Мелли, а они во‑о какие большие!

— Нет, надо подождать, — сказал отец, впервые настаивая на своем. Но твердость его постепенно таяла под воздействием бесконечных настойчивых требований и истерик дочери.

— Ну, ладно, — рассмеявшись, сказал он как‑то утром и передвинул повыше узкую белую планку. — Если упадешь, не плачь и не вини меня.

— Мама! — закричала Бонни, запрокинув голову кверху, к окну спальни Скарлетт. — Мама! Смотри! Папа сказал, что я могу прыгнуть выше!

Скарлетт, расчесывая в это время волосы, подошла к окну и улыбнулась возбужденному маленькому существу, такому нелепому в своей перепачканной голубой амазонке.

«Право же, надо будет сшить ей другой костюм, — подумала она. — Только одному богу известно, как я заставлю ее снять всю эту грязь».

— Мама, смотри!

— Смотрю, милочка, — сказала, улыбаясь, Скарлетт.

Ретт поднял малышку и посадил на пони, и Скарлетт при виде ее прямой спинки и горделивой посадки головы вдруг ощутила прилив гордости за дочь и крикнула:

— Какая же ты у меня красавица, моя бесценная!

— Ты тоже, — великодушно откликнулась Бонни и, ударив Мистера Батлера ногой под ребра, галопом понеслась в дальний конец двора к беседке.

— Мама, смотри, как я сейчас прыгну! — крикнула она и ударила хлыстом пони.

«Смотри, как я сейчас прыгну!»

Словно прозвонил колокол, будя воспоминания. Что‑то зловещее было в этих словах. Что именно? Почему она не может сразу вспомнить? Скарлетт смотрела вниз на свою маленькую дочурку, изящно сидевшую на скачущем пони, и лоб ее прорезала глубокая морщина, а в груди вдруг разлился холод. Бонни мчалась во весь опор, черные кудри ее подскакивали, голубые глаза блестели.

«Глаза у нее совсем как у моего папы, — подумала Скарлетт, — голубые глаза ирландки, и вообще она во всем похожа на него».

И подумав о Джералде, она сразу вспомнила то, что так старалась выискать в памяти, — вспомнила отчетливо, словно при свете молнии, вдруг озарившем все вокруг, и сердце у нее остановилось. Она вдруг услышала ирландскую песню, услышала стремительный топот копыт вверх по выгону в Таре, услышала беспечный голос, такой похожий на голос ее девочки: «Эллин! Смотри, как я сейчас прыгну!»

— Нет, — закричала она. — Нет! Стой, Бонни, стой!

Она еще не успела высунуться из окна, как услышала страшный треск дерева, хриплый крик Ретта, увидела взлетевший голубой бархат и копыта пони, взрыхлившие землю. Затем Мистер Батлер поднялся на ноги и затрусил прочь с пустым седлом.

На третий вечер после смерти Бонни Мамушка медленно проковыляла вверх по ступенькам, ведущим на кухню в доме Мелани. Она была вся в черном — от больших мужских ботинок, разрезанных, чтобы свободнее было пальцам, до черной косынки на голове. Ее мутные старые глаза были воспалены, веки покраснели, и от всей монументальной фигуры веяло горем. На лице ее застыло выражение грустного удивления, словно у старой обезьяны, но губы были решительно сжаты.

Она тихо сказала несколько слов Дилси, и та покорно кивнула, словно в их старой вражде наступило перемирие. Дилси поставила тарелки, которые она держала в руках, и прошла через чуланчик в столовую. Минуту спустя Мелани уже появилась на кухне с салфеткой в руке и взволнованно спросила:

— С мисс Скарлетт что‑нибудь...

— Мисс Скарлетт держится как всегда, — медленно произнесла Мамушка. — Я не хочу мешать вам ужинать, мисс Мелли. Я могу и подождать — еще успею ведь сказать вам, что у меня на уме.

— Ужин может подождать, — сказала Мелани. — Дилси, подавай, что осталось. Пойдем со мной, Мамушка.

Мамушка вперевалку последовала за ней — через кухню, мимо столовой, где во главе стола сидел Эшли, рядом с ним — Бо, а напротив — двое детей Скарлетт, отчаянно стучавших суповыми ложками. Счастливые голоса Уэйда и Эллы наполняли комнату: им ведь столь долгое пребывание у тети Мелли казалось чем‑то вроде пикника. Тетя Мелли была всегда такая добрая, а сейчас особенно. Смерть младшей сестренки почти не произвела на них впечатления. Бонни упала со своей лошадки, и мама долго плакала. А тогда тетя Мелли взяла их к себе поиграть с Бо, и им давали кекс и сладкий пирог, стоило только попросить.

Мелани провела Мамушку в малую гостиную, уставленную книжными шкафами, прикрыла дверь и предложила ей присесть на софу.

— Я как раз собиралась пойти к вам после ужина, — сказала она. — Теперь, раз матушка капитана Батлера приехала, похороны, очевидно, будут завтра утром.

— Похороны. Вот с этим‑то я к вам и пришла, — сказала Мамушка. — Мисс Мелли, мы все в большой беде, я пришла к вам за помощью. Одни страдания, моя ласточка, одни страдания.

— Мисс Скарлетт что, слегла? — озабоченно спросила Мелани. — Я ведь почти не видела ее с тех пор, как Бонни... Она заперлась у себя в комнате, а капитана Батлера не было дома и...

Вдруг слезы потекли по черному лицу Мамушки. Мелани села рядом с ней, принялась гладить ее по плечу, и через какое‑то время Мамушка приподняла свою черную юбку и вытерла глаза.

— Вы должны пойти помочь нам, мисс Мелли. Я‑то делаю все, что могу, да толку чуть.

— Мисс Скарлетт...

Мамушка выпрямилась:

— Мисс Мелли, вы‑то не хуже меня знаете мисс Скарлетт. Сколько страдало это бедное дитя, дай ей только бог силы все вынести... А уж это последнее горе и вовсе разбило ей сердце. Но она выстоит. А пришла‑то я к вам из‑за мистера Ретта.

— Мне так хотелось повидать его, но всякий раз, как я к вам заходила, он был либо в городе, либо сидел, запершись у себя в комнате с... А Скарлетт ходила словно привидение и молчала... Да говори же скорее, Мамушка. Ты ведь знаешь, что я помогу, если только это в моих силах.

Мамушка вытерла нос тыльной стороной ладони.

— Я говорю вам, мисс Скарлетт все может выдержать, что господь пошлет потому как ей уже много испытаний было послано, а вот мистер Ретт... Мисс Мелли, он ведь никогда ничего не терпел, ежели ему не по нраву, никогда, ничегошеньки. Вот из‑за него‑то я к вам и пришла.

— Но...

— Мисс Мелли, вам надо пойти сегодня к нам — сейчас, вечером. — В голосе Мамушки звучала настоятельная мольба. — Может, мистер Ретт послушает вас. Он ведь всегда так высоко вас ставил.

— Ах, Мамушка, да что же это? О чем ты говоришь?

Мамушка распрямила плечи.

— Мисс Мелли, мистер Ретт, он... совсем ума решился. Не хочет, чтобы мы увозили маленькую мисс.

— Ума решился? Ну, что ты, Мамушка, нет!

— Я не вру. Чистая правда. Он не даст нам похоронить дитятко. Он так мне сам и сказал — только час назад.

— Но не может же он... Ведь он же...

— Вот потому я и говорю, что он ума решился.

— Но почему...

— Мисс Мелли, я вам не все сказала. Не должна я говорить, да только вы ведь все равно нам как родная. И только вам я и могу сказать. Я вам все говорю. Вы же знаете, как он любил свое дитятко. Никогда еще я не видела, чтоб мужчина, черный ли, белый, так любил свое дитятко. Он сразу как с ума сошел, когда доктор Мид сказал: «У нее шейка сломалась». Он тогда схватил ружье, побежал и пристрелил этого бедного пони, а я, клянусь богом, думала, он пристрелит и себя. Я совсем было растерялась: мисс Скарлетт лежит в обмороке, все соседи по дому бегают — туда‑сюда, а мистер Ретт держит свою дочку и не дает мне даже вымыть ей личико, а оно все в земле было измазано. А когда мисс Скарлетт пришла в себя, я подумала: слава тебе, господи! Теперь они хоть утешат друг дружку. — Слезы снова полились, но на этот раз Мамушка даже не пыталась их утирать. — Да только как она пришла в себя, кинулась в комнату, где он сидел с мисс Бонни на руках, и говорит: «Отдайте мне моего ребенка, вы убили ее».

— Аx, нет! Нe могла она так сказать!

— Да, мэм, так и сказала. Слово в слово: «Вы убили ее». А мне так стало жалко мистера Ретта, и я как заплачу, потому вид у него был точно у побитой собаки. Я и сказала: «Отдайте дитятко няне. Не позволю я, чтобы такое говорили над бедной моей маленькой мисс», — и забрала я у него доченьку, и отнесла к ним в комнату, и вымыла ей личико. Но я все слышала, что они говорили, и у меня прямо кровь стыла — чего они только не наговорили друг другу. Мисс Скарлетт обозвала его убивцем — зачем он позволил деточке прыгать так высоко. А он сказал, что мисс Скарлетт плевать было на Бонни и на всех своих детей ей наплевать...

— Замолчи, Мамушка! Не рассказывай мне больше. Нехорошо, чтобы ты мне такое рассказывала! — воскликнула Мелани, стараясь отогнать от себя страшную картину, возникшую перед ее глазами, пока она слушала Мамушку.

— Я знаю, не мое это дело вам говорить, но уж больно у меня на душе накипело, так что я сама не знаю, что и говорю. Значит, потом взял он ее и сам отнес к гробовщику, а когда принес назад, положил на кроватку у себя в комнате. Тут мисс Скарлетт говорит — надо ей лежать в гостиной в гробике, так я думала, мистер Ретт ударит ее. Но он только холодно ей сказал: «Ей место в моей комнате». А потом повернулся ко мне и говорит: «Мамушка, последи, чтоб она лежала тут, пока я вернусь». А сам вскочил на лошадь и ускакал. И до самого заката не возвращался. А как вернулся домой, вижу — он выпивши, крепко выпивши, но только как всегда держится. Влетел он в дом, ни с мисс Скарлетт, ни с мисс Питти, ни с кем из леди, которые пришли навестить нас, — ни слова. Взлетел по лестнице, распахнул дверь в свою комнату, да как закричит мне... А когда я прибежала — быстро бежала, как только могла, — стоит он у кроватки, а в комнате темнотища — я его едва видела, потому как ставни‑то ведь были закрыты.

Он и говорит мне этак грубо: «Открой ставни — темно». Я их открываю, а он смотрит на меня, и, ей‑богу, мисс Мелли, у меня прямо колени подогнулись — такой он страшный был. А потом и говорит: «Принеси свечей. Да побольше. И пусть все горят. И не смей закрывать ставни и опускать шторы. Разве ты не знаешь, что мисс Бонни боится темноты?»

Расширенные от ужаса глаза Мелани встретились с глазами Мамушки, и та многозначительно кивнула.

— Так и сказал: «Мисс Бонни боится темноты». — Мамушку передернуло. — Принесла я ему с десяток свечей, а он говорит: «Уходи!» А потом запер дверь и сидел — там с маленькой мисс, и не открыл дверь даже мисс Скарлетт — даже когда она принялась стучать и кричать. И так оно уже два дня. И про похороны он ничего не говорит. Утром открывает дверь, потом снова запирает, садится на лошадь и — в город. А потом на закате приезжает пьяный, снова запирается, и ничего не ест, и ни чуточки не спит. А тут приехала его матушка, старая мисс Батлер, — приехала из Чарльстона на похороны, и мисс Сьюлин и мистер Уилл из Тары приехали, да только мистер Ретт ни с кем не желает говорить. Ох, мисс Мелли, это ужас что! А будет и хуже, и люди начнут говорить — скандал, да и только.

— Ну, а сегодня вечером, — помолчав немного, продолжала Мамушка и снова вытерла нос тыльной стороной ладони, — сегодня вечером мисс Скарлетт подстерегла его наверху, когда он воротился, и вошла с ним в комнату, и говорит: «Похороны будут завтра утром». А он говорит: «Только устройте похороны, и я вас завтра же убью».

— Ах, он, должно быть, помешался!

— Да, мэм. А потом они заговорили так тихо, и я ничего не слышала — слышала только, как он снова сказал, что мисс Бонни боится темноты, а в могиле очень темно. А немного погодя мисс Скарлетт сказал: «Чего вы так убиваетесь? Сами же убили ее, чтобы потешить свою радость». А он ей говорит: «Неужели у вас нет жалости?» А она говорит: «Нет. И ребенка у меня тоже нет. Я устала от того, как вы себя ведете с тех пор, как погибла Бонни. Это же скандал — о вас весь город говорит. Вы все время пьяный, и если думаете, я такая глупая, что не знаю, где вы время проводите, то вы просто дурак. Я же знаю, что вы все дни у этой твари — Красотки Уотлинг».

— Ах, Мамушка, нет!

— Да, мэм, так она сказала. И, мисс Мелли, это правда. Негры — они узнают очень многое куда быстрее белых людей, и я знала, где он был, да только никому слова не сказала. А он и не отпирался. Говорит: «Да, мэм, именно там я и был. И нечего вам прикидываться — вам ведь все равно. Веселый дом — это рай для несчастного по сравнению с этим адом, в котором я живу. А у Красотки — самое доброе сердце на свете. Она не говорила мне, что я убил моего ребенка».

— О‑о! — воскликнула Мелани, пораженная в самое сердце.

Ее собственная жизнь текла так мирно, она была так защищена, так ограждена всеми любившими ее людьми, так полна добра, что картина, возникавшая из рассказа Мамушки, была выше ее понимания, она не могла этому поверить. И, однако, в мозгу ее шевельнулось воспоминание, которое она поспешила отодвинуть в глубь памяти, как попыталась бы забыть чью‑то случайно увиденную наготу. В тот день, когда Ретт плакал, уткнувшись головой ей в колени, он упоминал имя Красотки Уотлинг. Но любил‑то он Скарлетт, она не могла ошибиться, и, конечно же, Скарлетт любит его. Что же встало между ними? Как могут муж и жена так больно ранить друг друга, вооружившись каждый самым острым ножом?

А Мамушка тем временем с трудом продолжала свой рассказ:

— Потом мисс Скарлетт вышла из комнаты, белая как простыня, но губы сжаты эдак крепко, упрямо, увидала меня, что я стою там, и говорит: «Похороны завтра, Мамушка». И прошла мимо, как привидение. Тут сердце у меня перевернулось, потому как ежели мисс Скарлетт что скажет, так она и сделает. И мистер Ретт тоже — как скажет, так и сделает. А ведь он сказал, что убьет ее, ежели она это сделает. Тут уж я совсем растерялась, мисс Мелли, потому как есть у меня на совести одно дело и очень оно меня давит. Мисс Мелли, это я ведь напугала маленькую мисс темнотой‑то.

— Ох, Мамушка, ну, какое это имеет значение — сейчас.

— Да нет, мэм, имеет Из‑за этого‑то вся и беда. И вот надумала я: скажу‑ка я все мистеру Ретту — пусть он убьет меня, да только не могу я молчать, потому как это лежит у меня на совести. Я в дверь — шасть, покуда он не запер ее, и говорю: «Мистер Ретт. Я пришла вам исповедаться». А он повернулся ко мне, точно сумасшедший, и говорит: «Уходи!» — и, клянусь богом, никогда еще я так не пугалась! А все равно говорю ему: «Пожалуйста, мистер Ретт, уж вы дайте мне сказать, не то я просто помру. Ведь это я напугала маленькую мисс темнотой‑то». И тут, мисс Мелли, опустила я голову и стала ждать, когда он меня ударит. А он молчит. И тогда я говорю: «Я ведь ничего дурного не хотела. Да только, мистер Ретт, дитятко‑то ведь было уж больно неосторожное, ничего она не боялась. Как все лягут спать, она вылезет из кроватки и ну по всему дому бегать босая. А я беспокоилась, потому как боялась — вдруг она себя зашибет. Вот я и сказала ей, что там в темноте живут привидения и оборотни».

И знаете, мисс Мелли, что он сделал? Лицо у него стало такое доброе, подошел он ко мне и положил мне руку на плечо. А это в первый раз так. И говорит: «Она была очень храбрая, верно? Только темноты боялась, а больше не боялась ничего». Я тут как расплачусь, а он и говорит: «Ну‑ну, Мамушка». И погладил меня. «Ну, Мамушка, не надо так убиваться. Я рад, что ты мне сказала. Я знаю, ты любишь мисс Бонни, и раз ты ее любишь, значит, все это пустяки. Важно то, что у человека на сердце». Ну, я тут немножечко приободрилась, собралась с духом и говорю: «Мистер Ретт, а как же насчет похорон‑то будет?» Тут он повернулся ко мне точно бешеный — глаза сверкают — и говорит: «Господи боже мой, я‑то думал, хоть ты понимаешь, раз никто больше не понимает! Да неужто ты думаешь, я позволю, чтоб мое дитя положили в темноту, когда она так боится темноты? Так и слышу, как она кричала, когда просыпалась в темноте. А я не хочу ее пугать». Тут, мисс Мелли, я и поняла, что он ума решился. Пьяный он и не спит и не ест, но это — что. Главное, он совсем рехнулся. Вытолкал меня за дверь и говорит: «Убирайся к черту отсюда!»

А я иду вниз по лестнице и думаю себе: он говорит, что никаких похорон не будет, а мисс Скарлетт говорит — завтра утром, и он говорит, что пристрелит ее. А в доме полно родственников, и все соседи уже чешут языки и кудахтают, точно куры на насесте, вот я и подумала про вас, мисс Мелли. Вы должны пойти помочь нам.

— Ох, Мамушка, не могу я в такое вмешиваться!

— Если вы не можете, кто же может‑то?

— Ну, что я могу сделать. Мамушка?

— Не знаю я, мисс Мелли, но что‑то вы можете сделать. Поговорите с мистером Реттом, глядишь — он вас и послушает. Он ведь очень высоко вас ставит, мисс Мелли, может, вы этого и не знаете, а только это так. Сколько раз я слыхала, как он говорил, что только вы и есть настоящая леди.

— Ну...

Мелани поднялась в смятении, сердце у нее мучительно заколотилось при одной мысли о встрече с Реттом. Она вся похолодела, понимая, что придется спорить с человеком, судя по описаниям Мамушки, потерявшим разум от горя. У нее заныло сердце, стоило ей подумать, что придется войти в ярко освещенную комнату, где лежит маленькая девочка, которую она так любила. Что делать? Что сказать Ретту, чтобы утишить его горе и вернуть ему разум? С минуту Мелани стояла, не зная, на что решиться, и вдруг сквозь закрытую дверь до нее донесся звонкий смех ее мальчика. И словно ножом по сердцу резанула мысль, что было бы, если бы он умер. Что, если бы ее Бо лежал сейчас наверху, застывший и холодный, а его веселый смех навсегда угас.

— О! — испуганно воскликнула она и мысленно прижала сына к сердцу: она поняла, каково сейчас Ретту. Если бы Бо умер, разве она позволила бы его увезти, чтоб его положили где‑то под дождем и ветром, в темноте? — Ох, бедный капитан Батлер! — воскликнула она. — Я сейчас же пойду к нему, немедленно.

Она поспешила в столовую, тихо сказала несколько слов Эшли и, к удивлению своего мальчика, крепко прижала его к себе и пылко поцеловала светлые кудряшки.

Она выбежала из дома без шляпы, все еще сжимая в руке обеденную салфетку, и шла так быстро, что старые ноги Мамушки еле поспевали за ней. Войдя в парадный холл дома Скарлетт, она кивнула сидевшим в библиотеке — испуганной мисс Питтипэт, величественной старухе миссис Батлер, Уиллу и Сьюлин, затем быстро поднялась по лестнице; за ней, задыхаясь, следовала Мамушка. На секунду Мелани задержалась, проходя мимо закрытой двери Скарлетт, но Мамушка прошептала:

— Нет, мэм, не надо этого делать.

Площадку Мелани пересекла уже гораздо медленнее и, подойдя к комнате Ретта, остановилась. С минуту она постояла в нерешительности, словно хотела повернуться и бежать. Затем, призвав на помощь все свое мужество, как маленький солдатик перед тем, как идти в атаку, постучала в дверь и тихо сказала:

— Впустите меня, пожалуйста, капитан Батлер. Это миссис Уилкс. Я хочу увидеть Бонни.

Дверь быстро отворилась, и Мамушка, отступившая в глубину лестничной площадки, где было темно, увидела огромный черный силуэт Ретта на фоне ярко горящих свечей. Он пошатывался, и до Мамушки долетел запах виски. Секунду он смотрел на Мелли, затем взял ее за плечо, втолкнул в комнату и закрыл дверь.

Мамушка тихонько прокралась к двери и устало опустилась на стоявший возле нее стул, слишком маленький для ее могучего тела. Она сидела совсем тихо, беззвучно плакала и молилась. Время от времени она поднимала подол платья и вытирала глаза. Сколько ни напрягала она слух, но не могла разобрать ни слова — из‑за двери доносился лишь тихий прерывистый гул голосов.

После бесконечно долгого ожидания дверь приотворилась и выглянула Мелани — лицо у нее было белое, напряженное.

— Принеси мне кофейник с кофе, да побыстрей, и несколько сандвичей.

Когда дьявол вселялся в Мамушку, она начинала двигаться со стремительностью стройной шестнадцатилетней негритяночки, а сейчас ей так хотелось попасть в комнату Ретта и ее разбирало такое любопытство, что она двигалась еще быстрее. Но надежды ее не оправдались, ибо Мелани лишь приоткрыла дверь и взяла у нее поднос. Долгое время Мамушка прислушивалась, напрягая свой острый слух, но не могла различить ничего, кроме позвякиванья серебра о фарфор да приглушенного, мягкого голоса Мелани. Потом она услышала, как заскрипела кровать под тяжелым телом, и вскоре — стук сапог, сбрасываемых на пол. Через некоторое время в двери появилась Мелани. Но как Мамушка ни старалась, ничего разглядеть в комнате она не смогла. Вид у Мелани был усталый, и на ресницах блестели слезы, но лицо было снова спокойное...

— Пойди скажи мисс Скарлетт, что капитан Батлер согласен, чтобы похороны состоялись завтра утром, — прошептала она.

— Слава тебе, господи! — воскликнула Мамушка. — Да как же это...

— Не кричи так. Он сейчас заснет. И еще. Мамушка, скажи мисс Скарлетт, что я буду здесь всю ночь, и принеси мне кофе. Принеси сюда...

— В эту самую комнату?

— Да, я обещала капитану Батлеру, что, если он заснет, я просижу с Бонни всю ночь. А теперь иди, скажи все мисс Скарлетт, чтобы она больше не волновалась.

Мамушка прошла через площадку — под ее тяжестью ходуном заходили половицы, — и сердце ее, успокоившись, пело: «Аллилуйя, аллилуйя». У двери в комнату Скарлетт она приостановилась и задумалась — благодарность к Мелани боролась в ней с любопытством.

«И как это мисс Мелани удалось, ума не приложу. Видно, ей помогают ангелы. Про то, что завтра похороны, я мисс Скарлетт скажу, а вот про то, что мисс Мелли будет всю ночь сидеть с маленькой мисс, лучше утаю. Не понравится это мисс Скарлетт».

### Глава LX

Что‑то в мире было не так, в воздухе чувствовалось что‑то мрачное, зловещее, окутавшее все непроницаемым туманом, который кольцом окружал Скарлетт. И это ощущение, что в мире что‑то не так, было связано не только со смертью Бонни, потому что боль от невыносимого горя постепенно сменилась смирением перед понесенной утратой. И однако же, призрачное ощущение беды не проходило — точно кто‑то черный, зловещий стоял у плеча Скарлетт, точно земля под ее ногами в любой момент могла превратиться в зыбучие пески.

Никогда прежде не знала Скарлетт такого страха. Всю свою жизнь она строила на надежной основе здравого смысла и боялась лишь зримого и ощутимого — увечья, голода, бедности, утраты любви Эшли. Никогда прежде не занимаясь анализом, она пыталась сейчас анализировать свое состояние, но безуспешно. Она потеряла любимое дитя, но в общем‑то могла это вынести, как вынесла другие сокрушительные потери. Она была здорова, денег у нее было сколько душе угодно, и у нее по‑прежнему был Эшли, хотя последнее время она все реже и реже видела его. Даже то отчуждение, которое возникло между ними после неудавшегося праздника, устроенного Мелани, не тревожило ее больше, ибо она знала, что это пройдет. Нет, она боялась не боли, и не голода, и не утраты любви. Эти страхи никогда не угнетали ее в такой мере, как угнетало сейчас ощущение, что в мире что‑то не так, — это был страх, затмевавший все остальные чувства, очень похожий на то, что она испытывала раньше во время кошмаров, когда бежала сквозь густой клубящийся туман так, что казалось, сердце лопнет, — потерявшееся дитя в поисках приюта.

Она вспоминала, как Ретт умел утешить ее и смехом разгонял ее страхи. Вспоминала, как успокаивалась на его сильных руках, прижавшись к смуглой груди. И всем своим существом потянувшись к нему, она впервые за многие недели по‑настоящему его увидела. Он так переменился, что она пришла в ужас. Этот человек уже никогда не будет смеяться, никогда не будет ее утешать.

Какое‑то время после смерти Бонни она была слишком на него зла, слишком поглощена собственным горем и лишь вежливо разговаривала с ним при слугах. Слишком ушла она в себя, вспоминая быстрый топот Бонниных ножек, ее заливчатый смех, и потому даже не подумала, что и он, наверное, вспоминает все это, только ему вспоминать еще больнее, чем ей. На протяжении всех этих недель они встречались и разговаривали — вежливо, как чужие люди, которые встречаются в безликих стенах отеля, живут под одной крышей, сидят за одним столом, но не обмениваются друг с другом сокровенными мыслями.

Теперь, когда ей стало страшно и одиноко, она сломала бы этот барьер, если бы могла, но она обнаружила, что Ретт удерживает ее на расстоянии, словно не желает говорить с ней ни о чем, кроме самого необходимого. Теперь, когда злость ее стала проходить, ей хотелось сказать ему, что она не винит его в смерти Бонни. Ей хотелось поплакать в его объятиях и признаться, что она ведь тоже невероятно гордилась тем, что девочка так хорошо скачет на своем пони, тоже была невероятно снисходительна к капризам дочурки. Сейчас Скарлетт готова была унизиться перед Реттом и признать, что напрасно обвинила его в смерти дочери, — слишком она была несчастна и надеялась, причинив ему боль, облегчить себе душу. Но ей все не удавалось найти подходящий момент для разговора. Ретт смотрел на нее своими черными непроницаемыми глазами, и слова не шли у нее с языка. А когда слишком долго откладываешь признание, его все труднее и труднее сделать, и наконец наступает такой момент, когда оно просто становится невозможным.

Скарлетт не могла понять, почему так получается. Ведь Ретт же — ее муж, и они неразрывно связаны тем, что делили одну постель, были близки, и зачали любимое дитя, и слишком скоро увидели, как их дитя поглотила темная яма. Только в объятиях отца этого ребенка, делясь с ним воспоминаниями и горюя, могла бы она обрести утешение — сначала было бы больно, а потом именно боль и помогла бы залечить рану. Но при нынешнем положении дел она готова была бы скорее упасть в объятия постороннего человека.

Ретт редко бывал дома. А когда они вместе садились ужинать, он, как правило, был пьян. Вино действовало на него теперь иначе, чем прежде, когда он постепенно становился все более любезным и язвительным, говорил забавные колкости, и в конце концов она, помимо воли, начинала смеяться. Теперь, выпив, он был молчалив и мрачен, а под конец вечера сидел совсем отупевший. Иной раз на заре она слышала, как он въезжал на задний двор и колотил в дверь домика для слуг, чтобы Порк помог ему подняться по лестнице и уложил в постель. Его — укладывать в постель! Это Ретта‑то, который всегда был трезв, когда другие уже валялись под столом, и сам укладывал всех спать.

Он перестал следить за собой, тогда как раньше всегда был тщательно выбрит и причесан, и Порку приходилось долго возмущаться и упрашивать, чтобы он хотя бы сменил рубашку перед ужином. Пристрастие к виски начало сказываться на внешности Ретта, и его еще недавно четко очерченное лицо расплылось, щеки нездорово опухли, а под вечно налитыми кровью глазами образовались мешки. Его большое мускулистое тело обмякло, и талия стала исчезать.

Он часто вообще не приезжал домой ночевать и даже не сообщал, что не приедет. Вполне возможно, что он храпел пьяный в комнате над каким‑нибудь салуном, но Скарлетт всегда казалось, что в таких случаях он — у Красотки Уотлинг. Однажды она увидела Красотку в магазине — теперь это была вульгарная располневшая женщина, от красоты которой почти ничего не осталось. Накрашенная и одетая во все яркое, она тем не менее выглядела дебелой матроной. Вместо того, чтобы опустить глаза или с вызовом посмотреть на Скарлетт, как это делали, встречаясь с дамами, другие особы легкого поведения. Красотка ответила ей внимательным взглядом, в котором была чуть ли не жалость, так что Скарлетт даже вспыхнула.

Но она уже не могла обвинять Ретта, не могла устраивать ему бурные сцены, требовать верности или стыдить его — как не могла заставить себя просить у него прощения за то, что обвинила его в смерти Бонни. Ее сковывала какая‑то непостижимая апатия. Она сама не понимала, почему она несчастна — такой несчастной она еще никогда себя не чувствовала. И она была одинока — бесконечно одинока. Возможно, до сих пор у нее просто не было времени почувствовать себя одинокой. А сейчас одиночество и страх навалились на нее и ей не к кому было обратиться — разве что к Мелани. Ибо даже Мамушка, ее извечная опора, отбыла в Тару. Уехала навсегда.

Мамушка не объяснила причины своего отъезда. Она с грустью посмотрела на Скарлетт усталыми старыми глазами и попросила дать ей денег на дорогу домой. В ответ на слезы Скарлетт и уговоры остаться Мамушка сказала лишь:

— Похоже, мисс Эллин зовет меня: «Мамушка, возвращайся домой. Поработала — и хватит». Вот я и еду домой.

Ретт, услышав этот разговор, дал Мамушке денег и похлопал по плечу.

— Ты права. Мамушка, и мисс Эллин права. Ты здесь действительно поработала, и хватит. Поезжай домой. И дай мне знать, если тебе когда‑нибудь что‑то понадобится. — И когда Скарлетт попыталась было возмутиться и начать командовать, он прикрикнул на нее: — Замолчите вы, идиотка! Отпустите ее! Кому охота оставаться в этом доме — теперь?

При этих словах в глазах его загорелся такой дикий огонь, что Скарлетт в испуге отступила.

— Доктор Мид, вам не кажется, что, пожалуй... что он, возможно, потерял рассудок? — спросила она, решив через некоторое время поехать к доктору посоветоваться, ибо чувствовала себя совершенно беспомощной.

— Нет, — сказал доктор, — но он пьет как лошадь и убьет себя, если не остановится. Он ведь очень любил девочку и, мне кажется, Скарлетт, пьет, чтобы забыться. Мой совет вам, мисс: подарите ему ребенка — да побыстрее.

«Ха! — с горечью подумала Скарлетт, выходя из его кабинета. — Легко сказать». Она бы с радостью родила ему еще ребенка — и не одного, — если бы это помогло прогнать отчужденность из глаз Ретта, затянуть раны его сердца. Мальчика, который был бы такой же смуглый и красивый, как Ретт, и маленькую девочку. Ах, еще одну девочку — хорошенькую, веселую, своенравную, смешливую, не как эта пустоголовая Элла. Почему, ну, почему не мог господь прибрать Эллу, если уж надо было отнимать у нее ребенка? Элла не утешала ее — она не могла заменить матери Бонни. Но Ретт, казалось, не хотел больше иметь детей. Во всяком случае, он никогда не заходил к ней в спальню, хотя дверь теперь не запиралась, а была, наоборот, зазывно приотворена. Ему, казалось, это было безразлично. Видно, ему все было безразлично, кроме виски и этой толстой рыжей бабы.

Теперь он злился, тогда как раньше мило подшучивал над ней, и грубил, тогда как раньше его уколы смягчались юмором. После смерти Бонни многие из добропорядочных дам, которые жили по соседству и которых он сумел завоевать своим чудесным отношением к дочке, старались проявить к нему доброту. Они останавливали его на улице, выражали сочувствие, заговаривали с ним поверх изгороди и выказывали свое понимание. Но теперь, когда Бонни не стало, для него исчезла необходимость держаться благовоспитанно, а вместе с необходимостью исчезла и благовоспитанность. И он грубо обрывал искренние соболезнования дам.

Но, как ни странно, дамы не оскорблялись. Они понимали или считали, что понимают. Когда он ехал домой в сумерки, пьяный, еле держась в седле, хмуро глядя на тех, кто с ним заговаривал, дамы говорили: «Бедняга!» — и удваивали усилия, стараясь проявить мягкость и доброту. Они очень его жалели — этого человека с разбитым сердцем, который возвращался домой к такому утешителю, как Скарлетт.

А все знали, до чего она холодная и бессердечная. Все были потрясены тем, как, казалось, легко и быстро она оправилась после смерти Бонни, и никто так и не понял, да и не пытался понять, скольких усилий ей это стоило. Всеобщее искреннее сочувствие было на стороне Ретта, а он не знал этого и не ценил. Скарлетт же все в городе просто не выносили, в то время как именно сейчас она так нуждалась в сочувствии старых друзей.

Теперь никто из старых друзей не появлялся у нее в доме, за исключением тети Питти, Мелани и Эшли. Только новые друзья приезжали в блестящих лакированных колясках, стремясь выразить ей свое сочувствие, стараясь отвлечь ее сплетнями о каких‑то других друзьях, которые нисколько ее не интересовали. Все это «пришлые», чужаки — все до одного! Они не знают ее. И никогда не узнают. Они понятия не имеют, как складывалась ее жизнь, пока она не обрела нынешнее прочное положение и не поселилась в этом дворце на Персиковой улице. Да и они не стремились говорить о том, какова была их жизнь до того, как у них появились эти шуршащие шелка и виктории, запряженные отличными лошадьми. Они не знали, какую она вынесла борьбу, какие лишения, сколько было в ее жизни такого, что позволяло ей по‑настоящему ценить и этот большой дом, и красивые наряды, и серебро, и приемы. Они всего этого не знали. Да и не стремились узнать — что им до нее, этим людям, приехавшим неизвестно откуда, как бы скользившим по поверхности, не связанным общими воспоминаниями о войне, и голоде, и борьбе с захватчиками, людям, не имеющим общих корней, которые уходят вглубь, все в ту же красную землю.

Теперь, оставшись одна, Скарлетт предпочла бы коротать дни с Мейбелл, или Фэнни, или миссис Элсинг, или миссис Уайтинг, или миссис Боннелл, или даже с этой грозной воинственной старухой миссис Мерриуэзер, или... или с кем угодно из старых друзей и соседей. Потому что они знали. Они знали войну, и ужасы, и пожары, видели, как преждевременно погибли их близкие, они голодали и ходили в старье, и нужда стояла у их порога. И из ничего снова создали себе состояние.

Каким утешением было бы посидеть с Мейбелл, помня о том, что Мейбелл похоронила ребенка, погибшего во время отчаянного бегства перед наступавшей армией Шермана. Какое утешение нашла бы она в обществе Фэнни, помня, что обе они потеряли мужей в те черные дни, когда их край был объявлен на военном положении. Как горестно посмеялись бы они с миссис Элсинг, вспоминая, как пожилая дама, нахлестывая лошадь, мчалась в день падения Атланты мимо Пяти Углов и захваченные на военном складе припасы вылетали у нее из повозки. Как было бы приятно излить душу миссис Мерриуэзер, теперь такой преуспевающей благодаря своей булочной, и сказать ей: «А помните, как туго было после поражения? Помните, как мы не знали, откуда взять новую пару обуви? А посмотрите на нас теперь!»

Да, это было бы приятно. Теперь Скарлетт понимала, почему бывшие конфедераты при встрече с таким упоением, с такой гордостью, с такой ностальгией принимались говорить о войне. То были дни серьезных испытаний, но они прошли через них. И стали ветеранами. Она ведь тоже ветеран, но только нет у нее товарищей, с которыми она могла бы возродить в памяти былые битвы. Ах, как бы ей хотелось снова быть с людьми своего круга, с теми, кто пережил то же, что и она, и знает, как это было больно и, однако же, стало неотъемлемой частью тебя самого!

Но каким‑то образом все эти люди отошли от нее. Скарлетт понимала, что никто, кроме нее, тут не виноват. Она никогда не нуждалась в них до сегодняшнего дня — дня, когда Бонни уже нет на свете, а она так одинока и испугана и сидит за сверкающим обеденным столом напротив пьяного, отупевшего, совсем чужого человека, превратившегося в животное у нее на глазах.

### Глава LXI

Скарлетт была в Мариетте, когда пришла срочная телеграмма от Ретта. Поезд в Атланту отходил через десять минут, и она села в него, взяв с собой лишь ридикюль и оставив Уэйда и Эллу в отеле на попечении Присей.

Атланта находилась всего в двадцати милях, но поезд полз бесконечно долго по мокрой, осенней, освещенной тусклым дневным светом равнине и останавливался у каждого переезда. До крайности взволнованная вестью от Ретта, Скарлетт сгорала от нетерпения и при каждой остановке буквально готова была кричать. А поезд шел не спеша сквозь леса, чуть тронутые усталым золотом, мимо красных холмов, все еще изрезанных серпантинами окопов, мимо бывших артиллерийских редутов и заросших сорняком воронок, вдоль дороги, по которой с боями отступали солдаты Джонстона. Каждая остановка, каждый перекресток, объявляемые кондуктором, носили имя сражения, были местом битвы. В свое время это вызвало бы у Скарлетт страшные воспоминания, но сейчас ей было не до них.

Телеграмма Ретта гласила: «Миссис Уилкс заболела. Немедленно возвращайтесь».

Сумерки уже спустились, когда поезд подошел к Атланте, — пелена мелкого дождя затянула город. На улицах тускло горели газовые фонари — желтые круги в тумане. Ретт ждал ее на вокзале с каретой. Лицо его испугало Скарлетт еще больше, чем телеграмма. Она никогда прежде не видела у него такого бесстрастного лица.

— Она не... — вырвалось у Скарлетт.

— Нет. Она еще жива. — Ретт помог Скарлетт сесть в карету. — К дому миссис Уилкс, и гони быстрее, — приказал он кучеру.

— А что с ней? Я и не знала, что она больна. Ведь еще на прошлой неделе она выглядела как всегда. С ней произошел несчастный случай? Ах, Ретт, и, конечно же, это не так серьезно, как вы...

— Она умирает, — сказал Ретт, и голос его был также бесстрастен, как и лицо. — Она хочет вас видеть.

— Нет, только не Мелли! Ах, нет! Что же с ней такое?

— У нее был выкидыш.

— Вы... Вы... Но, Ретт, она же... — И Скарлетт умолкла. Эта весть совсем лишила ее дара речи.

— А вы что, разве не знали, что она ждет ребенка?

У Скарлетт не было сил даже покачать головой.

— Ах, ну конечно, наверное, не знали. Я думаю, она никому не говорила. Ей хотелось устроить всем сюрприз. Но я знал.

— Вы знали? Но не она же вам сказала?

— Ей не надо было мне говорить. Я знал. Она была такая... такая счастливая последние два месяца, что я понял: ничего другого быть не могло.

— Но, Ретт, доктор ведь говорил, что она умрет, если вздумает еще раз рожать!

— Вот она и умирает, — сказал Ретт. И обращаясь к кучеру: — Ради всего святого, ты что, не можешь ехать быстрее?

— Но, Ретт, она, конечно же, не умирает! Я... я ведь не... я же не...

— Она не такая сильная, как вы. Она вообще никогда не отличалась особой силой. Одно только и было у нее — это сердце.

Карета, покачиваясь, остановилась перед приземистым домом, и Ретт помог Скарлетт выйти. Дрожащая, испуганная, вдруг бесконечно одинокая, она крепко ухватилась за его локоть.

— А вы разве не зайдете со мной, Ретт?

— Нет, — сказал он и снова сел в карету.

Скарлетт взлетела вверх по ступенькам, пересекла крыльцо и распахнула дверь. Внутри при желтом свете лампы она увидела Эшли, тетю Питти и Индию. Скарлетт подумала: «А что здесь делает Индия? Мелани ведь сказала, чтобы она не смела переступать порог этого дома». Все трое поднялись при виде ее — тетя Питти кусала дрожащие губы; сраженная горем Индия без всякой ненависти смотрела на нее. У Эшли был вид сомнамбулы, и, когда он подошел к Скарлетт и положил руку ей на плечо, он и заговорил, как сомнамбула.

— Она звала вас, — сказал он. — Она вас звала.

— Могу я ее видеть? — Скарлетт повернулась к закрытой двери комнаты Мелани.

— Нет. Там сейчас доктор Мид. Я рад, что вы приехали, Скарлетт.

— Я тут же выехала. — Скарлетт сбросила шляпку и накидку. — Поезд... Но она же не... Скажите мне, что ей лучше, правда, Эшли? Да говорите же! И не смотрите так! Она же не...

— Она все звала вас, — сказал Эшли и посмотрел Скарлетт в глаза.

И она увидела в его глазах ответ на все свои вопросы. На секунду сердце у нее остановилось, а потом какой‑то странный страх, более сильный, чем тревога, более сильный, чем горе, забился в ее груди. «Этого не может быть, — думала она, стараясь отогнать тревогу. — Врачи ошибаются. Я не могу поверить, что это правда. Не могу позволить себе так думать. Если я так подумаю, то закричу. Буду думать о чем‑то другом».

— Я этому не верю! — воскликнула она, с вызовом глядя на этих троих с осунувшимися лицами и словно призывая их опровергнуть ее слова. — Ну, почему Мелани ничего не сказала мне? Я бы никогда не поехала в Мариетту, если б знала!

Глаза у Эшли ожили, в них появилась мука.

— Она никому ничего не говорила, Скарлетт, тем более — вам. Она боялась, что вы станете ругать ее, если узнаете. Ей хотелось дождаться трех... словом, пока она не будет уверена, что все в порядке, а тогда удивить вас всех, и посмеяться, и сказать, как не правы были врачи И она была так счастлива. Вы же знаете... как она относится к детям... как ей хотелось иметь девочку, И все шло хорошо, пока... а потом без всяких причин...

Дверь из комнаты Мелани тихо отворилась, и в холле появился доктор Мид. Он прикрыл за собой створку и постоял с минуту, уткнувшись седой бородой в грудь, глядя на внезапно застывших четверых людей. Последней он увидел Скарлетт. Когда он подошел к ней, она прочла в его глазах скорбь, а также неприязнь и презрение, и сердце у нее испуганно заныло от чувства вины.

— Значит, прибыли, наконец, — сказал он.

Она еще не успела ничего сказать, а Эшли уже шагнул к закрытой двери.

— Нет, вам пока нельзя, — сказал доктор. — Она хочет говорить со Скарлетт.

— Доктор, — сказала Индия, положив руку ему на рукав. Голос у нее звучал безжизненно, но так умоляюще, что брал за душу сильнее слов. — Разрешите мне увидеть ее хоть на минуту. Я ведь здесь с самого утра и все жду, но она... Разрешите мне увидеть ее хоть на минуту. Я хочу сказать ей... я должна ей сказать, что была не права... не права кое в чем.

Произнося эти слова, она не смотрела ни на Эшли, ни на Скарлетт, но доктор Мид остановил ледяной взгляд на Скарлетт.

— Я постараюсь, мисс Индия, — отрывисто сказал он. — Но только при условии, если вы пообещаете мне не отнимать у нее силы, заставляя слушать ваше признание в том, что вы были не правы. Она знает, что вы были не правы, и вы только взволнуете ее, если начнете извиняться.

— Прошу вас, доктор Мид... — робко начала было Питти.

— Мисс Питти, вы же знаете, что только закричите и тут же упадете в обморок.

Питти возмущенно выпрямилась во весь свой невысокий рост и посмотрела на доктора в упор. Глаза ее были сухи и вся фигура исполнена достоинства.

— Ну, хорошо, душа моя, немного позже, — сказал доктор, чуть подобрев. — Пойдемте, Скарлетт.

Они подошли на цыпочках к закрытой двери, и доктор вдруг резко схватил Скарлетт за плечо.

— Вот что, мисс, — быстро зашептал он, — никаких истерик и никаких признаний у ложа умирающей, иначе, клянусь богом, я сверну вам шею! И не смотрите на меня с этим вашим невинным видом. Вы знаете, что я имею в виду. Мисс Мелли умрет легко, а вы не облегчите своей совести, если скажете ей про Эшли. Я никогда еще не обидел ни одной женщины, но — если вы сейчас хоть в чем‑то признаетесь, вы мне за это ответите.

И прежде чем она успела что‑либо сказать, он распахнул дверь, втолкнул ее в комнату и закрыл за ней дверь. Маленькая комнатка, обставленная дешевой мебелью из черного ореха, была погружена в полумрак, лампа прикрыта газетой. Все здесь было маленькое и аккуратное, как в комнате школьницы: узкая кровать с низкой спинкой, простые тюлевые занавески, подхваченные с боков, чистые, выцветшие лоскутные коврики, — все было непохоже на роскошную спальню Скарлетт с тяжелой резной мебелью, драпировками из розовой парчи и ковром, вытканным розами.

Мелани лежала в постели, тело ее под одеялом казалось совсем худеньким и плоским, как у девочки. Две черные косы обрамляли лицо, закрытые глаза были обведены багровыми кругами. При виде ее Скарлетт замерла и остановилась, прислонясь к двери. Несмотря на полумрак в комнате, она увидела, что лицо Мелани — желто‑воскового цвета. Жизнь ушла из него, и нос заострился. До этой минуты Скарлетт надеялась, что доктор Мид ошибается, но сейчас она все поняла. В госпиталях во время войны она видела слишком много таких лиц с заострившимися чертами и знала, о чем это говорит.

Мелани умирает, но мозг Скарлетт какое‑то время отказывался это воспринять. Мелани не может умереть. Это невозможно. Бог не допустит, чтобы она умерла, — ведь она так нужна ей, Скарлетт. Никогда прежде Скарлетт и в голову не приходило, что Мелани так ей нужна. Но сейчас эта мысль пронзила ее до глубины души. Она полагалась на Мелани, как полагалась на саму себя, но до сих пор этого не сознавала. А теперь Мелани умирает, и Скарлетт почувствовала, что не сможет жить без нее. Идя на цыпочках через комнату к тихо лежавшей фигуре, чувствуя, как от панического страха сжимается сердце, Скарлетт поняла, что Мелани была ее мечом и щитом, ее силой и ее утешением.

«Я должна удержать ее! Я не могу допустить, чтобы она вот так ушла!» — думала она и, шурша юбками, села у постели. Она поспешно схватила лежавшую на покрывале влажную руку и снова испугалась — такой холодной была эта рука.

— Это я, Мелли, — прошептала она.

Мелани чуть приоткрыла глаза и, словно удостоверившись, что это в самом деле Скарлетт, опять закрыла их. Потом она перевела дух и шепотом произнесла:

— Обещай!

— О, все, что угодно!

— Бо... присмотри за ним.

Скарлетт могла лишь кивнуть, так у нее сдавило горло, и она тихонько пожала руку, которую держала в своей руке, давая понять, что все выполнит.

— Я поручаю его тебе. — Легкое подобие улыбки мелькнуло на лице Мелани. — Я ведь уже поручала его твоим заботам... помнишь... до того, как он родился.

Помнит ли она? Да разве может она забыть то время? Так же отчетливо, как если бы тот страшный день снова наступил, она почувствовала удушающую жару сентябрьского полдня, вспомнила свой ужас перед янки, услышала топот ног отступающих солдат, и в ушах ее снова зазвенел голос Мелани, которая просила, чтобы Скарлетт взяла к себе ребенка, если она умрет... вспомнила и то, как она ненавидела Мелани в тот день, как надеялась, что та умрет.

«Я убила ее, — подумала она в суеверном ужасе. — Я так часто желала ей смерти, и вот господь услышал меня и теперь наказывает».

— Ах, Мелли, не надо так говорить. Ты же знаешь, что выздоровеешь...

— Нет. Обещай.

Скарлетт глотнула воздуха.

— Ты же знаешь, что я буду относиться к нему как к родному сыну.

— Колледж? — спросил слабый, еле слышный голос Мелани.

— О да! И Гарвард и Европа, и все, чего он захочет... и... и... пони... и уроки музыки... Ах, Мелли, ну пожалуйста, попытайся! Сделай над собой усилие!

Снова наступила тишина, и по лицу Мелани видно было, что она старается собраться с силами, чтобы еще что‑то сказать.

— Эшли, — сказала она. — Ты и Эшли... — Голос ее задрожал и умолк.

При упоминании имени Эшли сердце у Скарлетт остановилось и захолодело, стало как камень. Значит, все это время Мелани знала. Скарлетт уткнулась головой в одеяло, и в горле ее застряло невырвавшееся рыдание. Мелани знает. Сейчас Скарлетт уже не было стыдно, она ничего не чувствовала, кроме диких угрызений совести за то, что столько лет причиняла боль этой мягкой, ласковой женщине. Мелани все знала — и, однако же, оставалась ее верным другом Ах, если бы можно было прожить заново эти годы! Она никогда бы не позволила себе даже встретиться взглядом с Эшли.

«Господи, господи, — молилась она про себя, — пожалуйста, сохрани ей жизнь! Я воздам ей сторицей. Я к ней буду хорошо относиться. Пока буду жива, я никогда больше словом не перемолвлюсь с Эшли, если только ты дашь ей поправиться!»

— Эшли, — слабым голосом произнесла Мелани и дотронулась пальцами до склоненной головы Скарлетт. Ее большой и указательный пальцы потянули волосы Скарлетт не сильнее, чем это сделал бы грудной младенец. Скарлетт сразу поняла, что это значило, — поняла, что Мелани хочет, чтобы она взглянула на нее. Но она не могла, не могла встретиться взглядом с Мелани и прочесть в ее глазах что та все знает.

— Эшли — снова прошептала Мелани, и Скарлетт постаралась взять себя в руки Ведь когда она в день Страшного суда посмотрит в лицо господа бога и прочтет в его глазах свой приговор, ей будет не страшнее, чем сейчас. И хотя все внутри у нее сжалось, она подняла голову.

Она увидела все те же темные любящие глаза, сейчас запавшие и уже затуманенные смертью, все тот же нежный рот, устало боровшийся за каждый вздох. В лице Мелани не было ни упрека, ни обвинения, ни страха — лишь тревога, что она не сумеет найти в себе силы, чтобы произнести нужные слова.

Скарлетт была настолько потрясена увиденным, что даже не почувствовала облегчения. Потом, взяв в ладони руку Мелани, она ощутила, как теплая волна благодарности затопляет ее, и впервые со времени детства смиренно, не думая о себе, произнесла молитву:

«Благодарю тебя, господи. Я знаю, что недостойна, но все же благодарю тебя за то, что ты позволил ей не знать».

— Так что же насчет Эшли, Мелли?

— Ты... присмотришь за ним?

— О, да.

— Он простужается... так легко.

Пауза.

— Присмотри... за его делами... Понимаешь?

— О да, понимаю. Я присмотрю.

Сделав над собой огромное усилие, Мелани добавила:

— Эшли — он такой... непрактичный.

Только смерть могла подвигнуть Мелани на такую нелояльность.

— Присмотри за ним, Скарлетт... но только чтобы он не знал.

— Я присмотрю за ним и за его делами, и так, что он никогда об этом не узнает. Просто буду иногда давать ему советы.

На лице Мелани появилась слабая, но удовлетворенная улыбка, когда она встретилась глазами со Скарлетт. Этот обмен взглядами как бы скреплял сделку между ними, и забота о том, чтобы оградить Эшли Уилкса от слишком жестокого мира, причем оградить так, чтобы его мужская гордость при этом не пострадала, перешла от одной женщины к другой.

Теперь усталое лицо уже не было таким напряженным, точно обещание, которое дала Скарлетт, принесло покой Мелани.

— Ты такая ловкая... такая мужественная, ты всегда была так добра ко мне...

При этих словах рыдания подступили к горлу Скарлетт, и она зажала рукой рот. Она сейчас заревет как ребенок, закричит: «Я была сущим дьяволом! Я столько причинила тебе зла! Ничего я для тебя никогда не делала! Я все делала только для Эшли».

Она резко поднялась, прикусив палец, чтобы сдержаться. И на память ей снова пришли слова Ретта: «Она любит вас. Так что придется вам нести и этот крест». И этот крест стал сейчас еще тяжелее. Худо было уже то, что она с помощью всевозможных хитростей пыталась отобрать Эшли у Мелани. А теперь все становилось еще хуже — оттого, что Мелани, слепо доверявшая ей всю жизнь, уносила с собой в могилу ту же любовь и то же доверие. Нет, сейчас она не в состоянии ничего больше сказать. Она не может даже повторить: «Попытайся сделать над собой усилие». Она должна дать Мелани спокойно уйти, без борьбы, без слез, без горя.

Дверь слегка приотворилась, и на пороге появился доктор Мид, повелительным жестом требуя, чтобы Скарлетт ушла. Она склонилась над постелью, давясь слезами, и, взяв руку Мелани, приложила ее к своей щеке.

— Спи спокойно, — сказала она голосом более твердым, чем даже сама ожидала.

— Обещай мне... — послышался шепот, теперь уже совсем, совсем тихий.

— Все, что угодно, дорогая.

— Капитан Батлер — будь добра к нему. Он... он так тебя любит.

«Ретт?» — недоумевая, подумала Скарлетт; слова Мелани показались ей пустым звуком.

— Да, конечно, — машинально сказала она и, легонько поцеловав руку Мелани, опустила ее на кровать.

— Скажите дамам, чтобы они шли сейчас же, — шепнул доктор, когда она проходила мимо него.

Затуманенными от слез глазами Скарлетт увидела, как Индия и Питти проследовали за доктором в комнату, придерживая юбки, чтобы не шуршать. Дверь за ними закрылась, и в доме наступила тишина. Эшли нигде не было видно. Скарлетт приткнулась головой к стене, словно капризный ребенок, которого поставили в угол, и потерла сдавленное рыданиями горло.

За дверью уходила из жизни Мелани. И вместе с ней уходила сила, на которую, сама того не понимая, столько лет опиралась Скарлетт. Почему, ну, почему она до сих пор не сознавала, как она любит Мелани и как та ей нужна? Ну, кому могло бы прийти в голову, что в этой маленькой некрасивой Мелани заключена такая сила? В Мелани, которая до слез стеснялась чужих людей, боялась вслух выразить свое мнение, страшилась неодобрения пожилых дам, в Мелани, у которой не хватило бы храбрости прогнать гуся! И однако же...

Мысленно Скарлетт вернулась на многие годы назад, к тому жаркому дню в Таре, когда серый дым стлался над распростертым телом в синем мундире, а на верху лестницы с саблей Чарлза в руке стояла Мелани. Скарлетт вспомнила, как подумала тогда: «Какая глупость! Ведь Мелани этой саблей даже взмахнуть не могла бы!» Но сейчас она знала, что, случись такая необходимость, Мелани ринулась бы вниз по лестнице и убила бы того янки — или была бы убита сама.

Да, Мелани в тот день стояла, сжимая клинок в маленькой руке, готовая сразиться за нее, Скарлетт. И сейчас, с грустью оглядываясь назад, Скарлетт поняла, что Мелани всегда стояла рядом с клинком в руке, — стояла неназойливо, словно тень, любя ее, сражаясь за нее со слепой страстной преданностью, сражаясь с янки, с пожаром, с голодом, с нищетой, с общественным мнением и даже со своими любимыми родственниками.

Скарлетт почувствовала, как мужество и уверенность в своих силах покидают ее, ибо она поняла, что этот клинок, сверкавший между нею и миром, сейчас навеки вкладывается в ножны.

«Мелани — единственная подруга, которая у меня была, — с грустью думала она, — единственная женщина, кроме мамы, которая по‑настоящему меня любила. Да она для меня и была как мама, и все, кто знал ее, всегда цеплялись за ее юбки».

Внезапно у нее возникло такое чувство, будто это Эллин лежит за закрытой дверью и вторично покидает мир. И Скарлетт вдруг снова очутилась в Таре, а вокруг нее шумел враждебный мир, и она была в отчаянии от сознания, что не сможет смотреть жизни в лицо, не чувствуя за своим плечом необычайную силу этой слабой, мягкой, нежной женщины.

Скарлетт стояла в холле, испуганная, не зная, на что решиться; яркий огонь в камине гостиной отбрасывал на стены высокие призрачные тени. В доме царила полнейшая тишина. И эта тишина проникала в нее, словно мелкий, все пропитывающий дождь. Эшли! Где же Эшли?

Она зашла в гостиную в поисках его — так продрогшая собака ищет огня, — но Эшли там не было. Надо его найти. Она открыла силу Мелани и свою зависимость от этой силы в ту минуту, когда теряла Мелани навсегда, но ведь остался же Эшли. Остался Эшли — сильный, мудрый, способный оказать поддержку. В Эшли и его любви она будет черпать силу — чтобы побороть свою слабость, черпать мужество — чтобы прогнать свои страхи, черпать успокоение — чтобы облегчить горе.

«Должно быть, он у себя в комнате», — подумала она и, пройдя на цыпочках через холл, тихонько постучала к нему в дверь. Ответа не последовало, и она открыла дверь. Эшли стоял у комода, глядя на заштопанные перчатки Мелани. Сначала он взял одну перчатку и посмотрел на нее, точно никогда не видел, потом осторожно положил, словно она была стеклянная, и взял другую.

Скарлетт дрожащим голосом произнесла: «Эшли!» Он медленно повернулся и посмотрел на нее. Его серые глаза уже не были затуманенными, отчужденными, а — широко раскрытые — смотрели на нее. И она увидела в них страх, схожий с ее страхом, беспомощность еще большую, чем та, которую испытывала она, растерянность более глубокую, чем она когда‑либо знала. Чувство страха, обуявшее ее в холле, стало еще острее, когда она увидела лицо Эшли. Она подошла к нему.

— Я боюсь, — сказала она. — Ах, Эшли, обними меня. Я так боюсь!

Он не шевельнулся, а лишь смотрел на нее, обеими руками сжимая перчатку. Скарлетт дотронулась до его плеча и прошептала:

— Что с тобой?

Его глаза пристально смотрели на нее, ища, отчаянно ища что‑то и не находя. Наконец он заговорил, и голос его был какой‑то чужой.

— Мне недоставало тебя, — сказал он. — Я хотел побежать, чтобы найти тебя — как ребенок, который ищет утешения, — а нашел я сейчас такого же ребенка, только еще более испуганного, который прибежал ко мне.

— Но ты же... ты же не боишься! — воскликнула она. — Ты никогда ничего не боялся... А вот я... Ты всегда был такой сильный...

— Если я был когда‑либо сильный, то лишь потому, что она стояла за моей спиной, — сказал он, голос его сломался, он посмотрел на перчатку и разгладил на ней пальцы. — И... и... вся сила, какая у меня была, уходит вместе с ней.

В его тихом голосе было такое безысходное отчаяние, что Скарлетт убрала руку с его плеча и отступила. В тяжелом молчании, воцарившемся между ними, она почувствовала, что сейчас действительно впервые в жизни поняла его.

— Как же так... — медленно произнесла она, — как же так, Эшли? Ты, значит, любил ее?

— Она была моей единственной сбывшейся мечтой, — с трудом произнес он, — она жила и дышала и не развеивалась от соприкосновения с реальностью.

«Мечта! — подумала Скарлетт, чувствуя, как в ней зашевелилось былое раздражение. — Вечно у него эти мечты! И никакого здравого смысла!»

И с тяжелым сердцем она не без горечи сказала:

— Какой же ты был глупый, Эшли. Неужели ты не видел, что она стоила миллиона таких, как я?

— Прошу тебя, Скарлетт! Если бы ты только знала, сколько я выстрадал с тех пор, как...

— Сколько ты выстрадал! Ты думаешь, что я... Ах, Эшли, тебе следовало бы знать уже много лет назад, что ты любил ее, а не меня! Почему же ты этого не понял? Все могло бы быть иначе, а теперь... ах, тебе бы следовало понять и не держать меня на привязи, рассуждая о чести и жертвах! Если бы ты сказал мне это много лет назад, я бы... Это нанесло бы мне смертельный удар, но я бы как‑нибудь выстояла. А ты выяснил это только сегодня, когда Мелли умирает, и сейчас уже слишком поздно что‑либо изменить. Ах, Эшли, мужчинам положено знать такое — не женщинам! Тебе бы следовало понять, что все это время ты любил ее, а меня лишь хотел, как... как Ретт хочет эту Красотку Уотлинг!

Он съежился от этих слов, но продолжал смотреть на нее, взглядом моля замолчать, утешить. Каждая черточка в его лице подтверждала правоту ее слов. И даже то, как он стоял, опустив плечи, говорило, что он казнит себя куда сильнее, чем могла бы казнить она. Он стоял перед ней, молча сжимая перчатку, словно это была рука все понимающего друга, и в наступившей тишине Скарлетт почувствовала, как ее возмущение тает, сменяясь жалостью, смешанной с презрением... Совесть заговорила в ней. Она же пинает ногами поверженного, беззащитного человека, а она обещала Мелани заботиться о нем.

«Не успела я дать ей обещание, как наговорила ему кучу обидных, колючих слов, хотя не было никакой необходимости говорить их ему — ни мне, ни кому‑либо другому. Он знает правду, и она убивает его, — в отчаянии думала Скарлетт. — Он ведь так и не стал взрослым. Как и я, он — ребенок и в ужасе от того, что теряет Мелани. И Мелани знала, что так будет, — Мелани знала его куда лучше, чем я. Вот почему она просила — в одних и тех же выражениях, — чтобы я присмотрела за ним и за Бо. Сумеет ли Эшли все это вынести? Я сумею. Я что угодно вынесу. Мне пришлось уже столько вынести. А он не сможет — ничего не сможет вынести без нее».

— Извини меня, дорогой, — мягко сказала она, раскрывая ему объятия. — Я знаю, каково тебе. И помни: она ничего не знает... она никогда даже не подозревала... бог был милостив к нам.

Он стремительно шагнул к ней и, зажмурясь, обнял. Она приподнялась на цыпочки, прижалась к нему своей теплой щекой и, стремясь успокоить его, погладила по затылку.

— Не плачь, хороший. Ей хочется, чтобы ты был мужествен. Она, конечно, захочет тебя увидеть, и ты должен держаться мужественно. Она не должна заметить, что ты плакал. Это расстроит ее.

Он сжал ее так сильно, что ей стало больно дышать, и прерывающимся голосом зашептал на ухо:

— Что я буду делать? Я не смогу... не смогу жить без нее!

«Я тоже», — подумала она и внутренне содрогнулась, представив себе долгие годы жизни без Мелани. Но она тут же крепко взяла себя в руки. Эшли полагается на нее, Мелани полагается на нее. И она подумала — как когда‑то думала в Таре, лежа, пьяная, измученная, в лунном свете: «Ноша создана для плеч, достаточно сильных, чтобы ее нести». Что ж, у нее сильные плечи, а у Эшли — нет. Она распрямила свои плечи, готовясь принять на них эту ношу, и спокойно, — хотя на душе у нее было далеко не спокойно, — поцеловала его мокрую щеку, без страсти, без томления, без лихорадки, легко и нежно.

— Ничего... как‑нибудь справимся, — сказала она.

Дверь, ведущая в холл, со стуком распахнулась, и доктор Мид резко, повелительно крикнул:

— Эшли, скорей!

«Боже мой! Ее не стало! — подумала Скарлетт. — И Эшли даже не успел с ней попрощаться! Но, может быть, еще...»

— Скорей! — воскликнула она, подталкивая его к двери, ибо он стоял словно громом пораженный. — Скорей!

Она открыла дверь и вытолкнула его в холл. Подгоняемый ее словами, он побежал, продолжая сжимать в руке перчатку. Скарлетт услышала его быстрые шаги, когда он пересекал холл, и звук захлопываемой двери.

Она сказала: «Боже мой!» — и, добредя до кровати, села, уронив голову на руки. Она вдруг почувствовала такую усталость, какой еще не испытывала в жизни. Когда раздался звук захлопнувшейся двери, у Скарлетт словно что‑то надорвалось, словно лопнула державшая ее пружина. Она почувствовала, что измучена, опустошена. Горе, угрызения совести, страх, удивление — все исчезло. Она устала, и мозг ее работал тупо, механически — как часы на камине.

Из этого унылого тумана, обволакивавшего ее, выплыла одна мысль. Эшли не любит ее и никогда по‑настоящему не любил, но и это не причинило ей боли. А ведь должно было бы. Она должна была бы впасть в отчаяние, горевать, проклинать судьбу. Она ведь так долго жила его любовью. Эта любовь поддерживала ее во многие мрачные минуты жизни и тем не менее — такова была истина. Он не любит ее, а ей все равно. Ей все равно, потому что и она не любит его. Она не любит его, и потому, что бы он ни сделал, что бы ни сказал, это не способно больше причинить ей боль.

Она легла на кровать и устало опустила голову на подушку. Ни к чему пытаться прогнать эту мысль, ни к чему говорить себе: «Но я‑то люблю его. Я любила его многие годы. А любовь не может в одну минуту превратиться в безразличие».

Но оказывается, может превратиться и превратилась.

«А ведь на самом деле он таким никогда и не был — только в моем воображении, — отрешенно думала она. — Я любила образ, который сама себе создала, и этот образ умер, как умерла Мелли. Я смастерила красивый костюм и влюбилась в него. А когда появился Эшли, такой красивый, такой ни на кого не похожий, я надела на него этот костюм и заставила носить, не заботясь о том, годится он ему или нет. Я не желала видеть, что он такое на самом деле. Я продолжала любить красивый костюм, а вовсе не его самого».

Теперь, оглядываясь на много лет назад, она увидела себя в платье из канифаса с зелеными цветочками, — она стояла на солнце в Таре и смотрела как зачарованная на молодого всадника, чьи светлые волосы блестели на солнце, как серебряный шлем. Сейчас она отчетливо понимала, что все это была лишь детская причуда, столь же ничего не значащая, как и ее капризное желание иметь аквамариновые сережки, которые она и выклянчила у Джералда. Как только она получила эти сережки, они утратили для нее всякую ценность, как утрачивало ценность все, что она получала, — кроме денег. Вот так же и Эшли — он тоже не был бы ей дорог, если бы в те далекие дни первого знакомства она могла удовлетворить свое тщеславие и отказаться выйти за него замуж. Окажись он в ее власти, стань он пылким, страстным, ревнивым, надутым, молящим, как другие юноши, эта безумная влюбленность, которая владела ею, давным‑давно прошла бы, рассеялась, как легкий туман под лучами солнца, лишь только она встретила бы другого мужчину.

«Какая же я была идиотка, — с горечью думала она. — А теперь вот за все это расплачиваюсь. То, чего я так часто желала, — случилось. Я желала, чтобы Мелли умерла и чтобы Эшли стал моим. И вот теперь она умерла и он мой — и он мне не нужен. Его проклятое понятие о чести заставит его спросить меня, не соглашусь ли я развестись с Реттом и выйти за него замуж. Выйти за него замуж? Да он не нужен мне, даже преподнесите мне его на серебряном блюде! Все равно он будет висеть на моей шее до конца моих дней. И пока я буду жива, мне придется заботиться о нем, следить, чтобы он не умер с голоду и чтобы никто не задел его чувств. Просто у меня появится еще одно дитя, которое будет цепляться за мои юбки. Я потеряла возлюбленного и приобрела еще одного младенца. И не пообещай я Мелли, я... мне было бы все равно, даже если бы я никогда больше его не увидела».

### Глава LXII

Она услышала перешептыванья и, подойдя к двери, увидела негров, испуганно толпившихся в холле у двери на задний двор: Дилси стояла, с трудом держа на руках отяжелевшего спящего Бо, дядюшка Питер плакал, а кухарка вытирала передником широкое мокрое лицо. Все трое посмотрели на Скарлетт, как бы молча спрашивая, что же делать теперь. Она посмотрела в направлении гостиной и увидела Индию и тетю Питти — они стояли молча, держась за руки, и вид у Индии впервые не был высокомерным. Как и негры, они умоляюще взглянули на Скарлетт, словно ожидая от нее указаний. Скарлетт прошла в гостиную, и обе женщины тотчас приблизились к ней.

— Ах, Скарлетт, что же... — начала было тетя Питти, ее по‑детски пухлые губы тряслись.

— Не говорите со мной, или я закричу, — сказала Скарлетт. От чрезмерного напряжения голос ее прозвучал резко, она крепко прижала к бокам стиснутые кулаки. При мысли о том, что сейчас надо будет говорить о Мелани, давать необходимые распоряжения, сопутствующие смерти, она почувствовала, как в горле у нее снова встал ком. — Я не желаю слышать от вас ни слова.

Этот властный тон заставил их отступить, на лицах у обеих появилось беспомощное, обиженное выражение. «Я не должна плакать при них, — подумала Скарлетт. — Мне надо держаться, или они тоже расплачутся, а за ними начнут реветь черные, и тогда мы все с ума сойдем. Надо взять себя в руки. Мне предстоит столько всего сделать. Повидать гробовщика, и устроить похороны, и проследить за тем, чтобы в доме было чисто, и разговаривать с людьми, которые будут рыдать у меня на груди. Эшли всем этим заняться не может, Питти и Индия тоже не могут. Значит, придется мне. Ох, как же это тяжело! Это всегда было тяжело, но всегда этим занимался кто‑то другой!»

Она посмотрела на удивленные, обиженные лица Индии и Питти, и искреннее раскаяние овладело ею. Мелани не понравилось бы, что она так резка с теми, кого та любила.

— Извините, что я нагрубила вам, — с трудом выговорила она. — Это просто оттого... словом, извините, тетя, что я вам нагрубила. Я на минуту выйду на крыльцо. Мне надо побыть одной. А потом вернусь, и тогда мы...

Она потрепала тетю Питти по плечу и быстро прошла мимо нее к двери на крыльцо, чувствуя, что если еще хоть минуту пробудет в этой комнате, то уже не сумеет совладать с собой. Ей надо побыть одной. Надо выплакаться, иначе сердце у нее лопнет.

Она вышла на темное крыльцо и закрыла за собой дверь; влажный ночной воздух повеял прохладой ей в лицо. Дождь перестал, и вокруг стояла тишина — только время от времени капало с карниза крыши. Мир был окутан густым туманом, холодным туманом, который нес с собой запах умирающего года. Все дома на другой стороне улицы стояли темные, за исключением одного, и свет от лампы в окне этого дома, падая на улицу, боролся с туманом, окрашивая золотом клубившиеся в его лучах клочья. Казалось, будто весь мир накрыло одеялом серого дыма. И весь мир застыл.

Она прижалась головой к одному из столбов на крыльце и хотела заплакать, но слез не было. Слишком большая случилась беда — тут слезами не поможешь. Ее всю трясло. В мозгу снова и снова возникал образ двух неприступных крепостей, которые вдруг с грохотом рухнули у нее на глазах. Она стояла, пытаясь обрести опору в старом заклятии: «Я подумаю об этом потом, завтра, когда станет легче». Но заклятие потеряло свою силу. Она не могла не думать о двух людях: о Мелани, которую она, оказывается, так любила и которая, оказывается, так ей нужна, и об Эшли и своей безграничной слепоте, не позволявшей ей видеть его таким, каким он был. Скарлетт понимала, что думать об этом ей будет так же больно завтра, как и послезавтра, и все дни потом.

«Не могу я сейчас вернуться туда и говорить с ними, — думала она. — Не могу я сегодня вечером видеть Эшли и утешать его. Не сегодня! Завтра утром я приду пораньше, и все сделаю, что надо, и скажу все утешительные слова, какие должна сказать. Но не сегодня. Я не могу, Я пойду домой».

Дом был всего в пяти кварталах. Она не станет ждать, пока рыдающий Питер заложит кабриолет, не станет ждать, пока доктор Мид отвезет ее домой. Не в состоянии она вынести слезы одного и молчаливое осуждение другого. Она быстро — без шляпки и накидки — спустилась по темным ступеням крыльца и зашагала в туманной ночи. Завернув за угол, она пошла вверх, к Персиковой улице, ступая в этом застывшем мокром мире беззвучно, точно во сне.

Пока она шла вверх по холму, неся в себе груз непролитых слез, у нее возникло призрачное чувство, будто она уже раньше была в этом сумрачном холодном месте и при таких же обстоятельствах, причем была не раз и не два, а много раз. «Глупости какие, — подумала она, но ей стало не по себе, и она ускорила шаг. — Нервы разыгрались». Но возникшее ощущение не проходило, исподволь завладевая ее сознанием. Она боязливо озиралась вокруг, а ощущение все росло, нереальное, но такое знакомое, и она вдруг вскинула голову, точно животное, почуявшее опасность. «Я просто устала, — пыталась она успокоить себя. — И ночь такая странная, такой туман. Я никогда прежде не видела такого густого тумана, разве что... разве что!..»

И тут она поняла, и от страха у нее сжалось сердце. Теперь она знала. Сотни раз она видела этот кошмар, когда бежала сквозь такой же туман по призрачным местам, где не было ни указательных столбов, ни стрелок, пробираясь сквозь холодную липкую мглу, населенную цепкими тенями и привидениями. Во сне это с ней или просто сон стал явью?

На какое‑то время ощущение реальности покинуло ее, и она окончательно растерялась. Чувство, испытанное во время кошмара, овладело ею с особой силой, сердце учащенно забилось. Она снова стояла среди смерти и гробовой тишины, как стояла когда‑то в Таре. Все существенное, важное исчезло из жизни, жизнь лежала в обломках, и паника, словно холодный ветер, завывала в ее сердце. Ужас, который возникал из тумана и который был самим туманом, наложил на нее свою лапу, и она побежала. Она бежала сейчас, как бежала сотни раз во сне, — бежала вслепую, неизвестно куда, подгоняемая безымянными страхами, ища в сером тумане безопасное прибежище, которое должно же где‑то быть!

Она мчалась по сумеречной улице, пригнув голову, с бешено колотящимся сердцем, ночной, сырой воздух прилипал к ее губам, деревья над головой угрожали ей чем‑то. Но где‑то, где‑то в этом диком краю сырой тишины должен же быть приют! Она спешила, задыхаясь, вверх по холму, мокрые юбки холодом били по лодыжкам, легкие, казалось, вот‑вот разорвутся, тугой корсет впивался в ребра, давил на сердце.

Внезапно перед глазами ее возник огонек, целый ряд огоньков, неясных, мерцающих, но настоящих огоньков. В ее кошмарах никогда не было огоньков — только серый туман. Сознание Скарлетт зацепилось за эти огоньки. Огоньки — это безопасность, это люди, это реальность, и она резко остановилась, сжимая руки, стараясь побороть панику, напряженно вглядываясь в ряд газовых фонарей, подсказывавших ее смятенному уму, что она — в Атланте, на Персиковой улице, а не в сером мире призраков и сна.

Тяжело дыша, она опустилась на каменную тумбу, к которой подъезжают кареты, стараясь совладать с нервами, словно это были веревки, выскальзывавшие из рук.

«Я бежала... Бежала как сумасшедшая! — думала она, и хотя ее все еще трясло, но страх уже проходил, сердце же все еще колотилось до тошноты. — Но куда я бежала?»

Ей стало легче дышать — она сидела, прижав руки к груди, и смотрела вдоль Персиковой улицы. Там, на самой вершине холма, стоит ее дом. Отсюда казалось, что во всех окнах — свет, свет, бросавший вызов туману. Дом! Вот это — реальность! Она смотрела на еще далекий, смутно очерченный силуэт дома с благодарностью, с жадностью, и что‑то похожее на умиротворение снизошло на нее.

Домой! Вот куда ей хотелось. Вот куда она бежала. Домой — к Ретту!

Стоило Скарлетт осознать это, как с нее словно свалились путы, а вместе с ними — страх, преследовавший ее с той ночи, как она добралась до Тары и обнаружила, что ее мир рухнул. Тогда, вернувшись в Тару, она обнаружила, что никакой уверенности в завтрашнем дне нет и в помине и не осталось ни силы, ни мудрости, ни любви, ни нежности, ни понимания — ничего, что привносила в жизнь Эллин и что служило ей, Скарлетт, опорой в юности. И хотя с той ночи Скарлетт сумела материально обезопасить себя, в своих снах она по‑прежнему была испуганным ребенком, тщетно искавшим утраченную уверенность в завтрашнем дне, свой утраченный мир.

Сейчас она поняла, какое прибежище искала во сне, кто был источником тепла и безопасности, которых она никак не могла обрести среди тумана. Это был не Эшли — о, вовсе не Эшли! В нем нет тепла, как нет его в блуждающих огнях, с ним ты не чувствуешь себя в безопасности, как не чувствуешь себя в безопасности среди зыбучих песков. Это был Ретт — Ретт, который своими сильными руками может обнять ее, на чью широкую грудь она может положить свою усталую голову, чьи подтрунивания и смех помогают видеть вещи в их истинном свете. Ретт, который полностью понимает ее, потому что он, подобно ей, видит правду как она есть, а не затуманенную всякими так называемыми высокими представлениями о чести, самопожертвовании или вере в человеческую натуру. И он любит ее! Почему она до сих пор никак не могла понять, что он любит ее, несмотря на свои колкости, свидетельствовавшие вроде бы об обратном! Мелани вот поняла и уже на краю могилы сказала: «Будь подобрее к нему».

«О, — подумала она, — Эшли не единственный до глупости слепой человек. Мне бы следовало давно это понять».

На протяжении многих лет она спиною чувствовала каменную стену любви Ретта и считала ее чем‑то само собою разумеющимся — как и любовь Мелани, — теша себя мыслью, будто черпает силу только в себе. И так же, как она поняла сегодня, что Мелани всегда была рядом с нею в ее жестоких сражениях с жизнью, — поняла она сейчас и то, что в глубине, за нею всегда молча стоял Ретт, любивший ее, понимавший, готовый помочь. Ретт, который на благотворительном базаре, увидев нетерпение в ее глазах, пригласил ее на танец; Ретт, который помог ей сбросить с себя путы траура; Ретт, увезший ее сквозь пожары и взрывы в ту ночь, когда пала Атланта; Ретт, утешавший ее, когда она с криком просыпалась, испуганная кошмарами, — да ни один мужчина не станет такого делать, если он не любит женщину до самозабвения!

С деревьев на нее капало, но она этого даже не замечала. Вокруг клубился туман, но она не обращала на это внимания. Думая о Ретте, вспоминая его смуглое лицо, сверкающие белые зубы, черные живые глаза, она почувствовала, как дрожь пробежала у нее по телу.

«А ведь я люблю его, — подумала она и, как всегда, восприняла эту истину без удивления, словно ребенок, принимающий подарок. — Я не знаю, как давно я его люблю, но это правда. И если бы не Эшли, я бы уже давно это поняла. Мне никогда не удавалось увидеть мир в подлинном свете, потому что между мною и миром всегда стоял Эшли».

Она любила его — негодяя, мерзавца, человека без чести и совести, во всяком случае в том смысле, в каком Эшли понимал честь. «Да ну его к черту, этого Эшли с его честью! — подумала она. — Из‑за своего понятия о чести Эшли всегда предавал меня. Да, с самого начала, когда он ходил к нам, хотя знал, что его семья хочет, чтобы он женился на Мелани. А вот Ретт никогда меня не предавал — даже в ту страшную ночь, когда у Мелани был прием и он должен был бы свернуть мне шею. Даже в ту ночь, когда пала Атланта и он оставил меня на дороге, он знал, что я — в безопасности, он знал, что я как‑нибудь выкручусь. Даже тогда, в тюрьме янки, когда он повел себя так, будто мне придется расплатиться с ним за те деньги, которые он мне даст. Он никогда бы насильно не овладел мною. Он просто испытывал меня. Он меня все время любил. А я как низко себя с ним вела! Сколько раз я его обижала, а он был слишком горд, чтобы дать мне это понять. А когда умерла Бонни... Ах, как я могла?!»

Она поднялась во весь рост и посмотрела на дом на холме. Всего полчаса тому назад она считала, что потеряла все, кроме денег, — все, что делало жизнь желанной: Эллин, Джералда, Бонни, Мамушку, Мелани и Эшли. Оказывается, ей надо было потерять их всех, чтобы понять, как она любит Ретта, — любит, потому что он сильный и беспринципный, страстный и земной, как она.

«Я все ему скажу, — думала она. — И он поймет. Он всегда понимал. Я скажу ему, какая я была дура, и как я люблю его, и как постараюсь все загладить».

Она вдруг почувствовала себя сильной и такой счастливой. Она уже не боялась больше темноты и тумана, и сердце у нее запело от сознания, что никогда уже она не будет их бояться. Какие бы туманы ни клубились вокруг нее в будущем, она теперь знает, где найти от них спасение. Она быстро пошла по улице к своему дому, и каждый квартал казался ей бесконечно длинным. Слишком, слишком длинным. Она подобрала юбки и побежала. Но она бежала не от страха. Она бежала, потому что в конце улицы ее ждали объятия Ретта.

### Глава LXIII

Парадная дверь был приоткрыта, и Скарлетт, задыхаясь, вбежала в холл и на мгновение остановилась в радужном сиянии люстры. Хотя дом был ярко освещен, в нем царила глубокая тишина — не мирная тишина сна, а тишина настороженная, усталая и слегка зловещая. Скарлетт сразу увидела, что Ретта нет ни в зале, ни в библиотеке, и сердце у нее упало. А что, если он не здесь, а где‑нибудь с Красоткой или там, где он проводит вечера, когда не появляется к ужину? Этого она как‑то не учла.

Она стала было подниматься по лестнице, надеясь все‑таки обнаружить его, когда увидела, что дверь в столовую закрыта. Сердце у нее чуть сжалось от стыда при виде этой закрытой двери — она вспомнила многие вечера прошедшего лета, когда Ретт сидел там один и пил до одурения, а потом Порк являлся и укладывал его в постель. Она виновата в том, что так было, но она все это изменит. Теперь все будет иначе... Только бы, великий боже, он не был сегодня слишком пьян. «Ведь если он сегодня будет слишком пьян, он мне не поверит и начнет смеяться, и это разобьет мне сердце».

Она тихонько раздвинула створки двери и заглянула в столовую. Он сидел за столом согнувшись, перед ним стоял графин, полный вина, но неоткупоренный, и в рюмке ничего не было. Слава богу, он трезв. Она потянула в сторону створки, стараясь удержаться, чтобы не броситься к нему. Но когда он посмотрел на нее, что‑то в его взгляде остановило ее и слова замерли у нее на губах.

Он смотрел на нее в упор своими черными глазами из‑под набрякших от усталости век, и в глазах его не загорелись огоньки. Хотя волосы у нее в беспорядке рассыпались по плечам, грудь тяжело вздымалась, а юбки были до колен забрызганы грязью, на лице его не отразилось удивления или вопроса, а губы не скривились в легкой усмешке. Он грузно развалился в кресле — сюртук, обтягивавший пополневшее, некогда такое стройное и красивое тело, был смят, волевое лицо огрубело. Пьянство и разврат сотворили свое дело: его некогда четко очерченный профиль уже не напоминал профиля молодого языческого вождя на новой золотой монете, — это был профиль усталого, опустившегося Цезаря, выбитый на медяшке, стертой от долгого хождения. Он смотрел на Скарлетт, а она стояла у порога, прижав руку к сердцу, — смотрел долго, спокойно, чуть ли не ласково, и это испугало ее.

— Проходите, садитесь, — сказал он. — Она умерла?

Скарлетт кивнула и нерешительно пошла к нему, не зная, как действовать и что говорить при виде этого нового выражения на его лице. Он не встал — лишь ногой пододвинул ей кресло, и она опустилась в него. Жаль, что он заговорил сразу о Мелани. Ей не хотелось говорить сейчас о Мелани, не хотелось снова переживать боль минувшего часа. Еще будет время поговорить о Мелани. Ей так хотелось крикнуть: «Я люблю тебя!», и ей казалось, что именно теперь, в эту ночь, настал час, когда она должна сказать Ретту о том, что у нее на душе. Но что‑то в его лице удержало ее, и внезапно ей стало стыдно говорить о любви в такую минуту — ведь Мелани еще не успела остыть.

— Упокой, господи, ее душу, — с трудом произнес он. — Она была единственным по‑настоящему добрым человеком, какого я знал.

— Ох, Ретт! — жалобно воскликнула она, ибо его слова оживили в ее памяти все то доброе, что сделала для нее Мелани. — Почему вы не пошли со мной? Это было так ужасно... и вы были мне так нужны!

— Я бы не мог этого вынести, — просто сказал он и на мгновение умолк. Потом с усилием, очень мягко произнес: — Это была настоящая леди.

Взгляд его темных глаз был устремлен куда‑то мимо нее, и она увидела в них то же выражение, как тогда, при свете пожаров, полыхавших в Атланте, когда он сказал ей, что пойдет вместе с отступающей армией, — удивление человека, который, прекрасно зная себя, вдруг обнаруживает в своей душе верность чему‑то неожиданному и неожиданные чувства и немного стесняется собственного открытия.

Он смотрел своим тяжелым взглядом поверх ее плеча, точно видел Мелани, тихо шедшую через комнату к двери. Он как бы прощался с ней, но в лице его не было ни горя, ни страдания, лишь удивление на самого себя, лишь болезненное пробуждение чувств, не заявлявших о себе с юности, и он повторил:

— Это была настоящая леди.

По телу Скарлетт прошла дрожь, и затеплившийся в ней было свет радости исчез, — исчезло тепло — и упоение, которые побуждали ее мчаться как на крыльях домой. Она начала понимать, что происходило в душе Ретта, когда он говорил «прости» единственному человеку на свете, которого он уважал. И Скарлетт снова почувствовала отчаяние от невозместимости утраты, которую понесла не только она. Она, конечно, еще до конца не осознала и не могла разобраться в том, что чувствовал Ретт, но на секунду ей показалось, будто и ее коснулись шуршащие юбки мягкой лаской последнего «прости». Она смотрела глазами Ретта на то, как уходила из жизни не женщина, а легенда, — кроткая, незаметная, но несгибаемая женщина, которой Юг завещал хранить свой очаг во время войны и в чьи гордые, но любящие объятия он вернулся после поражения.

Взгляд Ретта снова обратился к Скарлетт.

— Значит, она умерла. — Он произнес это уже другим, небрежным и холодным тоном. — Видите, как хорошо все для вас устраивается.

— Ах, как вы можете говорить такое! — воскликнула она, глубоко уязвленная, чувствуя прихлынувшие к глазам слезы. — Вы же знаете, как я ее любила!

— Нет, не могу сказать, чтобы знал. Это для меня полнейшая неожиданность, и то, что при вашей любви к белому сброду вы сумели наконец оценить Мелани, делает вам честь.

— Да как вы можете так говорить? Конечно, я всегда ее ценила! А вы — нет. Вы не знали ее так, как я! Вы просто не способны понять ее... не способны понять, какая она была хорошая!

— Вот как? Возможно.

— Она ведь обо всех заботилась, обо всех, кроме себя... кстати, последние слова ее были о вас.

Он повернулся к ней — в глазах его вспыхнул живой интерес.

— Что же она сказала?

— Ах, только не сейчас, Ретт.

— Скажите мне.

Он произнес это спокойно, но так сжал ей руку, что причинил боль. Ей не хотелось говорить — не так она собиралась сказать ему о своей любви, но его пожатие требовало ответа.

— Она сказала... она сказала... «Будь подобрее к капитану Батлеру. Он так тебя любит».

Он смотрел на нее не мигая, потом выпустил ее руку и прикрыл глаза — лицо его приняло мрачное, замкнутое выражение. Внезапно он встал, подошел к окну и, отдернув портьеры, долго смотрел на улицу, точно видел там что‑то еще, кроме все заволакивавшего тумана.

— А еще что она сказала? — спросил он, не поворачивая головы.

— Она просила меня позаботиться о маленьком Бо, и я сказала, что буду заботиться о нем, как о родном сыне.

— А еще что?

— Она сказала... про Эшли... просила меня позаботиться и об Эшли.

Он с минуту помолчал, потом тихо рассмеялся.

— Это так удобно, когда есть разрешение первой жены, верно?

— Что вы хотите этим сказать?

Он повернулся, и хотя Скарлетт была в смятении и соображала не очень четко, тем не менее она удивилась, увидев, что он смотрит на нее без насмешки. И безучастно — как человек, который досматривает последний акт не слишком забавной комедии.

— Мне кажется, я выразился достаточно ясно. Мисс Мелли умерла. Вы же располагаете всеми необходимыми данными, чтобы развестись со мной, а репутация у вас такая, что развод едва ли может вам повредить. От вашей религиозности тоже ведь ничего не осталось, так что мнение церкви для вас не имеет значения. А тогда — Эшли и осуществление мечты с благословения мисс Мелли.

— Развод? — воскликнула она. — Нет! Нет! — Она хотела было что‑то сказать, запуталась, вскочила на ноги и, подбежав к Ретту, вцепилась ему в локоть: — Ох, до чего же вы не правы! Ужасно не правы! Я не хочу развода... я... — И она умолкла, не находя слов.

Он взял ее за подбородок и, осторожно приподняв лицо к свету, внимательно посмотрел ей в глаза. А она смотрела на него, вкладывая в свой взгляд всю душу, и губы у нее задрожали, когда она попыталась что‑то произнести. Но слова не шли с языка — она все пыталась найти в его лице ответные чувства, вспыхнувшую надежду, радость. Ведь теперь‑то он, уже конечно, все понял! Но она видела перед собой лишь смуглое замкнутое лицо, которое так часто озадачивало ее. Он отпустил ее подбородок, повернулся, подошел к столу и сел, вытянув ноги, устало свесив голову на грудь, — глаза его задумчиво, безразлично смотрели на нее из‑под черных бровей.

Она подошла к нему и, ломая пальцы, остановилась.

— Вы не правы, — начала было она, обретя наконец дар речи. — Ретт, сегодня, когда я поняла, я всю дорогу бежала — до самого дома, чтобы вам сказать. Любимый мой, я...

— Вы устали, — сказал он, продолжая наблюдать за ней. — Вам следовало бы лечь.

— Но я должна сказать вам!

— Скарлетт, — медленно произнес он, — я не желаю ничего слушать — ничего.

— Но вы же не знаете, что я собираюсь сказать!

— Кошечка моя, это все написано на вашем лице. Что‑то или кто‑то наконец заставил вас понять, что злополучный мистер Уилкс — дохлая устрица, которую даже вам не разжевать. И это что‑то неожиданно высветило для вас мои чары, которые предстали перед вами в новом, соблазнительном свете. — Он слегка пожил плечами. — Не стоит об этом говорить.

Она чуть не задохнулась от удивления. Конечно, он всегда читал в ней, как в раскрытой книге. До сих пор ее возмущала эта его способность, но сейчас, когда первое удивление оттого, что глубины ее души так легко просматриваются, прошло, она почувствовала огромную радость и облегчение. Он знает, он понимает — теперь ее задача казалась такой легкой. Ему ни о чем не надо говорить! Конечно, ему горько оттого, что она так долго им пренебрегала, конечно, он еще не верит этой внезапной перемене. Ей предстоит завоевать его, проявив доброту, убедить его, осыпая знаками любви, и как приятно будет ей все это!

— Любимый, я вам все расскажу, — сказала она, упираясь руками в подлокотники его кресла и пригибаясь к нему. — Я была так не права, я была такая идиотка...

— Скарлетт, прекратите. Не унижайтесь передо мной. Мне это невыносимо. Проявите немного достоинства, немного сдержанности, чтобы хоть это осталось, когда мы будем вспоминать о нашем браке. Избавьте нас от этого последнего объяснения.

Она резко выпрямилась. «Избавьте нас от этого последнего объяснения»? Что он имел в виду, говоря: «этого последнего»? Последнего? Да ведь это же их первое объяснение, это только начало.

— Но я все равно вам скажу, — быстро заговорила она, словно боясь, что он зажмет ей рот рукой. — Ах, Ретт, я так люблю вас, мой дорогой! И должно быть, я люблю вас уже многие годы и, такая идиотка, не понимала этого. Ретт, вы должны мне поверить!

Он с минуту смотрел на нее — это был долгий взгляд, проникший в самую глубину ее сознания. Она видела по его глазам, что он верит. Но его это мало интересовало. Ах, неужели он станет сводить с ней счеты — именно сейчас? Будет мучить ее, платя ей той же монетой?!

— О, я вам верю, — сказал он наконец. — А как же будет с Эшли Уилксом?

— Эшли! — произнесла она и нетерпеливо повела плечом. — Я... по‑моему, он уже многие годы мне безразличен. Просто... ну, словом, это было что‑то вроде привычки, за которую я цеплялась, потому что приобрела ее еще девочкой. Ретт, никогда в жизни я бы не считала, что он мне дорог, если бы понимала, что он представляет собой. А ведь он такое беспомощное, жалкое существо, несмотря на всю свою болтовню о правде, и о чести, и о...

— Нет, — сказал Ретт. — Если вы хотите видеть его таким, каков он есть, то он не такой. Он всего лишь благородный джентльмен, оказавшийся в мире, где он — чужой, и пытающийся худо‑бедно жить в нем по законам мира, который отошел в прошлое.

— Ах, Ретт, не будем о нем говорить! Ну, какое нам сейчас до него дело? Неужели вы не рады, узнав... я хочу сказать: теперь, когда я...

Встретившись с ним взглядом, — а глаза у него были такие усталые, — она смущенно умолкла, застеснявшись, словно девица, впервые оставшаяся наедине со своим ухажером. Хоть бы он немного ей помог! Хоть бы протянул ей руки, и она с благодарностью кинулась бы ему в объятия, свернулась бы калачиком у него на коленях и положила голову ему на грудь! Ее губы, прильнувшие к его губам, могли бы сказать ему все куда лучше, чем эти спотыкающиеся слова. Но глядя на него, она поняла, что он удерживает ее на расстоянии не из мстительности. Вид у него был опустошенный, такой, будто все, о чем она ему поведала, не имело никакого значения.

— Рад? — сказал он. — Было время, когда я отблагодарил бы бога постом, если бы услышал от вас то, что вы сейчас сказали. А сейчас это не имеет значения.

— Не имеет значения? О чем вы говорите? Конечно, имеет! Ретт, я же дорога вам, верно? Должна быть дорога. И Мелли так сказала.

— Да, и она была права, ибо это то, что она знала. Но, Скарлетт, вам никогда не приходило в голову, что даже самая бессмертная любовь может износиться?

Она смотрела на него, потеряв дар речи. Рот ее округлился буквой «о».

— Вот моя и износилась, — продолжал он, — износилась в борьбе с Эшли Уилксом и вашим безумным упрямством, которое побуждает вас вцепиться как бульдог в то, что, по вашим представлениям, вам желанно... Вот она и износилась.

— Но любовь не может износиться!

— Ваша любовь к Эшли тоже ведь износилась.

— Но я никогда по‑настоящему не любила Эшли!

— В таком случае вы отлично имитировали любовь — до сегодняшнего вечера. Скарлетт, я не корю вас, не обвиняю, не упрекаю. Это время прошло. Так что избавьте меня от ваших оправдательных речей и объяснений. Если вы в состоянии послушать меня несколько минут, не прерывая, я готов объяснить вам, что я имею в виду, хотя — бог свидетель — не вижу необходимости в объяснениях. Правда слишком уж очевидна.

Скарлетт села; резкий газовый свет падал на ее белое растерянное лицо. Она смотрела в глаза Ретта, которые знала так хорошо — и одновременно так плохо, — слушала его тихий голос, произносивший слова, которые сначала казались ей совсем непонятными. Впервые он говорил с ней так, по‑человечески, как говорят обычно люди — без дерзостей, без насмешек, без загадок.

— Приходило ли вам когда‑нибудь в голову, что я любил вас так, как только может мужчина любить женщину? Любил многие годы, прежде чем добился вас? Во время войны я уезжал, пытаясь забыть вас, но не мог и снова возвращался. После войны, зная, что рискую попасть под арест, я все же вернулся, чтобы отыскать вас. Вы мне были так дороги, что мне казалось, я готов был убить Фрэнка Кеннеди, и убил бы, если бы он не умер. Я любил вас, но не мог дать вам это понять. Вы так жестоки к тем, кто любит вас, Скарлетт. Вы принимаете любовь и держите ее как хлыст над головой человека.

Из всего сказанного им Скарлетт поняла лишь, что он ее любит. Уловив слабый отголосок страсти в его голосе, она почувствовала, как радость и волнение потихоньку наполняют ее. Она сидела еле дыша, слушала и ждала.

— Я знал, что вы меня не любите, когда мы поженились. Понимаете, я знал про Эшли, но... был настолько глуп, что считал, будто мне удастся стать для вас дороже. Смейтесь сколько хотите, но мне хотелось заботиться о вас, баловать вас, делать все, что бы вы ни пожелали. Я хотел жениться на вас, быть вам защитой, дать вам возможность делать все что пожелаете, лишь бы вы были счастливы, — так ведь было и с Бонни. Вам пришлось столько вытерпеть, Скарлетт. Никто лучше меня не понимал, через что вы прошли, и мне хотелось сделать так, чтобы вы перестали бороться, а чтобы я боролся вместо вас. Мне хотелось, чтобы вы играли как дитя. Потому что вы и есть дитя — храброе, испуганное, упрямое дитя. По‑моему, вы так и остались ребенком. Ведь только ребенок может быть таким упорным и таким бесчувственным.

Голос его звучал спокойно, но устало, и было в нем что‑то, что пробудило далекий отзвук в памяти Скарлетт. Она уже слышала такой голос — в другом месте, в один из решающих моментов своей жизни. Где же это было? Голос человека, смотрящего на себя и на свой мир без всяких чувств, без страха, без надежды.

Это же... это же... так говорил Эшли во фруктовом саду Тары, где гулял ветер, — говорил о жизни и театре теней с усталым спокойствием, свидетельствовавшим о неотвратимости конца в гораздо большей мере, чем если бы в словах его звучали горечь или отчаяние. И как тогда от интонаций в голосе Эшли она вся похолодела в ужасе перед тем, чего не могла понять, так и сейчас от тона Ретта сердце ее упало. Его голос, его манера держаться даже больше, чем слова, взволновали ее, заставив почувствовать, что радостное волнение, испытанное ею несколько минут тому назад, было преждевременным. Что‑то не так, совсем не так. Она не знала, что именно, и в отчаянии ловила каждое слово Ретта, не спуская глаз с его смуглого лица, надеясь услышать слова, которые рассеют ее страхи.

— Все говорило о том, что мы предназначены друг для друга. Все, потому что я — единственный из ваших знакомых — способен был любить вас, даже узнав, что вы такое на самом деле: жесткая, алчная, беспринципная, как и я. Но я любил вас и решил рискнуть. Я надеялся, что Эшли исчезнет из ваших мыслей. Однако, — он пожал плечами, — я все перепробовал, и ничто не помогло. А я ведь так любил вас, Скарлетт. Если бы вы только мне позволили, я бы любил вас так нежно, так бережно, как ни один мужчина никогда еще не любил. Но я не мог дать вам это почувствовать, ибо я знал, что вы сочтете меня слабым и тотчас попытаетесь использовать мою любовь против меня же. И всегда, всегда рядом был Эшли. Это доводило меня до безумия. Я не мог сидеть каждый вечер напротив вас за столом, зная, что вы хотели бы, чтобы на моем месте сидел Эшли. Я не мог держать вас в объятиях ночью, зная, что... ну, в общем, это не имеет сейчас значения. Сейчас я даже удивляюсь, почему мне было так больно... Это‑то и привело меня к Красотке. Есть какое‑то свинское удовлетворение в том, чтобы быть с женщиной — пусть даже она безграмотная шлюха, — которая безгранично любит тебя и уважает, потому что ты в ее глазах — безупречный джентльмен. Это было как бальзам для моего тщеславия. А вы ведь никогда не пытались быть для меня бальзамом, дорогая.

— Ах, Ретт... — начала было она, чувствуя себя глубоко несчастной от одного упоминания имени Красотки, но он жестом заставил ее умолкнуть и продолжал:

— А потом была та ночь, когда я унес вас наверх... Я думал... я надеялся... я так надеялся, что боялся встретиться с вами наутро и увидеть, что я ошибся и что вы не любите меня. Я так боялся, что вы будете надо мной смеяться, что ушел из дома и напился. А когда вернулся, то весь трясся от страха, и если бы вы сделали хотя бы шаг мне навстречу, подали хоть какой‑то знак, мне кажется, я стал бы целовать след ваших ног. Но вы этого не сделали.

— Ах, Ретт, но мне же тогда так хотелось быть с вами, а вы были таким омерзительным! В самом деле хотелось! По‑моему... да, именно тогда я впервые поняла, что вы мне дороги. Эшли... После того дня Эшли меня больше не радовал. А вы были такой омерзительный, что я...

— Ах, да ладно, — сказал он. — Похоже, мы оба тогда не поняли друг друга, верно? Но сейчас это уже не имеет значения. Я все это говорю лишь затем, чтобы вы потом не ломали себе голову. Когда с вами было плохо, причем по моей вине, я стоял у вашей двери в надежде, что вы позовете меня, но вы не позвали, и тогда я понял, что я просто дурак и между нами все кончено.

Он умолк, глядя сквозь нее на что‑то за ней, как это часто делал Эшли, видя что‑то, чего не могла видеть она. А Скарлетт лишь молча смотрела на его сумрачное лицо.

— Но у нас была Бонни, и я почувствовал, что не все еще кончено. Мне нравилось думать, что Бонни — это вы, снова ставшая маленькой девочкой, какой вы были до того, как война и бедность изменили вас. Она была так похожа на вас — такая же своенравная, храбрая, веселая, задорная, и я могу холить и баловать ее — как мне хотелось холить и баловать вас. Только она была не такая, как вы, — она меня любила. И я был счастлив отдать ей всю свою любовь, которая вам была не нужна... Когда ее не стало, с ней вместе ушло все.

Внезапно ей стало жалко его, так жалко, что она почти забыла и о собственном горе, и о страхе, рожденном его словами. Впервые в жизни ей было жалко кого‑то, к кому она не чувствовала презрения, потому что впервые в жизни она приблизилась к подлинному пониманию другого человека. А она могла понять его упорное стремление оградить себя — столь похожее на ее собственное, его несгибаемую гордость, не позволявшую признаться в любви из боязни быть отвергнутым.

— Ах, любимый, — сказала она и шагнула к нему в надежде, что он сейчас раскроет ей объятия и привлечет к себе на колени. — Любимый мой, мне очень жаль, что так получилось, но я постараюсь все возместить вам сторицей. Теперь мы можем быть так счастливы, когда знаем правду. И... Ретт... посмотрите на меня, Ретт! Ведь... ведь у нас же могут быть другие дети... ну, может, не такие, как Бонни, но...

— Нет уж, благодарю вас, — сказал Ретт, словно отказываясь от протянутого ему куска хлеба. — Я в третий раз своим сердцем рисковать не хочу.

— Ретт, не надо так говорить. Ну, что мне вам сказать, чтобы вы поняли. Я ведь уже говорила, что мне очень жаль и что я...

— Дорогая моя, вы такое дитя... Вам кажется, что если вы сказали: «мне очень жаль», все ошибки и вся боль прошедших лет могут быть перечеркнуты, стерты из памяти, что из старых ран уйдет весь яд... Возьмите мой платок, Скарлетт. Сколько я вас знаю, никогда в тяжелые минуты жизни у вас не бывает носового платка.

Она взяла у него платок, высморкалась и села. Было совершенно ясно, что он не раскроет ей объятий. И становилось ясно, что все эти его разговоры о любви ни к чему не ведут. Это был рассказ о временах давно прошедших, и смотрел он на все это как бы со стороны. Вот что было страшно. Он поглядел на нее задумчиво, чуть ли не добрыми глазами.

— Сколько лет вам, дорогая моя? Вы никогда мне этого не говорили.

— Двадцать восемь, — глухо ответила она в платок.

— Это еще не так много. Можно даже сказать, совсем юный возраст для человека, который завоевал мир и потерял собственную душу, верно? Не смотрите на меня так испуганно. Я не имею в виду, что вы будете гореть в адском пламени за этот ваш роман с Эшли. Образно говоря, с тех пор, как я вас знаю, вы ставили перед собой две цели: Эшли и деньги, чтобы иметь возможность послать к черту всех и вся. Ну что ж, вы теперь достаточно богаты и можете со всеми разговаривать достаточно резко, и вы получили Эшли, если он вам нужен. Но вам и этого, видно, мало.

А Скарлетт было страшно, но не при мысли об адском пламени. Она думала: «Ведь Ретт — все для меня, а я его теряю. И если я потеряю его, ничто уже не будет иметь для меня значения! Нет, ни друзья, ни деньги... ничто. Если бы он остался со мной, я бы даже готова была снова стать бедной. Я готова была бы снова мерзнуть и голодать. Не может же он... Ах, конечно, не может!» Она вытерла глаза и сказала в отчаянии:

— Ретт, если вы когда‑то меня так любили, должно же что‑то остаться от этого чувства!

— От всего этого осталось только два чувства, но вам они особенно ненавистны — это жалость и какая‑то странная доброта.

«Жалость! Доброта! О боже!» — теряя последнюю надежду, подумала она. Все что угодно, только не жалость и не доброта. Когда она испытывала к кому‑нибудь подобные чувства, это всегда сопровождалось презрением. Неужели он ее тоже презирает? Все что угодно, только не это! Даже циничная холодность дней войны, даже пьяное безумие, когда он в ту ночь нес ее наверх, так сжимая в объятиях, что ей было больно, даже эта его манера нарочно растягивать слова, говоря колкости, которыми, как она сейчас поняла, он прикрывал горькую свою любовь, — что угодно, лишь бы не эта безликая доброта, которая так отчетливо читалась на его лице.

— Значит... значит, я все уничтожила... и вы не любите меня больше?

— Совершенно верно.

— Но, — упрямо продолжала она, словно ребенок, считающий, что достаточно высказать желание, чтобы оно осуществилось, — но я же люблю вас!

— Это ваша беда.

Она быстро вскинула на него глаза, проверяя, нет ли в этих словах издевки, но издевки не было. Он просто констатировал факт. Но она все равно этому не верила — не могла поверить. Она смотрела на него, чуть прищурясь, в глазах ее горело упорство отчаяния, подбородок, совсем как у Джералда, вдруг резко выдвинулся, ломая мягкую линию щеки.

— Не глупите, Ретт! Ведь я же могу...

Он с наигранным ужасом поднял руку, и его черные брови поползли вверх, придавая лицу знакомое насмешливое выражение.

— Не принимайте такого решительного вида, Скарлетт! Вы меня пугаете. Я вижу, вы намерены перенести на меня ваши бурные чувства к Эшли. Я страшусь за свою свободу и душевный покой. Нет, Скарлетт, я не позволю вам преследовать меня, как вы преследовали злосчастного Эшли. А кроме того, я уезжаю.

Губы ее задрожали, прежде чем она успела сжать зубы и остановить дрожь. Уезжает? Нет, что угодно, только не это! Да как она сможет жить без него? Ведь все ее покинули. Все, кто что‑то значил в ее жизни, кроме Ретта. Он не может уехать. Но как ей остановить его? Она бессильна, когда он что‑то вот так холодно решил и говорит так бесстрастно.

— Я уезжаю. Я собирался сказать вам об этом после вашего возвращения из Мариетты.

— Вы бросаете меня?

— Не делайте из себя трагическую фигуру брошенной жены, Скарлетт. Эта роль вам не к лицу. Насколько я понимаю, вы не хотите разводиться и даже жить отдельно? Ну, в таком случае я буду часто приезжать, чтобы не давать повода для сплетен.

— К черту сплетни! — пылко воскликнула она. — Вы мне нужны. Возьмите меня с собой!

— Нет, — сказал он тоном, не терпящим возражений.

Ей казалось, что она сейчас разрыдается, безудержно, как ребенок. Она готова была броситься на пол, сыпать проклятьями, кричать, бить ногами. Но какие‑то остатки гордости и здравого смысла удержали ее. Она подумала: «Если я так поведу себя, он только посмеется или будет стоять и смотреть на меня. Я не должна рыдать, я не должна просить. Я не должна делать ничего такого, что может вызвать его презрение. Он должен меня уважать, даже... даже если больше не любит меня».

Она подняла голову и постаралась спокойно спросить:

— Куда же вы едете?

В глазах его промелькнуло восхищение, и он ответил:

— Возможно, в Англию... или в Париж. А возможно, в Чарльстон, чтобы наконец помириться с родными.

— Но вы же ненавидите их. Я часто слышала, как вы смеялись над ними и...

Он пожал плечами.

— Я по‑прежнему смеюсь. Но хватит мне бродить по миру, Скарлетт. Мне сорок пять лет, и в этом возрасте человек начинает ценить то, что он так легко отбрасывал в юности: свой клан, свою семью, свою честь и безопасность, корни, уходящие глубоко... Ах нет! Я вовсе не каюсь и не жалею о том, что делал. Я чертовски хорошо проводил время — так хорошо, что это начало приедаться. И сейчас мне захотелось чего‑то другого. Нет, я не намерен ничего в себе менять, кроме своих пятен. Но мне хочется хотя бы внешне стать похожим на людей, которых я знал, обрести эту унылую респектабельность — респектабельность, какой обладают другие люди, моя кошечка, а не я, — спокойное достоинство, каким отмечена жизнь людей благородных, исконное изящество былых времен. В те времена я просто жил, не понимая их медлительного очарования...

И снова Скарлетт очутилась в пронизанном ветром фруктовом саду Тары — в глазах Ретта было то же выражение, как в тот день в глазах Эшли. Слова Эшли отчетливо звучали в ее ушах, словно только что говорил он, а не Ретт. Что‑то из этих слов всплыло в памяти, и она как попугай повторила их:

— ...и прелести этого их совершенства, этой гармонии, как в греческом искусстве.

— Почему вы так сказали? — резко прервал ее Ретт. — Ведь именно эти слова и я хотел произнести.

— Так... так однажды выразился Эшли, говоря о былом.

Ретт передернул плечами, взгляд его потух.

— Вечно Эшли, — сказал он и умолк. — Скарлетт, когда вам будет сорок пять, возможно, вы поймете, о чем я говорю, и, возможно, вам, как и мне, надоедят эти лжеаристократы, их дешевое жеманство и мелкие страстишки. Но я сомневаюсь. Я думаю, что вас всегда будет больше привлекать дешевый блеск, чем настоящее золото. Во всяком случае, ждать, пока это случится, я не могу. И у меня нет желания. Меня это просто не интересует. Я поеду в старые города и древние края, где все еще сохранились черты былого. Вот такой я стал сентиментальный. Атланта для меня — слишком неотесанна, слишком молода.

— Прекратите, — внезапно сказала Скарлетт. Она едва ли слышала, о чем он говорил. Во всяком случае, в сознании у нее это не отложилось. Она знала лишь, что не в состоянии выносить дольше звук его голоса, в котором не было любви.

Он умолк и вопросительно взглянул на нее.

— Ну, вы поняли, что я хотел сказать, да? — спросил он, поднимаясь.

Она протянула к нему руки ладонями кверху в стародавнем жесте мольбы, и все, что было у нее на сердце, отразилось на ее лице.

— Нет! — выкрикнула она. — Я знаю только, что вы меня разлюбили и что вы уезжаете! Ах, мой дорогой, если вы уедете, что я буду делать?

Он помедлил, словно решая про себя, не будет ли в конечном счете великодушнее по‑доброму солгать, чем сказать правду. Затем пожал плечами.

— Скарлетт, я никогда не принадлежал к числу тех, кто терпеливо собирает обломки, склеивает их, а потом говорит себе, что починенная вещь ничуть не хуже новой. Что разбито, то разбито. И уж лучше я буду вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склею, а потом до конца жизни буду лицезреть трещины. Возможно, если бы я был моложе... — Он вздохнул. — Но мне не так мало лет, чтобы верить сентиментальному суждению, будто жизнь — как аспидная доска: с нее можно все стереть и начать сначала. Мне не так мало лет, чтобы я мог взвалить на себя бремя вечного обмана, который сопровождает жизнь без иллюзий. Я не мог бы жить с вами и лгать вам — и, уж конечно, не мог бы лгать самому себе. Я даже вам теперь не могу лгать. Мне хотелось бы волноваться по поводу того, что вы делаете и куда едете, но я не могу. — Он перевел дух и сказал небрежно, но мягко: — Дорогая моя, мне теперь на это наплевать.

Скарлетт молча смотрела ему вслед, пока он поднимался по лестнице, и ей казалось, что она сейчас задохнется от боли, сжавшей грудь. Вот сейчас звук его шагов замрет наверху, и вместе с ним умрет все, что в ее жизни имело смысл. Теперь она знала, что нечего взывать к его чувствам или к разуму — ничто уже не способно заставить этот холодный мозг отказаться от вынесенного им приговора. Теперь она знала, что он действительно так думает — вплоть до последних сказанных им слов. Она знала это, потому что чувствовала в нем силу — несгибаемую и неумолимую — то, чего искала в Эшли и так и не нашла.

Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих. В сознании ее где‑то таилась мысль, что если бы она поняла Эшли, она бы никогда его не полюбила, а вот если бы она поняла Ретта, то никогда не потеряла бы его. И она с тоской подумала, что, видимо, никогда никого в жизни по‑настоящему не понимала.

Благодарение богу, на нее нашло отупение — отупение, которое, как она знала по опыту, скоро уступит место острой боли — так разрезанные ткани под ножом хирурга на мгновение утрачивают чувствительность, а потом начинается боль.

«Сейчас я не стану об этом думать, — мрачно решила она, призывая на помощь старое заклятье. — Я с ума сойду, если буду сейчас думать о том, что и его потеряла. Подумаю завтра».

«Но, — закричало сердце, отметая прочь испытанное заклятье и тут же заныв, — я не могу дать ему уйти! Должен же быть какой‑то выход!»

— Сейчас я не стану об этом думать, — повторила она уже вслух, стремясь отодвинуть свою беду подальше в глубь сознания, стремясь найти какую‑то опору, ухватиться за что‑то, чтобы не захлестнула нарастающая боль. — Я... да, завтра же уеду домой в Тару. — И ей стало чуточку легче.

Однажды она уже возвращалась в Тару, гонимая страхом, познав поражение, и вышла из приютивших ее стен сильной, вооруженной для победы. Однажды так было — господи, хоть бы так случилось еще раз! Как этого добиться — она не знала. И не хотела думать об этом сейчас. Ей хотелось лишь передышки, чтобы утихла боль, — хотелось покоя, чтобы зализать свои раны, прибежища, где она могла бы продумать свою кампанию. Она думала о Таре, и словно прохладная рука ложилась ей на сердце, успокаивая его учащенное биение. Она видела белый дом, приветливо просвечивающий сквозь красноватую осеннюю листву, ощущала тишину сельских сумерек, нисходившую на нее благодатью, самой кожей чувствовала, как увлажняет роса протянувшиеся на многие акры кусты хлопка с их коробочками, мерцающими среди зелени, как звезды, видела эту пронзительно‑красную землю и мрачную темную красоту сосен на холмах.

От этой картины ей стало немного легче, она даже почувствовала прилив сил, и боль и неистовое сожаление отодвинулись вглубь сознания. Она с минуту стояла, припоминая отдельные детали: аллею темных кедров, ведущую к Таре, раскидистые кусты жасмина, ярко‑зеленые на фоне белых стен, колеблющиеся от ветра белые занавески. И Мамушка тоже там. И вдруг ей отчаянно захотелось увидеть Мамушку — так захотелось, словно она была еще девочкой, — захотелось положить голову на широкую грудь, и чтобы узловатые пальцы гладили ее по голове. Мамушка — последнее звено, связывавшее ее с прошлым.

И сильная духом своего народа, не приемлющего поражения, даже когда оно очевидно, Скарлетт подняла голову. Она вернет Ретта. Она знает, что вернет. Нет такого человека, которого она не могла бы завоевать, если бы хотела.

«Я подумаю обо всем этом завтра, в Таре. Тогда я смогу. Завтра я найду способ вернуть Ретта. Ведь завтра уже будет другой день».

1. Пикник или прием на открытом воздухе, во время которого гостей угощают жаренным на вертеле мясом, причем туша – бычья, баранья, свиная – жарится целиком, и это кушанье носит то же название. [↑](#footnote-ref-1)
2. Молитвенное песнопение, построенное в форме диалога. [↑](#footnote-ref-2)
3. Роберт Эммет (1778–1803) – ирландский буржуазный революционер, боролся за независимую ирландскую республику, был казнен. [↑](#footnote-ref-3)
4. Сокращенное от «Диксиленд» – распространенного названия Южных штатов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Улица в Париже, где находились самые дорогие магазины. [↑](#footnote-ref-5)
6. Строка из стихотворения английского поэта XVII в. Ричарда Лавлейси. [↑](#footnote-ref-6)
7. Распространенный в Америке напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой. [↑](#footnote-ref-7)
8. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто господином был тогда?» – строка из народной песни. [↑](#footnote-ref-8)
9. Популярные в середине XIX в. эстрадные представления, участники которых, загримированные под негров, играли на банджо, тамбурине, кастаньетах, пели, танцевали, перебрасывались шутками. [↑](#footnote-ref-9)
10. Так называли северян, добившихся влияния и богатства на юге страны после Войны за независимость. [↑](#footnote-ref-10)
11. «Никогда не отчаивайся» (лат.). [↑](#footnote-ref-11)
12. По Библии, первый министр персидскою царя Артаксеркса, повешенный на виселице, построенной по его приказанию для Мардохея. [↑](#footnote-ref-12)
13. Термин во французской борьбе, означающий «положить на лопатки!». [↑](#footnote-ref-13)
14. Это имя по‑французски означает «прекрасноокий». [↑](#footnote-ref-14)
15. Имеется в виду Пьер‑Густав Тутан де Борегар (1818–1893) – бригадный генерал во время Гражданской войны, участник многих сражений, в том числе у Булл‑Рэна. [↑](#footnote-ref-15)
16. Образ взят из басни Эзопа. [↑](#footnote-ref-16)
17. Так называлась присяга на верность Соединенным Штатам. [↑](#footnote-ref-17)
18. Закон о неприкосновенности личности. [↑](#footnote-ref-18)
19. В скуке (фр.) [↑](#footnote-ref-19)
20. Сьюзен Б. Энтони (1820–1906) – американская суфражистка, активная общественная деятельница, возглавлявшая кампании за эмансипацию женщин. [↑](#footnote-ref-20)
21. Так называли белых бедняков на Юге. [↑](#footnote-ref-21)
22. Джеймс Эдвард Оглторп (1696–1785) – англичанин, перебравшийся с первыми эмигрантами в Америку и основавший Джорджию. [↑](#footnote-ref-22)
23. Кавалеры – сторонники Карла I (роялисты) во время Английской буржуазной революции. [↑](#footnote-ref-23)
24. Красавец принц Чарли – одно из прозвищ принца Карла Стюарта (1721–1788), неудачно пытавшегося захватить шотландский трон. [↑](#footnote-ref-24)
25. Английское слово, означающее «освобождение» [↑](#footnote-ref-25)
26. Не совсем точная цитата из Библии; Евангелие от Матфея, гл. 18, 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. Счастлив и благороден (погибнув за родину) (лат.) [↑](#footnote-ref-27)
28. По Библии, сын Авраама и Агари, который был изгнан отцом вместе со своей матерью. Считается родоначальником арабских бедуинов. [↑](#footnote-ref-28)
29. У. Шекспир, Макбет, I, 2 [↑](#footnote-ref-29)
30. По чистой совести (лат.). [↑](#footnote-ref-30)
31. У. Шекспир, Юлий Цезарь, IV, 3 [↑](#footnote-ref-31)
32. Уильям Уокер (1824–1860) – американский пират, возглавивший восстание и захвативший в 1855 г. власть в Никарагуа. В 1856 г. был избран президентом. За захват кораблей, принадлежавших Вандербильдту, навлек на себя гонения со стороны финансовой олигархии США, был вынужден покинуть Никарагуа. При попытке вернуться в Никарагуа был арестован в 1857 г., подвергнут полевому суду, осужден и расстрелян. [↑](#footnote-ref-32)
33. Уильям Кларк Квонтрилл (1837–1865) – глава повстанцев, действовавших на стороне Конфедерации в штатах Канзас и Миссури в 1861–1862 гг. [↑](#footnote-ref-33)
34. Буквально: торговый центр, универсальный магазин. [↑](#footnote-ref-34)
35. «Качество на риске покупателя» – юридический термин (лат.). [↑](#footnote-ref-35)
36. Красивый голубой (англ.). [↑](#footnote-ref-36)
37. Здесь игра на созвучии слов: мытари (Рublicаns) созвучно «республиканцам». [↑](#footnote-ref-37)